ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Эжен-Франсуа Видок

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ПАРИЖСКОЙ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ

«АЗБУКА»



Записки начальника парижской тайной полиции

Эжен-Франсуа Видок

Аннотация
Эжен-Франсуа Видок. Записки начальника парижской тайной полиции
Предисловие
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Особенный надзор
Глава шестнадцатая

Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
  Сцена первая
  Сцена вторая
  Сцена третья
  Сцена последняя
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая
Глава тридцать пятая
Глава тридцать шестая
Глава тридцать седьмая
Глава тридцать восьмая

Глава тридцать девятая
Глава сороковая
Глава сорок первая
Глава сорок вторая
Глава сорок третья
Глава сорок четвертая
Глава сорок пятая
Глава сорок шестая
Глава сорок седьмая
Глава сорок восьмая
Глава сорок девятая
Глава пятидесятая
Глава пятьдесят первая
Глава пятьдесят вторая
Глава пятьдесят третья
Глава пятьдесят четвертая
Глава пятьдесят пятая
Глава пятьдесят шестая
Глава пятьдесят седьмая
Глава пятьдесят восьмая
Глава пятьдесят девятая
Глава шестидесятая
Глава шестьдесят первая
Глава шестьдесят вторая
Глава шестьдесят третья. Пролазы (Chevaliers grimpants)

Глава шестьдесят четвертая. Ночные грабители лавок (Boucardiers)
Глава шестьдесят пятая. Магазинные и лавочные воры
Глава шестьдесят шестая. Еще вид магазинных воров (Voleurs sous comptoir)
Глава шестьдесят седьмая. Менялы
Глава шестьдесят восьмая. Экипажные воры (Rouletiers-колесники)
Глава шестьдесят девятая. Карманники или жулики
Глава семидесятая. Мазурики или игроки
Глава семьдесят первая. Бильярдные шулера (Emporteurs)
Глава семьдесят вторая. Заемщики
Глава семьдесят третья. Менялы (gréce)
Глава семьдесят четвертая. Подбиратели, или Теряющие и находящие (Ramastiques)
Глава семьдесят пятая. Убийцы по профессии, или Молодцы больших дорог
Глава семьдесят шестая. Разбойники. Шофферы-поджариватели
Библиографический очерк о жизни Видока

Аннотация

Судьба Эжена-Франсуа Видока (1775–1857) поистине удивительна. Сын булочника из заштатного французского городка, преступник, не раз попадавший за решетку и не раз спасавшийся бегством из тюрьмы, оказался выдающимся сыщиком, чье имя известно во всем мире.

Дело в том, что, шантажируемый бывшими сокамерниками, рискуя вновь лишиться свободы, Видок решился на отчаянный шаг и предложил свои услуги парижской полиции. Он сформировал особую бригаду из бывших уголовников, руководствуясь принципом: «Только преступник может раскрыть преступление».

Видок внес огромный вклад в криминалистику: это он придумал составлять картотеку преступников на основе словесных описаний, сохранять отпечатки обуви с помощью гипсовых форм, проводить следственные эксперименты и многое другое. А еще он учредил бюро частного сыска, став одним из первых частных детективов.

Видок послужил прототипом многих литературных героев, о нем сняты фильмы (роль Видока исполняли такие актеры, как Жерар Депардье и Венсан Кассель). И все-таки биографию этого незаурядного человека лучше всего можно узнать из его «Записок», которые также содержат немало интересных подробностей о больших процессах того времени.

Текст печатается в сопровождении иллюстраций из французского издания XIX века.

Эжен-Франсуа Видок
Записки начальника парижской тайной полиции

Eugène-François Vidocq
MÉMOIRES DE VIDOCQ:
CHEF DE LA POLICE DE SÛRETÉ

Текст печатается по изданию: Записки Видока, начальника парижской тайной полиции: В 3 т. СПб., 1877.

© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

* * *

ИНОСТРАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА





Эжен-Франсуа Видок

Записки начальника парижской тайной полиции



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Предисловие

Мало кому на долю выпадало столько невероятных приключений, сколько их выпало Эжену-Франсуа Видоку – бывшему каторжнику, а впоследствии начальнику парижской тайной полиции.

Во все времена существовали натуры, одаренные богаче других, с большей энергией и большими задатками; эти люди, смотря по тому, в какую сферу занесет их судьба, делаются героями или злодеями, в том и другом случае оставляя глубокий след за собою. Но какова бы ни была их роль на свете, они далеки от обыденной пошлости и, как все выходящее из ряду, невольно привлекают всеобщее внимание, возбуждают любопытство и порабощают воображение масс.

К числу подобных исключительных закаленных личностей принадлежит герой этой истории; это, можно сказать, легендарный герой французского народа, столь живо и надолго увлекающегося качествами — телесной силой, храбростью и тонким, хитрым умом; это актер

социальной комедии, воспоминание о котором свежо в народе, тогда как множество эфемерных знаменитостей предано забвению. Таков был Видок, начальник охранительной полиции.

Правда, известностью своей он частью обязан тому, что в ряду злоумышленников вел борьбу с обществом. Его необыкновенные приключения, смелые предприятия, хитрости и многочисленные побеги могли бы наполнить не один роман. Но если бы дело ограничилось этим, то известность его не превзошла бы известности Колле, Куаньяра и других подобных злодеев, имена которых, нераздельно связанные с тюрьмой и острогом, запечатлены позором и служат только предметом вредного любопытства. Видок же несравненно выше этих героев уголовного суда, быстро кончавших свою блистательную эпопею виселицей, тем, что он захотел восстановить свое честное имя, вооружившись против своих соучастников, и положил свои исключительные способности, свою дорого приобретенную опытность и неустрашимую энергию на службу обществу.

Вследствие этого вторая половина жизни Видока еще более богата приключениями, еще интереснее первой. Это целая история погони

за ворами. Охота на воров представляет весьма сложную науку, и трудно представить себе, какого умственного напряжения, каких замечательных способностей требует она. Что такое пред этой необыкновенной борьбой борьба таможенного чиновника и контрабандиста? А между тем таможенный досмотрщик должен заранее вообразить себе все, что может изобрести плодовитая хитрость его противника; должен предугадать его тайные намерения, сообразить, что мог бы придумать он сам, если бы был на месте этого *другого,* если бы сам был контрабандистом; должен противопоставить свое терпение, неустрашимость, всю свою проницательность постоянству, воле и сообразительности преследуемой им жертвы; словом, он поражает развившееся и законченное искусство контрабанды искусством более превосходным, ежедневно обогащающимся новыми наблюдениями и логикой событий.

Настоящий полицейский чиновник должен владеть этим высшим искусством в полнейшей степени, и, кроме того, этот полицейский Протей должен усвоить себе ловкие и развязные манеры гнусного обитателя грязных подвалов, его удивительные инстинкты, как бы заимствованные у кошки и змеи; проворство пальцев,

ловкость руки, верность глаза, испытанная храбрость, осторожность, хладнокровие, плутовство и непроницаемая маска истинного злодея — вот качества, необходимые искусному агенту общественной безопасности. Для успешного хода дела ему нужно, наравне с преступником, набить руку в мошенничестве, выучиться искусству вырывать тайны у чувствительных людей, заставлять их плакать над воображаемыми несчастьями, неподражаемому искусству притворяться и менять наружность во всякий час дня и ночи; у него должен быть неистощимый запас средств, бойкий язык, непоколебимое бесстрастие и терпение, изобретательная голова и рука, всегда готовая действовать.

Эти исключительные качества, обыкновенно принадлежащие порознь различным личностям, Видок соединял в себе все и в высшей степени: ни один актер не мог сравниться с ним в искусстве гримироваться и разыграть какую угодно роль; для него было игрушкой мгновенно изменить возраст, физиономию, манеры, язык и произношение. Даже при дневном свете, переодетый, он бесстрашно подвергался опытному глазу жандармов, полицейских коммиссаров, тюремных сторожей и даже прежних соучастников, людей,

с которыми жил и от которых ничего не имел тайного. Несмотря на свой высокий рост и дородность, он умел переодеваться даже женщиной. Кроме того, этот странный человек при железном темпераменте имел в своем распоряжении весьма терпеливый желудок, который позволял ему переносить продолжительный голод и предаваться всевозможным излишествам; он мог после обильного обеда с притворной жадностью истреблять самые крепкие напитки и самые непереваримые кушанья.

Что бы ни думали о Видоке, который, впрочем, никогда и не метил попасть в святые, но нельзя отрицать того, что в качестве главы охранной *бригады* он оказал громадные услуги, очистив Париж более чем от двадцати тысяч злодеев всевозможных категорий. Для достижения такого результата ему нужно было ежедневно в течение двадцати лет составлять комбинации утонченнее любого дипломата, постоянно подвергать свою жизнь опасностям, во сто раз ужаснее опасностей битв, и притом подвергать хладнокровно, без энтузиазма сражающихся, без всякой надежды на ореол победителя. В своей беззаботности счастливые граждане не подозревают о тайной борьбе, непрерывно происходящей для достав-

ления безопасности и благосостояния, которыми они наслаждаются.

Понятно, что жизнь столь знаменитого в своем роде человека, как Видок, рассказанная им самим, не могла не быть приманкой, на которую бросилась толпа, жадная до ощущений; и действительно, записки Видока, изданные им в 1828 году, после его отставки, были расхвачены с беспримерной быстротой. Это было первое сочинение, поразительным образом раскрывшее изнанку цивилизации, мрачную тюремную жизнь и внутренность острогов, знакомящее с выразительным языком воров, который с тех пор так много искажали. Это был животрепещущий реализм, внезапно представший пред обществом, пресыщенным сентиментальными пустячками. Электрические листки читались наперерыв и потрясали людей с утонченными нервами. Только и было разговору о «Записках» Видока.

Весьма естественно, что столь громадный, повсеместный успех не замедлил породить корыстолюбивых подражателей. Вскоре появились «Записки каторжника, или Разоблаченный Видок», постыдная спекуляция, в которой два литератора не побрезгали соединиться с выходцем из *грязи* острога и мошеннических притонов.

Эти четыре тома клеветы, лжи и оскорблений, высказанных, соответственно содержанию, самым плоским, неприличным слогом, мгновенно завладели доверием публики и вошли в славу. Но реакция не замедлила произойти, и общее презрение справедливо обрушилось на это пасквильное произведение, всеми теперь забытое и погребенное в заслуженной тине.

Позднее, в 1844 году, была сделана новая попытка в подобном же роде. Книжный торговец Кадо издал «Настоящие парижские тайны». Это было сочинение двух литераторов, Горация Рессона и Мориса Алоя, более известных в качестве мистификаторов, чем как серьезных писателей. Эта книга, которой Видок подарил только свое имя, имела целью, как гласили объявления и рекламы, затмить славу «Парижских тайн» Евгения Сю заменой его воображаемых героев настоящими типами, его вымышленных событий истинными фактами, раскрывая все загадочное и всю нищету столицы.

К несчастью, у обоих авторов этих блестящих обещаний не было и тени мощного гения романиста, с которым они вздумали состязаться. «Настоящие парижские тайны» были слабым отголоском, бесцветным подражанием «Записок»

Видока; они были лишены всякого интереса и не имели священного огня, одушевлявшего первое издание. Вместо неожиданностей и обещанных открытий в них находили только вещи всем известные, события обыденные, описание одного и того же. Публика встретила эти плутовские тайны полнейшим равнодушием, и они потонули во мраке забвения, тогда как меткие типы Евгения Сю живы до сих пор, а успех «Записок» Видока приостановился только вследствие распродажи изданий.

В настоящее время царит большое пристрастие к фельетонным романам, сюжет которых — отыскание и открытие человека, совершившего какое-либо великое преступление. Главный недостаток этих труженических сочинений, материал для которых обыкновенно почерпался из старых знаменитых процессов, был тот, что авторы слишком растягивали содержание, так что читатель, заинтересованный вначале, теряется потом в запутанных подробностях, которым нет конца. Эти произведения никогда не достигали обаяния действительности и блекли пред настоящими, очевидными фактами, как ночные иллюзии блекнут при сиянии дня.

Нам кажется своевременным перепечатание

«Записок» Видока, мало известных новому поколению. Мы надеемся, что это возобновление правдивой драмы с многочисленными сценами, потрясающими неожиданностями будет принято благосклонно. Публика не может не заинтересоваться этой борьбой порядка с беспорядком, добра со злом, борьбой, ведущейся с основания мира и могущей кончиться только вместе с ним. В предлагаемом сочинении взяты самые интересные эпизоды этой мировой драмы. Его прошедший успех служит гарантией будущего.

Глава первая

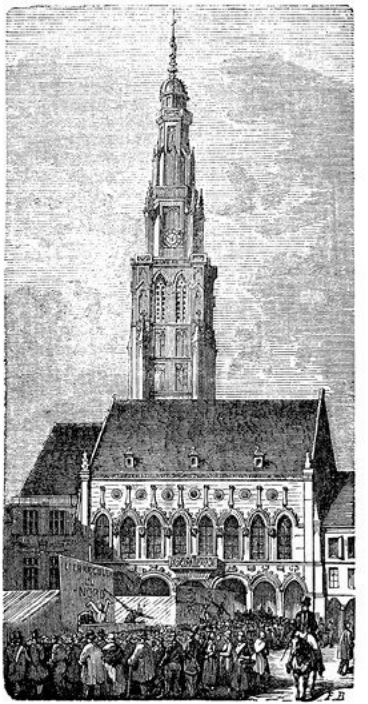
Знаменательные приметы моего появления на свет. – Атлетическое сложение и раннее, преждевременное развитие. – Достодолжное упражнение своих способностей как в счастливые времена детства, так и впоследствии, в качестве хлебного подмастерья. – Первое воровство. – Поддельный ключ. – Предательские цыплята. – Похищение серебра и заключение в тюрьму. – Материнская снисходительность. – Наконец отец мой взялся за ум. – Новый грабеж и бегство из Арраса. – Поиски корабля, встреча с великодушным незнакомцем и плачевные ее последствия. – Г-н Комус, первый физик в свете. – Акробаты. – Пребывание в их среде, обучение их искусству и достославный финал в качестве дикаря с южных морей. – Новые покровители и комичная сцена ревности. – Поступление на службу к бродячему врачу. – Возвращение в родительский дом. – Знакомство с актрисой и новое бегство из дома. – Поступление в полк и побег из него. – Я перехожу в непри-

ятельский лагерь. – Немецкая расправа и поступление под отечественные знамена. – Любовь экономки, обвинение и две дуэли в один день. – Рана на войне. – Переход в другой отряд. – Возвращение на родину

Я родился в Аррасе, близ Лилля. Так как возраст мой определить довольно трудно вследствие моих постоянных переряживаний, подвижности черт лица и необыкновенной способности гримироваться, то не лишним будет сказать, что это было 23 июля 1775 года в доме, соседнем с тем, в котором шестнадцать лет тому назад родился Робеспьер. Была мрачная ночь; дождь лил ручьями; гром гремел, и родственница, исполнявшая должность акушерки и вместе гадалки, заключила из этого, что судьба моя будет весьма бурная. В те времена еще немало было простаков, веривших в предсказания; да и теперь, когда люди отличаются бóльшим просвещением, мало ли таких, которые, не будучи кумушками, верят в непогрешимость девицы Ленорман!

Как бы то ни было, надо думать, что не для меня, собственно, разбушевалась природа, и хотя чудесное весьма привлекательно, но я далек от предположения, чтобы *там,* свыше, сколько-

нибудь заботились о моем появлении на свет. Я был одарен могучим сложением, материалу не пожалели, так что при рождении мне можно было дать года два; уже тогда были задатки тех атлетических форм, того колоссального роста, которые впоследствии наводили ужас на самых неустрашимых, самых сильных злодеев. Дом моего отца стоял на плац-параде, куда постоянно собирались мальчишки со всего квартала, и я с ранних лет мог упражнять мои мускульные способности, усердно потчуя тумаками своих товарищей, родители которых, без сомнения, приносили жалобы моим. У нас только и толков было что об ободранных ушах, подбитых глазах и разодранной одежде. В восемь лет я был ужасом собак, кошек и соседних ребятишек; в тринадцать я довольно порядочно владел рапирой. Отец, видя, что я шляюсь к гарнизонным солдатам, встревожился таким прогрессом и объявил мне, чтоб я готовился к первому причастию. Две благочестивые особы взялись приготовлять меня к этой торжественной церемонии. Бог весть какую пользу извлек я из их уроков. В то же время я начал учиться булочному мастерству: это была профессия отца, который готовил меня своим преемником, хотя имел сына старше.



Обязанность моя состояла главным образом в разноске хлеба по городу, что давало мне возможность часто забегать в фехтовальную залу; хотя родители знали об этом, но кухарки так восхваляли мою любезность и аккуратность, что

они смотрели сквозь пальцы на многие шалости. Такое снисхождение продолжалось до тех пор, пока они убедились насчет дефицита своей казны, которая никогда не запиралась. Брат, участвовавший вместе со мною в ее расхищении, был пойман на месте преступления и отправлен к булочнику в Лилль. На другой день после этого распоряжения, причины которого мне не объяснили, я, по обыкновению, вознамеривался запустить руку в благодатный ящик, как увидел, что он был тщательно заперт. В то же время отец объявил мне, чтобы я попроворнее совершал свою разноску и возвращался в определенный час. Очевидно было, что с этих пор я был лишен и денег, и свободы. Горюя об этом двойном несчастии, я поспешил сообщить его одному из приятелей, по имени Пуаян, который был старше меня. Так как в конторке сделано было отверстие для опускания денег, то он посоветовал мне просунуть туда воронье перо, намазанное клеем; но это замысловатое средство могло мне доставить только мелкую монету, что было весьма недостаточно, и оставалось прибегнуть к подделке фальшивого ключа. Приятель порекомендовал мне для этой цели сына городового. Я снова стал расхищать отцовские доходы, и мы вместе насла-

ждались плодом этих покраж в одной из таверн, сделавшейся нашим главным местопребыванием. Туда собиралось изрядное число известных негодяев и несколько несчастных молодых людей, которые, чтобы иметь туго набитый карман, прибегали к таким же средствам, как и я. Вскоре я сошелся с распутнейшими личностями местности, и они посвятили меня в свой разврат. Таково было почтенное общество, в котором я проводил свои досуги до тех пор, пока отец не поймал меня так же, как и брата, в момент покражи. Он отобрал у меня ключ, сделал мне приличное наказание и принял такие предосторожности, что с этого времени нечего было и помышлять о разделении его барышей.

Мне не оставалось другого источника, как собирать дань натурою с домашней провизии. От времени до времени я спроворивал по нескольку хлебов, но, чтоб отделаться от них, я должен был продавать их по ничтожной цене, которая едва давала мне возможность угощаться тортами и медом. Нужда научит калачи есть; ничто не ускользало от моих глаз, и все было пригодно: вино, сахар, кофе, напитки. Мать моя еще не замечала быстрого исчезновения своих запасов, может быть, она и долго бы не догадалась, ку-

да они деваются, как однажды два цыпленка, которых я вознамерился конфисковать в свою пользу, возвысили против меня свой голос. Засунутые под исподнее платье и скрытые моим передником, они вдруг принялись пищать, высовывая свой гребень, и мать, предупрежденная таким образом об их похищении, немедленно явилась на выручку. Я получил несколько оплеух и должен был лечь без ужина. Спать я не мог, и, видно, злой дух не давал мне заснуть. Как бы то ни было, я встал с твердым намерением поживиться серебром. Одно меня беспокоило: на каждой вещи была полными буквами вырезана фамилия Видока. Пуаян, которому я открылся и в этом, устранил все трудности, и в тот же день за обедом я стащил десять приборов и столько же кофейных ложек. Двадцать минут спустя все было заложено, а через два дня из занятых ста пятидесяти фунтов не было ни полушки.

Трое суток я не показывался в родительский дом, как раз вечером был остановлен двумя городовыми и отведен в Боде, дом, куда заключали сумасшедших, подсудимых и мошенников. Десять дней продержали меня в тюрьме, не объявивши даже причин ареста; наконец тюремный сторож сказал, что я был заключен по требова-

нию отца. Это меня несколько успокоило: то, стало быть, родительское исправление, и можно было надеяться, что со мной не поступят строго. На следующий день навестила меня мать, и я получил от нее прощение; через четыре дня я был свободен и принялся за прежнюю работу с твердым намерением вести себя безукоризненно. Тщетное намерение!

Я вскоре возвратился к старым привычкам, исключая расточительности, так как было немало причин, препятствовавших мне задавать тоны: отец, дотоле довольно беспечный, сделался столь бдительным, что годился бы в начальники городской стражи. Если ему являлась необходимость оставить конторку, мать его немедленно заменяла; мне не было никакой возможности к ней подойти, хотя я постоянно был настороже. Эта неусыпная бдительность приводила меня в отчаяние. Наконец один из тавернских товарищей сжалился надо мною; то был все тот же Пуаян, отъявленный негодяй, подвиги которого памятны жителям Арраса.

— Нужно быть очень глупым, чтоб оставаться постоянно на привязи! — воскликнул он. — И как пристало малому твоих лет не иметь гроша за душой! Да будь я на твоем месте, я знаю, что

сделал бы.

— А что бы, примерно?

— Твой отец с матерью богаты, какая-нибудь тысяча талеров, более или менее, не составит для них разницы. Старые скряги, поделом им! Не мешает возле них погреть руки.

— Я понимаю, что, по-твоему, надо хапнуть разом, коли нельзя по мелочи.

— Именно так, а там задать тягу, так чтобы не осталось ни слуху ни духу.

— Да, только ты забываешь объездный караул.

— Ничего не значит! Разве ты им не сын? Притом мать тебя слишком любит.

Это соображение о материнской любви, подкрепленное воспоминанием ее снисходительности при моих недавних проказах, сильно подействовало на меня, и я слепо ухватился за план, улыбавшийся моей дерзкой смелости; оставалось только привести его в исполнение, а случай не заставил себя долго ждать.

Раз, когда мать была одна дома, явился подосланный от Пуаяна, разыгрывающий роль честного человека, принимающего в ней участие, и предупредил ее, что, вовлеченный в оргию с проститутками, я вздумал всех колотить, все ломать и бить и что если меня не остановят, то

после придется заплатить по крайней мере франков четыреста за убытки.

Мать моя сидела в кресле за каким-то вязаньем; работа выпала у нее из рук, и она без памяти бросилась туда, где предполагала найти меня; место же ей постарались указать в конце города. Так как ее отсутствие не могло продолжаться долго, то мы должны были суметь им воспользоваться. Ключ, который я стащил накануне, дал нам возможность забраться в лавку. Конторка оказалась запертой. Это препятствие почти обрадовало меня: я вспомнил любовь матери, и на этот раз не с мыслью о безнаказанности, а с невольным чувством раскаяния. Я уже думал ретироваться, но Пуаян удержал меня; его дьявольское красноречие заставило меня покраснеть от того, что он называл моей слабостью, и когда он подал мне лом, которым предусмотрительно запасся, я схватил его почти с энтузиазмом. Ящик был взломан, и в нем оказалось около двух тысяч франков; мы их поделили, а полчаса спустя я был один по дороге в Лилль. Взволнованный всем происшедшим, сначала я шел весьма скоро, так что по прибытии в Ленц почувствовал сильную усталость и приостановился. Вскоре проезжала наемная карета, в которой я и занял место, а

часа через три был уже в столице французской Фландрии, откуда немедленно направился в Дюнкирхен, стараясь поскорее быть подальше, чтобы убежать от преследований.

Я имел намерение посетить Новый Свет, но судьба разрушила этот план: в Дюнкирхенской гавани не было ни одного корабля. Я отправился в Кале, чтобы отплыть немедленно, но с меня спросили цену, превышавшую весь мой капитал; при этом меня обнадежили, что в Остенде будет стоить дешевле вследствие конкуренции. Прибыл я и туда, но капитаны оказались столь же несговорчивыми, как и в Кале. Обезнадеженный вполне, я впал в то отважно-отчаянное настроение, когда человек готов бывает охотно отдаться первому встречному. Не знаю, почему мне вообразилось, что я наткнусь на какого-нибудь добряка, который возьмет меня даром на корабль или, по крайней мере, сделает значительную уступку благодаря моей привлекательной наружности и интересу, внушаемому молодостью. Пока я прогуливался, мечтая таким образом, ко мне подошел человек, ласковое обращение которого подтвердило мою химерную фантазию. Он прежде всего сделал мне несколько вопросов и из моих ответов узнал, что я иностранец, сам же он назвал себя

корабельным маклером, и когда я ему открыл цель своего пребывания в Остенде, он стал предлагать мне свои услуги. «Ваша физиономия мне нравится. Я люблю открытые лица, в которых отражаются искренность и веселость нрава. Хотите, я вам докажу это, доставивши почти даровой проезд?» Я поспешил высказать свою благодарность. «Что за благодарности! Когда дело будет сделано, тогда еще пожалуй; надеюсь, это будет скоро, а до тех пор вы, вероятно, будете скучать здесь». Я отвечал, что действительно не нахожу особенных развлечений. «Не хотите ли отправиться со мной в Блакенберг, где мы отужинаем в обществе милейших господ, которые в восторге от французов?» Маклер так был любезен, приглашал так дружелюбно, что было бы невежливо отказаться. Итак, я согласился, и он привел меня в дом, где оказались прелюбезные дамы, принявшие меня с тем беззаветным гостеприимством древности, которое не ограничивалось только одним угощением. Вероятно, в полночь (говорю — вероятно, потому что мы уже не считали часов) я почувствовал тяжесть в голове и ногах. Вокруг меня все двигалось и вертелось, так что, не замечая, чтобы меня раздевали, мне показалось, что я нахожусь в дезабилье рядом с одной из нимф. Может, это

и действительно было так, знаю только то, что я заснул. Меня пробудило сильное ощущение холода. Вместо зеленых занавесок, мелькнувших передо мной как бы во сне, мои полузакрытые глаза видели лес мачт, а кругом раздавались крики, бывающие обыкновенно в приморских гаванях. Я хотел было приподняться и увидел, что лежу между корабельными снастями. Теперь ли я был в бреду или все вчерашнее было сном? Я ощупывал себя, дергал, и когда наконец был на ногах, то убедился, что не брежу и что вместе с тем не принадлежу к тем привилегированным существам, к которым счастие приходит во время сна. Я увидал себя полураздетым, и, исключая двух талеров, запрятанных в кармане исподнего платья, у меня не оказалось ни гроша. Тогда мне сделалось ясным, что действительно, по желанию маклера, *мое дело было скоро сделано*. Я был в неописанной ярости, но на ком искать? Я не мог бы даже указать места, где меня так ловко обчистили. Пришлось смириться и отправиться в гостиницу, где оставалось еще кой-какое платье, которое могло пополнить мой туалет. Мне незачем было сообщать хозяину о своем приключении: он, едва завидя меня издали, прямо встретил следующими словами: «Ай-ай-ай! Вот

и еще один! Знаете ли, молодой человек, что вы еще счастливо отделались? У вас целы все члены, а это большое благополучие, когда выходят из подобного гнезда. Теперь вы имеете понятие о наших musicos. А каковы там сирены-то?.. Что делать, на то и щука в море, чтоб карась не дремал. Держу пари, что у вас нет более ни монетки». На эти слова я с гордостью показал ему свои два талера. «Ну, вы этим расплатитесь за продовольствие». И тотчас же он мне представил свой счет. Я заплатил и простился с ним, не покидая, однако, города.

Понятно, что путешествие в Америку было отложено в долгий ящик, и мне суждено было пресмыкаться на старом континенте; мне приходилось коснеть на самой низшей ступени цивилизации, и будущее тем более меня беспокоило, что у меня совсем не было средств в настоящем. У отца я всегда был бы сыт, потому являлось невольное сожаление о родительском крове; печь пекла бы и для меня хлебы, как для всех других, думал я. Вместе с этими сожалениями в уме моем мелькало множество моральных сентенций, которые старались укрепить во мне, приправляя их суеверием, как, например: *не добром нажитое прахом пойдет; что посеешь, то и*

пожнешь, и т. п.

В первый раз в жизни я сознал правду этих пророческих наставлений, никогда не утрачивающих своей логичности. Я был под влиянием раскаяния, весьма естественного в моем положении; я стал вычислять последствия моего побега и отягощающих его обстоятельств. Но такое настроение недолго продолжалось; мне не суждено было так скоро попасть на путь истинный. Передо мной открывалась карьера моряка, и я решился поступить на службу, рискуя за одиннадцать франков в месяц раз тридцать в день сломить себе шею, лазая на ванты корабля. Я уже готов был войти в эту новую роль, как вдруг внимание мое было привлечено звуком труб; то была не кавалерия, а паяц со своим чичероне, который, стоя пред балаганом, испещренным вывесками, созывал публику, никогда не устающую забавляться их глупыми шутками. Я пришел при самом начале, и, пока довольно многочисленная толпа выражала свое удовольствие громким смехом, мне пришло в голову, что хозяин балагана может дать мне какую-нибудь должность. Паяц показался мне добрым малым, и я вздумал его избрать своим покровителем. Так как я знал, что предупредительность может быть весьма полез-

на в этом случае, то, когда паяц сошел со своих подмостков, я догадался, что он хочет выпить, и решился пожертвовать свой последний шиллинг, предложив ему выпить вместе кружку можжевеловой водки. Тронутый такой любезностью, он тотчас же обещал ходатайствовать за меня и тут же представил директору. Это был знаменитый Кот-Комус; он величал себя первым физиком в мире и для объезда провинций соединил свои таланты с натуралистом Гарнье, ученым наставником генерала Жакко, славившимся по всему Парижу прежде и после реставрации. Они содержали труппу акробатов. Когда я предстал пред Комусом, он прежде всего спросил меня, что я умею делать, и на мой отрицательный ответ добавил: «В таком случае поучим тебя; у нас есть и поглупее, а ты мне кажешься довольно смышленым; посмотрим, если у тебя есть способности, то я найму тебя на два года; первые шесть месяцев ты будешь хорошо кормлен и хорошо одет, затем ты будешь получать шестую часть сбора, а после я тебе положу то же самое, что и другим».

И вот я неожиданно попал на новую профессию. С рассветом дня нас разбудил мощный голос хозяина, который повел меня в какой-то чулан. «Вот твое дело, — сказал он, указывая мне на

шкалики и деревянные жирандоли, — ты должен все это убрать и привести в надлежащий вид, слышишь ли? А после вычистишь клетки зверей и подметешь залу». Мне пришлось исполнять приказания не очень приятные, сало было мне противно, и я не совсем ловко себя чувствовал в обществе обезьян, которые, испугавшись моей незнакомой физиономии, делали невероятные усилия, чтобы выцарапать мне глаза. Покончивши все, я явился к директору, который сказал, что позаботится обо мне и что если я буду стараться, то что-нибудь из меня и сделает. Я работал с раннего утра и был голоден как собака; пробило уже десять часов, а о завтраке не было и слуху, хотя при наших условиях положены мне были помещение и стол; я изнемогал от голода, когда мне принесли кусок пеклеванного хлеба, такого черствого, что при всем превосходстве моих зубов и алчности аппетита я не мог доесть его и большую часть выбросил зверям. Вечером я должен был заняться освещением, и так как, по недостатку навыка, не мог действовать при этом с достаточной быстротою, то хозяин сделал мне маленькое наказание, которое повторилось на следующий день и затем ежедневно. Не прошло и месяца, как я пришел в весьма пла-

чевное состояние: мое платье, все в масляных пятнах и разодранное обезьянами, превратилось в лохмотья; насекомые меня поедом ели, от принудительной диеты я так исхудал, что меня нельзя было узнать. Тогда-то возобновились еще с большей горечью сожаления о родительском доме, где я был всегда хорошо накормлен и одет, спал на мягкой постели и не имел надобности возиться с обезьянами.

Таково было положение вещей, когда однажды утром Комус объявил мне, что по надлежащем размышлении о том, на что я более годен, он пришел к убеждению, что из меня выйдет отличный *скакун*. При этом он передал меня на руки г-ну Бальмату, называвшемуся почему-то *чертенком,* которому вменено было в обязанность выдрессировать меня надлежащим образом. При первом же уроке этот достойный наставник едва не сломал мне спины, а я должен был брать два и три урока в день. Недели через три я в совершенстве выделывал скачки на брюхе, изображал, как прыгает обезьяна, трус, пьяница и т. п. Восхищенный моими успехами, профессор старался их еще более ускорить… Я постоянно опасался, что из желания развить мой талант он повывихнет мне руки и ноги. Наконец мы дошли до трудностей

искусства, и становилось час от часу не легче. При первой попытке сделать большой прыжок я думал, что разорвал себя пополам; в другой раз разбил себе нос. Изломанный и искалеченный, я получил окончательное отвращение от столь опасной гимнастики и решил объявить г. Комусу, что положительно не намерен быть скакуном. «А, ты не намерен!» — произнес он и, ничего не возражая, порядком отдул меня хлыстом. С тех пор Бальмат перестал со мной заниматься, и я вернулся к своим шкаликам. Итак, г. Комус отступился от меня, и очередь была за г. Гарнье создать мне профессию. Раз поколотивши меня более обыкновенного (г. Гарнье разделял это удовольствие вместе с г. Комусом), он окинул меня с головы до ног и, видимо довольный убавлением моего дородства, произнес: «Я доволен тобой; теперь ты именно такой, каким я желал тебя иметь, и если ты захочешь постараться, то от тебя самого зависит твое счастье; с нынешнего дня ты должен отращивать ногти; волосы твои и так довольно длинны, ты почти нагой, а отвар ореховых листьев довершит остальное». Я совсем не понимал, что хотел сказать этим г. Гарнье. Он же позвал моего друга паяца и велел ему принести тигровую кожу и дубину. Паяц исполнил

приказание. «Теперь, — продолжал Гарнье, — мы сделаем репетицию. Ты будешь молодым дикарем с южных морей и вдобавок людоедом; ты ешь сырое мясо, приходишь в ярость при виде крови, при нужде можешь жевать кремень; можешь только испускать резкие, пронзительные звуки, глядишь вытараща глаза, все движения твои нервны, ты иначе не умеешь ходить, как прыжками и скачками; словом, бери пример с лесного человека, который перед тобою в № 1-м». Во время этой речи передо мной поставили целую миску с маленькими камешками, отлично закругленными, и принесли петуха, которому весьма хотелось освободить свои связанные ноги. Гарнье взял его и, подавая мне, произнес: «Вот, возьми его и ешь». На мое несогласие он принялся грозить; я не слушался и просил немедленного расчета. Вместо ответа мне влетело с дюжину пощечин. Гарнье охулки на руку не положил при этом. Раздраженный подобным обращением, я взял дубину и непременно укокошил бы почтенного натуралиста, если бы вся труппа не бросилась на меня, выталкивая за дверь градом пинков и кулаков.

С некоторого времени я сходился в одном кабаке с фигляром и его женой, показывавшими

марионеток под открытым небом. Мы познакомились, и я видел, что они интересуются мной. Муж сильно жалел обо мне, как об осужденном на зверскую пытку. Иногда он в шутку сравнивал меня с Даниилом во львином рву. Видно было, что он начитан и годился на что-нибудь лучшее, чем драма полишинеля; впоследствии он и действительно держал провинциальную труппу. Умолчу об его умении. Будущий антрепренер был очень умен, но его супруга не замечала этого; вместе с тем он был довольно безобразен, что она хорошо видела. Что касается до нее самой, то это была одна из тех пикантных брюнеток с длинными ресницами, сердца которых в высшей степени склонны воспламеняться хотя бы самой скоротечной вспышкой. Я был молод, и она тоже; ей не было еще и шестнадцати лет, тогда как мужу было тридцать пять.

Оставшись без места, я прямо отправился к этой чете с целью попросить у них доброго совета. Они угостили меня обедом и поздравили с геройским освобождением от деспотического ига Гарнье, которого они называли *вожаком*. «Так как ты теперь свободен, — сказал мне фигляр, — то отправляйся с нами, ты будешь нам помогать; когда нас будет трое, то, по крайней мере, не будет

антрактов; ты будешь расставлять марионеток, пока жена будет вертеть рукоятку органа; непрестанно занятая публика не станет расходиться, и сбору будет больше. Как ты думаешь, Элиза?» Элиза отвечала, что пусть он делает как знает, что она вполне с ним согласна; и в то же время она бросила на меня взгляд, красноречиво говоривший, что предложение пришлось ей по душе и что мы отлично поймем друг друга. Я с благодарностью согласился на это новое занятие и при первом же представлении занял свой пост. Условия были несравненно благоприятнее, нежели у Гарнье. Элиза, несмотря на мою худобу, нашла, что я не так дурно сложен, как одет, тайком делала мне тысячи любезностей, на которые я без сомнения отвечал тем же. Через три дня она мне созналась в своей страсти, и я не остался неблагодарным. Мы были счастливы и не разлучались более. Дома мы только и делали, что хохотали, шутили, заигрывали друг с другом. Муж Элизы смотрел на все это как на ребячество; при отправлении должности нам приходилось быть бок о бок в узкой палатке, устроенной из четырех холстинных лоскутков и носящей громкое имя *Увеселительного театра разнообразных представлений*. Элиза стояла по правую сторону мужа, а я возле нее; когда

она отлучалась, я заменял ее для наблюдения за входящими и выходящими. В одно памятное воскресенье представление шло во всем разгаре, и вокруг балагана стояла большая толпа. Полишинель всех переколотил. Не зная, что делать с одной из кукол (то был караульный), хозяин решил отложить его в сторону и кричит нам подать ему *комиссара*; мы не слышим. *«Комиссара, комиссара!»* — кричит он нетерпеливо и вдруг, оборотившись, застает нас обнимающимися. Сконфуженная Элиза старается оправдаться, а муж, не слушая, снова кричит: *«Комиссара!»* — и в то же время пускает ей прямо в глаз крюком, на котором вешали караульного. Кровь брызнула, представление прерывается, супруги вступают в драку, причем палатка опрокидывается, и мы остаемся прямо на виду пред многочисленным сборищем зрителей, у которых этот неожиданный спектакль возбуждает громкий хохот и залп продолжительных рукоплесканий.

Этот скандал снова лишил меня пристанища, и я не знал, куда приклонить голову. Если бы у меня была хоть приличная одежда, я еще мог бы поступить в какой-нибудь порядочный дом; но я был такой ободранный, что никто не пожелал бы меня принять. В таком положении оставалось

только одно — вернуться снова на родину; но вопрос: чем прожить до тех пор? Когда я стоял в раздумье, мимо меня прошел человек, которого по костюму можно было принять за разносчика; я завязал с ним разговор, и он сообщил мне, что отправляется в Лилль, а торгует опиумом, эликсирами и различными порошками; также срезает мозоли, а иногда даже пускается в дерганье зубов.

— Это хорошее ремесло, но я становлюсь стар, и мне не мешало бы иметь кого-нибудь на подмогу, чтобы носить мешок. Мне именно нужен такой молодец, как ты: здоровые ноги, верный глаз. Если ты хочешь, отправимся вместе.

— Охотно, — отвечал я, и, не делая более никаких условий, мы продолжали путь.

После восьми часов ходьбы наступила ночь, так что мы едва могли разглядеть дорогу, пока наконец остановились пред жалкой деревенской гостиницей. «Вот здесь», — сказал кочующий врач, стуча в дверь.

— Кто там? — окликнул грубый голос.

— Отец Годар, — отвечал мой компаньон; дверь немедленно отворилась, и мы очутились среди различных разносчиков, лудильщиков, паяцев, фокусников и т. п., которые приветствовали

моего нового хозяина и поставили ему прибор. Я думал, что и мне окажут ту же честь, и уже намеревался присесть за стол, когда хозяин гостиницы, фамильярно ударив меня по плечу, спросил, не гаер ли я отца Годара.

— Что разумеете вы под этим словом? — воскликнул я с удивлением.

— Паяц, конечно, — отвечали мне.

Признаюсь, что, несмотря на свежее воспоминание о зверинце и театре марионеток, мне показалась унизительной такая кличка; но, мучимый страшным голодом, рассчитывая на то, что результатом допроса будет ужин, и зная притом, что условия наши с отцом Годаром не были достаточно выяснены, я решился выдать себя за гаера. Действительно, тотчас после ответа хозяин повел меня в соседний покой, где веселая компания курила, пила и играла в карты, и сказал, что мне подадут ужин. Вскоре дебелая служанка принесла мне миску, на которую я накинулся с жадностью. В супе плавал бараний бок и несколько брюкв, что я и истребил в мгновение ока. После этого мне оставалось растянуться, наподобие других гаеров, на связках соломы, в сообществе верблюда, медведей, освобожденных от намордников, и своры ученых собак. Такое

соседство было небезопасно, но приходилось примириться и с этим, хотя я все-таки не мог заснуть; все другие спали блаженным сном.

Таким образом, я стал жить на иждивении отца Годара, и, как ни были плохи помещения и продовольствие, я не желал с ним расстаться, так как приближался к Аррасу. Наконец в один из рыночных дней мы прибыли в Лилль. Отец Годар, не теряя времени, прямо пошел на площадь, велел мне разложить столик, ящички, скляночки, пакетики и предложил созывать покупателей. Этого только недоставало! Я хорошо позавтракал, и такое предложение взбесило меня: мало того что я тащил, как вол, его багаж от Остенде до Лилля, не угодно ли теперь в двух шагах от Арраса выставляться напоказ! Я послал отца Годара ко всем чертям и тотчас же направился к родному городу, колокольня которого не замедлила показаться. Достигнув городского вала ранее сумерек, я приостановился, содрогаясь при мысли о предстоящем свидании; я даже думал было вернуться назад, но был не в силах от усталости и голода; мне необходимо было поесть и успокоиться; не колеблясь более, я побежал в родительский дом. Мать одна была в булочной. Я вошел, бросился на колени и со слезами просил прощенья. Бедная

женщина, почти не узнавшая своего сына, так я изменился, была очень растрогана: она не имела силы оттолкнуть меня и даже как бы забыла все старое. Удовлетворивши моему голоду, она поместила меня в моей прежней комнате. Между тем необходимо было предупредить отца о моем возвращении, а она не имела духу выдержать первый взрыв его гнева. Один из друзей, священник анжуйского полка, взялся уговорить отца, который после сильной вспышки согласился, однако, простить меня. Я страшился его непреклонности, и когда услыхал о прощении, то прыгал от радости. Священник сообщил мне эту новость, сопровождая ее наставлением, по всей вероятности весьма убедительным и трогательным, но я не помню из него ни слова; помню только, что он привел притчу о блудном сыне, — то была почти моя собственная история.

Приключения мои наделали много шуму в городе; каждый желал их услышать от меня самого; но никто не интересовался ими так, как одна актриса и две модистки, которых я весьма часто посещал. Впрочем, актриса вскоре сделалась единственным предметом моих ухаживаний; завязалась интрига, в которой под видом молодой девушки я повторил перед своей возлюбленной

некоторые сцены из Фоблаза. Побег с ней в Лилль, ее муж и хорошенькая горничная, выдававшая меня за свою сестру, показали отцу, как я скоро забыл все напасти моего первого похождения. Отсутствие мое было, впрочем, недолгим: по истечении каких-нибудь трех недель, по недостатку денег, моя возлюбленная отказалась таскать меня вместе со своим багажом. Я спокойно вернулся к домашнему очагу, и отец был окончательно сбит с толку апломбом, с которым я просил его согласия поступить на службу. Ему ничего не оставалось более, как согласиться; он понял это, и на другой же день на мне был мундир бурбонского полка. Моя осанка, бодрый вид, уменье ловко владеть оружием доставили мне привилегию быть немедленно зачисленным в число егерей. Я ранил двух старых служак, вздумавших обидеться на мое назначение, и вскоре сам последовал за ними в госпиталь, будучи ранен их приятелем. Такое начало выставило меня на вид; многие находили удовольствие в том, чтобы наталкивать меня на ссоры, так что в полгода я успел убить двух человек и раз пятнадцать дрался на дуэлях. Я вполне наслаждался счастием, доставляемым гарнизонной жизнью; караул за меня всегда нанимали добрые купцы, дочки кото-

рых наперебой старались угождать мне. Мать не забывала делать свои приношения. К этим щедротам отец, со своей стороны, назначил прибавку к моему окладу, и я находил еще возможность делать долги. Таким образом, я находился в самом блестящем положении и почти не чувствовал дисциплины. Раз меня засадили на две недели в тюрьму за то, что я не явился на три переклички. Я сидел вместе с одним из моих друзей и соотечественников, служившим в нашем же полку и обвиненным в нескольких кражах, в которых он сам сознался. Он мне тотчас же сообщил причину своего ареста. Не могло быть сомнения, что полк не вступится за него; эта мысль и боязнь обесчестить семью приводили его в отчаянье. Мне было жаль его, и, не видя никакого исхода из его бедственного положения, я посоветовал ему избегнуть наказания побегом или самоубийством. Он решился попытать первое, прежде чем прибегнуть ко второму; я же вместе с одним молодым человеком, приходившим меня навещать, поспешил все приготовить к его побегу. В полночь были сломаны два железных запора; мы вывели товарища на вал, и я сказал ему: *«Ну, надо спрыгнуть или быть повешенным»*. Он соображает высоту, колеблется и наконец заявляет,

что готов скорее подвергнуться приговору суда, нежели переломать себе ноги. Он уже намеревался вернуться обратно, когда мы, совершенно для него неожиданно, столкнули его вниз; он кричит, я заставляю его молчать и возвращаюсь в свое подземелье, где наслаждаюсь мыслию, что сделал доброе дело. На другой день заметили его исчезновение, спрашивали меня, но я отделался ответом, что ничего не видел. Много лет спустя я встретился с этим несчастным, который называл меня своим освободителем. От падения он хромал, но сделался честным человеком.

Я не мог всегда оставаться в Аррасе: была объявлена война с Австрией, я отправился со своим полком и вскоре присутствовал при поражении Маркена, закончившемся в Лилле умерщвлением храброго и несчастного генерала Диллона. Затем мы пошли на лагерь Мольда, а после — на лагерь Лу́ны, где под начальством Келлермана выдержали стычку с пруссаками 20 октября. На другой день после этого сражения я был назначен капралом гренадеров; пришлось спрыскивать галуны, что я и исполнил с большим шиком в шинке; но не знаю, каким образом между мною и унтер-офицером роты, из которой я выходил, завязалась ссора; сделанный мною вызов был

принят; но когда дошло до самого дела, то противник мой нашел, что разница в чине не позволяла ему драться со мною. Я стал его принуждать насильно, он пожаловался, и в тот же вечер меня посадили под арест вместе с моим секундантом. Через два дня мы узнали, что нас положено судить военным судом. Приходилось бежать, что мы и сделали. Мой товарищ в куртке, фуражке и под видом солдата, подвергшегося наказанию, шел передо мною; я остался в своей медвежьей шапке, с мешком и ружьем, на котором висел широкий пакет, запечатанный красным сургучом, с надписью: *«Гражданину коменданту крепости Витри-ле-Франс»*. Это был наш паспорт, дававший нам возможность беспрепятственно добраться до Витри, где один жид доставил нам мещанский костюм. В то время стены каждого города были увешаны воззваниями к французам лететь на защиту отчизны; поэтому вербовали кого ни попало. Вахмистр егерей принял наш паспорт; нам дали письменный маршрут, и мы тотчас же отправились в Филиппвилль.

У нас с товарищем очень мало было денег; к счастью, в Шалоне нам представилась неожиданная находка. В одной гостинице с нами жил солдат Божоле. Он пригласил нас вместе выпить.

Это был честный пикардиец; мы объяснились на родном его наречии, и незаметно, со стаканами в руках, между нами установилась такая задушевность, что он показал нам портфель с ассигнациями, говоря, что нашел их в окрестностях Шато-Аббе. «Приятель, — сказал он, — я не умею читать, и, если вы мне расскажете значение этих бумаг, я поделюсь с вами». Он в нас не ошибся: по количеству мы ему отделили львиную долю, но он и не подозревал, что в свою пользу мы удержали девять десятых всей суммы. Это маленькое вспоможение пришло весьма кстати, и наша короткая поездка закончилась весьма веселым образом. По достижении назначения у нас еще были довольно туго набиты карманы. Вскоре мы достаточно изощрились в верховой езде и были отправлены в военные эскадроны. Через два дня по нашем прибытии туда произошла битва при Жемапе. Я не в первый раз был под огнем и не чувствовал страха; смею даже думать, что поведение мое заслужило бы благосклонность начальства, как вдруг капитан наш объявил мне, что, отмеченный в числе дезертиров, я неизбежно буду арестован. Опасность была неминуема; в тот же вечер я оседлал лошадь, чтобы перейти к австрийцам; в несколько минут я достиг их аван-

постов, попросился на службу, и меня записали в кирасиры. Меня более всего страшила необходимость схватки с французами, и я постарался избежать ее. Притворившись больным, я провел несколько дней в госпитале, после чего предложил давать уроки фехтованья гарнизонным офицерам. Они с удовольствием согласились и тотчас же вручили мне маски, перчатки, рапиры. Я померился с двумя немецкими лучшими фехтовальщиками, одержал верх и тем внушил высокое мнение о моем искусстве. Вскоре я приобрел множество учеников и загребал изрядные денежки.

Я гордился своими успехами, как вдруг однажды, вследствие крупной ссоры с дежурным бригадиром, меня приговорили к двадцати ударам, которые, по обычаю, отсчитывали на параде. Это привело меня в ярость, и я отказался давать уроки. Мне было приказано продолжать их по-прежнему, под угрозою вторичного наказания. Я без сомнения предпочел продолжать уроки; но понесенное посрамление залегло на душе, и я решился во что бы то ни стало избавиться. Узнавши, что один лейтенант отправлялся в главную армию, к генералу Шредеру, я просил его взять меня с собой в качестве денщика; он согласился,

надеясь найти во мне преданного человека, но ошибся в расчетах: при приближении к Кенуа я бежал от него и направился в Ландреси, где выдал себя за бельгийца, оставившего прусские знамена. Мне предложили вступить в кавалерию; страшась быть узнанным и расстрелянным, если бы случилось столкнуться с прежним волком, я предпочел 14-й легкий. Армия Сабре и Мезе выступала тогда на Экс-ла-Шапель; рота, к которой я принадлежал, получила повеление следовать за ней. Мы отправились, и по вступлении в Рокруа сошлись с 11-м егерским полком. Я считал себя окончательно погибшим; но старый мой капитан, свидания с которым я не мог избежать, поспешил меня разуверить: он сказал, что амнистия избавила меня от всякого преследования и что он с удовольствием снова готов принять меня под свое начальство. Я отвечал, что сам рад бы был этому; он взялся устроить дело, и я был снова помещен в 11-й полк. Старые приятели приняли меня весьма дружелюбно; я не менее того был рад свидеться с ними и был бы вполне счастлив, если бы любовь, также немало содействующая этому счастию, не вздумала разыграть со мною одну из своих проказ. Читатель не удивится, конечно, что в семнадцать лет я покорил сердце экономки од-

ного старого холостяка. Ее звали м-ль Манон; она была почти вдвое старше меня и потому страстно меня полюбила; она способна была на всякие жертвы; ничего не жалела для меня и, находя меня красивейшим из егерей, желала еще, чтобы я был хорошо одет. Она подарила мне часы, и я с тщеславием молодости украшался кое-какими драгоценными вещами, служившими залогом внушаемой мною привязанности. Вдруг я узнаю, что Манон обвиняется хозяином в домашнем воровстве. Она созналась в своем преступлении и вместе с тем, страшась, что после ее осуждения я перейду в руки другой женщины, назвала меня сообщником и даже показала, будто я помогал ей. Во всем этом было много вероятного; я был замешан в преступлении и весьма бы затруднялся оправдаться, если бы случай не помог найти несколько писем, из которых вполне выяснялась моя невинность. Сконфуженная Манон отреклась от своей клеветы, и я вышел белее снега из тюрьмы Стенай. Капитан, считавший и прежде меня невиновным, был очень рад моему возвращению, но товарищи не хотели простить мне того, что я был заподозрен, и в десять дней у меня было по крайней мере десять дуэлей за их различные намеки и колкости. Наконец, жестоко раненный,

я попал в госпиталь, где пробыл более месяца. Начальство, предвидя, что ссоры не замедлят возобновиться, если я не удалюсь куда-нибудь на время, дало мне отпуск на шесть недель. Я отправился в Аррас, где с большим удивлением нашел отца, занимающего общественную должность: как бывшему булочнику ему поручено было смотреть за провиантными магазинами, где он не должен был допускать расхищения хлеба. Во время голода исполнение подобной обязанности, хотя он служил и безвозмездно, сопряжено было с большими опасностями и, по всей вероятности, привело бы отца моего на гильотину, если бы не покровительство гражданина Суама[1], начальника 2-го батальона.

По окончании отпуска я отправился в Живе, откуда полк вскоре командировали в графство Намур. Нас разместили по квартирам в деревеньках по берегам Мааса; а так как австрийцы были на виду, то не проходило дня без какой-либо стычки; одною из них, более серьезной, мы были отодвинуты к Живе, и при отступлении я был ранен в ногу, вследствие чего пролежал в госпитале, а затем остался при резерве. Около этого времени

---

[1] Примечания: 1

Бывшего впоследствии генерал-лейтенантом. *(Примеч. авт.)*

проходил *германский легион*, состоявший главным образом из дезертиров, фехтмейстеров и проч. Один из главных начальников предложил мне вступить в их отряд с чином вахмистра. «Коль скоро вы будете у нас при должности, — сказал он, — то будете совершенно ограждены от всяких преследований». Уверенность в безопасности, вместе с воспоминаниями о неприятных последствиях интимности с Манон, заставила меня решиться: я принял предложение и на другой день был уже на дороге к Фландрии. Без сомнения, служа в этом отряде, где быстро можно было повышаться, я был бы офицером; но рана моя открылась со столь опасными признаками, что пришлось снова проситься в отпуск. Через шесть дней я прибыл в Аррас.

Глава вторая

Иосиф Лебон. – Казнь на гильотине. – Гражданка Лебон и ее воззвание к санкюлотам. – Новые любовные интриги. – Мое заключение и освобождение. – Сестра моего освободителя. – Я произведен в офицеры. – Завоевание обеда с помощью барабанного концерта. – Ночное посещение влюбленной старухи. – Революционная армия. – Отнятие судна у австрийцев. – Вероломство моей невесты. – Ложная беременность и моя женитьба. – Измена жены

При вступлении в город я был поражен отпечатком уныния и ужаса на всех встречавшихся физиономиях; на мой вопрос о причине на меня смотрели недоверчиво и отходили молча. Что такое необыкновенное могло произойти? Едва пробираясь сквозь толпу, сновавшую по мрачным и кривым улицам, я скоро достиг площади Рыбного рынка. Первое, бросившееся мне в глаза, была гильотина, грозно возвышавшаяся над безмолвной толпой. Перед ней был старик,

которого привязывали к роковой доске. Вдруг раздались трубные звуки. На эстраде, занятой оркестром, сидел молодой человек в фуфайке с черными и голубыми полосками; осанка его скорее напоминала монашеские привычки, а не военные, а между тем он небрежно опирался на кавалерийскую саблю, громадный эфес которой изображал шапку свободы; ряд пистолетов украшал его пояс, а на шляпе его, надетой на испанский манер, развевалось трехцветное перо. То был Иосиф Лебон. В данную минуту его гнусная физиономия оживилась ужасной улыбкой; он перестал бить такт своей левой ногой, трубы замолкли, и по его мановению старик был положен под нож. Тогда перед *Мстителем за народ* предстала личность, нечто вроде полупьяного актуариуса, которая хриплым голосом прочла приговор рейномозельской армии. При каждом параграфе оркестр брал аккорд, а по окончании голова несчастной жертвы упала при криках «Да здравствует республика!», повторяемых соучастниками свирепого Лебона.

Не могу выразить впечатления, произведенного на меня этой ужасной сценой. Я пришел к отцу почти в таком же потрясающем состоянии, как тот несчастный, чья продолжительная аго-

ния была сейчас перед моими глазами. Я узнал, что казненный был г. Монгон, прежний комендант крепости, осужденный за аристократизм. Несколько дней тому назад на том же месте казнили г. Вие-Пон, все преступление которого заключалось в том, что у него был попугай, крики которого показались похожими на восклицание: «Да здравствует король!» Попугаю грозила одинаковая участь с его господином, но он был пощажен только благодаря заступничеству гражданки Лебон, которая обязалась обратить его на путь истинный. Гражданка Лебон была монахиней аббатства Вивье. В этом отношении, равно как и во многих других, она была достойной супругой бывшего невильского священника. Она имела большое влияние на членов комиссии Арраса, где заседали в качестве судей и присяжных ее шурин и трое дядей. Бывшая монахиня столько же жадна была до золота, как и до крови. Раз во время спектакля она решилась произнести в партере следующую тираду: «А что, санкюлоты, пожалуй, скажут, что гильотина не для вас! Что же вы зеваете! Нужно искать и выдавать врагов отчизны. Если вы откроете какого-нибудь дворянина, богача, купца, аристократа, донесите на него и получите его деньги». Злодейство этого

чудовища равнялось только злодейству ее мужа, предавшегося всевозможным излишествам. Часто после какой-нибудь оргии он бегал по городу, обращаясь с непристойными шутками к проходящим, потрясая саблей над головой и стреляя из пистолета над ушами женщин и детей.

Его обыкновенно сопровождала, и нередко даже под ручку, старая торговка яблоками, в красном чепце, с рукавами, засученными до самых плеч, и с длинной ореховой палкой в руках. Эта женщина, прозванная мать Дюшен, подобно знаменитому отцу Дюшену, на многих демократических празднествах изображала богиню свободы. Она аккуратно посещала заседания комиссии и, так сказать, подогревала ее приговоры своими обвинениями и бранью. По ее милости опустела целая улица, жители которой все погибли на гильотине.



Я часто спрашиваю себя, каким образом при плачевных, ужасных событиях страсть к удовольствиям и развлечениям остается во всей силе? Аррас доставлял мне те же развлечения, как и прежде. Девицы там были так же доступны, в чем легко было убедиться, потому что в течение нескольких дней я значительно успел в своих

любовных интригах, начиная с молодой и хорошенькой Констанции, единственной отрасли капрала Латюлин, шинкаря крепости, до четырех дщерей нотариуса, имевшего контору на углу Капуцинской улицы. Все было бы отлично, если бы я ограничился этим, но я вздумал обратить свои взоры на красавицу с улицы Правосудия и не замедлил встретить на своем пути соперника. Это был старый полковой музыкант, который, не хвастаясь своими успехами, давал, однако, понять, что ему ни в чем не отказывали. Я обозвал его хвастунишкой, он рассердился, я вызвал его на дуэль, на что он и внимания не обратил. Наша ссора уже совсем была забыта, как вдруг я узнаю, что он распускал про меня оскорбительные слухи. Я прямо обратился к нему за разъяснением, но тщетно; он до тех пор не соглашался на поединок, пока я не дал ему пощечины при свидетелях. Свидание назначено было на следующее утро. Я хотел явиться аккуратно к назначенному времени, но едва достиг места поединка, как был окружен отрядом жандармов и муниципальных чиновников, которые овладели моей саблей и велели следовать за собою. Я повиновался и вскоре очутился в Боде, назначение которого очень изменилось с тех пор, как террористы подчинили

жителей Арраса своим порядкам. Привратник Бопре, в красном колпаке, сопровождаемый неотлучно двумя огромными черными псами, отвел меня в обширное помещение, где содержались под его надзором лучшие из местных жителей. Лишенные всяких сношений с внешним миром, мы едва могли питаться, да и то пища проходила сквозь наистрожайший осмотр Бопре, который простирал осторожность до такой степени, что опускал в суп свои страшно грязные руки, чтобы удостовериться, нет ли там какого оружия или ключа. Если кто осмеливался роптать, ему говорили:



— Ты что-то взыскателен, а между тем много ли времени тебе остается жить на свете? Как знать, не завтра ли твоя очередь? Как зовут-то тебя?

— Так-то.

— Ну так и есть, что завтра.

Подобным предсказаниям Бопре тем легче было сбываться, что он сам назначал жертвы Лебону, который после обеда обыкновенно обращался к

нему с вопросом: «Кого мы завтра отправим?»

В числе дворян, заключенных с нами, находился граф Бетун. Когда за ним пришли, чтобы вести его на суд, Бопре резко сказал ему:

— Гражданин Бетун, так как ты отправляешься *туда,* то передашь мне все, что у тебя останется здесь?

— Охотно, господин Бопре, — спокойно отвечал старик.

— Господ нет более, — насмешливо заметил презренный тюремщик, — мы все граждане, — и из двери он опять закричал ему: — Прощайте, гражданин Бетун!

Однако же Бетун был только оставлен в подозрении и приведен снова в тюрьму. Его возвращение чрезвычайно нас обрадовало. Мы уже считали его спасенным, как вдруг вечером он опять был призван. Оправдательный приговор был произнесен в отсутствие Иосифа Лебона. Вернувшись из деревни и узнав, что из его рук ускользнула жизнь столь честного человека, он немедленно приказал собраться членам комиссии. Следствием этого было то, что старик был казнен при свете факелов.

Это происшествие, которое нам Бопре передал со свирепым злорадством, возбудило во мне силь-

ное беспокойство. Ежедневно водили на казнь людей, столь же мало, как и я, знавших о причине их ареста, и занятие и общественное положение которых исключали возможность заподозревать их в политических замыслах. С другой стороны, Бопре, весьма точный относительно количества, мало заботился о качестве виновных. Случалось даже, что, не имея под руками названных в приговоре личностей, он посылал первых попавшихся, стараясь только о том, чтобы служба не терпела упущений. Таким образом, я ежечасно мог попасть под руку Бопре, а подобное ожидание не имело в себе ничего успокоительного.

Уже прошло две недели со времени моего заключения, когда нам объявили о визите Лебона. Его сопровождали жена и главные террористы края, между которыми я узнал старого отцовского парикмахера и чистильщика колодцев Дельмота. Я просил их замолвить словечко в мою пользу; они обещали, и я мог тем более надеяться, что оба они пользовались большим влиянием.



Иосиф Лебон пробежал зал, свирепо обращаясь к заключенным с различными страшными допросами, видимо стараясь их запугать. Наконец, подойдя ко мне, он пристально посмотрел на меня и сказал, отчасти грубо, отчасти насмешливо: «А, а, это ты, Франсуа! Ты намереваешься разыгрывать аристократа и дурно отзываешься о республиканцах... Ты жалеешь о своем старом бурбонском полке... Берегись... я могу тебя

отправить распоряжаться гильотиной. Кстати, пришли мне свою мать». Я сказал, что, находясь в секретном отделении, не могу с ней видеться. На это Лебон обратился к Бопре со следующими словами: «Бопре, ты введешь госпожу Видок». И он вышел, оставя меня с надеждой в душе, судя по особенно любезному обхождению со мной. Через два часа после того пришла моя мать. Она открыла мне, чего я еще не знал, — что доносчиком моим был музыкант, вызванный мною на дуэль. Донос был в руках ярого якобинца, террориста Шевалье, который, из дружбы к моему противнику, конечно, не пощадил бы меня, если бы сестра его, тронувшись слезными мольбами моей матери, не упросила его ходатайствовать о моем освобождении.

По выходе из тюрьмы я был торжественно приведен в патриотическое общество, где меня заставили поклясться в верности республике, в ненависти к тиранам. Я поклялся во всем. На какие жертвы человек ни решится для сохранения своей свободы!

По окончании этих формальностей я снова был возвращен в резерв, где товарищи встретили меня с большой радостью. Было бы неблагодарностью с моей стороны не считать Шевалье

моим освободителем. Я пошел его благодарить и старался высказать его сестре, как признательно отношусь за ее внимание к бедному узнику. Эта женщина, страстнейшая из всех брюнеток, но черные очи которой не могли вознаградить некрасивую наружность, вообразила, что я в нее влюблен; она приняла буквально несколько сделанных мною комплиментов и с первого же свидания так ошиблась насчет моих чувств, что остановила на мне свой выбор. Зашел разговор о нашем соединении; обратились к моим родителям, которые отвечали, что в восемнадцать лет слишком рано жениться, и дело было отложено в дальний ящик. Между тем в Аррасе были организованы реквизиционные батальоны. Пользуясь репутацией отличного преподавателя, я назначен был с семью другими унтер-офицерами обучать 2-й батальон Па-де-Кале; в числе их был гренадерский капрал лангедокского полка по имени Цезарь, впоследствии полевой сторож в Коломбе или Пюто, близ Парижа; он назначен был полковым адъютантом. Я же был произведен в чин подпоручика по прибытии в Сен-Сильвестр-Капеллу, где мы расположились квартирами: Цезарь был фехтмейстером в своем полку, а мои подвиги с гусарами читатель, вероятно, помнит.

Мы порешили, кроме теории, преподавать батальонным офицерам фехтованье. Хотя наши уроки доставляли кое-какие деньги, но их далеко не хватало на потребности или, лучше сказать, на все наши фантазии. Особенно чувствовался недостаток в съестных припасах, и скудость нашего питания была еще более ощутительна потому, что мэр, у которого мы с товарищем квартировали, имел у себя превосходный стол. Тщетно пытались мы втереться в дом: старая экономка, Сикса, отстраняла нашу услужливость и разрушала наши гастрономические планы; мы оставались голодными и обезнадеженными.

Наконец Цезарь открыл секрет, каким образом разрушить непреодолимое очарование, отделявшее нас от вкусного обеда муниципального офицера. По наущению моего изобретательного сотоварища, в одно прекрасное утро пред окнами ратуши тамбурмажор вдруг принялся выбивать зо́рю; можете себе представить эту оглушительную трескотню. Старая мегера не замедлила обратиться к нашему посредничеству для прекращения содома. Цезарь ласкательным тоном обещал употребить со своей стороны все возможное, чтобы это не повторялось более, а сам побежал сказать, чтобы завтра не преминули сде-

лать то же; и на следующее утро отчаянный бой барабана, казалось, намерен был разбудить всех мертвецов с соседнего кладбища. В довершение всего Цезарь послал тамбурмажора упражняться за нашим домом над обучением своих учеников. Кто бы выдержал такую пытку? И старуха сдалась, любезно пригласив нас к себе; но этого было мало: барабаны продолжали свой концерт до тех пор, пока их почтенный глава вместе с нами не был принят за муниципальную трапезу. С тех пор в Сен-Сильвестр-Капелле не слыхать было барабанов, исключая тех случаев, когда проходили войска, и все жили в мире, кроме меня, которому начала угрожать устрашающая благосклонность старухи. Эта несчастная страсть привела к происшествию, о котором, вероятно, еще помнят в стороне, где оно наделало так много шуму.

Был праздник в деревне: пели, танцевали, а особенно пили, как и водится, и я наугостился так ловко, что меня отнесли домой и уложили в постель. На другой день я проснулся до рассвета. Как и всегда после попойки, голова была тяжела, во рту нагорело, желудок находился в раздраженном состоянии. С намерением напиться я приподнимаюсь и вдруг чувствую, что шею мою обхватила рука, холодная, как колодезный

канат. При отуманенной голове, не зная, на что подумать, я неистово закричал. Мэр, спавший в соседней комнате, прибегает вместе с братом и слугою, вооруженные палками. Цезарь еще не возвращался. Некоторая доза размышления позволила мне уже догадаться, что ночной посетитель был не кто иной, как Сикса; но, притворяясь испуганным, я сказал, что кто-то улегся со мной. Тогда непрошеного призрака начинают угощать палкой, и Сикса, видя, что дело плохо, закричала: «Что вы, что вы, господа! Не бейте, это я, Сикса; в бреду я зашла к господину офицеру». И она высунула свою голову, что было весьма благоразумно, потому что хотя по голосу ее и узнали, но суеверные фламандцы, очевидно, не прекратили бы потасовки. Я сказал уже, что происшествие, олицетворившее некоторые сцены из романов «Мой дядя Фома» и «Бароны Фельсгеймы», наделало шуму и дошло до Касселя, которому я обязан многими удачами, между прочим благосклонностью одной продавщицы в кафе-ресторане.

Мы уже стояли три месяца, когда дивизия получила повеление отправиться на Стенвард. Австрийцы сделали отвод, чтобы направиться на Поперинген, и второй батальон Па-де-Кале был

поставлен на первом месте. На следующую ночь по нашем прибытии неприятель напал врасплох на наши аванпосты и проник в самую деревню Ла-Белль, занимаемую нами. Мы наскоро выстроились в боевой порядок. При этой ночной схватке наши молодые рекруты выказали то понимание и ту деятельность, которые отличают только одних французов. Около шести часов утра эскадрон гусар Вурмзера вышел с левой стороны и начал перестрелку; в то же время следовавшая за ним колонна инфантерии встретила нас штыками; но уже после сильной схватки неравенство в числе заставило нас отступить к Стенварду, где находилась главная квартира.

По прибытии туда я получил поздравление от генерала Вандамма и билет в госпиталь Сент-Омера, потому что я получил две раны саблей, отбиваясь от австрийского гусара, который надсадился, кричавши мне: «Сдайся! Сдайся!»

Со всем тем раны мои были не особенно опасны, потому что через два месяца я мог присоединиться к батальону, находившемуся в Газебруке. Там я познакомился со странным корпусом, известным под именем *революционной армии*. Люди с пиками и красными шапками, составлявшие ее, повсюду носили с собой гильотину. Кон-

вент не нашел лучшего внушающего средства к укреплению верности в офицерах четырнадцати действующих армий, как показывать им орудие пытки, назначаемое изменникам. Я могу только сказать, что этот мрачный аппарат наводил неописанный ужас на местное население тех стран, где его провозили; не более того был он по сердцу солдатам, и мы зачастую ссорились с санкюлотами, которых звали *гвардией корпуса гильотины*. Я со своей стороны угостил пощечиной одного из их начальников, который вздумал найти предосудительным, что у меня золотые эполеты, тогда как по уставу надо было носить полотняные. За этот прекрасный подвиг я, конечно, дорого бы поплатился, если бы мне не дали средство достигнуть Касселя. Туда же прибыл наш отряд, который распустили, как и все реквизиционные батальоны; офицеры сделались простыми солдатами, и в этом чине я был отправлен в 28-й батальон волонтеров, который составлял часть армии, назначенной выгнать австрийцев из Валансьена и Конде.

Батальон квартировал во Фресне. На ферму, где отведена была мне квартира, однажды приехало семейство судохозяина, состоящее из мужа, жены и двух детей, в числе которых была

восемнадцатилетняя девушка, невольно обращавшая на себя внимание своей прелестной наружностью. Австрийцы отняли у них судно с овсом, составлявшим все их достояние, и эти бедные люди, оставшись только с тем, что на них было, не имели другого убежища, кроме этой фермы, принадлежавшей их родственнику. Их несчастное положение, а может быть, и красота девушки заставили меня принять в них участие. Отправившись на поиски, я увидал судно, которое неприятель опрастывал не вдруг, а по мере раздачи овса солдатам. Я предложил двенадцати товарищам отнять у австрийцев их добычу; они согласились, полковник дал свое позволение, и в одну дождливую ночь мы приблизились к лодке, не будучи замечены караульным, которого пятью ударами шашки отправили к праотцам. Жена судохозяина, пожелавшая непременно идти со мною, тотчас же побежала к мешку флоринов, который она спрятала в овсе, и дала мне его нести. Потом отвязали лодку, чтобы провести ее к тому месту, где у нас был укрепленный караул; но едва только она поплыла, как мы были встречены возгласом часового, спрятавшегося в камышах. При выстреле из ружья, сделанного им за вторым вопросом, соседний караул взялся за

оружие; вмиг берег покрылся солдатами, осыпавшими лодку градом пуль. Пришлось ее оставить. Я и товарищи мои бросились в какую-то шлюпку и с ней причалили благополучно к берегу, но судохозяин, о котором в суматохе забыли, попал в руки австрийцев, не жалевших для него ни кулаков, ни палочных ударов. Жена же его вернулась с нами. Во всяком случае, эта попытка стоила нам трех человек, и у меня самого оторвало пулей два пальца. Дельфина ухаживала за мной самым усердным образом. Мать ее поехала в Гент, куда отправили ее мужа в качестве военнопленного, а мы с Дельфиной прибыли в Лилль, где я начинал выздоравливать. Так как у Дельфины была часть денег, найденных в овсе, то мы могли вести довольно веселую жизнь. Стали мы подумывать о свадьбе, и дело так пошло на лад, что я уже отправился в Аррас за необходимыми бумагами и за благословением родителей. Дельфина же получила согласие своих, которые все еще оставались в Генте. За милю от Лилля я вдруг вспомнил, что забыл свой госпитальный билет, который мне необходимо было предъявить в муниципалитет. Пришлось вернуться назад. Приехав в гостиницу, подхожу к нашему номеру, стучусь, — никто не отвечает; между тем Дельфина не могла выйти

из дому так рано: еще не было шести часов. Стучу еще; наконец она отворяет мне с распростертыми объятиями и протирая глаза, как человек, внезапно вскочивший со сна. Для испытания я предлагаю ей ехать вместе в Аррас, чтобы представить ее своим родителям; она спокойно соглашается. Мои подозрения почти рассеялись, но внутренний голос говорил мне, что она меня обманывает. Наконец я заметил, что она часто поглядывает на гардероб; я намереваюсь его отворить, но невинная девушка сопротивляется, выставляя один из тех предлогов, который всегда в распоряжении женщин. Я настаиваю, отворяю и нахожу под кучей грязного белья доктора, который меня лечил. Он был стар, безобразен и неопрятен: в первую минуту меня охватило чувство оскорбления ввиду подобного соперника; может быть, я пришел бы в бешенство, если бы то был красивый мужчина; предоставляю судить об этом тем, кто сам находился в подобном положении. Я было хотел укокошить счастливого эскулапа, но благоразумие, посещавшее меня довольно редко, остановило меня. Мы были в разгаре войны, можно было придраться к моему виду и наделать мне неприятностей; притом Дельфина не была моей женой, я не имел на нее

никаких прав. Ввиду всего этого я ограничился тем, что ногой вытолкал ее в двери, выбросил за окно ее тряпки и кой-какие мелочи, чтобы она могла отправиться в Гент. Остальные деньги я считал вполне справедливым присвоить себе, так как я руководил знаменитой экспедицией. Я забыл сказать, что позволил доктору спокойно оставить свое убежище.

Избавившись от изменницы, я продолжал оставаться в Лилле, хотя срок позволения на то кончился; но в Лилле почти так же легко скрываться, как в Париже, и мое житье ничем бы не было возмущено без одного любовного приключения, о котором не стану распространяться. Достаточно сказать, что остановленный в женском костюме в момент бегства от ревнивого мужа, я был приведен на площадь, где сначала упорно отказывался от объяснений; признаваясь, я действительно или должен был погубить женщину, или выдать себя как дезертира. Но, однако, несколько часов пребывания в тюрьме заставили меня изменить решение. Штаб-офицер, которого я призвал выслушать мое признание и которому откровенно объяснил свое положение, по-видимому, принял во мне участие. Генерал, начальник дивизии, пожелал выслушать мой

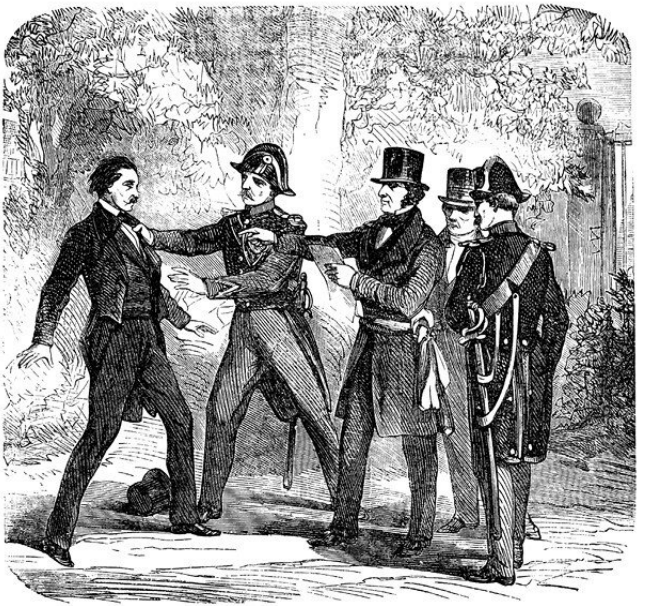
рассказ от меня самого и, слушая, помирал со смеху. Затем велел выпустить меня на свободу и дал мне письменный маршрут для присоединения к 28-му батальону в Брабанте; но вместо того я вернулся в Аррас с твердым намерением поступить на службу не иначе как в последней крайности.

Первый мой визит был к патриоту Шевалье; его влияние на Иосифа Лебона заставляло меня надеяться получить при его посредстве продолжение отпуска, что и действительно было сделано, и я снова вошел в сношения с семьей моего благодетеля. Сестра его, благосклонность которой ко мне уже известна, удвоила свое ухаживанье; с другой стороны, видя ее беспрестанно, я нечувствительно привыкал к ней и не замечал ее безобразия; словом, дела приняли такой оборот, что я не мог быть особенно удивлен, когда она вдруг объявила мне, что беременна; она не говорила о браке, даже не заикалась о нем; но я видел, что без него обойтись нельзя; иначе я рисковал подвергнуться мщению ее брата, который бы выдал меня за подозрительного аристократа и особенно за дезертира. Мои родители, пораженные всеми этими обстоятельствами и надеясь иметь меня при себе, согласились на брак, который семей-

ство Шевалье старалось наивозможно ускорить. Таким образом, мне пришлось-таки жениться в восемнадцать лет. Я уже рассчитывал быть и отцом, когда жена созналась мне, что беременность была вымышленная с целью только заставить меня жениться. Можно себе представить, как приятно мне было выслушать подобное признание; но те же самые причины, которые вынудили меня жениться, заставляли и теперь молчать, что я сделал, затая бешенство в душе. Вообще наш союз состоялся при довольно плохих обстоятельствах. Мелочная лавка, открытая моей женой, шла весьма дурно; я приписывал это частому отсутствию моей жены, которая целые дни просиживала у брата; я стал было делать замечания и в ответ на них получил повеление вернуться в Дорник. Я мог бы и пожаловаться на такую милую манеру отделываться от докучливого мужа, но я так был отягощен игом Шевалье, что с радостью надел мундир, который прежде снял с таким удовольствием.

В Дорнике старый офицер бурбонского полка, в то время генерал-адъютант, зачислил меня в свою канцелярию по административной части, преимущественно по обмундированию войск. Вскоре дела по дивизии потребовали отправле-

ния верного человека в Аррас; я еду на почтовых и приезжаю в город в одиннадцать часов вечера. Движимый чувством, которое трудно объяснить, бегу прямо к жене, где долго стучусь, не получая ответа. Наконец уже сосед отворяет мне, и чрез аллею я быстро приближаюсь к комнате жены. Меня поражает звук упавшей сабли; затем открывается окно и на улицу выпрыгивает человек. Понятно, что меня узнали по голосу. Я опрометью сбегаю с лестницы и настигаю ловеласа, в котором узнаю полкового адъютанта 17-го егерского полка, находящегося в шестимесячном отпуску в Аррасе. Он был полураздет; я возвращаю его в спальню, где он заканчивает свой туалет, и мы расстаемся с условием драться на другой день.



Эта сцена наделала тревоги во всем квартале: многие соседи, сбежавшиеся к окнам, видели, как я ловил адъютанта, слышали его сознание.

Стало быть, недостатка в свидетелях не было, и можно было подать заявление и хлопотать о разводе, что я и намеревался сделать; но семья моей целомудренной супруги тотчас стала поперек дороги и начала парализовать все мои попытки. На следующий же день, не успевши сойтись с полковым адъютантом, я был остановлен городовыми и жандармами, которые уже поговаривали о заключении меня в Боде. К счастью, я не терял бодрости; хорошо сознавая, что в моем положении не было ничего угрожающего, попросил привести себя к Иосифу Лебону, и мне не могли отказать в этом. Я предстал пред народным представителем, которого застал за грудой писем и бумаг. «Так это ты, — сказал он, — приезжаешь сюда без позволения... да еще вдобавок, чтобы обижать свою жену!..» Я тотчас сообразил, что надо отвечать; показал свой ордер, привел свидетельство соседей и самого полкового адъютанта, который не мог отречься. Словом, я так ясно рассказал свое дело, что Лебону пришлось сознать мою правоту. Но из угождения своему другу Шевалье он просил меня не оставаться долее в Аррасе, и так как я боялся, чтобы ветер не подул в другую сторону, чему знал немало примеров, то и сам желал наивозможно скорее последовать

этому. Выполнивши возложенное на меня поручение и простившись со всеми, на другой день с рассветом я был на дороге в Дорник.

Глава третья

Встреча со старыми знакомыми из кофейной. – Пребывание в Брюсселе. – Знакомство с шулерами. – Фальшивое имя и фальшивые документы. – Знакомство с действующей армией. – Баронесса и сын булочника. – Парижская кокотка

Не найдя в Дорнике генерал-адъютанта, который поехал в Брюссель, я на другой же день взял дилижанс и отправился за ним. В дилижансе с первого взгляда я заметил трех лиц, с которыми познакомился еще в Лилле и которые целые дни проводили в кофейной, существуя на весьма подозрительные средства. К великому удивлению, я их увидал в мундирах различных корпусов: одного с эполетами полковника, другого в мундире капитана, а третьего в мундире лейтенанта. Откуда могли они запастись мундирами, так как нигде не служили? Я терялся в догадках. Они со своей стороны сначала как будто несколько смутились от неожиданной встречи со мной, но скоро оправились и выказали дружеское

удивление при виде меня простым солдатом. Когда я растолковал, каким образом распущение реквизиционных батальонов заставило меня потерять чин, подполковник обещал свое покровительство, которое я охотно принял, не зная, однако, что думать о покровителе; я видел только одно, что он был при деньгах и платил за всех за табльдотом, где выказывал самый ярый республиканизм, давая в то же время понять, что он принадлежит к древней фамилии.

В Брюсселе я не был счастливее, чем в Дорнике: генерал-адъютант, как бы бегавший от меня, отправился в Люттих. Еду в этот город, рассчитывая, что это наконец не будет напрасная поездка; приезжаю, — он успел накануне отправиться в Париж, где ему надо было присутствовать на Конвенте. Отсутствие его должно было продлиться долее двух недель. Я решился ждать. Проходит срок — он не возвращается; проходит еще месяц — все нет и нет. Деньги так и плывут из рук самым бестолковым образом. Наконец я положил вернуться в Брюссель, где надеялся гораздо легче найти выход из затруднения. Откровенность, с которой я решился рассказать всю свою историю, заставляет меня сознаться, что я не был особенно безукоризненным, а отвратительное общество

гарнизонных солдат, которое я посещал с самого детства, извратило бы даже лучшую натуру.

Поэтому я без особенно щекотливой совестливости поселился в Брюсселе у знакомой кокотки, которая, после того как ее покинул генерал Вандер-Нотт, сделалась почти публичной женщиной. Праздный, как все люди, не имеющие прочного положения, я проводил целые дни в Café Turc и Café Monnaie, где преимущественно собирались всевозможные плуты и шулера; эти люди сорили деньгами, играли в отчаянные игры, и, так как у них не имелось никаких известных средств, я не мог постичь, каким образом они могли вести такую роскошную жизнь. Один молодой человек из моих друзей, к которому я обратился с вопросом на этот счет, был очень удивлен моей неопытностью, и мне весьма трудно было убедить его, что это неведение было искренне. «Люди, которых вы здесь видите ежедневно, — не что иное, как мошенники; остальные же, приходящие на один раз, суть жертвы их обмана, которые, раз потерявши свои деньги, не приходят более». Узнавши это, я стал многое замечать, что прежде ускользало от меня; я видел невероятное плутовство и часто порывался предупредить несчастных, которых обирали, что доказывает, что во мне еще не все

доброе угасло. Шулера не замедлили догадаться насчет этого. Раз вечером в Café Turc составилась партия, в которой gonse (так звали простаков, допускавших себя обыгрывать), потерявши сто пятьдесят луидоров, сказал, что желает завтра отыграться, и вышел. Едва он был за дверью, как выигравший, которого я и теперь постоянно видаю в Париже, подошел ко мне и сказал самым обыкновенным тоном: «По правде сказать, мы счастливо играли, и вы недурно сделали, что вошли в долю со мной; я выиграл десять партий… на четыре кроны, данных вами, вот десять луидоров… возьмите их». Я заметил ему, что он ошибается, что я совсем не принимал участия в игре; вместо ответа он положил мне в руку десять луидоров и отошел. «Возьмите, — сказал мне молодой человек, посвятивший меня в игорные тайны и сидевший возле меня, — возьмите и следуйте за мною». Я машинально его послушался, и когда мы были на улице, он продолжал: «Они заметили, что вы следите за игрой, и страшатся, чтобы вы не угадали тайну, а так как вас нельзя застращать, потому что у вас здоровый кулак, то и решились дать вам часть барышей. С этой поры будьте спокойны насчет своего существования: двух кофейных с вас совершенно достаточно,

потому что вы можете от них получать, подобно мне, от четырех до шести крон в день». Несмотря на то что моя совесть вполне мирилась с этим, я нашел нужным возражать и делать замечания. «Вы просто ребенок, — сказал мой почтенный друг, — это совсем не воровство… а просто, что называется, поправлять свои делишки… и поверьте, что подобные вещи совершаются точно так же в салонах, как и в таверне… Здесь плутуют — это принятое выражение… А не то ли же самое делает негоциант, который счел бы за преступление лишить вас малейшего процента и вместе с тем спокойно надувает в игре?» Что отвечать на столь основательные доводы? Ничего. Остается только оставить у себя деньги, что я и сделал.

Эти маленькие доходы вместе с сотней талеров, высылаемых матерью, позволили мне жить с некоторым шиком и выказать свою благодарность Эмилии, привязанность которой не оставалась без сочувствия с моей стороны. Следовательно, мои дела шли довольно хорошо, но однажды вечером я был остановлен в театре парка несколькими полицейскими агентами, которые требовали показать мой паспорт. Для меня это было бы опасно, и я отвечал, что у меня его нет. Меня отвели в Маделонет, и на следующий

день при допросе я понял, что меня совсем не знали или принимали за другого. Поэтому я назвал себя Руссо, лилльским уроженцем, и прибавил, что, отправившись в Брюссель просто ради развлечения, я не счел нужным брать с собой свои документы. В заключение я просил назначить двух жандармов для сопровождения меня до Лилля на мой счет; а последние за несколько крон позволили и бедной Эмилии ехать со мною.

Хорошо было выбраться из Брюсселя, но еще важнее было не показываться в Лилль, где меня неизбежно задержали бы как дезертира. Надо было бежать во что бы то ни стало; так думала и Эмилия, которой я сообщил свой план, исполненный нами в Дорнике. Приехав туда, я сказал жандармам, что так как завтра, по приезде в Лилль, где я тотчас же должен был получить свободу, нам приходилось расстаться, то я намерен угостить их на прощанье хорошим ужином. Уже заранее очарованные моей щедростью и веселым расположением, они охотно согласились. Вечером, когда опьяненные пивом и ромом, думая, что и я нахожусь в таком же состоянии, они заснули за столом, я, воспользовавшись этим случаем, на простынях спустился из окна второго этажа. Эмилия следовала за мною, и мы отправи-

лись проселочной дорогой, где даже не пришло бы и в голову нас отыскивать. Таким образом мы достигли предместья Нотр-Дам в Лилле, где я облекся в шинель конных егерей и наложил на левый глаз черную тафту с пластырем, что делало меня неузнаваемым. Несмотря на все это, я считал неблагоразумным оставаться долго возле своего родного города, и мы поехали в Гент. Там Эмилия довольно романтичным образом нашла своего отца, который убедил ее вернуться в семью. Правда, она согласилась меня оставить только с условием, что я приеду к ней, как только покончатся мои дела в Брюсселе.

Эти брюссельские дела, на которые я ссылался, были не что иное, как эксплуатация гостиниц Café Turc и Café de la Monnaie. Но чтобы показаться в этом городе, необходимы были бумаги, доказывающие, что я действительно был Руссо, лилльский уроженец, как я это показал при допросе, бывшем прежде моего побега. Капитан бельгийских карабинеров, находившихся на службе у французов, по имени Лаббре, взялся при помощи пятнадцати луидоров снабдить меня необходимыми документами. Через три недели он действительно принес мне свидетельство о рождении, паспорт и свидетельство об отставке

на имя Руссо; все это было в таком совершенстве, какого я никогда не видел ни у одного подделывателя документов. С этими бумагами я отправился в Брюссель, где комендант крепости, старый приятель Лаббре, обещал устроить мои дела.

Успокоенный с этой стороны, я отправился в Café Turc. Первые, кого встретил я в зале, были офицеры, с которыми, как вспомнит читатель, я уже путешествовал. Они приняли меня превосходно и, угадывая, что мое положение не из блестящих, предложили мне чин подпоручика егерского конного полка, конечно, потому, что на мне была военная шинель. Столь лестное повышение нельзя было не принять, и на том же заседании сняли мои приметы; на мое признание, что имя Руссо было не мое настоящее, подполковник сказал, что я могу взять то, которое мне нравится. Я решил удержать за собою имя Руссо; мне выдали письменный маршрут подпоручика 6-го егерского полка, путешествующего верхом и имеющего право на помещение и продовольствие. Таким образом, я вступил в эту *действующую армию* без войска, наполненную офицерами без свидетельств, с фальшивыми чинами и фальшивыми билетами; но тем не менее она внушала страх и почтение кригс-комиссарам,

так как в те времена в военной администрации было весьма мало порядка. Могу только засвидетельствовать одно: что на всем пути по Нидерландам мы везде исправно пользовались рационами, без малейшего замечания на этот счет; между тем *действующая армия* заключала в себе тогда не менее двух тысяч авантюристов, живших как рыба в воде. Любопытнее всего то, что повышения делались настолько быстро, как только то позволялось обстоятельствами; повышения эти приносили всегда выгоду, потому что служили к увеличению рационов. Таким образом я сделан был капитаном гусар, один из моих товарищей — начальником батальона, но что особенно меня поразило — это производство нашего подполковника в чин бригадного генерала. Если, с одной стороны, важность подобного чина и обусловливаемая им почетная знатность делала роль обманщика более трудной, то с другой — смелость подобной роли устраняла всякие подозрения на этот счет.

По возвращении в Брюссель нам выдали квартирные билеты, и я был помещен у богатой вдовы, баронессы И. Меня приняли так, как в то время вообще принимали французов в Брюсселе, то есть с распростертыми объятиями. В мое полное

распоряжение предоставлена была прекрасная комната; хозяйка, восхищенная моей скромностью, самым любезным образом сказала мне, что если ее обеденный час удобен для меня, то мой прибор всегда будет накрыт. Невозможно было устоять пред столь милым предложением, и я рассыпался в благодарностях; в тот же день я явился на обед, на котором присутствовали три старые дамы, не исключая баронессы, которой, впрочем, не дошло еще до пятидесяти. Все они были очарованы предупредительностью гусарского капитана. В Париже меня сочли бы довольно неловким в подобной роли, но в Брюсселе я был совершенством, принимая в расчет, что раннее поступление на службу неизбежно должно было повредить моему воспитанию. Баронесса, вероятно, думала так, потому что ее любезность и предупредительность наводили меня даже на раздумье.

Так как я иногда ходил обедать к своему генералу, от приглашений которого не мог отказаться, то баронесса непременно желала, чтобы я представил его ей с другими своими товарищами. Долго я не исполнял этого желания: у ней бывали гости, и легко было встретиться с кем-нибудь, кто мог бы открыть нас; но она настаивала, и

я должен был уступить, дав понять, впрочем, что так как генерал желает отчасти сохранить инкогнито, то чтобы не было большого общества. Генерал пришел; баронесса, посадившая его возле себя, так его отлично приняла, так долго говорила с ним вполголоса, что я был даже обижен. Для прекращения этого тет-а-тет я вздумал просить генерала спеть нам что-нибудь под аккомпанемент фортепиано. Я хорошо знал, что он совсем не знал нот, но рассчитывал, что обычное настаиванье присутствующих займет его хоть на несколько минут чем-нибудь другим. Хитрость моя удалась только наполовину: подполковник, видя, что все упрашивают генерала, весьма любезно предложил заменить его. Он действительно сел за фортепиано и спел несколько отрывков с достаточным вкусом, чтобы заслужить всеобщее одобрение, тогда как я посылал его ко всем чертям.

Наконец этот бесконечный вечер прошел; все разошлись, и я ушел с планами мщения сопернику, который мог у меня отнять если не любовь, то лестную заботливость баронессы. Занятый этой мыслью, я рано утром отправился к генералу, который весьма удивился столь раннему визиту.

— Знаешь ли, — сказал он, не давая мне време-

ни начать разговор, — знаешь ли, мой друг, что баронесса…

— Кто вам говорит о баронессе? — прервал я резко. — Я не затем явился к вам.

— Тем хуже, если ты не хочешь говорить о ней; мне нечего и слушать.

Продолжая таким образом интриговать меня, он наконец сказал, что разговор его с баронессой вращался исключительно на мне и что он настолько подвинул мое дело, что она готова идти за меня замуж.

Сначала я думал, что у моего бедного приятеля ум за разум зашел: одна из богатейших титулованных нидерландок выйдет замуж за авантюриста, не имеющего ни семьи, ни состояния, ни предков! Это показалось бы невероятным для самых легковерных. Принимать ли мне участие в обмане, который рано или поздно должен был обнаружиться и погубить меня? Не был ли я, наконец, действительно и законно женат в Аррасе? Эти возражения и многие другие, заставлявшие меня почувствовать некоторое раскаяние в том, что я должен обмануть такую превосходную женщину, оказывающую мне столько дружбы, ни на минуту не остановили моего собеседника. Вот что он мне отвечал на это:

«Все, что ты говоришь, прекрасно; я совершенно с тобой согласен, и чтобы тебе следовать своей природной наклонности к добродетели, тебе недостает только десяти тысяч ливров годового дохода. Но я не вижу здесь причин особенной совестливости. Чего желает баронесса? Мужа, который бы ей нравился. А разве ты не можешь быть таким мужем? Ведь ты имеешь твердое намерение относиться к ней с полным уважением, вообще так, как относятся к человеку, который нам полезен и на которого мы не можем ни в чем пожаловаться. Ты говоришь о неравенстве состояния; баронесса на это не обращает внимания. Стало быть, у тебя недостает только единственно почетного звания; ну так знай же, что ты его получишь. Да, я даю его тебе!.. Не гляди на меня удивленными глазами, а лучше выслушай и не заставляй повторять одного и того же. Ты знаешь какого-нибудь дворянина твоей родины и твоих лет? Ну вот этим дворянином ты и будешь. Родители твои — эмигранты и живут в Гамбурге. Ты же вернулся во Францию, чтобы выкупить дом отца и взять там столовую серебряную посуду и тысячу луидоров, спрятанных под полом в зале. Присутствие посторонних, ускоренный отъезд, который нельзя было отложить ни на минуту

вследствие приказа немедленно привезти в суд твоего отца, помешали захватить с собою эти вещи. Приехав в страну переодетым подмастерьем, ты был выдан человеком, который должен был содействовать твоему предприятию. Обвиненный, преследуемый республиканскими властями, ты должен был уже сложить голову на плаху, как я нашел тебя на большой дороге полумертвым от страха и голода. Старый друг твоей семьи, я помог тебе получить свидетельство гусарского офицера под именем Руссо, пока случай не доставит возможности отправиться к родителям в Гамбург… Баронесса уже знает все это… Да, все… Исключая твоего имени, которое я не сказал ей, как бы из скромности, а в действительности потому, что не знаю, какое ты пожелаешь взять. Предоставляю тебе самому открыть его.

Итак, дело решенное, ты дворянин: уж не отрекаться же от этого. Не говори мне о жене своей, негодяйке; в Аррасе ты разведешься под именем Видока, а в Брюсселе женишься под именем графа В…

Теперь выслушай меня хорошенько: до сих пор наши дела шли довольно хорошо; но все это может измениться с минуты на минуту. Мы уже встретили некоторых любопытных кригс-ко-

миссаров, можем встретить не столь покорных, которые лишат нас пропитания и пошлют на службу при *маленьком флоте* в Тулон. Ты понимаешь… и достаточно. Самое счастливое, что может выпасть тебе на долю, — это вступление опять в старый полк, рискуя быть расстрелянным как дезертир. Женившись, ты, напротив, обеспечиваешь свое существование и вдобавок можешь быть полезен друзьям. Так как мы коснулись этого пункта, то заключим условие. У твоей жены сто тысяч флоринов доходу; нас трое; каждому из нас ты назначишь тысячу талеров пенсии, получаемой вперед; да, кроме того, я должен получить награду в тридцать тысяч франков за то, что сделал графа из сына булочника».

Я уже был покорен: эта речь, в которой генерал так ловко выставил все трудности моего положения, окончательно восторжествовала над моим сопротивлением, которое, признаюсь, было не из очень упорных. Я соглашаюсь на все, и мы отправляемся к баронессе. Граф В… падает к ее ногам. Сцена разыгрывается, и, чему трудно поверить, я так проникаюсь духом роли, что сам считаю правдой все говоренное, что, говорят, иногда случается с лгунами. Баронесса восхищена моими остротами и трогательными чувствами,

внушаемыми положением. Генерал торжествует, видя мои успехи, и все остаются довольны. Иногда у меня то тут, то там вырываются некоторые восклицания, отчасти напоминающие кабак; но генерал постарался предупредить баронессу, что политические смуты значительно помешали моему образованию; она удовольствовалась этим объяснением. Маршал Сюше не был особенно взыскательным с тех пор, как Куаньяр, написавши «господину le duque (герцогу) д'Альбюферá», извинялся, что, будучи эмигрантом с весьма молодых лет, он знал французский язык весьма плохо.

Раз садимся мы за стол. Обед проходит наилучшим образом, а за десертом баронесса говорит мне на ухо: «Я знаю, мой друг, что состояние ваше в руках якобинцев; между тем родители ваши, живя в Гамбурге, могут находиться в затруднении; сделайте мне удовольствие переслать им вексель в три тысячи флоринов, которые мой банкир доставит вам завтра утром». Я рассыпался в благодарностях; она прервала меня и, выйдя из-за стола, прошла в гостиную, что дало мне возможность сообщить обо всем этом генералу. «Ах ты, простофиля, — сказал он. — Ты думаешь объявить мне новость?.. А не я ли шепнул ба-

ронессе, что твои родители могут иметь нужду в деньгах?.. В настоящую минуту эти родители — мы... Наши фонды уменьшаются, а если отважиться на что-либо преступное, чтобы их пополнить, это значит умышленно рисковать успехом нашего великого предприятия... Я беру на себя продажу векселя. Вместе с тем я внушил баронессе, что тебе необходимы деньги, чтобы до свадьбы выказать себя в надлежащем свете, и решено, что от нынешнего дня до дня церемонии ты будешь получать пятьсот флоринов в месяц». Действительно, на следующий день я нашел эту сумму на моем письменном столе и, кроме того, серебряный вызолоченный туалет и несколько драгоценных безделушек. Между тем метрическое свидетельство графа В., имя которого я принял, не появлялось: генерал намеревался снять с него копию, равно как подделать другие бумаги. Баронесса, ослепление которой может показаться непостижимым для людей, не имеющих понятия, до каких пределов доходят иногда доверие и дерзость обманщиков, согласилась выйти за меня под именем Руссо. У меня были все необходимые для этого бумаги. Недоставало только благословения отца, которое весьма легко было получить с помощью Лаббре, бывшего под

рукой; но хотя баронесса согласилась быть моей женой под вымышленным именем, все-таки она не захотела бы быть некоторым образом участницей в обмане, который уже не оправдывался необходимостью спасти мою голову. Во время наших совещаний по поводу этого, мы узнали, что наличный состав *действующей армии* до такой степени увеличился в завоеванной стране, что правительство, открывши наконец глаза, приняло строгие меры для ее обуздания. Поэтому мундиры были сняты, чтобы не быть узнанными, но преследования и поиски сделались столь энергичны, что генерал принужден был внезапно оставить город и отправиться в Намюр, где можно было быть менее на виду. Объясняя это неожиданное исчезновение баронессе, я сказал, что генерал был озабочен вследствие того, что принял меня на службу под вымышленной фамилией. Это повергло ее в сильное беспокойство обо мне самом, и я ее успокоил только отъездом в Бреду, куда она непременно желала ехать со мной.

Ко мне нейдет разыгрывать чувствительность, и я бы не заслуживал репутации тонкого человека, обладающего тактом, который мне вообще приписывают, если бы выставлял напоказ свои чувства и ощущения. Поэтому читатель может

поверить мне, что такая преданность баронессы живо тронула меня. Во мне заговорил голос раскаяния, который не может быть вполне заглушен в девятнадцать лет. Я увидал пропасть, в которую влеку превосходную женщину, оказавшую мне столько великодушия. Я предвидел, что она вскоре оттолкнет с ужасом дезертира, бродягу, двоеженца, самозванца. Отдалившись от тех, кто вовлек меня в эту интригу и которые были арестованы в Намюре, я еще более утвердился в своем намерении и раз вечером, после ужина, приступил к объяснению. Не вдаваясь в подробности о своих приключениях, я сказал баронессе, что обстоятельства, которые мне невозможно было объяснять, вынудили меня появиться в Брюсселе под двумя именами, уже известными ей, но которые оба не принадлежали мне. Я добавил, что те же злосчастные обстоятельства заставляют меня оставить Нидерланды, не заключивши союза, который бы составил мое счастье, но что я навек сохраню воспоминание о ее благородстве и о всем, что она для меня сделала.

Я говорил долго, одушевленно, с жаром и легкостью, о которых сам не могу вспомнить без удивления. Я как бы страшился остановиться и услыхать ответ баронессы. Неподвижная, блед-

ная, с пристальным взглядом, как у лунатика, она слушала, не прерывая меня. Затем, взглянувши на меня с ужасом, быстро встала и ушла в свою комнату. После того я не видал ее. Внезапно озаренная моим признанием, несколькими словами, которые могли у меня вырваться в минуту замешательства, она догадалась о грозившей ей опасности и в своей справедливой недоверчивости, может быть, сочла меня более виноватым, чем я был на самом деле. Может быть, думала она, что отдалась какому-нибудь страшному преступнику, быть может обагренному кровью… С другой стороны, если сложность всей этой истории подделки и обмана не могла не навести ужас на баронессу, то добровольное признание, сделанное мною, должно было вместе с тем умерить ее беспокойство. Вероятно, последнее одержало верх, потому что на другой день, проснувшись, я получил шкатулку с пятнадцатью тысячами золотом, которые баронесса прислала мне, уезжая из города в час ночи. Я с удовольствием услыхал об этом отъезде, потому что присутствие ее тяготило меня. Так как ничто более не удерживало меня в Бреде, то через несколько часов я был по дороге в Амстердам.

Я уже сказал и опять повторяю, что некоторые

подробности этой истории могут показаться неестественными, а через них и все остальное примут за ложь, между тем нет ничего вернее. Впрочем, многое вполне обыкновенно и может встретиться во всяком даже маленьком романе. Я вдался в некоторые мелочные подробности не из желания добиться эффекта мелодрамы, а чтобы предостеречь доверчивых людей против одного из родов обмана, употребляемого гораздо чаще и с большим успехом, нежели думают. Такова цель этой истории. Пусть обдумают все ее детали, и, может быть, в одно прекрасное утро должности прокуроров, судей, жандармов и полицейских агентов окажутся ненужными.

Мое пребывание в Амстердаме было весьма недолгое: я сгорал желанием видеть Париж. Пустивши в ход векселя баронессы, я отправился в путь и 2 марта 1796 года вступил в столицу, где впоследствии мое имя сделалось довольно известным. Поселившись в улице Лешель в гостинице «Веселый лес», я прежде всего начал менять свои дукаты на французские деньги и продавать маленькие безделушки и предметы роскоши, которые уже были мне не нужны, потому что я намеревался жить в одном из окрестных городов и взяться за какое-нибудь мастерство. Но мне

не пришлось осуществить этот план. Раз вечером один из тех господ, которых всегда можно найти в гостиницах и которые легко знакомятся с путешественниками, предложил мне отправиться в игорный дом. Я согласился от нечего делать, смело рассчитывая на свою опытность, приобретенную в Café Turc и Café de la Monnaie, но оказалось, что брюссельские шулера годились бы разве только в ученики к тем артистам, с которыми мне пришлось теперь войти в состязание. В настоящее время игорная администрация имеет за собою только *рефет* и огромную привилегию не покидать игры, шансы же почти одни и те же. Но в те блаженные времена, о которых я повествую, когда полиция терпела игорные дома особого рода, известные под названием étouffoirs, шулера мало того что подменивали карты и подбирали цвета, подобно захваченным недавно у Лафит гг. С… сына и А. ла-Рош, но имели между собой условные знаки, столь сложные, что нечего было и думать бороться с ними. В два приема я был освобожден от сотни луидоров, которых имел достаточно. Но, верно, суждено было ускользнуть от меня всем деньгам моей покровительницы-баронессы. Для этой цели судьба избрала в агенты хорошенькую женщину,

которую я случайно встретил за табльдотом, где иногда обедал. Розина сначала выказала примерное бескорыстие. В продолжение месяца, как я был ее любовником, она ничего мне не стоила, если не считать обедов, спектаклей, цветов и т. п. вещей, которые в Париже *ничего не стоят*… когда за них не платят.

Все более и более влюбляясь в Розину, я не оставлял ее ни на минуту. Раз утром, за завтраком, я нашел ее озабоченной, стал приставать к ней с вопросами, на которые она сначала отнекивалась, а в заключение созналась, что ее тревожит пустячный долг модистке и обойщику. Я поспешно предложил свои услуги: мне отказывают с замечательным великодушием, так что я даже не мог получить адреса кредиторов. Многие бы успокоились на этом, но я, как истый рыцарь, суетился и допытывался до тех пор, пока горничная возлюбленной не доставила мне адреса. После того из улицы Вивьенн, где жила Розина под именем г-жи Сен-Мишель, я немедленно бросился к обойщику, в улицу Клери. Объявляю цель своего появления. Меня, конечно, встречают с большой любезностью, как водится в подобных случаях, вручают мне счет, и я с изумлением вижу, что он простирается до тысячи

двухсот франков; но отступать было невозможно; я заплатил. У модистки та же сцена, с такой же предупредительностью и со счетом в сто франков приблизительно. Было от чего охладиться самому неустрашимому поклоннику; но этим не кончилось дело. Чрез несколько дней по удовлетворении этих кредиторов меня ловко заставили накупить на две тысячи франков драгоценных вещей, а всевозможные удовольствия продолжали идти своим чередом. Я со смущением видел, как исчезают мои денежки, но, страшась проверить свою кассу, со дня на день откладывал эту проверку. Однако пришлось приступить к ней, и я узнал, что в два месяца издержана пустячная сумма в четырнадцать тысяч франков. Это открытие навело меня на серьезное раздумье, которое тотчас же было замечено Розиной. Она догадалась, что финансы мои клонятся к упадку; женщины имеют в этом отношении какое-то особенное чутье, которое редко их обманывает. Не оказывая мне прямой холодности, она сделалась более сдержанной и на мое удивление по этому поводу отвечала с особенной резкостью, «что расстройство собственных ее дел приводит ее в дурное расположение». Это была новая ловушка; но я слишком дорого поквитался за вмешатель-

ство в ее дела, чтобы попасть опять на ту же удочку; поэтому я ограничился замечанием, что надо иметь терпение. Это ее сделало еще более угрюмой. Таким образом прошло несколько дней; наконец бомба разразилась.

Вследствие весьма незначительной размолвки она высказала мне самым грубым тоном, что «не любит, чтобы ей противоречили, и что кто не может помириться с ее образом жизни, тот пусть отправляется восвояси». Кажется, было сказано довольно ясно, а я имел слабость не обратить на это внимания. Новые подарки возвратили мне на несколько дней нежность, насчет которой я, впрочем, не мог уже более обманываться. Тогда Розина, хорошо зная, чего можно ожидать от моего слепого увлечения, снова стала требовать две тысячи франков, которые она должна была уплатить по векселю под страхом быть осужденной на заключение. Розина в тюрьме! Это мне было невыносимо, и я снова готов был на жертвы, когда случайно попало мне в руки письмо, раскрывшее мне глаза.

Оно было от *сердечного друга* Розины, который из Версаля задавал ей вопрос, «когда же глупец останется без гроша», чтобы иметь возможность фигурировать на его месте. Это приятное по-

слание я перехватил у дворника и прямо с ним направился к коварной, но не застал ее дома. Взбешенный и униженный, я не мог сдерживаться. Находясь в спальне, я опрокидываю ногой столик с фарфором, и большое зеркало Психеи разлетается вдребезги. Горничная, не терявшая меня из вида, бросилась на колени и умоляла прекратить погром, который мог мне обойтись слишком дорого. Я смотрю на нее, колеблюсь, и остаток здравого смысла показывает мне, что она может быть права. Осаждаю ее вопросами, и эта славная девушка, отличавшаяся кротостью и добротою, объяснила мне поведение госпожи. Рассказ ее весьма полезно передать, тем более что подобные вещи ежедневно повторяются в Париже.

До встречи со мной Розина в продолжение двух месяцев *никого* не имела. Вообразив, что я богат, судя по тратам, которые делались, она составила план, чтоб воспользоваться случаем; любовник ее, письмо которого попалось мне, согласился прожить в Версале до тех пор, пока покончатся мои деньги. Вексель, по которому преследовали Розину и который я столь великодушно уплатил, был на имя этого любовника; модистка и обойщик были также вымышленными кредиторами.

Горько досадуя на собственную глупость, я в

то же время удивлялся, что благородная особа, так ловко меня обобравшая, все еще не возвращалась. Девушка сказала на это, что дворничиха предупредила ее о том, что она получила от Розины письмо и что она не вернется. Это оказалось справедливым. Узнавши о катастрофе, помешавшей обобрать меня до последней нитки, Розина отправилась в Версаль к возлюбленному. Оставленные ею пожитки не стоили того, что нужно было уплатить за два месяца за квартиру. Когда я намеревался уйти, то хозяин потребовал плату за фарфор и зеркало, на которых я излил свою ярость.

Столь сильный ущерб значительно подорвал мои финансы, и без того сильно расстроенные. Тысяча двести франков — вот все, что осталось от щедрых даяний баронессы. Я получил отвращение от столицы, принесшей мне столько вреда, и решился отправиться в Лилль, где, при своих знакомствах, я все-таки мог найти средства к существованию.

Глава четвертая

Цыгане. – Фламандская ярмарка. – Возвращение в Лилль и первое сближение с Франсиной. – Исправительный суд. – Башня Святого Петра. – Подлог

Как военная крепость и пограничный город, Лилль представлял многие преимущества для тех, кто, подобно мне, мог отыскать там полезных знакомых или в гарнизоне, или в том кругу людей, которые, как бы стоя одной ногой во Франции, другой в Бельгии, в действительности не имели оседлости ни в той ни в другой стороне. Принимая в расчет все это, я надеялся выйти из затруднения и не обманулся. В 13-м егерском полку я нашел многих офицеров 10-го и в числе их лейтенанта Вилледье, который впоследствии явится на сцену. Все они знали меня в полку под одним из тех имен, которые было тогда в обычае принимать, и потому нисколько не удивились моему новому имени Руссо. Целые дни я проводил с ними в кофейной или фехтовальной зале; но в этом мало было прибыли, и я видел, что

скоро совсем останусь без денег. В это время один из обычных посетителей кофейной, которого прозвали Капиталистом за его правильный образ жизни и который несколько раз обращался ко мне со свойственной ему любезностью, стал с участием говорить о моем положении и предложил мне путешествовать вместе с ним.

Путешествовать — вещь весьма хорошая, но в качестве кого? Я уже не был того возраста, когда можно вдруг наняться в паяцы или в услужение ходить за обезьянами и медведями, и, конечно, никто не вздумал бы мне предложить ничего подобного, но, во всяком случае, надо было иметь определенное положение; поэтому я скромно спросил своего нового покровителя, какого рода обязанности будут возложены на меня. «Я странствующий врач, — сказал этот человек, густые бакенбарды которого и смуглый цвет лица придавали ему нечто особенное, — и лечу также секретные болезни с помощью одного верного средства. Лечу животных и еще недавно вылечил лошадей эскадрона 13-го егерского полка, от которых уже отказался полковой ветеринар». Ну, подумал я, опять шарлатан… Но отступать было невозможно. Мы уславливаемся завтра утром отправиться в путь и с этой целью сойтись в пять

часов у Парижских ворот.

Я аккуратно явился в назначенный час. Спутник мой также пришел и, увидя в руках рассыльного мой чемодан, сказал, что его незачем брать, потому что мы отправимся только на три дня и пешком. Мне пришлось отослать вещи назад в гостиницу, и мы пустились в путь довольно быстро, потому что надо было до полудня пройти пять миль. К этому времени мы действительно достигли уединенной гостиницы, где товарища моего встретили с распростертыми объятиями и называли Кароном, именем, которое было для меня ново, потому что прежде все его звали Христианом. Обменявшись несколькими словами, хозяин дома прошел в свою комнату, вынес оттуда два или три мешка, наполненные талерами, и положил их на стол. Мой товарищ взял их, стал разглядывать один за другим со вниманием, которое показалось мне притворным, отложил в сторону сто пятьдесят и такую же сумму отсчитал фермеру различной монетой, прибавя, сверх того, шесть крон. Я ничего не понял из этой процедуры, к тому же она сопровождалась фламандским наречием, которое я плохо понимаю. Поэтому я был весьма удивлен, когда по выходе из фермы, куда Христиан обещал скоро

прийти опять, он дал мне три кроны, говоря, что я должен иметь свою долю в барышах. Я не понимал, откуда могли получиться барыши, и заметил ему это. «То мой секрет, — отвечал он таинственно, — впоследствии ты узнаешь его, если я буду тобою доволен». На мое удостоверение, что в скромности моей он не может сомневаться, так как я ничего не знаю, исключая разве того, что он выменивает талеры на другую монету, он сказал, что об этом-то именно и следует молчать во избежание конкуренции. Объяснение на том и покончилось; я взял деньги, сам не зная, что из всего этого выйдет.

В продолжение четырех следующих дней мы не переставали делать подобные визиты в различные фермы, и каждый вечер я получал две или три кроны. Христиан, которого постоянно звали Кароном, был весьма известен в этой части Брабанта, но только как медик: хотя он продолжал операцию денежной мены, но разговор постоянно и везде велся только о болезнях людей и животных. Кроме того, я заметил, что он пользовался репутацией человека, умеющего избавлять животных от порчи и сглаза. При входе в деревню Вервик он вдруг посвятил меня в тайну своей магии.

— Можно на тебя положиться? — спросил он, приостанавливаясь.

— Без сомнения, — отвечал я, — но все-таки надо прежде узнать, в чем дело.

— Слушай и смотри…

Тогда он вынул из сумки четыре четырехугольных пакета, таких, какие бывают в аптеках, и, по-видимому, содержащих специфическое лекарство; затем сказал:

— Ты видишь четыре фермы, построенные на некотором расстоянии одна от другой: пройди в них задами, стараясь всячески не быть положительно никем замеченным. Ты войдешь в хлева или конюшни и высыпешь в ясли эти четыре порошка… Особенно берегись, чтобы тебя не увидели… Остальное уже мое дело.

Я сделал возражение, что меня могут застать в ту минуту, как я буду лезть на забор, остановить и наделать весьма затруднительных вопросов. Я наотрез отказался, несмотря на перспективу получки крон; все красноречие Христиана не могло изменить моего решения. Я даже сказал ему, что тотчас же его оставлю, если он не объявит мне моего настоящего занятия и не объяснит тайну размена денег, которая мне кажется страшно подозрительной. Такое требование, по-видимому,

смутило его, и, как читатель увидит, он вздумал отделаться полуоткровенностью.

— Где моя родина? — сказал он, отвечая на мой последний вопрос. — У меня ее нет… Мать моя, повешенная год тому назад в Темешваре, в то время, как я явился на свет в одной из деревень Карпатских гор, принадлежала к цыганскому табору, кочевавшему по границам Венгрии и Банната… говорю — к цыганскому, чтобы тебе было понятнее, хотя нас не так зовут; промеж себя мы называемся Romamichels на языке, которому нам запрещено учить кого бы то ни было; нам также запрещено путешествовать в одиночку, отчего мы кочуем толпою от пятнадцати до двадцати человек. Мы долго во Франции промышляли колдовством с помощью веры в порчу и в сглаз; теперь это ремесло идет плохо: мужик-француз стал слишком проницателен, поэтому мы бросились во Фландрию; там более суеверия, и различие монет дает нам возможность успешно вести свое дело… Я три месяца пробыл в Брюсселе по особенным делам, но теперь я все покончил и через три дня присоединюсь к своему табору на мехельнской ярмарке… От тебя зависит, пристать к нам или нет… Ты мог бы быть нам полезным, но только без ребячеств, конечно!!!



Отчасти затруднительное положение и незнание, куда приклонить голову, отчасти любопытство и желание довести приключение до конца заставили меня согласиться следовать за Христианом, не зная хорошенько, на что я мог быть ему годен. На третий день мы прибыли в Мехельн, где он объявил, что вернемся в Брюссель. Пройдя город, мы остановились в Лувенском предместье, пред весьма жалким домишком; почерневшие ставни его были изборождены глубокими трещинами, и разбитые

стекла заменялись огромными пуками соломы. Была полночь; я имел возможность делать свои наблюдения при лунном свете, потому что прошло добрых полчаса, пока пришла отворить нам одна из страшнейших старушенций, которых мне когда-либо приходилось видеть. Нас ввели в обширную залу, где человек тридцать обоих полов курили и пили, беспорядочно разместившись в угрожающих или неприличных позах. У мужчин под синими балахонами с красным шитьем надеты были голубые бархатные куртки с серебряными пуговицами, какие встречаются у погонщиков лошаков в Андалузии; все женщины были в одежде ярких цветов; иные лица были ужасны, несмотря на праздничную обстановку. Однообразный звук барабана, сопровождаемый воем двух собак, привязанных к ножкам стола, аккомпанировал странные песни, которые можно было принять за погребальные. Дым от табаку и дров, наполнявший этот вертеп, едва позволял наконец различить посреди комнаты женщину в ярко-красном тюрбане, которая танцевала дикий танец, принимая при этом самые сладострастные позы.

При нашем входе праздник прервался. Мужчины подошли подать руку Христиану, женщины

его поцеловали, затем все глаза устремились на меня, который стоял перед ними в довольно смущенной позе. Я слышал про цыган множество историй, не имевших в себе ничего успокоительного. Мое беспокойство могло внушить их недоверие, они легко могли сделать со мной что угодно, и никто никогда не узнал бы о том, потому что никто не должен был знать о моем пребывании в этом притоне. Мое беспокойство сделалось настолько заметным, что поразило Христиана, который надеялся меня ободрить сообщением, что мы находимся у Герцогини в полнейшей безопасности. Во всяком случае, аппетит заставил меня принять участие в празднестве; кружка так часто наполнялась можжевеловой водкой и так часто опустошалась, что я почувствовал потребность улечься в постель. Когда я сообщил об этом Христиану, он повел меня в соседнюю комнату, где на свежей соломе уже спали некоторые цыгане. Я не отличался особенной разборчивостью, но не мог не заметить своему хозяину того, что он, всегда имевший хорошие ночлеги, теперь выбрал столь плохой. На это он отвечал, что везде, где находились дома племени Romamichels, обязательно было останавливаться в них под опасением быть заподозренным в вероломстве

и понести за то наказание. Впрочем, на этом солдатском ложе улеглись и женщины и дети, и их скорый сон показал, что они к нему привыкли.

С рассветом все были на ногах и принялись совершать туалет. Если бы не их резкие черты, не волосы, черные как смоль, если бы не лоснящаяся, медного цвета кожа, то я едва ли бы узнал моих вчерашних сотоварищей. Мужчины, одетые богатыми голландскими барышниками, с кожаными мешками за поясом, как их обыкновенно можно было встретить на реке Пуаси. Женщины, увешанные золотыми и серебряными украшениями, имели костюмы крестьянок Зеландии. Даже дети, бывшие вчера в лохмотьях, теперь были чисто одеты и старались состроить другую физиономию. Вскоре все вышли из дома и направились различными дорогами, чтобы не прийти вместе на рынок, куда уже стекались толпы из соседних деревень. Христиан, видя, что я намерен за ним следовать, сказал, что я ему не нужен во весь день и могу отправляться, куда мне угодно, до самого вечера, когда мы должны были сойтись опять у Герцогини.

Еще наконец он сказал мне, что насчет моего ночлега с табором не было ничего решено; поэтому я начал с найма себе ночлега в гостинице.

Затем, не зная, как убить время, отправился я на ярмарку; не успел я прийти, как нос к носу столкнулся с прежним нашим батальонным офицером, по имени Мальгаре, которого знал в Брюсселе занимающимся в Café Turc составлением довольно подозрительных партий. После первых приветствий он спросил о причине моего пребывания в Мехельне. Я рассказал ему целую историю; он со своей стороны сделал то же относительно своей поездки, и мы оба остались довольны, каждый воображая, что обманул другого. Слегка закусивши, мы возвратились на ярмарку, и во всех местах, где было стечение народа, я встречал несколько нахлебников Герцогини. Сказавши старому знакомому, что я никого не знал в Мехельне, я старался от них отворачиваться, чтобы не быть узнанным: я не намерен был признаваться в таком знакомстве. Но мой спутник был слишком хитер, чтобы позволить себя обмануть.

— Вот, — заметил он, глядя на меня пристально, — странно, что эти люди смотрят на вас так внимательно… Или вы их знаете?

Я отвечал, не оборачивая головы, что даже не имею понятия, кто такие они.

— Кто они такие? — отвечал мой собеседник. — С удовольствием сообщу вам это… предполагая,

что вы того не знаете… Это воры!

— Воры! — воскликнул я. — А почем вы знаете?

— Вы сами это узнаете тотчас же, если последуете за мною; можно держать большое пари, что мы недалеко уйдем, чтобы видеть их за *делом*! Да вот посмотрите-ка лучше!

Действительно, поднявши глаза к группе, образовавшейся у зверинца, я ясно увидел, как один из мнимых барышников утащил кошелек у толстого содержателя зверей и как последний после разыскивал его по всем своим карманам самым тщательным образом. Цыган же вошел в лавку ювелира, где уже были две его товарки-зеландки, и спутник мой уверял, что он не выйдет оттуда, не стянувши нескольких драгоценных вещей, которые им показывали. Мы оставили свой наблюдательный пост, чтобы идти вместе обедать. После обеда, видя, что офицер расположен поболтать, я стал упрашивать его подробнее рассказать мне, что это были за люди, на которых он обратил мое внимание, и добавил, что как бы ему там ни казалось, а я имею о них весьма сбивчивое понятие. Наконец он решился удовлетворить мое любопытство и сообщил следующее:

«В гентской тюрьме, где я провел шесть ме-

сяцев несколько лет тому назад за маленькую партию с поддельными игральными костями, я имел случай узнать двух господ из этой шайки, которую нахожу здесь, в Мехельне; мы сидели в одной палате. Так как я выдавал себя за отъявленного вора, то они доверчиво рассказали мне свои фокусы и даже познакомили со всеми подробностями своей странной жизни. Они прибыли из молдавских деревень, где сто пятьдесят тысяч их братии прозябают, подобно евреям в Польше, не имея возможности занять другой должности, кроме должности палача. Имя их разнится по странам, где они находятся; так, в Германии их зовут *цигинер* (ziguiners), в Англии — *жипсе* (gipsy), в Италии — *зенгари* (zingari), в Испании — *гитано* (gitanos) и, наконец, во Франции и Бельгии — *богемцы* (bohëmiens); они путешествуют по всей Европе, занимаясь самыми унизительными и самыми опасными ремеслами: стригут собак, гадают, склеивают посуду, лудят медь, угощают отвратительной музыкой у дверей гостиниц, спекулируют шкурами кроликов и обменивают иностранную монету.

Они занимаются также продажей специфических средств от болезней животных и для большего сбыта подсылают на фермы своих до-

веренных, которые под каким-либо предлогом входят в хлева и насыпают в ясли какого-нибудь снадобья, от которого животные заболевают. Затем являются они сами, и их принимают с распростертыми объятиями. Зная причину болезни, они легко уничтожают зло, и доверчивый земледелец не находит слов, как выразить им свою благодарность. Это еще не все: уходя с фермы, они осведомляются, нет ли у хозяина монет такого-то и такого-то года, того или другого чекана, обещая купить их дороже. Заинтересованный крестьянин, как всякий, редко и с трудом имеющий случаи зашибить лишний грош, спешит показать им свою казну, из которой часть они всегда ухитряются украсть. Кто поверит, что этот маневр они иногда употребляют несколько раз безнаказанно в одном и том же доме? Пользуясь этими обстоятельствами и знанием местности, они указывают своим товарищам по ремеслу уединенные, богатые фермы и средства туда проникнуть, конечно получая за это свою долю барыша».

Мальгаре сообщил еще много о цыганах, что заставило меня принять твердое намерение немедленно оставить это опасное общество. Он все еще говорил, поглядывая по временам на ули-

цу, в окно, у которого мы обедали. Вдруг раздался его возглас: «Взгляни, пожалуйста, на этого цыгана, он только что выпущен из гентской тюрьмы!» Я взглянул и, к удивлению, увидал… Христиана, шедшего весьма скоро и с озабоченным видом. Я не мог воздержаться от восклицания. Мальгаре, пользуясь тревогой, в которую повергли меня его открытия, без труда заставил меня рассказать ему, каким образом я сошелся с цыганами. Видя, что я твердо решился уйти от них, он предложил мне отправиться в Куртре, где ему предстояло, как он говорил, составить несколько *хороших партий*. Взявши из гостиницы свои вещи, принесенные туда от Герцогини, я отправился опять в путь с новым товарищем; но мы не нашли в Куртре ожидаемых лиц, которых Мальгаре рассчитывал пощипать, и вместо выигранных денег вылетели наши собственные. Не надеясь более их дождаться, мы вернулись в Лилль. У меня еще была сотня франков. Мальгаре стал на них играть и проиграл их вместе с остатком собственных. Впоследствии я узнал, что он сговорился со своим партнером обобрать меня.

В такой крайности мне пришлось прибегнуть к своим знаниям: несколько фехтовальных учителей, которым я сообщил о своем затруднительном

положении, устроили в мою пользу ассо[2], доставши мне сотню талеров. С этой суммой, на время избавившей меня от нужды, я снова начал посещать общественные увеселения, балы и т. п. В это-то время я заключил связь, последствия которой решили судьбу всей моей жизни. Нет ничего проще начала этого важного эпизода моей истории. Я встретился с одной камелией, с которой вскоре вошел в интимные отношения. Франсина, так ее звали, казалась весьма расположенной ко мне и беспрестанно уверяла в своей верности, что не мешало ей иногда тайком принимать у себя инженерного капитана. Раз я застаю их за ужином наедине у трактирщика, на площади Риур; в страшной ярости я бросаюсь на них с кулаками. Франсина за благо рассудила бежать, но товарищ ее остался. И вот возникла жалоба на мое насилие; меня арестуют и увозят в тюрьму Petit-Hôtel. Во время разбирательства дела меня часто навещали многие дамы из моих знакомых, поставивших своей обязанностью утешать меня. Франсина узнаёт об этом, ревность ее возбуждается, она спроваживает беднягу-капитана, отказывается от жалобы, которую вместе

---

[2] Примечания: 2
Ратоборство в фехтовальном искусстве.

с ним принесла на меня, и в заключение просит дозволить ей видеться со мной; я имел слабость согласиться. Судьи сочли этот факт за злоумышленный заговор против капитана между мною и Франсиной. Я оказался присужденным к заключению в тюрьме на три месяца.

Из Petit-Hôtel меня препроводили в Башню Святого Петра, где засадили в отдельную комнату, называвшуюся Oeil de Boeuf. Франсина занимала у меня одну половину дня, а другую я проводил в обществе арестантов. Между ними были два фельдфебеля, Груар и Гербо (последний — сын сапожника), оба осужденные за подлог, и крестьянин Буатель, осужденный на шесть лет заключения за кражу зернового хлеба. Буатель, будучи отцом многочисленной семьи, постоянно жаловался, что у него отняли возможность обрабатывать его маленький участок, который только его усилиями мог быть поставлен в надлежащее состояние. Несмотря на сделанный им проступок, им интересовались, или скорее его детьми, и многие из обывателей ходатайствовали за него, но безуспешно; бедняк в отчаянии часто повторял, что заплатил бы очень порядочную сумму за свое освобождение. Груар и Гербо, находившиеся в Башне Святого Петра до отправ-

ления в каторжные работы, решились быть ему полезными с помощью прошения, которое они сочинили сами. Составленный ими план был для меня весьма гибелен.

Вскоре Груар объявил, что не может спокойно работать при таком шуме в зале, наполненной восемнадцатью или двадцатью заключенными, которые пели, болтали или ссорились целый день. Буатель, оказавший мне самому некоторые услуги, просил пустить в мою комнату составителей прошения, и я, хотя неохотно, согласился и позволил им проводить там четыре часа ежедневно. На другой же день они там поместились, и сам тюремщик ходил туда тайком. Эта таинственность тотчас же возбудила бы подозрение во всяком, сколько-нибудь знакомом с тюремными интригами; но я, чуждый всего этого, развлекавшийся попойкой с друзьями, посещавшими меня, мало обращал внимания на то, что происходило в Oeil de Boeuf.

Дней через восемь меня поблагодарили за мое одолжение, объявив мне, что просьба готова и что можно надеяться на помилование просителя, не посылая ее в Париж, так как имелась сильная протекция у народного представителя в Лилле. Все это было довольно темно; но я не обратил

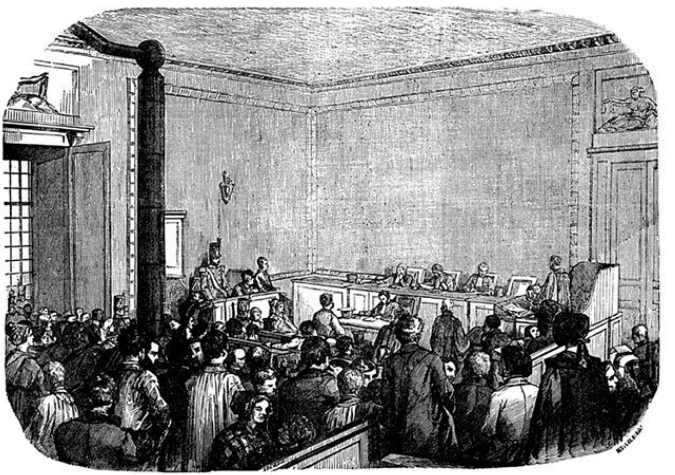
внимания, думая, что, не принимая никакого участия в деле, я не имел ни малейшей причины беспокоиться, хотя оно принимало оборот, который должен бы был заставить призадуматься. Не прошло двух суток по окончании просьбы, как приехали два брата Буателя и обедали с ним за столом тюремщика. После обеда вдруг является вестовой и передает тюремщику пакет; развернув его, последний восклицает: «Добрая новость, ей-богу! Это приказ освободить Буателя». При этих словах все с шумом встают, целуются, смотрят приказ, поздравляют Буателя, который, *отправя все свои вещи еще накануне*, немедленно оставил тюрьму, не простившись ни с одним из заключенных.

На другой день, в десять часов утра, тюремный инспектор пришел для осмотра тюрьмы. Тюремщик показал ему приказ об освобождении Буателя; едва взглянув на него, инспектор прямо сказал, что приказ фальшивый, и не велел выпускать Буателя до тех пор, пока не будет об этом донесено начальству. На это тюремщик возразил, что Буатель еще вчера выпущен на свободу. Инспектор выразил свое удивление, заметив, что нужно быть слишком недальновидным, чтоб позволить себя обмануть приказом с фальшивы-

ми подписями, причем приказал ему никуда не отлучаться, а сам поехал к высшему начальству, где и удостоверился, что независимо от фальшивых подписей в нем есть ошибки и отступления от формы, которые не могут не броситься в глаза всякому мало-мальски знакомому с этого рода бумагами.

Я стал подозревать истину и пытался заставить Груара и Гербо высказать мне ее вполне, смутно догадываясь, что это дело может меня компрометировать; но они божились всеми святыми, что ничего другого не делали, кроме посылки прошения, и сами удивлялись столь быстрому успеху. Я не верил ни слову, но, не имея никаких доказательств противного, должен был успокоиться на этом. На следующий день меня позвали в регистратуру. На вопросы судебного следователя я отвечал, что ничего не знаю о составлении поддельного приказа и что только давал свою комнату как единственное спокойное место в тюрьме для составления оправдательной просьбы; я прибавил, что все это может подтвердить и тюремщик, так как он часто входил в комнату во время работы, по-видимому принимая большое участие в Буателе. Груар и Гербо были также спрошены и посажены в секретную; я же оставал-

ся в своей комнате. Тюремный товарищ Буателя раскрыл мне всю интригу, которую я едва только подозревал.



Груар, слыша постоянно, как Буатель охотно обещал сто талеров за свою свободу, сговорился с Гербо насчет этого, и они не нашли ничего удоб-

нее, как составить подложный приказ. Буатель, конечно, был посвящен в тайну, и ему сказали при этом, что так как приходилось поделиться со многими, то он должен дать четыреста франков. Тогда-то обратились ко мне с просьбою о комнате, которая была необходима для писанья подложного приказа; тюремщик тоже был соучастником, как можно судить из его частых визитов в мою комнату и из обстоятельств, предшествовавших и последовавших за выходом Буателя. Приказ был принесен другом Гербо, по имени Стофле. По всей вероятности, Буателя убедили, что и я буду участвовать в барышах, хотя вся моя услуга заключалась только в уступлении комнаты. Извещенный обо всем этом, я сначала уговаривал того, кто сообщил мне подробности, донести куда следует, но он наотрез отказался, говоря, что не желает выдавать тайну, вверенную под клятвой, и притом не желал быть рано или поздно убитым заключенными за подобную измену. Он даже меня отговорил заикаться о чем-либо судебному следователю, уверяя, что я не подвергнусь ни малейшей опасности. Между тем Буателя арестовали на родине; посаженный в секретное отделение в Лилль, он назвал соучастниками побега Груара, Гербо, Стофле и Видока. Мы снова

были спрошены, и, твердый в своем решении, я упорно оставался при своих первых показаниях, тогда как мог тотчас же выпутаться из дела, передавши все, что знал от товарища Буателя; я даже до такой степени был убежден, что насчет меня ничего не могло быть серьезного, что меня как громом поразило, когда по истечении трех месяцев, рассчитывая выйти, я вдруг узнал, что внесен в тюремный список как подсудимый за *участие в подлоге подлинных и публичных документов*.

Глава пятая

Три побега. – Я победоносно раскланиваюсь со своими преследователями, засаженными под арест. – Я безнадежно увяз в дыре. – Шайка поджаривателей (chauffeurs) и новый ловкий побег. – Самоубийство. – Обвинение в убийстве, процесс и оправдание. – Новый побег. – Контрабандисты. – Меня снова арестовали

Тогда только я начал думать, что все это дело примет дурной оборот для меня; но отпирательство от прежнего показания, не подтвержденное никакими доказательствами, было бы опаснее самого молчания; да и притом было поздно прерывать его. Все эти мысли так сильно меня волновали, что я сделался болен, и Франсина все время усердно за мной ходила. Выздоровевши и не будучи в состоянии долее выносить неопределенное положение, я решился бежать, и бежать просто через двери, хотя это и казалось довольно трудным: некоторые особенные соображения заставили меня предпочесть этот способ всякому

другому. Привратник Башни Святого Петра был арестант из брестского острога, осужденный на вечную каторгу; при пересмотре приговоров по своду Законов 1791 года ему смягчили наказание шестилетним заключением в Лилль, где он оказался полезным тюремщику. Последний, думая, что человек, проведший четыре года в остроге, будет драгоценен в качестве сторожа, потому что ему должны быть известны все способы побегов, поручил ему эту должность и решил, что лучше выбора нельзя было сделать. Но я на это-то чудо проницательности и рассчитывал в своем плане и тем легче надеялся обмануть, что он был в ней слишком уверен. Словом, я решился пройти мимо привратника в мундире штаб-офицера, приезжавшего два раза в неделю для освидетельствования Башни Святого Петра, служившей в то же время тюрьмой и для военных.

Франсина, которую я видал почти ежедневно, купила мне требующийся костюм и принесла его в своей муфте. Платье было совершенно впору и сидело отлично. Видевшие меня в нем заключенные сказали, что нельзя ошибиться. Я действительно был одного роста со штаб-офицером, а гримировка сделала меня на двадцать пять лет старше. Через несколько дней он при-

ехал для обычного осмотра. Пока один из моих друзей приостановил его под предлогом освидетельствовать провизию, я быстро переоделся и очутился у ворот; привратник почтительно снял шляпу, отворил, и вот я на улице. Я направился к подруге Франсины, как было условлено между нами, а вскоре затем и она сама пришла туда же.

Там я был совершенно огражден от поисков, если бы согласился не выходить; но как вынести заключение почти такое же, как и в Башне Святого Петра! Просидевши три месяца в четырех стенах, я теперь жаждал расправить крылья и пустить в ход свою деятельность. Я захотел выйти, и благодаря своей железной воле, сопровождавшей всегда все мои даже самые странные желания, я вышел. Первая прогулка мне удалась. На следующий день я встретил на улице городового Людвига, который видал меня в тюрьме и теперь прямо спросил: «Разве вы освобождены?» Это была плохая встреча, и притом он мог немедленно созвать человек двадцать. Я отвечал, что готов за ним следовать, и просил только дозволения проститься с Франсиной. Он согласился, и возлюбленная моя была чрезвычайно удивлена, встретив меня с подобным провожатым. Я сказал ей, что изменил намерение, и, размыслив, что

побег может повредить мне во мнении судей, решился возвратиться в тюрьму и ожидать окончания дела.

Франсина сначала не могла сообразить, каким образом, заставя ее издержать триста франков, я через четыре месяца вздумал возвращаться в тюрьму; но я знаками дал ей понять, в чем дело, и даже сумел попросить насыпать мне в карман золы, пока мы с Людвигом разопьем по стакану рома. На пути в тюрьму, в одной из пустынных улиц, я бросил в глаза своему спутнику золы, а сам пустился бежать домой изо всех сил.

Людвиг не замедлил обо всем донести. На поиски за мной подняли жандармов, полицию и, между прочим, частного пристава Жаккара, который обещался всенепременно поймать меня, если только я не выехал из города. Все это было мне известно, и, вместо того чтобы быть сколько-нибудь осторожнее, я напустил на себя самую смешную отвагу. Можно было подумать, что я сам получу награду за свой арест, между тем меня усердно выслеживали.

Жаккар узнаёт раз, что я должен обедать в улице Notre Dame, в игорном доме. Он тотчас же прибегает с четырьмя полицейскими, оставляет их внизу и входит в комнату, где я только что на-

меревался сесть за стол с двумя дамами. Фурьер, который должен был присоединиться к нам, еще не появлялся. Я узнаю частного пристава, который, никогда меня не видел в лицо, не имеет этого преимущества; притом я так хорошо был переряжен, что никакие приметы не помогли бы. Я подхожу к нему без малейшего замешательства и самым натуральным тоном прошу войти в кабинет, зеркальная дверь которого выходила в залу.

— Вы ищете Видока, — сказал я ему прямо, — если хотите подождать минут десять, то я вам покажу его… Вот его прибор, он не замедлит явиться… При его приходе я сделаю вам знак, но если вы одни, то сомневаюсь, чтобы вы могли его взять, потому что он вооружен и решился защищаться.

— У меня по лестнице расставлены люди, и если он убежит…

— Сохрани вас Боже оставлять их там, — возразил я с притворной поспешностью. — Если Видок их увидит, он будет страшиться какой-нибудь засады, и тогда… прости, птичка…

— Но куда же мне их спрятать?

— А вот в этот кабинет… Особенно, ради Бога, без шуму, иначе ничего не удастся… Я больше

вашего заинтересован в том, чтобы его удалить.

И вот мой почтенный пристав со своей свитой ловко засажены в кабинет. Дверь была весьма крепкая и приперта мною в два раза. Тогда, уверенный в благоприятном побеге, я закричал своим добровольным пленникам: «Вы искали Видока… так знайте же, что Видок засадил вас в клетку. До счастливого свидания!» И я исчез как стрела, сопровождаемый криками заключенных, делавших невероятные усилия освободиться из засады и взывавших о помощи.

Еще две шалости в подобном же роде удались мне, но в заключение я все-таки был пойман и помещен в Башню Святого Петра, где для большей безопасности меня посадили в тюрьму вместе с Каландреном, которого наказывали за две попытки к побегу. Каландрен, знавший меня во время моего первого заключения, тотчас же сообщил мне о своей новой попытке к побегу посредством отверстия, сделанного в стене тюрьмы каторжников, с которой мы были рядом. На третий день моего заключения меня действительно вынудили бежать. Восемь из нас, прошедших вперед, были счастливым образом не замечены часовым, стоявшим неподалеку. Оставалось еще семь. Кинули жребий соломинками, как это обыкно-

венно делают в подобных случаях, чтобы решить, кому идти первому. Судьба назначила меня, и я раздевался, чтобы удобнее пройти сквозь весьма узкое отверстие, но, к великому отчаянию моих товарищей, я засел в нем и не мог пройти ни взад, ни вперед. Тщетны были их усилия вытащить меня руками: я был как бы в тисках, и боль от этого положения сделалась столь нестерпимой, что, потерявши надежду на помощь изнутри, я стал звать часового. Он подошел с осторожностью человека, боящегося неожиданностей, и, приставив штык к моей груди, запретил мне делать малейшее движение. На его крики караул взялся за оружие, привратники сбежались с факелами, и я был вытащен из засады, оставя там несколько клочков мяса. Несмотря на мое плачевное положение, меня тотчас же перевели в тюрьму Petit-Hôtel и сковали руки и ноги.

Мои мольбы и обещания оставить всякую мысль о побеге были настолько убедительны, что через десять дней я был выпущен оттуда и посажен вместе с другими заключенными. До сих пор я жил с людьми, далеко не безупречными, с ворами, мошенниками, поддельщиками, но тут я очутился с отъявленными злодеями. Между ними был один из моих соотечественников, по

имени Десфоссо, человек с замечательным умом и огромной силой, который, будучи приговорен с восемнадцати лет к каторжным работам, три раза бегал из острога. Стоило только послушать, как он рассказывал о своих подвигах, как холодно говорил, что *когда-нибудь гильотина состряпает из его мяса славные сосиски*. Несмотря на невольный ужас, внушаемый мне этим человеком, я любил его расспрашивать о его странной профессии, и что особенно влекло меня к нему — это надежда на возможность побега. В то же время я сблизился со многими личностями из шайки так называемых шоферов или поджаривателей, грабившей окрестные села под начальством знаменитого Салламбье. Таковы были: Август Пуассар, по прозванию Провансалец, Шопин, Карон-младший, Карон Горбач, Дугамель и Брюкселюа, прозванный Неустрашимым за беспримерный подвиг мужества, который стоит того, чтобы сообщить о нем читателю. Напавши на одну ферму с шестью товарищами, он просунул левую руку в отверстие, сделанное в ставне, но когда хотел ее вытащить, то почувствовал, что она затянута в глухую петлю. Жители фермы, разбуженные шумом, постарались устроить эту ловушку, так как, страшась многочисленности

шайки, не смели выйти. Между тем близко было к рассвету, и воровская попытка, очевидно, не удалась. Брюкселюа видит замешательство своих спутников, и ему приходит в голову, что из боязни быть выданными они его подстрелят. Тогда он правой рукой вынимает двухконечный нож, бывший всегда с ним, отрезает кисть руки и убегает вместе с другими, не обращая внимания на боль. Этот удивительный случай, приписываемый различным местностям, в действительности происходил близ Лилля и хорошо памятен жителям Северного департамента, которые видели казнь Безрукого, совершившего этот подвиг.

Представленный столь компетентным лицом, как мой соотечественник Десфоссо, я был принят в кругу разбойников с распростертыми объятиями. Они с утра до вечера только и делали, что обдумывали новые способы бегства. В этом случае, как и во многих других, я мог заметить, что у заключенных жажда свободы, сделавшись исключительной идеей, порождает такую невероятную изобретательность, которая человеку в спокойном состоянии никогда не может прийти в голову. Свобода!.. Все соединено с этой мыслью. Она преследует преступника во весь его длинный, праздный день, преследует в

зимние вечера, которые он должен проводить в совершенной темноте, оставленный на произвол своему беспокойству и нетерпению. Войдя в тюрьму, вы слышите шумные возгласы веселья, так что можно принять ее за увеселительное место; но подойдите ближе, и вы увидите, что эти физиономии делают гримасы, а глаза не смеются: они неподвижны и суровы. Это условное веселье вполне искусственно в своем необузданном проявлении, подобно радости шакала, прыгающего в клетке с целью сломать ее.

Зная, с какими людьми имеют дело, наши сторожа столь тщательно за нами смотрели, что ни один план не мог нам удаться. Наконец представился единственный случай, обещавший успех, и я ухватился за него прежде, чем он мог прийти в голову кому-либо из моих сотоварищей, при всей их ловкости и дальновидности. Нас повели на допрос восемнадцать человек зараз и оставили в передней судебного следователя под охраной армейских солдат и двух жандармов, один из которых положил возле меня свою шапку и шинель и вышел; другого жандарма звонок тоже вскоре вызвал. Я, не думая долго, накидываю шапку на голову, закутываюсь в шинель, беру за руку одного из заключенных и, делая вид, что провожаю

его за известной надобностью, смело иду к двери; сторож-капрал выпускает нас, не говоря ни слова. И вот мы на воле, но что делать без денег и без паспорта?.. Спутник мой отправляется в деревню, а я, рискуя снова быть пойманным, возвращаюсь к Франсине, которая от радости свидеться со мною готова все свое распродать и бежать со мной в Бельгию. Все уже готово было к отъезду, как вдруг самый неожиданный случай, объясняемый только моей невообразимой беспечностью, все разрушил.

Накануне отъезда, уже в сумерках, я встретился с одной женщиной из Брюсселя, по имени Элиза, с которой я там находился в интимных отношениях. Она бросилась мне на шею и, преодолев мое слабое отнекиванье, зазвала с собой ужинать и не пустила до следующего дня. Отыскивавшую меня повсюду Франсину я уверил, что, будучи преследуем полицией, бросился в один дом, откуда нельзя было выбраться до утра. Сначала она этому поверила, но, случайно узнавши, что я провел ночь с женщиной, она разразилась ревнивыми упреками и в припадке ярости побожилась, что выдаст меня. То было, конечно, самое верное средство охранить себя от измены — засадивши меня в тюрьму. Но так как Франсина способна

была это исполнить, то я и нашел благоразумным удалиться на время, пока стихнет ее гнев, а затем, вернувшись, ехать вместе. Но, имея нужду в своих вещах и не желая их требовать от Франсины из боязни новой баталии, я пошел один в квартиру. Так как она была заперта, то я вошел через окно, забрал, что было мне нужно, и исчез.

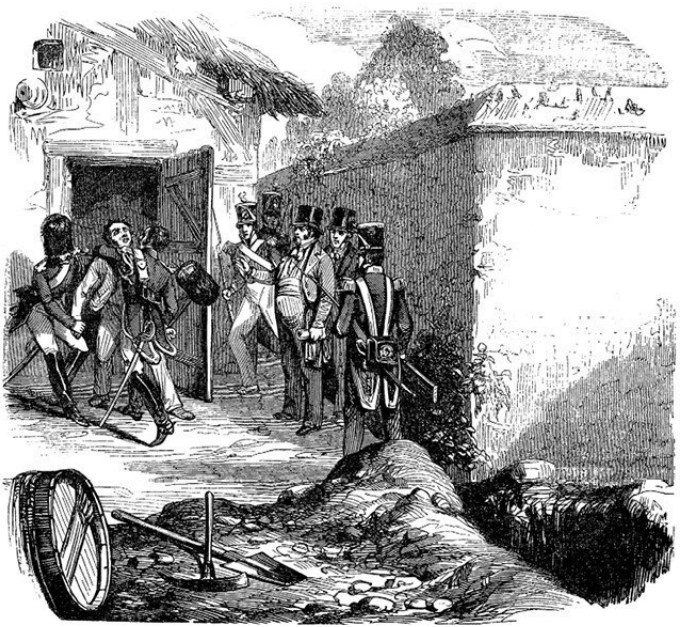
Дней пять спустя, одевшись мужиком, я решился оставить избранное мной убежище в предместье. Вхожу в город и иду к портнихе, закадычному другу Франсины, надеясь через ее посредничество примириться с последней. Она встречает меня с таким замешательством, что я, видя в этом боязнь скомпрометировать себя сношением с беглым и не желая ее стеснять, прошу ее только позвать ко мне Франсину. «Да!..» — сказала она каким-то необыкновенным тоном и, не поднимая на меня глаз, вышла. Оставшись один, я размышлял об этом странном приеме… Вдруг стучат; я отворяю, думая встретить Франсину… Толпа жандармов и полицейских бросается на меня, схватывает, связывает и отводит к судье, который прямо начинает с вопроса, где я находился последние пять дней. Ответ мой был короток; я никогда не запутал бы лиц, давших мне убежище. Судья заметил мне, что упрямство

в правильности показания будет для меня гибельно, что дело идет о моей голове и т. д. Я только посмеивался, видя в этом уловку вырвать признание, запугивая подсудимого. Итак, я остался при своем, и меня отвели в Petit-Hôtel.

Едва я вошел на двор, как все взоры обратились на меня; стали перекликаться, перешептываться. Приписавши это моему переряживанью, я не обратил внимания на такую встречу. Меня запирают в конуру и оставляют одного на соломе, в оковах. Через два часа является тюремщик и, притворяясь принимающим во мне участие, говорит, что мой отказ в признании, где я провел эти пять дней, может повредить мне во мнении судей. Я остаюсь непоколебимым. Проходит еще два часа. Приходят тюремщик с помощником, снимают с меня оковы и ведут в регистратуру, где уже были двое судей. Новый допрос и тот же ответ с моей стороны. Тогда меня раздевают с головы до ног; дают мне в правое плечо полновесный удар, чтобы выяснилось старое клеймо, предполагая, что я мог быть заклеймен прежде; отбирают мое платье, записывают его в протокол, и я возвращаюсь в свою конуру в холстинной рубашке и сюртуке, полусером и получерном, превратившемся уже в лохмотья и, по всей вероятности,

выдержавшем поколения два арестантов.

Все это заставило меня сильно призадуматься. Очевидно было, что портниха донесла на меня, — но с какой целью? Она не имела на меня ни малейшего неудовольствия. Франсина, несмотря на всю свою вспыльчивость, не обдумавши хорошенько, тоже не решилась бы на это, и если я ушел от нее на время, то это было не столько из боязни, сколько для того, чтобы не раздражать ее своим присутствием. И зачем эти частые допросы, эти таинственные намеки тюремщика? Зачем спрятали мое платье?.. Я терялся в лабиринте предположений. А пока меня засадили в секретную под наистрожайший надзор, и я провел там двадцать пять мучительных дней. Затем мне сделали следующий допрос, который выяснил дело.



— Как ваше имя?
— Эжен-Франсуа Видок.
— А звание?

— Я военный.

— Вы знаете девицу Франсину Лонге?

— Да, это моя любовница.

— Вы знаете, где она теперь находится?

— Она должна быть у одной из своих подруг, с тех пор, как продала свою мебель.

— Как имя этой подруги?

— Госпожа Буржуа.

— Где она живет?

— Улица Святого Андре, дом булочника.

— Сколько времени тому назад, как вы оставили девицу Лонге до вашего ареста?

— За пять дней перед арестом.

— Зачем вы оставили?

— Чтоб избежать ее гнева. Она узнала, что я провел ночь с другой женщиной, и в припадке ревности грозила донести на меня.

— С какой женщиной провели вы ночь?

— С прежней любовницей.

— Как ее имя?

— Элиза… Я никогда не знал ее другого имени.

— Где она живет?

— В Брюсселе, куда она, я думаю, вернулась.

— Где ваши вещи, которые были у девицы Лонге?..

— В месте, которое я укажу, если представится

надобность.

— Каким образом вы могли их взять после того, как поссорились с ней и не хотели ее видеть?

— Вследствие нашей ссоры в кофейной, где она меня нашла и угрожала позвать полицию, чтоб арестовать меня. Зная ее дурной характер, я пошел домой не прямой дорогой и пришел раньше нее; имея нужду в некоторых вещах, я разломал окно и взял, что мне было нужно. Вы спрашивали, где они теперь: они в улице Спасителя, у Дюбока.

— Вы говорите неправду… Прежде чем расстаться с Франсиной, *у нее в доме* вы имели большую ссору… Уверяют, что вы даже прибегли к насилию!..

— Неправда… Я не видал Франсину у нее в квартире после нашей ссоры, стало быть, не мог ее обижать… Она сама может это заявить!..

— Узнаёте вы этот нож?

— Да, я этот нож обыкновенно употреблял за столом.

— Вы видите, что лезвие и ручка покрыты кровью?.. Это не производит на вас никакого впечатления?.. Вы смутились!

— Да, — сказал я с волнением, — но что же случилось с Франсиной?.. Скажите мне, и я вам дам все возможные объяснения.

— Не случилось ли с вами чего особенного, когда вы пришли за своими вещами?

— Решительно ничего, насколько я помню, по крайней мере.

— Вы настаиваете в справедливости своих показаний?

— Да.

— Вы обманываете правосудие… Прекращаю допрос, чтобы дать вам время размыслить о вашем положении и о последствиях вашего упрямства… Жандармы, хорошенько смотрите за этим человеком… Ступайте!

Было поздно, когда я возвращался в свою конурку; мне принесли мою порцию; но волнение, причиненное допросом, не давало мне есть; спать также было невозможно, и я провел всю ночь не смыкая глаз. Совершено было преступление; но над кем и кем? Зачем его взводили на меня? Я тысячу раз задавал себе эти вопросы и не находил разумного разрешения; на другой день меня снова позвали на допрос. После обычных вопросов дверь в комнату растворилась, и вошли два жандарма, поддерживая женщину… Это была Франсина… Франсина бледная, обезображенная, почти неузнаваемая. Увидя меня, она лишилась чувств. Я хотел подойти к ней, но жандармы

удержали меня. Ее вынесли, а я остался один с судебным следователем, который спросил меня, что неужели вид этой несчастной не побуждает меня во всем сознаться. Я снова стал уверять в своей невинности, прибавя, что даже не знал о болезни Франсины. Меня опять посадили в тюрьму, но уже не в секретное, и я мог надеяться, что скоро узнаю во всех подробностях происшествие, жертвою которого я сделался. Я спрашивал тюремщика; но мне не отвечали; написал Франсине; но меня предупредили, что письма, адресованные к ней, будут представлены в регистратуру, а что ко мне ее не пустят. Я был как на горячих угольях и наконец решился обратиться к адвокату, который, познакомившись с ходом дела, сказал мне, что я обвинен в убийстве Франсины. В тот самый день, как я ушел от нее, ее нашли умирающей, с пятью ранами, плавающею в крови. Мое быстрое исчезновение, тайный захват своих вещей, перенесенных в другое место, как бы для того, чтобы скрыть их от глаз правосудия; разломанное окошко, следы воровства, подходящие к моим шагам, — все это делало вероятною мою преступность; вдобавок я был переряжен, что служило новой уликой: думали, что я пришел переодетым только затем, чтобы удостовериться,

что она умерла, не обвинивши меня. Даже то, что в другом случае служило бы к оправданию, на этот раз было мне же во вред: как только доктор позволил ей говорить, она заявила, что в отчаянии быть покинутой человеком, которому всем пожертвовала, решилась на самоубийство и сама себя ранила ножом. Но ее привязанность ко мне делала это свидетельство подозрительным; были убеждены, что она это говорила, только чтобы спасти меня.

Адвокат перестал говорить уже с четверть часа… а я все еще слушал, как человек под влиянием кошмара. В двадцать лет я находился под тяжестью двойного обвинения — в подлоге и убийстве, не сделавши ни того ни другого!!! Мне не раз приходило в голову повеситься в своей конуре, и я близок был к сумасшествию; но в заключение опомнился и настолько ободрился, что мог обдумывать лучшие средства к своему оправданию. В предыдущих вопросах сильно налегали на улику крови, которую рассыльный видел на моих руках, принимая от меня вещи; эта кровь была от раны, которую я сделал, разламывая окошко, и я даже мог привести в этом двух свидетелей. Адвокат, которому я сообщил все придуманное мною, уверял, что все это, будучи

присоединено к показанию Франсины, которое одно не имело бы никакой силы, непременно послужит к моему оправданию, что действительно вскоре и случилось. Франсина, хотя еще весьма слабая, пришла тотчас же со мной повидаться и подтвердила все, что я узнал о ней на суде.

Таким образом я избавился от одного страшного обвинения, но оставалось другое: мои частые побеги все замедляли ход процесса о подлоге, в котором я был замешан, так что Груар, не видя этому конца, тоже бежал. Но благоприятный исход первого обвинения подавал мне надежду, и я нимало не думал о побеге, когда неожиданно представился к тому случай, за который я, можно сказать, ухватился инстинктивно. В комнате, где я содержался, находились пересыльные арестанты. Раз, пришедши за двумя из них, тюремщик забыл запереть дверь; увидевши это, я мигом спустился вниз и осмотрел местность. Так как было раннее утро и все арестанты спали, то я никого не встретил ни на лестнице, ни у ворот. Я уже был на воле, как тюремщик, пивший полынную водку в кабаке против тюрьмы, увидал меня и закричал: «Держите! Держите!» Но тщетны были его крики: улицы были пусты, а жажда свободы придавала мне крылья. Через несколько минут я

исчез из вида и вскоре пришел в один дом в квартале Спасителя, где, я был уверен, меня не придут отыскивать. С другой стороны, надо было скорее оставить Лилль, где я был слишком известен, чтобы долго оставаться в безопасности.

Меня повсюду разыскивали, и при начале ночи я узнал, что городские ворота были заперты; выход был только через калитку, окруженную переодетыми полицейскими и жандармами, которые следили за всеми проходящими. Я решился спасаться через ров и, зная превосходно местность, в десять часов вечера пошел на бастион Notre-Dame, который считал самым лучшим местом для исполнения своего плана. Привязав к дереву нарочно заготовленную веревку, я стал спускаться; но вскоре, вследствие тяжести своего тела, стал лететь вниз с такой быстротою, что не в силах был удержать в руках жгучую веревку и пустил ее на расстоянии пятнадцати футов от земли. При падении я свихнул ногу, так что принужден был употреблять невероятные усилия, чтобы выбраться изо рва; но после того уже я положительно не мог двинуться далее. Я сидел, изрекая красноречивые проклятия на все рвы, на веревку, на свой вывих, хотя это нимало не помогало делу, когда мимо меня прошел человек, везя

тачку, которые в таком большом употреблении во Фландрии. Я предложил ему шестифранковый талер, единственный, который у меня был, и он согласился довезти меня в своей тачке до ближайшей деревни. Введя меня в свой дом, он уложил меня в постель и стал натирать мою ногу водкой с мылом; жена его также усердно помогала, не без удивления поглядывая на мой костюм, весь испачканный в грязи. У меня не спрашивали никакого объяснения, но я понимал, что его следует дать, и потому, чтобы обдумать его, я сделал вид, что весьма желаю успокоиться, и попросил их выйти. Спустя два часа я позвал их голосом пробудившегося человека и вкратце рассказал им, что, поднимая на вал контрабандный табак, я упал; товарищи мои, преследуемые досмотрщиком, должны были оставить меня во рву. Ко всему этому я прибавил, что судьба моя в их руках. Эти добрые люди, презиравшие всех таможенных так же искренно, как всякий пограничный житель, уверяли меня, что они меня не выдадут ни за что на свете. Для испытания я спросил, не было ли возможности переправить меня на другую сторону к отцу, — они отвечали, что это значило рисковать собою, что гораздо было лучше подождать несколько дней, пока я оправ-

люсь. Я согласился, и, чтобы отклонить всякое подозрение, решено было, что они выдадут меня за приехавшего к ним родственника. Впрочем, никто и не обращался ни с какими расспросами.

Успокоенный с этой стороны, я стал размышлять о своих делах и о том, что мне надо решиться. Очевидно, надо было совсем выехать и отправиться в Голландию. Но для исполнения этого плана необходимы были деньги; а у меня, кроме часов, которыми я заплатил хозяину, оставалось только четыре ливра и десять су. Я мог бы прибегнуть к Франсине; но нельзя было сомневаться, что за ней тщательно наблюдают, так что послать к ней письмо значило бы предать себя в руки правосудия; по крайней мере, надо было обождать, пока перейдет первое, жаркое время розысков. И я ждал. По прошествии двух недель я решился черкнуть словечко своей возлюбленной и отправил с письмом хозяина, предупредив его, что так как эта женщина служит посредницей контрабандистам, то лучше из предосторожности видеться с ней тайно. Он отлично выполнил поручение и к вечеру принес мне сто двадцать франков золотом. На следующий же день я простился со своими хозяевами, которые выказали весьма скромные требования за все свои услуги.

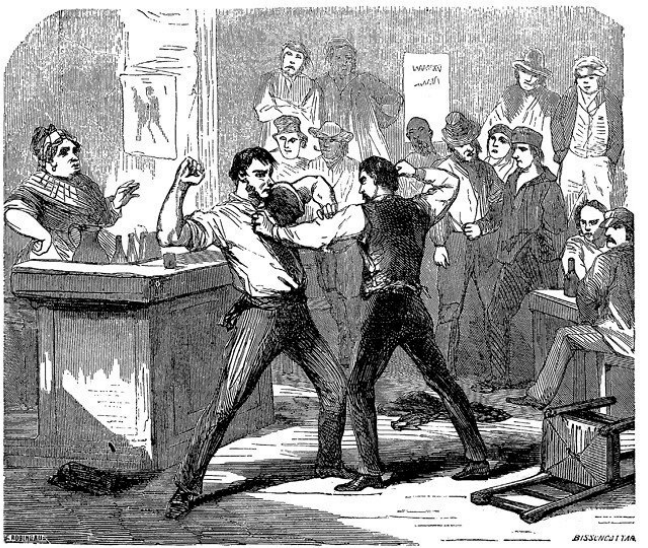
Через шесть дней я прибыл в Остенде.

Цель моя была, как и в первую поездку в этот город, отправиться в Америку или в Индию; но я нашел только прибрежные датские или английские суда, куда меня не взяли без документов. Между тем небольшая сумма денег, привезенная мною из Лилля, видимо истощалась, так что предвиделось снова впасть в одно из тех положений, с которыми можно более или менее осваиваться, но которые тем не менее весьма неприятны. Деньги, конечно, не дают ни гения, ни талантов, ни ума; но самоуверенность, доставляемая ими, может заменить все эти качества, тогда как отсутствие ее, напротив, часто их совсем стушевывает. Нередко случается, что, когда необходимы все способности ума для того, чтобы достать денег, эти способности вдруг пропадают именно вследствие отсутствия денег. Ко мне именно можно было отнести это; а между тем есть было необходимо; это отправление часто гораздо труднее бывает удовлетворить, нежели то кажется многим счастливцам мира, воображающим, что для него ничего не нужно, кроме аппетита.

Мне часто рассказывали об отважной и доходной жизни береговых контрабандистов; арестанты даже хвалили ее с энтузиазмом, по-

тому что этой профессией часто занимаются по страсти, люди, состояние и общественное положение которых должны бы были отвратить их от столь опасной карьеры. Что касается до меня, то я нимало не пленялся перспективой проводить целые ночи у крутых берегов, посреди утесов, подвергаться всякой погоде и вдобавок ударам досмотрщиков. Поэтому я с большой неохотой отправился к некоему Петерсу, рекомендованному мне контрабандисту, который мог посвятить меня в дело. Чайка, прибитая к двери с распростертыми крыльями, подобно сове или другой какой птице, часто встречающаяся у входа сельской хижины, легко дала мне возможность найти его. Я застал его в погребе, который можно было принять за пространство между деками на судне, так он был загромождeн канатами, парусами, веслами, гамаками и бочками. Сначала контрабандист взглянул на меня недоверчиво из окружавшей его дымной атмосферы; это мне показалось дурным предзнаменованием, что не замедлило подтвердиться, потому что когда я предложил ему себя в услужение, то он бросился отчаянно колотить меня. Я, конечно, мог бы с успехом защищаться, но неожиданность и изумление отняли у меня самую мысль о защите;

притом на дворе было несколько матросов и огромная ньюфаундлендская собака, которые бы могли взглянуть на это неблагосклонно. Поэтому, выскочив на улицу, я старался объяснить себе столь странный прием, и тут мне пришло в голову, что Петерс мог принять меня за шпиона. Такое заключение заставило меня отправиться к одному продавцу можжевеловой водки, которому я успел внушить достаточно доверия. Сначала он слегка посмеялся над моим приключением, а затем наставил меня, как нужно было обратиться к Петерсу. Я снова пошел к грозному патрону, запасшись, однако, большими каменьями, которые, в случае нового нападения, могли со славой прикрыть мое отступление. Со словами «Берегитесь, акулы!» (таков был лозунг Петерса, разумевшего под акулами таможенных) я смело приблизился к нему и был принят почти дружески; моя сила и ловкость гарантировали успех в этой профессии, где часто представляется необходимость быстро переносить с места на место огромные тяжести. Один из контрабандистов, Борделе, взялся меня посвятить в тайны искусства; но мне пришлось заняться самим делом прежде надлежащей подготовки.



Я спал у Петерса в обществе двенадцати или пятнадцати контрабандистов разных наций: голландцев, датчан, шведов, португальцев и русских; англичан не было, а французов было двое. На другой день после моего вступления, когда

каждый из нас устраивал себе постель, вдруг неожиданно вошел Петерс. Надо сказать, что наше незатейливое помещение было не что иное, как погреб, до такой степени набитый тюками и бочками, что мы с трудом находили возможность развешивать свои гамаки. На Петерсе не было его обычного костюма конопатчика или парусника, а была шапка из конского волоса, красная рубашка, заколотая на груди серебряной булавкой, и огромные рыбачьи сапоги, которые, доходя до бедер, могут по произволу спускаться ниже колена.

«Ну, ну! — закричал он в дверях, стуча об пол прикладом своего карабина. — Койки долой!.. Долой койки, говорят вам!.. Мы выспимся когда-нибудь после. С нынешним приливом принесло к нам Белку… Надо посмотреть, что у ней в брюхе… Кисея или табак… Ну, ну!.. Ступайте, ступайте, мои свинки…»

В мгновение ока все были на ногах. Открыли ящик с оружием, и каждый вооружился карабином и мушкетоном, двумя пистолетами и кортиком или интрепелем, и мы отправились, выпив предварительно несколько стаканов водки и арака. Шайка при выходе состояла только из двадцати человек; но по дороге, в разных местах,

к нам присоединились отдельные личности, так что по прибытии к берегу моря мы были в числе сорока семи, не считая двух женщин и нескольких крестьян из соседних деревень, пришедших с навьюченными лошадьми, которых спрятали за утесом.

Была глухая ночь. Ветер поминутно свистал, и море бушевало с такой силой, что я не мог постичь, каким образом судно могло бы причалить к берегу; эта мысль подтверждалась тем, что при свете звезд я видел, как небольшое судно лавировало около, как бы страшась приблизиться; но мне после объяснили, что этот маневр имел целью удостовериться, что все приготовления к выгрузке были покончены и что нет никакой опасности. Когда Петерс зажег фонарь и тотчас же погасил его, на марсе Белки тоже подняли фонарь, который все время то блеснет, то исчезнет, как светляк в летнюю ночь; затем она подплыла по ветру и остановилась от нас на один выстрел. Наша шайка разделилась на три части, две из которых были поставлены в пятистах шагах от нас, чтобы не допустить таможенных, если бы им пришла фантазия явиться. Впоследствии мы разместились по земле, привязав каждому к левой руке веревочку, которая всех соединяла

вместе. В случае тревоги достаточно было легкого толчка, чтобы предупредить друг друга, а на этот знак должно было отвечать выстрелом из ружья, так чтобы по всей линии образовалась перестрелка. Третья часть, к которой принадлежал и я, осталась на берегу, чтобы охранять дебаркадер и помогать обмену.

Когда все было таким образом устроено, ньюфаундлендская собака, о которой я уже говорил и которая была с нами, по команде бросилась в пенящиеся волны и энергично поплыла к Белке; минуту спустя она показалась, держа в пасти конец каната. Петерс быстро за него ухватился и стал тянуть к себе, сделав нам знак помогать ему. Я машинально повиновался и вскоре увидал на конце каната двенадцать маленьких бочек, которые подплыли к нам; тогда я понял, что судно не хотело подплывать ближе к земле, чтобы не погибнуть в буруне. Бочки, обмазанные так, что были непроницаемы, отвязали, вынули из воды, нагрузили на лошадей и немедленно отправили. Вторая посылка была принята также удачно; но при третьей несколько выстрелов дали нам знать, что наш караул был атакован.

«Вот открытие бала, — сказал спокойно Петерс, — кто-то будет танцевать», — и, взявши свой

карабин, он присоединился к обоим караулам, которые уже были вместе. Пошла весьма оживленная стрельба, стоившая нам двух убитых и нескольких раненых. По выстрелам таможенных видно было, что они превосходят нас в числе; но, перепуганные и боясь засады, они не решались напасть на нас, так что мы беспрепятственно отступили и вернулись домой. При самом начале схватки *Белка* снялась с якоря и принялась улепетывать, страшась, чтобы выстрелы не привлекли в эти места правительственных крейсеров. Мне сказали, что, по всей вероятности, они выгрузят остальной товар в другом месте, где вольные экспедиторы имели многих корреспондентов.

Возвратясь домой на рассвете дня, я бросился на свою койку и мог сойти с нее только спустя двое суток: непривычный ночной труд, постоянно влажное платье, в то время как физическое упражнение беспрестанно бросало в пот, беспокойство от новости своего положения, — все это соединялось, чтобы свалить меня с ног. Со мной сделалась лихорадка. Когда она прошла, я сказал Петерсу, что нахожу ремесло слишком тяжелым и потому прошу его отпустить меня. Он гораздо спокойнее отнесся к этому, нежели я думал, и даже отсчитал мне сто франков. Впоследствии я

узнал, что он следил за мною в течение нескольких дней, чтобы удостовериться, действительно ли я отправился в Лилль, как сказал ему.

Да, я имел глупость идти снова в этот город из ребяческого желания видеться с Франсиной и взять ее с собой в Голландию, где намеревался открыть маленькое заведение. Но моя опрометчивость не замедлила быть наказанной: два жандарма, бывшие в кабаке, увидали меня проходящим по улице, и им пришло на мысль нагнать меня и спросить мой паспорт. При повороте они меня настигают, и мое замешательство при их появлении побуждает их забрать меня по наружным приметам. Меня сажают в бригадную тюрьму. Я уже отыскивал средства к побегу, когда услыхал следующее обращение к жандармам: «Вот корреспонденция из Лилля — кому идти?» Два человека из лилльской бригады подошли к тюрьме и спросили, есть ли дичь. «Да, — отвечали забравшие меня. — Вот какой-то господин Леже, — (я назвал себя этим именем), — которого мы нашли без паспорта». Дверь отворяется, и бригадир из Лилля, часто видавший меня в Petit-Hôtel, восклицает: «Тьфу пропасть! Да ведь это Видок!» Делать нечего, пришлось открыться. Мы подъехали, и через несколько часов я входил

в Лилль, сопровождаемый двумя непрошеными телохранителями.

Глава шестая

Я поступаю в балаган. – Опять тюрьма и новые замыслы побега. – «Помилуйте, может ли человек пролезть в такое отверстие?» – Собравшиеся бежать арестанты сами созывают тюремную стражу. – Я поступаю в гусарский полк. – Осада тюрьмы. – Суд. – Обвинительный акт

Я нашел в тюрьме Petit-Hôtel большую часть арестантов, которых выпустили еще до моего побега. Они как бы находились в отлучке и были арестованы за новые преступления. В том числе был Каландрен, о котором я уже говорил: освобожденный 11-го, он был снова посажен 15-го за воровство со взломом и за сообщничество с шайкой шоферов, к которой все тогда относились с ужасом. Основываясь на репутации, приобретенной мною многочисленными побегами, они заискивали передо мной, как перед человеком, на которого можно положиться. Я, со своей стороны, не мог от них отделаться: будучи обвинены в уголовных преступлениях, они из

собственной выгоды не могли выдать попытки к побегу, тогда как обвиненный в каком-либо проступке мог легко донести на них из боязни быть самому замешанным с ними; такова логика тюрьмы. Побег, однако, не мог быть легким уже вследствие самого устройства тюрьмы: семь квадратных футов, стены в толщину ладони, окна с тремя решетками, поставленными одна за другой, дверь из кованого железа. С такими предосторожностями тюремщик, по-видимому, мог быть спокоен насчет своих заключенных, а между тем сумели-таки его провести. Я сидел вместе с неким Дюгамелем. Арестант, исполнявший должность привратника, за шесть франков доставил нам пилу, долото и двое щипцов. У нас были оловянные ложки, и тюремщик, по всей вероятности, не подозревал, какое употребление могут сделать из них заключенные. Я хорошо знал тюремные ключи, которые были одинаковы для всех тюрем одного этажа. Я сделал слепок из хлебного мякиша и картофеля. Надо было раздобыться огнем, и мы сделали себе ночник из свиного сала с фитилем из бумажного колпака. Наконец ключ был отлит из олова, но оказалось, что он не совсем подходит, так что только после многих подправок и прилаживаний мы достиг-

ли желаемого. Затем нам надо было сделать отверстие в стене, выходящей в амбар ратуши. Салламбье, занимавший последнюю тюрьму, сделал его, отпиливши одну из досок. Все было готово к побегу, который должен был совершиться вечером, как вдруг тюремщик объявил мне, что время моего одиночного заключения покончилось и меня поместят с прочими арестантами.

По всей вероятности, никогда подобная милость не была принята с меньшей радостью, чем на этот раз. Все мои приготовления оказались напрасными, и бог весть когда еще мог представиться столь благоприятный случай. Но пришлось смириться и следовать за тюремщиком, которого я внутренно посылал к черту с его поздравлениями. Эта помеха так меня огорчила, что все арестанты заметили это. Один из них, выпытавши у меня мою тайну, совершенно справедливо заметил, что бежать с такими личностями, как Салламбье и Дюгамель, которые, может, и дня не прожили бы без нового убийства, было весьма опасно и рискованно. Он советовал подождать другого случая. Я последовал этому совету и не раскаялся. Мало того, простер предосторожность до того, что сказал Салламбье и Дюгамелю, будто их подозревают и что им нельзя медлить ни минуты.

Они приняли совет буквально и через два часа присоединились к шайке сорока семи шоферов, из которых двадцать восемь были казнены в следующий же месяц в Брюгге. Побег Дюгамеля и Салламбье наделал большого шума в тюрьме и даже по городу. Казалось, что он сопровождался особенно необыкновенными обстоятельствами; тюремщик же находил удивительнее всего то, что я не был вместе с ними. И вот надо было исправить повреждения; пришли рабочие, а внизу тюремной лестницы поставили часового, с приказанием не выпускать решительно никого. Мне пришло в голову ловко нарушить приказ и выйти через то самое отверстие, которое было приготовлено для побега.

Франсина, приходившая ежедневно ко мне, принесла мне требуемые мною три аршина трехцветной ленты. Из одного куска я сделал себе пояс, а остальными украсил свою шляпу и в таком виде смело прошел мимо часового, который, принявши меня за муниципального офицера, отдал мне честь. Я быстро бегу по лестнице и, дойдя до отверстия, снова нахожу двух часовых, одного в амбаре ратуши, другого в коридоре тюрьмы. Последнему я замечаю, что невозможно, чтобы человек мог пройти сквозь такое отверстие; он

утверждает противное, и словно по моему подсказу товарищ его прибавляет, что я пройду даже совсем одетый. Я высказал желание попробовать, просунулся и очутился в амбаре. Притворяясь, что я поранил себя, пролезая, я говорю часовым, что поблизости схожу в свой кабинет. «Ну так обождите, я вам отопру дверь», — сказал бывший в амбаре, и он повернул ключ. В два прыжка я спустился вниз и очутился на улице, все еще разукрашенный лентами, за которые меня также могли бы арестовать, кабы не смеркалось.



Не успел я выбраться, как тюремщик, никогда не терявший меня из виду, спросил: «Где Видок?» Ему отвечали, что я пошел пройтись по двору; он сам отправился удостовериться в этом, но напрасно отыскивал меня во всех уголках дома, призывая громкими криками. Официальные розыски принесли тот же результат: никто не

видал, как я вышел. Скоро стало ясно, что меня не было в тюрьме, но каким образом я убежал? Этого никто не знал, ни даже Франсина, которая простодушно уверяла, что совсем не знает, куда я делся, потому что принесла мне лент, не зная, что я хотел с ними делать. Она все-таки была задержана, но это не принесло никакой пользы, потому что оба сторожа были далеки от того, чтобы заикаться о своем промахе.

Пока таким образом преследовали мнимых укрывателей моего побега, я вышел из города и достиг Кортрейка, где фигляр Оливье и паяц Девуа взяли меня в свою труппу для разыгрыванья пантомимы. Там я встретил многих арестантов, характеристичный костюм которых, никогда ими не покидаемый по той простой причине, что у них другого не было, отлично сбивал с толку полицию. Из Кортрейка мы прибыли в Гент, откуда вскоре поехали на английскую ярмарку. Мы были уже пять дней в Ангене, и сбор, в котором я имел свою долю, шел отлично, когда раз вечером, перед выходом на сцену, я вдруг был арестован полицейскими чиновниками. На меня донес паяц, свирепствовавший за то, что я занял первое место. Меня снова отвели в Лилль, где я с горестью узнал, что бедная Франсина была осуждена

на шестимесячное тюремное заключение за мнимое содействие моему побегу. Привратник Баптист, вся вина которого заключалась в том, что он почтительно выпустил меня из Башни Святого Петра, этот несчастный Баптист также был засажен. Большой уликой против него послужило то, что арестанты, воспользовавшись случаем отомстить, уверяли, будто врученные ему мною сто талеров заставили его признать молодого, девятнадцатилетнего человека за старого офицера, около пятидесяти лет.

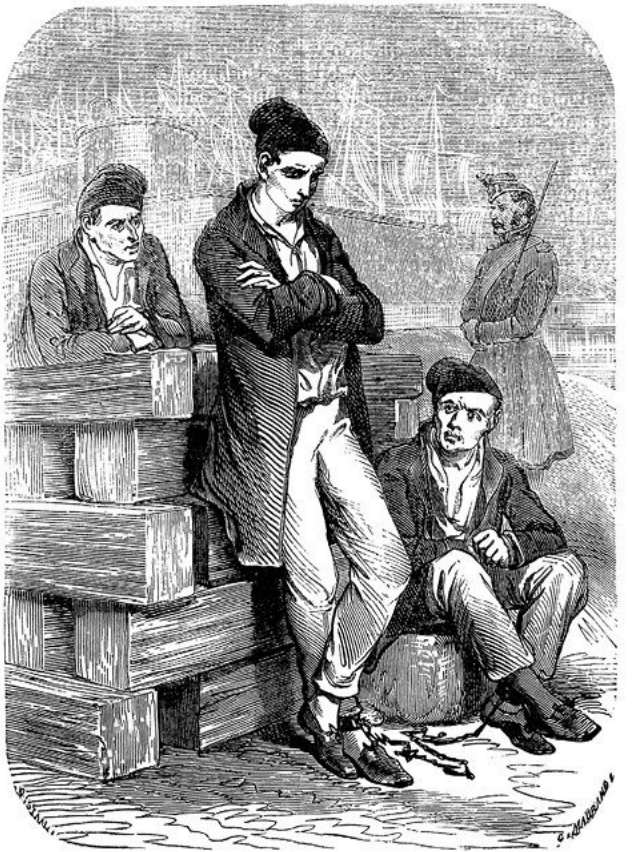
Что касается до меня, то я был переведен в тюрьму департамента Дуэ и был отмечен как человек опасный, так что тотчас же помещен в отдельную тюрьму, в оковах на руках и ногах. Я встретил там соотечественника Десфоссо и одного молодого человека, Дуаннета, осужденного на шестнадцать лет за участие в воровстве со взломом вместе со своим отцом, матерью и двумя младшими братьями. Он уже четыре месяца валялся на соломе в той тюрьме, куда и меня поместили, съедаемый насекомыми, на хлебе из бобов и на воде. Я прежде всего послал за разными яствами, которые и были мгновенно истреблены. Затем мы перешли к своим делам, и мои сотоварищи объявили мне, что уже две

недели они трудятся над подкопом под полом тюрьмы, который должен прийтись в уровень со Скарпом, омывающим стены тюрьмы. Сначала я смотрел на это как на дело весьма трудное: надо было прорыть стену в пять футов толщины, не возбудивши подозрения тюремщика, частые посещения которого заставляли нас всячески скрывать малейший след наших работ. Поэтому каждую горсть земли или цемента, выкапываемую нами, мы тщательно выбрасывали за решетчатое окно, выходившее на Скарп. Десфоссо нашел средство снять наши оковы, и мы работали с меньшей усталостью и затруднением; один из нас уже постоянно сидел в подкопе, который настолько распространился, что мог вместить человека. Работа наша была почти кончена и мы считали себя полусвободными, как вдруг оказалось, что фундамент, вместо того чтобы быть из простого камня, как мы предполагали, был из песчаника самых больших размеров. Это заставило нас распространить нашу подземную галерею, и целую неделю мы работали без устали. Чтобы скрыть отсутствие того из нас, кто работал, пока делали осмотр, мы набивали соломой его рубашку и камзол и клали это чучело в положение заснувшего человека.

Спустя пятьдесят пять дней и ночей упорного труда мы наконец приблизились к цели; оставалось только своротить один камень, и мы были бы у берега реки. И вот однажды ночью мы решились сделать попытку. По-видимому, все благоприятствовало нашему намерению: тюремщик раньше обыкновенного сделал свой обход, а густой туман подавал надежду, что часовой на мосту нас не увидит. Тяжелый камень уступил нашим соединенным усилиям и упал в подземелье; но с этим вместе туда устремилась вода, как из-под мельничной плотины. Мы плохо сообразили расстояние, и наша яма пришлась на несколько футов ниже уровня воды, так что в несколько мгновений яма вся была затоплена; сначала мы хотели рискнуть вплавь, но быстрота течения не позволила этого; мало того, пришлось даже звать на помощь, чтобы не остаться в воде на всю ночь. На наши крики сбежались тюремщики и сторожа и остолбенели, увидя себя по колено в воде. Вскоре все разъяснилось, принялись за исправление повреждений, а нас засадили в другую тюрьму, выходящую в тот же коридор.

Эта катастрофа повергла меня в печальное раздумье, но Десфоссо старался меня ободрить, говоря на своем воровском языке, что надежда еще

не потеряна и что я должен брать с него пример мужества. У Десфоссо действительно была замечательная твердость характера, которую ничто не могло сломить: валяясь полуобнаженным на соломе, в тюрьме, где почти негде было прилечь, отягощенный тридцатифунтовыми оковами, он находил еще возможность распевать во все горло и ни о чем не думал, кроме побега, чтобы снова приняться за преступление. Случай не замедлил представиться.



В одной тюрьме с нами сидели два арестанта, тюремщик лилльской тюрьмы Petit-Hôtel и сторож Баптист, оба обвиненные в содействии моему побегу за деньги. Тюремщика оправдали на суде, а арест Баптиста продолжили ввиду предстоящего получения от меня новых показаний. Бедняк умолял меня сказать правду. Я сначала отвечал ему уклончиво, но, когда Десфоссо внушил мне, что этот человек может нам пригодиться и что его следует пожалеть, я положительно обещал исполнить его просьбу. Он принялся жарко благодарить и предлагать свои услуги. Этого только и было надо; я поймал его на слове и велел ему принести себе нож и два больших гвоздя, которые нужны были Десфоссо. Через час Баптист принес требуемое, а Десфоссо, узнав об этом, запрыгал от радости, насколько позволяла теснота нашего помещения и тяжесть оков. Дуаннет также выказал живейшую радость, а так как веселость заразительна, то я был весьма доволен, сам не зная чем.

Когда эти восторги потухли, Десфоссо велел мне посмотреть, нет ли в своде моей тюрьмы пяти камней более других; на мой утвердительный ответ он велел ощупать пазы концом ножа; сделав это, я увидал, что в промежутках камней

вместо замазки был мякиш подбеленного хлеба, и Десфоссо сообщил мне, что находившийся тут до меня арестант таким образом подготовил камни, чтобы вынуть их и бежать, как его внезапно перевели в другую тюрьму. Я передал нож Десфоссо, и он принялся устраивать себе проход до моей тюрьмы, как вдруг с нами случилось то же самое, что и с моим предшественником. Тюремщик, возымев подозрение, перевел нас всех троих в тюрьму, выходящую на Скарп; мы были скованы вместе, так что малейшее движение одного немедленно сообщалось другим; с течением времени это делалось ужасной пыткой, потому что такое положение совершенно не давало спать. Через два дня Десфоссо, видя наше ослабление, решился прибегнуть к средству, которое употреблял только в особенных случаях и которое обыкновенно берег для работы с целью бегства. Подобно многим каторжным, он носил в заднем проходе футляр с пилами: с помощью этого орудия он принялся за дело, и не прошло трех часов, как оковы наши спали и мы бросили их из окна в реку. Тюремщик, пришедший посмотреть, все ли у нас благополучно, едва не упал в обморок, найдя нас раскованными. На вопрос его, что мы сделали со своими цепями, мы отвечали шутками. Вскоре

появился тюремный комиссар в сопровождении экзекутора по имени Гуртрель, и мы подверглись новому допросу. Десфоссо, потерявший терпение, вскричал: «Вы спрашиваете, где наши оковы?.. Так знайте же, что их съели черви, и опять съедят, какие бы вы на нас ни надели!» Тогда комиссар, предположив, что у нас есть в запасе знаменитая трава, разрывающая железо, не открытая, впрочем, до сих пор ботаниками, велел нас раздеть и осмотреть с головы до ног; после того на нас надели другие оковы, которые были также разбиты в следующую же ночь, так как драгоценный футляр не был найден. На этот раз мы доставили себе новое удовольствие — внезапно сбросить их в присутствии комиссара и экзекутора, которые не знали, что об этом думать; по городу даже распространился слух, что в тюрьме сидит колдун, который одним прикосновением разбивает свои оковы. Чтобы заглушить все эти слухи и особенно чтобы не дать возможности прочим арестантам открыть средство избавляться от цепей, нас велели припереть особенно тщательно, что не помешало нам оставить Дуэ ранее, чем ожидали, и ранее, чем мы сами думали.

Два раза в неделю нам позволяли совещаться со своими адвокатами в коридоре, одна дверь

которого выходила в суд; я ухитрился снять слепок, Десфоссо сделал ключ, и в один прекрасный день, когда мой адвокат разговаривал с другим клиентом, обвиненным в двух убийствах, мы вышли все трое незамеченными; две другие двери, попавшиеся нам на дороге, были мгновенно взломаны, и вскоре тюрьма осталась далеко за нами. Со всем тем меня мучило беспокойство: всю нашу собственность составляли шесть франков, а с таким богатством долго ли можно пробиваться? Я сообщил об этом своим товарищам, которые посмотрели на меня со зловещим смехом; наконец они объявили мне, что в следующую ночь намерены войти с помощью взлома в одну из соседних дач, в которой они знали отличным образом все выходы.

Это было для меня дело неподходящее, все равно как табор цыган: я мог воспользоваться опытностью Десфоссо для своего побега, но не имел и в мыслях соединиться с таким злодеем, хотя все-таки нашел благоразумнее не входить в какие-либо объяснения. Вечером мы находились близ одной деревни по дороге в Камбре; мы ничего не ели с самого завтрака в тюрьме; голод пронимал нас, и приходилось отправиться за припасами в деревню. Так как полуобнаженный

вид моих товарищей мог вызвать подозрения, то было решено отправиться мне с этой целью. Я взошел на постоялый двор, взял хлеба и водки и вышел в другую дверь, направляясь в противоположную сторону от моих товарищей, с которыми желал наивозможно скорее развязаться. Я шел всю ночь и остановился только на рассвете, чтобы соснуть в стогу сена.

Через четыре дня я был в Компьене, подвигаясь к Парижу, где надеялся найти средства к существованию, пока мать прислала бы мне пособие. В Лувре я встретил отряд черных гусар и спросил у гоффурьера, нельзя ли поступить на службу; он отвечал, что теперь не принимают. Лейтенант, к которому я после обратился, сказал то же самое, но, тронутый моим безвыходным положением, предложил мне ходить за лошадьми, взятыми им в Париж. Я поспешно согласился. Полученные мною полицейская фуражка и старый доломан избавили меня от всяких расспросов у заставы, и я поселился в военной школе вместе с отрядом, с которым потом отправился в Гиз, где было депо. По приезде в этот город я был представлен полковнику, который хотя и подозревал меня в дезертирстве, однако взял на службу под именем Ланне, которое я принял, не будучи в состоянии

доказать его никакой бумагой. В новой форме, незаметный в кругу многочисленного полка, я считал себя расквитавшимся с тюрьмой и уже надеялся составить себе военную карьеру, как вдруг несчастная случайность снова погрузила меня в пропасть.

Однажды утром меня встретил в нашем квартале жандарм, который из Дуэ был переведен в Гиз. Он так часто и так долго видал меня, что не мог не узнать с первого взгляда и тотчас же позвал меня. Куда тут деваться? Мы были посреди города, о бегстве нечего было и помышлять. Я без колебания подошел к нему и сделал вид, что весьма рад с ним встретиться. Он отвечал на мои любезности с некоторым смущением, которое было для меня дурным предзнаменованием. В это время прошел гусар из нашего эскадрона, который, увидя меня с жандармом, приблизился и воскликнул: «Вот как, Ланне, у тебя есть даже дела с жандармской фуражкой?»



— Ланне? — переспросил жандарм с удивлением.

— Да, это военное прозвище.

— Ну это мы посмотрим, — возразил он, хватая меня за шиворот.

Пришлось последовать за ним в тюрьму. Открывают сходство моих примет с описанием, полученным от бригады, и тотчас отправляют

меня в Дуэ по особому предписанию.

Этот последний удар окончательно привел меня в отчаяние, тем более что в Дуэ ожидали меня еще более неприятные новости: Груар, Гербо, Стофле и Буатель решили, чтобы один из них, по указанию жребия, взял на себя всю вину подлога документа, но так как подобный подлог не мог быть совершен одним лицом, то они обвинили меня, мстя этим за то, что я своими последними показаниями несколько отягчил их вину; кроме того, арестант, который бы мог показать в мою пользу, умер. Меня отчасти могло только утешать хоть то, что я успел отстать от Десфоссо и Дуаннета, которые были схвачены через четыре дня после нашего побега с вещами, украденными со взломом в одной мелочной лавке. Я вскоре их увидал, и так как они изумлялись моему быстрому тогдашнему исчезновению, то я объяснил, что внезапный приход жандарма в таверну, где я закупал провизию, заставил меня бежать куда попало. Сойдясь вместе, мы снова принялись за составление планов побега, получившего особенный интерес ввиду скорого приговора.

Однажды вечером прибыл конвой арестантов, из которых четверо, в оковах, были посажены в одну комнату с нами. Это были братья Дюэм,

богатые фермеры, пользовавшиеся превосходной репутацией, пока внезапно, неожиданной случайностью, не открылось их поведение. Четверо братьев, одаренные замечательной силой, находились во главе шайки шоферов, наводившей ужас в окрестностях и из которой не было известно ни одного члена. Болтовня маленькой дочери одного из братьев обнаружила тайну. Девочке, бывшей раз у соседей, вздумалось рассказать, что она набралась большого страха в прошлую ночь.

— Отчего? — спросили с любопытством.

— Как же, отец опять пришел со своими черными людьми!

— С какими черными людьми?

— С которыми он часто уходит по ночам… а потом к утру они приходят и считают деньги на одеяле… Мать зажгла фонарь и тетка Женевьева тоже, потому что дяди пришли с черными людьми. Раз я спросила мать, что все это значит; она отвечала мне: смотри не болтай, дочка; у отца есть *черная курочка,* которая несет ему денежки, но только ночью, и чтобы ее не рассердить, надо подходить к ней с таким же черным лицом, как ее перья. Будь скромна; если ты скажешь хоть слово, черная курица не придет больше.

Слушавшие, конечно, сразу поняли, что не для

таинственной курицы Дюэм мазали себе лица сажей, а чтобы не быть узнанными. Соседка сообщила свои подозрения мужу, а последний, в свою очередь расспросивши девочку и убедившись, что черные люди были не кто иные, как шайка шоферов, сделал заявление властям. Были приняты столь ловкие меры, что вся переодетая шайка была задержана в самое время отправления на новый грабеж.

Один из братьев ухитрился запрятать в подошву сапога лезвие ножа. Узнав, что я отлично знаю всех арестантов, он сообщил мне свой секрет, спрашивая, нельзя ли им воспользоваться для побега. Пока мы размышляли об этом, пришел мировой судья в сопровождении жандармов и сделал наистрожайший осмотр нашей комнаты и нас самих, причины которого мы совсем не знали. Я счел благоразумным спрятать во рту маленький подпилок, который всегда был со мною, но один из жандармов заметил это движение и воскликнул: «Он проглотил ее!» Что такое? Мы все переглянулись и тут только узнали, что дело шло о печати, которой печатали фальшивый приказ об освобождении Буателя. Заподозрив, что она у меня, меня перевели в городскую тюрьму и сковали правую руку с левой ногой. Кроме

того, тюрьма была так сыра, что брошенная мне солома в двадцать минут сделалась так влажна, точно ее смочили водой.

Восемь дней я оставался в этом ужасном положении, и меня только тогда решились возвратить в обыкновенную тюрьму, когда убедились, что мне невозможно отдать печати каким-либо обыкновенным образом. Узнав об этом, я притворился, как это обыкновенно бывает в подобных случаях, необычайно слабым, не выносящим дневного света. Это было вполне естественно, и жандармы так доверчиво вдались в обман, что позаботились даже прикрыть мне глаза платком. Мы ехали в фиакре, и по дороге я мгновенно сбрасываю платок, открываю дверцы и выскакиваю на улицу. Жандармы устремляются за мной; но, отягощенные своими саблями и большими сапогами, они едва успели вылезть из кареты, как я был уже далеко. Я немедленно оставляю город и, с неизменной мыслью совсем бежать за море, направляюсь в Дюнкирхен с деньгами, доставленными матерью. Там я познакомился с приказчиком одного шведского брига, который пообещался взять меня на свое судно.

В ожидании отъезда мой новый друг пригласил меня в Сент-Омер. В платье моряка я не рисковал

быть узнанным; притом нельзя же было отказать столь нужному человеку, и потому я согласился, но по своему буйному характеру не мог утерпеть, чтобы не вмешаться в возникшую там ссору, и за буйство был отведен на гауптвахту. Там у меня спросили паспорт, которого у меня не было, и, по некоторым ответам заподозрив, что я беглый из какой-нибудь окрестной тюрьмы, на следующий день отправили меня в Дуэ, так что я даже не успел проститься с приказчиком, который, по всей вероятности, был весьма удивлен этим происшествием. В Дуэ меня опять засадили в тюрьму, где сначала тюремщик был ко мне довольно благосклонен; но это продолжалось недолго — вследствие ссоры с привратником, в которой я принял довольно деятельное участие, меня поместили в мрачную конуру под городской башней. Там нас было пятеро арестантов, из которых один — дезертир, приговоренный к смертной казни, — только и толковал о самоубийстве. Я вразумлял его, что дело было не в этом, а что надо поискать средств выкарабкаться из этой ужасной тюрьмы, где крысы бегали безо всякого стеснения, пожирали наш хлеб и кусали нас за лицо во время сна. Штыком, украденным у национального гвардейца, находившегося по

найму в услужении в тюрьме, мы принялись делать отверстие в стене по тому направлению, где, нам слышалось, башмачник прибивал подошвы. В десять дней и десять ночей работы мы уже вырыли на шесть футов глубины; шум башмачника, казалось, был ближе. На одиннадцатый день утром, вынув один камень, я вдруг увидел свет, выходивший с улицы через окно, освещавшее соседнюю с нашей тюрьмой каморку, где привратник держал своих кроликов.

Это открытие придало нам новые силы, и после вечернего осмотра мы вытащили из ямы все камни; их было не меньше как воза на два, так как стена была очень толста. Мы положили их у двери, отворявшейся внутрь, и таким образом совершенно ее заложили; а затем принялись с новым рвением за работу, так что отверстие, имевшее при начале шесть футов ширины, в конце имело только два фута. Вскоре появился тюремщик с нашими порциями; встретя препятствие, он открыл форточку и с изумлением увидал кучу кирпичей. Он потребовал, чтобы мы отворили, и на наш отказ созвал сторожей, комиссара, публичного обвинителя, а затем явились и муниципальные офицеры со своими трехцветными шарфами. Начались переговоры;

а между тем один из нас продолжал работать над отверстием, которое темнота не позволяла видеть. Может быть, мы бы успели убежать прежде, чем разломали дверь, но неожиданный случай отнял у нас эту последнюю надежду.

Жена привратника, принесшая пищу кроликам, заметила свежий мусор на полу. В тюрьме все имеет важность, поэтому она внимательно осмотрела стену, и хотя последние кирпичи были искусно заложены, чтобы скрыть отверстие, но она заметила, что они не держались крепко. На ее крики прибежал сторож, одним ударом наше кирпичное здание было разрушено, и мы очутились в засаде. С обеих сторон нас понуждают очистить дверь и сдаться, грозя в противном случае стрелять. Скрываясь за своей баррикадой, мы отвечаем, что первый, кто осмелится войти, будет побит камнями и железом. Такое ожесточение удивило начальство, и нас оставили на несколько часов одуматься. В полдень явился муниципальный офицер и через фортку, которую сторожили так же, как и нашу яму, предложил нам амнистию. Амнистию мы приняли, но лишь только отстранили свою баррикаду, как на нас все набросились и начали бить палками, саблями, связками ключей и чем попало; даже пес

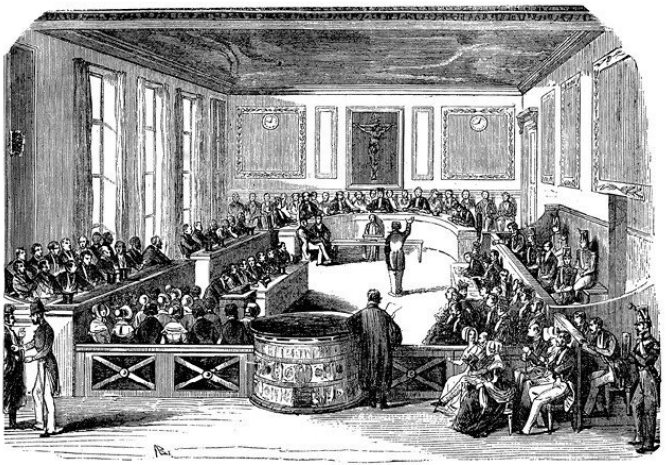
привратника и тот не преминул принять участие в побоище; он вскочил на меня и в одно мгновение искусал. Затем нас потащили на двор, где взвод из пятнадцати человек держал над нами ружья, прицеливаясь, пока заклепывали наши кандалы. По окончании этой операции я был брошен в еще ужаснейшую тюрьму, чем прежде; и только на другой день больничный служитель Дютиллейль (впоследствии сторож в Сент-Манде) перевязал мои раны.

Не успел я оправиться от этого потрясения, когда настал день суда, который уже восемь месяцев все откладывался вследствие моих частых побегов, равно как побегов Груара, исчезавшего всякий раз, как меня забирали. При начале открытия суда я увидал себя погибшим. Обвиняемые поголовно показывали против меня со злобой, которую можно объяснить только моими поздними показаниями, не принесшими мне, впрочем, никакой пользы и нимало не ухудшившими их положения. Буатель заявил, что вспомнил, будто я спрашивал, сколько он даст за то, чтобы выйти из тюрьмы; Гербо уверял, что он составил акт без прикладывания печати и притом только по моему наущению, а я по изготовлении акта тотчас же взял его; он же, со своей стороны, не придавал

этому никакого значения. Присяжные, впрочем, признали, что ничто не доказывало, что я вещественным образом участвовал в преступлении; все обвинение заключалось в бездоказательном показании, будто злосчастная печать была доставлена мною. И со всем тем Буатель, признавшийся, что он хлопотал о фальшивом приказе, Стофле — что принес его тюремщику, Груар — в том, что присутствовал при всем этом, — все-таки были оправданы, а мы с Гербо осуждены на восемь лет заключения в оковах.

Вот изложение этого приговора, который я привожу буквально в ответ на басни, даже доселе распространяемые недоброжелательством или глупостью; одни уверяют, будто я осужден был на смертную казнь за многочисленные убийства; другие — будто я долгое время был атаманом шайки, нападавшей на дилижансы; самые снисходительные выдают за непреложную достоверность, что я был осужден на вечную каторжную работу за кражу со взломом. Дошли даже до уверения, будто я умышленно вызывал несчастных на преступления, чтобы потом, когда мне вздумается, предать их в руки правосудия и тем выказать свою неусыпную деятельность. Точно мало настоящих преступников! Как будто

некого и без того преследовать! Конечно, случалось, что вероломные сотоварищи, которые везде есть, *даже между ворами*, иногда сообщали мне о намерениях своих соучастников; без сомнения, чтобы доказать преступление, которое намерены предотвратить, часто приходится допускать его начало, потому что истинные злодеи не позволяют иначе захватить себя, как на месте преступления. Но спрашивается: где же тут вызывательство на преступную деятельность? Это обвинение вышло из полиции, где у меня было много завистников; оно падает пред гласностью судебного разбирательства, которое не преминуло бы обнаружить бесчестные поступки, приписываемые мне; оно падает пред действиями охранной бригады, управляемой мною. Выказавши свои способности, незачем прибегать к шарлатанству; и притом доверие искусных администраторов, предшествовавших г. Делаво в префектуре, избавляло меня от надобности прибегать к таким гадким средствам. Он счастлив, сказали раз обо мне г-ну Англе агенты, оправдываясь насчет одного дела, которое им не удалось сделать, а я сделал. Англе ответил им на это: «Ну так желаю и вам того же счастья» — и с этими словами повернулся спиною.



Только одного на меня и не взводили — смертоубийства; а между тем объявляю во всеуслышание, что я не подвергался никакому другому приговору, кроме нижеследующего; доказательством тому служит мое помилование; и если я заявляю, что не принимал участия в этом жалком подлоге, то мне должны верить, тем более что в

конце концов все дело-то было не более как злая тюремная шутка, которая, будучи доказана, в настоящее время повела бы только к исправительному наказанию. Но в лице моем разили не сомнительного соучастника ничтожного подлога, а беспокойного, непокорного и отважного арестанта, главного деятеля во стольких побегах, на котором надо было показать пример другим, и вот ради чего я был принесен в жертву.

ПРИГОВОР

Во имя Французской республики, единой и нераздельной.

Рассмотренный уголовным судом Северного департамента обвинительный акт, составленный двадцать восьмого вандемьера пятого года, против поименованных: Себастьяна Буателя, сорока лет, земледельца, проживающего в Аннулене; Цезаря Гербо, двадцати лет, бывшего фельдфебеля вандамского егерского полка, проживающего в Лилле; Эжена Стофле, двадцати трех лет, тряпочника, живущего в Лилле; Жан-Франсуа Груара, двадцати девяти лет с половиной, помощника кондуктора при военном транс-

порте, проживающего в Лилле, и Франсуа Видока, уроженца Арраса, двадцати двух лет, проживающего в Лилле, – обвиняемых старшиною суда присяжных округа Камбре в подлоге официального документа, – заключающий в себе следующее.

Нижеподписавшийся, судья гражданского суда Северного департамента, исправлявший должность старшины суда присяжных округа Камбре, излагает, что в силу решения уголовного суда Северного департамента, состоявшегося седьмого фруктидора, кассированы обвинительные акты, составленные двадцатого и двадцать шестого жерминаля председателем ассизного суда Лилльского департамента, по обвинению Цезаря Гербо, Франсуа Видока, Себастьяна Буателя, Эжена Стофле и Бриса Кокелля, находящихся налицо, и Андре Бордеро, отсутствующего, виновных и соучастников в подлоге официального документа с целью освобождения поименованного Себастьяна Буателя из тюрьмы Башни Святого Петра в Лилле, где он содержался; поименованный же Брис обвиняется, сверх того, за

то, что с помощью этого подлога выпустил арестанта, вверенного надзору его как тюремщика означенной тюрьмы. Все обвиняемые с относящимися к ним бумагами были приведены к нижеподписавшемуся, чтобы подвергнуться новому суду присяжных. Просматривая поименные документы, он нашел, что в них пропущен вышеупомянутым старшиною Жан-Франсуа Груар, также замешанный в процессе; вследствие чего, по заключениям комиссара исполнительной власти и в силу указа двадцать четвертого упомянутого фруктидора, он отдал приказ представить в суд вышепоименованного Груара и затем, по выслушании его, арестовать его как соучастника означенного подлога; что по неявке пострадавшей стороны в течение двух дней пребывания подсудимых в тюрьме здешнего округа нижеподписавшийся приступил к пересмотру документов, относящихся до причин задержания и ареста всех подсудимых. Проверив род преступления, в котором они обвиняются, он нашел, что обвиненные заслуживают телесного или

позорного наказания и что, вследствие этого, отдав ныне приказ, по которому все подсудимые подвергаются особому суду присяжных, в силу этого приказа нижеподписавшийся составил настоящий обвинительный акт, чтобы после формальностей, требуемых законом, представить его в вышеупомянутый суд присяжных.

Итак, нижеподписавшийся заявляет, что из рассмотрения документов, и именно из протоколов, составленных регистратором мирового суда четвертого отдела общины в Лилле, от девятнадцатого нивоза, мировым судьею общины Дуэ, и от девятого и двадцать четвертого прериаля, каковые протоколы присоединены к упомянутому акту, явствует:

Что поименованный Себастьян Буатель, арестант в Башне Святого Петра в Лилле, был освобожден в силу приказа законодательного комитета и кассационного суда, помеченного из Парижа, двадцатого брюмера четвертого республиканского года, за подписью Карно, Лесажа-Сено и Куандра, с которым вме-

сте было предписание об исполнении от народного представителя Тало к поименованному Брису Кокеллю; что это постановление и означенное предписание, на которое Кокелль опирался в свое оправдание, не были даны ни законодательным комитетом, ни представителем Тало; и потому несомненно, что постановление и предписание представляют фальшивый официальный документ, что подлог обнаруживается даже простым взглядом на обличительный документ, озаглавленный: *Постановление законодательного комитета, кассационного суда,* – смешное заглавие, смешивающее две различные власти в одну власть.

Что девятого последнего прериаля в одной из тюрем арестантского дома в Дуэ нашли медную печать без ручки, спрятанную под ножкой кровати, что подсудимый Видок прежде спал в этой тюрьме, что эта печать одна и та же с находящейся на подложном акте и дает тот же оттиск; что при посещении вышеозначенным мировым судьею южного Дуэ той тюрьмы, где находился тогда Ви-

док, при освидетельствовании постели что-то упало и зазвенело наподобие меди, золота или серебра; бросившийся за этим предметом Видок сумел его скрыть и подменить подпилком, который и показал; между тем Гербо и Стофле заявили, что еще прежде видели печать у Видока и что он говорил, будто был лейтенантом того батальона, имя которого вырезано на печати.

Что поименованные Гербо, Франсуа Видок, Себастьян Буатель, Эжен Стофле, Брис Кокелль, Андре Бордеро и Жан-Франсуа Груар обвиняются в составлении означенного подлога или соучастии в нем, каковым подлогом они содействовали бегству Себастьяна Буателя из тюрьмы, где он содержался по приговору о его заключении.

Что поименованный Брис Кокелль, кроме того, обвиняется в том, что с помощью подложного приказа допустил бежать из тюрьмы Себастьяна Буателя, вверенного его надзору как тюремщика. Брис Кокелль сознался перед председателем Лилльского суда присяжных, что он

освободил Себастьяна Буателя третьего фримера по документу, признанному подложным.

Что этот документ вручен был ему Стофле; что он признал его пред мировым судьею именно за того человека, который принес приказ; что Стофле приходил в тюрьму пять или шесть раз в течение десяти дней, всякий раз вызывал Гербо и проводил с ним от двух до трех часов; что Гербо и Буатель были вместе в одной тюрьме и что поименованный Стофле одинаково имел сношения как с тем, так и с другим; что мнимый приказ был адресован на его имя и он не мог подозревать его в фальши, не зная подписей. Стофле сознался, что его подозревали в принесении письма в тюрьму, но что это неправда, что хотя он действительно несколько раз был в тюрьме и говорил с Гербо, но никогда не носил ему писем, и что Брис Кокелль ложно указал на него у мирового судьи как на человека, принесшего ему приказ, в силу которого Буатель был освобожден.

Франсуа Видок показал, что знал Буате-

ля только в тюрьме и что он был выпущен в силу приказа, принесенного Кокеллю, когда он сидел за бутылкой с братьями Кокелль и Прево; другой арестант пошел с ними ужинать в кабак Дордрек, после чего Кокелль и Прево возвратились уже в полночь; что мировому судье в Дуэ он, Видок, заявлял, что печать, найденная под ножкой кровати, ему не принадлежала, что он не служил в батальоне, имя которого вырезано на печати, и не знает, был ли он присоединен к батальону, где Видок служил; что если он выказал сопротивление при освидетельствовании тюрьмы, то только потому, что у него был спрятан подпилок и он страшился быть заподозренным в намерении освободиться от оков.

Буатель показал, что он содержался в Башне Святого Петра по приговору сроком на шесть лет; что хорошо помнит, как раз Гербо и Видок обратились к нему с вопросом, сколько он дал бы за свое освобождение; что он обещался им двенадцать луидоров звонкой монетой, из которых семь отдал, а остальное должен

бы был отдать, если бы не подвергся преследованию; что он вышел из тюрьмы с двумя своими братьями и Брисом Кокеллем, пил с ними вино в Дордреке до десяти часов вечера; что он хорошо знал, что освобожден по фальшивому приказу, составленному Видоком и Гербо, но не знал, кто его принес.

Груар показал, что знал об освобождении Буателя по приказу начальства, что по выходе Буателя из тюрьмы видел этот приказ, заподозрил его в подложности и нашел, что он писан рукою Гербо; что же касается до него самого, то он ни в чем не участвовал: ни в выпуске Буателя, ни в составлении подложного приказа.

Гербо заявил нижеподписавшемуся председателю суда, что однажды, сидя с Видоком и другими арестантами, они разговорились о деле Буателя; что Видок предложил ему составить приказ, по которому Буатель мог бы быть освобожден; что он согласился на это, взял первый попавшийся лист бумаги и написал приказ, не выставляя подписей. Приказ оставил он на столе, и его взял Видок; приказ, по

которому был освобожден Буатель, и есть этот самый приказ, написанный им без подписей.

Что касается Андре Бордеро, не явившегося в суд, то есть вероятие, что он знал о подлоге, потому что в день выпуска Буателя из тюрьмы относил к Стофле письмо от вышеупомянутого Гербо и на другой день после этого виделся с Буателем в Аннулене, куда тот скрылся.

Изо всех этих подробностей, заимствованных из означенных бумаг и протоколов, явствует, что совершен был подлог официального документа, и с помощью этого подлога Себастьяну Буателю удалось бежать из Башни Святого Петра в Лилле, где он содержался под надзором тюремщика, каковое бегство произошло третьего фримера; двойное преступление, о котором присяжные, согласно Уложению о наказаниях, должны признать виновность или невиновность лиц, поименованных в акте: Буателя, Стофле, Видока, Кокелля, Груара, Гербо и Бордеро.

Составлен в Камбре двадцать восьмого вандемьера пятого года республики, единой и нераздельной.

Подписано: Нолекериц.

Заявление от суда присяжных округа Камбре от шестого брюмера пятого года, написанное внизу этого акта и в котором значится, что есть повод к обвинению, рассматриваемому в этом акте.

Приказ того же дня от председателя суда присяжных означенного департамента о взятии под стражу поименованных Себастьяна Буателя, Цезаря Гербо, Эжена Стофле, Франсуа Груара и Франсуа Видока.

Протокол о препровождении означенных лиц в департаментский суд двадцать первого брюмера.

И следующее объявление от специального суда присяжных от того же числа:

1. Что подлог, упоминаемый в обвинительном акте, несомненен.

2. Что обвиняемый Цезарь Гербо уличен в совершении означенного преступления.

3. Что он уличен в совершении его со злым намерением и с целью нанесения вреда.

4. Что Франсуа Видок также уличен в совершении подлога.

5. Что он совершил его со злым умыслом и намерением причинения вреда.

6. Несомненно, что сказанный подлог был совершен над публичной официальной бумагой.

7. Что Себастьян Буатель не уличен в вызывании виновного или виновных к совершению означенного преступления подарками, обещаниями и т. п.

8. Что Эжен Стофле не уличен в содействии и помощи, ни в подготовлении и облегчении совершения означенного подлога, ни в самом подлоге.

9. Что Жан-Франсуа Груар не уличен в помощи и содействии виновному или виновным, ни в подготовлении или облегчении означенного подлога, ни в самом подлоге.

В силу этого заявления президент, согласно 424-й статье закона 3 брюмера 4-го года Уложения о преступлениях и наказаниях, признал, что Себастьян Буатель, Эжен Стофле и Жан-Франсуа Груар освобождаются от возводимого на них преступления, и приказал немедленно их выпустить на свободу, если они только не задержаны еще по какой другой причине.

Суд по выслушании комиссара исполнительной власти и гражданина Депре, адвоката подсудимых, приговорил Франсуа Видока и Цезаря

Гербо к восьмилетнему заключению в кандалах, согласно 44-й статье и второму отделению второй главы второй части Уложения о наказаниях, которая была прочтена на суде и заключается в следующем:

«Если означенный подлог совершен над официальным документом, то полагается наказание заключения на восемь лет в оковах».

Приказ от суда, согласно двадцать восьмой статье первой главы первой части Уложения о наказаниях, также читанной на суде и заключающейся в следующем: «Всякий, присужденный к какому-либо наказанию, кандалам, заключению в смирительном доме, пытке или тюремному заключению, должен быть предварительно отведен на городскую площадь, куда также созывается и суд присяжных; там его привязывают к столбу, поставленному на эшафот, и он таким образом остается на глазах народа на шесть часов, если он приговорен к кандалам или заключению в смирительном доме, на четыре часа — если приговорен к пытке, и на два часа — если приговорен к заключению в тюрьме; над его головой должна быть надпись большими буквами его имени, профессии, места жительства, его преступления и приговор».

И согласно 445-й статье закона 3 брюмера четвертого года Уложения о наказаниях, которая также была прочтена, именно: выставка у позорного столба должна быть на площади общины, где заседает также уголовный суд.

Итак, согласно этим статьям, означенные Франсуа Видок и Цезарь Гербо будут выставлены на шесть часов на эшафоте, воздвигнутом для этой цели на площади общины.

Приказано по представлению комиссара исполнительной власти означенный приговор привести в исполнение.

Составлен и произнесен в Дуэ в присутствии уголовного суда Северного департамента седьмого нивоза пятого года Французской республики, единой и нераздельной, в котором заседали граждане: Делаетр, председатель, Гавен, Рикке, Реа и Легран, судьи, подписавшие подлинник означенного документа.

Извещаем и приказываем всем судебным приставам привести означенный приговор в действие, а генерал-прокурорам и прокурорам суда первой инстанции наблюдать за этим; всем комендантам и офицерам подавать вооруженную помощь, при законном на то востребовании. В удостоверение сего означенный приговор под-

писан председателем суда и актуариусом.

С подлинным верно.

Подписано: *Лепуан,* актуариус.

На полях написано: занесен в протокол в Дуэ тринадцатого прериаля тринадцатого года, лист шестьдесят седьмой, на обороте вторая страница: получено пять франков, именно: два франка за ведение дела, два за защиту и пятьдесят сантимов добавочных сумм.

Подписано: *Демаг.*

На полях первого листа значится:

Помечено за нашей подписью, судья суда первой инстанции округа Бетюн, согласно со статьею двести тридцать седьмой гражданского Свода Законов и протоколу этого дня, тридцатого прериаля тринадцатого года, заменяющий отсутствующего председателя.

Подписано: *Дельдик.*

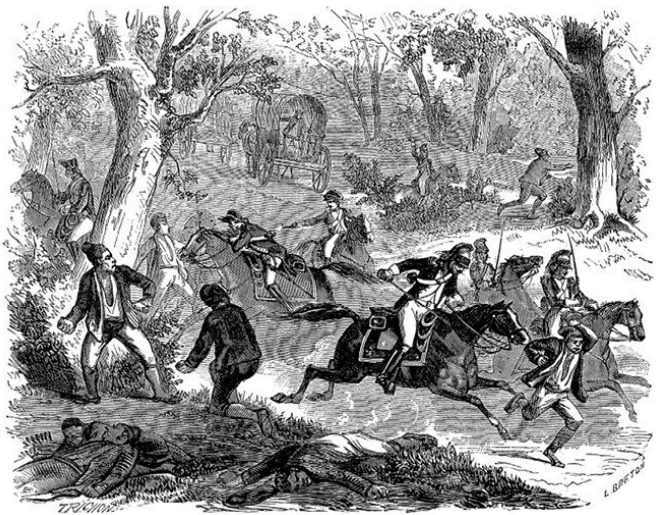
Глава седьмая

Отправка из Дуэ. – Возмущение арестантов в Компьенском лесу. – Пребывание в Бисетре. – Тюремные нравы. – Двор сумасшедших

Измученный дурным обращением во всех видах в тюрьме Дуэ, выведенный из терпения усиленным надзором со времени моего заключения, я и не думал подавать апелляцию, которая продлила бы мое заключение еще на несколько месяцев. Меня утвердило в этом намерении известие, что заключенные будут немедленно отправлены в Бисетр и присоединены к каторжникам, отправляемым в Брестский острог. Нечего и говорить, что я рассчитывал бежать дорогой. Что же касается до апелляции, то меня уверили, что я могу подать из острога просьбу о помиловании. Но, однако, мы несколько месяцев просидели в Дуэ, и мне пришлось горько пожалеть, что я не подал апелляции.

Наконец пришел приказ об отправлении нас и был встречен нами с восторгом. Как это ни странно кажется относительно людей, осужденных

на каторгу, но нас уж очень доконали притеснения тюремщика Марена. Впрочем, и новое наше положение было весьма незавидно: сопровождавший нас экзекутор Гуртрель неизвестно зачем велел сделать оковы по новому фасону, так что у каждого из нас было на ноге по пятнадцать фунтов, и, кроме того, мы были скованы попарно толстым железным обручем. Прибавьте к этому самый бдительный надзор, так что рассчитывать на свою ловкость и хитрость не было никакой возможности и оставалось только искать спасения в своей силе и дружном нападении на сопровождавшую нас стражу, что я и предложил своим товарищам. Они, в числе четырнадцати, охотно согласились и условились привести свой план в действие при проходе через Компьенский лес. В числе арестантов был и Десфоссо; нося по-прежнему в себе пилу, он в три дня распилил наши цепи, и при помощи особой замазки распиленные места были искусно скрыты.



Входим в лес. На условленном месте, по данному знаку, оковы спадают, мы мигом выскакиваем из повозок и бросаемся в чащу. Находившиеся в конвое пять жандармов и восемь драгун бросаются на нас с саблями. Мы прячемся за деревьями, вооруженные камнями и кой-каким оружием,

захваченным в минуту смятения. Сначала стража колебалась, но, будучи хорошо вооружена и на хороших лошадях, она вскоре принялась за дело. При первом выстреле двое из наших упали мертвыми на месте, пятеро были сильно ранены, а остальные бросились на колени, прося пощады. Приходилось сдаться. Десфоссо, я и некоторые другие, также уцелевшие, торопились снова забраться в свои повозки, как вдруг Гуртрель, все время державшийся в почтительном отдалении от побоища, подошел к одному несчастному, по-видимому недостаточно поторопившемуся, и вонзил ему саблю в тело. Такая низость привела нас в негодование. Кто еще не успел сесть на свое место — схватился снова за камни, и, если бы не драгуны, Гуртрель был бы убит. Они угрожали, что передавят нас, и доказали это столь очевидным образом, что пришлось сложить оружие, то есть камни. Но во всяком случае, это происшествие положило конец притеснениям Гуртреля, который уже с некоторым трепетом относился к нам.

В Санлисе нас засадили в пересыльную тюрьму, одну из ужаснейших, которые я когда-либо знал. Тюремщик в то же время занимал должность полевого сторожа, поэтому тюрьмой управляла

его жена. И что за женщина! Она не стеснялась обыскивать нас даже в самых секретных местах, желая твердо удостовериться, что с нами нет чего-либо, служащего для побега. Но мы так расходились, что стены дрожали, и она закричала хриплым голосом: «Ах вы негодяи, постойте, вот я возьму свою плетку и посмотрю, как-то вы тогда станете горланить». Мы это приняли к сведению и разом притихли. На следующий день мы прибыли в Париж. Нас повели боковыми бульварами, и в четыре часа пополудни мы были в Бисетре.

По прибытии к концу аллеи, выходящей на дорогу в Фонтебло, повозки повернули направо и въехали за решетку, над которой я машинально прочел надпись: «Богадельня для престарелых». На первом дворе прогуливалось много стариков, одетых в серые балахоны, — это были *добрые бедняки*. Они теснились на нашем проезде с тем глупым любопытством, которое происходит от монотонной и чисто животной жизни, потому что люди из народа, принятые в богадельню, не имея заботы о насущном существовании, часто доходят до того, что отказываются от всякого мышления своего узкого разума и кончают тем, что впадают в совершенный идиотизм. Вступив на второй двор, где находится часовня, я заметил,

что большинство моих товарищей закрывали свое лицо руками или платками. Можно подумать, что они испытывали чувство стыда; ничуть не бывало, они только думали о том, чтобы не запомнили их лица, если придется удрать, когда к тому представится случай.



«Вот мы и прибыли, — сказал мне Десфоссо, который сидел рядом со мной. — Ты видишь это четырехугольное здание? Это тюрьма». Нас

высадили действительно перед дверью, охраняемою внутри часовым. При входе в канцелярию нас только записали; дознание было отложено до следующего дня. Между тем я заметил, что привратник смотрит на нас, на Десфоссо и на меня, с некоторым любопытством, и я заключил, что судебный пристав Гуртрель, который предшествовал нам на четверть часа с самого дела в Компьенском лесу, отрекомендовал нас. Пройдя несколько дверей, очень низких, обитых железом, келейный тюремщик нас ввел на большой квадратный двор, где около шестидесяти заключенных играли в барры, издавая крики, от которых дрожал весь дом. Когда мы вошли, все приостановилось и нас окружили, с удивлением рассматривая оковы, которые были надеты на нас. Явиться в Бисетре с подобным украшением было верхом гордости, потому что о достоинстве пленника, то есть его смелости и его способности к побегу, судили по мерам, принятым против него. Десфоссо, который очутился в знакомом кругу, легко было представить нас как самых замечательных людей Северного департамента. Он сделал более, особенно расхвалив меня, и я был окружен вниманием со стороны всех наиболее знаменитых арестантов, например: Бомон, Гил-

льом-отец, Могер, Жосса, Малтез, Корню, Блонди, Труфлат, Ришард, один из соучастников убийства лионского курьера, не покидали меня. Только что с нас сняли дорожные кандалы, меня увлекли в кабачок, где в течение двух часов я должен был принять тысячи приглашений. Но вдруг вошел высокий человек в полицейской шапке, которого мне назвали инспектором камер; он позвал меня и повел в большую комнату, называемую «форт Магон», где нас переодели в тюремную одежду, состоящую из куртки, наполовину черной и наполовину серой. В то же время инспектор мне объявил, что я буду *бригадир*, то есть что я буду председательствовать при раздаче продовольствия между моими состольниками; вследствие этого я имел хорошую постель, между тем как другие спали на походных постелях.

По прошествии четырех дней я был известен всем арестантам. Хотя все были высокого мнения о моем мужестве, но Бомон искал случая затронуть меня и затеять ссору. Мы дрались, и так как я имел дело с адептом по этим гимнастическим упражнениям, называемым *кулачками,* то и был совершенно побежден. Я отплатил ему в камере, где Бомон, за недостатком места, не мог пустить в ход всех приемов своего искусства, и, в свою оче-

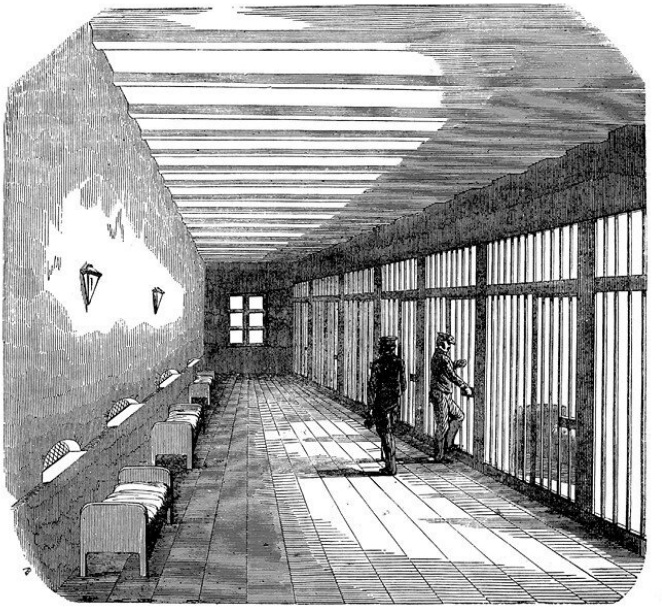
редь, я одержал верх. Но первая моя неудача дала, однако, мне идею посвятить себя в тайны этого искусства, и знаменитый Жан Гутель, кулачный герой, который находился с нами в одно время в Бисетре, скоро должен был меня считать в числе учеников, наиболее приносящих ему чести.

Тюрьма Бисетр — обширное четырехугольное здание, заключающее в себе различные постройки и множество дворов, которые все носят различные имена. Есть *большой двор,* где прогуливаются заключенные; *кухонный двор, собачий двор, исправительный двор, железный двор*. На последнем находится новое пятиэтажное здание. В каждом этаже сорок келий, в каждой может поместиться четыре заключенных. На платформе, заменяющей крышу, бродила день и ночь собака по кличке Драгун, которая слыла за сильное и храброе животное, не поддающееся на искушения; но заключенные сумели потом ее подкупить посредством жареной баранины, к которой она имела слабость — общераспространенная страсть: известно, что нет более могущественного обольщения, как обжорство, потому что оно действует безразлично на все органические существа. Для честолюбия, для игры волокитства есть пределы, положенные приро-

дой; но обжорство не знает лет, и если аппетит встречает иногда сопротивление, то прибегают обыкновенно к слабительным, чтоб очистить желудок. Между тем амфитрионы бежали, пока Драгун лакомился бараниной; он был обвинен и сослан на *собачий двор*. Там, посаженный на цепь, лишенный чистого воздуха, которым он пользовался на платформе, неутешный от своей ошибки, он чах день ото дня и покончил от угрызения совести, — жертва минуты обжорства и ошибки.

Возле строения, о котором я говорил, возвышается *старое здание,* почти так же расположенное и в котором устроили *безопасные камеры,* где запирают буйных и осужденных на смерть. В одной из этих камер прожил *сорок три года* тот из соучастников Картуша, который выдал его, чтоб получить пожизненное заточение. Этот чудак очень часто, желая насладиться солнечным светом, с таким совершенством притворялся мертвым, что когда испустил последний вздох, то прошло два дня, прежде чем с него сняли железный ошейник. Третий корпус здания, называемый *каторжным,* заключал различные залы, где помещали осужденных, прибывших из провинций и предназначаемых, как и мы, на

каторгу.



В это время тюрьма Бисетр, которая крепка

только по усиленному надзору, строго там соблюдавшемуся, могла заключать тысячу двести арестантов, но они были стеснены как сельди в бочонке, и тюремщики нисколько не обнаруживали желания облегчить хотя сколько-нибудь тяжелое положение заключенных: взгляд суровый, голос хриплый, грубые выходки. Они старались угнетать заключенных и смягчались только при виде взятки. Они не старались укрощать пороки, и лишь бы только не было замечено попыток к бегству, то в тюрьме можно было делать все, что угодно, и вас никто не тревожил и не беспокоил. Тогда как преступники, осужденные за противонравственные посягательства, открыто проповедовали практику разврата, воры упражнялись в своем отвратительном занятии внутри тюрьмы, и никто из служащих не находил в этом ничего предосудительного.

Если прибывал из провинции какой-нибудь новичок, хорошо одетый, попавший первый раз в тюрьму и потому не посвященный в тюремные нравы и обычаи, — то в одно мгновение вся его одежда исчезала и потом продавалась в его присутствии тому, кто более даст и за кем последняя цена. Если у него были вещи или деньги, то их конфисковывали в пользу общества, а так как,

например, серьги долго было вынимать из ушей, то их срывали, и мученик не мог жаловаться: он был заранее предупрежден, что если будет говорить, то его повесят на задвижке в камере и объявят, что он покончил самоубийством. Из предосторожности один заключенный, ложась спать, положил свои пожитки под голову; когда он заснул первым, крепким сном, ему привязали к ноге камень, который положили на край постели: достаточно было малейшего движения, чтобы камень упал; пробужденный неожиданным стуком, он приподнимается, и прежде чем мог отдать себе отчет в том, что случилось, его узел, прицепленный к веревке, был притянут через решетку в верхний этаж. Я видал бедняков, обобранных таким образом в зимнее время, оставшихся в одной рубашке на дворе до тех пор, пока кто-нибудь не бросал им какое-нибудь тряпье, чтобы прикрыть наготу. Во время нахождения в Бисетре арестанты могли еще зарываться в солому и таким образом бороться против суровости холода, но наступало отправление на каторгу, и тогда, не имея другой одежды, кроме балахона и панталон из упаковочного холста, они часто погибали от холода, не достигнув первой остановки.

Подобным обращением с этими несчастными

объясняется способность к развращению людей, которых легко бы было возвратить к хорошей жизни, но которые, предаваясь полному разврату, стараются забыть гнетущую бедность и ищут облегчения своей участи, привыкая к преступлениям. В обществе боятся позора, среди же осужденных позор обуславливается отсутствием бесчестности. Осужденные составляют особую нацию: кто явится среди них, тот должен ожидать, что его встретят как врага, до тех пор, пока он не станет говорить их языком, не усвоит себе их образа мыслей.



Но это еще не все — существуют злоупотребления более ужасные. Если заключенный будет объявлен ложным братом или *бараном,* то он будет безжалостно избит на месте, и ни один тю-

ремщик не вмешается, чтобы спасти его. Дошли до того, что принуждены были назначить особое помещение для тех лиц, которые при следствии по их делу дали показания, компрометирующие их относительно сообщников. С другой стороны, бесстыдство воров и безнравственность чиновников дошли до того, что открыто подготовляли в тюрьме плутовства и мошенничества, развязка которых происходила уже вне ее стен. Я расскажу только об одном из таких случаев. Этого будет достаточно, чтобы дать понятие о степени доверчивости глупцов и смелости мошенников. Один из преступников добыл адреса богатых людей, живущих в провинции, что было очень легло через посредство арестантов, прибывавших оттуда чуть ли не каждый день. Заручившись адресами, он отправил им письма, называемые на воровском наречии Иерусалимскими письмами и содержание которых заключалось в следующем. Бесполезно прибавлять, что имена мест и лиц изменялись, смотря по обстоятельствам.

Милостивый государь!

Вы, без сомнения, будете удивлены, получив это письмо от неизвестного лица, которое ожидает от вас услуги; но, находясь в таком печальном положении, я погиб, если честные люди не придут

мне на помощь. Вы поймете, почему я обращаюсь именно к вам, о котором слышал так много хорошего, что не мог колебаться довериться вам вполне. Я эмигрировал вместе с маркизом де ***, у которого служил камердинером. Чтобы не возбудить подозрения, мы путешествовали пешком, и я нес багаж, в том числе шкатулку с шестнадцатью тысячами франков золотом и бриллиантами покойной маркизы. Мы уже готовы были присоединиться к армии ***, как вдруг нас открыли и стали преследовать отрядом волонтеров. Господин маркиз, видя, что нам не ускользнуть, велел мне бросить шкатулку в довольно глубокую лужу, возле которой мы находились, чтобы присутствие шкатулки не изменило нам, если мы будем арестованы. Я предполагал вернуться за ней в следующую ночь, но крестьяне, поднятые набатом, в который велел ударить начальник отряда против нас, с такой ревностью начали обыскивать лес, где мы были спрятаны, что нам оставалось только помышлять о бегстве. Прибыв за границу, господин маркиз получил пособие от принца де ***, но эти средства скоро истощились, и он решился послать меня отыскать шкатулку, оставшуюся в луже. Я тем более надеялся ее найти, что на другой день, когда я ее опустил, мы

на память составили план местности, на случай если мы долго не в состоянии будем возвратиться. Я возвратился во Францию и добрался без приключений до деревни, соседней с лесом, где нас преследовали. Вы должны прекрасно знать эту деревню, так как она находится в трех четвертях лье от вашего местопребывания. Я готов был выполнить свое поручение, когда хозяин гостиницы, где я остановился, ярый якобинец и покупщик государственных имуществ, заметив мое колебание, когда он предложил выпить за республику, арестовал меня как подозрительного субъекта. Так как у меня не было бумаг и, по несчастью, я имел сходство с одним лицом, преследуемым за остановку дилижанса, то меня пересылали из тюрьмы в тюрьму, чтоб делать очную ставку с предполагаемыми сообщниками. Таким образом я попал в Бисетр, где нахожусь в больнице в течение двух месяцев.

В этом ужасном положении я вспомнил, как о вас говорила мне одна родственница моего господина, которая имела поместье в вашем кантоне; и я обращаюсь к вам с просьбой известить меня, не в состоянии ли вы оказать мне услугу: вынуть шкатулку и переслать мне часть находящихся в ней денег. Это мне поможет в настоящих тяжких

обстоятельствах и позволит вознаградить моего защитника, под диктовку которого я пишу и который уверяет меня, что с помощью незначительных подарков я избавлюсь от суда.

Примите, милостивый государь, и пр.

Подписано *N…*

Из ста писем подобного рода на двадцать всегда получался ответ. Этому нечего удивляться, если принять во внимание то, что с ними обращались только к людям, известным своей привязанностью к старым порядкам, а дух партий мало способен рассуждать. При этом принималось во внимание предполагаемое неограниченное доверие просителя, которое всегда имеет влияние на самолюбие или интерес. Провинциал отвечал, что он соглашается принять на себя заботу об отыскании шкатулки. Новое послание мнимого камердинера извещало, что, лишенный всего, он заложил больничному служителю за незначительную сумму чемодан, в двойном дне которого находится известный план. Тогда присылались деньги, и сумма их иногда доходила до тысячи двухсот или пятисот франков. Некоторые, желая выказать свое благоразумие, явились из своих провинций в Бисетр, где им передавался план, который должен был их привести в таинствен-

ный лес, в который они никак не могли попасть и который вечно уходил от них, подобно фантастическим лесам рыцарских романов. Сами парижане иногда попадались в ловушку, — вероятно, многие помнят торговца сукнами с улицы Прувер, которого поймали, когда он подкапывал один из устоев моста Peut Neuf'a, где надеялся найти бриллианты герцогини Бульонской.

Понятно, что подобные штуки могли выполняться только с согласия и с участием чиновников, так как они получали письма искателей кладов. Но надзиратели полагали, что независимо от косвенной пользы, которую они извлекали через увеличение издержек арестантов на закуски и напитки, занятые таким образом арестанты будут менее думать о побеге. По этой же самой причине они допустили производство различных вещей из соломы, дерева, кости и даже фальшивых монет в два су, которые в одно время наводнили весь Париж. Были еще и другие промыслы, но те совершались тайно: подделывали паспорта с неподражаемым искусством; делали пилки для распиливания оков и фальшивые накладки из волос, которые отлично служили для побега из острога, так как каторжников легче всего было узнать по их бритым головам. Эти раз-

личные предметы прятались в жестяные трубки, которые можно было ввести во внутренность.

Что касается до меня, то занятый постоянно мыслью избавиться от каторги и добраться до какой-нибудь пристани, где бы я мог сесть на корабль, я день и ночь соображал средства, чтобы покинуть Бисетр.

Наконец я решил проломать плиту в форту Магон, добраться до водопровода, находившегося под зданием, и затем, с помощью подкопа, попасть на двор сумасшедших, откуда уже легко было выбраться на волю. Проект был исполнен в течение десяти дней и стольких же ночей. Все это время заключенные, находившиеся в подозрении, выходили не иначе как в сопровождении верных людей. Надо было обождать, пока луна будет на ущербе. Наконец 13 октября 1797 года в два часа утра мы спустились в водопровод в числе тридцати четырех человек. С потайными фонарями мы скоро открыли подземный ход и проникли во двор сумасшедших. Теперь оставалось найти лестницу или что-нибудь вроде, чтобы перелезть через стену. Наконец нам попался под руку длинный шест, и мы кинули жребий о том, кому лезть первому; но в это время шум цепей нарушил тишину ночи.

В одном из углов двора вышла собака из конуры, и мы встали как вкопанные, притаив дыхание, так как минута была решительная. Она потянулась, зевая, и, казалось, хотела только переменить положение; затем сделала движение, как бы желая войти в конуру, и уже положила в нее одну лапу. Мы считали себя спасенными; но вдруг она повернула голову в ту сторону, где мы были скучены, и устремила на нас два глаза, горевшие как уголья. За глухим рычанием последовал громкий лай, раздавшийся на весь дом. Десфоссо сначала хотел попробовать задушить собаку, но она была таких внушительных размеров, что с ней сладить было бы не так-то легко. Мы сочли благоразумнее удалиться в большую открытую комнату, в которой пользовали сумасшедших, но собака не перестала лаять, другие начали ей вторить, гам усилился, и инспектор Жиру догадался, что случилось что-нибудь необыкновенное. Зная своих, он начал обход с форта Магон и чуть не упал навзничь, не найдя там ни души. Надзиратели, тюремщики, стража — все прибежали на его крик. Путь наш был открыт, и той же дорогой они прошли на двор сумасшедших. Спущенная с цепи собака побежала прямо к нам, и в комнату, где мы находились, вошла стража со штыками

наперевес, как будто ей предстояло взять редут. По тюремному обычаю на нас надели ручные цепи, потом мы возвратились, но не в форт Магон, а в каземат. Однако нас не подвергали никаким насилиям.

Это смелое покушение, какого давно уже не случалось в тюрьме, привело в такое смущение всех надзирателей, что два дня не заметили отсутствия одного заключенного из форта Магон: именно Десфоссо. Зная его ловкость, я считал его далеко, как вдруг на третий день утром увидел его, входящего в мой каземат, бледного, истерзанного, окровавленного. Когда дверь затворилась за ним, он рассказал мне свои приключения.

В то время, когда стража окружила нас, он запрятался в какой-то чан, вероятно служивший для душа или ванн. Не слыша шума, он вышел из своего убежища и с помощью шеста перелез через несколько стен, но постоянно попадал на дворы сумасшедшего дома. Между тем начало светать, и он слышал уже движенье в доме, так как нигде не встают так рано, как в больницах. Надо было избегнуть чиновников, которые не могли замедлить появиться на дворе. Решетка одной камеры была открыта, и он проскользнул туда, а для большей предосторожности хотел

зарыться в большой охапке соломы, но каково же было его удивление, когда он увидал скорченного голого человека, волосы которого были в беспорядке, борода всклокочена, глаза свирепые и налитые кровью. Сумасшедший смотрел на Десфоссо страшным взглядом, потом сделал быстрый жест, и так как тот остался неподвижным, то он бросился на него, как бы желая растерзать. Несколько ласковых движений, казалось, успокоили его, он взял Десфоссо за руку и посадил возле себя, подбирая под него всю солому с резкими и неровными движениями, как обезьяна. В восемь часов утра кусок черного хлеба упал за решетку; сумасшедший хватает его, некоторое время рассматривает и, наконец, бросает в бак с нечистотами, откуда через минуту снова вытаскивает и ест. В течение дня принесли еще хлеба, но сумасшедший спал, и Десфоссо воспользовался этим и утолил свой голод, рискуя быть растерзанным своим странным товарищем, который мог остаться недоволен, что он завладел его порцией. В сумерках сумасшедший проснулся и несколько времени что-то говорил скороговоркой. Наступила ночь, его волнение значительно усилилось, он начинает делать отвратительные прыжки и кривлянья, с каким-то удовольствием потрясая

своими цепями.



Находясь в этом страшном положении, Десфоссо с нетерпением дожидался, чтобы сумасшедший заснул и дал ему возможность вылезти через решетку. В полночь, не слыша его движений, он подвигается, просовывает руку, голову… но его хватают за ногу. Сумасшедший сильной рукой бросает его на солому и становится перед

решеткой, где остается до утра, неподвижный как статуя. В следующую ночь — новое покушение и новое препятствие. У Десфоссо мысли в голове начинают приходить в беспорядок, и он решается употребить силу. Начинается страшная борьба, и Десфоссо, пораженный ударом цепи, покрытый царапинами, избитый, принужден призвать сторожей. Те приняли его сначала за одного из своих заблудившихся больных и хотели его тоже запереть в каморку; но в конце концов его узнали и он получил благосклонное соизволение присоединиться к нам.

Целую неделю мы оставались в каземате, после чего я был помещен в Шоссе, где нашел часть заключенных, которые так хорошо меня встретили при моем прибытии. Они жили на широкую ногу и не отказывали себе ни в чем, так как независимо от денег, добываемых *Иерусалимскими письмами,* они получали еще помощь от знакомых женщин, навещавших их совершенно беспрепятственно. Находясь, как и в Дуэ, под более строгим надзором, я тем не менее не переставал искать средства бежать опять, когда наступил день отправления на каторгу.

Глава восьмая

Отправление каторжников. – Жалобная песнь галерников. – Человечность аргусов. – Они поощряют воровство. – Несчастное покушение к побегу. – Брестский острог. – Благословенья

20 ноября 1797 года целое утро в тюрьме было заметно необыкновенное движенье. Заключенные не выходили из камер, двери каждую минуту отворялись и затворялись с шумом; тюремщики с озабоченным видом ходили взад и вперед; на главном дворе выгружали оковы, и звук этот доходил до нас. Около одиннадцати часов два человека в голубой форме вошли в форт Магон, где уже в течение недели я находился с моими товарищами по ссылке, — это были капитан над каторжными и его помощник.

— Ну! — сказал капитан с улыбкой, выражавшей добродушную благосклонность. — Есть ли здесь *обратные лошади* (беглые каторжники)?

Когда он говорил, каждый спешил выказаться перед ним: «Здравствуйте, господин Виез! Здрав-

ствуйте, господин Тьерри!» — кричали со всех сторон. Приветствия повторялись даже теми заключенными, которые никогда не видали ни Виеза, ни Тьерри, но хотели заслужить их расположение, показывая вид, что они им известны. Не может быть, чтобы эти знаки уважения не льстили немного капитану Виезу, но он привык к подобным почестям, не терял головы и тотчас узнавал своих. Он заметил Десфоссо: «А! а! — сказал он. — Вот *пентюх* (арестант, ловко снимающий оковы), он уж путешествовал с нами. До меня дошло, что ты рисковал быть *скошенным* (гильотинированным) в Дуэ, мой милый. Черт побери! Ты хорошо сделал, что избежал этого; потому что, вот видишь, все лучше вернуться в *луга* (на каторгу), нежели позволить *дядюшке* (палачу), как мячику, забавляться нашей *сорбонной* (головой). Но главное, мои дети, чтоб все были спокойны, и тогда получите говядины с петрушкой». Капитан продолжал свой осмотр, обращаясь с такими же любезными шуточками ко всему своему *товару*, как он называл осужденных.

Наконец наступила критическая минута; мы сходим во *двор цепей*, где тюремный врач осматривает нас, чтоб убедиться, все ли могут перенести

трудности дороги. Все были объявлены *годными,* хотя многие из нас находились в плачевном состоянии. Потом каждый из арестантов скидывает тюремное платье и надевает свое собственное; те, у которых его нет, получают полотняные балахон и панталоны, очень недостаточные для защиты от холода и сырости. Шляпы, одежда и все то немногое, что оставляется арестантам, странным образом обезображивается, чтобы предупредить побеги. Например, у шляпы обрезаются поля, у одежды — воротник. Наконец, ни один арестант не может сохранить более шести франков; весь излишек передается капитану, который выдает в дороге по мере надобности. Но этой меры легко избегают и прячут луидоры в большие медные монеты, выдолбленные по окружности.

По окончании этих предварительных мер мы выходим на большой двор, где находятся надзиратели над каторжниками, известные под именем *аргусов*. В большинстве случаев это овернцы — носильщики воды, комиссионеры, угольщики, которые занимаются ремеслом в промежуток между путешествиями. В середине их — большой деревянный ящик, заключающий оковы, которые последовательно служат для всех подобных отправлений. Стараясь подбирать по росту, нас

соединяли попарно шестифутовой цепью, прикреплявшейся к общему железному пруту для двадцати шести арестантов, которые вследствие этого могли двигаться только массой. Каждый был прикреплен к этой общей цепи от *ошейника,* в виде железного треугольника, который с одной стороны отворялся на болтовом шарнире, а с другой — забит был гвоздем. Заклепка гвоздем была самая опасная часть операции: самые упрямые, самые раздражительные люди остаются в это время неподвижными, потому что при малейшем движении молот, скользящий ежеминутно мимо черепа, грозит раздробить его, вместо того чтобы ударить по наковальне. Затем является один из заключенных, вооруженный большими ножницами, и остригает каторжникам волосы на голове и бороде, стараясь стричь неровно.



В пять часов вечера заковка окончена, аргусы удаляются и на дворе остаются только осужденные. Предоставленные сами себе, они далеко не

отчаиваются, а предаются самой шумной веселости. Одни отпускают громко самые ужасные шутки, повторяемые со всех сторон отвратительным тоном. Другие стараются омерзительными телодвижениями возбудить смех товарищей. Ни слух, ни зрение не были пощажены. Все, что приходилось видеть, — все было безнравственно и оскорбляло слух. Действительно, осужденный, раз закованный в кандалы, считает долгом попирать ногами все, что пользуется уважением в обществе, оттолкнувшем его. Ничто его не удерживает, кроме материальной силы: его хартия — длина цепи, а закон для него — палка, к которой приучили его палачи. Брошенный среди существ, для которых нет ничего святого, он старается скрывать серьезность и сосредоточенность, которую, естественно, пробуждает раскаяние, чтобы не сделаться целью насмешек; кроме того, его серьезность возбуждает в страже подозрение — уж не замышляет ли он заговора. Если он хочет их успокоить насчет своих намерений, то должен казаться беззаботным. Только те вне всяких подозрений, кто мирится со своей участью, хотя пример многих злодеев, ускользнувших с каторги, доказывает противное. Достоверно то, что наиболее заинтересованные

из нас в побеге были менее других печальны, напротив — шумно веселы. Как только наступила ночь — они начали петь. Представьте себе пятьдесят негодяев, большей частью пьяных, ревущих на разные лады. Среди этого гвалта одна *обратная лошадь* пропела звонким голосом несколько куплетов из жалобной песни галерников:

— Каторга — это град, но все равно, оно не совсем дурно. Одежда у нас красная, вместо шляп колпаки, а галстуками мы пренебрегаем; нам напрасно жаловаться, мы избалованные дети, и боязнь потерять нас заставляет держать на цепи.

Мы будем работать красивые вещи из соломы и кокосов, мы изящно расположим их на выставке, и наша лавка не будет платить налога. Те, которые посещают острог, никогда не уйдут, не купив чего-нибудь, а полученной прибылью мы промочим себе горло.

. . . . . .

Когда настает час набить брюхо, принимаемся за бобы; это не совсем вкусно, но так же питает, как лучшее фрикасе. Несчастье было бы еще гораздо больше, если бы нас обстригли, как стригут в аббатстве Mont-à-regret.

Но не все наши товарищи были одинаково

счастливы. В 3-й партии, где находились менее буйные из осужденных, слышались рыдания, видно было, как лились горькие слезы; но эти признаки печали или раскаяния были встречены насмешками и ругательствами двух других отделений, где я находился в числе первых как лицо опасное по своей ловкости и влиянию. Возле меня двое не выказывали ни веселости, ни уныния, но болтали самым спокойным и непринужденным образом. Один был школьным учителем и осужден за изнасилование, другой — бывший лекарь, осужденный за подлоги.

— Мы отправимся в Брест? — говорил школьный учитель.

— Да, — отвечал лекарь, — мы отправляемся в Брест. Я знаю эти места. Я состоял там помощником в 16-й бригаде. Хорошая сторонка, ей-богу. Я не против того, чтоб увидать ее опять.

— Есть там удовольствия? — начал опять педагог, который показался мне не слишком далеким.

— Удовольствия? — сказал немного удивленным тоном его собеседник.

— Да, удовольствия. Я хочу спросить, можно ли там хорошо пожить, хорошо ли кормят? Дешевы ли жизненные продукты?

— Во-первых, вас будут кормить, — отвечал спокойно собеседник, — и хорошо кормить, так как в Брестском остроге надо только два часа, чтобы поймать в супе боб, между тем как в Тулоне для этого необходима целая неделя.

Тут разговор был прерван страшными криками, послышавшимися из второй группы. Три арестанта были избиты ударами цепей: бывший военный комиссар Лемьер, офицер главного штаба Симон и один вор по названию *маленький матрос*. Их обвиняли в измене товарищам, замышлявшим какой-то тюремный заговор. Тот, который выдал их каторжникам, был бы счастливой находкой для художника-живописца или актера. Скверные зеленые туфли, охотничья куртка без пуговиц, нанковые панталоны, которые, казалось, презирали непогоду, и надетая, как головной убор, шапочка без козырька, в дырья которой просовывалась подкладка. В Бисетре его звали *девкой,* и я узнал, что это один из тех презренных, которые предаются в Париже позорной проституции, а на каторге находят арену, достойную их отвратительного сладострастия.

Аргусы, прибежавшие на шум, не сделали ни малейшего движения, чтоб освободить *маленького матроса* из рук каторжников. Он умер от

палочных ударов через четыре дня после нашей отправки. Лемьер и Симон погибли бы тоже, если бы я не вмешался. Я знал первого в *подвижной армии*, где он мне оказал некоторые услуги. Я объявил, что это он доставил мне необходимые инструменты, чтобы пробить плиту форта Магон, и с тех пор его с товарищем оставили в покое.

Мы провели ночь на соломе в церкви, обращенной на время в магазин. Аргусы производили частые обходы для удостоверения, что никто не занимается игрой на скрипке (не пилит оковы). На рассвете все были на ногах, сделали перекличку и осмотрели оковы. В шесть часов мы были размещены на длинных телегах спинами друг к другу, с ногами, протянутыми наружу, покрытые инеем и пронизываемые холодом. Но, несмотря на то, по прибытии в Сен-Сир нас всех обыскали, раздевши догола. Искали в чулках, башмаках, рубашках, во рту, в ушах, в ноздрях и в других, еще более секретных местах. Искали не только пилки, но пружины от часов, с помощью которых арестанту было достаточно трех часов, чтобы перепилить оковы. Осмотр продолжался около часу, и удивляюсь, как половина из нас не отморозила носы и ноги. Спать нас поместили в бычьих хлевах, где мы были так стиснуты, что

тело одного служило подушкой для другого. Если случалось запутаться в своих цепях или в цепях другого, тотчас же палочные удары сыпались на неловкого. Только что мы улеглись на нескольких охапках соломы, служившей подстилкой для скота, свисток подал сигнал к безусловному молчанию; его нельзя было прервать ни малейшей жалобой и даже в том случае, если бы аргусы ходили по нашим телам, чтобы разбудить караульного на другом конце хлева.

Ужин состоял из так называемого супа из бобов и нескольких кусков наполовину испорченной говядины. Раздача производилась из деревянных сосудов, которые заключали в себе тридцать порций, и повар, вооруженный большой разливательной ложкой, не переставал повторять каждому подходившему арестанту: «Раз, два, три, четыре… держи свою чашку, вор!» Вино раздавали в тех же чашках, которые служили для супа и говядины. Потом аргус брал свисток, который висел у него на пуговице, говоря:

— Слушайте, мошенники, и отвечайте коротко: да или нет! Получили вы хлеб?

— Да.

— Суп?

— Да.

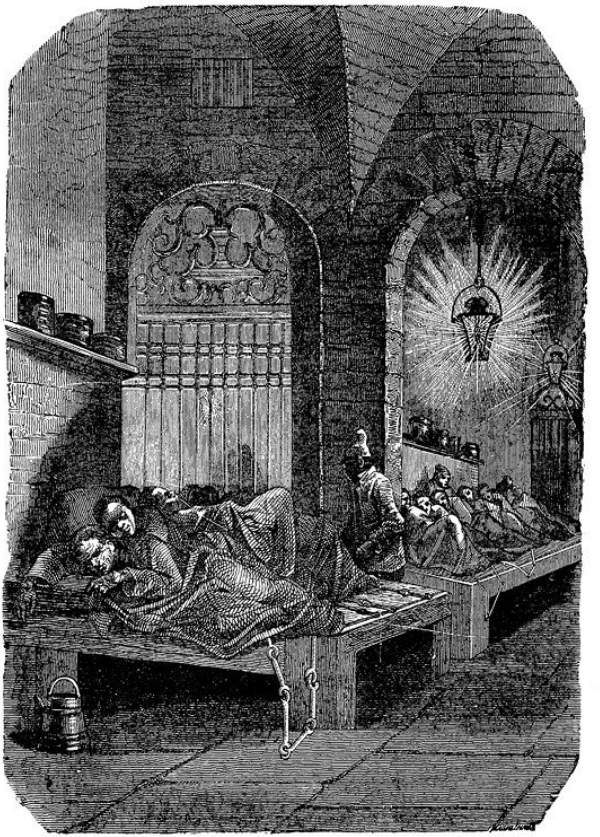
— Говядину?

— Да.

— Вино?

— Да.

— В таком случае спите или притворяйтесь спящими.



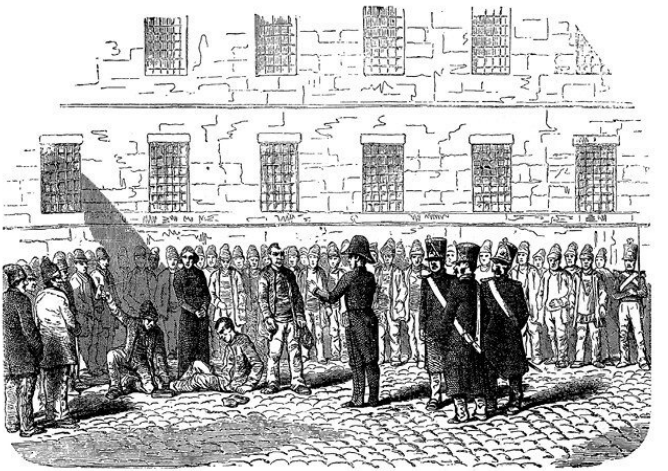
Между тем накрывался стол при входе в хлев. Капитан, поручики, бригадиры аргусов помещались за ним кушать получше нашего, так как эти люди пользовались каждым случаем, чтобы оттягать арестантские деньги, и устраивали пиршества, не отказывая себе ни в чем. В это время хлев представлял вид самый отвратительный, какой только можно себе вообразить: с одной стороны — сто двадцать человек, помещенных, как дикие животные, с блуждающими глазами, лишенных сна от страшного горя; с другой стороны — восемь человек с мрачными лицами, жадно поедающие яства, не теряя из виду своих карабинов и палок. Несколько тонких свечей, прикрепленных к черным стенам хлева, бросали красноватый свет на эту сцену отчаяния, тишина которой прерывалась только глухим ропотом или бряцанием железа. Аргусы не ограничивались тем, что били куда попало, они потешались над арестантами и глумились над ними. Человека мучит жажда, он просит воды. Аргус провозглашает: «Кто хочет воды, пусть подымет руку». Несчастный, ничего не подозревая, исполняет приказание и тотчас осыпается ударами. Щадились, само собою, те, у которых были деньги, но таких было мало: долгое пребывание в тюрьме

истощало скудные средства осужденных.

В администрации над каторжными были и другие злоупотребления. Чтобы сберечь в свою пользу часть расходов по транспорту, капитан заставлял почти всегда одну из партий идти пешком. Эта партия всегда состояла из самых сильных, то есть из самых неспокойных из осужденных. Горе женщинам, которые им попадались, и лавкам, которые были на их пути. Женщины подвергались самым грубым оскорблениям, что же касается до лавок, то они опустошались в одно мгновение: например, я видел в Морлэ одного лавочника, у которого не осталось ни одного пряника, ни одного фунта мыла. Может быть, спросят, чего же смотрела стража, когда совершалось преступление? Стража суетилась, но в действительности не представляла никакого препятствия, твердо убежденная, что в конце концов она попользуется от кражи, так как к ней должны обратиться каторжники, чтобы продать свою добычу или променять ее на крепкие напитки. Также обирали и арестантов, которых принимали по дороге. Только что успевали заковать их, как их окружали соседи и крали небольшое количество находившихся при них денег.

Нисколько не предупреждая и не останавливая

этих грабежей, аргусы, напротив, сами часто подстрекали грабителей. Я видел, как они поступили с одним бывшим жандармом, который зашил несколько луидоров в свои кожаные штаны. «Тут жирно!» — сказали они и в три минуты покончили с беднягой. В подобных случаях жертва обыкновенно громко кричит, призывая на помощь аргусов; они непременно явятся, когда все уже кончено, чтоб осыпать палочными ударами того, которого обокрали. В Ренне эти разбойники довели наглость до того, что обобрали сестру милосердия, которая принесла нам табак и деньги в манеж, где мы должны были провести ночь. Более выдающиеся злоупотребления теперь исчезли, но существуют еще такие, которые очень трудно искоренить, если принять во внимание, каким людям доверяют надзор за каторжниками.



Наше трудное путешествие длилось двадцать четыре дня. Прибыв в Понт-а-Лезен, мы были помещены в каторжное депо, где осужденные выдерживают род карантина, пока не восстановятся их силы и не убедятся, что они не одержимы заразительными болезнями. Тотчас после нашего прибытия нас вымыли попарно в больших чанах

с теплой водой и по выходе из ванны раздали нам одежду. Как другие, и я получил красную куртку, двое панталон, две полотняные рубашки, две пары башмаков и зеленый колпак. Каждая штука из этого приданого была намечена буквами Г. А. Л., а на колпаке была жестянка, на которой значился нумер, занесенный в реестр. После раздачи одежды нас заковали в *ножные кандалы*, но в пары не соединяли.

Депо в Понт-а-Лезен — род лазарета, и поэтому надзор не так строг. Меня даже уверяли, что очень легко выйти из камер и перелезть потом через наружные стены. Я получил эти сведения от одного арестанта, по имени Блонди, который уже бегал из Брестского острога. Надеясь применить их, я приготовился воспользоваться первым случаем. Нам давали иногда хлеб в восемнадцать фунтов весу. Отправляясь из Морлэ, я выдолбил один из таких хлебов и положил туда рубашку, панталоны и платки. Это был чемодан нового образца, и его не осматривали. Поручик Тьерри не назначал надо мной особенного надзора; напротив, зная, за что я был осужден, он сказал обо мне комиссару, что с такими спокойными людьми *можно вести каторжников, как пансион для девиц*. Итак, не возбуждая никакого подозрения,

я решился выполнить свой план. Дело в том, что надо было сначала пробить стену камеры, где мы были заперты. Стальные ножницы, забытые у моей кровати галерным приставом и служившие для заклепки наручников, послужили мне для пробития отверстия, а Блонди в это время распиливал мои цепи. Когда работа была окончена, мои товарищи, чтобы обмануть бдительность сторожевых аргусов, устроили и положили на мое место чучело, и затем, одетый в спрятанные вещи, я очутился на дворе депо. Стены, составлявшие ограду, были вышиною футов в пятнадцать, и я понимал, что перелезть можно было только с помощью лестницы. Шест заменил мне ее, но он был так длинен и тяжел, что я не мог перетащить его через стену и спуститься на другую сторону.

После утомительных и бесполезных усилий я должен был решиться на скачок, но он мне плохо удался. Я так сильно повредил себе ноги, что насилу дополз до соседнего кустарника. Я надеялся, что боль стихнет и я в состоянии буду бежать до рассвета, но она все усиливалась, и ноги мои распухли до такой степени, что надо было оставить всякую мысль о побеге. Тогда я счел за лучшее доползти до дверей депо, чтоб возвратиться самому, надеясь заслужить снисхождение. Сестра

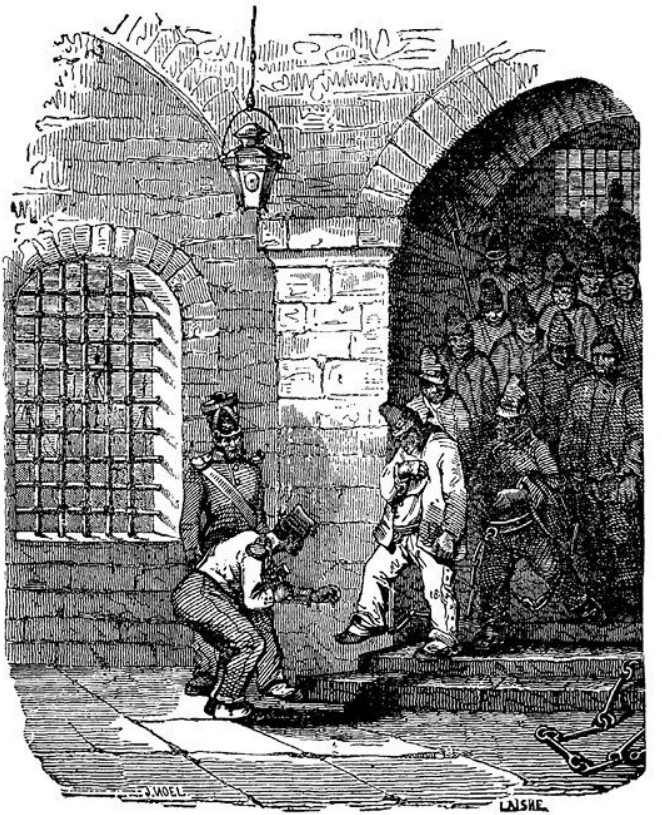
милосердия, к которой я обратился и рассказал все, препроводила меня в комнату, где мои ноги были перевязаны. Эта превосходная женщина, которую я сумел разжалобить, просила за меня смотрителя депо, и он для нее простил меня. Когда я через три недели совершенно поправился, меня препроводили в Брест.

Острог расположен в середине гавани; пирамиды ружей, две пушки перед воротами указывали мне вход в камеры, куда я был введен после осмотра всеми сторожами заведения. Самые смелые и самые закоснелые преступники признавались, что невозможно избавиться от сильного волнения при виде этого места позора. Каждая камера заключает двадцать восемь лагерных кроватей, называемых нарами, на которых спят шестьсот закованных каторжников. Длинные ряды красных курток; бритые головы, впалые глаза, обезображенные лица, постоянное брящание цепей — все это способно вселить ужас. Но для осужденного это впечатление только мимолетное; чувствуя, что здесь нет никого, перед кем ему следует краснеть, он мирится со своим положением. Чтоб не служить предметом грубых насмешек и гнусных шуток своих товарищей, он усиливается принять в них участие, даже

превзойти их, и скоро испорченность от тона, от жестов переходит в самое чувство. В Антверпене, например, один бывший епископ испытал сначала все крайности подлых насмешек каторжников. Они не называли его иначе как *монсеньор,* ежеминутно испрашивали его благословения, принуждали его оскорблять свое прежнее звание бесстыдными словами, и силою повторения своих оскорблений они его изменили так, что он позже сделался маркитантом острога; его звали по-прежнему монсеньор, но не просили у него отпущения грехов — он ответил бы проклятиями.

Моим живейшим желанием было как можно скорей избавиться от острога побегом. Для этого прежде всего следует увериться в скромности своего *парного* товарища. Моей парой был виноделец из окрестностей Дижона, человек около тридцати шести лет, осужденный на двадцать четыре года за вторичную кражу со взломом, что-то вроде идиота, которого бедность и дурное обращение превратили в животное. Казалось, он сохранил только одну способность — с поспешностью обезьяны или собаки отвечать на свисток аргусов. Подобная личность не подходила мне для исполнения моего проекта: мне надо было решительного человека, способного не отступать

перед страхом палочных ударов, которых не щадят для каторжника, подозреваемого в содействии осужденному к побегу. Чтоб избавиться от Бургиньона, я притворился больным; его поставили в пару с другим, чтоб идти на работу; а когда я выздоровел, то меня соединили с бедняком, приговоренным на восемь лет за покражу курицы из священнического дома.


J. MOELL
LAISNE

У этого сохранилась, по крайней мере, известная доля энергии. Первый раз, что мы остались одни на наре, он мне сказал: «Слушай, товарищ, ты не желаешь, как мне кажется, долго есть казенный хлеб… Будь со мной откровенен… Ты от этого ничего не потеряешь». Я признался, что имею намерение улизнуть при первой возможности. «В таком случае, — сказал он, — я тебе дам совет улепетнуть прежде, чем эти носороги аргусы привыкнут к твоей *тыкве* (лицу); но недостаточно только желать… есть у тебя *филиппчики* (золотые экю)?» Я отвечал, что у меня есть немного денег; тогда он мне объявил, что он легко приобретет платье у одного из осужденных на двойную цепь; но для устранения подозрения необходимо мне купить *хозяйство,* как человеку, решившемуся спокойно провести свое время. Это хозяйство состояло в двух деревянных чашках, маленьком бочонке для вина, в *патарасах* (род венчиков, для того чтоб железо не терло), наконец, в *свистке* (небольшой матрац, набитый паклей). Был четверг, шестой день моего прибытия в острог; в субботу у меня уже был костюм матроса, который я немедленно надел под арестантское платье. Платя продавцу, я заметил у него на ладонях круглые глубокие раны от прижигания и узнал, что,

присужденный на вечные галеры в 1774 году, он выдержал в Ренне пытку огнем, не сознавшись в краже, в которой его обвиняли. С изданием Свода законов 1791 года его участь была смягчена, и он был осужден всего на двадцать четыре года.

На другой день после пушечного выстрела отделение, в котором я находился, отправилось на работу к водокачальне, никогда не останавливавшейся. У решетки камеры, по обыкновению, осмотрели наши наручники и одежду. Зная этот обычай, я наклеил на груди на костюм матроса лоскут цвета кожи. Так как я нарочно оставил свою куртку и рубашку открытыми, то стража не осматривала далее, и я прошел без затруднения. Придя к бассейну, я прошел с моим товарищем за груду досок, как будто по надобности; наручники были подпилены накануне, и припай, скрывавший след пилы, легко уступил при первом усилии. Избавившись от цепей, я скинул поспешно куртку и панталоны каторжника. Под кожаной шапкой я надел парик, принесенный из Бисетра, потом, вручив своему товарищу обещанное ему небольшое вознаграждение, я исчез среди груд четырехугольных брусьев.

Глава девятая

Охота за каторжниками. – Голос крови. – Больница. – Сестра Франциска. – Фоблаз II. – Матушка воров

Я без затрудненья прошел через решетку и очутился в Бресте, которого совсем не знал; боязнь, чтобы моя неуверенность и незнание дороги не выдали меня, увеличивала мое беспокойство. Наконец после многих остановок и поворотов мне удалось добраться до городских ворот, где издавна постоянно находился смотритель за каторжниками, прозванный Подляком, который в вас угадывал каторжника по жесту, телодвиженью, физиономии; что еще более облегчало его труд, это то, что человек, пробывший некоторое время в остроге, невольно волочит ногу, на которой была надета цепь. Но, однако, необходимо было пройти мимо этой страшной личности, которая с важностью курила трубку, устремив орлиный взор на всех проходивших. Я был предупрежден и устроил штуку: дойдя до Подляка, я поставил у его ног молочный горшок с маслом, который купил,

чтоб дополнить свое переодеванье. Набив трубку, я попросил у него огня. Он поспешил подать мне свою трубку со всей любезностью, к какой был способен. Пустили несколько клубов дыма в лицо один другому, потом я покинул его и направился по дороге, расстилавшейся передо мной.

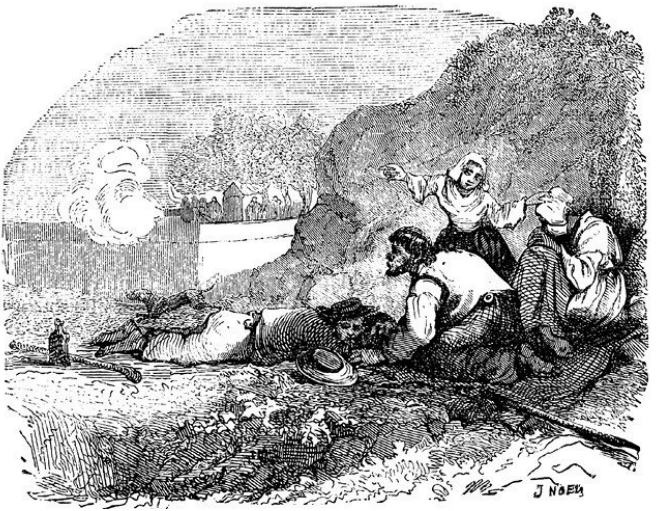
Я шел три четверти часа, как вдруг услыхал три пушечных выстрела, которыми извещают обыкновенно окрестных крестьян о побеге каторжника, давая им знать, что, доставив беглеца, можно заслужить награждение в сто франков. Я действительно видел много людей, вооруженных ружьями и карабинами, бегущих в поле и осматривающих тщательно кустарники. Некоторые земледельцы имели при себе оружие из предосторожности. Один из них пересек дорогу, по которой я шел, услыхав выстрелы, но не признал меня; я был одет довольно чисто, кроме того, снятая шляпа, которую погода позволяла нести под мышкой, давала возможность видеть длинные волосы, которые не могли принадлежать каторжнику.

Я продолжал путь, избегая деревень и уединенных жилищ. В сумерки я встретил двух женщин, у которых спросил, где я и на какой дороге; они мне ответили на наречии, из которого я не понял

ни одного слова; но я показал деньги и знаками объяснил, что хочу есть; они меня привели к входу маленькой деревни в небольшой кабачок, содержимый… полевым сторожем, у которого при свете камина я увидел знаки его достоинства. Я с минуту находился в замешательстве, но, придя в себя, объявил, что желаю говорить с мэром. «Это я самый», — сказал старик-крестьянин в холщовом колпаке и деревянных башмаках, сидевший у маленького столика и евший галеты из гречневой муки. Новая неудача для человека, который хотел удрать по дороге от кабачка в мэрию. Но каким бы то ни было образом надо было выйти из этого положения. Я объявил чиновнику в деревянных башмаках, что, взяв в сторону по дороге из Морлэ в Брест, я заплутался и хотел узнать от него, в каком расстоянии я нахожусь от последнего города, где я должен ночевать сегодня вечером. «Вы в пяти лье от Бреста, — сказал он, — и вам невозможно добраться туда на ночь. Если вы хотите здесь уснуть, я вам дам у себя помещение, а завтра вы отправитесь с полевым сторожем, который поведет беглого каторжника, пойманного нами вчера».

Последние слова снова возбудили мое беспокойство, так как по тону я понял, что мэр не дове-

рял моим словам. Я принял, однако, его любезное приглашение, но в то время, когда мы хотели отправиться к нему, я схватился за карман и с видом отчаявшегося человека воскликнул: «Боже мой! Я забыл в Морлэ бумажник с документами и восемь луидоров. Надо возвратиться тотчас — да, сейчас; но как найти дорогу? Если бы сторож проводил меня, — он должен знать местность, — мы бы вернулись вовремя для препровождения каторжника». Это предложение устраняло всякое подозрение, так как человек, который хочет спастись, не берет подобного сотоварища; с другой стороны, полевой сторож, предчувствуя вознаграждение, по первому слову надел сапоги. Мы отправились и на рассвете достигли Морлэ. Мой товарищ, которого я щедро подпаивал дорогой, остается вполне доволен; к довершению всего я угостил его ромом в первом погребке, попавшемся нам в городе. Он остался там, дожидаясь меня за столом, или лучше сказать под столом, а я тем временем спешил бежать.



У первого встречного я спросил дорогу в Ванн; мне ее указали, я отправился, а у самого, как говорится, душа ушла в пятки. Два дня прошли без затруднений, на третий день, в нескольких лье от Гемени, на повороте дороги я встретил двух

жандармов, возвращавшихся с конвоировки. Неожиданное зрелище желтых штанов и шапок, обшитых галунами, меня поразило, и я хотел бежать, но они оба закричали, чтоб я остановился, схватившись за свои карабины. Они подошли ко мне; у меня не было бумаги, чтобы показать им, но я сочинил ответ на всякий случай: «Мое имя Дюваль, родом из Лориана, дезертир с фрегата „Кокарда“, находившегося в настоящее время в гавани Сен-Мало». Бесполезно прибавлять, что я узнал эти подробности во время пребывания в остроге, куда приходили новости из всех портов. «Как! — закричал бригадир. — Вы Огюст, сын того Дюваля, который живет в Лориане на площади, рядом с „Золотым шаром“?» Я не противоречил; всего хуже было быть признанным беглым каторжником. «Черт возьми! — продолжал бригадир. — Мне жаль, что задержал вас, но теперь уж ничего не поделаешь… Надо вас препроводить в Лориан или Сен-Мало». Я настоятельно просил его не отправлять меня в первый из этих городов, опасаясь очной ставки с моими новыми родными, если бы захотели убедиться в моей личности. Но он дал приказание отправить меня, и на другой день я прибыл в Лориан, где меня заключили в Понтаньо, морскую тюрьму,

расположенную возле нового острога, наполненную каторжниками из Бреста.

Допрошенный на другой день комиссаром, я снова объявил, что я Огюст Дюваль и покинул корабль без позволенья, чтобы повидаться с родными. Тогда меня снова возвратили в тюрьму, где между другими моряками находился молодой человек, уроженец Лориана, обвиняемый в оскорблении действием старшего офицера корабля. Поговорив со мной, он мне сказал в одно утро: «Земляк, если вы заплатите за мой завтрак, я вам сообщу нечто такое, что не огорчит вас». Таинственный тон, ударение, которое он сделал на слове «земляк», меня встревожили и не позволили отказаться. Завтрак был подан, и за десертом он мне сказал следующее:

— Доверяетесь ли вы мне?

— Да!

— Итак, я вам помогу… Я не знаю, кто вы, но верно то, что вы не сын Дюваля, так как он умер два года тому назад в Сен-Пьерр-Мартиник. — (Я сделал движение.) — Да, он умер уже два года, но здесь никто не знает ничего, таков порядок наших госпиталей в колониях. Теперь я вам могу сообщить некоторые сведения о его семействе, чтобы вас признали даже родные. Это будет тем

легче, что он из дома отца поехал очень молодым. Для большей уверенности притворитесь слабоумным вследствие трудности морских путешествий и перенесенных вами болезней. Но есть еще кое-что. Прежде нежели сесть на корабль, Огюст Дюваль татуировал себе на левой руке рисунок, как это делают многие матросы и солдаты. Я знаю превосходно этот рисунок: алтарь, украшенный гирляндой. Если вы сядете в каземат со мной дней на пятнадцать, я вам устрою такой же знак, так что все будут обмануты.

Собеседник мой казался прямым и откровенным, и участие, которое он принял во мне, я объяснил желанием подшутить над правосудием — наклонность, присущая всем заключенным. Для них скрыть след, сбить с толку или ввести в заблуждение составляет удовольствие мести, которое они искупают ценою нескольких недель заключения в каземате. Теперь оставалось попасть туда. Мы скоро нашли удобный предлог. Под окнами комнаты, где мы завтракали, стоял часовой, мы начали бросать хлебными шариками; он стал нам угрожать пожаловаться смотрителю, а нам только этого и нужно было. В это время пришла к нему смена; капрал, который разводил ее, пошел в канцелярию, и через несколько минут

явился смотритель взять нас, не рассуждая, в чем дело. Мы очутились на дне глубокой ямы, очень сырой, но светлой. Едва нас успели запереть, как мой товарищ начал операцию, и она удалась в совершенстве. Все дело заключается просто в накалывании руки несколькими иголками, обмокнутыми в тушь и в кармин. Через двенадцать дней проколы подсохли до такой степени, что нельзя было определить время, когда они были сделаны. Мой товарищ воспользовался этим временем, чтобы сообщить мне новые подробности о семействе Дюваль, которое он знал с детства и, как я полагаю, до такой степени близко, что мог мне сообщить даже дурные привычки моего двойника.

Эти подробности мне оказали большую помощь. На шестнадцатый день нашего заключения в каземате меня вызвали, чтобы представить отцу, которого предупредил комиссар. Товарищ мой описал его так, что я не мог ошибиться. Увидев его, я бросился ему на шею. Он меня узнал; его жена, пришедшая через несколько минут, тоже узнала меня; двоюродная сестра и дядя также. И вот я действительно превратился в Огюста Дюваля, нет возможности более сомневаться, сам смотритель был убежден. Но этого

было недостаточно, чтобы меня освободить. Как дезертира с «Кокарды» меня должны были препроводить в Сен-Мало, где остались в госпитале люди из команды судна, чтобы потом явиться перед морским судом. По правде сказать, это меня не слишком пугало, так как я был уверен, что мне удастся бежать во время дороги. Наконец я отправился, оплаканный своими родными и получив от них несколько лишних луидоров, которые я прибавил к спрятанным в трубку, как я уже говорил.

До Кимпера, где я должен был быть передан на этап, не представилось случая избавиться от приятного общества жандармов, препровождавших меня вместе со многими другими личностями: ворами, контрабандистами и дезертирами. Нас поместили в городскую тюрьму. Войдя в комнату, где я должен был провести ночь, у одной кровати я увидел хорошо знакомую красную куртку с буквами на спине Г. А. Л…На кровати лежал человек, покрытый дрянным одеялом, и по зеленому колпаку с нумерованной жестянкой я признал его за каторжника. Узнает ли он меня? Выдаст ли? Я был в смертельной тревоге, когда он, разбуженный шумом задвижек и замков, поднялся на кровати, и я увидел молодого человека,

называемого Гупи, прибывшего вместе со мной в Брест. Он был приговорен к вечной каторге за ночную кражу со взломом в окрестностях Берни в Нормандии; его отец служил аргусом в Брестском остроге и, не желая иметь его постоянно перед глазами, просил перевести в Рошфорский острог. Я рассказал ему свое дело, он обещал сохранить тайну и верно сдержал свое слово, тем более что ничего не выигрывал, выдав меня.

Между тем этап не отправился в путь, и прошло две недели после моего прибытия, а о выступлении не было и речи. Эта затяжка дала мне мысль пробить стену для побега, но, увидав невозможность исполнить свой план, я принял решение, которое должно было доставить мне доверие смотрителя и, может быть, случай исполнить свой замысел, внушив ему ложную во мне уверенность. Сообщив о заговоре арестантов, который я будто бы подслушал, я указал ему то место тюрьмы, где они работали. Он тщательно обыскал местность и, конечно, натолкнулся на отверстие, пробитое мной. Этот случай доставил мне его доверие. Но это меня мало подвинуло вперед, потому что общий надзор совершался с аккуратностью, которая разбивала все мои планы. Тогда я придумал отправиться в госпиталь в надежде,

что там мне больше посчастливится. Чтобы получить лошадиную лихорадку, мне достаточно было в течение двух дней принимать табачный сок; доктора тотчас дали мне билет. Прибыв в госпиталь, я вместо своей одежды получил серые колпак и халат и был помещен с арестантами.

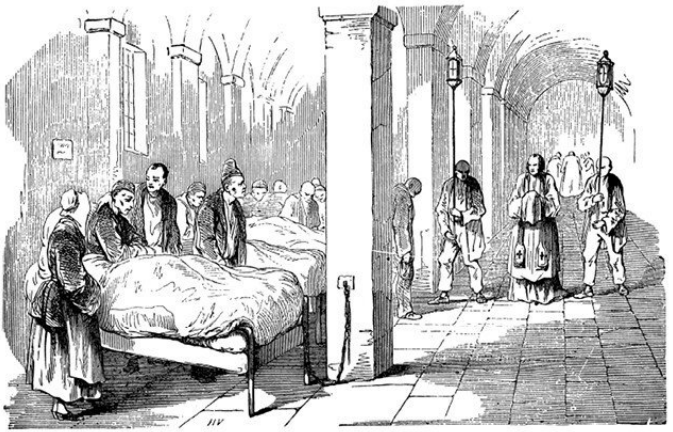
Я предполагал остаться некоторое время в госпитале, чтоб узнать все выходы, но болезнь от табачного сока не могла продолжаться более трех-четырех дней, — надо было найти рецепт для другой болезни, так как, не зная никого в камере, трудно было достать снова табачного сока. В Бисетре я был посвящен в тайны производить раны и нарывы, посредством которых нищие возбуждают общую сострадательность и собирают подаяние. Из всех этих средств я избрал то, которое производило опухоль головы в виде подушки, этим скорее всего можно было провести докторов; кроме того, оно не сопровождается страданиями и следы могут быть уничтожены, по желанию, в один день. Голова моя вдруг получила страшные размеры и произвела переполох между докторами заведения, которые, как кажется, не могли похвалиться опытностью и не знали, что и подумать. Я подслушал, как они что-то толковали об элефантиазисе, или о водяной в мозгу.

Но, как бы то ни было, эта забавная консультация кончилась обычным предписанием — посадить меня на самую строгую диету.

Если бы я был при деньгах, то не стал бы беспокоиться о предписании, но в трубке заключалось только несколько золотых, и, меняя их, я боялся возбудить подозрение. Но я решился достигнуть чего-нибудь через одного освобожденного каторжника, исполнявшего обязанность лазаретного служителя и который из-за денег готов был на все. Я заявил ему о желании отправиться на несколько часов в город; он мне сказал, что, если переодеться, это не представляет затруднения, так как стены не выше восьми футов. Это постоянная дорога, сказал он мне, по которой он и его товарищи отправляются, когда они желают покутить. Мы условились, что он доставит мне одежду и будет сопровождать меня в моем ночном похождении, которое должно было окончиться ужином с женщинами. Но единственный костюм, который он мог достать в госпитале, был слишком мал на мой рост, — надо было отказаться от исполнения этого проекта.

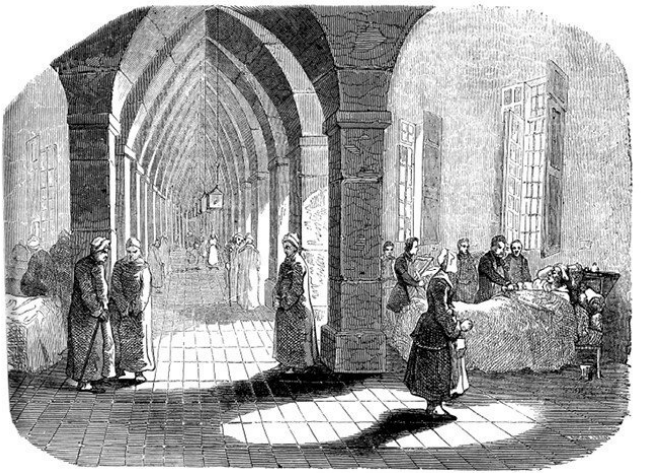
Эта неудача сильно меня раздосадовала, как вдруг мимо моей кровати прошла одна из сестер милосердия, за которой я уже не раз подмечал

светские наклонности. Не то чтобы сестра Франциска была одной из тех монахинь-кокеток, которых вы видите в опере «Визитандинки» прежде, чем монахини превращаются в пансионерок и рясы заменяются зелеными передниками. Сестре Франциске было тридцать четыре года. Она была смуглая брюнетка, и ее развитые формы сводили с ума и заставляли страдать многих фельдшеров и больничных служителей. При виде этого соблазнительного и полновесного существа мне пришла мысль воспользоваться на минуту ее монастырской сбруей. Я сказал об этом в виде шутки моему служителю, но он принял это за серьезное и обещал на следующую ночь доставить мне часть одежды сестры Франциски. Около двух часов утра он действительно явился с узлом, в котором было платье, ряса, чулки и прочее, украденное им из ящика сестры, пока она была у заутрени. Все мои товарищи по камере, все девять человек, крепко спали, но я все-таки прошел на лестницу, чтоб переодеться. Что было всего хуже, так это головной убор; я не имел понятия, как его устроить, а между тем беспорядок в нем мог меня выдать, так как монахини всегда устраивали его с мелочной аккуратностью.



Наконец туалет *сестры Видок* был окончен: мы проходим двор, сад и приближаемся к месту, где легче всего перелезть через стену. Я передал служителю пятьдесят франков, которые составляли почти все мое достояние, он пожал мне руку, и вот я очутился один в пустынной улице, откуда направился за город, руководствуясь смутными указаниями моего покровителя. Хотя юбки поря-

дочно мешали мне, но к восходу солнца я отмахал два добрых лье. На дороге я встретил крестьянина, отправлявшегося в Кимпер продавать зелень; я расспросил его о дороге, и он объявил мне, что я направляюсь к Бресту, и указал мне проселочный путь, который должен был привести меня на большую дорогу, пролегающую в этот город. Я пустился по указанному пути, опасаясь каждую минуту встретить кого-нибудь из *армии,* угрожавшей Англии; армия эта была расположена по деревням от Нанта до Бреста. Около десяти часов утра, дойдя до одного маленького местечка, я старался разузнать, нет ли там солдат, выражая непритворный страх, чтобы они не пожелали меня затронуть, — в таком случае было бы непременно открыто все. То лицо, к кому я обратился, был церковный причетник, большой болтун, человек любезный и сообщительный, он принудил меня войти освежиться в близлежащий священнический дом веселого, приветливого вида, с белыми стенами и зелеными ставнями.



Пожилой священник, лицо которого дышало добродушием, принял нас с радостью. «Милая сестра, — сказал он, — теперь я иду служить обедню; когда служба кончится, вы будете завтракать с нами». Надо было идти в церковь, и мне стоило немало труда исполнять в точности все обряды и коленопреклонения, предписыва-

емые монахине. К счастью, старуха — служанка священника — стояла возле меня, и я вывернулся из затруднительного положения, подражая ей во всем. По окончании обедни сели за стол, и начались расспросы. Я сказал этим добрым людям, что отправляюсь в Ренн для выполнения епитимьи. Священник не расспрашивал более; но причетник приставал ко мне, за что я наказан. Я ответил ему: «Увы! За то, что была любопытна!..» И мой молодчик оставил расспросы, скушав такую пилюлю. Положение было крайне неловкое; я не смел есть, боясь выказать мужской аппетит; в разговоре я часто говорил: «господин священник», а не «любезный брат». Эти обмолвки могли бы выдать меня, если бы я не старался по возможности сократить время завтрака. Но, однако, я нашел возможность расспросить о местах, где войска расположились квартирами, и, получив благословение почтенного иерея, который обещал не забыть меня в своих молитвах, я пустился в путь, успев уже привыкнуть к своему новому костюму.

По дороге я встречал мало народу; революционные войны опустошили эту несчастную страну, и я проходил по селам, где не осталось ни одного целого жилища. На ночь, придя в деревню, со-

стоявшую из нескольких хижин, я постучался в дверь одной из них. Пожилая женщина отворила мне и ввела в довольно большую комнату, которая по своей нечистоте могла поспорить с самыми грязными лачугами Галиции или Астурии. Семейство состояло из отца, матери, мальчика и двух дочерей от пятнадцати до семнадцати лет. Когда я вошел, все были заняты стряпней чего-то вроде блинов из гречневой муки; все собрались вокруг очага, и эти лица, освещенные, как у Рембрандта, светом пылавших дров, представляли картину, которая привела бы в восторг художника. Что касается до меня, то я не гнался за эффектом, но желал чем-нибудь утолить свой голод. Со всей готовностью, которую внушал мой костюм, мне предложили первые блины, которые я проглотил с быстротой, не замечая даже, что они с пылу и жгут нёбо. После мне случалось сиживать за пышными столами, мне предлагали самые отборные вина, самые изысканные и гастрономические кушанья; но ничто не могло сравниться с наслаждением, которое доставили мне крестьянские блины в Нижней Бретани.

По окончании ужина громко прочли молитву; потом отец и мать закурили трубки в ожидании часа, когда пора ложиться спать. Усталый от вол-

нений и дневных трудов, я пожелал отправиться на покой. «У нас нет кровати для вас, — сказал хозяин дома, который, как моряк, хорошо говорил по-французски, — вы можете лечь с моими двумя дочерьми». Я ему заметил, что, отправляясь на покаяние, я удовольствуюсь углом в хлеве. «О! — продолжал он. — Ложась с Жанной и Маделеной, вы не нарушите вашего обета, — их постель состоит только из соломы. Да для вас и места нет в хлеве… там уже спят два отпускных, которые просили позволения переночевать у меня». Мне не оставалось ничего более сказать; я был счастлив избежать встречи с солдатами и отправился в спальню девиц. Это был чулан, наполненный яблоками для сидра, сырами и копченым салом; в углу сидела на насесте дюжина кур, а ниже — в загородке — приютилось восемь кроликов. Вся утварь состояла из разбитого кувшина, сломанной скамейки и осколка зеркала; кровать, по обычаю этой местности, состояла из ящика в форме гроба, наполовину наполненного соломой, и не более трех футов ширины.

Новое затруднение для меня. Молодые девушки слишком свободно раздевались передо мной, а я, как известно, имел много причин сдерживать себя. Независимо от обстоятельств, о которых

можно догадаться, под женским платьем у меня была мужская рубашка, которая могла обнаружить мой пол и мое *инкогнито*. Чтоб не выдать себя, я медленно вынимал булавки и опрокинул, как будто невзначай, железный ночник, который нас освещал; таким образом, я без боязни мог скинуть свою женскую одежду. Эта ночь была для меня сущей пыткой; дело в том, что Жанна, хотя и не красавица собой, была свежа, как роза, и, ворочаясь, всякий раз прикасалась ко мне своими соблазнительными формами. Каково это было переносить человеку, уже давно осужденному на сохранение строгого целомудрия! Понятно, что я не мог заснуть ни на минуту.

Я лежал неподвижно с открытыми глазами, как заяц в норке, как вдруг, еще задолго до рассвета, я услыхал стук в дверь ружейными прикладами. Первая моя мысль, как всякого человека с нечистой совестью, была та, что напали на мой след и пришли арестовать меня. Я не знал, куда запрятаться. Удары усиливались, я вспомнил о солдатах, ночевавших в хлеве, и мои опасения рассеялись.

— Кто там? — спросил хозяин дома, внезапно пробужденный.

— Ваши вчерашние солдаты.

— Что вам нужно?

— Огня, закурить трубки перед дорогой.

Хозяин встал, достал из золы огня и отворил дверь солдатам. Один из них, посмотрев на часы при свете ночника, сказал: «Четыре часа с половиною… марш!.. В поход, дрянная армия». Они удалились в самом деле; хозяин загасил лампу и лег опять. Что касается меня, то, не желая одеваться и раздеваться перед своими товарками, я тотчас встал, зажег лампу, надел снова свое платье из грубой шерстяной материи, потом встал на колени в углу, показывая вид, что молюсь, ожидая пробуждения семейства. Они не заставили меня долго дожидаться. В пять часов мать закричала со своей постели: «Жанна, вставай, надо приготовить суп для сестры, она хочет рано отправиться». Жанна встала и пошла на кухню; я с аппетитом поел приготовленного ею молочного супа и покинул добрых людей, которые меня так радушно приняли. Целый день я шел без роздыха и вечером очутился в одной деревне в окрестностях Ванна, где узнал, что был обманут ложными или превратно понятыми мной указаниями. Я ночевал в этой деревне и на другое утро прошел рано утром через Ванн. Мое намерение все-таки было достигнуть Ренна,

откуда я надеялся легко попасть в Париж, но при выходе из Ванна, вследствие одной встречи, я переменил намерение. По той же дороге медленно подвигалась женщина с маленьким ребенком, неся на спине ящик с мощами, которые она показывала в деревнях, напевая жалобные песни и продавая кольца святого Губерта и освященные четки. Эта женщина объявила мне, что она идет проселками в Нант. Я так сильно желал избежать большой дороги, что не колебался последовать за своим новым проводником, тем более что Нант представлял мне больше шансов, нежели Ренн.

Через неделю пути мы прибыли в Нант, где я расстался с женщиною, которая жила в одном из предместий. Что касается меня, то я избрал для жительства *острова Фейда*. Находясь в Бисетре, я узнал от одного товарища, по имени Гренье и по прозванью Нантец, что в этой части находится нечто вроде гостиницы, где, не боясь быть потревоженными, собираются мошенники. Я знал, что, заявив *известное* имя, можно надеяться быть принятым без затруднения, но я в точности не знал адреса и не было возможности узнать его. Я употребил способ, который мне удался: я ходил последовательно к различным съемщикам квартир и спрашивал господина Гренье. В четвертом

доме, куда я попал, хозяйка, оставив двух каких-то людей, с которыми была занята разговором, повела меня в маленькую комнату и сказала:

— Вы видели Гренье? Он все болен (в тюрьме)?

— Нет, — отвечал я, — он здоров (свободен).

Поняв, что я действительно у *матушки воров,* я не колеблясь объявил ей, кто я и в каком нахожусь положении. Не отвечая мне ни слова, она взяла меня за руку, отворила дверь, проделанную в панели, и ввела в низкую залу, где восемь мужчин и две женщины играли в карты, попивая водку и ликеры.

— Вот, — сказала моя проводница, представляя меня обществу, очень удивленному появлением монахини, — вот сестра, которая явилась, чтоб обратить вас на путь истинный.

В то же время я сорвал с себя рясу, и трое из присутствующих, которых я видел в остроге, узнали меня; это были Берри, Бидо-Можер и молодой Гупи, с которым я встретился в Кимпере; прочие были беглые из Ромжорского острога. Все потешались над моим переодеваньем, ужин еще более расположил нас к веселости; одна из женщин захотела непременно примерить костюм; ее манеры и ужимки так мало подходили к этой одежде, что все присутствующие хохотали до

слез, пока не разошлись спать.

Проснувшись, я нашел на моей кровати полный костюм, одежду, белье — одним словом, все необходимое. Откуда явились эти вещи? Но мне было не до того, чтобы беспокоиться об этом. Небольшая сумма денег, которую я не издержал в госпитале в Кимпере, где все было страшно дорого, была истрачена во время путешествия. Без одежды, без средств, без связей мне надо было по крайней мере время, чтобы написать матери и просить о помощи. И я принял все, что мне предложили. Но неожиданный случай сократил мое пребывание на острове Фейда. В конце недели мои сожители, увидев, что я совершенно поправился от усталости, сказали мне однажды вечером, что на другой день надо сделать дело в одном доме на площади Граслин и что они рассчитывают на мое участие; мне даже предоставлялся самый почетный пост: работать внутри с Можером.

Это не входило в мои расчеты. Я хотел воспользоваться обстоятельствами, чтобы выпутаться и добраться до Парижа, где вблизи от моего семейства у меня не было бы недостатка в средствах; но в мои соображения отнюдь не входило записаться в шайку воров, потому что хотя я и посещал

мошенников и жил их промыслом, но у меня было непреодолимое отвращение вступить на путь преступлений, опасности которого я познал в силу опыта. Но, с другой стороны, отказ должен был возбудить против меня подозрения моих новых товарищей, которые могли меня отравить втихомолку и спустить в Луару. Мне оставалось только одно: как можно скорее отправиться, на что я и решился.

Променяв свою новую одежду на крестьянское платье и получив еще восемнадцать франков придачи, я покинул Нант, неся на конце палки корзину с провизией, что мне придавало вид окрестного жителя. Конечно, я шел проселками, где, сказать мимоходом, жандармы были бы гораздо полезнее, чем на больших дорогах, на которых редко показываются люди, имеющие какое-либо дело с правосудием. Это замечание относится до муниципальной полиции. Таким образом она имела бы возможность следить за злодеями от общины до общины, между тем как теперь, за чертой больших городов, они презирают все поиски администрации. В различные времена, вследствие больших бедствий, — когда поджигатели распространились на севере, когда голод тяготел над Калвадосом и Эрским

департаментом, когда Оаза видела каждую ночь вспыхивающие пожары, — прибегали, в частности, к этой системе и впоследствии признавали ее целесообразность.

Глава десятая

Рынок Шоле. – Прибытие в Париж в новой должности погонщика волов. – История капитана Вилледье

Оставив Нант, я шел двое суток, не останавливаясь ни в одной деревне; я и не чувствовал в этом никакой надобности, так как запасся достаточным количеством провизии. Я шел наудачу, хотя с прежним намерением достигнуть Парижа или берега моря, надеясь быть принятым на какое-нибудь судно, как вдруг очутился в предместье города, который, как мне показалось, был недавно театром войны. Большая часть домов представляла груду развалин, почерневших от огня. Все здания, окружавшие площадь, были совершенно разрушены. Уцелела только церковная башня, на которой все еще били часы для жителей, уже более не существовавших. Эта сцена разрушения дополнялась еще некоторыми странными принадлежностями: на единственной части стены, оставшейся от всей гостиницы, можно было прочесть: «Хорошее помещение для

конных и пеших». В одном месте солдаты поили своих лошадей из кропильницы в часовне; в другом — товарищи их плясали при звуках органа с местными женщинами, которых одиночество и нищета вынуждали развратничать с *синими* за их жалкий солдатский хлеб. Следы губительной войны заставляли думать, будто находишься в саваннах Америки или в каком-нибудь оазисе пустыни после того, как варварское население со слепым зверством перерезало друг друга. А между тем здесь с обеих сторон были только одни французы, обуреваемые фанатизмом. Я был в Вандее, в Шоле.

Хозяин плохонького, покрытого дроком кабачка, где я остановился, обратился ко мне с вопросом, не приехал ли я в Шоле на завтрашний рынок. Я отвечал утвердительно, сначала весьма удивленный, как это собирались на рынок посреди таких развалин и как это еще осталось что продавать у окрестных поселян; но трактирщик заметил, что на рынок только и приводят скот из довольно отдаленных кантонов. С другой стороны, хотя еще ничего не сделано для исправления повреждений, причиненных войной, но общее спокойствие было почти восстановлено генералом Гошем, и если еще в стране остались

республиканские солдаты, то это только для обуздания шуанов[3], которые могли быть опасны.

С раннего утра я был уже на рынке и, желая воспользоваться случаем, подошел к одному продавцу волов, наружность которого мне более пришлась по сердцу, и просил его выслушать меня на минуту. Он сначала взглянул на меня подозрительно, опасаясь видеть шпиона; но я поспешил разуверить его, сказав, что дело касалось лично меня. Затем мы пошли с ним под навес, где продавали водку. Я вкратце рассказал ему, что, бежав из 36-й полубригады, чтобы свидеться с родителями, живущими в Париже, я очень желал бы получить место, которое бы дало мне возможность достигнуть цели, не будучи задержанным. Добряк ответил, что места у него не было, но что если я соглашусь *гнать* (вести) стадо быков до Ссо, то он может взять меня с собою. Никогда предложение не было принято с большей поспешностью, и я немедленно вступил в должность, стараясь блеснуть перед новым хозяином всеми маленькими услугами, зависящими от меня.

После полудня он послал меня с письмом, и

[3] Примечания: 3

Так назывались в Вандее приверженцы королевской партии во время первой революции.

господин, получивший его, как мне показалось, нотариус, спросил меня, не поручил ли мне хозяин получить с него что-нибудь. Я отвечал отрицательно. «Все равно, — сказал он, — вы ему отдадите этот мешок с тремястами франков». Я аккуратно вручил свою сумму торговцу волов, которому моя верность, по-видимому, внушила некоторое доверие. На другой день мы отправились в путь. Через три дня хозяин призвал меня.

— Луи, — сказал он, — ты умеешь писать?

— Да.

— Считать?

— Да.

— Вести записную книгу?

— Да.

— В таком случае так как я должен несколько свернуть с дороги, чтобы посмотреть быков в Сент-Гобурге, то ты доведешь стадо до Парижа с Жаком и Сатурнином и будешь над ними старшим.

Затем он передал мне свои приказания и уехал.

Вследствие полученного мною повышения я перестал идти пешком, что значительно улучшило мое положение; потому что пешие погонщики волов или задыхаются от пыли, подымаемой

животными, или идут по колено в грязи. Притом мне лучше платили, лучше кормили меня, но я не употреблял во зло этих преимуществ, подобно другим молодым погонщикам, которых назначали старшими над товарищами; в их ведении корм скота превращался в пулярок и баранину для них самих, а то так шел на уплату по счету трактирщиков; бедные же животные на глазах тощали.

Но я был честнее в этом случае, и хозяин, опередивший нас, сойдясь с нами в Вернейле, благодарил меня за цветущее состояние, в котором нашел стадо. По прибытии в Ссо мои быки стоили каждый двадцатью франками дороже, чем у всех других, и в дороге я издержал девяноста франками менее своих сотоварищей. Восхищенный хозяин дал мне сорок франков награды и рекомендовал меня всем откормщикам скота, как Аристида погонщиков; я был некоторым образом предметом общего внимания на рынке; но за это мои сотоварищи охотно съели бы меня. Один из них, уроженец нижней Нормандии, славившийся своей ловкостью и силой, вздумал было даже отвратить меня от ремесла; но что может сделать неповоротливый мужик перед учеником великого Гупи!.. Нормандец

был поражен в одной из славнейших битв на кулачках, которую когда-либо видали на рынке откормленных быков. Эта победа была тем славнее, что я отличался большой сдержанностью в своем поведении и согласился драться уже только тогда, когда было невозможно отказаться. Хозяин, все более и более довольный мною, хотел непременно оставить меня на год в той же должности, обещал маленький процент со своего сбыта. Известий от моей матери не было; а между тем это занятие доставляло средства, которых я намерен был искать в Париже, и новый костюм так отлично меня маскировал, что я нимало не боялся быть узнанным при моих частых поездках в Париж. Я действительно встречался со многими прежними знакомыми, которые даже не обратили на меня внимания. Но раз вечером, направляясь к заставе и проходя улицу Дофин, я вдруг был остановлен ударом по плечу. Первой мыслью моей было бежать без оглядки, потому что всякий, останавливающий таким образом, обыкновенно рассчитывает на это движение, чтобы схватить вас; но в ту же минуту экипажи загородили дорогу; в ожидании, что будет, я чувствовал, что на меня напал панический страх. Причиной его был не кто иной, как Вилледье, ка-

питан 13-го егерского полка, человек, с которым я близко сошелся в Лилле. Немало удивленный, встретив меня в клеенчатой шляпе, блузе и простых кожаных сапогах, он, однако, обошелся со мной весьма дружелюбно и пригласил меня отужинать, прибавив, что имеет рассказать мне много интересного. Сам он не был в мундире; но это не могло удивить меня, потому что офицеры во время пребывания в Париже обыкновенно надевали статское платье; а поразили меня его беспокойный вид и чрезвычайная бледность. Так как он имел намерение ужинать за заставой, то мы наняли фиакр и отправились в Ссо.

По прибытии в гостиницу «Большого оленя» мы спросили себе отдельную комнату. Как только нам подали кушанье, Вилледье запер дверь и положил ключ в карман. «Друг мой, — сказал он мне со слезами на глазах и с расстроенным видом, — я — человек погибший!.. Да, погибший!.. меня разыскивают… Надо, чтобы ты доставил мне костюм такой же, как у тебя, и, если хочешь, у меня есть деньги, много денег. Мы поедем вместе в Швейцарию. Я знаю твою ловкость и искусство в побегах; только ты и можешь меня вывести из беды». Такое начало не имело для меня ничего успокоительного. И без того обеспокоенный соб-

ственным положением, я не имел ни малейшего намерения подвергать себя новой опасности быть арестованным, потому что, связавшись с человеком преследуемым, я легко мог и сам быть открытым. Это размышление, сделанное мною in petto, заставило меня быть сдержаннее с Вилледье; притом я совсем не знал, в чем дело. В Лилле я видел, что расходы его превышали его жалованье; но молодой, представительный офицер имеет столько шансов раздобыть денег, что никто не обращал на это внимания. Поэтому я был весьма удивлен, услышав от него следующий рассказ:

— Я не стану рассказывать тебе всех обстоятельств своей жизни, предшествовавших нашему знакомству; довольно тебе знать, что, будучи не хуже и не глупее всякого другого и вдобавок имея довольно могущественных покровителей, я в тридцать четыре года был капитаном егерского полка, когда встретил тебя в Лилле, в «Кофейне Горы». Там я сошелся с одной личностью, честный вид которой предрасположил меня в ее пользу; эти отношения незаметным образом сделались более интимными, и я был принят в его семью. Все в доме дышало довольством; за мной ухаживали, и если г. Лемер был приятным

собеседником, то супруга его была положительно прелестна. По ремеслу ювелир, он часто ездил с товаром и отлучался из дому на шесть или восемь дней. Мне пришлось часто видеться с его женой, и ты, верно, уже догадался, что я вскоре сделался ее любовником. Лемер ничего не подозревал или смотрел на это сквозь пальцы. Несомненно только то, что я вел весьма приятную жизнь, как вдруг раз утром застаю Жозефину в слезах. Она объявила мне, что муж ее арестован в Кортрейке со своим приказчиком за то, что продавал золотые вещи без пробы, и так как непременно придут к ним в дом, то надо все как можно скорее вынести. И действительно, самые дорогие вещи были уложены в чемодан и отнесены в мою квартиру. Жозефина попросила меня отправиться в Кортрейк, где я по своему чину мог бы быть полезен ее мужу. Я ни минуты не колебался; я так был влюблен в нее, что, казалось, весь был в ней, думал ее мыслями, желал только того, чего желала она.

Получив позволение от полковника, я взял лошадей, коляску и отправился с нарочным, который принес известие об аресте Лемера. Наружность этого человека совсем не внушала мне доверия; мне особенно не понравилось то, что он

говорил Жозефине «ты» и обращался с ней весьма непринужденно. Войдя в карету, он тотчас же забился в угол, комфортабельно уселся и проспал до Менена, где я велел остановиться, чтобы что-нибудь поесть. Как бы внезапно пробужденный, он сказал мне дружески: «Капитан, я не желал бы выходить, сделайте одолжение, принесите мне рюмку водки…» Несколько удивленный этим тоном, я ему послал водку со служанкой, которая тотчас же вернулась, говоря, что мой спутник ничего не ответил и что, по всей вероятности, спит. Пришлось мне самому вернуться к экипажу, где я нашел его неподвижным в углу, с лицом, покрытым платком.

— Вы спите? — спросил я тихонько.

— Нет, — отвечал он, — и не думаю. Но, черт возьми, зачем же вы послали ко мне служанку, когда я сказал, что не намерен показываться этим людям.

Я ему принес рюмку водки, которую он мгновенно выпил; затем мы поехали. Так как он, по-видимому, не намерен был более спать, то я спросил его о причинах, заставлявших его сохранять инкогнито, равно как о деле, представлявшемся мне в Кортрейке и о котором я не имел понятия. Он отвечал мне очень коротко,

что Лемер обвинялся в сообщничестве с шайкой chauffeurs, и прибавил, что не говорил об этом Жозефине, боясь ее огорчить.

Мы уже приближались к Кортрейку. В четырехстах шагах от города он велит почтальону на минуту остановиться; надевает на себя парик, спрятанный в его шляпе, на левый глаз прилепляет пластырь, вынимает из жилета пару двуствольных пистолетов, открывает портьеру, выпрыгивает и исчезает.

Все эти эволюции, цель которых была мне неизвестна, не могли не возбудить во мне некоторого беспокойства. А что, если арест Лемера был только предлогом? Если мне подставляли ловушку, если хотели заставить играть роль в какой-нибудь интриге, в каком-нибудь дурном деле? Я не решался этому поверить. Но я все-таки был в большом сомнении насчет того, что следовало делать, и большими шагами ходил по номеру в «Hôtel du Damier», где мой спутник посоветовал мне остановиться, как вдруг отворилась дверь и вошла… Жозефина! При ее виде все мои сомнения исчезли; а между тем это внезапное появление, эта быстрая поездка без меня на расстояние всего нескольких часов пути, тогда как так естественно было воспользоваться экипажем, — все это

должно было еще удвоить мои опасения; но я был влюблен, и когда Жозефина сказала мне, что не могла выносить мысли о разлуке, то я нашел все это разумным и превосходным. Было четыре часа пополудни. Жозефина оделась, ушла и вернулась только в десять часов вечера в сопровождении какой-то личности, одетой люттихским крестьянином, хотя его манеры и выражение лица нимало не соответствовали этому костюму.

Подали закуску, и слуги вышли. Тогда Жозефина тотчас бросилась мне на шею, снова умоляла спасти ее мужа, уверяя, что от меня только зависело оказать ему эту услугу. Я обещал все, чего желали. Мнимый крестьянин, до тех пор хранивший молчание, начал говорить в пользу этого и объяснил все, что нужно было делать.

— Лемер, — сказал он, — прибывши в Кортрейк с несколькими путешественниками, встретившимися ему по дороге, но которых он совсем не знал, был остановлен отрядом жандармов во имя закона. Незнакомцы стали защищаться, обменялись несколькими выстрелами, и Лемер, оставшийся на месте один со своим приказчиком, был взят, не оказав сопротивления, так как сознавал себя невинным, ни к чему не причастным и не имел причины чего-либо опасаться.

Между тем против него явились довольно значительные улики: он не мог отдать точного отчета о делах, которые привели его в кантон, так как в настоящее время занимался контрабандой; затем в кустах нашли две пары пистолетов и уверяли, что они были брошены им и приказчиком во время их ареста; наконец, одна женщина уверяла, что на прошлой неделе она его видела по дороге к Генту с путешественниками, которых, по его показанию, он встретил только утром, при арестовании жандармами.

При таких обстоятельствах, добавил мой собеседник, необходимо найти средство доказать:

1-е. Что Лемер оставил Лилль только назад три дня и что он находился там уже с месяц.

2-е. Что он никогда не носил с собою пистолетов.

3-е. Что перед отъездом он захватил с собою около шестидесяти луидоров.

Такое сообщение должно было бы открыть мне глаза насчет того, какого рода услуги от меня требовали; но, отуманенный ласками Жозефины, я отгонял докучливые размышления и старался забыть все страхи будущего. В ту же ночь мы все трое отправились в Лилль. По прибытии туда я целый день бегал для необходимых приготовле-

ний и к вечеру успел набрать всех свидетелей[4]. Их показания не успели еще дойти до Кортрейка, как Лемер и его приказчик были уже освобождены. Можно представить себе их радость; они ликовали, и я не мог отогнать от себя мысли, что, по всей вероятности, дело было нечисто, если освобождение привело их в такой восторг.

На другой день по его приезде, обедая у Лемера, я нашел в своей салфетке сверток со ста луидорами. Я имел слабость их взять и с той минуты сделался человеком погибшим.

Играя в большую игру, угощая товарищей и бросая деньги на другие вещи, я вскоре растратил эту сумму. Лемер ежедневно выражал свою готовность быть мне полезным, и я пользовался этим, чтобы занимать у него денег; вскоре этот заем дошел до двух тысяч франков, хотя я не сделался от того ни богаче, ни благоразумнее. Тысяча пятьсот франков, занятые у одного еврея под бланковый вексель в тысячу экю, и двадцать пять луидоров, доставленные квартирным хозяином, исчезли с такой же быстротой. Наконец

---

[4] Примечания: 4

Может быть, удивятся подобной легкости; но надо сказать, что в настоящее время ход судопроизводства вообще весьма затрудняется наплывом угодливых свидетелей. Так, недавно в Кагорском уголовном суде одна половина общины по одному делу показывала совершенно в противоположном смысле, нежели другая.

я решился истратить даже пятьсот франков, вверенные мне под сохранение лейтенантом до приезда торговца лошадьми, которому он их был должен. Эта последняя сумма была проиграна в один вечер в «Кофейне Горы» некоему Карре, уже разорившему половину нашего полка.

Следующая за тем ночь была ужасна; волнуемый попеременно стыдом за злоупотребление доверием лейтенанта, бешенством, что оказался дураком, и необузданным желанием снова играть, я двадцать раз намеревался застрелиться. Когда пробили утреннюю зорю, я еще не смыкал глаз; так как я был дежурным, то сошел вниз осматривать конюшни; первый, кто мне попался, был лейтенант, предупредивший меня, что ожидаемый им торговец приехал и что он пришлет ко мне за деньгами своего слугу.

Мое смущение было так сильно, что я сам не знаю, что отвечал, и только темнота в конюшне помешала ему это заметить. Нельзя было терять ни минуты, если я не хотел утратить навсегда свою репутацию в глазах начальства и сотоварищей.

В этом ужасном положении мне даже не пришло на мысль обратиться к Лемеру, так как я находил, что и так слишком злоупотреблял

его дружбой; а между тем у меня не оставалось другого средства, и я решился запиской уведомить его о своем затруднительном положении. Он тотчас же пришел и, кладя передо мной две золотые табакерки, трое часов и двенадцать серебряных приборов, сказал, что денег у него нет в настоящую минуту, но что их легко достать, заложив в ломбарде ценные вещи, которые он отдавал в мое распоряжение. Рассыпавшись в благодарениях, я послал слугу заложить все это, и он принес мне тысячу двести франков. Прежде всего я возвратил пятьсот франков лейтенанту; а затем, увлекаемый своей несчастной звездой, бросился в «Кофейню Горы», где Карре, долго не соглашавшийся дать мне отыграться, в конце концов положил в свой кошелек оставшиеся у меня семьсот франков.

Ошеломленный этим последним ударом, я несколько времени бродил без цели по улицам Лилля, составляя в голове тысячу гибельных планов. В таком настроении я незаметно приблизился к жилищу Лемера и машинально вошел. Садились за стол. Жозефина, пораженная моей чрезвычайной бледностью, с участием спросила меня о моих делах и моем здоровье. Это была одна из тех минут отчаяния, когда сознание сво-

ей слабости вызывает на откровенность самого сдержанного человека. Я сознался в своей расточительности и прибавил, что месяца через два должен уплатить четыре тысячи франков, хотя у меня нет на это ни одного су.

При этих словах Лемер взглянул на меня пристально, взглядом, которого я не забуду во всю жизнь, как бы она ни была долга. «Капитан, — сказал он мне, — я вас не покину в затруднении… откровенность за откровенность… нечего скрывать от человека, который спас вас от…» — и с ужасным смехом он провел левой рукой вокруг шеи… Я содрогнулся, взглянув на Жозефину: она была покойна!.. Это была ужасная минута. Как бы не замечая моего волнения, Лемер продолжал свое страшное признание. Я узнал, что он принадлежал к шайке Салламбье; что когда жандармы арестовали его, то он совершил кражу с оружием в руках на одной из дач в окрестностях Гента. Так как слуги вздумали защищаться, то троих убили, а две несчастные служанки были повешены в чулане. Вещи, только что заложенные мною, были плодом кражи, последовавшей за этими убийствами! Рассказав, как именно он был остановлен неподалеку от Кортрейка, Лемер добавил, что теперь только от меня зависит вознаградить

себя за потери и поправить свои дела, — стоит принять участие не более как в двух или трех предприятиях.

Я был уничтожен. До этих пор поведение Лемера, обстоятельства, сопровождавшие его арест, услуга, которую я ему оказал, казались мне подозрительными, но я тщательно старался отогнать мысль о том, что могло превратить мои подозрения в уверенность. Мне казалось, будто со мной кошмар, и я ожидал пробуждения… пробуждение было еще ужаснее!

«Ну, — сказала Жозефина с видом проницательности, — вы не отвечаете… А! Вижу, мы потеряли вашу дружбу… Я умру от этого!» И она залилась слезами… Голова моя закружилась; забывая о присутствии Лемера, я бросаюсь перед ней на колени как безумный, восклицая: «Чтобы я вас оставил… нет, никогда! Никогда!» Мой голос оборвался от рыданий; в глазах Жозефины тоже блистала слеза, но она тотчас же овладела собой. Что касается Лемера, то он предложил нам флердоранжа с покойным видом кавалера, подающего на балу мороженое танцующей с ним даме.

И вот я поступил в эту шайку, поселявшую ужас в Северном и Шельдском департаментах. Не прошло двух недель, как я был представлен

Салламбье, в котором узнал люттихского крестьянина; затем Дюгамелю, Шотену, Каландрену и другим. Первая стычка, в которой я принял участие, произошла в окрестностях Дуэ. Любовница Дюгамеля, также участвовавшая в этом деле, ввела нас в замок, где она находилась в качестве горничной. Отравив собак, мы для исполнения своего плана не имели даже надобности дожидаться, пока хозяева заснут. Каландрен мог отпирать всевозможные замки, и среди глубочайшей тишины мы добрались до дверей гостиной. Семья, состоявшая из отца, матери, двоюродной бабушки, из двух молодых девиц и пришедшего в гости родственника, играла в бульотт. В комнате раздавались только монотонные восклицания игры, когда Салламбье, вдруг повернув ручку двери, появился в сопровождении десяти человек, вымазанных сажей, с пистолетами и кинжалами в руках. При виде их карты выпали из рук присутствующих, девицы хотели кричать, но Салламбье одним жестом принудил их к молчанию. Один из наших, вскарабкавшись с ловкостью обезьяны на камин, обрезал шнурки звонка, женщины упали в обморок, и их оставили без внимания. Хозяин дома, хотя сильно встревоженный, один выказывал некоторое присутствие духа. Открывши раз

двадцать рот с тщетной попыткой выговорить слово, он наконец спросил, что нам нужно.

— Денег, — отвечал Салламбье, голос которого показался мне совершенно изменившимся. И, взяв свечу с игорного стола, он сделал знак хозяину следовать за собой в соседнюю комнату, где, как нам было известно, находились деньги и драгоценные вещи: это был настоящий Дон Жуан в сопровождении статуи Командора.

Мы остались без света неподвижно на своих местах, слыша только глубокие вздохи женщин, звон денег и слова «Еще! Еще!», которые Салламбье повторял от времени до времени гробовым голосом. Минут через двадцать он вернулся с красным платком, наполненным деньгами, углы которого были связаны; драгоценности же находились у него в кармане. Не пренебрегая ничем, у старой тетки и у матери вынули серьги, отняли часы у родственника, так хорошо выбравшего время для своего визита. Затем мы удалились, тщательно приперев всю семью, так что слуги, давно спавшие, даже и не подозревали о нападении, совершенном на замок.

Я принимал участие и во многих других смелых предприятиях, сопровождаемых бóльшими трудностями, чем то, о котором я сейчас рассказал.

Иногда нам оказывали сопротивление, а иногда деньги бывали припрятаны и с владельцами поступали зверским образом. Им зачастую жгли подошвы раскаленными железными лопатами; но для большей скорости у упрямых вырывали ногти и так усердно угощали пощечинами, что щеки делались похожими на надутый шар. Некоторые из этих несчастных, не имея в самом деле денег, погибали в мучениях. Вот на какое поприще попал, мой друг, офицер хорошего происхождения, который двенадцатью годами беспорочной службы и некоторыми храбрыми подвигами снискал себе всеобщее уважение; это уважение он уже давно перестал заслуживать и скоро потеряет его безвозвратно.

Здесь Вилледье остановился и склонил голову на грудь под гнетом тяжелых воспоминаний. На минуту я его оставил в этом положении, но упомянутые им имена были мне слишком известны, чтобы рассказ его мог не возбудить во мне живейшего интереса. Несколько бокалов шампанского возвратили ему энергию, и он продолжал свой рассказ:

— Между тем злодеяния принимали такие страшные размеры, что жандармов стало недостаточно, и организовали подвижные колонны

из гарнизонов различных городов. Я был назначен управлять одной из них. Ты понимаешь, что мера эта имела действие совершенно противоположное тому, которого ожидали, потому что предупреждаемая мною шайка избегала тех мест, где я проходил со своей колонной. Стало быть, дело шло все хуже и хуже. Правительство не знало, что предпринять; все-таки оно разведало, что большая часть chauffeurs находилась в Лилле, и немедленно был отдан приказ удвоить надзор у городских ворот. Однако мы нашли средство расстроить все эти планы; Салламбье раздобыл у лоскутников, которые могли бы одеть целый полк, пятнадцать мундиров 13-го егерского полка; в них одели столько же человек шайки, которые вышли со мною из города в сумерки в виде отряда, отправляющегося по тайному поручению. Хотя эта хитрость удалась, но мне стало казаться, что за мной назначен особый надзор. Распространился слух, что в окрестностях Лилля блуждают люди, переодетые в конных егерей. Полковник, казалось, не доверял мне; один из товарищей был назначен чередоваться со мной в службе при подвижных колоннах. Вместо того чтобы отдавать мне приказ накануне, как жандарским офицерам, мне сообщали его в минуту

отъезда. Наконец, меня стали прямо обвинять и вызвали на объяснение с полковником, который не скрыл от меня, что меня подозревают в сношении с шайкой chauffeurs; я кое-как оправдался, и следствие дальше не пошло, только я оставил службу в подвижных колоннах, и они стали проявлять такую деятельность, что наша шайка едва осмеливалась выходить.

Но Салламбье, не желая так долго томиться в бездействии, удвоил свою дерзость по мере накопляющихся препятствий. В одну ночь он совершил три воровства в одной и той же общине. Хозяева первого из домов, на который они напали, освободившись от своих кляпов и веревок, наделали тревогу. Забили в набат на две версты в окружности, и разбойники обязаны были своим спасением только быстроте своих лошадей; особенно оба брата Салламбье были преследуемы с таким ожесточением, что преследователи потеряли их след только у Брюжа. В одной большой деревне они наняли карету и лошадей, сказав, что поедут за несколько верст и вернутся вечером.

С ними был один кучер. Приехавши к берегу моря, старший Салламбье ударил его сзади ножом, тот упал с козел; затем оба брата стащили его в море, надеясь, что волны увлекут с собой

труп. Завладев каретой, они продолжали путь, как вдруг к сумеркам встретили одного из обывателей стороны, пожелавшего им доброго вечера. Так как они не отвечали, то встретившийся подошел к ним со словами: «Что же это, Вандек, ты меня не узнаешь?.. Это я… Жозеф…» Тогда Салламбье ответил, что карета взята им на три дня без кучера. Тон ответа и состояние лошадей, покрытых потом и которых хозяин, по всей вероятности, не доверил бы без кучера, — все это возбудило беспокойство в Жозефе. Он бежит в соседнюю деревню и подымает тревогу: семь или восемь человек садятся на лошадей и отправляются на поиски за каретой, которую вскоре настигают. Ускоряют езду, приближаются… Карета пуста… Несколько обескураженные, они отводят ее на дровяной двор ближней деревни, где намерены провести ночь. Едва они сели за стол, как послышался сильный шум: к бургомистру привели двух путешественников, обвиняемых в убийстве человека, которого рыболовы нашли зарезанным у берега моря. Бегут туда, и Жозеф узнает в них тех самых лиц, которых он видел в карете и которые ее бросили, потому что лошади отказывались везти. То были действительно оба Салламбье, которых очная ставка с Жозефом при-

вела в очевидное замешательство. Сходство их было доказано. Подозревая их в сообщничестве с шайкой chauffeurs, их привели в Лилль, где по прибытии в Petit-Hôtel они были немедленно узнаны.

Там старший Салламбье, ловко проведенный полицейскими агентами, донес на всех своих соучастников, показывая, где и как их можно арестовать. Вследствие этого было задержано сорок три человека обоих полов, в том числе Лемер и его жена. В то же время разослан был приказ задержать меня. Предупрежденному жандармским вахмистром, которому я оказал некоторые услуги, мне удалось спастись и добраться до Парижа, где нахожусь вот уже десять дней. При встрече с тобою я искал квартиру одной старой знакомой, где надеялся скрыться или найти средства отправиться за границу; но теперь я спокоен, потому что нашел Видока.

Глава одиннадцатая

Поездка в Аррас. – Похождения в качестве школьного учителя. – Отъезд в Голландию. – Покупщики душ. – Возмущение на корабле. – Катастрофа

Откровенность Вилледье, конечно, весьма мне льстила, но тем не менее я находил подобное соседство опасным; поэтому на вопрос его о моих средствах к существованию и особенно моем местожительстве я рассказал ему вымышленную историю и не подумал являться на свидание, назначенное им на следующий день; в противном случае я легко мог себя сгубить, не принеся ему никакой пользы. Расставшись с ним в одиннадцать часов вечера, я даже из предосторожности сделал несколько лишних обходов, прежде чем попасть в гостиницу, опасаясь преследования полицейских. Мой хозяин на другой день разбудил меня до рассвета и сказал, что мы тотчас же отправимся к Ногентуле-Ротру, откуда надо будет идти в его поместье, находившееся в окрестностях города.

Через четверо суток мы прибыли на место. Принятый в семье как трудолюбивый и усердный слуга, я тем не менее не оставлял задуманного намерения возвратиться на родину, откуда я не получал ни известий, ни денег. Возвратившись снова в Париж, куда мы привели волов, я сказал об этом хозяину, который расстался со мной с сожалением. От него я прямо пошел в одно кафе на площади Шатле в ожидании рассыльного с моими вещами; мне попалась под руку газета, и первая статья, бросившаяся мне в глаза, был рассказ об аресте Вилледье. Он сдался в руки правосудия, сразив двух полицейских, которые должны были удостовериться в его личности; сам он тоже был тяжело ранен. Два месяца спустя он был казнен в Брюже последним из семнадцати своих сотоварищей, причем смотрел на их падающие головы со спокойствием, не изменившим ему ни на минуту.

Это обстоятельство заставило меня невольно порадоваться своей предусмотрительной осторожности. Оставшись у продавца волов, я должен был бы два раза в месяц отправляться в Париж; политическая полиция, направленная против заговоров и иностранных агентов, значительно усилилась и отличалась энергией, которая мог-

ла быть тем гибельнее для меня, что полиция следила весьма тщательно за всеми лицами, которых беспрестанно призывали дела в Восточный департамент и которые могли служить посредниками между шуанами и их столичными друзьями.

Итак, я поспешно уехал и на третий день достиг Арраса; это было уже вечером, когда работники возвращались с работ. Я не хотел прямо ехать к отцу, а прибыл к одной из теток, которая предупредила родителей о моем приезде. Они считали меня мертвым, не получая моих писем; я никогда и после не мог узнать, как эти письма могли пропасть или быть перехваченными. После длинного рассказа о своих приключениях я спросил о своей семье, причем, естественно, не мог обойти молчанием жену. Я узнал, что отец приютил ее на некоторое время к себе; но ее развратная жизнь стала до такой степени скандальной, что пришлось ее выгнать. Мне сказали, что она беременна от одного адвоката, который ее преимущественно и содержит, с некоторого времени слухи о ней затихли, и дальнейших подробностей о ней не знали.

И я нимало не заботился о ней; приходилось подумать о многом другом: с минуты на минуту

меня могли отыскать и арестовать у моих родителей, которых я таким образом подвергал беспокойству. Необходимо было искать убежища, где бы надзор полиции не был так деятелен, как в Аррасе. Наш выбор остановился на одной окрестной деревеньке, Амберкуре, где жил бывший кармелитский монах, друг моего отца, который согласился взять меня к себе. В то время (1798 г.) священники скрывались, чтоб совершать богослужение, хотя к ним не относились враждебно. Поэтому Ламберт, мой хозяин, служил обедню в риге, и так как его помощник был старик, почти калека, то я предложил исполнять должность пономаря, и так хорошо с ней справлялся, что можно было подумать, будто я во всю жизнь ничего другого не делал. Точно так же сделался я помощником отца Ламберта в обучении деревенских детей. Мои успехи в преподавании даже наделали некоторого шума в кантоне, так как я нашел превосходное средство споспешествовать быстрым успехам учеников: я писал сам карандашом буквы, они обводили их чернилами, а гумиластик довершал остальное. Родители были в восторге; только ученикам моим было несколько трудно справляться без учителя, чего, впрочем, мужики не замечали, несмотря на всю

свою ловкость в проделках всякого рода.

Этот род жизни был мне по сердцу: одетый в костюм невежественного монаха, терпимый властями, я не мог страшиться никаких подозрений; с другой стороны, животная жизнь, к которой я всегда относился благосклонно, была очень приятна; родители учеников посылали нам беспрестанно пива, дичи и плодов. Наконец, в число моих учениц попало несколько хорошеньких крестьянок, оказывавших большое прилежание. Все шло хорошо, но вскоре стали не доверять мне; стали за мной подсматривать, уверились, что я слишком расширил круг своих обязанностей, и пожаловались отцу Ламберту. Он, в свою очередь, стал сообщать мне об обвинениях, возводимых на меня; я вполне разуверил его, и жалобы прекратились, но надзор за мною был удвоен. Раз ночью, когда, движимый ревностью к науке, я собирался давать уроки шестнадцатилетней ученице на сеновале, меня схватили четыре молодца пивовара, отвели в хмельник, раздели донага и высекли до крови крапивой. Боль была так сильна, что я потерял сознание; придя в себя, я очутился на улице, голый, покрытый волдырями и кровью.

Что было делать? Возвратиться к отцу Ламберту значило подвергать себя новым опасностям.

Ночь еще была в начале. Снедаемый лихорадочным жаром, я решился отправиться в Марейль, к одному из своих дядей. Смеясь над моим несчастием, мне вытерли все тело сливками с постным маслом. Через восемь дней, совершенно выздоровев, я отправился в Аррас. Но мне невозможно было оставаться там: полиция со дня на день могла узнать, где я; поэтому я поехал в Голландию с намерением там поселиться; деньги, бывшие у меня в запасе, давали мне возможность подыскивать исподволь подходящее занятие.

Проехав Брюссель, где я узнал, что баронесса И*** проживает попеременно в Лондоне, в Антверпене и Бреде, я отправился в Роттердам. Мне дали адрес таверны, где я мог остановиться. Там я встретил француза, который отнесся ко мне весьма дружески, несколько раз приглашал меня обедать, обещая похлопотать о приискании мне хорошего места. Я принимал недоверчиво все эти любезности, зная, что голландское правительство не было разборчиво на средства для набора рекрутов в морскую службу. Несмотря на всю мою осторожность, моему новому другу удалось-таки опоить меня каким-то особенным напитком. На следующий день я проснулся в рейде на голландском судне. Сомнения быть не

могло: невоздержание предало меня в руки покупщиков душ.

Растянувшись у вант, я размышлял о странной судьбе, скоплявшей над моей злополучной головой всевозможные затруднения, когда один человек из команды, толкнув меня ногой, сказал, что надо вставать и идти за платьем. Я притворился, что не понимаю; тогда сам лоцман отдал мне приказ по-французски. На мое замечание, что я не моряк, потому что не подписывал обязательства, он схватил веревку, намереваясь ударить меня; при этом жесте я схватил нож у матроса, завтракавшего у грот-мачты, и, прислонившись к пушке, поклялся пропороть живот первому, кто вздумает приблизиться. На судне произошла большая суматоха; на шум явился капитан. Это был человек лет сорока, приятной наружности, с манерами, не отличавшимися угловатостью, свойственной морякам, он выслушал меня благосклонно, — это было все, что он мог сделать, потому что не от него зависело изменить морскую организацию страны.

В Англии, где служба на военных судах тяжелее, менее доходна и, главное, менее свободна, чем на судах торговых, матросы на государственную службу набираются посредством *насильствен-*

ного набора. В военное время насильственный набор производится на море, на торговых кораблях, куда часто отдают изнеможенных и хилых матросов за свежих и сильных; совершается он также и на суше, в больших городах, причем, однако, забирают только лиц, вид и костюм которых доказывают, что они знакомы с морской службой. В Голландии, в то время, о котором я говорю, напротив, поступали так же, как в Турции, где в случае необходимости на линейные корабли берут каменщиков, конюхов, портных и цирюльников, следовательно, людей не бесполезных обществу. Когда по выходе из гавани корабль с подобным экипажем вступал в сражение, то все маневры не удавались, и этим, вероятно, объясняется, каким образом турецкие фрегаты брались или потоплялись плохонькими греческими суденышками.

Итак, мы имели на корабле людей, которые по своим наклонностям и привычкам жизни до такой степени не подходили к требованиям морской службы, что смешно было даже подумать об их поступлении во флот. Из двухсот человек, забранных, как и я, может быть, не было и двадцати, которые когда-либо ступали ногой на судно; из них бóльшая часть была взята просто силою

или с помощью спаивания; других соблазнили обещанием доставить даром в Батавию, где они намеревались заниматься своим ремеслом; в том числе были два француза, один бухгалтер, бургундец, другой садовник, лимузинец, которые, как видите, должны были изображать из себя матросов. В наше утешение матросы сказали нам, что из опасения дезертирства нас высадят на землю, может быть, не ранее полугода, что иногда делалось в Англии, где матрос может пробыть целые годы, не видя родной земли иначе как с мачт своего корабля; надежные люди служат гребцами, и в этой должности встречаются даже не принадлежащие к экипажу. Для смягчения сурового приказа на суда призывают несколько женщин вольного поведения, которых всегда много в гаванях и которых, не знаю почему, называют дочерями королевы Каролины (Queen's Caroline daughters). Английские моряки, от которых я впоследствии узнал эти подробности, может быть не безукоризненно верные, прибавляли, что для некоторого прикрытия безнравственности подобной меры капитаны иногда требовали, чтобы посетительницы называли себя кузинами или сестрами путников.

Что касается до меня, давно намеревавшегося

поступить в морскую службу, то это положение не имело бы в себе ничего отталкивающего для меня, если бы оно не было насильственно и если бы я не имел в перспективе угрожавшего мне рабства; прибавьте к этому дурное обращение начальника команды, который не мог мне простить мою первую выходку. При малейшем неправильном маневре удары веревкой сыпались так обильно, что заставляли сожалеть о палках острожных аргусов. Я был в отчаянии; раз двадцать приходила мне мысль бросить на голову моего преследователя марсы, блок фала или столкнуть его в море, когда я буду на вахте ночью. Я, конечно, и привел бы в исполнение один из этих замыслов, если бы лейтенант, возымевший ко мне дружбу за то, что я учил его фехтованию, не улучшил несколько моего положения. Притом мы направлялись к Гельвецлаю, где стоял на якоре «Heindrack», к экипажу которого мы должны были присоединиться: при пересаживании представлялась надежда бежать.

В день пересаживания мы отправились в числе двухсот семидесяти рекрутов на маленькой шхуне, управляемой двадцатью пятью людьми и в сопровождении двадцати пяти солдат, надзиравших за нами. Малочисленность этого отряда

навела меня на мысль сделать внезапное нападение, обезоружить солдат и заставить моряков отвезти нас в Антверпен. Сто двадцать рекрутов, французов и бельгийцев, приняли участие в заговоре. Решено было, что мы сделаем внезапное нападение на караульных во время обеда их сотоварищей, причем легко будет с ними справиться. Этот план тем легче был приведен в исполнение, что никто ничего не подозревал. Офицер, командовавший отрядом, был схвачен в ту минуту, когда садился за чай; впрочем, ему не сделали ничего дурного. Один молодой человек из Дорника, приглашенный в качестве суперкарго[5] и сделанный матросом, так красноречиво изложил ему причины нашего возмущения, что убедил его засесть без сопротивления в трюм вместе со своими солдатами. Что касается до моряков, то они остались при деле; только один из них, уроженец Дюнкирхена, перешедший на нашу сторону, взялся за румпель.

Настала ночь. Я посоветовал лечь в дрейф, чтобы не натолкнуться на какое-нибудь судно, оберегающее берега и которому моряки могли подать знаки; дюнкирхенец отказался от этого с

---

[5] Примечания: 5
Судовой приказчик.

упорством, которое могло внушить мне недоверие; поэтому мы продолжали путь, и с рассветом шхуна находилась под пушкой крепости, соседней с Гельвецлаем. Дюнкирхенец тотчас же объявил, что сойдет на землю, чтобы удостовериться, могли ли мы высадиться безопасно, и тогда я увидал, что мы проданы, но уже было поздно. Сигналы, без сомнения, были уже поданы, при малейшем движении крепость могла нас потопить; пришлось ожидать, что будет далее. Вскоре барка, заключавшая в себе человек двадцать, отошла от берега и атаковала шхуну; три офицера, находившиеся на барке, безбоязненно вошли на палубу, хотя она служила театром довольно оживленной драки между нашими сотоварищами и голландскими моряками, намеревавшимися стрелять в солдат, заключенных в трюме.

Первым словом старшего офицера был вопрос: «Кто зачинщик заговора?» Все молчали, а я начал говорить по-французски и объяснил, что никакого заговора не было; что просто единодушным и внезапным порывом мы вздумали освободиться от рабства, которому подчинялись; притом мы совсем не обошлись дурно с офицером, командующим шхуной, — он может сам об этом

засвидетельствовать, равно как голландские моряки, которые хорошо знали, что, высадившись в Антверпене, мы оставили бы им судно. Не знаю, произвела ли моя речь какое-либо впечатление, потому что мне не дали ее окончить; только когда нас загоняли в трюм на место посаженных нами туда накануне солдат, то я слышал, как сказали лоцману: «И завтра попляшут они, голубчики, на кончике реи». Затем шхуна направилась к Гельвецлаю, куда прибыла в тот же день, в четыре часа пополудни. В гавани «Heindrack» бросил якорь. Комендант крепости отправился туда в шлюпке, и час спустя меня самого туда отвели. Я нашел там нечто вроде морского совета, который расспрашивал меня о подробностях бунта и о моем участии в нем. Я повторил то же, что сказал коменданту крепости: что, не подписавши никакого обязательства, считал себя вправе вернуть свою свободу какими бы то ни было средствами.

Тогда меня увели обратно и вызвали молодого человека из Дорника, остановившего коменданта шхуны; нас считали зачинщиками заговора, а известно, что при подобных обстоятельствах зачинщики одни и подвергаются наказанию. Нас ожидала ни более ни менее как виселица.

К счастью, молодой человек, которого я успел предупредить, давал одинаковые со мной показания, с твердостью поддерживая, что наущения не было ни с чьей стороны, что нам всем зараз пришла мысль сделать нападение; притом мы уверены были, что товарищи нас не выдадут, потому что выказывали нам живое участие и даже обещали в случае нашего осуждения взорвать судно, на которое их посадят, то есть поджечь порох и таким образом самим взлететь на воздух. И были смельчаки, действительно способные сделать это. Из боязни ли этих угроз и дурного примера для флотских моряков, набранных на службу таким же способом, признал ли совет, что мы основывали свою защиту на законных мотивах, но за нас обещали ходатайствовать пред адмиралом с условием, что мы удержим наших товарищей в надлежащей субординации, по-видимому столь несвойственной им. Мы обещали все требуемое, потому что ничто так сильно не понуждает к мировой сделке, как ощущение роковой веревки на шее.

По заключении этих условий товарищи наши были пересажены на корабль и размещены в пространстве между деками вместе с командой, которую они пополнили. Все совершилось в

наилучшем порядке; не поднялось ни малейшей жалобы; не пришлось принимать никаких мер предосторожности. Не лишне заметить, что с нами обращались совсем не так дурно, как на бриге, где прежний боцман распоряжался не иначе как с веревкой в руках. С другой стороны, ко мне относились с некоторым уважением вследствие того, что я давал уроки фехтования гардемаринам; меня даже сделали бомбардиром, с двадцатью восьмью флоринами жалованья в месяц. Таким образом прошло два месяца, в течение которых постоянное присутствие английских крейсеров не позволяло нам оставить гавань. Я свыкся со своим новым положением и даже совсем не помышлял выходить из него, когда мы узнали, что французские власти отыскивали туземцев для пополнения голландского экипажа. Случай представлялся отличный для тех из нас, кто был бы недоволен службой; но никто не думал им воспользоваться; во-первых, нас желали иметь только для того, чтобы присоединить к линейному французскому экипажу, — перемена, не представлявшая в себе ничего привлекательного; притом бóльшая часть моих сотоварищей имела, кажется, подобно мне, основательные причины не показываться на глаза агентам метрополии.

Итак, каждый из нас хранил молчание, и когда к капитану прислали спросить список его экипажа, то просмотр его не привел ни к какому результату по той простой причине, что мы все были записаны под фальшивыми именами. Мы думали, что гроза прошла мимо.

Между тем розыски продолжались; только вместо того, чтобы наводить справки, подсылали агентов в гавань или в таверны для наблюдения над всеми, отправлявшимися на берег по делам службы или по дозволению. В одну из таких экскурсий я был арестован; этим я был обязан повару корабля, удостоившему меня своей личной неприязнью с той поры, как я нашел предосудительным, что он нам давал сало вместо масла, испорченную треску вместо свежей рыбы.

Приведенный к коменданту крепости, я назвал себя голландцем; язык был мне довольно знаком для поддержания этой лжи, притом я просил отвезти меня под караулом на корабль, чтобы взять необходимые бумаги для удостоверения своей личности. Провожать меня поручено было одному унтер-офицеру, отправились мы в лодке. Приблизившись к кораблю, я пропустил вперед своего провожатого, с которым весьма дружески беседовал; увидя, что он зацепился за вант, я

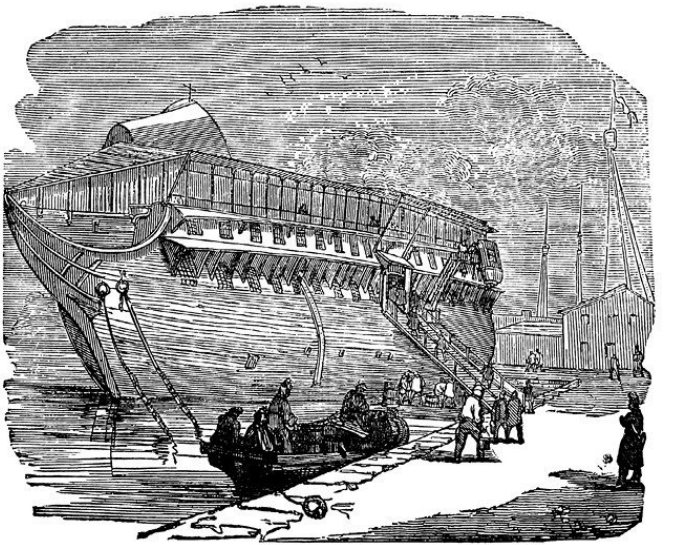
внезапно отчалил от борта, приказав лодочнику грести сильнее и обещая ему за это на водку. Мы живо рассекали волны, пока унтер-офицер рвался на виду всего экипажа, не понимавшего его или притворявшегося непонимающим. Добрались до берега; я поспешил скрыться в одном знакомом доме с твердым намерением оставить корабль, куда мне нельзя было теперь показаться. Так как мой побег служил подтверждением всех подозрений на мой счет, то я предупредил о нем капитана, который молчанием предоставил мне позволение поступать по своему усмотрению.

Дюнкирхенский капер «Barras», под командой капитана Фромантена, стоял в гавани. В те времена редко осматривали подобные суда, имевшие некоторое право на пристанище. Мне с руки было бы попасть туда. Я заявил об этом лейтенанту, который представил меня Фромантену, и тот принял меня в качестве каптенармуса. Через четыре дня «Barras» снялся с якоря для крейсирования по Зунду. Это было в начале жестокой зимы 1799 года, когда погибло столько судов у берегов Балтийского моря. Едва только вышли мы в открытое море, как поднялся противный северный ветер. Боковая качка была так сильна, что я заболел и в течение трех суток не мог

ничего ни есть, ни пить, кроме водки с водой; половина экипажа была в таком же положении, так что нас могла взять без боя даже какая-нибудь рыбачья лодка. Наконец погода поправилась, ветер вдруг подул к юго-востоку, и «Barras», превосходный на ходу, делавший по два узла в час, вскоре всех нас излечил. Вдруг часовой наверху мачты закричал: «На левой стороне показалось судно!» Капитан, посмотрев в зрительную трубу, сказал, что это было английское прибрежное судно под нейтральным флагом, которое, по всей вероятности, ветром было отнесено в эту сторону. Мы приблизились к нему при полном попутном ветре и подняв французский флаг. При втором выстреле из пушки корабль пристал к берегу, не дожидаясь абордажа; экипаж поместили в трюме и направились к Бергену (в Норвегии), где груз, состоявший из леса с островов, нашел себе покупателей. Я оставался шесть месяцев на «Barras». Моя доля в добыче доставляла мне порядочную наживу, когда мы остановились в Остенде. Читатель мог заметить, что этот город был для меня гибелен; но случившееся на этот раз заставляет меня почти верить в предопределение. Едва мы прибыли на место, как появились комиссар, жандармы и полицейские чиновники для осви-

детельствования бумаг экипажа. Впоследствии я узнал, что эта мера, вообще не бывшая в употреблении, вызвана была убийством, виновника которого предполагали найти между нами. Когда очередь дошла до меня, я назвал себя Огюстом Дювалем, уроженцем Лориана, и добавил, что бумаги мои остались в Роттердаме, в голландском морском бюро; мне ничего не ответили, и я считал уже дело улаженным. Когда были спрошены все сто три человека, нас призывали по восьми, объявляя, что отведут в разрядное бюро для отобрания показаний. Не заботясь об этом, на повороте первой улицы я тихонько улизнул и был уже впереди жандармов шагов на тридцать, как какая-то старуха, мывшая крыльцо своего дома, бросила мне щетку под ноги; я упал, жандармы подбежали и надели на меня ручные цепи, не считая обильных ударов палкой, карабином и сабельными ножнами. Таким образом меня повели к комиссару, который, выслушавши меня, спросил, не бежал ли я из Кимперского госпиталя. Я тут увидел, что попал впросак, оказалось так же опасным носить имя *Дюваля,* как и имя *Видока*; однако я остался при первом, представлявшем менее неблагоприятных шансов, чем второе, потому что, так как дорога от Остенде до Лориана

длиннее, нежели от Остенде до Арраса, то мне представлялось более шансов к побегу.



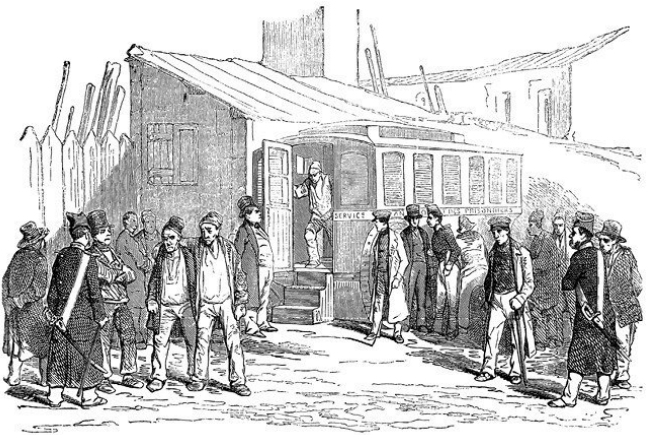
Глава двенадцатая

Я снова вижу Франсину. – Мое возвращение в тюрьму Дуэ. – Затруднение для судебных властей. – Я сознаю, что я Видок. – Снова в Бисетре. – Отправление в Тулон. – Жоссаз – великолепный вор. – Его свидание со знатной барыней. – Буря на Роне. – Палач. – Каторжник. – Похитители государственных бриллиантов. – Семейство chauffeurs

Прошла неделя, в течение которой я только один раз увидел снова смотрителя пересылочной тюрьмы. Потом меня отправили с транспортом пленников, дезертиров и других арестантов, которых препровождали в Лилль. Можно было опасаться, что меня узнают в городе, где я так часто бывал; поэтому, зная, что мы пройдем через него, я принял меры предосторожности, чтоб меня не признали жандармы, которые прежде меня провожали. Черты моего лица, скрытые под слоем пыли и пота, кроме того, были обезображены поддельной опухолью щек, которые стали такими же полными, как на церковных

фресках у ангелов, сзывающих смертных трубными звуками в день Страшного суда. В таком состоянии я вступил в Эгалитэ, военную тюрьму, где должен был пробыть несколько дней. Чтоб смягчить тоску заключения, я рискнул заглянуть в кабачок с той надеждой, что, смешавшись с посетителями, мне представится случай бежать. Встреча с одним матросом, которого я знал на корабле «Barras», показалась мне счастливым предзнаменованием для исполнения этого плана. Я заплатил за завтрак и, когда закуска была окончена, вернулся в свою комнату. Я уже находился там около трех часов, мечтая о способах к освобождению, когда пришел матрос пригласить меня разделить с ним обед, который принесла его жена. Итак, у матроса была жена, и мне пришло в голову обмануть бдительность сторожей, если она может доставить мне женское платье или какое-нибудь другое переодеванье. С этими мыслями я спустился в кабачок и пошел к столу, как вдруг раздается крик и одна женщина падает в обморок — это была жена моего товарища. Я хочу ей помочь… и неожиданное восклицание вырывается у меня… Боже! Это была Франсина. Испуганный своей неосторожностью, я старался скрыть первое движенье, которым не в силах был

овладеть. Пораженные и удивленные зрители этой сцены собираются вокруг меня и осыпают вопросами; после некоторого молчания я выдумал историю, будто бы мне показалось, что я в ней узнаю свою сестру.



Это происшествие не имело последствий. На другой день мы отправились с рассветом, и я

был разочарован, увидев, что партия направляется не по дороге в Ленц, как обыкновенно, а по дороге в Дуэ. Зачем эта перемена направления? Я приписывал это какой-нибудь нескромности Франсины; но вскоре узнал, что это просто произошло от необходимости направить на Аррас толпу бунтовщиков, скученных в камбрейской тюрьме.

Франсина, которую я так несправедливо заподозрил, дожидалась меня на первом роздыхе… Несмотря на жандармов, она хотела говорить со мной, поцеловать меня; она сильно плакала, и я также. С какой горечью она упрекала себя в неверности, которая была причиной всех моих несчастий! Ее раскаяние было искреннее, и я ей простил от всего сердца. Когда, по распоряжению бригадира, нам нужно было расставаться, она сунула мне в руку сумму в двести франков золотом.

Наконец мы прибыли в Дуэ, вот мы уже у ворот департаментской тюрьмы; жандарм звонит. Кто же является отворить дверь? Дютилель, тюремщик, который после моего первого покушения к побегу ухаживал за мной в течение целого месяца. Он, казалось, не заметил меня. В канцелярии я нахожу еще старого знакомца — Гуртреля,

но до такой степени пьяного, что он, наверное, потерял память. В течение трех дней мне не говорили ни слова, но на четвертый привели к следователю, где присутствовали Гуртрель и Дютилель; последний спросил меня, не Видок ли я. Я утверждаю, что я Огюст Дюваль, в чем можно удостовериться, сделав справку в Лориане, и, кроме того, это служит причиной моего ареста в Остенде как дезертира с военного судна. Моя самоуверенность произвела впечатление на следователя, он колеблется; но Гуртрель и Дютилель продолжают утверждать, что они не ошибаются. Затем пришел посмотреть меня прокурор Россон и тоже стал уверять, что узнал меня; но так как я все-таки не поддаюсь, то остается некоторое сомнение, и, чтоб уяснить дело, прибегают к ловушке.

Однажды утром мне говорят, что кто-то меня желает видеть в канцелярии; я вхожу; это была моя мать, которую вызвали из Арраса, понятно с каким намерением. Бедная женщина бросается в мои объятия... Я вижу, что это западня... Без грубости я отстраняю ее и говорю следователю, присутствовавшему при свидании, что жестоко подавать надежду несчастной женщине свидеться с сыном, когда не были вполне уверены в

возможности показать его. Между тем моя мать, предупрежденная знаком, в то время, когда я отстранял ее, начала меня рассматривать как будто с большим вниманием и наконец объявила, что поразительное сходство обмануло ее; потом она удалилась, проклиная тех, кто встревожил ее ложной надеждой.

Недоверие ко мне следователя и тюремщиков, казалось, должно было прекратиться по получении бумаги из Лориана. В ней говорилось о знаках, наколотых на левой руке Дюваля, бежавшего из Кимперского госпиталя, как о признаке, который должен был удостоверить тождество с личностью, задержанной в Дуэ. Новая явка к следователю. Гуртрель, торжествуя своей прозорливостью, присутствовал при допросе. С первых слов я понял, в чем дело, и, засучив рукав своего камзола выше локтя, показал им рисунок, которого они не ожидали и принуждены были признать положительное его сходство с описанием, присланным из Лориана. Все как бы свалились с неба; но что еще более усложняло положение, это то, что власти Лориана требовали меня как дезертира из флота. Прошло две недели, а насчет меня они не приняли никакого решения; тогда, выведенный из терпения строгими мерами, которыми

хотели добиться сознания, я написал к президенту уголовного суда и заявил, что я действительно Видок. Причиной такого решения было то, что я рассчитывал немедленно отправиться в Бисетр с первой партией, в которую действительно и попал. Но я ошибся в расчете: за нами так зорко наблюдали, что мне было невозможно сделать ни малейшей попытки к побегу.



Второй раз я вступил в Бисетр 2 апреля 1799 года. Я там нашел некоторых старых заключенных, которые хотя и были осуждены на каторгу, но получили отсрочку в отправлении, то есть неко-

торое смягчение наказания, так как срок считался со дня объявления приговора в окончательной форме. Подобные снисхождения делают и в настоящее время. Если бы они простирались только на лиц, заслуживших этого своим раскаянием или обстоятельствами, сопровождавшими приговор, то еще можно бы было допустить подобные поблажки, но эти нарушения существующих законов были по большей части следствием препирательств между департаментской и высшей полицией, из которых каждая имеет своих протеже. Все осужденные подлежат ведению высшей полиции, и она может отправить кого ей угодно из Бисетра или другой тюрьмы на каторгу; из этого можно убедиться в справедливости того, что я говорю. Арестант, который до тех пор представлялся смиренным и набожным, сбрасывает маску и выказывается самым отчаянным каторжником.

Я увидал также в Бисетре капитана Лаббре, который, если помнят, когда-то снабдил меня в Брюсселе бумагами, посредством которых я обманул баронессу И***. Он был осужден на шестнадцать лет за участие в крупной краже, совершенной в Генте у содержателя гостиницы Шампона. Он должен был вместе с нами

отправиться в первой партии каторжников, что предстояло очень скоро, к нашему общему огорчению. Капитан Виез, зная, с кем имеет дело, объявил, что он нам наденет ручные цепи и двойные ошейники, чтобы предупредить побеги. Однако нам удалось уговорить его отказаться от этого намерения, обещая не предпринимать никаких попыток.

После *заковки,* происходившей совершенно так же, как и при первом отправлении, я был помещен во главе первой цепи с одним из известнейших мошенников Парижа и провинции; это был Жоссаз, носивший обыкновенно имя маркиза Сент-Аманд де Фараль. Ему было тридцать шесть лет, он имел приятные черты лица и при случае принимал изящные манеры. Его дорожный костюм был костюмом франта, который встал с постели, чтоб перейти в будуар. Панталоны, вязанные, в обтяжку, серебристо-серого цвета; куртка и шапочка, обшитая барашком того же цвета, а на все это накинут широкий плащ, подбитый малиновым бархатом. Его издержки соответствовали одеянию. Не довольствуясь тем, что угощался роскошно на каждой остановке, он кормил еще трех или четырех человек из партии.



Воспитания Жоссаз не получил никакого, но, поступив очень молодым человеком на службу к одному богатому землевладельцу из колонии, которого сопровождал в его путешествиях, он приобрел изящные манеры и умел прилично держать себя в хорошем обществе. Товарищи его, видя, как он легко проникал повсюду, прозвали его Отмычкой. Он даже так сроднился со своей

ролью, что на каторге, на двойной цепи, окруженный самыми жалкими людьми, он сохранял важность под своей курткой каторжника. При нем был великолепный несессер, и он каждое утро целый час посвящал на свой туалет, и особенно занимался руками, которые у него были очень красивы.

Жоссаз был один из тех воров, которых теперь, по счастью, уже немного и которые по целому году обдумывали и приготовляли экспедицию. Действуя преимущественно с помощью поддельных ключей, он обыкновенно прежде всего снимал отпечаток с замка от наружных дверей. Подделав ключ, он проникал в первую комнату; если он встречал препятствие перед другой дверью, то снимал новый слепок, подделывал второй ключ и так далее, пока не достигал цели. Но понятно, что, имея возможность проникать туда не каждый вечер и только в отсутствие хозяина, он должен был терять много времени, дожидаясь удобного случая. Поэтому он действовал таким образом, только если не имел возможности войти в дом под другим предлогом; но если представлялась возможность, то он снимал отпечатки разом со всех замков. Когда ключи были готовы, он приглашал к себе хозяев обедать в улицу Шантерен,

и, пока они сидели за столом, его соучастники опустошали их комнаты, из которых он находил возможность удалить прислугу, или прося хозяев взять их с собой, или увлекая горничных и кухарок подосланными к ним любовниками. Дворники ничего не могли видеть, потому что воры большей частью брали только деньги и драгоценные вещи. Если же находились по случаю более объемистые предметы, их обертывали в грязное белье и передавали в окно соучастнику, который находился тут с прачечной повозкой.

Жоссаз на своем веку совершил массу покраж, которые все свидетельствуют о тонкой наблюдательности и изобретательности, доведенной до высшей степени. В свете, где он слыл за креола из Гаваны, он встречал часто тамошних уроженцев и ни разу не изменил себе. Часто доходило дело до того, что ему предлагали руку молодых девиц из почтенных семейств. Разузнав всегда между разговорами, где спрятано приданое, он похищал его и исчезал в минуту подписания контракта. Но самая удивительная из его проделок была та, жертвой которой сделался один лионский банкир. Войдя в дом под предлогом деловых сношений, он в короткое время приобрел некоторую короткость, которая дала ему возможность

снять отпечатки со всех замков, исключая кассу, секретное устройство которой делало все его попытки бесполезными. С другой стороны, касса была заключена в стене и закреплена железными полосами, и поэтому нельзя было думать о взломе, а кассир никогда не разлучался со своим ключом. Но Жоссаз не унывал. Сблизившись с кассиром, он предложил ему загородную прогулку в Колланж. В назначенный день они поехали в кабриолете. Доехав до С.-Рамбера, они увидали умирающую женщину, истекавшую кровью ртом и носом; возле нее находился человек, который, как казалось, был в страшном затруднении, как помочь ей. Жоссаз, взволнованный этим печальным происшествием, сказал ему, что для пресечения кровотечения необходимо за спину больной положить ключ. Но ни у кого его не оказалось, исключая кассира, который предложил сейчас ключ от своей комнаты; но одного было недостаточно. Тогда кассир, испуганный потоком крови, подал ключ от кассы, который и был употреблен с большой пользой между плеч больной. Вероятно, уже догадались, что там находился воск для снимка модели и что вся сцена была приготовлена заранее. Через три дня касса была опустошена.

Как я уже сказал, Жоссаз расходовал деньги со щедростью человека, которому они достаются легко. Он был очень благотворителен, и я могу указать многие черты его странного великодушия, предоставляя судить о нем моралистам. Однажды он проник в один дом в улице Газар, на который ему указали как на хорошую добычу. Бедность обстановки его поразила, но он сообразил, что владелец, вероятно, скупец. Он продолжает обыск, роет везде, ломает ящики и наконец находит в одном из них билет на залог вещей в Mont-de-Piete… Он вынимает из своего кармана пять луидоров, кладет на камин и, написав на зеркале слова «Вознаграждение за поломанную мебель», удаляется, старательно затворив двери, чтобы менее щекотливые воры не попользовались тем, что он оставил.

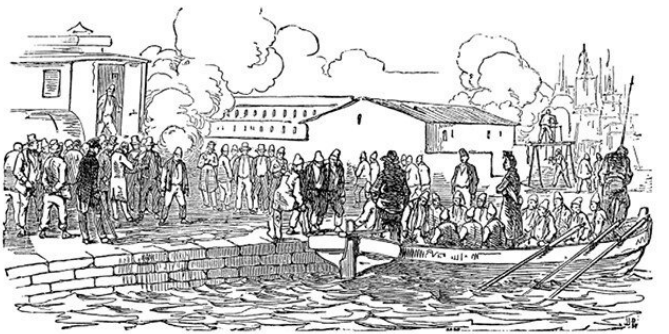
Жоссаз уже в третий раз совершал путешествие из Бисетра, потом он бегал еще два раза, был пойман и умер в 1805 году в Рошфорском остроге.

В Монтеро я был свидетелем сцены, о которой не мешает упомянуть, потому что подобные происшествия часто повторяются. Один из каторжников, по имени Можер, знал одного молодого человека из этого города, которого родные считали приговоренным к каторге; он

попросил своего соседа закрыть себе лицо платком и сообщить таинственно некоторым лицам, вышедшим на нас посмотреть, что тот, который старается укрыться, и есть этот молодой человек. Затем наша партия продолжала свой путь, но не успели мы пройти и четверти лье от Монтеро, как догнавший нас человек передал капитану пятьдесят франков, собранные от подаяний в пользу *человека с платком*. Эти пятьдесят франков были вечером розданы участникам проделки, и, кроме них, никто не знал о причине такой щедрости.

В Сансе Жоссаз представил новую комедию: он велел позвать некоего Сержанта, содержавшего гостиницу «Экю». Увидев его, этот человек выказал все признаки глубокого сожаления. «Как, — воскликнул он, с глазами полными слез, — вы здесь, господин маркиз!.. Вы, брат моего старого господина!.. А я думал, что вы возвратились в Германию… Ах! Боже мой! Какое несчастье!» Легко было понять, что в одно из своих похождений Жоссаз находился в Сансе и выдал себя за эмигранта, возвратившегося потихоньку, и за брата графа, у которого Сержант был когда-то поваром. Жоссаз объяснил ему, что, арестованный на самой границе с поддельным паспортом, он был приговорен за подлог. Добрый трактирщик

не ограничился бесплодными сожалениями, он подал благородному галернику превосходный обед, в котором я принял участие с аппетитом, не согласующимся с моим скверным положением.



Кроме жестоких палочных ударов, которыми наградили двух арестантов, намеревавшихся бежать в Бонне, с нами не случилось ничего необыкновенного до Шалона, где нас посадили на большую баржу, наполненную соломой, похожую на те, в которых привозят уголь в Париж; она

была покрыта толстой парусиной. Если являлось желание взглянуть на окрестности или вдохнуть в себя чистый воздух и один из осужденных подымал полотно, то град палочных ударов сыпался на его спину. Хотя я и не подвергался такому обхождению, но тем не менее мое положение беспокоило меня, и только неиссякаемая веселость Жоссаза заставляла меня забыть на минуту, что, прибыв на каторгу, я буду под строгим надзором и бегство сделается невозможным. Эта мысль преследовала меня, когда мы прибыли в Лион.

Увидав остров Барб, Жоссаз сказал мне: «Ты увидишь диковинку». Действительно, на набережной Соны я увидел хорошенькую карету, которая, казалось, дожидалась прибытия баржи. Только что она показалась, как какая-то женщина высунула голову из окна кареты, махая белым платком. «Это она», — сказал Жоссаз и ответил сигналом. Баржа пристала к набережной, женщина вышла из кареты и смешалась с толпой любопытных; я не мог рассмотреть ее лица, покрытого плотной черной вуалью. Она оставалась там от четырех часов пополудни до вечера; толпа тогда разошлась, и Жоссаз отправил к ней поручика Тьерри, который вернулся с кишкой, где было спрятано пятьдесят луидоров. Я узнал, что Жоссаз

покорил сердце этой женщины, еще когда носил титул маркиза, и уведомил ее теперь письмом о постигшей его беде, которую он, без сомнения, объяснил ей точно так же, как и трактирщику в Сансе. Подобные интриги, очень редкие теперь, в то время были очень обыкновенны вследствие беспорядков революции и связанного с ней общественного неустройства. Не понимая, что она жертва обмана, барыня под вуалью появилась на другой день на набережной, чтобы остаться до нашего отъезда. Жоссаз был в восторге: он не только пополнил денежные средства, но обеспечил себе убежище на случай бегства.

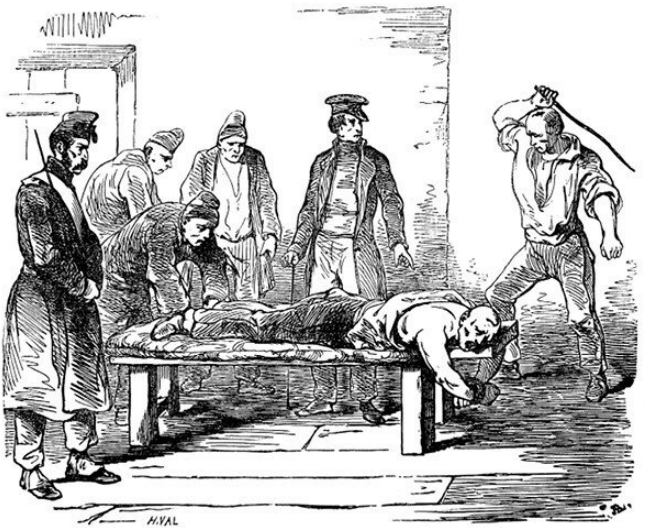
Приближался конец нашего плавания, когда в двух лье от Понт-Сент-Эспри мы были застигнуты бурей, которые чрезвычайно опасны на Роне; буре предшествовали отдаленные раскаты грома. Вскоре дождь начал лить как из ведра; порывы ветра, такие сильные, какие бывают только у тропиков, опрокидывали дома, вырывали с корнями деревья и вздымали волны, угрожавшие потопить нашу баржу. Она представляла в это время страшное зрелище; при свете молнии двести людей, закованных как бы для того, чтобы отнять у них все средства для спасения, дикими криками выражали свои ужасные страдания под

тяжестью оков. На этих мрачных лицах можно было прочесть желание сохранить жизнь, предназначенную для эшафота, жизнь, которая с этих пор должна была протекать в бедствии и унижении. Некоторые из каторжников выказывали полное равнодушие; многие, напротив, были в сильном волнении. Вспоминая уроки юных лет, один из несчастных бормотал затверженные слова молитвы, другие, потрясая оковами, распевали соблазнительные песни, и молитву заглушали завывания и гнусные шутки.

Упадок духа моряков, которые, казалось, отчаивались за нас, увеличивал общий ужас. Стража струсила не меньше их и даже готова была покинуть баржу, которая видимо наполнялась водой. Но вдруг картина быстро меняется, каторжники бросаются на аргусов с криком «На берег! На берег! Все на берег!». Глубокая тьма, общий ужас и тревога позволяли рассчитывать на безнаказанность; самые смелые из каторжников объявили, что никто не сойдет с баржи, пока они не вступят на берег.

Один только поручик Тьерри не потерял присутствия духа и сохранял хладнокровие; он уверил, что нет никакой опасности, и доказывал тем, что ни он, ни моряки не думали покидать

судна. Ему поверили это тем скорее, что буря начала заметно стихать. Рассвело, и на гладкой поверхности реки ничто не напоминало бы ночного бедствия, если бы грязные воды не несли мертвых тел животных, целые деревья, обломки мебели и домашней утвари.



Избавившись от бури, мы пристали в Авиньоне, где нас поместили в замке. Там началось мщение аргусов; они не забыли того, что они называли нашим возмущением; они нам напомнили его жестокими ударами палок и мешая публике подавать помощь арестантам. «Милостыню этим разбойникам! — говорил один из них, по имени отец Лами, дамам, которые просили позволения подойти, — это чисто брошенные деньги… Кроме того, обратитесь к начальнику…» Поручик Тьерри, которого не следует смешивать с этими грубыми и бесчеловечными существами, о которых я имел уже случай говорить, дал свое согласие. Но по утонченной злобе аргусы дали знак к выступлению прежде, чем кончилась раздача. Остальной путь не ознаменовался ничем замечательным. Наконец после тридцатисемидневного мучительного путешествия транспорт прибыл в Тулон.

Пятнадцать фур, прибывших на пристань и выстроенных перед канатным заводом, высадили каторжников, которых принимал один чиновник и препровождал на двор острога. Во время переезда те, которые имели одежду получше, поспешили продать ее или бросить в толпу любопытных. Когда каторжное платье было

роздано, когда наручники были заклепаны, как это я видел уже в Бресте, нас перевели на обезоруженный корабль «Газар» (в настоящее время «Фронтэнь»), служащий плавучим понтоном; *пайоты* (каторжники, исполняющие должность писцов) переписали нас, после этого отобрали *оборотных лошадей* (беглых каторжников), чтоб заключить их на двойную цепь. Побег увеличивал срок наказания на три года.

Так как и я был в этом числе, то меня отвели в камеру № 3, где содержались более подозрительные каторжники. Опасаясь, чтоб не представился случай к побегу при посещении гавани, их никогда не посылали на работу. Постоянно прикованные к скамье, принужденные спать на голых досках, мучимые разными насекомыми, изнуренные дурным обращением, недостатком пищи и движенья, они представляли истинно жалкий вид.

Все, что я говорил о злоупотреблениях всякого рода, происходивших в Брестском остроге, избавляет меня от необходимости описывать те, которые я мог наблюдать в Тулоне. То же смешение арестантов, та же жестокость аргусов, тот же грабеж вещей, принадлежащих правительству: только здесь было более случаев к воровству для

каторжников, работающих в арсеналах и в магазинах. Железо, свинец, медь, пенька, смола, масло, ром, сухари, копченое мясо исчезали каждый день и находили тем легче укрывателей, что арестантам помогали моряки и вольнонаемные рабочие в порту. Краденые предметы служили для оснастки множества каботажных и рыбачьих судов, владельцы которых, приобретая их по дешевым ценам, могли всегда сказать при следствии, что они купили их на торгах, где распродаются вещи, выслужившие срок.

Один из арестантов нашей камеры, находясь в плену в Англии, работал плотником в Чатаме и в Плимуте и рассказывал нам, что там грабеж еще более распространен. Он уверял, что во всех деревнях по берегам Темзы и Медвеи находятся люди, постоянно занятые расплетением канатов королевского флота, чтоб уничтожать клейма и шнурки, которые в них вплетаются для того, чтоб они не пропадали; другие заняты только уничтожением стрелок, отчеканенных на всех металлических предметах, украденных из арсеналов. Это воровство, как бы оно ни было значительно, не может, однако, сравниться с грабежом, который совершался на Темзе в ущерб торговле. Хотя учреждение морской полиции по большей

части уничтожило эти злоупотребления, но я полагаю, что небезынтересно будет сообщить некоторые подробности об этих плутовствах, которые совершаются еще и в настоящее время в некоторых портах в ущерб их владельцам.

Злоумышленники разделялись на многие категории, из которых каждая имела свое особенное наименование и назначение. Так, существовали: *речные пираты*, *легкая кавалерия* (Light horsemen), *жандармы* (Heavy horsemen), *перевозчики-ловцы* (Game watermen), *шкиперы-ловцы* (Game lightermen), *ласточки в тине* (Mudlarks), *шумилы* (Scuffle hunters), *укрыватели* (Copemen).

Речные пираты состояли из самых смелых и самых жестоких разбойников прибережьев Темзы. Они преимущественно действовали ночью и жертвою избирали корабли, плохо охраняемые, иногда они перерезывали их немногочисленный экипаж, чтобы грабить беспрепятственно; чаще же они ограничивались кражей такелажа или тюков с хлопком. Стоя на якоре в Кастлантере, капитан одного американского брига, услыхав шум, вышел на палубу, чтоб узнать, в чем дело; лодка удалялась с пиратами, которые пожелали ему доброй ночи и крикнули, что они утащили у него якорь и канат. Сговорившись с ночными

сторожами, приставленными караулить грузы, они грабили еще с большею легкостью. Когда же нельзя было действовать с помощью соглашения, они перерезывали канаты судов и спускали их до такого места, где можно было приняться за дело, не опасаясь быть открытым. Небольшие суда с углем целиком разгружались таким образом в течение одной ночи. Русское сало, несмотря на тяжесть бочек и на трудность их перетаскивания, которая, казалось, должна была бы охранить его против этих покушений, тоже не было в безопасности; был пример ночного похищения семи таких бочек, весивших от тридцати до сорока центнеров.

Легкая кавалерия грабила также в ночное время, но она преимущественно нападала на корабли, приходящие из Вест-Индии. Этот вид воровства был следствием соглашения с боцманами и укрывателями, которые покупали сор, то есть куски сахара, зерна кофе или утечку жидкостей, остающиеся под палубой после разгрузки. Понятно, что можно было увеличить эту прибыль, прорывая мешки и раздвигая бочечные дощечки. Это открыл один канадский негоциант, который отправлял каждый год значительное количество масла. Постоянно находя более значительную

убыль, нежели полагается на утечку, и не имея возможности получить на этот счет удовлетворительного ответа от своего корреспондента, он воспользовался путешествием в Лондон, чтобы проникнуть в эту тайну. Решившись произвести свое дознание до мельчайших подробностей, он пришел на пристань и ожидал с нетерпением транспортного судна, которое было нагружено еще накануне; промедление в прибытии его уже казалось ему чем-то не совсем обыкновенным. Наконец оно появилось, и негоциант увидал целую толпу людей со зловещими лицами, бросившихся на палубу с таким жаром, как корсары, идущие на абордаж. В свою очередь и он проник под палубу и был поражен, увидав ряды бочонков втулкой книзу. Когда разгрузили судно, то в трюме осталось масла достаточно, чтобы наполнить девять бочонков. Владелец, приказав поднять несколько досок, нашел еще чем наполнить пять бочонков; таким образом из простой нагрузки одного судна утаивали четырнадцать бочонков. Но страннее всего было то, что экипаж не только не сознавал своей вины, но имел наглость роптать, что его лишают принадлежащей ему прибыли.

Не довольствуясь этого рода воровством, легкая кавалерия, совместно со шкиперами-ловцами,

проламывала ночью бочки с сахаром, который мало-помалу исчезал весь, уносимый частями в черных мешках, называемых black-strops (черные повязки). Констебли, прибывшие по поручению в Париж и с которыми я должен был вступить в сношения, уверяли меня, что они таким образом в одну ночь с разных кораблей унесли до двадцати бочек сахару и даже рому, который извлекали посредством ливеров (gigger) и наполняли им пузыри. Корабли, доставлявшие такую наживу, были известны под именем game ships (корабли с дичью). Кроме того, в это время воровство жидкостей и спиртуозных напитков было очень обыкновенно, даже в королевском флоте. Расскажу, кстати, о весьма любопытном в этом отношении случае, происшедшем на фрегате «Победа», который перевозил в Англию останки Нельсона, убитого, как известно, в сражении при Трафальгаре. Чтобы сохранить тело от порчи, его положили в бочку с ромом. Когда прибыли в Плимут, открыли бочку, — там было сухо. Во время переезда матросы, уверенные, что ночной обход не войдет в это отделение, выпили ром с помощью соломинки, или giggers'a. Они называли это «почать адмирала».

Перевозчики-ловцы сновали по палубам ко-

раблей, на которых происходила разгрузка; они принимали и препровождали тотчас же на берег краденые вещи. Так как через них производились сношения с укрывателями, то они удерживали в свою пользу значительный барыш и все жили очень роскошно. Например, рассказывали про одного молодца, который плодами своего промысла содержал очень красивую женщину и имел верховую лошадь.

Ласточками в тине называли людей, которые бродили при отливе вокруг килей кораблей, под предлогом собиранья старых канатов, железа, угля, но в сущности, чтоб принимать вещи, которые им бросали с корабля.

Шумилы были рабочие в длинных передниках, которые, под предлогом отыскивания работы, устремлялись на палубу судна, где находили всегда средство похитить что-нибудь во время сумятицы.

Наконец, существовали *укрыватели,* которые, не довольствуясь покупкой всего, что приносили перечисленные нами воры, вступали в непосредственные сношения со шкиперами или с боцманами, зная, как и чем можно соблазнить их. Эти переговоры велись на арго, понятном только для заинтересованных лиц. Сахар назывался *пес-*

ком, кофе — *бобами,* индейский перец — *мелким горошком,* ром — *уксусом,* чай — *хмелем,* так что можно было трактовать даже в присутствии владельца товара, и он не подозревал, что дело идет о его грузе.

Я нашел в камере № 3 собрание всех разудалых злодеев острога. Я видел там одного, по имени Видаль, который внушал отвращение самим каторжникам. Задержанный четырнадцати лет среди шайки убийц, с которыми он участвовал в преступлениях, он избавился от эшафота только благодаря своей смелости. Приговоренный на двадцать четыре года *заточения* и едва успев поступить в тюрьму, он убил товарища ударом ножа во время ссоры. Приговор на заточение был заменен приговором на двадцать четыре года каторжной работы. Он уже несколько лет находился в остроге, когда один каторжник был приговорен к смерти. В городе в это время не было палача; Видаль с готовностью предложил свои услуги; предложение было принято, и казнь совершена, но потом принуждены были поместить его на скамью вместе со смотрителем за каторжниками, иначе он был бы убит ударами цепей. Угрозы, которыми его осыпали, не помешали ему чрез несколько времени снова исполнить свою отвра-

тительную обязанность. Кроме того, он принимал на себя обязанность наказывать каторжников. Наконец, в 1794 году, когда Дюгоммье взял Тулон и там был учрежден революционный суд, Видалю было поручено исполнять его приговоры. Он считал себя окончательно освобожденным, но, когда кончился терроризм, его вернули в острог, где он был поставлен под особый надзор.

К одной скамье с Видалем был прикован еврей Дешан, один из участников кражи из государственной кладовой; каторжники слушали его рассказы со зловещей сосредоточенностью; только при исчислении бриллиантов и украденных драгоценных вещей глаза их оживлялись, мускулы конвульсивно передергивались, и по выражению их лиц можно было судить, какое употребление они сделали бы из своей свободы. Это расположение особенно замечалось у лиц, осужденных за незначительные преступления, которых унижали, подсмеиваясь над их простотой и хвастовством по поводу своих жалких подвигов. Например, вычислив на сумму двадцати миллионов украденных вещей, Дешан говорил с презрением одному бедняку, осужденному за кражу овощей: «Как видишь, это не капуста!»

Эта кража послужила предметом различных

толков, свидетельствовавших о волнении умов. В вечернем заседании (16 сентября 1792 года) министр внутренних дел Ролан известил об этом происшествии с трибуны Конвента, горько жалуясь на недостаток надзора со стороны служащих и военной стражи, которая оставила свои посты под предлогом *сильной стужи*. Несколько дней спустя Тюрье, член комиссии, назначенной руководить следствием, в свою очередь обвинял в нерадении министра, который ответил довольно сухо, что у него есть другое дело и много других забот, кроме того, чтобы смотреть за кладовыми. Прения остановились на этом, но они возбудили всеобщее внимание, и в публике только и говорили о преступном соглашении, о заговоре, агенты которого будто бы были подкуплены. Дошли до того, что обвиняли правительство в краже. Отсрочка, дарованная 10 октября некоторым личностям, осужденным за это дело и от которых ожидали сознания, придала оттенок вероятия этим толкам, тем не менее 22 февраля 1797 года в своем рапорте совету старейшин по предложению выдать вознаграждение 5000 франков некой госпоже Корбен, облегчившей розыск большей части украденных вещей, Тибо объявил самым положительным образом, что это происшествие

не имеет никакого политического значения и что оно просто произошло по недостатку надзора сторожей и от беспорядка, царствовавшего тогда во всей администрации.



В сущности, «Монитер» разгорячил самых хладнокровных людей, рассказывая о сорока вооруженных разбойниках, которых накрыли в по-

мещениях кладовых. В действительности никого не накрыли, *четыре ночи* кряду Дешан, Бернард Сейлль и один португальский жид по имени Дакоста по очереди проникали в залы без всякого оружия, кроме инструментов, необходимых для взламывания камней, вделанных в серебро, которое они не удостаивали уносить; таким образом они украли с большими предосторожностями великолепные рубины, изображавшие глаза рыб, сделанных из слоновой кости. Тогда заметили также исчезновение «Регента» (алмаз), *погремушки дофина* и массы других вещей, оцененных в семнадцать миллионов.

Дешан, за которым остается честь изобретения, проник первый в галерею, влезши в окно с помощью уличного фонаря, который существует до сих пор на углу Королевской улицы и площади Людовика XV. Бернард Сейлль и Дакоста, находившиеся на страже, сначала только одни сопровождали его, но на третью ночь к ним присоединились Бенуа Нэд, Филиппоно, Помет, Фромон, Гей, Мутон, поручик национальной гвардии, и Дюрон, прозванный Туркассе, ювелир с улицы Спасителя, а также многие *принцы высшей пегры* (заслуженные воры), которых дружески пригласили явиться принять участие в охоте.

Главная квартира находилась в биллиардной на улице Роган; кроме того, так мало старались скрывать дело, что на другой день после первой покражи Помет, обедая в ресторане на улице д'Аржантейль с женщинами, кинул им на стол целую горсть розеток и мелких бриллиантов. Полиция не была даже извещена. Дюфар был причиной открытия главных виновников кражи, он попался по обвинению в подделке фальшивых ассигнаций, и чтоб получить прощение — решился открыть все. По этим данным успели найти «Регента». Он был отыскан в Туре, зашитый в токе некой госпожи Лельевр, которая по случаю войны не могла переехать в Англию и отправилась продавать его в Бордо одному еврею, другу Дакосты. Сначала хотели его продать в Париж, но стоимость этой вещи, определяемая в двенадцать миллионов, должна была возбудить опасные подозрения, намерение распилить его также было оставлено из опасения измены со стороны гранильщика.

Большая часть виновников были арестованы один за другим и осуждены за другие преступления, в том числе Бенуа Нэд, Дакоста, Бернард Сейлль, Фромон и Филиппоно. Этот последний, арестованный в Лондоне в конце 1791 года, в то

время, когда он гравировал доску для ассигнации в 300 франков, был привезен в Париж и заключен в каземат, откуда он скрылся во время резни 2 сентября.

Перед осуждением за покражу бриллиантов Дешан был замешан в уголовное дело, но ему удалось выпутаться, чем он немало хвастался перед нами, сообщая подробности, которые не оставляли сомнения насчет его виновности. Дело заключалось в двойном убийстве — ювелира Делонга и его служанки, — совершенном сообща с тряпичником Фромоном.

Делонг вел довольно значительные дела по своей части. Кроме частной покупки, он еще занимался маклерством жемчугов и бриллиантов, и так как был известен за честного человека, то ему поручали вещи значительной цены для продажи или для переделки. Он также ходил на аукционы, где и познакомился с Фромоном, посещавшим их постоянно для покупки риз и других церковных украшений, добытых от разграбления церквей (1793 г.) и которые он выжигал для отделения металла. От привычки видеться и от конкуренции по некоторым сделкам между ними явилась некоторого рода связь, которая обратилась в близкие отношения. Делонг уже

более ничего не скрывал от Фромона, советовался насчет своих предприятий, сообщал о всех получаемых ценностях и даже сообщил секрет тайника, где он хранил драгоценные вещи.

Узнав все эти подробности и имея свободный доступ к Делонгу, Фромон составил план обокрасть его, пока он будет с женой в театре. Надо было соучастника, чтобы караулить, и, кроме того, для Фромона было опасно, чтобы в день покушения его видели в доме, где его все знали. Сначала он выбрал слесаря, беглого каторжника, тот подделал ключи, необходимые для входа к Делонгу, но этот человек, преследуемый полицией, принужден был покинуть Париж; он заменил его Дешаном.

В день, назначенный для приведения в исполнение кражи, Делонг и его жена поехали в *Театр Республики*; Фромон поместился для наблюдения у винного торговца, чтоб караулить возвращение служанки, которая пользовалась отсутствием господ для свидания с любовником. Дешан вошел в дом и тихо отворил дверь поддельным ключом… Каково же было его удивление, когда увидел в передней служанку, которую он считал в отсутствии (действительно, ее сестра, очень похожая на нее, вышла несколько минут

тому назад). При виде Дешана, лицо которого от удивления сделалось еще страшнее, девушка выронила свою работу… Она хотела крикнуть… но Дешан бросается на нее, опрокидывает, хватает за горло и наносит пять ударов ножом, который он всегда носил в правом кармане панталон. Несчастная падает, истекая кровью… Еще было слышно хрипенье умирающей, а убийца уже обыскивал и обшаривал все углы: но встревожила ли его неожиданность, или ему послышался шум на лестнице, однако он ограничился похищением некоторых серебряных вещей, которые попались ему под руку; отправившись к своему соучастнику, сидевшему у винного торговца, он рассказал ему все происшествие. Тот был очень поражен не смертью служанки, но недостатком смышлености и уверенности в Дешане, которого он упрекал в том, что он не нашел тайника, который он так ясно ему обозначил. Более всего он был недоволен тем, что трудно будет найти такой подходящий случай.

Делонг действительно переменил квартиру после этого происшествия, сильно напугавшего его. Немногие лица, которых он принимал у себя, впускались с большими предосторожностями. Хотя Фромон и избегал появляться, но на него

не было подозрения. Как подозревать человека, который, даже совершив преступление, непременно очистил бы тайник, секрет которого ему был известен? Встретив его через несколько дней на Вандомской площади, он настоятельно звал его к себе и сблизился с ним более, чем когда-либо. Тогда Фромон вернулся к своим прежним предложениям, но, не надеясь взломать новый тайник, который был хорошо охраняем, он решился изменить план. Завлеченный к Дешану под предлогом сделки относительно значительной партии бриллиантов, Делонг был зарезан и ограблен на сумму семнадцать тысяч франков золотом и ассигнациями, захваченных им с собою по предложению Фромона, который и нанес ему первый удар.

Прошло два дня; госпожа Делонг, видя, что муж долго не возвращается, не предупредив ее, чего он не делал никогда, и зная, что с ним была значительная сумма денег, стала подозревать, что с ним случилось несчастье. Она обратилась к полиции, которая страдала тоже от общей неурядицы в администрации; однако успели накрыть Фромона и Дешана, а показания слесаря, который должен был помогать в краже и который снова был арестован, могли бы погубить их; но

ему не возвратили свободу, которую обещали в награду, и агент полиции Кадо, служивший посредником, не желая быть обманщиком, дал ему возможность скрыться при переезде из тюрьмы в суд. Это обстоятельство удалило единственного свидетеля обвинения, и Дешан с Фромоном были освобождены.

Осужденный потом на восемнадцать лет каторги, Фромон был препровожден в Рошфорский острог 1-го нивоза года VII, но он еще не считал себя побежденным. С помощью денег, приобретенных в похождениях, он подкупил несколько личностей, которые должны были следовать за транспортом, чтоб облегчить ему побег, если ему удастся сделать попытку, или даже похитить его, если это возможно. Он хотел употребить свою свободу на то, чтоб убить г-на Делаланда, старшего президента суда, осудившего его, и комиссара полиции Секции Единицы, который представил против него отягчающие показания. Все уже было готово для исполнения этого проекта, как вдруг одна публичная женщина, узнавшая подробности от одного из заинтересованных, сделала добровольное открытие, и поэтому были приняты соответствующие меры: конвой был предупрежден, и, когда транспорт выступил из

Бисетра, на Фромона надели ручные кандалы, которые сняли с него только по прибытии в Рошфор, куда о нем было дано знать особенно. Меня уверяли, что он умер на каторге. Что касается Дешана, то он, бежавши вскоре из Турина, был арестован за кражу через три года в Отеле, приговорен к смерти Сенским уголовным судом и казнен в Париже.

В камере № 3 я был отделен от Дешана только неким Луи Мюло, осужденным за кражу со взломом, сыном того Корню, который долго наводил ужас в селениях Нормандии и где его преступленья еще не забыты до настоящего времени. Переодетый лошадиным барышником, он являлся на ярмарки; высматривал купцов, у которых были значительные суммы, и проселками отправлялся подстерегать их в каком-нибудь глухом месте, где он их зарезывал. Женатый в третий раз на молодой и хорошенькой девушке из Берна, он скрыл сначала от нее свое страшное ремесло, но вскоре заметил, что она вполне достойна его. С тех пор он сделал ее участницей во всех своих экспедициях. Являясь тоже на ярмарках как торговка, она легко втиралась в доверие к богатым земледельцам долины Ожа, и не один из них нашел смерть в любовном свидании. Не раз

находясь в подозрении, они постоянно с успехом представляли алиби благодаря быстроте своих превосходных лошадей.

В 1794 году семейство Корню состояло из отца и матери, трех сыновей, двух дочерей и любовников этих последних, которых приучили к преступлениям с самого нежного возраста, заставляя служить шпионами или посылая подкладывать огонь в овины. Младшая из дочерей, Флорентина, выказывала сначала отвращение к пороку, но ее вылечили, заставив нести два лье в переднике голову одной фермерши из окрестностей Аржантана.

Позже, совершенно сбросив с себя прежнюю щекотливость, она имела любовником убийцу Капелю, казненного в Париже в 1802 году. Это милое семейство образовало шайку chauffeurs и стало грабить местности, расположенные между Канном и Фалезом. Они подвергали допросу несчастных фермеров, подставляя им под мышку зажженную свечу или положив трут на большой палец ноги.

Настойчиво преследуемый руанской полицией, которая арестовала двух из молодых людей в Брионне, Корню принял решение удалиться на некоторое время в окрестности Парижа,

надеясь таким образом выследить своих товарищей. Поместившись в уединенном доме на Севрской дороге, он, однако, не боялся появляться на Елисейских Полях, где он постоянно встречал некоторых из своих товарищей воров.



— Ну, дядюшка Корню, — спрашивали они его однажды, — что вы теперь поделываете?

— Да что, ребята, — *черную работу делаю* (убийства).

— Чудак вы, дядюшка Корню… а *качалка* (виселица)?..

— Э! Что ее бояться, когда нет *крестных* (свидетелей)… Если бы я *холодил* все плуги, которые *спаивал*, то у меня не было бы теперь *ожогов*. (Если бы я убил всех фермеров, которых пытал огнем, то ничего бы теперь не боялся.)

В одну из своих прогулок Корню встретил старого товарища, который предложил ему забраться в один павильон, находящийся в лесу Вилль д'Авре. Кража была совершена, добыча разделена, но Корню счел себя обиженным. Дойдя до середины леса, он уронил свою табакерку, подавая ее своему товарищу; тот сделал движенье, чтоб поднять ее, и в ту минуту, когда он нагнулся, Корню размозжил ему голову выстрелом из пистолета, обобрал его и возвратился домой, где рассказал происшествие своему семейству с громким хохотом.

Арестованный близ Вернона в ту минуту, когда хотел проникнуть на ферму, Корню был препровожден в Руан, предан уголовному суду и осужден

на смерть. В промежуток времени до исполнения казни жена его, остававшаяся свободной, каждый день приносила ему провизию и утешала его.

— Слушай, — говорила она ему однажды утром, когда он казался мрачнее обыкновенного, — ведь скажут, что *моська* (смерть) тебя пугает… не корчи *барана* (дурака), когда ты будешь *на плакарде* (место казни)… *Деревенские мальчишки* (разбойники больших дорог) славно посмеются над тобою…

— Да, — сказал Корню, — все бы это было прекрасно, если бы дело шло не о *тыкве* (голова), но когда *Шарло* (палач) с одной стороны, *Кабан* (исповедник) — с другой и *михлютки* (жандармы) позади, то это не совсем-то утешительно!

— Полно, Жозеф, брось эту мысль; я женщина, но я пойду туда как на праздник, особенно с тобой, мой бедный Жозеф! Да, я тебе повторяю, верь Маргарите, я хотела бы идти с тобой.

— Правда? — спросил Корню.



— Да, да, правда, — прошептала Маргарита. — Но для чего ты встаешь, Жозеф?.. Что с тобой?

— Я ничего, — возразил Корню; потом, подойдя к тюремщику, который стоял у входа в коридор, он сказал: — Рош, позовите смотрителя, я желаю говорить с прокурором.

— Как! — воскликнула жена. — Прокурора!.. Ты хочешь *съесть кусок* (сделать открытие)? Ах, Жозеф, какую репутацию ты оставишь своим детям!

Корню молчал до прихода прокурора; тогда он

донес на свою жену, и эта несчастная, осужденная на смерть вследствие его показания, была казнена в одно время с ним. Мюло, от которого я узнал подробности этой сцены, постоянно рассказывал ее с громким хохотом до слез. Однако он не думал, что можно шутить с гильотиной, и уже давно избегал всякого дела, которое бы могло его отправить соединиться с отцом, матерью, одним из братьев и сестрой Флорентиной, которые были все казнены в Руане. Говоря о них и об их кончине, он часто прибавлял:

— Вот что значит играть с огнем! Меня на этом не поймают!

И действительно, его игра была не так ужасна: он ограничивался одним родом воровства, в котором был неподражаем. Старшая из его сестер, которую он привез в Париж, помогала ему в его похождениях. Одетая прачкой, с корзиной на плечах, она входила в дома без привратника, стучалась во все двери и, когда удостоверялась, что жильца нет дома, возвращалась, чтоб дать знак о своем открытии Мюло. Тогда тот, переодетый слесарем, являлся с отмычками в руках и в два оборота преодолевал самые сложные замки. Очень часто, чтоб не возбудить подозрения в случае, если кто-нибудь пройдет, сестра с

передником, в скромном чепчике и с озабоченным видом служанки, потерявшей свой ключ, присутствовала при работе. Мюло, как видно, не имел недостатка в предусмотрительности, но все-таки был пойман на месте преступления и через несколько времени осужден на каторгу.

Глава тринадцатая

Дядюшка Матье. – Выделка игрушек. – Я калека. – Ессе Homo, или Продавец гимнов. – Держите, это каторжник! – Милосердие комиссара. – Мое бегство, покровительница беглых арестантов и похороны. – Шайка разбойников. – Открытие вора. – Меня отпускают на все четыре стороны

Никогда я не был так несчастлив, как со времени моего поступления в Тулонский острог. В двадцать четыре года, смешанный с самыми отъявленными злодеями, имея с ними непосредственные сношения, я во сто раз предпочел бы жить среди зачумленных. Принужденный видеть и слышать только испорченных людей, ум которых беспрестанно изощрялся во зле, я страшился даже заразиться их примером. Так как день и ночь в моем присутствии восхваляли поступки, противные нравственности, то я не надеялся на достаточную твердость своего характера, чтобы не свыкнуться с этим ложным и опасным взглядом на вещи. Правда, что я уже противостоял

многим искушениям; но нужда, нищета, а в особенности желание вернуть свободу, невольно влекли к преступлению. Никогда я еще не был в положении, более вызывающем на побег, и все мысли мои сосредоточились на шансах побега.

Я замышлял разнообразнейшие планы, но этого было мало; надо было выждать благоприятной минуты для их выполнения; а до тех пор оставалось только терпеть и терпеть. Поставленный на одну доску с ворами по профессии, бегавшими из острога уже несколько раз, я был, подобно им, предметом бдительного надзора, который трудно было провести. Сидя в своих каморках, в близком расстоянии от нас, надзиратели могли следить за каждым нашим движением. Начальник их, дядя Матье, имел рысьи глаза и так изощрился в искусстве распознавать людей, что с первого же взгляда догадывался, что его намерены обмануть. Этой старой лисице было уже почти шестьдесят лет, но, одаренный одним из тех сильных организмов, на которых года как будто не имеют влияния, он отличался еще замечательной бодростью и силой мускулов. Я как сейчас его вижу — с его маленькой косичкой, седыми напудренными волосами и сердитым лицом, которое так шло к его профессии. Он никогда не разговаривал

без того, чтобы не коснуться своей палки; казалось, ему доставляло невыразимое удовольствие рассказывать, как он ею орудовал. Всю жизнь находясь в постоянной борьбе с каторжными, он знал наизусть все их хитрости и уловки. Его недоверчивость была так сильна, что часто он их обвинял в заговоре, когда они ни о чем и не помышляли. Однако я решился снискать его благосклонность, что до тех пор никому не удавалось. Вскоре я убедился, что надежды мои сбывались: я видимо стал пользоваться его расположением. Дядя Матье иногда удостаивал разговаривать со мной, а это, как уверяли другие, было признаком, что я ему нравлюсь; просьба с моей стороны не показалась бы ему неприличной. Я попросил у него позволения заниматься выделкой детских игрушек из кусков дерева, которые мне приносили каторжные, ходившие на работу. Он дозволил, с условием только, что я буду благоразумен, и на следующий же день я принялся за дело. Товарищи мои подготовляли материал, а я заканчивал. Дядя Матье нашел, что я делаю хорошие вещи; заметив, что у меня есть помощники, он выразил свое удовольствие, чего с ним давно не было. «В добрый час! — заметил он. — Люблю, чтобы так развлекались; желательно бы, чтобы и все так по-

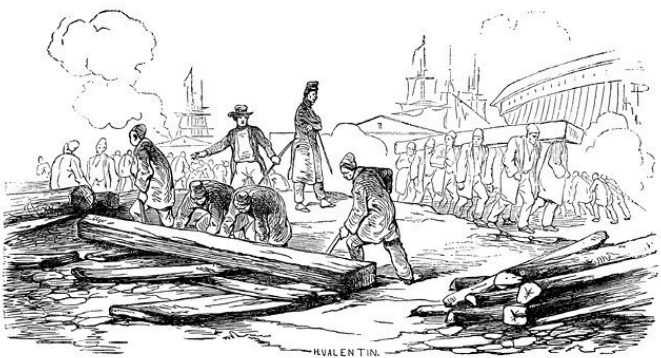
ступали, это вас займет, а вместе с тем заработок вам пригодится на что-нибудь». Через несколько дней наша скамья превратилась в мастерскую, где четырнадцать человек, убегая от скуки, а также желая зашибить копейку, энергично принялись за дело. У нас всегда было много товара наготове, и сбыт его производился при посредстве тех же каторжников, которые доставляли нам материал. В продолжение месяца торговля наша была в самом цветущем состоянии; у нас оказалась значительная выручка, из которой ни полушки не поступило в кассу: как водится, дядя Матье, за приличное вознаграждение, дозволил нам взять в казначеи Пантарага, каторжника, который продавал яства и пития в той камере, где мы сидели. К несчастью, есть вещи, которые не могут развиваться без того, чтобы не нарушилось равновесие между производством и потреблением, — это известная политико-экономическая аксиома: настала минута, когда фабрикация должна была замедлиться по недостатку сбыта; Тулон наводнился игрушками всевозможных фасонов, и нам пришлось сидеть сложа руки. От нечего делать, я изобрел боль в ногах, чтобы поступить в госпиталь. Врач, которому представил меня дядя Матье, не шутя принял меня под свое

покровительство, вообразив, что я совсем не в состоянии ходить; при намерении бежать всегда не мешает внушить о себе подобное мнение. Г-ну Феррану даже и на мысль не пришло, что я его обманываю; это был один из тех учеников Эскулапа, которые, подобно большей части врачей Монпелье, откуда он приехал, думали, что поспешность есть один из необходимых атрибутов его профессии; впрочем, у него не было недостатка в человеколюбии, и притом ко мне он был необыкновенно добр. Главный фельдшер тоже возымел ко мне дружбу и доверил мне свой ящик, так что я распоряжался корпией, приготовлял компрессы, — словом, старался быть полезным, и любезность моя вознаграждалась всеобщим расположением; даже лазаретный смотритель старался быть ко мне благосклонным, а между тем никто не превосходил суровостью Ломма (таково было имя смотрителя), которого в шутку прозвали Ессе Homo, потому что он прежде торговал гимнами. Хотя меня отрекомендовали ему как опасного субъекта, но он так был восхищен моим поведением, а еще более бутылками старого вина, которыми я угощал его, что видимо смягчился. Убедившись, что не внушаю ему более недоверия, я принялся за меры с целью обмануть

его бдительность, равно как и его сослуживцев. Я раздобылся париком и черными бакенбардами; спрятал в свой соломенный тюфяк пару старых сапог, которым вакса придала новый глянец; что касается остальных частей туалета, то я рассчитывал на главного фельдшера, имевшего привычку класть на мою постель свой сюртук, шляпу, палку и перчатки. Однажды утром, когда он отнимал руку и Ломм последовал за ним, чтобы наблюдать за операцией, происходившей на другом конце зала, я нашел, что это был удобный случай для побега. Спешу им воспользоваться и в новом своем костюме прямо направляюсь к выходу; мне приходилось проходить мимо толпы помощников смотрителей; смело иду им навстречу, никто из них не обращает на меня внимания, и я уже считаю себя вне опасности, как вдруг слышу крик: «Держи! Держи! Это арестант бежал!» Мне оставалось не более двадцати шагов до дверей арсенала. Не теряя присутствия духа, удваиваю скорость, дохожу до почты и, указывая человека, только что входившего в город, говорю сторожу: «Ловите со мной, этот бежал из госпиталя». Такая смелость и решимость, может быть, спасли бы меня; но когда я хотел перепрыгнуть через решетку, я почувствовал, что

меня схватили за парик. Оборачиваюсь и вижу Ломма… Сопротивление угрожало смертью, и я решился следовать за ним, меня снова привели в острог, где посадили на двойную цепь. Ясно было, что меня намерены наказать, и, желая избежать этого, я бросился к ногам комиссара. «Ах, господин комиссар, — воскликнул я, — лишь бы только меня не били, это единственное, о чем я прошу, я лучше просижу лишних три года». При этой просьбе комиссар растрогался и сказал, что прощает меня благодаря моей смелости и новизне проделки; но требует, чтобы я указал ему того, кто доставил мне костюм, так как я у фельдшера не мог позаимствоваться им. «Вам, конечно, небезызвестно, что приставленные к нам люди — негодяи, на все готовые за деньги, но ничто в мире не заставит меня выдать оказавшего мне такую услугу». Довольный моей откровенностью, он тотчас же велел снять с меня двойные оковы, и, когда смотритель стал ворчать на такое снисхождение, он велел ему замолчать и добавил: «Вместо того чтобы сердиться на него, вы должны были бы поблагодарить его за данный им урок, из которого вы можете извлечь пользу для себя». Я поблагодарил комиссара и был отведен снова на роковую скамейку, на которой

мне предстояло остаться еще шесть лет. Я льстил себя надеждой снова приняться за фабрикацию игрушек; но дядя Матье воспротивился этому, и я поневоле должен был остаться в бездействии. Прошло два месяца без всякой перемены в моем положении. Раз ночью я не мог заснуть; вдруг мне приходит одна из тех блестящих мыслей, какие являются только в темноте. Жоссаз тоже не спал, и я ему сообщил ее. Читатель, без сомнения, догадался, что дело снова шло о побеге. Жоссаз нашел выдуманный мною способ превосходным, гениальным и советовал не пренебрегать им. И действительно — я не забыл его совета.



Раз утром острожский комиссар, делая свой осмотр, прошел мимо меня; я попросил позволения сказать ему несколько слов. «Ну! Что тебе надо? — сказал он. — Уж не хочешь ли на что-нибудь пожаловаться? Говори, брат, говори смело, я разберу по справедливости». Ободренный этой благосклонной речью, я воскликнул: «Ах, господин комиссар, вы видите пред собою второй пример *честного преступника*. Может быть, вы припомните, что по приезде сюда я заявлял вам, что сижу здесь вместо моего брата; я его не обвиняю, думаю даже, что он был не виновен в подлоге, который ему приписывали: но это его осудили под моим именем, и он, а не я, бежал из брестского острога; теперь, скрывшись в Англии, он на свободе, а я, жертва злосчастной ошибки, несу за него наказание. Как я несчастлив, что похож на него! Не будь этого, меня не отвели бы в Бисетр и сторожа не сказали бы, что узнают меня. Напрасно я просил расследования дела; основываясь на их показаниях, признали между мною и обвиняемым тождественность, которой, в сущности, не существовало. Дело сделано, и я человек погибший. Я знаю, что не от вас зависит изменить безапелляционное решение, но есть милость, которую вы мне можете

оказать: из предосторожности меня посадили в одну камеру с находящимися в подозрении, где я очутился среди всякого сброда — воров, убийц и закоснелых злодеев. Ежеминутно я трепещу при рассказах о совершенных ими преступлениях, при их планах совершить такие же, если не хуже, если только когда-либо им удастся освободиться от оков. Ах, умоляю вас во имя чувства человеколюбия, не оставляйте меня долее в сообществе этих развращенных существ. Посадите меня в тюрьму, наложите на меня оковы, делайте со мной все, что хотите, только не оставляйте меня с ними. Если я старался убежать, то только чтобы избавиться от присутствия этих негодяев. — (В эту минуту я обернулся в ту сторону, где были арестанты.) — Взгляните, какими зверскими глазами они на меня смотрят; они хотят, чтобы я раскаялся в сказанном мною, они жаждут обагрить руки в моей крови; еще раз умоляю вас, не подвергайте меня мести этих чудовищ». Во время этой речи каторжные как бы остолбенели от изумления; они не могли постичь, каким образом один из их собратьев осмеливался так поносить их в лицо; сам комиссар не знал, что подумать о моей странной выходке, и молчал; я видел, что он был сильно тронут и озадачен. Бросившись

к его ногам, я продолжал со слезами на глазах: «Сжальтесь надо мною! Если вы мне откажете, если уйдете, не выпустив меня из этой камеры, вы меня больше не увидите». Последние слова произвели ожидаемое мной действие: комиссар, добряк в душе, велел при себе снять с меня оковы и назначил меня на работы. Меня поставили с неким Салесом, отличавшимся такой хитростью, какая только доступна каторжному. Как только мы остались одни, он спросил меня, намерен ли я бежать.



«И не помышляю, — отвечал я, — я счастлив и тем, что мне можно работать». Но Жоссаз все-таки знал мою тайну, он и устраивал все для моего побега. На мне было партикулярное платье, скрытое под одеждой каторжника так искусно, что даже мой парный товарищ не заметил этого; винтовой шкворень заменил заклепку наручников, и я был совсем наготове. На третий

день после моего отделения от товарищей я шел на работу и при этом представился на осмотр смотрителя. «Пошел, негодяй, — сказал мне дядя Матье, — теперь не время». И вот я очутился за работой канатов; место показалось мне удобным, и я сказал товарищу, что отправлюсь по надобности; он указал мне место за бревнами, и едва только потерял меня из виду, как я сбросил свой красный плащ, отвинтил шкворень и пустился бежать по направлению к докам. Там исправляли в это время фрегат «Muiron», один из тех, которые привезли из Египта Наполеона и его свиту. Я вошел на судно и спросил Тиммермана, о котором знал, что он находится в госпитале. *Петух* (повар), к которому я обратился, принял меня за кого-нибудь из новой команды. Я был в восторге от этой ошибки и для поддержания ее, услыхав по выговору, что повар овернец, завел с ним разговор на родном его языке и болтал с большим апломбом; но между тем я был как на угольях: сорок пар каторжных работали в двух шагах от нас; с минуты на минуту меня могли узнать. Наконец я вскочил в лодку, которую отправляли в город, и, взявшись за весло, стал рассекать волны, как истый моряк. Скоро мы уже были в Тулоне. Торопясь куда-нибудь за город, я

побежал в итальянскую гавань, но увидел, что все выходят с зеленым билетиком, выдаваемым муниципалитетом. Меня не пропускают, и, пока я мысленно отыскиваю в уме средство доказать, что запрещение меня не касается, раздаются три пушечных выстрела, возвещающие о том, что побег мой открыт. Дрожь пробежала у меня по всему телу, я уже видел себя во власти аргусов и всей острожной милиции; я представлял себе, как я предстану пред добрым комиссаром, которого так нагло обманул; если я попадусь, думал я, то пропал безвозвратно. Предаваясь этим печальным размышлениям, я продолжал бежать без оглядки и, чтобы не попадаться на глаза народа, направился к валу.

Дойдя до уединенного места, я замедлил шаги, как человек, который, не зная, куда идти, рассуждает сам с собою. Какая-то женщина подошла ко мне и спросила на провансальском наречии, который час. Я ответил, что не знаю, тогда она стала болтать о дожде и хорошей погоде и заключила просьбой проводить ее. «Это в четырех шагах отсюда, — добавила она. — Никто нас не увидит». Случай найти убежище был слишком хорош, чтобы упустить его. Я пришел со своей спутницей в бедную лачугу и спросил у нее чего-нибудь

поесть. Пока мы беседовали, послышались снова три пушечных выстрела.

— А! — воскликнула незнакомка с довольным видом. — Вот уж другой сегодня убежал.

— Стало быть, это тебе приятно, красотка? Или ты рассчитываешь на награду? — сказал я.

— Я-то?.. Мало же ты меня знаешь.

— Полно, полно! — возразил я. — Пятьдесят франков никогда не мешает получить, и если бы кто-нибудь из этих дерзких попал мне в руки…

— Несчастный, — вскричала она, делая жест, чтобы оттолкнуть меня. — Я не более как бедная девушка, но все-таки никогда не буду есть хлеба, заработанного таким образом.

При этих словах, произнесенных с оттенком правдивости, не дозволявшей мне сомневаться более, я доверил ей свою тайну. Узнав, что я каторжный, она несказанно заинтересовалась мной. «Боже мой, — воскликнула она, — их так жаль, что я готова была бы их всех спасти, я и спасла многих». Затем, остановившись на минуту, как бы в размышлении, она продолжала: «Погоди, я все устрою; у меня есть любовник с зеленым билетом; завтра я возьму у него этот билет, ты им воспользуешься, а выйдя из города, положишь его под камень, который я укажу; а по-

ка, так как это место небезопасное, я отведу тебя в свою комнату». Придя туда, она сказала, что на минуту оставит меня. «Надо предупредить моего приятеля, — сказала она, — я скоро вернусь». Женщины иногда такие искусные актрисы, что, несмотря на столько заявлений благосклонности, я боялся предательства; может быть, Селестина только и ушла за этим. Не успела еще она выйти на улицу, как я уже пустился по лестнице. «Ну вот, ну вот! — закричала она. — Или ты боишься? Если не веришь мне, лучше ступай со мной». Я счел благоразумнее вблизи наблюдать за ней, и мы пошли вместе, а куда, я не знал. Едва сделали несколько шагов, как мимо нас потянулась похоронная процессия. «Ступай за похоронами, — сказала она, — и ты спасен». Я не успел ее поблагодарить, как она исчезла. Проводы были многолюдные, я замешался в толпе и, чтобы меня не сочли посторонним, завязал разговор со старым моряком, и несколько слов его дали мне возможность тоже распространяться о добродетелях покойного. Я вскоре убедился, что Селестина не обманула меня. Оставив позади себя вал, от которого мне так необходимо было удалиться, я почти заплакал от радости, но, чтобы не выдать себя, разыграл роль огорченного до конца. Дойдя

до кладбища, я подошел к могиле, бросил на гроб горсть земли и отстал от общества, направившись по боковым дорожкам. Долго я шел, не теряя из вида Тулона. Часов в пять вечера, при входе в сосновый лес, я вдруг увидел человека с ружьем; так как он был порядочно одет и имел охотничью сумку, то я принял его за охотника, но, заметив торчавший из кармана пистолет, со страхом подумал, не один ли он из тех провансальцев, которые при пушечном выстреле пускаются в погоню за беглыми арестантами. Если это предположение было верно, то никакое бегство не поможет: лучше даже было идти ему навстречу, нежели отступать; я действительно принял последнее решение и, подойдя к нему так, чтобы остановить его первое движение, в случае если оно будет враждебно, спросил дорогу в Алек.

— Большую дорогу или проселок? — спросил он с очевидным преднамерением.

— Мне все равно, — отвечал я, стараясь этим устранить подозрение.

— В таком случае идите по этой тропинке, которая вас прямо приведет к посту жандармов; если вы не любите путешествовать один, то можете воспользоваться их обществом.

При слове «жандарм» я невольно побледнел;

незнакомец заметил действие своих слов: «Ладно, ладно, вижу, что вы не намерены идти большой дорогой. В таком случае, если вам некуда спешить, то я готов проводить вас до деревни Пурьер, находящейся в двух милях от Ахена». Он, по-видимому, отлично был знаком с окрестностями, и я согласился подождать его. Тогда с того же места он указал мне чащу невдалеке, сказав, что не замедлит прийти туда. По прошествии двух часов он присоединился ко мне. «Марш!» — сказал он. Я встал, последовал за ним и, считая себя еще в лесной чаще, очутился у опушки, в пятидесяти шагах от дома, перед которым сидели жандармы. При виде их мундиров я содрогнулся! «Что с вами? — сказал мой проводник. — Или вы боитесь, что я вас выдам? Если это так, то вот чем вы можете защититься». И он подал мне пистолеты. Я от них отказался. «Ну и слава богу!» — И он пожал мне руку в знак удовольствия за мое доверие. Скрытые кустарниками, окаймлявшими дорогу, мы остановились; я не понимал цели подобного роздыха вблизи неприятеля. Остановка была продолжительна. Наконец уже в сумерках мы увидали по дороге из Тулона почтовую карету, сопровождаемую четырьмя жандармами и столькими же солдатами из бригады; присутствие их

привело меня в отчаяние. Экипаж продолжал свой путь и скоро исчез из вида. Тогда мой спутник, схватив меня за руки, сказал отрывисто: «Пойдемте, сегодня нечего делать».

Мы тотчас же ушли, переменив направление. После часовой ходьбы товарищ мой подошел к дереву и провел рукой по стволу; я увидал, что он считает зарубки, сделанные на нем ножом. «Это хорошо!» — воскликнул он с видом удовольствия, которое я не мог себе объяснить, и, вынув из своей сумки кусок хлеба, поделился им со мною, дав мне выпить из своей горлянки. Подкрепление пришло как нельзя более кстати, потому что я чувствовал в нем большую необходимость. Несмотря на темноту, мы шли так скоро, что я устал: ноги мои, давно отвыкшие от движения, отказывались служить, и я уже готов был объявить, что не могу более продолжать путь, когда пробило три часа на деревенских часах. «Тише, — сказал мой спутник, прикладывая ухо к земле, — приляг-те, как я, и слушайте; с этим проклятым польским войском надо всегда быть настороже. Вы ничего не слышите?» Я отвечал, что мне послышались шаги многих людей. «Да, — сказал он, — это они; не двигайтесь, или нас заберут». Не успел он договорить, как к кустам, где мы были спрятаны,

подошли патрули.

— Видите ли вы что-нибудь? — послышался вопрос шепотом.

— Ничего, сержант.

— Черт возьми! Я думаю, так темно хоть глаз выколи. Этот бешеный Роман — провались он в преисподнюю — заставил нас бродить всю ночь по лесу, как волков. Ну уж попадись он мне или кто-нибудь из его компании!

— Кто там? — крикнул вдруг солдат.

— Ты кого-нибудь видишь? — сказал сержант.

— Никого, но мне послышался вздох с этой стороны. — И вероятно, он указал на место, где мы были.

— Ну, ты бредишь… тебя так напугали Романом, что он тебе всюду грезится.

Другие солдаты тоже подтвердили, что действительно послышался шорох.

— Да полно вам, — возразил сержант, — ведь говорю вам, что никого нет, и на этот раз, как всегда, нам придется вернуться в Пурьер, не встретивши дичи; слушайте, други мои, нам пора убраться.

Стража, по-видимому, намеревалась уйти.

— Это военная хитрость, — сказал мой сотоварищ, — я уверен, что они изъездят лес и затем оцепят нас полукругом.

Мне трудно было развеселиться.

— Или вы боитесь? — спросил он еще раз.

— Это было бы совсем неуместно.

— В таком случае следуйте за мною, вот мои пистолеты; когда я буду стрелять, выстрелите и вы, так чтобы из четырех выстрелов вышел один звук… Пора! Пли!

Разом раздалось четыре выстрела, мы побежали без оглядки, но никто не стал преследовать нас. Боязнь попасть в западню остановила солдат, и мы продолжали путь. Придя к уединенной мызе, незнакомец сказал мне: «Здесь мы безопасны». Он прошел вдоль садового забора и вынул из древесного ствола ключ от мызы, в которую мы сейчас же вошли.

Железная лампа, повешенная у камина, освещала простое и грубое жилье; в углу виднелся бочонок, по-видимому наполненный порохом; выше, по доске разбросаны были патроны. Женское платье, повешенное на стуле, и черная с широкими полями шляпка обнаруживали присутствие спящей женщины, до нас доносилось даже ее храпенье. Пока я окидывал комнату быстрым взглядом, спутник мой достал из старого сундука часть козленка, луку, масла, козий мех с вином и пригласил меня поесть, что было

крайне необходимо. Он имел очевидное намерение порасспросить меня кое о чем, но я ел с такой жадностью, что он не рискнул приостановить меня. Когда я окончил, то есть когда более ничего не было на столе, он повел меня в род сеновала, повторяя, что здесь вполне безопасно; затем он удалился, и не знаю уже, оставался ли в хижине, потому что, едва я растянулся на соломе, как непреодолимый сон овладел мною.

Проснувшись, я решил, судя по высоте солнца, что должно было быть два часа пополудни. Крестьянка, без сомнения та самая, которой платье мы видели, услышала, что я зашевелился, просунула голову в мою каморку и сказала: «Не шевелитесь; окрестности полны *соснами* (жандармами), которые везде шныряют». Я тогда не понял, что она хотела выразить словом *сосны*, но знал, что в нем не было ничего хорошего.

В сумерках я снова завидел вчерашнего попутчика, который после нескольких незначительных слов прямо спросил, кто я, откуда и куда направляюсь. Приготовившись к этому неизбежному допросу, я отвечал, что я дезертир с корабля «Океан», стоявшего тогда в гавани Тулона, и что шел в Алек, откуда намеревался пробраться в свою сторону.

— Хорошо, — сказал он, — теперь я вижу, кто вы такой; ну а как вы думаете, кто я?

— По правде сказать, сначала я вас принял за полевого сторожа, потом за начальника контрабандистов, а теперь уже не знаю, что и подумать.

— Скоро вы узнаете… Надо вам сказать, что в нашей стороне народ храбрый, но не любит быть солдатом насильно, поэтому подчиняется призыву только тогда, когда его избегнуть невозможно. Пурьерский контингент даже весь отказался ехать. Явились жандармы забирать непокорных; те оказали сопротивление; с обеих сторон было много пролито крови, и жители, принимавшие участие в битве, бросились в леса, чтобы избежать военного суда. Так мы собрались в числе шестидесяти под начальством Романа и братьев Биссон де Трец. Если вам угодно остаться с нами, я буду очень рад, потому что в эту ночь я мог заметить, что вы хороший товарищ, и мне кажется, вы тоже не имеете охоты сталкиваться с жандармами. Притом мы не терпим недостатков и не подвержены особенным опасностям… Крестьяне предупреждают нас о всем происходящем и доставляют провизию, даже больше чем требуется. Ну, итак, вы согласны присоединиться к нам?

Не желая отклонить предложения и не думая

о последствиях, я изъявил согласие. Еще два дня пробыл я в хижине, на третий мы пошли опять вместе, и он снабдил меня карабином и двумя пистолетами. После нескольких часов ходьбы по горам, покрытым лесом, мы подошли к жилью, гораздо большему, чем первое: это была квартира начальника Романа. Я подождал с минуту за дверью, потому что спутник мой должен был предупредить обо мне. Вскоре он вернулся и ввел меня в большую ригу, где я очутился среди сорока человек, окружавших одного. Полумужицкая, полумещанская осанка его напоминала деревенского помещика; этой-то личности меня и представили. «Очень рад вас видеть, — сказал он, — мне говорили о вашем хладнокровии, познакомили и с другими качествами. Если вы согласны разделять наши опасности, то найдете здесь дружбу и привет; мы вас еще не знаем, но с такой счастливой наружностью, как ваша, везде можно найти друзей. Все честные люди на нашей стороне, равно как и все храбрые, потому что мы одинаково ценим как честность, так и храбрость». После этой речи, которая могла быть произнесена только Романом, оба Биссона и вся остальная компания сделали мне братский прием. Таково было мое вступление в это общество, которому

глава его придавал политическое значение; но достоверно то, что, начав, как и шуаны, с того, что останавливал дилижансы с казенными деньгами, Роман перешел к грабежу путешественников. Рекрутам, из которых преимущественно состояла его шайка, были не по сердцу подобные экспедиции; но привычка к бродячей жизни, лень и особенно трудность возвращаться в семьи заставляли их решаться на все.

На другой день моего поступления Роман назначил меня с шестью другими товарищами идти к окрестностям Сен-Мак-Симена; я не знал, в чем дело.

Около полуночи, дойдя до опушки маленькой рощи у самой дороги, мы засели в ров. Помощник Романа, Биссон Трец, велел нам сидеть как можно тише. Вскоре послышался шум приближавшейся кареты. Биссон осторожно поднял голову: «Это дилижанс из Ниццы… тут делать нечего… в нем больше драгунов, чем тюков». Он велел отступить, и, когда мы вернулись домой, Роман, рассерженный, что мы пришли с пустыми руками, закричал с ругательствами: «Хорошо же! Завтра он поплатится!»

Не оставалось более сомнений насчет свойства общества, в которое я попал: я очутился среди тех

грабителей по большим дорогам, которые наводили ужас в Провансе. Если бы меня схватили, то в качестве бежавшего каторжника я не мог даже надеяться на прощение, которое, по всей вероятности, было бы дано некоторым молодым людям из нашей среды. Размышляя об этом, я пытался бежать; но, естественно, за мной постоянно следили, коль скоро раз я попал в шайку; с другой стороны, обнаружить желание удалиться — не значило ли внушить подозрение и, пожалуй, поплатиться за него жизнью? Не мог ли Роман принять меня за шпиона и велеть расстрелять? Смерть и бесчестье грозили мне отовсюду…

Находясь в этом затруднительном положении, я решился выведать у того, кто ввел меня в шайку, нельзя ли получить у атамана отпуск на несколько дней; он отвечал мне сухо, что это делалось только для людей, вполне известных, и повернулся спиною. Я уже одиннадцать дней прожил с разбойниками в твердой решимости избежать участия в их экспедициях, когда раз ночью, уснув глубочайшим сном от усталости, я был разбужен необычайным шумом. У одного из товарищей украли туго набитый кошелек, и он поднял тревогу. Так как я был новичком, то естественно, что на меня пали подозрения.

Он голословно осуждал меня, и вся шайка ему поддакивала. Напрасно я заявлял о своей невинности, решено было обыскать меня. Я спал совсем одетый, и меня стали раздевать. Каково было удивление разбойников при виде на моей рубашке… клейма каторжника!

— Каторжник!.. — вскричал Роман. — Между нами каторжник… это только может быть шпион… в песок его…[6] или нет, лучше расстрелять… Это будет скорее…

Я слышал, как стали заряжать ружья.

— Стой! — воскликнул атаман. — Надо, чтобы он прежде отдал деньги.

— Да, — сказал я, — деньги будут возвращены, но мне необходимо переговорить с вами наедине.

Роман согласился меня выслушать. Оставшись с ним, я снова стал утверждать, что не брал денег, и указал на средство, как их разыскать, которое, как помнится, когда-то вычитал у Беркена. Роман появился, держа в руке столько соломинок, сколько было всех нас. «Заметьте, — сказал он, — что самая длинная обозначит вора». Все стали

[6] Примечания: 6

В Англии умерщвляют мешками, наполненными песком, в Провансе мешки заменяют кожей угря, один удар которой между плеч достаточен для отделения легких, за тем, конечно, следует смерть.

дергать, и по окончании тиража всякий поспешил подать свою соломинку. Одна была короче всех, ее подал Жозеф Бриолль. «Так это ты? — сказал Роман. — Все соломинки были одинаковой длины, ты свою укоротил и сам себя этим выдал». Тотчас же его обыскали, и деньги были найдены за поясом. Оправдание мое было полное; сам атаман извинился передо мной, но в то же время объявил, что я не могу более принадлежать к шайке. «Это несчастье, — добавил он, — но согласитесь сами… что, раз побывавши на каторге…»

Он не докончил, положил мне в руку пятнадцать луидоров и просил не заикаться никому о всем виденном в течение двадцати пяти дней. Я был скромен.

Глава четырнадцатая

Перекупень. – Донос. – Первые сношения с полицией. – Отъезд в Лион. – Ошибка

Судя по опасностям, которым я подвергался, оставаясь с Романом и его шайкой, можно составить себе понятие о радости, которую я ощущал, расставшись с ними. Очевидно было, что правительство, раз прочно установившись, примет более действенные меры для охранения внутренней безопасности. Я знал, что остатки шаек, образовавшихся под именем Рыцарей Солнца или Общества Иисусова, в ожидании политической реакции, непременно будут уничтожены, коль скоро правительство этого пожелает. Единственный извинительный предлог для их разбоя — роялизм — более не существовал, и хотя люди, подобные Иверу, Лепретру, Буланже, Бастиду, Жозиону и другим, еще считали для себя славой нападать на курьеров, потому что это было для них выгодным, но все-таки они стали выходить из моды. Эти люди, находившие весьма пикантным останавливать с пистолетом в

руках почту и сборщиков податей и присваивать казенные суммы, теперь возвращались к своему очагу — кто имел его — или старались, чтобы о них позабыли на театре их подвигов. Словом, мало-помалу порядок водворялся снова и наступало время, когда все разбойники различных оттенков и целей должны были утратить всякую силу и обаяние. При подобных обстоятельствах, если бы мне и хотелось поступить в шайку воров, я не сделал бы этого уже из одной уверенности в скором времени попасть на эшафот. Но меня одушевляла другая мысль: я хотел во что бы то ни стало избегать порока и преступления, я хотел пользоваться свободой. Я еще не знал, как мне удастся выполнить свое желание, но все равно я твердо решился и, так сказать, навсегда отрекся от каторги. Так как я пылал желанием как можно дальше удалиться от ненавистных галер, то направился в Лион, избегая больших дорог до окрестностей Оранжа; я встретил на пути провансальских возчиков и по их грузу сейчас же узнал, что они поедут по одной дороге со мной. Вступив с ними в разговор и заметив тотчас же, что они, должно быть, люди добрые, я не побоялся доверить им, что я дезертир и что они оказали бы мне важную услугу, если бы согласились взять

меня под свою опеку, чтобы избавить меня от бдительности жандармов.

Это предложение нисколько не удивило их; казалось, они заранее ожидали, что я попрошу у них покровительства и охраны. В это время, в особенности на юге, нередко можно было встретить храбрецов, которые, чтобы улизнуть от своих знамен, благоразумно доверяли судьбу «в руки Провидения». Поэтому было весьма понятно, что мне тотчас же поверили на слово. Возчики сделали мне радушный прием; немного денег, которые я как бы случайно показал им, окончательно расположили их в мою пользу. Было решено, что меня будут выдавать за сына хозяина извозных телег. Меня одели в блузу, и так как я будто бы совершал первое путешествие, то меня разукрасили лентами и букетами, праздничными знаками, благодаря которым в гостинице меня осыпали поздравлениями.

Я довольно сносно выполнил свою почетную роль; к несчастью, подобающая случаю щедрость нанесла довольно чувствительный ущерб моему кошельку, так что по прибытии в Гильотьер, где я расстался со своими покровителями, у меня осталось всего-навсего восемь су. С такими скудными средствами нельзя было, конечно, и помышлять

об отелях на площади Терро.

Проскитавшись несколько часов по грязным и мрачным улицам города, я заметил в улице Четырех Шляп нечто вроде таверны, где я надеялся получить ужин, сообразуясь с моими скромными финансами. Я не ошибся: ужин был умеренный и кончился, к несчастью, слишком скоро. Не удовлетворить своего аппетита — вещь уже очень неприятная, но еще неприятнее не знать, куда склонить голову. Вытерев свой нож, я с грустью подумал о том, что мне придется провести ночь под открытым небом, как вдруг за соседним со мной столиком я услышал разговор на испорченном немецком языке, столь употребительном в кантонах Голландии и который я понимал в совершенстве. Разговаривающие были мужчина и женщина пожилых лет. Я сейчас узнал, что они еврейского происхождения. Зная, что евреи содержат в Лионе и других городах меблированные комнаты, куда охотно впускают всяких подозрительных личностей, я спросил их, не могут ли они указать мне постоялый двор. Я не мог попасть удачнее. Еврей и его жена отдавали помещения внаем; они предложили мне свои услуги, и я сопровождал их в улицу Томассен. В их помещении было шесть кроватей, и ни одна из них не была

занята, хотя было уже около десяти часов. Я уже решил, что у меня не будет товарищей-ночлежников, и уснул в этом убеждении.

Проснувшись, первое, что меня поразило, — это несколько слов, произнесенных на знакомом языке.

— Вот уж шесть *пломб* (часов), а ты все еще дрыхнешь, — произнес знакомый мне голос.

— Еще бы! Мы хотели облапошить в *полумеркоть* (ночью) *сироту* (золотых дел мастера), а тот сторожил окаянный, вот я и увидел, что пора пырнуть его и что *вохра* (кровь) будет.

— А, небось, боишься попасть в *чижовку*?.. Но если так *работать*, то немного наживешь *финаги* (деньги).

— Желал бы я лучше *черную работу* (убийство) на большой дороге делать, а не возиться с лавчонками, вечно тут эти окаянные *михлютки* (жандармы) на шее сидят.

— Словом, вы ничего не стибрили? А важные там были *веснухи* (часы), *лоханки* (табакерки) да *гопы* (цепочки). Значит, *кудлею-то* (еврею) нечего будет и *спуливать*ь (продавать)?

— Нет, вертун (ключ) сломался в *сережке* (замке), буржуа закричал «караул», а нам поскорей давай бог ноги.

— Эй, вы! — закричал третий собеседник. — Не болтайте вы так *красным лоскутом* (язык), там *мухорт* (статский человек) развесил уши.

Предосторожность несколько запоздала; я вылупил глаза, чтобы лучше рассмотреть своих товарищей по ночлегу, но моя постель была ниже прочих, и я ничего не мог разглядеть. Я притворился неподвижным и спящим, как вдруг один из собеседников встал, и я узнал беглого каторжника из тулонских галер, некоего Неве, бежавшего несколько дней раньше меня. Его товарищ также встал с постели, и я узнал… кого же?.. Поля Каде, другого каторжника. Встали и третий, и четвертый — все оказались беглыми каторжниками, словом, мне могло показаться, будто я снова нахожусь в камере № 3. Наконец я, в свою очередь, поднимаюсь со своего жесткого одра; едва успел я спустить ноги, как поднялся общий крик: «Здоров, Видок!» Меня теснят со всех сторон и осыпают поздравлениями. Один из мошенников, Шарль Дешан, бежавший также за несколько дней передо мной, рассказал, что по всем галерам распространилась громкая слава о моих подвигах и отваге.

Пробило девять часов, меня увлекли завтракать к Брото, где мы нашли всю компанию в сборе. Там

я нашел братьев Кинэ, Бонфуа, Бабино, Метраля Лема; все они пользовались на юге заслуженной славой. Меня осыпали любезностями и предупредительностью, доставили денег, платья и даже любовницу.

Как видите, в Лионе я очутился в таком же положении, как и в Нанте. Мне отнюдь не хотелось разделять ремесло моих приятелей, но я должен был получить денежную поддержку от матери, а до тех пор надо было чем-нибудь существовать. Я решил, что могу прожить несколько месяцев *не работая* (не воруя), и серьезно намерен был жить среди воров безучастно, но человек предполагает, а Бог располагает. Беглые, недовольные тем, что я постоянно находил то тот то другой предлог, чтобы не участвовать в их экспедициях, донесли на меня, чтобы избавиться от докучливого свидетеля, который мог сделаться опасным. Они предвидели, что я могу бежать, но рассчитывали на то, что, раз признанный полицией и не имея другого прибежища, кроме их шайки, я наконец решусь действовать с ними заодно. В этом случае, как и во многих других в этом же роде, которые мне пришлось испытать, — меня старались залучить потому, что имели высокое понятие о моей смышлености, ловкости и в особенности — о мо-

ей силе, весьма драгоценном даре в профессии, связанной с постоянной опасностью.

Я был арестован в пассаже Сен-Ком, у Адели Бюфин, и отведен в тюрьму Роанн. С первых слов на допросе я узнал, что меня продали; это открытие привело меня в ярость, и я решился на сильную меру. Это был, так сказать, первый дебют в новой для меня карьере. Я написал к генеральному комиссару полиции Дюбуа с просьбой поговорить со мной наедине. Меня в тот же вечер привели к нему в кабинет; объяснив свое положение, я предложил навести его на следы братьев Кинэ, преследуемых в то время за убийство жены каменщика в улице Бель-Кордиер. Кроме того, я предложил указать средство, чтобы захватить всех мошенников, помещавшихся у еврея и у столяра Кафена, в улице Экорт-Беде. За все эти услуги я потребовал права покинуть Лион. Вероятно, г. Дюбуа приходилось не раз попадаться на такие обманы, и я видел, что он не знает, что отвечать мне на мои предложения.

— Вы сомневаетесь в моей искренности, — сказал я, — неужели вы станете меня подозревать и тогда, если бы я, бежав на пути в тюрьму, вернулся бы к вам вашим пленником?

— Нет, — ответил он.

— В таком случае вы скоро меня увидите, если согласитесь не давать никаких особенных распоряжений моим надсмотрщикам.

Он уступил моей просьбе, и меня увели. Дойдя до угла улицы Лантерн, я повалил двух жандармов, державших меня под руки, и со всех ног пустился бежать в Отель-де-Виль, где нашел Дюбуа. Это неожиданное и быстрое появление удивило его. Уверенный в том, что впредь может рассчитывать на меня, он возвратил мне свободу.

На другой день я увидался с жидом, которого звали Видалем; он объявил мне, что «приятели» перебрались в другой дом, который он указал мне. Я отправился туда. Они знали о моем бегстве, но так как не могли подозревать моих сношений с генеральным комиссаром полиции и не знали, что мне известно, по чьей милости я был арестован, то приняли меня весьма дружелюбно. Из разговора я почерпнул о братьях Кинэ подробности, которые передал в ту же ночь г. Дюбуа; последний, убежденный в моей искренности, свел меня с генеральным секретарем полиции Гарнье. Я сообщил этому должностному лицу все необходимые сведения и должен сознаться, что он действовал с большим тактом и усердием.

За два дня перед обыском у Видаля, который предполагали сделать по моим указаниям, меня арестовали снова и препроводили в тюрьму Роанн, куда на другой день прибыли сам Видаль, Кафен, Неве, Каде Поль, Дешан и многие другие, которых забрали заодно. Вначале я не имел с ними сношений, так как счел благоразумным, чтобы меня посадили в секретную. По прошествии нескольких дней, когда я вышел оттуда и присоединился к остальным арестантам, я притворился крайне удивленным, встретив всю компанию в сборе. По-видимому, никто не имел ни малейшего понятия о роли, которую я разыгрывал в этих арестах; один Неве смотрел на меня с некоторым недоверием. Я спросил его о причине его отчужденности; он признался мне, что, судя по способу, которым его допрашивали и обыскивали, у него возникло подозрение, что доносчиком был я. Я прикинулся обиженным и, опасаясь, чтобы эти подозрения не сделались общими, собрал арестантов и сообщил им о предположениях Неве, спрашивая их, считают ли они меня способным продать товарищей. Все ответили отрицательно, и Неве принужден был извиниться передо мной. Для меня было весьма важно, чтобы подозрения на мой счет рассеялись

окончательно, так как в противном случае мне угрожала верная смерть. В Роанне не раз видели примеры самосуда между преступниками. Некто Муассель, обвиняемый в доносе по поводу покражи церковных принадлежностей, был убит во дворе, и никогда не удалось узнать в точности, кто был его убийцей. В другой раз, не так давно, один арестант, подозреваемый в подобном же поступке, был в одно прекрасное утро найден повешенным на оконной решетке. Все розыски по этому предмету остались тщетными.

Между тем г. Дюбуа снова призвал меня в свой кабинет, и, чтобы удалить все подозрения, меня повели с другими заключенными, как будто под видом допроса. Я вошел первым; генеральный комиссар сказал мне, что из Парижа только что прибыли в Лион несколько очень искусных воров, тем более опасных, что они снабжены бумагами в полном порядке и безопасно могут выжидать случая для выполнения какой-нибудь проделки, чтобы потом исчезнуть бесследно. Это были: Жалье, прозванный Бубанеком, Бутэ, названный Каде, Гарар, Бюшар, Малек, прозванный Шляпочником, Маркиз, или Золотая Рука, и многие другие, менее известные. Имена, под которыми они были мне означены, были для

меня совершенно незнакомы; я уведомил об этом Дюбуа, прибавив, что, весьма вероятно, имена эти фальшивые. Он хотел немедленно выпустить меня на волю, чтобы я мог видеть эти личности где-нибудь в общественном месте и убедиться, не случалось ли мне видеть их прежде. Но я на это возразил, что такое неожиданное освобождение может скомпрометировать меня перед заключенными, в случае если меня снова заключат в тюрьму. Это соображение нашли справедливым, и было условлено, что отыщут средство завтра выпустить меня, не возбуждая подозрений. Неве, находившийся в числе заключенных, подвергнутых допросу, был введен после меня в кабинет генерального комиссара. Через несколько минут он вышел оттуда красный и чем-то сильно взволнованный. Я спросил его, что случилось.

— Поверишь ли, — ответил он, — *любопытный* (комиссар) спросил меня, не хочу ли *скухторить* (продать) друзей, которые сюда явились из Парижа?.. Держи карман!.. Если на всех так рассчитывать, как на меня, то они могут быть уверены, что им удастся *ухрясть* (бежать).

— Ну уж не думал я, чтобы ты был таким олухом, — ответил я, быстро сообразив, что я могу извлечь выгоду из этого обстоятельства. — Вот я

так обещал скухторить «приятелей» и накинуть на них аркан.

— Как, неужели ты захочешь сделаться *поваром* (шпионом)? Да и к тому же — где тебе узнать их!

— Ничего, меня отпустят *гопать* (бродить) по улицам, и я найду случай дать стрекача, а ты все будешь здесь киснуть.

Неве, казалось, был поражен этой мыслью; он изъявил сильное сожаление, что отклонил предложение генерального комиссара, и так как я не мог обойтись без него, чтобы идти на поиски, то стал настойчиво просить его изменить свое первоначальное решение. Он согласился, и Дюбуа, которого я предупредил, приказал отвести нас в один вечер на площадь большого театра, потом в Селестен, где Неве указал мне всех субъектов. Затем мы снова удалились под эскортом полицейских агентов, не покидавших нас ни на минуту. Для успешного выполнения моего плана и чтобы не возбуждать подозрений, надо было, однако, сделать попытку, которая подтвердила бы по крайней мере надежду, которую я подал моему товарищу. Я сообщил ему свой план: проходя улицу Мерсиер, мы быстро юркнули в проход, захлопнув за собой дверь, и, пока агенты побежали к другому выходу, мы спокойно вышли, откуда

вошли. Когда они вернулись, пристыженные своей неловкостью, мы были уже далеко.

Два дня спустя Неве, который был уже не нужен полиции и который не мог подозревать меня, был арестован снова. Что касается меня, то, зная в лицо всех воров, которых хотели арестовать, я выдал их полицейским агентам в церкви Св. Низьера, где они собрались в одно прекрасное утро в надежде поживы при выходе народа. Полиция более во мне не нуждалась, и я отправился из Лиона в Париж, куда уверен был добраться беспрепятственно благодаря Дюбуа.

Я отправился в дилижансе по Бургундской дороге; в то время путешествовали только днем. В Люси-ле-Буа, где я переночевал с остальными путешественниками, меня позабыли в минуту отъезда, и, когда я проснулся, омнибус давным-давно уже отправился в путь. Я надеялся настигнуть его благодаря неисправности наших дорог, но, приближаясь к Сен-Брису, я убедился, что дилижанс ушел слишком далеко вперед и что мне невозможно нагнать его, поэтому я замедлил шаг. Какой-то человек, который шел по той же дороге, увидев, что я выбился из сил и обливаюсь потом, стал внимательно вглядываться в меня и спросил, не иду ли я из Люси-ле-Буа. Я ответил

ему, что действительно иду оттуда, и разговор на этом и покончился. Мой спутник остановился в Сен-Брисе, а я добрался до Оксерра. Измученный и усталый, я вошел в постоялый двор и, пообедав, поспешил лечь спать.

Я проспал уже несколько часов, как вдруг меня пробудил страшный шум у самых моих дверей. Стучали усиленно; я вскочил полуодетый и отворил дверь. Мои заспанные и слипшиеся глаза смутно различают трехцветные шарфы, желтые панталоны с красными лампасами. Это был полицейский комиссар в сопровождении вахмистра и двух жандармов; при этом виде я не мог совладать с первым впечатлением ужаса. «Вот видите, как он побледнел, — услышал я чей-то голос около меня. — Без всякого сомнения, это он…» Я поднял глаза и увидел того самого человека, который говорил со мною в Сен-Брисе, но ничто еще пока не объясняло мне мотива этого внезапного нападения.

— Будем рассматривать последовательно, — сказал комиссар. — Пять футов пять дюймов… верно; волосы белокурые… брови и борода таковые же… лоб обыкновенный… глаза серые… нос обыкновенный, рот средний… подбородок круглый… лицо полное… цвет лица румяный…

телосложение крепкое. Это, наверное, он. Синий сюртук, серые камлотовые штаны, белый жилет, черный галстук.

Это был приблизительно мой костюм.

— Ну, не говорил ли я вам, что это один из воров! — с видимым удовольствием заметил услужливый путеводитель сбиров.

Приметы вполне согласовались с моими, между тем я ничего не украл, но в моем щекотливом положении это могло возбудить во мне некоторое беспокойство. Может быть, это была просто ошибка, но может быть, тоже… Все присутствующие волновались вне себя от радости. «Эй вы, потише, — прикрикнул на них комиссар и продолжал, повернув лист: — Его легко можно узнать по итальянскому акценту, кроме того, большой палец его левой руки сильно поврежден выстрелом». Я стал говорить перед ними и показал свою левую руку, которая оказалась в полном порядке. Все присутствующие переглянулись, в особенности сконфузился человек из Сен-Бриса; что касается меня, то я почувствовал, что с меня свалилось страшное бремя. Комиссар, которого я расспросил в свою очередь, сообщил, что в предыдущую ночь в Сен-Брисе была совершена значительная покража. В участии подозревали одну личность,

одетую в платье, похожее на мое, и, кроме того, у нас с ним были совершенно одинаковые приметы. Этому странному стечению обстоятельств я был обязан таким приятным визитом. Передо мной рассыпались в извинениях, на которые я ответил благосклонно, а в душе был счастлив, что мне удалось так легко отделаться. Однако, опасаясь новой катастрофы, я в тот же вечер сел в повозку, которая довезла меня до Парижа, откуда я поспешно направился в Аррас.

Глава пятнадцатая

Пребывание в Аррасе. – Переодевания. – Мнимый австрияк. – Отъезд. – Пребывание в Руане. – Арест

По различным, весьма понятным причинам я не мог прямо отправиться в дом своих родителей и остановился у одной из своих теток, которая сообщила мне о смерти моего отца. Это печальное известие вскоре подтвердила мне моя мать, принявшая меня с нежностью, составляющей резкий контраст с ужасным обращением, которому я подвергался за последние два года. Она сильно желала оставить меня при себе, с условием, чтобы я как можно тщательнее скрывался. Я на это согласился и в течение трех месяцев даже не переступал порога дома. Наконец я стал тяготиться этим постоянным затворничеством и осмелился выходить на улицу, переодевшись в разные костюмы. Я уж думал, что меня никто не узнает, как вдруг распространился слух, что я нахожусь в городе; вся полиция была поставлена на ноги, ежеминутно мою мать беспокоили непрошеные

гости, но им все не удавалось открыть моего убежища. Нельзя сказать, чтобы мой тайник был особенно тесен: он имел от десяти до шести футов ширины, но я так отлично скрыл вход в него, что один господин, купивший впоследствии дом, прожил в нем целые годы, не подозревая о существовании потаенной комнаты; может быть, он и до сих пор не знал бы о ней, если бы я не навел его на это открытие.

Имея верное убежище, где я был убежден, что никто не найдет меня, я скоро снова предпринял свои обычные экскурсии. В один прекрасный день — это было в Чистый понедельник — я даже имел дерзость появиться на балу Сен-Жака, на котором собралось до двухсот человек. Я был костюмирован в маркиза; одна женщина, с которой я когда-то был в связи, узнала меня и сообщила о своем открытии другой женщине, имевшей причины жаловаться на меня, так что в какие-нибудь четверть часа все узнали, под каким костюмом скрывается Видок. Слух об этом коснулся ушей двух городовых, Дельрю и Карпантье, приставленных для охранения порядка у дверей. Первый, приблизившись ко мне, шепотом сказал мне, что желает сказать мне несколько слов наедине. Я вышел, так как делать скандал было бы опасно.

Сойдя во двор, Дельрю спросил меня мое имя. Я не стеснялся назвать ему первое попавшееся мне на язык, вежливо предложив ему снять маску, если он этого пожелает.

— Я этого не требую, — сказал он, — однако я не прочь был бы взглянуть на вас.

— В таком случае, — возразил я, — будьте так любезны, развяжите позади шнурки маски, они немного запутались.

Полный доверия, Дельрю принялся исполнять мою просьбу, в то же мгновение я повалил его на землю резким движением и ударом кулака сшиб с ног его товарища. Не успели они подняться на ноги, как я уже был далеко — по направлению к заставе, надеясь скоро выбраться за город. Но едва успел я сделать несколько шагов, как увидел, что попал случайно в глухую улицу, загороженную за последнее время, когда меня не было в Аррасе.

Пока я раздумывал о своей неудаче, стук подкованных сапог возвестил мне о приближении сержантов, поспешивших мне вослед, — скоро я их увидел, приближающихся с саблями наголо. Я был безоружен. Схватив у ворот большой ключ и делая вид, будто это пистолет, я прицелился в них, принуждая дать мне дорогу. «Проваливай живей, Франсуа», — сказал мне Карпантье из-

менившимся от испуга голосом. Я не заставил себя повторять это позволение и через несколько минут уже находился в своей келье. Приключение это наделало шума, несмотря на старания сержантов скрыть свое храброе поведение. Что было всего досаднее для меня — это то, что власти удвоили бдительность до такой степени, что выходить я не имел никакой возможности. Я оставался взаперти в четырех стенах в продолжение двух месяцев, показавшихся мне целыми годами. Наконец, выведенный из терпения, я решился покинуть Аррас. Меня снабдили кружевами на продажу, и в одну прекрасную ночь я удалился с паспортом, который одолжил мне один знакомый, некто Блондель. Приметы его не подходили ко мне ни в каком случае, но за неимением лучшего приходилось удовольствоваться этим. К тому же на пути мне не делали никаких затруднений. Наконец я прибыл в Париж, по дороге стараясь сбыть свои товары; в то же время я косвенными путями хлопотал о том, как бы мне добиться рассмотрения вновь моего процесса. Я узнал, что для этого мне прежде всего следует снова передать себя в руки правосудия, но я никак не мог решиться снова прийти в соприкосновение со злодеями, которых слишком хорошо

оценил. Меня не страшило заключение, я охотно оставался бы в четырех стенах, в доказательство этого я ходатайствовал перед министерством, чтобы мне позволили высидеть мой срок в Аррасе, в сумасшедшем доме. Но мое ходатайство было оставлено без последствий.

Между тем все мои кружева были распроданы, но барыша я получил слишком мало, чтобы можно было впредь существовать этой торговлей. Один странствующий разносчик, живший в той же гостинице и которому я описал свое затруднительное положение, предложил мне поступить к одной торговке мелочными товарами, разъезжающей по ярмаркам. Мне удалось поступить на это место, но я занимал его всего десять месяцев: кое-какие неприятности по службе заставили меня расстаться со своей хозяйкой и еще раз вернуться в Аррас.

Там я не замедлил возобновить снова свои ночные экспедиции. В одном доме у моих знакомых часто бывала дочь жандарма. Мне пришло на мысль воспользоваться этим обстоятельством, чтобы заранее узнавать, что́ против меня замышляют. Жандармская дочка не знала меня в лицо, но так как в Аррасе я служил предметом постоянных толков, то случалось, что она упоминала обо

мне в довольно странных выражениях.

— О, — сказала она, — кончится тем, что изловят этого мошенника. Во-первых, наш лейтенант, — (Дюмортье, в настоящее время полицейский комиссар в Абвиле), — уж очень на него зол и не захочет оставить его гулять на воле; даю голову на отсечение, что он охотно пожертвовал бы своим дневным содержанием, чтобы наконец пришпилить его.

— Если б я был на месте вашего лейтенанта, — возразил я, — и если бы мне действительно так хотелось изловить Видока, то от меня он уж не удрал бы.

— Ну, этого не говорите! Он всегда вооружен с головы до пят. Вы, я думаю, слыхали, что он два раза выстрелил из пистолета в Дельрю и Карпантье… И потом, это еще не все, — знаете ли, он, когда хочет, превращается в охапку сена.

— Как так? Может ли это быть… в охапку сена? — воскликнул я, удивленный новой способностью, которую мне приписывали. — Каким же это образом?

— А вот каким. Однажды мой отец преследовал его, и в ту минуту, как он уже хотел схватить его за шиворот, у него в руках очутилась охапка сена. Нечего тут и сомневаться, вся бригада видела,

как это сено сожгли на казарменном дворе.

Я не мог понять, что все это значило. Потом только разъяснилось, что гг. агенты, отчаявшись овладеть мною, распустили эту сказку среди суеверных артезианцев. Для этой же цели они старались распространить убеждение, что я оборотень, таинственное появление которого наводило ужас на всех богобоязненных жителей. К счастью, этого страха не разделяли некоторые хорошенькие женщины, чувствовавшие ко мне участие, и если бы не случилось так, что одною из них овладел демон ревности, то, наверное, власти еще надолго оставили бы меня в покое. Женщина эта, озлобленная на меня, выдала меня полиции, которая уже было совершенно упустила меня из виду.

В одну прекрасную ночь, когда я спокойно возвращался домой по улице Амьен, вооруженный одной только палкой, на меня внезапно напали около моста несколько каких-то людей. Это были переодетые городские сержанты; они схватили меня за полы платья и уже уверены были, что им удастся овладеть мною, как вдруг ловким и сильным ударом я высвободился от них, вскочил на перила и бросился в воду. Это было в декабре месяце; вода была высока, течение бурное; ни

одному из сержантов не было охоты следовать за мною, к тому же они полагали, что если пойдут ждать меня на берегу, то я не ускользну от них, но не тут-то было, я попал в водосточную трубу, и ожидания их рушились. Они всё еще ждали меня на берегу, а я давным-давно сидел в доме матери.

Ежедневно я подвергался новым опасностям, и с каждым днем мне следовало бы принимать новые предосторожности для своего спасения; но, однако, по своему обыкновению, я утомился этой полусвободой; одно время я находился под крылышком монахинь в улице ***, но вскоре я стал мечтать о возможности показываться в публике. В то время в Аррасской цитадели находилось несколько пленных австрияков, оттуда они выходили для работ у буржуа или в окрестных селениях. Мне пришло в голову, что я могу извлечь для себя пользу из присутствия этих иностранцев. Так как я говорил по-немецки, то и завязал разговор с одним из них, и мне удалось внушить ему некоторое доверие, так что наконец он сознался мне, что намерен бежать… Этот план согласовался с моими видами; пленного очень стесняло его платье, я предложил ему свое взамен его одежды, и за небольшую цену он с удовольствием согласился уступить мне свои

документы. С этой минуты я превратился в настоящего австрияка даже в глазах других пленных, которые, принадлежа к различным корпусам, не знали друг друга.

В этом новом звании я сошелся с молодой вдовой, содержавшей мелочную лавочку: она уговорила меня поселиться у нее, и скоро мы с ней вдвоем стали странствовать по всем ярмаркам и рынкам. Конечно, я мог помогать ей не иначе, как объясняясь с иностранцами на понятном диалекте, поэтому я измыслил себе особый жаргон — полунемецкий, полуфранцузский, который все понимали как нельзя лучше и с которым я свыкся до того, что почти забыл о том, что знал другие языки. Таким образом, иллюзия была до того полная, что моя вдовица после сожительства, продолжавшегося четыре месяца, не имела насчет меня ни малейшего подозрения. Но она была со мной так мила и искренна, что мне невозможно было долее обманывать ее. Я признался ей, кто я таков, и мое признание чрезвычайно удивило ее, нисколько, однако, не повредив мне в ее глазах, напротив — наша связь сделалась еще теснее, так как известно, что женщины обожают таинственность и приключения! И к тому же разве не имеют они слабости к

негодяям? Никто лучше меня не мог убедиться, что часто женщины являются Провидением для беглых каторжников и арестантов.

Протекло одиннадцать месяцев в полном спокойствии и безмятежности. Меня привыкли видеть в городе, мои частые встречи с полицейскими агентами, не обращавшими на меня ни малейшего внимания, еще более убеждали меня, что моему благополучию не будет конца. Но вот однажды, когда мы спокойно обедали в каморке за лавкой, за стеклянной дверью внезапно показались три фигуры жандармов; суповая ложка выпала у меня из рук. Но, быстро придя в себя от изумления и ужаса, я бросился к двери, запер ее задвижкой и, выпрыгнув в окно, полез на чердак, а оттуда по крышам соседних домов поспешно спустился по лестнице, ведущей на улицу. Подбегаю к двери — она охраняется двумя жандармами… К счастью, это были вновь прибывшие, которые не знали меня. «Ступайте скорее наверх, — сказал я, — бригадир уже поймал молодца, а вас ждет на подмогу… Человек-то отбивается изо всех сил, а я пойду за солдатами!» Оба жандарма послушались меня и побежали наверх.

Было ясно, что меня продали полиции; моя

подруга не была способна на такую низость, но, вероятно, она проболталась. Следовало ли мне оставаться в Аррасе теперь, когда меня имеет в виду полиция? По крайней мере, я должен был не выходить из своего убежища. Но я не мог решиться вести такую жалкую жизнь и вознамерился покинуть город. Моя сожительница во что бы то ни стало хотела последовать за мной, я согласился, и скоро все товары были уложены и упакованы. Мы отправились вместе, и, как это всегда водится, полиция узнала об этом последняя. Почему-то предположили, что мы непременно отправились в Бельгию, как бы в единственную страну убежища, и в то время, как за нами пустились в погоню по направлению к старой границе, мы преспокойно подвигались к Нормандии проселочными дорогами, которые моя спутница твердо знала благодаря своим прежним странствованиям.

Мы решились остановиться на жительство в Руане. Прибыв туда, я имел при себе паспорт Блонделя, который я достал в Аррасе; но обозначенные в нем приметы до того не согласовывались с моими, что мне необходимо было позаботиться о своих бумагах.

Надо было для этого провести зоркую и подо-

зрительную полицию, сделавшуюся тем более бдительной, что эмигранты перебирались в Англию через Нормандию. Вот что я выдумал. Отправившись в городскую думу, я прописал свой паспорт в Гавр. Обыкновенно штемпель довольно легко получить — достаточно только, чтобы паспорт не был просроченным, а мой был в порядке. Исполнив эту формальность, я вышел; две минуты спустя я вернулся в бюро и спросил, не находили ли портфеля… никто не мог мне ничего сказать. Тогда я притворился, что в отчаянии: спешные дела заставляют меня ехать в Гавр, ехать я должен в тот же вечер, а паспорта нет.

— Об этом не стоит беспокоиться, — сказал мне один чиновник, — вам можно выдать паспорт по дубликату, справившись с реестром прописок.

Мне только этого и хотелось; имя Блонделя за мной оставили, но, по крайней мере, на этот раз обозначенные в паспорте приметы соответствовали моим. Чтобы довершить свой фокус, я не только действительно уехал в Гавр, но и афишировал о пропаже портфеля, между тем как я просто передал его своей любовнице.

Благодаря этому маленькому маневру мои дела поправились; снабженному превосходными документами, мне оставалось только вести добро-

порядочную жизнь — на это я серьезно решился. Вследствие этого я нанял в улице Мартэнвиль лавку для торговли шапками и мелочными швейными принадлежностями, и дела пошли так успешно, что моя мать решилась приехать к нам на жительство. В течение целого года я был истинно счастлив; моя торговля расширялась, мои связи также, основывался некоторый кредит, и многие руанские банки помнят, что имя Блонделя пользовалось некоторым почетом. Наконец-то после стольких бурь и перипетий я надеялся, что достиг гавани, как вдруг неожиданное событие открыло собою целую серию превратностей… Торговка, с которой я жил, — женщина, давшая мне самые лучшие доказательства любви и преданности, — осмелилась увлечься другим и изменить мне. Мне не хотелось даже замечать этой неверности, но преступление было слишком явно: преступница не имела даже возможности оправдаться. В прежнее время я не вынес бы такого оскорбления, не выказав своего справедливого гнева… Но со временем все изменилось. Ясно убедившись в своем несчастье, я хладнокровно потребовал немедленного развода; ни мольбы, ни обещания, ни слёзы — ничто не могло поколебать меня, я был неумолим. Конечно,

я мог бы простить изменнице, хотя бы из одной благодарности; но кто мог мне поручиться в том, что моя благодетельница порвет связь с моим соперником? Разве не мог я ожидать, что в минуту откровенности она проболтается и выдаст меня? Поэтому мы разделили поровну все товары, и моя подруга рассталась со мной. С этой поры я никогда более не слышал о ней.

После этого приключения, наделавшего шуму, Руан мне окончательно опостылел; я снова принялся за свое прежнее ремесло странствующего торговца. Мои странствования ограничивались округами Мантским, Сен-Жерменским и Версальским, где я в короткое время приобрел отличную практику; мои заработки стали так значительны, что я мог нанять в Версале, в улице Фонтен, магазин с небольшой квартирой, в которой жила моя мать во время моих отлучек. Я вел в то время безукоризненную жизнь и пользовался повсеместно уважением. Наконец-то, думал я, мне удалось освободиться от злого рока, упорно преследовавшего меня; но вдруг на меня донес один товарищ детства, мстивший мне за ссоры, которые когда-то были между нами, и я снова был арестован на ярмарке в Манте. Хотя я упорно утверждал, что я не Видок, а Блондель, как значилось у меня

в паспорте, но меня все-таки препроводили в Сен-Дени, а оттуда в Дуэ. По исключительному вниманию, которое мне оказывали, и стараниям помешать мне бежать, я догадался, что был особенно *рекомендован*; взгляд, брошенный мною на инструкции жандармерии, доказал мне, что я не ошибся. Вот в каких выражениях было обо мне упомянуто.

Особенный надзор

Видок (Эжен-Франсуа), заочно приговоренный к смертной казни. Субъект этот чрезвычайно предприимчив и опасен.

Итак, чтобы не ослабить ни на минуту бдительность моих сторожей, меня представляли каким-то ужасным преступником. Меня отправили из Сен-Дени в телеге, связанного по рукам и ногам, так что я не мог сделать ни одного движения, и от самого Лувра эскорт ни на минуту не выпускал меня из виду. Все эти меры заставляли предвидеть в будущем необычайную строгость, которую мне необходимо было предупредить. Собрав снова всю свою энергию, я стал измышлять план спасения. Нас препроводили в Луврскую колокольню, преобразованную в тюрьму; я велел принести два тюфяка, одеяло, две простыни, которые, разрезанные и сплетенные, могли помочь нам спуститься вниз на кладбище. Одна из перекладин решетки была перепилена ножами трех дезертиров, заключенных вместе с нами, и в два часа ночи я рискнул спуститься первым. Добравшись до конца веревки, я заметил, что

она слишком коротка и футов на пятнадцать не достигает до земли, но медлить было невозможно, и я прыгнул на землю. Так как еще при своем падении под окнами Лилля я повредил себе ногу, то мне почти невозможно было ходить; я старался, однако, перелезть через кладбищенскую ограду, как вдруг услышал звук ключа, повернутого в замке. Это были тюремщик и его собака, но ни тот ни другой не обладали тонким чутьем; тюремщик прошел мимо веревки, не заметив ее, а его пес — у самого рва, где я приютился, не почуяв меня. Окончив свой обход, они удалились; я думал, что мои товарищи по заключению последуют моему примеру, но никто не появлялся. Я перелез через ограду и очутился в поле. Боль в ноге усиливалась постепенно и становилась невыносимой… Однако я преодолевал свои страдания, мужество придало мне сил, и я зашагал довольно скоро. Я уже прошел около полумили, как вдруг услышал набат. Это было около половины мая. При первых лучах солнца я увидел нескольких вооруженных поселян, вышедших из своих домов в поле; вероятно, они не знали, в чем дело, но моя поврежденная нога была опасной приметой, которая могла навлечь на меня подозрения: я был для них лицом

незнакомым, — понятно, что каждый встречный захочет убедиться на всякий случай, кто я такой… Если б я был совсем здоров, то я преодолел бы все трудности, но теперь мне оставалось только сдаться. Едва успел я сделать двести шагов далее, как был настигнут жандармами, бродившими по окрестностям; снова пришлось мне вернуться на проклятую колокольню.

Печальный исход этой попытки не отнял у меня мужества.

В Булони нас поместили в крепость, в старую залу. Нас охранял всего один часовой — стоял он невдалеке от окна, на таком расстоянии, что заключенные могли разговаривать с ним. Я это и сделал. Солдат, к которому я обратился, показался мне человеком покладистым, и я вообразил, что его легко будет подкупить… Я предложил ему пятьдесят франков, чтобы он только позволил мне бежать в то время, пока он будет стоять на часах. Вначале он отказался, но потом по его нерешительному голосу, потупленным глазам я догадался, что ему очень хочется получить деньги, но он еще не смеет решиться. Чтобы придать ему мужества, я увеличил сумму и показал ему три луидора. Он ответил мне, что готов содействовать нам, и сообщил мне, что его очередь

наступит в полночь. Сговорившись, я начал приготовления; стена была пробита так, чтобы мы имели возможность пролезть, — оставалось только выждать удобного момента. Наконец пробило полночь, наш солдат объявил нам, что он тут. Я вручил ему обещанные три луидора и стал торопиться со своими приготовлениями. Когда все было готово, я крикнул ему:

— Пора, что ли?

— Да, поторопитесь, — ответил он после минутного колебания.

Мне показалось странным это колебание, и у меня промелькнуло в голове, что дело не совсем чисто. Я навострил уши и услышал чьи-то шаги; при лунном свете я различил тень людских фигур: без всякого сомнения, нам изменили. Однако, подумал я, может быть, я слишком поспешил с заключением. Чтобы вполне убедиться в истине, я взял соломы, наскоро сделал из нее чучело и спустил через проделанное нами отверстие. В то же мгновение могучий удар саблей в солому доказал нам, что не всегда можно доверяться искренности часовых. В одну минуту вся тюрьма наполнилась жандармами; составили протокол; нас подвергли допросу. Я объявил, что заплатил три луидора, но часовой стал отпираться изо всех

сил. Я настаивал на своем показании. Обыскав его, нашли деньги спрятанными в сапоги, за что он был посажен под арест.

Что касается нас, то нас осыпали угрозами, но так как наказать не имели права, то ограничились тем, что удвоили за нами надзор. Бежать не было никакой возможности, разве только воспользовавшись каким-нибудь исключительным случаем; случай этот представился ранее, нежели я ожидал. Это было накануне нашего отправления, и мы собрались во дворе казармы, где была толкотня и беспорядок, — дело в том, что прибыл новый транспорт арестантов да, кроме того, отряд новобранцев, отправлявшийся в Булонский лагерь. Пока начальство пересчитывало своих людей, я украдкой проскользнул вовнутрь багажной повозки, выезжавшей из ворот. Таким образом я проехал по всему городу, лежа неподвижно, стараясь сократиться насколько мог. За городом мне оставалось только бежать. Улучив минуту, когда мой возница зашел в кабак промочить горло, я выскочил из повозки, облегчив лошадей от излишнего груза, которого никто не подозревал. Пока было светло, я скрывался в поле, засеянном репой; когда наступила ночь, я вышел из своего убежища и старался ориентироваться.

Глава шестнадцатая

Булонский лагерь. – Встреча. – Вербовщики при старых порядках. – Бель-Роз

Я направился через Пикардию в Булонь. В это время Наполеон, отказавшись от своего первоначального плана высадиться в Англии, отправился со своей могущественной армией воевать с Австрией, но оставил на берегах Ла-Манша многочисленные батальоны. В обоих лагерях, в правом и левом, находились депо оружия и запасы почти всей армии и солдаты всех возможных европейских национальностей: итальянцы, пьемонтцы, голландцы, швейцарцы, были даже ирландцы.

Мундиры поражали своей пестротой и разнородностью. Для меня это было выгодно, и благодаря этой пестроте я удобнее мог стушеваться… Однако, поразмыслив, я нашел, что в военном мундире мне не так легко будет скрыться. Одно время мне пришла в голову мысль поступить на действительную службу. Но дело в том, что, чтобы определиться в известный полк, надо предъявить

бумаги, а их-то у меня не было. Поэтому я отказался от этого намерения. Между тем пребывание в Булони становилось небезопасным, пока я не нашел возможности куда-нибудь пристроиться.

В один прекрасный день, когда я тревожился более обыкновенного и решительно тяготился своей особой, я встретил на площади города сержанта морской артиллерии, с которым имел случай видеться в Париже; он был мне земляк, такой же артезианец, как и я. Еще с детства его определили на правительственное судно, и он почти всю свою жизнь провел в колониях. Он давно не был в нашем краю и ничего не знал о моей судьбе и моих неудачах. Считая меня за веселого малого, он составил себе высокое понятие о моей храбрости и отваге благодаря некоторым приключениям в кабаке, причем я имел случай кстати помочь ему.

— Так это ты, дружище! — сказал он мне. — Как ты попал в Булонь?

— Да вот, земляк, хочу пристроиться к армии.

— А, ты ищешь должности; знаешь ли что, дружище, теперь чертовски трудно пристроиться! Но вот что — если бы ты послушался моего совета… Впрочем, здесь не место объясняться, пойдем-ка к Галанду.

Мы отправились в скромный винный погребок на одном из углов площади.

— Здорово, парижанин! — закричал сержант погребщику.

— Здравствуйте, дядюшка Дюфайльи, чем могу служить вам? Водочки, послаще или покрепче?

— Черт возьми, Галанд, за кого ты нас принимаешь? Подай нам чего-нибудь получше, да вина подороже, слышишь ли?

Потом, обращаясь ко мне, он сказал: «Не правда ли, старина, мы ведь друзья с тобой?» — и, хлопнув меня по ладони, он увлек в комнату, где Галанд принимал своих почетных гостей.

У меня разыгрался аппетит, и я не без удовольствия наблюдал за приготовлениями к обеду. Женщина, от 25 до 30 лет, которая по росту, виду и обращению напоминала тех существ, которые способны осчастливить целый гвардейский корпус, пришла накрывать на стол: она была уроженка Люттиха, живая, веселая, болтала на своем деревенском наречии, кстати и некстати отпуская грубые шутки, заставлявшие смеяться сержанта, который был в восторге от ее остроумия.

— Это невестка хозяина, — сообщил он, — хороша ведь, черт возьми! Пухла как подушка, кругла

как кубышка, — молодец девка, просто сердце радуется!

Дюфайльи заигрывал с нею с грубостью истого матроса, сажая ее к себе на колени и влепляя в ее лоснящиеся щеки звучные и нескромные поцелуи.

Признаюсь, я с неудовольствием наблюдал за этими проделками, которые замедляли наш обед, как вдруг мадемуазель Жаннетта (так звали невестку Галанда) быстро вырвалась из объятий моего приятеля и скоро вернулась с жареной индейкой, щедро приправленной горчичным соусом, и поставила перед нами блюдо и две бутылки.

— Вот это славно! — воскликнул сержант. — По крайней мере, есть чем червячка заморить! Сначала справимся со всем этим, а потом увидим; ведь здесь все в нашем распоряжении, стоит только глазом моргнуть. Не правда ли, мадемуазель Жаннетта? Да, приятель, — прибавил он, — я здесь хозяин.

Я его поздравил с таким счастьем, и мы оба с жадностью набросились на еду и питье. Мне давно уже не случалось так хорошо поесть, и я не терял времени понапрасну. Много бутылок было опорожнено; мы уже приготовились раскупори-

вать, кажется, седьмую, когда сержант вышел на минуту и тотчас же вернулся с двумя новыми собутыльниками — фурьером и фельдфебелем.

— Тысяча чертей! Я люблю общество, — крикнул Дюфайльи, — и вот я завербовал, земляк, двух новых рекрутов, в этом я кое-что смыслю — спроси-ка лучше у этих господ.

— О, это сущая правда, — подтвердил фурьер, — ему принадлежит пальма, нашему старичку Дюфайльи, что касается того, чтобы проводить да надувать рекрутов! Как подумаешь, ведь надо же быть дураками, чтобы попадаться в такой просак.

— А, ты все еще этого не позабыл?



— Как позабыть, старина, — помню, и фельдфебель тоже, ведь ты догадался его пригласить в качестве нотариуса!

— Ну что же, разве он не сделал себе карьеру, и, черт возьми, не в тысячу ли раз лучше быть первым счетоводом в канонирской роте, нежели бумагомарателем в какой-нибудь канцелярии?

Что ты на это скажешь, фурьер?

— Я с вами согласен, впрочем…

— Впрочем, впрочем… Ты, может быть, еще захочешь уверить меня, что тебе лучше было, когда ты ни свет ни заря должен был брать лейку и надсаживаться, поливать свои тюльпаны. Помнишь, мы тогда должны были отправиться из Бреста на «Juviucible»; ты соглашался ехать не иначе как в качестве садовника. Ну что ж, за чем же дело стало, сказал я тебе; ладно, будь садовником. Капитан любил цветы; у каждого свое ремесло, у меня тоже свое ремесло было. Ты мне и теперь живо представляешься — каким ты был тогда; и вдруг, вместо того чтобы заставить тебя ухаживать за морскими растениями, как ты ожидал, тебя послали маневрировать на вантах, и когда тебе надо было зажечь фитиль мортиры на бомбардирском судне, вот букет-то был! Но что об этом толковать, лучше выпьем глоток-другой. Ну-ка, земляк, подливай же вина товарищам!

Я взял на себя обязанность угощать публику и разливать в стаканы.

— Ты видишь, — сказал мне сержант, — что они на меня больше не сердятся, и теперь мы все трое друзья каких мало. И говорить нечего: я славно поднадул их; но все это вздор, мы, морские вер-

бовщики, — ангелы в сравнении с вербовщиками при старых порядках; у вас еще на губах молоко не обсохло, и вы не можете помнить Бель-Роза. Вот то был ловкая шельма! Как видите, я не был простачком, а ведь ему удалось скрутить меня как нельзя лучше. Мне помнится, я когда-то вам об этом рассказывал, но на всякий случай расскажу еще раз для земляка.

При старых порядках, видите ли, у нас были колонии Иль-де-Франс, Бурбон, Мартиника, Гваделупа, Сенегал, Гвиана, Луизиана, Сан-Доминго и другие. Теперь все это исчезло, у нас остался остров Оверон. Это немного больше, нежели ничего, или, так сказать, pied a terre, в ожидании лучшего. Все это мы могли бы приобрести десантом. Но что делать! О десанте нечего и думать, это дело решенное: флотилия сгниет в гавани, а доски пойдут на топливо. Но я вижу, что я делаю галс и плыву по ветру. Возвращаюсь же к Бель-Розу, ведь, кажется, о нем я начал вам рассказывать. Как я уже сказал вам, этот малый был не промах, а в то время молодые люди не были такими шустрыми, как теперь.

Я покинул Аррас четырнадцати лет, пробыв шесть месяцев в Париже учеником у ружейного мастера; однажды утром хозяин послал меня

отнести к полковнику карабинеров, который жил на Королевской площади, пару пистолетов. Я проворно исполнил поручение, но, к несчастью, эти проклятые пистолеты должны были доставить в хозяйскую кассу 18 франков. Полковник отсчитал мне деньги и отпустил меня. До сих пор все шло как по маслу, но тут-то случилась зацепка. Перехожу через улицу Пеликана, слышу — кто-то стучится в окно. Я воображаю, что какой-нибудь знакомый, подымаю голову, и что же вижу? Какая-то красотка стояла у окна, более светлого и опрятного, нежели остальные, и знаками, сопровождаемыми любезной улыбкой, приглашала меня войти. Она была похожа на подвижную картинку в рамке. Прелестная талия, кожа ослепительной белизны, и ко всему этому — очаровательное личико. Этого было достаточно, чтобы воспламенить меня. Ураганом вбегаю на лестницу, меня вводят к женщине. Мои глаза не обманули меня — это было божество.

— Подойди ко мне, голубчик, — сказала она, слегка трепля меня по щеке, — ты ведь угостишь меня, не правда ли?

Я дрожащей рукой ощупываю карманы и вытаскиваю деньги, полученные от полковника.

— Клянусь честью, молодчик, да ведь ты, ка-

жется, из Пикардии! Так я тебе землячка: ведь ты не пожалеешь стакана вина для своей землячки!

Она просила так мило, у меня не было духу отказать ей: 18 франков полковника были початы — за одним стаканом обыкновенно следует второй, потом третий и четвертый, так что в конце концов я опьянел.

Наступила ночь, и не знаю, как это случилось, но я проснулся на улице, распростертый на каменной скамейке, у ворот гостиницы Фермы…

Я немало удивился, оглянувшись вокруг, но еще более удивился, когда освидетельствовал свои карманы… птички-то улетели…

Была ли возможность вернуться к хозяину? Куда деваться? Я решился прогуляться взад и вперед в ожидании рассвета. У меня была одна цель — убить время или, вернее, забыться после первого своего проступка. Я машинально направил шаги к рынку «Junoceuts». «Вот и доверяйтесь после этого землякам! — говорил я сам себе. — Никому не желаю быть в моей шкуре». Еще если б у меня осталось хоть немного денег…

Признаюсь, что в эту минуту мне приходили на ум престранные мысли… Мне часто случалось читать на уличных афишках: «Утерян бумажник», причем обещалось вознаграждение в несколько

тысяч франков нашедшему.

Я вообразил себе, что найду такой бумажник, и шел, тщательно рассматривая мостовую, как человек, который чего-то ищет; я был серьезно занят мыслью о такой счастливой находке, как вдруг был выведен из своей задумчивости сильным ударом по спине.

— Здорово, Каде, что ты тут делаешь в такую рань?

— А, это ты, Фанфан, какими судьбами ты попал в этот квартал в такой ранний час?

Фанфан был подмастерьем у пирожника, и я с ним познакомился в Поршероне. В нескольких словах он успел рассказать мне, что вот уже целую неделю, как бежал от своего хлебопека, что у него есть любовница, которая дает ему средства к жизни; в настоящую же минуту он очутился без пристанища, потому что приятелю его милой пришло в голову посетить ее. «Впрочем, — прибавил он, — мне и горя мало. Если мне случается провести ночь в Мышеловке (Souriciere), то утром я возвращаюсь домой и стараюсь наверстать, что потерял».

Фанфан-пирожник показался мне малым проворным и ловким; мне пришло в голову — уж не может ли он указать мне средство выйти из

затруднения, и я рассказал ему про свое горе.

— Только-то! — ответил он. — Послушай, приходи часов в двенадцать в кабачок у заставы Сержантов, я, может быть, подам тебе добрый совет. Во всяком случае, мы позавтракаем вместе.

Я аккуратно явился на свидание в назначенный час. Фанфан не заставил себя долго ждать — он пришел даже прежде меня. Едва успел я войти, как меня повели в отдельную комнату, где я очутился за столом перед полной корзиной устриц и в соседстве двух женщин. Одна из них, увидев меня, разразилась громким смехом.

— Что с ней такое? — удивился Фанфан.

— Прости господи, да ведь это мой «земляк»!

— Это *землячка*! — воскликнул я в свою очередь, немного сконфуженный.

— Да, мой котенок, это я, твоя землячка.

Я хотел было пожаловаться на скверную шутку, которую она со мной сыграла накануне. Но она, обнимая Фанфана, которого называла своим *кроликом,* принялась смеяться еще громче, и я решил, что лучше всего мужественно покориться своей участи.

— Вот видишь ли, — сказал Фанфан, наливая мне стакан белого вина и подавая дюжину устриц, — никогда не следует отчаиваться — по-

росенок уже жарится на вертеле. Ты ведь любишь поросенка?

Я не успел ответить на его вопрос, как поросенок был уже на столе. Аппетит, с которым я принялся уплетать это кушанье, сам собою отвечал на вопрос Фанфана, так что ему не пришлось переспрашивать меня. Скоро шабли окончательно развеселил меня; я позабыл все свои неприятности, гнев своего хозяина, которого я так опасался, и так как подруга моей землячки пришлась мне по сердцу, то я поспешил объясниться ей в любви.

— Итак, ты любишь меня? — сказала Фаншетта (так звали девушку).

— Люблю ли я тебя! Нечего и спрашивать.

— Ну так и женитесь, — закричал Фанфан, — мы вас повенчаем. Я тебя благословляю, слышишь ли, Каде? Ну, поцелуйтесь же!

И Фанфан, схватив нас обоих за головы, сблизил наши лица.

— Бедный малютка! — воскликнула Фаншетта, целуя меня еще раз, уже по собственному желанию. — Будь покоен, ты мной будешь доволен!

Я был на седьмом небе и провел день восхитительно. Я начал новую жизнь. Фаншетта гордилась тем, что нашла ученика, которому

шли впрок ее уроки; за то она щедро награждала меня.

В это время только что собрались нотабли. Нотабли были жирные птицы, Фаншетта ловко обчищала их, а потом мы сообща пользовались добычей. Каждый день у нас шел пир горой! Уж как же они нас кормили, эти нотабли, и не рассказать! Не считая того, что у меня карманы были всегда полны денег, Фаншетта и я ни в чем не отказывали себе: но часы счастья коротки… Увы, слишком даже коротки! Едва успел пройти месяц нашей развеселой жизни, как Фаншетта и моя землячка были арестованы и препровождены в острог. В чем они провинились? — этого я не знал: но так как злые языки толковали об исчезновении дорогих часов с репетицией, то я вовсе не имел желания познакомиться с начальником полиции и счел благоразумным ни к кому не обращаться за разъяснениями.

Этот арест был для нас неожиданным ударом; Фанфан и я были как громом поражены. Фаншетта была такая добренькая девочка! Что нам было делать, средств никаких нет — котел опрокинут: прощайте, устрицы, прощай, шабли, не придется нам больше кататься как сыр в масле. Не лучше ли было бы для меня не бросать своего молота?

Фанфан со своей стороны стал жалеть о своих пирожках.

Погруженные в печальные размышления, мы медленно подвигались по набережной Феррайль, как вдруг нас пробудил звук военной музыки — два кларнета, барабан и цимбалы. Вокруг этого оркестра собралась густая толпа зевак. Музыканты помещались на телеге, над ними развевался пестрый флаг и разноцветные султаны. Когда музыканты перестали играть, барабан забил дробь. Какой-то господин, в мундире с галуном по всем швам, встал и обратился к публике с речью, показывая на большую карту, на которой был намалеван солдат в мундире.

— С соизволения его величества я пришел объяснить подданным французского короля те выгоды, те льготы, которые он им дарует, допуская их в колонии. Вы, молодые люди, вероятно, не могли не слышать о стране Кокань — нужно ехать в Индию, чтобы попасть в эту блаженную страну. Там всего вдоволь.

Хотите вы золота, жемчуга, бриллиантов? Стоит только наклониться — все дороги ими вымощены, да и наклоняться-то не нужно, за вас это сделают дикие.

Любите вы женщин? Там их есть вдоволь на

всевозможные вкусы: есть и негритянки, принадлежащие всем и каждому; есть креолки, такие же белые, как мы с вами, — они любят белых до страсти, это и понятно в такой стране, где одни черные. И заметьте, что каждая из них богата, как Крез, — условие, выгодное при вступлении в брак.

Имеете вы слабость к вину? И в этом отношении там пречудесно — есть вина всевозможных сортов: и малага, и бордо, и шампанское. Не рассчитывайте только встретить там бургонского — не хочу вас обманывать, бургонское не выносит моря; что касается других вин всего земного шара — то их сколько угодно, по шести су бутылка, принимая в соображение конкуренцию. Да, господа, по шести су, и это вас нисколько не удивит, когда вы узнаете, что часто сто, двести, триста кораблей, нагруженных винами, в одно и то же время входят в гавань. Представьте себе затруднительное положение капитанов; они спешат вернуться и сваливают свой груз на землю, объявляя, что они будут слишком счастливы, если публика согласится черпать бесплатно из их бочонков.

Но это еще не все: как вы думаете, ведь приятно всегда иметь сахар под рукой? Я уже не говорю о

кофе, ананасах, апельсинах, гранатах, померанцах и тысяче самых прекрасных плодов, которые растут сами по себе, без ухода, как в земном раю; не стану также распространяться об индийских ликерах, приятно щекочущих глотку.

Если бы я обращался к женщинам и детям, то стоило бы распространиться об этих лакомствах: но я говорю с мужчинами. Я знаю по опыту, что родители обыкновенно из кожи лезут, чтобы отвлечь молодых людей от пути, на котором они могут найти счастье и богатство, но будьте рассудительнее папенек, и в особенности маменек.

Не слушайте их, когда они станут уверять вас, что дикие живьем пожирают европейцев, — все это дело прошлого, времен Христофора Колумба или Робинзона Крузо.

Не слушайтесь их, если они станут стращать вас желтой лихорадкой. Желтая лихорадка! Господа, если бы она была так ужасна, как уверяют, то по всей стране только и были бы понастроены больницы, а видит Бог, их там ни одной нет!

Понятно, вас еще напугают климатом. Я слишком откровенен, чтобы с этим не согласиться: климат там очень жаркий, но природа так щедро наделила прохладительными напитками всевозможных сортов, что жару даже и не замечаешь.

Вас станут стращать ядовитыми насекомыми, гремучими змеями. Успокойтесь, разве вы не имеете в своем распоряжении толпу невольников, чтобы отгонять насекомых? Что касается змей, то ведь они шумом гремушек объявляют о своем приближении.

Вам наскажут сказок и небылиц о кораблекрушениях. Знайте же, что я пятьдесят семь раз совершал плавание по морям, тысячу раз видел тропики, для меня пропутешествовать от одного полюса до другого — все равно что выпить стакан воды, и на океане, где нет ни дорог, ни ухабов, я считаю себя в большей безопасности на корабле в 74 тонны, нежели в какой-нибудь душной карете или в омнибусе, который ходит из Парижа в Сен-Клу. Надеюсь, этого довольно, чтобы рассеять ваши опасения. Я мог бы еще дополнить эту картину прелестей жизни в Индии… я мог бы порассказать вам о наслаждениях охоты, рыбной ловли. Представьте себе лес, где дичь до того доверчива, что и не думает спасаться бегством, и так робка, что стоит погромче закричать, чтобы свалить ее на землю. Представьте себе реки и озера, до того обильные рыбой, что вода то и дело выступает из берегов.

Я чуть не забыл упомянуть о лошадях: лошадей,

господа, там столько, что шагу нельзя сделать, чтобы не встретить их тысячи… словно стада овец. Вы, может быть, любители лошадей, желаете верхом ездить? Стоит только запастись веревочкой подлиннее. Из предосторожности следует завязать петлю. Вы пользуетесь минутой, когда лошади пасутся, тогда они ничего не подозревают, подкрадываетесь, выбираете любую и набрасываете свою петлю. Лошадка — ваша, остается только или сесть на нее верхом или вести ее под уздцы, если сочтете удобным, — здесь всякий свободен в своих действиях.

Да, господа, повторяю, все это сущая правда, уверяю вас. В доказательство этого король французов, его величество Людовик XVI, который мог бы меня слышать из своего дворца, уполномочил меня предложить вам от его имени эти благодеяния. Посмел бы ли я обманывать вас чуть ли не в его присутствии?

Король желает одеть, обуть и накормить вас; он хочет осыпать вас богатством; взамен этого он ничего не требует от вас; работать не придется, денег вволю, ешь до отвалу, ложись спать и вставай, когда заблагорассудится, — только раз в месяц королевский парад.

Уж что касается этого, то вам от парада не вы-

вернуться, разве получите дозволение, в котором, впрочем, никогда и не отказывают. Исполнив эти обязанности, вы свободны, как птицы божии, чего вам еще больше? Хорошей должности? У вас она будет, только поторопитесь. Предупреждаю вас, что завтра уже будет, может быть, слишком поздно. Суда уж готовы к отплытию — ждут только попутного ветра, чтобы сняться с якоря… Поспешайте же, парижане. Если, паче чаяния, вам наскучит хорошая жизнь, то в гавани вы всегда найдете корабль, готовый перевезти в Европу тех, кто страдает тоской по родине.

Пусть приходят ко мне все желающие узнать ближайшие подробности, мне нет надобности сообщать вам своего имени — меня и так всегда знают. Живу я в двух шагах отсюда, у первого фонаря, в доме виноторговца. Вы спросите Бель-Роза.

Положение, в котором я находился, заставило меня внимательно выслушать эту речь; я запомнил каждое слово Бель-Роза, и, хотя с тех пор прошло двадцать лет, я повторяю ее, не пропустив ни единого словечка. Речь произвела не менее сильное впечатление и на Фанфана. Мы стали совещаться между собой, как вдруг какой-то долговязый олух, на которого мы не обращали

ни малейшего внимания, влепил Фанфану звонкую оплеуху и повалил его наземь.

— Я научу тебя другой раз косо смотреть на меня, грубиян!

Фанфан был окончательно ошеломлен ударом, я хотел защитить его; наглец поднял руку и на меня. Скоро нас окружила толпа — свалка становилась серьезною. Публика занимала места, как для зрелища. Вдруг какой-то человек пробивается чрез толпу — это Бель-Роз.

— Что случилось? — сказал он, показывая на Фанфана, который плакал горькими слезами. — Кажется, этот господин получил оплеуху. Дело плохо, но он малый храбрый, я уж вижу по глазам — дело устроится.

Фанфан старался доказать, что Бель-Роз не ошибся и, во-вторых, что он, Фанфан, не получал пощечины.

— Все равно, дружище, — возразил Бель-Роз, — вам необходимо драться.

— Конечно, — заключил обидчик, — дело без этого не обойдется. Этот господин оскорбил меня — он за это ответит, один из нас должен остаться на месте.

— Ну ладно, вы получите удовлетворение, — ответил Бель-Роз, — за этих господ я ручаюсь.

Назначайте час.

— Назначайте сами!

— Пять часов утра, позади епископского дома. Я принесу рапиры.

Слово было дано, наш противник удалился, и Бель-Роз, хлопнув по животу Фанфана в то место, где жилетный карман, — при чем зазвенело несколько монет, остаток нашего прежнего величия, — сказал:

— Клянусь честью, голубчик, я сильно интересуюсь вами, пойдемте со мной. Вы также не будете лишним, — прибавил он, ударив меня по животу, как и Фанфана.

Бель-Роз повел нас в улицу Жюивери, до кабачка, куда мы и вошли по его приглашению. «Я с вами не войду, — сказал он, — но такой человек, как я, должен заботиться о соблюдении приличий; я сброшу сначала свой мундир и сию же минуту присоединюсь к вам. Спросите бутылку с красной печатью и три стакана». Бель-Роз покинул нас. «Не забудьте же, с красной печатью», — прибавил он, оборачиваясь.

Мы в точности исполнили приказания Бель-Роза, который не замедлил вернуться; мы встретили его, почтительно снявши шапки. «Полноте, дети, — сказал он, — наденьте шапки без стеснений.

Я присяду к вам; где мой стакан? — Он опорожнил его залпом. — У меня страшная жажда — точно засело что в глотке».

Продолжая говорить, Бель-Роз опорожнил другой стакан, обтер лоб платком, положил оба локтя на стол и принял таинственный вид, который начал беспокоить нас.

— Так-то, друзья мои, завтра мы деремся. Знаете ли, — обратился он к Фанфану, у которого душа ушла в пятки, — вам придется иметь дело с сильным противником, он в этом деле мастак.

— Неужели? — растерянно пробормотал Фанфан, поглядывая на меня.

— Ну да, я не шучу, он хоть кого за пояс заткнет; но это еще не все; считаю своим долгом предупредить вас, что у него чертовски несчастливая рука.

— У меня не лучше! — воскликнул Фанфан.

— Как, и у вас тоже?

— Очень просто, когда я был у хозяина, то не проходило дня, чтобы чего-нибудь не разбил, хоть тарелку.

— Совсем не то, дружок, — возразил Бель-Роз. — Я хочу сказать, что он всякий раз, как дерется, непременно убивает своего противника.

Дело было ясно — Фанфан дрожал всем телом,

по лбу его струились крупные капли пота, его свежие щеки покрылись белыми пятнами, лицо удлинилось, сердце упало, — он задыхался. Наконец он разразился глубочайшим вздохом.

— Браво! — воскликнул Бель-Роз, пожимая ему руку. — Люблю людей храбрых… Ведь вы не боитесь? — Потом, стукнув кулаком по столу: — Эй, мальчик, бутылку того же самого, слышишь? Этот господин угощает… Встаньте-ка, любезный друг, выпрямитесь, протяните руку, согните ее, встаньте боком — вот так, прекрасно, восхитительно, чудесно!

И тем временем Бель-Роз продолжал опоражнивать стакан за стаканом.

— Клянусь честью, я хочу из вас сделать настоящего фехтовальщика. Знаете ли, что вы сложены на славу, из вас вышел бы отличный солдат — трудно найти лучше. Жалко, что вы не упражнялись в фехтовании. Но нет, быть не может, вы посещали фехтовальные залы!

— Клянусь вам, никогда в жизни, — защищался Фанфан.

— Признайтесь, вы дрались на дуэли.

— Никогда.

— Не скромничайте, к чему скрываться, я, право, не понимаю…

— Уверяю вас, — вступился я, — что он никогда даже не прикасался к рапире во всю свою жизнь.

— Уж если вы так уверяете, то я принужден вам поверить. Но знаете ли, вы оба продувные малые, такого старого воробья, как я, не проведешь, сознайтесь в истине, не бойтесь, что я выдам вас, разве я не друг вам? Если вы мне не доверяете, то мне уж лучше уйти. Прощайте, господа! — продолжал Бель-Роз рассерженным голосом, направляясь к двери.

— Ах, господин Бель-Роз, не покидайте нас, — воскликнул Фанфан. — Каде вам повторит, что я говорил вам сущую правду: я по ремеслу пирожник — не моя вина, если у меня есть способности к оружию. Я держал в руках скалку для теста, но никогда…

— Я так и знал, что вы непременно чем-нибудь орудовали… Я люблю откровенность, у вас она есть — это лучшая добродетель для вашей карьеры. С вашей искренностью далеко пойдешь; я уверен, что из вас вышел бы добрый воин. Но пока не в этом дело. Мальчик, еще бутылочку. Черт меня возьми, я никогда бы не поверил, что вы в жизнь свою не дрались… Ну, все равно для меня высшее счастье оказывать помощь юношеству: я научу вас одному удару, одному только

маленькому удару. — (Фанфан выпучил на него удивленные глаза.) — Только обещайте мне не выдавать его никому.

— Клянусь, не выдам! — воскликнул мой приятель.

— Вы будете первый, кому я доверяю свою тайну. После этого вы увидите, люблю ли я вас! Завтра я вас посвящу в свою тайну.

С этой минуты Фанфан ожил и почти оправился от страха; он осыпал Бель-Роза выражениями благодарности и смотрел на него, как на своего спасителя. Мы выпили еще по стаканчику, не переставая, с одной стороны, благодарить, с другой стороны, изъявлять участие; наконец, когда становилось поздно, Бель-Роз с достоинством простился с нами. Перед уходом он был настолько любезен, что указал нам место, где мы могли отдохнуть.

— Отправьтесь от моего имени, — сказал он, — в гостиницу «Гриффон», в улице Мортельери, скажите, что пришли по моей рекомендации, а потом спите спокойно и будьте уверены, что все обойдется благополучно.

Фанфан не заставил себя просить и заплатил за угощенье.

— Ну, прощайте, — проводил нас Бель-Роз, — я

приду будить вас.

Мы отправились в «Гриффон», где нас уложили спать. Фанфан не мог сомкнуть глаз от волнения, — может быть, он горел нетерпением узнать пресловутый удар, который обещался показать ему Бель-Роз, может быть, он трусил — последнее вернее.

На рассвете мы услышали, как отворилась дверь и кто-то вошел к нам в комнату. «Эй вы, сонные тетери! Кто же спит в такой час, живей на ноги!» — крикнул он. Мы вскочили как встрепанные. Едва мы успели одеться, как он отвел Фанфана в сторону, удалился с ним куда-то на несколько минут, потом они снова вернулись вместе.

— Ну, пора нам, — сказал Бель-Роз, — только, чур, не дурить! Так помните же, мой удар — кварта, и больше ничего, только одна кварта, и он в ваших руках.

Фанфан, несмотря на полученный им урок, был как в воду опущенный; когда мы пришли на назначенное место, он был ни жив ни мертв. Наш противник и его секундант были уже на месте.

— Вот здесь вам драться, — сказал Бель-Роз, взяв рапиры, которые передал мне. — Ну, кажется, ни одному из вас не войдет в брюхо ни на вершок

больше, нежели другому, — сказал он, смерив клинки. — Ну, молодчик, берите-ка, — сказал он Фанфану, подавая ему скрещенные рапиры.

Фанфан колеблется, Бель-Роз повторяет приглашение, Фанфан судорожно схватывает рапиру, но так неловко, что она вываливается у него из рук.

— Все это вздор, — говорит Бель-Роз, подымая рапиру и снова вручая ее Фанфану. — Ну, становиться в позицию! Посмотрим, кто кого одолеет!

— Постойте на минутку, — перебивает секундант другого, — мне надо к вам обратиться с вопросом. Милостивый государь, — сказал он Фанфану, который едва стоял на ногах, — мне надо знать, вы не фехтмейстер и не бретер?

— Что такое? — прошептал Фанфан едва слышным голосом.

— По законам дуэли, — продолжает секундант, — я обязан потребовать от вас клятвы на честное слово, что вы не фехтмейстер и не бретер.

Фанфан безмолвствует и бросает на Бель-Роза вопросительные взгляды, как бы умоляя его помочь ему.

— Говорите же, — настаивает секундант.

— Я… я только ученик… — лепетал он в смущении.

— Ученик… говорится любитель, — заметил Бель-Роз.

— В таком случае, господин любитель, сейчас же разденьтесь, мы желаем освидетельствовать вас.

— Это верно, — сказал Бель-Роз, — об этом-то я и не подумал; ну ладно, раздевайтесь, живей, Фанфан, долой платье и белье!

Фанфан состроил жалкую физиономию; рукава его камзола вдруг стали необычайно узки; он расстегивался снизу и снова застегивался сверху. Скинул жилет, но никак не мог развязать тесемки у ворота — пришлось разрезать узел. Наконец он очутился голым, в одних только панталонах. Бель-Роз вручает ему рапиру:

— Ну, живей, друг сердечный, становитесь в позицию!

— Защищайся! — кричит его противник; оружие скрещивается, рапира Фанфана дрожит и судорожно мечется — рапира его противника, напротив, неподвижна и непоколебима; Фанфан того и гляди что упадет в обморок.

— Ну, будет, довольно, — в один голос восклицают Бель-Роз и другой секундант, бросаясь на рапиры, — достаточно, вы оба храбрецы, мы не допустим вас перерезать друг другу горло; поми-

ритесь, поцелуйтесь и забудьте обо всем. Дело прошлое. Черт возьми! Не убивать же такого молодца… Но клянусь честью, он храбрец каких мало. Успокойтесь же, Фанфан.

Фанфан вздохнул свободнее; он окончательно оправился, когда его убедили в его храбрости; его противник ради приличия поломался немного, прежде нежели согласиться на мировую; но в конце концов смягчился. Оба противника поцеловались, и было условлено довершить мировую сделку, позавтракав вместе в певческом кабаке около Нотр-Дам, где есть славное вино.

Когда мы пришли туда, стол был уже накрыт, завтрак готов — ждали только нас. Бель-Роз отвел в сторонку Фанфана и меня.

— Ну-с, друзья мои, вы теперь знаете, что такое дуэль, — не бог весть какая премудрость, я вами доволен, любезный Фанфан, вы вели себя героем. Но дело в том, чтобы не уронить себя до конца, вам не следует допускать, чтобы он платил за завтрак.

При этих словах лицо Фанфана омрачилось — он знал печальное состояние нашего общего кошелька.

— Эх, дружище, полноте, вздор какой, — прибавил Бель-Роз, заметив его затруднение. — Если

вы не при деньгах, то я за вас поручусь. Хотите денег? Хотите тридцать франков, хотите шестьдесят? Между друзьями что за стеснение! — И он вынул из кармана двенадцать экю по шести ливров. — Вот вам на двоих, — сказал он, — денежки-то новенькие, это счастье приносит.

Фанфан колебался.

— Да берите же, отдадите, когда можете. На таком условии вы не рискуете ничем, занимая у меня.

Я тихонько толкнул локтем Фанфана, желая сказать ему: «Да бери же наконец, когда дают». Он понял намек, и мы положили деньги в карман, тронутые добрым сердцем Бель-Роза.

Скоро нам пришлось солоно от этих денежек. Вот что значит быть неопытными.

Завтрак прошел весело: много толковали о скупости родителей, о сквалыжничестве мастеровых-хозяев, о счастье быть независимыми, о громадных богатствах, которые можно добыть в Индии; названия — Капской земли, Шамдернагора, Калькутты, Пондишери, Тибо-Салба — были ловко вклеены в разговор; рассказали несколько примеров о громадных состояниях, нажитых молодыми людьми, недавно приглашенными Бель-Розом.

— Говоря не хвастаясь, — сказал он, — у меня рука пресчастливая. Давно ли, кажется, пригласил хоть бы этого маленького Мартена, а теперь, глядите-ка, он в набоба превратился — катается как сыр в масле. Я пари держу, что он заважничался и если встретит меня, так и не узнает. О, много неблагодарных на белом свете! Но что ж делать, таков наш общий удел!

За столом просидели долго… За десертом Бель-Роз снова начал толковать о прекрасных фруктах Антильских островов. Подали дорогие вина. «Да здравствует капское вино! Вот вино так вино!» — воскликнул он; за кофе он стал восхищаться мартиникским; принесли коньяк — он поморщился: «Ну уж это и в подметки не годится божественному ямайскому рому». Ему налили ликера. «Это еще можно пить, — заметил он, — но все-таки оно далеко не то, что восхитительные ликеры знаменитой мадам Анфу».

Бель-Роз поместился между мной и Фанфаном. Во все время завтрака он осыпал нас попечениями, не переставая напевать нам: «Опорожняйте стаканы. Что вы за мокрые курицы, виданное ли это дело, да ну же, берите с меня пример! Глядите, как я глотаю».

Эти понуканья произвели свое действие.

Фанфан и я — мы порядком нализались, в особенности он.

— Мосье Бель-Роз, далеко нам еще от колоний Шамбернагора, Серингапатама?.. Далеко еще?.. — бормотал он то и дело. Ему казалось, что уж он на корабле и едет в Индию.

— Терпение! — успокаивал его Бель-Роз. — Скоро приедем, а пока я расскажу вам кое-что. Раз я был дежурным у губернаторских ворот.

— Слышите ли, он губернатором был! — бессвязно повторял за ним Фанфан.

— Да замолчите же, не мешайте, — рассердился Бель-Роз, зажимая ему рот, — я только солдатом был тогда, — продолжал он. — Я спокойно сидел перед своей будкой, отдыхая на диване, как вдруг негр, который нес мое ружье… Надо вам знать, что в колониях уж так заведено, чтобы каждый солдат имел двух невольников, мужчину и женщину; это слуги, с которыми вы делаете что вам угодно, и если они вам не по сердцу, так вы можете их казнить или миловать, можете даже прихлопнуть их, как мух. Что касается женщины, то она также в полном вашем распоряжении. Итак, я был на карауле, мой негр нес мое ружье…

Едва успел Бель-Роз произнести эти слова, как в залу вошел солдат в полной форме и вручил ему

письмо, которое он поспешно распечатал. «От военного министра, — сказал он, — его превосходительство господин Сартин пишет мне, что я по приказу короля обязан немедленно отправиться в Суринам. Черт возьми, — обратился он к нам, — не думал не гадал так скоро с вами расстаться. Ну все равно! Вам же больше останется!..»

Бель-Роз схватил стакан правой рукой и стал изо всех сил колотить по столу. Между тем наши собутыльники друг за другом ускользнули в отворенную дверь. Наконец показалась служанка.

— Эй! Счет подать и позвать хозяина!

Хозяин является со счетом.

— Удивительно, какие это приняло почтенные размеры, — замечает Бель-Роз, — неужто сто девяносто ливров двенадцать су шесть денье? Уж это слишком, Ниве, вы нас грабите, да и только. Например, вот пункт, который я ни за что не пропущу вам: четыре лимона — двадцать четыре су. Во-первых, лимонов было только три — первая ошибка. Семь получашек: мило, оказывается, что проверять-то вас нелишнее, — нас было всего шестеро. Божусь, что открою еще неточности... Сларжа — восемнадцать ливров — это уже чересчур!

— Как, в апреле-то? — заметил Ниве. — Новая

новинка!

— Ваша правда, продолжаю: горошек, артишоки, рыба. Посмотрим-ка, что скажет земляника… двадцать четыре ливра… ну уж нечего сказать… Что касается вина, то цены еще сносны… Теперь поймаю вас на сложении: сношу нуль, один в уме, три в уме… Ну, итог верен, двенадцать су спустить, потом шесть денье — остается сто девяносто ливров. Доверяете мне настолько, старичок Ниве?..

— Ну нет, — ответил трактирщик, — вчера еще ладно, сегодня другое дело, на суше кредит можно сделать, а когда вы будете плавать в вашей ореховой скорлупе, где я вас стану отыскивать? В Суринаме, что ли? К черту должников за морем!.. Предупреждаю вас, что вы не выйдете отсюда, пока не заплатите. Впрочем, я пошлю за полицией, тогда мы увидим…

Ниве удалился, по-видимому разгневанный.

— Он на это способен, — сказал Бель-Роз, — но мне пришла в голову одна мысль — большая беда требует сильных средств. Я думаю, вам так же неприятно, как и мне, попасть в кутузку с жандармами. Король назначил на каждого человека, поступающего на службу, по сто франков; вас двое, это составит двести… вам стоит только

подписаться, я сбегаю получу деньги, в одну минуту возвращусь и освобожу вас. Как вы об этом думаете?

Мы с Фанфаном молчали.

— Как! Вы колеблетесь? Ну, право, я был о вас лучшего мнения, а я-то готов для вас в огонь и воду… и к тому же, попадая на службу, вы вовсе не теряете… Ох, господи, как бы мне хотелось иметь ваш возраст и мой опыт!.. Когда молод, то никогда не пропадешь. Полноте, решайтесь! — продолжал он, подавая нам бумагу. — Куйте железо, пока горячо, подмахните свое имя под этим листом.

Бель-Роз настаивал так горячо, а мы так опасались полиции, что делать было нечего — пришлось подписать.

— Вот дело! — воскликнул он. — Хвалю. Если вы когда пожалеете о своем решении, то всегда есть время одуматься — стоит только возвратить денежки; но до этого мы не дойдем… Терпение, друзья мои, я вернусь в одну минуту.

Бель-Роз удалился и возвратился почти немедленно.

— Теперь с нас снят арест, — сказал он, — теперь мы свободны убраться подобру-поздорову или остаться здесь — как нам заблагорассудится; но я вспомнил, что вы еще не видели мадам Бель-

Роз, я хочу вас познакомить с ней. Вот, скажу вам, умная женщина, чертовски умная женщина!

Бель-Роз повел нас к себе; квартира его была не из блестящих — две комнатки на заднем дворе в доме довольно подозрительного вида, недалеко от арки Марион. Мадам Бель-Роз была распростерта на кровати под балдахином в глубине второй комнаты; голова ее покоилась на груде подушек. Около постели стояли два костыля, а с другой стороны — ночной столик, на котором лежали плевательница, роговая табакерка, серебряный кубок и бутылка водки. Г-же Бель-Роз на вид было лет сорок пять — пятьдесят; она была одета в элегантное неглиже и пеньюар, обшитый кружевами. Лицо ее было искусно размалевано. В самый момент нашего появления с ней сделался жестокий припадок кашля. «Погодите, пока она кончит», — обратился к нам Бель-Роз. Наконец кашель стих.



— Ты можешь говорить, милочка?

— Да, мой котик, — ответила она.

— Ну так сделай одолжение, расскажи этим господам, какие состояния можно нажить в колониях.

— Громадные, мосье Бель-Роз, громадные!

— Какие партии там находят?

— Какие партии? Блестящие, мосье Бель-Роз, блестящие — самая бедная из наследниц приносит в приданое миллионы пиастров!

— А жизнь какую там ведут?

— Жизнь любого каноника, мосье Бель-Роз.

— Вот видите ли, — сказал супруг, — я ведь не заставлял ее говорить все это.

Фарс был разыгран. Бель-Роз предложил выпить, чтобы освежиться, малую толику рому: мы чокнулись с его супругой, выпили за ее здоровье, а она со своей стороны пожелала нам счастливого пути. «Ведь я полагаю, — прибавила она, — что эти господа принадлежат к нашей компании; у вас, друг мой, — прибавила она, обращаясь к Фанфану, — у вас такая фигура, которая больше всего нравится в этой стране: плечи в косую сажень, грудь широкая, ноги сильные, нос орлиный». Потом, обращаясь ко мне: «А вы также неплохи — оба вы молодцы».

— Заметь также, что они не позволят наступить себе на ногу, нет, не позволят, — вставил Бель-Роз. — Вот этот самый господин доказал свою храбрость не далее как сегодня утром.

— Ах, неужто? От души поздравляю вас; я все-

гда имела слабость к молодым людям — это моя страсть. Ведь ты не ревнуешь, Бель-Роз?

— Ревновать! Вот пустяки-то! Этот господин был героем храбрости; я об этом не могу не уведомить полк — это будет известно и начальнику. Повышение наверняка… по крайней мере, капралом будет, если не офицером… Гм, когда будете щеголять в эполетах, голову-то высоко небось задерете?

Фанфан ног под собой не чувствовал от радости. Я, со своей стороны, был уверен, что я по меньшей мере настолько же храбр, и думал про себя: «Если он будет повышен, то уж я-то от него не отстану». Мы оба были на седьмом небе.

— Мне необходимо предупредить вас, — продолжал вербовщик, — вот насчет чего: вы прекрасно зарекомендовали себя и, наверное, пойдете в гору, причем вам невозможно будет избегнуть завистников; их много во всех полках, как и повсюду… но помните, что если вас хоть пальцем тронут, то я вступлюсь за вас… Уж если кто под моим покровительством… впрочем, довольно, вы меня понимаете. Пишите мне.

— Как! — воскликнул Фанфан. — Вы с нами не едете?

— К прискорбию, нет, — ответил Бель-Роз, — я

нужен министру; я вас нагоню в Бресте. Завтра в восемь часов, не позже, я вас жду здесь, теперь мне некогда баклуши бить; служба службой. Итак, до завтра.

Мы распростились с мадам Бель-Роз, которая изъявила желание облобызаться и со мной. На другой день, рано разбуженные клопами, которые изобиловали в «Гриффоне», мы в половине восьмого были уже на месте.

— Люблю людей аккуратных! — воскликнул Бель-Роз, завидев нас. — Как видите, я тоже аккуратен. — Потом он прибавил строгим тоном: — Если у вас есть друзья или знакомые, то вам остается еще целый день, чтоб с ними распроститься. Вот ваш дорожный паспорт, прогонов вам полагается три су с мили, с квартирой, отоплением и освещением. Вы можете не останавливаться на этапах, если вам заблагорассудится, — это дело не мое; но не забывайте, что если вас завтра вечером встретят в Париже, то спровадят по назначению с жандармами.

Эта угроза нас окончательно смутила; каша была заварена — приходилось расхлебывать ее: мы покорились своей судьбе. От Парижа до Бреста знатный конец; невзирая на усталость и волдыри на ногах, мы храбро совершали наши

определенные десять лье в день. Наконец мы прибыли на место, раз тысячу проклянув Бель-Роза. Месяц спустя мы отплыли на корабле, а десять лет спустя, день в день, я получил сразу чин капрала, Фанфан также. Он погиб в Сан-Доминго во время экспедиции Леклерка — жертвой негрской накожной болезни; славный малый был! Царство ему небесное. Что касается меня, то я и до сих пор могу похвастаться зоркими глазами и крепкими ногами — машина еще годится, и не случится аварии — так я еще вас всех переживу. Много мне пришлось вынести превратностей в свою жизнь; судьба меня перебрасывала из одной колонии в другую, всюду я побывал, скитался — и от этого не сделался богаче; ну да все равно, веселый народ не пропадает…

— И потом, когда все вышло, так еще кое-что остается, — продолжал сержант Дюфайльи, хлопнув по карманам своего потертого мундира и приподнимая жилет, чтобы показать нам кожаный пояс, который битком был набит и чуть не лопался. — Есть там малая толика желтушек. Индийская компания мне еще состоит в долгу: получу должок с первым трехмачтовым.

— А пока вам хорошо живется, дядюшка Дюфайльи? — сказал фурьер.

— Ничего, недурно, — повторил он.

«Да, хорошо», — подумал я про себя, решившись поддержать это случайное знакомство, приобретенное так кстати.

Глава семнадцатая

Продолжение того же дня. – Современница. – Плац-адъютант. – Дочери мадам Тома. – «Серебряный лев». – Капитан Поле́ и его лейтенант. – Корсары. – Бомбардировка. – Отъезд лорда Лоудердэля. – Переодетая комедиантщица. – «Палач черепов». – Мадам Анри и ее девицы. – Я отправляюсь в плавание. – Морское сражение. – Гибель помощника капитана Поле́. – Взятие военного брига. – Мой двойник. – Я переменяю имя. – Смерть Дюфайльи. – День крещения. – Крушение фрегата. – Я хочу спасти двух любовников. – Жены рыбаков

Изображая перед нами сцену с вербовщиками, старик Дюфайльи не переставал пить после каждого слова. Он придерживался того мнения, что речь свободнее льется, когда смачиваешь глотку; конечно, он мог бы заливать свой рассказ водою, но он питал отвращение к воде, по его словам, с тех пор, как упал в море, — это приключение случилось с ним в 1789 году. Рассказывая и по-

пивая, он опьянел, сам не замечая того. Наконец он дошел до того, что ему стоило невероятных усилий выражать свои мысли: язык стал неповоротлив. Тогда фурьер и сержант нашли, что пора разойтись.

Дюфайльи и я остались вдвоем; он задремал, опершись на стол, и вскоре раздался его богатырский храп, а я тем временем спокойно переваривал завтрак, предавался своим размышлениям. Прошло часа три — он не просыпался. Наконец выспавшись, он был удивлен, увидев, что не один. Сначала он различал меня сквозь густой туман, который застилал ему глаза, но винные пары скоро рассеялись, и он узнал меня. Но более он ни на что не был способен. Приказав подать себе кружку черного кофе и опрокинув в нее целую солонку, он выпил эту жидкость маленькими глотками, потом встал, шатаясь, повис на моей руке, увлекая меня по направлению к двери; моя опора была для него более чем необходима, он был беспомощен, как грудной ребенок.

— Ты тащи меня на буксире, а я буду лоцманом. Видишь телеграф? Что он говорит, задрав кверху руки? Он извещает, что Дюфайльи плывет против ветра… Слышите ли, Дюфайльи, — в триста тонн по крайней мере. Не беспокойся, он не собьется с

пути, Дюфайльи!

И в то же время, не выпуская моей руки, он снял шляпу и, повертывая ее на кончике пальца, кричал:

— Вот мой компас! Внимание — держу гафель со стороны кокарды... Нос к улице Рыбаков, вперед марш! — скомандовал Дюфайльи, и мы вместе направились в нижнюю часть города.

Дюфайльи обещал дать мне совет, но в настоящую минуту он был решительно ни на что не годен. Мне ужасно хотелось, чтобы он очнулся; к несчастью, движение и свежий воздух оказали на него действие противоположное. Спускаясь вниз вдоль большой улицы, мы не пропускали ни одного дрянного кабачка, которых развелось многое множество вследствие квартировки армии; повсюду мы делали более или менее продолжительную стоянку, несмотря на мое желание выиграть время; каждая пробка, по выражению Дюфайльи, служила якорным местом, где необходимо было остановиться, а каждая остановка еще более увеличивала груз, который я волочил с таким трудом.

— Я нализался, как подлец! — повторял от времени до времени мой спутник. — А между тем я вовсе не подлец, ведь не одни подлецы напива-

ются, правда, дружище?

Двадцать раз я уже решался отвязаться от него, но трезвый Дюфайльи мог быть для меня якорем спасения; я вспомнил его битком набитый кожаный пояс и отлично сознавал, что он должен иметь другие источники для доходов, помимо скудного жалованья сержанта. У площади Альтон, против церкви, ему пришла в голову фантазия вычистить свои сапоги.

— Ваксы первый сорт, слышишь ли!.. — приказал он, поставив ногу на скамейку.

— Слушаюсь, господин офицер, — ответил чистильщик. В эту минуту Дюфайльи потерял равновесие; я полагал, что он свалится, и спешил поддержать его.

— Эй, земляк, ты боишься боковой качки, что ли? Не беспокойся, у меня ноги покрепче твоих, недаром я моряк.

Между тем чистильщик быстрыми взмахами щетки вымазал ему весь сапог ваксой.

— А окончательный глянец до завтра! — сказал Дюфайльи, кладя су в руку чистильщика.

— Ну, от вас не разбогатеешь, франт.

— Что за пустяки он мелет? Берегись, не то как раз дерну тебя сапогом! — Дюфайльи замахивается, но его шапка, свалившаяся на затылок, падает

на землю, ветер гонит ее дальше по мостовой; чистильщик бежит за ней и приносит обратно.

— Шапка-то двух грошей не стоит! — восклицает Дюфайльи. — Ну да все равно — ты добрый малый. — Порывшись в кармане, он вытаскивает горсть гиней. — Бери, выпей за мое здоровье…

— Много благодарен, господин полковник, — отвечал чистильщик, который согласовал чины со щедростью.

— Теперь, — сказал Дюфайльи, который, по-видимому, начинал приходить в себя, — я должен повести тебя в места злачные.

Я решился сопровождать его повсюду, куда бы он ни повел меня; я только что убедился в его щедрости и знал, что пьяницы — люди самые благодарные по отношению к тем, которые для них жертвуют собою. Поэтому я позволял вести себя, куда ему было угодно, и мы скоро пришли в улицу Precheurs. У ворот дома, нового и довольно изящного с виду, стояли часовой и несколько вестовых.



— Ну, мы пришли, — доложил он.

— Как, здесь? Вы привели меня в генеральный штаб?

— Что ты, шутишь, что ли? Какой генеральный штаб! Здесь живет прелестная блондинка Маделена, или, как ее называют, супруга сорока тысяч солдат.

— Невозможно, земляк, вы ошибаетесь!

— Ну вот, я с ума еще не сошел. Разве я не вижу часового?

Дюфайльи пошел вперед и осведомился, можно ли войти.

— Ступайте прочь, — грубо ответил гвардейский квартирмейстер, — чего лезете, ведь знаете, что не ваш день сегодня.

Дюфайльи настаивает.

— Ступайте, говорят вам, — повторил унтер-офицер, — или я вас отведу куда следует.

Эта угроза страшно испугала меня…

Упорство Дюфайльи могло погубить меня; между тем с моей стороны было бы неблагоразумно делиться с ним своими опасениями, да к тому тут и не место было; я ограничился тем, что сделал ему несколько замечаний; он продолжал противоречить мне и ничего и слышать не хотел.

— Наплевать мне на караул, солнце для всех светит, — повторял он, вырываясь от меня.

— Равенство… слышишь ли, равенство… — бормотал он, вперив в меня неподвижный взор пьяного, доведенного до степени животного.

Я уже потерял надежду сладить с ним, как вдруг очнулся, услышав крик: «К оружию!» — и торопливое замечание: «Канонер, живей улепетывай,

вон плац-адъютант, вон сам Бевиньяк!»

Холодный душ на голову сумасшедшего едва ли оказал бы такое быстрое действие, как эти слова на моего спутника.

Имя Бевиньяка произвело необычайное впечатление на всех военных, выстроившихся фалангой перед нижним этажом дома, который занимала прелестная блондинка. Они поглядывали друг на друга исподлобья, боясь пошевелиться, удерживая дыхание от страха. Плац-адъютант, высокий, сухощавый мужчина уже пожилых лет, стал считать их, жестикулируя тростью. Никогда я не видел его до такой степени рассерженным; на этом длинном, худощавом лице, увенчанном двумя ailes de pigeons без пудры, было написано крайнее неудовольствие и негодование от недостатка дисциплины. У него гнев перешел в хроническое состояние — его глаза налились кровью, его лицо исказилось, и по безобразному движению скул можно было видеть, что он собирается говорить.

— Sapristi, молчать… чтоб все было тихо! Вы знаете порядки… одни только офицеры… черт возьми!.. И каждый по очереди…

Потом, увидев нас и замахиваясь на нас тростью, он воскликнул:

— А что ты тут делаешь, чертова перечница?

Мне показалось, что он собирается нас ударить.

— Ну, сойдет, это ничего не значит, я вижу, ты пьян, — продолжал он, обращаясь к Дюфайльи, — лишняя рюмка — это извинительно; слушай только: ложись проспись, живей с глаз моих долой.

— Слушаюсь, ваше благородие! — ответил Дюфайльи, и, повинуясь приказанию начальства, мы снова спустились по улице.

Лишнее объяснять, каким ремеслом занималась прелестная блондинка, — об этом можно догадаться. Маделена из Пикардии была высокая девушка лет двадцати трех, с замечательно свежим цветом лица и редкой красотою форм; она гордилась тем, что не принадлежала никому исключительно — по принципу совести она считала себя собственностью целой армии: трубач или маршал, словом, все, кто носил военный мундир, — все были приняты ею с одинаковою благосклонностью. Она питала непреодолимое презрение к «рябчикам» (штатским). Не было ни одного буржуа, который мог бы похвастаться ее милостями; она даже пренебрегала моряками, которых обирала как липок, так как не могла

решиться смотреть на них, как на солдат. Потому ли, что Маделена была девушкой бескорыстной, или по общему уделу подобных ей существ, но она умерла в 1812 году в Ардрском госпитале в крайней бедности, но оставшись верной знаменам полка; два года спустя, после ужасной катастрофы при Ватерлоо, она с гордостью могла бы назвать себя «вдовой великой армии».

Воспоминание о Маделене еще до сих пор живет в разных концах Франции, скажу даже — всей Европы, среди остатков наших старинных фаланг. Она была «современницей» доброго старого времечка. Маделена имела черты лица несколько мужские, но, несмотря на ее жизнь, лицо ее не было пошлым; волосы ее не имели белесоватого оттенка, золотистый отлив ее густых кос вполне гармонировал с ее небесно-голубыми глазами; орлиный нос не отличался угловатостью и не выдавался резко вперед; рот с чувственными губами в то же время был изящен и добродушен; Маделена не умела писать и не зналась с полицией, разве давала на водку ради своего спокойствия городским сержантам и ночным блюстителям порядка.



Удовольствие, которое я чувствую, очерчивая двадцать лет спустя портрет Маделены, на минуту заставило меня забыть о Дюфайльи. Трудно прогнать мысль, засевшую гвоздем в го-

лове, отуманенной винными парами. Дюфайльи задумал во что бы то ни стало окончить день в винном погребе — он не хотел отказаться от своего намерения. Едва мы прошли несколько шагов, как вдруг, оглядываясь назад, он сказал: «Он уж убрался, пойдем сюда», — и, вырываясь из моих рук, он быстро взобрался по ступеням и стал стучать в маленькую дверь; через несколько минут дверь приотворилась и оттуда высунулась сморщенная физиономия старухи.

— Что вам нужно?

— Что нам нужно? — повторил Дюфайльи. — Так ты нас не узнаёшь, черт тебя возьми, друзей-то не узнаёшь?

— А, это вы, дядюшка Дюфайльи. Места больше нет.

— Как! Для друзей места не найдется?! Ты надсмехаешься, кумушка Тома́! Ты хочешь с нами штуку сыграть.

— Право, нет, как честная женщина, ты знаешь, старый шут, что я душой рада бы, да у нас теперь капитан колонновожатых да генерал Шамберлак; зайдите через четверть часика, дети мои. Вы ведь будете умницы, не правда ли?

— Нам ли это говорить? Разве мы похожи на буянов?

— Я и не говорю этого, ребята, но видите ли, дом-то у нас смирный, тихий, приходят все люди порядочные: главнокомандующий, полковник, главный интендант — уж у нас нельзя сказать, чтобы был недостаток в посетителях, слава тебе господи!

— Послушай, кумушка Тома, — возразил Дюфайльи, суя ей под нос золотую монету, — неужто ты нас спровадишь шляться целых четверть часа? Не найдется разве уголка для нас?

— Шутник, как и всегда, этот старичок Дюфайльи, нельзя ему ни в чем отказать. Ну живей, живей, войдите, чтоб вас не заметили, спрячьтесь здесь, ребята, и молчок!

Мадам Тома поместила нас в углу за ширмами, в большой комнате, которая вела к выходу. Нам недолго пришлось ждать: к нам скоро вышла девушка, которую звали Полиной, и уселась с нами за стол, на котором красовалась бутылка рейнвейна.

Полине еще не исполнилось пятнадцати лет, а уже цвет лица ее успел получить свинцовый оттенок, голос сделался хриплым — это была преждевременная развалина; она преимущественно занялась мной. Потом пришла Тереза — та более подходила к лысине и сединам моего товарища.

Вдруг послышались быстрые шаги и звяканье шпор, возвещающие, что капитан колонновожатых удаляется. Дюфайльи в припадке усердия быстро вскакивает со стула, но ноги его путаются в палаше, он падает, увлекая за собой и ширмы, и стол с бутылкой и стаканами.

— Извините, ваше благородие, — кричит он, силясь подняться, — это все стена виновата.

— О, это вздор, — снисходительно ответил офицер, немного смущенный, но любезно приподымая упавшего. Полина, Тереза и мадам Тома хохотали до упаду.

Поставив Дюфайльи на ноги, капитан ушел, и так как падение не имело никаких дурных последствий, то ничто не препятствовало нам предаться веселости. В час ночи я был разбужен страшным шумом и гвалтом. Не подозревая, в чем дело, я наскоро оделся.

Вопли мадам Томе, кричавшей: «Караул, режут!», убедили меня, что опасность близка. При мне не было оружия; я бросился в комнату Дюфайльи с целью взять его тесак, уверенный в том, что сумею им лучше воспользоваться, нежели он. Пора было взяться за оружие: в дом ворвалось пять или шесть гвардейских матросов с саблями в руках и с шумом и грохотом требовали занять

наши места. Эти господа просто-напросто, недолго рассуждая, хотели нас выбросить за окно; они грозили предать все огню и мечу; мадам Тома в ужасе пронзительным голосом вопила тревогу — ее визг поднял на ноги весь квартал. Хотя я был человек не трусливого десятка, но, признаюсь, тут я струхнул порядком. Подобная сцена могла иметь для меня весьма печальную развязку.

Однако я решился действовать молодцом. Полина непременно хотела, чтобы я заперся с ней.

— Задвинь щеколду, прошу тебя! — упрашивала она. Но мы не были в безопасности на своем чердаке, я предпочитал драться, нежели позволить поймать себя, как крысу в мышеловке. Несмотря на старания Полины удержать меня, я попытался сделать вылазку. Скоро я начал драку с двумя нападающими; я подналег на них и погнал вперед по длинному коридору, да так усердно, что прежде, нежели они успели опомниться и распознать друг друга, они уже катились вверх тормашками по ступеням лестницы до самого низа; там только они остановились, изнеможенные и разбитые. Тогда Полина, ее сестра и Дюфайльи, чтобы достойно отпраздновать победу, начали бросать на побежденных все, что им попадалось под руку: стулья, ночные сосуды, ночной столик,

старое мотовило и другую домашнюю утварь. При каждом ударе наши противники, беспомощно распростертые на полу, испускали рев от боли и ярости. В одну минуту вся лестница была загромождена. Такой гвалт в ночное время не мог не вызвать тревогу на гауптвахте. Ночная стража, полицейские служители, патруль вломились в квартиру мадам Тома. Там очутилось зараз до сорока человек с оружием в руках; шум и гам были невообразимые. Мадам Тома старалась доказать, что у нее дом скромный; ее слов не слушали, и до нас долетали отрывистые восклицания:

— Берите эту сволочь! Эй ты, негодница, ступай за нами… Заберите всех этих каналий… Всех их забрать, отнять оружие… Я научу вас, черти, подымать шум!..

Эти слова, произнесенные с провансальским акцентом и щедро приправленные крепкими словцами, которые, как красный перец и чеснок, считаются продуктами страны, показали нам, что во главе экспедиции был не кто иной, как сам Бевиньяк. Дюфайльи не очень-то желал попасть ему в руки. Что касается меня, то я имел еще больше причин удрать от него. «Загородить проход на лестнице!» — скомандовал Бевиньяк. Но пока он драл горло и выходил из себя, я воспользовался

временем, чтобы привязать к оконной раме простыню, и опасность, угрожающая нам со стороны вооруженной силы, еще не миновала, как уже Полина, Тереза, Дюфайльи и я спустились вниз. Нам вслед кричали: «Не беспокойтесь, голубчики, я вас не выпущу...» Но эти крики еще более возбудили нашу веселость — опасность миновала.

Мы стали судить-рядить, куда нам отправиться на ночлег. Тереза и Полина предложили идти за город, где всегда можно было найти готовые постели.

— Нет, нет, — прошептал Дюфайльи, — пойдем поближе, к «Серебряному льву», к Бутруа.

Согласились приютиться на ночь в этой гостинице. Несмотря на то что час был неурочный, Бутруа впустил нас с очаровательным радушием и сказал, обращаясь к Дюфайльи: «Очень любезно с вашей стороны было вспомнить обо мне; у меня есть чудесный бордо. Не желают ли чего эти дамы?» И Бутруа, вооруженный громадной связкой ключей и с подсвечником в руках, повел нас в назначенную для нас комнату.

— Вы здесь будете как дома. Во-первых, вас здесь не потревожат: когда кормишь воинского начальника, главного начальника флота и генерального комиссара полиции, то, поймите, не

осмелились бы… Во-вторых, — прибавил он, — мадам Бутруа, моя супруга, шутить не любит, поэтому я скрою от нее, что вы пришли не одни; она добрейшая женщина, мадам Бутруа, но, понимаете, нравственность — на первом плане: на этот счет она строга и не принимает никаких резонов. Женщины здесь! Беда, если б она только подозревала это, и к тому же у нее есть дочери! А я так рассуждаю: отчего не пожить всласть! Я в этом отношении философ, только лишь бы скандала не было… А если бы и случился скандальчик, эка важность, всякий веселится по-своему; главное дело, ведь это никому не помешает!

Бутруа высказал нам еще несколько истин в том же духе, после чего он объявил нам, что у него погреб отличный и что весь он к нашим услугам.

— Что касается печки, то в такой поздний час она, наверное, немного простыла, но вашей милости стоит только приказать, все живо будет готово.

Дюфайльи спросил бордо и велел развести огонь, хотя было не холодно и можно было бы и без этого обойтись.

Подали бордо, в очаг бросили пять или шесть больших поленьев, на столе появилась обильная закуска. Посредине красовалось холодное жаркое

и составляло капитальное основание нашего импровизированного ужина, где все было рассчитано на удовлетворение волчьего аппетита. Дюфайльи хотел, чтобы ни в чем не было недостатка; Бутруа, уверенный в том, что ему хорошо заплатят, позаботился обо всем.

Тереза и ее сестра пожирали яства глазами, у меня также разыгрался аппетит.

Пока разрезали жаркое, Дюфайльи наслаждался бордо. «Очаровательно, упоительно», — повторял он, прихлебывая маленькими глотками с видом знатока; потом принялся пить стаканами, и едва мы успели приняться за ужин, как непреодолимый сон приковал его к креслу и он до самого десерта проспал сном праведным. Проснувшись, он воскликнул:

— Черт возьми, что это я чувствую прохладный ветерок! Где мы? Уж не мороз ли на дворе, мне что-то не по себе!

— Он пьян как стелька, — шепнула Полина, которая не отставала от меня не хуже любого гвардейского сапера.

— Нюхните-ка табачку, дядюшка, — сказала Тереза, открывая нечто вроде роговой бонбоньерки с нюхательным табаком, — нюхните-ка щепотку, старина, это прояснит вам зрение.

Дюфайльи принял предлагаемую щепотку; упоминаю об этом обстоятельстве, в сущности пустячном, потому, что забыл сказать, что сестрица Полины уж перевалила за тридцать и из того только, что она нюхала табак, как какой-нибудь регистратор, уже видно, что она была не первой молодости.

Разговор продолжался в том же духе, как вдруг мы услыхали шумные шаги целой толпы людей, направлявшихся со стороны гавани.

— Да здравствует капитан Поле́, — кричали они, — ура, капитан Поле́!

Скоро вся ватага остановилась перед гостиницей.

— Эй, Бутруа, кум Бутруа! — кричали они на разные голоса. Одни пытались выломать двери, другие с невообразимой силой стучали молотком, третьи, наконец, трезвонили в колокольчик и бомбардировали ставни каменьями.

Услышав весь этот гам, я вздрогнул: мне почудилось, что нас преследуют снова. Полина и ее сестра также были далеко не спокойны. Наконец послышались быстрые шаги с лестницы, дверь отворилась настежь, — и мы услышали страшный шум, как будто открылись шлюзы и поток ринулся в дом. В смешении голосов, криков, рева

ничего разобрать нельзя.

— Пьер, Поль, Женни, Элиза… эй вы, все… жена, вставай… Ох ты господи, они дрыхнут как колоды!..

Словом, точно пожар загорелся в доме. Скоро мы услышали хлопанье дверей, беготню, невообразимую суету, — то жалобы какой-то служанки на чьи-то вольности, то звон бутылок и стаканов, то шумные взрывы смеха. Стук кухонной утвари, звон тарелок еще более увеличивают содом; воздух оглашается ругательствами и божбой на французском и английском языках.

— Земляк, — сказал мне Дюфайльи, — если не ошибаюсь, это народ веселый. Что с ними, с этими буянами? Что с ними случилось; уж не забрали ли они испанские галионы? Здесь, впрочем, им не доро́га!

Дюфайльи ломал себе голову, отыскивая причины такого шумного ликованья, я со своей стороны не мог дать ему никаких разъяснений, как вдруг отворилась дверь и на пороге показался Бутруа с сияющим лицом, прося у нас огня.

— Вам неизвестно, — сообщил он, — что «Revanche» вошла в гавань. Наш Поле обделал славные делишки. Вот уж кому валит счастье!.. Представьте — добыча в три миллиона под Дув-

ром.

— Три миллиона! — воскликнул Дюфайльи. — А меня там не было!

— Слышите, сестра, три миллиона, — запищала Полина, подскакивая, как молодой козленок.

— Три миллиона, — сосредоточенно повторила Тереза.

— Я в себя не могу прийти, — бормотал Дюфайльи, — неужто три миллиона в самом деле… Расскажи-ка нам, как дело было, кум Бутруа…

Наш хозяин извинился недосугом.

— Кроме того, — прибавил он, — подробностей я не знаю.

Шум и гам продолжаются: слышно, как пододвигают и раздвигают стулья; минуту спустя наступило молчание, доказывающее, что челюсти гостей начали работать. Надеясь, что шум прекратился на несколько часов, я предложил обществу отправиться на боковую; со мной согласились, и мы улеглись спать во второй раз. Рассвет уже приближался; чтобы нас не потревожило солнце, мы задернули занавески.

Уснуть нам удалось недолго: моряки едят живо, а напиваются еще живее. Наш покой был нарушен песнями, от которых стёкла задрожали: сорок пьяных голосов запели хором — кто в лес,

кто по дрова — известный припев «Роланда».

— К черту певцов! — воскликнул Дюфайльи. — Мне только что снился чудесный сон — будто я был в Тулоне. Бывал ты когда-нибудь в Тулоне, земляк?

Я отвечал ему, что мне случалось побывать в Тулоне, но не вижу, какое отношение это может иметь к его прелестному сну.

— Я был каторжником, — возразил он, — а мне снилось, будто я только что удрал с галер.

Дюфайльи замечает, что его рассказ производит на меня тягостное впечатление, которого я не в силах был скрыть.

— Что с тобой, земляк? Ведь это я сон только рассказываю. Итак, я только что улепетнул: ведь это неплохой сон, по крайней мере для каторжника. Но это еще не все, я примкнул к морским корсарам, и у меня было золота вдоволь.

Хотя я никогда не отличался суеверием, но, признаюсь, сон Дюфайльи произвел на меня впечатление дурного предзнаменования: может быть, это было знамение свыше, чтобы направить меня куда следует. Впрочем, подумал я про себя, до сих пор я вовсе не стою того, чтобы свыше мною занимались. Мне пришла в голову и другая мысль: уж не намек ли это старого сержанта,

который проведал о моем положении? Эта мысль расстроила меня; я встал. Дюфайльи заметил мой мрачный вид.

— Что с тобой, земляк, — ты печален, будто лимону наелся?

Он подал мне знак, чтобы я следовал за ним; я повиновался; он привел меня в столовую, где расположился капитан Поле со своим экипажем, большей частью опьяневшим от энтузиазма и вина. Как только мы появились, раздался крик: «Вот Дюфайльи! Дюфайльи!»

— Честь и слава старине! — сказал Поле, предлагая моему спутнику стул около себя.

— Садись сюда, старик. Бутруа, — позвал он, — Бутруа! Подать бишофа, да живей!

— То-то, смотри, у нас теперь недостатка быть не может, — продолжал Поле, пожимая руку Дюфайльи.

Говоря это, Поле не спускал с меня глаз.

— Мне кажется, мы с тобой знакомы, — сказал он, обращаясь ко мне, — ты уж носил нашу шапку, молодчик!

Я ответил, что действительно находился на корсарском судне «Barras», но что не помню, чтобы видел его где-нибудь.

— В таком случае познакомимся; не знаю,

ошибаюсь ли я, но ты выглядишь славной «собакой», как говорится. Эй вы, люди добрые, разве я неправду говорю? Мне по сердцу такие рожи, как у него. Садись по правую руку, молодец; плечища-то, плечища-то каковы, — косая сажень! Этот блондинчик, клянусь честью, выйдет славным охотником за рыжаками (англичанами).

С этими словами Поле надел мне на голову свою красную шапку.

— Славно пристала шапка этому мальчишке! — заметил он на своем пикардском наречии, не без оттенка добродушия.

Мне вдруг стало ясно, что капитан далеко не прочь был бы завербовать меня в свою бесшабашную команду. Дюфайльи, еще не потерявший способности говорить, настойчиво уговаривал меня воспользоваться удобным случаем: в этом заключался добрый совет, который он обещал дать мне, — я решился последовать ему. Условлено было завтра же представить меня главному корсару и судохозяину Шуанару, который немедленно должен был дать мне вперед небольшую сумму денег.

Само собой разумеется, что мои новые товарищи чествовали меня на славу: капитан открыл им кредит в тысячу франков в гостинице, и, кро-

ме того, многие из них имели в городе запасы, из которых они отправились черпать. Мне еще не случалось видеть такой полной чаши, такого излишества. Для корсаров ничего не было недоступного — им море было по колено. У Бутруа не хватило запасов, — чтобы удовлетворить их, он разослал гонцов за покупками для пира, который должен был продлиться несколько дней. Мы начали пировать с понедельника, а в следующее воскресенье мой приятель еще не успел отрезвиться. Что касается меня, то хотя я не слишком отставал от остальных, но голова у меня была свежа.

Скоро нас посетили Полина с сестрой.

— Несчастные мы, злополучные! — воскликнула девушка с жестами глубокого отчаяния.

— Что с вами случилось? — спросил я.

— Мы погибли! — вопила она, с лицом, орошенным слезами. — Двух из тех перенесли в больницу, у них ребра переломаны, один полицейский ранен и плац-комендант отдал распоряжение закрыть дом. Что с нами теперь будет? Куда нам голову склонить?

— Не бойтесь, пристанище для вас всегда найдется. А где матушка Тома?

Тереза сообщила мне, что мадам Тома сначала

свели в участок, а потом препровадили в городскую тюрьму.

— Ходят даже слухи, — прибавила девушка, — что она не так-то легко отделается.

Это известие сильно обеспокоило и взволновало меня. Тома будет подвергнута допросу, — может быть, ее уже призывали к генеральному комиссару полиции; без сомнения, она назвала имена, в том числе и Дюфайльи.

Вместе с Дюфайльи буду скомпрометирован и я. Необходимо было предупредить беду. Я наскоро сбежал вниз, чтобы совещаться с сержантом насчет мер, которые следует принять. К счастью, он еще не был лишен способности понять мои доводы; я стал выставлять на вид опасность, которая нам угрожала. Он понял меня и вынул из своего пояса штук двадцать гиней. «Вот, — сказал он, — чем можно зажать рот кумушке Тома!» Призвав одного служителя гостиницы, он передал ему сумму, поручив ему отдать ее заключенной.

— Это сын консьержа, — пояснил Дюфайльи, — он ловок, как угорь, всюду найдет путь, и к тому же он малый не болтливый, скромный.

Наш посланный скоро вернулся назад, он рассказал нам, что мадам Тома, допрошенная дважды, никого не выдала; она с благодарностью

приняла подарок и поклялась даже на плахе не говорить ничего, компрометирующего нас; для меня стало ясно, что с этой стороны опасаться нечего.

— А с девицами что мы поделаем, куда их-то девать? — спросил я Дюфайльи.

— Их можно переслать в Дюнкирхен, я беру издержки на свой счет.

Мы тотчас же предупредили их о необходимости ехать немедленно. Они сначала казались удивленными и поломались немного; но мы старались убедить их, что в их прямом интересе не оставаться долее в Булони; наконец они решились распрощаться с нами. В тот же вечер они отправились в путь. Прощание было не особенно печальное, Дюфайльи позаботился о щедром обеспечении их с материальной стороны, и, кроме того, они имели надежду с нами свидеться: чего не бывает, недаром говорится, что гора с горой не сходятся… продолжение пословицы известно. Действительно, судьба свела нас позднее в увеселительном заведении, куда привлекла публику слава знаменитого Жан Барта.

Мадам Тома была выпущена на волю после шестимесячного заключения. Полина и ее сестра, возвратившиеся к ней из привязанности к род-

ной почве, начали снова свою прежнюю жизнь. Не знаю, составили они себе состояние или нет, — первое весьма возможно. Но за неимением дальнейших сведений, я прерываю повествование о прекрасных сестрах и продолжаю историю своих похождений.

Поле и его товарищи почти не заметили нашего отсутствия, так скоро мы вернулись обратно, обделав свои дела. Компания пила, ела, пела песни во всю глотку до самой ночи, без роздыха — все время наше было посвящено непрерывной трапезе. Поле и его помощник Флерио были героями пиршества: в физическом и нравственном отношении они представляли резкую противоположность. Первый из них был мужчина толстый, коренастый, широкоплечий, с бычьей шеей, с пухлым, цветущим лицом, имеющим в себе нечто львиное. Его взгляд был то грозен, то необыкновенно нежен. В сражении он был беспощаден, но в частной жизни был человеколюбив, сострадателен. Во время нападения на судно он был самим чертом; среди своего семейства, с женой, с детьми он отличался кротостью ягненка. Словом, он был добрый хозяин, простой, наивный и приветливый, как патриарх; в нем трудно было узнать морского разбойника. Но на корабле он

внезапно перерождался, изменял свой нрав и привычки и становился грубым и беспощадным; он управлял командой, как восточный деспот, не допуская никаких рассуждений. У него была железная воля; горе тому, кто окажет ему неповиновение. Поле был и неустрашим, и вместе с тем добродушен, чувствителен и груб в то же время; трудно было бы обладать такой искренностью и прямодушием.

Помощник Поле был один из самых своеобразных людей, каких мне только случалось встречать: одаренный атлетическим телосложением, еще очень молодой, он не в меру пользовался всеми благами мира сего; он был один из тех развратников, которые рано испили чашу жизни. Пылкое воображение, неудержимые страсти рано толкнули его в жизнь. Ему еще не минуло двадцати лет, как грудная болезнь, сопровождаемая общим расслаблением, принудила его покинуть артиллерийскую службу, куда он определился с 18 лет.

Теперь этот несчастный был при последнем издыхании; его худоба была ужасна; два больших черных глаза, еще более оттенявших его смертную бледность, казалось, были единственными признаками жизни в этом полуразрушенном те-

ле, служившем оболочкой самой пылкой душе.

Флерио сознался, что дни его сочтены. Авторитеты науки произнесли его смертный приговор, и уверенность в близкой кончине внушила ему престранную мысль. Вот что он рассказал мне по этому поводу:

— Я служил в 5-м полку легкой артиллерии, куда поступил волонтером. Полк стоял гарнизоном в Меце; женщины, манеж, бессонные ночи извели меня; я иссох, как пергамент. В один прекрасный день нас погнали в поход, отправляемся, доро́гой я заболеваю, мне дают билет в госпиталь, и несколько дней спустя доктора, увидев, что я харкаю кровью в изобилии, объявили, что состояние моих легких не может долее выносить верховой езды; решили отправить меня в артиллерийскую пехоту. Едва успел я оправиться, как меня действительно переместили по совету докторов. Я покинул свой калибр для другого, поменьше, променял шпору на штиблет; мне больше не приходилось чистить лошади, но зато пришлось заряжать, снимать запор, возить тачку, копать заступом, с грудью, перетянутой ремнем, и, что всего хуже, взвалить на спину ранец — это вечное бремя, которое одно подкосило больше рекрутов, нежели пушка при Маренго. Телячья

шкура (ранец) нанесла мне окончательный удар; терпеть долее не было мочи. Подаю в отставку; получаю ее, остается только осмотр генерала. Это была бестия Сарразен; подходит ко мне:

— Бьюсь об заклад, что он чахоточный, этот мошенник.

— Чахотка, ваше превосходительство, во второй степени.

— Ну вот, я верно отгадал, признаки безошибочны: узкие плечи, впалая грудь, тонкая талия, осунувшееся лицо. Посмотрим ноги. Эти ноги, — сказал генерал, ударив меня по икре, — сделают еще четыре кампании. Чего ты хочешь? Отставки? Не получишь ее. Смерть тому, кто отступает. Ступай своей дорогой… Ну, теперь другого…

Я пытался заговорить.

— Перейдем к другому, — перебил генерал, — а ты, любезный, молчать!

По окончании смотра я бросился в изнеможении на походную кровать. Пока я лежал на жестком тюфяке, помышляя о жестокосердии генерала, мне пришло в голову, что он, может быть, смилуется, если за меня замолвит словечко один из его товарищей. Мой отец был в дружбе с генералом Леграном, последний находился в лагере при Амблетезе; я решился добиться его

покровительства и отправился к нему. Он принял меня как сына старинного товарища, дал мне письмо к Сарразену и в провожатые одного из своих адъютантов. Письмо генерала было убедительно — я был уверен в успехе. Мы вдвоем пришли в левый лагерь и осведомились, где живет генерал. Солдат привел нас к двери полуразрушенного барака, вовсе не похожего с виду на жилище генерала, — ни часового, ни надписи, ни будки. Стучу в дверь рукояткой сабли.

— Войдите, — слышится изнутри голос с сердитым оттенком.

Первый предмет, бросившийся нам в глаза, когда мы вошли, было шерстяное одеяло, под которым рядышком лежали на соломе генерал со своим негром. В этом положении он давал нам аудиенцию. Сарразен взял письмо и, не переменяя положения, прочел его, затем обратился к адъютанту:

— Генерал Легран, кажется, интересуется этим юнцом? Чего же он желает? Чтобы я дал ему отставку? И не подумаю. Ты ведь не разжиреешь, если я тебе дам отставку, — прибавил он, обращаясь ко мне. — Нечего сказать, хорошая тебе предстоит перспектива дома! Если ты богат — будешь жариться на медленном огне под пыткой

ухаживанья и забот; если беден — сядешь на шею своим родителям и околеешь в больнице. Я хороший врач: тебе нужно бомбу, и с ней ты выздоровеешь. Ходьба пешком и упражнение поправят тебя. Кроме того, советую тебе последовать моему примеру: пей вино — это получше будет всякого больничного питья да сыворотки.

При этих словах он схватил за горлышко громадную бутыль, которая стояла подле, налил полную пивную кружку и подал мне. Напрасно я отказался от угощения, мне пришлось проглотить добрую часть заключавшейся в ней жидкости. Адъютант также не мог избавиться от этой оригинальной любезности. Генерал пил после нас, его негр, которому он передал кружку, покончил с остальным.

Не было никакой надежды заставить его изменить решение; мы возвратились крайне недовольные, — адъютант обратно в Амблетезу, а я — в крепость Шатильон, куда добрался еле живым. С этого времени мною овладели необыкновенная печаль и апатия, которые парализовали все мои способности; меня уволили со службы. Круглые сутки я лежал на животе, совершенно равнодушный ко всему, что происходило вокруг меня, и, вероятно, я до сих пор пробыл

бы в таком же положении, если бы в одну прекрасную ночь англичанам не вздумалось сжечь флотилию. Необъяснимая усталость, овладевшая мной, хотя я ничем не занимался, погрузила меня в тяжелый сон. Вдруг я просыпаюсь и вскакиваю при звуке пушечного выстрела. Встаю и сквозь тусклые стекла маленького окошка вижу тысячи огней, перекрещивающихся на воздухе. Там виднеются длинные огненные следы, как радуги; в другом месте — яркие звезды, вспыхивающие с ревом и треском. Прежде всего мне пришло в голову, что это должно быть фейерверком, но вскоре шум и гул, как будто бурные потоки каскадами стремятся с вершины скалы, навели на меня какой-то ужас, и я содрогнулся. Временами глубокая тьма уступала красному свету, такому, какой, вероятно, будет в день Страшного суда: вся земля как будто была объята пламенем. Меня била лихорадка, мне казалось, что голова моя сейчас лопнет. Забили тревогу, я слышал крики: «К оружию!» Дрожь пробегает у меня по всему телу от макушки до пяток; мною овладевает состояние, похожее на горячечный бред; бросаюсь к своим сапогам, силюсь натянуть их на ноги — невозможно: они оказываются слишком узки. Между тем с каждой секундой мой ужас возрас-

тает — все мои товарищи уже одеты; молчание, господствующее вокруг меня, свидетельствует о том, что все ушли. Со всех сторон бегут наши люди к орудиям; а я, не заботясь о неудобстве своей обуви, со всех ног пускаюсь бежать по деревне, унося под рукой свои пожитки. На другой день я пришел назад к товарищам, которых нашел живыми и невредимыми. Стыдясь своей трусости, которой сам удивлялся, я изобрел сказку, которая, если бы ей поверить, могла бы упрочить за мною славу неустрашимого.

К несчастью, не так-то легко попались на эту удочку; никто не поверил моей выдумке. Со всех сторон на меня сыпались насмешки и остроты; я выходил из себя от ярости и досады. В другое время я сумел бы защититься против всей роты, но я чувствовал полный упадок сил, и только на следующую ночь ко мне возвратилась часть моей энергии.

Англичане снова начали бомбардировать город; они стояли недалеко от берега — их слова долетали до нас, а ядра из множества наших орудий на берегу летали слишком высоко и миновали неприятеля. На песчаное прибрежье отправили подвижную батарею, которая, чтобы приблизиться к ним на самом близком расстоя-

нии, передвигалась по мере прилива и отлива. Я был первым канонером при двенадцатидюймовом орудии. Доберемся, бывало, до предела воды и остановимся. В ту же минуту на нас летит град ядер; гранаты разрываются над нашими муниционными повозками и над нашими лошадьми.

Нам стало ясно, что, невзирая на темноту, мы сделались точкой прицела для англичан. Приходилось отражать удары; раздается приказ переменить положение — маневр этот приводится немедленно в исполнение; капрал при моем орудии, почти так же напуганный, как я накануне, хочет удостовериться, продеты ли цапфы в паз, и кладет туда руку; вдруг он испускает дикий крик, раздавшийся по всему берегу, — его пальцы приплюснуты под тяжестью двадцати центнеров чугуна. Пытаются освободить руку несчастного, который падает в обморок. Несколько капель водки приводят его в чувство, и я предлагаю свои услуги, чтобы отвести его в лагерь. Конечно, все подумали, что я ищу предлога избавиться от опасности. Мы с капралом шли вместе; при самом входе в парк, через который мы должны были пройти, поджигательная ракета падает между двумя муниционными повозками, наполненными порохом. Опасность неминуема, еще

несколько минут — и весь парк взорвет на воздух. Если бы мне бежать скорее, то я мог бы еще найти убежище и спасение; но я чувствую, что во мне произошла разительная, необъяснимая перемена. Смерть более не страшит меня. С быстротою молнии бросаюсь на металлический цилиндр, откуда течет смола и пылающее вещество, пытаюсь затушить искру, но мне это не удается; я хватаю картечницу, уношу на некоторое расстояние, бросаю наземь в ту самую минуту, когда находящиеся в ней гранаты с треском разрывают железную оболочку. Был один свидетель моего подвига; мои руки, лицо, обгоревшее платье, уже обуглившиеся бока одной из пороховых бочек — все это свидетельствовало о моей храбрости. Я возгордился бы собой, если бы не та мысль, что теперь я только оправдал себя перед лицом товарищей: они более не имеют повода осыпать меня своими грубыми шутками и остротами. Мы продолжаем свой путь. Едва успели мы пройти несколько шагов, как чувствуем, что атмосфера становится горячей до удушливости — семь пожаров разом вспыхнули в разных местах. Очаг этого яркого и страшного света находится в гавани; аспидные крыши пылают с оглушительным треском, как будто слышишь ружейную пальбу.

Отряды, введенные в заблуждение этими звуками, причина которых им неизвестна, стекаются со всех сторон, отыскивая неприятеля. Поближе к нам, в некотором расстоянии от корабельной верфи, клубы дыма и пламени подымаются над хижиной и пылающие искры летят вокруг. До нас доходят жалобные крики — это голос ребенка. Меня охватывает ужас: что, если теперь уже поздно? — думается мне. Я жертвую собой; ребенок спасен, я отдаю его матери, которая в отчаянии бежала спасать его.

Моя честь была достаточно восстановлена — никто более не посмел бы обозвать меня трусом. Когда я вернулся на батарею, все стали поздравлять меня. Батальонный командир обещал мне крест за храбрость, которого не мог даже добиться для себя, — за все время своей тридцатилетней службы он всегда имел несчастье находиться позади пушки, а не лицом к лицу. Я отлично знал, что мне не удастся получить креста прежде него, и действительно не ошибся. Как бы то ни было, я решился отличаться повсюду, где только представится удобный случай.

Между Англией и Францией были начаты переговоры для заключения мира. Лорд Лоудердэль находился в Париже в качестве уполномочен-

ного, как вдруг телеграф известил о бомбардировании Булони — это было второе действие драмы, разыгравшейся в Копенгагене. По получении этого известия император, взбешенный возобновлением военных действий без всякого повода, призывает к себе лорда, упрекает его кабинет в вероломстве и повелевает ему удалиться немедленно. Две недели спустя Лоудердэль останавливается здесь у «Золотой пушки». Он англичанин, взбешенный народ жаждет мести; собираются толпы, преграждают ему путь, и когда он появляется, то, забывая уважение к мундиру двух офицеров, поставленных для его охраны, его забрасывают целым градом камней и грязи. Бледный, взволнованный, расстроенный до крайности, милорд, по-видимому, ожидает смерти; но я сквозь толпу пробиваюсь к нему с оружием в руках и восклицаю: «Горе тому, кто посмеет тронуть его!» Я держу речь к народу, разгоняю толпу, и мы, не подвергаясь никаким оскорблениям, достигаем гавани, где лорд Лоудердэль садится на парламентерское судно. Вскоре он был доставлен на английскую эскадру, которая в тот же вечер снова начала бомбардировать город. На следующую ночь мы все еще находились на песчаном прибрежье. В час ночи англичане, пустив

несколько поджигательных ракет, прекратили огонь. Я был разбит от усталости — расположился на лафете и заснул. Сколько времени продолжался мой сон, не знаю сам, но, проснувшись, я почувствовал, что лежу в воде по горло, кровь моя застыла в жилах, члены окоченели, зрение и память окончательно помутились.

Булонь как будто не там стояла, где прежде; я принимал огонь флотилии за неприятельский огонь. Это было начало продолжительной болезни, во время которой я настойчиво отказывался ложиться в госпиталь. Наконец наступило выздоровление, но так как я поправлялся крайне медленно, то мне снова предложили отставку, и на этот раз удалили со службы помимо моей воли; я кончил тем, что согласился с мнением Сарразена.

Я больше не чувствовал никакой охоты умирать в постели, и, придерживаясь смысла поговорки: «Смерть тому, кто отступит», я и не отступал и посвятил себя карьере, в которой без особенно тяжкого труда встречается самая разнообразная деятельность. Убежденный, что мне недолго осталось жить на свете, я решился пожить всласть, я сделался корсаром. Чем я рисковал на этом поприще? Я мог только быть убитым в стычке, и

в этом случае я терял немного. А пока я не терплю ни в чем недостатка, сильные ощущения всякого рода, удовольствия, опасности приятно разнообразят мою жизнь. Словом, я не останавливаюсь на пути.

Читатели из этого могут видеть, какие люди были капитан Поле и его помощник. Последний, еле живой, был всегда первым в сражении, как и повсюду, был коноводом и первым затейником. Порой он, казалось, был углублен в мрачные думы, но вдруг он как бы отбрасывал их в сторону быстрым движением, возбужденное состояние его мозга сообщалось его нервам, и тогда его буйство не знало границ: не было ни одного сумасбродства, ни одной дикой выходки, на которую он бы не был способен. В этом состоянии искусственного возбуждения, для него не было ничего невозможного, он взобрался бы на луну. Мне не перечесть всех сумасбродств, которые он сделал на банкете, на который привел меня Дюфайльи: он предлагал то одно увеселение, то другое; между прочим ему пришло в голову идти в театр.

— Что дают сегодня? «Мизантропия и раскаяние»; я предпочитаю «Двух братьев». Товарищи! Кто из вас хочет поплакать? Капитан ежегодно плачет в день своего ангела, а мы, холостяки, не

знаем семейных радостей. Вот что значит, однако, быть отцом семейства! Ходите вы когда-нибудь в театр, начальник? Советую посмотреть — народу будет тьма. Все одна знать: рыбачки в шелковых платьях — это весь цвет здешнего общества. Им это идет, как коровам седло! Ну да все равно — подавай им комедию, да и только. Хорошо еще, если б они по-французски говорить умели! А то, боже сохрани! — этого от них не ожидайте. Помнится мне, на последнем балу эти прелестные особы, когда их приглашают танцевать, отвечают: «Нет-с, я занята».

— Скоро ты перестанешь отделывать здешнюю сторонку? — заметил Поле своему помощнику, которого ни один из пиратов не посмел перебивать.

— Капитан, — ответил тот, — была бы честь предложена, я пригласил честную компанию — все молчат, плакать, видно, никому не охота. В таком случае прощайте, господа, иду плакать один.

Флерио вышел. Едва успел он удалиться, как капитан стал расхваливать его: «Отчаянная он голова! Но зато что касается храбрости, так уж мое почтенье — ему не найдется равного на всем земном шаре». Он рассказал нам, что своей добы-

чей он обязан смелости и отваге Флерио. Рассказ был оживленный и пикантный, несмотря на оригинальную привычку Поле вставлять между слов букву «т» всякий раз, как он говорил с товарищами, и букву «с», когда ему приходилось вести разговор официальный, церемониальный, с лицами малознакомыми; вероятно, он находил, что этого требовала вежливость. Щедро пересыпая свой рассказ буквой «т», он описал нам в самых забавных выражениях стычку, в которой он, по обычаю, доконал с дюжину англичан перекладиной кабестана.

Между тем становилось поздно. Поле, который еще не видел свою жену и детей, приготовился уходить, как вдруг воротился Флерио — уже не один.

— Как вы находите, капитан, миленького матросика, которого я только что завербовал? Не правда ли, красная шапка чудесно пристанет этому красивому личику.

— Правда, — сказал Поле, — но разве это юнга, — у него нет и признаков бороды… А, да я смекаю, — прибавил он удивленным голосом, — это женщина…

Поглядев на нее с минуту, он еще более удивился.

— Если не ошибаюсь, — воскликнул он, — это жена Сен…

— Да, — ответил Флерио, — это не кто иной, как Элиза, прекрасная половина директора труппы, увеселяющей в настоящее время всю Булонь; она пришла к нам порадоваться на наше счастье.

— Дама среди корсаров, поздравляю! — продолжал капитан, бросая на переодетую актрису взгляд, полный презрения. — Славные она услышит вещи, нечего сказать. Надо быть помешанной… Как подумаешь, женщина!

— Ну полноте, начальник! — воскликнул Флерио. — Можно подумать, что корсары какие-то людоеды; ведь ее никто не съест. К тому же вы ведь помните припев песенки:

Она любит смеяться, любит пить,

Любит петь, как и мы сами.

Что в этом дурного?

— Я согласен, что ничего, — ответил капитан, — только погода теперь хорошая, весь мой экипаж пользуется цветущим здоровьем, присутствие этой дамы вовсе не необходимо.

При этих словах, произнесенных рассерженным голосом, Элиза потупила глазки.

— Милое дитя, не краснейте, — успокаивал ее

Флерио, — капитан ведь шутит…

— Нет, черт возьми, я не думаю шутить, я помню тот пресловутый день Св. Наполеона, когда весь генеральный штаб, начиная с генерала Брюна, шел нога за ногу; в этот день не было никаких действий — эта дама знает почему, не заставляйте меня пояснять вам.

Элиза, которую оскорбляли речи капитана, однако, по-видимому, не раскаивалась в том, что последовала за Флерио: среди смущения, овладевшего ею, она старалась оправдать свое появление в гостинице «Серебряного льва»; со свойственной женщине легкостью, кротким выражением лица и привлекательными ужимками она медовым голоском стала напевать о своем «восторге», о «славе», о «неустрашимости», о «героизме» и, чтобы окончательно умаслить и расчувствовать Поле, назвала его «французским рыцарем», взывая к его рыцарским чувствам. Лесть всегда оказывала большее или меньшее влияние на самые зачерствелые натуры. Поле стал почти вежливым, в речи его часто слышалась кстати и некстати буква «с», словом, он принял церемонный, праздничный вид. Он извинился по-своему, как мог, в своей грубости, получил прощение и распростился со своими гостями, пожелав им

веселиться: вероятно, им не пришлось скучать. Меня, грешного, клонило ко сну, я бросился на свою постель и заснул как убитый. На другое утро я проснулся свежим и бодрым. Флерио повел меня к судохозяину, который, увидев, каким я выгляжу молодцом, дал мне вперед несколько пятифранковых монет. Семь дней спустя восемь из наших товарищей поступили в больницу. Имя актрисы Сен *** более не появлялось на афишах. Ходили слухи, что эта барыня, желая поскорее убраться в безопасное место, воспользовалась дормезом какого-то полковника, который, обуреваемый страстью к игре, скакал в Париж проигрывать все, кончая султанами своего полка.

Я с нетерпением ждал отплытия. Пятифранковые монеты Шуанара были сочтены; на них я, конечно, мог существовать, но они не давали мне возможности разгуляться. С другой стороны, пока я был на суше, я подвергался опасности сделать дурные встречи. Булонь была наводнена всякой швалью. Разные негодяи держали игру на берегу, где они обчищали рекрутов как липок под предводительством одного разбойника — Каниве; этот грабитель перед всей армией и ее начальниками осмеливался величать себя «палачом черепов». Как теперь вижу на его полицейской

шапке изображение мертвой головы, рапир и скрещенных костей. Каниве был как бы арендатором или скорее владельцем игорных костей и других игр; от него зависела целая толпа помощников, разных оборванцев, которые платили ему дань за право плутовать и надувать публику. Он неустанно следил за ними, и когда подозревал их в неверности по отношению к себе, то наказывал их обыкновенно, нанося им удары шпагой. Я был уверен, что среди этой сволочи непременно есть беглые с каторги. Я боялся, чтобы меня не узнали, и мои опасения были тем более основательны, что многие освобожденные каторжники были определены в саперный корпус или в корпус военных рабочих при флоте. С некоторых пор только и толковали что об убийствах, грабежах, воровстве. Все эти преступления сопровождались симптомами, по которым можно было узнать, что тут действовали опытные мошенники, набившие руку в ремесле. Может быть, в числе этих разбойников, думал я, найдется один из тех, с которыми я сошелся в Тулоне. Для меня очень важно было избегнуть их, так как, раз снова вступивши с ними в сношения, мне трудно было бы не скомпрометировать себя. Известно, что мошенники, как развратные женщины, когда стараешься

вырваться из их общества, всегда общими силами препятствуют обращению раскаявшегося; они считают для себя в некотором роде честью удержать своего товарища в том состоянии возмутительного разврата, в котором погрязли сами. Я помнил своих доносчиков в Лионе и мотивы, побудившие их заставить арестовать меня. Так как опыт был еще свеж, то, конечно, я не забыл его и держал ухо востро. Поэтому я показывался на улицах по возможности редко и проводил все время у некой мадам Анри, которая держала меблированные комнаты для корсаров, пуская их в кредит, в надежде будущих благ. Мадам Анри была хорошенькая вдова (предполагая, конечно, что она была когда-нибудь замужем). Она все еще была очень соблазнительна, хотя ей было около тридцати шести лет. При ней были две прелестные дочери, которые, не переставая быть добродетельными, были настолько любезны, что подавали надежды всякому красивому малому, которому везло счастье. Всякий, кто тратил свое золото в этом доме, встречал радушный прием, но тот, кто тратил больше всех, всегда был на первом плане и более других пользовался милостями маменьки и дочек, конечно, до тех пор, пока у него оставались деньги в кармане. Рука

каждой из этих барышень была обещана раз двадцать, если не больше, двадцать раз их объявляли невестами, и тем не менее их репутация от этого нимало не пострадала. Они были свободны в своих речах и сдержанны в своем поведении и хотя не кичились своей невинностью, но никто не мог похвастаться тем, что совратил их с пути истинного. А между тем сколько героев-моряков испытали на себе действие их прелестей! Сколько поклонников, обманутых соблазнительным кокетством без последствий, надеялись на то, что им будет оказано предпочтение и что счастье от них близко. И в самом деле, как не обмануться насчет истинных чувств этих целомудренных существ, любезность которых всегда имела вид поощрения? Сегодня героя чествуют, осыпают предупредительной любезностью, ему позволяются известные вольности, например поцелуи украдкой и т. д. Еще поощряют нежными взглядами, дают ему советы быть поэкономнее и в то же время ловко заставляют тратиться, распределяют, как ему следует употребить деньги; если же его фонды на исходе, что обыкновенно случалось без его ведома, то деликатно предлагают дать ему взаймы, возвещая этим о плачевном состоянии его финансов. Никогда его не выпроваживали

вон. Не выказывая ни равнодушия, ни охлаждения, терпеливо выжидали, чтобы необходимость и любовь заставили его пуститься на новые опасности. Но едва успевал сняться с якоря корабль, уносивший с собою любовника, отправлявшегося на подвиги, в награду которых ему предстоял в перспективе счастливый гименей, как его заменял другой благополучный смертный, так что в доме у мадам Анри никогда не было недостатка в поклонниках; ее барышни представляли подобие цитаделей, вечно находящихся в осаде, по-видимому постоянно готовых сдаться, но никогда не сдававшихся. Едва один успевал снять осаду, как являлся другой. Все уходили с носом, все принуждены были уносить с собою обманутые надежды. Сесиль, старшей дочери мадам Анри, однако, уже перевалило за двадцать. Она была девушка веселая, страшная хохотушка, слушала все, что хотите, не краснея. Гортанс, ее сестра, была еще моложе, а по характеру еще наивнее. Иногда она говорила такие вещи, что уму непостижимо, но, казалось, в жилах прелестных сестриц протекали вместо крови мед и розовая водица, до того они были невозмутимо спокойны и кротки. В их сердцах не было никакого огня; хотя они не стеснялись сальностями и не удивлялись дву-

смысленным жестам какого-нибудь матроса, но тем не менее они вполне заслуживали репутации самой патентованной невинности.

В кругу этого уважаемого семейства мне пришлось прожить чуть ли не целый месяц, проводя время в балагурстве, игре в пикет и попойках. Это бездействие, которым я уже начинал тяготиться, наконец прекратилось. Поле намеревался опять приступить к своим обычным подвигам. Мы отправились на охоту, но, к несчастью, ночи не были достаточно темны, дни стали слишком длинны. Вся наша добыча состояла в нескольких злосчастных угольных судах и в неважном шлюпе; на нем мы обрели какого-то еле живого лорда, который предпринял со своим поваром морскую экскурсию с целью восстановить свой аппетит. Мы отправили его тратить свои доходы и есть форель в Верден.

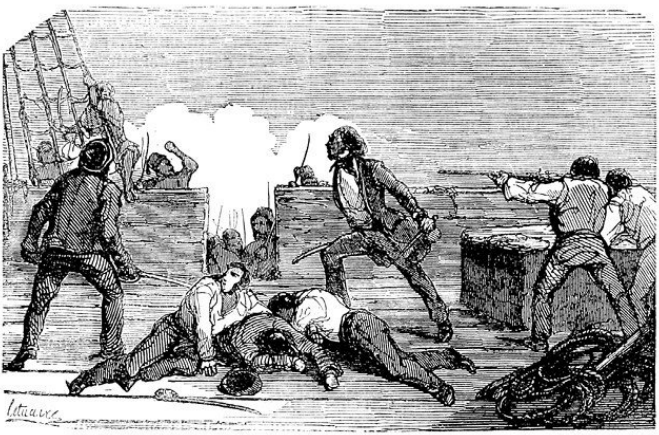
Наступала весна, а мы не забрали почти никакой добычи. Капитан был сумрачен и смотрел сентябрем. Флерио выходил из себя, клялся, ругался, бушевал с раннего утра до поздней ночи; весь экипаж впал в уныние. Мне кажется, что при таком расположении мы атаковали бы трехдечное судно. Было около полуночи. Вышедши из небольшой бухты недалеко от Дюнкирхена,

мы направились к берегам Англии. Вдруг луна, выступившая из-за облаков, разлила свой свет на волны пролива. В недалеком расстоянии белеют паруса. Военный бриг рассекает сверкающие волны. Поле узнал его. «Ребята! — кричит он. — Он наш! Он наш! Все там валяются, как снопы, а за вахту я ручаюсь!» В одно мгновение он скомандовал на абордаж. Англичане защищались с ожесточением; на палубе завязался отчаянный рукопашный бой. Флерио, который, по своему обыкновению, бросился на неприятеля одним из первых, пал мертвым. Поле был ранен, но он достойно отомстил за себя и за смерть своего помощника. Неприятели валились как мухи вокруг него; никогда я не видел такой резни. В десять минут мы овладели кораблем, и вместо красного флага уже развевался наш трехцветный. Двенадцать человек нашего экипажа пали в сражении, где с обеих сторон дрались с равным ожесточением. В числе погибших был некто Лебель, так поразительно похожий на меня, что это постоянно подавало повод к самым странным недоразумениям. Я вспомнил, что у моего двойника бумаги были в полном порядке. «Куда ни шло, — подумал я, — случай-то хорош, неизвестно, что может случиться. Лебеля выбросят на

съедение рыбам — ему не понадобится паспорт, а его документы отлично пригодятся мне».

Эта мысль показалась мне великолепной; я боялся лишь одного: что Лебель оставил свои бумаги в бюро у судохозяина. Легко себе представить мою радость, когда я ощупал портфель на груди мертвеца. Я схватил бумаги, пока никто не видал этого; и когда бросили в море мешки с песком, в которые опустили тела убитых, у меня как будто свалилась гора с плеч, я подумал, что раз навсегда избавился от этого несносного Видока, который сыграл со мной столько скверных штук.

Однако я еще не был вполне спокоен: Дюфайльи, бывший нашим ближайшим начальником, знал мое имя. Это обстоятельство смущало и досадовало меня: чтобы ничего более не опасаться, я решился уговорить его сохранить мою тайну и рассказать ему какую-нибудь сказку о своих похождениях. Напрасная предосторожность: я зову Дюфайльи, ищу его по всему бригу — отправляюсь на поиски на «Revanche» — ни слуху ни духу о Дюфайльи. Что с ним сталось? Я влезаю в баталер-камеру; там за бочонками можжевеловой водки вижу человеческое тело, распростертое на полу. Это был Дюфайльи. Я встряхиваю его, переворачиваю… он весь черный… он умер.



Вот какова была кончина моего покровителя; вероятно, удар, разрыв сердца или, наконец, мгновенная смерть от пьянства положили конец его бурной карьере. Со времени существования сержантов морской артиллерии не встречалось ни одного, который пил бы с такой замечательной настойчивостью.

С ним случился однажды весьма характерный

эпизод. Этот царь пьяниц рассказывал о нем с любовью, считая это приключение лучшим во всей своей жизни. Был праздник крещения. Дюфайльи достался традиционный боб; чтобы почтить его королевское достоинство, товарищи сажают его на носилки, которые несут четыре канонера. На каждом шесте носилок висели жбаны с водкой, розданные команде поутру. Взгромоздившись на этот импровизированный паланкин, Дюфайльи делал станцию перед каждым бараком лагеря, где пил и других поил при обычных восторженных восклицаниях. Станции эти были так часты, что в конце концов у него закружилась голова и его шаткое величество проглотил, не разжевывая, целый фунт сала, которое он принял за швейцарский сыр: кушанье было неудобоваримое, Дюфайльи, возвратившись в свой барак, бросился на койку. Почувствовав сильную тошноту, он старается удержаться от рвоты, но извержение происходит, кризис минует, и он засыпает как убитый; его выводят из летаргического состояния лишь задорное ворчанье собаки и царапанье кошачьих когтей: оба животных, усевшись у самого кратера, дрались из-за добычи. О, человеческое достоинство, где ты? Отвратительная картина, которая убедит всех и каждого, что Дюфайльи

был далеко не способен преподавать уроки умеренности и трезвости спартанским детям.

Я на минуту отвлекся от нити своего рассказа, чтобы последним штрихом закончить портрет моего земляка; его больше нет на свете, да упокоит Бог его душу. Я вернулся на бриг, где Поле оставил меня с капитаном, сторожившим добычу, и пятью матросами с «Revanche». Мы закрыли люки, чтобы вернее охранять наших пленных, и стали приближаться к берегу, чтобы по возможности идти вдоль него до самой Булони. Но пушечные выстрелы с английского корабля, прежде нежели мы овладели им, уже успели привлечь в нашу сторону один из английских фрегатов. Он шел на нас на всех парусах и вскоре так близко подошел к нам, что гранаты из его орудий миновали нас и летели дальше. Фрегат преследовал нас таким образом до самого Кале. Вдруг море стало бурным, подул сильный береговой ветер, налетел шквал. Мы полагали, что фрегат удалится из опасения потерпеть крушение у скал. Он уже далеко не был свободен в своих маневрах — ветер гнал его по направлению к берегу, судну приходилось одновременно бороться против всех разъяренных стихий: единственное средство спасения было бы стать на мель. В одно мгновение фрегат очутился

под перекрещивающейся перестрелкой батарей с «железного прибрежья», с насыпи Красного форта; отовсюду на него сыпались градом бомбы, картечи, гранаты. Среди оглушительного шума тысячи пушечных выстрелов раздается раздирающий вопль… фрегат погружается в воду, и нет никакой возможности спасти его.

Час спустя рассвело. Там и сям по волнам носились обломки корабля. За одну из мачт судорожно ухватились мужчина и женщина; утопающие махали нам носовым платком. Мы намеревались обогнуть мыс Грене, когда заметили сигналы несчастных. Мне показалось, что нам удастся спасти их, — я предложил это своему начальству, и когда капитан отказался предоставить в наше распоряжение шлюпку, я решился действовать сам. В порыве непонятного для меня чувства сострадательности я выходил из себя и грозил размозжить ему голову.

— Полно дурить, — сказал он, презрительно пожимая плечами, — вот хоть бы капитан Поле, уж чего сострадательный человек, а не трогается с места, хотя видит их. Уж, видно, делать нечего — против судьбы не пойдешь. Они там, мы тут, всякий сам по себе, слава богу, мы и так понесли много потерь; чего стоит одна потеря Флерио!

Этот ответ возвратил мне мое хладнокровие, дав понять, что мы сами подвергаемся большей опасности, нежели я полагал. Действительно, волнение усиливалось; над нами носились чайки и рыболовы, их пронзительные крики смешивались с ревом и свистом ветра. На горизонте, все более и более мрачном, обрисовывались длинные черные и красные облака — вид неба был ужасен: все предвещало близкий ураган. К счастью, Поле искусно рассчитал время и расстояние, мы миновали Булонь и неподалеку от нее, в Портеле, нашли бесплатное убежище от бури. Высаживаясь на берег в этой местности, мы увидели лежащими на песчаном берегу тех двух несчастных, которых мне так хотелось спасти; прилив прибил их безжизненные тела к чужеземному берегу, где мы должны были предать их погребению. Может быть, это были любовники; я был тронут их печальной судьбой, но другие заботы отвлекли меня от моих соболезнований. Все население деревни — женщины, дети, старики — стеклось на берег.

Семейства ста пятидесяти рыбаков предавались отчаянию, наблюдая, как шесть линейных английских судов громили утлые рыбацкие лодки. Каждый из присутствующих с лихорадочным

вниманием, которое трудно описать, следил глазами за интересовавшей его баркой, и, смотря по тому, была ли она вне опасности или потоплена волнами, слышались то жалобы, плач и стоны, то взрывы бешеной радости. Женщины — дочери и супруги рыбаков — рвали на себе волосы, терзали одежду, катались по земле, разражаясь проклятиями и богохульством; другие, забывая о том, что они оказывают неуважение чужому горю, и не помышляя о том, чтобы благодарить Бога за свое счастие, — плясали, громко распевали песни и с лицами, на которых еще не успели изгладиться следы слез, предавались самой шумной радости; все набожные обеты, благодарственные молитвы св. Николаю-угоднику за его ходатайство — все было позабыто. Может быть, несколько времени спустя все это и припомнится, но во время бури был заметен один эгоизм — эгоизм во всей своей наготе… Недаром мне сказали: «Всякий для себя!»

Глава восемнадцатая

*Я поступаю в морскую артиллерию. – Получаю чин капрала. – Тайные общества в армии. – «Олимпийцы». – Оригинальные дуэли. – Встреча с каторжником. – Граф Л*** – политический шпион. – Он исчезает. – Поджигатель. – Мне изменяют. – Еще раз в тюрьме. – Распущение «Армии Луны». – Помилованный солдат. – Один из моих товарищей проходит сквозь строй. – Колдун в лагере. – Мое бегство*

В тот же вечер я возвратился в Булонь и узнал, что по распоряжению главнокомандующего все солдаты, известные за негодяев, должны быть немедленно удалены из корпусов и посажены на суда, готовящиеся к отплытию. Эта мера имела целью как бы очистить армию от ее дурных элементов и положить конец развращению, принявшему за последнее время угрожающие размеры. Поэтому впредь мне не оставалось другого средства, как покинуть «Revanche», на которую не замедлят отправить нескольких

из мошенников, от которых генерал считает нужным избавиться, с тем чтобы пополнить ряды, поредевшие после последнего морского сражения. Так как ни Каниве, ни его клевреты не должны были снова появляться в лагере, то я расчел, что мне хорошо бы сделаться солдатом. Имея при себе бумаги Лебеля, я поступил в роту морских канонеров, охранявших прибрежье. Лебель был когда-то капралом роты, я также получил этот чин при первой вакансии, то есть недели две спустя после моего вступления на службу. Безупречное поведение и знание артикула (и немудрено, я был когда-то артиллеристом) скоро снискали мне расположение начальства. Одно обстоятельство, которое, в сущности, могло заставить меня скорее лишиться этого благоволения, напротив, окончательно обеспечило мне уважение моих начальников.

Я был дежурным в форте Эры; это было во время половодья, погода стояла ужасная; водяные волны то и дело окатывали платформы и бушевали с такой силой, что даже большие орудия не оставались неподвижными в амбразурах; при каждой новой волне, казалось, вот-вот снесет укрепление. Пока воды Ла-Манша не стихнут, очевидно, не покажется ни одного судна; наступила ночь,

я распустил стражу и позволил им наслаждаться отдыхом на походных постелях до следующего утра. Я караулил за них или, вернее, не спал, потому что не спалось, как вдруг, около трех часов утра, меня вывели из дремоты несколько слов, произнесенных по-английски, и учащенный стук в дверь внизу лестницы, ведущей в батареи. Вообразив, что на нас напали, я бужу всю команду, отдаю приказ заряжать орудия и приготовляюсь дорогою ценою продать свою жизнь, как вдруг из-за двери слышатся жалобные стоны женщины, умолявшей о помощи. Мне ясно слышатся слова на французском языке: «Бога ради, отворите! Мы потерпевшие крушение». Я с секунду колеблюсь, но потом, приняв все меры для того, чтобы тотчас же поразить насмерть первого, кто вошел бы с враждебными намерениями, отворяю дверь и вижу перед собой женщину с ребенком и пять матросов, еле живых и едва стоящих на ногах от слабости. Первым долгом моим было обогреть их — они промокли до костей и продрогли от холода. Мои товарищи и я одолжили им свое платье и белье, и как только эти несчастные оправились, они рассказали нам о происшествии, которому мы были обязаны честью их видеть. Отправившись из Гаваны на трехмачтовом судне

и находясь уже почти в конце счастливой переправы, их судно вдруг наткнулось на каменный мол, и они спаслись от смерти, бросившись с дюн на батарею. Девятнадцать человек их спутников погибли в волнах.

Буря на море свирепствовала целую неделю и держала нас в осаде; во все это время не решались отправить за нами шлюпку. В конце недели, однако, меня препроводили на сушу с моими путешественниками, которых я сам повел к военному начальнику флота; тот от души поздравил меня, как будто я взял их в плен. Как бы то ни было, в роте возымели обо мне самое высокое мнение.

Я продолжал выполнять свои обязанности с примерным усердием; прошло три месяца, и я своим поведением заслужил одни похвалы. Но кто раз вошел в жизнь приключений, тот сразу не может отстать от нее. Роковая судьба, которой я повиновался против своей воли, постоянно сближала меня с людьми и обстоятельствами, которые менее всего соответствовали моим благим намерениям. Благодаря этой несчастной склонности случилось, что, и не думая участвовать в тайных обществах армии, я был, однако, волей-неволей посвящен в их секреты.

Эти общества впервые возникли в Булони. Первое из них, что бы ни говорил Нодье в своей истории «Филадельфов»[7], были «олимпийцы», основателем его был некто Кромбе из Намюра. Оно состояло первоначально из мичманов и гардемаринов флота, но вскоре общество разрослось и в него стали допускать военных всех орудий, в особенности артиллеристов.

Кромбе, который был еще очень молод (он был гардемарином), сложил с себя звание предводителя и главы общества и возвратился в ряды своих товарищей, которые избрали себе «почетного главу» и организовались по образцу масонских лож. Это общество еще не имело политических целей, или, по крайней мере, если оно и задалось какой-нибудь подобной целью, то она была известна одним лишь влиятельным членам. Признанная цель была — взаимное содействие; «олимпиец», которому удалось достигнуть высокого положения, обязан был содействовать повышению других, находящихся в менее благоприятных условиях и в низших чинах. Чтобы быть допущенным в общество, если только известное лицо принадлежит к флоту, необходимо было быть по

[7] Примечания: 7

История тайных обществ армии и военных заговоров, имевших целью свергнуть правительство Бонапарта. II изд., Париж.

крайней мере гардемарином второго класса, а высший чин — капитан корабля; если же принадлежишь к сухопутной армии, то требуются чины от полковника до унтер-офицера включительно. Мне не случалось слышать, чтобы «олимпийцы» в своих собраниях когда-либо возбуждали вопросы, касающиеся образа действия правительства, но в нем провозглашали принципы равенства, братства и произносили речи, которые составляли резкий контраст с основами империи.

В Булони «олимпийцы» обыкновенно собирались у некой мадам Гервие, содержавшей невзрачный и мало посещаемый ресторан. Там происходили их заседания, там совершались посвящения в члены — в особом зале, нарочно для них устроенном.

В военном училище, а также и в политехнической школе существовали ложи, находившиеся в сношениях с «олимпийцами». Вообще посвящение в тайны общества ограничивалось сообщением лозунгов и условных знаков; во все это посвящали новичков, но настоящие адепты знали кое-что побольше и стремились к определенной цели. Символические знаки общества достаточно выясняют цель и намерения его: это — рука, вооруженная мечом и окруженная

облаками, внизу виднелся опрокинутый бюст, изображение Наполеона. Этот символ, для которого не требуется никаких пояснений, был изображен на печатях, оттиснутых на дипломах. Модель печати была сделана канонером Богграном или Бельграном, служившим при артиллерийском управлении; затем по этой модели сделали из меди печать, с выемками для сургуча.

Чтобы быть принятым в общество «олимпийцев», необходимо требуются испытанное мужество, способность и скромность. Более всего старались завербовать в члены военных людей, достойных и отличившихся. Употребляли все старания, чтобы по возможности привлечь в члены сыновей патриотов, энергичнее других сопротивлявшихся водворению империи.

При империи достаточно было принадлежать к одному из таких семейств, недовольных существующими порядками, чтобы попасть в категорию кандидатов.

Настоящие деятели ассоциации были в тени и никому не сообщали своих планов. Они замышляли свержение деспотизма, но никого не посвящали в тайну своих замыслов. Им надо было, чтобы люди, через посредство которых они надеялись достигнуть своей цели, сделались

их слепыми орудиями. Никто не предлагал им участвовать в заговорах, но они сами доходили до этого помимо своей воли, в силу обстоятельств. Ввиду этих соображений «олимпийцы» наконец стали вербовать членов из низших чинов сухопутной армии и флота.

Если замечали, что какой-нибудь унтер-офицер или солдат выдается из среды большей образованностью, энергией характера и духом независимости, «олимпийцы» привлекали его на свою сторону и скоро он попадал в общество, члены которого под клятвой давали друг другу обещание «взаимного содействия и покровительства».

Обещания взаимной поддержки, казалось, были единственными узами, скрепляющими общество. Но в действительности существовала иная, скрытая цель. На основании опыта им известно было, что из ста человек, допущенных в члены, всего каких-нибудь десять получат повышение, соответствующее их достоинствам; итак, было весьма вероятно, что из ста человек, по прошествии немногих лет, окажется до 90 людей, недовольных порядками, при которых им не удалось пристроиться как следует. С редким искусством и ловкостью подобрали под одной

общей рубрикой всех людей, среди которых уверены были с течением времени возбудить горечь и озлобление, свойственное людям раздраженным и утомленным несправедливостями; такие люди обыкновенно с радостью пользуются каждым удобным случаем, чтобы отомстить за себя. Так образовалась лига, члены которой частью даже не сознавали своей цели, что, однако, не мешало ей быть могущественной. Элементы для заговора сближались, совершенствовались, развивались постепенно, но заговорщиков как бы не существовало до тех пор, пока не вспыхнет заговор, — для этого выжидали только удобной минуты.

«Олимпийцы» существовали несколько лет ранее «филадельфов», с которыми они впоследствии слились воедино. Возникли они немного позже коронации Наполеона. Утверждают, что они впервые собрались по случаю немилости, в которую впал генерал Трюгэ, сверженный потому, что подал голос против пожизненного консульства. После осуждения Моро общество, организовавшееся на самых широких началах, насчитывало в числе своих членов множество бретонцев и уроженцев Франш-Конте. В числе последних был Удэ, которому первому пришла в

голову мысль о «Филадельфии».

«Олимпийцы» существовали около двух лет, и между тем правительство, по-видимому, нисколько не тревожилось ими. Наконец, в 1806 году Девилье, генеральный комиссар полиции в Булони, написал Фуше письмо, содержащее донос на сборища членов общества, — он не придавал им никакого вредного значения, но считал своим долгом наблюдать за ними, а между тем у него не было под рукой ни одного агента, которому он мог бы поручить такую задачу: поэтому он обратился к министру с просьбой прислать в Булонь одного из тех опытных шпионов, которых политическая полиция всегда имеет в своем распоряжении. Министр ответил генеральному комиссару, что он весьма благодарен ему за усердную службу императору, но что он уже давно следил за «олимпийцами», а также и за другими подобными обществами. Правительство настолько могущественно, что не имеет никакой причины опасаться их в случае заговора. Впрочем, прибавил он, вероятно, все это не более как сборища идеалистов, до которых императору нет никакого дела, и, судя по всему, «олимпийцы» — просто мечтатели, а их сборища — масонские фантазии, измышленные какими-нибудь дураками.

Это спокойствие Фуше было напускное; едва успел он получить заявление Девилье, как тотчас же призвал в свой кабинет молодого графа Л***, посвященного в тайны почти всех обществ в Европе.

— Мне пишут из Булони, — сказал ему министр, — что в армии недавно образовалось тайное общество под названием «Олимпийского»; о целях, преследуемых обществом, меня не уведомляют, но мне известно, что оно пустило корни по всем направлениям. Может быть, это общество в связи с совещаниями, происходящими у Бернадотта или у госпожи Сталь. Мне хорошо известно, что здесь происходит: мне все рассказал Гарра, который считает меня своим другом и который в простоте души полагает, что я еще патриот, ни более ни менее как в 93-м году. Есть якобинцы, воображающие, что я сожалею о республике и что я могу содействовать ее восстановлению; это дураки, которых я прогоняю или ставлю на должность — смотря по тому, удобно мне это или нет…

Трюгэ, Руссо, Гингенэ шагу не делают, слова не произносят, чтобы мне не было известно. Это люди неопасные, как и вся компания Моро, — они болтают много, а действуют мало. Впрочем, за

последнее время они стараются заручиться сторонниками в армии; мне надо знать, к чему они стремятся, — «олимпийцы», может быть, служат их целям. Было бы желательно, чтобы вас приняли в число «олимпийцев», вы тогда сообщили бы мне тайны этих господ, и тогда посмотрим, какие следует принять меры.

Граф Л*** ответил Фуше, что возлагаемое на него поручение крайне щекотливо; что «олимпийцы», вероятно, не принимают никого, не добывши предварительно сведений о кандидате, и что, кроме этого, в общество допускаются одни лишь служащие в армии. Фуше призадумался на мгновение над этими препятствиями, потом сказал: «Я нашел средство, с помощью которого вы будете приняты беспрепятственно. Вы отправитесь в Геную, там вы найдете отряд лигурийских новобранцев, которые немедленно будут отправлены в Булонь и размещены в восьмой полк пехотной артиллерии. Между ними есть некто граф Боккарди — его семейство тщетно искало кого-нибудь, чтобы заменить его. Вы предложите отправиться в армию вместо знатного генуэзца, и, чтобы устранить все затруднения, я дам вам свидетельство, подтверждающее, что вы, Бертран, удовлетворяете существующему рекрут-

скому закону. С помощью этого свидетельства вас примут наверное, и вы отправитесь в путь с отрядом. По прибытии в Булонь вы будете иметь дело с одним полковником[8], помешанным на масонстве, мистицизме и другом вздоре. Вы скажете свое настоящее имя, и он не преминет оказать вам протекцию. Тогда вы можете доверить ему тайну вашего происхождения, насколько вам это заблагорассудится. Эта доверчивость непременно будет иметь результатом перемену в обращении, так как обыкновенно не слишком-то хорошо относятся к подставным рекрутам; мало-помалу вы приобретете благоволение остального начальства. Но необходимо одно, чтобы думали, что неволя заставила вас поступить в солдаты. Заставьте их думать, что под своим настоящим именем вы имели причины опасаться преследований со стороны императора. Вот ваша история: она разойдется по лагерям, и никто не будет сомневаться в том, что вы враг и жертва императорского правительства… Излишне было бы входить в ближайшие подробности… Остальное совершится само собою… Впрочем, я вполне полагаюсь на вашу проницательность».

---

[8] Примечания: 8

Полковник Обри, генеральный инспектор артиллерии, скончавшийся вскоре после битвы при Дрездене, где лишился обеих ног.

Получив эти инструкции, граф Л*** отправился в Италию и скоро очутился во Франции, вместе с лигурийскими новобранцами. Полковник Обри принял его радушно, как брата, которого увидел после многих лет разлуки. Он уволил его от ученья и маневров, собрал ложу полка, чтобы достойно приветствовать его, доказал ему свое участие многими любезностями, позволил ему носить штатское платье, — словом, обращался с ним как нельзя лучше.

Через несколько дней всей армии стало известно, что Бертран в некотором роде особа; ему нельзя было тотчас же пожаловать эполеты — его произвели в чин сержанта, и офицеры, забывая о том, что он находится на низшей ступени офицерской иерархии, не поколебались сойтись с ним по-приятельски. Бертран вскоре сделался настоящим оракулом полка; он был умен, всесторонне образован, и все окружающие были расположены находить его еще остроумнее, нежели он был на самом деле. Как бы то ни было, он скоро близко сошелся с некоторыми «олимпийцами», которые сочли за честь представить его товарищам. Бертран был посвящен в члены общества и, едва успев войти в сношения с главными деятелями «Олимпа», не замедлил обратиться с докладом

к министру.

То, что я рассказал об «олимпийцах» и о Бертране, я узнал от него самого, и, чтобы подтвердить достоверность моего рассказа, нелишне прибавить, при каких обстоятельствах он поверил мне тайну порученной ему миссии и открыл мне некоторые интересные подробности ее.

В Булони дуэли встречаются сплошь да рядом; несчастная мания на поединки распространилась даже на миролюбивых моряков, служащих во флотилии под начальством адмирала Вервеля. Неподалеку от левого лагеря, у подножия холма, была маленькая роща, где почти ежедневно можно было видеть — во всякий час дня — до дюжины молодцов, исполняющих, как говорится, долг чести. В этой местности известная амазонка, девица Див… пала от рапиры прежнего своего любовника, полковника К***, который, не узнав ее в мужской одежде, принял от нее вызов на поединок.

Девица Див… которую он покинул для другой, желала погибнуть от его руки.

Однажды, находясь на склоне плоской возвышенности, на которой расположились длинной лентой бараки левого лагеря, и случайно опустив глаза на рощу, свидетельницу стольких

кровопролитных сцен, я увидел на некотором расстоянии от рощи двух человек, из которых один шел на другого, тот, в свою очередь, отступал через равнину; по их белым панталонам я узнал в них голландцев; я остановился на минуту, чтобы посмотреть на их эволюции. Скоро нападающий отступил, в свою очередь; наконец, должно быть испугавшись друг друга, они стали одновременно отступать, помахивая саблями; потом один из них, набравшись храбрости, бросился на противника и преследовал его до края оврага, через который тот не мог перешагнуть. Тогда оба, по-видимому отказавшись от своего оружия, вступили в рукопашный бой и таким образом удовлетворили друг друга. Я забавлялся этим уморительным поединком, как вдруг заметил около фермы, куда мы часто ходили есть «кодио» (вроде белой кашицы — из муки и яиц), двух каких-то людей, которые, поспешно сбросив свои одежды, уже приготовлялись стать в позицию с рапирами в руках; тут же присутствовали их секунданты: с одной стороны — вахмистр десятого драгунского полка, с другой стороны — артиллерийский фурьер. Скоро противники скрестили рапиры; один из них, поменьше ростом — сержант-канонер, защищался отчаянно против

нападения своего более сильного противника. В одно мгновение мне показалось, что вот-вот его пронзит рапира другого бойца, как вдруг он исчез, как будто его поглотила земля; вслед за этим раздался взрыв хохота. Когда поуспокоилась общая веселость, присутствующие столпились, и я увидел, что они нагибаются к земле. Меня стало разбирать любопытство; я подошел как раз кстати, чтобы помочь им вытащить бедного малого, исчезновение которого меня так удивило, из канавы, выкопанной для стока из корыта для поросят. Несчастный почти задыхался и был покрыт густой грязью с головы до пят. Свежий воздух скоро оживил его, но он боялся дышать, чтобы в рот и глаза не попала покрывавшая его зловонная жидкость. Находясь в таком плачевном состоянии, он выслушивал одни насмешки. Меня возмутило такое отсутствие сострадания, и под влиянием чувства негодования я бросил на противника бедной жертвы вызывающий взгляд, который между военными людьми не требует пояснения. «Достаточно, — сказал он, — я жду тебя». Едва успел я встать в позицию, как заметил на руке моего противника знакомый мне татуированный знак: изображение якоря, ветви которого перевиты змеей. «Я вижу хвост, — крикнул я, —

береги голову», — и, дав ему предостережение, я набросился на него и попал ему в грудь около правого соска. «Я ранен, — сказал он, — до первой крови деремся, что ли?» — «До первой крови», — ответил я и, недолго ожидая, разорвал свою рубашку и стал перевязывать его рану. Надо было для этого обнажить грудь; я отгадал место, где помещалась голова змеи, в это место я и целился.

Заметив, что я со вниманием рассматривал то знак, начертанный на его груди, то черты его лица, мой противник, видимо, стал волноваться. Я поспешил успокоить его словами, сказанными на ухо: «Я знаю, кто ты, но не бойся, я воплощенная скромность». — «Я также знаю тебя, — ответил он, пожимая мне руку, — и я также буду нем как могила».

Человек, который поклялся мне хранить молчание, был беглый каторжник из тулонских галер. Он сообщил мне свое подставное имя и объяснил мне, что он вахмистр 10-го драгунского полка, где он своей роскошной жизнью и кутежами затмевал всех полковых офицеров.

Пока мы доверяли друг другу свои тайны, солдат, за которого я вступился, старался смыть в соседнем ручье хотя часть покрывавшей его

липкой грязи. Он вскоре присоединился к нам. Компания несколько поуспокоилась. Не было более и речи о ссоре, и охота насмехаться сменилась искренним желанием помириться.

Вахмистр, которого я мало знал, предложил скрепить мировую у «Золотой пушки», где всегда можно было найти превосходную рыбу и жирных уток. Он угостил нас завтраком на славу, продолжавшимся до ужина. За ужин заплатила противная партия.

Наконец общество разошлось. Вахмистр обещал мне свидеться, а сержант не успокоился, пока я не согласился проводить его до дому.

Этот сержант был Бертран; он жил в верхней части города и занимал квартиру, достойную офицера высших чинов; как только мы остались наедине, он выразил мне всю признательность, на какую способен трус, которого спасли от большой опасности.

Он обратился ко мне со всевозможными предложениями, и так как я не принимал ни одного из них, то он сказал:

— Вы, может быть, думаете, что я хвастаю и что не могу ничего для вас сделать — не плюйте в колодец, милый мой. Я не более как унтер-офицер, это правда, но дело в том, что я не желаю повыше-

ния — у меня нет честолюбия, а все «олимпийцы» таковы же, как и я: они мало заботятся о каком-нибудь несчастном чине.

Я спросил его, что это такое за олимпийцы.

— Это люди, — ответил он, — поклоняющиеся свободе и проповедующие равенство. Хотите вы сделаться «олимпийцем»? Если вас это соблазняет, то я готов услужить вам и вы будете приняты.

Я поблагодарил Бертрана, прибавил, что я не вижу необходимости поступать в общество, которое рано ли, поздно ли должно непременно обратить на себя внимание полиции.

— Вы правы, — ответил он с видом большого участия, — лучше не поступайте, все это может плохо окончиться.

Тогда он сообщил мне об «олимпийцах» все подробности, упомянутые мною в моих записках. Под влиянием шампанского, которое удивительно располагает к откровенности и сообщительности, он поведал мне под строгой тайной возложенную на него миссию в Булони.

После этого первого знакомства я продолжал видаться с Бертраном, остававшимся еще некоторое время на своем наблюдательном посту. Наконец наступило время, когда он потребовал и получил месячный отпуск. Прошел месяц, а

Бертран не возвращался; распространился слух, что он увез с собою сумму в 12 000 франков, порученную ему полковником Обри для покупки лошадей и экипажа, затем довольно значительную сумму на различные расходы для полка. Узнали, что Бертран останавливался в улице Нотр-Дам-де-Виктуар, в Миланской гостинице, где пользовался неограниченным кредитом.

Все эти обстоятельства доказывали, что Бертран ловко обошел свое начальство; жертвы обмана даже не осмелились возбудить серьезную жалобу. Бертран как в воду канул. Потом его разыскали, подвергли суду как дезертира и приговорили к каторжным работам на пять лет.

Вскоре получено было распоряжение арестовать главных вожаков «олимпийцев» и разрознить их общества. Но этот приказ был исполнен только частью: предводители тайного общества, узнав, что правительство напало на их след, и опасаясь венсеннских подземелий, предпочли смерть такому ужасному существованию. В один и тот же день случилось пять самоубийств. Фельдфебель 25-го линейного полка, два сержанта другого корпуса пустили себе пулю в лоб; один капитан, накануне получивший должность батальонного командира, перерезал себе горло

бритвой… Он жил у «Серебряного льва». Хозяин гостиницы — Бутруа, удивленный тем, что его гость, по своему обыкновению, не сходит вниз к завтраку с другими офицерами, постучал в дверь его комнаты: капитан сидел над сосудом, в который должна была стекать его кровь. Он поспешно надел галстук, пытался выговорить слово и упал навзничь мертвым… Один морской офицер, находясь на небольшом судне, нагруженном порохом, поджег его, что повлекло за собою взрыв соседнего судна. Земля задрожала на несколько миль в окружности, все оконные стекла в нижней части города были побиты, фасады многих домов в гавани рухнули, обломки снастей, разбитые мачты, клочки человеческого мяса летели во все стороны. Экипажи двух судов погибли… Один человек спасся как бы чудом: это был матрос на марсах. Мачта, на которой его взорвало на воздух, упала перпендикулярно во вместилище бассейна, где в то время воды не было, и врезалась в землю на глубину шести футов. Матрос остался жив, но с этой минуты он лишился дара слова навсегда.

В Булони были поражены этим стечением обстоятельств. Доктора утверждали, что мания на самоубийство происходила от известного предрасположения, зависящего от состояния

атмосферы. Для подтверждения своего мнения они ссылались на наблюдения, сделанные в Вене, где в одно лето множество девушек, увлеченных какой-то необъяснимой страстью, лишили себя жизни в один и тот же день.

Некоторые объясняли это странное явление тем, что редко случается, чтобы одно самоубийство не сопровождалось несколькими другими. В сущности, общество совершенно сбилось с толку, не зная, что подумать, тем более что полиция, опасаясь всего, что могло быть принято за проявление оппозиции существующим порядкам, нарочно распространяла самые странные слухи. Приняты были все предосторожности, чтобы имя «олимпийца» не было ни разу произнесено в лагерях. Между тем причина всех этих трагических явлений заключалась в доносе Бертрана. Вероятно, он был награжден, мне неизвестно только кем; очень может быть, что высшая полиция, довольная его услугами, продолжала поручать ему шпионство, так как несколько лет спустя его встретили в Испании, в полку Изембура, где он получил чин лейтенанта и где на него смотрели не хуже как на какого-нибудь аристократа из фамилий Монморанси или Сен-Симона.

Через несколько времени после исчезнове-

ния Бертрана рота, в которой я служил, была отправлена в Сен-Леонар, маленькую деревушку неподалеку от Булони. Там вся наша обязанность состояла в охранении склада пороху и других боевых припасов. Служба была не тяжелая, но позиция довольно опасная: там было убито несколько часовых, ходили даже слухи, что англичане замышляют взорвать на воздух все депо. Несколько попыток в этом роде было сделано в различных пунктах дюн. Из этого видно, что мы имели основания для самой зоркой наблюдательности. Однажды ночью, когда я был дежурным, нас внезапно разбудил ружейный выстрел. Весь караул поднялся на ноги. Я бегу к часовому — это был новобранец, храбрость которого не внушала мне большого доверия. Я расспрашиваю его, подозревая, что он поднял фальшивую тревогу. Осмотрев снаружи пороховой склад, помещавшийся в старой церкви, я тщательно исследовал окрестности — не видно было никаких знаков, ни малейших следов. Убедившись, что все это ложная тревога, я сделал строгий выговор часовому и пригрозил ему гауптвахтой. Но, возвращаясь с ним в караульный дом, я обратился к нему с новыми вопросами. Уверенный тон его ответов, подробности, которые он мне сообщил в подтвер-

ждение того, что он действительно кого-то видел, начинают убеждать меня, что он не напрасно поддался испугу и тревоге. Меня начинают мучить предчувствия, и я снова отправляюсь в пороховой склад. Дверь церкви приотворена, я быстро вхожу, и первое, что представляется моим глазам, — это слабый отблеск света, исходящего между двумя высокими рядами ящиков с патронами. Я быстро прохожу по этому коридору и, дойдя до конца, вижу… зажженную лампу, поставленную под один из ящиков, пошире других; пламя уже касается дерева, и в воздухе начинает распространяться запах смолы. Каждая секунда дорога́. Не колеблясь я опрокидываю лампу, бросаю ящик наземь и своей уриной гашу остатки начинавшегося пожара. Наступила глубокая темнота, гарантировавшая мне, что опасность миновала. Но я все-таки не мог окончательно успокоиться до тех пор, пока не исчез смолянистый запах. Я оставался в складе еще некоторое время. Кто был поджигателем? Я этого знать не мог, но в глубине души я сильно подозревал сторожа магазина и, чтобы узнать истину, немедленно отправился к нему на дом. Его жена была одна дома; она сказала мне, что ее муж, задержанный в Булони делами, остался

там ночевать и вернется на другой день утром. Я спросил ключи от склада; оказалось, что ключи он унес с собою. Отсутствие ключей подтвердило мои опасения — я узнал, кто был виновником покушения. Однако прежде, нежели доложить об этом начальству, я еще раз на другое утро отправился к сторожу — он все не являлся.

В тот же день был произведен инвентарь; оказалось, что этому человеку было крайне необходимо уничтожить доверенный ему склад, чтобы скрыть сделанные им значительные растраты. Прошло сорок дней, и о преступнике ни слуху ни духу. Наконец жнецы нашли его безжизненный труп в поле; около него лежал пистолет.

Взрыв пороховницы был предупрежден единственно благодаря моему присутствию духа. Меня наградили за это повышением в чине. Я был сделан сержантом; дивизионный генерал пожелал меня видеть и обещал ходатайствовать обо мне перед министром. Я сильно желал сделать карьеру и поэтому старался, чтобы «Лебель» отрешился от всех дурных привычек Видока. И действительно — я был бы примерным служакой, если бы необходимость присутствовать при раздаче провианта не вызвала меня в Булонь.

Каждый раз, как мне случалось быть в городе, я

непременно являлся к драгунскому вахмистру, с которым дрался на дуэли, заступаясь за Бертрана. Тогда весь день посвящался кутежу и попойке, и я поневоле нарушал все свои благие намерения на исправление.

Благодаря существованию какого-то именитого дядюшки, кажется сенатора, мой старинный товарищ по каторге вел превеселую жизнь. Он пользовался почти неограниченным кредитом в качестве сынка богатой фамилии. В Булони не было ни одного богача, который не счел бы для себя за честь принять у себя такую знатную особу. Честолюбивые папеньки мечтали сделать его своим зятем, а барышни всеми силами старались понравиться ему. Поэтому он пользовался неоценимым преимуществом черпать из кошелька одних и ожидать чего угодно от благосклонности других. Он жил широко, лучше любого генерала, держал лошадей, собак, лакеев, принял тон и манеры вельможи и обладал в совершенстве искусством пускать пыль в глаза и заставлять почитать себя до такой степени, что офицеры, обыкновенно так завистливо относящиеся ко всяким преимуществам и повышению других, находили весьма естественным, что он затмевает их. В другом городе, а не в Булони, этого

выскочку скоро распознали бы, тем более что он не получил никакого образования. Но в городе, где буржуазия, возникшая весьма недавно, еще не успела заимствовать от хорошего общества ничего, кроме одежды и внешних приемов, ему легко было важничать и заслуживать общее уважение.

Настоящее имя вахмистра было — Фессар; в каторге он был известен под именем Ипполита. Он был родом, кажется, из Нижней Нормандии; одаренный всеми качествами, внушающими доверие, наружной откровенностью, открытой физиономией и видом молодого сорванца, он, однако, обладал хитростью и коварством, составляющими отличительный признак жителей Домфрона. Словом, это был малый дошлый, способный возбудить к себе доверие и расположение. Если бы он владел хотя аршином земли на своей стороне, то воспользовался бы этим случаем для возбуждения тысячи тяжб и способен был нажиться, разорив своих соседей. Но Ипполит не имел ничего на свете, и, не имея возможности сделаться тяжебщиком, он пустился в мошенничество, подлог и… но читатель это сам увидит, не стану забегать вперед.

Каждый раз, как я приходил в город, Иппо-

лит угощал меня обедом на свой счет. Один раз за десертом он сказал мне: «Знаешь ли, я тебе удивляюсь; живешь ты отшельником в деревне, постишься на пище св. Антония, получаешь двадцать два су на все прокормление. Ей-богу, не понимаю, как можно подвергаться таким лишениям, — если бы я был на твоем месте, я просто умер бы от тоски. Но, верно, ты втихомолку пользуешься какими-нибудь безгрешными доходами». Я отвечал, что мне достаточно моего жалованья и что к тому же я одет, обут, сыт и не терпел недостатка. «Тем лучше для тебя, — отвечал он, — а между тем здесь есть нажива; ты, верно, слышал не раз об „Армии Луны“; надо тебе туда поступить; если хочешь, я тебе назначу округ; ты будешь эксплуатировать Сен-Леонар».

Я знал, что «Армия Луны» было сборище негодяев, члены которого до сих пор ускользали от преследования полиции. Эти разбойники, правильно организовавшие грабеж и воровство на протяжении нескольких миль в окружности, принадлежали к различным полкам. Ночью они бродили по лагерям, устраивали засады на дорогах, играя роль фальшивого патруля, и останавливали всех и каждого, не пренебрегая даже самой незначительной добычей. Чтобы не встре-

чать никаких препятствий в своих деяниях, они в своем распоряжении имели мундиры всех чинов. Смотря по надобности, они были то капитанами, то генералами и полковниками, и весьма кстати употребляли в ход лозунги, которые сообщались им каждые две недели их сторонниками из генерального штаба.

После всего, что мне удалось узнать, предложение Ипполита должно было испугать меня: он был или один из вождей «Армии Луны», или один из тайных агентов, отправленных полицией, чтобы подготовить распущение армии. Может быть, он был и то и другое.

Мои отношения к нему ставили меня в затруднительное положение… Неужели мне суждено встретить новые превратности, новые испытания? Я не мог уже, как в Лионе, выпутаться из затруднения, выдав соблазнителя. К чему послужило бы доносить на Ипполита, если он действительно был тайным агентом? Поэтому я ограничился тем, что отвергнул его предложение, объявив с твердостью, что я намерен остаться честным человеком. «Разве ты не видишь, что я шучу, — сказал он, — а ты шутку принимаешь за серьезное? Я в восхищении, милый мой, что ты проникнут такими похвальными чувствами,

точь-в-точь как и я же, мы оба обратились на путь истинный». Он переменил тему разговора, и об «Армии Луны» не было более и речи.



Через неделю после моего свидания с Ипполитом, свидания, в котором он сделал мне такое неожиданное признание и потом так быстро от-

казался от него, капитан, делая обход, приговорил меня к аресту на 24 часа на гауптвахте, заметив какое-то пятно на моем мундире. Я потом тщательно искал это проклятое пятно и никак не мог найти его. Как бы то ни было, я покорился своей судьбе и отправился на гауптвахту: двадцать четыре часа так скоро пройдут — и не заметишь. На другой день утром я буду освобожден. В пять часов утра я слышу лошадиный топот и следующий разговор:

— Кто идет?

— Франция.

— Какой полк?

— Императорский корпус жандармов.

При слове «жандармы» я невольно вздрогнул. Вдруг отворилась дверь, спрашивают Видока. Никогда еще это имя, внезапно произнесенное среди шайки мошенников, не оказывало такого страшного действия, как на меня в ту минуту. «Эй, ты, ступай за нами!» — крикнул мне бригадир, и, чтобы увериться, что я не ускользну от них, он из предосторожности привязал меня. Меня тотчас же препроводили в тюрьму. Я нашел многочисленное и хорошее общество.

— Ну, разве я вам не говорил, — воскликнул, увидев меня, артиллерийский солдат, которого

по выговору я признал за пьемонтца, — сюда скоро переберется весь лагерь... Вот еще одного подцепили. Даю голову на отсечение, что всему виною эта сволочь драгунский вахмистр: он и никто другой, как он, сыграл эту шутку. Его стоит хорошенько отдуть, этого разбойника.

— Ну и поймай его, твоего вахмистра, — перебил другой заключенный, который, как мне показалось, был посажен недавно. — Если он продолжал идти вперед, так теперь его и след уже простыл. Как хотите, братцы, а он тонкая бестия! В каких-нибудь три месяца — сорок тысяч долгу в городе. Вот это называется счастье! А детей-то у него сколько! Ну, что касается этого, то я бы на них не польстился... Шесть девиц забеременели — из первых семейств буржуазии! Они надеялись, что имеют дело с ангелом чистоты и невинности, и славно попались впросак!..

— Да, да, — подтвердил прислужник, устраивавший мне постель, — много он наделал бед, этот молодчик; ну, зато уж пусть бережется железной лапы — его объявили дезертиром. Небось поймают.

— Смотри, как бы тебе не ошибиться в расчете, — возразил я, — вы словите его, как словили Бертрана.

— А если бы и словили, так это все-таки не помешает мне быть гильотинированным в Париже! Впрочем, я повторяю — даю голову на отсечение…

— Что он там толкует о своей голове? — перебил четвертый. — Мы попались — нечего больше и толковать. Что нам за дело, кто этому виною!

Он был прав. К тому же надо было слепым быть, чтобы не видеть, что Ипполит и никто иной, как он, продал нас. Что до меня касается, так я не мог сомневаться ни минуты: кроме него, никто в Булони не знал, что я беглый каторжник.

Несколько военных разных оружий волей-неволей наполнили арестантскую, в которой собрались главные вожди «Шайки Луны». Редко случается, чтобы тюрьма маленького города соединяла в своих стенах такую коллекцию интересных субъектов: один несчастный малый, некто Лельевр, осужденный на смертную казнь три месяца тому назад, постоянно имел в виду надежду, что вот-вот окончится отсрочка, в силу которой он существовал. Император, перед которым ходатайствовали за него, помиловал его, но так как это помилование не было формально утверждено и официальный приказ об освобождении не был передан верховному судье, то

Лельевр продолжал содержаться в тюрьме. Все, что могли сделать в пользу этого несчастного, — это еще отсрочить казнь, пока не представился новый случай обратить на него внимание императора. Находясь в таком неопределенном состоянии, Лельевр постоянно колебался между надеждой на освобождение и страхом смерти: он засыпал в одном настроении, просыпался в другом. Всякий вечер он льстил себя сладкой надеждой завтра выйти из стен тюрьмы, всякое утро он ожидал, что будет расстрелян.

Он был то безумно весел, то мрачен до отчаяния — в его жизни не было ни одного мгновения полного спокойствия духа. Играл ли он партию в ландскнехт или марьяж, он вдруг ни с того ни с сего среди игры бросал в сторону карты, начинал колотить себе голову кулаками, метался по комнате как полоумный, наконец, бросался в изнеможении на свою жесткую постель и проводил целые часы лежа на животе, в состоянии полного отупения, полного отчаяния. В госпитале Лельевр отводил душу; стосковавшись до отчаяния, он отправлялся туда искать утешение у сестры Александры, которая была женщина с сердцем и сочувствовала всем несчастным. Эта сострадательная девушка принимала живое

участие в заключенном, и он вполне заслуживал этого. Лельевр не был преступником, он был жертвой, и арест, которому его подвергли, был следствием принципа, часто несправедливого, которого придерживаются военные суды, что следует принести в жертву даже невинного, если встречается необходимость прекратить известные беспорядки, и что в таком случае совесть и чувство человечности должны умолкнуть перед необходимостью подать пример. Лельевр принадлежал к числу тех немногих людей, закаленных против порока, которые могут без вреда для своей нравственности оставаться долгое время в близком соприкосновении с подонками общества. Он исполнял должность старшины с такой же добросовестностью и честностью, как будто занимал какой-нибудь государственный пост. Никогда он не брал взяток с вновь поступающих; объяснив правила, которые он обязан соблюдать как арестант, он старался всеми силами облегчить ему первые минуты заключения и скорее исполнял должность любезного хозяина, нежели в некотором роде должностного лица. Другой человек сумел заслужить любовь и уважение заключенных: Христиерн, которого мы звали Датчанином, не говорил по-французски; мы с ним

объяснялись знаками, но он был одарен редкой сметливостью и, казалось, предугадывал мысль. Он был печален, задумчив, ласков; в его чертах сквозили благородство, кротость и меланхолия, которые привлекали и трогали вас. Он носил матросское платье, но длинные пряди его черных как смоль волос, искусно расположенных в локонах, безукоризненная белизна его белья, нежность его цвета лица и красота рук — все показывало в нем человека благородного происхождения. Хотя улыбка часто показывалась на его губах, но ясно было, что у Христиерна было тяжелое горе, которое он замыкал в самом себе; никто не знал, за что он находился в заключении. Однажды его призывают; в это время он был занят рисованием — это было его единственное развлечение; часто он набрасывал женскую головку. Он вышел на зов, но вскоре его привели назад, и едва успела за ним затвориться дверь, как он вынул из своего мешка молитвенник и стал читать с видом глубокой набожности. Вечером он заснул, по обыкновению, и проспал до утра, когда нас разбудил барабанный бой, извещавший, что в тюремный двор пришел отряд стражи. Он поспешно оделся, отдал свои часы и деньги Лельевру, который был его товарищем по постели; потом, несколько раз поцеловав

небольшой крестик, который всегда носил на груди, он пожал руку каждому из нас. Консьерж, присутствовавший при этой сцене, был глубоко тронут. Когда Христиерн ушел, он сказал нам:

— Его расстреляют, солдаты в сборе, через четверть часа будет конец всем его страданиям. Вот что значит, когда не везет кому счастье. Этот матрос, которого вы принимали за датчанина, родом из Дюнкирхена. Настоящее его имя Вандермо. Он служил на корвете «Ласточка» и был взят в плен англичанами. Брошенный на понтоне, подобно многим другим, он утомился дышать зловонным воздухом, страдать от голода, и когда ему предложили выйти из этого положения, поступив на небольшое судно, отправлявшееся в Индию, он с радостью согласился. На возвратном пути судно было захвачено корсарами, Вандермо был приведен сюда вместе с остальным экипажем. Его предполагали перевести в Валансьен, но в самую минуту отъезда его подвергли допросу и по его ответам заключили, что он не владеет свободно английским языком. Возникают подозрения, он объявляет, что он подданный датского короля, но так как он не может представить никаких доказательств в подтверждение своих слов, то его оставляют под стражей, пока дело не разъяс-

нится. Прошло несколько месяцев, о Вандермо и думать позабыли. В сторожку является женщина с двумя детьми и спрашивает Христиерна. «Муж мой!» — воскликнула она, увидев его. «Дети мои, жена моя!» — И он бросился в их объятия. «Как вы неосторожны, — шепнул я Христиерну, — вы забыли, что вы не одни!»

Я обещал ему сохранить его тайну, но было уже поздно: получив от него известие, его жена спешила поделиться своей радостью с соседями, и между ними нашлись люди, которые донесли на него; благодаря этим презренным Вандермо должен был умереть! Из-за каких-то старых орудий, которыми было вооружено судно, на котором он приехал и которое не вступало в бой, его обвинили в измене своему отечеству. Сознайтесь после этого, что законы несправедливы!

— О да, законы несправедливы! — повторили некоторые из присутствующих, которые толпились вокруг нары, чтобы играть в карты и пить водку.

— Вкруговую! — сказал один из них, передавая стакан.

— Полно тебе рюмить! — воскликнул другой, заметив печальный вид Лельевра. — Есть об чем горевать! Сегодня его очередь, завтра наша

наступит.

Эти циничные, бессердечные замечания подали повод к отвратительным шуткам; наконец звук барабана и труб, повторяемый эхом за рекой, дал нам знать, что отряды различных корпусов выступают в лагеря. В течение нескольких минут в арестантской царствовало глубокое, торжественное молчание; мы думали, что судьба Христиерна совершилась. Но в ту минуту, когда он только что опустился на колени с роковой повязкой на глазах, прискакал адъютант и отменил сигнал, отданный стрелкам. Страдалец снова увидел свет божий — он возвратится к жене и детям. Он обязан был жизнью маршалу Брюну, тронутому их мольбами. Христиерн, снова возвратившийся в тюрьму, не мог опомниться от радости. Его уверили, что он в скором времени будет освобожден. К императору обратились с ходатайством о его помиловании, и просьба, заявленная от имени самого маршала, была основана на таких великодушных мотивах, что невозможно было сомневаться в успехе ее.

Возвращение Христиерна было для всех радостным событием; все спешили поздравить его, пили за здоровье воскресшего, и прибытие шести новых заключенных, праздновавших свое ново-

селье с большой щедростью, еще более увеличило торжество. Эти новички, которые, как я узнал, были люди из экипажа Поле, были посажены под арест всего на несколько дней, в наказание за то, что нарушили военный устав, ограбив английского капитана, когда были оставлены на судне, захваченном корсарами. Их не заставили возвратить добычу, и они принесли с собой немало гиней, которые тратили напропалую. Мы все были довольны: тюремщик, которому перепадали крохи нашего кутежа, был в восторге от своих новых клиентов и избавлял их от излишней бдительности и наблюдения. Между тем в нашей камере было трое человек, приговоренных к смертной казни: Лельевр, Христиерн и пьемонтец Орсино, бывший начальник так называемых barbets, который, встретив около Александрии отряд новобранцев, отправлявшихся во Францию, проскользнул в их ряды. Пока Орсино находился под знаменами, он отличался примерным поведением, но он погубил себя излишней откровенностью; голова его была оценена, и он должен был быть казнен в Турине. Пять других наших товарищей обвинялись в важных преступлениях. Это были четверо гвардейских матросов, два корсиканца и два провансальца, обвиняемых в

убийстве крестьянки, у которой они похитили золотой крест и серебряные серьги. Пятый, как и они, принадлежал к шайке Луны — ему приписывали странные способности: по словам солдат, он обладал искусством делаться невидимкой, он превращался во что ему было угодно и, кроме того, имел дар вездесущия; словом, это был колдун, заслуживший свое прозвище и репутацию единственно тем, что когда угодно навьючивал на себя горб, был хвастуном, насмешником, балагуром; ему случалось заниматься ремеслом уличного фигляра, и поэтому он ловко проделывал некоторые фокусы. С такими клиентами мало тюремщиков решились бы относиться к делу спустя рукава; наш же смотрел на нас, как на отличных малых, с которыми выгодно вести дружбу. Доставляя нам, что нам было угодно, за хорошую плату, ему и в голову не приходило, что мы можем улизнуть от него. До известной степени он, однако, был прав: Лельевр и Христиерн не имели ни малейшего поползновения к бегству, Орсино примирился со своей судьбой; гвардейские моряки даже и не подозревали, что им может прийтись плохо, колдун рассчитывал на недостаток улик, а корсары были всегда под хмельком и не имели времени предаваться ме-

ланхолии. Один я замышлял обширные планы, но из осторожности напускал на себя беззаботный вид; казалось, будто тюрьма — моя родная стихия, и всякий думал, что я благодушествую, как рыба в воде. Я напился пьян всего один раз — в честь возвращения Христиерна. Однажды, когда все спали глубоким сном, около двух часов, я почувствовал мучительную жажду и жар во всем теле; встаю, полусонный, направляюсь к окну, черпаю ковшом и подношу ко рту: ужасная ошибка! Вместо того чтобы почерпнуть из жбана, я черпаю из лохани, вся внутренность перевернулась у меня. На рассвете у меня еще не прошли ужасные спазмы в желудке; чтобы скорее выбраться на свежий воздух и избавиться от тошноты, я предложил свои услуги вынести помои вместо одного корсара и переоделся в его платье. Проходя через двор, я встретил знакомого унтер-офицера, который шел с шинелью на руке. Он сообщил мне, что приговорен к заключению в тюрьму на месяц за буйство в театре и что он только что внес свое имя в тюремную роспись. «В таком случае, — сказал я, — ты сейчас же вступишь в должность — вот возьми-ка лохань». Мой унтер-офицер был малый сговорчивый, мне не пришлось просить его; пока он выполнял мою

обязанность, я смело прошел мимо часового, который не обратил на меня никакого внимания.



По выходе из тюрьмы я пустился бежать за город и остановился только на каменном мостике; усевшись в овраг, я углубился в крепкую думу,

как бы мне избавиться от преследований. Мне сначала пришло в голову идти в Кале, но моя злосчастная судьба дернула меня отправиться в Аррас. В тот же вечер я остановился на ночевку в какой-то ферме, служившей постоялым двором для торговцев свежей рыбой. Один из них, отправившийся из Булони тремя часами позже меня, рассказал мне, что казнь Христиерна произвела тяжелое впечатление во всем городе. «Только об этом везде и говорят, — рассказывал он, — все ждали, что император помилует его, но по телеграфу ответили — расстрелять, дескать, его надо… Уж раз он вывернулся счастливо, а сегодня, видно, суждено было — так и подкосили голубчика. Просто жалость было слышать, как он кричал: „Помилование! Смилуйтесь!“, стараясь приподняться после первого залпа; а позади завыли собаки, в которых попали пули от выстрелов. Просто душу раздирала вся эта сцена! Ну и покончили с ним, — видно, суждено было бедняжке! На роду было написано!»

Хотя известие, сообщенное рыбаками, и опечалило меня, но я не мог не подумать, что смерть Христиерна отвлечет общее внимание от моего побега; до сих пор еще не видно было никаких признаков, что мое отсутствие замечено, и я

немного успокоился духом. Я прибыл в Бетюн без всяких приключений, намереваясь поселиться у старого знакомого по полку. Меня приняли с распростертыми объятиями, но как бы человек ни был осторожен, всегда упустит из виду какое-нибудь мелочное обстоятельство. Я предпочел приютиться у друга, нежели остановиться в гостинице. Оказывается, что я попался по своей вине, как бабочка на огонь. Друг мой недавно вторично женился, и брат его жены был одним из тех упорных людей, которые нечувствительны к славе и всеми силами души стремятся к миру. Из этого следовало, что избранное мною местожительство и даже квартиры всех родственников молодого человека часто посещались господами жандармами. Эти желанные гости наводнили жилище моего друга задолго до рассвета, нисколько не стесняясь тем, что я спал: они разбудили меня и потребовали моих документов. Не имея паспорта, который мог бы предъявить, я старался отделаться от них объяснениями — напрасный труд. Бригадир, долго рассматривавший меня со вниманием, вдруг воскликнул: «Я не ошибаюсь — это он, я уж видел этого плута в Аррасе: это Видок!» Нечего было делать, пришлось встать с постели; четверть часа спустя я был уже помещен

в Бетюнской тюрьме.

Может быть, читателям небезынтересно будет узнать несколько подробностей о судьбе моих товарищей по заключению, покинутых мною в Булони; я могу отчасти удовлетворить их любопытство: Христиерна расстреляли — славный был малый! Лельевр, также человек хороший и честный, продолжал жить среди страха и надежд до 1811 года, пока тиф не положил предел его мучительному существованию. Четверо гвардейских матросов были, как известно, убийцы: в один прекрасный день им возвратили свободу и отправили в Пруссию, где двое из них получили крест за храбрость под стенами Данцига. Что касается колдуна, то он был выпущен на волю без суда. В 1814 году под именем Коллине он был сделан вахмистром в Вестфальском полку; кончилось тем, что он ограбил доверенную ему кассу; торопясь как можно скорее поместить свои деньги в безопасное место, этот негодяй без оглядки бежал в Бургонь, но в окрестностях Фонтенбло попал в руки казаков. Наступил его последний час — русские покончили с ним пиками.

Мое пребывание в Бетюне было непродолжительно: на другой день после моего ареста меня отправили в Дуэ в сопровождении хорошего

эскорта.

Глава девятнадцатая

Меня снова приводят в Дуэ. – Освобождение. – Моя жена выходит замуж. – Я ныряю в Скарпе. – Путешествие мое в чине офицера. – Пребывание в Париже. – Новое прозвище. – Женщина, которая пришлась мне по сердцу. – Я становлюсь ярмарочным купцом. – Казнь Гербо. – Я выдаю вора: он, в свою очередь, выдает меня. – Цель в Оксерре. – Я поселяюсь в столице. – Еще нечто о моей жене. – Укрывательство

Едва я успел войти в тюремный двор, как генеральный прокурор Росон, озлобленный против меня за мои частые побеги, показался у решетки и закричал:

— А! Наконец-то привели Видока! Надеть ему оковы!

— Что я вам сделал, господин прокурор, — ответил я, — что вы так недоброжелательно относитесь ко мне? Уж не потому ли вы так раздражены, что я несколько раз был в бегах? Велико ли это преступление? Разве я, бежавши, не ста-

рался всегда найти средство честно зарабатывать себе кусок хлеба? О, поверьте, я не так виновен, как несчастлив! Сжальтесь надо мною, сжальтесь над моей бедной матерью: если я вернусь в галеры — она умрет с горя!

Эти слова, искренний тон, которым они были произнесены, произвели некоторое впечатление на Росона. Он вторично пришел в тюрьму вечером, долго расспрашивал меня, как мне жилось с того времени, как я покинул Тулон, и так как я подтвердил неопровержимыми доказательствами все сказанное мною, то он начал относиться ко мне гораздо благосклоннее. «Что вы не подадите прошения о помиловании, — спросил он, — или, по крайней мере, не ходатайствуете о смягчении наказания? Я замолвил бы об вас словечко главному судье». Я поблагодарил прокурора за его доброжелательство, и в тот же день один адвокат из Дуэ, некто Тома, искренно интересовавшийся моей судьбой, принес мне для подписи прошение, которое он составил для меня.

Я с нетерпением выжидал ответа, как вдруг однажды утром меня призывают в канцелярию: я полагал, что мне желают передать давно ожидаемое решение министра. Горя от нетерпения поскорее узнать свою судьбу, я следую за

тюремщиком, с видом человека, ожидающего хорошей, радостной вести. Я надеялся видеть генерального прокурора, а вместо него увидал свою жену. Ее сопровождали какие-то две незнакомые мне личности. Я ломаю себе голову, что могло быть причиной такого неожиданного посещения; мадам Видок спешит удовлетворить мое любопытство, объявив мне самым развязным тоном, что она явилась показать мне документ, утверждающий наш развод. «Я выхожу замуж, — прибавила она, — поэтому мне необходимо было исполнить эту формальность».

Помимо освобождения моего из тюрьмы, едва ли нашлось бы другое известие до такой степени приятное для меня, как расторжение моего брака с этой женщиной. Уж не знаю, удалось ли мне подавить свою радость, но, вероятно, на моей физиономии было написано удовольствие, и если бы мой счастливый соперник присутствовал при этой сцене, он, конечно, не мог бы вынести впечатление, что я хотя сколько-нибудь завидую ему в обладании таким сокровищем.

Мое заключение в Дуэ затянулось до бесконечности. В течение целых пяти месяцев не было ни слуху ни духу о решении моей судьбы. Генеральный прокурор, по-видимому, сильно

интересовался мной, но несчастие делает человека недоверчивым и подозрительным — я начинал опасаться, что он убаюкал меня тщетными надеждами с целью отвлечь меня от побега до отправления на каторгу. Эта мысль засела мне в голову, и я с горячностью принялся за свои прежние планы о бегстве.

Тюремщик, по прозванью Ветю, заранее смотрел на меня, как на помилованного, и относился ко мне с некоторым уважением. Мы часто обедали с ним вдвоем в маленькой комнатке, единственное окно которой выходило на реку Скарп. Мне показалось, что с помощью этого окна, которое, против обыкновения, не было снабжено решеткой, мне легко будет в один прекрасный день, после обеда, дать тягу; только необходимо было заранее как-нибудь переодеться, чтобы избегнуть преследования, вышедши из тюрьмы. Я посвятил несколько друзей в свою тайну, и они достали для меня полную форму офицера легкой артиллерии; я обещал воспользоваться ею при первом случае. Однажды в воскресенье, вечером, я сидел за столом с тюремщиком и судебным приставом Гуртрелем, водка развеселила моих собеседников, я не пожалел денег на угощенье.

— Знаешь ли что, молодец, — сказал мне Гур-

трель, — тут бы тебя не совсем-то хорошо было держать. Окно без решетки! Ну уж я бы не доверился.

— Полноте, дядюшка Гуртрель, надо быть легким, как пробка, чтобы рисковать нырнуть с такой высоты, а Скарп ведь глубок, в особенности для того, кто не умеет плавать.

— Это правда, — согласился тюремщик, и разговор на том и прекратился.

Но я твердо решился выполнить свой план. Скоро пришло еще несколько гостей, тюремщик пустился в игру, и, когда он углубился в свою партию, я бросился в реку. При шуме моего падения, вся честная компания ринулась к окну; Ветю во все горло звал стражу и тюремщиков в погоню за мной. К счастью, наступили сумерки и трудно было различать предметы: моя шляпа, которую я нарочно бросил на берег, заставляла думать, что я немедленно вышел из реки, а я тем временем плыл да плыл по направлению к шлюзу. Плыть мне было крайне трудно, я продрог, и силы начинали изменять мне. Миновав город, я вышел на берег. Мое платье, пропитанное водой, весило по крайней мере фунтов сто; я тем не менее пустился бежать и остановился лишь в деревушке Бланжи, лежащей на расстоянии двух лье от Арраса. Было

часа четыре утра; булочник, затопивший свою печь, высушил мне платье и дал кое-что поесть. Оправившись и подкрепившись, я продолжал путь и направился в Дюизан, где проживала вдова бывшего капитана, одного из моих приятелей. Нарочно посланный к ней должен был доставить мне мундир, приготовленный для меня в Дуэ. Получив его, я отправился в Герсин и скрывался там несколько дней у одного из моих родственников. Вскоре, однако, мне пришлось убраться; дело в том, что полиция, убежденная, что я нахожусь в той же стране, намеревалась сделать облаву. Она даже напала на мои следы. Делать нечего, надо было убираться.



Для меня было ясно, что один только Париж может доставить мне верное и безопасное убежище; но, чтобы туда попасть, надо было вернуться в Аррас, а там меня непременно узнали бы. Я искал средство, чтобы устранить это препятствие; из предосторожности я отправился в плетеной тележке моего двоюродного брата, у которого лошадь была отличная и который сам до тонкости был знаком со всеми проселочными дорогами.

Ссылаясь на свою репутацию отличного кучера, он обещал безопасно провезти меня по улицам моего родного города; я сильно надеялся также

на свое переодеванье. Я уже не был Видок, только бы не слишком близко ко мне присматривались. Подъехав к мосту Жея, я не очень испугался, увидев восемь жандармских лошадей, привязанных к дереву у постоялого двора. Признаюсь, я охотно предпочел бы обойтись без этой встречи, но делать нечего, миновать ее не было возможности, и необходимо было пустить в ход всю свою смелость, чтобы избавиться от опасности. «Ну, — обратился я к своему родственнику, — здесь, кажется, ты закусить хотел, слезай-ка живей, ступай пропусти рюмочку-другую». Он слез с тележки и направился в харчевню с видом и походкой развязного малого, который не боится косых взглядов бригады.

— Кого везешь, — сказали ему жандармы, — уж не своего ли родственника Видока?

— Может быть, — ответил он, смеясь, — ступайте поглядите сами.

Один из жандармов действительно подошел к моей тележке, но более по влечению любопытства, нежели из чувства подозрительности. При одном виде моего офицерского мундира он почтительно отдал мне под козырек; вскоре он сел на лошадь и скрылся из виду вместе со своими товарищами.

— Счастливого пути! — крикнул им вслед мой родственник, хлопая бичом. — Если поймаете его, смотрите напишите.

— Будь покоен, — ответил вахмистр, командовавший взводом, — мы знаем, где раки зимуют, пароль — Герсин: завтра об эту пору он будет пойман, голубчик.

Мы мирно продолжали свой путь, но мне, однако, пришла в голову тревожная мысль: военная форма могла подвергнуть меня мелким неприятностям, неудобным по своим последствиям. Война с Пруссией началась, и внутри страны мало приходилось встречать офицеров, разве только они принуждены были удалиться вследствие ран. Я решил носить руку на перевязи и всем говорить, что я был ранен в сражении при Тене. Если станут меня расспрашивать о подробностях этого замечательного дня, я сумею ответить, думал я; ведь читал же бюллетени, да, кроме того, мне приходилось слышать много всяких рассказов, правдивых и ложных, от очевидцев. Словом, я знал кое-что про сражение при Тене и мог говорить о нем что угодно, не путаясь и не сбиваясь. Я на славу выполнил свою роль, когда на это представился случай в Бомоне, где мы принуждены были сделать привал, так как лошадь,

сделав тридцать пять лье в день, сильно измучилась. Я уж начал было разговор на постоялом дворе, как вдруг увидал, что вахмистр подходит к драгунскому офицеру и требует, чтобы тот представил свои документы. Я, в свою очередь, подошел к вахмистру и спросил его, к чему такая предосторожность.

— Я просил его показать мне свою подорожную, — ответил он, — теперь такое время, что все в армии, во Франции не место для офицера, годного к оружию.

— Вы тысячу раз правы, товарищ! — воскликнул я и, чтобы ему не пришла охота ревизовать мои бумаги, поспешил пригласить его обедать. Во время обеда я до такой степени сумел завоевать его доверие, что он просил меня, когда я буду в Париже, похлопотать о его переводе в другой город. Я обещал ему все, что ему было угодно; он был в восторге. Известно, что легко предлагать кредит, когда его нет.



Как бы то ни было, а бутылки опоражнивались одна за другой, и мой собеседник, торжествуя, что неожиданно приобрел такую могущественную протекцию, стал мне плести разный вздор, почти совсем опьянев. Вошел жандарм и вручил ему конверт с депешами. Он сорвал печать дрожащей рукой и хотел приняться за чтение, но его глаза, помутившиеся от вина, положительно отказывались служить ему, и он просил меня за него исполнить эту обязанность. Я открываю письмо,

и первые слова, бросившиеся мне в глаза, были «Бригада Арраса». Я быстро пробегаю послание; в нем сообщалось о том, что я проезжал через Бомон и, вероятно, сел в дилижанс «Серебряного льва». Несмотря на мое замешательство, я прочел заявление, совершенно извратив его смысл. «Ну ладно, ладно, — пробормотал усердный служака, — карета проходит только завтра поутру, успеем еще этим заняться». Он хотел снова начать попойку, но силы ему изменили, и его принуждены были вынести из зала на руках, к негодованию всей почтенной публики, повторявшей: «Виданное ли дело, вахмистру, человеку с чином, пускаться на такие безобразия!»

Понятно, я не счел нужным ждать пробуждения этого чиновного служаки; в пять часов утра я занял место в Бомонском дилижансе, который в тот же день благополучно довез меня в Париж, куда перешла ко мне моя мать, еще продолжавшая жить в Версале. Мы прожили вместе несколько месяцев в предместье Сен-Дени, где не видались ни с кем, за исключением золотых дел мастера Жаклена; я принужден был отчасти посвятить его в свою тайну, так как он знал меня в Руане под именем Блонделя. У Жаклена я встретился с женщиной, которой суждено было

играть немаловажную роль в моей жизни. Мадам Б***, или попросту Аннетта, была довольно хорошенькая, молоденькая женщина, которую муж бросил вследствие расстройства дел. Он бежал в Голландию, и давно уже о нем не было ни слуху ни духу. Аннетта была свободна как птица; она понравилась мне. Я полюбил ее ум, характер, ее доброе сердце и осмелился намекнуть ей об этом. Она, впрочем, сама увидела, что я к ней неравнодушен, и не рассердилась. Вскоре мы сошлись и ближе и уже не могли существовать друг без друга. Аннетта перебралась ко мне жить, и так как я решился снова взяться за ремесло разносчика, то она захотела сопровождать меня в моих путешествиях. Первое наше путешествие было удачно как нельзя более. Только в то время, как я отправлялся из Мелена, трактирщик, у которого я останавливался, заявил, что полицейский комиссар выразил сожаление, что не осмотрел моих бумаг, но лучше поздно, чем никогда, прибавил он; он все-таки рассчитывал сделать мне визит. Это сообщение меня удивило; вероятно, я показался им подозрительным, подумал я. Идти далее — было бы скомпрометировать себя. Я тотчас же вернулся в Париж, твердо решившись не предпринимать никакой попытки до тех пор,

пока мне не удастся устранить все препятствия, возникающие на моем пути.

Отправившись в путь рано утром, я прибыл в предместье Сен-Марсо еще не поздно и вдруг услышал завывания глашатая, выкрикивавшего, что сегодня состоится на Гревской площади казнь двух известных преступников. Имя Гербо поразило мой слух. Того самого Гербо, который был причиной всех моих бед! Я прислушался внимательнее, с невольным трепетом, и на этот раз глашатай повторил приговор с вариантами: «Вот приговор уголовного суда Сенского департамента, осуждающий на смерть Армана Сен-Леже, бывшего моряка, родившегося в Булони, и Цезаря Гербо, освобожденного каторжника, обвиняемых и осужденных за убийство» и т. д.

Все мои сомнения исчезли: презренный человек, погубивший меня, должен сложить голову на плахе. Признаться ли мне в этом?.. Я почувствовал прежде всего радость и облегчение, а между тем внутренно содрогнулся. Измученный в продолжение всей своей жизни, волнуемый постоянной тревогой и беспокойством, я рад был бы истреблению всего ужасного населения тюрем и галер, которое, ввергнув меня в бездну, преследовало меня своими жестокими уликами.

Поэтому неудивительно, что я поспешил сбегать в суд, чтобы самому убедиться в истине; это было еще перед полуднем, и мне стоило громадных усилий добраться до решетки, перед которой я наконец занял место, выжидая роковой минуты.

Наконец пробило четыре часа. Ворота отворяются настежь, появляется человек на позорной колеснице, это был Гербо. Лицо его покрыто смертельной бледностью, он старается выказать храбрость, но его выдает нервное, конвульсивное подергивание личны́х мускулов. Он еще силится говорить со своим товарищем, который уже не в состоянии слушать его. Подан сигнал к отправлению; Гербо, с видом напускной отваги, бросает взгляд на окружающую толпу, глаза его встречаются с моими… он вздрагивает… мимолетный румянец появляется на его смертельно бледном лице… Между тем процессия проходит мимо. Я стою неподвижно, как вкопанный; долго я еще остался бы в таком положении, если бы один из смотрителей тюрьмы не пригласил меня удалиться. Двадцать минут спустя телега с красным покрывалом, под эскортом жандарма, рысью проехала по мосту au-Change, направляясь к кладбищу преступников. Со стесненным сердцем я удалился и пришел домой, погруженный в

самые печальные размышления.

С тех пор я узнал, что во время своего заключения в Бисетре Гербо выражал сожаление, что он безвинно погубил меня. Преступление, которое привело этого злодея на эшафот, — было убийство, совершенное в сообществе с Сен-Леже и жертвой которого была одна дама, жившая у площади Дофин. Оба злодея вторглись к ней под предлогом сообщить ей известия о ее сыне, которого, по их словам, они будто бы видели в армии.

Хотя, в сущности, казнь Гербо не могла иметь никакого непосредственного влияния на мою судьбу, но она меня смутила и встревожила до глубины души. Я ужаснулся того, что мне пришлось иметь дело с разбойниками, осужденными на плаху; мои воспоминания унижали меня в моих собственных глазах; я внутренне краснел сам за себя; мне хотелось бы утратить память и провести демаркационную линию между настоящим и будущим, но я ясно сознавал, что будущее находится в прямой зависимости от прошедшего. Я был несчастен тем, что полиция, не всегда действовавшая осмотрительно, не позволяла мне забываться ни на минуту. Словом, я ожидал с минуты на минуту быть схваченным, как вредное животное. Глубокое убеждение, что меня не

допустят сделаться порядочным человеком, повергало меня в отчаяние, я был молчалив, угрюм, задумчив. Аннетта заметила мое печальное состояние и захотела утешить и развеселить меня. Она предлагала посвятить мне всю свою жизнь, она осыпала меня вопросами: я выдал ей свою тайну — и никогда мне не пришлось сожалеть об этом. Деятельность, преданность, присутствие духа этой женщины оказали мне истинную пользу. Мне необходим был паспорт — она убедила Жакелена отдать мне свой, и, чтоб дать мне возможность воспользоваться им, он сообщил мне самые подробные сведения о своем семействе, своих связях и положении. Снабженный этими инструкциями, я снова пустился в путь и исколесил всю Нижнюю Бургундию. Повсюду мне приходилось предъявлять свои бумаги, и если бы наружность мою проверяли по указаниям паспорта, то легко было бы открыть обман; но нигде этого не заметили. В течение целого года, помимо небольших неприятностей, о которых не стоит упоминать, имя Жакелена принесло мне счастье.

Однажды, прибыв в Оксерр и спокойно прохаживаясь на гавани, я встретил некоего Пакэ, вора по ремеслу, с которым я познакомился в Бисетре,

где он содержался в заключении в продолжение нескольких лет. Мне было бы крайне желательно избегнуть этой встречи, но он почти врасплох подошел ко мне, и с первых слов я убедился, что с моей стороны было бы неблагоразумно стараться отделаться от него. Ему страшно хотелось разузнать, что я тут делаю, и так как из его разговора легко было увидеть, что он желает втянуть меня в воровской промысел, то я выдумал, чтобы избавиться от него, заговорить о бдительности и строгости оксеррской полиции. Слова мои метко попали в цель — вор струсил. Я в черных красках изобразил опасность, и наконец мой собеседник, выслушав меня с тревожным вниманием, воскликнул: «Черт возьми, да ведь тут скверно оставаться: карета уходит через два часа, — если хочешь, удерем». — «Ладно, — согласился я, — если в этом дело, то рассчитывай на меня, я твой товарищ». Потом я оставил его, ссылаясь на необходимость окончить некоторые приготовления перед отъездом. Нет ничего ужаснее положения беглого каторжника, который, не желая быть проданным первым встречным, вынужден принять на себя инициативу, то есть сделаться доносчиком. Вернувшись в гостиницу, я написал жандармскому полковнику письмо, в котором

заявлял, что напал на след виновников кражи, совершенной недавно в конторе дилижансов.



«Милостивый государь, личность, не желающая сообщать своего имени, предупреждает вас, что один из виновников покражи, совершенной в конторе дилижансов вашего города, отправится в шесть часов в дилижансе Жуаньи, где его,

по всей вероятности, ожидают его сообщники. Чтобы не выпускать его из рук и арестовать в надлежащее время, хорошо было бы посадить в один с ним дилижанс переодетых жандармов; весьма важно, чтобы они действовали с крайней осторожностью и не теряли из виду субъекта: он человек ловкий и бывалый».

Это послание сопровождалось описанием наружности Пакэ до того подробным, что ошибиться не было никакой возможности. Настало время отъезда; я отправился в гавань окольными путями и из окна комнаты, нарочно нанятой для наблюдения, увидел Пакэ, входящего в омнибус; за ним туда же сели переодетые жандармы, которых я узнал по особому чутью, которое передать словами невозможно. От времени до времени они передают друг другу какую-то бумагу, наконец глаза их остановливаются на моем молодце, одежда и вид которого плохо рекомендуют его. Дилижанс трогается, и я с наслаждением вижу, как он скрывается из виду, тем более что он увозит Пакэ, его предложения и его разоблачение, если только он намерен был делать таковые.

Дня два после этого приключения я был занят пересмотром своих товаров, как вдруг слышу необычайный шум и высовываю голову в ок-

но: это каторжники, которых вели Тьерри и его тюремные аргусы. При этом зрелище, до такой степени ужасном и тревожном для меня, я спешил скрыться, но второпях разбил стекло. Все взоры обращаются на меня: я охотно провалился бы сквозь землю. Но это еще не все, к довершению моего ужаса и смущения дверь отворяется и входит мадам Желá, хозяйка гостиницы «Фазан». «Идите-ка сюда, мосье Жакелен, посмотрите на каторжников, — крикнула она. — Давно не случалось видеть такой славной коллекции; как на подбор все, молодцы такие, штук сто с лишним будет! Слышите, как поют-то?» Я поблагодарил хозяйку за ее внимательность и, притворяясь, что очень занят, сказал, что сойду вниз в одну минуту. «Торопиться не к чему, — сказала она, — время терпит… они переночуют здесь в наших конюшнях. Если пожелаете покалякать с их начальником, так дадим ему комнату возле вашей». Лейтенант Тьерри — мой сосед! При этом известии со мной сделалось что-то ужасное: если бы мадам Жела наблюдала за мной, она заметила бы смертную бледность, покрывшую мое лицо, и содрогание, пробежавшее по всему моему телу. Лейтенант Тьерри — мой сосед! Он мог узнать меня, схватить; малейший жест, малейший

звук могли выдать меня, поэтому я остерегался показываться. Я мог извиниться недосугом и сослаться на то, что мне необходимо кончить составление реестра, и тем объяснить недостаток любопытства со своей стороны. Я провел ужасную ночь. Наконец, в четыре часа утра бряцание цепей известило о выступлении в путь адской процессии. Я вздохнул свободнее.

Не страдал никогда тот человек, кто не испытал смертельных мук и тревог, подобных тем, которые вытерпел я от присутствия этой шайки разбойников и их сторожей. Снова надеть оковы, которые я сбросил ценой таких страшных усилий, — вот мысль, которая не покидала меня ни днем ни ночью. Я не был единственным обладателем своей тайны, много было каторжников на белом свете: мое спокойствие, моя жизнь подвергались опасности всегда и повсюду. Косой взгляд, имя комиссара, появление жандарма, прочтение ареста — все могло возбудить и поддерживать мою тревогу. Сколько раз я проклинал судьбу, погубившую мою молодость, проклинал свои беспорядочные страсти и тот суд, который своим несправедливым приговором повергнул меня в бездну, из которой я не мог выбраться, проклинал, наконец, все эти порядки, закрывающие двери

раскаяния… Я был изгнан из общества, между тем я готов был предоставить ему все необходимые гарантии; я дал ему лучшие доказательства своих благих намерений: всякий раз после моего бегства я отличался примерным поведением, привычкой к порядку и редкой добросовестностью в выполнении всех своих обещаний.

Теперь в глубине моей души возникали некоторые опасения насчет этого Пакэ, арестованного благодаря мне; поразмыслив, я решил, что поступил довольно опрометчиво: надо мной тяготело предчувствие чего-то недоброго, и предчувствие это сбылось. Пакэ, препровожденный в Париж, потом снова доставленный в Оксерр для очной ставки, узнал каким-то образом, что я все еще нахожусь в городе. Он всегда подозревал меня в том, что я выдал его, и поклялся отомстить. Он рассказал тюремщику все, что знал на мой счет. Последний донес обо всем этом кому следует, но моя репутация безукоризненной честности так прочно установилась в Оксерре, где я проживал целых три месяца, что, во избежание бесполезного скандала, один судья, имя которого я умолчу, призвал меня и предупредил обо всех обвинениях, возводимых на меня. Мне не пришлось открывать ему всей истины, мое смущение

выдало меня; у меня достало только сил на то, чтобы сказать ему: «Ах, господин судья, я, право, искренно желал сделаться честным человеком». Не ответив ни слова, он вышел и оставил меня одного; я понял его великодушное молчание. Через четверть часа я был уже далеко от Оксерра и из своего убежища написал Аннетте, уведомляя ее о новой постигшей меня катастрофе. Чтобы отвлечь все подозрения, я просил ее остаться еще недели две в гостинице «Фазан» и сказать всем знакомым, что я уехал в Руан для закупок. Аннетта должна была встретить меня в Париже и действительно приехала в назначенный день. Она рассказала мне, что на другой день после моего отъезда переодетые жандармы приходили в мой магазин с целью арестовать меня, но, не найдя меня, сказали, что этим дело не кончится и что меня откроют во что бы то ни стало.

Итак, поиски будут продолжаться; вот еще неприятность, разбивающая в пух и прах все мои планы: отыскиваемый под именем Жакелена, я был принужден оставить это имя и еще раз отказаться от ремесла, которому посвятил себя.

У меня уже не было никакого паспорта, фальшивого или правильного, который мог бы сколько-нибудь обеспечить меня в кантонах, где

я обыкновенно странствовал; в тех, где я никогда еще не был, мое внезапное появление могло возбудить против меня подозрение. Положение мое становилось невыносимым. На что решиться? Эта мысль страшно мучила меня, как вдруг случай доставил мне знакомство с портным, имевшим свой магазин во дворе Сен-Мартен; он желал продать свое заведение. Я стал с ним торговаться, убежденный, что нигде я не буду в такой безопасности, как в центре столицы, где легко стушеваться в толпе. Действительно, прошло несколько месяцев и ничто не нарушало спокойствие, которым мы наслаждались с Аннеттой. Моя торговля процветала с каждым днем: дела шли лучше и лучше. Я уже не ограничивался, как мой предшественник, шитьем платья, я торговал сукнами и, может быть, был уже на пути к обогащению, как вдруг в одно прекрасное утро мои треволнения возобновились.

Я был в своей лавке; вдруг входит посыльный и объявляет мне, что меня кто-то ожидает в трактире на улице Омерр. Полагая, что дело идет о каком-нибудь заказе или сделке, я немедленно отправляюсь в назначенное место. Меня вводят в отдельную комнату, где я, к ужасу своему, вижу двух беглых каторжников из Брестского острога;

один из них был Блонди, который, если вам помнится, был зачинщиком злополучного бегства из Понт-Лезена. «Вот уже два дня, как мы здесь, — сказал он, — и сидим без гроша. Вчера мы видели тебя в магазине и порадовались, узнав, что он твой собственный… Теперь, слава богу, мы уже не так беспокоимся, мы ведь знаем тебя, ты не такой человек, чтобы не выручить товарищей из беды».

Для меня была убийственна мысль связаться с этими разбойниками, способными на все, даже продать меня полиции, не щадя самих себя. Я старался показать им, что очень счастлив, свидевшись с ними. Я прибавил, что так как я небогат, то мне очень жаль, что я не могу пожертвовать им более пятидесяти франков. Они, казалось, остались довольны этой суммой и, уходя, объявили мне, что намерены отправиться в Шалон на Марне, где у них были «дела». Я был бы счастлив, если бы они навсегда убрались из Парижа, но, прощаясь, они обещали мне скоро приехать назад, и я постоянно пребывал в страхе, опасаясь их скорого возвращения. Уж не хотят ли они превратить меня в дойную корову и заставить дорогой ценой купить их молчание? Меня мучил вопрос: может быть, они будут ненасыт-

ны? Кто мне поручится в том, что их требования не выйдут из границ возможного? Я уже мысленно видел себя банкиром этих господ и еще многих других, им подобных, так как можно было ожидать, что, согласно обычаю, существующему у воров, они передадут меня своим друзьям-приятелям и те, в свою очередь, станут обирать меня. Я мог быть с ними в хороших отношениях только до первого отказа; дойдя до этого, несомненно, что они сыграют со мной какую-нибудь скверную штуку. Связавшись с такими негодяями, мог ли я быть спокоен? Мое положение было далеко не завидное, и вскоре оно ухудшилось вследствие одной роковой встречи.

Читатели, вероятно, помнят, что жена моя после развода вступила во второй брак; я думал, что она находится в департаменте Па-де-Кале и живет припеваючи со своим новым супругом; не тут-то было, в один прекрасный день я столкнулся с нею носом к носу в улице Пети Каро. Невозможно было избегнуть ее — она узнала меня издали. Я принужден был вступить с ней в разговор. Не напоминая ей о ее проступках по отношению ко мне и убедившись по жалкому состоянию ее туалета, что жизнь ее далеко не красная, я дал ей немного денег. Может быть, она вообразила, что

мое великодушие не вполне бескорыстно, но мне даже и в голову не приходило, чтобы моя бывшая супруга могла выдать меня. И действительно, вспоминая позже о наших распрях и пререканиях в былое время, я понял, что поступил чрезвычайно благоразумно и осмотрительно, и мне показалось очень естественным, что эта женщина, находясь в бедственном положении, могла рассчитывать на известную помощь с моей стороны. Если бы я был в тюрьме или находился вдали от Парижа, то не был бы в состоянии облегчить ее нужду. Это соображение, естественно, должно побудить ее к молчанию, по крайней мере, так я думал; впоследствии увидят, ошибся ли я.

Содержание моей жены было бременем, которое я добровольно взвалил на свою спину, но я еще не вполне сознавал всю тяжесть этой обузы. Прошло недели две со времени нашего свидания. Однажды утром за мной присылают из улицы Echiquier, я отправляюсь на зов. В глубине двора, в довольно опрятной, хотя бедно меблированной квартире, в нижнем этаже, нахожу не только свою жену, но ее племянниц и их отца, террориста Шевалье, недавно высидевшего шесть месяцев в тюрьме за покражу серебра. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы убедиться,

что целая семья повисла у меня на шее.

Эти люди были в крайней нужде, я ненавидел их, проклинал их в душе, но не мог поступить иначе, как протянуть им руку помощи. Для них я должен был, что называется, из кожи лезть, и, чтобы не попасть снова в руки аргусов, я твердо решился поставить последний грош ребром.

В это время казалось, будто весь свет сговорился против меня; ежеминутно мне приходилось раскошеливаться, и спрашивается, для кого же? Для людей, которые считали мою щедрость обязательной, людей, готовых продать меня, коль скоро я покажусь им ненадежным источником доходов. Возвратившись от жены домой, я еще лишний раз убедился, каково быть беглым каторжником, — Аннетта и моя мать были в слезах. Оказывается, что в мое отсутствие меня спрашивали каких-то два пьяных человека, и, когда им объявили, что меня нет дома, они разразились ругательствами и угрозами, и я не мог ни минуты сомневаться в том, что они замышляют что-то недоброе. По описанию этих двух личностей, которые мне сделала Аннетта, нетрудно было узнать Блонди и его товарища Дюлюка; да и к тому же они оставили свой адрес, настоятельно требуя прислать им сорок франков. Этого было

слишком достаточно, чтобы догадаться, кто это был; кроме них, никто во всем Париже не может дать мне такого приказа. К прискорбию своему, я был кроток и послушен, как ягненок; только платя дань этим мошенникам, я не мог не заметить им, что они поступили довольно необдуманно.

— Вот, видите ли вы, что вы теперь наделали, — сказал я. — В славное положение вы меня ставите, нечего сказать; дома ничего не знали, а вы все растрезвонили. Лавка-то на имя жены, и она, чего доброго, захочет вытурить меня вон, тогда опять придется локти кусать да мостовую гранить!

— Не беда, будешь работать с нами, — ответили мне оба разбойника.

Я пытался разъяснить им, что несравненно лучше зарабатывать себе кусок хлеба честным трудом, нежели постоянно жить в страхе полиции, которая рано ли, поздно ли всегда опутывает мошенников своими сетями. Я прибавил, что одно преступление всегда влечет за собою другое, кто решился рисковать попасть на цепь, тот прямо лезет на гильотину; в заключение своего наставления я внушил им, что они умно сделали бы, отказавшись от избранной ими карьеры, сопряженной с такими опасностями.

— Недурно, — воскликнул Блонди, когда я окончил свою проповедь, — право, недурно придумано! А пока не можешь ли ты нам указать, нет ли где чего пообчистить? Вот видишь ли, мы, как Арлекин, не столько гонимся за советами, сколько за денежками.

Они ушли, осмеяв меня. Я вернул их, чтобы снова уверить в своей преданности, и снова просил их не приходить ко мне на дом.

— Ну ладно, что с тобой толковать, — ответил Дюлюк, — не придем, коли это твоей барыне не нравится.

Но они недолго держали свое обещание. Дня через два, когда смерклось, Блонди явился ко мне в магазин и пожелал поговорить со мной наедине. Я повел его наверх в свою комнату.

— Надеюсь, мы одни, — сказал он, окидывая взором комнату, где мы находились. Убедившись, что никто нас не подслушивает, он вынул из кармана одиннадцать серебряных приборов и двое золотых часов и положил их на стол.

— Послушай, четыреста франков за все это, идет, что ли? Ведь недорого, товар важный! Ну, нечего толковать, отсчитай-ка финаги (деньги).

— Четыреста франков! — воскликнул я, смущенный таким неожиданным требованием. — Да

у меня их нет.

— А мне что за дело! Ступай продавай вещи…

— Но если захотят узнать…

— А уж это как тебе будет угодно, а мне надо денег, и дело с концом, а впрочем, если ты желаешь, я пришлю тебе покупщиков в твою лавчонку, знаешь ли… из префектуры. Ты со мной не шути… подавай финаги без рассуждений.

Я слишком хорошо понимал его… Я уже мысленно представлял себя проданным, лишенным положения, приобретенного с таким трудом, снова отведенным в галеры… Нечего делать, четыреста франков были отсчитаны.

Глава двадцатая

Еще разбойник. – Моя плетеная таратайка. – Арест обоих каторжников. – Ужасные открытия. – Сен-Жермен хочет сманить меня на воровство. – Я предлагаю свои услуги полиции. – Смертельная тревога. – Мое убежище. – Забавное приключение. – Шевалье выдает меня. – Аннетта в депо префектуры. – Я собираюсь покинуть Париж. – Меня схватывают в одной рубашке. – Я снова в Бисетре

Итак, я сделался укрывателем украденных вещей, преступником помимо своей воли; но факт оставался тем же — я приложил руку к преступлению. Трудно составить себе понятие об адских муках, которые я переживал. Я находился в беспрерывном волнении: угрызения совести и опасения в одно и то же время осаждали меня. Ночью, днем, каждый час, каждую минуту я дрожал от страха, я потерял сон, аппетит, мои дела больше не занимали меня — все мне опостылело, все стало для меня ненавистным. Все!.. Нет, не

все — у меня оставались Аннетта и мать моя. Но разве мне не придется расстаться с ними? Я с ужасом помышлял о том, что мой дом превращается в гнусный, отвратительный притон, что в него врывается полиция и дознание обнаруживает мое участие в преступлении, которое должно навлечь на меня кару правосудия. Измученный семейством Шевалье, поедавшим все мои доходы; постоянно тревожимый Блонди, который то и дело выманивал у меня деньги; доведенный до отчаяния своим безвыходным положением, стыдясь находиться под влиянием таких гнусных тварей, наконец, раздраженный тем, что не был в состоянии порвать роковые узы, связывающие меня с самым низким отребьем человеческого рода, — я был близок к полному отчаянию и в течение целой недели имел самые пагубные замыслы. Блонди, презренный Блонди более всех приводил меня в ярость. Я охотно задушил бы его, а между тем я принимал его к себе, окружал вниманием. При моем вспыльчивом, необузданном характере такое терпение было настоящим чудом; этим я был обязан Аннетте. О, если бы знали, как искренно, от всей души, я желал, чтобы в одну из экскурсий Блонди какой-нибудь благодетельный жандарм схватил его за ворот!

Я льстил себя надеждой, что это случится скоро. Всякий раз, что ему случалось замешкаться долее обыкновенного, я уже надеялся, что настала минута, когда я буду избавлен от этого негодяя, — но увы! Он вскоре появлялся, и с ним возвращались мои треволнения.

Однажды я увидел его идущим с Дюлюком и бывшим чиновником, Сен-Жерменом, которого я знал еще в Руане, где он временно пользовался репутацией довольно честного человека. Сен-Жермен, для которого я был негоциантом Блонделем, был очень удивлен, встретив меня, но Блонди в нескольких словах дал ему понятие о моей истории: он отрекомендовал меня «продувным плутом»; тогда доверчивость заменила удивление, и Сен-Жермен, который при встрече со мной наморщил было лоб, при этой рекомендации вдруг просветлел. Блонди уведомил меня, что они все трое отправляются в окрестности Санлис, и просил меня одолжить ему свою плетеную таратайку, которую я употреблял для разъездов по ярмаркам. Обрадовавшись надежде избавиться наконец от этих негодяев, я поспешил дать им записку к тому лицу, у которого находилась моя тележка. Им выдали экипаж с упряжью, они пустились в путь, и десять дней я не получал от

них никакой вести. Наконец явился Сен-Жермен; он имел взволнованный вид и казался разбитым от усталости.

— Ну, — сказал он, — товарищи заарестованы!

— Арестованы! — повторил я в порыве неудержимой радости, но, овладев собою, я стал осведомляться о подробностях происшествия, стараясь казаться встревоженным.

Сен-Жермен вкратце рассказал мне, как Блонди и Дюлюк были арестованы, собственно, потому, что путешествовали без документов; я не поверил ему ни слова и остался при мысли, что они, вероятно, удрали какую-нибудь неблаговидную штуку. Меня подтвердило в моих подозрениях то, что на мое предложение послать им денег Сен-Жермен ответил, что это было бы бесполезно. Отправляясь из Парижа, они имели на троих пятьдесят франков; конечно, с такой скромной суммой им трудно было бы сберечь кое-что, как же случилось то, что они до сих пор не нуждаются? Прежде всего мне пришла в голову мысль, что они, вероятно, совершили какую-нибудь крупную покражу и что им не с руки рассказывать о ней, но вскоре я узнал, что дело шло о более важном покушении.

Через два дня после возвращения Сен-Жермена

мне вздумалось пойти посмотреть свою таратайку. Осматривая тележку внутри, я заметил на белой с голубым парусинной обивке красноватые следы, очевидно недавно замытые; потом, открыв важу, я нашел ее наполненной кровью, будто там лежал труп. Все стало мне ясным — истина оказалась еще ужаснее всех моих подозрений. Я не колебался в своем решении; еще более заинтересованный, нежели сами убийцы, в уничтожении всех следов злодеяния, на следующую ночь я отвез таратайку в уединенное место на берегу Сены. Дойдя до Берси, я поджег солому и хворост, которыми набил экипаж, и удалился только тогда, когда от него осталась одна зола.

Сен-Жермен, которому я на другой день сообщил мои наблюдения, — не сказав, однако, что сжег тележку, — признался мне, что в ней был спрятан труп извозчика, убитого Блонди между Лувром и Даммартен, пока не нашли случая бросить его в колодец. Этот негодяй, самый отважный, самый наглый, какого только мне случалось видеть, говорил об этом преступлении, как о невиннейшем поступке; с улыбкой на губах и самым развязным тоном он перечислял малейшие подробности злодейства. Он наводил на меня ужас; я слушал его с омерзением. Когда

он сообщил мне, что ему надо достать отпечатки замков одного дома, жильцы которого были мне известны, мое замешательство и страх дошли до крайних пределов. Я хотел сделать ему некоторые замечания.

— А мне-то что за дело, что ты знаешь их?.. Тем более удобно, по-моему. Тебе известны все ходы, поведешь меня, и наживу разделим по-братски… Ну полно, — прибавил он, — нечего тут мямлить, мне нужны отпечатки, слышишь ли?

Я подал вид, что на меня действует его красноречие.

— Давно бы так! — воскликнул он. — А то к чему тут церемониться да чваниться? Лучше бы молчал, надоел ты мне со своими иеремиадами. Наконец теперь-то дело в шляпе; идет пополам?

Боже мой! Что за сделка! К чему было радоваться аресту Блонди? Я положительно попадал из огня да в полымя. Блонди еще принимал в расчет некоторые соображения, Сен-Жермен — никогда, он был гораздо настойчивее в своих требованиях. Ежеминутно подвергаясь опасности быть компрометированным, я решился сделать попытку перед г. Анри, начальником охранительной полиции в префектуре. Я отправился к нему. Описав ему свое положение, я объявил, что если желают

допустить мое жительство в Париже, то я готов сообщить множество весьма важных сведений о беглых каторжниках, которых я знал убежища и планы.

Г. Анри принял меня довольно благосклонно, но, подумав с минуту, он ответил, что не может принять на себя никакого обязательства относительно меня.

— Это вам не мешает сделать мне разоблачения, — продолжал он, — мы обсудим, заслуживают ли они внимания, и тогда, может быть...

— Ради бога, — перебил я, — без неопределенностей; это подвергает опасности мою жизнь: вы не имеете понятия, на что способны люди, которых я намерен выдать вам, и если мне придется вернуться в галеры после того, как станет известным, что я имел сношения с полицией, то я человек погибший.

— В таком случае об этом говорить не стоит.

И он отпустил меня, не спросив моего имени.

Неудача моей попытки приводила меня в отчаяние. Сен-Жермен не преминет вернуться, он, наверное, принудит меня сдержать свое слово. Я положительно терял голову. Что мне было делать: должен ли я был предупредить ту личность, которую мы условились ограбить сообща? Если

бы представилась какая-нибудь возможность избегнуть участия в этом деле, тогда было бы не так опасно предупредить жертву. Но я обещал свое содействие; по-видимому, не было никакой возможности избавиться от своего обещания, и я ждал его, как смертного приговора. Прошла неделя, наконец, две, три в беспрерывной тревоге. По прошествии этого времени я вздохнул посвободнее; через два месяца я успокоился вполне, полагая, что Сен-Жермена где-нибудь арестовали, как его двух товарищей. Аннетта горячо молилась, сожгла несколько восковых свечей, прося у Бога оставить этих людей на их теперешнем месте. Наши муки были продолжительны, минуты спокойствия, напротив, очень кратки: они предшествовали катастрофе, решившей судьбу моей жизни.

3 мая 1809 года, на рассвете, я был внезапно разбужен стуком во входную дверь моей лавки; я быстро сошел вниз, чтобы узнать, в чем дело, и уже намеревался снять засов, как вдруг услышал разговор вполголоса.

— Он малый здоровенный, — говорил один из них, — надо принять предосторожности!

Конечно, я более не сомневался в том, что значит этот ранний визит, и поспешно побежал

назад в свою комнату. Аннетта уже успела узнать об угрожавшей мне опасности; она открыла окно, и, пока начала разговор с полицейскими, я в одной рубашке лечу по черной лестнице в верхние этажи. Добравшись до четвертого, я осматриваюсь кругом — ни души, прислушиваюсь — я один-одинешенек. В углублении стены стоит кровать, прикрытая в виде полога обрывком полинялого малинового штофа. Убежденный, что лестница уже охраняется снизу, я прячусь под матрасы. Едва успел я примоститься, как в комнату кто-то входит, начинается разговор, я по голосу узнаю молодого мальчика, некоего Фоссэ, которого отец, по ремеслу медник, лежал в соседней комнате. Завязался следующий разговор.



Сцена первая

Отец, мать и сын.

Сын. Знаешь ли что, батюшка, ведь портного нашего ищут… арестовать хотят. Весь дом переполошился… Слышишь звонок… Вот, вот, теперь они позвонили к часовщику.

Мать. Ну и пускай себе звонят, тебе какое дело, не суй свой нос в чужие дела. (К мужу.) А ты изволь одеваться, того и гляди сюда прилезут.

Отец *(позевывая и, вероятно, протирая себе глаза)*. Черт бы их подрал! Чего они хотят от портного-то?

Сын. Уж этого я не знаю, только их там целая ватага: и полицейские, и жандармы, и комиссар с ними.

Отец. Может быть, из-за какого-нибудь вздора всю кашу заварили.

Мать. Ну чем он мог провиниться, этот портной?

Отец. Чем?.. А вот чем. Он сукном ведь торгует, так уж верно он товар английский продавал.

Мать. Ну что ты, морочить, что ли, меня вздумал, на смех, что ли, говоришь! Ну разве из-за этого стали бы арестовывать?

Отец. А ты думаешь, даром декретировали континентальную блокаду?

Сын. Папа, а что это такое — континентальная блокада, на воде она плавает или нет?..

Мать. В самом деле, объясни-ка нам в точности, что это значит?

Отец. Это вот что значит, что портного-то неравно заблокируют.

Мать. Боже мой! Ах он горемычный! Я уверена, его заграбастают… Такие разве бывают преступники? Кабы от меня зависело, так ни одного виновного не было бы. Мне кажется, я спрятала бы их всех в карман к себе.

Отец. А ведь он малый здоровенный, наш портной-то, верзила порядочный!

Мать. Все равно я спрятала бы его куда ни на есть. Пусть бы приходил сюда. Помнишь ты дезертира?..

Отец. Тсс… они идут сюда.

Сцена вторая

Те же, комиссар, жандармы, полицейские.

(В это время комиссар и его молодцы, обыскав весь дом сверху донизу, пришли наконец в четвертый этаж.)

Комиссар. А, дверь отворена. Прошу извинения, что тревожу вас, но видите ли, это в интересах общества… У вас сосед был ужаснейший злодей, способный убить отца с матерью.

Жена. Неужто мосье Видок?

Комиссар. Да-с, сударыня, *Видок,* и я прошу вас, в случае если вы или муж спрятали его, — тотчас его выдать.

Жена. Ах, господин комиссар, можете повсюду искать, если вам угодно… но чтобы мы дали убежище кому-нибудь… этого еще не бывало!..

Комиссар. Прежде всего я должен вам сказать, что это касается вас самих, закон чрезвычайно строг! Это статья, по которой он шутить не любит, и вы рискуете подвергнуться важной ответственности; за укрывательство приговоренного к уголовному наказанию вы несете…

Муж *(с живостью).* Мы ничего не боимся, гос-

подин комиссар.

Комиссар. Я знаю и вполне надеюсь на вас. Впрочем, чтобы ни в чем себя не упрекнуть впоследствии, вы мне позволите сделать здесь небольшой обыск, самый маленький, знаете, просто пустая формальность. *(Обращаясь к своей свите.)* Господа, выходы хорошо охранены?

После тщательного обыска во внутренних комнатах комиссар является в ту, где я спрятан.

— А в постели? — сказал он, приподнимая лоскут малинового штофа. Мои ноги почувствовали, как приподнимается один из углов матраса, который тотчас же снова опустился.

— Видока нет и следов, это верно. Он просто в невидимку превратился, — удивлялся комиссар.

Трудно себе представить, какое облегчение я почувствовал при этих словах. Наконец вся шайка блюстителей порядка удалилась, жена медника проводила их, осыпая любезностями, и я очутился один с семейством, состоявшим из мужа, жены, сына, их маленькой дочки, которые и не подозревали о моем присутствии.

Сцена третья

Муж, жена и сын.

Жена. Ох, господи, господи! Народу-то сколько на улице собралось… Славные они вещи говорят о мосье Видоке. Воображаю, чего тут не приплетут. Как бы то ни было, а во всем этом должна быть доля правды, недаром говорится, что нет дыма без огня… Уж я знаю, что он важный лентяй был, твой Видок-то: целый день сложа руки сидел.

Муж. И ты туда же лезешь со своими предположениями, вот какой у тебя ехидный язык… Одно слово, нам тут нечего мешаться, дело не наше… Положим даже, что нас это интересует, ну так что ж из этого? В чем его обвиняют, хотелось бы мне знать? Хоть я нелюбопытен…

Жена. Как подумаешь об этом, так просто волосы дыбом становятся. Тебе говорят, его обвиняют в убийстве. Послушал бы ты портного, что напротив живет.

Муж. Все это сплетни, зависть, соперничество по ремеслу.

Жена. А дворничиха, 27-й номер, так та рассказывает, что он каждый вечер переодетый куда-то уходил с толстой-претолстой палкой.

Муж. Ходи ты со своей дворничихой!

Жена. Да, и что он людей подкарауливал в Елисейских Полях.

Муж. Дурак он, что ли!

Жена. Дурак не дурак, а вот по-твоему, может быть, и кабатчик тоже дурак, а он рассказывает, что к портному все в гости приходили одни воры да разбойники и что с ним видели такие рожи, что беда.

Муж. Ну что ж, что рожи!

Жена. А потом комиссар сам сказал бакалейщику, что Видок бездельник и больше ничего. Хуже этого — он, говорят, великий преступник и правосудие никак не может ухитриться изловить его.

Муж. А ты и уши развесила. Ах ты, деревенщина! Верить комиссару… Меня так никто не уверит, что Видок негодяй, напротив, мне кажется, что он человек степенный и порядочный. Впрочем, это до нас не касается, будем думать о своей работе. Поздно уж становится… приниматься пора. Эй, вы, за работу живей!

Разговор этим окончился; отец, мать, и сын, и малютка — словом, все семейство Фоссэ уходит, я остаюсь один под замком, размышляя о коварстве полиции, которая, чтобы отнять у меня помощь и сочувствие соседей, старается

выдать меня за гнусного злодея. Часто мне случалось и потом встречать такую же тактику, успех которой основывается всегда на самой ужасной клевете; тактика эта возмутительна по своей несправедливости, неискусна потому, что производит часто действие, противоположное тому, которого от нее ожидают, так как в этом случае люди, которые охотно помогли бы арестовать вора, воздерживаются от этого, опасаясь борьбы или мести человека, сознающего ужас своего преступления и доведенного до отчаяния перспективой неминуемой виселицы. Прошло часа два с тех пор, как меня заперли; на улице и в доме было тихо, толпа рассеялась, я начинал приходить в себя, как вдруг самое смешное обстоятельство еще более усложнило мое положение. Я начал чувствовать резь в животе и ужасный позыв; не видя в комнате никакого подходящего сосуда, я был в ужасно затруднительном положении. Пошарив во всех углах, я наконец отыскал чугунный котелок… Слава богу, давно пора… Я открыл его и… едва успел окончить свое дело, как услыхал, что в замке повернулся ключ. Я поспешно покрыл котелок крышкой и снова беззвучно проскользнул в свое убежище. Входят мадам Фоссэ с дочерью. Вслед за ними являются

отец с мальчиком.

Сцена последняя

Отец, мать, дети и я.

Отец. Ну что ж, вчерашний суп еще не подогрет?

Мать. Еще войти не успел, как уже крик подымаешь, ставлю его, твой суп… с тобой всегда торопись, как на пожар.

Отец. А ты думаешь, дети-то не проголодались?

Мать. Ах, господи, да не разорваться же мне. Подождут и дети, делать нечего; лучше бы огонь раздул, вместо того чтобы ворчать.

Отец. Замерзла, что ли, твоя кастрюля?.. А, кажется, шуметь начинает, слышишь?

Мать. Слышать не слышу, а вот в нос бьет, так это так… Откуда бы это, что за притча?..

Отец. Это вчерашняя капуста… Уж не ты ли это? Франсуа смеется, пари держу, что это он…

Сын. Вот какой ты, папа, всех подозреваешь, кто и не виноват.

Отец. Это потому, видишь ли, что знаю, с кем имею дело, ты у меня в подозрении всегда состоишь. Господи, какая вонь! Послушай, ведь ты не в конюшне! *(Повышая голос.)* Слышишь, что я

говорю! *(Обращается к жене.)* Если это ты, так лучше сознайся.

Мать. Смешной же ты, право, ну что ты ко мне пристаешь. Вонь-то ведь не проходит.

Отец. Напротив, она делается все сильнее и сильнее.

Девочка. Мама, кипит уже!

Мать. Проклятая крышка. Я вся обожглась!

Все вместе. Боже, какая вонь!

Мать. Это просто зараза! Это невыносимо, Фоссэ, открой окно.

Отец. Полюбуйтесь, сударыня, это одна из штук вашего любезного сынка!

Сын. Клянусь, папа, что не я!

Отец. Молчать, дрянной лентяишка… доказательство, кажется, ясно… господину Франсуа лень подыматься на пятый этаж… Ножки, видите ли, устанут! Постой, я тебя проучу, другой раз знать у меня будешь! А, ты еще отпираться вздумал!..

Сын *(плачет)*. Но, папа…

Отец. Не рассуждать… видишь эту метлу, станешь у меня говорить, так сломаю ее об твою спину. Подойди-ка сюда, я тебе славную трепку задам… Слышишь, ступай сюда… А, ты еще не слушаться!..

Сын *(продолжает плакать)*. Ну, право же,

не я…

Отец. Врешь, ты на все способен, гадкий мальчишка.

Мать. Уж лучше признайся…

Отец. Нет, ему лучше нравится, чтобы я его отодрал здорово… ну и ладно, я не прочь. Жена, затвори окно, а то соседи…

Мать. Смотри ты, Франсуа, берегись, отец шутить не любит.

Сомнения быть не могло — экзекуция совершится. Я не колеблясь подымаю тюфяк, простыни, одеяло и, быстрым движением отбросив лохмотье малинового штофа, являюсь пораженному семейству, как будто из земли вырос. Мне не описать удивления этих добрых людей. Пока они переглядываются между собой молча, разинув рты, я рассказываю им в кратких словах, как я вошел к ним, как спрятался под тюфяк, как и т. д. Много было смеху по поводу истории с котлом; о сечении и думать забыли.

Муж и жена удивлялись, как я не задохся под матрасом; они искренно пожалели меня и с радушием, которое часто случается встречать среди простого народа, предложили мне подкрепиться и освежиться, в чем я сильно нуждался после такого беспокойного утра.

Конечно, я был на иголках, пока мое положение не сделается немного безопаснее. Пот лил с меня градом. В другое время я посмеялся бы над собой, но теперь мне было не до смеха. Убежденный в том, что я погиб, я мог бы ускорить роковую минуту. Поразмыслив о превратности судьбы и об изменчивости обстоятельств, я пришел к заключению, что часто случай разрушает все наши планы или дозволяет восторжествовать над самыми отчаянными положениями.

Судя по приему, оказанному мне семейством Фоссэ, я не имел причин опасаться измены, но все-таки я был не вполне спокоен — семейство это не наслаждалось благосостоянием. Очень может быть, что первый порыв сострадания и доброты, которому часто поддаются самые испорченные люди, заменится надеждой получить награду от полиции. Допуская даже, что мои хозяева честные люди, был ли я гарантирован против нескромности, болтливости? Не будучи одарен слишком большой дальновидностью, Фоссэ, однако, разгадал причину моих тайных опасений и спешил рассеять их уверениями, в искренности которых я не мог сомневаться.

Фоссэ принял на себя труд охранять мою безопасность; он начал с того, что навел справки и

на основании их сообщил мне, что полицейские агенты, убежденные, что я не вышел из квартала, водворились в доме и соседних улицах. Он уведомил меня также, что приготовляются сделать второй визит всем жильцам. Из всех этих сообщений я вывел заключение, что мне следует убраться поскорее, так как на этот раз будут обыскивать все квартиры основательно.

Семейство Фоссэ, как и большинство парижских рабочих, имело обыкновение ужинать в соседнем кабаке, куда приносило провизию. Мы условились, что я воспользуюсь случаем и выйду из дому вместе с ними. До ночи еще оставалось много времени; я успел принять свои меры. Прежде всего я позаботился уведомить о себе Аннетту. Фоссэ взялся передать поручение, но было бы неосторожно войти с ней в непосредственные сношения. Вот что он придумал: отправившись в улицу Граммон, он купил пирог и всунул в него следующую записку:

«Я в безопасности. Будь осторожна: не доверяйся никому. Не позволяй себя проводить обещаниями, которые никто не имеет ни намерения, ни возможности сдержать. Замкнись в самой себе и знай только слова: я не знаю. Притворись дурочкой, это лучшее средство доказать,

что ты умная женщина. Я не могу назначить тебе свидания, но когда выйдешь из дому — всегда иди по улице Сен-Мартен и по бульварам. Не оборачивайся назад, за остальное я ручаюсь».

Пирог, порученный комиссионеру из улицы Вандом и адресованный на имя мадам Видок, попал, как я и предвидел, в руки полиции, которая дозволила передать его по назначению, предварительно прочитав послание. Таким образом я достигнул двух целей зараз. Во-первых, я провел полицейских, убедив их, что я уже не нахожусь в квартале, а во-вторых, успокоил Аннетту, сообщив, что я вне опасности. Проделка удалась мне вполне; ободренный первым успехом, я несколько успокоился и стал собираться в путь. Немного денег, которые я случайно захватил с ночного столика, послужили мне на покупку панталон, чулок, обуви, блузы и синего бумажного колпака. Когда наступил час ужина, я вышел вместе со всем семейством, неся на голове громадное блюдо баранины с бобами, распространявшей аппетитный запах и объяснявшей всем и каждому цель нашей экскурсии. Тем не менее у меня дрогнуло сердце, когда я столкнулся лицом к лицу с одним полицейским, которого сначала не заметил, так как он был спрятан за углом.

— Задуйте свечу! — поспешно сказал он Фоссэ.

— Для чего? — спросил тот, нарочно взявший с собой свечу, чтобы не возбудить подозрения.

— Ну, не рассуждать! — крикнул агент и сам задул свечу.

Я охотно расцеловал бы его. В коридоре мы встретились с несколькими из его товарищей, которые из вежливости уступали нам дорогу. Наконец мы выбрались на чистый воздух. Едва успели мы обогнуть угол площади, как Фоссэ взял у меня блюдо и мы расстались. Чтобы не обращать на себя внимание, я сначала шел медленно до улицы Фонтэн; но там я уже перестал, как говорят, считать ворон, и пустился во всю прыть по направлению бульвара Тампль. Я достиг улицы Бонди, а все еще не задавал себе вопроса, куда я иду.

Между тем недостаточно было избавиться благополучно от первого преследования, полиция могла возобновить розыски. Для меня важно было сбить с толку полицию, многочисленные сыщики которой, по обыкновению, бросят все другие дела и займутся исключительно мной. В этом критическом положении я решился употребить в свою пользу людей, известных мне за доносчиков. Это было семейство Шевалье,

которое я видел накануне и которое при разговоре выдало себя несколькими словами, смысл которых я сообразил уже после. Убедившись, что мне нечего церемониться с этими негодяями, я решился отомстить им, принудив их по мере возможности вернуть несправедливо захваченное ими. Я заключил с ними с самого начала молчаливое соглашение, они первые нарушили договор, они сделали зло, и я намерен был наказать их за это, что они не распознали своих интересов.

От бульвара до улицы Echiquier было недалеко; я как бомба влетел в квартиру Шевалье, он был поражен, увидев меня свободным; это удивление подтвердило мои подозрения. Шевалье придумал какой-то предлог, чтобы выйти. Но, заперев дверь и положив ключ в карман, я схватил столовый нож и объявил своему тестю, что если он только осмелится крикнуть — то пусть распростится с жизнью. Угроза произвела ошеломляющее действие; этот народ хорошо знал меня, знал, на что я был способен в припадке отчаяния. Женщины сидели неподвижно, ни живы ни мертвы. Сам Шевалье, ошеломленный, уничтоженный, спросил меня едва слышным голосом, чего я от него хочу.

— А вот узнаешь, — ответил я.

Во-первых, я потребовал полную пару платья, которой я снабдил его месяц тому назад; он возвратил ее; кроме того, я велел дать себе шляпу, сапоги, рубашку. Все эти вещи были куплены на мои средства, и это было лишь возвращение по принадлежности. Шевалье исполнил мои требования, не прекословя. Я по глазам его видел, что он замышляет какой-то план, может быть, он нашел средство дать знать соседям, что он тяготится моим присутствием: благоразумие заставило меня подумать о своей безопасности на случай ночного обыска. Окно, выходившее в сад, было снабжено двумя железными перекладинами; я велел Шевалье вынуть одну из них, и так как он повиновался крайне неохотно, то я сам принялся за дело, и он даже не заметил, как нож перешел в его руки. Когда я окончил дело, я снова схватил свое оружие.

— Теперь, — сказал я, обращаясь к нему и к испуганным женщинам, — ступайте спать.

Что касается меня, то мне было не до сна; я бросился на стул и провел на нем самую ужасную ночь. Все превратности, испытанные мной в жизни, промелькнули в моем соображении; я не сомневался в том, что надо мной тяготеет

проклятие, напрасно я бежал от порока, порок нагонял меня, и какая-то роковая сила, которой я противился со всею энергией своего характера, как будто издевалась надо мной, разрушая все мои планы и постоянно подвергая меня ужасным треволнениям.

На рассвете я разбудил Шевалье и спросил его, есть ли у него деньги. На его ответ, что у него только несколько серебряных монет, я велел ему тотчас же взять четыре серебряных прибора, недавно подаренных ему мною же, и, захватив вид на жительство, последовать за мною. Собственно говоря, я в нем не нуждался, но было бы опасно оставить его дома, он мог дать знать полиции и направить ее на мои следы, прежде нежели я успел принять предосторожности. Шевалье повиновался. Женщин я не так опасался, так как я уводил с собою драгоценный залог и так как они не совсем разделяли чувства последнего, поэтому я удовольствовался тем, что запер их, уходя; пробираясь по самым пустынным улицам Парижа, мы дошли до Елисейских Полей. Было около четырех часов утра, мы не встретили ни души. Я взялся нести серебро, отнюдь не желая поручать его своему товарищу; мне необходимо было уйти от него без ущерба для себя, в случае

если он заартачится или окажется непокорным. К счастью, он повиновался мне во всем; впрочем, со мной был ужасный нож, и Шевалье был убежден, что при малейшем его движении я не поколеблюсь вонзить ему в сердце страшное орудие. Эта боязнь, которую он ощущал тем более, что сознавал за собой грешок, была полезна для меня, и я был вполне уверен в нем.

Мы долго прогуливались по окрестностям Шальо; Шевалье, который не мог подозревать, чем все это кончится, машинально следовал за мной; он был уничтожен и как бы поражен идиотизмом. Часов в восемь я заставил его сесть в наемную карету и довез его до Булонского леса, где он от своего имени, в моем присутствии, заложил принесенное мной серебро; за него ему дали сто франков. Я взял эту сумму, довольный тем, что снова вернул гуртом то, что он вытянул от меня по мелочам. Я вместе с ним снова сел в фиакр и велел остановиться на площади Конкорд. Там я вышел из экипажа, сообщив ему следующую инструкцию: «Помни, что тебе следует быть более скрытным и осторожным, нежели когда-либо; если меня заарестуют, по чьей бы то ни было вине, то ты у меня берегись». Кучеру я приказал везти его во всю прыть в улицу Echiquier, № 23;

чтобы быть уверенным, что он не поедет в другое место, я внимательно наблюдал за ним некоторое время, после этого я в кабриолете отправился к тряпичнику; тот дал мне полный костюм рабочего взамен моего платья. В этой новой одежде я направился в Инвалидный дом, с намерением осведомиться, есть ли возможность приобрести там инвалидный мундир.

Какой-то старец на костыле, к которому я обратился с расспросами, указал мне на торговца платьем в улице Сен-Доминик; у него я нашел что желал. Купец был, как я заметил, страшный болтун от природы.

— Я не любопытен, — поспешил он заявить (обычное предисловие для всех нескромных вопросов), — но, мне кажется, у вас, слава богу, все члены целы; полагаю, что мундир не для вас.

— Извините, — ответил я, — для меня.

И когда мой купец пришел в удивление, я объяснил ему, что буду участвовать в спектакле.

— В какой пьесе, позвольте спросить?

— В «Сыновней любви».

Окончив торг, я тотчас же отправился в Басси и у одного знакомого, в преданности которого я был уверен, поспешил привести в исполнение свой план. В пять минут я превратился в самого ис-

калеченного инвалида; одна рука, притянутая к груди и прикрепленная к торсу ремнем и поясом от панталон, совершенно исчезла, так что и признаков ее не было. Несколько тряпок, всунутых в верхнюю часть рукава, оконечность которого прикреплялась к передней части мундира, как нельзя вернее изображали собою обрубок руки и довершали иллюзию. Черная помада, которой я окрасил свои волосы и бакенбарды, делала меня окончательно неузнаваемым. В этом костюме я был уверен, что мне не только удастся провести чутье наблюдательных аргусов из улицы Иерусалима, но что меня не узнает решительно никто, поэтому я нашел возможность в тот же вечер показаться в квартале Сен-Мартен. Я узнал, что полиция не только продолжала занимать мою квартиру, но и сделала перепись всех товаров и утвари. Снуя между агентами, ходившими взад и вперед, легко было убедиться, что поиски продолжались деятельнее прежнего, с усердием, необычайным в те времена, когда бдительная администрация не слишком-то усердствовала, если дело касалось не политических преступлений. Испуганный таким упорным преследованием, другой на моем месте счел бы благоразумным немедленно удалиться из Парижа, по крайней

мере на время. Конечно, было бы весьма удобно переждать бурю где-нибудь в провинции; но я не мог решиться покинуть Аннетту среди треволнений, которым она подвергалась из любви ко мне. Ей много пришлось выстрадать из-за меня, она двадцать дней провела в заключении в префектуре, откуда ее наконец выпустили с угрозой посадить в Сен-Лазар, если она не согласится указать, где я скрываюсь. Аннетта ни за что не произнесла бы ни слова, даже если бы к ней пристали с ножом к горлу. Можете судить, что я чувствовал, сознавая ее в таком бедственном положении; я не мог освободить ее, и, как только это от меня зависело, я поспешил ей на помощь. Кстати, один из моих друзей, который мне был должен несколько сот франков, отдал мне долг; я попросил его передать ей часть этой суммы, и в полной надежде, что ее заключение скоро окончится, так как вся вина ее состояла в том, что она жила с беглым каторжником, я приготовился выехать из Парижа, предполагая, на случай если она не будет выпущена на волю до моего отъезда, позднее уведомить ее, куда я направился.

Я жил в улице Тиктон, у кожевника по имени Буен, который за известную плату согласился взять на себя паспорт и уступить его мне. Опи-

сание его наружности в паспорте совершенно подходило ко мне: как и я же, он был белокур, имел голубые глаза, румяное лицо, и, по странному стечению обстоятельств, на его верхней губе с правой стороны ясно обозначался небольшой шрам. Только ростом он был немного ниже меня, но чтобы казаться повыше, в тот день, когда комиссар должен был мерить его, он предполагал положить колоды две-три карт в сапоги. Буен действительно прибегнул к этой уловке, и хотя я обладал странной способностью уменьшать свой рост, когда мне угодно, на четыре — на пять пальцев, но мне не приходилось бы этого делать при осмотре. Завладев документом, я уже радовался, что поставил себя в безопасность, как вдруг Буен (у которого я жил всего неделю) доверил мне тайну, которая привела меня в ужас: оказалось, что человек этот давно занимался фабрикацией фальшивой монеты, и, чтобы дать мне образчик своего искусства, он при мне отчеканил пятифранковую монету, которую жена его сбыла в тот же день. Легко представить себе, как подействовала на меня тайна Буена.

Во-первых, я вывел из всего этого заключение, что того и гляди его паспорт окажется плохой рекомендацией для меня в глазах жандармов, —

ясно, что благодаря своему плохому ремеслу Буен рано или поздно попадется и будет привлечен к ответственности. Дело было рискованное, и мне вовсе не предстояло никакой выгоды быть принятым за него. Но это еще не все: ввиду страшной подозрительности, которую всегда внушает судьям и общественному мнению всякий беглый каторжник, очень могло случиться, что если Буен будет обвиняться как фальшивый монетчик, то и меня, естественно, будут считать его сообщником. Правосудие так часто заблуждалось! Уж раз осужденный совершенно безвинно, мог ли я ручаться, что то же самое не случится во второй раз? Преступление, которое мне вменили совершенно несправедливо, признав меня виновным в подлоге, подходило под категорию преступлений, которые совершал Буен. Я уже видел себя изнемогающим под тяжестью улик и подозрений до такой степени убедительных, что мой защитник, стыдясь защищать меня, сочтет нужным ходатайствовать для меня о снисхождении и милосердии судей. Мне чудилось, что я слышу произнесение смертного приговора. Моя тревога, мои опасения удвоились, когда я узнал, что у Буена есть сообщник: это был лекарь, некто Террье, который часто приходил к нему в дом. У этого человека было ли-

цо висельника; один взгляд на эту физиономию способен был поставить на ноги всю полицию; не зная его, я был уверен, что, проследив за ним, невозможно не открыть какого-нибудь преступления или покушения. Словом, он был плохой вывеской для всякого, кто показался бы с ним где бы то ни было. Убежденный, что его посещения могут иметь печальные последствия для всех нас, я посоветовал Буену бросить ремесло, столь опасное для всякого, кто им занимается; но никакие резоны не могли убедить его, все, что я мог от него добиться, — это прекратить свое опасное ремесло, по крайней мере на то время, пока я у него; это однако не помешало мне на другой же день застать его за фабрикацией своих монет. Тогда я счел нужным обратиться к его сообщнику: я в самых ярких красках изобразил ему опасности, которым они добровольно подвергались. «Я вижу, — насмешливо ответил мне доктор, — что вы просто-напросто мокрая курица. Ну если бы даже нас и открыли — так что ж из этого? И без нас мало ли кувыркались на Гревской площади; да и к тому же мы вовсе до этого и не дойдем; слава богу, вот уж пятнадцать лет, как я спускаю свои франковики, а никто и не подозревает хоть что-нибудь за мной нехорошее. Будем жить, пока

живется. Впрочем, любезнейший, — прибавил он сердито, — я посоветовал бы вам не совать нос в чужие дела».

Разговор принимал такой оборот, что я счел излишним продолжать его и решился лучше держать ухо востро. Более нежели когда-либо я чувствовал необходимость как можно скорее покинуть Париж. Это было во вторник; мне хотелось уехать на другой день; но, получив уведомление, что Аннетта будет выпущена на свободу в конце недели, я решился отложить свой отъезд до ее освобождения. Но в пятницу, часов около трех, я вдруг услышал легкий стук во входную дверь. Поздний час, осторожность, с которой постучали, — словом, все возбудило во мне предчувствие, что пришли меня арестовать.



Ни слова не сказав Буену, я вышел на площадку лестницы, стремглав взлетел наверх, схватился за водосточную трубу, влез на крышу и приютился позади трубы.

Мои предчувствия не обманули меня; в одну минуту весь дом наполнился полицейскими агентами, которые обшарили все углы. Удивленные

тем, что не нашли меня, и догадавшись по моей одежде, которая тут же лежала на помятой постели, что я бежал в одной рубашке, вследствие чего не мог далеко убежать, они вывели заключение, что я, должно быть, скрылся не обычным путем. За неимением жандармов, которых можно было бы послать на поиски за мной, призвали кровельщиков, которые обыскали всю крышу; я был открыт и схвачен, не имея возможности сопротивляться, так как дело происходило на крыше и единственное средство спастись было бы попытать сальто-мортале с опасностью сломать шею. Арест мой произошел весьма обыкновенно; меня привели в префектуру, где г-н Анри подвергнул меня допросу. Он отлично помнил о предложении, сделанном мною несколько месяцев тому назад, и поэтому обещал мне, по мере своих сил, смягчить мое положение. Несмотря на это, меня все-таки препроводили в Форс, а оттуда и в Бисетр, где я должен был ожидать следующего отправления арестантской партии.

Глава двадцать первая

Мне предлагают бежать. – Новая попытка перед г-ном Анри. – Моя сделка с полицией. – Коко-Лакур. – Шайка воров. – Инспектор под замком. – Неудавшееся бегство

Я начинал чувствовать отвращение к побегам и к той свободе, которую они доставляли; мне вовсе не хотелось вернуться в галеры, но, во всяком случае, я уже предпочитал жить в Тулоне, нежели жить в Париже и подчиняться таким негодяям, как Шевалье, Блонди, Дюлюк, Сен-Жермен и подобные им молодцы. Поразмыслив, я решил, что придется примириться со своей судьбой, как вдруг некоторые из галерников (народ, с которым я имел случай слишком хорошо познакомиться) предложили мне помочь им в их попытке удрать через двор «добрых бедняков». В другое время этот план пришелся бы мне по душе; я не отверг его, но отнесся к нему критически как человек опытный, знакомый с почвой, желая сохранить за собой то обаяние, ту репутацию, которые приобрел благодаря своим действительным успехам

или тем подвигам, которые мне приписывали. Я знал, что если живешь среди мошенников, то всегда выгодно слыть между ними за самого отчаянного, самого отъявленного и ловкого злодея: такова была моя репутация, прочно установившаяся. Всюду, где только собиралось четыре арестанта, непременно трое из них слышали обо мне. Со времени существования галерников не было ни одного подвига, которого бы не связали с моим именем. Я был среди них генералом, которому приписывали все подвиги его солдат: конечно, при этом не могли упомянуть о крепостях, которые я взял приступом, но не было ни одного такого тюремщика, бдительность которого я не обманул бы, ни таких оков, которые я не расторгнул бы, ни такой стены, которую мне не удалось бы пробить. Я также славился своим мужеством и искусством, и существовало мнение, что я способен пожертвовать собою в случае надобности. В Бресте, в Тулоне, в Рошфоре, в Антверпене, — словом, повсюду я пользовался среди мошенников славой самого ловкого и хитрого негодяя. Самые испорченные добивались моей дружбы, думая, что они все-таки могут от меня кое-чему научиться, а новички с разинутыми ртами слушали каждое мое слово, как поучение,

которым можно воспользоваться впоследствии.



В Бисетре у меня был просто придворный штат, как у какого-нибудь царька; вокруг моей особы толпились арестанты, слушали меня, как оракула, осыпали угождениями. Но теперь вся эта тюремная слава опостылела мне; чем более я приобретал способность читать в душе преступников, чем более они обнаруживались мне во всей наготе порока, тем более я жалел общество, в среде которого могло существовать такое низкое отребье. Я уже более не ощущал того чувства товарищества по несчастью, которое в былое время одушевляло меня; горький опыт — опыт, приобретенный целыми годами, — внушал мне потребность отделиться от этих разбойников, которых я презирал до глубины души. Решившись во что бы то ни стало вооружиться против них в интересах честных людей, я снова написал г-ну Анри, вторично предлагая ему свои услуги, без иного условия, кроме освобождения от каторги, обещая высидеть свой срок в какой бы то ни было тюрьме.

Из моего письма так ясно было видно, какого рода сведения я мог доставить, что г-н Анри был поражен им. Одно соображение останавливало его — это пример многих лиц, обвиняемых или осужденных, обязавшихся направить по-

лицию куда следует, но доставивших весьма незначительные и маловажные сведения или же настигнутых на месте преступления. На это веское возражение я привел причину моего обвинения[9], добросовестность моего поведения всякий раз, как я вырывался на свободу, настойчивость моих стараний зарабатывать честным путем насущный хлеб; наконец, я предъявил свою корреспонденцию, свои счетные книги, я призывал в свидетели всех людей, с которыми имел деловые сношения, и в особенности моих кредиторов, чувствовавших ко мне полное доверие.

Упомянутые мною обстоятельства сильно говорили в мою пользу; г-н Анри представил мою просьбу префекту полиции Пакье, который ре-

---

[9] Примечания: 9

В числе представленных мною документов я привожу следующий, так как в нем излагаются мотивы моего осуждения и в то же время он представляет доказательство заступничества в мою пользу генерального прокурора Росона во время моего последнего заключения в Дуэ.

Дуэ, 20 января 1809 г.

Генеральный императорский прокурор уголовного суда Северного департамента.

Сим свидетельствую, что названный Видок был приговорен 7-го нивоза пятого года на восемь лет заключения за подделку приказа о выпуске на волю.

Дознано, что Видок содержался за нарушение дисциплины или другой какой-либо военный проступок и что подлог, в силу которого он осужден, не имел иной цели, как содействовать побегу одного из товарищей по заключению.

Генеральный прокурор заявляет, кроме того, на основании добытых им сведений, что Видок бежал из места заключения в то время, как его намеревались перевести в галеры; его поймали; затем он снова бежал и снова был пойман. Генеральный прокурор Росон имел честь писать г. министру юстиции и испросить его совета по вопросу, может ли быть принят в расчет срок, истекший со времени осуждения Видока и его вторичного заарестования, для того, чтобы смягчить его наказание.

Первое письмо было оставлено без ответа; г. Росон обратился к г. министру вторично, и Видок, истолковывая молчание последнего в неблагоприятном для себя смысле, снова бежал.

Генеральный прокурор не имеет возможности представить всех этих писем, так как бумага и документы его предшественника г. Росона были взяты его семейством, которое отказывается возвратить их прокурорскому надзору.

шил, что мое ходатайство будет принято. После двухмесячного пребывания в Бисетре я был переведен в Форс. Чтобы избавить меня от всяких подозрений, среди арестантов распространили нарочно слух, будто я замешан в весьма скверное дело и что немедленно приступят к следствию. Эта предосторожность, соединенная с моей репутацией, еще более увеличила мою популярность. Ни один заключенный не посмел сомневаться в том, что я действительно попался в скверном деле. Про меня шепотом говорили: «это эскарп» (убийца), а так как в том месте, где я находился, убийца обыкновенно внушает большое доверие, то я и не подумал опровергать это заблуждение, полезное для моих планов. Тогда я был далек от предположения, что обман, который я допускал добровольно, мог с течением времени перейти в уверенность, и теперь, когда я пишу свои записки, мне нелишне будет сказать, что я никогда не был виновен в убийстве. С тех пор как обо мне стали говорить в публике, столько появлялось нелепых слухов и толков на мой счет! Каких только не выдумывали ужасов люди, заинтересованные в том, чтобы прославить меня низким злодеем! То будто бы я был заклеймен и приговорен к каторжным работам пожизненно; то будто бы

меня спасли от гильотины только под условием выдавать полиции известное число преступников в месяц, и если только недоставало одного, то сделка оказывалась недействительной, — поэтому-то, за неимением действительных виновных, я выдавал даже невинных, какие мне попадутся под руку. Дошли даже до того, что обвинили меня, будто я в одной кофейне сунул серебряный прибор в карман одного студента! Позднее я буду иметь случай возвращаться к этим клеветам, в некоторых главах я выясню средства, употребляемые полицией, ее действия, ее тайны, — словом, все, что мне удалось узнать.



Принятое мною обязательство вовсе не было так легко выполнить, как, может быть, думают. В действительности я знал множество преступников, но изведенное всякого рода излишествами, ужасным тюремным режимом, нищетой — это гнусное поколение выродилось с замечательной быстротой; другое поколение было на сцене, и я не знал даже имени лиц, входивших в состав его. В то время множество воров эксплуатировали столицу, но мне невозможно было бы доставить хотя малейшее сведение о главных из них; только моя давнишняя репутация могла дать мне возможность получать сведения об этих бедуинах нашей современной цивилизации.

В Форс не являлось ни одного вора, который не поспешил бы добиваться моего знакомства; если бы даже он никогда не видел меня, то старался, из самолюбия и чтобы придать себе известный шик в глазах товарищей, показать вид, будто он был когда-то в хороших отношениях со мною. Я льстил этому странному самолюбию; этим путем я незаметно прокрался на почву открытий; сведения явились в изобилии, и я не встретил более никаких препятствий для выполнения своей задачи.

Чтобы дать понятие о влиянии, которым я

пользовался на арестантов, мне достаточно будет сказать, что я по своей воле и усмотрению прививал к ним свои воззрения, свои привязанности, склонности, привычки — они думали моим умом, клялись моим именем: если им приходилось невзлюбить за что-нибудь одного из наших товарищей по заключению, потому что они считали его за *барана,* мне стоило только замолвить за него слово — и, конечно, его репутация была восстановлена. Я в одно и то же время был могущественным покровителем и поручителем в искренности его, если она находилась под сомнением. Первый, на котором мне пришлось испытать свою силу, был один молодой человек, обвиняемый в том, что служил полиции в качестве агента. Утверждали, что он состоял на жалованье у генерального инспектора Вейра, и прибавляли, что однажды, явившись с рапортом к своему начальству, он украл серебро из корзины. Обокрасть инспектора, это еще не беда, напротив того, — но отправиться с доносом!.. Таково было громадное преступление, в котором обвиняли Коко-Лакура, в настоящее время моего преемника. Выслушивая угрозы и ругань со всех сторон, притесняемый, гонимый всеми и каждым, не осмеливаясь и носа показать

во двор, он, наверное, окончил бы скверно, если бы в этом печальном положении не прибегнул к моей помощи и покровительству. Чтобы расположить меня в свою пользу, он начал поверять мне различные тайны, из которых я сумел извлечь выгоду. Во-первых, я употребил все свое влияние, чтобы примирить его с товарищами и заставить их отказаться от планов мести, — сослужить ему бóльшую службу было бы невозможно.

Отчасти из чувства благодарности, отчасти из желания высказаться, он более ничего не скрывал от меня. Однажды, вернувшись от судебного следователя, он сказал мне:

— Черт возьми, мне везет счастье; ни один из истцов не узнал меня; впрочем, я еще не считаю себя спасенным; есть на свете один дуралей-дворник, чтоб ему пусто было, у которого я стащил серебряные часы; я долго разговаривал с ним, и мои черты, верно, врезались в его памяти; если его вызовут, то мне несдобровать на очной ставке, — эти черти-дворники — физиономисты.

Замечание это было справедливо; но я, со своей стороны, заметил Коко, что невероятно было бы отыскать этого человека, а сам он никогда не явится, если уже не явился сегодня. Чтобы утвердить в нем это мнение, я стал говорить ему

о беспечности и лени некоторых людей, которые не любят с места двинуться. Мои слова побудили Коко сообщить мне квартал, в котором жил владелец часов; если бы он указал мне улицу и нумер дома, мне не оставалось бы желать ничего более. Но я не решился требовать таких подробных сведений, это могло бы изменить мне. К тому же данные для следствия были достаточны: я сообщил их г-ну Анри, который поднял на ноги своих сыщиков. Результат поисков был таков, какого я ожидал: дворника отыскали и Коко при очной ставке был признан виновным. Суд приговорил его к тюремному заключению на два года.

В это время в Париже существовала шайка беглых каторжников, ежедневно совершавших кражи и грабежи вполне безнаказанно; не было никакой возможности положить предел их разбою. Многие из них неоднократно бывали заарестованы и потом выпущены на волю за недостатком улик. Упорно отрицая свою вину, они долгое время насмехались над правосудием, которое не могло ни уличить их на месте преступления, ни представить против них веских доказательств; чтобы накрыть их, необходимо было знать их местожительство, а это было почти невозможно — они так искусно прятались, что

никому не удавалось напасть на их следы. В числе этих личностей был некто Франс, прозванный Тормелем, который, прибыв в Форс, первым своим долгом счел обратиться ко мне с просьбой дать ему десять франков для игры в пистоль; я поспешил удовлетворить его просьбу. С этих пор он постоянно подходил ко мне и, тронутый моей щедростью, не колеблясь доверился мне вполне. Во время своего арестования ему удалось утаить от зоркого глаза полицейских агентов два билета в тысячу франков каждый; он отдал их мне на хранение с просьбой выдавать ему из этой суммы по мере надобности.

— Ты меня не знаешь, — сказал он мне, — а билеты служат ручательством; я их доверяю тебе, зная, что они в твоих руках будут безопаснее, нежели в моих; позднее мы разменяем их; теперь слишком рано и показалось бы подозрительным, лучше подождать.

Я вполне согласился с мнением Франса и по его желанию обещал ему быть его банкиром — я не рисковал ничем.

Арестованный за кражу со взломом из лавки торговца зонтиками в пассаже Фейдо, Франс был несколько раз подвергнут допросу, но всякий раз настойчиво объявлял, что не имеет постоянно-

го местожительства. Между тем полиция была уведомлена, что местожительство он имеет, и она была тем более заинтересована узнать его, что уверена была найти в нем все воровские инструменты и склад краденых вещей. Это было бы открытием первой важности, тогда имели бы в руках вещественные доказательства. Г-н Анри дал мне знать, что он рассчитывает на меня для достижения этого результата. Я стал действовать в этом направлении и узнал, что во время своего ареста Франс занимал на углу улицы Монмартр и Нотр-дам-де-Виктуар меблированное помещение, нанятое на имя одной женщины, Жозефины Бертран, известной укрывательством воров.

Эти сведения были вполне достоверны; но трудно было воспользоваться ими, не скомпрометировав себя перед Франсом, который открыл свои тайны одному только мне и поэтому тотчас же мог заподозрить меня в измене; впрочем, это мне удалось, и он так далек был от всяких подозрений на мой счет, что часто поверял мне свою тревогу и беспокойство по мере того, как проводился в исполнение план, насчет которого я согласился с г-ном Анри. Впрочем, полиция устроила дело так, как будто ее действиями руководила одна случайность. Вот как она взялась

за дело.

Она вошла в сношения с одним из жильцов того дома, где жил Франс; тот обратил внимание домохозяина на то, что около трех недель незаметно было никакого движения в квартире мадам Бертран, это подавало повод ко всевозможным предположениям. Вспомнили о каком-то господине, который обыкновенно приходил и уходил из этой квартиры; стали удивляться, отчего его более не встречают, заговорили об его отсутствии, таинственное слово «исчезновение» было произнесено; отсюда вытекла необходимость предупредить комиссара, затем началось следствие в присутствии свидетелей и открытие множества краденых вещей в квартале, наконец, конфискование инструментов, употребленных при кражах. Оставалось только узнать, куда девалась Жозефина Бертран; отправились к лицам, которых она назначила для получения справок, когда приходила нанимать квартиру, но все было тщетно — узнали только то, что некая девица Ламбер, занявшая ее квартиру, была арестована, и так как она была известна за любовницу Франса, то из этого вывели заключение, что они, вероятно, жили вместе. Франс был приведен в квартал и узнан всеми соседями. Хотя он наста-

ивал на том, что это не более как ошибка, но присяжные решили иначе, и он был приговорен к тюремному заключению на восемь лет.

Достаточно было схватить и уличить Франса, чтобы напасть на следы его сообщников; главные из них были Фоссар и Леганьер. Ими нетрудно было бы овладеть, но они ускользнули от преследований благодаря неловкости и трусости агентов. Первый из них был человек тем более опасный, что он в совершенстве обладал искусством подделывать ключи. В течение целых пятнадцати месяцев он водил за нос полицию, как вдруг однажды я случайно узнал, что он живет у одного парикмахера в улице Тампль, против водосточной канавы. Арестовать его в ином месте было бы вещью почти невозможною, так как он был необыкновенно искусен в наблюдении и узнавал агента полиции по чутью шагов за двести. С другой стороны, лучше было бы схватить его среди всей обстановки и принадлежностей его ремесла и среди плодов его труда. Но экспедиция была сопряжена с большими препятствиями. Когда стучали в его дверь, Фоссар имел обыкновение не отвечать, и весьма вероятно было, что он устроил себе лазейку, чтобы пробраться на крышу в случае надобности. Мне

казалось, что единственное средство захватить его — это воспользоваться его отсутствием, чтобы проскользнуть в его квартиру и устроить там засаду. Г. Анри согласился со мной. Отомкнули замок двери в присутствии комиссара, и трое полицейских разместились в комнатке, смежной с альковом. Прошло семьдесят два часа, а никто и не думал показаться; в конце третьего дня все запасы агентов истощились и они уже решились уйти, как вдруг услышали звук отпиравшейся двери — Фоссар вернулся домой. Агенты мгновенно выскочили из своего убежища и бросились на него; но Фоссар, вооружившись ножом, позабытым ими на столе, так сильно перепугал их, что они сами отворили дверь, затворенную их товарищем. Фоссар, заперев их в свою очередь, спокойно сошел с лестницы, оставив агентов составлять на досуге доклад, в котором было изложено все, за исключением эпизода с ножом, о котором они остерегались упоминать. Впоследствии увидят, как им в 1814 году удалось арестовать Фоссара. Подробности этой экспедиции составляют одну из самых интересных страниц моего рассказа. До препровождения в Консьержери Франс, не переставший верить в мою искреннюю преданность, рекомендовал мне

своего закадычного друга — беглого каторжника Леганьера, арестованного в улице Мортельери в ту минуту, когда он совершал кражу с помощью поддельных ключей. Этот человек, лишенный всяких средств к существованию арестом своего товарища, задумал вернуть деньги, доверенные им на сохранение одному укрывателю в улице Сен-Доминик в Гро-Калью. Поручение было возложено на Аннетту, усердно навещавшую меня в Форсе и часто весьма ловко помогавшую мне в моих поисках; но или по недоверчивости, или же по желанию присвоить себе сумму, оставленную на хранение, — укрыватель очень дурно встретил поручительницу, и так как она настаивала, то он стал угрожать ей арестом. Аннетта пришла к нам и объявила о неудаче своей попытки. При этом известии Леганьер решился было выдать укрывателя, но это был только первый порыв гнева. Успокоившись, Леганьер счел более удобным отсрочить выполнение своей мести и в особенности извлечь из нее побольше выгоды для себя. «Если я донесу, — сказал он, — то я не только ничего не получу, но может даже случиться, что за ним не найдут никакой вины. Нет, уж лучше подождать немного, тогда я сумею его заставить петь (тянуть деньги)». Леганьер, потеряв

надежду на укрывателя, написал к двум своим сообщникам, Маргери и Виктору Дебуа — ворам, пользующимся известной славой в Париже. Убежденный в известной истине, что маленькие подарки всегда поддерживают дружбу, взамен помощи, которой он от них ожидал, он послал им несколько отпечатков замков, добытых им для собственного употребления. Леганьер еще раз прибегнул к помощи Аннетты; она отыскала обоих негодяев в улице Де-Пон, в отвратительной мансарде, куда они никогда не показывались, не приняв предварительно всех мер предосторожности. Аннетта, которой я наказал употребить все свои старания, чтобы разузнать, где находится их действительное местожительство, догадалась не терять их из виду. В продолжение двух дней она следовала за ними по пятам, переодевшись в различные костюмы; на третий день она удостоверилась, что они ночуют в переулке Сен-Жан, в доме, имеющем выход в сад. Г-н Анри, которому я не преминул сообщить об этом обстоятельстве, принял все меры, требуемые свойством местности, но агенты оказались такими же трусами и такими же неловкими, как при аресте Фоссара. Мошенники скрылись в саду, и только позднее их удалось захватить в улице Сен-Гиансет Сен-

Мишель.

На место Леганьера, в свою очередь отведенного в Консьержери, в моей комнате был помещен сын одного версальского виноторговца, Робен, который, имея связи со всеми плутами столицы, в разговоре со мной сообщил мне драгоценные сведения об их прежнем образе жизни, их настоящем положении и планах на будущее. Благодаря ему я накрыл беглого каторжника Мардаржана, который был обвиняем только в дезертирстве. Этого молодца приговорили к заключению на 24 года. Он долго жил на каторге; при помощи общих воспоминаний мы скоро свели знакомство; он не ошибся, полагая, что я рад буду встретить старинных товарищей по несчастью; он указал мне многих в числе заключенных, и мне посчастливилось удержать в галерах много субъектов, которых правосудие, за неимением достаточных улик, может быть, снова допустило бы в общество. Никогда еще не было сделано столько важных открытий, как те, которые ознаменовали мой дебют в службе при полиции. Едва я успел попасть в администрацию, как уже принес большую пользу для безопасности столицы и даже всей Франции. Рассказывать все мои подвиги — было бы злоупотреблять терпением читателя, но,

однако, я не желал бы обойти молчанием приключение, случившееся за несколько месяцев до моего выхода из тюрьмы.

Однажды после обеда на дворе послышался шум; происходила ожесточенная драка на кулачках. В такой час дня это было происшествие весьма обыкновенное, но на этот раз оно возбудило всеобщее удивление, так как дело шло о поединке между двумя закадычными друзьями. Всем было известно, что оба противника, Блиньон и Шарпантье, названный Шанталером, жили в преступной интимности, которую не может оправдать самое строгое заключение. Между ними произошла жестокая стычка; утверждали, что их разъединила ревность. Как бы то ни было, когда драка окончилась, Шанталер, разбитый и уничтоженный, пошел в шинок, чтобы примочить ушибы водкой. В это время я играл в пикет. Шанталер, раздраженный своим поражением, выходил из себя от гнева; от водки, которой примачивали его раны и которую он потом лил себе в рот, сам того не замечая, его разобрало еще более, и он почувствовал потребность излить свою душу.

— Друг мой, — сказал он, обращаясь ко мне, — ведь ты мой друг, не правда ли?.. Видишь, как

прекрасно отделал меня эта сволочь Блиньон? Но клянусь, ему не поздоровится!..

— Брось ты все это, наплевать тебе на него, да и к тому же он ведь сильнее тебя. Уж не хочешь ли ты поплатиться костями во второй раз?

— О, я вовсе не то хочу сказать, ты меня не понимаешь. Стоит мне только захотеть, и он уж никого больше бить не станет, ни меня, ни другого кого. Мы знаем, что знаем.

— Ну что же ты знаешь? — воскликнул я, пораженный таинственным тоном, которым он произнес эти последние слова.

— Да, да, — продолжал Шанталер, все более и более оживляясь и приходя в пафос, — он меня вывел из себя, так я же ему дам знать себя. Стоит мне словечко вымолвить, и он будет подкошен (гильотинирован).

— Да ну, молчи лучше, — сказал я, делая вид, будто я не верю его словам, — все вы на один покрой: когда на кого-нибудь разозлитесь, то вам кажется, что довольно вам дунуть разок-другой, чтобы голова его свалилась с плеч долой.

— Ты думаешь? — закричал Шанталер, стукнув кулаком по столу. — А если бы я сказал тебе, что он женщину укокошил?

— Потише, потише, Шанталер, — увещевал я,

закрывая ему рот рукой. — Ты знаешь, в Лорсефе (Форс) стены имеют уши. Не годится ябедить на товарища.

— Что ты мне толкуешь о ябеде! — возразил он, все более и более раздражаясь по мере того, как я делал вид, что хочу помешать ему проболтаться. — Тебе говорят — от меня зависит, чтобы с ним сделался новый припадок трясучки (открыть новый факт обвинения).

— Все это прекрасно, — ответил я спокойно, — но чтобы привлечь человека на хлебный поднос (привлечь к суду) — надо доказательства, доказательства прежде всего.

— Доказательства! Разве их может не быть у булочника (черта)! Послушай-ка… ты ведь знаешь торговку червяками для рыбы в конце моста Нотр-Дам?

— Прежняя *людоедка* (женщина, дающая вещи напрокат публичным женщинам), любовница Шатонэ, жена горбуна?

— Ну да, та самая. Так вот, месяца три тому назад мы с Блиньоном спокойно покуривали и попивали водку в шинке на улице Планш-Мибрэ, как она вдруг пришла к нам. «Неподалеку отсюда, в улице Соннери — *жирно,* — сказала она, — в двух шагах всего! Вы у меня добрые малые, го-

лубчики, так и быть, я уж вам доверю кое-что. Вот видите ли, это старуха, которая каждый день получает много денег для разных лиц; вот уж два дня, как у нее пятнадцать или двадцать тысяч франков наличными, золотом или билетами. Она часто приходит в полумеркоть (ночью), и хорошо бы перерезать ей глотку на реке, забравши филиппчики (золото)». Сначала мы и слышать не хотели об этом предложении, — мы черной работой (убийством) не занимаемся; но эта проклятая торговка так нам надоела, повторяя, что там *жирно* (много денег) и что вовсе не беда *оглушить* (убить) старую женщину, что мы наконец поддались ее увещаниям. Условлено было, что торговка даст нам знать, когда наступит удобная минута приняться за дело. Мне досадно было, что я втюрился в это дело; знаешь ведь, когда нет привычки к делу, так всегда неловко себя чувствуешь. Как бы то ни было, все было уже подготовлено, как вдруг на другой день мы встретились около Севра с Вуавенелем в обществе другого *приятеля* (вора). Блиньон рассказал им наше дело, высказывая, однако, свое отвращение к убийству. Они предложили помочь нам, если мы от этого не прочь. «Охотно, — ответил Блиньон, — если там есть довольно для двух, так и

на четырех хватит». Решено было, что они будут в одной с нами *пряди* (сообщничестве). С этой минуты товарищ Вуавенеля ходил за нами по пятам, он жаждал наступления роковой минуты. Наконец торговка предупредила нас; это было 30 декабря, на дворе стоял густой туман. «Ну, сегодня...» — сказал Блиньон. Хотите верьте, хотите нет, а клянусь честью мошенника, что мне сильно не хотелось идти туда; но, увлекаемый товарищами, я последовал за старухой вместе с другими, и вечером, когда она, покончив свои дела, выходила от хозяина наемных карет Руссе, мы с ней и того... Друг Вуавенеля пырнул ее ножом, а Блиньон, схватив ее за мантилью, держал сзади; один я не вмешивался в дело, но я слышал и видел все, они меня поставили на сторожку, и я знаю достаточно, чтобы *подкосит*ь эту сволочь, Блиньона.

Шанталер в подробностях, с замечательным цинизмом и равнодушием, рассказал мне все обстоятельства, сопровождавшие убийство. Я до конца выслушал отвратительный рассказ, делая над собою невероятные усилия, чтобы скрыть свое негодование; каждое его слово способно было привести в ужас самого закоснелого, самого нечувствительного человека. Когда злодей окон-

чил свое повествование о последней агонии и предсмертных судорогах несчастной жертвы, я снова просил его не губить своего друга Блиньона; но своими увещаниями я подливал масла в огонь, который я как бы старался затушить. Мне хотелось заставить Шанталера хладнокровно, по собственной воле, разоблачить властям ужасное открытие, сделанное им в порыве гнева и мести. Кроме того, я желал доставить правосудию вещественные улики, с помощью которых можно было бы накрыть убийц. Может быть, думал я, Шанталер рассказал мне небылицу, выдуманную под влиянием мести. Как бы то ни было, я сделал г-ну Анри донос, в котором изложил свои сомнения, и скоро он уведомил меня, что преступление, о котором я заявил ему, к несчастью, было сущей правдой. В то же время Анри просил меня собрать точные сведения о всех обстоятельствах, предшествовавших и сопровождавших убийство. На другой же день я расставил свои сети. Трудно было бы арестовать сообщников так, чтобы они не догадались, откуда на них обрушилась беда; в этом деле, как и во многих других, мне помог случай. Наступило утро, я пошел будить Шанталера, который после вчерашнего погрома был еще болен и не мог встать. Я сел на его постель и

рассказал ему, как накануне он был мертвецки пьян и натолковал с три короба разного вздору. Упрек этот, казалось, удивил его; я повторил ему отрывки из нашего разговора — его удивление удвоилось. Он стал клясться и уверять меня, что никогда он подобного не говорил и говорить не мог, и уже не знаю, действительно ли он потерял память или просто не доверял мне, но он стал уверять меня, что он окончательно позабыл все, что произошло накануне. Лгал он или нет, а я все-таки с жадностью схватился за эти уверения и сказал Шанталеру, что он не только поведал мне под видом тайны все подробности убийства, но и прокричал их громко в шинке, в присутствии многих заключенных, которые все так же слышали, как и я.

— Ах я злополучный, — сказал он, повесив голову и с видом глубокого отчаяния, — что я наделал! Теперь как мне отсюда выпутаться?

— Ничего нет легче, — ответил я, — если тебя станут расспрашивать о вчерашней сцене, ты и скажи: я был пьян, господа, а когда я пьян, я на все способен; в особенности если на кого зол, тогда бог весть что наплету.

Шанталер принял мой совет за чистую монету. В тот же день один из арестантов, прозванный

Чижиком и слывущий за *барана,* был отведен в префектуру полиции: это было как нельзя более кстати. Я поспешил сообщить это Шанталеру, прибавив, что Чижика перевели только в надежде, что он сделает разоблачения. Он был поражен и сконфужен этим известием.

— А был он там, в кабаке? — поспешно спросил он.

Я сказал, что не помню и не обратил внимания. Тогда он откровенно доверил мне свою тревогу, и я получил от него новые сведения, которые поспешил тотчас же сообщить г-ну Анри. Вскоре благодаря моим указаниям все сообщники преступления были привлечены к ответственности, в том числе торговка и ее муж. И те и другие были заключены в секретную; Блиньон и Шанталер — в новое здание, торговка с мужем, Вуавенель и четвертый убийца — в Форс, где они оставались очень долго. Я навел на их следы, началось разбирательство, которое не привело ни к чему, потому что неискусно было начато в самом начале. Обвиняемые были оправданы.

Пребывание мое в Бисетре и в Форсе продолжалось двадцать один месяц; в этот промежуток времени не прошло ни одного дня, чтобы я не оказал существенной пользы. Мне кажется, я

мог бы быть *бараном* на веки вечные, так мало подозревали мои сношения с полицией. Сами консьержи и аргусы не подозревали моей миссии. Обожаемый ворами, пользуясь уважением самых отъявленных бандитов, — так как этим людям также знакомо чувство уважения, — я мог всегда рассчитывать на их преданность и поддержку. Все они для меня готовы были идти в огонь и воду. В доказательство этого скажу, что в Бисетре некто Мардаржан несколько раз дрался с заключенными, осмелившимися сказать, что я вышел из Форса, чтобы служить полиции. Кока-Лакур и Горо, заключенные в моей же тюрьме как неисправимые воры, с такой же энергией и великодушием вступались за меня. Тогда, может быть, они имели основание платить мне неблагодарностью — ведь я их так же мало щадил, как и других, но теперь они вполне заслуживают моей благодарности, так как они более, нежели сами думали, способствовали пользе, которую я приносил обществу своими услугами.

Г-н Анри не преминул сообщить префекту полиции о многочисленных разоблачениях, сделанных благодаря моему усердию и смышленности. Этот чиновник, считая меня за человека, на которого можно положиться, согласился на-

конец положить предел моему заключению. Были приняты все меры, чтобы арестанты не подумали, что я нарочно выпущен на свободу. За мною пришли в Форс и увели оттуда, не упустив из виду ни одной предосторожности. На меня надели наручники и посадили в плетеную тележку; однако условлено было, что я убегу дорогой, что я, конечно, и исполнил. В тот же вечер вся полиция была поставлена на ноги. Этот побег наделал много шуму, в особенности в Форсе, где друзья мои долго праздновали мое освобождение веселыми попойками: они пили за мое здоровье и желали мне счастливого пути!..

Глава двадцать вторая

Г-н Анри прозван «Злым гением». – Берто и Паризо. – Несколько слов о полиции. – Моя первая поимка

Имена барона Пакье и г-на Анри никогда не изгладятся из моей памяти. Эти великодушные люди были моим Провидением! Как многим я был обязан им! Они возвратили мне жизнь, если не более. Для них я готов был подвергнуть себя тысяче опасностей, и мне поверят, если я скажу, что часто я рисковал собою, чтобы добиться от них ласкового взгляда, одного слова похвалы. Наконец-то я дышу, я двигаюсь свободно; мне более нечего опасаться: сделавшись тайным агентом, у меня явились священные обязанности, в которые посвятил меня достойный г-н Анри, — в его собственно руках находилась обязанность блюсти безопасность в столице. Круг моих действий ограничивался предупреждением преступлений, открытием преступников, выдачей их в руки правосудия. Задача была нелегкая. Г-н Анри взял на себя труд руководить первыми моими шага-

ми; он устранил для меня много затруднений, и только благодаря его советам и урокам мне удалось впоследствии приобрести известность в полиции.

Одаренный хладнокровным, сосредоточенным характером, г-н Анри в высшей степени обладал наблюдательной способностью, тем тактом, благодаря которому можно распознать преступление под видом невинности. Он был одарен обширной памятью и изумительной зоркостью, — ничто не ускользало от него. К довершению всего он был замечательным физиономистом. Мошенники называли его Сатаной или Злым гением, и он во многих отношениях заслуживал это название — в нем соединялась необыкновенная кротость с хитростью. Редко случалось, чтобы важный преступник выходил от него, не признавшись в своем преступлении или не доставив помимо своей воли каких-нибудь веских улик. У г-на Анри был известный инстинкт, который помогал ему раскрывать истину, это была врожденная способность, которая не всякому дается. Его приемы не всегда были одинаковы, они менялись, сообразуясь с обстоятельствами. Никто более него не был предан своему делу; он, как говорится, погрузился в него по горло — в каждый час дня и ночи он

был к услугам общества. Тогда не существовало порядка приходить в канцелярию в двенадцать часов и проводить в ожидании целых полдня, как это делается теперь. Страстно привязанный к своему делу, он не боялся усталости; поэтому-то после тридцатипятилетней службы он подал в отставку, удрученный болезнями. Часто мой начальник проводил целые ночи, обдумывая инструкции, которые намерен был дать мне, и соображая средства быстрого предупреждения всевозможных преступлений. Серьезные болезни даже не могли прервать его трудов, — тогда он занимался, не выходя из своего кабинета. Словом, это был человек каких мало. Одно имя его заставляло содрогаться преступников; приведенные к нему на допрос, они почти всегда смущались и путались в ответах; все они были убеждены, что он читал в их душе. Мне часто случалось замечать в жизни, что способные люди никогда не остаются одни и всегда находят себе помощников, может быть в силу старинной пословицы: «Каков поп, таков и приход». Уж не знаю, но Анри имел сотрудников, достойных его. В числе их был некто Берто, весьма искусный следователь. Он обладал особенным уменьем схватывать суть дела, какое бы оно ни было: его трофеями были бумаги пре-

фектуры. Упомяну, кстати, о начальнике тюрем Паризо, который весьма удачно помогал Берто и заменял его. Словом, гг. Анри, Берто и Паризо образовали настоящий триумвират, который беспрерывно вел подкопы под мошенников. Они задались благородной целью искоренить разбой, доставив населению великого города полную безопасность, — и результаты их деятельности вполне соответствовали их надеждам и ожиданиям. Правда, что в это время между начальниками полиции существовала полная откровенность, согласие и единодушие, которые исчезли с течением времени. В настоящее время начальники и чиновники относятся друг к другу с недоверчивостью и подозрением, все опасаются друг друга — между ними непрерывная вражда. Всякий смотрит на своего собрата, как на доносчика, словом, нет и тени согласия между органами администрации. Откуда это происходит? Уж не оттого ли, что не существует более тесного разграничения между кругом действия каждого должностного лица, не оттого ли, что все, начиная с высших властей, не на своем месте? Обыкновенно при вступлении в должность сам префект совершенно чужд полиции и поступает, так сказать, в учение в качестве высшего санов-

ника. За собою он тянет целую свиту клевретов и протеже, самые лучшие из них отличаются полным отсутствием самостоятельности и каких-либо выдающихся качеств; за неимением лучшего дела они льстят своему покровителю и не допускают, чтобы до него доходила истина. Таким образом, под тем или другим начальством я видел, как организовалась или, вернее, расстраивалась полиция. Всякое перемещение или новое назначение префекта вводило в нее целую толпу неумелых новичков и, напротив, удаляло многих опытных деятелей.

Позднее я буду иметь случай упомянуть о последствиях этих перемен, вызываемых одною лишь необходимостью доставлять содержание креатурам первого пришельца. А пока я снова берусь за нить прерванного рассказа.

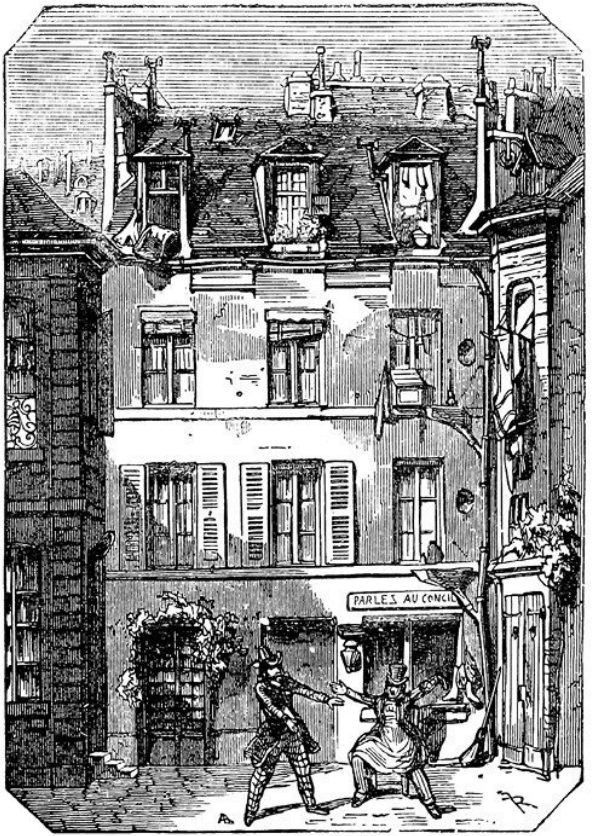
Как только я вступил в должность сыщика, я стал усердно рыскать по городу, чтобы иметь возможность работать с пользой. Мои экскурсии заняли у меня около 22 дней, в продолжение которых я приготовлялся к действию и изучал почву. В одно утро меня призвал к себе начальник дивизии: требовалось отыскать некоего Ватрена, обвиняемого в подделке монеты и банковых билетов. Ватрен уже раз был заарестован

инспекторами полиции, но, по обыкновению, они не сумели устеречь его. Анри дал им все надлежащие указания, чтобы навести меня на следы; к несчастью, указания эти были не более как одни данные о его старинных привычках. Все места, которые он посещал, были мне указаны, но невероятно было, что он скоро туда вернется, так как в его положении благоразумие предписывало ему избегать тех мест, где его знали. Поэтому мне оставалась одна надежда — добраться до него окольными путями, как вдруг я узнал, что он оставил свои вещи в меблированном доме на бульваре Монпарнас, где жил прежде. Предполагали, что рано или поздно он непременно явится, чтобы потребовать их, или, по крайней мере, вытребует их через посредство кого-нибудь другого — это также было мое мнение. Приняв это за исходную точку своих поисков и узнав, где находится этот дом, я устроился в засаде и сторожил там неустанно день и ночь всех входящих и выходящих. Мои наблюдения продолжались уже целую неделю; наконец, утомленный и раздосадованный, я задумал взять в сообщники домовладельца и нанять у него квартиру, где я и поселился с Аннеттой, присутствие которой могло устранить все подозрения. Я уже

находился на этом посту недели с две, как вдруг однажды вечером меня уведомляют, что Ватрен явился в квартиру в сопровождении какой-то другой личности. Чувствуя себя не совсем здоровым, я лег раньше обыкновенного; при этом известии я быстро вскакиваю, схожу с лестницы почти бегом, но как я ни был быстр, однако мог догнать только товарища Ватрена. Я не имел права арестовать его, но предчувствовал, что, напугав его, я могу добиться от него кое-каких сведений. Я схватываю его, осыпаю угрозами, и он спешит признаться мне, дрожа всем телом, что он башмачник и что Ватрен живет с ним в улице Mauvais Garsons, № 4. Более мне ничего не нужно. Впопыхах я успел надеть только старый сюртук поверх рубашки, но беспорядок в туалете не остановил меня. Не переменяя платья, я лечу по сообщенному мне адресу и прибегаю в дом в то именно время, когда кто-то выходит из дверей. Убежденный, что это Ватрен, я бегу за ним, он ловким ударом в грудь отбрасывает меня ступеней на двадцать вниз. Я приподымаюсь и снова бросаюсь на него с такой быстротой, что он вынужден войти к себе, не иначе как пробив оконное стекло; тогда я стучу в дверь и требую, чтобы он отворил мне. Он отказывается. Аннетте

(последовавшей за мной в моей экспедиции) я отдал распоряжение пойти за стражей и сам сделал вид, что схожу с лестницы, подражая шагам сходящего вниз человека. Ватрен, обманутый моей уловкой, хочет удостовериться, действительно ли я ушел, и просовывает голову в окно. Мне только этого и было нужно: я схватываю его за волосы, он меня также, между нами завязывается отчаянная борьба. Судорожно держась за разделявшую нас стену, он яростно сопротивляется мне, но я чувствую, что силы его понемногу ослабевают. Я со своей стороны собираюсь с духом для последнего нападения; уже только ноги его остаются в комнате — еще одно последнее усилие, и он в моей власти. Я тяну с отчаянной силой, и он падает плашмя в коридор. Вырвать у него револьвер, которым он был вооружен, связать его и повлечь на улицу — это было для меня делом одной минуты. В сопровождении одной только Аннетты я отвожу его к префектуру, где, во-первых, получаю поздравления г-на Анри, а потом выслушиваю похвалу префекта полиции, который, кроме того, подносит мне денежное вознаграждение. Ватрен был человек редкой ловкости, он занимался грубым ремеслом, а между тем посвятил себя подлогам и подделкам, требующим большой

тонкости в отделке и ловкости пальцев. Он был приговорен к смертной казни, но ему была дарована отсрочка в ту минуту, когда его уже привели на место казни; эшафот был уже сооружен, и любители, собравшиеся смотреть на интересное зрелище, принуждены были убраться восвояси, обманувшись в своих ожиданиях. Весь Париж помнит об этом случае. Распространился слух, что от него ожидают важных разоблачений, но так как он не хотел или не имел ничего открыть, то через несколько дней смертный приговор был приведен в исполнение.


PARLES AU CONCI

Ватрен был первым лицом, которым мне удалось завладеть; он был важный преступник. Успех моего первого дела возбудил зависть блюстителей порядка и их подчиненных; озлобленные моей удачей, они набросились на меня. Они никак не могли простить мне, что я ловчее их; начальники же, напротив, были очень довольны мной. Я удвоил ревность, чтобы все более и более овладеть расположением и доверием последних.

Около этого времени множество пятифранковых фальшивых монет было пущено в обращение. Мне показали несколько из этих монет. Рассматривая их, мне показалось, что я узнал в них руку моего доносчика — Буена и его друга, доктора Терье. Я решился удостовериться в истине и поэтому стал зорко наблюдать за малейшими действиями этих двух негодяев. Но так как я не имел возможности слишком близко следить за ними, потому что они знали меня в лицо и я мог им внушить недоверие, то мне чрезвычайно трудно было собрать надлежащие сведения. Впрочем, с помощью настойчивости и терпения я наконец уверился в том, что действительно не ошибся, и оба фальшивых монетчика были схвачены на месте преступления. В народе шел говор, что

доктор Терье был вовлечен в преступление мною же самим; но пусть читатель вспомнит ответ, который он сделал мне, когда я пытался у Буена уговорить его отказаться от преступного ремесла, и тогда убедится, был ли Терье такой человек, которого можно было бы совратить с пути.

Глава двадцать третья

Я снова вижусь с Сен-Жерменом. – Он предлагает мне убить двух стариков. – Внучек Картуша. – Агенты, подстрекающие на преступления. – Аннетта еще раз помогает мне. – Покушение на кражу у банкира в улице Отвиль. – Я «убит». – Арест Сен-Жермена и его сообщника Будена

В такой многолюдной столице, как Париж, обыкновенно много дурных притонов, где происходят свидания мошенников. Чтобы чаще иметь случаи видеть их и наблюдать за ними, я усердно посещал места, пользующиеся дурной славой, являясь туда то под своим именем, то под чужим, часто изменяя одежду, как человек, желающий избегнуть полицейского надзора. Все воры и мошенники, которых я встречал зачастую, поклялись бы, что я принадлежу к их сословию. Убежденные, что я из беглых, они бог знает что готовы были бы сделать, чтобы спасти меня, так как не только питали ко мне полное доверие, но и любили меня. Они поверяли мне свои планы и

не предлагали мне присоединиться к ним только из боязни скомпрометировать меня в качестве беглого каторжника. Но не все были настолько деликатны, как увидят ниже.

Несколько месяцев прошло с тех пор, как я посвятил себя своей деятельности, как вдруг судьба свела меня снова с Сен-Жерменом, посещения которого так часто приводили меня в отчаяние в былое время. Он был с одним человеком, прозванным Буденом, которого я знал еще трактирщиком в улице Прувер. Буден тотчас же узнал меня; он подошел ко мне с такой фамильярностью, что я вначале не счел нужным отвечать.

— Что я вам сделал дурного, — сказал он, — что вы воротите от меня физиономию и говорить со мной не хотите?

— Нет, но я узнал, что вы были полицейским шпионом.

— Только-то, ну так что ж из этого. Был действительно шпионом; но, если бы вы узнали, как все это случилось, вы не стали бы пенять на меня.

— Он правду говорит, — обратился ко мне Сен-Жермен, — мы не станем на него пенять: Буден добрый малый, и я за него отвечаю, как за самого себя. В жизни так часто встречаются разные оказии, братец мой, что и предвидеть их трудно.

Если Буден и принял место, о котором ты говоришь, так это для того, чтоб спасти брата, — не иначе. К тому же ты должен знать, что если б у него были дурные наклонности, то он не был бы моим другом.

Я нашел эту гарантию превосходной и более не стал стесняться говорить при Будене.

Сен-Жермен, конечно, рассказал мне, что он делал и как поживал с того времени, когда доставлял мне такое удовольствие своими посещениями. Он поздравил меня с моим побегом и сообщил мне, что с тех пор, как я был арестован, он снова принялся за свое ремесло, но вскоре опять лишился всего и принужден был прибегнуть к побочным средствам. Я попросил его рассказать мне кое-что о Блонди и Дюлюке.

— Подкошены они, друзья мои сердечные, подкошены в Бове! — воскликнул он.

Узнав о казни этих двух злодеев, которых наконец постигла кара за их преступления, я почувствовал при этом сожаление, что голова их сообщника не попала вместе с ними на плаху.

Опорожнив вместе несколько бутылок вина, мы расстались. Уходя, Сен-Жермен, заметив, что я одет довольно плохо, спросил меня, чем я занимаюсь, и когда я сказал ему, что ничего не делаю,

он обещал подумать обо мне, если представится хороший, выгодный случай. Я заметил ему, что выхожу редко, из боязни быть арестованным, и поэтому мы, может быть, долго не встретимся.

— Когда хочешь, можно видеть меня, — сказал он, — я даже требую, чтобы ты пришел.

Он дал мне свой адрес, не поинтересовавшись узнать мой.

Сен-Жермен не был более опасным для меня, и я даже был заинтересован в том, чтобы не упускать его из виду; если моя обязанность состояла в наблюдении за преступниками, то вряд ли нашелся бы кто другой, более достойный моего внимания. Я надеялся избавить общество от этого чудовища. А тем временем я вел войну со всеми мошенниками и плутами, наводнявшими столицу. Настало время, когда воровство и грабеж размножились до невероятия, — только и слышно было об украденных решетках, о выставленных окнах, о кражах со взломом; более двадцати фонарных столбов были последовательно украдены один за другим с площади Фонтенбло, и никто не мог поймать виновников преступления. В продолжение целого месяца инспектора употребляли тщетные усилия накрыть их на месте преступления, и, как назло, в первую ночь, когда они ослабили свой

надзор, фонари снова были унесены — это был как бы вызов полиции. Я принял его на свой счет и, к пущей досаде аргусов Quai du Nord, в короткое время успел предать в руки правосудия дерзких воров, которые все были отправлены в галеры. Один из них назывался *Картушем*. Не знаю, было ли это влияние знаменитого имени, или он унаследовал дар от своего семейства (может быть, он был потомком знаменитого Картуша?), уж не знаю, благодаря чему — но он был необыкновенно искусен в своем ремесле. Предоставляю генеалогам решить вопрос.

Ежедневно я делал новые открытия; в тюрьмы поступали только те люди, которые были захвачены по моим указаниям, а между тем ни один из них даже и в мысли не имел, что заключен по моей милости. Я так хорошо улаживал свои дела, что не обнаружилось никаких признаков моих действий. Знакомые со мной воры считали меня лучшим из товарищей, остальные почитали за счастие посвящать меня в свои тайны, отчасти ради удовольствия поговорить со мной, отчасти, чтобы попросить моего совета. Однажды, когда я бродил по бульварам, ко мне подошел Сен-Жермен в сообществе с Буденом. Они пригласили меня отобедать, я согласился, и за десертом они

сделали мне несказанную честь, предложив участвовать третьим лицом в убийстве. Дело шло о том, чтобы спровадить на тот свет двух стариков, живших вместе в доме, где поселился Буден, в улице Прувер. Содрогаясь от ужаса и негодования при рассказе этих злодеев, я в душе благословлял Провидение, которое привело их ко мне. Вначале я колебался присоединиться к заговору, но в конце концов сделал вид, что уступаю их настоятельным просьбам, и между нами было условлено выждать благоприятного момента для выполнения ужасного плана. Приняв это решение, я распростился с Сен-Жерменом и его товарищем и, желая во что бы то ни стало предупредить преступление, поспешил донести обо всем г-ну Анри, который призвал меня к себе и расспросил о всех подробностях относительно разоблачения, которое я ему сделал. Он желал удостовериться, действительно ли меня уговаривали совершить преступление, или же в порыве излишнего усердия я прибегнул к преднамеренному подстрекательству. Я поклялся ему, что в этом случае инициатива была не с моей стороны; он убедился тоном искренности, с которым я произнес эти слова, и объявил мне, что он доверяет мне, что не помешало ему произнести мне

наставление по поводу агентов-подстрекателей; слова его проникли в глубину души моей. Как желал бы я, чтобы их слышали те презренные, которые со времени Реставрации погубили столько жертв. Если бы они проникнись речью моего достойного начальника, то, наверное, возрождающаяся эпоха легитимизма не напомнила бы кровавых дней иной эпохи!..

— Помните, — сказал мне в заключение г-н Анри, — что подстрекатель — величайший бич современного общества. Если нет подстрекателей, то преступления совершаются людьми сильными, потому что замышляются ими. Слабые существа могут быть увлечены, совращены; чтобы свернуть их в пропасть, стоит только найти слабую струну их страстей или их самолюбия, но тот, кто пользуется этими средствами, чтобы погубить их, — тот чудовище порока! Он один виновен, его одного должен был бы поразить меч правосудия. В полиции, — прибавил он, — лучше ничего не делать, нежели самому создавать себе дело.

Хотя я не имел надобности в этом уроке, но я поблагодарил г-на Анри, который велел мне следить по пятам за обоими убийцами и ничего не щадить, чтобы предать их правосудию.

— Полиция, — прибавил он, — учреждена настолько же с целью карать преступников, насколько для того, чтобы предупреждать злодеяния, и всегда лучше подоспеть ранее.

Согласно инструкциям, полученным мною от г-на Анри, я не пропускал ни одного дня, чтобы не повидаться с Сен-Жерменом и его другом Буденом. Так как замышляемое ими злодейство должно было доставить им изрядное количество денег, то я заключил из этого, что мне следует проявить некоторое нетерпение, для пущей естественности.

— Ну что же, когда пресловутое дело? — говорил я всякий раз, как мы виделись.

— Когда? — отвечал мне Сен-Жермен. — Груша-то еще неспела; когда настанет пора, тебя предупредит вот он. — Он указывал на Будена.

Уже несколько свиданий прошло, а еще дело не решалось. Я опять повторил свой обычный вопрос.

— А на этот раз, — сказал Сен-Жермен с довольным видом, — на этот раз могу тебя утешить — назавтра! Мы ищем тебя, чтоб сговориться.

Свидание было назначено за городом, я не преминул явиться. Сен-Жермен оказался таким же аккуратным.

— Послушай, — сказал он, — мы рассудили и нашли, что то дело, о котором мы тебе говорили, теперь исполниться не может, но у нас есть другое, только предупреждаю тебя заранее, что тут нужна откровенность и прямой ответ: да или нет. Прежде всего я тебе скажу, что нам сообщили сегодня: некто Карье, который знал тебя в Форсе, уверяет, что тебя выпустили только с условием служить при полиции и что ты состоишь тайным агентом.

При слове «тайный агент» я почувствовал, что задыхаюсь, но тотчас же оправился, и, вероятно, по виду ничего не было заметно, потому что Сен-Жермен, пристально наблюдавший за мной, потребовал, чтобы я объяснился. Моя находчивость и присутствие духа, не покидающие меня ни на минуту, подсказали мне ответ.

— Ничего нет удивительного, — ответил я, — что меня считают тайным агентом: я знаю, откуда эта сплетня могла возникнуть. Ты ведь знаешь, что меня должны были перевести в Бисетр. Дорогой я бежал и остался жить в Париже, не зная, куда идти. Надо жить, где есть средство к жизни. К несчастью, я принужден скрываться; благодаря постоянным переодеваньям я избегаю поисков, но всегда есть лица, которые узнают меня, на-

пример те, с которыми я имел близкие сношения. Между ними найдутся и такие, которые, отчасти чтобы повредить мне, отчасти от корысти, считают долгом заарестовать меня. Ну вот, чтобы заставить их отказаться от этого желания, я и говорил им, что состою при полиции, всякий раз, как они намеревались выдать меня.

— Вот это дело, — сказал Сен-Жермен, — верю тебе, дружище, и, чтобы дать тебе доказательство своего доверия, я скажу тебе, какое дельце нам предстоит сегодня вечером. На углу улицы Ангиен и Отвиль живет один банкир; дом его выходит в большой сад, который может помочь нашей экспедиции и способствовать нашему бегству. Сегодня банкира не будет дома, а кассу, в которой хранится много золота и серебра, стерегут всего двое молодцов. Вот мы и решили завладеть денежками сегодня же вечером. До сих пор нас уже трое для этого дела, ты будешь четвертым. Мы на тебя рассчитываем. Если откажешься, так подтвердишь наши подозрения и мы подумаем, что ты действительно шпион.

Не подозревая никакой задней мысли, я с готовностью принял предложение; Буден и он были мной довольны. Скоро пришел и третий, которого я не знал. Его звали Дебенн, и он был отец

семейства, а злодеи склоняли его на преступление. Что касается меня, то я уже в уме составил план, как накрыть их за делом, но каково было мое удивление, когда, заплатив за выпивку, Сен-Жермен обратился к нам с речью: «Друзья мои, когда ставишь на карту свою голову, надо быть осмотрительным. Сегодня нам предстоит дело, которого я не желал бы проиграть; чтобы шансы были на нашей стороне, вот что я придумал и надеюсь, что вы со мной согласитесь. Дело вот в чем: около полуночи мы все четверо должны войти в дом. Буден и я — мы берем на себя обделать дельце, а вы оба останетесь в саду и в случае надобности поможете нам. Надеюсь, что если дело нам удастся, то нам перепадет кое-что и мы проживем хотя некоторое время без забот. Но ради нашей взаимной безопасности нам не надо расставаться до того времени, пока не настанет решительная минута».

Последние слова эти, которые, я притворился, будто не слышу, были повторены еще раз. «Ну уж теперь, — подумал я, — не знаю, как мне выпутаться из беды! Какое средство пустить в ход?» Сен-Жермен был человек редкой смелости, жадный к деньгам и всегда готовый пролить кровь, лишь бы раздобыть золота. Было всего десять

часов утра, до полуночи оставалось времени вдоволь; я надеялся, что представится в этот промежуток какой-нибудь случай ловко ускользнуть и предупредить полицию. Как бы то ни было, я согласился на предложение Сен-Жермена и не сделал ни малейшего возражения на предосторожность, которая была самой лучшей гарантией взаимной нашей скромности. Увидев, что мы с ним вполне согласны, Сен-Жермен, который по своей энергии и сообразительности был настоящим предводителем заговора, выразил нам свое удовольствие.

— Очень рад, — сказал он, — что вы одного со мной мнения, со своей стороны я сделаю все, что могу, чтобы заслужить вашу дружбу.

Мы условились все вместе пойти к нему, в улицу Сент-Антуан; извозчик довез нас до места. Приехав туда, мы отправились наверх в его комнату, где он должен был держать нас взаперти до решительной минуты. Заключенный в четырех стенах с двумя разбойниками, я ума не мог приложить, как бы мне улизнуть: придумать предлог, чтобы выйти, не было никакой возможности. Сен-Жермен заподозрил бы меня тотчас же и способен был бы пустить мне пулю в лоб. Что делать? Я покорился своей судьбе и решился ждать,

что будет. Самое лучшее было помогать им в приготовлениях к преступлению. На столе были положены пистолеты, их осмотрели, разрядили, снова зарядили, одну пару Сен-Жермен нашел негодной к употреблению и отложил в сторону.

— Пока вы тут заряжаете их, я пойду переменю эти свиные ноги.

— Постой-ка, — заметил я, — по нашему условию никто не может выйти отсюда без провожатого.

— Твоя правда, — ответил он, — люблю, когда кто верен своим обязательствам. Пойдем со мной в таком случае.

— А эти господа?

— Мы запрем их на двойной запор.

Сказано — сделано. Я пошел с Сен-Жерменом. Мы купили пуль и пороху, плохие пистолеты были обменены на другие — получше, и мы вернулись домой. Затем окончились приготовления, при которых я содрогался от ужаса. Спокойствие Будена, точившего о брусок два кухонных ножа, было действительно ужасно.

Между тем время шло; было уже около часу, а мне не представлялось никакой надежды на спасение. Я зеваю, притворяюсь усталым, потягиваюсь, скучаю и, отправившись в соседнюю

комнату, бросаюсь на постель, как будто с намерением отдохнуть. Через несколько минут я снова появился с таким же утомленным видом, остальные собеседники так же раскисли, как и я.

— А что, если бы нам выпить? — предложил Сен-Жермен.

— Превосходная мысль! — воскликнул я, подпрыгнув от удовольствия. — Кстати, у меня есть корзина превосходного бургундского: если хотите, пошлемте за ним.

Все согласились со мной, что лучше ничего нельзя было придумать, и Сен-Жермен послал своего дворника к Аннетте, которую просили прийти с угощением. Условились ни о чем не проговариваться при ней; пока мои собеседники предвкушали предстоящее наслаждение, я снова бросился на кровать и наскоро написал карандашом на клочке бумаги: «Когда выйдешь отсюда, переоденься и следуй за нами по пятам; берегись быть замеченной. Постарайся в особенности проследить, что я брошу на пол, и снеси это *туда*». Несмотря на краткость, инструкция эта была достаточна — Аннетта уже не раз получала распоряжения в таком роде, и я был уверен, что и на этот раз она поймет их смысл.

Она не замедлила появиться с корзинкой в

руках. Приход ее рассеял нашу скуку и вялость. Все стали приветствовать ее и осыпать любезностями. Я выждал минуту, когда она собралась уходить, и, целуя ее на прощанье, сунул ей в руку записочку.

Пообедав на славу, я предложил Сен-Жермену пойти с ним вдвоем на рекогносцировку местности при дневном свете, чтобы предвидеть все на случай надобности. Эта предосторожность была весьма естественна и не удивила Сен-Жермена; только когда я взял фиакр, он счел более удобным пойти пешком. Достигнув места, которое он наметил как самое удобное, чтобы влезть в дом, я осмотрел его так подробно, что мог описать безошибочно. Когда рекогносцировка была окончена, Сен-Жермен сказал мне, что нужно было бы достать черного крепа, чтобы закрыть лицо; мы отправились в Пале-Рояль, и, пока он вошел в лавку, я под предлогом надобности заперся в ретирадное место и записал все сведения, которые могли дать полиции возможность предупредить преступление.

Сен-Жермен, не перестававший во все время зорко следить за мною, повел меня в портерную, где мы выпили несколько бутылок пива. Когда мы уже подходили к дому, я заметил Аннетту,

подстерегавшую меня. Всякий другой не узнал бы ее, так искусно она была переодета. Уверившись, что она следит за мною, я роняю бумажку и иду далее, предоставляя себя судьбе.

Мне невозможно описать всю тревогу, которую я испытывал, ожидая минуты отправления. Несмотря на то что я предупредил полицию, я боялся, что она подоспеет не вовремя и уж тогда, когда преступление совершится; мог ли я один решиться арестовать Сен-Жермена и его сообщников? Мое усердие оказалось бы совершенно напрасным; и к тому же кто мне ручался в том, что по совершении преступления я не буду судиться и обвиняться наравне с остальными виновниками? Мне пришло на мысль, что во многих случаях полиция отрекалась от своих агентов, а в других случаях она не могла заставить суд отличить их от действительно виновных. Я был в страшной тревоге, когда Сен-Жермен поручил мне сопровождать Дебенна, кабриолет которого, предназначенный для мешков с золотом и серебром, должен был остановиться на углу улицы. Когда мы вышли, я снова увидел Аннетту, которая знаком дала мне знать, что исполнила мое поручение. В эту минуту Дебенн обратился ко мне с вопросом, где будет свидание. Не знаю, какой

добрый гений вдохновил меня мыслью спасти этого несчастного. Я заметил, наблюдая за ним, что он еще не вполне испорчен, и мне показалось, что он подвигается к пропасти только благодаря коварным советам своих приятелей. Я указал ему совершенно иное место, нежели то, которое было условлено между нами, а потом присоединился к Сен-Жермену и Будену на углу бульвара Сен-Дени. Было всего только половина одиннадцатого; я сказал им, что кабриолет будет готов через час, что Дебенн, согласно моему распоряжению, будет ждать на углу Фобур-Пуассоньер и готов будет прибежать по малейшему сигналу. Я дал им понять, что если кабриолет поставить слишком близко от того места, где должно происходить действие, то это может возбудить подозрения, поэтому я счел более удобным держать его в некотором отдалении; они одобрили мою предосторожность.

Пробило одиннадцать часов; выйдя на дорогу, мы направились к дому банкира. Буден и его сообщник шли с трубками в зубах; спокойствие их ужасало меня. Наконец мы достигли того столба, который должен был служить нам лестницей. Сен-Жермен спросил у меня пистолеты; в эту минуту я вообразил, что он угадал мои намере-

ния и хочет лишить меня жизни. Я подаю ему пистолеты, но вижу, что я ошибся. Он открывает полку, переменяет затравочный порох и снова отдает мне оружие. Проделав то же самое со своим оружием и оружием Будена, он сам подает нам пример и впереди всех лезет на столб, потом оба мошенника, не выпуская трубки из зубов, бросаются в сад. Волей-неволей мне приходилось следовать за ними; добравшись до верха стены, я снова начал тревожиться: успела ли полиция подготовить засаду? Не опередил ли ее Сен-Жермен? Вот вопросы, которые мучили меня.

В этой ужасной неизвестности я принял отчаянное решение предупредить преступление во что бы то ни стало, хотя бы ценою своей жизни. Сен-Жермен, увидев, что я сижу верхом на стене, и раздосадованный моей медлительностью, закричал мне: «Да ну, слезай поскорей». Едва он успел проговорить эти слова, как на него бросаются несколько людей! Буден и он отчаянно защищаются; завязывается перестрелка, со всех сторон свищут пули. После свалки, продолжавшейся несколько минут, полиция осиливает убийц. Многие из полицейских были ранены, Сен-Жермен и его друг — также. Так как я оставался простым зрителем стычки, то со мной

решительно не могло случиться ничего неприятного, но чтобы выдержать свою роль до конца, я бросился также на поле сражения и притворился, будто пуля поразила меня насмерть. Сейчас же меня завернули в одеяло, и я был перенесен в комнату, где находились Буден с Сен-Жерменом. Последний, казалось, был глубоко тронут моей смертью. Он прослезился, и его с трудом оттащили от моего мнимого трупа.

Сен-Жермен был человек рослый — пять футов восемь дюймов — и одаренный железными, выдающимися мускулами. Голова у него была громадная, с маленькими полузакрытыми глазками, как у ночной птицы; лицо его, все изрытое оспой, было крайне некрасиво, но нельзя сказать, чтобы в нем было что-нибудь отталкивающее, напротив, в нем светились ум и живость. Разбирая его черты в подробностях, можно было найти нечто общее с волком или гиеной, в особенности если принять во внимание ширину его выдающихся челюстей. В этом организме преобладали отличительные особенности и инстинкты хищного животного. Он до страсти любил охоту; вид крови приводил его в восторг и умиление. Он также имел страсть к игре, женщинам и любил хорошо поесть. Так как он по тону и манерам

принадлежал к хорошему обществу, умел поддержать светский разговор и почти всегда был одет изящно, то о нем можно было сказать, что он благовоспитанный разбойник. Когда это входило в его интересы, он был кроток и любезен, во всяком же другом случае груб и резок. Достигнув сорокапятилетнего возраста, он уже совершил несколько убийств на своем веку и тем не менее был веселым собеседником и разлюбезным малым в обществе себе равных. Его товарищ, Буден, был гораздо меньше его ростом, приземистее и тщедушнее, лицо у него было изжелта-бледное, глаза черные, живые, в глубоких впадинах.

Привычка орудовать кухонным ножом и разрезать мясо пробудила в нем кровожадные инстинкты. Ноги у него были колесом; эту особенность я заметил у многих убийц по профессии и у некоторых других лиц, известных наклонностью ко злу.

Не помню я другого события в моей жизни, которое доставило бы такое искреннее удовольствие, как арест этих злодеев. Я поздравлял себя, что избавил общество от двух чудовищ, и вместе с тем я был счастлив, что судьба позволила мне спасти извозчика Дебенна от погибели. Впрочем, удовольствие, которое я чувствовал, было только

относительно; я не переставал сетовать на то, что роковая судьба ставила меня в необходимость или самому влезть на эшафот, или помогать другим взбираться на него.

Должность «тайного агента», конечно, гарантировала мою свободу, я более не подвергался всем тем опасностям, которым подвержен беглый каторжник, но, пока еще мне не было даровано помилования, свобода, которою я пользовался, была непрочна, так как во всякое время по воле моих начальников она могла быть отнята у меня. С другой стороны, я не забывал, какое презрение обыкновенно питают к должности, которую я занимал. Чтобы мне не наскучили обязанности, сопряженные с моим званием, мне необходимо было взвесить, обсудить их, и по зрелом размышлении я заключил, что тяготевшее надо мной презрение — не более как следствие предрассудка. Разве я не рисковал ежеминутно своей жизнью в интересах общества? Разве не я вступался за честных людей против злодеев, которых презирали?.. Я отыскивал преступление в тени, я разрушал гибельные планы, покушения на жизнь человеческую, а меня же ненавидели!.. Преследуя разбойников до самого места их преступления, я вырывал из рук их кинжал

и пистолет, я подвергался их мести, а меня за это презирали!.. Рассудок мой одержал верх, я осмелился пойти наперекор всем и вынести неблагодарность и несправедливость общественного мнения.

Глава двадцать четвертая

Я посещаю притоны порока. – Инспектора изменяют мне. – Я открываю покупщика ворованных вещей. – Уловка, чтобы уличить его. – Он осужден

Воры и мошенники, на время испугавшись нескольких арестов, состоявшихся по моей милости один за другим, не замедлили снова появиться еще в большем числе и действовать еще смелее прежнего. Между ними находилось несколько беглых каторжников, которые, усовершенствовавшись на галерах в своем опасном ремесле, явились в Париж применять его на практике; деяния их распространяли ужас среди населения. Полиция решилась положить конец подвигам этих бандитов. Мне было поручено преследовать их, и я получил приказ заранее сговариваться с полицейскими агентами, коль скоро я имел в виду заарестовать кого-нибудь. Ясно, какую задачу на меня возложили; я должен был посещать все притоны разврата в Париже и его окрестностях. В несколько дней мне удалось узнать все логови-

ща, где я мог встретить злодеев: застава Куртиль, застава Камба и Менильмонтан — вот места, где они преимущественно любили собираться. Это была их главная квартира, где их всегда было много, и горе тому агенту, который пришел бы туда следить за ними: злодеи неминуемо убили бы его; даже жандармы не осмеливались проникать туда, до того опасно и могущественно было это общество преступников. Менее боязливый, нежели они, я не задумываясь проник в это сборище отверженных, братался с ними, вел с ними компанию, так что наконец они стали смотреть на меня, как на товарища. Распивая вино с этими господами, я узнавал о совершившихся или только замышляемых преступлениях; я обходил их с такой ловкостью, что мне ничего не стоило узнавать адреса их или женщин, с которыми они были в связи. Могу сказать, что я внушал им безграничное доверие, и, если бы кто-нибудь из них, более смелый, нежели его сотоварищи, позволил себе выразить на мой счет малейшее подозрение, я не сомневаюсь, что они немедленно отомстили бы ему за меня. Таким образом мне удавалось получать от них все нужные мне сведения, так что когда я подавал сигнал, то почти всегда были уверены в успехе накрыть мошенников или

на месте преступления, или же с ворованными вещами, которые служили достаточной уликой их виновности.

Мои изыскания intra muros были не менее успешны; я посетил один за другим все игорные дома, все кабаки окрестностей Пале-Рояля, отель д'Англетер, бульвар дю Тампль, улицы Ваннери, Мортельери, Планш Мибре, рынок Сен-Жак, ла-Петит-шез, улицы Жюльери, Каландр, Шателэ, площадь Мобер и др.

Не проходило дня, чтобы я не сделал какого-нибудь важного открытия; ни одно преступление не замышлялось без того, чтобы мне не были доверены все мельчайшие подробности покушения. Я был повсюду, везде поспевал, и власти никогда не были обмануты моими указаниями. Г-н Анри удивлялся моей деятельности; он публично выразил мне свое удовольствие, причем многие офицеры, служащие при полиции, краснели от злости и не стыдились жаловаться на это предпочтение. Инспектора, не привыкшие проводить бессонные ночи, находили слишком тяжелым постоянное занятие, которое я им доставлял; между ними поднялся ропот. Некоторые из них были даже настолько нескромны, настолько низки, что открыли инкогнито, с помощью которого я так

успешно действовал. Эта проделка навлекла на них строгий выговор, но от этого они не стали ни более осмотрительными, ни более преданными.

Почти немыслимо было, живя постоянно среди мошенников, чтобы они не предложили мне участвовать в каком-нибудь деле; я никогда не отказывался, но, когда наставало время действовать, я всегда выдумывал какой-нибудь предлог и не являлся на свидание. Вообще воры до такой степени глупы, что я мог не стесняясь измышлять всевозможные, самые нелепые предлоги. Часто даже, чтобы провести их, мне не приходилось прибегать к хитрости. Когда их захватывали, они все-таки не догадывались ни о чем, потому что, предполагая их более смышлеными, мы принимали меры, чтобы им не пришло в голову заподозрить меня.

Случалось даже, что некоторые из них, выскользнув из рук полиции в ту именно минуту, когда приготовились схватить их, приходили в то место, где надеялись меня встретить, чтобы сообщить мне печальную весть об аресте их товарищей.

Когда знаешься с ворами, тогда нет ничего легче узнать утайщиков их добычи, и я открыл нескольких. Данные, которые я сообщил поли-

ции, чтобы уличить их, были так положительны и безошибочны, что они не замедлили последовать за своими товарищами в галеры. Может быть, небезынтересно будет рассказать о способах, которые я употребил, чтобы избавить столицу от одного из этих опасных людей.

Уже несколько лет полиция следила за ним, а до сих пор еще не удалось накрыть его на месте преступления. Частые обыски в его квартире не привели ни к какому результату, ни одна из найденных у него вещей не могла доставить улики против него, а между тем были уверены, что он покупает краденые вещи из первых рук, и многие из воров, не подозревая, что я состою при полиции, указали мне на него как на верного человека, на которого можно вполне положиться. Сведений о нем было вдоволь; но надо было накрыть его на месте с украденными вещами.

Г-н Анри употребил все старания, чтобы достигнуть этой цели, но благодаря недостатку ловкости у агентов или чрезмерной ловкости укрывателя планы всегда не удавались. Хотели испытать, не буду ли я счастливее. Я попытался, и вот как я принялся за дело: спрятавшись на некотором расстоянии от его дома, я подстерег его, когда он выходил со двора, потом стал следо-

вать за ним на расстоянии нескольких шагов и вдруг остановил его, назвав совсем не его имя. Он стал уверять, что я ошибаюсь и что он вовсе не тот, о ком я думаю. Я настаиваю. Он продолжает отнекиваться; в свою очередь я объявляю ему, что отлично узнаю́ в нем человека, уже давно служащего предметом поисков в Париже и его окрестностях.

— Да вы ошибаетесь, — сказал он, — я такой-то и живу там-то.

Не верю ни одному слову.

— Ну уж это слишком; хотите, я докажу противное?

Я соглашаюсь на том условии, что он пойдет вместе со мной в соседний участок.

— Охотно, — отвечает он, и мы вместе отправляемся туда. Входим; я приглашаю его предъявить бумаги, у него их не оказывается. Тогда я требую, чтобы его обыскали, и у него находят трое золотых часов и двадцать пять дублонов, которые я беру под свою охрану, пока его не отвели к комиссару. Вещи были завернуты в платок, я овладеваю им и, переодевшись комиссионером, спешу в квартиру укрывателя.

Меня встречает его жена и еще несколько каких-то людей. Она не знала меня в лицо; я по-

желал говорить с ней наедине. Оставшись с ней с глазу на глаз, я показал ей платок в доказательство того, что знаю ее мужа. Она еще не догадалась о причине моего посещения, но уже смутное предчувствие обозначилось на ее лице; она видимо смутилась. «К сожалению, я приношу вам не слишком-то хорошую весть, — сказал я, — муж ваш только что арестован, его удержала полиция и забрала все, что на нем было; по некоторым словам, произнесенным полицейскими, он заключил, что, вероятно, его выдали, поэтому он просит вас тотчас же вынести отсюда все, что вы знаете. Если хотите, я помогу вам, только предупреждаю вас, что время нельзя терять».

Мои слова были убедительны; носовой платок и описание предметов, которые были в него завернуты, не дозволяли сомневаться в моей правдивости. Жена утайщика попалась на эту удочку. Она попросила меня привести трех извозчиков и тотчас же вернуться к ней обратно. Я вышел, чтобы исполнить поручение, но дорóгой я отдал одному из моих подчиненных распоряжение не терять из виду экипажей и задержать их по первому сигналу. Я привел фиакры и взошел наверх: все было вверх дном, комнаты завалены разнородными вещами; стенные

часы, этрусские вазы, канделябры, куски сукна, кашемира, полотна, кисеи — все было навалено целыми грудами. Все эти товары были вынесены из потайной комнаты, вход в которую искусно был замаскирован большим шкафом, так хорошо приспособленным, что невозможно было подозревать обмана. Я помог нагрузить товары, и когда все было окончено и шкаф был поставлен на место, жена укрывателя попросила меня проводить ее. Я исполнил ее желание, и едва она успела сесть на извозчика, как мы были окружены полицейскими. Супруги были преданы суду и осуждены благодаря неоспоримым уликам в виде целой массы вещественных доказательств.

Может быть, меня осудят за уловку, к которой я прибегнул, чтобы избавить Париж от укрывателя, который был настоящим бичом для столицы. Но мне все равно, одобрят меня или нет: я в глубине своей совести сознавал, что исполнил свой долг; к тому же когда дело идет о том, чтобы уличить мошенников, ведущих открытую войну с обществом, то, по-моему, нельзя пренебрегать никакими средствами, кроме подстрекательства.

Глава двадцать пятая

Шайка Гевива. – Публичная женщина наводит меня на следы предводителя шайки. – Я у него ночую. – Меня принимают за беглого каторжника. – Я участвую в заговоре против самого себя. – Кража в улице Кассет. – Гевив и четверо его сообщников арестованы. – Клика восемнадцати

Приблизительно около того времени, как я помог задержать укрывателя краденых вещей, в предместье Сен-Жермен образовалась шайка, которая грабила этот квартал преимущественно перед другими кварталами столицы. Шайка эта состояла из людей, зависящих от одного предводителя, некоего Гевива, названного Константеном, в сокращении Антеном, — у содержателей публичных домов и мошенников существует обычай называть друг друга последним слогом имени.

Гевив, или Антен, был когда-то фехтмейстером, потом занимал должность драгуна, состоял на жалованье у развратных женщин низшего разбора;

по ремеслу вор, он вел жизнь самого отчаянного мошенника. Говорят, он на все был способен, и хотя не доказано было, что он совершил когда-либо убийство, но никто не сомневался в том, что он не задумается пролить кровь. Однажды его любовница была найдена зарезанной в Елисейских Полях, и на него пало главное подозрение по этому делу. Как бы то ни было, Гевив был человек предприимчивый, одаренный редкой отвагой и необычайной наглостью. По крайней мере, товарищи считали его таковым, и он среди них пользовался известной славой.

Давно уже полиция не спускала глаз с Гевива и его сообщников, но она не была в состоянии овладеть ими, а ежедневно повторявшиеся покушения на собственность доказывали, что они не сидят сложа руки. Наконец приняли серьезное решение положить предел темным деяниям разбойников, и я получил распоряжение пуститься за ними на поиски и накрыть их на месте преступления. Преимущественно настаивали на этом последнем пункте, которому придавали особенную важность. Я облекся в приличный случаю костюм и в тот же день принялся за дело, обойдя все подозрительные места предместья Сен-Жермен. В полночь я явился к некой мадам

Бушэ, присел за стол выпить стакан-другой с женщинами легкого поведения, и пока я сидел в их обществе, услышал, что за последним столом кто-то произнес имя Константена. Сначала мне представилось, что он тут же, и я ловко расспросил одну из девушек.

— Его здесь нет, — ответила она, — но он каждый день приходит с приятелями.

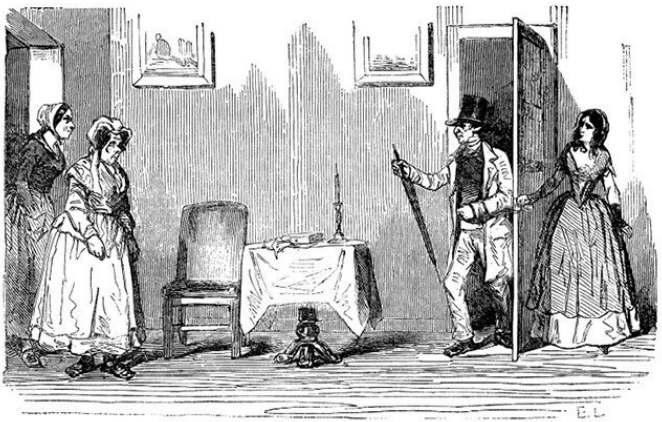
По ее тону я мог заключить, что ей хорошо известны привычки интересующих меня господ; я пригласил ее ужинать, в надежде заставить проболтаться. Она согласилась и, воодушевившись несколькими стаканами крепких напитков, открыто призналась мне, что мой костюм, мои ухватки и в особенности язык заставляют ее думать, что я также *друг* (вор). Мы провели с ней вместе часть ночи, и я ушел только тогда, когда она сообщила мне, какие места посещал Гевив.

На другой день утром я снова отправился к Бушэ. Там я опять встретился со своей вчерашней знакомкой; едва успел я войти, как она узнала меня и подошла ко мне.

— А! Вот и ты опять появился! Если хочешь поговорить с Гевивом, так он тут. — Она указала мне на личность лет 28–30, довольно чисто одетую, хотя в куртке. Ростом он был пяти футов

шести дюймов; лицо его было довольно красивое, волосы черные, роскошные бакенбарды, ослепительные зубы, — именно таким мне его описали. Не колеблясь я подошел к нему с просьбой одолжить мне табаку для трубки. Он быстро окинул меня взглядом и спросил, не служил ли я в военной службе. Я ответил, что действительно был гусаром, и вскоре со стаканами в руках мы вступили в разговор об армии.

Пока мы разговаривали, попивая, время быстро прошло: заговорили об обеде. Гевив сказал мне, что он устроил компанию и если мне угодно примкнуть к ней, то он будет очень рад. Отказаться было бы глупо, и мы вместе отправились к заставе Мэн, где нас ждали четверо его приятелей. Прибыв туда, мы сели за стол; никто из собеседников не знал меня, я был для них посторонним лицом, все были осмотрительны в моем присутствии. Тем не менее несколько слов, случайно произнесенных на знакомом наречии, убедили меня, что все члены честной компании *рабочие* (воры).



Они захотели узнать, чем я занимаюсь; я сочинил им одну из историй, на какие был мастер; по моим словам они поняли, что я недавно из провинции и желаю пристроиться к какой-нибудь шайке, занимающейся известным ремеслом. На этот счет я не высказался вполне ясно, но как бы невзначай старался известными приемами изобличить свою профессию и дать им понять,

что не знаю, куда деваться.

Вино лилось рекой, языки понемножку развязались, и в конце обеда я узнал, где живет Гевив и Жубер, его достойный сотрудник; узнал также имена многих из их товарищей. Когда пришло время расходиться, я дал понять, что мне негде переночевать. Жубер предложил мне отправиться с ним и повел меня в улицу Сен-Жак, № 99, где он нанимал комнату во втором этаже, окнами на задний двор. Я лег с ним на постели его любовницы, девицы Корневен.

Долго разговаривали мы с ним на сон грядущий; Жубер осыпал меня вопросами. Он непременно хотел узнать, на какие средства я живу, в порядке ли мои бумаги, — словом, любознательность его была неистощима. Чтобы удовлетворить ей, мне приходилось или избегать прямого ответа, или лгать, но я старался всеми средствами показать ему, что я товарищ по ремеслу. Наконец он воскликнул, как бы разгадав меня: «Ну да уж нечего переливать из пустого в порожнее, не скрывайся — ты из наших!» Я сделал вид, что не понимаю его слов, он повторил их с комментариями.

Я притворился обиженным и ответил, что он ошибается и что если он намерен продолжать шутки в этом роде, то я принужден буду уйти.

Жубер замолчал, разговор прекратился до следующего утра; в десять часов Гевив пришел будить нас.

Условлено было, что мы пойдем завтракать в Гласьер. Так и сделали. По дороге Гевив отвел меня в сторону и сказал:

— Послушай, я вижу, что ты славный малый, и хочу оказать тебе услугу. Не будь только так скрытен со мной: кто ты и откуда пришел?

Из моих полупризнаний он мог заключить, что я беглый тулонский каторжник, и посоветовал мне быть поосторожнее с его товарищами.

— Они у меня добрейшие малые на свете, — прибавил он, — только вот беда — больно болтливы.

— О, я держу ухо востро, — возразил я, — да и не могу же я плесневеть в Париже; тут слишком много расплодилось чертовой роты (полицейских) и потому далеко не безопасно.

— Правда, — ответил он, — но если тебя не знает Видок, то тебе бояться нечего, особливо со мной, я нюхом распознаю этих бездельников, как ворон чует порох.

— Что до меня касается, — сказал я, — то я не так хитер. Впрочем, если б мне случилось встретиться с Видоком, то по описанию, которое мне о нем сделали, черты его так ясно запечатлелись в

моем воображении, что я непременно тотчас же узнал бы его.

— Уж ты бы лучше помалкивал. Видно, что совсем не знаешь эту шельму! Представь себе, он изменяется по желанию. Утром, например, он одет, как мы с тобой; в полдень уж совсем не то, вечером опять другая статья. Не далее как вчера не его ли я встретил переодетого в генерала? Но шалишь — я не поддался на эту удочку; впрочем, как он, так и другие могут стараться сколько душе их угодно, а я всегда отгадаю их по первому взгляду, и если бы все друзья мои были таковы, как я, то немного пришлось бы ему дела делать.

— Ба, — возразил я, — все парижане толкуют то же самое, а вот он все подкопы подводит под вашего брата.

— Ты прав, — сказал он, — но чтобы доказать тебе, что я вовсе не из таких олухов, если хочешь, пойдем со мной сегодня же вечером, подстережем его у его двери и сделаем что следует.

Я был рад, узнав, что ему действительно известно, где я живу; я обещал ему свое содействие, и мы условились, лишь только смеркнется, завязать в платки по десяти медных монет в два су и хорошенько отколотить эту сволочь, Видока, как только он выйдет из своей квартиры.

Платки были приготовлены, и мы отправились в путь.

Константен, который был уж порядочно навеселе, повел нас в улицу Нев-Сен-Франсуа, прямо насупротив дома № 14, где я действительно жил. Не знаю уж, каким образом он узнал мой адрес; признаюсь, это обстоятельство довольно сильно беспокоило меня, и мне показалось странным, как это он не знает меня в лицо. Мы продежурили несколько часов, а Видок, конечно, и не думал показываться. Константен был сильно раздосадован этой неудачей.

— Ну, делать нечего, сегодня он нам не попадется, но клянусь, если я встречу его, он дорогой ценой заплатит мне за наше бесполезное дежурство.

В полночь мы удалились, отложив свое предприятие до завтрашнего дня. Довольно пикантно было то, что я принимал участие в заговоре против своей же собственной особы. Константен остался очень доволен моей готовностью помочь ему в том деле, и с этой минуты он ничего более не скрывал от меня. Он замышлял совершить кражу в улице Кассет и предложил мне участвовать в ней. Я согласился и дал обещание, но в то же время объявил, что не могу и не хочу выходить

из дому ночью без бумаг.

— Ну, в таком случае ты подождешь нас здесь.

Наконец покража состоялась. Константен и его приятели, не желая идти в темноте, имели неосторожность и даже дерзость отцепить уличный фонарь, и один из них понес его во главе процессии. Придя домой, они поставили фонарь среди комнаты и стали обозревать свою роскошную добычу. Они были вне себя от радости, любуясь плодами своей экспедиции; но едва лишь прошло полчаса после их прихода, как кто-то постучал в дверь; воры, пораженные, переглянулись с немым ужасом. Сюрприз был устроен мною.

Стук повторяется сильнее прежнего. Тогда Константен, делая нам знак, чтобы мы молчали, прошептал в испуге: «Это полиция, я в этом уверен».

Я быстро вскочил и спрятался под кровать. Стук усиливается, принуждены отпереть дверь.

В одно мгновение целый сонм инспекторов наполняет комнату, арестуют Константена и четырех других воров; затем производят общий обыск. Осматривают кровать, на которой лежит любовница Жубера, исследуют даже кушетку тростью, а меня все-таки не находят. Я этого и

ожидал.

Комиссар составляет протокол; производят опись украденных вещей и уносят их в префектуру. Когда дело было сделано, я вышел из своего убежища и очутился наедине с Корневен, которая не могла надивиться моему счастью: она находила, что я спасся просто сверхъестественным чудом, и пригласила меня остаться с ней.

— Возможное ли это дело, — ответил я, — а полиция-то!

И я ушел, обещая увидеться с ней в Эстрападе.

Я пошел к себе отдохнуть немного и в назначенный час аккуратно явился на свидание. Корневен ждала меня. От нее я надеялся раздобыть полный список друзей и сообщников Жубера и Константена. Я был с ней хорош, она скоро свела меня с ними, и в две недели мне удалось выдать полиции целую шайку — всех восемнадцать человек; все они были приговорены к каторге, как и Константен.

В минуту отправления арестантской партии Константен, увидев меня, вышел из себя от бессильной ярости; он осыпал меня ругательствами и проклятиями, но, не обижаясь его грубыми выходками, я подошел к нему с самым хладнокровным видом и сказал ему:

— Странно, что такой прозорливый человек, который знал Видока, да и притом обладал драгоценной способностью распознавать полицейского издалека, как ворон, который чует порох, — странно, чтобы он дозволил провести себя за нос с такой легкостью!

Уничтоженный этой подавляющей репликой, Константен опустил глаза и замолчал.

Глава двадцать шестая

Полицейские агенты, набранные из освобожденных преступников. – Публичные женщины и их приятели. – Потворство воровству; слабость инспекторского надзора. – Уничтожение трех классов воров. – Братья Дельзев. – Как их накрыли. – Праздничный подарок префекту полиции. – Я избавляюсь от зависимости полицейских офицеров и инспекторов

Я не один состоял тайным агентом при охранительной полиции; у меня был помощник — один еврей по имени Гафре. Он состоял на службе прежде меня, но так как его принципы не подходили к моим, то мы не долго жили в ладу. Я узнал, что он ведет дурную жизнь, и уведомил об этом начальника отделения, который, убедившись, что я прав, выгнал его из службы и велел немедленно выехать из Парижа. При полиции состояло еще несколько лиц, которые, не отличаясь никакой особенной способностью к делу, обладали, однако, некоторой зоркостью, приобретенною

ими в тюрьмах; они тем не менее не имели определенного содержания и получали плату только по числу выданных ими лиц. Эти последние были набраны из каторжников, выпущенных на волю. Были также воры по ремеслу, которых не преследовали в Париже, с тем условием, чтобы они выдавали всех мошенников, которых им удастся открыть. Часто, за неимением лучшего, они выдавали своих товарищей. За ними следовала, в третьей или четвертой серии, целая толпа негодяев, которые жили с публичными женщинами самого низкого разбора. Эта презренная каста часто доставляла драгоценные указания для арестования воров и карманников. Обыкновенно они всегда были готовы давать какие угодно объяснения, лишь бы освободили их любовниц, когда те бывали задержаны. Кроме того, пользовались еще услугами женщин, бывших в связи с известными неисправимыми ворами, которых от времени до времени отправляли высиживать срок в Бисетре. Это были презренные подонки человеческого рода, но между тем необходимо было пользоваться ими, так как опыт, к несчастью, не раз доказывал невозможность полагаться на усердие и смышленость инспекторов. Администрация не имела, собственно говоря, желания

употреблять на разыскание воров людей, не получающих содержания, но она была всегда рада воспользоваться услугами людей, которые по какой-нибудь причине посвящали себя полиции только под условием оставаться в тени. Г-н Анри давно уже понял, как опасно было употреблять эти обоюдоострые мечи, давно он уже мечтал избавиться от них и ввиду этого завербовал меня в полицию, которую хотел очистить от этих людей, хорошо известных своей склонностью к воровству. Есть болезни, которые врачи излечивают при помощи яда; очень может быть, что социальная проказа исцеляется подобными же средствами. Здесь яд был прописан в большой дозе, это видно из того, что почти все тайные агенты были накрыты мной на месте преступления и большинство их еще до сих пор в галерах.

При поступлении моем в полицию все тайные агенты обоих полов естественно должны были сплотиться против меня, предвидя скорый конец своему царствованию; они сделали все, что могли, чтобы продолжить его. Я считался непоколебимым и бесстрастным, я не хотел, как они выражались, забирать обеими руками, и они, конечно, объявили мне войну. Чего только они не выдумывали, чтобы погубить меня, — тщет-

ные усилия! Я выдерживал бурю, как старый дуб, который только слегка наклоняет свою вершину, несмотря на ярость урагана.

Каждый день на меня доносили, но голос моих доносчиков был бессилен. Г-н Анри, пользовавшийся влиянием префекта, ручался ему за мои действия; решено было, что каждый донос, направленный против меня, будет доводиться до моего сведения, с дозволением опровергать его письменно.

Этот признак доверия понравился мне и доказал, что мое начальство умело ценить мое рвение, и ничто на свете не могло бы заставить меня отказаться от поведения, которое я предначертал себе.

Чтобы иметь успех в чем бы то ни было, необходима некоторая доля энтузиазма. Я не надеялся сделать должность тайного агента уважаемой должностью, но я льстил себя надеждой, что сумею с достоинством и честью выполнить свои обязанности. Я хотел приобрести славу человека неподкупного, беспристрастного, неустрашимого и неутомимого; во всяком случае, я добивался, чтобы меня признали способным и смышленым. Успех моих усилий содействовал укреплению этого мнения. Вскоре г-н Анри стал во всем сове-

товаться со мной; мы вместе проводили целые ночи, соображая средства к подавлению преступления, — и наши старания отчасти увенчались успехом: число жалоб на грабежи значительно уменьшилось и число воров сократилось. Скажу больше, было даже время, когда мелкие воришки серебра и карманники не подавали никаких признаков жизни. Позднее должно было народиться новое воровское племя, но по своей ловкости оно уже не могло превзойти людей вроде Бомбаса, Маркиза, Буко, Комнера, Бутэ, Пранже, Дорлэ, Лароза Гавара и Мартена и многих других хитрых мошенников, которых я привел к бездействию.

В течение целых шести месяцев я действовал один, без других вспомогательных средств, кроме нескольких публичных женщин, которые оказывали мне свои услуги, как вдруг непредвиденный случай поставил меня вне зависимости полицейских офицеров, до сих пор умевших приписать самим себе заслуги моих открытий. Это обстоятельство имело для меня большое преимущество, ясно доказав всю бездеятельность и недостаток энергии инспекторов, которые так горько жаловались, что я доставляю им слишком много работы. Начну рассказ издалека.

В 1810 году воровства нового рода, совершае-

мые с невообразимой дерзостью, дали полиции знать о существовании целой шайки злодеев нового разбора.

Почти все покражи совершались при помощи влезания и взлома; квартиры на первом и втором этажах обирались этими необыкновенными ворами, которые до тех пор льстились только на богатые дома; легко можно было заметить, что мошенники знали местность как свои пять пальцев.

Все мои старания, чтобы открыть этих новых воров, не имели никакого успеха, как вдруг покража, сопряженная почти с непреодолимыми препятствиями, была совершена на улице Сен-Клод, около Бурбон-Вильнев, из второго этажа над антресолью, в том самом доме, где жил полицейский комиссар квартала. Веревка фонаря, повешенного у дверей, послужила лестницей для похитителей.

Небольшой парусинный мешок с овсом для лошадей был оставлен на месте преступления, что дало возможность предположить, что воры, по всей вероятности, были извозчики или, по крайней мере, они помогали при экспедиции.

Г-н Анри посоветовал мне собрать сведения об извозчиках, и мне удалось разузнать, что мешок

с овсом принадлежал некоему Гюссону, извозчику за номером 712. Я сделал донос, Гюссон был арестован, и чрез него разыскали двух братьев Дельзев, из которых старший не замедлил также попасться в руки полиции. Допрошенный самим Анри, он вынужден был сделать несколько весьма важных разоблачений, вследствие чего был арестован некто Метраль, исполнявший должность полотера в доме императрицы Жозефины. Он был уличен в укрывательстве краденых вещей, доставляемых ему шайкой, почти исключительно состоявшей из савояров, уроженцев Леманского департамента. Продолжив поиски, удалось напасть на следы братьев Пилар, Гренье, Лебрена, Пьессара, Мабу, прозванного Аптекарем, Серассэ, Дюрана, — словом, двадцати двух человек, которые позднее все были приговорены к каторге.

Воры эти преимущественно были комиссионеры, полотеры и кучера, то есть принадлежали к классу людей, среди которых всегда соблюдалась строгая честность и которые издавна славились образцовой добросовестностью. В квартале все на них смотрели как на людей испытанных, хороших, неспособных посягать на чужую собственность, и эта репутация делала их еще более

опасными для лиц, у которых они состояли в услужении, распиливали лес и исполняли другую какую-либо работу: никто не питал к ним недоверия, всюду пускали их. Когда узнали, что они замешаны в скверной истории, не хотели даже и верить, чтобы они были действительно виновны. Сам я колебался и не доверял самому себе. Впрочем, существовали улики до такой степени явные, что наконец убедили всех, и пресловутая шайка савояров, существовавшая в столице несколько веков неприкосновенною, исчезла навсегда.

В течение 1812 года я предоставил в руки правосудия главных членов этой шайки. Впрочем, младший Дельзев все еще ускользал от поисков полиции. Это было 31 декабря; г-н Анри сказал мне:

— Я думаю, что если бы нам хорошенько приняться за дело, то удалось бы наконец изловить Рака (прозвище Дельзева); завтра Новый год, он непременно пойдет в гости к прачке, которая так часто доставляла ему убежище, или к ее брату. У меня есть какое-то предчувствие, что он придет непременно вечером, или ночью, или же, наконец, завтра поутру.

Я согласился с г-м Анри, и он велел мне с тремя

инспекторами засесть в засаду где-нибудь поблизости к квартире прачки, которая жила в улице Грезильон, Фобур-Сент-Оноре.

Я выслушал это распоряжение с радостью, которая всегда предвещала мне удачу. В сопровождении трех инспекторов я в семь часов вечера отправился в означенное место. Был страшный холод; земля была покрыта глубоким снегом — зима никогда еще не была так сурова.

Мы встали настороже; после нескольких часов тщетного ожидания инспектора, окоченевшие от мороза, хотели уже идти домой; я также до половины замерз, так как на мне надето было довольно тонкое платье комиссионера. Я стал, однако, возражать своим товарищам, и хотя мне самому было бы очень приятно уйти, но я уговорил их остаться до полуночи. Едва успел пробить назначенный для ухода час, как они стали настаивать, чтобы я исполнил свое обещание, и вот мы вместе покидаем засады, где нам предписано было дежурить до рассвета.



Мы направились к Пале-Роялю; одно из кафе было еще открыто, мы вошли туда погреться и, выпив по стакану теплого вина, расстались,

каждый с намерением отправиться восвояси. Идя к себе домой, я задумался о том, что мы только что сделали. Можно ли было, думал я, так скоро позабыть данные нам инструкции? Нет, обманывать таким образом доверие начальника — это непростительная подлость. Мое поведение казалось мне не только предосудительным, но и заслуживающим строжайшего наказания. Я был в отчаянии, что подчинился влиянию инспекторов. Желая исправить свою ошибку, я решился один возвратиться в назначенное место и провести там всю ночь, хотя бы мне пришлось пожертвовать своею жизнью. Я вернулся туда и приютился в уголке, чтобы Дельзев не мог увидеть меня, в случае если ему придет в голову фантазия прийти.

Прошло часа полтора, как я находился в этом положении; я чувствовал, что во мне застывает кровь, мое мужество и твердость мало-помалу ослабевают. Но вдруг меня осеняет блестящая мысль: неподалеку находилась навозная куча, я спешу к ней, вырываю яму, достаточно глубокую, чтобы иметь возможность встать в нее по пояс, зарываюсь в навоз, и приятная теплота его вскоре разливается по моим окоченевшим членам. В пять часов утра я еще не покинул своего убе-

жища, где чувствовал себя довольно хорошо, не говоря о запахе. Наконец дверь дома осторожно отворилась, — вышла женщина, не заперев за собой двери. Я незаметно выбрался из своей ямы и отправился во двор; осмотревшись кругом, я нигде не мог заметить огня.

Я знал, что союзники Дельзева имеют обыкновение звать друг друга свистками, похожими на свистки кучеров. Я свистнул, подражая их манере, и во второй раз услышал голос:

— Кто зовет?

— Это Кочегар (прозвище кучера, от которого Дельзев выучился править) зовет Рака.

— Ты это, что ли? — раздается еще раз голос Дельзева.

— Да, да, Кочегар хочет тебя видеть, сойди вниз.

— Сейчас иду, погоди минутку.

— Слишком холодно, — ответил я, — я пойду подожду тебя в шинке, там на углу улицы, только поторопись, слышишь ли!

Шинкарь уже отпер свое заведение; в первый день нового года, понятно, торговля начинается ни свет ни заря.

Я нисколько не был расположен выпить. Чтобы обмануть Дельзева, я отворил дверь коридора и,

не выходя в нее, поспешно снова захлопнул ее и спрятался на черной лестнице, идущей во двор. Вскоре я услышал шаги Дельзева по лестнице; прямо направившись на него, я схватил его за шиворот и, приставив ему пистолет к груди, решительно объявил ему, что он мой пленник.

— Следуй за мной, — сказал я, — и помни, что достаточно малейшего жеста, чтобы я без всякой жалости размозжил тебе череп пистолетом. Знай к тому же, что я не один.

Онемев от ужаса и удивления, Дельзев не ответил ни слова и машинально последовал за мной; с этой минуты я овладел им и он не мог ни бежать, ни оказать мне сопротивления. Я поспешил увести его. На часах пробило шесть в ту минуту, когда мы вошли в улицу Рошэ. Мимо проехал фиакр, я подал ему знак остановиться. Состояние, в котором я находился, должно было, весьма понятно, внушить некоторое беспокойство кучеру относительно опрятности его экипажа, но я предложил заплатить ему двойную цену, и, соблазнившись хорошим заработком, он согласился везти нас. И вот мы покатились по столичной мостовой. Для пущей безопасности я связал по рукам и ногам своего спутника, который, опомнившись и придя в себя от первого удивления,

мог возмутиться против меня. Я обошелся бы и без этого средства, рассчитывая на свою силу, но так как я намерен был исповедовать его, то не хотел ссориться с ним, а всякое насилие с моей стороны в случае его сопротивления непременно имело бы такой результат. Поставив Дельзева в невозможность бежать, я старался вразумить его. Чтобы умаслить его, я предложил ему закусить, он согласился. Кучер принес нам вина, и мы продолжали путь, попивая понемногу.

Было еще очень рано; убежденный, что я могу извлечь выгоду из этого разговора наедине, я предложил Дельзеву поехать завтракать в одно место, где нам отведут отдельную комнату. Он уже окончательно успокоился и вовсе не казался рассерженным. Мое предложение он принял с готовностью, и мы направились в знакомую гостиницу. Еще не успели мы туда доехать, как он уже доставил мне множество неоцененных сведений о своих товарищах и сообщниках, еще находящихся на свободе. Я был уверен, что за столом он окончательно разговорится, и дал понять ему, что единственное средство заслужить снисходительность правосудия — это сделать некоторые разоблачения. Чтобы укрепить его в этом решении, я привел ему несколько аргумен-

тов, основанных на философии, которую я всегда применял с успехом, чтобы утешить заарестованных. Словом, он был настроен как нельзя лучше, когда экипаж остановился у входной двери в гостиницу. Я тотчас же повел его наверх, заставляя идти впереди себя, и прежде, нежели приняться за карточку, я сказал ему, что, желая есть спокойно, я прошу его позволить мне привязать его по-своему, согласившись предоставить полную свободу его рукам. За столом это очень удобно. Он не обиделся этой предосторожностью, и вот что я сделал: взяв обе наши салфетки, я привязал его ноги к ножкам стула, на расстоянии вершков двух или полутора от пола, что мешало ему даже сделать попытку высвободиться, не рискуя разбить себе нос. Он позавтракал с большим аппетитом и обещал повторить в присутствии г-на Анри все, в чем признался мне. В полдень мы напились кофе. Дельзев был немного навеселе, и мы вернулись в фиакр, совершенно помирившись и даже подружившись. Десять минут спустя мы были уже в префектуре. Г-н Анри был окружен своими офицерами, которые явились поздравить его с Новым годом. Я вошел и приветствовал его. «Честь имею поздравить вас с Новым годом, — сказал я, — и представить вам знаменитого Дельзева».

— Вот это называется славный праздничный подарок, — сказал г-н Анри, увидев пленника. Потом, обращаясь к окружающим его чиновникам и офицерам, он сказал: — Желательно было бы, господа, чтобы каждый из вас мог поднести такой же подарок господину префекту.

Мне тотчас же был отдан приказ отвести Дельзева в место предварительного заключения; на прощанье Анри милостиво обратился ко мне со словами:

— Видок, ступайте отдыхать, я доволен вами.

Арест Дельзева доставил мне самые лестные похвалы и доказательства расположения; но в то же время это обстоятельство еще более увеличило ненависть, которую чувствовали ко мне мои сослуживцы. Один только из них, г. Тибо, не переставал оказывать мне справедливость.

Как бы сговорившись с мошенниками и неблагонамеренными людьми, все чиновники, которым не так везло по службе при полиции, метали на меня гром и молнию; если послушать их, так это был просто скандал, подлость — тратить свое усердие на то, чтобы очищать общество от разбойников, нарушающих его спокойствие. По их словам, я был известный вор: каких только преступлений я не совершал, на что только не

был способен! Вот какие обо мне распространяли слухи мои недоброжелатели. Может быть, они и сами верили им отчасти, по крайней мере, воры были убеждены, что я когда-то занимался их ремеслом. Прежде, нежели они попадали в мои сети, они принуждены были верить, что я принадлежу к их компании; а потом, попавшись, они смотрели на меня как на изменника, но тем не менее я был для них мазуриком высшей школы, только я воровал безнаказанно, потому что полиция нуждалась во мне. Вот сказка, которая ходила обо мне по острогам. Полицейские офицеры и второстепенные агенты не прочь были распространять ее, выдавая за истину, а может быть, они в самом деле не думали клеветать меня, становясь отголоском презренных людей… Конечно, проверив мои антецеденты, всякий был вправе думать, что я был вором, так с незапамятных времен все сыщики выполняли эту двойную профессию; все знали, что так же начали свою карьеру Гупиль, Флорантен, Левек, Коко-Какур, Бурдари, Кадэ и другие мои предшественники или помощники. Они видели, что большинство сыщиков — рецидивисты, и так как я им казался более хитрым, более деятельным, более предприимчивым, нежели те, то они и заключили,

что если я самый ловкий из полицейских, то, вероятно, и самый ловкий из воров.

Я от души прощаю им это ложное суждение, но я не мог простить отвратительного обвинения, будто я занимаюсь воровством постоянно.

Г-н Анри, возмущенный таким нелепым обвинением, отвечал им замечанием: «Если правда, что Видок ежедневно совершает покражи, то еще более основания обвинять вас в неспособности: он один, а вас много, вы знаете наверное, что он ворует, отчего бы вам не уличить его на месте преступления? Ему одному удалось накрыть на месте многих ваших товарищей, а вы все вместе не можете отплатить ему тем же?»

Инспектора не находили что отвечать и молчали; но так как было ясно, что вражда, которую они ко мне чувствовали, со временем еще более усилится, то префект полиции решился освободить меня от их зависимости. С этих пор я был совершенно свободен и действовал, как мне заблагорассудится. Я получал непосредственные распоряжения от г-на Анри и был обязан отдавать отчеты ему одному, и никому другому.

Я удвоил бы свое усердие, если бы только это было возможно. Г-н Анри не боялся, чтобы мое рвение и моя преданность делу ослабели, но так

как были люди, ненавидящие меня насмерть и готовые сжить меня со света, то он дал мне помощника, который должен был следить за мной издали и предупреждать в случае угрожающей мне опасности. Обособление, в которое я был поставлен, необычайно повлияло на мои успехи; я открыл множество воров, долгое время ускользавших от правосудия и которые еще долее не поддались бы мне, если бы я все еще находился под опекой полицейских офицеров и целого сонма инспекторов. Но беда была в том, что так как мне чаще приходилось быть в деле, то я стал более известен. Воры решили между собой отделаться от меня. Не раз я подвергался опасности пасть жертвой их злобы; но моя физическая сила и, смею сказать, мое мужество всякий раз помогали мне выйти целым и невредимым из самых замысловатых ловушек. Несколько попыток с их стороны, всегда неуспешных, показали им, что я решился дорого продать свою жизнь.

Глава двадцать седьмая

Я отыскиваю двух известных мазуриков. – Учительница музыки, или Еще матушка воров. – Гостеприимство. – Фабрика поддельных ключей. – Хитрая комбинация. – Коварство агента. – Тетушка Ноёль сама себя обкрадывает, а меня упрекает в воровстве. – Моя невинность обнаруживается

Редко случается, чтобы каторжник бежал с намерением исправиться; чаще всего он только задается целью добраться поскорее до столицы и там пустить в ход роковое искусство, вынесенное им из галер, которые, подобно большей части наших тюрем, служат школой, где люди совершенствуются в искусстве присваивать чужую собственность. Почти все известные воры достигли высшего искусства в своем ремесле после более или менее продолжительного пребывания в галерах. Некоторые из них были осуждены раза четыре-пять, прежде нежели стали известными своей ловкостью; таковы были пресловутые Виктор Дебуа и его товарищ Монженэ, прозванный

Барабаном, которые, появляясь в различные времена в Париже, совершили множество таких подвигов, о которых народ любит рассказывать как о деяниях доблести и отваги.

Эти люди, которые в течение долгих лет бесчисленное число раз отправлялись на каторгу и которым всегда удавалось бежать, в это время снова находились в Париже. Полиция была об этом извещена, и я получил приказание немедленно приступить к розыскам. Изо всего можно было вывести заключение, что они имели сношения с остальными осужденными, не менее опасными. В подозрении находилась одна учительница музыки, сын которой, Ноёль, был известным разбойником; эта женщина, как утверждали, давала убежище всем мошенникам. Мадам Ноёль была женщина образованная и отличная музыкантша; в среднем классе буржуа, которые приглашали ее учить музыке своих барышень, она слыла за виртуозку. Она ходила по урокам в квартале Сен-Дени; изящество ее манер и языка, вкус в нарядах и известный оттенок величия и гордости, который не изглаживается даже превратностями судьбы, — все это заставляло думать, что она принадлежала к одному из многочисленных семейств, пришедших в упадок

после революции. С виду и по разговору мадам Ноёль была очень интересная маленькая женщина; к тому же было что-то трогательное во всей ее жизни — у нее была тайна: судьба ее мужа никому не была известна. Одни утверждали, что она рано овдовела, другие, что ее бросил муж, третьи, наконец, что она жертва соблазнителя. Не знаю, которое из этих предположений ближе всего подходило к истине, знаю только, что мадам Ноёль была маленькая пикантная брюнетка, с живыми, лукавыми глазками, в которых светилась, однако, кротость, с любезной улыбочкой и чрезвычайно приятным голосом. В ней были соединены качества ангела и злого духа, более последнего, нежели первого; годы оставили на ее лице отпечаток дурных страстей.

Мадам Ноёль была добра и любезна к тем лишь лицам, которые имели какое-нибудь дело с правосудием; она принимала их с таким же радушием, как мать солдата принимает товарищей своего сына. Чтобы заслужить ее расположение, нужно было быть одного полка с ее возлюбленным Ноёлем, и тогда, отчасти из любви к нему, отчасти же просто из собственного расположения, она любила оказывать им всевозможные услуги. Поэтому-то на нее смотрели как на мать

и покровительницу; у нее все они останавливались, она заботилась об их нуждах. Часто она простирала свою любезность до того, что искала им *работы,* а когда они нуждались в паспорте, то она не успокаивалась до тех пор, пока ей не удавалось раздобыть его. У мадам Ноёль было обширное знакомство из женщин; обыкновенно паспорт брали на имя одной из них. Получив его, выводили кислотой имя и приметы и ставили на их место другие, по желанию. Мадам Ноёль имела даже целую коллекцию таких паспортов на всякий случай.

Все каторжники были дети мадам Ноёль, только она преимущественно ласкала тех и ухаживала за теми, кто имел сношения с ее сыном. К ним она чувствовала необычайную нежность и безграничную преданность. Дом ее был открыт всем беглым каторжникам, и, вероятно, даже они чувствовали к ней благодарность, так как не раз случалось, что они приходили к ней и рисковали собой единственно из удовольствия ее видеть; она была хранительницей всех их тайн, приключений, планов и тревог. Они доверялись ей во всем не стесняясь и надеялись на ее верность, как на каменную гору.

Тетушка Ноёль никогда не видела меня в лицо,

черты мои были ей незнакомы, но она часто слышала мое имя; поэтому мне было бы небезопасно явиться к ней, не возбудив подозрения; но я задался целью выудить у нее сведения о том, куда скрылись люди, которых мне нужно было отыскать. Я, однако, предчувствовал, что мне предстоит немало труда при исполнении моего плана. Прежде всего я решился выдать себя за беглого каторжника, но для этого мне необходимо было заимствовать имя какого-нибудь вора, которого ее сын или его товарищи описывали ей в выгодном свете. Кроме того, необходимо было некоторое сходство; я тщетно перебирал в уме знакомых мне картежников и не находил ни одного, кто был бы хорош с Ноёлем. Роясь в своих воспоминаниях, я набрел наконец на некоего Жермена, прозванного Капитаном, который был близок с Ноёлем; хотя он не походил на меня ни капли, но тем не менее я решился воспользоваться его именем.

Жермен, как и я, неоднократно совершал побеги с каторги, — вот все, что между нами было общего. Он был приблизительно моих лет, но гораздо меньше ростом. Он был худощав, а я довольно плотен, цвет лица у него был смуглый, а у меня белый и румяный. Заметьте к тому же, что

у Жермена был длиннейший нос, поглощавший громадное количество нюхательного табаку, и что он говорил в нос вследствие болячек под носом. Мне предстояло немало хлопот, чтобы разыграть роль Жермена. Но трудности не пугали меня; мои волосы, подрезанные по моде каторжников, были выкрашены в черную краску, так же как и борода, которую я отпускал в продолжение целой недели. Чтобы придать своему лицу смуглый цвет, я намазался настоем ореховой скорлупы; чтобы довершить превращение, я подделал болячки с помощью гуммиарабика с кофе. Это украшение не было излишним, оно дало мне возможность говорить в нос, как Жермен. Мои ноги были также приспособлены самым тщательным образом; я сделал себе искусственную опухоль с помощью композиции, рецепт которой мне сообщили в Бресте. Я также подделал следы оков. Когда эта операция была окончена, я оделся в платье, соответствующее моему положению. Я не упустил из виду ничего, что могло бы придать сходство с оригиналом, не забыл ни обуви, ни белья, намеченного роковыми буквами Г. А. Л.

Костюм был подделан в совершенстве, недоставало только нескольких сотен насекомых,

населяющих жилища нищеты и которые, вероятно, как саранча и гады, составляли одну из семи казней египетских. Я достал их за деньги и, как только они были акклиматизированы, отправился к тетушке Ноёль, жившей в улице Тиктон.

Прихожу, стучу в дверь. Она сама вышла отворить мне. Один взгляд, брошенный на меня, объяснил ей все.

— Ах, бедный малый! — воскликнула она. — Напрасно и спрашивать, откуда вы явились. Я уверена, что вы умираете с голоду.

— Еще бы! Как не быть голодным! Вот уж двадцать четыре часа, как у меня маковой росинки не было во рту.

Не ожидая дальнейших объяснений, она быстро исчезла и явилась с колбасой и бутылкой вина, которые поставила передо мной. Я стал пожирать яства с жадностью. Колбаса уже исчезла, а я еще второпях не произнес ни единого слова. Мадам Ноёль в восторге от моего аппетита. Когда я все съел дочиста, она принесла мне трубку.

— Ах, тетушка, — сказал я, бросившись к ней на шею, — вы спасаете мне жизнь. Ноёль правду говорил мне, что вы так добры.

И я начал рассказывать ей, что оставил ее сына восемнадцать дней тому назад, и сообщил ей

различные сведения об интересующих ее арестантах. Подробности, которые я сообщал, были до такой степени правдоподобны, что ей и в голову не могло прийти, что я обманщик.

— Вы, наверное, не раз слыхали кое-что обо мне, — продолжал я, — много мне пришлось выносить невзгод. Зовут меня Жерменом, и прозван я Капитаном. Вам, верно, известно мое имя!

— Как не быть известным, — сказала она, — я знаю вас как родного; боже мой! мало ли рассказывали о ваших несчастиях мой сын и его друзья. Но господи, в каком вы виде! Вы не можете долее остаться в таком положении. Вас, кажется, беспокоят скверные животные; позвольте, дам вам чистое белье и одену вас поприличнее.

Я выразил благодарность мадам Ноёль и, как только мог это сделать, впрочем не без неудобств, осведомился, где теперь находятся Виктор Дебуа и его товарищ Монженэ.

– *Дебуа и Барабан!* Ах, милый мой, уж лучше об них и не говорите, — ответила она, — шельма Видок много им насолил. С тех пор как Жозеф (Жозеф Лонвиль, бывший полицейский чиновник), которого они два раза встретили на улице, сказал им, что полиция ищет их в квартале, они больше и носу сюда не показывают.

— Как! Может быть, их нет в Париже? — воскликнул я, разочарованный.

— О нет, они недалеко, — успокоила меня Ноёль, — они не покинули окрестностей столицы. Я их еще видаю иногда издали и надеюсь, что скоро они забегут ко мне на часок-другой. Вот обрадуются-то, увидев вас!

— Уж наверное обрадуются не больше меня, и если бы вы могли черкнуть им словечко, то я уверен, что они поспешили бы позвать меня к себе.

— Если б я знала, где они, — возразила мадам Ноёль, — то я сама бы не поленилась пойти к ним и привести их, чтобы вам сделать удовольствие. Но дело в том, что я не знаю, где они живут, и лучше всего нам вооружиться терпением и ждать.

В качестве вновь прибывшего я поглощал все внимание мадам Ноёль, она мною только и занималась.

— Знает вас Видок и его две ищейки — Левек и Компер? — спросила она.

— Увы, знает, — ответил я, — меня арестовали уже два раза.

— В таком случае, чур, берегитесь. Видок искусно переодевается; если бы вы знали, какие только костюмы он не напяливает, чтобы поймать в ловушку таких бедняг, как вы!

Мы разговаривали часа два, наконец мадам Ноёль предложила мне взять ножную ванну. Я согласился. Когда я стал разуваться, ей чуть не сделалось дурно.

— Как мне жаль вас, бедняжечка, — сказала она в порыве материнской чувствительности, — что бы вам прежде сказать, ну разве вас не стоит побранить за это!

И, осыпая меня упреками, она стала на колени и сочла своим долгом освидетельствовать мои ноги. Проколов каждый волдырь, она приложила ваты с составом, действие которого поразительно быстро. Было что-то трогательное и идеальное в этих попечениях гостеприимства; недоставало для пущего эффекта, чтобы я был каким-нибудь знатным странником, а она благородной незнакомкой. Окончив перевязку, она принесла мне чистое белье, и так как она ничего не забывала, то вручила мне бритву, напомнив, чтобы я побрился.

— Потом надо будет, — прибавила она, — купить вам платье рабочего в Тампле, — это общее прибежище всех людей в беде. Иногда там находишь платье почти новое.

Как только я обмылся, мадам Ноёль повела меня в спальню — это была комната, служившая

мастерской для фабрикации поддельных ключей. Вход в нее был замаскирован юбками, развешанными на вешалке.

— Вот, — сказала она, — постель, на которой спали многие ваши товарищи. Спите с Богом, здесь полиция не откопает вас ни за что на свете.

— Уж это конечно, — ответил я, — позвольте мне в самом деле пойти отдохнуть немного.

Она оставила меня одного. Надо было держать ухо востро, разговаривая с тетушкой Ноёль; не было ни одной привычки, свойственной каторжникам, которую она не знала бы как свои пять пальцев. Она не только запомнила имена всех воров, которых видела, но была знакома с малейшими подробностями и особенностями их жизни. Она с энтузиазмом рассказывала историю самого известного из них, именно ее сына, к которому она питала странную любовь и какое-то обожание.

— Очень вы были бы рады повидать своего милого сынка? — спросил я.

— Ах, еще бы не рада!

— Ну так могу вам сказать, что вы скоро будете иметь это счастие. Ноёль уж совсем приготовился к побегу и выжидает только удобного случая.

Мадам Ноёль была счастлива надеждой в скором времени обнять своего сына. Она проливала слезы радости и умиления. Признаюсь, я сам был тронут и умилен и стал уже думать, что на этот раз мне не удастся совладать со своей ролью сыщика. Но, поразмыслив о преступлениях семейства Ноёль и приняв во внимание интересы общества, я остался тверд и несокрушим в своем намерении преследовать свою задачу до конца.

Во время нашего разговора мадам Ноёль спросила меня, не имею ли я в виду *какого-нибудь дельца* (воровства), и, предложив предоставить мне занятие, если я сам такого не найду, она расспросила меня, знаком ли я с искусством подделывать ключи. Я ответил, что не уступаю в искусстве самому Фоссару.

— Если так, — сказала она, — то я спокойна, вы скоро будете пристроены; если вы искусны в этом деле, то я куплю у слесаря ключ, который вы приспособите к моему секретному замку и будете держать его при себе, чтобы вам можно было входить и выходить, когда вам только будет угодно.

Я высказал ей, насколько тронут ее добротой и обязательностью, и так как становилось поздно, то я пошел спать, размышляя, как бы мне вырваться из этого вертепа, не подвергаясь опас-

ности быть зарезанным, если бы мошенники, которых я искал, как-нибудь случайно пришли прежде, нежели я успею принять свои меры.

Я не смыкал глаз и встал, как только услышал, что Ноёльша разводит огонь. Она заметила мне, что я встаю с петухами, и объявила, что отправляется по моим делам. Через несколько минут она принесла мне старый ключ, маленькие клещи и напилок, который я приделал к спинке кровати, и, снабженный этими принадлежностями, принялся за работу в присутствии своей хозяюшки, которая не могла нахвалиться моей ловкостью. Более всего она восхищалась быстротой моей работы; действительно, часа через четыре я сфабриковал хороший ключ. Я примерил его, он отпирал замок почти в совершенстве. Таким образом мне была дана возможность входить в квартиру, когда мне заблагорассудится.

Словом, я сделался пансионером тетушки Ноёль. После обеда я сообщил ей, что иду прогуляться, пользуясь сумерками, чтобы удостовериться, можно ли будет привести в исполнение задуманное мною дело. Она одобрила мое намерение, напомнив мне, что я должен быть осторожнее.

— Этот разбойник Видок, — заметила она, — очень опасен, и, если бы я была на вашем месте,

я ничего бы не предпринимала до тех пор, пока ваши ноги окончательно не выздоровеют.

— О, я не пойду далеко, — ответил я, — да и пробуду-то недолго.

Мои уверения, что я скоро вернусь, по-видимому, несколько успокоили ее.

— Ну, ступайте с Богом, — напутствовала она меня, и я вышел, прихрамывая.

До сих пор все шло как по маслу; трудно было снискать большую благосклонность со стороны матушки Ноёль, но, оставаясь в ее доме, мог ли я ручаться за то, что меня не убьют? Разве не могут прийти разом двое-трое каторжников и устроить мне скверную штуку? В таком случае прощайте все комбинации, придется расстаться с плодами дружбы мадам Ноёль и принять меры на всякий случай. Было бы неблагоразумно дать ей подозревать, что у меня были причины избегать зорких глаз ее друзей, поэтому я старался довести ее до того, чтобы она сама убедила меня, что в моих интересах мне не следует ночевать у нее.

Я заметил, что Ноёльша была в большой дружбе с торговкой фруктами, жившей в том же доме. Я направил к этой женщине некоего Нансо, одного из своих агентов, и поручил ему расспросить ее потихоньку насчет мадам Ноёль. Продиктовав

вопросы, я был совершенно уверен в успехе своего плана и в том, что фруктовщица не замедлит открыть нашу попытку своей приятельнице, тем более что я велел своему посланному посоветовать ей соблюдать строгую тайну.

На деле оказалось, что я был прав. Едва успел мой поверенный выполнить свою миссию, как фруктовщица поспешила сообщить об этом мадам Ноёль, а та, в свою очередь, тотчас же доверила мне эту тайну. Она вышла за ворота, чтобы подстеречь меня, и, увидев меня издали, прямо направилась ко мне и без предисловий пригласила последовать за ней. Я отправился с нею; дойдя до площади Победы, она остановилась, осмотрелась вокруг и, уверившись, что никто за нами не наблюдает, приблизилась ко мне и рассказала, что ей сообщили.

— Итак, вы видите, — сказала она, — мой бедный Жермен, что было бы неблагоразумно ночевать у меня в доме; лучше всего вам вовсе не приходить ко мне днем.

Мадам Ноёль и не подозревала, что эта неудача, искренно огорчившая ее, была делом рук моих. Чтобы не допустить ее до подозрений, я притворился еще более огорченным, нежели она сама; я проклинал с ругательствами эту сволочь

Видока, который не давал нам покоя. Я сожалел о необходимости искать ночлега вне Парижа и распростился с мадам Ноёль, которая, пожелав мне успеха и скорого возвращения, сунула мне в руку монету в тридцать франков.

Я знал, что она ожидает Дебуа и Монженэ. Кроме того, меня уведомили, что в квартиру и из квартиры то и дело шныряли какие-то личности, не стесняясь отсутствием мадам Ноёль; напротив, это почти всегда случалось, когда она отправлялась в город на уроки. Мне необходимо было узнать все дома, которые она посещает. Чтобы достигнуть этого, я переодел нескольких своих помощников и расставил их по углам улиц, где присутствие их среди посыльных не могло показаться подозрительным.

Приняв эти предосторожности и чтобы сделать вид, что опасаюсь полиции, я несколько дней не ходил к Ноёльше. По истечении этого срока я явился к ней вечером с молодым человеком, которого представил ей за брата одной девушки, с которой жил и которая дала мне убежище в Париже. Молодой человек этот был сыщик. Я предупредил свою хозяйку, что он пользовался моим полным доверием и что она смело может положиться на него, как на меня самого, и что так

как его не знала полиция, то я выбрал его, чтобы посылать к ней всякий раз, как сочту неблагоразумным показываться сам.

— Отныне, — прибавил я, — он будет нашим посредником и будет являться два или три раза на день, чтобы осведомиться о вас и о моих друзьях.

— Жалко, что вы не пришли двадцатью минутами раньше, — сказала мадам Ноёль, — а то вы увидели бы женщину, которая вас хорошо знает.

— Кто же это такая?

— Сестра Маргери.

— Ах да, она часто видела меня с братом.

— Поэтому-то, когда я с ней говорила о вас, она описала вас как нельзя вернее: эдакий, говорит, мозглявый, и всегда-то у него полон нос табаку.

Мадам Ноёль очень сожалела, что я не пришел ранее и не повидался с сестрой Маргери, но я со своей стороны, конечно, радовался, что избавился от свидания, которое расстроило бы все мои планы. И в самом деле, если эта женщина знала Жермена, то она знала и Видока, и невозможно было бы, чтобы она приняла одного за другого — разница была так велика! Хотя я и гримировался довольно искусно, но сходство, полное в описании признаков, было очень слабо при тщательном рассмотрении и в особенности,

если судьями были лица близкие. Мадам Ноёль дала мне весьма полезное предостережение, рассказав, что к ней часто приходила в гости сестра Маргери. С этих пор я дал себе слово, что эта женщина меня никогда не увидит, и, чтобы избегнуть с ней встречи, я всегда подсылал вперед своего мнимого родственника, который получил инструкцию давать мне знать, тут она или нет, прилепив облатку к оконному стеклу. На этот сигнал я являлся, а мой поверенный становился настороже где-нибудь в окрестностях, чтобы избавить меня от неприятного сюрприза. Неподалеку стояли другие мои помощники, которым я отдал ключ мадам Ноёль, чтобы они могли подать мне помощь в случае, если бы я попался в компанию беглых каторжников и если бы они, узнав меня, бросились на меня. Между нами было условлено, что я разобью стекло кулаком и тогда они должны поспешить ко мне и помочь против разбойников.

Как видите, я оградил себя кругом всевозможными мерами предосторожности; однако развязка приближалась. Был вторник: от людей, которых я разыскивал, было получено письмо, в котором они объявляли, что прибудут к будущей пятнице. Для них эта пятница должна быть

роковым днем. С утра я пристроился в соседнем кабачке, и, чтобы не дать им случая заметить меня, если бы они, по своему обыкновению, стали бродить по улице взад и вперед, прежде чем войти в дом мадам Ноёль, я послал к ней моего мнимого родственника, который вскоре вернулся и объявил мне, что я могу смело войти, так как сестры Маргери там нет.

— Ты не обманываешь меня, надеюсь? — заметил я сыщику, голос которого показался мне каким-то странным и взволнованным. Я пристально уставил глаза на лицо этого человека, как будто хотел пронзить его душу, и мне показалось, что мускулы его лица слегка подергиваются, как у человека, который намерен что-то скрыть. Словом, какое-то смутное предчувствие говорило мне, что я имел дело с мошенником. Первое впечатление озарило меня как молнией; мы были тогда в отдельной комнате. Я схватил своего собеседника за ворот и сказал ему в присутствии его товарищей, что если он тотчас же не сознается, то он погиб. Пораженный, уничтоженный, он пробормотал несколько слов извинения и, повалившись передо мною на колени, признался, что он все открыл мадам Ноёль.

Это коварство, если бы я заранее не отгадал

его, может быть, стоило бы мне жизни. Впрочем, моя личность была тут делом второстепенным, мне досадно было в интересах общества, что мне приходится потерпеть фиаско так близко от цели. Изменник Нансо был арестован, и так как за ним водились грешки, несмотря на его молодость, то его отправили в Бисетр, а позднее на остров Олерон, где он и покончил свою карьеру.

Само собою разумеется, что беглые арестанты более не вернулись в улицу Тиктон, но тем не менее они были арестованы в скором времени.

Мадам Ноёль не могла простить мне скверной шутки, которую я сыграл с ней. Чтобы отомстить, она вынесла из своей квартиры почти все вещи и потом, исполнив этот маневр, вышла, не затворив двери, и стала кричать, что ее обокрали. Соседей призвали в свидетели, комиссару было сделано заявление, и мадам Ноёль обвинила меня в воровстве под тем будто бы предлогом, что у меня был ключ от ее комнат. Обвинение было немаловажное; его тотчас же предъявили в префектуру полиции, и на другой же день я получил повестку явиться туда немедленно. Мое оправдание было очень просто. Префект и г. Анри сразу увидели, что тут обман и клевета. Возбужденное префектурой следствие повело к

тому, что все пропавшие вещи были отысканы, а чтобы дать тетушке Ноёль время раскаяться, ее заключили месяцев на шесть в Сен-Лазар.

Глава двадцать восьмая

Полицейские офицеры в поисках одного знаменитого вора. – Им никак не удается поймать его. – Я обещаю префекту новый подарок в Новый год. – Желтые занавеси и горбатая девушка. – Касса полицейской префектуры. – Я превращаюсь в угольщика. – Треволнения одного кабатчика и его супруги. – Опасность давать одеколон. – Похищение мадам Тонно. – Следствие. – Как полезно запирать двери. – Прыжок в окно. – Сальто-мортале и лопнувшие швы

Я упоминал о неприятностях, которые причинила мне измена одного агента. Я давно уже знал ту истину, что тайна сохранна до тех пор, пока никому не доверишь ее; но печальный опыт, который мне пришлось вынести, еще более укрепил меня в необходимости действовать по мере возможности одному; так я и сделал в следующем, довольно важном случае. Двое беглых каторжников, рецидивистов, некто Горо и Флорентен, прозванный Шателеном, находились в Бисетре

в качестве неисправимых воров. Утомленные заключением в тесных конурах, они обратились к г-ну Анри с письмом, в котором обещали представить все сведения для того, чтобы дать возможность захватить нескольких из их товарищей, занимающихся воровством в Париже.

Некто Фоссар, приговоренный на каторгу пожизненно и несколько раз бегавший с галер, считался самым искусным, самым ловким и вместе с тем самым опасным из них. «Фоссар, — писали они, — человек редкой отваги, к нему нельзя подходить иначе как с предосторожностями; всегда вооруженный с головы до пят, он задался твердым намерением пустить пулю в лоб всякому полицейскому агенту, который осмелился бы арестовать его».

Высшие чиновники администрации, конечно, желали избавить столицу от такого сокровища; первой их мыслью было поручить мне соследить его; но неблагонамеренные советчики заметили г-ну Анри, что Фоссар слишком хорошо меня знает, его любовница также, чтобы такое щекотливое поручение могло удаться мне, поэтому решено было прибегнуть к услугам полицейских агентов. В их распоряжение передали все сведения, которыми они могли бы руководиться в

своих поисках. Но или им не посчастливилось, или же им вовсе не желательно было встретиться с Фоссаром, вооруженным с ног до головы, только этот вор преспокойно продолжал свои подвиги, и многочисленные жалобы на него доказывали, что, невзирая на кажущееся рвение и усердие, господа офицеры, по обыкновению, больше шумели, нежели действовали.

Вследствие этого префект, любивший, чтобы дело делалось скромно и втихомолку, в один прекрасный день призвал их к себе и сделал им несколько внушений, должно быть довольно серьезных, судя по неудовольствию, которое они не в силах были скрыть.

Им только что задали головомойку, когда мне случилось встретить на улице одного из них, Иврие. Я поклонился ему. Увидев меня, он подошел ко мне и сказал рассерженным голосом: «Это вы, милостивый государь, великий герой, совершитель подвигов! По вашей милости мы получили выговор по поводу какого-то Фоссара, беглого каторжника, который, говорят, скитается по Парижу. Послушаешь господина префекта, так только вы и способны на что-нибудь путное. Он говорит, что если бы Видока послали на поиски, то, без сомнения, он давно бы арестовал его. Так в

чем же дело, господин Видок? Вы ведь так ловки, вот и постарайтесь изловить его, докажите свое искусство».

Иврие был старик, и я воздержался отвечать как следует на его дерзкую выходку. Хотя я был обижен желчным тоном, которым он говорил со мною, но я не рассердился и только сказал, что мне пока недосуг заниматься Фоссаром, но что это подарок, который я намерен сделать к первому января префекту, подобно тому как в прошедшем году преподнес ему Дельзева.

— Ну ладно, ладно, — возразил Иврие, раздраженный моим насмешливым тоном, — последствия покажут нам, кто вы такой: хвастун, мечтающий о себе невесть что. — И он отошел от меня, бормоча сквозь зубы некоторые другие эпитеты, которые относил ко мне и которые я даже не расслышал. После этой сцены я отправился в канцелярию к г-ну Анри и рассказал ему все.

— Да, они сильно озлоблены, — сказал он, улыбаясь, — ну тем лучше, это доказывает лишь то, что они сознают ваше искусство; я вижу, что эти господа похожи на евнухов в серале. Потому, что сами ни на что не способны, они думают, что и другие также бессильны.

Затем он дал мне следующее указание: Фоссар

проживает в Париже, в улице, идущей от рынка к бульвару, то есть из улицы Артуа в улицу Пуассоньер, пройдя через улицу Монторгель; неизвестно, в котором этаже он живет, но квартиру его можно узнать по окнам с желтыми занавесями и по другим занавесям из белой вышитой кисеи. В том же доме живет маленькая горбатая швея, которая дружна с любовницей Фоссара.

Как видите, сведения эти не были настолько точными, чтобы можно было прямо идти к цели. Не совсем-то легко было отыскать горбатую женщину и желтые занавеси на большом пространстве, которое было мне указано. Мало ли горбатых женщин, и старых и молодых, проживает в Париже, мало ли, наконец, желтых занавесей? В сущности, указания были крайне неопределенны, а задачу надо было решить во что бы то ни стало. Я, однако, попытался в надежде, не наведет ли меня мой добрый гений на истинный путь.

Я еще не знал, с чего мне начать, впрочем, я предвидел, что в моих поисках мне придется иметь дело с женщинами из простонародья, с кумушками и даже с развратными женщинами, и я тотчас же решил в уме, как мне следует

переодеться на этот случай. Очевидно, что мне необходимо было принять вид почтенного пожилого господина. С помощью нескольких поддельных морщин, напудренного парика, треугольной шляпы, большой трости с золотым набалдашником и других принадлежностей я превратился в одного из тех добродушных шестидесятилетних буржуа, которых все старые девы находят хорошо сохранившимися; у меня был точь-в-точь вид и одеяние одного из богачей улицы Марэ, с румяным, добродушным лицом, на котором написано довольство и желание осчастливить какую-нибудь несчастную, чающую движения воды. Я был уверен, что придусь как раз по вкусу всем горбуньям на свете, к тому же я был так похож на доброго, честного человека, что не мог возбудить никаких сомнений.

Переодетый таким образом, я стал рыскать по улицам, задрав голову кверху, зорко отыскивая занавеси означенного цвета. Я так занялся своими наблюдениями, что не видел и не слышал ничего, что делалось вокруг. Если бы я не имел такого почтенного вида, то меня могли бы принять за метафизика или, может быть, за поэта, который ищет рифмы в области крыш и печных труб; двадцать раз я подвергался опасности быть

раздавленным кабриолетами; со всех сторон я только и слышал: берегись, берегись! — и, обернувшись, видел, что или нахожусь под самым колесом, или держу в объятиях какого-нибудь коня. Часто, обтирая пену, которою был покрыт мой рукав, мне случалось получать в лицо удар хлыстом, а когда кучер был менее груб, то мне приходилось выслушивать любезности вроде: «береги же свою шкуру, старый глухарь»; не раз называли даже «старым ротозеем».

Поиски за желтыми занавесями продолжались несколько дней: в моей записной книжечке было записано до 150 экземпляров; надеюсь, не было недостатка в выборе. Но кто мог мне поручиться, что я трудился не понапрасну и не просто занимался водотолчением? Не могло разве случиться, что занавеси, за которыми скрывался Фоссар, отправлены к выводчику пятен или заменены занавесями красными, зелеными, белыми? Но что же делать? Если судьба может противодействовать мне, то, наоборот, она может и благоприятствовать моим поискам. Я снова запасся мужеством, и хотя шестидесятилетнему старцу и не совсем легко было совершать восхождения по ста пятидесяти лестницам, путешествовать мимо семисот этажей, пересчитывать до трид-

цати тысяч ступенек, то есть приблизительно вдвое против высоты Чимборасо, — но так как у меня были сильные ноги и здоровые легкие, то я предпринял эту задачу, поддерживаемый надеждой вроде той, которая одушевляла аргонавтов в их поисках за золотым руном, и усердно отыскивал свою горбунью; на скольких площадках я караулил по целым часам в надежде, что моя счастливая звезда наконец появится на горизонте! Герой Дон Кихот, наверное, не так усердно отыскивал свою Дульцинею; я стучался в дверь каждой швейки, я рассматривал их всех одну за другой; ни одной горбатой — все сложены как на диво; или если случайно у них и был горб, то это вовсе не искривление позвоночного столба, но полнота, плод ошибки молодости, которая исчезает без помощи ортопедии.



Прошло несколько дней, а я не встречал и тени своего предмета; я вел каторжную жизнь; всякий вечер я приходил домой разбитый, утомленный донельзя. Всякое утро приходилось начинать сначала. Еще если бы я смел делать вопросы, то, может быть, какая-нибудь сердобольная душа навела бы меня на путь истинный, но я боялся обжечься на огне. Наконец, утомленный этими

проделками, я принялся за другое средство.

Я заметил вообще, что все горбатые болтливы и любопытны, почти всегда они первые сплетницы в квартале: ничто не ускользает от их внимания. Исходя от этой точки, я заключил, что моя незнакомка, желая запастись сплетнями, не пренебрегает ни булочниками, ни молочницами, ни овощником, ни бакалейщиком. Поэтому я решился заручиться содействием этих органов сплетен и злоречивых толков. Я знал, что всякая горбунья, отыскивая себе мужа, обыкновенно щеголяет своими достоинствами хорошей хозяйки, и сообразил, что она, вероятно, встает рано. Чтобы застать ее на театре моих наблюдений, я также встал с петухами и отправился в путь.

Прежде всего мне нужно было ориентироваться: какой молочнице отдает предпочтение моя горбатая? Без сомнения, той, которая отличается большей словоохотливостью и у которой больше покупщиков. Я заметил одну такую — на углу улицы Тевено, она соединяла в себе оба эти условия. Окруженная крынками с молоком и целой толпой слушателей, она безостановочно болтала, подавая кому что надо; покупщиков было у нее вдоволь. Я сейчас же сообразил, что напал на место свидания, где можно было видеть чуть ли не

целый квартал, и решился не терять его из виду.

Наступил второй день моих наблюдений у молочницы. С самого рассвета я занял свой пост и с нетерпением, как и накануне, ожидал появления какого-нибудь Эзопа в юбке; приходили все только молодые девушки, горничные и гризетки, стройные, высокие, с тонкими талиями и прелестными плечами; все они как на подбор были прямы, как пальмы. Я уже пришел в отчаяние… как вдруг на горизонте показалась моя звезда. Это была прелестная горбатая Венера. Боже! Как она была мила! и как выдающаяся часть ее фигуры была соблазнительна; я не мог налюбоваться на эту возвышенность, которую натуралистам следовало бы принять в соображение для новой расы человеческой породы; мне казалось, что я вижу одну из средневековых фей, для которых безобразие составляло лишь украшение. Сверхъестественное существо приблизилось к молочнице и, поговорив с ней немного, взяло свою порцию сливок. Потом девушка отправилась в бакалейную лавку, на минуту остановилась у торговки требухой, у которой набрала провизии для своей кошки; наконец, окончив свои закупки, отправилась по улице Пети-Каро и вошла в дом, где внизу находился магазин краснодеревщика. Я поднял

глаза на окна, но желтых занавесей, по которым я вздыхал, не было и следов. Сообразив, что занавеси какого бы то ни было цвета — предмет гораздо легче сместимый, нежели горб, я решился не уходить, не поговорив сначала с маленьким чудом, которому я так обрадовался. Несмотря на свое разочарование, я предчувствовал, что разговор этот принесет мне существенную пользу и наведет меня на путь истинный.

Я решился подняться по лестнице; добравшись до антресолей, я спросил, на котором этаже живет маленькая особа, немного горбатая.

— Вы о швее, что ли, спрашиваете? — ответили мне, смеясь в лицо.

— Ну да, о швее, у которой правая лопатка не совсем в порядке, — посмеялись опять и указали мне третий этаж на улицу. Хотя соседи были очень обязательны, но я почти расположен был рассердиться на их насмешливую веселость — это было по меньшей мере невежливо. Но мое терпение было неистощимо, и я охотно простил им, что они нашли меня несколько смешным, и к тому же разве я не изображал простодушного добряка? Поэтому я должен был не оставлять своей роли. Я постучался в указанную дверь, и мне отворила сама горбунья. После обычных

извинений, что пришел не вовремя и мог обеспокоить хозяйку, я попросил ее пожертвовать мне минуткой времени, прибавив, что желаю поговорить с ней о чисто личном деле.

— Мадемуазель, — сказал я несколько торжественным тоном, усевшись на стул против нее, — вам неизвестна причина, которая привела меня к вам, но когда вы узнаете ее, то, может быть, почувствуете некоторую симпатию ко мне.

Горбатая воображала, что я намерен объясниться ей в любви; яркая краска разлилась по ее щекам, глаза заблестели, хотя она старалась опустить их в землю. Я продолжал:

— Без сомнения, вы удивитесь, что в мои годы можно быть влюбленным, как в двадцать лет.

— О, помилуйте, мосье, вы прекрасно сохранились! — заметила милая девушка; я не имел сил долее оставлять ее в заблуждении.

— Слава богу, я могу похвалиться здоровьем, — продолжал я, — но не в этом дело. Вы знаете, я думаю, что в Париже нередко встретить мужчину и девушку, живущими вместе вне брака.

— За кого вы меня принимаете, милостивый государь, делая мне подобное предложение? — воскликнула горбатая, не дождавшись окончания моей фразы.

— Я совсем не делаю вам никаких предложений, — возразил я, — только хотел бы попросить вас, чтобы вы были так добры и доставили мне некоторые сведения о молодой даме, живущей, как мне сказали, в этом доме с одним господином, которого выдает за своего мужа.

— Я таких не знаю, — сухо ответила горбатая. Тогда я дал ей подробное описание Фоссара и его любовницы, девицы Тонно.

— А, знаю теперь: это человек приблизительно вашего роста и сложения, ему, должно быть, лет тридцать; он красивый мужчина; дама молода, пикантная брюнетка, великолепные зубы, красивые глаза, рот большой, маленькие усики на верхней губе, вздернутый нос и ко всему этому кроткий смиренный вид. Они действительно жили в этом доме, только теперь недавно переехали.

Я попросил ее дать мне новый их адрес. Она сказала, что не знает его.

Я со слезами умолял ее помочь мне отыскать несчастное существо, которое я страстно любил, несмотря на ее неверность и коварство.

Швея была тронута слезами, которые я проливал; я видел, что у нее самой навертываются слезы, и поспешил воспользоваться этим чув-

ствительным настроением.

— Ее неверность губит меня; бога ради, сжальтесь над несчастным мужем, не скрывайте от меня их убежища, я буду вам обязан жизнью.

Горбатые обыкновенно сострадательны, к тому же в их глазах всякий муж — неоцененное сокровище, и, пока они не обладают им, они не могут понять, как можно быть неверной. Моя швея также имела отвращение к прелюбодеянию; она искренно пожалела меня и уверила, что очень желала бы быть мне полезной.

— К несчастью, — прибавила она, — они отыскали новую квартиру через посредство комиссионеров, незнакомых в квартале, и я положительно не знаю, где они находятся и что с ними сталось. Но если бы вы повидали хозяина дома…

Я видел, что в искренности этой женщины нельзя сомневаться, и я отправился к хозяину дома; тот мог мне сообщить только то, что ему заплатили до срока и что дело не доходило до расспросов и объяснений.

Таким образом, помимо уверенности в том, что мне удалось узнать прежнюю квартиру Фоссара, я не подвинулся ни на шаг вперед. Тем не менее я не оставил дела и деятельно продолжал его. Обыкновенно все комиссионеры различных кварталов

знают друг друга; я расспросил комиссионеров улицы Пети-Каро, перед которыми разыграл роль обманутого мужа; один из них указал мне своего собрата, который помогал перевозить имущество моего соперника на другую квартиру.

Я повидался с указанным им человеком и рассказал ему свою мнимую историю; он терпеливо выслушал меня. Это был человек, по-видимому, хитрый и корыстолюбивый. Я догадался, в чем дело, и в награду за его обещание указать мне завтра новую квартиру Фоссара, предложил ему две пятифранковые монеты. Первое наше свидание происходило 27 декабря, на третий день Рождества. Мы должны были увидеться снова на другой день, 28-го. Чтобы приготовить сюрприз к 1 января, надо было поторопиться. Я, конечно, не опоздал на назначенное свидание: комиссионер, за которым я велел следить, также явился вовремя. Пришлось пожертвовать еще несколькими пятифранковыми монетами и, сверх того, угостить его завтраком. Наконец он решился отправиться в путь и привел меня к очень хорошенькому домику на углу улицы Дюфо и Сент-Оноре.

— Вот тут они живут, — сказал он, — пойдем спросим у виноторговца, уж не переехали

ли они.

Он желал, чтобы я угостил его еще раз; я догадался и на этот раз и осушил с ним бутылку вина. Расставшись, я был убежден, что нашел наконец убежище моей неверной супруги. Мне больше не было никакой надобности в моем гиде; я распростился с ним, отблагодарив его как следует, а чтобы увериться, что он не изменит мне из желания получить награду с обеих сторон, я велел агентам наблюдать за ним и в особенности не пускать его более к виноторговцу. Насколько мне помнится, его удалили со сцены довольно коварным образом; не скрою того, что это было дело моих рук.

— Вот что, любезный, — сказал я ему, — я передал полиции билет в пятьсот франков, предназначенный тому, кто поможет мне отыскать жену. Вам по справедливости принадлежит эта сумма, поэтому-то я дам вам записочку, при помощи которой вы можете получить ее.

Действительно, я вручил ему записку к г-ну Анри.

— Отведите этого господина в кассу, — распорядился Анри, обращаясь к одному из канцелярских прислужников. А касса оказалась не что иное, как кутузка, где господин комиссионер мог на

досуге опомниться от своей радости.

Между тем я еще не вполне убедился, что мне указали именно жилище Фоссара. Я, однако, довел до сведения начальства обо всем, что произошло, и мне немедленно вручили полномочия для заарестования. Тогда зажиточный буржуа из улицы Марэ превратился вдруг в угольщика, и в этом-то одеянии, в котором меня не могли узнать ни мать, ни чиновники префектуры, коротко знавшие меня, я занялся изучением почвы, на которой мне приходилось маневрировать. Друзья Фоссара, то есть его доносчики, предупредили агентов, которым поручено было арестовать его, что он никогда не расстается с кинжалом и двумя пистолетами, из коих один постоянно держит в руке завернутым в носовой платок. Понятно, что нам приходилось держать ухо востро; кроме того, зная характер Фоссара, мы были убеждены, что он не задумается совершить убийство, чтобы избавиться от приговора, который был для него хуже смерти. Мне, конечно, хотелось устроить так, чтобы не пасть его жертвой. Подумав хорошенько, я сообразил, что можно отчасти устранить опасности, согласившись предварительно с виноторговцем, у которого Фоссар нанимал квартиру. Это был хо-

роший, честный человек, но полиция пользуется такой дурной славой, что не всегда легко убедить честных людей оказать ей содействие. Я решился заручиться его помощью, связав его же собственным интересом. Я уже бывал у него раза два в двух отдельных комнатах и имел случай изучать местность и персонал, заседающий в лавке; я вернулся туда еще раз в обыкновенном платье и заявил моему буржуа, что желаю переговорить с ним наедине. Я заперся в отдельной комнате и, оставшись с ним с глазу на глаз, сказал ему:

— От имени полиции мне поручено объявить вам, что вас готовятся обокрасть; воры уже все устроили, и главный зачинщик живет в вашем доме; женщина, которая с ним в связи, часто приходит к вам вниз, садится у конторки и разговаривает с вашей супругой. Таким путем ей удалось достать слепок ключа от двери, в которую они предполагают забраться к вам. Все предусмотрено; пружина колокольчика, с помощью которого вас могли бы предупредить, будет отрезана ножницами, пока дверь будет еще полуотворена. Раз забравшись в дом, они быстро направятся в вашу комнату, и заметьте, вы имеете дело с отъявленными мошенниками, которые не задумаются посягнуть на вашу жизнь,

если будут иметь основание опасаться вашего пробуждения.

— Понимаю, нас укокошат! — в испуге воскликнул виноторговец. Он тотчас же позвал свою жену и сообщил ей новость.

— Вот видишь ли, друг мой, можно ли после этого доверяться кому бы то ни было! Эта мадам Газар казалась уж такой святошей, такой тихоней, а теперь не она ли собирается перерезать нам горло? В эту ночь воры придут нас резать?

— Нет, нет, успокойтесь и спите с богом, в эту ночь не произойдет ничего — выручка слишком мала, хотят переждать праздники. Но если вы согласитесь быть скромными и помочь мне, то все уладится как нельзя лучше.

Мадам Газар была не кто иной, как девица Тонно, принявшая это имя, под которым Фоссар был известен в доме. Я посоветовал виноторговцу и его жене принять своих жильцов с таким же радушием, как и прежде. Конечно, они от души согласились помочь мне. Между нами было условлено, что я спрячусь в маленьком чулане под лестницей, чтобы удобнее наблюдать за Фоссаром и, выждав случая, схватить его.

29 декабря, рано утром, я устроился в своей обсерватории. Холод был страшный, сидеть

пришлось долго, и для нас это было тем более чувствительно, что огня у нас не было. Я сидел неподвижно, приложив глаз к скважине, проделанной в ставне; судите, было ли мне удобно. Наконец, около трех часов, он вышел; я пошел за ним следом. Это был он — в этом не могло быть сомнения. Уверенный в его личности, я хотел тотчас же арестовать его, но сопровождавший меня агент стал останавливать меня, говоря, что заметил у Фоссара пистолет. Чтобы проверить его слова, я ускорил шаги и нагнал Фоссара. К несчастью, я убедился, что агент не ошибся. Попытаться арестовать Фоссара — было бы рисковать своей жизнью, может быть понапрасну. Поэтому я подумал отложить решительный удар и, вспомнив, что две недели тому назад я обязался представить Фоссара к 1 января, почти обрадовался этой отсрочке.



31 декабря, в одиннадцать часов вечера, в то время, когда все мои батареи были расставлены, Фоссар вернулся домой. Он не подозревал ничего, шел по лестнице, беззаботно напевая веселый

мотив. Двадцать минут спустя все огни у него были потушены, из чего я заключил, что он лег спать. Наступила благоприятная минута. Комиссар и жандармы, предупрежденные мной, стояли неподалеку, ожидая, чтобы я позвал их. Они вошли беззвучно и тотчас же началось совещание, как бы лучше овладеть Фоссаром, не подвергаясь опасности быть убитым или раненым, так как все твердо были убеждены, что разбойник будет защищаться отчаянно.

Первая моя мысль была — не предпринимать ничего до рассвета. Меня уведомили, что любовница Фоссара сходит вниз рано утром за молоком. Тогда можно было бы овладеть этой женщиной и с помощью ее ключа войти врасплох в комнату ее возлюбленного. Но разве не могло случиться, что он выйдет первым, вопреки своему обыкновению? Это соображение навело меня на другую мысль.

Жена виноторговца, с которой, как я узнал, г-жа Газар была всегда чрезвычайно любезна, имела при себе маленького племянника. Этот десятилетний ребенок, смышленый и умный не по летам, имел уже страсть к деньгам, что объясняется отчасти его нормандским происхождением. Я обещал ему награду, с условием, чтобы

он, под предлогом нездоровья своей тетушки, отправился к мадам Газар попросить у нее немного одеколона. Я научил мальчугана принять плаксивый тон, приличествующий в подобных случаях, и, выдрессировав его как следует, стал распределять роли. Развязка приближалась; я велел всем своим людям разуться, сам сделал то же самое, чтобы не слышно было наших шагов на лестнице. Мальчуган был в одной рубашке; он позвонил — ответа нет. Второй звонок.

— Кто там? — слышится голос из-за двери.

— Это я, мадам Газар, это я, Луи. Моей тетушке сделалось дурно, одолжите, пожалуйста, одеколону: она умирает. Свеча у меня есть!

Дверь отворилась, но едва успела показаться девица Тонно, как два сильных жандарма схватили ее и сунули в рот платок, чтобы она не могла кричать. В то же самое время быстрее молнии я бросился на Фоссара, пораженного и неподвижного как истукан. В одну минуту я связал его в постели; прежде нежели он успел сделать движение, произнести одно слово — он был уже моим пленником. Удивление его было так велико, что в продолжение целого часа он был не в состоянии произнести ни слова. Когда принесли свечу и он увидел наши черные лица, а

меня одетого угольщиком, на него нашел какой-то панический ужас — он вообразил, что имеет дело с нечистой силой. Придя в себя, он подумал о своем оружии — кинжале и пистолетах, лежавших на ночном столике. Взгляд его остановился на них, он сделал только судорожное движение и более не тронулся; в своем полном бессилии он решился покориться и только сердито поводил глазами.

Произвели обыск в квартире этого разбойника, пользовавшегося такой ужасной славой, и отыскали значительное количество золотых вещей, драгоценностей и бриллиантов на сумму от восьми до десяти тысяч франков. Пока делали домашний обыск, Фоссар, очнувшись от своего столбняка, открыл мне, что под мраморной доской камина есть еще десять билетов, по тысяче франков каждый. «Возьми их, — сказал он, — потом разделим, или, вернее, ты возьмешь себе сколько хочешь». Я отыскал билеты по его указанию. Сели на извозчика и отправились в канцелярию г-на Анри, где были сложены все вещи, найденные у Фоссара. Их переписали, и, дойдя до последнего предмета, комиссар, сопровождавший меня для пущей правильности экспедиции, объявил, что инвентарь тем и за-

кончен.

— Погодите одну минуту, — воскликнул я, — вот еще десять тысяч франков, которые мне отдал обвиняемый. — И я вручил им сумму, к великому сожалению Фоссара, бросившего на меня взгляд, в котором я ясно прочел: вот штука, которую я ввек не прощу тебе.

Фоссар смолоду дебютировал на поприще преступлений. Он принадлежал к уважаемому семейству и получил даже довольно хорошее воспитание. Его родители всеми силами старались заглушить в нем преступные наклонности; несмотря на их советы, он по горло погряз в дурном обществе. Он начал свою карьеру, воруя малоценные предметы, но, войдя во вкус этого опасного ремесла и стыдясь, вероятно, попасть в категорию мелких воришек, он сделался, как говорят они, вором высшей школы. Известный Виктор Дебуа и Ноёль, которые до сих пор живут в преданиях галер как лучшие их украшения, были его союзниками и помощниками; они вместе совершали кражи, послужившие причиной их осуждения на пожизненную каторгу. Ноёль, который в качестве учителя музыки имел доступ в богатые и знатные дома, брал там слепки с замков, а Фоссару потом поручал подделывать

ключи. В этом искусстве они могли соперничать с самыми гениальными слесарями-механиками земного шара. Не было препятствий, которых они не могли бы победить; самые сложные замки, самые замысловатые секреты недолго сопротивлялись им.

Понятно, какую выгоду мог извлечь из этого пагубного искусства человек, который, кроме того, обладал в высшей степени способностью втираться в общество честных людей и одурачивать их. Прибавьте к этому скрытный, холодный темперамент, мужество и терпение. Его товарищи смотрели на него, как на царя воров, и действительно из воров высшей школы и аристократии мазуриков двое только могли с ним сравниться: Коньяр, граф Сент-Элен, и Жоссаз, о котором я упоминал в своих записках.

С тех пор как Фоссар, по моей милости, был отправлен в галеры, он не раз пытался бежать. Освобожденные галерники, недавно видевшие его, уверяют, что он стремился к свободе единственно с целью отомстить мне. Он дал обет погубить меня. Если бы выполнение этого обещания зависело от него, то я уверен, что он сдержал бы слово хотя бы для того, чтобы доказать свою отвагу. Я расскажу два случая, которые могут

дать понятие об этом человеке.

Однажды Фоссар приготовился совершить покражу из квартиры во втором этаже. Его товарищи, сторожившие на улице, имели неловкость пропустить по лестнице хозяина дома, которого они, должно быть, не узнали. Хозяин отпирает дверь своим ключом, проходит по нескольким комнатам и доходит до кабинета, где застает вора на месте преступления. Он бросается, чтобы схватить его, но Фоссар защищается и убегает. Перед ним отворенное окно: он прыгает в него, падает на улицу, не повредив себе членов, и, вскочив, исчезает с быстротою молнии.

В другой раз он собрался бежать из острога, но его настигают на крыше Бисетра; по нем дают несколько ружейных выстрелов. Фоссар, которого ничто не смущает, продолжает идти спокойно, не торопясь и не замедляя шагов, и, дойдя по крышам до поля, спускается вниз. Ему грозила опасность тысячу раз сломать себе шею, но с ним ничего не сделалось, ни малейшей контузии, только сотрясение было так сильно, что все швы его платья лопнули.

Глава двадцать девятая

Погром в Куртиле. – Убеждаются, что я сыщик. – Несколько слов о бригаде общественной безопасности. – 772 ареста. – Обращение великого грешника. – Биография Коко-Лакура. – Г. Делаво и Тру-мадам. – Утверждение грамоты о помиловании меня. – Взгляд на продолжение этих записок

Во время ареста Фоссара бригада общественной безопасности уже существовала, и с 1812 года, то есть со времени ее учреждения, я уже не был более тайным агентом. Имя Видока приобрело популярность, и многие лица применяли его вовсе не ко мне. Первая экспедиция, которая прославила меня перед всеми, была направлена против опасных сборищ Куртиля. Однажды г-н Анри выразил желание произвести облаву у Дюпойе, то есть в кабаке, более всего посещаемом буянами, бродягами и мошенниками всевозможного сорта. Иврие, один из полицейских офицеров, присутствовавших при разговоре, заметил, что для выполнения этого плана понадобится целый

батальон.

— Батальон, — воскликнул я, — отчего уж не целая армия? Что до меня касается, — продолжал я, — то пусть дадут мне восемь человек, и я отвечаю за успех.

Г. Иврие, как известно, был человек раздражительный; он покраснел от досады и заметил, что я больше ничего как пустозвон.

Как бы то ни было, я поддержал свое предложение, и мне было отдано приказание действовать. Крестовый поход, который я должен был предпринять, был направлен против воров, беглых преступников и многих дезертиров из колониальных батальонов. Захватив с собою целый запас ручных оков, я отправился в путь с двумя помощниками и восемью жандармами. Прибыв к Дюпойе в сопровождении своих спутников, я вошел в зал и подал музыкантам знак умолкнуть, они повиновались. Но вдруг послышались глухой ропот и сдержанное восклицание: вон его! долой его! Терять времени не приходилось — надо было осилить зачинщиков и крикунов, прежде нежели они успеют разгорячиться и перейти к действию. Я предъявляю свое полномочие и во имя закона прошу всех выйти, за исключением женщин. Компания не так-то легко повиновалась

моему приказанию; впрочем, через несколько минут самые буйные покорились и все потянулись к выходу. Я встал у двери и, узнавая между выходившими тех, кого мы искали, намечал на их спинах крест мелом — это был для жандармов условный знак, чтобы арестовать их. Таким образом было схвачено тридцать два мошенника; их отвели предварительно в участок, а потом в полицейскую префектуру.

Смелость этой проделки наделала много шуму среди народа, посещающего увеселительные заведения за заставой. Скоро всем плутам и подозрительным людям стало известным, что есть на свете сыщик по имени Видок. Самые отчаянные из них дали обещание укокошить меня при первой встрече. Некоторые из них пытались было сделать это, но были отражаемы с потерями, а понесенные ими неудачи до такой степени упрочили за мной славу, что она отчасти отразилась на всех членах моей бригады. Между ними не было ни одного, который не прослыл бы за Алкида; часто забывая, о ком идет речь, я содрогался, когда простолюдины, не зная меня совершенно, говорили обо мне в моем присутствии или присутствии моих агентов. Все мы были какие-то колоссы; горный дух и леший менее страшили

народ, сеиды уступали нам в преданности своему делу. Мы ломали беспощадно руки и ноги — ничто не могло устоять перед нами, — мы были вездесущи. Предполагали даже, что я неуязвим и покрыт броней с ног до головы. Организация бригады последовала вскоре после экспедиции в Куртиль. У меня сначала было четыре агента, потом шесть, десять и, наконец, двенадцать. В 1817 году у меня было их столько же, а между тем с этой горстью людей я совершил от 1 января до 31 декабря семьсот семьдесят два ареста и тридцать девять обысков с захватом украденных вещей.

Как только ворам стало известно, что я буду возведен в должность главного агента охранительной полиции, они сочли себя погибшими. Более всего их беспокоило то, что я был окружен людьми, жившими и *работавшими* вместе с ними в течение многих лет и потому знавшими их наперечет.

Число арестов, сделанных мною в 1813 году, не было так велико, как в 1817-м, но этого было достаточно, чтобы поселить в них тревогу. В 1814 и 1815 годах в столицу прибыл целый рой парижских воров, выпущенных с английских понтонов, где они находились в плену; по возвращении

они не замедлили снова взяться за свое ремесло. Эти люди никогда не видели меня, я их также не знал, и они надеялись легко ускользнуть от моей наблюдательности. Поэтому их дебют отличался редкой отвагой и дерзостью. В одну лишь ночь в фобурге Сен-Жермен состоялось десять покраж со взломом. В течение целых шести недель только и слышно было о подвигах подобного рода. Г-н Анри был в отчаянии, не находя никакого средства для ослабления грабежа; он постоянно был настороже и все-таки ничего не мог открыть. Наконец, после многих бессонных ночей бывший вор, которого я заарестовал, дал мне несколько указаний, и месяца в два мне удалось предоставить в руки правосудия шайку в двадцать два мазурика, другую шайку в двадцать восемь человек, третью в восемнадцать и много других, не считая самостоятельных мошенников, а также довольно значительное число укрывателей ворованных вещей, и все они были отправлены в галеры по моей милости. В это время мне дано было дозволение завербовать в свою бригаду четырех новых агентов из воров, которые имели удовольствие знать вновь прибывших до их отъезда.

Трое из этих ветеранов — Горо, Флорентен и Коко-Лакур, — уже давно находившиеся в заклю-

чении в Бисетре, настойчиво просили, чтобы им позволили заняться при полиции; они клялись, что исправились окончательно, и обещали жить впредь честными людьми заработком рук своих, то есть жалованьем, которое им доставит полиция. Они сызмальства вступили на путь преступления; я думал, что если бы они действительно решились изменить свое поведение, то никто не был бы в состоянии принести такую громадную пользу. Поэтому я поддержал их просьбу, и хотя мне возражали, что это закоренелые преступники-рецидивисты, но мне удалось настойчивыми просьбами и ходатайствами, мотивированными пользой, которую можно извлечь из их услуг, достигнуть наконец, чтобы их освободили. Коко-Лакур, против которого были в особенности сильно предубеждены, так как он, в бытность свою тайным агентом, говорят, похитил серебро у главного инспектора Вейра, — Коко-Лакур был единственным из трех, который не заставил меня раскаяться в том, что я некоторым образом поручился за него. Двух других я принужден был скоро удалить; потом я узнал, что они снова попались в Бордо в каком-то скверном деле. Что касается Коко, то я был уверен, что он сдержит слово, и не ошибся. Он был малый

чрезвычайно смышленый, получивший некоторое образование, поэтому я отличил его перед другими и сделал своим секретарем. Позднее, вследствие какого-то выговора или замечания с моей стороны, он подал в отставку вместе с двумя своими товарищами — Декостаром, прозванным Прокурором, и неким Кретьеном. В настоящее время Коко-Лакур — начальник охранительной полиции; в ожидании его записок, может быть, небезынтересно будет рассказать, через какие мытарства он прошел прежде, нежели достиг поста, который я так долго занимал. В его жизни много есть эпизодов, говорящих в пользу снисхождения, и его радикальное исправление служит доказательством того, что нельзя отчаиваться в раскаянии самого испорченного, развращенного человека. Я сделаю очерк истории моего преемника на основании подлинных документов. Вот, во-первых, какие следы он оставил по себе в префектуре полиции. Открываю реестры и читаю:

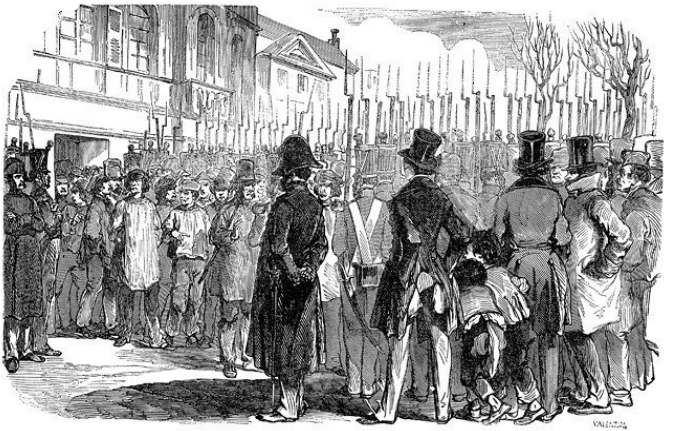
«Лакур, Мари-Бартелеми, одиннадцати лет, живет в улице Лицея, внесенный в тюремную роспись 9 вантоза IX года за покушение на воровство; одиннадцать дней спустя приговорен исправительным судом на один месяц тюремно-

го заключения.

Тот же, арестованный 2 прериаля того же года и снова препровожденный в Форс по обвинению в краже кружев из одной лавки. Выпущен в тот же день по распоряжению полиции 2-го округа.

Тот же, заключен в Бисетре 23 термидора X года по распоряжению г-на префекта; освобожден 28 плювиоза XI года и отведен в префектуру.

Тот же, вступил в Бисетр 6 жерминаля XI года по распоряжению префекта; передан в жандармское управление 22 флореаля для препровождения в Гавр.



Тот же, 17 лет, известный вор, уже не раз схваченный на месте преступления; поступил в июле 1807 года волонтером в колониальные войска; 31-го числа того же месяца передан в жандармское управление для препровождения по назначению. Бежал с острова Рео в том же месяце.

Тот же, прозванный Коко (Бартелеми) или Луи-Бартелеми, двадцати одного года; родил-

ся в Париже, был подмастерьем у золотых дел мастера; живет в фобурге Сент-Антуан, № 297. Препровожден в Форс 1 декабря 1809 года по обвинению в воровстве. Приговорен к тюремному заключению исправительным судом 18 января 1810 года и затем препровожден в морское министерство в качестве дезертира.

Тот же, заключен в Бисетре 22 января 1812 года как неисправимый вор. Отведен в префектуру 3 июля 1816 года».

Молодость Лакура могла служить печальным примером опасности, заключающейся в дурном воспитании. Я знаю о нем только то, что со времени своего освобождения он доказал, что природа вполне одарила его счастливым темпераментом. К несчастью, родители его были бедны; отец его — портной и вместе с тем исполнявший должность дворника в улице Лицея — не слишком-то много заботился о нем в первые годы его жизни, от которых часто зависит вся дальнейшая судьба человека. Коко остался сиротой в раннем возрасте. Достоверно то, что он вырос, так сказать, на руках своих соседок — модисток и женщин легких нравов. Они находили его миленьким, пичкали сладостями, осыпали ласками и в то же время прививали ему лукавство и притворство.

Эти женщины окружили попечениями его детский возраст; они постоянно держали его при себе. Это была их игрушка, их развлечение, а когда им было не до него и они заняты были другим, то маленький Коко играл на улице с шалунами и уличными мальчишками, испорченными до мозга костей. Воспитанный развратными женщинами, выросший среди мошенников, понятно, какого рода успехи он должен был оказать. Путь, по которому он шел, был усеян терниями. Женщина, которая считала себя призванной навести его на путь истинный, приютила его у себя: это была известная Марешаль, содержательница дома терпимости на Итальянской площади. Коко там откармливали на убой, и его любезность и общительность были единственными качествами, которые его хозяйка старалась развить в нем. Он действительно стал любезным донельзя. Он всегда был готов к услугам всех и каждого, приспособляясь ко всем требованиям заведения. Между тем у молодого Лакура были свои свободные дни и часы для выхода, он сумел воспользоваться ими, так как уже на двенадцатом году попался как ловкий воришка кружев из магазинов, а попозже его последовательные аресты дали ему видное место среди так называе-

мых лазящих рыцарей. Четырех– или пятилетнее пребывание в Бисетре, где он был заключен административным порядком как опасный и неисправимый вор, не исправило его; но там, по крайней мере, он выучился шапочному ремеслу и получил первоначальное образование. Вкрадчивый, гибкий, одаренный певучим голосом и женственным лицом, которое, однако, не было красиво, Лакур понравился некоему Мюльнеру, приговоренному к каторге на шестнадцать лет, но которому дали дозволение высидеть в Бисетре срок своего наказания. Этот арестант, брат одного антверпенского банкира, был человек, не лишенный образования. В виде развлеченья он сделал Лакура своим учеником и так горячо принялся за дело, что молодой арестант скоро научился правильно говорить и писать на своем языке. Приятная наружность Коко сослужила ему немало служб; в течение всего срока заключения одна девушка, прозванная Элизой-немкой, страстно влюбленная в него, не переставала оказывать ему помощь и окружать попечениями; она буквально спасла ему жизнь и за все это видела от него одну черную неблагодарность.

Лакур был человек малорослый, не выше пяти футов двух дюймов, белокурый, с лысой голо-

вой, узким лбом, голубыми тусклыми глазами и утомленным лицом. Кончик его носа был слегка красен — это единственная часть его лица, на которую не распространилась бледность. Он до страсти любил роскошь, нарядную одежду и драгоценные украшения, на нем обыкновенно навешена была целая коллекция цепочек и брелоков. В своей речи он любил употреблять кстати и некстати изысканные, утонченные выражения. Трудно встретить человека более вежливого и обязательного, но с первого взгляда можно убедиться, что это вовсе не манеры, принятые в хорошем обществе: это были традиции большого света в том виде, как они могли проникнуть в тюрьмы и другие места, посещаемые Лакуром. Он обладал замечательной гибкостью спинного хребта, помогавшею ему удерживаться на своих должностях, и, кроме того, был лицемерен и хитер до мозга костей, как второй Тартюф.

Лакур, сделавшись моим секретарем, не мог сообразить, что для соблюдения приличий его подруга, бывшая попеременно то торговкой фруктами, то прачкой, с тех пор как перестала заниматься другим ремеслом, не худо сделала бы, избрав более подходящее занятие. По этому поводу между нами возник оживленный спор, и

Лакур, не желая уступить мне, предпочел подать в отставку. Он сделался мелким разносчиком и продавал платки на улице. Но, как гласит хроника, он скоро предался конгрегации и стал под знамена иезуитов. С этих пор он попал в милость гг. Дюплесси и Делаво. Набожность Лакура придала ему особенное значение в их глазах. Я могу засвидетельствовать один интересный факт. Во время его женитьбы его духовник наложил на него строгую епитимию, которую он выполнил до конца с редкой добросовестностью. В течение целого месяца он вставал с рассветом и ходил босиком в церковь, единственное место, где ему еще было дозволено встречаться со своей женой, которая также выполняла епитимию.

После вступления в должность г-на Делаво набожность и святошество Лакура еще удвоились. Он жил в то время в улице Захарии, и хотя поблизости была другая приходская церковь, но он каждое воскресенье ходил к обедне в собор Нотр-Дам, где как бы случайно всегда становился на виду у семейства префекта. Конечно, можно только похвалить Лакура за такое полное раскаяние, но жалко, что он не спохватился лет двадцать тому назад.

Лакур отличался мягким нравом, и если бы

ему не случалось от времени до времени напиваться пьяным, то можно было бы сказать, что единственная его слабость — это страсть к рыбной ловле. Он постоянно закидывал свою удочку неподалеку от Нового моста; он посвящал целые часы этому молчаливому занятию. Около него обыкновенно сидела женщина и надевала приманку на крючок. Это была мадам Лакур, когда-то искусная в приманках другого рода. Лакур предавался этому невинному развлечению, когда к нему внезапно явились посланные г-на Делаво. Отыскав его под аркой Марион, они застигли его за удочкой, как когда-то уполномоченные римского сената застали Цинцинната за плугом. В жизни великих людей есть сходные черты, сближающие их. Может быть, госпожа Цинциннат в свое время также продавала платья женщинам известного сорта. В настоящее время этим занимается законная супруга Коко-Лакура; но, однако, довольно о моем преемнике, продолжаю историю охранительной бригады.

Наибольшее развитие и силу она приобрела в промежутке времени от 1823 до 1824 года; в то время число агентов, входящих в ее состав, по предложению г. Паризо, было доведено до двадцати и даже двадцати восьми человек, вклю-

чая двух личностей, пользующихся доходами с игр, которые префект дозволил им содержать. С помощью этой небольшой горсти людей надо было наблюдать за тысячью с лишком освобожденных каторжников и арестантов, ежегодно производить от четырех до пяти сот арестов, по распоряжению префекта или судебной власти добывать сведения, предпринимать розыски и всевозможные уловки, делать ночные обходы, столь частые и столь трудные зимою; помогать полицейским комиссарам в их обысках и допросах, наблюдать за различными общественными сборищами, дежурить у входа в театры, на бульварах, заставах и в других местах, служащих сборными пунктами для мошенников. Какую деятельность должны были проявить эти двадцать семь человек, чтобы поспеть всюду на таком громадном пространстве, в столь разбросанные пункты! Мои агенты обладали способностью размножаться, разрываться на части; я постарался породить в них усердие и преданность и сам подавал им пример. Не было ни одного опасного случая, в котором я не рисковал бы собою, и если самые важные преступники были арестованы благодаря моей заботливости, то я не хвастаясь могу сказать, что самые смелые были захвачены

мною. Состоя главным агентом охранительной полиции, я мог бы в качестве начальника замкнуться в бездействии в своем бюро в улице Св. Анны, но, занятый своим делом непосредственнее, ближе и полезнее, я приходил в бюро только для того, чтобы отдавать распоряжения, принимать отчеты и выслушивать жалобы.

До самой моей отставки от должности охранительная полиция, по-моему единственно необходимая, которая по-настоящему должна была бы поглощать большую часть капиталов бюджета, так как суммы эти назначены преимущественно для нее, — охранительная полиция никогда не имела в своем распоряжении более тридцати человек и никогда не стоила более 50 000 франков в год, из коих мне было предназначено пять тысяч. Таковы были первоначально расходы на охранительную полицию. С таким небольшим персоналом и такими незначительными средствами мне удалось наблюдать за безопасностью в недрах столицы, насчитывающей до миллиона населения. Я уничтожил все злодейские шайки и ассоциации, помешал им возродиться снова, и в течение года после того, как я покинул службу при полиции, не образовалось новых, хотя воровство значительно усилилось против прежнего.

Дело в том, что главные искусники были запрятаны в тюрьмы и галеры в то время, когда мне было поручено их преследовать и дано право наказывать их.

До меня иностранцы и провинциалы смотрели на Париж как на какой-то вертеп, в котором постоянно надо быть настороже и где всякий вновь приезжий непременно будет жертвой своей неопытности. Но с тех пор как я вступил в должность, не было ни одного департамента во Франции, где бы не было в течение года совершено большее число преступлений, и даже более ужасных, нежели в департаменте Сены. Нигде также не было совершено менее покушений, оставшихся безнаказанными. И действительно, с 1814 года постоянная бдительность национальной гвардии значительно содействовала этим блестящим результатам. Нигде эта бдительность вооруженных граждан не была столь необходимой, более настоятельной; но согласитесь с тем, что в это время, когда распущенность нашего войска и частые дезертирства иностранных солдат достигли крайних пределов и наши города, а в особенности метрополия, были наводнены множеством мошенников, авантюристов и бродяг всех наций, — естественно, что, помимо нацио-

нальной гвардии, много работы оставалось на долю бригады для охранения безопасности. И действительно, мы трудились неутомимо и сделали много; говоря по справедливости, национальная гвардия заслужила полное уважение своими заслугами; признаюсь, что без нее трудно было бы восстановить безопасность в столице. Я всегда видел в них редкую смышленость, добрую волю и преданность общественному благу — качества, которых мне никогда не случалось встречать ни у солдат, ни у жандармов, усердие которых в большинстве случаев проявляется в грубости и насилиях, когда опасность минует. Я подготовил будущность настоящей охранительной полиции, и в ней не скоро забудутся оставленные мною предания и воспоминания. Но как бы ни было велико искусство моего преемника, до тех пор, пока Париж будет лишен гражданской стражи, не удастся положить преграду злодеяниям мошенников; постепенно возникают новые поколения, так как нет никакой возможности наблюдать за ними во всякое время и во многих пунктах зараз. Начальник охранительной полиции не может быть вездесущим, и каждый из ее агентов не сторукий Бриарей.

Пробегая газетные столбцы, невольно поража-

ешься громадным количеством краж со взломом, совершающихся каждую ночь, а между тем газетам не было известно и одной десятой всех преступлений. Казалось, будто целая колония каторжников поселилась на берегах Сены. В самых населенных, самых многолюдных улицах торговцы не могли спокойно спать. Парижанин не решался покинуть своего дома для увеселительной прогулки за город; только и разговоров было о дверях, отпертых поддельными ключами, о кражах со взломом, об ограбленных квартирах и т. д. А между тем было лето, время года наиболее благоприятное для этих несчастных. Что будет зимою, в суровую непогоду, когда прекратятся работы и многие останутся без куска хлеба. Вопреки уверениям некоторых королевских прокуроров, которые упорно игнорируют, что у них делается под носом, нищета порождает преступления, а нищета в дурно организованном социальном строе приносит такое зло, от которого всегда можно было бы уберечься, если человек трудолюбив. Моралисты старого времени, когда людей было не так много на свете, могли сказать, что одни лентяи подвергаются опасности умереть с голоду; теперь же все изменилось, и если поразмыслишь, то сейчас же убедишься, что не только

не для всех найдется работа, но даже плата за известный труд недостаточна для удовлетворения самых насущных потребностей. Если обстоятельства тяжелые, если в торговле застой, если промышленность тщетно старается найти сбыт для своих произведений и если она разоряется по мере того, как производит, как помочь такому громадному злу? Конечно, гораздо лучше было бы помогать недостаточным, нежели думать о том, как вывести их из отчаяния. Но ввиду невозможности сделать нечто лучшее, на краю кризиса, не следует ли прежде всего упрочить гарантии общественной безопасности? А какая гарантия в подобном случае могущественнее постоянного присутствия гражданской гвардии, которая непрестанно наблюдает, действует под сенью законности и чести? Можно ли заменить такое великодушное учреждение полиции, растяжимые рамки которой могут изменяться по желанию? Разве придется употребить в дело легион агентов, которых можно отпустить, когда более не нуждаются в их услугах. Нельзя упускать из виду, что охранительная полиция до настоящего дня набиралась из тюрем и галер, считавшихся высшей школой для сыщиков и полицейских шпионов, рассадников, откуда их

удобнее всего набирать. Употребите таких людей в дело, а потом попробуйте спровадить их после того, как они узнали приемы полиции. Они вернутся к прежнему своему ремеслу, но с большими шансами на успех. Мне самому пришлось убедиться на опыте в истине этого мнения. Нельзя сказать, чтобы члены моей бригады — а она вся исключительно состояла из людей, судившихся за преступления, — сделались неспособными к честности, я могу упомянуть двух-трех, которым я не поколебался бы доверить большие суммы денег, не требуя расписки и даже не пересчитав деньги, но люди, исправившиеся таким радикальным образом, всегда очень редки, а это не значит, что среди них меньше честных людей, нежели в других классах общества, к которым считают лестным принадлежать. Я видел, как один из моих подчиненных пустил себе пулю в лоб, потому что имел несчастие проиграть порученную ему сумму в пятьсот франков. Часто ли встречаются подобные случаи в биржевом мире, а между тем!.. Но здесь не место пускаться в похвалы охранительной бригаде с точки зрения, не относящейся к ее должности. Я хочу только доказать неудобство иметь многочисленный персонал шпионов, а это неудобство происходит

от упомянутой мною причины, не говоря уже о том, что это вредно для нравственности народа, так как он свыкается с мыслью, будто всякое преступление служит ступенью к обеспеченному состоянию и что полиция — не что иное, как сборище галерных инвалидов. С организацией этой бригады и начинается главный интерес моих записок. Может быть, находят, что я слишком исключительно говорил о своих личных интересах, но мне хотелось показать, через какие мытарства я прошел, прежде чем сделался геркулесом, которому было суждено очистить страну от бичей, нарушающих ее спокойствие. Я достиг этого не в один день; я прошел через долгую карьеру многотрудного опыта. Я буду иметь случай рассказать о своих трудах, об усилиях, которые я должен был употребить, об опасностях и препятствиях, которые преодолел, о хитростях и уловках, на которые пускался, чтобы добросовестно выполнить возложенную на меня миссию и превратить Париж в местопребывание безопасности. Я разоблачу деяния и приемы воров, признаки, по которым их можно узнать; опишу их нравы, привычки, язык и одеяние сообразно с их специальностями, так как воры имеют различные костюмы. Я предложу действительные меры,

чтобы прекратить злодеяния и парализовать пагубное искусство этих «дельцов», искателей приключений, мнимых фабрикантов, маклеров и тому подобных, которые, невзирая на учреждение Сент-Пелажи, ежедневно отнимают у торгового люда целые миллионы. Я расскажу обо всех уловках, с помощью которых мошенники надувают народ. Я распределю преступников по различным классам, начиная с убийц и кончая карманниками, сформирую их в категории более определенные и более целесообразные, нежели категории Ла-Бурдонэ, составленные в 1815 году, так как, по крайней мере, по ним можно будет с первого взгляда узнать подозрительных людей и подозрительные места; я выставлю перед глазами честного человека все ловушки, в которые он может попасть; я обнаружу криминалисту все лазейки, все выходы, с помощью которых виновным часто удается обмануть прозорливость судей.

Я выведу на свет божий все пробелы и недостатки в нашей уголовной практике и нашей системе карательных мер, столь нелепой во многих отношениях. Я потребую пересмотра, изменений, поправок, и моя просьба будет уважена, так как правда, откуда бы она ни появилась, в

конце концов всегда восторжествует. Я предложу важные улучшения в режиме тюрем и галер, и так как более, нежели кто-либо, принимаю к сердцу страдания моих товарищей по несчастью, осужденных или выпущенных на волю, то я приложу все свои старания, и, может быть, мне посчастливится представить гуманному законодателю данные, по которым ему возможно будет несколько улучшить их горькую судьбу. В правдивых и ярких красках я опишу выдающиеся черты слоев общества, еще чуждых цивилизации. Я с точностью воспроизведу физиономию этой касты отверженных париев и достигну того, чтобы почувствовали необходимость некоторых учреждений, способствующих исправлению и облагорожению нравов известной части населения; мне приходилось лично изучать эти условия, и я более, чем кто-либо, могу дать о них все точные сведения.

Я удовлетворю любопытству во многих отношениях; но это не единственная цель, которой я задался; необходимо, чтобы испорченность этих классов населения уменьшилась, чтобы покушения на чужую собственность случались реже, чтобы проституция перестала являться неминуемым последствием известных небла-

гоприятных условий жизни и чтобы разврат, до того постыдный, что виновные поставлены даже вне закона, наконец совсем исчез или, по крайней мере, перестал служить соблазном своей дерзкой наглостью. Следует отыскать начало зла и вырвать его с корнем. Знатные лица запятнаны этой постыдной и порочной слабостью, которая за последнее время сделала ужасающие успехи. При виде уважаемых имен в этом списке современных Сарданапалов, нельзя не сетовать на слабости человеческой природы, а между тем в эти списки занесены только лица, вызвавшие вмешательство полиции по поводу неприятностей, которые они навлекли на себя своим гнусным поведением.

В публике судачили, что я в своих записках не намерен говорить о политической полиции, но я задался целью затронуть все отрасли полицейского ведомства — начиная от полиции иезуитов до придворной, от полиции, наблюдающей за нравственностью, до дипломатической полиции (политического шпионства). Я разоблачу всю механику этих машин, которые приводятся в движение не ввиду общего блага, но ради личных интересов того, кто поставлен за ней надсмотрщиком, то есть другими словами —

первого встречного. Политическая полиция равносильна понятию об учреждении, созданном и содержимом с целью обогатиться на счет правительства, постоянно поддерживая его тревоги и опасения; с политической полицией связано также стремление записывать в бюджет тайные расходы, изобретать какое-нибудь употребление для сумм, часто незаконно и непроизводительно взимаемых (налог на публичных женщин и разные другие мелочные повинности), стремление некоторых чиновников придать себе значение и важность, заставляя думать, будто правительству угрожает опасность; наконец, желание доставить заработок целой шайке низких авантюристов, интриганов, игроков, обанкротившихся купцов, доносчиков и т. п. Может быть, мне посчастливится выяснить всю бесполезность этих постоянных агентов, предназначаемых для того, чтобы предупреждать покушения, повторяющиеся от времени до времени, преступления, которых и не существовало, заговоры, которых они никогда не раскрывали, разве только подготовили их сами. Я намерен распространиться обо всем беспощадно, беспристрастно, безбоязненно.

Я скажу всю правду в качестве свидетеля или действующего лица в событиях.

Я всегда питал глубокое презрение к политическим шпионам по двум причинам: во-первых, не выполня своей миссии, они делаются обманщиками, а выполняя ее и затрагивая личности — они делаются подлецами. По своей профессии я принужден иметь сношения с этими шпионами, состоящими на жалованье; я знал их всех более или менее близко и всех поименно… Я никогда не мог разделять их подлости; но я отлично видел их происки и подкопы, мне досконально известны все мины и контрмины, которые полиция пускает в ход. Я изучил, каким образом можно обеспечить себя от их действия, как можно насмеяться над ними, сбить их с толку в их коварных замыслах и комбинациях и иногда водить их за нос. Я все изучил, за всем наблюдал, ничто не ускользнуло от моего внимания, и люди, давшие мне возможность делать мои наблюдения, не были изменниками, «ложными братьями», так как я был во главе одного из отделений полиции и они могли предположить, что я принадлежу их компании: разве мы не черпали из одной казны?

Поверят мне или нет, но я нарочно сделал здесь несколько унизительных признаний, чтобы не могли сомневаться в том, что я непременно, не колеблясь признался бы в своем участии в

политическом шпионстве, если бы участие это действительно существовало. Газеты, не всегда получающие достоверные сведения, уверяли, что я присутствовал на различных сходках, что я со своей бригадой участвовал в экспедициях во время июньских смут и по случаю похорон генерала Фуа, в годовщину смерти молодого Лалемана, в школах медицины и правоведения, когда дело шло о том, чтобы заставить восторжествовать учение конгрегации. Меня можно было действительно видеть всюду, где только было многолюдное сборище, но из этого по справедливости можно заключить только то, что я разыскиваю воров и карманников там, где вероятнее всего их встретить. Я наблюдал за мазуриками, отрезывающими часы и кошельки у партизанов всех партий, но смею утверждать, что ни один субъект, схваченный по обвинению в мятеже, не мог сказать, чтобы арестовавший его был из наших агентов. Нельзя никаким образом смешивать политических шпионов с сыщиками, существующими, собственно, для воров и мошенников. Круг действия их резко выделяется: первому необходима только некоторая степень мужества, чтобы арестовать честных людей, которые обыкновенно не оказывают сопротивле-

ния. Второй имеет надобность в мужестве совсем иного рода: мошенники — народ непокорный. Одно время упорно держался слух, будто бы я, переодетый в водовоза, находился в группе студентов, не желавших лекций профессора Рекамье, и что я чуть-чуть не поплатился жизнью. Слух этот не имеет, однако, никакого основания. Действительно, заметили одного шпиона, которому угрожали и даже производили над ним насилие; но, к моему благополучию, это был вовсе не я. Если бы мне случилось быть среди этих молодых людей, то я бы не поколебался объявить им свое имя. Они скоро убедились бы, что Видоку нет никакого дела до папенькиных сынков, не занимающихся карманным воровством. Если бы я очутился между ними, мне удалось бы избегнуть всяких неприятностей, и всем стало бы очевидно, что моя миссия состоит не в том, чтобы мучить и тиранить людей, уж без того выведенных из себя. Человек, спасшийся от разъяренных студентов, скрывшись в боковой аллее, был полицейский офицер, некто Годен. К тому же, повторяю, политические преступления, бунтовщики и т. п. вовсе не моя специальность, и если бы в моем присутствии произнесли самое революционное воззвание, то я счел бы долгом не

заметить его. Политическая полиция обходится без регулярных сил: в случае надобности она всегда располагает волонтерами, служащими за жалованье или же даром и всегда готовыми исполнять ее желания. В 1793 году она рассылала всюду своих агентов, которые вырастали из земли и после избиения возвращались в нее. Люди, разбивавшие стекла в 1827 году перед резней в улице Сен-Деми, надеюсь, не были членами моей бригады. Призываю в свидетели гг. Делаво и Франшэ. В Париже есть люди еще похуже освобожденных арестантов, и во многих случаях пришлось убедиться, что они не всегда решаются делать все, что от них пожелали бы потребовать. Роль моя в политической полиции ограничилась исполнением нескольких приказов королевского прокурора и министров, но эти приказы были бы отлично исполнены и без меня, так как были обставлены необходимой законностью. К тому же никакие силы земные, никакие соблазны не могли заставить меня действовать вразрез с моими принципами и чувствами; можно быть уверенным в моей искренности, узнав, по каким причинам я добровольно избавил себя от должности, которую занимал в течение пятнадцати лет; когда узнают источники нелепой

выдумки, будто я был повешен в Вене за попытки умертвить сына Наполеона, и когда я расскажу, с какими иезуитскими кознями связан вымысел об аресте одного вора, которого будто бы недавно схватили позади моей кареты, когда я проезжал по площади Бодуабе.

Составляя свои записки, я сначала предполагал кое-что сократить и умолчать ввиду моего личного положения — это была осторожность с моей стороны. Хотя, помилованный с 1818 года, я, однако, не был вне строгости административных мер; грамота помилования, которую я получил, не была формально утверждена; за отсутствием ревизии очень могло случиться, что власти, в распоряжении которых я находился, заставят меня раскаяться в некоторых разоблачениях. Но теперь, когда я в своем торжественном заседании, состоявшемся 1 июля, уголовный суд в Дуэ объявил, что мне возвращаются права, отнятые у меня по ошибке, — теперь я не опущу ни слова, не скрою ничего, что мне следует сказать, я буду нескромен именно в интересах государства и общественного блага; намерение это будет просвечивать во всякой странице моих записок. С тем чтобы безукоризненно выполнить эту цель и никаким образом не обмануть

общего ожидания, я возложил на себя задачу, весьма тяжелую для человека, более привыкшего действовать, нежели повествовать, — а именно: изменить часть своих записок. Они были уже готовы, вполне окончены, и я мог бы обнародовать их в таком виде, но, не говоря уже об излишней сдержанности, читатель легко мог бы заметить в них постороннее влияние, которому я подчинился невольно, не сознавая этого. Не доверяя самому себе и мало знакомый с требованиями литературного мира, я часто подчинялся советам и наущениям одной личности, называвшей себя литератором. К несчастью, я узнал, что этот господин был за известное вознаграждение подослан ко мне с целью изуродовать мою рукопись и представить меня самого в гнусных красках, искажая смысл того, что я хотел сказать. Весьма серьезное приключение, случившееся со мной, — перелом правой руки, вследствие чего мне принуждены были отнять ее, — содействовало выполнению этого плана. Поспешили воспользоваться временем, когда я терпел страшные муки. Первые главы были уже напечатаны, когда открылась вся эта гнусная интрига. Чтобы вполне разоблачить и разрушить ее, я мог бы начать свою историю снова, но до сих пор дело

шло только о моих личных приключениях, и хотя меня стараются в них представить в дурном свете, но я надеялся, что, помимо разных мелочей, факты остаются те же, и поэтому сумеют оценить их по их значению и вывести из них справедливые заключения. Вся часть рассказа, касающаяся моей частной жизни, оставлена мною неприкосновенной; я был властен принести в жертву свое самолюбие — жертву эту я принес, рискуя заслужить обвинения в нескромности. Но со времени моего поступления в булонские корсары можно заметить, что я веду рассказ самостоятельно. Барон Пакье одобрил мою прозу; он всегда имел к ней особенную слабость; помню, как часто он хвалил редакцию докладов, которые я представлял ему; как бы то ни было, но я исправил недостатки, насколько был в силах, и, невзирая на то что я сильно занят управлением большого промышленного заведения, учрежденного мною, я решился окончательно переделать часть моей книги, касающуюся полиции. Необходимость подобного труда причинила некоторое промедление, но в то же время она оправдывает его, и публика ничего не потеряет. В былое время Видок, находясь под гнетом обвинения, мог говорить не иначе как с известной сдержанностью,

теперь же Видок, свободный гражданин, имеет право выражаться открыто.

Глава тридцатая

Мошенники до революции. – Развлечения некоего генерал-лейтенанта. – В былое время и теперь. – Смерть Картуша. – Вербовка волонтеров в колониальные полки. – Горбуны, выстроенные в шеренгу, и галоп хромых. – Пресловутый Фламбор и прелестная еврейка. – «Chauffeur», превратившийся в полицейского сыщика. – Можно быть в одно и то же время патриотом и вором. – Лучшие друзья в свете. – Два часа, проведенные в Сен-Роше. – Старик в затруднительном положении. – Опасность проходит мимо корпуса жандармов. – Бупиль принимает меня за зубного врача

Не знаю, каких таких сыщиков имели при полиции гг. Сартин и Ленуар, известно только то, что во времена их администрации ворам была, что называется, лафа, и их водилось немало в Париже. Главный начальник полиции мало заботился о том, чтобы остановить их подвиги, это было не его дело; только он не прочь был

познакомиться с ними и от времени до времени заставлял их забавлять себя, если знал их за людей ловких и искусных в ремесле.

Приезжал, например, в столицу какой-нибудь знатный иностранец; начальник тотчас же снаряжал к нему цвет мошенников и за приличную плату, обещанную заранее, предлагал им доказать свое искусство, похитив у приезжего часы или какую-нибудь ценную вещь. Если покража удавалась, то немедленно уведомляли об этом господина начальника полиции, и иностранец, явившись к нему, разевал рот от удивления: едва успевал он заявить о пропаже, когда вещь уже возвращалась ему.

Де Сартин, о котором было столько толков и о котором продолжают говорить до сих пор, не нашел, по-видимому, лучшего средства, чтобы доказать, что французская полиция лучшая во всем мире. Подобно своим предшественникам, у него было странное пристрастие к мошенникам, и те из них, чью ловкость он раз особенно заметил и отличил, могли быть уверены в безнаказанности.

Часто он делал вызовы; призвав их в свой кабинет, он обращался к ним со словами: «Господа, дело идет о том, чтобы поддержать репутацию и

честь парижских мошенников; уверяют, что вам не удастся совершить такую-то покражу… Лицо, до которого это касается, настороже, поэтому примите предосторожности и подумайте о том, что я поручился за ваш успех».

В эти счастливые времена г. начальник полиции не менее гордился своими мазуриками, нежели блаженной памяти аббат Сикар своими глухонемыми. Важные сановники, посланники, принцы, сам король приглашались любоваться на их подвиги. В наше время держат пари на скаковых лошадей — тогда держали пари на искусство карманников. В обществе если желали повеселиться, то посылали за одним из мазуриков, находящихся в распоряжении начальника полиции, так просто, как теперь послали бы за жандармом. У г. де Сартина всегда было их под рукой штук двадцать самых пронырливых — для развлечения двора. Обыкновенно это были маркизы, графы, дворяне или, по крайней мере, люди, имеющие вид и манеры придворных, от которых их тем труднее было отличить, что в игре их соединяла общая наклонность, страсть к шулерству и плутовству.

Хорошее общество, по своим манерам и привычкам мало разнившееся от мошенников,

могло, не компрометируя себя нисколько, допустить их в свою среду. Я читал в мемуарах времен Людовика XV, что их приглашали на вечера, как в наши дни приглашают за деньги знаменитого фокусника или известного певца.

Не раз по просьбе какой-нибудь герцогини из казематов Бисетра выпускали какого-нибудь вора, известного своими ловкими штуками, и если на опыте его искусство оправдывало высокое понятие, которое составляла о нем знатная барыня, то редко случалось, чтобы г. начальник полиции, частью из дамской угодливости, частью по другим причинам, не даровал свободу такому драгоценному субъекту. В эти времена, когда у каждого сановника карманы были набиты грамотами помилования, редко самый сановный и чиновный вельможа мог устоять перед забавностью ловкого мазурика, и коль скоро последнему удалось насмешить особу, он мог рассчитывать на помилование. Наши предки были снисходительны и легче поддавались на забавы; они были проще нас, мягкосердечнее: вот почему они, вероятно, придавали такую цену тому, что не было так просто и так чистосердечно… В их глазах какой-нибудь «roue» был идеалом совершенства; они превозносили его до небес, восторгались им,

любили повествовать о его подвигах и слушать о них рассказы. Когда бедняжку Картуша повели на Гревскую площадь, все знатные дамы обливались слезами жалости — это было сущее отчаяние.

При старых порядках полиция не могла разгадать истинного значения мошенников и пользу, которую можно извлечь из них; она видела в них предмет для времяпрепровождения и только позднее решилась поручить им часть надзора над общественной безопасностью. Конечно, она отдала предпочтение наиболее знаменитым ворам, так как они всего вероятнее должны были быть смышленее других. Полиция избрала из их среды нескольких, которых сделала тайными сыщиками; они не думали отказываться от первоначального своего ремесла — воровства, но обязывались выдавать своих товарищей, помогавших им в их экспедициях. Ценою этого они имели право захватывать всю добычу для себя, и их никогда не преследовали за совершаемые ими преступления. Вот каковы были условия их союза с полицией; что касается вознаграждения, то они его не получали: и без того им предоставлялась уже важная льгота, дозволяя им заниматься безнаказанно недозволенным ремеслом. Эта безнаказанность прекращалась обыкновенно в том

случае, если виновного заставали на месте преступления, когда вмешивалась судебная власть; но это случалось довольно редко.

Долгое время в охранительную полицию допускали только не осужденных еще или освобожденных воров: в конце VI года республики в нее стали допускать беглых каторжников, которые выполняли должности сыщиков, чтоб только иметь возможность гранить парижскую мостовую. Это были орудия довольно опасного свойства, поэтому ими пользовались с известной осмотрительностью и спешили избавиться от них, коль скоро они переставали приносить пользу. Обыкновенно за ними снаряжали нового тайного агента, который, увлекая их в засаду, компрометировал их и доставлял предлог для их заарестования.

Ришар, Клике, Муль-Фарин, Бомон и многие другие, служившие при полиции, были все таким образом спроважены в галеры, где покончили свою карьеру, подвергаясь страшным преследованиям своих бывших товарищей, которым изменили. Тогда у агентов полиции была мания воевать между собою, и поле битвы оставалось за самыми хитрыми и лукавыми.

До сотни подобных личностей, из которых мно-

гих я уже поименовал, — Компер, Цезарь Виок, Лонгвиль, Симон, Бушэ, Гупиль, Коко-Лакур, Анри Лаши, Доре, Гилье, прозванный Бомбансом, Каде, Поме, Минго, Назан, Левек, Гафре, Флорентен, Бордари и многие другие — сменялись друг другом в тюрьмах; они отправляли туда друг друга посредством взаимных обвинений, конечно небезосновательных; все они воровали, иначе и быть не могло: без воровства они не имели бы возможности существовать, так как полиция не думала заботиться об их пропитании.

Первоначально число воров, поступавших на службу в полицию, было весьма ограниченно; прием, оказываемый в тюрьмах «ложным братьям», был вовсе не такого свойства, чтобы умножать их число. Было бы напрасно подозревать их в известной доле честности — нет, большая часть из них не выдавала своих товарищей из боязни поплатиться за это жизнью. Но мало-помалу эти опасения, как и всякая другая опасность, которую необходимо преодолеть, стали ослабевать. Позднее потребность избегнуть произвольных преследований, на которые полиции было дано право, способствовала распространению между ворами привычки выдавать друг друга.

Когда без дальнейших рассуждений и толь-

ко ради удовольствия полиции заключали в темницы, до нового распоряжения, субъектов, прослывших «неисправимыми ворами» (название нелепое в стране, где ничего не сделали для их исправления), многие из этих несчастных, утомившись заключением, конца которого нельзя было предвидеть, осмелились прибегнуть к странной уловке, чтобы получить прощение. Воры, прослывшие «неисправимыми», были в своем роде лица «подозрительные»: доведенные до того, что им приходилось завидовать судьбе осужденных, так как тех, по крайней мере, выпускали по истечении известного срока, — они заставляли выдавать себя за мелкие воровства, в которых часто даже были неповинны; нередко случалось, что преступление, из-за которого они судились, уступалось им за известную плату тем самым сообщником, который выдал их. Сколько бутылок осушали в кабаках те счастливцы, которым удалось сбыть за деньги какое-нибудь преступление. Счастливый был день для нового, добровольно осужденного, когда его уводили из Бисетра и препровождали в Форс; но еще счастливее он себя чувствовал в тот день, когда должен был предстать перед судьями, которые произносили над ним вердикт, в силу которого он должен

был оставаться в заключении всего несколько месяцев. По истечении этого срока ему наконец объявляли о давно ожидаемом освобождении; но вдруг перед самым выходом его снова хватали и снова он делался подсудным префекту полиции, затем снова следовало заключение в Бисетр на неопределенное время.

Не лучше была судьба женщин; тюрьма Сен-Лазар была переполнена этими несчастными, доведенными до отчаяния незаконными строгостями.

Префект неутомимо продолжал заключать в тюрьмы новые жертвы, но настало время, когда, за недостатком места, пришлось поочистить казематы, в особенности там, где люди были скучены один на другом. На этом основании он внушил так называемым неисправимым, что от них зависит положить предел их заключению и что немедленно выдадут подорожные всем тем, кто пожелает поступить на службу в колониальные батальоны. Тотчас же откликнулась толпа охотников. Все были убеждены, что им дозволят пользоваться свободой, — им ведь это обещали. Но каково было их удивление, когда за ними явились жандармы и поволокли их из одной бригады в другую, до места назначения! С этих

пор арестанты не совсем охотно стали надевать военную форму. Префект, увидев, что их рвение внезапно охладело, предписал тюремщикам уговаривать их поступать в полки, а в случае отказа он поручил даже принуждать их силой с помощью дурного обращения. Можно быть уверенным, что в подобных случаях тюремщик всегда делает более, нежели от него требуют. Тюремщик в Бисетре принуждал не только годных к оружию арестантов, но и тех, которые были положительно неспособны к военному делу. Никакое увечье, никакая болезнь не считались уважительной причиной — ему все были годны: горбатые, косые, хромые и даже старики. Напрасно они протестовали, префект решил, что они будут солдатами, и волей-неволей их перевозили на острова Олерон или Рео, где начальники их, выбранные из числа самых грубых, неотесанных армейских служак, обращались с ними, как с неграми. Весь ужас этой меры был причиной того, что многие молодые люди, не желавшие подчиняться такой горькой участи, предложили свои услуги полиции: Коко-Лакур первый решился прибегнуть к этому пути, единственно доступному. Вначале немного поломались, прежде нежели приняли его; но в конце концов, убедившись,

что человек, с раннего детства близко знавший воров, — отличная находка, префект согласился поручить его контролю тайных агентов. Лакур дал торжественное формальное обязательство сделаться честным человеком, но был ли он в состоянии удержаться на этом похвальном пути? Вознаграждения он не получал ни полушки, а когда обладаешь хорошим аппетитом, голос желудка громче голоса совести.

Быть полицейским шпионом и не получать никакого содержания — есть ли положение хуже этого? Это значит быть заодно шпионом и вором, поэтому против тайных агентов существовало предубеждение, заставлявшее обвинять их во всяком случае — были ли они виновны или нет. Если бы какому-нибудь разбойнику вздумалось ради мести донести на них, то им не было никакой возможности добиться оправдания.

Я мог бы привести тысячу случаев, когда полицейские шпионы, хотя и положительно невиновные в преступлении, в котором обвинялись, погибали вследствие приговора суда. Ограничусь тем, что упомяну о следующих двух фактах.

У председателя суда Гемара по пути его в имение украли одну из важей с вещами. В гневе на виновников покражи он дал себе слово не ща-

дить усилий, чтобы каким-нибудь путем попасть на их след; он желал навлечь на них всю строгость законов. Они по-настоящему подлежали исправительной мере, но г. Гемар не мог решиться смотреть на воровство, касающееся его особы, как на простое покушение. Всякая кара была бы слишком мягкою. Ему хотелось подвести это под категорию важных преступлений, и на этом основании он обратился к главному прокурору с требованием разъяснить вопрос, не требует ли взлом после совершения покражи увеличения наказания.

Гемар, очевидно, вызывал на утвердительный ответ и получил его. Между тем воры, имевшие дерзость возбудить желчность криминалиста, были открыты и арестованы. Их накрыли с украденными вещами, и им трудно было бы отрицать свою вину; они подозревали, что их выдал один бывший товарищ. Это был некто Бонне, полицейский шпион. Они выдали его на следствии за своего сообщника, и Бонне, хотя положительно невиновный, был, как и они, приговорен в каторжную работу на двенадцатилетний срок.

Вот и другой пример с двумя тайными агентами. Каде-Герриец со своим родственником Ледраном украли чемоданы и, вынув все, что в

них заключалось, сложили их у своих товарищей, Тормеля и его сына, а потом донесли на них при следствии. Ни в чем не повинные Тормели были действительно накрыты с украденными чемоданами и осуждены за мошенничество, выгодами которого воспользовались одни доносчики. В Бисетре и в Форсе не проходило ни одного дня, чтобы мне не случалось слышать споры этих негодяев, упрекавших друг друга в разных мошенничествах. С утра до вечера сверхштатные шпионы жестоко грызлись между собою, и их гнусные пререкания вполне выяснили мне, насколько пагубно и опасно было ремесло, которому я хотел посвятить себя. Впрочем, я не отчаивался избегнуть этих опасностей, и все приключения и неудачи, которых я был свидетелем, только послужили для меня опытом, которым я старался воспользоваться для будущих своих действий, имея в виду оградить себя от опасности.

В первых главах своих записок я упоминал о еврее Гафре, под начальство которого я, собственно говоря, был поставлен при поступлении моем в полицию. Гафре был в то время единственным тайным агентом, находящимся на жалованье. Едва я успел поступить к нему, как ему пришла в голову фантазия отделаться от меня. Я сделал

вид, что не замечаю его намерения, и если он желал погубить меня, то я со своей стороны намеревался разрушить его коварные замыслы. Мне приходилось иметь дело с сильным противником: Гафре, как говорится, собаку съел на своем деле. Когда я узнал его, он слыл за великого артиста среди воров. Свою карьеру он начал с восьми лет, а в восемнадцать был высечен и заклеймен на площади Старого рынка в Руане. Его мать, бывшая любовницей старого Фламбара, начальника руанской полиции, сначала пыталась спасти его, но, несмотря на то что она была одна из красивейших евреек своего времени, не могла добиться ничего. Гафре был слишком преступен — воплощенная Венера не могла бы склонить судей в его пользу. Он был изгнан, но Францию не покинул; когда вспыхнула революция, он не замедлил приняться снова за свои достославные подвиги среди банды chauffeur'ов, у которых он был известен под именем Калья.

Как большая часть воров, Гафре усовершенствовал свое образование в тюрьмах; он приобрел повсеместную известность, то есть не было ни одного рода и способа воровства, в котором он не был бы мастером. Поэтому-то, вопреки обычаю, он не усвоил себе никакой специальности, все бы-

ло ему под силу и под стать, начиная от «черной работы» (убийства) и кончая мазурничеством. Благодаря такому многостороннему таланту, этому обилию и разнообразию способностей, он скопил себе деньгу. Говорили, что у него есть кое-что на черный день и что он мог бы жить, не работая. Но люди такого покроя, как Гафре, обыкновенно трудолюбивы, и хотя он получал довольно значительное содержание от полиции, но не переставал прибавлять к нему барыши от своего недозволенного ремесла, что не мешало ему пользоваться доброй славой в своем квартале (квартал Сен-Мартен), где он и его закадычный друг, жид Франкфор, получили звание капитанов национальной гвардии.

Гафре сильно опасался, чтобы я не заменил его, но старая лисица не оказалась настолько хитра, чтобы скрыть свои намерения; я наблюдал за ним и не замедлил убедиться, что он старается завлечь меня в ловушку. Я сделал вид, что поддаюсь на удочку, и, когда он уже внутренне праздновал победу и подготовлял мне капкан, который я угадал заранее, он попался в свои собственные сети и высидел месяцев восемь под арестом.

Я никогда не показывал ему виду, что замечаю его коварство; что касается до него, то он про-

должал таить ко мне непримиримую ненависть, хотя по виду мы были лучшими друзьями на свете. То же самое было и с другими ворами и вместе с тем тайными агентами, с которыми я завязал сношения во время моего заключения. Они от всей души ненавидели меня, и хотя мы друг перед другом старались улыбаться, но я платил им тою же монетой. Гупиль, прозванный кулачным героем, был из числа тех, которые преследовали меня своей навязчивой дружбой; он постоянно следил за мною по пятам и исполнял роль соблазнителя, но он не оказался счастливее и ловчее Гафре. Компер, Маниган, Корве, Буте, Лелутр также пытались подставить мне ногу, но я был непоколебим благодаря советам г-на Анри. Выпущенный на волю, Гафре не отказался от своего плана скомпрометировать меня; вместе с Маниганом и Компером они задумали окончательно погубить меня, но, предчувствуя, что первая неудача не охладит их и что они не оставят меня в покое, я постоянно был настороже. Я ждал врага с твердостью; однажды, когда какой-то церковный праздник должен был привлечь много народу в Сен-Рок, он объявил мне, что я должен отправиться туда вместе с ним.

— Мы с собой возьмем также приятелей, Ком-

пера и Манигана; теперь, кстати, в Париже много мошенников из чужих, нездешних, вот они и помогут нам разузнать их.

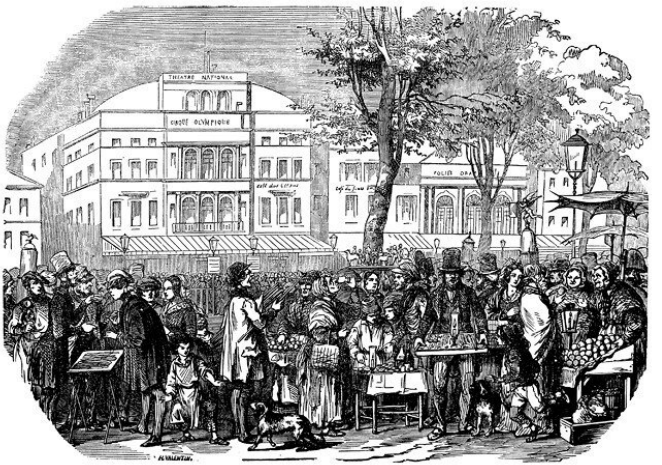
— Как хотите, — ответил я, и мы отправились.

Прибыв на место, мы увидели, что стечение народа было громадное. Долг службы требовал, чтобы мы не были скучены в одном месте; Маниган и Гафре шли впереди. Вдруг я заметил, что около того места, где они находятся, теснят старика с целью обобрать его. Прижатый к колонне, добряк не знает, что с собою делать: кричать он не хочет из уважения к священному месту, а между тем он находился в совершенно безвыходном положении; парик его сбился на сторону, шляпа вывалилась из рук.

— Господа, прошу вас! — лепечет он жалобным голосом. — Прошу вас…

Держа в одной руке трость с золотым набалдашником, в другой — табакерку и носовой платок, он беспомощно барахтается в толпе и машет руками, которые хотел бы опустить ниже, но ему мешают. Я понял, что у него в эту минуту вытаскивают часы, но что мог я сделать? Я слишком далеко стоял от жертвы, всякое вмешательство с моей стороны было бы слишком поздно, и потом, разве Гафре не был сам свидетелем и даже со-

участником этой сцены? Если он молчит, значит имеет на это основания. Я нашел благоразумнее всего наблюдать молча, и в течение двух часов, пока продолжалась церемония, я имел случай видеть пять или шесть таких же искусных уловок, причем всегда присутствовали Гафре и Маниган. Последний, находящийся теперь в Брестском остроге, приговоренный к каторжной работе на двенадцать лет, в это время был самым ловким и продувным мазуриком в столице. Он был неподражаем в искусстве перекладывать деньги из чужого кармана в свой собственный и делал это с изумительной быстротой и юркостью.



Маленькое дельце, которое он обделал в Сен-Рокской церкви, было не из самых выгодных; между тем, не считая часов старика, в его карман поступило два кошелька и несколько других не ценных предметов.

По окончании церемонии мы отправились обедать в трактир; мои спутники угощали на свой

счет; вино лилось рекою, при этом мне доверили тайну, которой от меня не могли скрыть: прежде всего зашла речь о кошельках, в которых нашли сто семьдесят пять франков звонкой монетой. Когда заплатили за обед, осталось еще лишних сто франков, на мою долю пришлось двадцать, которые мне и вручили, наказав держать язык за зубами. Так как деньги не могут доставить улик, то я не счел нужным отказываться. Мои собеседники были в восторге, что наконец посвятили меня в число своих, — в честь этого осушили две лишние бутылки белого вина. О часах не упомянули ни полслова, я тоже промолчал из предосторожности, чтобы не показаться догадливее, нежели они предполагали, но я весь обратился в зрение и слух и не замедлил убедиться, что часы были в руках Гафре. Тогда я стал притворяться пьяным и под предлогом известной надобности попросил гарсона проводить меня. Он повел меня куда следует, и я написал карандашом записку следующего содержания:

«Гафре и Маниган только что украли часы в Сен-Рокской церкви; через час если они не переменят намерения, то отправятся на рынок Сен-Жан. Украденная вещь находится у Гафре».

Я впопыхах сошел вниз, и пока Гафре и его

сообщники считали меня еще на пятом этаже, я был уже на улице и отправил гонца к г-ну Анри. Затем я снова поднялся на лестницу, не теряя времени. Мое отсутствие не было слишком продолжительно. Вернувшись, я запыхался и был красен, как вареный рак. Меня спросили, легче ли мне теперь.

— Да, гораздо легче, — пробормотал я, в изнеможении падая на стул.

— Сиди же, наконец, да держись крепче, — заметил Маниган.

— Он лыка не вяжет, да и в глазах-то у него двоится, — сказал Гафре.

— Вот уж нализался-то, — прибавил Компер, — лучше быть не может! Впрочем, на воздухе он опомнится и протрезвится.

Мне велели подать сахарной воды.

— Черт вас дери, — бушевал я, — как, неужели мне воды? Стану я вашу воду пить!

— Выпей, лучше будет.

— Ты думаешь?

Я протянул руку: вместо того чтобы взять стакан как следует, я опрокинул и разбил его. Много я говорил разного вздора и выделывал разные фокусы для потехи честной компании, а когда, по моим соображениям, г-н Анри должен был

уже получить мое послание и успел принять надлежащие меры, тогда я мало-помалу пришел в чувство.

Выходя, я с радостью заметил, что они не изменили своего первоначального намерения. Мы действительно направились на рынок Сен-Жан; там я увидел отряд жандармов. Заметив издали солдат, сидевших около ворот, я не усомнился в том, что они явились благодаря моему посланию, тем более что позади них виднелся инспектор Менаже. Когда мы проходили мимо, они вежливо остановили нас, взяли за руки и попросили следовать за ними на гауптвахту. Гафре не мог сообразить, что бы это значило; он подумал, что солдаты ошиблись. Он приготовился было возражать, но ему не дали, и пришлось волей-неволей подчиниться обыску. Начали с меня — не нашли ничего; потом дошла очередь до Гафре, который чувствовал себя не совсем ловко, и, услыхав слова комиссара, обращенные к секретарю: «Пишите: часы, украшенные бриллиантами», — он побледнел. Он сильно сконфузился и бросил на меня тревожный взгляд. Подозревал ли он о случившемся? Не думаю, так как между ними было условлено, что я не узна́ю о покраже часов, и к тому же они были уверены, что если даже

я об этом знал что-нибудь, то не мог их выдать; доказательством служило то, что я был все время с ними.

Гафре на допросе показал, что часы он купил; никто не сомневался в том, что он говорит неправду; но пострадавшее лицо не явилось требовать украденной вещи, и осудить его не было никакой возможности; тем не менее его заключили в тюрьму административным порядком, и после продолжительного пребывания в Бисетре он был отправлен под надзором в Тур, а оттуда снова вернулся в Париж, где умер в 1822 году.

В это время полиция так мало доверяла своим агентам, что прибегала ко всевозможным уловкам, чтобы испытать их. Однажды ко мне подослали Гупиля, и тот явился с престранным предложением.

— Знаешь ты Франсуа-кабатчика? — спросил он.

— Ну да, а что?

— Если хочешь, «выдернем у него зуб».

— Каким это образом?

— Вот уже несколько раз он обращается в префектуру с просьбой дозволить ему запирать заведение позднее полуночи; ему всегда отказывали, и я дал ему понять, что от тебя зависит,

чтобы ему наконец дали желаемое дозволение.

— Совершенно напрасно, я ничего не могу сделать.

— Как не можешь? Вот новость. Конечно, ты ничего не сделаешь, а только убаюкаешь его сладкой надеждой.

— Ну прекрасно, но что он от этого выиграет?

— Скажи лучше, что мы выиграем? Франсуа — такой малый, который не постоит за деньгами. Он уж знает, что ты всеми вертишь в полицейской администрации; он хорошего о тебе мнения и, понятно, раскошелится по первому требованию.

— Ты думаешь, что он действительно раскошелится?

— Наверное, дружище: он столько же дорожит шестьюстами франками, как какой-нибудь полушкой. Главное дело — обнадежить его, а потом облапошить.

— А если он узнает да рассердится?

— Ну тогда к черту его. Впрочем, не беспокойся, я беру на себя все хлопоты. Уговор лучше денег. Пойду подготовлю все как следует, рыбка попадет. — Гупиль с этими словами схватил меня за руку и, крепко сжав ее, сказал: — Итак, я немедля иду к Франсуа и объявлю, что ты явишься вечером часов в восемь, а ты приходи в одиннадцать,

будто бы тебя задержали. В полночь нас попросят уйти, ты скорчишь обиженного и недовольного, а Франсуа воспользуется случаем и сунет тебе кое-что в руку. Ты ведь малый ловкий, остальное пойдет как по маслу. До свиданья.

Мы расстались, но едва успели разойтись, как Гупиль снова вернулся. «Послушай, — сказал он, — часто бывает, что перья оказываются лучше самой птицы; мне надо перья — слышишь ли, а не то...» Он принял самый отчаянный вид, широко разинул громадный рот и, покачивая свои длинные руки над самой землей, довершил свою угрозу выразительным жестом, изображая повешенного.

— Ну ладно, что тут говорить. Никого не обидим и разделим поровну.

— Честное слово мазурика?

— Да, да, будь спокоен.

Гупиль немедленно направился в Куртиль, который посещал довольно часто, а я в полицейскую префектуру, где сообщил г-ну Анри о сделанном мне предложении.

— Надеюсь, — сказал мне мой начальник, — что вы не захотите участвовать в этой интриге.

Я возразил, что не имею на это никакой охоты, и он выразил мне свое удовольствие, что я пре-

дупредил его.

— Теперь, — сказал он, — я могу дать вам доказательство моего к вам доверия и сочувствия, которое вы во мне возбуждаете. — Он встал и принес большую папку с бумагами. — Посмотрите, порядочная пачка: все это доносы на вас; как видите, в них нет недостатка, а между тем я держу вас на службе и ни слова не верю тому, что в них содержится.

Доносы эти были произведения инспекторов и полицейских офицеров, которые из зависти настойчиво обвиняли меня в воровстве. Это был их вечный припев; то же самое говорили и воры, которых я поймал на месте преступления. Они выдавали меня за своего сообщника; но я всегда опровергал клевету, мужественно боролся с нападками, и стрелы моих врагов разбивались о броню моей правдивости, которая наконец оказалась несомненной для всех благодаря самым неопровержимым алиби. Обвиняемый ежедневно в течение шестнадцати лет, я не судился ни разу; и однажды только подвергался допросу судебного следователя по обвинению, представлявшему некоторую вероятность. Но едва успел я появиться, как все сомнения на мой счет рассеялись и меня немедленно освободили.

Глава тридцать первая

Не рой яму ближнему… – Волки, овцы и воры. – Шайка Видока. – Мои агенты оклеветаны. – На всякого мудреца довольно простоты. – Наденьте перчатки. – Уставы гг. Делаво и Дюплесси. – Бабье царство. – Строгость воров, считающих себя исправившимися. – Кокo-Лакур и «старинный друг»

Хотя Гафре и Гупилю не удалось скомпрометировать меня своими интригами, однако другой из моих соперников, Корве, в свою очередь, хотел попытаться погубить меня. Однажды утром, желая добыть кое-какие сведения, я отправился к этому агенту, жена которого также состояла при полиции. Я нашел обоих супругов у себя дома, и хотя я мало был знаком с ними, но они с такой любезной готовностью доставили мне сведения, которые я желал получить, что я, как человек, знающий правила общежития, предложил в оплату за их любезность угостить их бутылкой вина в ближайшем кабаке. Корве принял мое приглашение, и мы вместе отправились в отдель-

ную комнату.

Вино нам попалось отличное. Мы выпили сначала одну бутылку, потом две, потом три. Отдельная комната, три бутылки вина — все это слишком достаточно, чтобы расположить к откровенности. В продолжение целого часа я не мог не заметить, что Корве готовится сделать мне предложение, наконец он собрался с духом. «Послушай, Видок, — сказал он, поставив стакан на стол, — ты у нас славный малый: одно худо, ты не откровенен с приятелями. Мы хорошо знаем, что ты „работаешь“, только ты все хоронишь в самом себе. Если бы не это, мы могли бы обделывать славные делишки».

Вначале я сделал вид, будто не понимаю его слов.

— Полно, — продолжал Корве, — напрасно ты отнекиваешься, меня ведь не проведешь; я в твою душу не влезал, а знаю, к чему дело клонит. Я буду говорить с тобой, как с братом; уж после этого, надеюсь, ты не будешь ломаться. Хорошо служить при полиции — спору нет, но ведь заработок-то не бог весть какой: как разменяешь какой-нибудь несчастный экю, так и не видать его. Если обещаешь быть скромным, так я тебе открою два-три славных дельца; мы их

обделаем вместе, и это не помешает нам через них же «провалить» приятелей.

— Как! — воскликнул я. — Неужто ты хочешь злоупотребить доверием, которое к тебе питают? Это нехорошо, и клянусь тебе, что если бы тебя заподозрили, то не стеснились бы послать на два, на три года в Бисетр.

— И ты ту же песню затянул? Под стать ли тебе деликатничать-то? Не знаем мы тебя, что ли?

Я выразил ему свое удивление по поводу его слов и прибавил, что я уверен, что он хочет только испытать меня или завлечь в ловушку.

— В ловушку! — воскликнул он. — В ловушку! Чтобы я имел намерение повредить тебе! Да знаешь ли, по мне, лучше быть упрятанным на всю жизнь. Ишь что выдумал, надо быть олухом, чтобы подозревать меня в этом! Я не виляю и когда говорю что-нибудь, так оно так и есть: у меня нет задних мыслей, и в доказательство того, что я говорю правду, я тебе открою немного погодя, что сегодня вечером я устраиваю штуку. Я уже приготовил *коловороты* (ключи); если хочешь со мной пойти, то увидишь, как я обделаю дельце.

— Ну, сомневаюсь; или ты потерял голову, или хочешь опутать меня в сети, я это вижу.

— Ну полно, разве у меня так мало чувств. —

(Возвышая голос.) — Говорят же тебе, что ты даже не приложишь руки к делу. Чего же тебе еще нужно? Я сделаю все дело с женой, ей не впервые приходится ходить со мной, но от тебя зависит, чтобы я больше не брал ее с собой. Двое мужчин — это всегда удобнее; что касается сегодняшнего дня, то это уж не твое дело. Ты подождешь нас в кафе на углу улицы Табретри. Это почти напротив того дома, где мы будем *шныритъ* (воровать), и как только увидишь, что мы выходим, ты за нами пойдешь следом: мы отправимся продавать вещи, и ты получишь свою долю. Уж после этого ты волен не доверять нам. Понимаешь ты меня?

Эти слова были произнесены с такой искренностью, что я, право, не знал, что и подумать о Корве. Искал ли он сотоварища, сообщника или намеревался подвести меня? Я до сих пор еще не додумался, которое из этих предположений справедливее; одно было несомненно, что Корве был отъявленный подлец. По его собственному признанию, он с женою занимался воровством. Если он сказал правду, то мой долг был предать его в руки правосудия; если, напротив, он солгал в надежде склонить меня на преступное деяние, чтобы выдать и погубить меня, то в этом случае необходимо было довести интригу до конца и

доказать начальству, что искушать меня — все едино что напрасно терять время.

Я пытался отговорить Корве от его плана, но он был непоколебим, и я сделал вид, что соблазнился его доводами.

В избытке чувств он обнял меня, и мы назначили в четыре часа свидание у виноторговца. Корве отправился домой, и как только оставил меня одного, я написал к Аллемену, полицейскому комиссару улицы Кладбища Св. Николая, уведомляя его о приготовляющемся преступлении. В то же время я дал ему все необходимые указания и инструкции для того, чтобы он имел возможность схватить виновных на месте преступления.

В условленный час я был на своем посту. Корве и жена его не замедлили явиться. Я выпил с ними неизбежную бутылку, и, подкрепив свои силы, они отправились на работу. Минуту спустя я увидел, как они вошли в аллею улицы Гомери. Комиссар так славно принял меры, что накрыл обоих супругов в ту минуту, когда они выходили с добычей из ограбленной комнаты.

Эта интересная парочка была приговорена к каторжным работам на десять лет.

На разбирательстве Корве и его достойная подруга уверяли, что я играл по отношению к ним

роль подстрекателя. Конечно, в моем поведении не было и тени подстрекательства, к тому же, что касается воровства, не может быть и речи о подстрекательстве. Всякий человек или честен, или нет; если он честен, никакие соображения, никакие соблазны не способны склонить его ко злу; если же нет, то для него все дело в удобном случае, который, очевидно, представится рано или поздно. А если этот случай потребует человеческую жертву, разве вор не превратится в убийцу? Без сомнения, всякого, кто старается развратить слабое существо, внушить ему вредные принципы, чтоб доставить себе возмутительное удовольствие предать его палачу, можно считать самым отчаянным подлецом. Но когда человек испорчен, развращен вконец? Когда он бросил вызов своим ближним, в таком случае не значит ли принести пользу обществу, если завлечь его в ловушку, заманить его добычей, дать ему понюхать приманку, на которой ему суждено попасться? Хищные инстинкты волка вызываются не тем только, что ему показывают овцу. То же самое и с наклонностью к воровству: если оно свойственно человеку, тогда преступление совершится неминуемо, рано ли, поздно ли. Важно то, чтобы он совершал преступления при

обстоятельствах, не могущих повредить никому; понятно, что если покушение предвидится, то это может предупредить сотню других покушений, виновник которых, долго скрывавшийся, мог бы пользоваться вредной для общества безнаказанностью. Меня никто не убедит в том, что дурно бросить змее клочок ткани, на которой она могла бы испустить свой вредоносный яд.

В таком громадном городе, как Париж, нет недостатка в испорченных натурах, в глубоко преступных сердцах. Но не у всякого из разбойников, населяющих столицу, красуется на лбу роковая надпись. Есть между ними такие, которые настолько ловки, что проходят незамеченными и безнаказанными чрез целый ряд преступлений. Вот настоящие виновные. Их-то необходимо накрывать на месте преступления. Когда я начинал следить за такими людьми или потому, что их знакомства, связи и обращение навлекали на них подозрение, или потому, что они вели забубенную развеселую жизнь и никому не были известны источники их доходов, — я всегда решался подставлять им ногу, чтобы раз навсегда пресечь их подвиги; признаюсь, я нисколько не стыдился этого, поступая, как мне предписывал мой долг. Воры — это такие люди,

природа которых расположена к присвоению чужой собственности, вроде того, как, например, волки расположены к хищничеству; но нельзя ни в каком случае смешивать волков с овцами; если бы случился в стаде какой-нибудь волк, одетый в овечью шкуру, если бы доказано было, что волк уже не раз показывал свои зубы, то можно ли поставить в вину пастуху, если он, с целью обнаружить кровожадные наклонности хищника, с целью избегнуть всяких бед на будущее время, подвергнет искушению всех тех, которых считает способными кусаться? Можно наверное рассчитывать на то, что попадется на эту удочку только тот, кто предрасположен к преступлению. Если Корве и его жена украли, то, значит, они уже были ворами, фактически или только по намерению. Да и к тому же я вовсе не подстрекал их, я только согласился на их предложение. Мне, может быть, возразят, что, пригрозив им, я мог бы помешать им совершить преступление, которое они замышляли, но пригрозить им — не значило исправить их; сегодня они воздержались бы от преступления, а завтра снова стали бы замышлять его и, конечно, уж не позвали бы меня на подмогу. Что бы из этого вышло? То, что нравственная ответственность за преступление,

которое они совершили бы, со всеми ее последствиями обрушилась бы на меня одного. И потом, если Корве получил поручение впутать меня в скверное дело, с обещанием вознаграждения от префекта полиции, то разве забота о моей собственной безопасности не предписывала мне принять предосторожности, чтобы устранить повторение таких попыток, чтобы отбить охоту у всех моих врагов. Этого результата я вполне достигнул, выдав Корве комиссару того квартала, где он должен был действовать, вместо того чтобы донести о нем в префектуру. Действуя таким путем, я был уверен, что если его и выдвинули вперед, то от него отрекутся и правосудие сделает свое дело.

Если я остановился на факте подстрекательства в этом деле, то это потому, что большинство виновных, настигнутых мною на месте преступления, обыкновенно прибегали к этому способу защиты. Позднее увидят, что мысль ссылаться на такое жалкое извинение была внушена им моими врагами. Рассказ о заговоре, замышляемом четырьмя агентами моей бригады — Ютине, Кретьеном, Декостаром и Коко-Лакуром, докажет, к чему сводились главные обвинения против меня.

Я не стану повторять того, что я уже говорил о подстрекательстве по отношению к политическим преступлениям. Неудовольствие, законное или нет, раздражение, экзальтация, даже фанатизм еще не составляют признаков развращенности; но они могут произвести временное ослепление, под влиянием которого человек перестанет быть честным и самый безукоризненный гражданин легко заблуждается. Обманчивые аргументы, ложные комбинации, интрига, нитей которой он сам не видит, — все это может повергнуть его в пропасть. Является сатана и ведет его на высокую гору, откуда показывает ему все богатства земные, он обнаруживает перед ним весь арсенал химер, войска, орудия, солдат, народы, которые он может возбудить против притеснителей. Он соблазняет его обещаниями и приветствует его титулом освободителя; несчастный, воображение которого блуждает в небывалых пространствах, думает, что наконец-то он нашел точку опоры и рычаг, с помощью которого может перевернуть всю вселенную. Подталкиваемый самым презренным из демонов, он осмеливается высказать свои мечты; в аду есть свои свидетели, есть суды, и развязка оканчивается у подножия эшафота; вот

какова в немногих словах история патриотов 1816 года, повиновавшихся подстрекательству гнусного Шилкина. Но вернемся к охранительной бригаде.

После учреждения и организации этой бригады полицейские офицеры и их агенты, которые и без того были сильно озлоблены на меня, подняли шум негодования: они стали распространять на мой счет самые нелепые слухи, они изобрели название шайки Видока и прокричали, что наличный состав охранительной полиции образовался исключительно из освобожденных каторжников и закоренелых карманников, ловких в своем жалком ремесле. Можно ли, говорили они, допускать таких негодяев в охранительную полицию? Разве это не значит подвергать опасности жизнь и имущество граждан? «Стоит ему только захотеть, и он перережет всех нас, — говорил обо мне почтенный г. Иврие, — разве у него нет своих солдат? Это низость! Какие времена наступили для нас, нет более нравственности, нет более полиции!» Простяк! Туда же со своей нравственностью! Впрочем, не это главное беспокоило его; гг. офицеры охотно простили бы нам наше прошлое, если бы сам префект не соблаговолил заметить, что когда дело коснется того,

чтобы открыть вора и арестовать его, то на нас можно побольше надеяться, нежели на них. Наша ловкость и опытность подрывали их кредит в глазах начальства, и, когда им было доказано, что все их старания, чтобы удалить меня, останутся тщетными, они переменили тактику. Перестав прямо нападать на меня, они стали строить козни моим агентам и не пренебрегали никакими средствами, чтобы очернить их перед властями. Совершалось какое-нибудь преступление, у входа ли в театр или внутри него, они немедленно строчили донос, в котором на членов страшной бригады было указано как на виновников проступка. Это повторялось всякий раз, как в Париже происходили какие-нибудь многолюдные сборища; гг. офицеры не пропускали ни одного случая, чтобы не привязаться к охранительной бригаде… Словом, не пропадало ни одной кошки, чтобы не обвинили нас в похищении ее.

Утомленный наконец этими постоянными обвинениями, я решился положить им конец. Чтобы зажать рот моим врагам, я не мог же отрубить руки у моих добрых помощников; они нуждались в них; но я объявил им, что с этой поры они должны постоянно носить замшевые перчатки и что первый, кого я встречу без пер-

чаток на улице, будет немедленно прогнан со службы.

Эта мера окончательно обезоружила недоброжелательных людей; с этих пор уже нельзя было обвинить моих агентов в том, что они «работали» в толпе. Гг. офицеры не могли не знать, что ловко действовать может только обнаженная рука, и поэтому умолкли, припомнив пословицу: «Нет такой ловкой кошки, которая могла бы ловить мышей в рукавицах». Утром, когда мои помощники явились ко мне за распоряжениями, я объявил им о способе, который изобрел, чтобы прекратить все сплетни, которых они были жертвами.

— Господа, — сказал я, — вашей честности так же мало доверяют, как целомудрию монахов. За чем же дело стало? Чтобы убедить недоверчивых, я нашел, что лучше и естественнее всего парализовать члены, которые могут быть орудиями греха. Я уверен, что вы не способны злоупотреблять ими, но, чтобы избегнуть всякого подозрения, я требую, чтобы впредь вы постоянно носили перчатки.

Эта предосторожность была вызвана не поведением моих агентов, так как ни один из бывших воров и каторжников, поступивших ко мне, ничем не скомпрометировал себя во время своей

службы в бригаде; некоторые из них снова впали в преступную жизнь, но уже когда были отставлены от службы. Ввиду прошлого и настоящего положения этих людей я мог иметь над ними произвольную власть; чтобы удержать их в соблюдении их долга, необходимы были железная воля и твердая решимость. Мое влияние на них главным образом происходило оттого, что они не знали меня до поступления моего в полицию; многие видели меня в Форсе или Бисетре, но я никогда не был их товарищем по заключению, и они не могли бы привести ни одного дела, в котором я участвовал бы с ними или с кем-нибудь другим.

Не лишнее заметить, что большинство моих агентов были освобожденные арестанты, которых я сам арестовал в те времена, когда они были во вражде с правосудием. По истечении срока их наказания они являлись ко мне с просьбой принять их к себе; убедившись в их способности и смышлености, я употреблял их в дело; вступив в мою бригаду, они исправлялись немедленно, но в одном только отношении: они переставали воровать; что касается остального, то они оставались по-прежнему людьми развращенными, преданными буйству, разврату, пьянству и

в особенности игре. Многие из них проигрывали целиком свое месячное жалованье, вместо того чтобы платить за стол, квартиру и портному за одежду, которая была у них на плечах. Напрасно я старался по возможности не давать им свободного времени — они всегда находили минуту, чтобы предаваться своим пагубным и порочным привычкам. Посвящая восемнадцать часов в день на службу при полиции, они успевали кутить и развратничать. От времени до времени они позволяли себе разные неподходящие выходки и дурачества; если проступки были не важны, я всегда извинял их. Надо было действовать по отношению к ним с некоторой снисходительностью, вспоминая старинную пословицу: горбатого исправит лишь могила. Пока их проступки не выходили из пределов распущенности, я ограничивался одними выговорами и внушениями; часто мои увещания не оказывали решительно никакого действия — как об стену горох; но нередко, однако, они приносили пользу, смотря по характерам. К тому же все агенты, состоящие у меня на службе, были твердо убеждены, что они составляют предмет постоянного надзора с моей стороны, и они не ошибались, у меня были свои, так называемые мухи (mouches),

уведомлявшие меня обо всем, что они делали: словом, вблизи и вдали я не терял их из виду и немедленно узнавал о всяком нарушении устава, которому они обязаны были подчиняться. Может быть, покажется удивительным, что во всех случаях, когда этого требовал долг службы, эти люди, лишенные всякой дисциплины и необузданные во всех отношениях, подчинялись безусловно моей воле, не страшась даже никаких опасностей.

Вообще я убедился, что те из членов моей бригады, которые предавались делу искренно, всей душой, в известной степени исправлялись. Напротив того, те, кто питал отвращение к труду, впадали снова в распущенность, имевшую для них самые пагубные последствия. Я имел случай сделать наблюдение такого рода над неким Депланком, исполнявшим у меня должность секретаря.

Депланк был молодой человек, хорошо образованный, смышленый и ловкий; он умел хорошо передавать мысль, писал отличным почерком и обладал многими качествами, благодаря которым он мог бы занять довольно видное место в обществе. К несчастью, у него была пагубная мания к воровству, и, к довершению беды, он был ленив до крайности. Это был вор с живым темпе-

раментом, неспособный даже в своем ремесле на что-нибудь, что требовало энергии и терпения. Так как он не был аккуратен и плохо исполнял свою должность, то мне часто приходилось бранить его.

— Вы постоянно жалуетесь на мою небрежность, — отвечал он, — вы требуете от меня рабства, к этому я, право, не привык.

Надо заметить, что Депланк десять лет пробыл на каторге.

Допустив его в бригаду, я был убежден, что сделал отличное приобретение, но я не замедлил убедиться, что он принадлежал к числу неисправимых, и я принужден был расстаться с ним. Оставшись без всяких средств, он прибегнул к занятию, которое позволяло ему предаваться праздности. Однажды вечером, проходя по улице Бак, перед меняльной лавкой, он разбил оконное стекло и, схватив вазу, полную золотых монет, скрылся. В ту же минуту раздается крик: «караул! воры!», и за ним пускаются в погоню. Услыхав суматоху, Депланк удваивает скорость, он уже почти вне опасности, но вдруг на углу улицы он попадает в объятия двух агентов, своих старинных товарищей, — роковая встреча. Он старается высвободиться — тщетные усилия;

сыщики уводят его к комиссару, где немедленно его подвергают обыску и уличают с явными вещественными доказательствами. Депланк был рецидивистом; его приговорили к каторжным работам на вечные времена — он еще и теперь находится в тулонских галерах.

Люди, имеющие претензию судить обо всем голословно, не убедившись фактами, утверждают, что агенты, вышедшие из касты воров, необходимо должны поддерживать с ворами дальнейшие сношения или, по крайней мере, щадить их до тех пор, пока они сами не попадут на огонь. Я со своей стороны могу засвидетельствовать, что у воров нет беспощаднее противников, нежели освобожденные арестанты, ставшие под знамя полиции; эти люди, подобно всем перебежчикам, никогда не обнаруживают такого усердия, как в том случае, когда требуется услужить приятелю, то есть арестовать бывшего товарища. Вообще, всякий вор, считающий себя исправившимся, безжалостен по отношению к старинным собратьям; чем более он был отважен в былое время, тем более он неумолим к чужой вине.

Однажды трое воров — Серф, Маколейн и Дорлэ — были приведены в полицейское бюро по обвинению в мошенничестве; увидев их, старин-

ный товарищ по ремеслу и закадычный друг их Коко-Лакур, придя в благородное негодование, встает и обращается к Дорлэ со словами:

Лакур. Так вот как, господин негодяй, вы так-таки решительно не намерены исправиться?

Дорлэ. Я вас не понимаю, господин Коко, нравственность…

Лакур *(вне себя)*. Как вы смеете называть меня Коко? Знайте, что это вовсе не мое имя, меня зовут Лакур, да, слышите ли, Лакур…

Дорлэ. Ах боже мой, это мне хорошо известно, но разве вы не помните, что, когда мы были товарищами, вы очень любили это имя и друзья называли вас не иначе. Ведь правда, Серф?

Серф. На свете нет более невинных младенцев, господин Лакур! Все туда же лезут.

Лакур. Ну ладно, ладно. Иные времена, иные нравы. Castigat ridendo mores; я знаю, что во времена своей молодости я не раз заблуждался, но…

Лакур тщетно старался ловкими фразами, в которые он то и дело примешивал слово «честь», выпутаться из своего затруднительного положения. Дорлэ не был расположен выслушивать его нотаций и поспешил зажать ему рот, напомнив об известных ему случаях, когда они работали вместе. Не раз Лакуру приходилось подвергаться

такого рода неприятностям; если ему случалось упрекать воров в упорной привычке к воровству, в награду за свои добрые намерения он всегда получал одни дерзости.

Глава тридцать вторая

Желаю здравствовать! – Сплетни и пререкания. – Большой заговор. – Я невинен. – Доблестная и правдивая история знаменитого Видока. – Его смерть в 1875 году

Достигнув высокой должности начальника охранительной полиции, уже не приходилось более ограждать себя от капканов и западней, в которые меня старались вовлечь. Время испытаний миновало; но я должен был остерегаться мелочной зависти некоторых из моих подчиненных, которые точили зубы на мой пост и употребляли все свои усилия, чтобы сместить меня. Коко-Лакур был одним из тех, кто более всех старался в одно и то же время окружать меня лестью и вредить мне. Я уверен был, что этот хитрый человек был способен воротиться за пятьдесят шагов и опрокинуть за собой все стулья в церкви, если бы случайно услыхал, что я чихнул, для того только, чтобы медовым голосом «пожелать мне долгого здравия», но тем не менее я знал, «что в тихом омуте черти водятся». Я никогда не ошибался в

свойстве и целях этих ухаживаний и внимания со стороны людей, которые падают перед вами ниц, когда, в сущности, им достаточно только наклонить голову. Но так как я сознавал свой долг, то мне было решительно все равно, искренни ли эти проявления лицемерной преданности или ложны. Не проходило ни одного дня, чтобы мои «мухи» не являлись ко мне с доносом о совещаниях, происходивших по поводу моей особы под председательством Коко-Лакура; как говорят, он замышлял свергнуть меня, и образовалась партия, участвовавшая в его заговоре, — для них я был тираном, которого необходимо было свергнуть. Сначала заговорщики ограничивались тем, что поднимали шум из-за всякой безделицы; постоянно имея в виду мое падение, они находили удовольствие предсказывать его друг другу, и каждый из них по-своему разделял заранее наследство. Не знаю, доставалось ли это наследство самому *достойному,* но мне хорошо известно, что мой преемник не щадил усилий и употреблял более или менее ловкие происки, чтобы заявить себя моим кандидатом до моего удаления.

От сплетен и каверз Лакур и его клевреты перешли к более существенным действиям; перед наступлением сессии суда, в которой должны

были судиться Пейуа, Леблан, Бертеле и Лефбюр по обвинению в краже со взломом при помощи отвертки и «помады» (долота), распространился слух, что я накануне катастрофы и что, по всей вероятности, мне не удастся выйти сухим из воды.

Это пророчество, пущенное в ход во всех кабаках, соседних с судебной палатой, было также доведено до моего сведения; но я обратил на него не больше внимания, чем на остальные, также не исполнившиеся; только мне показалось, что Лакур удвоил свое ухаживание за мной и стал подлипать ко мне пуще прежнего: он клялся мне с особенным почтением и чувством; глаза его при этом тщательно старались избегать моего взгляда. В то же время я заметил, что трое других из моих агентов — Кретьен, Ютине и Декостар — удвоили усердие и предупредительность. Это не могло не удивить меня; я знал, что эти господа имели частые совещания с Лакуром. Не стараясь ни малейшим образом следить за их поведением по отношению к моей личности, тем не менее я сам заметил, что они шепчутся и что речь идет обо мне. Однажды вечером, проходя по двору Св. Часовни (они не уважали даже святыни), я услышал, как один из них радовался, что я попадусь в «капкан». Какой это капкан — я не имел

об этом никакого понятия. Но когда Пейуа и его сообщники предстали перед судом, я убедился, что против меня была направлена адская махинация, стремящаяся выставить меня главным зачинщиком преступления, в котором они обвинялись. Пейуа заявил, что, когда он обратился ко мне с просьбой указать ему вербовщика, который мог бы поставить вместо него рекрута, я будто бы предложил ему воровать для меня и даже дал ему три франка на покупку лома, с которым его накрыли у Лаботи. Бертеле и Лефбюр подтвердили показания Пейуа, и один виноторговец Леблан, также замешанный в этом деле и, по-видимому, бывший главным зачинщиком преступления, поощрял их в их системе защиты, с помощью которой им непременно удалось бы оправдаться. Адвокаты, защищавшие подсудимых, старались извлечь все возможное из этого мнимого обвинения, чтобы все приписать мне, и им удалось посеять в воображении судей и публики сильное предубеждение и подозрение против меня. Тогда я счел необходимым оправдаться и в сознании своей невинности просил г. префекта снарядить следствие с целью удостовериться в истине.

Пейуа, Бертеле и Лефбюр были осуждены; я полагал, что, не имея более никакой выгоды

поддерживать эту наглую ложь, они наконец сознаются, что оклеветали меня и что, кроме того, если они действовали так по чьему-нибудь наущению, то они, без сомнения, назовут виновников обмана, который они так смело поддерживали на суде. Префект приказал снарядить следствие, и ведение его было поручено полицейскому комиссару Флериесу, как вдруг совершенно неожиданный документ послужил первым доказательством моей невинности. Это было письмо Бертеле к виноторговцу Леблану, который был признан виновным. Привожу здесь это безграмотное послание, чтобы показать, к чему сводились обвинения, которые мои враги не переставали возводить на меня во все время моей службы при полиции. Вот это письмо, которое я привожу, не изменяя орфографии.

Госпадину

Блану, виноторговцу, живущему близ заставы Комба, на бульваре Шопинет

Милостивый Государь Пишу вам это письмо, желая осведомится о состоянеи вашего здравия и в тоже время предупредит вас, что мы осуждены. Вы не можети себе представит мое печальное положе-

ние. Поетому имею честь уведомит вас, что если вы нас оставите без внимания, то я донесу на вас, за то, што вы доставили нам лом, вам известно, што мы об етом скрыли на суде, обвинив в этом деле начальника полиции в действительности невинного. Вам также не безызвесны обещания, данные мне вами в вашей комнате, с тем только, чтобы я поддержал вас на суде; Поетому, если вы нас покинете, то я не буду вас щитать человеком после всех вашых прекрасных обещаний.

Вспомните, что правосудие не теряет своих прав и я мок бы вас привлечь к...

Вы можети ничего не опасатца если тайно передадите...

«Бертеле».

По существующему обычаю, письмо это, которое должно было быть передано тайно, было отдано тюремщику, и тот, вскрыв его, немедленно довел до сведения полицейской префектуры. Леблан вследствие этого не мог прийти на помощь к Бертеле; тот потерял терпение и для приведения в исполнение своих угроз написал мне из Консьержери другое письмо следующего

содержания.

29 сентября 1823 года.

Милостивый Государь,

на основании прений в суде присяжных и резюме г. председателя, обвиняющего Вас в том што Вы доставили суму в три франка на покубку инструмента для взлома двери г. Лабати, – все это на основании ложного Показанья Пеуа. – Я Бертелэ в присудствии Властей желаю показат всю правду и заявит О Вашей Невиности. Поетому я намерен заявит, 1) где куплен лом, 2) из чьего дома я получил ее и 3) имя лица, доставившего ее.

«Бертеле».

Ниже: «Адабряю написанное выше».

Ниже были приложены тюремная печать и заметка, сделанная рукой начальника Консьержери… «все написанное выше и подпись действительно принадлежат Бертеле».

«Егли».

Бертеле, допрошенный Флериесом, показал, что лом стоил сорок четыре су, что он был куплен в фобурге Тампля у старьевщика и что Леблан, узнав о том, для чего этот лом понадобится, дал

денег на покупку его. «Когда торг был заключен, — продолжал Бертеле, — Леблан, оставшийся немного позади, сказал мне: если тебя спросят, что ты намерен делать с ломом, — скажи, что ты гранильщик и что тебе он нужен для поправки колеса. Если у тебя потребуют твои бумаги, ты приходи ко мне, и я скажу, что ты мой подмастерье. Я вернулся к нему с ломом в руках, он взял его у меня и спрятал под сюртук, чтобы никто его не видел. Придя домой, он первым долгом полез в погреб и спрятал там наш инструмент. В тот же вечер, напившись порядком, мы, то есть Лефбюр, Пейуа и я, отправились в ротонду Тампля и оттуда в узенькую улицу, названия которой я не знаю. Пока мы с Лефбюром сторожили, Пейуа сделал тридцать три дырочки с помощью буравчика в ставне одной белошвейки. Вдруг нож, которым Пейуа делал разрезы между дырками, сломался, и мы, потерпев неудачу, удалились. Затем мы пошли на рынок Св. Евстафия, и там Пейуа, с помощью долота, пытался взломать дверь одной галантерейной лавки. Но кто-то изнутри спросил нас, чего нам нужно, и мы поспешили убежать; тогда было около двух часов пополуночи. Мы все трое отправились в гостиницу „Англия“, где Пейуа отдал хозяйке бывший с ним дождевой

зонтик.

Перед тем как войти в гостиницу, Пейуа отдал лом, завернутый в мешок, одной торговке, продававшей кофе на открытом воздухе возле Пале-Рояля. Около пяти часов утра мы вышли из гостиницы „Англия“, и Пейуа взял у торговки лом, который давал ей на сохранение. Я должен прибавить, что женщина эта не знала, что заключалось в мешке. Пейуа отправился к Блану, взяв лом с собой. Лефбюр и я уже не расставались и вернулись к Блану в пять часов и остались там до десяти вечера. Леблан дал мне огниво и огарок на всякий случай. Я даже в виде развлечения выскоблил на огниве Л, начальную букву имени Леблана. Пейуа, Лефбюр и я вышли все вместе. Пейуа взял лом с собою, а потом отдал его нам. На пути он остановился и зашел в меблированные комнаты с одной женщиной, Виктуар Биган, а мы с Лефбюром отправились на экспедицию к Лабати, за что и судились. Лом и часть украденных вещей были препровождены Лефбюром в дом Леблана.

Леблан, преданный суду вместе с нами, умолял меня выгородить его, а Пейуа должен был показать, что три франка на покупку лома были даны ему г. Видоком. Он тоже посулил мне известную

сумму денег, если только я соглашусь показать то же самое. Я согласился, опасаясь, что еще больше испорчу свое дело, показав сущую правду». (Показание, сделанное 3 октября 1823 г.)

Лефбюр, подвергнутый допросу после него, подтвердил его показание, что касается Леблана.

— Если я и не показал, — прибавил он, — что Леблан доставил деньги за покупку лома, то это потому только, что Пейуа подговорил меня сказать, что его купил сам он, Пейуа, на том основании, что он был уже достаточно скомпрометирован в этом деле и не хотел замешивать в нем Леблана, который мог ему помочь и сделать добро впоследствии.

Некто Егли, начальник служащих при Консьержери, и двое арестантов, Лекот и Вермон, на допросе объявили Флериесу, что слышали, как Бертеле, Лефбюр и Пейуа сознавались, что обвинили меня совершенно напрасно. Все арестанты единогласно показывали, что я всегда старался уговорить их не делать зла. Кроме того, Вермон рассказал, что однажды, когда он стал упрекать их в том, что они без всякой причины скомпрометировали меня, они на это отвечали: да плюем мы на все это… мы рады были бы скомпрометировать отца родного, лишь бы только выпутаться из

беды; скверно только, что это дельце не удалось как следует.

Пейуа, младший по летам из остальных подсудимых, показывал менее откровенно и искренно, чем они; дружба его к Леблану заставила его сначала скрыть долю истины; впрочем, он не мог не сознаться, что я был совершенно чужд покупки лома.

«Во все время судебного следствия, предшествовавшего суду, — сказал он, — и во время прений я не переставал утверждать, что господин Видок дал мне три франка на покупку лома, с помощью которого была совершена покража. Я настаивал на своих словах в надежде, что это может смягчить и облегчить наказание. Я прибегнул к этому средству по совету некоторых заключенных. Но теперь долг справедливости обязывает меня заявить, что господин Видок вовсе не давал мне денег на покупку лома; инструмент этот стоил мне сорок четыре су, и я приобрел его у старьевщика, имеющего лавку в первом переулке направо от улицы Арсис, со стороны моста Нотр-Дам. Я не знаю имени старьевщика, но я сейчас узнаю его лавку; она вторая направо от угла. Покупку эту я сделал 6 или 8 марта, не помню хорошенько. В это время в лавке находились

хозяин и его жена; мне в первый раз случилось покупать у них».

Три дня спустя Пейуа, препровожденный в Бисетр, написал начальнику второго отделения полицейской префектуры письмо, в котором признавался, что желает покаяться со всей искренностью; на этот раз истина будет обнаружена вполне: Ютине, Кретьен, Декостар и Коко-Лакур, явившиеся в суд с целью дать ложные показания, были вполне обличены. Всем стало ясно, что не кто иной, как Кретьен, руководил интригой, имевшей целью удалить меня из полиции. Заявление, полученное мэром Жантильи, бросило яркий свет на эту махинацию, от которой Лакур, Кретьен, Декостар и Ютине ожидали полного успеха. Они подослали ко мне Пейуа, явившегося якобы для того, чтобы я указал ему вербовщика, которому понадобился бы кто-нибудь, чтобы заместить рекрута; они же подговорили Бертеле прийти в мое бюро и заявить о некоторых подготовляющихся покражах. Таким образом, для поддержки обвинения, с помощью которого они надеялись задавить, уничтожить меня, они соорудили целое здание кажущихся улик на основании моих постоянных сношений с ворами. Судя по всем признакам, можно заключить, что

они часто смотрели сквозь пальцы на экспедиции Пейуа и его приятелей под условием, что, в случае если их накроют на месте преступления, они могут принять систему защиты, сообразную с их интересами. Не существовало ни малейших следов подобной сделки, но она состоялась непременно, и я не мог в этом сомневаться ни минуты благодаря сведениям и наблюдениям моих агентов перед разбирательством дела и даже после осуждения виновных. Когда Пейуа был арестован, Ютине и Кретьен немедленно отправились к нему в острог и имели с ним разговор, в котором уверяли его, что можно придать благоприятный оборот делу, не иначе как обвинив меня; что ему для этого стоит только признать их свидетелями; что они охотно готовы поддержать его показания, в свою очередь покажут в том же смысле и даже скажут, что видели, как я ему вручал сумму в три франка. Агенты не ограничились одними советами; чтобы быть уверенными на всякий случай, что Пейуа не пойдет на попятный двор, они уверили его, что у них есть могущественный покровитель, влияние которого оградит его от всякой беды, и что, наконец, если обвинительный приговор окажется необходимым, то это сановное лицо настолько могущественно, что

уничтожит его действие.

Когда начались прения, Ютине, Кретьен, Лакур и Декостар поспешили подтвердить на суде обвинения, возведенные на меня Пейуа. Между тем над молодым человеком, которому они посулили безнаказанность, был произнесен обвинительный вердикт; опасаясь, чтобы он, сознав свое положение, не разоблачил их коварные замыслы, они старались воодушевить его, снова пробудить в нем надежду. Для этого они не только настаивали, чтобы он подал кассацию, но даже предложили ему защитника на свой счет и обязались уплатить все расходы по ведению процесса.

Эти интриганы добрались и до матери Пейуа, и ей они стали делать подобные же предложения и обещания.

Лакур, Декостар и Кретьен увлекли ее к сьеру Базилю, виноторговцу на площади здания суда, и там за бутылкой вина пустили в ход все свое красноречие, силясь доказать старухе Пейуа, что если она поможет им и ее сын будет покорен и послушен, то им легко будет спасти его. «Будьте спокойны, — сказал ей Кретьен, — мы уж сделаем все, что будет нужно».

Вот что выяснилось из следствия: судьям стало очевидно, что эпизод с ломом, доставленным

якобы Видоком, не более как вымысел господ агентов; с той поры на эту тему ходило столько разнообразных и неправдоподобных россказней, более или менее забавных, что можно было бы составить из них целую книгу и прибавить ее к коллекции библиотеки странствующих разносчиков под заглавием «Доблестная история подвигов, деяний и достопамятных, необычайных и удивительных приключений господина Видока, с приложением портрета этого великого сыщика, представленного в натуральном виде, каким он был до своей смерти, последовавшей без приключений в день его кончины в его доме в Сен-Манде, в полночь двадцать второго июля 1875 года».

Глава тридцать третья

Эхо Иерусалимской улицы. – Везде Видок. – Остракизм и раковины. – Я создаю воров. – Хаос и сотворение мира. – Приличное одеяние. – Высший тон. – Война с современными. – Кулинарное искусство. – Кошачий хвост. – Рибулэ и белокурая Маша. – Гостеприимство. – Дети Солнца

Прошу извинения у читателя, что так долго говорил о своих треволнениях и о мелких дрязгах моих агентов; я желал бы избавить вас от скучной главы, касающейся исключительно моей репутации; но прежде, нежели идти дальше, мне хотелось высказать все, что у меня на душе, и доказать, что не всегда можно придавать веру сплетням, распускаемым моими врагами. Чего только не придумывали шпионы, сыщики, воры и мошенники, которые одинаково были заинтересованы в том, чтобы удалить меня из полиции!

— Такой-то *влопался*! — объявлял один их *приятель* своей жене, возвращаясь на ночлег.

— Быть не может!

— Верное слово.

— Кто же тут постарался?

— Стоит ли спрашивать? Конечно, эта сволочь Видок.

Встречались ли два дельца, которых немало в Париже, один из них восклицал:

— Не знаешь новости? Этот бедняжка Гариссон попался и сидит в остроге.

— Ты шутишь?

— Хорошо, кабы шутил: он только что приготовился сбыть часть товару, и я должен был получить часть барыша за комиссию; не тут-то было, знать, сам черт подшутил, накрыли ведь с поклажей!

— Кем же был он арестован?

— Да кем?.. Конечно Видоком.

— Ах он подлец!

Объявляли ли об аресте важного преступника в бюро префектуры, или мне случалось захватить какого-нибудь продувного мошенника, след которого агенты никак не могли отыскать, сейчас раздавался хор завистливых голосов: «Все этот проклятый Видок!» Среди всего полицейского люда по этому поводу шли бесконечные толки и сетования; вдоль всей Иерусалимской улицы,

из кабака в кабак, как эхо, повторялись завистливые слова: все Видок! везде один Видок! И это ненавистное имя звучало в их ушах неприятнее, нежели в ушах афинян прозвище Справедливого, данное Аристиду. Как счастлива была бы эта шайка воров, карманников и шпионов, если бы воскресили ради них старый закон остракизма, для того чтобы дать им возможность избавиться от моей докучливой особы. С какой радостью они воспользовались бы своими раковинами; но помимо заговоров вроде того, от которого г. Коко и его сообщники ожидали такого счастливого исхода, что могли они сделать? Их заставляли молчать одним словом.

— Посмотрите на Видока, — говорило начальство, — берите с него пример. Какую деятельность он проявляет! Вечно он на ногах, и днем и ночью, и спать-то ему некогда. Если бы нашлось три-четыре таких человека, как он, то можно было бы смело ручаться за безопасность всей столицы.

Эти похвалы до крайности раздражали моих вялых соперников, но не побуждали их взяться за дело. Если они и сбрасывали с себя сонливость, то не иначе как за бутылкой, и вместо того чтобы спешить без оглядки, куда призывал их долг, они составляли маленькие кружки и забавлялись

тем, что разбирали меня по косточкам.

— Нет, он просто невозможен, — говорил один из собеседников, — чтобы так ловко опутывать воров, надо иметь с ними сношения.

— Черт возьми, — прибавлял другой, — он сам же их науськивает и чужими руками жар загребает.

— О, он продувная шельма! — замечал третий.

Наконец кто-нибудь довершал приговор докторальным тоном:

— Если нет воров, так он создает их.

Не думаю, чтобы между читателями этих записок нашелся хоть один, который бы ступил ногой к Гильотену. Я говорю о скромном кабатчике, лавочка которого, пользовавшаяся известностью среди воров низшего разбора, находилась против клоаки Дюнойе, которую посетители прозвали «Большим залом Куртиль».

Какой-нибудь рабочий, еще не совсем потерявший честь и совесть, еще может рискнуть зайти к дядюшке Дюнойе. Если он малый расторопный и не даст себе класть пальца в рот, то он еще может выйти оттуда, поплатившись только несколькими тумаками и не заплатив ни за кого из своих собеседников. Но у Гильотена он не так-то легко отделается, в особенности если войдет туда в

приличной одежде и с туго набитым кошельком.

Представьте себе квадратный зал, довольно просторный, со стенами, когда-то выбеленными, но теперь закоптившимися и покрытыми грязью. Вот каков был вид этого храма, посвященного Бахусу и Терпсихоре. Прежде всего, вследствие оптического обмана, довольно понятного, вас поражает теснота помещения, но когда глаз проникнет сквозь густой туман зловонных испарений, то оказывается, что пространство вовсе не так мало. Когда пары рассеиваются, из облаков дыма выясняются движущиеся образы, — это уже не призраки, а живые существа, переплетающиеся в различных направлениях. Какая развеселая жизнь, какое блаженство! Никогда эпикурейцам не приходилось наслаждаться такими благами! Какая отрада для тех, кто любит погружаться в грязь по самое горло! Вы видите несколько рядов столов, которые никто никогда не вытирает и на которых в течение дня совершается сотня самых отвратительных возлияний, столики окаймляют кругом пространство, предназначенное для танцев. В глубине этого зловонного вертепа возвышается поддерживаемая четырьмя полусгнившими столбами ветхая эстрада, устроенная из барачного леса и до по-

ловины покрытая лохмотьями старого ковра. На этом курином насесте приютилась музыка: два кларнета, звучный тромбон, оглушительный барабан — вот четыре инструмента, управляемые костылем господина Дубль-Кроша, маленького хромого старичка, величающего себя дирижером оркестра и дающего темп раздирающим уши аккордам. Здесь все гармонирует между собою: лица, костюмы, блюда, которые подаются на стол. Здесь нет прихожей, где бы складывались палки, зонтики и пальто. Вы можете войти со всеми своими пожитками, никто вас не осудит. Здесь все бесцеремонно; женщины причесаны a la chien или повязаны платочками, — словом, кто как хочет. Каких тут только костюмов не увидишь! Мужчины большею частью в куртках с отложным воротником — если есть рубашка, которая, впрочем, почти обязательна, панталон можно и не иметь. Верхом бонтонности считается полицейская шапка, гусарский доломан, егерские сапоги, панталоны уланские, — словом, костюм, составленный из старого тряпья трех-четырех полков. Всякий молодец, закостюмированный в таком роде, может быть уверен победить дамские сердца: до того они обожают военных и имеют слабость к пестрым костюмам. Но ничто им так

не нравится, как красные шаровары с высокими сапогами. В этих собраниях редко можно встретить войлочную шляпу, у которой не были бы оторваны поля или вырвано дно; никто не упомнит, чтобы встретил когда-нибудь фрак, а кто имел несчастье показаться в сюртуке, тот мог быть уверен, что вернется домой в одном жилете, разве только он обычный посетитель притона. Напрасно стал бы он молить о своих фалдах, они оскорбляют зрение честной компании; счастлив он, если оставит всего одну полу в руках этой милой молодежи, которая во все горло вопит известный характеристический припев:

Оставь меня, я хочу уйти,
Что за место для ухаживания.
Оставь меня, я хочу уйти,
Ну и местечко у Дюнойе.

У Дюнойе притон всякой сволочи, но, прежде чем вступить через порог гильотеновского кабака, сама сволочь призадумается, так что в этом вертепе можно видеть только публичных женщин и их содержателей, всякого рода мошенников, первостатейных карманников и немало ночных буянов, отчаянных бродяг, посвятивших всю свою жизнь скандалам и воровству. Само со-

бою разумеется, что в этом прелестном обществе единственное употребительное наречие — воровской язык, или так называемая музыка. Это почти всегда испорченный французский, до того не похожий на обыкновенный, что ни один член общества сорока не мог бы похвастаться, что понимает хоть одно слово; между тем среди обычных посетителей Гильотена были свои пуристы. Они уверяли, что этот арго, или воровской язык, ведет свое начало с Востока, и не воображая, что у них кто-либо подумает оспаривать знания восточных языков. Если бы я был охотник до языковедения, то я мог б воспользоваться случаем для любопытных исследований и, может быть, составил бы целую ученую диссертацию, но теперь не до того. Вернемся к начатой мной картине и описанию эдема скандалистов и любителей ночных оргий.



У Гильотена не только пьют, но и едят, и небезынтересно разоблачить маленькие тайны его кухни. У старика Гильотена не было мясника, он справлялся собственными средствами. В его

медных кастрюлях, нелуженых и покрытых зеленоватым осадком, конина превращается в говяжье филе, ляжки собаки, казненной в улице Генегар, преобразуются в бараньи котлеты, и пикантный соус придает аппетитный вид какой-нибудь поджарой кошке. В этой стране волшебных превращений заяц не пользуется правом гражданства: он уступил место кролику, а кролик превратился в… крысу — о Zortunati; nimium si… noriut. Прошу не прогневаться — цитата не моя… Мне скажут, что это по-латыни, быть может, это и по-гречески или по-еврейски — мне до этого дела нет, но если бы крысы видели то, что я видел, то они бы воздвигли памятник своему *почитателю* Гильотену.

Однажды вечером, находясь у Гильотена и почувствовав настоятельную потребность, я встаю и отправляюсь на воздух. Отворив какую-то дверь, я очутился во дворе. Место удобное, я подвигаюсь вперед ощупью, вдруг спотыкаюсь, — вероятно, в этом месте переделывали мостовую. Протянув руки вперед, стараясь удержаться, я хватаюсь одной рукой за тумбу, а другой за что-то мягкое, шелковистое. Я убеждаюсь, что это спинной хребет четвероногого. Подняв руки кверху, я чувствую, что в ней осталась охапка

бренных останков живого существа, с которыми я возвращаюсь в зал в ту минуту, когда Дубль-Крош из себя выходит, дирижируя отчаянными танцорами.

Конечно, публика рада была случаю позабавиться; в зале раздалось протяжное мяуканье; любители кошачьего фрикасе вторили мяуканью взапуски. Надвинув на ухо свои картузы, они кричали: кошками нас кормят, кошачьими шкурами одевают, и прекрасно; слава богу еще, что кошачья порода не перевелась.

Дядюшка Гильотен не слишком-то мог разжиться от своих клиентов; впрочем, мне приходилось в свое время видеть в этом кабаке пирушки, которые едва ли стоили бы меньше Caze Riche или в каком-нибудь первоклассном ресторане. Помнится мне, что шесть человек, в том числе Дрианкур, Вилат, Питру и другие, нашли возможным истратить там 160 франков в один вечер. Конечно, каждый из них привел с собою свою нежную половину.

Хозяин, вероятно, поживился на их счет, но они и не жаловались, не сделали даже ни малейшего замечания и заплатили по-княжески, не забыв дать на водку гарсону. Я арестовал их в минуту, когда они платили по счету, даже не рассмот-

рев его. Воры щедры и великодушны, когда им повезет счастье. Эти люди недавно совершили несколько значительных покраж, за которые несут теперь наказание в галерах.

Трудно поверить, чтобы в самом центре цивилизации мог существовать такой притон, такое безобразное логовище, как заведение Гильотена. Мужчины и женщины курили и плясали все вместе, трубка переходила из одного рта в другой, и считалось даже большей любезностью предложить какой-нибудь нимфе, явившейся на рандеву, «чернослива», то есть жевательного табаку, уже пережеванного или нет, смотря по степени фамильярности.

Полицейские офицеры и инспектора считали себя слишком большими господами, чтобы толкаться среди такой ужасной публики; напротив того, они тщательно держались от нее в стороне, даже мне самому она опротивела до омерзения, но я был убежден, что, для того чтобы отыскать и накрыть преступника, нельзя ожидать, пока он сам бросится в ваши объятия. Поэтому я покорился необходимости отыскивать их самому и, чтобы не предпринимать бесцельных экспедиций, постарался в особенности узнать, какие места они охотнее всего посещают, и потом уже,

как опытный рыболов, закидывал свою удочку наверняка. Я не терял времени, желая, как говорится, найти иголку в стоге сена. Дело в том, что сыщик, желающий с пользой работать над истреблением воров, должен по возможности жить с ними, проводить с ними время и улавливать всякий удобный случай, чтобы навлечь на них кару правосудия. Так я и делал, а мои собратья называли это — создавать воров; этим путем я создал их немало со времени моего дебюта в полиции. Однажды вечером, зимою 1811 года, у меня явилось предчувствие, что мое посещение к Гильотену увенчается успехом. Не отличаясь суеверием, я, однако, всегда повиновался подобным предчувствиям, и вот, осмотрев свой гардероб, я принарядился так, чтобы меня не могли счесть за «франта», и отправился из дому в сопровождении тайного агента Рибулэ, разбитного малого, которого обожали все кабацкие гурии, хотя сам он больше клонился на сторону бумагопрядильщиц, которые также очень благосклонно относились к нему. Для проектируемой экспедиции женщина была необходимой принадлежностью. Рибулэ имел под рукой подходящую — это была его постоянная любовница, публичная женщина, прозванная «белокурой Машей». В одну минуту

она снарядилась в путь, подтянула свои шерстяные чулки, перетянула талию своего пунцового платья, накинула на плечи серую шаль с белой каймой, поправила волосы и ловким движением сбила набок косынку, покрывавшую ее голову, что придало ей шаловливый и кокетливый вид. Маша была в восторге идти под ручку с двумя кавалерами. Мы отправились в Куртиль. Войдя в кабак, мы скромно уселись в углу зала, чтобы иметь возможность на свободе рассмотреть окружающее. Рибулэ был один из тех людей, которые невольно внушают уважение, и мы еще не успели разинуть рта, как нам принесли, чего мы желали.

— Видишь ли, — сказал он, — халдей-то (лакей) выдрессирован, знает, с кем имеет дело.

Мы все трое принялись за еду с таким аппетитом, будто и не имели понятия о маленьких тайнах дядюшки Гильотена.

Во время этой трапезы около входной двери послышался шум, привлекший наше внимание. В заведение торжественно вступали герои-победители — шесть человек, мужчин и женщин, три парочки, — не имевшие образа и подобия человеческого; у всех были исцарапанные лица, подбитые глаза и синяки на скулах. Беспорядок

их одежды, свежие еще ушибы ясно доказывали, что они совершили какой-нибудь геройский подвиг, причем тумаки летели во все стороны без разбору. Они подошли к нашему столу.

Один из героев. Извините, друзья!.. Найдется у вас местечко или нет?

Я. Это нас немного стеснит, да уж делать нечего, можно потесниться…

Рибулэ *(обращаясь ко мне)*. Ну, приятель, пусти нас к столу, мы добрые малые.

Маша *(обращаясь ко вновь прибывшим)*. Эти дамы тоже принадлежат к вашему обществу?

Одна из героинь. Что, что такое? Господа, что она там бормочет?

Ее герой. Попридержи глотку, Титина… она не желает оскорбить тебя.

Компания усаживается.

Один из героев. Эй, поди сюда, дядя Гильотен, давай нам чернушку в восемь Жаков (бутыль в четыре литра, по восьми су).

Гильотен. Сейчас, сейчас.

Гарсон *(с бутылью в руке)*. Пожалуйте тридцать два су.

— Не хочешь ли тридцать две фиги… уж не думаешь ли, что мы хотим *околпачить* (обмануть) тебя?

Гарсон. Нет, ребята, успокойтесь, такой у нас уж обычай ведется.

Вино разливают в стаканы, нас также не забывают.

— Извините за смелость, — прибавил один из них.

— Тут нет никакой беды, — ответил Рибулэ.

— Знаете, ведь одна учтивость вызывает другую.

— Итак, будем пить во здравие!

— Так, ты верно сказал, не мешает назюзюкаться.

И действительно, мы нализались до того, что к десяти часам вечера выражали друг другу свою взаимную симпатию в уверениях горячей дружбы и в порывах восторженной нежности, присущей пьяным.

Когда наступило время расставаться, наши новые знакомые, и в особенности женщины, были в состоянии полного опьянения. Рибулэ и его любовница были только навеселе, но, чтобы не портить общего впечатления, мы делали вид, что не можем двинуться с места. Сплотившись в кучку, — таким образом не так сильно шатает по сторонам, — мы направились вон с пристанища наших наслаждений.

Чтобы придать мужества нашему шаткому батальону, Рибулэ могучим голосом, на самом чистом арго доброго старого времени затянул длинную балладу воровской братии.

Долго тянул он бесконечную песню, наконец окончил; Маша в свою очередь хотела угостить нас своим уменьем.

— Не спеть ли вам, ребята, песенку, которую я выучила в Сен-Лазаре; а вы, чур, слушать и подхватывать за мной припевы.

Мы не отставали от певуньи. Финал ее длинной песни, который мы дружно подхватили за Машей, прежде нежели она успела пропеть его до конца, был повторен восемь раз зычным голосом, так что во всем квартале стекла задрожали. После этого порыва вакхической веселости первые винные пары понемногу рассеялись, и мы принялись за разговоры. Доверчивые излияния, по обыкновению, начались в виде допроса. Я не заставлял себя просить и, напротив, старался предупреждать любопытные вопросы; я рассказал, что в Париже живу проездом, временно, познакомился с Рибулэ еще в провинции, в Валансьенской тюрьме, куда его привели как дезертира. К довершению всего я постарался изобразить себя в ярких красках, которые очаро-

вали моих собеседников. О, я был отъявленным, продувным молодцом. На что только я не был способен! Чего только я не сделал на своем веку! Я выложил пред ними все свои грехи, чтобы и с их стороны вызвать откровенность; это была тактика, которая часто удавалась мне. Скоро мои приятели затараторили, как сороки, и я узнал всю их подноготную до таких подробностей, будто мы никогда и не расставались. Они сообщили мне свои имена, свое местожительство, свои подвиги, свои неудачи и надежды. Право, казалось, они нашли человека, достойного их доверия, видно, я уж очень пришелся им по сердцу.

Подобные объяснения и излияния в известной степени истощают силы, и мы не пропустили, кажется, ни одного кабака, которые встречали на своем пути. Бесчисленное множество стаканов было выпито в честь нашей новой дружбы: мы поклялись более не расставаться.

— Пойдем с нами, — приставали они ко мне.

— Просьбы их были до того настойчивы, что я не мог не согласиться проводить их в улицу Филь-Дие, № 14, где они жили в меблированных комнатах.

Раз забравшись в их трущобу, я не мог не разделить их постели; трудно себе представить их

ласковость и добродушие. Я тоже не отставал от них, и они были вполне уверены в моих добрых качествах, тем более что, пока я притворялся спящим, кум Рибулэ вполголоса напропалую расхваливал им мою особу. Если бы половина того, что он наплел про меня, была правда, то я заслужил бы по крайней мере десять приговоров на пожизненную каторгу. Словом, я родился в сорочке и имел счастие отправить на тот свет по крайней мере целое поколение честных людей. Словом, Рибулэ так прекрасно отрекомендовал меня моим хозяевам, что на другой же день они благосклонно предложили мне участвовать с ними в экспедиции, которую замышляли в улице Верьери.

Я успел предупредить начальника второго отделения полиции, который принял свои меры, и голубчиков накрыли с узлами украденных вещей. Рибулэ и я были оставлены на стороже, чтобы в случае чего забить тревогу и, главное, чтобы наблюдать за полицией. Позднее они были тем же порядком приговорены к каторге, и если имена Дюбюира, Ипполита и Риша до сих пор красуются в тюремных списках, то это благодаря тому, что я провел вечерок у Гильотена с «детьми Солнца».

Глава тридцать четвертая

Постоянный посетитель «Маленького стула». – Ограбленная комната. – Куча камней. – Ночное переселение. – Вор, добрый малый. – Мое первое посещение Бисетра. – Кое-что, чему можно ужаснуться. – Буря утихает

Часто воры попадались мне под руку и погибали совершенно для меня неожиданно; подумаешь, будто злой гений подучивал их явиться ко мне. Надо сознаться, что те, которые прямо лезли в волчью пасть, были или уж слишком смелы, или больно недалеки. Видя, с какой легкостью многие из них попадались в ловушку, я всегда удивлялся, как могли они избрать профессию, в которой необходимо столько предосторожностей для устранения опасностей. Некоторые из них были до того просты и добродушны, что я считал чудом, как это они пользовались безнаказанностью до той поры, пока не наткнулись на меня. Невероятно, чтобы эти люди, будто нарочно созданные для того, чтобы попадаться в капканы,

не были повешены до моего поступления в полицию. Неужели до меня полиция существовала на смех, или, может быть, мне необыкновенно благоприятствовала судьба? Как бы то ни было, были престранные случаи, об этом можно судить по следующему рассказу.

Однажды в сумерках, одетый рабочим, я спокойно сидел на набережной Жевр, как вдруг ко мне подошел один субъект, в котором я узнал обычного посетителя «Маленького стула» и «Доброго колодца», двух кабаков, пользовавшихся славой среди воров.

— Добрый вечер, Жан-Луи, — приветствовал меня мазурик.

— И тебе также, братец.

— На какого черта ты тут сидишь? Ты похож на мертвеца, просто испугаться можно.

— Что делать, старина! Когда издыхаешь от голоду, так смех не пойдет на ум. Какое уж тут веселье!

— Издыхать от голоду! Это уж чересчур, ведь ты у нас слывешь за «приятеля».

— А между тем это сущая правда.

— Полно, пойдем пропустим рюмочку-другую у Нигнака; у меня еще водится в кармане «кругляков» с двадцать, надо им протереть глаза.

Он повел меня в кабак, спросил пол-литра вина и, оставив меня с минуту одного, вернулся с двумя фунтами печеного картофеля.

— Вот тебе угощенье, — сказал он, ставя на стол дымящееся блюдо, — ну чем не ананасы?

— Ананасы, да и только; мне бы вот еще соли.

— Соли! Ну, брат, сколько угодно, стоит недорого.

Принесли и соли, и хотя час тому назад я отлично пообедал у Мартена, но с жадностью набросился на картофель, будто не ел целых два дня.

— Поглядеть на тебя, как ты ловко трескаешь своими жорами (зубами); можно подумать, что у тебя во рту говядина, а не что другое.

— Э, все равно, чем ни набить утробу…

— Верно говоришь, парень.

Я набивал себе рот с изумительной быстротой; чуть не давился своим картофелем; уж не знаю, как у меня не застряло в горле; никогда мой желудок не оказывался таким покладистым. Наконец я одолел свою порцию; когда я насытился, мой товарищ предложил мне трубку и обратился ко мне со следующими словами:

— Клянусь честью, так же верно, как меня зовут Массоном, я всегда смотрел на тебя, как на добро-

го парня. Я знаю, что у тебя было много несчастий на твоем веку, мне много об этом рассказывали, но ведь не все же тебя будет преследовать злополучный рок: коли хочешь, я могу тебе дать кое-что заработать.

— Это было бы не лишнее, черт возьми! Я отощал как щепка, пора бы поживиться кое-чем.

— Это правда, — сказал он, оглядывая с ног до головы мою ветхую, полуразорванную одежду, — сейчас видно, что тебе не везло. В таком случае ступай за мной, я хозяин одной каморки (я могу *отпереть* одну комнату) и намерен *выполоскать* (ограбить) ее сегодня же вечером.

— Ты мне сначала расскажи, в чем суть, не могу же я приняться за дело, не зная его.

— Какой ты, право, олух! Ну на что тебе это нужно, когда ты будешь только караулить?

— О, если только это, так можешь рассчитывать на меня, только все-таки не лишнее мне сказать в двух словах…

— Говорят тебе, не беспокойся: план уже составлен мной заранее; тут есть у меня знакомая в двух шагах, она спрячет. Не успеем *стырить* (украсть), как *пропулим* (отдадим в надежные руки). Там жирно, ручаюсь тебе в этом.

— Жирно… вот это ладно. Ну, теперь в путь.

Массон повел меня по бульвару Сен-Дени; дошедши до большой кучи камней, мы остановились. Мой спутник оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что никто за нами не наблюдает, запустил руку между камней и вытащил оттуда связку ключей.

— Теперь у меня есть все, что нам нужно, наше дело в шляпе.

И мы вместе с ним направились к хлебному рынку. Добравшись до угла, он указал мне в недалеком расстоянии и почти против Гвардейских казарм тот дом, в который он предполагал забраться.

— Теперь, дружище, дальше ни-ни, подожди меня здесь и смотри, не зевать, а я пойду погляжу, *убралась ли маруха* (ушла ли женщина, нанимающая комнату).

Массон отворил дверь в коридор, и едва она успела за ним захлопнуться, как я побежал стремглав в участок и заявил, что подготовляется покража и что нельзя терять ни минуты времени, если желают накрыть вора с украденными вещами. Сообщив все, что знал, я поспешно вернулся на то место, где оставил меня Массон. Едва успел я прийти, как меня кто-то окликнул:

— Это ты, Жан-Луи?

— Да, я, — ответил я, удивленный, что он возвращается с пустыми руками.

— Уж и не говори! — воскликнул он. — Представь себе, какой-то черт — сосед помешал мне дело делать. Но время терпит, мы наверстаем потерянное. Одну минуту терпения, и ты посмотришь, не надо только компрометировать себя.

Скоро он опять оставил меня одного и не замедлил появиться, сгибаясь под тяжестью громадного узла. Он прошел мимо меня, не сказав ни слова. Я последовал за ним. В то же время за нами по пятам следили двое жандармов, стараясь делать как можно меньше шуму.

Важно было узнать, куда он намерен сложить свою ношу. Он вошел в улицу Фур, к торговке, прозванной Мертвой Головой, где оставался всего несколько минут. «Чертовски тяжело было тащить, — сказал он, выходя оттуда, — а мне еще предстоит немалое путешествие». Я не мешал ему орудовать; он снова взобрался в комнату, которую грабил, и по прошествии десяти минут сошел вниз, неся на голове всю кровать как есть: с матрасами, подушками и одеялами — он не имел времени складывать ее. На самом пороге он едва не повалился под тяжестью ноши: с одной стороны, ему мешала пройти слишком узкая

дверь, с другой — ему не хотелось выпустить из рук свою добычу. Но он сейчас же оправился и продолжал путь, сделав мне знак следовать за ним. На повороте улицы он приблизился ко мне и шепнул вполголоса:

— Мне кажется, я вернусь туда в третий раз; если хочешь, пойдем со мной наверх, ты мне поможешь отцепить полог у кровати да занавеси на окнах.

— Ладно, идем, — ответил я, — но когда спишь на таких пуховиках, как мы, пологи — роскошь.

Массон продолжал свой путь; но не успели мы пройти несколько шагов, как нас обоих остановили и повели к полицейскому комиссару, где подвергли допросу.

— Вас, как я вижу, двое, — сказал комиссар Массону. — Кто этот человек? — (Указывая на меня.) — Верно, такой же вор, как и ты?

— Кто он такой? Почем я знаю. Спросите у него самого, кто он такой. Когда я еще раз увижу его да с этим разом — выйдет ровнехонько два.

— Вы не станете уверять меня, что вы действовали не сообща, вас застигли вместе.

— Тут вовсе ничего не было сообща, почтенный комиссар, он шел в одну сторону, я в другую. Только вдруг он подходит ко мне близко и задевает

меня; я чувствую, что у меня что-то выскользнуло из рук, гляжу — это наволочка. Я и говорю ему: подыми, голубчик! Он и поднял, тут подоспели жандармы и нас обоих подхватили; лопни мои глаза, если это неправда. Спросите-ка лучше у него.

Сказка была недурно выдумана, я и не стал опровергать ее; напротив того, я подтвердил показание. Наконец комиссар, по-видимому, убедился.

— Есть у вас бумаги? — спросил он. Я представил вид на жительство, его нашли в полном порядке, и меня тотчас же объявили свободным. На лице Массона изобразилась сильная радость, когда он услышал обращенные ко мне слова: «Ступайте спать». Это была формула моего освобождения, и он так этому обрадовался, что надо было быть слепым, чтобы не заметить этого.

Вора держали в руках; теперь оставалось только захватить укрывательницу прежде, нежели она успела бы спровадить принятые ею вещи. Обыск состоялся немедленно, и, настигнутая среди вещественных доказательств своей вины, Мертвая Голова была арестована в ту минуту, когда она этого менее всего ожидала.

Массона отвели в депо полицейской префек-

туры. На другой день, согласно с обычаями, установленными у воров с незапамятных времен, когда их сообщник «попался», я послал ему круглый хлеб в четыре фунта, кусок ветчины и монету в одно экю. Мне передали, что он был очень тронут этим вниманием, но еще не подозревал, что тот, кого он считал за сообщника, был причиной его беды. Он узнал только в остроге, что Жан-Луи и Видок были одно и то же лицо. Тогда он придумал престранный способ защиты; он стал утверждать, что я был виновник покражи, в которой его обвиняли, и что он понадобился мне только для переноски вещей; но эта сказка не оказала никакого действия на суде. Тщетно Массон старался доказать свою невинность, он был приговорен к заключению.

Немного времени спустя мне случилось присутствовать при отправлении арестантской партии. Массон, не видевший меня со времени ареста, заметил меня сквозь решетку.

— А, это вы, господин Жан-Луи; славно вы изволили подвести меня. Честь вам и слава. Если б я тогда знал, что вы Видок, то не заплатил бы за ваши *ананасы*!

— Итак, ты очень на меня злишься? Ведь так? А между тем сам предложил идти за собой?

— Правда, да кто вас знал, что вы *каплюжник* (полицейский).

— Если бы я тебе это сказал, то изменил бы своему долгу и это не помешало бы тебе пообчистить твою комнату, ты только отложил бы на время экспедицию.

— Тем не менее вы таки ловкий каналья. А я-то был так искренен, всей душой вам предан! Клянусь вам, я все-таки предпочитаю застрять тут на веки вечные, нежели быть свободным да таким изменником, как вы.

— О вкусах не спорят…

— Хорош вкус, нечего сказать!.. Стыдно подумать: *каплюжник*! Нечего сказать, хорошее звание!

— Все-таки не хуже воровского; к тому же что сталось бы без нас с честными людьми?

При этих словах с ним сделался припадок хохота.

— Честные люди, — повторил он, — право, ты смешишь меня. — (Он употребил более бесцеремонное выражение.) — Что сталось бы с честными людьми?.. Молчал бы ты лучше, это дело тебя не касается. Когда ты был в «лугах», тогда пел другую песню.

— Он туда и вернется, — сказал один из слушав-

ших нас арестантов.

— Он-то! — воскликнул Массон. — Да его там и не примут, другое дело добрый парень, которому везде рады.

Всякий раз, как исполнение моих обязанностей призывало меня в Бисетр, я был уверен, что мне придется выслушать целый короб упреков в том же роде. Редко я вступал в рассуждения с арестантом, обращавшимся ко мне с руганью, однако я не всегда пренебрегал возражать ему из опасения, чтоб он не подумал, будто я боюсь его. Находясь в присутствии нескольких сот разбойников, которые все имели более или менее основание ненавидеть меня, так как почти все они прошли через мои руки и руки моих агентов, понятно, что мне необходимо было выказать известную твердость духа, но никогда стоическая твердость не была мне так необходима, как в тот день, когда я впервые появился среди этого ужасного люда.

Не успел я вступить на должность главного агента охранительной полиции, как, пылая желанием достойным образом выполнить возложенную на меня обязанность, я серьезно приступил к собранию справок и сведений, необходимых для меня в моей новой должности. Мне казалось, что нелишне будет принять к сведению

наружность и отличительные признаки всех личностей, находящихся в руках правосудия. Таким образом я имел бы возможность узнать их впоследствии, если бы им случилось бежать, или, по окончании срока их наказания, иметь над ними надзор, который мне был предписан. На этом основании я ходатайствовал перед г-ном Анри о дозволении отправиться в Бисетр с моими помощниками, чтобы иметь возможность рассмотреть черты преступников в то время, когда их станут заковывать. Г-н Анри разными аргументами старался отклонить меня от этого неосторожного шага, который, по его мнению, представлял гораздо более опасности, нежели действительной пользы.

— Я слышал, — сказал он, — что заключенные составили против вас заговор. Если вы появитесь при отправлении партии, вы представите им случай, которого они давно выжидают с нетерпением; говорю вам, что какие бы предосторожности вы ни приняли, я за вас не ручаюсь.

Я поблагодарил своего начальника за участие, которое он во мне принимает, но в то же время настоял на том, чтобы он исполнил мою просьбу. Он решил наконец дать мне на это свое полномочие.

В день, назначенный для заковки, я отправился в Бисетр в сопровождении нескольких моих агентов. Войдя во двор, я вдруг услышал страшный вой, изо всех окон послышались крики: «Долой сыщиков! долой *каплюжников*! долой разбойника Видока!» У всех окон стоят группы арестантов, некоторые сидят на плечах друг друга, приблизивши отвратительные лица к решеткам. Я сделал несколько шагов, рев усилился, воздух огласился бранью, угрозами лишить меня жизни, произнесенными самым яростным тоном. Это было поистине отвратительное зрелище — видеть все эти кровожадные рожи, на которых было написано желание мести. По всему дому поднялся страшный шум и гул; мною невольно овладело чувство ужаса; я уже упрекал себя в неосторожности и едва не отступил на попятный двор, но вдруг почувствовал новый прилив мужества. Ведь не боялся же я, когда боролся с этими злодеями в их притонах, может ли теперь их голос заставить меня содрогнуться! Полно, отбросим все эти страхи, если даже придется поплатиться жизнью, надо показать твердость в опасности, чтобы они не подумали, будто мы струсили!

Эта новая решимость, более достойная того мнения, которое я желал внушить о себе, на-

ступила так быстро вслед за первым моментом невольного страха, что арестанты не могли заметить моей слабости. Не опасаясь ничего более, я гордо стал оглядывать одно окно за другим и даже приблизился к нижнему этажу. В этот момент ярость заключенных перешла в неистовство; это были уже не люди, а дикие звери, с ревом бегающие по своим клеткам. Это был такой шум, такое волнение, будто все здание поколебалось и вот-вот рухнут стены темничных келий. Среди этого содома я дал знак, что желаю говорить: «Эй вы, шайка сволочи, ну к чему вы ревете? Вам следовало подумать о защите, когда вы попались по моей милости! Меня ведь не убудет, если вы ругаться будете. Вы называете меня шпионом, это правда, я шпион, господа, но ведь и вы не что иное, как шпионы; сознайтесь-ка, между вами нет ни одного, который не приходил бы ко мне продавать своих товарищей в надежде получить безнаказанность, которой я не желаю и не могу дать. Я предал вас в руки правосудия, потому что вы виновны. Я не щадил вас, это правда, но какое я имею основание беречь и щадить вас? Есть тут хоть один, которого я знал, когда он был свободен и который мог бы упрекнуть меня в том, что я когда-то *работал* с ним? И потом, допустим даже,

что я вор; скажите мне, что из этого следует? Конечно, то, что я всегда был ловчее и счастливее вас, так как мне никогда еще не случалось попадаться. Пусть самый смелый из вас укажет мне случай, когда я обвинялся в воровстве или мошенничестве. Представьте мне доказательство, хоть один факт, и я признаю себя бóльшим негодяем, нежели все вы, вместе взятые. Это ли ремесло вы не одобряете? Пусть тот, кто более всего меня осуждает, ответит мне откровенно: не случается ли ему раз сто на день завидовать моему положению?»

Эта речь, во время которой никто не перебивал меня, была покрыта свистками. Скоро рев и вопли возобновились с удвоенной силой, мною овладело одно только чувство — беспредельное негодование. В порыве гнева я сделался невероятно смелым. Когда осужденных должны были вести во двор для заковки, я встал у них на проходе и, решившись дорого продать свою жизнь, стал ждать, посмеют ли они выполнить свои угрозы. Признаюсь, я внутренно желал, чтобы один из этих презренных дерзнул поднять на меня руку, до того меня обуяла страсть мести. Горе тому, кто осмелился бы бросить мне вызов! Но никто из несчастных не сделал даже движения,

я отделался молниеносными взглядами, я вынес их с уверенностью и твердостью, которые всегда конфузят неприятеля. После переклички послышался глухой гул, предвестник нового гвалта, меня осыпают бранью, снова проносится крик: «Пусть же он идет! он останется у двери!» — с прибавлением к моему имени самых грубых эпитетов. Выведенный из себя этими оскорбительными вызовами, я вошел в здание с одним из моих агентов и очутился среди двухсот разбойников, большею частью арестованных мною. «Ну же, смелей! смелей, братцы! — кричат голоса из камер одиночно заключенных, — оцепите свинью… бейте его… пусть от него следов не останется!..» Теперь настал момент выказать всю свою смелость.

— Что же, господа, убейте его, — сказал я, — убейте же, за чем же дело стало? Вы видите, что вам подают хорошие советы: отчего вам не попробовать последовать им?

Уж не знаю, какой внезапный переворот совершился в них, но чем более я приближался к ним, чем более поддавался их власти, тем более они усмирялись. Перед окончанием церемонии заковывания эти люди, поклявшиеся уничтожить меня, до такой степени смягчились, что

некоторые из них даже попросили меня оказать им некоторые мелкие услуги. Конечно, я поспешил сделать все, что мог, и на другой день, во время отправления партии, мои враги радушно распростились со мной, поблагодарив меня за мою обязательность. Все эти волки превратились в ягнят; самые неукротимые сделались смирны, почтительны, по крайней мере по виду, даже до унижения.

Этот опыт послужил мне уроком, которого я никогда не забывал; он доказал мне, что с людьми такого закала всегда следует обращаться как можно круче и решительнее, и чтобы держать их всегда в повиновении, стоит пострашать их только один раз. С этих пор я не пропускал ни одной партии, не осмотрев арестантов при заковке, и, за немногими исключениями, я не испытывал более никаких оскорблений. Заключенные привыкли меня видеть, и, если бы я не явился, всем показалось бы, что чего-то недостает. Многие из арестантов давали мне разные поручения. В тот момент, когда над ними совершалась, так сказать, гражданская казнь, я становился их душеприказчиком. У небольшого числа из них ненависть ко мне не совсем улеглась, но злоба вора не отличается продолжительностью.

В течение восемнадцати лет, пока я вел войну с мошенниками всякого разбора, мне угрожала опасность; немало каторжников, известных своей неустрашимостью, поклялись лишить меня жизни, коль скоро они освободятся. Но никто из них не исполнил своей клятвы и не исполнит ее никогда. Знаете ли отчего? Оттого, что для всякого вора первое, единственное дело — это воровать, это занятие исключительно поглощает его. Если он не может избегнуть этого, он убьет меня из-за моего кошелька — это входит в круг его ремесла; он убьет меня, пожалуй, чтобы удалить докучливого свидетеля, все это допускается его ремеслом; он убьет меня, чтобы ускользнуть от наказания; но если возмездие свершилось, к чему тогда убивать? Воры не теряют времени в бесполезных для них убийствах.

Глава тридцать пятая

Выгода иметь здоровый желудок. – Гревские ласточки. – Прихоти этих господ. – Аннетта, или Добрая женщина. – «Видок влопался» – новая комедия. – Я исполняю роль Видока. – Я помогаю бежать одному преступнику. – Чулки и башмаки, служащие уликой. – Пощечина. – Меня арестуют. – Мое освобождение. – Повязка спадает

Однажды, проведя часть ночи в притонах Рынка, надеясь встретить там каких-нибудь мошенников, которые в припадке добродушия, обыкновенно вызываемого двумя-тремя лишними рюмками водки, проболтаются о своих прошедших, настоящих и будущих подвигах, я шел домой в скверном расположении духа и недовольный тем, что проглотил понапрасну и в ущерб своему желудку несколько рюмок отвратительного напитка — разбавленного спирта, приправленного купоросом. Вдруг на углу улицы Кутюр-Сен-Жерве я увидел нескольких людей, притаившихся в амбразурах дверей. При

свете фонарей я не мог не различить лежащие около них узлы, объем которых они тщательно пытались скрыть. Узлы в этот час ночи, люди, скрывающиеся в углублениях дверей, когда нет ни капли дождя, — все это показалось мне весьма подозрительным. Я заключил из этого, что люди эти — воры и что в узлах заключается захваченная ими добыча. Хорошо же, подумал я, не будем показывать виду, что заметили кое-что, последуем за процессией, когда она выступит, а если она пройдет мимо гауптвахты, тогда голубчики мои пропали! В противном случае я провожу их на ночлег, узнаю их номер и отправлю туда полицию. Едва успел я пройти несколько шагов, как меня окликнули: «Жан-Луи!» Я узнал голос некоего Ришло, которого я часто встречал в сборищах воров; я остановился.

— Добрый вечер, Ришло, — сказал я, — на кой черт ты слоняешься тут в такую пору? Ты один или нет? Однако какой у тебя испуганный вид.

— Еще бы не испуганный, чуть-чуть было не *влопался* (попался).

— Влопался? Скажите пожалуйста, ради чего же?

— Ради чего? А вот подойди и увидишь, там приятели с *тырманом* (добычей).

— А, так вот что, понимаю.

Я приблизился, и вся компания поднялась на ноги; я узнал Лапьера, Камери, Ленуара и Дюбюиссона. Все четверо сделали мне самый дружеский прием и протянули руки.

Камери. Ну уж хорошо мы отделались, нечего сказать. У меня до сих пор сердце бьет тревогу; положи-ка сюда руку; слышишь, так и трепещет…

Я. Ничего, не беда.

Лапьер. О, и подумать страшно, какая у нас тут *стрема* (опасность, тревога) была; за спиной *зелень* (парижская гвардия в зеленых мундирах)… просто мороз по коже подирает.

Дюбюиссон. И к довершению всего *Гревские ласточки* (парижские драгуны) носом к носу, на лошадях при самом повороте около Gaite…

Я. Ах вы олухи! Надо было весь тырман свалить на извозчика. Какие же вы после этого мазурики?

Ришло. Бранись сколько душе угодно, а *ловака* (лошади) у нас не было, а надо было выпутаться во что бы то ни стало, вот мы и пробираемся нарочно по побочным улицам.

Я. Куда же вы теперь идете? Может быть, я могу быть полезным…

Ришло. Пойдем с нами в улицу Сен-Себастьен,

там мы сложим тырман, и тебе кое-что достанется на *сламе* (дележ).

Я. С удовольствием, друзья.

Ришло. В таком случае марш вперед, и, если увидишь *каплюжников* (полицейских) либо *михлютку* (жандарма), смотри не зевай.

Ришло и его товарищи схватили в охапку свои узлы, а я пустился вперед. Переход совершился благополучно; мы добрались до двери дома без приключений. Каждый из нас разулся, чтобы поменьше шуметь, входя по лестнице. Вот мы и на площадке третьего этажа. Нас ждали; дверь тихонько растворяется, и мы входим в обширную, тускло освещенную комнату, жилец которой, бывший рабочий на верфях, как я сейчас же распознал, уже попадался в руки комиссии. Хотя он меня не знал, но мое присутствие, видимо, беспокоило его, и, пока он прятал узлы под кровать, я заметил, что он шепотом спросил о чем-то, на что ему ответили громко.

Ришло. Не бойся, это Жан-Луи, славный парень, будь покоен, он откровенный.

Жилец. Ну, тем лучше! Нынче столько этой сволочи, каплюжников, развелось, что житья никакого нет.

Лапьер. Ну, полно, полно, я за него ручаюсь, как

за самого себя, это «друг» и истый француз.

Жилец. Ну если это так, я полагаюсь на вас, а затем выпьем по малости. *(Он влез на какую-то табуретку и, запустив руку за карниз ветхого шкапа, вытащил оттуда полную бутыль.)* Вот она, родимая! «Гамза» (водка) первый сорт. Сам покупал; ну же, Жан-Луи, за тобой дело стало, начинай, почтенный.

Я. Охотно. *(Наливаю водку в рюмку и пью.)* Важно! Хороша, нечего сказать, по всему телу так и пробежала; ну теперь твоя очередь, Лапьер, прополощи себе глотку.

Рюмка и бутыль пошли по рукам, и когда все достаточно поддали, вся компания повалилась на кровати и заснула до утра. На рассвете на улице послышался крик трубочиста (известно, что в Париже савояры исполняют роль петухов в пустынных кварталах).

Ришло *(толкая своего соседа)*. Эй, Лапьер, идем, что ли, к *торговке* (укрывательнице ворованных вещей).

Лапьер. Убирайся, я спать хочу.

Ришло. Да ну же, проснись…

Лапьер. Ступай один или возьми с собой Ленуара.

Ришло. Дело-то неподходящее, ты уж продавал

не раз, вернее будет…

Лапьер. Оставь ты меня в покое… Я спать хочу, говорят тебе.

Я. Ах, боже мой, что тут толковать о пустяках, я схожу за вас, если скажете мне адрес.

Ришло. Ты прав, Жан-Луи, но торговка-то тебя еще не видала, она работает только для нас. Уж если хочешь, пойдем лучше вместе.

Я. Ну ладно, вдвоем-то лучше, на другой раз будет знать мою рожу.

Отправляемся. Укрывательница жила в улице Бретон, № 14, в доме одного колбасника. Ришло входит в лавку и спрашивает, дома ли мадам Бра. Ему отвечают утвердительно, и, пройдя по коридору, мы входим на лестницу до третьего этажа.

Мадам Бра еще не выходила, но она положила себе за правило ничего не принимать днем. «По крайней мере, — сказал Ришло, — если уж не хотите сейчас брать товар, то дайте нам что-нибудь в счет; важный товар, уверяю вас. Вы знаете нас, мы ведь тоже честные».

— Благодарю покорно, из-за ваших прекрасных глаз я не намерена компрометировать себя. Приходите вечером, ночью все кошки серы.

Ришло и так и сяк старался выманить у нее что-нибудь, но она была неумолима, и мы убра-

лись, не получив ни гроша. Мой товарищ ругался напропалую, надо было его слышать.

— Полно, — утешал я его, — подумаешь, будто все дело пропало, зачем из-за пустяков убиваться? Не хочет, так и не надо, другая возьмет; пойдем со мной к моей знакомой, та уж наверное даст нам четыре или пять *рыжиков* (червонцев).

Мы отправились в улицу Нев-Сен-Франсуа, где была моя квартира. Свистком я известил о себе Аннетту, она быстро сошла вниз и явилась к нам на угол старой улицы Тампль.

— Здравствуйте, сударыня.

— Здравствуй, Жан-Луи. Что скажете?

— Вот если бы вы были умницей, то дали бы мне до сегодняшнего вечера франков с двадцать.

— Знаю я до вечера! Если вы что заработали, так спустите в Куртиле.

— Нет, уверяю вас, мы будем аккуратны.



— Полно, так ли? Я отказывать вам не хочу, а ступай ты со мной, а твой товарищ пойдет подождет тебя в кабачке на углу улицы Озель.

Оставшись один с Аннеттой, я дал ей инструкцию, как поступать, и, когда уверился, что она меня поняла, отправился к Ришло в кабак. «Вот это женщина хорошая!» — сказал я, показывая ему двадцатифранковую монету.

— Вот и прекрасно: ей и сдадим *тырман* (добычу).

— Очень ей нужно! Она только и принимает

что *веснухи* (часы), *скуржаны* (серебро) да *сверкальцы* (драгоценности).

— Жалко, а то баба хорошая, такую-то нам и нужно.

Выпив свою порцию водки, мы отправились домой, куда явились с жирным нормандским гусем и колбасой. Я выложил деньги, и так как они назначались нам на пропитание и угощение, то мы сейчас же купили двенадцать литров вина и три хлеба, по четыре фунта каждый. Аппетит у нас был здоровый, и вся провизия мгновенно исчезла. Бутыль с гамзой была опорожнена до последней капли. Окончив трапезу, стали поговаривать об узлах. В них заключалось тончайшее белье, простыни, рубашки, платья, обшитые великолепными кружевами, жабо, галстуки и т. д. Все эти предметы еще не успели высохнуть. Воры рассказали мне, что стащили все это в одном из лучших домов улицы Эшикье, куда взобрались в окно, проломав железную решетку.

Окончив осмотр, я подал совет разделить всю добычу на части, чтобы не продавать все в одно место. Я объяснил им, что за каждую часть в отдельности им дадут столько же, сколько за все разом. Мои приятели приняли мой совет и добычу разделили на две части. Теперь оставалось толь-

ко найти, куда сбыть товар. За одну половину они были спокойны, надо было позаботиться только о том, чтобы найти покупателя для остальной добычи. Я указал им на тряпичника, прозванного Красным Яблоком, живущего в улице Жюивери. Давно уже он был известен мне за человека, покупающего краденые вещи у первого встречного. Теперь представлялся случай испытать его, и мне не хотелось упустить его. Если он попадется, думал я, то результат моих комбинаций будет как нельзя удачнее — вместо одного укрывателя я накрою их двух, и мне посчастливится одним ударом трех зайцев убить.

Решено было обратиться с предложением к указанному мной человеку, но нельзя было ничего предпринять до наступления ночи, а до тех пор можно было умереть со скуки. О чем говорить? Воры обыкновенно страдают от мучительной скуки, четверть часа трудно оставаться в их компании, чтобы не соскучиться. Что делать? Мазурики обыкновенно ничего не делают, когда не «работают», а когда «работают», так тоже ничего не делают. Однако надо же чем-нибудь убить время; у нас было еще немного денег, потребовали вина большинством голосов, и вот мы снова за попойкой. Сыны Меркурия пьют здорово, но не

всегда ведь можно пить. Если бы еще пьяницы походили на бездонные Данаидовы бочки, ну тогда еще куда ни шло, а тут, к несчастью, чтобы избегнуть пресыщения, надо приостановиться — так приятели и сделали. Сознавая, что их мозги понадобятся им позднее, а между тем густой туман начинал застилать их головы, они, чтобы не потерять «компаса», перестали вливать себе в рот опьяняющую влагу и разевали его только для болтовни. О чем шел разговор? О чем же ином, как не о приятелях, находящихся «в лугах» или «на месте» (попавшихся в руки правосудия). Толковали тоже о *чертовой роте* (полицейских).

— Ах, кстати, о чертовой роте, — сказал рабочий с верфей, — не слыхали вы о знаменитом подлеце, который сделался «поваром» (сыщиком), зовут его Видок. Не знаете ли его?

Все вместе *(в том числе и я)*. Как не знать! По имени и понаслышке знаем.

Дюбюиссон. О нем толкуют немало. Говорят, он был упрятан в «лугах» на 24 года.

Рабочий. Что ты толкуешь, дурак! Видок — известный вор, приговоренный на всю жизнь по милости побегов. Оттуда он выбрался только потому, что обещал выдавать «друзей». Бедовый этот Видок. Коли задумает кого подвести, так

старается влезть ему в душу, а как подружится, так и вытаскивает стыренное из карманов, и дело с концом, или ведет их нарочно в дело, и тогда пиши пропало. Он, а никто другой изловил Бальи, Жаке и Мартино, да, он, чтобы ему пусто было! Надо вам рассказать, как он им дыму в глаза напустил.

Все *(я подтягиваю)*. Славно сказано — дыму в глаза!

Рабочий. Вот раз сидели они и пьянствовали с Рибулэ, таким же разбойником, как Видок, — фобуржец, Машкин любезный.

Все. Белокурой Машки?

Рабочий. Он самый. Говорили о том о сем. Видок и говорит, что он из «лугов» пришел и ему желательно найти друзей и «поработать» вместе. Другие-то сдуру попадаются в капкан. Так он славно отуманил их, что сейчас же сманил на одно дело; решено было, что он будет на стороже. Да, на стороже для чертовой роты, — вот и попались. Всех их повели, рабов божьих, а эта шельма с товарищем дали тягу. Вот, видите ли, как берутся за дело, чтобы губить добрых малых. Он *подкосил* (гильотинировал) всю компанию «Chauffeur'ов», а сам-то был у них первым зачинщиком.

Всякий раз, как рассказчик делал паузу, мы

подкреплялись глотком вина. Лапьер, воспользовавшись одной из пауз, сказал:

— Что он нас дурачит со своими россказнями; охота ему тараторить, а мне слушать, право, неохота — ты думаешь, весело, что ли?

Рабочий. Что ж ты хочешь делать, любопытно узнать? Если бы были карты, так козырять можно было бы.

Лапьер. Нет, я хочу комедию разыгрывать.

Рабочий. Ах ты, господин Тарма (Тальма)! Ну что же, играй.

Лапьер. Могу я разве один играть?

Ришло. Мы тебе поможем. Какую только пьесу?

Дюбюиссон. А вот ту пьесу, знаешь, где есть Цесарь и один там говорит: первый, кто был королем, тот…

Лапьер. Все вы не то толкуете, надо нам сыграть комедию под заглавием: «Видок влопался», продав всех своих братьев, как когда-то продали Иосифа.

Я не знаю, что и подумать об этой страшной выходке, но, однако, нисколько не потерявшись, я крикнул, что роль Видока беру на себя. Они согласились: «Он такой же толстый, как и ты, — заметили они, — как раз и подходишь».

— Ты толст, — сказал мне Ленуар, — а он, поди, еще толще тебя.

— Все равно, — заметил Лапьер, — Жан-Луи и так годится, пожалуй, весит-то он столько же.

— Сколько толков из-за пустяков — ну стоит ли? — воскликнул Ришло, перенося стол в один из углов комнаты. — Ты, Жан-Луи, и ты, Лапьер, ступайте сюда, Ленуар, Дюбюиссон и Этьен (рабочий) встанут в другом углу; они будут «приятели», а я встану вот тут, против *столба* (кровати), и буду публика.

— Что это за зверь — публика? — вопрошает Этьен.

— Ну, это народ, что смотрит, если тебе так понятнее. Ну не дубина ли он, господа?

— Я зритель буду.

— Да нет же, олух, я буду публика, а ты — «приятель», ступай на свое место, сейчас начнется.

Действие происходит в Куртиле, все разговаривали между собою, я встаю и под предлогом попросить табаку завязываю разговор с «приятелями» за соседним столиком, пускаю в ход несколько слов на «музыке», все убеждаются, что я *свой,* многознаменательно подмигивают мне, я в свою очередь отвечаю таким же взглядом, и оказывается, что мы люди, занимающиеся

одним и тем же ремеслом. Тогда начинается обмен обычными учтивостями, угощение вином. Я жалуюсь на тяжкие времена и на то, что нет больше никакой возможности *работать*, мне сожалеют, я сожалею в свою очередь. Мы вступаем в фазис умиления; я проклинаю *чертову роту* (полицию), они не отстают от меня; я жалуюсь на *каплюжника* (полицейского) моего квартала, который недолюбливает меня. Мне сочувствуют, жмут руку, я отвечаю пожатиями, решено — на меня можно рассчитывать вполне. Затем следует известное предложение… Роль, которую я исполнял, была почти такая же, какую я разыгрывал всегда. Но тут я пересаливал — например, нагружал карманы приятелей краденными вещами и т. д. После этой сцены послышался гром рукоплесканий и взрыв хохота.

— Важно разыграно! — воскликнули разом и актеры, и зрители.

— Хорошо, не могу сказать ничего худого, — прибавил Ришло, — но нам пора… солнце уж заходит, пьесу можно окончить на извозчике либо придя назад, как *пропулим* (продадим) товар. Пойду за *ловаком* (лошадью), ведь так, эй вы, приятели!

— Да, да, едем, да поскорее.

Драма разыгрывалась дружно и приближалась к развязке, но развязка эта была несколько иного рода, нежели предполагали мои приятели, и вовсе не соответствовала заглавию пьесы; мы сели в фиакр и велели кучеру везти на угол улицы Бретань и Турэн. В двух шагах жил некий Бра, один из покупщиков краденых вещей. Дюбюиссон, Камери и Ленуар вышли из экипажа, унеся с собою часть товаров, которые решено было продать.

Пока они торговались, я заметил, высунувши голову в окно, что Аннетта в совершенстве исполнила мои инструкции. В нескольких шагах я видел полицейских агентов, переминавшихся с ноги на ногу, поднявши кверху носы, или расхаживавших взад и вперед с самым беспечным видом.

Прошло десять минут, наши товарищи, отправившиеся к Бра, уже вернулись. Они выручили 125 франков за свою добычу, которая стоила по крайней мере втрое или вчетверо, но это все равно — деньги были налицо, и теперь оставалось только наслаждаться ими. У нас в экипаже оставались еще узлы, которые мы предназначали для Красного Яблока. Доехав до улицы Жюивери, Ришло сказал мне: «Теперь ты будешь продавать, ведь *мешок*-то (приемщик) знакомый твой».

— Ну, это мне не с руки, — ответил я, — у нас с ним счеты есть, и мы повздорили.

Я вовсе не был должен Красному Яблоку, но мы с ним виделись, он знал, кто я такой, и неосторожно было бы показываться ему; поэтому я предоставил приятелям обделывать свои дела, и по возвращении их, убежденный, что полиция приготовилась действовать, я предложил идти ужинать в гостиницу Grand Casuel на набережной Пелетье.

После посещения Красного Яблока наши капиталы увеличились на восемьдесят франков и мы имели возможность развернуться во всю ширь, не опасаясь разориться, но мы не имели времени насладиться своим богатством. Едва успели мы помочить губы в своих стаканах, как вошла стража и за ней целая фаланга полицейских. Надо было видеть, как вытянулись лица моих собеседников при виде ветеранов и чертовой роты; все прошептали испуганным голосом: «Мы проданы»… Полицейский офицер Тибо пригласил нас предъявить наши бумаги. У одних вовсе не оказалось бумаг, у других хотя и были, да не в порядке, в том числе и у меня.

— Забрать этих молодцов! — скомандовал офицер.

Нас связали попарно и повели к комиссару. Лапьер шел в паре со мной.

— Надеешься ты на свои ноги? — шепнул я ему на ухо.

— Да, — ответил он; добравшись до улицы Таннери, я вынул нож, спрятанный в рукаве, и перерезал веревку.

— Теперь смелей, Лапьер! Мы спасены! — воскликнул я. Одним ударом локтя в грудь одного из сопровождавших нас я повалил его наземь и в два прыжка очутился в узком переулке, ведущем к Сене. Лапьер последовал за мной, и мы вместе добираемся до набережной Орм.

Нас потеряли из виду, и я был в восторге, что мне удалось удрать и таким образом избегнуть того, чтобы меня узнали. Лапьер был доволен не менее моего, так как он не подозревал даже никакой задней мысли, а между тем, содействуя его побегу, я сделал это с расчетом попасть в другую шайку воров.

Бежав с Лапьером, я устранял от себя все подозрения его товарищей и удерживал за собой хорошее мнение, которое они имели обо мне. Таким образом я подготовлял себе новые открытия; так как я был тайным агентом, то обязан был компрометировать себя как можно менее.

Лапьер был свободен, но я не выпускал его из виду и готов был выдать, как только он окажется мне ненужным. Мы продолжали бежать до гавани Лопиталь и остановились только перед кабаком, куда вошли освежиться и перевести дух. Я велел подать нам выпить, чтобы окончательно прийти в себя.

— Ну, что скажешь, друг Лапьер? Славная была гонка!

— Да, да, досталось-таки нам! Никто меня не разубедит в том…

— В чем же, смею спросить?

— Ну да это потом, теперь выпьем.

Опорожнив свой стакан, он сделался задумчивым и повторял:

— Нет, нет, никто меня не разубедит…

— Да объяснись же, наконец.

— Что же выйдет из моего объяснения?

— Ты прав; а вот что — ты прекрасно сделал бы, сняв чулки, которые у тебя надеты, да галстук, повязанный на шее.

Лапьер был почти в одинаковом положении, как некий джентльмен, который, вылетая из окна в сад Пале-Рояля, не имел другой обуви, кроме шелковых чулок и белых атласных башмаков своей любовницы. Мне показалось, что я замечаю

в глазах моего приятеля нечто вроде недоверия; эта черная точка обыкновенно так быстро разрастается, что я почувствовал необходимость рассеять ее и дать Лапьеру доказательство моей преданности и расположения. Вот почему я посоветовал ему отбросить некоторые принадлежности его туалета, которые могли изобличить его, так как принадлежали к числу украденных вещей и были надеты тотчас же после дележа.

— Что же мне с ними делать? — спросил Лапьер.

— Как — что? Известно, бросить в воду.

— Ну уж извини! Новые шелковые чулки и платок, еще не подрубленный, брось-ка свои, если тебе это нравится!

Я заметил ему, что на мне не было ничего такого, что могло скомпрометировать меня.

— Ты как заяц, — прибавил я, — потерял память, пока бежал. Разве ты не помнишь, что мне не досталось галстука, а с моими икрами разве возможно было надеть женские чулки?

Он послушался моих увещаний, разулся и с раздумьем вертел в руках чулки, завернутые в шейный платок.

Воры в одно и то же время отличаются скупостью и расточительностью. Лапьер чувствовал

необходимость отделаться от этих вещей, которые могли изобличить его, но в то же время у него болело сердце при мысли расстаться с ними. Результаты покражи часто так дорого достаются, что принести их в жертву бывает тяжело.

Лапьер во что бы то ни стало хотел продать чулки и платок, и мы отправились вместе в улицу Бушерон и предложили вещи купцу; тот дал нам за них сорок пять су. Лапьер, по-видимому, успокоился после обрушившейся на него катастрофы, а между тем он был не так свободен и искренен, как прежде, и, судя по всему, я внушал ему сильные подозрения, невзирая на мои старания восстановить с ним прежние отношения. Подобные подозрения вовсе не соответствовали моим видам; убедившись, что нам лучше всего поскорее расстаться, я сказал ему:

— Если хочешь, отправимся ужинать на площадь Мобера.

— Ладно, пойдем, — ответил он.

Я повел его к «Двум братьям», где потребовал вина, котлет, ветчины и сыру. В одиннадцать часов мы все еще сидели за столом. Наконец все ушли, и нам подали счет — всего было на четыре франка пятьдесят сантимов. Я стал шарить по карманам.

— Странное дело! Где же моя пятифранковая монета?

Я стал искать повсюду, но денег нигде не находил.

— Ах, боже мой, какая досада: я, верно, потерял ее, когда бежал. Поищи-ка, Лапьер, не у тебя ли она.

— Нет, говорят тебе, у меня мои сорок пять су, и ни шиша больше.

— Ну давай хоть это, я заплачу пока хоть сколько-нибудь, а потом устроимся как-нибудь.

Я предложил кабатчику два франка пятьдесят сантимов, обещая ему доставить остальное на другой день. Но он не так-то легко поддался на мои просьбы и обещания.

— А, вы полагаете, — кричал он, — что достаточно прийти, набить себе брюхо, а потом удрать не заплативши. Нет-с, вы извините…

— Но, — заметил я, — такое обстоятельство может случиться со всяким честным человеком.

— Да, заговаривай зубы-то; знаю я вас. Когда нет гроша за душой, так надо и постесниться, а не заказывать себе ужина на шаромыжку.

— Не сердитесь, любезный, ведь дела не поправите…

— Без рассуждений, заплатите сейчас же, или я

пошлю за полицией.

— Полиция! Вот вам с вашей полицией, — ответил я, сопровождая свои слова бесцеремонным жестом, употребительным в простом народе.

— Ах ты мошенник, не довольно, что налопался моим добром, он же еще говорит дерзости… — возопил кабатчик, подставляя мне кулак под нос.

— Не смей трогать, — воскликнул я в свою очередь, — или я…

Он все-таки подвигался ко мне, и я ловкой рукой влепляю ему звонкую пощечину.

Дело дошло до настоящей свалки; Лапьер, предвидя, что это может окончиться плохо, счел нужным улепетнуть; но в эту самую минуту один из гарсонов схватил его за шиворот с криком: «Караул! воры!»

Гауптвахта была в двух шагах, солдаты прибежали на шум, и во второй раз в течение дня мы очутились между двух рядов ненавистных воинов. Мой товарищ пытался убедить их, что он тут ни при чем, но вахмистр ничего и слышать не хотел, и нас свели в участок. С этой минуты Лапьер окончательно присмирел и приуныл; он более не раскрывал рта. Наконец, к двум часам ночи комиссар, делая обход, потребовал, что-

бы ему представили всех вновь арестованных. Лапьер появился первым, и ему объявили, что его выпустят, если он согласится заплатить за ужин. Позвали в свою очередь и меня; войдя в кабинет, я узнал Легуа, а он меня. В двух словах я объяснил ему, в чем дело, и указал место, где были проданы чулки и шейный платок, и пока он делал распоряжение, чтобы захватить эти необходимые вещи для ареста Лапьера, я снова вернулся в камеру заключенных. Он уже вышел из своей задумчивости.

— Наконец я понял, — объявил он, — теперь я вижу, в чем дело; все это сделано нарочно.

— Хорошо, будь по-твоему, а я поговорю с тобой откровенно. Допустим, что все это сделано нарочно; в таком случае скажу тебе, что ты виноват, а никто другой, что мы с тобой *влопались*.

— Нет, любезный, не я, и не знаю кто, а тебя подозреваю все-таки больше других. — При этих словах я рассердился, он также вышел из себя, и мы начинаем драться. Нас разнимают. Как только мы расстались, я отыскал свои деньги, и так как кабатчик не внес в счет полученную им плюху, то моих денег достало не только на уплату за ужин, но еще на выпивку солдатам, как обыкновенно водится. После исполнения этого долга ничто

более не удерживало меня; я удалился восвояси, не простившись с Лапьером; на другой день я узнал, что мои труды увенчались полным успехом: супруги Бра и Красное Яблоко были накрыты среди вещественных доказательств их гнусной торговли и принуждены были сделать полное признание… Один Лапьер упорно отрицал свою виновность, но на очной ставке с торговцем с улицы Бушерон он наконец сознался, увидев чулки и шейный платок, служившие уликой. Вся шайка, воры и укрыватели, были препровождены в Форс в ожидании суда. Там они вскоре узнали, что их приятель, игравший роль «влопавшегося Видока», не кто иной, как сам плут Видок. Трудно себе представить их удивление; как они упрекали себя, что связались с таким искусным актером. После приговора все были отправлены в галеры. Накануне отъезда я присутствовал, по обыкновению, при заковке. Увидав меня, они не могли удержаться от улыбки.

— Полюбуйся-ка, — сказал мне Лапьер, — это дело твоих рук, доволен теперь, мошенник!

— По крайней мере, мне нечем упрекнуть себя, не я уговаривал вас воровать. Не вы ли сами позвали меня? Другой раз не будьте так доверчивы. Когда занимаешься таким ремеслом, надо дер-

жать ухо востро.

— Все равно, — сказал Камери, — ты можешь продавать товарищей сколько угодно, а тебе не избегнуть *лугов* (галер).

— А пока счастливого пути. Приготовьте для меня местечко, а если вернетесь в Пантен, то не попадайтесь в капканы.

После этого ответа они стали разговаривать между собой.

— А, он еще потешается над нами, подлец! — сказал Ришло. — Ну хорошо же, пусть будет осторожнее…

— Ух, ты бы лучше держал язык за зубами, — ответил ему другой, — ведь не ты ли сам привел его в нашу компанию. Уж если был знаком с ним, так должен был знать, что на него, душегубца, положиться нельзя…

— Да, да, этим мы обязаны тебе, Ришло, — возразил Красное Яблоко, которого в это время заковывали, причем удар молотом чуть-чуть не размозжил ему голову.

— Смирно лежать! — грубо прикрикнул на него кузнец.

— А все-таки, — продолжал он, не смущаясь, — приемщик нас подкузьмил, а то бы…

— Будешь ты смирно лежать, собака? Береги

свою башку!

Эти слова были последними, которые я услышал; удаляясь, я увидал по известным жестам, что разговор был оживленный. Что они говорили — я не знаю.

Глава тридцать шестая

Поездка в Сен-Клу. – Коварные приманки. – Беспорядок в спальне. – Честные люди предместья Сен-Марс. – Язык Иуды. – Две любовницы. – От радости вырастают крылья. – Монолог. – Поверья. – Любовница русского князя. – Старый сераль. – Куртизанки. – Святой ковчег. – Копилка. – Ненависть к эполетам. – Похвальные чувства. – Лотерейный билет. – Пенелопа. – Клятва публичных женщин. – Луизон-болтунья. – Чудовище. – Фурия. – Тяжкая обязанность. – Эмилия в участке. – Филемон и Бавкида. – Жозефина Реаль. – Философские размышления. – Наказанный изменник. – Освобождение. – Ответ на критические замечания

Летом 1812 года один вор по ремеслу, некто Гото, давно мечтавший снова попасть на должность сыщика, которую он исполнял до моего поступления в полицию, явился предлагать мне свои услуги ввиду предстоящего праздника в Сен-Клу. Известно, что праздник этот бывает одним

из самых блестящих в окрестностях Парижа и что ввиду громадного стечения публики там никогда не бывает недостатка в карманниках. Это было в пятницу; просьба Гото показалась мне тем более странною, что еще недавно я доставил полиции насчет него сведения, вследствие которых он был привлечен к суду. Может быть, думал я, он старается сблизиться со мной собственно с той целью, чтобы подставить мне ногу или сыграть какую-нибудь скверную штуку. Вот каково было мое первое впечатление. Однако я принял его радушно и даже выразил ему свое удовольствие за то, что он не усомнился в моем желании быть ему полезным. Я старался быть настолько искренним в уверениях о своем расположении, что ему невозможно было не обнаружить своих настоящих намерений; внезапная перемена в выражении его лица доказала мне, что, принимая его предложение, я буду содействовать известным планам, которых он не имеет никакой охоты доверять мне. Я ясно видел, что он внутренне радуется тому, что я попал впросак. Как бы то ни было, я притворился, будто имею к нему глубочайшее доверие, и мы условились, что через два дня, в воскресенье, он около двух часов отправится сторожить у главного бассейна

и будет указывать нам своих знакомых воров, которые, по его словам, должны прийти «работать» на праздник.

В назначенный день я отправился в Сен-Клу с двумя агентами, в то время находившимися в моем распоряжении. Прибыв на условленное место, я не нашел Гото; стал ходить взад и вперед, смотреть во все стороны — моего Гото все нет. Наконец, потеряв терпение, я отправил одного из своих помощников в главную аллею, не найдет ли он где-нибудь в толпе нашего товарища, неаккуратность которого была настолько же подозрительна, насколько прежде его усердие.

Мой разведчик проискал напрасно целый час; наконец, утомленный поисками и прогулками по всем направлениям в саду и парке, он пришел объявить мне, что нашего приятеля не видно решительно нигде. Несколько минут спустя я увидел Гото, бегущего к нам, запыхавшись. «Знаете ли! — воскликнул он. — Я соследил шестерых мазуриков, и они уже славно *наклевались*, да вдруг увидели вас и убрались прочь, а жалко, черт возьми, — славно клевали! Впрочем, время терпит, накрою их в другой раз».

Я сделал вид, что принимаю эту выдумку за чистую монету, и Гото был убежден, что я не со-

мневаюсь в истине его слов. Мы провели вместе большую часть дня и расстались только вечером. Тогда я отправился в жандармский караул, где мне сообщили, что в толпе было украдено несколько часов и других вещей, в направлении совершенно противоположном тому, которое указывал мне Гото. Я убедился окончательно, что нас нарочно увлекли по одному направлению, чтобы удобнее действовать по другому. Эта старинная уловка, основанная на известной тактике диверсий и фальшивых донесений, делаемых полиции ворами с целью избавиться от ее наблюдения.

Гото, которому я, конечно, не сделал ни малейшего упрека, был вполне уверен, что я попался на удочку; но если я молчал, то много думал про себя, и, подружившись с ним еще более, я надеялся уловить случай, чтобы провалить его окончательно. Мы стали закадычными друзьями, и удобный случай представился ранее, нежели я ожидал.

Однажды утром, возвращаясь вместе с Гафре из предместья Сен-Марс, где мы ночевали, мне пришла в голову фантазия сделать неожиданный визит нашему другу Гото. Я сообщил об этом намерении своему спутнику, он изъявил согласие,

и мы вместе отправились к Гото на квартиру. Входим; он встречает нас, по-видимому очень удивленный нашим появлением.

— Какими судьбами в такую раннюю пору? — воскликнул он.

— Это тебя удивляет, — ответил я, — а мы пришли распить с тобой бутылочку.

— Если так, то милости просим — добро пожаловать. — И он снова лег в постель. — Где же ваша обещанная выпивка?

— Гафре сходит купить что следует. — Я пошарил в карманах, и так как Гафре по своей жидовской натуре был менее скуп на ходьбу, нежели на деньги, то с удовольствием принял на себя исполнить поручение. Во время его отсутствия я заметил, что у Гото утомленный вид, как у человека, который слишком поздно лег спать; кроме того, в комнате был страшный беспорядок — платье его, брошенное кое-как, казалось, было недавно под сильным дождем; обувь была покрыта грязью, еще не успевшей высохнуть. Я не был бы Видоком, если бы из всех этих признаков не вывел тотчас же заключение, что Гото недавно вернулся из *экспедиции*. Пока я не смел еще приходить к другому заключению, но скоро мне пришли в голову подозрения, которые я не

мог отогнать. Чтобы не показаться любопытным и опасаясь встревожить нашего приятеля, я не стал даже обращаться к нему с вопросами. Мы заговорили о погоде и о разных мелочах и, распив нашу бутылку, расстались.

Очутившись на улице, я поспешил сообщить Гафре мои наблюдения:

— Он, наверное, провел ночь не дома, — сказал я, — и, если я не ошибаюсь, тут дело нечисто.

— Я тоже думаю, его платье еще мокро, и обувь вся в грязи. Действительно, тут что-то неладно.

Гото, конечно, не подозревал, что речь шла о нем, но, наверное, ему икалось, пока мы терялись в догадках насчет его приключений. Куда он ходил, что делал, не принадлежит ли он к какой-нибудь шайке — вот вопросы, которые мы задавали друг другу. Гафре был заинтересован не менее моего, и наши догадки, конечно, были такого свойства, что не могли сделать чести нравственности нашего приятеля.

В полдень, по обыкновению, мы явились представлять отчет о наших наблюдениях в продолжение ночи; доклад наш вовсе не был интересен — добычи мы не соследили ровно никакой. «Оказывается, — заметил наш начальник Анри, — что в квартале Сен-Марго все честные

люди живут, и я лучше бы сделал, послав вас на бульвар Сен-Мартен. Кажется, господа воры снова принялись за покражу свинца: в нынешнюю ночь было похищено около 450 фунтов в одном строящемся здании. Сторож преследовал их, но не мог нагнать; он уверяет, что их было четверо. Они делали свое дело во время сильного дождя».

— Во время дождя! Так вот в чем дело, — воскликнул я, — теперь я знаю одного из воров.

— Кто такой?

— Гото!

— Тот самый, что состоял при полиции, а теперь снова просится на службу?

— Тот самый.

Я сообщил начальнику о своих наблюдениях утром, и, так как он был вполне убежден, что я прав, я немедленно приступил к поискам, чтобы как можно скорее фактически подтвердить свои догадки. Комиссар того квартала, где была совершена покража, отправился со мною на место действия, и мы нашли на земле глубокие следы подкованных башмаков: почва подалась под тяжестью человека. Эти следы могли доставить драгоценные улики, и я был почти уверен, что башмаки Гото отлично придутся по этим следам. Я пригласил Гафре отправиться к Гото со мной

вместе, чтобы проверить свои предположения; но чтобы подозреваемый ничего об этом не знал, я придумал следующее средство: добравшись до квартиры Гото, мы подняли страшный шум у его дверей.

— Вставай же, полно тебе дрыхнуть! — кричали мы.

Он проснулся, отпер дверь, и мы вошли в комнату, пошатываясь, как люди слегка подгулявшие.

— Ну, поздравляю вас, — сказал Гото, — нализались спозаранку!

— Вот поэтому-то мы расщедрились тебе на подарок, — ответил я. — Посмотри-ка, какую покупку мы сделали доро́гой.

И, развернув бумагу, я показал ему жирную жареную птицу.

— А, черт возьми, это индюшка.

— Да, любезный, это твой родной брат!..

Пока голодный Гото с наслаждением любовался на аппетитную птицу, переворачивая во все стороны и поднося ее к носу, Гафре нагнулся и, подняв его башмаки, сунул их себе в шляпу.

— А что стоит эта индюшка?

— Один *кругляк* и десять *жанов*.

— Прости господи! Семь ливров десять су! На эти деньги как раз можно купить пару башма-

ков.

Похититель башмаков радостно потер себе руки.

— Ну а все-таки деньги не брошены, есть что поглодать! Да и аромат-то какой аппетитный! Уж этот Жюль никогда не даст маху.

— Неправда ли, ведь я знаток в этом деле?

— Правда, правда, а кто резать будет? Я отказываюсь.

— Ладно, мы тебя угощать будем; есть у тебя ножик?

— Поищите там где-то, в комоде.

Я отыскал нож; оставалось только найти предлог, чтобы дать Гафре возможность улизнуть.

— Вот что, — сказал я ему, — сделай милость, сходи ко мне и предупреди, чтобы меня не ждали домой к обеду.

— Вот выдумали! Это чтобы вы тут всё без меня покончили! Нет, слуга покорный, я ни с места, пока не съем своей доли.

— Мы есть не станем, пока не будет чем запить.

— В таком случае я велю принести пойла.

Он отворил окно и позвал кабатчика. Таким образом, я ничего с ним не мог поделать.

Гафре, как и большая часть полицейских сыщи-

ков, был, в сущности, добрый малый, но страшно жадный и лакомка. У него брюхо всегда было на первом плане, и хотя он овладел башмаками, что было самая важная статья, но я знал, что он не покинет нас, пока не разделит с нами завтрака. Поэтому я поспешил разрезать жаркое, и, когда принесли вино, я сказал ему: «Ну, теперь живей садись за стол — раз, два, три и проваливай».

Столом нам служила постель Гото, и мы принялись без вилок и ножей за свою трапезу, на манер древних. Ели мы, как водится, с аппетитом, и завтрак скоро был окончен.

— Ну теперь, — сказал Гафре, — я опять пришел в себя — будто полегче; не знаю, как ты, но я никуда не годен, когда у меня пустота в желудке; другое дело, когда чемодан полон.

— Ну, в таком случае проваливай.

— Будь покоен, сейчас отправлюсь.

Он взял шляпу и вышел.

— Слава богу, ушел, — сказал Гото тоном человека, которому хочется потолковать по душам. — Что же, друг Жюль, когда же меня наконец примут, не найдется разве местечка для Гото?

— Делать нечего, надо потерпеть, разом ничего не дается.

— А между тем от тебя зависит замолвить за

меня словечко. Анри верит тебе, как оракулу, и тебе стоит только заикнуться…

— Ну уж только не сегодня: мы с Гафре ожидаем порядочной нахлобучки — вот два дня, как мы и не думали являться к докладу.

Я нарочно присочинил последнюю подробность: необходимо было дать ему понять, что я не мог знать о покраже, в которой я подозревал его участие. Опасаясь, что он захочет вставать, я навел разговор на интересную для него тему; он сообщил мне о некоторых делах.

— Ах, — сказал он, вздыхая, — если б я был уверен, что поступлю в полицию с жалованьем в 1200 или 1500 франков, то я мог бы доставить такие сведения!.. К тому же у меня теперь есть на примете такое прекрасное дельце — кража со взломом, — что просто подарочек был бы вашему Анри.

— В самом деле?

— Клянусь честью. Три вора — Бершье, Кафен и Линуа, я ручаюсь, что оплету их как нельзя лучше, — это вернее смерти.

— Если так, то отчего же ты молчишь? Это для тебя был бы отличнейший дебют.

— Знаю, да только…

— Уж не меня ли ты боишься? Будь покоен, если

ты будешь полезен, так я еще тебе сам помогу.

— Ах, друг мой, ты вливаешь мне бальзам в душу. Неужели ты намерен помочь мне?

— Штука немудреная, отчего же и нет?..

— Выпьем же, дружище, — воскликнул он вне себя от радости.

— Да, да, выпьем, за твое будущее поступление на службу.

Гото был на седьмом небе, он уже составил себе план службы, уже лелеял мечты счастия. Весь он преобразился, оживившись надеждой. Я страшно боялся, что ему придет охота встать с постели. Наконец постучали в дверь. Явился Гафре с полубутылкой водки, которую ему дала Аннетта.

– *Трафа!* — сказал, входя в комнату, мой жид-товарищ на еврейском языке, вероятно любимом наречии нашего патрона, господина Иуды.

Трафа и *попался* имеют одно и то же значение. Пока я наливал нашему новопосвященному полицейский нектар, Гафре поставил башмаки на место. Попивая, мы продолжали болтать, и я узнал в течение разговора, что Гото намерен выдать полиции именно тех воров, которые замешаны в покраже свинца. Дядя Бельмон, жестянщик в улице Теннери, был тот, кому они сбыли свою добычу.

Эти подробности были весьма интересны. Я сообщил Гото, что немедленно донесу о них г-ну Анри, а между тем велел ему разузнать, где воры провели ночь. Он обещал мне указать их ночлег, и, условившись, что нам делать, мы расстались.

Гафре не отходил от меня.

— Твоя правда, — сказал он, когда мы остались наедине, — ведь и он там был, башмаки отлично приходятся по следам; вероятно, когда он прыгнул из окна, то всей тяжестью вдавил землю — следы очень глубокие.

По этим данным я тотчас же сообразил, какую роль намерен разыграть Гото в своем деле. Во-первых, ясно, что он совершил покражу с целью получить от нее выгоду, — но вместе с тем он гнался за двумя зайцами! Донося на своих товарищей, он достигал другой цели — подольститься к полиции и быть снова принятым на службу. Я пришел в ужас, сообразив эти комбинации. Негодяй, думал я, нужно постараться сделать так, чтобы он понес достаточное наказание за свои преступления, и если несчастные, которые помогали ему в его экспедиции, будут осуждены, то справедливость требует, чтобы он разделил их участь. Я не мог расстаться с убеждением, что он виновнее их всех; насколько я знал его

характер, мне казалось весьма вероятным, что он нарочно завлек их в это дело, чтобы потом воспользоваться всеми выгодами. Я даже не прочь был думать, что он совершил покражу один и счел удобным обвинить субъектов, на которых легко было навлечь подозрение благодаря их известной порочности. Во всяком случае, Гото был отъявленный мошенник, и я дал себе слово избавить от него общество. Я знал, что у него есть две любовницы: Эмили Симонэ, у которой было несколько детей от него и с которой он жил постоянно, и другая, Фелисите Рено, публичная женщина, до безумия влюбленная в него. Я задумал извлечь выгоду для себя из соперничества этих двух женщин, и на этот раз ревность должна была служить светочем для правосудия. Мы не теряли Гото из виду. После обеда мне объявили, что он в Елисейских Полях с Фелисите. Я нашел его там и, отведя в сторону, сообщил ему, что нуждаюсь в нем для весьма важного дела.

— Вот видишь ли, — сказал я, — тебе необходимо дать себя заарестовать и отвести в участок, и ты там порасспросишь одного мазурика, которого мы препроводим туда же сегодня вечером. Ты будешь в чижовке раньше него; ему и в голову не придет, что ты *баран,* так что тебе легко будет

завязать с ним дружбу.

Гото принял предложение с энтузиазмом.

— Ах, — вздохнул он с видом облегчения, — наконец-то и я попал в шпионы! Будь покоен, ты можешь рассчитывать на меня, но прежде всего я должен распроститься с Фелисите.

Он вернулся к ней, и так как наступила ночная пора, час приключений, то она не подумала бранить его за то, что он слишком рано покидает ее.

— Ну теперь, когда ты избавился от своей бабы, я сообщу инструкции. Ты ведь знаешь кабачок на Монмартрском бульваре, против театра «Varietes»?

— Как не знать — Брюнэ?

— Именно, отправься туда и поместись в глубине лавки, потребовав бутылку пива. Вскоре войдут два инспектора, подначальные Мерсье... Ты их, надеюсь, узнаешь?

— Конечно узнаю! Кому ты это говоришь? Такому старому воробью!

— Ну и прекрасно; когда они войдут, ты подай им знак, что это ты; видишь ли, это необходимо, чтобы они не приняли тебя за кого-нибудь другого.

— Будь покоен, не примут.

— Понимаешь, ведь неприятная была бы шту-

ка, если бы они вдруг захватили какого-нибудь буржуа!

— Что за вздор! За кого ты меня принимаешь? А знак-то на что, скажи на милость? Я не дам им даже времени искать меня глазами.

— Ладно. Во-первых, им отдано распоряжение: когда они увидят тебя, то будут знать, как поступить. Тебя арестуют и отведут в участок, где ты останешься часа два-три, чтобы тот, кого ты должен исповедовать, видел тебя в участке, а потом не удивился бы, встретив тебя в депо.

— Не беспокойся. Я так сыграю комедию, что всякий подумает, будто я взаправду влопался. Ты увидишь, гожусь ли я для дела.

Он так и сиял от радости, и мне сделалось жалко, что я принужден обманывать его. Но когда припомнил его поведение относительно его товарищей, остаток жалости, которую я к нему чувствовал, живо рассеялся. Пожав мне руку, Гото удалился быстрыми шагами, не чувствуя под собой ног. Я, со своей стороны, с такой же быстротой поспешил в префектуру, где нашел упомянутых инспекторов. Один из них был некто Кошуа, состоящий теперь сторожем в Бисетре. Я дал им инструкции, как действовать, и последовал за ними. Они вошли в кабачок.

Едва успел он переступить через порог, как Гото, верный своему слову, дал о себе знать, ткнув себя пальцем в грудь, как человек, который хочет сказать: это я, тот самый... По данному знаку надзиратели подходят к нему и приглашают его показать свои бумаги. Гото с гордостью Артабана отвечает им, что бумаг у него не имеется.

— В таком случае, сделайте милость, следуйте за нами.

И чтобы помешать ему бежать, если бы ему пришла в голову такая фантазия, его привязали на веревку. Во время этой операции на лице Гото изобразилась внутренняя радость: он был счастлив, что его связали, он благословлял свои узы и любовался на них с наслаждением. По его мнению, вся эта церемония совершалась ради пустой формальности, в сущности же, он был, как известный древний философ, «свободен в своих узах». Он тихо прошептал полисменам: «Черт меня подери, если мне удастся бежать. Граблюхи (руки) да ходули (ноги) связаны, какое уж бегство, ни дать ни взять — сахарная голова. Ну уж просто это называется работать на славу!»

Было около восьми часов вечера, когда Гото посадили в участок. В одиннадцать еще не привели того человека, которого он должен был

подвергнуть исповеди. Может быть, он ускользнул, может быть, и сознался; словом, содействие *барана* становилось излишним. Уж не знаю, в какие догадки и предположения пускался Гото, но в конце концов, соскучившись ждать и вообразив, что его забыли, он просил доложить полицейскому комиссару, что он все еще там сидит.

— Ну и пусть его сидит, — ответил тот, — это меня не касается.

Ответ этот, переданный пленнику, не возбудил в нем ничего, кроме мысли о нерадении полисменов.

— Если бы еще я поужинал, — повторял он комически плачевным тоном, с той плаксивой веселостью, которая не столько трогательна, сколько смешна. — Им и горя мало, а тут свищи в кулак. — Он подзывал несколько раз то сержанта, то капрала и поверял им свои горести; приставал даже к дежурному офицеру, чтобы тот его выпустил.

— Я вернусь, — уверял он, — если вам угодно; ну что вам стоит отпустить меня, ведь меня запрятали так только, не взаправду.

К его несчастью, офицер, который на другой день передал нам эти подробности, был не из легковерных и, напротив, отличался непоколе-

бимым упрямством.

Гото мучился голодом; для людей, которые верят в угрызения совести, это могло послужить признаком… его невинности, офицер был не из таковских… да и к тому же он не мог ничего принимать на свою ответственность. Несмотря на все просьбы, он покрепче припер двери камеры, где сидел Гото, который не мог прийти в себя от небрежности полиции и изливал свою досаду в несвязном монологе, в котором высказывалось попеременно то его негодование, то примирение со своей судьбой.

— О, это уж слишком! Неужели они меня здесь оставят на ночь… да нет, это невозможно. Придут же они когда-нибудь, окаянные. Господи! а их все нет как нет… может быть, их что-нибудь задержало… Уж попадись они мне в руки, я им наклал бы в горб… впрочем, если тут не их вина, так и толковать нечего. Положительно, они бесят меня… Если меня посадили, собственно, для того молодца, а его нет… Тут нет здравого смысла… а я-то не евши сижу, с самого утра маковой росинки не было во рту… Ну не собаки ли они после этого! Впрочем, человек не всегда может поступать, как ему хочется. Эх, проклятая судьба! говорить нечего, славно я попался, а есть-то как хочется, так и

гложет… Ну, что же делать, все это дела службы, придется поголодать — молодец! Не бог весть какая беда, ведь не умрешь же с голоду, завтра лучше позавтракаю. О, я готов дать голову на отсечение, что они где-нибудь угощаются, бестии, брюхо набивают. Уж попадись они мне только, голубчики… Да я никак сердиться начал!.. Из-за пустяков, стоит ли? Господи, кабы только у меня была моя утрешняя индейка!.. Хоть бы друг мой Жюль тут случился… если бы он только знал!..

Пока Гото изливал свое горе в скорбных иеремиадах, поминая своего друга Жюля и далеко не подозревая последствий своего якобы мнимого ареста, я пробирался по узеньким переулкам на площадь Шателе, где нашел Эмили Симонэ в одном из тех жалких вертепов, в которых пожилые женщины держат крепкие напитки и девиц для мелкой братии. Девушки сами приводят гостей, которые, входя в это ужасное прибежище порока под предлогом выпить рюмку-другую, вдвойне отравляют себя. В таких-то кабаках сосредоточиваются самые жалкие подонки проституции и существуют благодаря бедности или пьяному состоянию посетителей. Много бывших красавиц, осужденных на скромную суконную кацавейку, фланелевую юбку и грубые сабо, оканчивают там

свою блестящую карьеру, когда они еще в полном блеске своей красоты гарцевали в амазонке на гордом коне или катались в тильбюри на модных гуляньях. Много видел я подобных примеров, возьму, например, подругу этой же Эмили, некую Каролину. Она была любовница русского князя. В дни ее процветанья ей мало было ста тысяч в год, чтобы поддерживать свою безумную роскошь; у нее были экипажи, лошади, лакеи, были поклонники. Красота ее исчезла, и все испарилось вместе с ней; она сделалась подругой Эмили, может быть еще более низкой, нежели она. Не выходя из состояния опьянения, она не протрезвлялась даже ни на минуту. Хозяйка ее, заботившаяся о ее туалете, так как у Каролины не было ни тряпицы, принуждена была наблюдать за ней беспрестанно, чтобы она не продала своих вещей. Не раз случалось ей возвращаться голой, как Ева, — пропив последнюю рубашку. Вот каково было положение этих несчастных тварей, которые почти все когда-то пользовались кратковременной роскошью. Те самые женщины, которые когда-то кидали золото пригоршнями, теперь довольствовались куском черствого хлеба; к этой категории куртизанок принадлежат женщины, которые составляют наслаждение

каменщиков, комиссионеров и водовозов. Эти бонвиваны низшего разбора содержат их, или же они сами, если только находятся в хороших обстоятельствах, содержат воров или, по крайней мере, помогают им переносить невзгоды заключения или недостатка заработка. Подруга *княгини* Каролины, Эмили Симонэ, принадлежала именно к этому разбору женщин; сердце у нее было необыкновенно доброе, я встретил ее у некой мадам Бариоль. Эта дама — славная особа в своем роде и честная, насколько это возможно при ее профессии, — пользовалась некоторым авторитетом и уважением среди развращенного кружка, посещающего ее вертеп, отвратительный притон порока и сладострастья. Ее заведение в течение долгих лет служило прибежищем для этих увядших Цирцей, которых последствия их бесчестия и время повергли безвозвратно в бездну порока, — это был настоящий старый сераль, где напрасно было бы искать удовлетворения эстетического чувства: прелестниц там не водилось! Бывшая Армида модного квартала Chaussee d'Antin, превратившаяся в гнусную потаскушку, влачит там свое жалкое существование и истощает последние остатки сил в своем постыдном ремесле. Там блестящие туалеты из улицы

Вивьен уступают место тряпью из Тампля, и та самая женщина, которая во время своего краткого владычества пренебрегала самыми изящными принадлежностями моды, находит удовольствие увешивать свои увядшие прелести жалкими нарядами тетушки Бариоль. Так извозчичья кляча с гордостью красуется в сбруе, которою пренебрегала во время оно, когда ее запрягали в блестящую коляску. Сравнение несколько пошлое, но верное. Любопытна и в особенности поучительна была история некоторых из пансионерок почтенной Бариоль. Может быть, нелишне будет сказать несколько слов о биографии этой уважаемой матроны, которая в течение пятидесяти лет, подвергаясь кулачным и сабельным ударам, однако вышла победительницей из всех приключений, не получив ни одной царапины. Она была в дружбе с полицией, в дружбе с ворами, в дружбе с солдатами — словом, всеобщим другом, и, однако, она осталась невредимой в целой серии свалок, ссор и битв, при которых присутствовала. Горе тому, кто осмелился бы, поднимая драку из-за женщин, тронуть волосок на голове хозяйки Бариоль! Ее конторка была святилищем, которое щадили даже бутылки, пущенные в порыве гнева. Вот что называется

быть любимой! Не было ни одной из ее питомиц, которая не пролила бы кровь из-за нее. Не раз случалось, что по окончании срока квартиры, когда деньги, требуемые на уплату хозяину, были истрачены, бедные девушки из кожи лезли, чтобы пополнить дефицит! Какое всеобщее уныние, когда хозяюшка принуждена была закладывать свои старинные серебряные кубки, чтобы удовлетворить неумолимого хозяина. В чем она будет подогревать свое подслащенное вино, которое она зачастую распивает в обществе разных кумушек, когда они коротают время, рассказывая друг другу в интимной беседе о своих печалях и заботах и прихлебывая винцо маленькими глотками? Эта милейшая мадам Бариоль, сколько раз закладывала она свои вещи в Mont de Piete, чтобы иметь возможность угостить устрицами и белым вином блюстителей порядка! Полиция находила ее великодушной, а воры — сострадательной. Пользуясь доверием последних, она никогда не изменяла им и с участием выслушивала жалобы молодцов, у которых не было работы, а если видела, что почва восприимчива и кого-нибудь из ее клиентов ожидает хорошая будущность, то не прочь была угостить его всеми благами в кредит. «*Работайте,* дети мои, — твердила она *рабочим*

всех сортов и занятий, — чтобы быть хорошо принятым у меня, надо *работать* непременно». Но не то говорила она военному люду, который привлекала к себе бесконечными заботами и ухаживаньем. Она вторила им во всем, проклиная вместе с ними полицию, и чтобы окончательно завладеть их расположением, в случае стычки или драки посылала за полицией только в крайней необходимости. Она ненавидела высшие чины, полковников, капитанов, лейтенантов и т. д., но остальные военные галуны любила до страсти. К унтер-офицерам она чувствовала особенную слабость, для них она была нежной матерью.



— Послушайте, миленький фурьер, — часто говорила она, — приведите мне такого-то сержанта…

— Ладно, мадам Бариоль, непременно! — слышалось в ответ, и в свободные от ученья часы дом ее не пустел ни на минуту.

Тетушка Бариоль существует и до сих пор, но я потерял ее из виду с того времени, как мне не

было необходимости посещать ее заведение. В былое время она питала ко мне большое уважение, на какое только имеет право рассчитывать полицейский сыщик. Она обрадовалась несказанно, когда я объявил ей, что желаю видеть Эмили Симонэ, которая была ее любимицей. Она вообразила, что я намерен бросить платок в ее гарем.

— Если б ты даже и не спросил ее у меня, так я предложила бы ее, а не другую.

— Так вы, значит, ее любите?

— Еще бы не любить! Я обожаю женщин, которые заботятся о своих детях; уж если бы она спровадила их *туда,* я никогда бы и глядеть-то на нее не стала. Бедные малые ангелы! Чем они виноваты, что родились на свет божий! Последняя ее малютка — моя крестница… Вылитый портрет Гото, две капли воды. Хотела бы я, чтоб ты видел ее — растет она, как грибок, не по дням, а по часам. Девка будет молодец, уж и теперь все разумеет…

— Ну скороспелка же она…

— Да, а хорошенькая какая — чистый херувим. Погодите-ка, вырастет, тогда, я уверена, будет приносить матери немалый доходец. С девчонками никогда не пропадешь.

— Знаю, знаю.

— То-то и есть; Бог благословил Эмили, уж не считая того, что за последнее время ей чертовски везет на мужчин.

— Разве Бог вмешивается в такие дела?

— Ах вы изуверы! Ничему-то вы не верите.

— А вы разве набожны, тетушка Бариоль?

— А еще бы нет, священников я не люблю, а Бога почитаю; вот не далее как с неделю тому назад отслужила молебен, чтобы выиграть на Брюссельской лотерее, и билет клали под мощи.

— А свечку тоже ставили?

— Помалкивай лучше, язычник.

— Пари держу, что у вас верба поставлена у изголовья вашей постели?

— Конечно, нельзя же жить, как какая-нибудь безбожница.

Бариоль, не любившая, чтобы ее дразнили по поводу ее набожности, прервала разговор и стала звать Эмили.

– *Поскорей справляйся!* — кричала она. — Погоди, голубчик, я схожу посмотрю, скоро ли она будет готова.

— И прекрасно сделаете, я тороплюсь.

Эмили скоро появилась с каким-то капралом, который без оглядки распростился с ней тотчас же.

— Он позабыл и думать о своей выпивке, — заметила Бариоль, — и нам остается вылить из рюмки обратно в бутылку.

— Я выпью ее, — сказала Эмили.

— Это с какой стати?

— Вы шутите! За нее заплачено! — (Пьет.) — Что это такое? Там, кажется, мухи были!

— Ничего, — заметил я, — это развеселит твое сердечко.

— А, это ты, Жюль! Какими судьбами попал в наши края?

— Я узнал, что ты здесь. Дай, думаю, зайду проведаю супругу Гото и мимоходом заплачу ей за угощенье.

— Агата, — скомандовала Бариольша, — подай водки! — И Агата, по обыкновению делая вид, будто спускается в погреб, побежала в кабак и принесла литр вина, от которого мимоходом отлила добрую четверть.

— Ишь ты, как расщедрился, — сказала мне Эмили, пока я наполнял ее стакан. — Спасибо, брат Жюль.

Она была очень рада, что я предложил ей промочить горло, но это был только первый шаг, чтобы заручиться ее доверием. Надо было незаметно навести ее на статью ее неудовольствий,

на Гото. Я довольно искусно избегал резких переходов, чтобы не внушить ей никаких опасений. Прежде всего я начал с жалоб на свою судьбу. Такого сорта женщины любят вторить разным иеремиадам. Я видел, как многие из них заливались слезами при второй рюмке, а при третьей я становился их лучшим другом, и тогда они с готовностью выкладывали наружу все, что накопилось у них на сердце, — что у кого болит, тот о том и говорит. Эмили, которая в течение дня молча глотала слезы и затаивала грусть, не замедлила излить свои жалобы на неверность Гото и на своих соперниц.

— Хорош же гусь твой Гото! Стоит ли после этого любить его! Изменять тебе для какой-нибудь Фелисите! Между нами, Фелисите тебе и в подметки не годится, и я бы, клянусь честью, отдал предпочтение тебе.

— Ну полно насмехаться, Жюль! Я хорошо знаю, что Фелисите смазливее меня рожей, да что в этом толку, коли сердце у меня не в пример добрее; помнишь ты, как я ублажала его, изменника, да таскала ему гостинцев в каземат: уж по этому можно судить, хороша ли я была к нему!

— Что касается этого, так это сущая правда: ты о нем заботилась, я могу это засвидетельствовать.

— Неправда ли, Жюль, я на все была готова? А он-то, подлец… после этого лезьте из кожи вон для человека, уж я ли для него не вела себя как следует? Кажется, меня ни в чем упрекнуть нельзя было; законная жена, венчанная, и та, кажется, больше того не сделала бы.

— Правда, того бы не сделала.

— И потом это еще не все. Он знает, что я от него рожаю детей, это он отлично знает. Пока он корпел пятнадцать месяцев в кутузке, разве я рожала без него? Не сущая ли это правда? Уж это ли не добродетель? Пусть поищет другой такой, которая давала бы ему по десяти су, когда ему только вздумается! Ему бы следовало не забывать этого.

— Ты права, уж Фелисите не стала бы давать ему денег.

— Фелисите! Да она лучше бы пропила их, коли могла бы. Но таких-то всегда больше любят. — (Она вздыхает, пьет и вздыхает снова.) — Уж коли мы здесь вдвоем с тобой, признайся ты мне — видел ты их вместе? Скажи правду, клянусь тебе честью Эмили Симонэ, с места мне не сойти, лопни мои глаза, пусть меня поймает первый, кого я обобрать захочу, — все, что ты скажешь, не передам ему ни за что, рта не раскрою.

— Ну что же тебе говорить, все вы бабы болтушки!

— Честное слово, — (принимая торжественный вид), — клянусь прахом умершего отца…

Эта клятва существует только у Цирцей низшего разбора. Откуда они почерпнули ее? Может быть, какая-нибудь прачка клялась прахом своей матери, но клясться прахом отца! Эти слова загадочнее, нежели туманный призрак, от которого содрогался Фонтенель. Они заключают в себе целую монографию. В устах женщины, которая претендует на честность, они всегда некстати, так и хочется ответить ей: знаю тебя, прелестная маска. Клятва эта, принимая во внимание множество лиц, которые ее произносят, всегда казалась мне до того смешной, что я никогда не мог слышать ее, не улыбнувшись невольно.

— Смейся, смейся, — сказала Эмили, — удивляюсь: что тут смешного? Постыдись хоть смеяться-то. Впрочем, с тобой толковать нечего, ты ничему не веришь. Пусть я буду самой последней тварью на земле, клянусь всем святым, жизнью моего ребенка, — такой клятвы я никогда не произношу, — пусть на меня обрушатся все несчастья, а все-таки не проговорюсь ему. — И в то же время она плюнула и, перекрестившись два раза, сказа-

ла: — Вот видишь, Жюль, уж, кажется, так верно будет, как будто сам нотариус скрепил.

Во время этого разговора наша водка вся вышла и была заменена другой бутылкой; чем больше мы пили, тем больше Пенелопа моего приятеля становилась настойчивой и все уверяла меня в своей скромности.



— Голубчик, Жюль, что тебе стоит сказать; обещаю тебе, что он ни словечка не узнает.

— Ну, что уж с тобой делать, ты девка хорошая,

так и быть, уж скажу тебе кое-что, только смотри, чур, держать язык за зубами, а не то беда; ведь Гото мой друг, слышишь ли?

— Ты ничем тут не рискуешь; когда мне что-нибудь доверят — я могила.

— Ну так слушай! Сегодня вечером я отправился в Елисейские Поля и видел твоего дружка с Фелисите; они поспорили: она твердила, что он поместил тебя в своей комнате в Сен-Пьер-а-Беф… А он клялся, что это все неправда, что с тобой он все покончил. Ты понимаешь, что при ней я не мог не поддакивать ему. Вот они и помирились; поговорили мы еще немножко, и я вывел заключенье, что, вероятно, они сегодня ночуют вместе с Фелисите в меблированных комнатах на площади Пале-Рояля.

— Ну уж это неправда, и быть не может, я знаю, что он сегодня с друзьями.

— С Кафеном, Бершье и Линуа? Гото мне говорил об этом…

— Неужели говорил? А как же он наказывал мне не говорить тебе ни слова. Вот ведь какой он, а потом случись с ним какая беда, так мне же будут колотушки…

— Уж не трусишь ли ты? Я никогда еще не подводил друга. Хотя я и шпион, так все-таки у меня

чувство есть.

— Знаю, знаю, голубчик Жюль, что ты попался в чертову роту только потому, чтобы не вернуться в луга (каторга).

— Как бы там ни было, но если уж кому насолить, то никак не Гото.

— Ты прав, мой милый, никогда не следует подводить приятеля; а мой-то куда отправился со своей павой?

— Хочешь знать, так я скажу тебе: они отправились дрыхнуть к Бершье. Адреса дать не могу, они мне не сообщали его.

— А, они у Бершье, славно же я их спугну!

— Я пойду с тобой вместе. Далеко ли он живет?

— Знаешь улицу Бон-Пюи?

— Да, знаю.

— Ну так там у Лапра, на четвертом этаже; будь покоен, достанется ей от меня, шельме! Жюль, есть у тебя медная монета? Я ей расквашу морду, так что она у меня помнить будет.

— У меня нет меди.

— Все равно, у меня есть ключ в платке. Погодите, голубчики, покажу я вам. У меня предчувствие было с утра, что выйдет что-нибудь.

— Послушай, тебе не с руки показываться туда, если их там нет. Ты ведь доверяешь мне: я войду

первый; если я останусь, ты будешь знать, что я накрыл птиц в гнезде.

— Это не совсем глупо; надо увериться хорошенько прежде, нежели шум подымать.

Мы пришли в улицу Бон-Пюи; я вхожу; удостоверившись, что Бершье дома, я возвращаюсь к Эмили, рассудок которой окончательно помутился от вина и ревности.

— Ну, не досадно ли это! — сказал я. — Они только что ушли с Бершье и его женой ужинать к Линуа; я расспрашивал где, не могли сказать мне.

— Может быть, просто не хотели; но это не беда, я знаю, где живет Линуа: у своей матери. Пойдем вместе, ты отправишься вперед, чтоб ничего не подозревали.

— Да когда же конец этим странствиям? Ты намерена таскать меня за собой до утра, что ли?

— Жюль, голубчик, не покидай ты меня; не отказывайся, лети со мной, вот увидишь, что не раскаешься потом. Я тебя расцелую за это…

Скажите, мог ли я устоять против поцелуя? Летим вместе в улицу Жакеле; я лезу в шестой этаж, где нахожу Линуа, которого знал только по имени.

— Я отыскиваю Гото, — сказал я, — не видали

ли вы его?

— Нет, — отвечал он, и так как он уже лег, то я пожелал ему спокойной ночи.

— Надо же быть такой неудаче! Еще раз остались с носом: они приходили сюда, да пошли за Кафеном, который обещал угостить их вином... Только вот в чем дело, где живет этот Кафен?..

— Об этом я тоже ровно ничего не знаю и понятия не имею, где он живет; знаю только, что он за женщинами бегать горазд, поэтому я предполагаю, что он, вероятно, сидит в одном доме, у женщин на площади Во. Пойдем туда, сделай милость.

— Да что ты, хочешь избегать весь Париж из конца в конец? Уж поздно становится, мне некогда.

— Бога ради, Жюль, не покидай меня, прошу тебя, меня еще подхватит полиция, чего доброго.

Так как это одолжение могло иметь выгоды для меня, то я не подумал долго ломаться. Мы пошли с Эмили по направлению к площади Во и мало-помалу, останавливаясь и набирая сил в кабаках по пути, мы добрались до того места, где я надеялся получить необходимые для меня сведения. Мы летим как ветер — сравнение немного смелое, так как, невзирая на то что я

поддерживал ее, Эмили едва стояла на ногах и плелась с великим трудом. Но чем более она слабела, тем болтливее становился ее язык, так что наконец она разоблачила мне все сокровенные мысли своего неверного друга. Я узнал все, что мне надо было знать насчет Гото, и с радостью мог убедиться, что не ошибся, считая его способным руководить ворами, которых он намерен был предать в руки правосудия. Был час ночи, а мы еще не окончили своих поисков. Эмили все еще надеялась найти Гото, а я отыскать Кафена, как вдруг нам встретилась одна женщина, прозванная Луизон-болтушкой. Она сообщила нам, что Кафен был с некой Эмили Таке и что он проведет ночь у Бариоль или у Бланденши, которая занималась таким же ремеслом.

— Спасибо, голубушка, — сказала Симонэ своей сотоварке, которая доставила ей такие драгоценные сведения. — Я так и знала, Бершье со своей женой, Линуа и Кафен со своими кралями, Гото со своей Фелисите — у каждого есть по душеньке: подлец! Или я, или он должны умереть! Мне все равно умирать. — (Скрипит зубами и рвет на себе волосы.) — Жюль, не покидай меня, я должна убить их во что бы то ни стало.

Во время этого припадка ярости и мести мы

продолжали идти и добрались до угла улицы Арсис.

— Это ты, Мели? Что тебе надо? — послышался хриплый голос, и при тусклом свете фонаря мы увидели женщину, приютившуюся на земле в самой неприличной позе. Она встала и подошла к нам.

— Это маленькая Маделен, — воскликнула Эмили. — Ах, милая, не знаешь ли, где Кафен, может быть, ты видела его сегодня вечером?

— Как не знать — все они у Бариольши торчат.

Для знакомых не может быть неурочного часа, Эмили была свой человек. Мы вошли и узнали, что Кафен действительно тут, но Гото еще не являлся. При этом известии мадам Гото вообразила, что от нее скрывают ее сокровище.

— Вы только поддерживаете разврат, — кричала она, обращаясь к старухе Бариоль, — подавай мне моего мужа сейчас же, старая карга!

Уж я не помню хорошенько всех эпитетов, которыми она осыпала Бариоль в продолжение четверти часа. Это был перекрестный огонь, поддерживаемый рюмками абсента, которые еще более поддавали жару ревности моей спутнице.

— Скоро ты кончишь со своими глупостями? — прервала ее тетушка Бариоль. — Почем мы знаем,

где твой ненаглядный, может быть, он на мельнице с чертями муку мелет. Ведь не сторожа мы для него, в самом деле, что ты пристаешь? Не усмотришь за ними, за такими-то молодцами! Если ты думаешь, что он с Кафеном, так ступай, посмотри сама, он там в комнате с Таке.

Эмили не заставила себя повторять это позволение и тотчас же отправилась сама на рекогносцировку.

— Ну, довольна теперь твоя душенька? — сказала ей Бариоль, когда она вернулась.

— Там один Кафен.

— Ну что я тебе говорила?

— Да где же он, наконец, чудовище он такое?

— Если хочешь знать, я тебя поведу туда.

— Ах, поведи, сделай милость, сделай это для меня, Жюль!

— Да ведь далеко отсюда до отеля д'Англетер.

— Ты думаешь, он там?

— Непременно, он туда пошел на часок-другой, дожидаясь, пока Фелисите покончит со своими делами.

Эмили не сомневалась ни на минуту в том, что я отгадал наверно, и ей уже не сиделось на месте. Она так и рвалась в гостиницу «Англетер» и не дала мне покою, пока мы не предприняли

путешествие туда. Странствие показалось мне длинным, так как моя дама была нетверда на ногах и я с трудом поддерживал свое равновесие. Во всю дорогу мне пришлось то тащить, то почти нести ее на руках. Наконец мы с грехом пополам добрались до дверей вертепа, где она надеялась встретить свой «предмет». Мы обошли все залы — Гото все нет как нет. Не опасаясь помешать любовным тет-а-тет, мы заглядывали во все отдельные каморки, расположенные по обеим сторонам коридоров. Гото там не было, и соперница Фелисите была вне себя от нервного раздражения. Глаза ее выходили из орбит, губы покрылись пеной, она плакала, вопила, как будто бесом одержимая. Бледная, растрепанная, с лицом страшно искаженным, с вытянутыми на шее жилами — она была похожа на труп, оживленный гальваническим током. Ужасное действие любви и водки, ревности и вина! Однако среди припадка, которому она была подвержена, Эмили не теряла меня из виду, она цеплялась за меня и клялась не покидать меня до тех пор, пока не отыщет неблагодарного, который был причиной ее терзаний. Но мне более нечего было узнавать от нее, и я так устал таскать ее за собой, что искренно желал отвязаться от нее. Я сказал ей, что

пойду узнать, пришла ли Фелисите, — это легко было сделать, так как в этом доме был консьерж у ворот.

Эмили, до сих пор не имевшая основания жаловаться на меня, могла только еще более порадоваться этим новым доказательствам моей заботливости. Я вышел, и она даже не обнаружила желания следовать за мной; но вместо того, чтобы идти исполнять свое поручение, я отправился прямо в гвардейские казармы Шато-д'о, где просил начальника поста немедленно заарестовать эту женщину и держать ее в секретной.

Конечно, мне тяжко было решиться на такую крайность; после всех своих мучений и треволнений Эмили заслуживала лучшей участи, по крайней мере на эту ночь. Как иногда бывает тяжело исполнять свою обязанность! Никто лучше меня не знал, где находится возлюбленный, которого она с таким упорством отыскивала. Не должен ли я был лишить себя удовольствия оправдать его в ее глазах, когда она считала его таким виновным?

Может быть, нелишне будет объяснить, прежде нежели продолжать рассказ, для чего именно я велел заарестовать Гото: для того, чтобы не дать ему времени скрыть следов своего участия

в покраже, опираясь также на свои отношения к полиции. Но какая цель была запирать в кутузку нежную Эмили? Дело в том, что я должен был опасаться ее возвращения к Бариольше, где она под влиянием опьянения могла бы снова проболтаться и тем помочь Кафену. Мне на это возразят, что она была почти не в состоянии держаться на ногах. Не спорю, но разве она не могла, преследуемая своей идеей fixe, хоть на четвереньках приползти к своим пенатам, и тогда, если язык ее развязался бы, — прощай все мои труды и исследования!

Приняв все эти предосторожности и овладев Гото, оставалось только позаботиться о его трех сообщниках: теперь я знал, где найти их. Я взял с собою двух агентов префектуры и вскоре явился к тетушке Бариоль, на этот раз во имя закона.

— А, — сказала она, — как только я давеча увидела тебя здесь, сейчас смекнула, что тут дело нечисто! Что мне предложить вам, господа? — прибавила она, обращаясь к моим спутникам. — Вы, наверное, чего-нибудь пожелаете, пожалуйста, говорите не стесняясь. Маленькую бутылочку чего-нибудь? — С этими словами она нагнулась и, пошарив в целой куче тряпья, вытащила небольшую позолоченную фляжку,

содержащую драгоценную жидкость. — Что делать, приходится припрятывать что получше! С этими девицами иначе нельзя. Знаете ли, не красна жизнь, когда приходится иметь дело с женщинами! Счастливы те, кому есть чем жить. Взгляните на меня, просто не на что купить себе кресла порядочного… Мое-то вон все облезло, все кости наружу повыскакивали.

— Ах, как хорош ваш диван, какая славная щетина из него выглядывает и лохмотья висят! — вмешалась в разговор молоденькая девушка, которая при нашем входе спала, положив локти на стол в одном из углов зала. — Про вас с ним можно сказать, что вы как Филемон и Бавкида.

— А, это ты, маленькая Реаль, а я тебя и не заметила. Что ты там ноешь со своим Филемоном и Бакв… Как ты сказала? Повтори.

— Я говорила, что ваше кресло, как треножник Пифии…

— Ну ладно, ладно, нечего зубы скалить — вот погоди, каково оно будет, как я велю обить его заново. — Вот молодец девка, — сказала она, указывая нам на девушку, — тоже образование получила, не то что мы, грешные. Хорошо, как есть родители. Да, впрочем, и с меня довольно знания, слава богу, умею проедать свое добро. По-

ди-ка сюда, Фифин, раздавим-ка эту бутылочку, и для тебя рюмочка найдется, только, чур, другим не рассказывать.

Разлили вино, на поверхности наших стаканов появился двойной ряд жемчуга.

— Славная штука, — заметила Фифина.

— Ну что же, господа, кому вы остатки-то припасаете? Чокнемся, братцы: за ваше здоровье, дети мои. Как подумаешь, — как мы тут дружно беседуем, а умирать придется. А славно жить в дружбе да в согласии. А умирать придется — это и говорить нечего, вот что меня мучает; нет ни минуты, чтобы это мне в голову не приходило… Но главное дело — надо быть честным, тогда можно ходить подняв голову… на чужое добро не зариться. Я, во всяком случае, могу умереть хоть сию минуту и не упрекну себя ни в булавочной головке… А кстати, зачем вы ко мне пожаловали, ребята, в такой поздний час — не для моих красоток? Все они тихие да кроткие, как овечки. Вот вам образчик Фифина, да и то она еще самая буйная изо всех. Кстати, что ты поделал с моей Милькой?

— После расскажу, дай мне свечу.

— Держу пари, что ты отыскиваешь Кафена. Ну и слава богу, гора с плеч — эдакий ведь подлец,

жил все время на счет моих девок.

— Юбочник! — воскликнула Фифина.

— Да уж признаюсь, от него не часто увидишь деньги, — прибавила Бариольша. — От таких людей хорошо было бы очистить весь Париж; вот кабы их всех запрятать куда следует.

Она хотела повести меня в комнату, где был Кафен, но я знал дорогу не хуже нее и отправился на поиски один. Войдя в комнату, я объявил Кафену, что он мой пленник.

— Что случилось? — воскликнул он, просыпаясь и вскакивая с постели. — Как, Жюль! Это ты меня подвел!

— Что делать, любезный, я ведь не волшебник, и если бы тебя не видали, так я бы и не подумал нарушать твой сон.

— Ах, все ты со своими фокусами! Нет, друг сердечный, я старый воробей, меня не проведешь!

— Как тебе угодно, это твое дело, но, если то, что говорят про тебя, верно, тебя спровадят *в луга* — это как бог свят.

— Да, верить всему, что ты говоришь…

— Ты, верно, хочешь, чтобы тебя носом ткнули, тогда только признаешься. Послушай, мне нет никакой охоты клеветать на тебя; говорю тебе, что сам догадаться я не мог, и если б мне не

рассказали, что вы *тырили* (воровали) свинец на бульваре Сен-Мартен, где вас чуть-чуть было не остановил сторож, так я и не побеспокоил бы тебя. Ясно теперь? Из четырех товарищей один *соткровенничал* (признался) — отгадай кто; если назовешь его, так я тебе скажу, что это он.

Кафен, подумав немного, быстро поднял голову, как ретивый конь:

— Послушай, Жюль, между нами, я вижу, действительно замешался подлец, который *съел кусок* (выдал), — сведи меня к комиссару, я тоже *съем*. Надо же быть такой сволочью, чтоб продавать товарищей на чистые деньги, в особенности когда сам замаран. Ты — другая статья, известное дело, что ты в полиции служишь поневоле, — а я все-таки уверен, что если бы тебе случилось хорошее дело обделать, так ты наплевал бы и на полицию.

— Верно говоришь, друг любезный, если б я раньше знал, что теперь знаю, так не был бы здесь, а теперь уж делать нечего — дела не воротишь.

— Куда ты теперь сведешь меня, скажи хоть, по крайней мере?

— В Шателе, и если ты решился признаться во всем, то я велю предупредить комиссара.

— Да, да, позови его непременно, я хочу подвести эту бестию Гото, — никто, кроме него, не мог выдать меня.

Когда явился комиссар, Кафен не замедлил признаться ему в своем преступлении, но в то же время позаботился кругом оплести своего друга Гото, выставив его своим единственным сообщником. Как видите, он не был *ложным братом*. Другие его сообщники выказали не менее добросовестности; застигнутые также в постелях и допрошенные отдельно, они не могли не сознаться в своей вине. Гото, которого они обвиняли в своем несчастии, был единственным лицом, на которого каждый из них жаловался. Невзирая на это благородство чувств, достойное быть занесенным в сборник Morales en Actions, добродетельное трио было сослано в галеры, и вероломный Гото также был отправлен с ними в компании. Он и теперь в галерах, где, вероятно, остерегается упоминать о некоторых любопытных подробностях своего ареста.

Эмили Симонэ отделалась заключением, продолжавшимся несколько часов. Когда ее выпустили на волю, она была как в чаду от количества выпитых ею спиртных напитков: она ничего не видела, ничего не слышала и потеряла

память обо всем, что случилось. Придя в себя, первое слово, которое она произнесла, было имя ее любовника. Когда ее приятельницы ответили ей, что он в каземате, она воскликнула: «Несчастный! Какая нужда была ему искать свинец на крышах; разве около меня у него не было более чем нужно?» С этих пор несчастная Эмили была безутешна; с утра до вечера она была мертвецки пьяна… Ужасающее действие любви и водки, водки и любви.

Незначительное воровство доставило мне случай нарисовать самые гнусные картины; а между тем это только слабая тень ужасной действительности, от которой власть, проводник цивилизации, избавит нас, когда захочет. Допускать, чтобы вертепы, где люди гибнут физически и нравственно, постоянно были открыты, — это противно нравственности, оскорбление природы, преступление против человечности. Пусть меня не обвиняют в излишней вольности, но эти страницы не похожи на рассказы Петрона, разжигающие воображение и распространяющие безнравственность и разврат. Я описываю испорченные нравы не для того, чтобы распространять их, но чтобы поселить к ним ненависть: всякий, прочитавший эту главу, не может не почувство-

вать к ним отвращение, так как они доводят человека до последней степени отупения.

Глава тридцать седьмая

Я страшусь своей славы. – Классификация воров. – Шайка «rouletiers». – Я едва не попался. – Ужасный Лимоден. – Воровка выдает самое себя. – Злополучный беглец. – Коварный поцелуй. – Корзина с бельем. – Современная Сафо. – Свобода – первое благо на свете. – Героизм дружбы. – Преступление имеет свои добродетели

Когда смышленый человек сводит все свои наблюдения к одной точке, то редко случается, чтобы по своей специальности он не приобрел известного рода компетентности. Вот в двух словах история моего великого искусства отыскивать воров. Как только я сделался тайным агентом, меня не покидала одна мысль и все мои старания были направлены на то, чтобы по возможности ослабить шайку злодеев, которые, пренебрегая трудом, ищут средств к существованию в более или менее преступных посягательствах на чужую собственность. Я не заблуждался нисколько насчет свойства успеха, к которому я стремил-

ся, и не имел безумной претензии думать, что мне удастся искоренить воровство. Но, объявив ворам открытую войну, я надеялся ослабить преступление. Смею сказать, что мои счастливые дебюты превзошли собою ожидания и г-на Анри, и мои собственные. По моему мнению, моя слава возрастала даже слишком быстро, так как моя репутация разоблачала тайну моего ремесла, а с известностью пришлось бы отказаться от службы при полиции или служить при ней явно. Поэтому задача моя становилась вдвойне затруднительной. Впрочем, препятствия не страшили меня, и так как у меня не было недостатка ни в усердии, ни в преданности, то я полагал, что мне еще возможно будет сохранить хорошее мнение, которое обо мне имело мое начальство. Впредь немыслимо было притворяться перед мошенниками. Маска спала, и на их глазах я был сыщиком, и больше ничего. Однако я находился в лучших условиях, нежели большинство моих сотоварищей, и когда мне невозможно было скрываться, то и тогда последствия моей тайной деятельности шли мне впрок при помощи сохранившихся связей, частью вследствие громадного запаса разных сведений и примет, которые я занес в свою память и твердо хранил. Я мог бы по примеру

некоего короля португальского, только еще безошибочнее его, судить о людях по их наружности и указывать сбирам на опасных субъектов, от которых следует избавить общество. В это время полиция обладала полномочием административных арестов, и это доставляло обширное поле для моих способностей физиономиста. Но мне казалось, что в интересах публики необходимо было действовать весьма осторожно и осмотрительно. Конечно, для меня было бы весьма легко переполнить все тюрьмы; воры (а таковыми называли всех тех, кто раз судился за проступок, противный честности) сознавали, что судьба их была в руках первого и даже последнего из агентов и что достаточно было справедливого или ложного доноса, чтобы навсегда закабалить их в Бисетре. Те в особенности, которые судились вторично, то есть рецидивисты, были более других подвержены доносам, которых власти не заботились даже контролировать. Кроме того, в столице находилось множество субъектов, пользовавшихся дурной славой, заслуженно или нет, с которыми обращались также без всякого стеснения.

Этот способ имел свои важные неудобства, так как зачастую наказывали невинных, как и виновных, исправившихся наравне с неисправимыми

преступниками. Конечно, когда на какой-нибудь праздник или торжество в Париже стекалось множество иностранцев, то весьма удобно было произвести так называемый *погром* или облаву, чтобы несколько очистить столицу. Но когда торжественный случай миновал, приходилось снова выпускать на волю тех пленников, против которых имелись одни подозрения, и таким образом из тюрем выходили целые, уже организованные ассоциации преступников, образовавшиеся при помощи той самой меры, при содействии которой хотели сделать их безопасными. Некоторые из них, уже отрешившиеся от своих прежних преступлений и начавшие честную жизнь, снова возвращались к своим преступным привычкам и старинным, уже забытым связям. Другие, пользующиеся репутацией негодяев, уже готовы были переменить образ жизни, но, брошенные снова среди разбойников, погибали безвозвратно. Из этого видно, что принятая система была крайне пагубна, и я отыскал другую, состоявшую не в том, чтобы преследовать всех подозрительных личностей, но чтобы накрывать на месте преступления всех тех, кого справедливо подозревали. Ввиду этого я подразделил воров по особым их специальностям и по каждой категории соби-

рал точные справки, чтобы узнать обо всем, что происходило. Не совершалось ни одной покражи, чтобы до моего сведения не были доведены имена главных виновников; очень часто мои шпионы, мужчины или женщины, — у меня их было много обоего пола — также участвовали в преступлениях. Я знал об этом, но, убежденный, что их не замедлит выдать в свою очередь кто-нибудь из их товарищей, я оставлял их в покое до поры до времени.

Эта терпимость была такого рода, что правосудие при этом ничего не теряло; доносчики и их жертвы — все рано или поздно приходили к одной цели — к каторге: ни для кого не существовало безнаказанности. Конечно, мне неприятно было прибегать к таким средствам, и в особенности умалчивать о тех, в виновности которых я был уверен, но безопасность города Парижа была для меня на первом плане во всех моих соображениях. Если я заявлю о том, что знаю, думал я, когда имел дело с подобными доносчиками, то дам возможность обвинить только одного негодяя; но если я не пощажу его сегодня, то пятьдесят из его сообщников, которых он готов предать в мои руки, ускользнут от кары правосудия — и этот расчет заставлял меня заключать извест-

ную сделку, продолжающуюся до тех пор, пока она была полезна для общества. Между мною и ворами продолжала существовать такая же непримиримая вражда, но я допускал неприятельских парламентеров, молчаливо соглашался на перерывы и перемирия, которые оканчивались сами по себе при первом проступке. Один доносчик становился жертвой другого. Таким образом, по моей системе сами воры становились орудиями своей же гибели, подводя друг друга. Вот какова была моя метода, она была превосходна, и в доказательство скажу, что в течение семи лет я предал в руки правосудия не менее четырех тысяч преступников. Целые категории воров подвергались преследованиям — в том числе так называемые rouletiers (занимающиеся грабежом путешественников). Мне очень хотелось окончательно искоренить их, и я попытал один случай, который чуть было не послужил к моей гибели. Я никогда не забуду слов, сказанных Анри по этому поводу: недостаточно хорошо сделать что-нибудь — надо доказать, что поступаешь хорошо.

Двое из самых отчаянных rouletiers — Горне и Доре, испугавшись моих стараний искоренить их профессию, вдруг обнаружили необыкновенную

преданность полиции и в весьма короткое время дали мне возможность арестовать множество из своих товарищей, которые были все осуждены и сосланы.

Они, по-видимому, были усердны, им я был обязан многими весьма важными разоблачениями, они помогли мне отыскать нескольких укрывателей, тем более опасных, что в торговле они пользовались репутацией безукоризненной честности. После подобных услуг я надеялся, что на них можно положиться, и стал просить, чтобы их допустили в полицию в качестве тайных агентов с жалованьем по сто пятидесяти франков в месяц. По их словам, они ничего более не желали, — этой суммой ограничивалось их честолюбие; я верил им, и так как видел в них своих будущих коллег, то относился к ним почти с безграничным доверием. Далее увидят, как они оправдали его.

Несколько месяцев тому назад в Париж прибыло двое или трое искусных разбойников, и в столице они не дремали. В префектуру поступали жалобы одна за другой; они выкидывали разные штуки с непостижимой смелостью, и их тем более было трудно поймать на деле, что они выходили только ночью и во время своих экспе-

диций всегда были вооружены с головы до пят. Овладеть этими разбойниками было бы для меня большой славой; чтобы выполнить эту задачу, я решился употребить все средства и подвергнуться, если нужно, всевозможным опасностям. Однажды Горне, с которым я часто говорил об этом деле, сказал мне: «Послушай, Жюль, если желаешь *заграбастать* Майера, Виктора Марке и его брата, то остается только одно средство — прийти к нам ночевать, и тогда мы можем выйти вместе в самый удобный час».

Я поверил искренности Горне и согласился поселиться временно в квартире, которую он занимал вместе с Доре, и вскоре мы предприняли вместе ночные экспедиции по дорогам, которые чаще всего посещал Майер с товарищами. Мы не раз встречали их там, но принуждены были оставлять в покое, так как хотели захватить их не иначе как на месте преступления или с вещественными доказательствами. Мы уже совершили несколько походов без всяких результатов, как вдруг я заметил в своих товарищах нечто такое, что возбудило мои подозрения. Их обращение со мной вдруг сделалось натянутым, — может быть, подумал я, они желают сыграть со мной какую-нибудь скверную штуку.

Я не мог читать в их мыслях, но на всякий случай я без их ведома запасся пистолетами.

Однажды ночью, когда мы должны были предпринять экспедицию около двух часов, один из них, Доре, вдруг стал жаловаться на страшные спазмы и невыносимую боль в желудке. Боль усилилась, Доре стал метаться, корчиться и стонать; ясно было, что в таком состоянии он не может держаться на ногах, поэтому мы отложили свое путешествие до другого дня, и так как не оставалось более ничего делать, я перевернулся на другой бок и заснул. Через несколько времени я вскочил на постели как встрепанный: мне послышалось, что кто-то стучит в дверь. Стук повторился; кто там пришел? Чего им? Не меня ли спрашивают? Нет, быть не может, мое убежище никому не известно. Между тем один из моих товарищей встал; я знаками велел ему не двигаться. Но он вскочил с постели. Тогда я шепотом прошу его прислушаться, но дверей не отворять. Он становится около дверей. Горне, спавший в смежной комнате, не трогается с места. Между тем стук продолжается, и из предосторожности я торопливо одеваюсь. Доре, последовав моему примеру, вернулся к двери прислушиваться; но пока он там стоял, его любовница бросила на ме-

ня такой выразительный взгляд, что я тотчас же смекнул, в чем дело; приподняв тюфяк, я увидел громадную связку поддельных ключей и лом. Все стало мне ясно, я сразу отгадал заговор и, чтобы разрушить его, поспешил, не говоря ни слова, бросить ключи в шляпу, а лом положить в карман панталон. Потом, приблизившись к двери, я стал прислушиваться в свою очередь — говорили тихо, и я не мог расслышать слов, однако я понял, что этот ранний визит имеет особую цель. Отозвав Доре в соседнюю комнату, я предупредил его, что постараюсь узнать, в чем дело.

— Как тебе угодно, — сказал он.

В это время постучали снова. Я спрашиваю, кто там.

— Не тут ли живет мосье Горне? — раздается медовый голос.

— Горне живет этажом ниже, постучите в такую же дверь.

Стучавший сошел вниз, а я беззвучно отворил дверь, вышел и в два прыжка очутился у окна на лестнице. Прежде всего я сбросил вниз лом и уже приготовился бросить ключи, но позади меня кто-то вошел, я оглянулся и узнал полицейского по имени Спикет, состоящего при судебном следователе. Он также узнал меня.

— А, вас-то и надо, — сказал он, — вас повсюду разыскивают.

— Меня отыскивают, для чего?

— Да так, судебный следователь, мосье Виньи, желает вас видеть и переговорить с вами.

— Только-то? В таком случае я поскорее оденусь и потом весь к вашим услугам.

— Поторопитесь и пойдемте вместе.

Одевшись, мы сошли вниз. Комната была наполнена жандармами и полицейскими, посреди них находился сам Виньи. При моем появлении он немедленно прочел мне распоряжение арестовать меня, а также моих хозяев и их жен; затем он велел произвести обыск. Мне нетрудно было сообразить, откуда на меня обрушивалась беда, в особенности когда Спикет, приподняв тюфяк и удивившись, что не нашел там ничего, бросил особенный взгляд на Горне, который также имел сконфуженный вид. Его разочарование не ускользнуло от меня. Я тотчас же заметил, что он был очень раздосадован. Что касается меня, то, вполне успокоившись, я сказал: «Господин судья, я с прискорбием убеждаюсь, что кто-то в надежде подольститься к вам поставил вас в неловкое положение. Вас обманули — в этом нет сомнения. Здесь нет ничего подозрительного,

да и к тому же Горне не потерпел бы этого — не правда ли, Горне? Да отвечайте же наконец господину судье».

Он не мог не подтвердить моих слов, но произнес их шепотом, и не надо было быть колдуном, чтобы догадаться, что у него на душе.

По окончании обыска нас посадили в две наемные кареты, предварительно связав, и повезли в тюрьму, где поместили в небольшую камеру, называемую мышеловкой. В полдень нас подвергли допросу и к вечеру препроводили двух моих товарищей в Форс, а меня в Сент-Пелажи. Не знаю, как это случилось, но связка ключей, которую я хранил в шляпе, не была замечена всеми наблюдателями, которые обыкновенно наполняют коридоры тюрем. Хотя меня не позабыли обыскать, но не нашли ничего, и я, конечно, был этим очень доволен. Я немедленно написал своему начальству, чтобы сообщить ему о заговоре, который замышляли против меня; мне нетрудно было убедить его, что я невинен, и два дня спустя мне возвратили свободу. Я явился в префектуру с ключами, так счастливо спасенными мною от зоркого взгляда полиции; я был счастлив, что удачно избегнул опасности, так как я был на волоске от гибели. Не будь тут любовницы Доре

и не будь моего присутствия духа, без сомнения, я снова подпал бы под власть моих тюремных сторожей… Если бы меня накрыли с воровскими инструментами, то в качестве беглого каторжника меня наверное осудили бы вторично, и снова пришлось бы мне вернуться на каторгу. Г-н Анри очень журил меня за такое безрассудство, которое едва снова не погубило меня.

Горне и Доре недолго оставались в Форсе: по выходе их оттуда я посещал их не раз, не давая, однако, понять им, что я подозреваю их в коварстве и измене. Однако, желая как можно скорее отомстить за себя, я приставил к ним *барана,* который не замедлил донести мне, что они провинились в воровстве, — доказательства приискать было нетрудно. Они были арестованы и осуждены на заключение; им было время помянуть меня в течение четырех лет, которые они должны были высидеть по моей милости. Когда приговор, который решал их судьбу, был произнесен, я пришел посетить их. Они плакали от ярости, когда я рассказал им, каким образом мне удалось узнать и разрушить их план. Горне, снова препровожденный в тюрьму Орэ, откуда он когда-то бежал, измыслил средство мщения, которое, однако, не удалось ему. Под видом искреннего раскаяния он

просил призвать священника и, исповедуясь во всех своих грехах, выдал ему множество совершенных им проказ, причем ловко приплел мое имя. Исповедник, которому кающийся сообщил обо мне сведения, не упомянув о строгой тайне, обратился в префектуру с доносом, сильно компрометирующим меня. Но разоблачения Горне не имели того результата, на который он надеялся.

Произвол, существовавший в применении к ворам, развил среди них манию доносить друг на друга и довел их до крайней степени развращения. В былые времена казалось, будто они составляют в среде общества отдельный класс, тесно сплотившийся и не допускающий ни изменников, ни перебежчиков. Но когда их стали ссылать массами, то они, вместо того чтобы сомкнуть свои ряды, пришли в ужас, забили тревогу и позабыли прежнее чувство товарищества. Как только узы, соединявшие членов обширной семьи мошенников, были порваны, каждый из них, соблюдая свои личные интересы, уже не колебался выдавать своих товарищей. Надо было видеть, как доносы сыпались градом во второе отделение перед приближением годовых праздников — Нового года, рождения императора или какого-нибудь другого торжества. Чтобы

избегнуть того, что агенты называли *добрым приказом,* то есть распоряжения арестовывать всех мало-мальски подозрительных воров, все они наперерыв старались доставлять полиции более или менее полезные указания. Как видите, весьма легко было переполнить все тюрьмы; но при этих общих погромах невозможно было избегнуть злоупотреблений, часто совершались самые возмутительные несправедливости; несчастные рабочие, высидевшие свой срок за какой-нибудь незначительный проступок и принявшиеся снова за работу, стараясь своим хорошим поведением изгладить прежнюю вину, попадались заодно со всеми и смешивались с отъявленными ворами. Для них не было даже никакой возможности протестовать. Их препровождали в депо и на другой же день вели к ужасному Лимодену, который подвергал их допросу, и какому допросу, боже мой!

Вот там образчик:

— Твое имя, местожительство? Был под судом?

— Да, господин судья, но теперь я работал и…

— Довольно, позвать другого.

— Но, мосье Лимоден, ради бога…

— Молчать! Другого! Надеюсь, это дело конченное.

Тот, которого во что бы то ни стало заставляли молчать, мог бы, однако, привести в свою пользу не лживое оправдание.

Выпущенный на волю уже несколько лет тому назад, он успел остепениться и мог даже представить блистательные доказательства своей честности, опираясь на свидетельства многих лиц, но Лимодену было недосуг выслушивать его.

— Никогда и конца бы не было, — говорил он, — если бы пришлось заниматься такими пустяками. — Часто в одно утро этот почтенный деятель спроваживал таким образом до ста человек, мужчин и женщин, и посылал их в Бисетр или в Сен-Лазар. Он был неумолим; по его мнению, ничто не могло искупить минуту заблуждения. Сколько несчастных, покинувших путь мрака, снова вернулись к своей прежней жизни именно благодаря ему. Многие из этих жертв его неумолимой строгости раскаивались в своем исправлении, не послужившем для них ни к чему, и в своем отчаянии клялись сделаться отъявленными разбойниками.

— На какой черт мы были честными? — говорили эти несчастные. — Посмотрите, как с нами обращаются; в таком случае лучше быть мошенником всю жизнь. К чему было осуждать

нас на известный срок, если не допускают, чтобы мы могли исправиться. Для чего в таком случае законы, если их не соблюдают?

Я слышал множество подобных жалоб, почти всегда основательных.

— Вот уж четыре года, как я вышел из Сент-Пелажи, — говорил при мне один из таких заключенных, — со времени моего освобождения я все время работал в одной и той же лавке, что доказывает, что я вел себя хорошо и мною были довольны. Ну и что же? Меня отправили в Бисетр без малейшей вины с моей стороны и, собственно, потому, что я два года высидел в тюрьме.

Эта невыносимая тирания, без сомнения, была неизвестна префекту, однако она совершалась от его имени. Признанные и тайные агенты были в то время субъекты опасные, так как их доносам слепо доверяли. Если арестовали простолюдина, указывая на него как на опасного и неисправимого вора (это была обыкновенная формула), то человека этого сажали в тюрьму без дальнейших рассуждений. Это был золотой век полицейских шпионов, так как каждое из этих покушений против личной свободы доставляло им премию. В сущности, премия была незначительная: один экю с каждого арестованного, но спрашивается,

на что не решится шпион из-за какого-нибудь жалкого экю, если только при этом он не подвергается опасности? К тому же незначительность вознаграждения они старались наверстать количеством жертв. С другой стороны, воры, желая приобрести свободу, как попало, вкривь и вкось доносили на всех тех, кого знали прежде, все равно, исправились они или нет. За их разоблачения им давали дозволение оставаться в Париже; но вскоре сами заключенные мстили за себя, и первым доносчикам приходилось волей-неволей присоединяться к ним.

Трудно себе представить, какое громадное число людей было снова повергнуто таким путем в бездну преступлений, между тем как они, может быть, исправились бы, не будь этой отвратительной системы преследования. Если бы их оставили в покое, то они никогда не скомпрометировали бы себя; но, несмотря на их благие решения, их ставили в необходимость сделаться снова ворами. Некоторые из них в виде исключения получали по окончании своего срока дозволение не отправляться в Бисетр, но тогда им не давали никакого свидетельства, никакой бумаги, так что им не было никакой возможности достать себе работу. Им ничего не оставалось, как умереть

голодной смертью; но на это человеку трудно решиться — они не умирали, а воровали, чаще всего воровали и доносили в одно и то же время. Эта мания доносов распространилась с замечательной быстротой; в доказательство этого я мог бы привести такое множество фактов, что положительно теряюсь в выборе. Часто в те времена, когда уже нечего было доносить мне, доносчики выдавали мне, приписывая друг другу преступления, мотивировавшие их собственное осуждение. Упомяну несколько примеров.

Некая Бальи, бывшая воровка, заключенная в Сен-Лазар, призвала меня с намерением доставить мне различные сведения. Когда я явился к ней, она сообщила мне, что если ее выпустят на свободу, то она готова указать виновников в пяти воровствах, в том числе двух со взломом. Я согласился на сделку; сообщенные ею подробности были так точны и определенны, что я уже приготовился привести в исполнение свое обещание. Однако, поразмыслив о различных обстоятельствах ее рассказа, я нашел странным, что она до такой точности могла разузнать обо всем. Она назвала мне имена обокраденных лиц — один из них был некий Фредерик, имевший жительство в улице Сент-Оноре, в пассаже Виржини.

Отправились к нему на дом, и, собрав сведения, я убедился, что доносчица одна была виновна в воровстве у трактирщика; я продолжал свое исследование и повсюду находил подтверждение этой истины. Оставалось только формально проверить мои наблюдения. Жалобщиков повели в Сен-Лазар, Бальи их не заметила: я указал ее пострадавшим среди группы ее товарок. Ее тотчас же узнали, и сама преступница, сконфуженная явными доказательствами, принуждена была сознаться, и за это подверглась заключению на восемь лет. Эта женщина свалила всю свою вину на двух своих товарок, дурная нравственность которых могла оправдать эти подозрения. Другая воровка, прозванная Прекрасной Мясничихой, сделала мне также разоблачение вроде Бальи; и ее постигла такая же участь.

А вот еще пример: некто Уасс, отец которого позднее был замешан в известном процессе бакалейщика Пулена, донес мне на трех субъектов, якобы совершивших кражу со взломом в улице Сен-Жермен в табачной лавке. Я отправился туда, собрал справки и ясно убедился, что Уасс сам не чужд этого преступления. Я скрыл от него свои подозрения, но, употребив его в дело, я так ловко действовал, что он был арестован как сообщник

и подвергнут заключению. Эта неудача должна была бы отнять у него охоту на доносы, но, стремясь во что бы то ни стало сделаться сыщиком, он сделал королевскому прокурору различные ложные доносы, благодаря которым высидел года три в тюрьме. Я уже сказал, что воры незлопамятны. Едва успев вырваться на свободу, Уасс поспешил прибежать ко мне с новым доносом. Но можете себе представить, вор был не кто иной, как сам Уасс. Арестованный и уличенный, он был приговорен вторично. Во время своего заключения мошенник, узнав об аресте своего отца, поспешил обратиться ко мне с разоблачениями, подтверждающими обвинение, направленное против родного отца. Я счел долгом сообщить их начальству, глубоко негодуя на поведение бессердечного сына.

По моему мнению, порвать всякую связь с ворами значило бы лишиться одного из лучших вспомогательных средств, поэтому я никогда не отделялся от них окончательно. Преследуя их, я делал вид, будто интересуюсь их участью. Мне необходимо было устроиться так, чтобы они не могли догадаться, кто я — собака или волк. Это сомнение, столь благоприятное для клеветы, никогда вполне не разъяснялось для них. Вот

почему воры главным образом содействовали приобретенной мною славе; они воображали, что я их враг только по виду, но что в сущности я расположен покровительствовать им. Часто они доходили до того, что выражали мне свои сожаления о том, что я принужден заниматься таким ремеслом, а между тем сами помогали мне.

Среди воров по профессии не было почти ни одного, который не счел бы для себя счастием оказать услугу полиции и доставить ей какое-либо сведение. Почти все они охотно полезли бы в огонь и воду, чтобы дать ей доказательство усердия, в том убеждении, что за это получат если не полную безнаказанность, то по крайней мере снисхождение. Те из них, которые более других боялись полиции, охотнее всех были расположены служить ей. Я вспомнил по этому поводу историю одного освобожденного каторжника, некоего Буше, прозванного Каде Пезаньоном. Я искал его в течение трех недель, как вдруг случайно встретил в кабаке под вывеской «Золотая рука». Я был один, а он, напротив, в многочисленном обществе. Попытаться схватить его силой было бы рискованно, так как очень вероятно, что он стал бы защищаться и нашел бы поддержку в своих товарищах. Буше когда-то был полицей-

ским агентом, я в это время знал его, и мы даже были в довольно хороших отношениях. Поэтому мне пришло в голову подойти к нему, как к старинному приятелю, и сыграть с ним штуку. Войдя в кабак, я прямо направился к столу, за которым он сидел, и, протянув ему руку, сказал:

— Здорово, брат Каде!

— А, это ты, дружище, не хочешь ли освежиться? Спроси стакан или возьми мой.

— Живет и твой — я не брезглив. — (Я пью.) — Ах, кстати, мне хотелось бы сказать тебе два слова наедине.

— С удовольствием, старина, я весь к твоим услугам. — Он встал с места, я взял его под руку и отвел в сторону.

— Помнишь ты, — спросил я, — маленького матросика, который был в одной партии с тобой?

— Низенький такой, толстенький? Как не помнить.

— А узнал бы ты его теперь, как ты думаешь?

— Как родного отца! Как теперь вижу его на скамье тринадцатой, занятого выделкой *катарасов* (венчики для предохранения ног от трения оковами).

— Я только что арестовал одного молодчика,

только наверное не знаю, он ли это; он пока сидит на гауптвахте. Проходя мимо, я увидел тебя: давай, думаю, спрошу у Каде, он наверняка знает, в чем дело.

— Я готов, дружище, услужить тебе, только прежде, нежели идти нам, надо выпить малую толику. — (Обращаясь к своим товарищам.) — А вы, приятели, не взыщите, у меня дельце есть; в одну минуту я опять приду.

Мы отправились вместе; подойдя к двери, я из вежливости пропустил его вперед. Он дошел до конца зала, осматриваясь кругом и тщетно отыскивая глазами арестанта, о котором я говорил ему.

— Ну где же, наконец, молодчик-то, давай-ка я полюбуюсь на него.

В это мгновение я стоял около двери, и прямо передо мною висел на стене осколок зеркала, какие часто встречаются в казармах для удобства местных франтов. Я подозвал Буше и сказал ему, указывая на зеркало:

— Вот куда смотри, друг сердечный! — Он посмотрел и оглянулся на меня со словами: — Полно дурачиться, Жюль, в зеркале только твоя рожа да моя — а где же арестант?

— Так знай же, что арестант-то не кто иной, как

твоя персона.

— Ах ты бестия! Ну разве это не подлая штука?

— Известно, что под луной все обман.

— Ну, однако, счастья тебе не принесет подводить добрых малых.

Когда мне предстояло сделать какое-нибудь важное открытие, сопряженное с затруднениями и препятствиями, женщины оказывали мне еще бóльшую помощь, нежели мужчины. Известно, что женщины вообще одарены вкрадчивостью, качеством весьма полезным в тайной полиции. Обладая известным тактом и хитростью, в соединении с замечательной настойчивостью и терпением, они почти всегда достигают своей цели. Кроме того, они не внушают такого недоверия, как мужчины, и могут втираться повсюду, не возбуждая никаких подозрений. Замечательна их способность заводить дружбу с прислугой и дворниками; они умеют болтать, не проговариваясь. По виду сообщительные, они превосходят в искусстве наводить на откровенность. Словом, они обладают всеми качествами, необходимыми для хорошего шпиона, и когда они преданы и действуют искренно, то полиции трудно найти лучших агентов.

Г-н Анри, известный за человека умного и

ловкого, часто употреблял их в дело в самых щекотливых случаях и почти всегда не мог нахвалиться их смышленостью. Следуя примеру своего начальника, я также во многих случаях прибегал к услугам шпионов в юбках и также почти всегда оставался доволен ими. Однако, так как они большею частью были существа испорченные до мозга костей и еще более коварны, нежели шпионы, мне приходилось быть постоянно настороже, чтобы не быть обманутым. Следующий пример покажет, что не всегда можно было полагаться на их усердие.

Две известные воровки были освобождены по моей просьбе с условием, чтобы они верой и правдой служили полиции. Еще прежде они доказали свою способность в этих делах, но, не получая содержания от полиции и не имея никаких средств к существованию, они прибегли к воровству и были пойманы на месте преступления. Со времени их освобождения обе женщины, Софи Ламбер и некая Демер, прозванная Прекрасной Лизой, вошли в непосредственные сношения со мной. Однажды утром они явились ко мне и объявили, что могут доставить полиции случай арестовать некоего Томино, человека опасного, которого долго разыскивали. Они уверяли, что только что

обедали с ним и что вечером условились встретиться в кабаке в улице Сент-Антуан. В другом случае я, может быть, сделался бы жертвой их обмана, но на этот раз это было немыслимо, так как Томино был арестован мною накануне и они уж никак не могли обедать с ним. Однако мне хотелось все-таки убедиться, до чего дойдет их обман, и я обещал сопровождать их на свидание. Мы отправились вместе, но, конечно, Томино не явился. Мы прождали до десяти часов. Наконец Софи, притворяясь раздосадованной, спросила гарсона, не приходил ли кто-нибудь за ними.

— Приходил тот, с которым вы обедали, — отвечал он, — и поручил сказать вам, что сегодня вечером не может прийти сюда, а придет завтра.

Я не сомневался в том, что гарсон был сообщник, которого подучили заранее, но я не подал виду, что подозреваю что-нибудь, и решился терпеливо выжидать, до каких пор моим дамам заблагорассудится водить меня за нос.

В продолжение целой недели они таскали меня из одного трактира в другой, обещая показать мне Томино, но никогда, конечно, нам не случилось встретиться с ним. Наконец 6 января они поклялись во что бы то ни стало привести его. Я снова пришел в назначенный час и снова не

увидел Томино; они представили мне такие правдоподобные резоны, что мне невозможно было рассердиться. Напротив, я показал вид, что очень доволен их стараниями, и в награду предложил угостить их традиционным пирогом. Приглашение было принято, и мы втроем отправились в трактир Petit Broc в улице Верьери. Традиционный боб достался Софи, которая была счастлива, как королева. Пили, ели, много смеялись, наконец, чтобы достойно закончить пиршество, я предложил выпить по рюмке водки; но здешнюю кабацкую водку пить нет возможности, она годится только мужикам, а я был слишком любезен, чтобы угощать свою королеву напитком, недостойным ее. Поэтому я предложил ей принести из дому кое-чего получше. При этом известии мои дамы пришли в неописанный восторг и просили меня сбегать как можно поскорее. Через несколько минут я явился с полубутылкой коньяку, которая была осушена в один миг.

— Вот видите, какой я добрый малый, — сказал я моим кумушкам, — теперь за вами оказать мне услугу.

— Что угодно, друг Жюль, — воскликнула Софи, — говори живей.

— Вот в чем дело. Один из моих агентов аресто-

вал двух воровок. Полагают, что у них скрывается множество краденых вещей, но, чтобы сделать обыск, надо знать их местожительство, а они никак не хотят указать его. Не можете ли вы пойти туда и как-нибудь выпытать их тайну — вам это будет нетрудно, ведь вы у меня ловкие бабы.

— Будь покоен, дружище Жюль, — сказала Софи, — мы прекрасно сумеем исполнить поручение. Ты знаешь, что на нас можно положиться, — пошли нас на край света, и мы с радостью отправимся ради тебя, по крайней мере я.

— И я также, — вставила Лиза.

— В таком случае отправьтесь от моего имени к начальнику караула. — Я написал несколько слов, запечатал записку, и мы вышли вместе. Неподалеку от рынка Сен-Жан мы расстались, и, пока я наблюдал за ними, Софи и ее подруга направились в гвардейский караул. Войдя туда, Софи подала записку, и сержант прочел ее.

— Хорошо, — сказал он, — вас двое; капрал, возьмите с собой четырех людей и проводите этих дам в префектуру. — Этот приказ был отдан вследствие моего же распоряжения, которое я успел сообщить, пока ходил за коньяком. В приказе было сказано: «Прошу немедленно препроводить под верным конвоем в префектуру полиции этих

двух женщин, Софи Ламбер и Елизавету Демер, арестованных по распоряжению г-на префекта».

Мои дамы, вероятно, немало удивились; без сомнения, они догадались, что я наконец утомился быть их игрушкой. Как бы то ни было, а на другой день я отправился в депо и спросил их, как им понравился мой фокус.

— Недурно, — отвечала Софи, — право, недурно. Это твоя вина, — накинулась она на свою подругу. — Ну зачем было разыскивать человека, который давным-давно попался?

— А я разве знала? Ах, кабы знать, где упасть, так соломки бы подостлать… Ну, делать нечего, каша заварена, надо расхлебывать.

— Все это прекрасно, но хотя бы нам сказали, сколько времени нам придется корпеть в Сен-Лазаре. Скажи-ка, Жюль, ведь ты знаешь, небось.

— Месяцев шесть, не больше.

— Только-то! — закричали они хором.

— Шесть месяцев — не бог весть как долго, — продолжала Софи, — скоро пролетят, и не успеешь оглянуться. Делать нечего, господину префекту так угодно!

Они высидели даже меньший срок, нежели я определил. Едва успели их выпустить на волю, как они сейчас же прибежали ко мне с новыми

указаниями. На этот раз обману не было. Замечательная особенность — воровки обыкновенно реже исправляются, нежели воры. Софи Ламбер никогда не могла отрешиться от своей несчастной слабости. С десятилетнего возраста она дебютировала в этой карьере; ей не исполнилось еще двадцати пяти лет, а уже три четверти ее жизни протекли в тюрьмах.

Вскоре после моего поступления в полицию я арестовал ее и подвергнул заключению на два года. Она занималась своим преступным ремеслом главным образом в меблированных отелях. Трудно было превзойти ее в искусстве надувать консьержей и избегать их расспросов.

Проникнув в гостиницу, она останавливалась на площадке лестницы каждого этажа и заглядывала в комнаты: если у какой-нибудь двери примечала ключ, то быстро и неслышно отпирала дверь, прокрадывалась в комнату, и, если жилец спал, она беззвучно, как тень, забирала все, что попадалось ей под руку: часы, драгоценности, деньги — все переходило в ее *ягдташ,* как она называла большой карман, скрытый у нее под передником. Если же жилец бодрствовал, то Софи наскоро отделывалась извинениями, ссылаясь на то, что она ошиблась дверью. Если же спящий

жилец случайно просыпался в то время, пока она действовала, она, нисколько не смущаясь, подбегала к нему и, обняв его, нежно прижимала к груди. «Здравствуй, мой бедный Мими, — восклицала она, — поцелуй же меня!.. Ах, сударь, извините, пожалуйста, разве не тут 17-й номер, а я была уверена, что у своего знакомого».

В одно прекрасное утро Софи забралась к одному чиновнику с целью обобрать его; но тот проснулся и открыл глаза именно в ту минуту, когда она была занята около его комода. Он сделал жест удивления, и Софи начала разыгрывать свою обычную сцену. Но чиновник тоже был человек предприимчивый и захотел воспользоваться мнимой ошибкой. Что тут делать? Если Софи будет сопротивляться, то звяканье серебра в ее кармане во время борьбы может выдать цель ее посещения, если же она уступит, то опасность еще больше… Всякая другая непременно растерялась бы. Но Софи ловко вывернулась из опасности с помощью выдумки, очень, впрочем, правдоподобной. Чиновник остался доволен и позволил ей удалиться. При этом он потерпел немалый убыток — его кошелек, часы и шесть серебряных приборов исчезли безвозвратно. Эта женщина была преотчаянное существо: два раза

она попадалась в расставленные мною сети, но затем я тщетно пытался поймать ее, она ловко вывертывалась и постоянно была настороже. Мне удалось накрыть ее на месте преступления только благодаря случайности. Выйдя из дому на рассвете, я шел по площади Шатлэ и встретился нос к носу с Софи; она подошла ко мне с самоуверенным видом.

— Здоро́во, Жюль, куда отправляешься в такую рань? Уж наверное оплетать какого-нибудь приятеля.

— Очень может быть… знаю только, что не тебя. А ты сама куда летишь?

— А я отправляюсь в Корбейль, там сестра обещалась поместить меня в один дом. Надоело мне до смерти таскаться по острогам, пора исправляться; пойдем выпьем по малости.

— Охотно, я угощаю, пойдем к Лепретру.

— Ладно, ладно, только поскорее, чтобы мне не пропустить дилижанса. Ведь ты проводишь меня в улицу Дофин, не правда ли, Жюль?

— Не могу, у меня дела есть кое-какие, я и то опоздал, могу только выпить рюмочку, а потом надо бегом бежать.

Мы вошли к Лепретру, наскоро пропустили по маленькой, обменялись несколькими словами и

распростились.

— Прощай, Жюль, желаю тебе успеха.

Софи удаляется, а я окольным путем пробираюсь в улицу Планш Мибрэ и прячусь за углом. Из своего убежища я мог видеть, как она быстрыми шагами перешла через мост, ежеминутно озираясь; очевидно, она боялась преследования; из этого я заключил, что хорошо было бы проследить за ней. Поэтому я сам направился к мосту Norte-Dame и, пройдя через него быстрыми шагами, достиг набережной вовремя, чтобы не потерять ее следов. Дойдя до улицы Дофин, она действительно шмыгнула в контору дилижансов, но, убежденный, что ее отъезд мнимый и служит только предлогом, чтобы объяснить ее ранний выход из дому, я приютился в одной аллее, откуда мог наблюдать за ней, когда она выйдет из конторы. Позвав проезжавший мимо фиакр, я вошел в карету и обещал извозчику на водку, если он поможет мне проследить за женщиной, которую укажу ему. Пока мы должны были стоять на месте; через несколько минут дилижанс отошел; Софи там не было, я готов был дать голову на отсечение, но через несколько мгновений она появилась у ворот, тревожно озираясь по сторонам и, наконец, как бы решившись, быстрыми

шагами пустилась по улице Christine.

Она заходила в несколько гостиниц, но отовсюду выходила скоро и с пустыми руками, — ясно было, что не представилось удобного случая стянуть что-нибудь и что ее экспедиция пока не удалась; но я знал, что она не так-то скоро потеряет терпение, и решился не мешать ей. Наконец в улице La Harpe она проскользнула в одну дверь и через несколько секунд появилась с громадной корзиной для белья. Шла она очень скоро, невзирая на свою ношу; миновав улицу Mathurins Saint-Jacques, она пошла по улице Macons Sorbonne. К несчастью для нее, последняя сообщается с улицей La Harpe сквозным пассажем. Там-то я спрятался, и, когда она проходила мимо пассажа, я вышел из дверей и очутился с ней нос к носу. Увидев меня, она изменилась в лице от испуга и неожиданности. Смущение ее было так велико, что она не могла произнести ни слова. Наконец, оправившись немного и притворяясь раздосадованной, она сказала:

— Если бы ты знал, как я зла: моя прачка должна была принести мне белье в контору дилижансов, и по ее милости я пропустила отъезд кареты. Вот теперь я взяла у нее белье и хочу отдать его выгладить одной приятельнице, — так и пришлось

остаться в Париже.

— Со мной тоже неудача; по пути я встретил кое-кого, который сказал мне, что мой молодчик здесь, а между тем его нигде нет во всем квартале.

— Ну, тем лучше; подожди меня немного, я пойду отнесу корзину в двух шагах отсюда и отправимся завтракать вместе.

— Вряд ли мне удастся, я… Э, да что это такое?..

Софи и я разинули рты от удивления: из корзины вылетали пронзительные звуки вроде детского писка. Приподняв крышку, я увидел — что же?.. ребенка месяцев трех-четырех, который орал во всю глотку.

— Должно быть, это твой пискун, — сказал я Софи. — Можешь мне сообщить, какого он пола?

— Экая досада! Я опять *влопалась*! Ну уж оказия, век не забуду! Если спросят, в чем дело, отвечу; ничего, сущая малость, *ребячье* дело. Другой раз, когда придется белье красть, буду осторожнее.

— И зонтик дождевой тоже заодно захватила?

— Был тот грех! Как видишь, у меня было чем закрыться, а все-таки попалась, судьбы, видно, не избежишь, как там ни старайся…

Я повел Софи к полицейскому комиссару Френу, бюро которого было тут по соседству. Дождевой

зонтик был оставлен как вещественное доказательство, а ребенок, которого Софи похитила поневоле, был немедленно возвращен его матери. Воровка просидела за это в тюрьме целых пять лет. Если не ошибаюсь, это уже шестой или седьмой раз, как она подвергалась суду; после этого она попалась еще раз, и весьма вероятно, что ей суждено всю жизнь свою провести в Сен-Лазаре.

Софи находила свое ремесло весьма естественным и равнодушно относилась к постигавшей ее каре. Тюрьма не страшила ее; напротив, в ней она чувствовала себя в своей сфере. Софи приобрела в местах заключения постыдные привычки, которых не оправдывает пример древней Сафо; под замком и запором чаще представлялись случаи предаваться разврату — из этого видно, что она недаром так мало ценила свободу. Если ее арестовали, то она действительно горевала одну минуту, но не более, — это было только мимолетное впечатление, и она скоро утешалась перспективой ожидающих ее удовольствий. Странный характер был у этой женщины; вот хоть бы пример из ее жизни. Некая Жилион, с которой она жила в преступной интимности, была схвачена за покражу; Софи, бывши ее сообщницей, спаслась от преследования, но, горюя о своей

подруге, она заставила донести на себя и успокоилась только тогда, когда ей прочли приказ, который должен был соединить их неразлучно еще на два года. Большая часть этих тварей легко смотрит на тюремное заключение; мне случалось видеть некоторых из них, привлеченных к суду за воровство, обвинивших в сообщничестве своих подруг, а они, хотя и невинные, считали своим долгом покориться этой участи.

Глава тридцать восьмая

Ювелир и священник. – Тайник и шкатулка. – Роковое известие. – Казаки не виновны. – Мнимый солдат. – Я превращаюсь в еврея. – Я отправляюсь на богомолье с монахиней из Дурдана. – Мое превращение в немца-лакея. – Я попадаю в тюрьму. – Пуговицы моего сюртука. – Битва при Монтеро. – Путешествие в Германию. – Черная курочка. – Бриллиантов на сто тысяч экю

Незадолго до первого вторжения неприятеля некто Сенар, один из самых богатых ювелиров Пале-Рояля, отправившись однажды в гости к своему приятелю, ливрийскому священнику, нашел его в ужасной тревоге, вызванной приближением наших любезных друзей — неприятелей. Дело в том, что требовалось поскорее убрать с глаз долой в безопасное место священные сосуды и небольшое состояньице священника. Не без долгого колебания — хотя, казалось бы, ему не привыкать к похоронам — священник наконец решился зарыть вещи, которые ему хотелось

спасти, и Сенар, который, как и все скопидомы и скупцы, воображал, что Париж будет разграблен до основания, в свою очередь решился последовать примеру своего друга и зарыть в землю все драгоценности своего магазина. Друзья условились положить свои сокровища в один и тот же тайник. Но вопрос в том, кто выроет яму, священник предложил одного из своих прихожан, дядюшку Муазеле, который пел обыкновенно за мессой. О! Муазеле — перл честных людей, вот на него-то уж можно положиться, как на каменную гору, кажется, копейки чужой не возьмет. В течение 30 лет в качестве бочара ему поручалось переливать в бутылки чудесное вино, которое пили в священническом доме. По мере надобности он был и церковным старостой, и причетником, и пономарем, и factotum'ом, всей душой преданный церкви и ее пастырю, — словом, он обладал всеми качествами верного слуги, не считая скромности, смышлености и глубокой набожности. В таком важном случае весьма естественно было обратиться к Муазеле; его-то и избрали доверенным лицом. Вскоре благодаря его стараниям было приготовлено убежище, чтобы скрыть сокровища; целых шесть футов земли были брошены на имущество священника

и на маленькую шкатулку Сенара, заключавшую в себе бриллиантов на сто тысяч экю. Яму завалили землей, почву на поверхности выровняли так тщательно, что можно было бы поручиться головой, что место было нетронуто с сотворения мира. «Этот превосходный Муазеле, — говорил Сенар, потирая руки от удовольствия, — устроил нам дельце как нельзя лучше...» По прошествии нескольких дней соединенные армии одержали новую победу, и вот толпы казаков, калмыков и киргизов всевозможных нравов и обычаев нахлынули на селения в окрестностях Парижа. Известно, что эти непрошеные гости отличались небывалой алчностью к добыче, повсюду они грабили и опустошали напропалую, ни одно жилище не было пощажено, но в своем усердии они не ограничивались поверхностью земного шара, они проникали и внутрь, чуть ли не до центра земли; эти отважные геологи во многих местах зондировали почву и, к несчастью для местных обывателей, пришли к убеждению, что во Франции мины золота и серебра не так глубоки, как в Перу. Такое открытие еще более разлакомило их, и много местных крезов были разорены в пух и прах их тщательными изысканиями. Проклятые казаки! Однако безошибочный инстинкт,

который руководил ими, не натолкнул их на убежище, куда священник припрятал свой клад. Проходили дни один за другим, не принося с собою никаких изменений. Нет, положительно; нельзя было достаточно надивиться на Промысел Божий, который не допускал разоблачить тайну честного Муазеле. Сенар был до такой степени тронут этим, что от всей души благодарил Бога за сохранение бриллиантов и в то же время молил сохранить их на будущее время. Убежденный, что молитвы его будут услышаны, он спал по ночам сном беззаботным; но вот в один прекрасный день, должно быть в пятницу, к священнику прибегает Муазеле, весь запыхавшийся, бледный, взволнованный:

— Ах, господин священник, я погиб!

— Что с вами, Муазеле?

— Никогда не решусь сказать вам. Бедный господин священник, ей-богу, я так этим поражен, что душа в пятки ушла. Кажется, если б мне жилы открыли, так ни капли крови не вытекло бы.

— Да что же, наконец, случилось? Вы меня пугаете.

— Тайник…

— Боже милосердный! Не говорите дальше, мне все ясно. О, какое ужасное наказание Божие

эта война! Джонстон, башмаки живей, башмаки и шляпу!

— Но, барин, вы еще не завтракали.

— Поди ты со своим завтраком, до того ли мне теперь!

— Вы ведь знаете, что когда выходите из дому натощак, то у вас делаются спазмы в желудке…

— Мои башмаки, говорят тебе.

— Сами потом станете жаловаться на желудок…

— Не надо мне желудка. Ничего мне больше не нужно, мы разорены!

— Разорены!.. Господи Иисусе Христе, Пресвятая Дева… Возможно ли это! Ах, барин, бегите же, бегите поскорее.

Пока священник собирался наскоро и тщетно пытался застегнуть пряжки своих башмаков, Муазеле плачевным тоном повествовал ему обо всем, что видел.

— Уверен ли ты? — расспрашивал священник. — Может быть, они не все забрали.

— Ах, господин священник, дай-то Бог! У меня не было духу заглянуть туда.

Они вместе направились в старый сарай и убедились, что неприятель похитил все дочиста. Священник, сознавая все свое несчастие, чуть не

упал в обморок; на Муазеле также жалко было смотреть, — бедный малый горевал бы не более, если бы пропало его собственное добро. Он разразился вздохами и стонами, — вот что значит любовь к ближнему! Сенар и не подозревал, какое бедствие посетило Ливри; в какое отчаяние повергло его известие о печальном событии! В Париже пострадавшие первым делом находят утешение в полиции. Первая мысль, поразившая Сенара, и самая естественная, была та, что покража совершена казаками. В таком случае полиция была бы ни при чем; но Сенар осмелился заподозрить, что казаки нимало не виновны, и в один прекрасный день, когда я находился в кабинете г-на Анри, к нему вошел низенький, нервный человечек, которого по первому взгляду можно было заподозрить в корыстолюбии и недоверчивости. Это был Сенар. Он в коротких словах изложил свою беду и закончил предположением, не совсем-то лестным для Муазеле. Г-н Анри согласился с ним, что, вероятно, похитителем был не кто иной, как тот же Муазеле; я думал то же самое.

— Все это прекрасно, — заметил г-н Анри, — но ведь наше мнение основано на одних предположениях, и если Муазеле будет осторожен, то не

будет никакой возможности уличить его.

— Не будет возможности? — воскликнул Сенар. — Что же со мной-то будет? Но нет, этого быть не может, я недаром обратился к вам за помощью; разве вы не всемогущи, когда только пожелаете? Мои бриллианты, мои бедные бриллианты, я сейчас готов был бы пожертвовать сто тысяч экю, чтобы найти их снова.

— Вы можете дать вдвое больше; но если похититель принял предосторожности, то нам не удастся узнать ничего.

— Ах, право, вы приводите меня в отчаяние, — отвечал золотых дел мастер, проливая горькие слезы и бросаясь на колени перед начальником отделения. — Их ведь на сто тысяч экю, моих бриллиантов-то! Если я лишусь их, то умру с горя; бога ради, сжальтесь надо мной.

— Легко сказать — сжальтесь; впрочем, если ваш молодчик не слишком-то хитер, то можно за ним проследить с помощью какого-нибудь ловкого агента, — может быть, нам удастся вырвать от него его тайну.

— Уж как я вам буду благодарен! О, я не постою за деньгами. Пятьдесят тысяч франков вознаграждения в случае успеха.

— Что вы об этом думаете, Видок?

— Дело нелегкое, — ответил я, — но, может быть, принявшись за него хорошенько, я и мог бы выйти из него победителем.

— Неужели! — воскликнул Сенар, с жаром пожимая мою руку. — Вы воскрешаете меня. Бога ради, господин Видок, не щадите никаких средств для достижения счастливого результата; мой кошелек во всякое время открыт для вас, я не постою ни перед чем. Итак, вы в самом деле надеетесь на успех?

— Да, милостивый государь, надеюсь.

— И прекрасно; отыщите мне мою шкатулку, и десять тысяч франков — ваши, слышите ли — десять тысяч франков; я от своих слов не откажусь!

Несмотря на постепенные сбавки цены по мере того, как Сенар начинал верить в возможность разыскать его сокровища, я, однако, обещал употребить все свои старания. Но прежде, нежели предпринять что бы то ни было, надо было подать просьбу. Сенар вместе со священником отправились в Понтуаз, и на основании их заявления Муазеле был арестован и подвергнут допросу. Всеми силами старались убедить его сознаться в вине, но он настойчиво отнекивался, и за неимением достаточных улик обвинение должно было рушиться; но я, чтобы по возмож-

ности поддержать его, пустил в ход все свои старания и первым делом снарядил одного из своих агентов. Переодетый в военный мундир, с левой рукой на повязке, он явился с квартирным билетом к супруге почтенного Муазеле; он рассказал ей, что только что вышел из госпиталя и должен был остаться в Ливри дня два, не более, но, к несчастью, сильный ушиб при падении не дает ему возможности продолжать путь. Таким образом, он вынужден был остановиться в городе до выздоровления и, по распоряжению мэра, поселиться у мадам Муазеле.

Супруга Муазеле была одна из тех добрых, веселых толстух, которые не прочь пожить под одной кровлей с молоденьким солдатиком; она и не думала досадовать на судьбу, навязавшую ей на шею постояльца, — к тому же он ведь мог утешить ее в отсутствие мужа; ей еще не исполнилось 35 лет, а в этом возрасте женщины еще не пренебрегают утешениями. Но это еще не все — злые языки упрекают мадам Муазеле в излишнем пристрастии к спиртным напиткам, что делать — такова уж про нее слава прошла. Мнимый солдат не упустил из виду и этой слабой струнки своей хозяйки; чтобы окончательно снискать благоволение доброй женщины, он

от времени до времени угощал ее винцом и для этого развязал ремни своего туго набитого пояса. Хозяйка была в восторге от нежной предупредительности своего гостя; к довершению всего он был грамотный и строчил под ее диктовку невиннейшие послания к ее супругу, послания, которые отнюдь не могли скомпрометировать его. Секретарь стал соболезновать о мадам Муазеле, горевать на счет бедного узника и, чтобы вызвать на откровенность, стал проповедовать принципы довольно легкой морали: для того чтобы, мол, обогатиться, все средства хороши. Но барыня тоже была не проста и не поддалась на эту удочку. Постоянно настороже, она была крайне осторожна в словах и поступках. После нескольких дней тщетных стараний я наконец убедился, что моему агенту, при всей его ловкости, не удастся извлечь никакой существенной пользы из своей миссии. Тогда я решился действовать сам и, переодетый в разносчика, стал рыскать по окрестностям Ливри. Я превратился в жида-торговца, которые в своей котомке носят разные товары: сукна, мелочи, украшения и т. д., и в обмен принимают все, что угодно, — золото, серебро, драгоценные каменья. Меня сопровождала в моей экспедиции бывшая воровка,

отлично знакомая с местностью; она была вдова известного вора Жермена Будье, прозванного Отцом Латюилем, который после долголетнего заключения недавно умер в Сент-Пелажи. Моя спутница пробыла 12 лет в тюрьме Дурдана, где ее прозвали Монахиней за смиренный и набожный вид, которым она прикрывала себя. Никто не обладал в таком совершенстве искусством шпионить за женщинами и соблазнять их заманчивыми нарядами и безделушками. Я льстил себя надеждой, что мадам Муазеле, поддавшись ее красноречию и соблазнившись нашими товарами, вытащит экю священника или какой-нибудь бриллиант чистой воды, в случае если наши тряпки придутся ей уж очень по сердцу. Но мой расчет не оправдался — она, по-видимому, не торопилась наслаждаться своими богатствами, и кокетство не погубило ее. Мадам Муазеле была перл всех женщин, я искренне удивлялся ей, и, убедившись, что она стойка, как каменная стена, решился оставить ее в покое и приняться за ее мужа. Из жида-разносчика я вскоре превратился в немца-лакея и в этом новом костюме стал бродить в окрестностях Понтуаза в той надежде, что меня задержат.



Делая вид, что избегаю жандармов, я, напротив, старался попасться им на глаза, и действительно, при первой же встрече меня попросили предъявить свои документы. Само собой разумеется, у меня их не оказалось; меня повели к судье, который, ни слова не понимая из моих объяснений на ломаном языке, пожелал ознакомиться с содержанием моих карманов; в них нашли довольно

значительную сумму денег и различные предметы, которые по теории вероятностей уж никак не могли принадлежать мне. Судья, любознательный, как комиссар, непременно желал добиться, откуда у меня золотые и серебряные вещи; я послал его к черту, с прибавлением нескольких крепких словечек чисто германского происхождения, а он, чтобы научить меня быть поучтивее в другой раз, велел посадить меня в тюрьму.

Итак, я очутился под запорами; в тюрьму меня привели как раз в то время, когда арестанты прохаживались по двору в виде отдохновения. «Вот привел вам немчуру-колбасника, — рекомендовал меня тюремщик, — разбирайте, что он там бормочет, коли можете». Тотчас же вокруг меня столпились арестанты, со всех сторон посыпались на меня приветствия вроде: «Lanbsmann», «chenier» и т. д. Между тем я старался в числе окружавших меня заключенных угадать ливрийского бочара; мне показалось, что это непременно тот человек, не то поселянин, не то буржуа, который приветствовал меня сладеньким голоском, отличающим обыкновенно ханжей, которые питаются от крох, падающих со священнического стола. Этому благочестивому старцу крохи эти, по-видимому, не пошли впрок — он был тощ

как щепка, но, несмотря на его худобу, лицо его дышало здоровьем. Лоб у него был узкий, глаза карие под густыми бровями, рот до ушей; хотя, рассматривая его черты в отдельности, можно было заметить в них признаки дурных наклонностей, но вообще вид у него был смиренный и благочестивый — хоть сейчас в рай. К довершению портрета прибавлю, что в своем одеянии он отстал по крайней мере на целых три поколения, что всегда в известных кружках общества располагает в пользу субъекта. Я сейчас сообразил, что Муазеле, желая подольститься к набожным старичкам, нарочно облекается в платье такого же старинного покроя, как то, которое они привыкли носить. За неимением других, более характеристических признаков пара очков, красующихся на орлином носу, большие светлые пуговицы его камзола светло-табачного цвета, короткие штаны, треугольная шляпа старинного фасона и пестрые чулки прежде всего привлекли бы внимание кого бы то ни было. Фигура, лицо и одежда так гармонировали между собою, что я был уверен, что отгадал верно.

— Мусью, мусью, — крикнул я, обращаясь к нему, — саперлот, цен таузенд тейфель! карош франсус, мой тринкен котел, много тринкен с

шорна шляп.

Я указал пальцем на его шляпу. Он, очевидно, не понимал ни слова, но когда я сделал красноречивый жест, что хочу выпить с ним, — все стало ему ясно. Пуговицы моего сюртука были — двадцатифранковые монеты; я отпорол одну из них и отдал ее своему новому приятелю, попросив его послать за вином. Скоро я услышал голос тюремщика: «Дядюшка Муазеле, вам принесли две бутылочки!» Итак, я не ошибся — светло-табачный камзол действительно Муазеле; я последовал за ним в его комнату, и мы стали пить вместе, как два старых друга; выпили эти бутылки, принесли две новые, и так далее, до бесконечности. Оказалось, что Муазеле, в качестве пономаря, певчего, причетника и т. д., был горьким пьяницей и отчаянным болтуном. Он пил за двоих и не переставал трещать, как сорока, подражая моему ломаному языку. Тюремщика, пришедшего чокнуться с нами, мы попросили постлать мне постель в комнате моего нового друга. Попойка шла своим чередом; после двух-трех часов, проведенных таким образом, я притворился окончательно опьяневшим. Муазеле, чтобы отрезвить меня, велел подать мне чашку черного кофе; за кофе последовало несколько стаканов

воды, но когда пьян, то тут хоть тресни, а ничего не поделаешь. Мною овладело опьянение, и я заснул или, по крайней мере, притворился спящим, а сам видел, как Муазеле выпил залпом еще несколько стаканов вина. На другой день, когда я проснулся, Муазеле дал мне опохмелиться и, чтобы показаться добросовестным, отдал мне три франка и пятьдесят сантимов, оставшихся будто бы от моих двадцати франков. Муазеле убедился, что я хороший товарищ, и не покидал меня ни на шаг. Скоро мы покончили мои двадцать франков и принялись за другую пуговицу, которая проскользнула с такой же быстротой; тогда Муазеле стал опасаться — уж не последняя ли эта.

— Нет у вас больше пуговиц? — осведомился он с выражением комического страха на лице. В ответ я показал ему новую пуговицу. Он припрыгнул от радости.

Эта пуговица имела то же назначение, как и предыдущие; наконец, мы столько пили и болтали вместе, что Муазеле стал так же хорошо понимать меня и говорить на моем наречии, как и я сам; мы стали рассказывать друг другу свои горести и печали. Муазеле очень хотелось узнать мою историю; сказка, которую я выдумал, была нарочно рассчитана на то, чтобы внушить ему по

возможности больше доверия.

— Мой приекал во Франс, — говорил я, — моя казяин и я. Казяин моя — маршал Австрийская, в Австрии много Gold у его Familie! Моя казяин ошень злая бил, мине immer geschlagen — ach! so weh! Моя казяин и я поекал на битва при Мантро, ach mein Cott, большой битва, много шеловек капут todt. Мой паялся пиф-паф, бум-бум, мой взяла саквояж, там Gold много маленьки блистел, мой взяла и галоп талеко, талеко… галоп, Фриц, галоп… в Понди Фриц, гальт! Видал дерев, капал, капал земля… den Sack d'rin, когда мой в Deutschland екал, nach Haus, брал den Sack — и Vater, Mutter, и Фриц пагатый бил…

Хотя повествование это было не из понятных, но Муазеле отлично смекнул, в чем дело; он понял, что я бежал, захватив с собою портмоне своего хозяина, и что я зарыл его в лесу Бонди. Признание это не удивило его, напротив, его обращение со мной стало как будто еще ласковее. Эта необычайная дружба после разоблачений, из которых обо мне можно было составить себе самое нелестное понятие, доказала мне, что дядюшка Муазеле неразборчив. С этих пор я убедился, что ему более, нежели кому-либо, известно, где скрываются бриллианты Сенара, и что он может

сообщить мне о них кое-что, если пожелает. Однажды вечером, после хорошего обеда, я стал расхваливать ему все прелести жизни на Рейне; он глубоко вздохнул и спросил, есть ли хорошее вино в том краю?

— Jo, ja, — ответил я, — карош Wein и schöne Mamsel!

— Schöne Mamsel тоже?

— Ja, ja.

— Landsmann, я хочу с тобой ехал в Deutschland: вы рады будете?

— Ja, ja, freilich, мой ошень тавольна.

— Ah, вы довольны, хорошо; я оставлю Францию, оставлю старую жену (он показал мне по пальцам, что его супруге 35 лет) и в вашем Vaterland возьму молоденькую девочку, пятнадцать лет, не больше.

— Ja? ja, gut, gut, новый мамзель. А, вы польшой плут!

Муазеле неоднократно возвращался к проекту об эмиграции; он думал об этом серьезно; но чтобы эмигрировать, надо быть свободным, а нас не очень-то спешили выпустить на волю. Я внушил ему мысль бежать, воспользовавшись первым удобным случаем; он обещал мне, что мы не расстанемся ни на минуту, что он даже не пойдет

проститься со своей супругой; с этой минуты я был убежден, что он попадется в расставленные мною сети. Это убеждение вытекало из весьма простого аргумента: Муазеле, рассуждал я, желает следовать за мною в Германию; чтобы путешествовать, надо деньги, а он еще хочет там поселиться на жительство и позволить себе даже прихоть — взять на содержание маленькую немочку. О, наверное, у папаши Муазеле есть на что разгуляться, есть своя черная курочка. Здесь у него денег нет ни гроша, спрашивается, где же скрывается курочка? Я решился узнать это во что бы то ни стало; к тому же мы условились не расставаться.

Лишь только план о бегстве созрел в голове моего любезного друга и он весь проникся мечтами о благополучной Германии, я обратился с письмом к королевскому прокурору, прося его, в качестве главного агента охранительной полиции, немедленно освободить меня вместе с Муазеле из тюрьмы и отправить его в Ливри, а меня в Париж.

Распоряжение прокурора не заставило себя долго ждать; накануне приведения его в исполнение тюремщик явился к нам и сообщил нам о нашей судьбе; впереди у меня оставалась еще

целая ночь, чтобы укрепить Муазеле в его решимости; оказалось, что он крепче прежнего придерживался нашего плана; он был в восторге от моего предложения — как можно скорее вырваться из-под надзора нашего эскорта. Он не мог дождаться рассвета и не спал от волнения. Когда настал день, я дал ему понять, что подозреваю его в воровстве. Он не ответил на мои полушутливые намеки, но улыбался добродушной улыбкой, которая дала мне понять, что я не ошибся. Наконец наступила желанная минута, когда нас вывели из тюрьмы, та минута, которая дает нам возможность выполнить наши планы. Муазеле был готов за целых три часа; чтобы придать ему храбрости, я не позабыл напоить его слегка, и он вышел из тюрьмы под хмельком.

Мы были связаны довольно тоненькой веревкой; доро́гой он глазами дал мне понять, что ее легко будет порвать. Он и не подозревал, что, порвав ее, он уничтожит все мечты, которые лелеял с такой любовью. Чем дальше мы шли, тем больше он выказывал мне, что возлагает на меня все свои надежды на спасение; ежеминутно он повторял просьбу не покидать его, а я не переставал уверять его в своей преданности. Наконец приближается решительная минута;

веревка разорвана, я перескакиваю через ров, отделяющий нас от чащи леса, Муазеле с легкостью пятнадцатилетнего мальчика следует моему примеру. Один из жандармов слез было с лошади с намерением преследовать нас, но есть ли какая-нибудь возможность бежать и в особенности скакать через рвы в высоких ботфортах и с длинной саблей; пока он отправился в обход за нами, мы исчезли в чаще — и были таковы…

Тропинка, по которой мы шли, привела нас в лес Вожур. Муазеле вдруг остановился и, бросив зоркий взгляд вокруг себя, направился в чащу кустарника. Нагнувшись, он вытащил оттуда заступ и пошел далее быстрыми шагами, не произнося ни одного слова. Дойдя до березы, у которой, как я заметил, было отломано несколько ветвей, он поспешно снял верхнее платье и шляпу и стал усердно рыть землю; он принялся за это с таким жаром, что дело быстро подвигалось. Вдруг он откинулся назад, и вздох облегчения вырвался у него из груди — это продолжительное «ах…» показало мне, что он добрался до своего сокровища; еще несколько усилий — и драгоценный ящичек очутился в его руках. Тогда, схватив заступ, я заговорил другим языком и объявил своему приятелю на чистейшем парижском наречии, что

он — мой пленник. «Без сопротивления, — сказал я, — или я размозжу вам голову». При этой угрозе он помертвел, как бы не веря своим ушам; но когда почувствовал на своем плече железную руку, заставлявшую трепетать стольких злодеев, он убедился, что это был не сон. Муазеле был кроток, как ягненок; я поклялся, что не упущу его, и сдержал слово. По пути в жандармскую бригаду, куда я должен был представить его, он неоднократно восклицал: «Я погиб! Кто мог бы подумать! У него был такой добродушный вид». Подвергнутый суду присяжных в Версале, Муазеле был приговорен к тюремному заключению на шесть лет.

Сенар был вне себя от радости, когда отыскались его милые бриллианты. Верный своей системе постепенного понижения цены, он наполовину уменьшил вознаграждение, и то еще я с великим трудом выцарапал у него пять тысяч франков, из коих я истратил на дело не менее двух тысяч; едва-едва мне не пришлось остаться на бобах.

Глава тридцать девятая

Красивый юноша. – Мои четыре ремесла. – Турок, продавший своих одалисок. – Генерал Бушю. – Парадный мундир и банковые билеты. – 20 тысяч франков выскользнули из рук. – Поимка двадцати двух мошенников. – Общий родственник. – Ловеласы. – Полковой священник. – Анакреон в галерах. – Директор полиции. – Разоблачения об убийстве герцога Беррийского. – Великан среди воров. – Сцена à la Жанлис. – Мать и ребенок здоровы. – Крестины. – Моя кумушка попадает в Сен-Лазар. – Повешенный. – Опасные врачи. – Я выдаю цыган. – Версальская ярмарка. – Бессонница содержательницы модного магазина. – Любовь и тирания. – Сцены ревности

Вскоре после трудной экспедиции, имевшей такие роковые последствия для бочара, мне поручено было разыскать виновников кражи со взломом, совершенной ночью из апартаментов принца Конде в Бурбонском дворце. Исчезли громадные зеркала, похищенные с такой осто-

рожностью и необычайной ловкостью, что похитители не разбудили даже двух церберов и консьержа, стороживших у входа. Карнизы, в которые вделаны были зеркала, не были нисколько повреждены, и я тотчас же смекнул, что кража, по всей вероятности, была совершена людьми, знакомыми с зеркальным и обойным ремеслами; но в Париже таких рабочих гибель, и между ними я не знал ни одного, на которого мог бы обратить свои подозрения. Однако мне очень хотелось разыскать виновных — я принялся за дело с жаром и стал собирать справки. Первое полезное сведение доставил мне сторож одного скульптурного ателье, находящегося около сквера Инвалидов; около трех часов ночи он видел неподалеку от своей двери несколько больших зеркал, при которых находился молодой человек, уверявший, что ему поручено перенести их в одно место, а между тем у носильщиков сломались носилки. Два часа спустя молодой человек привел двух посыльных и с помощью их понес зеркала по направлению к фонтану Инвалидов. По словам сторожа, молодому человеку могло быть не более двадцати двух — двадцати трех лет; росту он был небольшого, одет в темно-серый суконный сюртук и отличался довольно краси-

выми чертами лица. Данные эти не принесли мне непосредственной пользы, но они помогли мне косвенным путем разыскать одного комиссионера, который на другой день после покражи перетаскивал зеркала больших размеров в улицу Сен-Доминик, в отель Караман. Очень вероятно, что зеркала эти были вовсе не те, которые были украдены, и, кроме того, если это были те же самые, то кто мог поручиться мне, что они уже не переменили владельца и не перенесены в другую квартиру. Мне указали лицо, которое принимало их; я решился отправиться туда и, чтобы не возбуждать подозрения, облекся в поварской костюм. Напялив белую куртку и поварской колпак, отличительные признаки моего звания, и проникнувшись духом своей роли, я отправился в отель Караман. Звоню у одной двери в первом этаже; мне отворяет очень красивый молодой человек и осведомляется, что мне нужно. Я подал ему какой-то адрес и сказал, что ему, кажется, требуется повар; в таком случае я желал бы поступить к нему в услужение.

— Ах, боже мой, вы, вероятно, ошиблись, друг мой, на вашем адресе обозначено вовсе не мое имя; есть, кажется, две улицы Сен-Доминик — вам придется отыскать другую.

Язык, жесты, манеры, а также одежда красивого юноши, разговаривавшего со мной, тотчас показали мне, к какому сорту людей он принадлежал. Я принял тон человека, посвященного в тайны ультрафилантропов, и после нескольких жестов, значение которых он отлично понял, я выразил ему все свое сожаление, что он не нуждается в моих услугах.

— Ах, сударь, мне очень хотелось бы остаться у вас, хотя бы даже на половинном жалованье; вы не знаете, как я несчастен. Вот уже шесть месяцев, как без места, и мне не каждый день и есть-то приходится… Поверите ли, вот уже тридцать шесть часов, как у меня маковой росинки не было во рту.

— Мне, право, душевно жаль вас, любезный, неужели вы ничего не ели? Войдите сюда, я велю дать вам пообедать.

Я на самом деле был очень голоден, так что мне не трудно было разыграть свою роль; поданный мне обед — двухфунтовый хлебец, половина жареной курицы, кусок сыру и бутылка вина — исчез с изумительной быстротой; утолив свой голод, я стал рассказывать своему хозяину о бедственном положении, в котором находился.

— Посудите сами, — говорил я, — возможно ли

быть несчастнее меня — я знаю четыре ремесла, и ни одно из них не выручает меня из беды; я и портной, и шляпочник, и повар — все зараз. Прежде всего я занимался ремеслом обойным и зеркальным.

— Зеркальным! — с живостью подхватил мой собеседник.

Не давая ему времени заметить всю необдуманность своего восклицания, я продолжал:

— Да, ремеслом зеркальным и обойным. Это ремесло мне знакомо лучше всех; но дела теперь так плохи, что работы почти не предвидится.

— Вот что, дружок, — обратился ко мне красавец, — выпейте вот эту рюмочку — это водка, она вас подкрепит. Вы представить себе не можете, как я интересуюсь вашей судьбой; я хочу доставить вам работу на несколько дней.

— Ах, право, барин, вы слишком добры, вы выручаете меня из большой беды; по какому ремеслу вы хотите дать мне занятие?

— По ремеслу зеркальщика.

— Если вам понадобится вставлять зеркала в рамы, отделать трюмо или простеночные зеркала, словом, что бы то ни было в этом роде, то я к вашим услугам, вы можете смело доверить мне работу.

— Видите ли, у меня есть великолепные зеркала; они были в моем имении, я велел привезти их в Париж, опасаясь, чтобы господам казакам не пришло в голову разбить их.

— И прекрасно сделали; можно их видеть?

— Да, друг мой.

Он повел меня в отдельную комнату, где я с первого взгляда узнал зеркала Бурбонского дворца. Я стал восхищаться их размерами и чистотой и, рассмотрев их с тщательным вниманием знатока, стал восхвалять ловкость мастера, который выставил их из рам, нисколько не попортив краев.

— Мастер этот — не кто иной, как я, — воскликнул он, — я никому не позволил дотронуться до них и собственноручно сложил их даже на повозку.

— Мне не хотелось бы противоречить вам, барин, но, право, то, что вы говорите мне, просто невозможно; надо быть знакомым с ремеслом, чтобы выполнить такое дело, да и то еще самый искусный мастер едва ли мог бы сделать его без посторонней помощи.

Он стал опровергать мое уверение и божиться, что решительно никто не помогал ему. Мне не хотелось прекословить ему, и я перестал спорить.

Мое замечание было в некотором роде любезностью, которая, однако, по-видимому, обидела его; он стал со мною менее любезен и, сообщив мне некоторые инструкции, наказал прийти на следующий день и приняться за работу как можно скорее.

— Не забудьте принести с собою ваш алмаз, мне хотелось бы, чтобы вы сняли долой эти украшения, вышедшие из моды.

Ему нечего было более сообщать мне, с моей стороны ничего не оставалось более выпытывать у него. Я ушел и сообщил моим двум агентам все приметы моего молодчика, приказав им следовать за ним, если бы он вышел из дому. Чтобы совершить арест, необходимо было полномочие; заручившись им, я снова, но на этот раз в сопровождении полицейского комиссара и двух агентов, явился к любителю зеркал, который вовсе не ожидал видеть меня так скоро. Вначале он даже не узнал меня и только по окончании обыска, оглянув меня повнимательнее, сказал мне:

— Мне кажется, я узнаю вас. Не вы ли были поваром?

— Да, милостивый государь, — отвечал я, — к вашим услугам, я повар, и шляпочник, и зеркальщик, и портной, и вдобавок полицейский

сыщик. — Мое хладнокровие до такой степени смутило его, что он не имел духу произнести ни слова в ответ.

Господина этого звали Александром Парюит; помимо зеркал и бронзовых канделябров, украденных им из Бурбонского дворца, у него отыскали множество других вещей, приобретенных таким же путем… Инспектора, сопровождавшие меня, взялись отвести Парюита в депо, но по пути имели неловкость выпустить его из рук. Лишь десять дней спустя мне удалось снова схватить его у ворот посланника султана Махмуда; я арестовал его в ту минуту, когда он садился в карету какого-то восточного человека, по всей вероятности продавшего своих одалисок.

Я до сих пор не мог объяснить себе, каким образом Парюиту удалось, несмотря на непреодолимые препятствия, совершить покражу из Бурбонского дворца. А между тем следствие показало, что у него действительно не было ни одного сообщника; он был приговорен к ссылке в галеры.

Приблизительно в то время, когда Парюит таскал зеркала из Бурбонского дворца, другие злоумышленники забрались ночью в отель Валуа и ограбили маршала Бушю. Сумму убытков опре-

деляли в 30 000 франков; воры не пренебрегли ничем — начиная с простого бумажного платка и кончая густыми эполетами генерала; эти господа унесли с собою даже грязное белье, приготовленное для прачки. Эта система — грабить дочиста свою жертву, не оставив ей ни одной тряпицы, — часто бывает гибельна для вора; но на этот раз экспедиция удалась в совершенстве, без малейших промедлений и задержек. Присутствие самого генерала служило им гарантией того, что никто не помешает их предприятию, и они преспокойно обчистили все шкафы и комоды, так же методически и свободно, как какой-нибудь пристав, делающий опись имуществу. Но каким же образом, спросите вы, им удалось это сделать, если сам генерал был в это время дома? Объясняется это очень просто: после сытного обеда разве можно ручаться за себя? Без опасений, забот и малейших предчувствий человек переходит от шамбертена к кло-де-вужо, от кло-де-вужо к романе; потом, окончив странствие по Бургундии, спускается в веселую Шампань с ее пенящимся «Аи». Счастлив тот, кто после такого развеселого путешествия не путается до такой степени, что не в силах более отыскать своей постели! Генерал после подобного банкета воротился домой

хотя и в полном рассудке, но в таком беспомощном положении, что позабыл запереть окно, предоставив таким образом всем охотникам свободный доступ в свои апартаменты. Неправда ли, какая неосторожность? Заснул он, конечно, сном праведных; уж не знаю, что ему снилось, но, проснувшись, он очутился обобранным кругом как липка.

Кого угораздило так безжалостно отделать почтенного генерала? Нелегко было разузнать виновников преступления. Достоверно только то, что они были люди не робкого десятка; не довольствуясь тем, что кругом обокрали почтенного воина, они довели дерзость до того, что воспользовались документами маршала для надобности, вовсе не подходящей, доказав таким образом, что крепче его, пожалуй, никто не спит во всей Франции.

Мне очень любопытно было узнать, кто были дерзновенные, совершившие покражу с такими отягчающими вину обстоятельствами. За неимением определенных указаний, которыми я мог бы руководиться, я повиновался вдохновению, которое редко обманывало меня. Мне вдруг пришло в голову, что воры, забравшиеся к маршалу, весьма вероятно, имеют сношения с неким же-

стянщиком Перреном, на которого мне давно уже указывали как на смелого и верного укрывателя ворованных вещей. Я начал с того, что стал сторожить неподалеку от жилища Перрена, в улице Sonnerie; но по прошествии нескольких дней — так как мои наблюдения не имели никакого результата — я убедился, что необходимо прибегнуть к хитрости. Сам я не мог вступить в личные сношения с Перреном, так как он знал меня, но я подучил одного из своих агентов, на которого он не мог иметь никаких подозрений. Тот отправился к нему; стали толковать о том о сем, между прочим речь зашла о делах.

— Ну, нельзя похвалиться, — заметил Перрен, — дела неважные!

— Чего же вам еще нужно! — воскликнул агент. — Я думаю, наши молодцы, что побывали в отеле Валуа, не могут пожаловаться. Говорят, в одном парадном мундире было зашито банковых билетов тысяч на двадцать.

Перрен был настолько скуп и жаден, что это известие, во всяком случае, должно было взволновать его: если мундир в его руках, то он должен был почувствовать безумную радость, которую не в силах был бы скрыть; если же мундир прошел через его руки, то на его лице должно было

отразиться противоположное впечатление — я предвидел и то и другое. Глаза Перрена не просияли, улыбка не появилась на его губах, но лицо его вдруг изменилось; тщетно старался он скрыть свое смущение — досада его была так велика, что он затопал ногами и стал рвать на себе волосы.



— Боже мой, боже мой, надо же быть таким несчастным! — воскликнул он. — Счастье просто бежит от меня!

— Что с вами? Уж не купили ли вы мундир?..

— Ну да, купил, а потом перепродал.

— Знаете, по крайней мере, кому?

— Как не знать! Плавильщику в пассаже Фейдо, чтобы он выжег золотое шитье.

— Полноте, не отчаивайтесь; может быть, еще можно горю помочь, если он человек честный…

Перрен продолжал бесноваться:

— Шутка ли сказать! 25 тысяч франков! Ведь этого на полу не найдешь. И зачем это я так поспешил?

— Послушайтесь моего совета и возьмите назад шитье, пока оно еще не выплавлено. Если хотите, я беру на себя пойти к вашему приятелю и сказать ему, что вы желаете выкупить мундир, так как вам предлагают купить его для театральных костюмов. Я предложу ему маленький барыш — и дело в шляпе.

Перрен нашел этот план превосходным и принял его с энтузиазмом, а агент, спешивший услужить ему, прибежал уведомить меня обо всем случившемся. Заручившись надлежащим полномочием, я отправился к плавильщику;

шитье мундира было еще не тронуто; я поручил своему помощнику возвратить мундир Перрену, и в ту минуту, когда он, горя нетерпением поскорее овладеть билетами, схватил уже ножницы, чтобы пороть его, я появился в дверях в сопровождении комиссара... При обыске у Перрена нашли множество вещественных доказательств постыдной торговли, которою он занимался. Укрыватель, препровожденный в депо, был немедленно подвергнут допросу, но он дал весьма неопределенные показания, из которых довольно трудно было извлечь пользу.

После заключения его в Форс я посетил его и стал уговаривать не утаивать истины; но я мог добиться только нескольких примет и указаний — имена он упорно скрывал под предлогом, что никогда не знал их. Как бы то ни было, но немногие указания, которые он доставил мне, оказали мне некоторую помощь; основываясь на них, я добрался наконец до истины. 22 преступника были уличены и приговорены к ссылке на галеры; между ними находился один, участвовавший в краже у генерала Буше. Перрен был также осужден как укрыватель, но сделанные им разоблачения послужили смягчающими вину обстоятельствами. Вскоре после этого два других

укрывателя, братья Перро, в надежде расположить судей к снисходительности последовали примеру Перрена, не только сделав признания, но уговорив некоторых заключенных выдать своих сообщников. Пользуясь их указаниями, мне удалось предать в руки правосудия двух воров, снискавших большую известность, — Валентена и Ригади, прозванного Гриндези.

Никогда еще, может быть, в Париже не было такого множества искателей приключений и субъектов, занимавшихся воровской профессией, как во время Реставрации. Один из самых смелых и предприимчивых был некто Винтер из Сарлуи.

Винтеру было не более двадцати шести лет; он был из тех красивых брюнетов, которые нравятся женщинам: брови у него были дугой, ресницы длинные, нос орлиный, и ко всему этому — смелый, отважный вид. Винтер был мужчина стройный, высокого роста и походил по виду на офицера легкой кавалерии; поэтому он отдавал предпочтение военной форме, которая выказывала все преимущества его наружности. Сегодня он был гусаром, завтра уланом, в другой раз на нем был какой-нибудь фантастический мундир. Смотря по необходимости, он был то начальник эскадрона, то полковник генерального штаба, то,

наконец, адъютант и т. д. Он избирал преимущественно высшие чины и для пущей важности приписывал себе знатную родню; он попеременно выдавал себя то за сына храброго Лассаля, то за известного Винтера, полковника гренадеров императорской гвардии, то за племянника графа Лагранжа и двоюродного брата Рапа, — словом, он не стеснялся выдумками, и не было ни одной знатной фамилии, к которой он не принадлежал бы. Сын довольно состоятельных родителей, Винтер получил блестящее воспитание, дающее ему возможность мистифицировать честных людей; изящество его наружности и манер довершало иллюзию.

Немногим людям удавалось дебютировать так удачно, как Винтеру; вступивши с молодых лет в военную службу, он быстро пошел вперед, но, дойдя до офицерского чина, не замедлил лишиться уважения своего начальника; за дурное поведение он был сослан на остров Рео, в один из колониальных батальонов. На месте ссылки Винтер в течение известного времени вел себя настолько хорошо, что все стали верить в его исправление. Но едва успели произвести его в новый чин, как он снова стал пускаться на неблаговидные приключения; в конце концов он

принужден был дезертировать, чтобы избегнуть наказания. Тогда он явился в Париж, где в скором времени стяжал себе печальную славу отчаянного мошенника и первостатейного плута; он был поставлен под надзор полиции.

Винтер, пустившись в свою прибыльную карьеру, имел невероятный успех; многие члены высшего общества сделались жертвами его обмана; он посещал князей, герцогов, сыновей бывших сенаторов; на них-то и на дамах, с которыми они вели компанию втайне, он применял свои всесторонние таланты. В особенности дамы, как бы их ни предупреждали на его счет, упорно отказывались верить всему и позволяли грабить себя самым бессовестным образом. Несколько месяцев уже полиция была на поисках за этим соблазнительным юношей, который, постоянно переменяя одежду и местожительство, всегда выскальзывал в ту минуту, когда уже готовились схватить его; тогда, выбившись из сил, полиция поручила мне поймать его.

Винтер был один из тех бессовестных ловеласов, которые, обманывая женщин, всегда грабят их. Я сообразил, что в числе его жертв непременно найдется одна, которая из мести согласится навести меня на следы этого чудови-

ща. При помощи усердных поисков наконец мне показалось, что я напал на подходящий субъект; но так как покинутые Дидоны часто не расположены приносить в жертву своего коварного любовника, то я решился приступить к ней не иначе как с крайней осторожностью. Прежде нежели предпринимать что-нибудь, надо было исследовать грунт; поэтому я и не думал обнаруживать враждебные замыслы по отношению к Винтеру. Чтобы не испугать покинутую красавицу и не оскорбить ее нежных чувств, которые, несмотря ни на какие низкие проступки, не скоро изглаживаются из любящего сердца, я явился к бывшей любовнице мнимого полковника в виде полкового священника. Моя одежда, разговор, осанка и гримировка вполне гармонировали с моим званием, и я сразу завоевал доверие прелестной покинутой жертвы, которая сообщила мне все нужные сведения. Она дала мне адрес своей соперницы, которая, со своей стороны, уже успела испытать на себе дурное обращение Винтера, но, несмотря на это, продолжала видеться с ним и приносить новые жертвы.

Я познакомился и с этой очаровательницей и, чтобы снискать ее расположение, выдал себя за друга ее любовника; я рассказал, будто родители

молодого повесы поручили мне уплатить за него долги, и настоятельно просил ее устроить для меня свидание с ним, уверяя ее, что она сама может от этого только выиграть. Г-жа *** не прочь была поправить свои средства, потерпевшие некоторый ущерб за последнее время. Однажды утром она уведомила меня запиской, что в тот же день она будет обедать со своим любовником у Гальота, на бульваре Тампль. Переодетый в комиссионера, я с четырех часов стал караулить у дверей ресторана. Я простоял уже на своем посту часа два, как вдруг издали увидел гусарского полковника — это был Винтер в сопровождении двух лакеев. Приблизившись, я предложил держать лошадей; мои услуги были приняты. Винтер уже слез было с лошади, но, встретив мой взгляд, одним прыжком вскочил снова на лошадь, пришпорил ее и исчез с быстротою молнии. Я был почти уверен, что он в моих руках, и сильно огорчился неудачей, однако не потерял надежды. Несколько времени спустя меня предупредили, что он будет в такой-то день в Café Hardi на Итальянском бульваре; я поспешил туда с двумя агентами, и мы так ловко распорядились, что он ускользнуть не мог и должен был сесть со мной в извозчичью карету. Приведенный к полицей-

скому комиссару, он имел смелость утверждать, что он вовсе не Винтер; но, несмотря на его блестящий мундир и знаки отличия, сейчас же была блистательно доказана его тождественность с личностью, которую мне поручено было арестовать. Винтер был приговорен к тюремному заключению на восемь лет; теперь он уже давно высидел этот срок и был бы выпущен на волю, если бы не подделал фальшивого документа во время пребывания в Бисетре, за что снова был приговорен к галерам на лишних восемь лет. Он отправился в путь храбро, не унывая. Авантюрист этот обладал некоторым дарованием; ему приписывают много песен, весьма распространенных среди каторжников, которые считают его своим Анакреоном.

У Винтера было много сообщников и приятелей, рассеянных по всему Парижу; Тюильри был местом сборища этих блестящих франтов-мошенников, которые вводили в заблуждение публику, навешивая на себя ордена и знаки отличия. В глазах опытного наблюдателя Тюильрийский двор был наполнен приличными разбойниками. Туда стекалась толпа галерников, мошенников, карманников всевозможных сортов, которые выдавали себя за старинных приятелей по ору-

жию Шарета, Ларош-Жакелена, Стофле, Кадудаля и др. В дни военных смотров и приемов во дворец собирались все эти мнимые герои. В качестве главного агента охранительной полиции я счел нужным наблюдать за этими преданными роялистами.

Однажды в воскресенье я стоял на стороже с одним из своих помощников на площади Каруселя; как вдруг мы увидели выходящим из павильона Флоры подозреваемого господина, на которого обращено было всеобщее внимание; по меньшей мере это был сиятельный вельможа. Весь покрытый галунами и золотым шитьем, он отличался свежестью и блеском своих орденов и оружия… но в глазах опытного полисмена не все то золото, что блестит. Мой спутник заметил мне тотчас же, что он находит поразительное сходство между сановником и неким Шамбрелем, с которым он когда-то был товарищем в тулонских галерах. Я также имел случай встречаться с Шамбрелем; подойдя поближе и взглянув ему в лицо, я сейчас же признал бывшего каторжника — это был действительно сам Шамбрель, отъявленный мошенник, который приобрел известность среди каторжников своими частыми побегами. В первый раз он был осужден во время Итальянской

кампании. Он сопровождал армию в поход, имея в виду подделывать подписи поставщиков. У него был замечательный талант к такого рода занятию, но он слишком злоупотреблял им и навлек на себя наказание в виде тюремного заключения на три года. Шамбрель не имел терпения высидеть положенный срок. Он бежал в Париж и, чтоб иметь возможность существовать, пустил в обращение множество фальшивых билетов, которые фабриковал сам. Уличенный и на этот раз, он был сослан в Брест на 8 лет. Снова ему удалось бежать; но он никак не мог отстать от своей любимой привычки подделывать подписи и фабриковать фальшивые билеты, так что не замедлил снова попасть в тюрьму, где высидел еще лишних два года. Шамбрель еще находился в заключении, когда герцог Ангулемский проездом посетил город; он воспользовался случаем, чтобы подать на имя герцога прошение, в котором выдавал себя за бывшего вандейца, преданного слугу роялизма, который подвергался за это преследованиям. Шамбрель был немедленно выпущен на волю и, конечно, по-прежнему воспользовался своей свободой.

В то время, когда мы встретились с ним, он, по-видимому, вел роскошную жизнь, и можно

было заключить, что ему повезло счастие; мы проследили за ним некоторое время, и, когда последние сомнения исчезли, я подошел к нему и прямо объявил, что он мой пленник. Шамбрель думал запугать и смутить меня длинным перечнем разных титулов и званий, которыми он будто бы обладал. По его словам, он был ни более ни менее как директор дворцовой полиции, а я презренный негодяй, которого следует немедленно наказать за дерзость. Несмотря на угрозу, я настаивал на том, чтобы он сел со мной в наемную карету; он продолжал сопротивляться, и мы принуждены были употребить силу.

В присутствии самого г-на Анри, директора полиции, нахал нисколько не смутился; напротив, он принял еще более высокомерный тон, который сильно напугал чиновников префектуры — все опасались, уж не ошибся ли я сам. «Право, это просто ни на что не похоже! — кричал в негодовании Шамбрель. — Я требую блистательного удовлетворения и извинения за такую неслыханную дерзость. Я покажу вам, кто я такой, и вы посмотрите, можно ли со мной обращаться так, как обращаетесь вы». Я со страхом ожидал, что перед ним действительно поспешат извиниться, и тогда вся вина обрушится на меня. Хотя и не

сомневались в том, что Шамбрель — бывший каторжник, но опасались оскорбить в нем человека всесильного, осыпанного милостями при дворе. Но я с энергией настаивал на том, что он наглый обманщик, так что волей-неволей принуждены были произвести у него домашний обыск. Я должен был помогать полицейскому комиссару при исправлении его обязанности; Шамбрель должен был сам находиться при обыске. Доро́гой он шепнул мне на ухо: «Голубчик Видок, в моем бюро есть документы, которые необходимо спрятать; обещай мне сделать это, и ты не раскаешься впоследствии».

— Хорошо, обещаю, — ответил я.

— Ты найдешь их в таком-то ящике с двойным дном, секрет я тебе сейчас объясню. — И он действительно рассказал мне, как приняться за дело.

По его указаниям я вынул бумаги из тайника, но присоединил их к тем, которые служили основанием его ареста. Трудно найти мошенника, который довел бы свое искусство до такого совершенства; у него нашли массу дипломов, патентов, различных бумаг с отпечатанными штемпелями «Police du roi», подписями «Haras de France», приказов военного министра, поддель-

ную корреспонденцию, чтобы ловчее провести шпиона и подтвердить высокие звания, которые приписывал себе Шамбрель. Он якобы вел сношения с самыми высокопоставленными лицами; принцы, принцессы состояли с ним в переписке; но что покажется еще более странным — он имел сношения с префектом полиции, и письменный ответ его тут же был занесен в реестр, конечно ложный.

Обыск пролил такой яркий свет на все его низкие махинации и так блистательно подтвердил мои объяснения насчет Шамбреля, что он был отправлен в Форс в ожидании суда.

На судебном следствии его никак не могли убедить признаться в том, что он беглый каторжник; он действительно представил подлинные удостоверения в том, что не выезжал из Вандена со II года. Судьи на мгновение были в нерешимости — чьим словам верить: но я подтвердил свои уверения доказательствами до того вескими, что мой Шамбрель был приговорен к каторжным работам пожизненно и сослан в лорианские галеры, где не замедлил приняться снова за свое ремесло доносчика. Во время убиения герцога Беррийского Шамбрель в сообществе с другим мошенником, по прозванию Карет, уведомил

полицию, что он имеет сообщить ей нечто весьма важное по поводу этого ужасного преступления. Шамбреля хорошо знали и не поверили его доносу; но некоторые лица усомнились и поверили, будто действительно у Лувеля были сообщники, и потому потребовали, чтобы Карет был привезен в Париж; дело кончилось тем, что нового все-таки ничего не узнали.

1814 год был одним из самых замечательных во всей моей жизни, в особенности вследствие многочисленных арестов, сделанных мною один за другим. Некоторые из них сопровождались довольно оригинальными обстоятельствами; расскажу здесь один случай.

В течение трех лет полиции было известно, что в Париже совершаются одна за другой более или мене значительные покражи одним злоумышленником, замечательного роста и атлетического сложения. Человек этот был некто Саблен — необыкновенно искусный, смелый и предприимчивый вор; освобожденный на волю после продолжительного заключения, он снова принялся за свое ремесло, набравшись опыта в тюрьме. Самые чуткие полицейские гончие были направлены на поиски за Сабленом; но как они ни старались — он выскальзывал у них

из рук, и напасть на его следы не было никакой возможности. Все полисмены наконец утомились преследовать невидимку, и мне поручена была нелегкая задача изловить его, если только мне посчастливится более других. В течение пятнадцати месяцев я делал все, что мог, чтобы наконец встретить его; ловкий Саблен появлялся в Париже от времени до времени всего на несколько часов; едва успевал он выкинуть какую-нибудь скверную штуку, как уже скрывался бесследно — неизвестно даже, каким путем. Из всех полицейских один я еще знал Саблена в лицо, и поэтому он опасался меня более остальных агентов. Он был довольно зорок и так ловко избегал меня, что мне ни разу не случилось даже видеть его тень. Но я не легко терял терпение — настойчивость была из моих добродетелей; разузнав, что Саблен поселился на жительство в Сен-Клу и нанял там квартиру, я отправился туда на ночь. Приехав на место, промокши до костей, я даже не позаботился просушить свое платье и горел нетерпением проверить, справедливы ли полученные мною сведения о новом жильце очень высокого роста, который в сопровождении женщины недавно перебрался в дом мэрии.

Люди ростом в пять футов десять дюймов —

явление не совсем обыкновенное, даже среди патагонцев; я не сомневался в том, что мне верно указали местожительство Саблена. Было слишком поздно тотчас же идти туда, и я отложил свой визит до следующего дня, но, чтобы быть уверенным, что мой молодчик не выскользнет у меня из рук, я решился, несмотря на проливной дождь, провести ночь на стороже у его дверей. Я действительно продежурил на улице всю ночь с одним из своих агентов. Утром, на рассвете, кто-то отворил дверь; я тихонько проскользнул, с тем чтобы убедиться — не пора ли действовать. Но, пройдя несколько ступеней по лестнице, я вдруг остановился, услышав чьи-то шаги… Вниз сходила какая-то женщина, с бледным, истощенным лицом, на котором было написано страдание. Увидев меня, она пронзительно вскрикнула и вернулась наверх. Я последовал за ней в квартиру, от которой ключ был у нее. Я услыхал свое имя, произнесенное шепотом, с выражением ужаса: «Это Видок!»

В соседней комнате на кровати лежал мужчина: он поднял голову, и я узнал Саблена. Бросившись на него прежде, нежели он успел опомниться, я надел на него ручные кандалы.

Во время этой операции хозяйка упала на стул

и разразилась раздирающими душу стонами; она ломала руки, рвала на себе волосы и, казалось, страдала невыносимо.

— Скажите, пожалуйста, что с вашей женой? — спросил я у Саблена.

— Да разве вы не видите, что она родить собралась. Всю ночь была та же история; когда вы ее встретили, она шла к бабке.

В это время стоны и крики усилились: «Боже мой, боже мой, я умираю, нет сил… господа, сжальтесь надо мною. Господи, как я страдаю! Помогите, караул!»

Вскоре несчастная женщина не была даже в силах кричать — из груди ее вылетали отрывистые звуки. Надо быть каменным, чтобы не тронуться такими мучениями. Но что же делать? Очевидно, что бабка была бы далеко не лишней… но кто за ней пойдет? Вдвоем нас как раз достаточно, чтобы сторожить такого великана, как Саблен… Выйти самому мне не было возможности, — но не мог же я также решиться погубить женщину. Положение мое было критическое — я колебался между долгом и чувством сострадания. Внезапно мне пришло в голову историческое происшествие, рассказанное г-жой Жанлис; я вспомнил великого монарха, который исполнял при родах

Лавальер обязанность акушера. Отчего же бы и мне не последовать его примеру. Живей за дело. В одну минуту я сбросил с себя верхнее платье, и через полчаса мадам Саблен разрешилась от бремени прелестным сыном. Я запеленал малютку, совершив обряды, обычные при появлении в свет; когда все было окончено, любуясь на свою работу, я имел счастье убедиться, что мать и ребенок находятся в цветущем состоянии.

Оставалось исполнить еще одну формальность — занесение новорожденного в гражданский список. Мы охотно подписались свидетелями. «Ах, мосье Жюль, — обратилась ко мне роженица, — пока еще вы не ушли, окажите нам еще великую услугу».

— Что такое?

— Право, не смею даже выговорить.

— Не стесняйтесь, говорите, если только я могу…

— Видите ли, у нас нет крестного отца, не можете ли вы взять это на себя?

— С удовольствием. Где же крестная мать?

Мадам Саблен попросила нас позвать одну из своих соседок, и мы все вместе отправились в церковь для совершения обряда крещения, в сопровождении Саблена, которого я поставил в

невозможность бежать. Вся эта церемония стоила мне не менее пятидесяти франков, а между тем дело обошлось без обычных при крестинах конфет (драже).

Несмотря на свое глубокое огорчение, Саблен был так тронут моими благодеяниями, что осыпал меня выражениями своей благодарности.

После сытного завтрака, принесенного из трактира в комнату роженицы, я увез ее мужа в Париж, где он был приговорен к тюремному заключению на пятилетний срок. Сделавшись помощником привратника в Форсе, Саблен нашел возможность в этом новом звании жить с достатком, мало того, скопить себе за счет арестантов и посетителей тюрьмы маленькое состояньице, которое он намеревался разделить со своей супругой; но когда его освободили, оказалось, что моя любезная кума, мадам Саблен, которая имела обыкновение присваивать себе чужую собственность, сидела в заключении в Сен-Лазаре. Очутившись одиноким, без хозяйки, Саблен, как и многие другие, свихнулся окончательно. В один прекрасный вечер, забрав с собою все свое достояние — плод своей бережливости, он отправился в игорный дом и спустил все дочиста. Два дня спустя его нашли повесившимся в Булонском

лесу: он для этого избрал одно из деревьев так называемой Аллеи воров.

Немало труда мне стоило, как вы видели, предать Саблена в руки правосудия. Конечно, если бы все поиски сопровождались такими затруднениями, меня бы просто не хватило; но почти всегда гораздо легче было добиться успеха, часто даже до такой степени легко, что я сам приходил в изумление. Несколько дней спустя после моего приключения в Сен-Клу Себильот, виноторговец в улице Шарантон, № 145, подал жалобу, что его обокрали; согласно его заявлению, воры пробрались к нему в окно, вскарабкавшись по лестнице между седьмым и восьмым часом вечера, и похитили у него тысячу двести франков звонкой монетой, двое часов и шесть серебряных приборов. Ни снаружи, ни внутри не было заметно взлома. Словом, обстоятельства, сопровождавшие похищение, были до того странны и необъяснимы, что стали подозревать самого Себильота в обмане. Но после разговора, который я имел с ним, я убедился в истине его слов.

Себильот был человек зажиточный, дом его был полной чашей, поэтому я не видел никаких оснований подозревать его во лжи; однако покража была такого свойства, что могла быть

совершена разве кем-нибудь из домашних или хорошо знакомым с расположением дома. Я стал допрашивать Себильота, кто чаще всего посещал его заведение. Назвав мне несколько имен, он прибавил:

— Вот и все, больше никто и не приходил, кроме тех иностранцев, которые вылечили мою жену, — бедняжка была больна целых три года, а теперь, после их лекарства, как рукой сняло.

— Часто вы с ними виделись, с этими иностранцами?

— Они приходили сюда обедать и ужинать, а вот с тех пор, как жене лучше стало, их видно только изредка.

— Знаете ли вы их — этих людей? Может быть, они запримечили…

— Ах, милостивый государь, — воскликнула в негодовании мадам Себильот, участвовавшая в разговоре, — ради бога, не подозревайте их, они люди честные, у меня на это есть доказательства.

— О да, — подтвердил муж, — у нее есть доказательства — это верно. Расскажи-ка нам, знаешь, то…

Мадам Себильот начала свой рассказ:

— Да, господин Видок, они люди честные —

готова голову дать на отсечение. Словом, представьте себе, недели две тому назад, как раз после получения денег за квартиры, я была занята пересчитыванием их, как вдруг вошла одна из женщин, которые с ними обыкновенно ходят: это была та самая, которая мне дала лекарство и вылечила меня, не взяв за это ни копейки, уверяю вас. Конечно, я с радостью приняла ее, посадила возле себя, и, пока я раскладывала деньги по кучкам по сто франков, она заметила одну монету, на которой еще, знаете ли, изображен такой толстый старик, со шкурой звериной на плечах, как у дикого, и с палкой в руках… А, сказала она, много у вас таких монет?

— А вам зачем? — ответила я.

— Видите ли, это стоит сто четыре су. Сколько у вас их найдется, столько мой муж у вас и возьмет, отложите их только в сторону.

Я думала, что она шутит, но вечером я очень удивилась, когда она опять пришла с мужем; мы снова сосчитали наши деньги; между ними нашлось триста монет по сто су, которые они выбрали для себя, — я их уступила, и они отсчитали мне шестьдесят франков барыша. Вот вы и судите после этого, честные они люди или нет, — ведь они могли везде получить монеты без придачи

барыша.

Из слов мадам Себильот я мог составить себе понятие, с какого рода людьми она имела дело; мне нетрудно было догадаться, что виновниками покражи были не кто иные, как цыгане. Страсть к мене — отличительный признак их расы, и к тому же мадам Себильот, описав их наружность, окончательно подтвердила мои предположения. Заручившись такими драгоценными сведениями, я покинул обоих супругов и с этой минуты стал относиться подозрительно ко всем смуглым лицам. Тщательно отыскивая место, где бы мне удалось видеть побольше представителей этой расы, я наткнулся в одном трактире в улице Тампль, известном под названием «Maison Rustigue», на двух субъектов с оливковым цветом лица и странными ухватками; один вид их пробудил во мне воспоминания о моем пребывании в Мехельне. Подхожу к ним, и кого же вижу? Христиан с одним из его товарищей, также знакомым мне. Протянув руку Христиану, я приветствовал его, назвав Кароном. Он с удивлением разглядывал мои черты в продолжение нескольких минут и вдруг, озаренный давнишним воспоминанием, воскликнул, бросившись мне на шею с восторгом: «А, старый дружище — тебя ли я вижу!»

Мы так давно не виделись, что, встретившись снова, после первых приветствий осыпали друг друга разнообразными вопросами. Христиан полюбопытствовал узнать, почему я так внезапно уехал из Мехельна, не предупредив его; я выдумал какую-то сказку, которой он будто бы поверил.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, — правда ли это, нет ли, мне все равно — а главное дело, я опять нашел тебя. А другие-то! Вот рады будут увидеть тебя. Ты знаешь, ведь все они в Париже — Карон, Лангарин, Рюфлер, Мартен, Сиск, Мих, Литль, даже тетушка Лавио — и та с нами… и Бетш… Помнишь ведь маленькую Бетш…

— Ах, это жену-то твою?..

— Вот рада-то будет. Если завернешь сюда часов в шесть, то увидишь всю компанию в сборе. Мы назначили тут рандеву, чтобы идти всем вместе в театр. Надеюсь, ты не откажешься присоединиться к нам. Теперь уж конечно ты с нами, и мы больше не расстанемся. Ты еще не обедал?

— Нет еще.

— Ну и я также; пойдем вместе к «Капуцину»; тут недалеко, в двух шагах, на углу улицы Ангулем.

Трактир и кабак под карикатурной вывеской

францисканского монаха пользовался в это время предпочтением известного люда, в глазах которого количество имеет преимущество перед качеством; к тому же для людей, празднующих воскресные дни и даже понедельники, и для бонвиванов, гуляющих по целым неделям, весьма отрадно иметь такое место, где они могут получить сносный обед и, не оскорбляя никого, являться в разных видах, во всевозможных костюмах и во всех степенях опьянения.

Вот какие преимущества представлял «Капуцин» для известного рода публики, уже не считая громадной, всегда открытой табакерки, из которой всякий мог черпать по желанию. Было около четырех часов, когда мы поместились в этом пристанище свободы и наслаждения. До шести часов еще долго было ждать; мне ужасно хотелось поскорее вернуться в «Maison Rustique», где должны были собраться приятели Христиана. После обеда мы отправились туда; их было шестеро; подойдя к ним, Христиан заговорил на своеобразном языке. С первых слов меня окружили, осыпали приветствиями, каждый из них поочередно заключил меня в свои объятия, на всех лицах так и сияло неподдельное удовольствие.

— Сегодня обойдется и без театра! — в один

голос воскликнули цыгане.

— Ваша правда, ребята, — ответил Христиан, — успеем пойти и в другой раз, а теперь выпьем, ребята, выпьем.

— Выпьем! — дружно подхватили цыгане.

Вино и пунш лилось рекою. Я пил, ел, смеялся, но дела своего не забывал. Я зорко наблюдал за лицами, жестами, выражениями физиономий — ни одна мелочь не ускользнула от моего внимания.

Припомнив некоторые указания, доставленные мне четой Себильот, я пришел к убеждению, что не кто иной, как Христиан или его товарищи, — виновники воровства, заявленного в полиции. Втайне я от души радовался, что так кстати заглянул в трактир под вывеской «Maison Rustigue». Но недостаточно было только открыть виновных: я выждал, пока головы моих собеседников достаточно отуманились парами алкоголя, и когда у всей честной компании стало двоить в глазах, я впопыхах выбежал из трактира в театр Gaite и, вызвав дежурного офицера, уведомил его, что я в таком-то трактире в компании воров, и условился с ним, что через час, много через два, он велит арестовать всех нас гуртом, мужчин и женщин.

Исполнив это дело, я быстро вернулся в трактир. Мое непродолжительное отсутствие не было даже замечено, но в десять часов вечера дом был оцеплен; в зал вошел полицейский офицер с целою свитою жандармов и полисменов; каждого из нас связали отдельно и повлекли на гауптвахту. Там всех нас подвергли повальному обыску; Христиан, выдававший себя за Гирша, тщательно пытался скрыть серебро, украденное у честного Себильота, а его подруга, величавшая себя г-жой Вильмэн, не могла, несмотря на все свои старания, утаить при обыске двое золотых часов, упомянутых в заявлении; остальные члены компании также принуждены были выгрузить из карманов целую груду золотых и серебряных вещей, добытых тем же путем.

Мне очень любопытно было узнать, какие размышления вызвало это происшествие у моих старых товарищей; мне показалось, что я не внушаю им ни малейшего недоверия, и, действительно, я не ошибся; едва успели нас посадить в заключение, как они хором стали извиняться передо мной в том, что были невольной причиной моего ареста.

— Ты ведь не сердишься на нас, не правда ли? — обратился ко мне Христиан. — Ну какой черт мог

угадать, что случится? Ты хорошо сделал, сказав, что не знаешь нас, будь покоен, мы покажем то же самое. Ведь у тебя не нашли ничего компрометирующего, и ты можешь быть совершенно уверен, что долго тебя не задержат. — Христиан посоветовал мне не обнаруживать его настоящего имени и имени его товарищей. — Впрочем, — прибавил он, — этот совет совершенно излишний, ты не менее нас самих заинтересован в том, чтобы соблюсти тайну.

Я предложил цыганам свои услуги, как только буду выпущен на свободу; в надежде, что это не замедлит случиться, они сообщили мне свои адреса с просьбой при первой возможности предупредить их сообщников. Около полуночи комиссар освободил меня под предлогом подвергнуть допросу, и мы тотчас же отправились на рынок Ленуар, где проживала пресловутая «герцогиня» и трое других приятелей Христиана. После обыска, доставившего нам достаточные доказательства их виновности, мы арестовали всех четверых.

Шайка цыган состояла из двенадцати человек: шести мужчин и шести женщин; все они были приговорены кто к заключению, кто к каторге. Виноторговец из улицы Шарантон получил

обратно свои золотые вещи, свое серебро и бóльшую часть своих денег. Мадам Себильот была вне себя от счастья. Лекарство, которое дали ей цыгане, поправило отчасти ее слабое здоровье, но известие о находке мужниных денег вылечило ее окончательно. Приобретенный ею опыт, по всей вероятности, не прошел даром, не раз приходилось ей вспоминать в жизни, что когда-то она чуть-чуть было не попалась, променяв пятифранковые монеты с барышом, — «пуганая ворона — как говорит пословица — куста боится».

Моя встреча с цыганами была необыкновенно счастливой случайностью, но в течение моей восемнадцатилетней службы при полиции мне не раз случалось встречаться и сближаться с лицами, с которыми имел сношения в своей бурной молодости. Не могу при этом не рассказать об одном довольно забавном случае по поводу нелепого заявления в полицию, какие мне приходилось выслушивать чуть ли не каждый день.

Однажды утром, когда был занят составлением отчета, мне доложили, что дама, очень элегантно одетая, желает меня видеть, как она говорит, по очень важному делу. Я велел попросить ее войти. Входит.

— Прошу извинения, что беспокою вас; так это вы господин Видок, с ним я имею честь говорить?

— Так точно, сударыня. Чем могу служить вам?

— О, многим, мосье Видок. Вы можете возвратить мне сон и аппетит… Я не смыкаю глаз и не ем ни крошки… Боже мой, какое несчастье иметь чувствительное сердце!.. Ах, как мне жаль людей с нежными чувствами; уверяю вас, это печальный дар Божий… Он был так мил, так хорошо воспитан… Если бы вы знали его, то не могли бы не полюбить его… Бедный *мальчик*!..

— Но, сударыня, объяснитесь, бога ради, мое время дорого…

— Ах, он был моим единственным утешением…

— Да в чем же, наконец, дело, смею спросить?

— Право, нет сил объяснять вам на словах. — Порывшись в своем саквояже, она вынула оттуда печатный листок и подала мне. — Прочтите-ка лучше сами.

— Что же вы мне даете? Ведь это уличные афиши!.. Наверное, вы ошиблись.

— Ах, когда бы так, я больше ничего не желала бы. Прошу вас, обратите внимание на № 32740, я так огорчена, что не могу сказать более ни

слова… — Из глаз моей посетительницы льются обильные слезы, слова замирают на ее устах, грудь волнуется от рыданий, она задыхается. — Боже мой, я не могу дышать… я чувствую что-то ужасное… Ай, ай… а… а… а…

Я предложил ей стул и, пока она предавалась своей горести, отыскал № 32740 под рубрикой утерянных вещей и прочел (страничка была орошена слезами): «Маленькая комнатная собачка, длинная, шелковистая шерсть серебристого цвета, уши, ниспадающие до земли, над глазами запалины; физиономия необыкновенно смышленая, она очень ласкова в обращении, кушает только птичье мясо и слушается клички: „Мальчик, Мальчик“, произнесенной ласковым голосом. Хозяйка собачки в отчаянии. Пятьдесят франков вознаграждения тому, кто доставит ее в улицу Тюренн, № 23».

— Итак, сударыня, что же вам угодно, чтобы я сделал для вашего «мальчика»? Собаки не входят в круг моих действий. Я вполне верю, что ваш пес был совершенством во всех отношениях…

— Ах да, совершенством, именно совершенством! — вздохнула дама тоном, раздирающим душу. — А как умен-то!.. Такого и не найти, а от меня не отходил ни на шаг… Бедный милый

мальчик!.. Поверите ли вы, во время молитвы и богослужения он казался таким набожным и смиренным, как я сама. В прошедшее воскресенье мы вместе отправились к обедне, я держала его под рукой. Только знаете, перед тем как войти в церковь, я спустила его с рук для известной надобности, а сама отошла шага на два, чтобы не мешать ему; когда я оглянулась через минуту… о ужас!.. Мальчика уже не было… Я стала звать его… напрасно. Я пропустила начало обедни и побежала за ним. Судите же о моей горести — я не могла отыскать его. Поэтому-то я и пришла к вам с покорнейшей просьбой послать разыскать его. Я заплачу все, что угодно; но бога ради, чтобы с ним обращались понежнее. Я отвечаю в том, что он невинен.

— Право, сударыня, невинен он или нет, до этого мне нет никакого дела; ваше заявление вовсе к нам не относится; если бы нам приходилось заниматься собаками, кошками, птицами и т. д., то мы никогда бы и не кончили своих дел.

— Хорошо же, сударь, если вы так относитесь к моей просьбе, то я обращусь к его святейшеству. Неужели же нельзя сделать любезность для благонамеренных людей? Знаете ли, что я принадлежу к конгрегации и что…

— Хоть бы самому черту принадлежали вы, и то мне все равно! — воскликнул я, но далее продолжать не мог: внимательно посмотрев на мою собеседницу, я поразился особенности ее фигуры, которую вначале я не заметил. Это открытие заставило меня расхохотаться так громко и искренно, что моя собеседница остолбенела.

— Неправда ли, я очень смешна, неправда ли? — воскликнула она. — Смейтесь, милостивый государь, если вам так весело!

— Извините меня, сударыня, — сказал я, когда моя шумная веселость стала немного утихать, — сначала я не знал, с кем имею дело, теперь я знаю, о чем нужно говорить с вами… Итак, вы очень печалитесь о потере «мальчика»?

— Ах, я, кажется, не переживу своего несчастия!..

— Так вы никогда не испытали более тяжкой потери — потери, например, близкого лица?

— Никогда, мосье Видок.

— А между тем у вас был же муж, сыновья, дочери, любовники…

— Милостивый государь, вы забываетесь!.. Как вы осмелились…

— Да, мадам Дюфло, у вас были любовники, у вас они были. Вспомните одну ночь в Версале…

При этих словах она внимательнее осмотрела меня, побагровела и, вскрикнув «Эжен!», выбежала из комнаты.

Мадам Дюфло была та самая модистка, у которой я состоял некоторое время приказчиком, когда бежал в Париж, чтобы избегнуть преследований аррасской полиции. Странная была женщина эта мадам Дюфло: голова у нее была великолепная — гордый взгляд, брови дугой, чело величественное; довольно большой рот ее с приподнятыми кверху уголками был украшен зубами ослепительной белизны; черные как смоль волосы, орлиный нос и маленькие усики на верхней губе придавали ее физиономии нечто величественное. Одна беда — спереди и сзади у нее красовались два больших горба, красивая голова совсем ушла в плечи, и вся фигура напоминала Полишинеля. Когда я встретил ее в первый раз, ей было около сорока лет; одевалась она всегда очень изящно и франтовски и имела притязание на царственную осанку, но с высоты своего высокого стула, с коленками, высоко упирающимися в конторку, она больше походила на божка какой-нибудь индийской пагоды, нежели на царицу Семирамиду.

Увидев ее, важно восседающую на своем троне,

я с трудом удержался от смеха; однако, чтобы не нарушить подобающей случаю торжественности, овладел собою и скрыл свое веселое настроение под видом глубочайшего уважения. Мадам Дюфло вынула из-за пояса громадный лорнет и, надев его на нос, стала пристально разглядывать меня с ног до головы.

— Что вы желаете, милостивый государь? — спросила она.

Я приготовился отвечать, но меня перебил приказчик, взявший на себя рекомендовать меня, и сообщил ей, что я тот самый молодой человек, о котором он говорил ей. Она снова окинула меня взглядом и спросила, знаком ли я с торговыми делами. Я молчал, так как на деле ничего не смыслил в коммерции. Она повторила свой вопрос тоном нетерпения, и я принужден был объясниться.

— Сударыня, — сказал я, — дело это совершенно для меня новое, но с терпением и старанием надеюсь, что мне удастся угодить вам, в особенности если вы будете так добры помочь мне вашими советами.

Ответ понравился ей.

— Вы мне нравитесь, — сказала она, — люблю откровенность; итак, решено, я принимаю вас,

вы замените Теодора.

— Я к вашим услугам, сударыня, когда вам будет угодно.

— В таком случае я вас оставляю у себя с сегодняшнего дня. Я беру вас на испытание.

Мое водворение на новом месте состоялось тотчас же. В качестве младшего приказчика мне приходилось постоянно переходить из магазина в рабочую, где сидели за шитьем разных женских нарядов до двадцати молоденьких девушек, одна лучше другой. Очутившись среди такого роскошного букета юных красавиц, я вообразил себя в серале и, бросая страстные взоры то на блондинку, то на брюнетку, приготовлялся бросить платок. Но вдруг на четвертый день моей службы мадам Дюфло, которая, вероятно, заметила наши перемигиванья, позвала меня в свой кабинет. «Мосье Эжен, — сказала она строгим голосом, — я очень недовольна вами; не успели вы пожить у меня несколько дней, как уже питаете преступные замыслы на моих барышень. Предупреждаю вас, что мне это крайне, крайне неудобно».

Сконфуженный этим заслуженным упреком и ломая себе голову, как она могла угадать мои намерения, я ответил ей несколькими уклончивыми извинениями. «Полноте, не оправды-

вайтесь, — возразила она, — я знаю, что в ваши года вы никак не можете обойтись без сердечной склонности; но эти барышни не подходят вам ни в каком отношении. Они слишком молоды — это первое, и потом, у них нет никаких средств. Для молодого человека необходимо иметь кого-нибудь постарше, с известными средствами, чтобы удовлетворять его потребностям».

Во время этого наставления мадам Дюфло, небрежно развалившись на кушетке, закатывала глаза самым отчаянным образом. К счастью, появилась горничная и объявила ей, что ее спрашивают в магазине.

Тем и кончился этот разговор, доказавший мне необходимость отныне быть осторожнее. Не отказавшись от своих преступных планов, я делал вид, что не обращаю ни малейшего внимания на миленьких модисточек, и мне удалось провести зоркую наблюдательность строгой хозяйки. Она наблюдала за малейшим моим словом, жестом и взглядом, но заметила только одно — быстроту моих успехов. Я был в ученье не более месяца, а уже умел с ловкостью опытного приказчика продать шаль, франтовское платье или шляпку. Мадам Дюфло была в восторге, она даже объявила мне, что если я буду продолжать следовать ее

советам, то она надеется сделать из меня настоящего делового человека.

— Бога ради, только без фамильярностей с моими девицами, слышите ли, мосье Эжен? И потом — еще одно замечание — пожалуйста, не относитесь небрежно к своему туалету; это так мило — мужчина, тщательно одетый! Впрочем, предоставьте это мне, отныне я буду заботиться о вашем платье, и посмотрите, какого я из вас сделаю амурчика.

Я поблагодарил свою добрую хозяйку за ее попечения, но, опасаясь ее причудливого вкуса, сказал ей, что такое превращенье будет невозможно и что поэтому ее труды будут излишними, но что я всегда с готовностью буду следовать всем ее добрым советам.

Несколько времени спустя (это было дня за четыре до праздника св. Луи) мадам Дюфло объявила мне, что она намерена, по обыкновению, отправиться на ярмарку в Версаль с частью своих товаров и что я должен сопровождать ее в этой экскурсии. На следующий день мы пустились в путь и по прошествии сорока восьми часов уже расположились на ярмарочном поле. В лавке мы оставили слугу сторожить на ночь наши товары, а сами поместились в постоялом дворе. Моя хо-

зяйка потребовала две комнаты, но вследствие большого стечения иностранцев на ярмарку нам могли отвести всего одну комнату; нечего делать, пришлось покориться своей участи. Вечером мадам Дюфло велела принести большую ширму и разгородила комнату надвое, так что у каждого из нас был свой уголок. Перед сном хозяйка читала мне наставления в продолжение целого часа. Наконец настало время идти спать; я пожелал ей покойной ночи и через две минуты был уже в постели. Вскоре из-за ширм послышались глубокие вздохи, я объяснил их усталостью моей хозяйки: ведь шутка ли, целый день приходилось устраиваться и хлопотать! Я потушил свечу и уснул сном праведным. Вдруг спросонья мне послышалось, что кто-то тихо произносит мое имя: «Эжен»... Это мадам Дюфло, это ее голос. Я не отвечаю. «Эжен, — снова взывает она, — хорошо вы заперли дверь?»

— Да, сударыня.

— Мне кажется, вы ошибаетесь, посмотрите еще раз, прошу вас, и в особенности хорошенько задвиньте засов; в этих постоялых дворах мало ли что может случиться. Никогда не лишне принять предосторожности.

Я повиновался и, уверившись, что всё в порядке,

снова лег в постель. Едва успел я повернуться на левый бок, как моя барыня снова начинает ныть и жаловаться. «Какая отвратительная постель! Я вся изъедена клопами, нет никакой возможности сомкнуть глаз. А вы, Эжен, не страдаете от этих невыносимых животных?» Я притворяюсь спящим, она продолжает: «Эжен, да отвечайте же: есть у вас клопы?»

— Право, сударыня, до сих пор я не чувствовал…

— Ну, счастливы же вы, поздравляю вас, а меня так и грызут эти чудовища, я вся покрыта волдырями, да какими… ну если это продолжится, я не сомкну глаз во всю ночь.

Я молчал, но мадам Дюфло, выведенная из себя невыносимыми страданиями и не зная, что делать, стала кричать во все горло: «Эжен, Эжен, да встаньте же ради Создателя, ступайте к трактирщику и принесите свечу; должна же я наконец прогнать этих отвратительных чудовищ! Поскорей, друг мой, я как в огне горю».

Я сошел вниз и вернулся с зажженной свечой, которую поставил на ночном столике около постели моей барыни. Я был, само собой разумеется, в полнейшем дезабилье и поэтому поспешил удалиться, отчасти чтобы пощадить целомудрие

мадам Дюфло, отчасти чтобы самому не поддаться соблазну обнаженных прелестей моей хозяйки. Но едва успел я скрыться за ширмами, как мадам Дюфло закричала благим матом:

— Боже мой, какой ужас, — это просто чудовище! Какая необыкновенная величина, право, я не в силах буду убить его; какая быстрота… как скоро он бежит! Эжен, подите-ка сюда, прошу вас!..

Отступить не было никакой возможности; как современный Тезей, я рискнул подойти к постели.

— Где он, этот Минотавр? — сказал я. — Давайте-ка я лишу его жизни.

— Умоляю вас, мосье Эжен, — не шутите в такую минуту… Вот, вот он опять, видите — под подушкой? Теперь здесь… Удивительная быстрота, он как будто предчувствует, какая участь его ожидает.

Я тщетно старался увидеть хотя тень ужасного животного. Я искал повсюду, куда он мог только забраться; что я только не делал, чтобы отыскать его, — напрасный труд. Сон овладел нами во время этого занятия; пробудившись и вспомнивши о прошедшем, я должен был, к прискорбию моему, сознаться, что если мадам Дюфло была счастливее супруги Пентефрия, то я, напротив, далеко не

обладал добродетелью Иосифа.

С этого времени мне поручено было каждую ночь наблюдать за тем, чтобы барыню не беспокоили эти ужасные клопы. Зато моя дневная работа сделалась значительно легче. Меня окружили заботами, попечениями, маленькими подарками и лакомствами; меня одевали, обували, кормили и поили на счет казны, я пользовался щедрыми милостями самой принцессы. К несчастью, принцесса страшно ревновала меня и поступала со мной деспотически. Во многих отношениях мадам Дюфло не прочь была потешать меня сколько душе угодно, но, с другой стороны, она приходила в ярость, как только я бросал взгляд на другую женщину. Наконец, выведенный из себя этой невыносимой тиранией, в один прекрасный вечер я объявил ей, что решился освободиться из-под ее власти.

— А, так вот как! — воскликнула она. — Вы хотите бросить меня, посмотрим! — И, схватив нож, она бросилась на меня, чтобы пронзить мне сердце. Я остановил ее руку и успокоил ее гнев, обещав остаться с условием, что она будет благоразумнее. Она обещала, но на другой же день зеленые шторы были повешены на стеклянных дверях комнаты, где я обыкновенно сидел с тех

пор, как исключительно занимался бухгалтерией по желанию моей хозяйки. Такая мера была мне тем более неприятна, что с этих пор не было никакой возможности наблюдать за прелестным населением рабочего ателье. Наконец мое заключение сделалось до такой степени тяжелым, что все заметили слабость, которую питала ко мне сама барыня. Девицы ее магазина, которые не прочь были посердить ее, являлись ко мне ежеминутно то под тем, то под другим предлогом; бедная мадам Дюфло испытывала несказанные мучения… Ежечасно, ежеминутно я должен был выслушивать выговоры, с утра до вечера у нас были бесконечные сцены. Наконец я не в силах был выносить эту адскую жизнь. Чтобы избегнуть скандала, который был бы весьма опасен в моем положении (я был беглый каторжник), я тайно взял место в дилижансе и бежал. Мог ли я подозревать в то время, что лет через двадцать мне случится встретить в бюро полиции маленькую горбунью улицы Сен-Мартен. Недаром говорит пословица: «только гора с горой не сходятся»…

Глава сороковая

Как опасно разговаривать ночью. – Убийство и следствие. – Каин. – Арест двух супругов. – Преступник. – Шинок. – Запретные песни. – Исповедь. – Сомнамбулическая сцена и упорное запирательство. – Очная ставка двух друзей-разбойников. – Ужин под замком. – Отъезд из Парижа

В течение четырех месяцев по дорогам близ столицы совершено было множество преступлений вооруженной рукой, но виновников не могли найти; напрасно полиция следила за некоторыми личностями, пользовавшимися дурной репутацией; все поиски были тщетны, как вдруг новое преступление, сопровождаемое странными обстоятельствами, дало данные, по которым можно было надеяться напасть на след преступников. Некто Фонтен, мясник, поселившийся в Куртиле, отправился на ярмарку в округ Корбейль. С мешком, заключавшим в себе пятьсот франков, он шел пешком мимо Кур-де-Франс и приближался к Эсонну, когда в очень близком расстоянии от

гостиницы, куда заходил поесть, он встретил двух человек, довольно опрятно одетых. Солнце склонялось к закату, и Фонтен не прочь был идти в компании; потому подошел к незнакомцам и заговорил с ними.

— Добрый вечер, господа! — начал он.

— Добрый вечер, приятель, — отвечали ему.

Разговор завязался.

— Вот как, — заметил мясник, — уж и ночь на дворе.

— Что делать? Такое время года.

— Так-то оно так, да только мне остается еще сделать порядочный конец.

— А куда вы направляетесь, если не будет нескромностью?

— Куда? Да в Милли, покупать быков.

— В таком случае, если позволите, мы пойдем вместе; мы сами идем в Корбейль, и это как раз по дороге.

— Правда, — сказал мясник, — совсем кстати, и я рад воспользоваться вашей компанией: знаете, когда есть с собой деньги, то больше всего боишься остаться один.

— А! С вами деньги!

— Еще бы, и даже порядочный куш.

— У нас тоже есть деньги, но, кажется, в Кан-

тоне бояться нечего.

— Вы думаете?.. Впрочем, у меня есть чем и обороняться, — добавил он, показывая на палку. — И притом, как мы вместе, то воры, знаете ли, пожалуй, и попризадумаются.

— Они не тронут.

— Я думаю, черт возьми, не посмеют.

Беседуя таким образом, трио прибыло к дверям какого-то домишки, у которого ветка можжевельника означала, что это кабак. Фонтен предложил спутникам распить с ним бутылку. Вошли, спросили божанси, восемь су литр. Уселись. Дешевизна, представившийся случай угоститься, равно как и легкость напитка, заставляют гостей повторить и повторить порцию. Невольно пришлось засидеться, и каждый готов был заплатить свою долю. Прошло три четверти часа, и когда вздумали подняться с места, Фонтен оказался более чем навеселе. В таком положении кто способен сохранять благоразумную предосторожность?

Добрый мясник искренне рад, что нашел хороших собутыльников; сознавая, что нет ничего лучше, как иметь их провожатыми, он вполне отдается в их распоряжение; и вот все направились по проселочной дороге. Фонтен шел впереди с одним из незнакомцев; другой следовал за ними.

Было так темно, что в четырех шагах едва можно было различать предметы, но у преступленья рысьи глаза и наигустейший мрак ему нипочем. Спутник, шедший позади Фонтена, ничего не подозревавшего, вдруг хватил его по голове дубиной так, что тот пошатнулся. Изумленный мясник хочет обернуться, но другой удар опрокидывает его; в ту же минуту второй разбойник, вооруженный ножом, устремляется на него и бьет его до тех пор, пока не убедился, что он мертв. Несмотря на долгое сопротивление, Фонтен был уложен наповал. Убийцы взяли его мешок, вынули всё и ушли, оставя его плавающим в крови.

В это время шел путник и услыхал стоны: свежий воздух возвратил Фонтена к жизни. Путник подошел, оказал несчастному первую помощь и побежал к окрестным жителям. Тотчас же донесли магистрату Корбейля; королевский прокурор прибыл на место преступления, сделал допрос свидетелю и разведал все мельчайшие обстоятельства; двадцать восемь более или менее глубоких ран свидетельствовали, как преступники страшились, чтобы их жертва не ожила. Но мясник мог еще произнести несколько слов; хотя слабость не дала ему возможности раскрыть все необходимое для хода правосудия. Его перенесли

в госпиталь, где через два дня значительное улучшение здоровья подало надежду к возвращению жизни.

Тело было поднято со всевозможной предусмотрительностью, ничто не было упущено из виду, что могло бы послужить раскрытию убийц: следы шагов были сняты, пуговицы, окровавленные клочки бумаги тщательно собраны; на одном из клочков, послуживших, по-видимому, для обтиранья лезвия ножа, найденного невдалеке, заметны были буквы…

Они были без связи и, следовательно, не могли служить приметами, из которых было бы легко извлечь пользу. Но так как королевский прокурор придавал большое значение разъяснению этих знаков, то место, где был поднят Фонтен, было снова обыскано и найден в траве другой клочок бумаги, по-видимому разорванный адрес. После тщательного осмотра разобрали слова:

Г-ну *Рау*
виноторговцу зас
Роше
Кли

Этот клочок, как видно, был оторван от печатного листа; но что это был за листок, невозможно

было дознаться. Как бы то ни было, так как в подобных обстоятельствах нет малейшей подробности, которую не было бы полезно изучить в ожидании более точных данных, то приняли к сведению все, что могло способствовать производству следствия.

Судьи, собиравшие эти первые данные, достойны всякой похвалы за свое усердие и искусство. Исполнивши первую часть задачи, они поспешили в Париж, чтобы сговориться с судебной и административной властью. По их просьбе меня тотчас же присоединили к ним, и, запасшись составленным ими протоколом, я отправился на поиски убийц. Жертва преступления рассказала их приметы; но можно ли было полагаться на сведения из подобного источника? Немногие из людей могут иметь при большой опасности присутствие духа, чтобы хорошо все видеть; а на свидетельство Фонтена тем менее можно было полагаться, что оно отличалось точностью. Он рассказывал, что во время борьбы, довольно долгой, один из нападавших вдруг, упавши на колени, испустил болезненный крик и тогда же сказал своему сообщнику, что чувствует сильную боль. Другие его показания казались мне необыкновенными при том состоянии, в котором

он находился; мне трудно было представить себе, чтобы он сам был в них уверен. Несмотря на то, я намеревался извлечь из них возможную пользу; но прежде необходимо было принять в руководство более положительную точку отправления. По моему мнению, надо было начать с разъяснения загадочного адреса; я стал ломать голову и без особенных усилий пришел к убеждению, что, за исключением имени, адрес можно было восстановить так: «Господину виноторговцу, застава Рошешуар, шоссе Клиньянкур». Было очевидно, что убийцы находились в сношениях с виноторговцем той местности, может быть, даже сам виноторговец был одним из убийц. Я принял все меры, чтобы скорее узнать истину, и еще до вечера уверился, что не ошибался, подозревая несколько Рауля. Эта личность была мне известна не с особенно хорошей стороны; он считался одним из самых неустрашимых контрабандистов на таможенной линии, и содержимый им кабак служил сборищем всевозможных негодяев, справлявших там свои оргии; кроме того, жена его была сестрою освобожденного каторжника, а сам он вел дружбу с людьми, про которых ходила дурная слава. Словом, репутация его была отвратительна, и когда совершалось в той мест-

ности какое-либо преступление, хотя он в нем и не участвовал, но ему справедливо можно было сказать: «Если это не ты, то твой брат или кто-нибудь из твоих же».

Рауль некоторым образом постоянно находился в подозрении или за себя, или за своих окружающих. Я учредил надзор вокруг кабака и велел полицейским не упускать никого, кто в него войдет, чтобы увидеть, не будет ли в числе посетителей кого-нибудь раненного в коленку. Пока отряженные мною находились у поста наблюдения, мои собственные справки доставили мне сведение, что Рауль постоянно принимал у себя двух субъектов подозрительной наружности, с которыми вел тесную дружбу. Соседи утверждали, что всегда видели их вместе, что они часто отлучались и, без сомнения, главная их торговля была контрабандная.

Один виноторговец, который поблизости мог легче наблюдать все, что делалось в жилище Рауля, сообщил, что собрат его часто отправлялся в сумерках и возвращался только уже на другой день, обыкновенно усталый донельзя и загрязненный по пояс. Мне рассказывали еще, что у Рауля в саду была устроена цель и что он упражнялся в стрельбе из пистолета. Таковы

были сведения, получаемые со всех сторон.

В то же время полицейские донесли, что видели у Рауля человека, которого можно было заподозрить в означенном убийстве; хотя он не хромал, но ходил с трудом, и костюм его вполне сходен был с тем, который описал Фонтен; они добавляли, что человек этот часто являлся в сопровождении жены и что оба супруга находились в тесной дружбе с Раулем. Жили они, как можно было догадаться, в первом этаже в улице Кокенар. Чтобы не возбудить подозрений относительно розысков, которые должны были производиться наивозможно секретно, мы нашли нужным не входить в дальнейшие расспросы.

Это донесение подтверждало мои догадки; я тотчас же решил стать на страже в окрестностях означенного дома и еще до рассвета уже находился в улице Кокенар. Я простоял там до четырех часов пополудни и поистине уже начинал терять терпение, когда полицейские показали мне личность, черты и имя которой тотчас же пришли мне на память. «Это он», — сказали они.

Действительно, только взглянувши на так называемого г-на Курта, я, основываясь на предыдущем, пришел к заключению, что он был одним из отыскиваемых мною убийц. Его нравствен-

ные правила весьма подозрительного свойства навлекали ему во многих случаях страшные неприятности; он выдержал шестимесячное тюремное заключение и был задержан по обвинению в контрабанде с оружием в руках. Это была одна из тех развратных личностей, которые, подобно Каину, носят на челе печать смерти. Не будучи пророком, можно было смело предсказать, что ему предназначено попасть на эшафот. Одно из предчувствий, никогда меня не обманывавших, говорило мне, что опасная карьера, на которую толкнула его судьба, приближалась к своему концу. Но, не желая действовать с излишней поспешностью, я сделал справку насчет его средств к жизни; оказалось, что средств никаких не было; всем было известно, что у него ничего не было и что вместе с тем он не работал. Соседи, к которым я обратился, единодушно заявили, что жизнь он вел весьма неправильную, что вообще Курт, равно как и Рауль, были настоящими разбойниками и их стоило приговорить на работы в рудниках. Что касается до меня, имевшего основание считать их отъявленными злодеями, то виновность их была для меня несомненна, поэтому я поспешил выхлопотать приказ на право их задержания.

Приказ был дан, и на следующий же день, до восхода солнца, я появился у дверей Курта. Войдя в сени, я постучал.

— Кто там? — спросили изнутри.

— Отвори, это Рауль. — Я старался подделаться под голос последнего.

Он поспешно отворил, спрашивая:

— Есть что-нибудь нового?

— Да, да, — ответил я, — есть новое.

Не успел я произнести эти слова, как при свете сумерек он увидел, что его обманули.

— Ах! — вскричал он в невольном ужасе. — Это господин Жюль! — (Так звали меня проститутки и воры.)

— Господин Жюль! — повторила жена его еще с большим отчаянием.

— А что ж такое? — сказал я супругам, огорченным моим ранним приходом. — Или вы боитесь? Не так страшен черт, как его малюют.

— Правда, — заметил муж, — господин Жюль — человек добрый; он уже не раз засаживал меня, но я все-таки не в претензии на него за это.

— Я думаю, — возразил я, — моя ли вина, что ты занимаешься беспошлинной продажей (контрабандой)!

— Контрабанда! — возразил Курт тоном че-

ловека, внезапно облегченного от большой тяжести. — Контрабанда! Ах, господин Жюль, вы хорошо знаете, если бы так было, то я не скрыл бы от вас; притом в вашей воле сделать обыск.

Пока он все более и более успокаивался, я принялся обыскивать дом и нашел два заряженных пистолета, ножи, платья, только что вымытые, и некоторые другие вещи, которые я забрал.

Оставалось довершить розыск: если засадить мужа без жены, то, без сомнения, она предупредила бы Рауля обо всем случившемся. Я отправил обоих на гауптвахту крепости Каде. Курт, которого я велел связать, сделался мрачен и задумчив; принятые мною предосторожности опечалили его; жену его, по-видимому, тоже преследовали страшные мысли. Они пришли в ужас, когда на гауптвахте я отдал приказание их разлучить и не терять из виду. Я велел снабжать их всем необходимым, но они не чувствовали ни голода, ни жажды. Когда обращались к Курту с подобными предложениями, он отвечал только отрицательным покачиванием головы; восемнадцать часов провел он, не проронивши ни слова, с тупым взглядом и неподвижной физиономией. Это бесчувствие было явным признаком его виновности: в подобных случаях я почти всегда замечал две

крайности — мертвое молчание или невыносимую болтливость.

Пока преступная чета находилась под крепким надзором, оставалось захватить Рауля. Я направился к нему, но не застал его дома. Мальчик, стерегший лавку, сказал, что он ночевал в Париже, но так как это было воскресенье, то должен был рано вернуться.

Это отсутствие было непредвиденным препятствием; я боялся, чтобы до возвращения он не вздумал повидаться со своим другом, в таком случае он узнал бы о его аресте и, по всей вероятности, принял бы меры ускользнуть от меня. Я даже со страхом предполагал, что он мог нас видеть проходившими через улицу Кокенар, и мои опасения удвоились, когда мальчик сказал, что хозяин его в городе имел постоянную квартиру в предместье Монмартр. Мальчик никогда там не был и не мог указать мне ее; но предполагал, что это было недалеко от крепости Каде; каждое из его показаний подтверждало мои опасения; Рауль мог опоздать именно потому, что заподозрил что-нибудь.



В десять часов его все еще не было; мальчик, в котором я старался ничем не возбудить подозрения, не мог понять, каким образом место хозяина за конторкой все еще не было занято, и начинал беспокоиться. Служанка, приготовляя завтрак, заказанный мною мне и моим спутникам, выразила также свое удивление, что хозяин и особенно хозяйка изменили своей обычной аккуратности; она боялась, не случилось ли с ними чего. «Кабы я знала адрес, — добавила она, — я

послала бы посмотреть, уж живы ли они».

Я нимало не сомневался, что они были целы и невредимы; но где они находились? В полдень мы еще оставались при той же неизвестности, и я уже окончательно думал, что умысел мой открыт, когда мальчик, карауливший хозяина у двери, прибежал сказать: «Вот они».

— Кто меня спрашивает? — сказал Рауль.

Но, переступив порог, он узнал меня.

— А! Здравствуйте, господин Жюль, — обратился он ко мне. — Что на этот раз привело вас к нам?

Он был далек от мысли, что дело касалось его самого. Чтобы не запугать, я решился обмануть его насчет цели своего визита.

— Так вы вздумали пуститься в либерализм?

— В либерализм?

— Да-да, и, кроме того, вас обвиняют… Но здесь не место объясняться. Мне надо поговорить с вами наедине.

— Охотно. Выйдите, я следую за вами.

Я вышел, сделавши знак своим полицейским следить за Раулем и схватить его при первом намерении бежать. Несчастный и не помышлял об этом и почти тотчас же вышел ко мне. Он имел отчасти даже веселый вид, и я рад был видеть его

столь беззаботным.

— Теперь, — начал я, — когда мы одни, то и поговорим на свободе, я расскажу вам, зачем пришел. Вы не догадываетесь?

— Сказать правду, нет.

— Вам уже наделали хлопот *гогеты*[10], которых вы продолжаете упорно принимать в своем кабаке, несмотря на сделанное вам запрещение. Полиции известно, что здесь каждое воскресенье бывают собрания, что вы обыкновенно принимаете подозрительных людей, но нас предупредили, что даже сегодня вы ожидаете их в большом количестве от полудня до четырех часов: вы видите, что полиция, когда захочет, все знает. Это еще не все: подозревают, что у вас в руках куча соблазнительных или безнравственных песен, столь

---

[10] Примечания: 10

В 1815 и 1816 годах в Париже было множество сборищ певчих, известных под именем *гогетов* (goguettes — ругателей). Это был род политических ловушек, образовавшихся сначала под покровительством полиции, которая наполнила эти собрания своими агентами. Последние за попойкой с рабочими подзадоривали их, стараясь вовлечь в ложные заговоры. Я был знаком со многими из этих мнимопатриотических собраний; самые ярые из участников были всегда полицейские шпионы, которых легко было отличить. В своих песнях они ничего не щадили; ненависть и самые грубые оскорбления сыпались на королевскую фамилию... И эти песни, оплачиваемые *секретными фондами* Иерусалимской улицы, были произведением тех же авторов, как и гимн святого Людовика и святого Карла. Со времени покойного кавалера де Пии и Эсменара барды северной набережной, как известно, обладали привилегией противоречивых вдохновений. У полиции есть свои поэты, свои менестрели и свои трубадуры; она,

как видит читатель, учреждение веселое; но, к несчастью, она не всегда расположена петь или побуждать к пению. Пало три головы: Шарбонно, Пленье, Толлерока, и общества гогетов были прекращены, в них более не было нужды… Кровь была пролита.

тщательно скрытых, что для разыскания их нам предписано явиться переодетыми и ничего не делать до тех пор, пока гогеты не откроют своего сеанса. Я весьма недоволен, что на меня возложили столь неприятное поручение; кабы я знал, что меня отправят к знакомому, то уклонился бы. С вами к чему мне послужит переодеванье?

— Правда, — отвечал Рауль, — это бесполезно…

— Все равно, — продолжал я, — даже лучше я, чем кто другой: вы знаете, что я не желаю вам худого. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, — это передать мне все песни, которые у вас находятся… Затем, во избежание новых неприятностей, я посоветовал бы вам не принимать более людей, мнения которых могут вас компрометировать.

— Я не думал, — заметил Рауль, — чтобы политика была вашим делом…

— Что делать, мой друг? Раз при должности, не приходится ни от чего отказываться. Ведь мы лошади, годные под всякую упряжь.

— Конечно, вы делаете то, что вам велят. Все равно как верно то, что меня зовут Клер Рауль, так верно могу я вам побожиться, что на меня донесли ложно. Ну не негодяи ли это? Меня-то оклеветать, человека, скромно зарабатывающего

кусок хлеба! Правду говорят, что всегда есть завистники. Послушайте, господин Жюль, у меня нет задних ходов. Самое лучшее, останьтесь здесь на целый день с вашими подчиненными, и вы увидите, солгал ли я.

— Согласен, но прошу без проказ, вы ведь новичок в истреблении песен. Особенно никаких сношений извне. Если вы предупредите гогетов…

— За кого вы меня принимаете? — возразил Рауль с живостью. — Коли я даю вам слово ничего не делать, то не способен его нарушить. Притом, чтобы убедиться, что у меня нет дурных намерений, вам стоит только не отходить от меня. Я даю слово никому ни о чем не заикаться, даже моей жене, когда она вернется. Таким образом, будьте вполне уверены… Но не позволите ли вы мне между прочим заготовлять мясо?

— С удовольствием. Разве я не знаю, что дело должно идти своим чередом? Я даже сам готов помочь вам.

— Вы слишком добры, господин Жюль. Впрочем, я не откажусь.

— Ну так за работу.

Мы сошли вместе. Рауль взял большой нож, и вскоре с засученными по локоть рукавами,

с подвязанной салфеткой я помогал ему разрезать теленка, предназначавшегося в тот день услаждать вкус лукуллов кабачка. От телятины перешли к баранине и наделали несколько дюжин котлеток; приготовили лакомое жиго; я оторвал хвосты у двух-трех индеек, очистил потроха, а когда в кухне все было покончено, отправился на погреб и в качестве любителя присутствовал при приготовлении домашнего винца по шесть су литр.

При этой операции я был наедине с Раулем, перед которым я разыгрывал роль искреннего друга, не расставаясь с ним ни на минуту, подобно тени или его шпиковальному ножу. Признаюсь, я не раз страшился, что он заподозрит повод, по которому я так неотступно наблюдал за ним; тогда он всенепременно зарезал бы меня и мне бы пришлось пасть под ударами без всякой возможности защититься. Но он видел во мне обычного политического сыщика; а со стороны обвинения в возмущении и мятежных замыслах он был совершенно покоен.

Уже прошло часа четыре, как я исполнял должность помощника кухмистера, когда прибыл частный пристав (впоследствии начальник 2-го отделения), которому я дал знать. Я был в ниж-

нем этаже; увидя его издали, я побежал к нему и, попросивши явиться не ранее как через несколько минут, вернулся к Раулю.

— Черт их возьми, — сказал я ему, — не находят ли они, что мы должны бы быть не здесь, а в вашей квартире, в Париже?

— Если только это, то можно туда поехать.

— Поедемте, а после вернемся по Клиньянкурскому шоссе. О! За нами не замедлят следить. Знаете ли, если бы я был на вашем месте, то, пока мы здесь, я попросил бы частного пристава сделать обыск в кабачке и тем показать, что вас ложно заподозрили.

Рауль, находя этот совет превосходным, последовал ему; пристав исполнил его желание, и обыск был произведен с наивозможным тщанием; он не привел ни к чему.

— Ну что! — воскликнул Рауль самодовольным тоном безупречного человека. — Много нашли из-за безделицы… Столько беспокойства. Кабы я зарезал кого-нибудь, то и то не могло быть хуже.

Уверенность, с которой он произнес последнюю фразу, смутила меня; мне почти сделалось совестно, что я считал его виновным; а между тем он был виноват, и благоприятное впечатление быстро изгладилось. Тяжело подумать,

что злодей, еще с дымящейся кровью жертвы на своих руках, может без содрогания говорить что-нибудь напоминающее о его поступке. Рауль был спокоен и торжествующ. Когда мы сели в карету, чтобы ехать на его квартиру в Париж, можно было подумать, что он едет на свадьбу.

— Жена моя, — повторял он, — очень удивится, увидя меня в таком обществе.

Она вышла отпереть нам. При виде нас лицо ее нимало не изменилось; она предложила нам сесть; но так как времени некогда было терять, то пристав и я, не обращая внимания на ее вежливость, принялись за новый обыск. Рауль был тут же и указывал нам с необычайной любезностью.

Чтобы придать вероятие выдуманной мною истории, преимущественно должны были обращать внимание на бумаги. Он мне дал ключ от своего бюро. Я беру кипу бумаг, и первое, что бросается мне в глаза, — это письменный вид, часть которого оторвана. Я тотчас же представил себе клочок, на котором написан адрес, приложенный к протоколу магистратов Корбейля… Клочок, очевидно, подходил. Пристав, которому я сообщил об этом, согласился со мной. Сначала Рауль равнодушно смотрел, как мы разглядывали вид; может, он не обратил на это внимания, но

вдруг мускулы его передернуло, он побледнел и, бросаясь к комоду, в котором лежали заряженные пистолеты, намеревался схватить их, когда не менее быстрым движением полицейские устремились на него и отняли у него возможность защищаться.

Было около полуночи, когда Рауль и его жена отведены были в префектуру; Курт явился туда четверть часа спустя. Оба соучастника были заперты отдельно. До сих пор против них были только подозрения и темные улики. Я рассчитывал их выспросить, пока еще они ошеломлены. Сначала я испробовал свое красноречие над Куртом. Я заходил, что называется, со всех сторон, употреблял всевозможные аргументы, убеждая его признаться.

— Поверьте мне, — говорил я, — откройте всю истину; и к чему может послужить упорное утаиванье того, что и так всем известно? Не все ваши жертвы померли, и против вас подымутся страшные доказательства. Вы будете молчать, но, несмотря на то, вас осудят. Эшафот не есть еще самое ужасное; ужаснее то, что вы поплатитесь за ваше упрямство лишними мучениями, жестокостью обращения. Справедливо рассерженные судьи не дадут вам ни отдыха, ни покоя до самой

казни, вас измучают неотступным приставаньем; тюрьма сделается для вас чистым адом. Если же вы, напротив, сознаетесь, выкажете раскаяние, то хотя и не избегнете своей участи, но все-таки, по крайней мере, вас будут жалеть и обойдутся с вами человечно.

Во время этого увещания, весьма продолжительного, Курт был сильно взволнован. Когда я сказал, что не все его жертвы померли, он изменился в лице и отвернулся; я заметил, что он был смущен, грудь его подымалась, он едва дышал. Наконец, в половине пятого утра он бросился мне на шею, обливаясь слезами.

— Ах, господин Жюль! — воскликнул он, рыдая. — Я великий преступник. Выслушайте, я все расскажу вам.

Я не открыл Курту, в каком убийстве он обвинен; так как, по всей вероятности, их было много, то я избегал напоминания, надеясь, что, если я буду выражаться смутно и неопределенно, он, может, коснется не того преступления, в котором его обвиняли. Курт размышлял несколько мгновений.

— Да, я убил торговца живностью. Надо же, чтобы он был такой живучий! Бедняга, очнуться после таких ударов!.. Вот как все это было, гос-

подин Жюль; умереть на месте, коли я лгу… Их было несколько норманнов, возвращавшихся из Парижа после распродажи товара; полагая, что они с деньгами, я стал ждать их по дороге и остановил двух первых, но почти ничего не нашел у них. Я тогда был в самой страшной нужде; меня вынуждала нищета, я знал, что у жены ничего нет, и сердце мое обливалось кровью. Пока я предавался отчаянию, послышался шум приближающейся повозки; то был продавец живности. Нахожу его полуспящим и требую кошелек; он начинает искать, я тоже обыскиваю его и нахожу только *восемьдесят франков*. Восемьдесят франков! Что это за сумма, когда всем должен; я был должен за два срока за квартиру, и хозяин грозил выгнать меня на улицу. В довершение всего меня преследовали другие кредиторы. Что можно было сделать с восемьюдесятью франками? Ярость овладела мною; беру оба свои пистолета и разряжаю их в грудь купца. Через две недели мне сказали, что он еще жив. Можете себе представить мое удивление! С той поры я не знал минуты покоя, и недаром мне казалось, что это примет дурной оборот.

— Ваши опасения были основательны, — заметил я. — Но продавец живности не один, которого

вы убили. А мясник, которого вы изранили ножом, отнявши у него денежную сумку?

— Что до этого, — возразил злодей, — то упокой, Господи, его душу! Я уверен, что если он и покажет против меня, то не иначе как на Страшном суде.

— Вы ошибаетесь, мясник не умрет.

— А… Ну тем лучше! — воскликнул Курт.

— Нет, он не умрет, и я должен предупредить вас, что он описал вас и ваших соучастников так, что ошибиться нельзя.

Курт старался уверить, что у него не было соучастников, но не мог долго поддерживать эту ложь и в конце концов назвал Клера Рауля. Я настаивал назвать других, но тщетно; пришлось пока удовольствоваться сделанными им признаниями, и, боясь, чтобы он после от них не отрекся, я тотчас же призвал пристава, в присутствии которого он их повторил с полнейшими подробностями.

Довести Курта до сознания виновности и даже до подписи своих показаний — это, без сомнения, была победа, но только первая; необходимо было одержать вторую, а именно: вынудить Рауля последовать примеру друга. Я вошел тихонько в его тюрьму; он спал. Стараясь не разбудить его, я сел

возле него и начал шептать ему на ухо. Он слегка пошевелился и зашевелил губами. Я подумал, что если предложить ему вопросы, то он будет отвечать. Не возвышая голоса, я стал спрашивать его о деле; он произнес несколько невнятных слов, но смысла невозможно было уловить. Эта сомнамбулическая сцена продолжалась с четверть часа, до вопроса: *что сделали вы с ножом*? Он вдруг очнулся, произнес несколько отрывочных слов и обернулся в мою сторону.

Узнав меня, он вздрогнул от изумления и ужаса; можно было подумать, что внутри его происходила борьба и он страшился при мысли, не был ли я ее свидетелем. Беспокойство, с которым он смотрел на меня, обнаруживало желание прочесть в моих глазах, что происходило до его пробуждения: может быть, во сне он выдал себя? Лоб его был покрыт потом, бледность распространилась по лицу: он силился улыбнуться при невольном скрежете зубов. Лицо, бывшее передо мною, служило олицетворением злодея, терзаемого совестью… Это был Орест, преследуемый Эвменидами. Следы призраков ужасного сновидения еще не рассеялись, и я ухватился за это; не в первый раз я прибегал к помощи кошмара.

— Вы, должно быть, видели ужасный сон? —

сказал я Раулю. — Вы так много говорили и, очевидно, страдали; я разбудил вас, чтобы избавить от мучения и преследовавших вас угрызений. Не сердитесь за правду — не к чему больше скрываться; признания вашего друга Курта все нам открыли; правосудию известны все подробности взводимого на вас преступления. Лучше не отрицайте свое соучастие; из слов вашего товарища очевидность его несомненна, и против нее вы ничего не в силах сделать. Если вы вздумаете отделаться запирательством, его голос пристыдит вас перед судьями, и если его свидетельства будет недостаточно, то мясник, которого вы резали при Милли, придет обвинить вас.

В эту минуту я заметил, что лицо Рауля исказилось, но, мало-помалу оправившись, он отвечал с твердостью:

— Господин Жюль, вы хотите меня провести, но это не удастся; вы хитры, только я-то невинен. Что касается до Курта, то меня никто не уверит, что он виноват или меня обвиняет, особенно когда тому нет и тени вероятия.

Я снова принялся убеждать Рауля, что он бесполезно старался скрыть от меня истину.

— Вот я поставлю вас на очную ставку, — добавил я, — и тогда посмотрим, как вы станете ему

противоречить.

— Зовите его, — возразил Рауль, — я ничего лучшего не желаю; я уверен, что Курт не способен на дурное дело. Как вы хотите, чтоб он обвинил себя в преступлении, которого не делал, и впутывал бы меня туда же? Разве он с ума сойдет? Ступайте, господин Жюль, я так уверен в том, что говорю, что, если он скажет, что зарезал и что я был с ним, соглашаюсь считаться тогда за величайшего злодея, когда-либо бывшего на земле. Даю слово признать за правду все, что он покажет, хотя бы пришлось пойти с ним на эшафот. Умереть от того или другого, не все ли равно? Гильотина не страшит меня. Если Курт сказал, ну так, значит, все сказано, — капут, две головы упадут на помост.

Я оставил его в этом настроении и отправился предложить свидание с ним его товарищу. Этот отказался, ссылаясь на то, что, сознавшись во всем, он не в силах взглянуть на Рауля.

— Так как я подписал свое показание, — сказал он, — то пусть ему прочтут его, и этого будет достаточно, чтоб убедить его; притом он знает мою руку.

Это упрямство, которого я не ожидал, было весьма неприятно, тем более что мне часто слу-

чалось замечать, как иногда мысли подсудимого в одну минуту менялись с белого на черное; поэтому я старался его победить, и действительно мне довольно скоро удалось склонить Курта на то, чего я желал. Наконец я свел двух друзей; они поцеловались, и Курт, пустившись на хитрость, которой я ему не внушал, но которая отлично содействовала моим замыслам, сказал Раулю:

— Так ты сделал то же, что и я, ты сознался в нашем преступлении? Ты хорошо поступил, Рауль.

Тот, к кому относились эти слова, с минуту был как бы уничтожен; но вскоре, опомнившись, произнес:

— Поистине, вы славную штуку с нами сыграли, господин Жюль; вы в совершенстве провели нас. А так как я слову своему не изменяю, то и расскажу вам все без утайки.

И тотчас же он изложил мне подробно все то, что показывал его сообщник. Когда эти новые показания были выслушаны приставом по всей форме, я остался беседовать с двумя разбойниками. Они предавались неистощимой веселости, что обыкновенно бывает с великими преступниками после сознания. Я ужинал вместе с ними, и они пили умеренно. Лица их были спокойны, не было и следа катастрофы, видно было, что это

дело для них решенное, что, раз сознавшись, они решились заплатить свой долг правосудию. За десертом я сказал им, что ночью мы отправимся в Корбейль.

— В таком случае, — заметил Рауль, — не стоит и ложиться.

И он попросил меня принести колоду карт. Когда приехала за ними карета, они поигрывали в пикет, как самые мирные граждане.

Усаживанье в экипаж не отразилось на них никаким впечатлением. Мы еще не доехали до Итальянской заставы, как они уже безмятежно храпели; они все еще спали и в восемь часов утра, когда мы въезжали в город.



Глава сорок первая

Народные толки. – Ротозеи. – Знаменитый Пулялье и капитан Пикар. – Поимка Пулялье. – Презрение вельможи. – Генерал Бофор. – Нож в руке убийцы на суде и панический страх. – Свидание преступников с их жертвой. – Важные признания

Слух о нашем приезде тотчас же распространился, и обыватели сбежались посмотреть на убийц мясника; я тоже был для них любопытным субъектом. При этом я не без удовольствия узнал, что думали обо мне за шесть миль от города. Я пробрался в толпу, собравшуюся перед тюрьмой, и до моих ушей стали беспрестанно долетать самые странные замечания: «Это он! Это он!» — шептали зрители, подымаясь на цыпочки всякий раз, как отворялись дверцы и выходил или входил кто-либо из полицейских.

— Вот он, видишь ты? — говорил один. — Этот черноватенький, ростом не более пяти футов.

— Э! Какой карлик!.. Его можно упрятать в карман.

— Карлик!.. Ну, однако, довольно высок, чтобы поднять на смех и твою фигуру; только он мягко стелет, да жестко спать.

— Ну, ты, молчи уж, и мы видали виды.

— Это вон тот худой верзила, — говорил другой. — Ишь какая злая рожа, с этими рыжими волосами!

— О, он словно спичка; кажись, одной рукой согну его вдвое!

— Ты?

— Да, я.

— А ты думаешь, он дастся? Как же, держи карман! Нет, он подойдет с любезными речами и, когда ты совсем того не ожидаешь, хватит тебя кулаком в бок, под самую ложечку, али угораздит по носу, так что искры посыплются из глаз.

— Что правда, то правда, — заметил толстый мещанин в очках, стоявший ко мне ближе всех. — Этот Видок — человек необыкновенный: говорят, что когда ему надо задержать кого-нибудь, то у него такой кулак, который сразу передает того человека в его руки.

— Я слыхал, — начал извозчик, — что он всегда носит сапоги с большими гвоздями, и, подавая вам руку, того и гляди съездит вас каблуком.

— Ну, ты, смотри, куда лезешь, дурацкая баш-

ка! — закричала молодая девушка, которой извозчик наступил на ногу.

— Зато сколько удовольствия, красавица, — возразил извозчик. — Это ничего; вы и не то еще увидите на своем веку. Вот кабы Видок каблуком сапога наступил вам на большой палец…

— Как бы не так! Пусть-ка подойдет!..

— Да, он на ногу легок: ведь он еще мальчик…

При этом я вмешался в разговор.

— У барышни, — заметил я извозчику, — слишком хорошенькие глазки, чтобы Видок, как бы он ни был зол, захотел причинить ей зло.

— О, известно, что он не так груб с женщинами. Но я только хотел сказать, что когда человеку отдавят большой палец, то середины нет, ему придется упасть, как бы он ни был силен, и если его не подымут, то должен будет остаться на месте.

Начался сильный шум: «А! Ах! Ах!»

— Что такое?

— Долой шапки!

— А, человек в парике!

— Это убийцы?

— Вот он! Вот он! — слышалось с разных сторон.

— Да кто?

— Не толкайтесь же.

— Повеса, я задам тебе баловать руками.

— А вы ему пощечину дайте.

— И как эти женщины безрассудны! Лезут тоже в такую тесноту.

— Ай, ай!

— Станьте на мое плечо.

— Эй, вы там, вы ведь не стекла!

— Ну не с ума ли они сошли так орать!

— Ничего, ничего! Это для примера.

— И сколько этих шпионов-полицейских!

— Шпионов? Да их только четыре!

Когда крики поутихли, наплыв и оттиск толпы перенес меня к новой группе, где несколько зевак рассуждали обо мне.

Первый ротозей (с седыми волосами). Да, он был осужден на сто один год каторжных работ, а теперь воскрес, как из мертвых.

Второй ротозей. Сто один год! Ведь это больше столетия.

Старуха. Ах, господи, что это вы изволили сказать? Сто один год! Ведь это не один день, как вот они заметили.

Третий ротозей. Да, это не один день, точно что немалый срок.

Четвертый ротозей. Так он зарезал кого-ни-

будь?

Пятый зевака. Как, вы этого не знаете! Это злодей, покрытый преступлениями; чего только он не сделал: раз двадцать он заслуживал гильотину; но так как это ловкий плут, то ему дарили жизнь.

Старуха. Правда ли, что его наказывали плетьми, клеймили?

Первый ротозей. Конечно, матушка, горячим железом на оба плеча; ручаюсь, что если бы его раздеть донага, то увидали бы клейма.

Второй зевака (к какому сословию он принадлежал, точно не помню; могу сказать только, что он был в черном, с особенной прической; как кажется, это был приходской дьячок). Клейма? Нет, лучше того, он обязан носить кольцо на ноге; я это знаю от самого комиссара.

Я. Полно вам вздор-то молоть о каком-то кольце; да разве бы его не было видно?

Зевака в черном *(сухо)*. Нет, братец, видеть его нельзя. Во-первых, не думай, что это какое-нибудь железное кольцо весом в четыре или пять фунтов; нет-с, это золотое колечко, легонькое и почти незаметное. Да тогда, черт возьми, кабы он попробовал, как я, носить коротенькие панталоны, так это прямо бросалось бы в глаза; но

длинные все скрывают. Длинные панталоны, славная мода! Это нам наследство от революции; теперь и не отличишь честного человека от каторжника. Спрошу вас, господа, если бы этот Видок был между нами, приятно ли бы вам было находиться в обществе такого негодяя? Как вы об этом думаете, кавалер?

Кавалер ордена Святого Людовика. Что касается до меня, это мне было бы не особенно лестно. А вы как находите, господин понтонер?

Понтонер. По правде сказать, не особенная честь; каторжник! И еще хуже того, полицейский шпион. Еще если бы он останавливал только таких разбойников, как привезли сегодня, это бы куда ни шло; а то знаете ли вы, с каким условием выпустили его из острога? Чтобы получить свободу, он обязался доставлять сто преступников в месяц, и так или иначе, не разбирая правого от виноватого, он должен их доставить, чтобы самому не быть засаженным снова; если же ему случится доставить больше, то он получает премию. Водится это так в Англии, сэр Вильсон?

Сэр Вильсон. Нет, Великобритания пока еще не допускает подобного смягчения наказания. Я не знаю вашего Видока, но если он разбойник, то все-таки не такой, как те, кто держит над его

головой меч, готовый постоянно опуститься, как только он не может выполнить отвратительное условие. Омеара, не больше меня приверженный министерству, скажет то же, что оно еще не унизилось до такой степени! Вы молчите, доктор; скажите же что-нибудь.

Доктор Омеара. После этого ему оставалось бы выбрать агентами безопасности Лондона героев Тибурна или Ботани-бея. Когда воры охотятся за ворами, то всегда можно опасаться, что они будут стоять друг за друга, и тогда какой толк может выйти из этого?

Кавалер ордена Святого Людовика. Совершенно справедливо; и странно, право, почему правительство испокон века набирает на службу в полицию только людей с запятнанной репутацией; точно мало честных!

Я. Позвольте вас спросить, согласились бы вы занять место Видока?

Кавалер. Я? Боже меня сохрани!

Я. Ну так и не требуйте невозможного.

Сэр Вильсон. Невозможное! Да, до тех пор, пока французская полиция будет учреждением темным, действуя постоянно из-за угла, с помощью козней, пока она не будет силой, очевидной для поддержания порядка в общественной безопас-

ности.

Англичанка (в обществе трех или четырех офицеров на половинном жалованье, которые, по-видимому, ухаживали за ней; может, это была леди Овинсон). Генерал отлично понимает все эти вещи.

Один из офицеров. А, вот генерал Бофор с семьей Пикар.

Леди Овинсон. Ах, здравствуйте, генерал; я должна вам высказать свое искреннее сожаление по поводу пропавшей табакерки; у нас есть старая пословица: «Лучше проснуться под столом в таверне, нежели проспать во рву».

Генерал *(едко)*. Это урок, который мог бы пригодиться мяснику.

Леди Овинсон. И вам, генерал; но, кстати, что вы не обратились к Видоку, чтобы разыскать вашу табакерку?

Генерал. К Видоку, к этому вору, поджигателю, к этому отъявленному негодяю? Если бы я увидал, что дышу с ним одним воздухом, то тотчас же бы повесился. Чтобы я обратился к Видоку!

Капитан Пикар. А почему бы и нет, если он может вам возвратить вашу пропажу?

Генерал. Вот вы каков, мой друг Пикар! *(Тоном превосходства.)* Сейчас видно, что вы пошли по

следам своего батюшки.

Капитан. Спасибо, генерал.

Генерал. Разве вы не сын капитана объездной команды? Не говорили ли вы мне раз сто, что ваш отец задержал знаменитого Пулялье?

Леди Овинсон. Известного Пулялье? Ах, господин Пикар, расскажите нам это, о знаменитом Пулялье.

Г-н Пикар. Если прикажете, сударыня; но так как это длинная история, и притом все ее знают…

Леди Овинсон. Прошу вас, господин Пикар.

Г-н Пикар. Пулялье чрезвычайно ловкий вор, со времен Картуша подобного еще не было. Я не кончил бы никогда, кабы вздумал рассказать вам хоть четверть того, что передавала мне мать. Старушке уже скоро восемьдесят лет; она помнит очень давнишние вещи.

Генерал Бофор. К делу, капитан, без отступлений.

Леди Овинсон. Не прерывайте же, генерал. Ну, господин Пикар.

Г-н Пикар. Для сокращения скажу только, что двор находился тогда в Фонтенбло; там были празднества по случаю свадьбы. Отец мой, бывший капитаном объездной команды, узнал от

подручного, что, воспользовавшись данным балом, несколько личностей, переодетых вельможами, внезапно исчезли, похитивши бриллиантовые уборы многих из танцующих дам. Дело было на значительную сумму. Похищение было совершено с такой смелостью и хитростью, что естественно было приписать его Пулялье. Его видели во главе шести человек в превосходных наезднических костюмах, направлявшихся к Парижу; подумали, что это и были именно воры и что они поедут в Эсонн. Отец мой немедленно поспешил туда и узнал там, что кавалькада остановилась в гостинице «Большой олень», в настоящее время запустелой и превращенной в ферму. Они все спали, а лошади стояли в конюшне, оседланные, взнузданные и подкованные навыворот, чтобы показать обратные следы.

Леди Овинсон. Подумайте, какая хитрость. Все-то знают эти разбойники!

Г-н Пикар. Отец, намереваясь прежде всего завладеть лошадьми, велел обрезать подпруги, а после того вошел к Пулялье. Но, будучи предупрежден одним из сообщников, стоявшим на страже, последний уже успел бежать, и все его спутники тоже рассеялись по деревне. Невозможно было терять времени в сомнительных поисках. Отец

получил известие, что в какой-то кабачок вошел статный господин в изящном костюме, украшенном золотом и прекрасными перьями на шляпе. Без сомнения, это должен быть Пуляльe. Отец прямо пошел в кабак и действительно нашел там указанного гостя.

— Именем короля арестую вас, — сказал он ему.

— Ах, сделайте милость, не останавливайте меня, я не тот, за кого вы меня принимаете; я просто бедный продавец индюшек. Я вел их в Париж, когда мне встретился знатный господин, купил их у меня и обменял свое платье на мое. Я не в убытке от обмена, не считая того, что он отлично заплатил за товар; пятнадцать луидоров чистыми денежками… Если вы его ищете, то не делайте ему ничего дурного!.. Это такой славный господин!.. Он сказал, что ему надоело жить со знатными и он хочет испытать жизнь бедняка… Если вы его встретите на дороге, ей-богу, можно подумать, что он ничего другого не делал от рождения: надо видеть, как он подгоняет хлыстиком своих индюшек! Уж он не заблудится!..

Отец не успел выслушать всего этого, как поскакал за новым продавцом индеек и вскоре настиг его. Видя себя открытым, Пуляльe намеревался

бежать; но отец догнал его. Тогда разбойник выстрелил два раза из пистолета; но, нисколько не смущаясь, отец спрыгнул с лошади, схватил Пулялье за горло и, повалившись его на землю, связал по рукам и ногам. Ручаюсь, что Пулялье был замечательно сильный человек, но и отец был не менее силен.

Генерал Бофор. Ну не правду ли я сказал, капитан Пикар, что вы достойный сын своего отца?

Я *(генералу Бофору)*. Генерал, прошу извинить меня; но чем более я всматриваюсь в вас, тем более мне кажется, что я имею честь вас знать; не начальствовали ли вы над жандармами в Монсе?

Генерал. Да, мой друг, в 1793 году… Мы были вместе с Дюмурье и теперешним принцем Орлеанским.

Я. Точно так, генерал, и я был под вашим начальством.

Генерал *(протягивая мне руку с восторгом.)* Ах, так дайте расцеловать вас, друг мой. Прошу ко мне сегодня на обед. Господа, рекомендую вам одного из моих старых жандармов; он богатырской силы и, надеюсь, сумел бы арестовать Пулялье. Не правда ли, Пикар?

Пока генерал жал мне руку, один из жандар-

мов, увидав меня между зрителей, подошел и, тронув меня слегка за плечо, сказал: «Господин Видок, королевский прокурор вас спрашивает». Мгновенно все лица вокруг меня страшно вытянулись. Как! Это Видок?.. И потом «Видок! Видок!» разнеслось в толпе; а самые любопытные принялись работать локтями, чтоб добраться до меня; становились один на другого, чтоб видеть меня вблизи или хоть издали. Очевидно было, что они вообразили, будто я и образа-то человеческого не имел; доказательством тому служат восклицания изумления, долетевшие до меня; некоторые из них я не забыл. «Каково, он блондин… А я думал, брюнет! Его считают таким дурным, однако не похоже… Он превеселый толстяк!.. Вот тут и судите по наружности!»

Таковы были приблизительно рассуждения публики при разглядывании моей особы. Была такая теснота, что я с трудом добрался до королевского прокурора, отдавшего мне приказание отвести подсудимых к судебному следователю.

Курт, которого я привел первым, по-видимому, оробел в присутствии многих лиц. Я уговаривал его подтвердить свое признание, что он и сделал без труда относительно всего, что касалось мясника; но при допросе о продавце живности он

отрекся от всего, сказанного мне, и невозможно было выпытать у него сознание, что, кроме Рауля, были еще сообщники. Рауль не колеблясь подтвердил все факты, внесенные в протокол допроса, сделанного ему после ареста. Он пространно и с непоколебимым хладнокровием рассказал все, что произошло между ними и несчастным Фонтеном до того момента, когда он его ударил, и добавил:



— Сначала он был только оглушен двумя палочными ударами; увидавши, что он все еще

стоит, я подошел к нему, как бы с намерением поддержать его; в руках у меня был нож, который теперь лежит здесь на столе.

В эту минуту Рауль неожиданно кинулся к столу, порывисто схватил орудие своего преступления и, ворочая глазами с яростным выражением, принял угрожающую позу. Это движение, совершенно неожиданное, привело в ужас всех присутствующих; подпрефекту едва не сделалось дурно; на меня самого напал страх; но, размышляя, что благоразумнее было бы объяснить это движение Рауля в лучшую сторону, я сказал с улыбкой:

— Чего вы испугались? Рауль не способен на подлость, не захочет злоупотребить доверием, которое ему оказывают; он взял нож только затем, чтобы дать вам понятие о своем жесте при этом.

— Благодарю, господин Жюль, — воскликнул Рауль, восхищенный моим объяснением, и, кладя спокойно ножик на стол, прибавил: — Я хотел только показать вам, как я им действовал.

Очная ставка подсудимых с Фонтеном была необходима для пополнения предварительного следствия; осведомились у доктора, позволяет ли состояние больного вынести столь тяжелую сцену, и при утвердительном ответе отвели Курта и

Рауля в госпиталь.

Будучи введены в покой, где находилась их жертва, они отыскивали ее глазами. Фонтен, закутанный с головы до ног, с обвязанной головой, был неузнаваем; но возле него лежали одежда и рубашка, бывшие на нем, когда он подвергся нападению злодеев.

— Ах, бедный Фонтен! — воскликнул Курт, падая на колени возле кровати, украшенной этими кровавыми трофеями. — Простите негодяев, повергших вас в такое состояние. Что вы спасены, на то была воля Божья; Он сохранил вас, чтобы мы понесли наказание за наши злодейства. Простите! Простите! — повторял он, закрывая лицо руками.

Пока он это высказывал, Рауль, также ставший на колени, хранил молчание и, по-видимому, погружен был в глубокую печаль.

— Вставайте и взгляните прямо в лицо больному, — сказал им судья, пришедший с нами вместе.

Они поднялись.

— Уведите с глаз моих этих убийц! — воскликнул Фонтен. — Я как нельзя более узнал их как по лицу, так и по звукам голоса.

Факт признания виновных Фонтеном был

вполне достаточен для подтверждения того, что они действительно совершили это преступление; но я, кроме того, был убежден, что у них было на душе много других преступлений и что для их совершения недостаточно было двух человек и должны были быть сообщники; это была тайна, которую необходимо мне было выпытать, и я решился не покидать их, пока они мне ее не откроют.

По возвращении с очной ставки я велел накрыть в тюрьме ужин для подсудимых и для себя; тюремщик спросил, можно ли положить и ножи.

«Да-да, — сказал я, — и ножи положите». Мои собеседники кушали с таким аппетитом, как бы самые честные люди. Когда они немного выпили, я ловко навел их на мысль об их преступлениях.

— Вы люди не с дурными задатками, — начал я. — Держу пари, что вас кто-нибудь натолкнул на эту дорогу, какой-нибудь злодей погубил вас. К чему скрывать это? Видя ваше раскаяние и жалость при свидании с Фонтеном, я думаю, что вы готовы своею кровью смыть ту, которую вы пролили. Теперь если вы умолчите о своих сообщниках, то на вашей ответственности будет все зло, сделанное ими. Многие из тех, на кого вы нападали, показывали после, что вас было по

крайней мере четверо при этом.

— Они ошибались, честное слово, господин Жюль, — возразил Рауль. — Нас никогда не было более трех; третий из нас — бывший таможенный лейтенант Пон Жерар, живущий на границе, в маленькой деревушке между Капеллой и Гризоном, в Энском департаменте. Но если вы намереваетесь арестовать его, то могу вам сказать, что он не таков, чтобы поддаться.

— Нет, — прибавил Курт, — его нелегко захватить, и если вы не предпримете всех предосторожностей, то он вам наделает хлопот.

— О, это опасный противник, — возразил Рауль. — Хоть и вы, господин Жюль, охулки на руку не положите, но ему и десяток таких нипочем. Во всяком случае, мы вас предупредили. Во-первых, если он пронюхает, что вы его ищете, то ему недалеко до Бельгии и он задаст тягу; если же вы его захватите, он будет сопротивляться. Поэтому советую вам захватить его спящим.

— Да, но только он не спит, — заметил Курт.

Я осведомился о привычках Пон Жерара и расспросил его приметы. Разузнавши все, что считал необходимым для своих розысков, и находя нужным скрепить все эти показания, я предложил заключенным тотчас написать одному из судей,

уполномоченному принимать их признания. В час ночи Рауль окончил письмо, и, несмотря на позднее время, я тотчас же его отнес к королевскому прокурору. Оно приблизительно заключалось в следующем:

«Милостивый государь, проникнувшись чувствами, приличествующими нашему положению, и послушавшись ваших советов, мы решились сознаться во всех наших преступлениях и назвать вам нашего третьего сообщника. Поэтому просим вас пожаловать к нам, выслушать наши показания».

Судья поспешил в тюрьму, и Курт и Рауль повторили ему все сказанное мне о Пон Жераре. Мне оставалось приняться за последнего. Так как надо было, чтобы он не узнал о случившемся с его сотоварищами, то мне тотчас же отдан был приказ арестовать его.

Глава сорок вторая

Приезд на границу. – Указание маленькой девочки. – Я узнаю знаменитого разбойника. – Что за молодец! – Два сапога – пара. – Мнимый контрабандист. – Оцепеневший злодей. – Я избавляю страну от страшного бича

Я отправился, переодетый барышником лошадей, в сопровождении двух полицейских — Гури и Клеман — в качестве моих слуг. Мы так торопились, что, несмотря на суровое время и дурные дороги (дело было зимой), мы приехали в Капеллу на другой день вечером, накануне ярмарки. Я был знаком с местностью, потому весьма скоро попал куда нужно и навел справки. Все, кого я расспрашивал о Пон Жераре, называли его разбойником, жившим контрабандой и грабежом; все перед ним трепетало, и самое имя его было предметом ужаса; местные власти, которым на него ежедневно доносили, не решались его обуздывать. Словом, это была одна из тех грозных личностей, которые повелевают всем окружающим.

Несмотря на все это, привыкнувши никогда не

отступать перед опасным предприятием, я ни минуты не колебался сделать попытку. Все рассказы о Пон Жераре подстрекали мое самолюбие; но как до него добраться?.. Я еще ничего не знал; в ожидании счастливого наития я завтракал со своими агентами, и, порядком подкрепившись, мы пустились в путь — на поиски за сообщником Рауля и Курта. Последние обозначили мне уединенную таверну, служившую притоном контрабандистов. Пон часто там бывал и хорошо был известен хозяину, который сильно им интересовался как одним из выгоднейших посетителей. Таверна была так точно определена, что мне не пришлось ни у кого спрашивать, и я прямо нашел ее. Я вошел в сопровождении двух своих помощников; сажусь без всяких прелюдий и церемоний, как человек, который бывал здесь и хорошо знаком с обычаями дома.

— Здравствуйте, матушка Барду, как поживаете?

— Здравствуйте, соколики, добро пожаловать; живем, как видите, помаленьку. Чего прикажете подать?

— Да пообедать; смерть проголодались.

— А вот сейчас. Пожалуйте в залу, обогрейтесь.

Пока она накрывает на стол, я стараюсь во-

влечь ее в разговор.

— А вы, наверное, меня не узнаете?

— Постой, дайте-ка припомню.

— Вы раз двадцать видели меня в прошлую зиму с Поном, когда мы приходили ночью.

— Как, это вы?

— Конечно я.

— Так теперь я отлично помню.

— А кум Жерар, как он? В добром здравии?

— О, что до этого, здоровехонек; он и сегодня зашел выпить перед отходом на работу в дом Ламар.

Я совсем не знал, где был этот дом, но так как выказывал свое знакомство с местностью, то и остерегся спросить; притом надеялся, не делая прямого вопроса, заставить указать его себе. Едва мы проглотили по первому куску, как Барду известила меня:

— Вы сейчас говорили о Жераре. Вот пришла его дочь!

— Которая?

— Самая младшая.

Я быстро встал, побежал к девочке, принялся целовать ее и, прежде чем она успела взглянуть на меня, сбил ее с толку градом непрерывных вопросов то о том, то о другом члене ее семьи,

после чего сказал ей:

— Ну хорошо, ты славная девочка; на вот тебе яблоко, съешь его, а потом мы пойдем вместе к твоей матери.

Мы наскоро пообедали и вышли с девочкой. Она направилась было домой; но как только мы отдалились и трактирщик не мог нас видеть, я сказал ей:

— Послушай, малютка, ты знаешь, где дом *Ламар*?

— А вот там, — отвечала она, указывая пальцем по другую сторону Гирсона.

— Теперь ты скажешь матери, что видела трех друзей твоего отца и чтобы она приготовила ужин на четверых; мы придем с ним. До свидания, дитя мое.

Девочка пошла к себе, а мы скоро очутились возле дома Ламар. Но там не было рабочих; на мой вопрос об этом к крестьянину он сказал, что они немного подальше.

Мы продолжали путь, и, взойдя на возвышение, я увидел, что человек тридцать были заняты поправлением дороги. Жерар как смотритель должен был находиться между ними. Мы приблизились; шагов за десять я указал своим агентам того, который по лицу и осанке совершенно схо-

ден был с данными мне приметами. Я уверен был, что это Жерар, и спутники мои разделяли то же мнение. Но Жерар был слишком окружен, чтобы можно было схватить его. Он и один был страшен своей храбростью; а если бы за него вступились другие рабочие, то естественно, что нам не удалось бы выполнить приказ. Дело было затруднительно, при малейшей неловкости с нашей стороны он мог или одолеть нас, или бежать за близлежащую границу; поэтому я никогда не сознавал в такой степени необходимость осторожности и благоразумия. Я обратился за советом к своим двум спутникам, отличавшимся неустрашимостью.

— Поступайте, как вам заблагорассудится; мы готовы во всем вам содействовать, чего бы это ни стоило.

— Ну так следуйте за мною и ничего не предпринимайте до тех пор, пока не настанет время. Если мы не возьмем силою, то, может быть, хитростью.

С этими словами я направился к тому, кого принимал за Жерара, а мои агенты остались в нескольких шагах. По мере приближения я все более убеждаюсь в своей догадке. Наконец я подхожу и без всяких предисловий беру его обеими

руками за голову и целую.

— Здравствуй, Пон, как твое здоровье? Что жена, дети здоровы ли? — говорю я.

Пон, как бы ошеломленный столь неожиданным здорованьем, с удивлением рассматривает меня.

— Черт возьми, я совсем тебя не знаю. Кто ты такой?

— Как, ты меня не знаешь? Стало быть, я очень изменился?

— Нет, по чести, совсем тебя не припомню. Назовись, я как будто видел где-то это лицо, но не могу вспомнить, где и когда.

Тогда я наклонился и сказал ему на ухо:

— Я друг Курта и Рауля, они меня прислали.

— А! — воскликнул он, дружески пожимая мне руку; и затем, обратясь к рабочим, прибавил: — И что у меня за память! Его ли не знать? Мой друг Д. Ах, дружище, дай же я тебя расцелую. — И он готов был задушить меня в своих объятиях.

Во все это время полицейские не теряли меня из виду, и Пон спросил:

— Что, они с тобой пришли?

— Это мои молодцы, — отвечал я.

— Я так и думал. А ведь ты, небось, хочешь подкрепиться, да и эти господа тоже? Пойдем

выпьем.

— Это не мешает. Как не хотеть!

— Не досадно ли! В этом скверном волчьем крае ничего нельзя найти; только в Гирсоне, за добрую милю отсюда, можно достать вина, ты, верно, мимо проходил?

— Ну что ж, пойдем в Гирсон.

Пон простился со своими товарищами, и мы пошли вместе. По дороге я размышлял о том, что мне нисколько не преувеличили силу этого человека: он не был высок ростом, не более пяти футов четырех дюймов; но сложение его было квадратное; его смуглое лицо, если бы и не было загорелым от солнца, отличалось энергией и резкими чертами. Плечи его, шея, бедра, руки были громадны; прибавьте к этому густые бакенбарды и густейшую бороду, короткие руки, очень широкие и покрытые волосами до самых пальцев. Его грубая, жестокая физиономия, хотя могла смеяться вследствие своей подвижности, никогда не освещалась улыбкой. Пока мы шли рядом, Пон оглядывал меня с ног до головы.

— Что за здоровяк, ей-богу! — воскликнул он, несколько приостановившись, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня. — Ты можешь похвастаться, что у тебя везде вплотную натянуто.

— Не правда ли? И складочки не найдешь.

— Я сам тоже не тонок, и, по правде сказать, мы стоим один другого. Не то что этот карапуз, — добавил он, указывая на Клемана, самого маленького агента в моей бригаде. — Сколько таковских можно проглотить за одним завтраком!

— Ну не очень-то, брат…

— А может быть, правда, иногда эти поджарые очень сильны.

После подобного разговора, естественного между людьми, которым нечего сказать друг другу, Пон стал у меня расспрашивать про своих друзей. Я отвечал, что они здоровы; но что так как они его не видали после *дела Авенсы,* то сильно беспокоились на его счет. (Дело Авенсы было не что иное, как убийство; а Жерар даже и глазом не моргнул, когда я упомянул о нем.)

— А ты зачем пришел сюда? — спросил он меня. — Ты, может, занимаешься беспошлинной продажей?[11]

— Почти так; я пришел, чтоб перепродать здесь тайком лошадей; мне сказали, что ты можешь мне помочь в этом.

— О, можешь вполне на меня рассчитывать, —

---

[11] Примечания: 11
Контрабандой.

отвечал Пон.

Беседуя таким образом, мы прибыли в Гирсон, и Пон ввел нас к часовщику, торговавшему вином. Мы уселись все четверо, и за закуской я старался свести разговор на Курта и Рауля.

— В настоящее время они, может быть, в большом затруднении, — заметил я.

— Почему?

— Я давеча не хотел тебе прямо сказать, но с ними случилось несчастье: их арестовали, и боюсь, что, может, даже теперь они в тюрьме.

— А по какому поводу?

— Вот этого уж не знаю; знаю только, что мы вместе завтракали, когда явилась полиция и всем нам сделала допрос. Меня тотчас же отпустили, а их задержали и посадили в секретную; ты и теперь не был бы предупрежден обо всем этом, если бы Рауль по выходе с допроса не имел возможность шепнуть мне два слова наедине. Он просил предупредить тебя быть настороже, потому что и о тебе также спрашивали. Вот все, что могу сказать тебе.

— Кто же их задержал? — спросил Пон, видимо озадаченный этим известием.

— Видок.

— О, негодяй! И что это за Видок такой, о ко-

тором столько говорят? Я никогда не видел его в лицо; раз только видел мимоходом сзади, и уже после мне сказали, что это был он. Я охотно заплатил бы несколько бутылок хорошего вина тому, кто мне его показал бы.

— Его совсем не так трудно встретить, потому что он всегда рыскает по всем дорогам.

— Пусть он лучше мне не попадается; если бы он был здесь, плохую четверть часа заставил бы я его пережить.

— Полно, ты, как и другие, будь он здесь, сидел бы смирнехонько, да еще первый предложил бы ему выпить. — (Говоря это, я протянул к нему стакан, и он налил.)

— Я-то! Скорей бы я предложил ему…

— Предложил бы ты ему стакан вина, — повторяю тебе.

— Ну вот! Да лучше умереть.

— Ну так можешь умирать, коли хочешь. Я самый и есть Видок и арестую тебя.

— Что ты, что! Как так?

— Да так, арестую, вот тебе и сказ. — И затем, приблизивши свое лицо прямо к его лицу, прибавил: — Тебя, брат, *выдали,* и если ты что-нибудь затеешь, то я тебе нос откушу. Клеман, надень ему наручники!

Невозможно вообразить себе удивление Пона. Все черты его были искажены; глаза вышли из своих орбит, щеки тряслись, зубы стучали, волосы стали дыбом. Вскоре эти судорожные симптомы, обнаружившиеся на поверхности тела, исчезли и заменились другим состоянием. Когда ему связали руки, он двадцать пять минут оставался неподвижным и как бы остолбенелым, с открытым ртом и с языком, прилипшим к гортани. Только после значительных усилий удалось ему отделить язык, и он тщетно искал слюны, чтобы увлажнить свои засохшие губы. Словом, в продолжение получаса лицо этого злодея, попеременно бледное, желтое и багровое, представляло все оттенки разлагающегося трупа. Наконец, как бы выходя из летаргического оцепенения, Пон произнес:

— Так ты Видок! Знай я это, когда ты подошел ко мне, я очистил бы землю от такого… бездельника!

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — благодарю покорно. А пока ты попал в ловушку и все-таки должен мне несколько бутылок хорошего вина. Впрочем, пожалуй, мы квиты; ты хотел видеть Видока, и я тебе показал его. В другой раз не пытайся искушать дьявола.

Жандармы, которых я велел позвать по взятии Пона, не верили глазам своим. Во время обыска его жилища мэр общины рассыпался перед нами в благодарностях. «Какую великую услугу оказали вы нашей стране! — повторял он. — Это было наше всеобщее страшилище. Вы нас избавили от истинного бича».

Действительно, все жители были чрезвычайно рады аресту Пона и все изумлялись, что он совершен был без всякого сопротивления.

По окончании обыска мы отправились ночевать в Капеллу. К Пону был приставлен один из агентов, не покидавший его ни днем ни ночью. При первом роздыхе я велел его раздеть, чтобы посмотреть, не скрыто ли на нем какого оружия. При виде его голым я в первую минуту несколько усомнился, человек ли это: все тело его было покрыто черной шерстью, густой и лоснящейся; его можно было принять за Геркулеса Фарнесского, покрытого медвежьей шкурой. Пон был довольно спокоен; с ним не происходило ничего особенного; только на другой день я заметил, что ночью он проглотил более четверти фунта нюхательного табака.

Я уже имел случай видеть, что при сильном душевном беспокойстве люди, употребляющие

табак в том или другом виде, истребляют его с большой неумеренностью. Я знал, что нет курильщика, который бы мог так скоро выкурить трубку, как приговоренный на смерть тотчас по произнесении смертного приговора или перед самой казнью; но мне никогда еще не случалось видеть, чтобы злодей в положении Пона вздумал спровадить в желудок такое огромное количество вещества, которое по своей едкости могло принести страшный вред. Я боялся, чтобы он не захворал; может, он даже имел намерение отравить себя. Как бы то ни было, я велел взять у него оставшийся табак и давать ему только понемногу и с тем условием, чтобы он удовольствовался одним жеваньем. Пон подчинился приказанию, не глотал более табаку, и ни по чему не было видно, чтобы проглоченный принес ему какой-либо вред.

Глава сорок третья

Свидание в Версале. – Большой рот и маленький кусок. – Раскаяние двух осужденных. – Отчаяние преступников. – Каждый сам устраивает свою судьбу. – Сон убийцы. – Новообращенные. – Убийцы приглашают меня на свою казнь. – Золотая табакерка. – Всемогущий Бог. – Роковой час. – Молитва и последняя просьба. – Мы свидимся там. – Гильотина. – Подарки на память. – Прощание. – Казнь. – Я целую две мертвые головы. – Дух мщения. – Последнее прости. – Вечность

Я вернулся прямо в Париж и поместил Пона в Версаль, где содержались Курт и Рауль. По приезде я пошел навестить их.

— Ну, наш молодец засажен, — сказал я им.

— А, уж он у вас? — воскликнул Курт. — Что ж, тем лучше!

— Поделом ему! — добавил Рауль. — Я уверен, что он дал себя знать!

— Он-то? — возразил я. — Да он был смирен, как баран.

— Как, он не защищался? Гм, видишь, Рауль, он не защищался!

— У этих чудовищ большой рот, но они глотают и маленькие кусочки.

— Данные вами сведения, — сказал я, — не пропали даром.

До отъезда из Версаля я в знак благодарности хотел доставить развлечение узникам и пригласил их на обед. Они согласились с большим удовольствием, и все время, проведенное нами вместе, я не видал на их лицах ни малейшей тени печали: они более чем покорились воле Божьей; я не удивился бы, если бы они превратились в честных людей; по крайней мере, их разговоры свидетельствовали о том.

— А надо сознаться, мой бедный Рауль, — говорил Курт, — что мы занимались плохим ремеслом.

— Уж и не говори! Ремесло, которое ведет на виселицу…

— И это еще не все: быть в постоянном страхе, не иметь минуты покоя, трепетать при виде каждого нового лица.

— Истинная правда, повсюду мне виделись полицейские шпионы и переодетые жандармы; малейший шум, даже собственная тень приводи-

ли меня в трепет.

— А я-то! Стоило только какому незнакомцу взглянуть на меня, как я уже думал, что он снимает мои приметы. Меня всего бросало в жар, и я чувствовал, что краснел до ушей.

— Раз совратившись с пути, идешь очертя голову! Если бы пришлось опять приниматься за то же, то я готов лучше тысячу раз пустить себе пулю в лоб.

— У меня двое детей, но если им предстоит дурная дорога, то я лучше готов велеть матери сейчас же их удушить.

— Если бы мы употребили столько стараний на добро, сколько на зло, мы не были бы здесь, мы были бы счастливее.

— Что делать! Такова, видно, наша судьба.

— Не говори ты мне этого… Всякий сам себе устраивает судьбу… Назначение судьбы — это вздор; судьбы нет, и без дурных знакомств я чувствую, что не был бы негодяем. Помнишь ли, после каждого нашего преступления сколько я должен был прибегать к *утешению*? Это потому, что на мне было точно 509 фунтов тяжести; выпей я хоть целую вельту[12], и та бы меня от нее

---

[12] Примечания: 12

Вельта — питейная мера в 6 пинт, или кружек.

не избавила.

— А мне так сердце жгло, точно раскаленным железом. Я ложился на левый бок и как только забывался, то будто пятьсот миллионов чертей гнались за мною. То мне чудилось, что меня застали в моем окровавленном платье, то закапывающим труп или несущим его на спине. Я просыпался точно окунутый в воду; пот лил со лба так, что его можно бы собирать ложками. После того уже невозможно было сомкнуть глаз; колпак мой мешал мне, и я его вертел и переворачивал на сто ладов; как будто железный обруч сжимал мне голову, упираясь двумя острыми концами в оба виска.

— А! И ты тоже испытал это… Точно колет иголками.

— Может быть, все это и называют угрызением совести.

— Угрызение или что другое, только это ужасное мучение. Верите ли, господин Жюль, я не мог выносить долее; это должно было покончиться; честное слово, с меня было довольно. Может, кто другой был бы на вас сердит; но я считаю, что вы оказали нам услугу. Ты как находишь, Рауль?

— С тех пор как мы во всем сознались, я точно в раю сравнительно с тем, что было прежде. Ко-

нечно, нам придется пережить дурную минуту; но ведь и те, которых мы убивали, были не в лучшем положении. Притом самое меньшее, что мы послужим примером.

При расставанье Курт и Рауль умоляли навестить их тотчас после осуждения; я обещал им и сдержал слово; через два дня после произнесения смертного приговора я пришел к ним. При моем появлении они испустили радостный крик. Имя мое прозвучало под мрачными сводами тюрьмы как имя освободителя. Они сказали, что приход мой доставляет им большое удовольствие, и просили позволения поцеловать меня, в чем я не имел силы отказать им. Они были прикованы к нарам, со скованными руками и ногами. Я влез на нары, и они прижали меня к сердцу с таким жаром, точно самые лучшие друзья после долгой и тяжелой разлуки. Один мой знакомый, бывший свидетелем этого свидания, очень испугался, видя меня некоторым образом во власти злодеев.

— Ничего не бойтесь, — сказал я ему.

— Нет-нет, не бойтесь, — заговорил Рауль с живостью. — Чтобы мы сделали какое зло господину Жюлю!.. Никакой опасности нет.

— Господин Жюль, — добавил Курт, — вот так человек! Он один только наш друг, и что мне

особенно нравится, он не покинул нас.

Намереваясь удалиться, я заметил возле них две маленькие книжки, из которых одна была раскрыта (то были *Мысли христианина*).

— Кажется, вы занимаетесь чтением, — заметил я. — Уж вы не взялись ли за благочестие?

— Что делать? — отвечал Рауль. — Сюда пришел пастор исповедовать нас и оставил нам это. Во всяком случае, тут есть вещи, которым если бы следовали, то мир был бы лучше, чем теперь.

— Еще бы не лучше! Недаром говорят, что религия — не шутка; мы родились на свет не для того, чтобы околевать, как собаки.

Я поздравил новообращенных со счастливой переменой, происшедшей в них.

— Кто сказал бы два месяца тому назад, — произнес Курт, — что я дам себя дурачить какой-нибудь скуфье!

— А я-то, — заметил Рауль. — Ты знаешь, как я их в грош не ставил. Но при нашем положении совсем другое дело. И не смерть пугает меня; это для меня все равно что воды напиться. Вот вы увидите, господин Жюль, как я туда пойду.

— О да! — сказал Курт. — Вы должны прийти.

— Обещаюсь вам.

— Честное слово?

— Честное слово.

В день, назначенный для казни, я отправился в Версаль. Было десять часов утра, когда я вошел в тюрьму; заключенные разговаривали со своим духовником. Завидя меня, они быстро пошли мне навстречу.

Рауль *(взяв меня за руку)*. Вы не знаете, сколько удовольствия доставляете нам. Видите, нас уже начали приготовлять к смерти.

Я. Я не хочу вам мешать.

Курт. Вы-то нам помешаете? Вы шутите, господин Жюль.

Рауль. Разве у нас только десять минут осталось, чтобы мы не могли даже поговорить с вами? *(Обращаясь к священникам.)* Вы нас извините, господа.

Духовник Рауля. Хорошо, хорошо, друзья мои.

Курт. Таких ведь немного, как господин Жюль; а как видите, он нас засадил, но это ничего не значит.

Рауль. Коли не он, другой бы кто засадил.

Курт. И такой, который бы не обращался с нами так хорошо.

Рауль. Ах, господин Жюль, я никогда не забуду, что вы для нас сделали.

Курт. И друг не сделал бы столько.

Рауль. И в довершение всего пришел посмотреть, как мы отправимся туда.

Я *(предлагая им табаку в надежде переменить разговор)*. Ну-ка, щепотку; это хороший табак.

Рауль *(сильно нюхнув)*. Недурен! *(Он чихает несколько раз.)* Это пропускной билет, правда, господин Жюль?

Я. Точно так.

Рауль. Однако я сильно болен. *(Он взял табакерку и, раскрывши ее, стал рассматривать.)* А хороша вещичка! Ну-ка, Курт, ты знаешь, из чего она?

Курт *(отворачиваясь)*. Это золото.

Рауль. Ты прав *(отворачиваясь)*: золото — погибель людей. Видишь, куда это нас привело.

Курт. И подумать, что за такую дрянь можно себе наделать столько хлопот! Не лучше ли было работать? У тебя были честные родители, у меня тоже, и в настоящее время мы не опозорили бы их имя.

Рауль. О, не это заставляет меня особенно сожалеть, а те господа, которых мы *спровадили*... Несчастные!

Курт *(обнимая его)*. Ты хорошо делаешь, что раскаиваешься. Кто убивает себе подобных, тот не должен жить. Это — чудовище.

Придворный духовник. Однако, дети мои, время идет да идет.

Рауль. Хорошо им говорить — Всевышнее Существо… Если Оно есть, то никогда не простит нам.

Придворный духовник. Милосердие Божие неистощимо… Спаситель, умирая на кресте, ходатайствовал перед Отцом за покаявшегося разбойника.

Курт. Кабы Он и за нас умолил!

Один из духовников. Вознесите ваши души к Господу, дети мои, падите ниц и молитесь.

Оба осужденные глядели на меня, как бы ожидая моего совета, что им делать; они как будто страшились, чтобы я не осудил их в слабости.

Я. В этом нет никакого стыда.

Рауль *(своему товарищу)*. Ну, друг, поручим себя Богу.

Они стали на колени и около пятнадцати минут оставались в этом положении.

Часы пробили половину двенадцатого; они, взглянув друг на друга, произнесли вместе: «Через тридцать минут с нами будет покончено!» И с этими словами встали. Видя, что они желают говорить со мной, я, находясь несколько поодаль, приблизился.

— Господин Жюль, — начал Курт, — если вы

будете настолько добры, мы попросили бы вас об одном последнем одолжении.

— О каком? Я готов служить с удовольствием.

— У нас есть жены в Париже. У меня жена… Вот что разрывает мое сердце… Это сверх сил моих!

Глаза его наполнились слезами, голос оборвался, и он не мог продолжать далее.

— Что же это Курт, — сказал Рауль, — что с тобою? Не будь же ребенком… Я не узнаю тебя; или ты не мужчина, потому что у тебя есть жена! А у меня разве ее нет? Будь же потверже.

— Теперь прошло… — перебил Курт. — Я хотел только сказать, господин Жюль, что у нас есть жены, и мы желали бы дать вам некоторые поручения к ним, если это не особенно вас обеспокоит.

Я обещал исполнить все, что они желают, и, когда они высказались, я подтвердил уверения, что свято выполню их поручения.

Рауль. Я был уверен, что вы нам не откажете.

Курт. С хорошими людьми никогда не останешься без помощи. Ах, господин Жюль, чем нам вас отблагодарить за все это?

Рауль. Если то, что говорит священник, не вранье, то когда-нибудь мы свидимся на том свете.

Я. Надо надеяться; может, это будет скорее, чем

вы думаете.

Курт. Это путешествие делают как можно позднее, а мы уже готовы отправиться.

Рауль. Господин Жюль, ваши часы верно идут?

Я. Мне кажется, они немного вперед. *(Я вынимаю часы.)*

Рауль. Ну-ка, посмотри. Уж полдень.

Курт. Колючка-то (смерть), как она торопится!

Рауль. Большая стрелка заходит за маленькую. Нам с вами не скучно, господин Жюль… Но надо расстаться. Вот возьмите эту болтовню, нам она не нужна больше (болтовней он назвал «Мысли христианина»).

Курт. А эти два распятия возьмите также, это вам, по крайней мере, напомнит о нас.

Послышался стук кареты; осужденные побледнели.

Рауль. Раскаяние — хорошая вещь; но ужели в самом деле я иду умирать? Не станем хвастаться хладнокровием, как некоторые, а постараемся быть твердыми.

Курт. Да, будем твердыми и раскаивающимися.

Приехал палач. Садясь в тележку, осужденные стали прощаться со мной.

– А вы ведь поцеловали две мертвые головы, —

сказал Рауль.

Поезд направился к месту казни. Преступники внимательно слушали увещания своих духовников, как вдруг они задрожали: до ушей их долетел голос Фонтена, который, излечившись от ран, появился в числе зрителей. Предаваясь чувству мести, он выражал свирепую радость. Рауль узнал его и взглядом презрительной жалости дал мне понять, что присутствие этого человека ему тягостно. Так как Фонтен был возле меня, то я велел ему удалиться. Курт и Рауль наклонением головы изъявили мне свою благодарность за такое внимание.

Курт был казнен первым. Взойдя на эшафот, он еще раз взглянул на меня, как бы спрашивая, доволен ли я им. Рауль выказал не менее твердости. Он был в цвете жизни: два раза голова его подпрыгнула на роковом помосте, и кровь брызнула с такой силой, что попала на стоявших в двадцати шагах.

Таков был конец этих двух человек, злодейства которых были не столько следствием дурной натуры, сколько столкновения с развращенными личностями, составляющими в среде общества свое отдельное общество, со своими особенными правилами, добродетелями и пороками.

Раулю было не более тридцати восьми лет: он был высок, статен, ловок и силен; брови его были приподняты, глаза черные, блестящие, хотя маленькие, но живые; лоб, не будучи вдавленным, был слегка запрокинут назад, уши были несколько оттопырены и как бы приставлены к двум выпуклостям, подобно как у итальянцев, с которыми он имел общий цвет лица. Физиономия Курта представляла одну из трудноразрешимых загадок. Глаза его не были косые, но как бы тусклые, и общие черты, по правде сказать, не представляли ни хорошего, ни дурного значения; только выдающиеся костлявые выпуклости, как у основания лба, так и у обеих скул, указывали на свирепые инстинкты. Может быть, эти признаки кровожадности развились от привычки к убийству.

Другие подробности, относившиеся преимущественно к игре физиономии, имели не менее глубокий смысл; в них проглядывало что-то гнусное, что заставляло беспокоиться и содрогаться. Курт был сорока пяти лет и с самой молодости вступил на дорогу преступления! Чтобы наслаждаться столь долгой безнаказанностью, ему необходимо было иметь достаточную дозу коварства и хитрости.

Поручения, данные мне этими двумя убийцами, доказывали, что их сердца еще были доступны добрым чувствам; я исполнил их с точностью. Что касается до подарков, то я тоже их сохранил, и до сих пор еще можно видеть у меня «Мысли христианина» и два распятия. Пон Жерар, которого не могли уличить в убийстве, был приговорен к вечной каторжной работе.

Глава сорок четвертая

Дело Прюно, или Неожиданное открытие. – Заявление эмигранта. – Домашняя кража. – Похищенная жена. – Г-н Беко и герцог Моденский в поисках бежавшей супруги. – Птичка опять улетела! – Эпизод с тюремщиком Бальи. – Категории воров. – Комнатные воры

Вследствие опытности я дошел в своем ремесле до некоторого рода ясновидения, казавшегося чудом. Как часто я поражал удивлением лиц, приходивших жаловаться по поводу какой-нибудь кражи: стоило им только сообщить два-три обстоятельства, как я уже догадывался, в чем дело, доканчивал рассказ или, не ожидая более подробных разъяснений, произносил пророческий приговор: *виновный вот кто*. Все удивлялись; но были ли благодарны?.. Не думаю, потому что обыкновенно жалующийся приходил к тому заключению, что или он обокраден с моего ведома, или я продал душу черту; так думали мои клиенты, не воображавшие, что можно получить сведения другими путями.

Самое популярное и распространенное мнение было то, что я был главной пружиной или потворствовал большей части краж: думали, что я был в прямых сношениях с ворами, был предупреждаем ими заранее насчет задуманных преступлений, или если иногда боялись предупредить, чтобы не упустить из рук благоприятной случайности, то после успеха непременно сообщали мне. Прибавляли, что они делились со мной своей добычей и что я выдавал их только тогда, когда деятельность их не приносила мне выгоды. Какие простачки должны они были быть, чтобы жертвовать собою человеку, который рано или поздно должен был предать их правосудию! Впрочем, нет нелепости на свете, которую бы не решились выдумать; но так как во всякой нелепости редко не бывает какого-нибудь зародыша истины, то вот на чем основывали и эти заключения.

По своей обязанности, интересуясь знать по возможности всех воров и воровок по профессии, я старался с помощью денег осведомляться о состоянии их финансов, и если замечал значительную перемену в их положении, то, естественно, заключал о приобретении ими добычи; когда это совпадало с заявлением о краже, то заключение делалось еще вернее, хотя оно было все еще не бо-

лее как предположение; но я старался выспросить малейшие подробности, служащие к раскрытию средств, употребленных для совершения преступления, отправлялся на место преступления и часто, еще не делая никаких розысков, говорил потерпевшему: «Доказательством этому служит следующий факт, единственный в своем роде».

Г-н Прюно, торговец новомодными изделиями в улице Сен-Дени, был обокраден ночью. В его магазин забрались посредством взлома и украли пятьдесят кусков ситца и несколько дорогих шалей. С раннего утра Прюно прибежал в мое бюро и не успел еще окончить рассказ о своем несчастье, как я ему уже назвал виновников его. «Кража совершена не кем иным, как Бертой, Монгодадом и их сообщниками».



Я тотчас же отправил по их следам своих агентов с приказанием удостовериться, делают ли они какие издержки. Через несколько часов мне пришли сообщить, что обе заподозренные личности встречены в дурном месте, в сообществе известных Тулуза и Реверана, прозванного Морозини. Те и другие были одеты в новое платье и, по

всей очевидности, были при деньгах, потому что пировали с проститутками. Мне был известен их главный укрыватель, у которого я немедленно велел сделать обыск, и действительно вещи были найдены. Укрыватель не избег своей участи и был послан в каторжные работы; что касается до воров, то для их осуждения надо было выдумать очевидное доказательство, что и было сделано хитростью моего изобретения: они были пойманы и уличены.

Для более успешного выполнения своей обязанности мне необходимо было обладать чутьем и сметливостью: я часто так уверен был в какомнибудь факте, что не только называл ex abrupto, имена и жилище воров, но даже точно определял их приметы и обозначал способ, какой они могли употребить для совершения преступления.

Профаны, незнакомые со средствами полиции, не могут представить себе, что, помимо бесчестных путей, можно обладать такой проницательностью; для не привыкших размышлять это казалось столь необычайным, что без малейшего недоброжелательства ко мне они подозревали стачку, которой не существовало; но большая часть парижских обывателей воображала, что я обладаю даром все видеть, все слышать и все

знать; без преувеличения можно сказать, что в их глазах я был нечто вроде святого пустынника; ко мне обращались во всевозможных случаях и весьма часто в таких, которые нимало не относились к моей должности. Трудно вообразить себе, с какими странными заявлениями иногда являлись ко мне, для этого надо было побывать в моем бюро во время приема публики. Входит, например, крестьянин.

— Сударь, я, значит, пошел в Ботанический сад; хожу, гляжу это себе зверей, как вдруг подходит ко мне барин, разодетый, что твой принц, и спрашивает это меня, что я-де из Бургундии? Ну, мы в ответ, что, мол, так точно. Тут он говорит, что сам он из Жуаньи и торгует дровами, стало быть, мы земляки; слово за слово, позвал он меня смотреть *мертвую голову*. Он показался таким славным парнем, право слово! Ну я без всякого, значит, сумления пошел с ним, и, как вышли это мы из сада, за решеткой встретились ему еще знакомые. Один из них торгует холстом.

— Их было двое, не правда ли? Молодой и старый?

— Так точно.

— Старик еще вез вино в склад?

— Как есть.

— Вижу, в чем дело. Они вас обработали.

— Так, так, ваша милость, верите ли, две тысячи франков стащили! Сто талеров славными двадцатифранковыми монетками.

— А, так это было золото? Они не научили ли вас его прятать?

— Да, конечно, научили так хорошо, что я после уже никак не мог найти.

— Так, я знаю ваших приятелей. Как вы думаете, Гури, — обратился я к одному из своих агентов, — ведь это, верно, Гермель, Депланк и отец семейства?

Агент. Кажется, что так.

— Меж ними не был ли кто с длинным носом?

— О да, и с очень длинным.

— Я вижу, что не ошибся.

— Конечно нет. Как это вы сразу отгадали! Длинный нос! Ах, господин Видок, какой вы милый человек! У меня и от сердца отлегло.

— Почему же?

— Да так как ваши друзья меня обворовали, то вам легко будет разыскать мои деньги! Только уж похлопочите, чтобы это было поскорее. Нельзя ли нынче?

— Мы так скоро не приступаем к делу.

— Дело в том, что мне непременно надо скорее

вернуться на свою сторону. Я уж и так совсем отстал от дома; там жена одна-одинешенька, да, окромя того, через четыре дня у нас там ярмарка в Оксере.

— О, о, вы спешите, мой любезнейший!

— Да, очень спешу. Но послушайте, можно уладить: дайте мне только сейчас тысячу пятьсот франков, и я ничего не спрошу больше. Идет? Кажись, нельзя и быть податливей этого!

— Это правда; но только я не заключаю подобных сделок.

— А ведь оно как есть в ваших руках.

За бургундцем следовал мальтийский кавалер, вероятно получивший позволение на брак, потому что с ним прибыла его достойная половина и даже в сопровождении няньки.

Кавалер. Милостивый государь, я маркиз Дюбуавеле, старый эмигрант, имевший случай дать несомненные доказательства моей преданности фамилии Бурбонов.

Я. Это делает вам честь; но что вам угодно в настоящую минуту?

Кавалер. Я пришел просить вас немедленно разыскать и задержать моего лакея, бежавшего от меня с тремя тысячами семьюстами пятьюдесятью франками и моими украшенными часами,

которые для меня очень дороги.

Я. Больше ничего не было украдено?

Кавалер. Кажется, ничего.

Жена. Конечно, он таскал и еще многое; вы знаете, маркиз, что уже с давних пор почти не проходило дня, чтоб у нас не пропало то одно, то другое.

Кавалер. Это правда, маркиза; но в настоящую минуту я хочу разыскать хоть только наши три тысячи семьсот франков и часы. Главное — часы, мне их надобно во что бы то ни стало. Во-первых, они мне подарены покойницей Madame Веллербель, моей крестной матерью, и вообще, я ни за что не желаю их потерять.

Я. Очень может быть, что они и разыщутся; но сначала вы должны мне назвать имя, фамилию и описать приметы вашего слуги.

Кавалер. Имя его нетрудное: его зовут Лоран.

Я. Откуда он родом?

Кавалер. Кажется, из Нормандии.

Жена его. Ты ошибаешься, мой друг. Лоран из Шампани. Я часто слышала, что он родился в Сен-Кентене. Да вот Кунигунда может нам это лучше разъяснить. *(Обращаясь к няньке.)* Кунигунда, не правда ли, что Лоран из Шампани?

Кунигунда. Прошу извинить, сударыня, он,

кажется, из Лотарингии. Ему приходили письма всегда из Дижона.

Я. Вы не согласны друг с другом насчет места его родины. Затем имя Лоран, вероятно, не более как крестное имя. Мало ли сколько Жанов да Мартинов! Необходимо, чтобы вы сказали его прозвище или, по крайней мере, описали бы его настолько подробно, чтобы его можно было узнать.

Кавалер. Его фамилию! Едва ли она у него была. Вы знаете, эти люди живут без фамилии и зовутся так, как их назовут. Я звал его Лораном, потому что так мне было удобнее и так звали его предшественника; имя передается вместе с ливреей. Что касается до его родины, то разве я вам не сказал? Он нормандец, шампанеец, пикардиец или лотарингец. Относительно его наружности — рост его обыкновенный, глаза… Господи! Глаза как у всех… Как у вас, как у меня, как вот у них… Нос его самый обыкновенный; рот — я никогда не обращал внимания на его рот. Известно, держишь лакея для того, чтобы он служил. На него и не смотришь. Сколько мне припомнится, он брюнет или темно-русый.

Жена. Друг мой, кажется, он блондин.

Кунигунда. Блондин египетский: он рыж, как морковь.

Кавалер. Очень может быть, но это не важно. Что нужно господину Видоку, это то, что до воровства я звал его Лораном и он должен отзываться на это имя, если не взял себе другого.

Я. Совершенно справедливо; господин де Ла-Палис не сказал бы лучше. Но вы согласитесь, что для начатия следствия мне необходимы сколько-нибудь более точные данные.

Кавалер. Больше я ничего не могу сказать вам; но, по моему мнению, этого совершенно достаточно. При некоторой ловкости ваши агенты скоро его разыщут и узнают, где он тратит мои деньги.

Я. С удовольствием готов бы служить вам; но как могу я начать действовать со столь слабыми указаниями?

Кавалер. А между тем я пришел сюда с такими положительными сведениями, что, по-моему, вам остается только захотеть. Я вам даю дело совсем подготовленное. Может, я забыл сказать, сколько ему лет; с виду от тридцати до сорока.

Кунигунда. Он не был так стар, господин маркиз; ему года двадцать четыре и никак не более двадцати восьми.

Кавалер. Двадцать четыре, двадцать восемь, тридцать, сорок, не все ли это равно!

Я. Не настолько, как вы думаете. Но откуда вы

его взяли? Вам, конечно, его кто-нибудь рекомендовал или доставил?

Кавалер. Никто не рекомендовал нам его; просто прислал наемный извозчик, вот и все.

Я. Была на нем ливрея?

Кавалер. Нет, не было.

Я. Был какой-нибудь аттестат, свидетельство?

Кавалер. Он мне показывал бумаги, но это ни к чему не нужно; я и не обратил на них внимания.

Я. В таком случае как же вы желаете, чтобы я нашел вашего вора? Вы не даете мне ничего, решительно ничего, что могло бы навести на след.

Кавалер. Право, вы смешны… Я ничего не даю! Да я уж вот четверть часа стараюсь разъяснить вам. Я отвечал на все ваши вопросы; если вам прямо отдать воров в руки, то незачем и полиция. Да, это не господин Сартин! Ему стоило сказать сотую часть того, что я передал вам, и мой лакей, и мои часы, и мои деньги были бы уже найдены.

Я. Господин Сартин был великий человек. Что касается до меня, то я не могу совершать таких чудес.

Кавалер. Ну, в таком случае, милостивый государь, я тотчас же иду к господину префекту жаловаться на вашу беспечность. Когда вы отказываетесь действовать, то мои друзья узнают,

что полиция никуда не годится, и скажут это с трибуны. Я пользуюсь кредитом, влиянием, пущу их в ход, и тогда мы посмотрим.

Я. Прошу покорно, господин маркиз, счастливого пути.

Затем является личность в блузе, мальчик ведет ее.

— А што, тут старшой над полицейскими сыщиками, што ищо так знатно воров-то ловит?

— Войдите, что вам нужно?

— А вот что, барин, сичас на площади у меня, значит, выкрали серебряные часы.

— Ну как же это с вами случилось? Расскажите как можно подробнее.

— Надо вам сказать, сударь, что я прозываюсь Людвиг Вирлуэ, крестьянин-землепашец и виноградарь в Конфлан-Сен-Онорине, как следует, женатый и отец семейства, имею четверых деток и жену, значит, их мать. Прибыл это я в Париж за бочками, иду, значит, своей дорогой, как вдруг на площади недалече отсель, да во как, шагов десять каких-нибудь, у самой это стены меня останавливают и ударяют эдак по плечу. Оглянулся это я… Вижу, девушка говорит это мне: «Это ты, мой друг Федорушка?.. Так и есть, что ты; дай я тебя поцелую». И не успел это я ничего сказать,

она поцеловала и зовет распить бутылку вина. Я, известно, как виноградарь, выпить никогда не прочь; на что лучше! Тут говорит она, что у нее есть подруга и что она ее, значит, позовет. «Ладно, мол, только не замешкайся». Ну и остался я ждать-пождать. Соскучился это и хочу взглянуть на часы… Что, мол, долго нейдет. Глядь… Ан часов-то и нет, что-те корова языком слизала. Дело ясно, простись с часиками. Бегу сломя голову; ее и след простыл. А кого я, значит, спрашивал, указали идти сюда; что ваша партия разыщет мои серебряные часы, заплаченные пятьдесят пять франков в Понтуазе; уж и шли же они верно, и числа месяца показывали. Еще на них волосяной шнурочек, который моя дочка сама связала.



— Заметили ли вы сколько-нибудь наружность этой женщины?

— Той, которая меня обокрала-то?

— Да.

— Она не оченно стара, ну и не совсем молода тоже; не оченно толста и не худа, середка на половине; она будет футов пяти без восьми али

девяти дюймов, я так примерно говорю; кружевной чепец; нос вздернутый, довольно толстый. Как это вам дать примерно толщину ее носа? Да вот как эта груша на вашей бумаге, должно быть, чтоб не сносилась ветром; если это и не совсем так, то разве на лошадиный волосок. Юбка красная, глаза голубые, черепаховая табакерка с запахом розана.

— Вы передаете мне довольно странные подробности и просто морочите нас: я уверен, что вас не на дороге обокрали. Чтобы заметить все эти подробности, надо было видеть женщину долго и близко. Вместо того чтобы рассказывать вещи, не имеющие смысла, сознайтесь, что вы пошли в публичный дом и, пока делали условие, ваши часы исчезли.

— Знать, от вас ничего не затаишь. Ну да, это так и было.

— Зачем же вы рассказываете сказку?

— Мне сказывали, что так нужно говорить, чтобы разыскались мои пятидесятипятифранковые часы.

— Можете вы назвать дом, куда пошли с этой женщиной?

— Почему нет! Это дом на углу улицы, сидели мы в комнате со столом.

— Вот поистине точные сведения для того, чтобы разыскивать!

— Ну тем и лучше; так я увижу свои часы?

— Не говорю вам этого, потому что вы мне даете такие странные сведения.

— Как, разве я вам не сказал сейчас же, сию минуту, что у нее красные глаза, то есть красная юбка, с голубыми глазами, кружевной чепец? Не ясно ли, кружева? Вот не припомню цвет ее чулок; но хорошо знаю, что у нее были подвязки со шнурками. После этого нечего вам разжевывать; вы сами знаете остальное. Как только вы мне разыщете часы, я вам поставлю бутылку и дам десять франков угоститься с вашими приятелями.

— Благодарю вас, я не действую из корысти.

— Дело хорошее; только надо, чтоб каждый имел пользу от своего ремесла.

— Я у вас ничего не прошу.

— Это так, но вы велите, чтобы мне отдали мои часы с числами?

— Да, если нам их принесут, я вам перешлю.

— Надеюсь на вас; только, пожалуйста, не позабудьте.

— Будьте покойны.

— Прощенья просим, барин.

— До свидания.

— Да, до будущего случая.

По удалении виноградаря, озаренного надеждой, несмотря на свое супружеское вероломство, явился один из тех добродушных лавочников улицы Сен-Дени, которые, несмотря на ограниченность своих умственных способностей, приводят наизусть метаморфозу бедного Актеона.

— Милостивый государь, — говорит он, — я пришел просить вас немедленно разыскать мою жену, бежавшую сегодня вечером с моим приказчиком. Я не знаю, куда они отправились, но они не должны быть далеко, потому что пошли не с пустыми руками: деньги и товары они все с собой захватили, и их-то не поймать! О, если бы их поймали! А то придется даром потерять труд и время. Я уверен, что они еще в Париже, и если вы тотчас станете их разыскивать, то они будут в наших руках.

— Я должен вам заметить, что мы не можем начать так действовать самовольно; нам нужен приказ. Вы должны подать жалобу на вашу жену и на похитителя, уличить их в прелюбодеянии и в похищении у вас денег и товаров.

— Да, хорошо это будет, нечего сказать! Я буду подавать жалобу, заниматься всякими пустяка-

ми, а они меж тем навострят лыжи!

— Очень может быть.

— Простительна ли подобная медленность, когда дело гибнет! Наконец, как бы то ни было, жена моя все-таки моя жена. Каждый день, каждую ночь преступление все увеличивается. Я муж, я оскорблен, я имею свои права. Ей стоит народить детей, и, спрашивается, кто будет им отец? Конечно, не настоящий отец, а я. Так как нет более развода, то закон должен бы был предусматривать…

— Ах, милостивый государь, закон ничего не предусматривает; у него есть предписанная форма, от которой нельзя отступать.

— Хороша форма! Коли так, то приходится сказать, что форма берет верх над сущностью. Бедные мужья!

— Я знаю, что вы достойны сочувствия, но со своей стороны ничего не могу; притом не вы один.

— Ах, господин Жюль, вы так обязательны, сделайте одолжение, велите их арестовать сегодня же; возьмите это на себя, умоляю вас, не откажите мне; вы увидите, что не будете в этом раскаиваться!

— Повторяю вам, что для исполнения вашего

желания мне необходимо предписание юридической власти.

— Ну, я вижу ясно, что у меня отнимают жену и имущество! Кому оказывают покровительство? Пороку. Делает ли это честь полиции! Если бы надо было арестовать бонапартиста, то вы бы все поднялись на ноги, а дело идет об обманутом муже — вы и не пошевельнетесь. Приятно видеть, как полиция себя держит; ну, за то теперь ждите меня! Жена может вернуться, когда ей заблагорассудится, и если ее опять у меня украдут, то уж я, конечно, не к вам обращусь; Боже меня избави!

Обиженный муж удаляется, весьма недовольный, и мне объявляют, что какая-то странная личность просит меня на несколько минут разговора. Является длинная фигура, длинное платье, длинный жилет, длинные руки и ноги, лицо длинное, исхудалое, как бы приделанное к длинной, неуклюжей шее, вполне соответствовавшей всей остальной фигуре; все это как бы двигалось на пружинах. При виде этого автомата, с его узенькими фалдами, бившими по пятам, с толстым жабо, воротником с брыжами, с длиннейшими манжетами, огромным зонтом и крошечной шелковой шапочкой, я насилу удержался, чтобы не захохотать ему прямо в лицо: так

вид его был комичен и наряд забавен.

— Сделайте одолжение, садитесь, — сказал я, — и объясните мне причину вашего посещения.

Он начал самым ломаным французским языком, с сильным английским акцентом[13].

— Милостивый государь, вам свидетельствует свое почтение господин Ловендер, частный пристав улицы Боу, в столице Великобритании. Он мне рекомендовал вас для того, чтобы разыскать мою жену, которая строит мне теперь рога в Париже с господином Гавиани, офицером, проводящим жизнь в публичных домах.

— К несчастью, милостивый государь, я только что отказал в своем содействии относительно точно такого же дела. Если дело идет только о разыскании, то, из уважения к просьбе господина Ловендера, я могу указать вам человека, который за известное вознаграждение согласится употребить все средства, требуемые обстоятельством.

— Да, да, именно разыскание… Я понимаю и очень вам благодарен.

— Скажите мне, пожалуйста, имя вашей супруги, опишите ее приметы и сообщите все

---

[13] Примечания: 13

К сожалению, в переводе невозможно передать всю оригинальность речи этой оригинальной личности, так как весь разговор заключается в смешной неправильности французского языка. *(Примеч. перев.)*

подробности, которые сочтете нужными.

— Я вам сказываю, что жену мою зовут мадам Беко, потому что я сам мосье Беко, так же как и брат мой близнец, как и отец наш, который тоже назывался Беко. Моя жена вышла за меня в 1815 году в Лондоне. Она была хороша собой, блондинка с черными глазами, с приличным носом; зубы у нее были маленькие, белые, груди большие; она говорила по-французски еще лучше меня. Если вы ее разыщете, я ее тотчас же возьму и отвезу в пакетбот в Лондон.

— Я, кажется, уже сказал, что не беру на себя этого дела, а укажу вам особу, которая вполне войдет в ваше положение. Живе! Позовите мне герцога Моденского, скажите, чтобы он сейчас же пришел с отцом Мартином.

Герцог Моденский было шутливое прозвище тайного агента, человека хорошего тона, который назначен был мною для наблюдения за игорными собраниями.

— О, о, вы мне рекомендуете герцога, я в восторге! Герцог, это отлично! Если он захватит мою жену с этим офицером, то развод, которого я желаю, поразит ее, как громом.

— Я ручаюсь, что он их захватит вместе; даже уверен, может застать их в постели, если вы этого

пожелаете.

— О, о, лежащих в постели, ничего лучше не может быть для развода! Для очевидного доказательства постель, это прелестно… Я, милостивый государь, я вам чрезвычайно благодарен.

Герцог Моденский не заставил себя ждать. При появлении его Беко встал, отвесил троекратный поклон и начал так:

— Господин герцог, мне нужно, чтобы вы оказали услугу несчастному мужу, которого жена привела в отчаянное положение.

Агент, видя ошибочное мнение о себе англичанина, тотчас же принял важный вид, соответствовавший пожалованному ему титулу. С достоинством заключивши условие насчет своего гонорара и собравши сведения, которые только мог сообщить г-н Беко, он обещался тотчас же приступить к делу, чтобы достигнуть наискорейшего результата.

При окончании этих переговоров мне передали приглашение королевского прокурора немедленно к нему явиться. Мы расстались с г-ном Беко, назначивши аудиенцию на завтра. Я вообще не прочь от отступлений, и читателю, может быть, небезынтересно будет узнать, чем окончилось это дело.

Не прошло двух суток, как герцог Моденский пришел заявить мне, что он открыл убежище неверной. Она была со своим итальянцем, и хотя они приняли предосторожности, узнавши о приезде мужа, но агент был уверен, что представит их последнему на месте преступления и что со стороны улик не останется ничего желать более. Пока он мне объяснял задуманный им хитрый план, вошел г-н Беко, которого я велел предупредить. Он пришел в сопровождении своего братца, представлявшего другой экземпляр британской карикатуры. «Они как раз пара», — заметил тихонько агент.

— Здравствуйте, господин Видок. А, вот и господин герцог, свидетельствую ему свое почтение.

— Господин герцог принес вам важную новость.

— А-а, важную новость! Вы их нашли? Вы можете говорить при этом господине, это тоже Беко, мой брат-близнец; вы нашли, действительно нашли?

— Расскажите им, господин герцог.

— Да, да, расскажите, господин герцог.

— Да, я нашел их и, если вы желаете, берусь вам показать их обоих на одной постели.

— На одной постели! — вскричал братец-близ-

нец. — Да это было бы чудо; вы колдун, господин герцог!

— Уверяю вас, что в этом нет ничего сверхъестественного.

— Да, да, естественно, вполне натурально; на одной постели, брачное сожительство, превосходно, превосходно! — повторял, восторгаясь, шурин г-жи Беко, муж которой вне себя от радости выражал свой восторг самыми смешными кривляньями и гримасами.

Леди Беко и ее похититель несколько месяцев прожили в улице Фейдо, у одной из тех дам, которые ради своей выгоды и удобства иностранцев держат в одно и то же время табльдот и экарте; но, предвидя преследование по приезде двух близнецов, преступная чета скрылась в Бельвилле, где один из друзей мадам Беко, генерал, принял их под свое покровительство. Предположено было накрыть их в этом убежище, и так как г-н Беко весьма торопился, то дело близилось к концу.

Следующий день было воскресенье, у генерала назначен был большой обед, а после обеда, по принятому в доме обычаю, садились за карты. Герцог Моденский, давно известный за ловкого флибустьера, имел, таким образом, достаточный предлог войти в общество, куда шулера охотно

принимались. Он воспользовался случаем, при начале вечера отправился в Бельвилль и просидел в гостиной генерала до двух часов утра. Затем пошел к двум братьям, которые дожидались его недалеко оттуда в наемной карете.

— Ну теперь, — сказал герцог, — парочка сошлась.

— Они вместе! — воскликнул г-н Беко.

— Да, и если вы чувствуете в себе достаточно храбрости, чтоб влезть на стену, то я берусь вас провести до алькова.

— Как вы сказали? Влезать? Что это значит?

— А надо перелезть через садовую стену.

— Черт возьми, перелезать!.. Вы хотите, чтобы я лез? А лакей кричит: «Караул, воры!..» Нет, нет, влезать не надо… А палка, а ружье, пиф-паф, бац, и я полечу вниз… И господин Гавиани будет торжествовать. Нет, не надо влезать!

— Но если вы желаете, чтобы преступление было очевидно доказано…

— Мы, Беко, господин герцог, все мы не любим опасности.

— В таком случае придется захватить виновных вне жилища генерала, тогда не будет никакого риска. Я знаю, что после завтрака они сядут в экипаж, чтобы отправиться в Париж. Вам жела-

тельно захватить их в карете?

— Да, да, в карете будет благоразумнее.

Герцог Моденский, его помощник, отец Мартин и оба островитянина стали на страже в ожидании отъезда. В это время г-н Беко делал тысячу вопросов и замечаний, одни нелепее других. Наконец в два часа пополудни наемная карета остановилась у подъезда, через минуту показалась мадам Беко со своим возлюбленным. Читатель, пожалуй, подумает, что при этом г-н Беко не мог удержаться, чтобы не выразить своего негодования, ничуть не бывало, он и бровью не моргнул. Мужья-англичане удивительны.

— Видишь, — сказал он брату, — вот и жена моя с любовником.

— Да, да, вижу… Они сели в карету.

Известно было, что карета направится в улицу Фейдо. Англичане велели кучеру гнать, чтобы опередить ее, и когда они были у ворот Сен-Дени, в том месте, где возвышающийся всход ведет на бульвар «Приятная Новость», они вышли из экипажа. Вскоре показалась карета шагом. Полицейские ее останавливают, и Беко, растворивши дверцы, произносит с невообразимой флегмой:

— А, здравствуйте! Прошу извинить меня, милостивый государь, я пришел за своей женой,

которую вы ласкаете вместо меня.

— Пожалуйте, сударыня, — добавил брат, — довольно вам строить рога-то, пойдемте с нами.

Гавиани и г-жа Беко, приведенные в ужас, ни слова не говоря, вышли из кареты, и пока первый расплачивался с извозчиком, бедную леди безжалостно засадили в другую карету, между двумя Беко. Все молчали; вдруг мадам Беко, как бы мало-помалу очнувшись от ужаса, бросилась к дверцам и закричала:

— Гавиани, Гавиани, друг мой, будь покоен, нас разлучит только смерть.

— Молчите, мадам Беко, — сказал ей холодно муж. — Я велю вам молчать, вы злая женщина, вы еще смеете звать Гавиани… Вероломная вы женщина, да, очень вероломная. Вот я вас засажу…

— Ничего вы не сделаете.

— Сделаю, сделаю… — повторял он, качая головой между ручками двух зонтов, которые, будучи из оленьего рога, составляли для его чела весьма соответствующее украшение.

— Господин Беко, все, что вы ни сделаете, будет бесполезно… О, мой дорогой Гавиани!

— Опять Гавиани, все Гавиани!

— Да, все Гавиани. Я вас ненавижу, презираю.

— Вы моя жена.

— Да вы взгляните на себя, господин Беко, ну годитесь ли вы в мужья кому бы то ни было? Во-первых, вы безобразны, во-вторых, стары, смешны и вдобавок ко всему ревнивы.

— Я ревную законно.

— Вы хотите развода, а разве он уже не сделан, я от вас бегаю, что вам еще надо?

— Я хочу быть признан законным образом обманутым мужем.

— Вам угодно скандала!

— Вы хотите обманывать меня по своей фантазии; а я хочу по своей быть признанным публично и законно обманутым.

— Вы в моих глазах чудовище, тиран; никогда я с вами не останусь.

— А вот вы останетесь в тюрьме.

— Живою вы меня не получите. — И, говоря это, она сделала вид, что готова расцарапать себе лицо.

— Держи ей руки, брат.

И братец действительно принялся держать ее за руки. Она несколько времени боролась, потом как бы успокоилась; но блеск глаз выдавал всю силу гнева и ярости, которой она была проникнута.

Раскрасневшаяся, но прекрасная, как только

может быть прекрасна страсть, она возле этих странных фигур, этих неподвижных, замороженных физиономий похожа была на царицу вакханок между двух уродов или на вулкан любви между двух ледяных гор. Как бы то ни было, возвращение г-на Беко в занимаемый им отель, в улице Мир, было торжеством. Первым его делом было запереть свою жену в комнату, ключ от которой он никому не доверил. Но когда муж становится тюремщиком жены, ей так приятно обмануть его бдительность! Известна песня: «Несмотря на замки и сторожей» и т. д. На третий день этого супружеского плена г-же Беко, очевидно, надоело сидеть в клетке. На четвертый день, около полудня, я зашел к г-ну Беко и застал его с братом перед пудингом и дюжиной бутылок шампанского, уже раскупоренных.

— А, здравствуйте, господин Видок! С вашей стороны очень любезно было прийти. Вы выпьете с нами шампанского?

— Благодарю вас, натощак я никогда его не пью.

— То-то, вы не англичанин.

— Ну вот вы и в радости; герцог Моденский возвратил вам вашу супругу, поздравляю вас.

— Поздравляете! Да она уж опять убежала,

мадам Беко.

— Как! Вы не сумели ее стеречь?

— Она убежала, говорю вам, разбойница!

— Когда так, не станем больше и поминать о ней.

— Да, лучше и не говорить, будем пить шампанское.

Эти господа опять настаивали, чтобы я выпил с ними за компанию; но так как мне нужно было сохранить хладнокровие, то я просил избавить меня от угощения и, пожелав им всего лучшего, простился с ними. Они, без сомнения, скоро очутились под столом.

Ни в одной европейской столице, исключая Лондон, нет столько воров, как в Париже; его мостовую гранят всевозможные плуты. Это и неудивительно, потому что легкость смешаться с толпой позволяет стекаться туда всему, что есть худшего как во Франции, так и за границей. Большая часть совсем поселяется в этом громадном городе; а другие являются только как перелетные птицы, при больших торжествах или в суровое время года. Наряду с этими чужеземцами есть туземцы, составляющие в населении дробь, знаменатель которой довольно значителен.

Парижские воры вообще находятся в презре-

нии у воров провинциальных: они справедливо пользуются плохой репутацией в том отношении, что способны без сожаления продать своих товарищей, лишь бы сохранить свободу. Поэтому если каким-либо обстоятельством они вытеснены из своей сферы, то им нелегко куда-нибудь приткнуться; кроме того, у них большое пристрастие к месту родины. Дети Парижа не могут расстаться со своей матерью, к которой чувствуют неистощимую нежность:

Сердцам всем благородным отчизна дорога!

Перенесенный в провинцию парижский вор совсем не на своем месте: если бы он свалился с луны, как аэролит, то он не мог бы быть чуждым более новичком; это совершенный разиня в полном смысле слова; он то и дело боится принять куницу за лисицу. Ужасная вещь находиться в незнакомой почве! Он не знает, куда класть руку и ногу; может, он идет прямо по горячим угольям: Cineri doloso. Он не смеет сделать шага, потому что у него завязаны глаза, и он знает, что если наткнется, то никто ему не крикнет: «Смотри, сломишь шею!»; напротив, еще потешаются, когда он в опасности, потому что считают его трусом. Если он втянулся в неловкое дело, ему дают покончить, да еще наталкивают, и если на

пути он встретит жандармов, если с ним случится несчастье или поражение, то хитрецы над ним же издеваются.

В маленьком городе вор совсем не у места; это курица с одним цыпленком, он там, как рыба в масле или муха в молоке, словом, не в своем элементе. В маленьком городе слишком тихо и спокойно, жизнь слишком правильна, слишком видна; гораздо лучше тревога, смятение, беспорядок, беспокойное течение жизни. Все эти преимущества соединяются в Париже, маленьком, но густонаселенном департаменте Сены, в окружности от пяти до шести миль, на пространстве, которого едва бы достало на устройство парка какого-нибудь вельможи. Париж есть не более как точка на глобусе; но эта точка представляет собою сток нечистот. На этой точке кружатся, проходят, переходят, скрещиваются мириады людей обеспеченных. Парижский вор привык к этой суматохе и без нее чувствует пустоту, утрачивает свою ловкость. Он это хорошо знает, и если ему удастся бежать из острога, то прямо стремится в столицу; его, конечно, не замедлят опять схватить, но что ему за дело, он все-таки *поработает* в свое удовольствие.

Провинциальные воры, напротив, довольно

скоро свыкаются с Парижем, не потому чтобы климат был им особенно подходящим; это чистые космополиты, отечество которых там, где можно воровать. Ubi bene, ibi patria — таково их правило; они так же хорошо свыкнутся с Римом, как и с Пекином, лишь бы была добыча. У них нет ни приятной внешности, ни статной осанки, ни хвастливого гонора парижского вора; проживи они весь век в Париже, все они останутся мужиками. Их всегда будут упрекать в том, что они созданы из кучи нелепостей и ни на что не похожи. Неуменье держать себя, плохие манеры — вот их слабая сторона. У них нет учтивости, и как бы они ни старались, они никогда не пропитаются тем букетом аттицизма, тонкий запах которого очаровывает пустой и блестящий свет; а известно, что последний нельзя обмануть, не обольстивши сначала. Но если у них нет сметливости, которая в некоторых отношениях дает преимущество туземцам, то зато у них более способностей: под грубой оболочкой, под тяжелой внешностью они скрывают столько коварства и хитрости, что при каком-нибудь большом предприятии умеют устранить все препятствия и снискать доверие рассудительных лиц. Стоит заглянуть в уголовные архивы, чтобы убедиться,

что все большие кражи, все кражи, смелые и обдуманные, — суть дело провинциальных воров. Они не отличаются слабостью, напротив, смелы, настойчивы и рассудительны: хорошо задумывают и хорошо выполняют.

Воры — столичные уроженцы — редко бывают убийцами: они имеют отвращение к крови, и если проливают ее, то всегда с сожалением, будучи вынуждены к тому непредвиденными обстоятельствами. Если у них и случается оружие, то они употребляют его, только чтобы спастись в случае поимки на месте преступления. Ужасные преступления, совершаемые иногда в Париже, почти всегда суть дело рук заезжих преступников. Замечательно, что к убийству прибегают обыкновенно новички на этом поприще; это положительная правда, что бы ни говорили непрактичные моралисты, повторяющие с поэтом: «Подобно добродетели, преступление имеет степени». Приступая к дурному делу, опытные преступники взвешивают его последствия по отношению к себе; они рискуют, когда им нужно рисковать; но если ставят на карту все, то действуют с большой осмотрительностью. Закон, изучаемый ими постоянно, гласит: до сих пор вы можете идти, дальше этого не пойдете; и многие

отступают перед тюремным заключением, перед вечной каторжной работой и перед смертью. Я не без намерения ставлю в этом исчислении смерть на последнем плане: это малейший из ужасов, как я докажу читателю, и пусть он судит, насколько правильно распределены наказания в наших законах.

Провинциальные же воры, вообще менее образованные, чем парижские, не имеют никакого отвращения от убийства; они не ограничиваются защитой, а сами нападают и часто в своих предприятиях отличаются не только смелостью, но и жестокостью и крайней бесчеловечностью; в подтверждение этого может служить множество фактов в летописях юридических.

Народная мудрость давно изрекла истину, что *волки не пожирают друг друга*. В подтверждение этой пословицы воры относятся друг к другу с братским дружелюбием, смотрят на всех воров как на членов одной большой семьи, и хотя провинциальные и парижские воры мало расположены помогать друг другу, но все-таки антипатия и предубеждения никогда не доходят до того, чтобы прямо вредить товарищу по ремеслу. Всегда есть своего рода условие, соблюдаемое в некоторых из этих обществ: зверь чувствует

зверя своей породы, собрат любит собрата; так и воры имеют свои особенные знаки, особенный язык. Владеть этим языком, быть посвященным в эти знаки, хотя и не принадлежать к их ремеслу, есть уже право на их благосклонность, доказательство или, по крайней мере, вероятность того, что знаешься с *друзьями*. Но эти познания, иногда более драгоценные, нежели познания франкмасонства, не суть непреложные гарантии безопасности. Хотя бы кто знал воровской язык в совершенстве, советую не полагаться на это. Вот, например, маленький случай, который, надеюсь, покажет, что я не ошибаюсь. Прошу извинения у читателя за новое отступление от предмета; но это не длинно.

Бальи, старый привратник тюрьмы в Сен-Пелажи, променял эту должность на должность сторожа при доме призрения нищих в Сен-Дени. Старик любил порядком выпить; да и какой тюремщик не выпьет с удовольствием, особенно когда его приглашают и когда самому платить не приходится? Проживши двадцать пять лет в тюрьмах, дедушка Бальи видал много воров; он знал почти всех, и они его *почитали*, потому что он был малый добрый и не очень их огорчал. Тем, у кого был не пустой кошелек, он усердно

прислуживал.

Раз он пришел в Париж взять свой маленький капиталец, скопленный экономией: это было subsidia senectutis, запас муравья, всего лишь на утреннюю рюмку водки и на дневной табак. Срок подошел, деньги выдали, *двести франков*. Ходя туда и сюда, он пропустил малую толику, так что при возвращении домой был несколько навеселе; это нисколько не худо; напротив, еще придает скорости ногам.

Так шел он в хорошем расположении духа, довольный тем, что все покончил в свое удовольствие, как вдруг у ворот Сен-Дени встречаются ему двое из его прежних пансионеров и, ударяя его по плечу, говорят:

— А, здравствуй, дедушка Бальи!

Бальи *(оборачиваясь)*. Здравствуйте, братцы.

— Хочешь распить бутылочку стоя, на скорую руку?

— На скорую руку — пожалуй, а то мне некогда.

Вошли в гостиницу «Два шара».

— Бутылку на троих, за восемь, скорей и хорошего.

— Ну что, дети мои, что поделываете? Хорошо идет? Должно быть, хорошо, потому что вы, ка-

жись, с *форсом* (вы в довольстве).

— Что до этого, нам не на что пожаловаться; с тех пор как мы *не на запоре* (на свободе), дела идут хорошо.

— Я очень рад и люблю вас видеть довольными; но смотрите, не попадите *в улицу Ключа,* это плохая гостиница (он допил свой стакан и протянул руку на прощанье).

— Как? Уже? Мы не так часто видимся; так как вы с нами, то надо повторить. Ну, еще бутылочку.

— Нет, нет, это в другой раз; я спешу, и притом на своих на двоих. Я уж столько исходил с утра, да еще остается отмахать добрый конец до Сен-Дени.

— Минутой раньше или позже, — сказал один из товарищей, — это вас не задержит. Мы сядем в зале, не правда ли, дедушка Бальи?

— Вам невозможно отказать. Что делать, я уступаю, но только чтобы подавали скорее, одну бутылку, не более, и я ухожу. Покарай меня, Господи, да разразится тогда гром и молния! Вы видите, я поклялся.

Распивают другую бутылку, затем третью, четвертую, пятую, шестую, а Бальи все не замечает, что он клятвопреступник. Теперь он пьян, совер-

шенно пьян.

— Нечего и толковать, — твердит он беспрестанно. — Я должен идти, уже ночь; это бы еще ничего, но у меня в пакете двести франков. Что, если меня *обработают* (ограбят) дорогой?

— Чего вы боитесь? Ни один сыч не захочет состроить над вами какую-нибудь глупость. Ваша храбрость слишком известна. Дедушка Бальи, да он везде может смело идти.

— Я знаю, что вы правы; *старым друзьям* я еще могу дать себя знать, но *вновь отпущенным на волю* (тем, которые в первый раз пускаются на это ремесло) напрасно я буду делать *таинственный знак*[14].

— Опасности никакой нет. За ваше здоровье, дедушка Бальи!

— И за ваше. Конечно, мне не скучно, но на этот раз я иду. Без всякого разговора. Прощайте, будьте здоровы.

— Коли хотите, мы вас не задерживаем.

Они помогают ему положить на плечо палку, на конце которой привешен пакет с деньгами,

---

[14] Примечания: 14

Знак, соответствующий масонскому, обозначаемому словом «gripre» и состоящему в том, что по лицу проводят большим пальцем отвесную линию, спуская ее со стороны носа к губам; это движение сопровождается плеваньем.

и тотчас же старик со своей ношей пускается в путь.

И вот он на дороге, подпрыгивающий, спотыкающийся, перекачивающийся, галопирующий, но все-таки подвигающийся с помощью всевозможных зигзагов. Пока он таким образом выделывал S и Z и все кривые буквы азбуки, два его бывшие пансионера совещались, что им предпринять.

— Кабы ты был со мной заодно, — говорил один, — мы бы взяли у этой старой крысы его двести франков.

— Ты прав, ей-богу, его деньги не хуже других.

— Конечно! Пойдем-ка за ним.

— Пойдем.

Несмотря на свое ковылянье, Бальи был уже за заставой, но они скоро его нагнали.

В борьбе с винными парами он все-таки настойчиво стремился к цели. Старик сильно раскачивался, отступал назад, в сторону, так что, видя его в таком положении, все извозчики из сострадания пытались ему предлагать место. «Пошел ты своей дорогой, болван! — отвечал вежливый привратник. — У деда Бальи хорошие ноги и хороший глаз».

Лучше бы ему было не гордиться так, потому что при вступлении в долину «Добродетели» он

очутился в большом затруднении, попавши в руки к двум ворам. Схватить его за горло и отнять пакет было делом одной минуты; напрасно он выбивался из сил, крича спасительный лозунг «Постный! Постный!» и называя себя по имени — ни знаки, ни слова, ни имя не помогают.

— Нет ни постного, ни скоромного, — возражают разбойники не своим голосом. — Оставь-ка, брат, *связку*-то (пакет), — и с этими словами они исчезают.

«Он тяжел, — шепчет бедняк, — с ним они не дойдут в рай». Эта пророческая угроза могла бы исполниться; но мозг старика был омрачен антимнемоническими парами, а на нашем полушарии царил густой сумрак поздней ночи. Простимся с дедушкой Бальи и поведем продолжение нашей истории. Прошу внимания читателя.

Невозможно бы было подразделить воров, если бы они сами не подразделялись. Первым делом известный субъект следует просто своей наклонности к воровству и таскает как-нибудь что попадется под руку. В принципе, как гласит пословица, *случай образует вора*; но настоящий вор должен, напротив, сам создавать себе случаи и только в тюрьмах приобретает он то, чего ему

недостает для подобного совершенства. Подвергшись раз или два наказанию, потому что нет никого начинающего, кто бы не перешел через известного рода школу, он узнает свою способность и на основании этого решается избрать себе род воровства, который уже не покидает, за исключением, если что-нибудь к тому вынудит.

Первостатейные воры по преимуществу евреи и цыгане; поощряемые родителями, они начинают практиковаться почти с колыбели; едва только станут на ноги, они уже изощряются в делах порока. Это маленькие спартанцы, которым с утра до вечера твердят о том, чтобы все прибирать к рукам не зевая. Призвание их отмечено заранее; они последуют всем погрешностям своего племени, а в руководителях и в уроках недостатка не будет; но воры бывают разных родов, и, чтобы не оставаться в неведении насчет своих исключительных способностей, они пробуют себя во всех родах, и как только убедятся, в каком воровстве действуют с бóльшим превосходством, на том и останавливаются; это уже дело решенное; избравши специальность, они из нее не выходят.

У воров относительно одного рода к другому существуют пренебрежение и спесь; мошенник

высшего разряда презирает мелкого жулика; жулик же, ограничивающийся ловким вытаскиванием часов и кошелька, обидится, если ему предложат обокрасть квартиру; а прибегающий к поддельным ключам для того, чтобы забраться в чужой дом, считает бесчестным ремесло разбойника по дорогам. Даже на ступени преступления, выше или ниже, повышаясь или понижаясь, человек заражен гордостью и презрением; везде, даже при самых низких условиях жизни, чтобы человеческое *я* не страдало от зависти и унижения, ему необходимо быть уверенным, что оно выше того, что перед ним или за ним. Чтобы иметь возможность еще более гордиться, он представляет себе только самую низшую частичку внешнего мира, ту, которая не заставляет его стыдиться: он по ворот в грязи, но задерет голову перед лужей; если кого найдет ниже себя, то думает, что он уже парит и владычествует; это радует его.

Вот почему все негодяи, не переступившие ту среднюю черту развращенности, за которой честность существует только как воспоминание, гордятся, что преступны менее других; поэтому-то переступившие эту черту, напротив, щеголяют друг перед другом большей степенью злодейства;

вот почему, наконец, в каждом роде, даже там, где сколько-нибудь взвешивают степень бесчестия, нет плута, который бы не стремился быть первым в своем роде, то есть самым ловким, самым счастливым, — иначе говоря, мошенником высшей категории.

Я здесь говорю о ворах по профессии, составляющей правильное казачество нашей цивилизации. Что касается до мужика, который крадет сноп, до ремесленника, делающего фальшивые деньги, до нотариуса, соглашающегося на фальшивую продажу или пишущего завещание под диктовку мертвого, то это неправильное казачество, отдельные случаи, которые не могут войти в классификацию. То же самое надо сказать о преступниках особого рода преступлений, порождаемых страстями, ненавистью, гневом, ревностью, любовью, скупостью и т. п. Описывая эту категорию, я должен заняться одними только убийцами по профессии; но прежде обращусь к родам преступников с более кроткими нравами. Сеанс начался, перед нами — *комнатные воры* (cambrioleurs).

Глава сорок пятая

Наружные признаки комнатного вора: возраст, одежда, привычки. – Манера их приступать к делу и предосторожности. – Особенная общая черта. – Вкус, манеры и обращение в обществе. – Любопытство жильцов. – Искатели акушерок. – Трофеи любви. – Новые лица. – Бойтесь воскресенья. – Платите вашим сторожам. – Небольшой список людей, которых нужно остерегаться. – Провожатые. – Средство сделать дворников исполнительнее в своих обязанностях. – Три разряда комнатных воров: бродячие, форточники и выжидатели. – Коварное соседство

Камбриолеры — суть комнатные воры посредством взлома или поддельных ключей. В городе, вне их обычных занятий, их нетрудно узнать; это по большей части молодые люди, из которых старшим — не более тридцати лет: от восемнадцати до тридцати лет — вот возраст комнатного вора. Почти всегда они довольно чисто одеты; но каков бы ни был их костюм — куртка, сюртук

или фрак, они всегда имеют вульгарный вид, и никогда их нельзя причислить к хорошей семье. Обыкновенно у них грязные руки, а постоянная жвачка во рту обезображивает их лицо самым странным образом. Редко бывает с ними палка, еще реже надевают они перчатки, хотя это иногда и случается.

Комнатные воры не осмеливаются обирать дом, не познакомившись с привычками его обитателей: им необходимо знать, когда они отлучаются и есть ли у них что взять. Дома без дворников особенно удобны для их предприятий. Замысливши дело, они отправляются втроем и вчетвером и входят или влезают поодиночке, а не вместе. Один из них стучит в дверь, чтобы убедиться, что никого нет. Если не отвечают, то это добрый знак и можно приступить к делу, а затем, чтобы не застигла врасплох какая нечаянность, пока ломают или отпирают замки, один из участников становится на страже в верхнем этаже, а другой — в нижнем.

Пока отворяют, может случиться, что пройдет другой жилец и полюбопытствует узнать, что делают на лестнице незнакомые люди. Тогда ему обыкновенно говорят, что ищут отхожее место, или спросят какое-либо имя наудачу; часто яв-

ляются под предлогом отыскивающих прачку, сиделку, башмачника или недавно поселившуюся акушерку. Надо заметить, что в таких случаях спрашиваемый вор почти шепчет, а не говорит; избегает взглянуть вам в лицо и, поспешно давая дорогу, старается оставить как можно больше места и прислоняется к стене спиною ко входу.

Довольно странная особенность та, что если один из комнатных воров, пользующийся известностью, вздумал носить известного фасона галстук и жилет, то его собратья непременно берут с него в этом пример; яркие цвета: красный, желтый и т. п. особенно предпочитаются ими. В 1814 году я поймал шайку из двадцати двух воров, и двадцать из них имели жилеты одного и того же фасона и одной и той же материи, точно скроены по одной выкройке и из одного куска материи.

Вообще воры — все равно что проститутки: у них всегда есть что-нибудь, что обнаруживает их профессию; они очень любят пестроту и, как бы ни старались скопировать человека хорошего тона, имеют вид не более приличный, как принарядившегося по-праздничному ремесленника. У большей части уши проткнуты; почти непременные украшения их туалета составляют

маленькие колечки и волосяные цепочки в золотой оправе; цепочка всегда находится на видном месте на жилете; это всегда любовный трофей, которым они гордятся. Им очень нравится косматая шапка, одна часть шерсти которой приподнята, а другая гладкая. Я говорю здесь только о ворах, верно придерживающихся преданий своего ремесла; что же касается до тех, которые от них отступают, то их можно узнать по особенной принужденности манер, не замечающейся у честных людей: это не замешательство застенчивости, а неловкость вследствие опасения выдать себя; заметно, что они сами настороже и не любят, чтобы над ними делали наблюдения. Заговорят они — в их речи слышится поспешность, сбивчивость, изысканность выражений, часто смешная как по избытку бессвязности в речи, так и по неуместным словам, значение которых им неизвестно; они не разговаривают, а болтают, беспрестанно меняя предмет разговора, беспрестанно прерывая речь и пользуясь всеми случаями для отвода внимания слушателя.

Иные отправляются на добычу в сопровождении женщин с корзинами для белья, куда кладут краденые вещи; поэтому присутствие женщины с подобной ношей на лестнице или в коридоре не

следует оставлять без внимания, особенно если видят ее в первый раз. Частый приход и выход личностей, которых обыкновенно не замечали в доме, почти всегда предвещает дурные намерения.

Самые благоприятные дни для комнатных воров суть светлые летние воскресенья, когда трудящийся люд отправляется за город подышать воздухом. Разрушить их козни можно всегда, как только кто пожелает: лица, живущие в домах без дворника, не должны уходить, никого не оставивши дома; жильцы должны оставить свою отчужденность друг от друга, столь благоприятную для недоброжелательных целей, должны соблюдать общие интересы, и сосед должен надзирать за соседней квартирой; на всякое неизвестное лицо надо смотреть как на подозрительное, немедленно выспрашивать о цели посещения и, если оно выкажет малейшее замешательство, держать до тех пор, пока удостоверятся, что нигде ничего не пропало; каждый жилец, возымевший подозрение насчет незнакомой личности, должен тотчас же предупредить о том всех других жильцов, чтобы они поостерегались; тот, у кого позвонились или постучались, спрашивая какое-нибудь имя, не должен огра-

ничиваться тем, чтобы с досадой запереть дверь, а должен следить глазами за пришедшим и не терять его из вида, пока он не выйдет; вошедший без стука или звонка или не дождавшись, чтобы ему отворили, должен всегда быть принят за вора и беспощадно вытолкнут; при этом весьма кстати употребление палки.

Чтобы отвадить комнатных воров, надо ключ класть всегда в верное место, не оставлять на двери ни внутри, ни снаружи; при выходе нигде его не вешать, не вручать никому ни под каким предлогом. Если вы отлучаетесь на несколько времени, выберите место, где бы положить все самое дорогое, место на виду и более такое, где не подумали бы искать. Я желал бы наставить читателя, но боюсь вместе с тем просветить воров. Во всяком случае, благоразумнее менять место, куда прячем вещи. Взявши указанные предосторожности, самое лучшее оставить все ключи на виду. Если придут воры, вы их таким образом избавите от труда взлома, а себя — от значительных издержек; если в ваших столах и шкафах есть секретные запоры, отоприте их, а то все равно страшным воровским отмычкам и клещам не воспротивится никакой запор. Отворите, отоприте, но только припрячьте — вот главное

искусство не быть обворованным.



Дома, имеющие дворников, совершенно были бы ограждены от подобного воровства, если бы последние заняты были более своими обязанностями, а не сплетнями о своих господах. Но дворники — народ ужасный: они обладают громадной дозой бесполезного и даже вредного любопытства; всегда готовы протрубить какую угодно клевету, любят делать смелые заключения и догадки; сплетники и болтуны, они только и заняты ложными или правдивыми пересудами, лишь бы удовлетворить своей страсти чернить других. Поэтому имеющий намерение отстранить их дозор весьма легко сумеет отвлечь их внимание или даже совсем удалить. Я долго размышлял о средстве сделать дворников исполнительнее в своей должности и, кажется, нашел его: во-первых, назначить им большее жалованье и затем брать залог, который бы мог, до некоторой степени, обеспечивать кражи, совершаемые во вверенных им домах, за исключением нападения приступом и т. п.

Комнатных воров существует три весьма отличительные категории: первая — *воры бродячие,* ворующие наудачу, то есть входящие в дом случайно, не обдумывая об этом предварительно. Эти импровизаторы идут из двери в дверь, не

будучи ни в чем уверены; где что есть, они стащат, где нет ничего — проходят мимо. Ремесло их весьма шаткое и невыгодное, большая часть времени пропадает, игра не стоит свеч. Они живут на счет любителей воскресных развлечений, всевозможных празднеств и удовольствий. И пока, желая отдохнуть от недельной работы, честный ремесленник, окруженный своей семьей, наслаждается сражением на воде, или раздачей съестного, или чудными пьесами: «Каторжный», «Фальшивый ключ», «Сорока-воровка», пока искусственные воры возбуждают его восторг, воры настоящие обделывают у него свои маленькие делишки, и дома ожидает его настоящий букет удовольствия.

Вторая категория называется *форточниками*. Эти не пускаются на риск, а заводят сношения с лакеями, прислугой, полотерами, трубочистами, стекольщиками, с малярами, наклейщиками обоев, мебельщиками; и, таким образом отлично познакомившись с местом, они прямо идут к цели. Запасшись самыми точными сведениями и самыми верными указаниями, они никогда не ошибаются. Большей частью они действуют с помощью поддельных ключей, сделанных ими по оттискам, снятым соучастниками.

Третья категория носит название *выжидателей,* потому что они, так сказать, выжидают дела; задолго имея его в виду, они терпеливо ждут благоприятного случая для выполнения; все обсуждают основательно и не срывают плода, пока он не созрел; на всякое дело, задуманное самими или переданное кем другим, они идут наверняка, а не очертя голову. Вознамерившись, например, ограбить капиталиста, они уже знают, когда он получает свой доход; если это торговец, то выбирают конец месяца или первые дни после нового года, когда касса его наиболее полна. О состоянии каждого они имеют положительные данные.

Воры этого разряда большею частью зрелого возраста; костюм их, не будучи особенно изящным, всегда богат. Они весьма вкрадчиво и ловко умеют приобрести доступ в дом, где намерены поживиться; где много жильцов, там они стараются познакомиться с башмачником, прачкой или кем другим и ходят к ним вести беседу. Ремесленник обыкновенно ничего и не подозревает и думает, что единственная причина частых посещений есть желание его видеть.

Иные, задумавши произвести воровство в доме, нанимают там квартиру; тогда они действуют не спеша и, если даже представляется случай,

ничего не предпринимают, пока не приобретут у соседа необходимого уважения, чтобы отвратить всякие подозрения. Они чрезвычайно обязательны и учтивы, ничего не берут в кредит, платят в срок до копейки. Если случится шум, то никогда не у них, они приходят и ложатся рано, поведение их самое правильное; при надобности и даже почти всегда они стараются выказать свою набожность; мать и дети, если они есть, ходят в церковь. Во всех странах благочестие служит маской, а в Париже более чем где-либо: за ним скрываются дурные намерения.

Проходит несколько месяцев, репутация прочно утвердилась, и злоумышленник имел полную возможность принять все необходимые меры. И вот в один прекрасный день оказывается, что один из жильцов, а иногда и сам хозяин, обокраден самым ловким образом. Происходит переполох, всякий дивится, негодует, рассуждает, что вор непременно должен был знать хозяев, и настоящий вор сам первый это заявляет. Так как он позаботился удалить ворованные вещи и уверен, что их не найдут, то советует и настаивает произвести всеобщий обыск. При следующем сроке платежа за квартиру он съезжает, и все о нем жалеют. Такой славный человек был!

Глава сорок шестая

Цель стремления. – Две знаменитости. – «Отдается квартира». – Опасно быть болтливым. – Юридическая ошибка. – Г-н Делаво и г-н Беллейм, или Гений зла и гений добра. – Ужасные последствия. – Одно стоит другого. – Существует середина

Судя по многочисленности преступлений, которых невозможно открыть, невольно думается, что число таких жильцов, как описано в предыдущей главе, должно быть значительно и что весьма трудно их уличить. Но не обличенный сегодня может быть обличен завтра, и рано или поздно безнаказанность кончается. Я мог бы привести тысячу фактов в доказательство этого, но ограничусь следующим.

Г-н Тардив, нотариус на углу улицы Старых Драпри, давно был предметом замыслов целой шайки воров, в числе которых были Бодри и Робе, знаменитые комнатные воры. Последние, проходя раз утром мимо квартиры нотариуса, увидали записочку и прочли: «Отдается комната». Но

им необходимо обновить ее. Кому поручить эту необходимую поправку? Молодой маляр отделывал квартиру нотариуса; за ним и отправились, и пока он наклеивал обои или красил окна, с ним старались беседовать. К несчастью, у него память относительно места самая замечательная: он в совершенстве помнил расположение всей мебели у нотариуса, назначение каждого уголка, заметил помещение и употребление каждой вещи. Не мудрствуя лукаво, он охотно сообщил все свои сведения. Через шесть недель г-н Тардив был обворован. Кто виновные? Никто не ведал, едва осмеливались делать предположения. Но свои же собратья, как и водится, выдали: один из них, получивши свою долю, продал соучастников — все были забраны и осуждены. Они заслужили свою участь, и приговор, произнесенный против них, был бы вполне справедлив, если бы он не осудил также молодого маляра, вся вина которого заключалась в неразумной болтливости. Его приговорили на четырнадцать лет заключения в оковах, и он высидел их в Брестском остроге.



Освобожденный затем, господин этот, которого я не хочу назвать, хотя его следует признать невинным, живет теперь в Париже. Содержатель большого заведения, превосходный гражданин, муж и отец, он теперь счастлив, а между тем несправедливость, жертвой которой он сделался, могла бы быть продолжена надзором, противным

тому уложению, по которому он был осужден. Я тоже получил приказ соблюдать над ним надзор, но я не доходил до такого злоупотребления власти, как это было при моем последователе. Такой произвол приличен был только г-ну Делаво, которому так приятно было преувеличивать строгость законов…

При г-не Беллейме, вступление которого в префектуру было столь благотворно, подобному закону следовало быть отмененным, и он был отменен. Я готов повторять при всяком удобном случае, что полицейский надзор — одна из самых прискорбных жестокостей, потому что он ложится вечным пятном бесчестия. Положим, что освобожденный, о котором идет речь, не был бы от него избавлен, какой бы результат получился от этого? Во-первых, он обязательно должен бы был от времени до времени являться в мою канцелярию, затем раз в месяц — к частному приставу, который ему сосед. Те, кто не думал бы, что он бывший каторжник, принимали бы его за полицейского шпиона; одна репутация стоит другой. Обесчещенный, презираемый, оставленный всеми, он принужден бы был или умирать с голоду, или избрать для своего существования преступную дорогу. Таковы для осужденного,

виновного или невинного, последствия полицейского надзора; они неизбежны; впрочем, я ошибся: между голодом и эшафотом есть еще середина… Это самоубийство.

Глава сорок седьмая

Я приезжаю из Бреста. – Добрая женщина. – Жалость не есть любовь. – Незавидное ложе и такое же угощение. – Арлекин и аппетитное рагу. – Ужины в улице Гренет. – Меня приглашают обобрать ростовщика. – Аннетта появляется на горизонте. – Страшная неудача. – Я болен. – Воровство для лекарства. – Генриетта расплачивается за неудачу. – Я опять ее встречаю. – Беглый. – Ловкий обман. – Бомон обворовывает Центральное хранилище сокровищ Парижа. – Он обокрал полицию! – Несправедливые подозрения. – Арест и предательство. – Замечательные изречения. – Верх мошенничества. – Повесься, смелый Грильен! – Отправляйся в Англию – там тебя повесят

Любовница одного вора по имени Шарпантье, но более известного под двумя прозвищами — Винное Пятно и Трюмо, была захвачена с ним вместе как обвиненная в воровстве с поддельными ключами. Хотя возлюбленный ее и приговорен

был к каторжным работам, но она, по недостатку улик, была освобождена. Генриетта, так ее звали, была дружна с Розалией Дюбюст; не успела она выйти из неволи, как уже согласилась с ней вместе на комнатное воровство. Несколько заявлений в полицию не замедлили обратить наше внимание на двух подруг. Генриетта жила в улице Гранд-Урлер, я получил приказание надзирать за нею и для большего удобства старался сначала завести с ней знакомство. С этой целью, раз встретив ее и остановив по дороге, я прямо заговорил:

— Отлично, вот вы и сами, как нельзя удачнее; я только что шел к вам!

— Да я вас не знаю.

— А не помните, как я вас видел с Шарпантье на «Острове Любви»?

— Может быть.

— Ну так я приехал из Бреста. Шарпантье вам кланяется; он очень бы желал к нам присоединиться, но бедняк числится *подозрительным* и теперь труднее, чем когда-либо, убежать.

— А! Так теперь я вас хорошо припоминаю; я отлично помню, что мы также были вместе в Капелле у Дюшен, где пировали с друзьями.

После того я спросил у Генриетты, *есть ли у нее*

что в виду; она обещала золотые горы и в доказательство, насколько желает быть мне полезной, просила настоятельно поселиться у нее. Предложение это было сделано так радушно, что мне оставалось только принять его.

Она жила в маленькой комнатке, вся меблировка которой состояла из единственного стула и кровати на тесьмах с матрасом, не обещавшим покойного ложа. Приведя меня туда, она сказала: «Сядьте здесь, я ненадолго отлучусь. Если кто постучит, не отворяйте». Она действительно не замедлила явиться с бутылкой в одной руке, свиной кожей и фунтом хлеба в другой. То было скудное угощение, но я сделал вид, что ем с аппетитом. По окончании трапезы она сказала, что идет к отцу своего любезного, и предложила мне выспаться до ее прихода. Так как спать было самое время, то пришлось возлечь на этот одр, который был до того жесток, что показался мне мешком с гвоздями.

Через два часа пришел старик Шарпантье; он расцеловал меня, плакал и расспрашивал о сыне. «Когда я с ним увижусь?» — восклицал он со слезами. Но рано или поздно надо же перестать; он настолько успокоился, что предложил мне идти ужинать к заставе Виллет, в гостиницу «Дикарь».

«Я пойду принесу денег, и мы отправимся».

Но не всегда есть под руками деньги, которые намерены взять. Шарпантье, очевидно, ошибся насчет своего капитала и явился только к вечеру с ничтожными 3 франками 50 сантимами и с *арлекином*[15], купленным на рынке Св. Иоанна. Этот отвратительный винегрет был завернут в табачном платке, который он положил на кровать, говоря Генриетте: «Вот на, дочка; воды сегодня убыло, мы не пойдем к заставе; но ступай, принеси нам два литра в шестнадцать, хлеб, масла на два су и на два су уксуса, чтобы сделать рагу (и он с наслаждением посматривал на своего арлекина), тут есть отличные куски говядины; ну ступай, моя милая, и скорее приходи». Генриетта отличалась проворством и не заставила себя ждать. Винегрет скоро был сготовлен, и я делал вид, что облизываю пальчики. По возвращении *оттуда* не должны быть очень разборчивы, и поэтому за ужином Шарпантье приговаривал: «Ну, друзья, кабы это было *там*, то всегда были бы праздники».

Между мошенниками в четверть часа уста-

---

[15] Примечания: 15

Арлекином называют маленькие кусочки мясной смеси, которые продают на рынке для кошек, собак и бедных. Это остатки с тарелок в гостиницах и богатых домах.

новляется дружба; мы еще не дошли до второго литра, как были с Шарпантье и Генриеттой так, как если бы неразлучно жили лет десять. Шарпантье был негодяй на все руки, если бы он только был еще в состоянии действовать. Мы условились, что он познакомит меня с *друзьями*, и на другой же день он привел мне некоего Мартино, прозванного Куриным Желудком. Этот тотчас же приступил к делу и предложил мне маленькое упражнение, которое бы несколько подняло меня в глазах других.

— Ну, — сказал я, — из-за таких пустяков я не стану подвергаться опасности; надо, чтобы дело того стоило.

— В таком случае, — продолжал Мартино, — я могу тебе достать и это, только надо подождать несколько дней, пока сделаем ключи. Будь уверен, что мы тебя примем в свою компанию.

Я поблагодарил его, и он свел меня с тремя другими ворами, тоже сообщниками. Я довольно хорошо играл свою роль и, страшась встречи, которая могла бы разрушить мои планы, никогда не выходил со своими новыми знакомыми. Большую часть дня я проводил с Генриеттой, а вечером мы ходили вместе в улицу Гренет, к виноторговцу, где тратили тридцать су, зараба-

тываемые ею на перчатках.

Аннетта могла мне помочь в затеянной интриге. Решившись при надобности дать ей роль, я ее тайком предупредил о том, и вечером, придя в кабак, мы застали женщину, одиноко собиравшуюся поужинать. То была Аннетта; я смотрю на нее с видом любопытства, она тоже; спрашиваю у Генриетты, не знает ли она эту женщину, так внимательно на нас поглядывающую?

— Не думаю, — ответила она.

— Стало быть, ее любопытство касается меня. Я как будто ее где-то видел, но не могу вспомнить где.

Для объяснения я обращаюсь к незнакомке:

— Извините, сударыня, я как будто имею удовольствие вас знать?

— Ей-богу, милостивый государь, я тоже только что припомнила… Вот, думаю себе, лицо, которое я где-то видела. Живали вы в Руане?

— Господи, — вскричал я, — это вы, Жозефина! А ваш муж? Этот славный Роман?

— Увы, — сказала она, рыдая, — *он болен в Капелле* (заключен в Каене).

— Давно?

— Три *марки* (три месяца); я боюсь, что он не встанет скоро; *у него горячка* (он сильно скомпро-

метирован), а вы? По-видимому, вы *выздоровели* (на свободе)?

— Да, выздоровел, — но кто знает, не свалюсь ли опять скоро?

— Будем надеяться, что нет.

Генриетта в восторге от новой знакомой и желает с ней вступить в дружбу. Наконец мы так понравились друг другу, что намерены сойтись, как пальцы на руке: это будут три головы в одном чепце или три тела в одной рубашке. Мнимая Жозефина растрогала Генриетту своей историей и сказала, что живет в меблированных комнатах в улице Герен-Буассо. Когда мы обменялись адресами, она вдруг обратилась ко мне: «Послушайте, помните, вы как-то ссудили мужу двадцать франков? Позвольте вам их возвратить». Я отнекивался брать долг, однако уступил. Генриетта, еще более растроганная этим поступком, вступила с Жозефиной в пространный разговор, предметом которого был я. «Вот такой, каким вы его видите, — говорила, указывая на меня, бывшая супруга Шарпантье, — я его не променяю ни на кого другого, будь он вдесятеро красивее. Это мой бедный птенчик. И вот мы десять лет вместе; поверите ли, между нами никогда худого слова не было».

Аннетта отлично подлаживалась под эту комедию. Каждый вечер она аккуратно являлась, и мы ужинали вместе. Наконец наступило время совершения кражи, в которой я должен был участвовать. Все приспособлено, Мартино и его друзья были готовы. Положено было ограбить закладчика, бравшего огромные проценты. Мне указали его жилище в улице Монторгейль, и я знал, в котором часу туда заберутся. Наставив Аннетту, как известить полицию, я сам, чтобы ничего без меня не делалось, не отходил от своих новых друзей.

Отправляемся в экспедицию. Мартино входит, отпирает дверь и возвращается. «Остается только войти», — говорит он, и, пока мы с ним сторожим, товарищи его отправляются на поживу к ростовщику. Но полицейские близко следят за ними, я их вижу и, улучивши минуту, отвлекаю внимание Мартино, который поворачивает голову в другую сторону. Три вора, застигнутые на месте преступления, закричали, и мы пустились бежать. Так как Мартино унес с собой ключи, то они избегли кандалов, представляя, по обыкновению, в извинение то, что дверь была отперта. Стало быть, надо было не только задержать Мартино с ключами, но и доказать его сообщество

с пойманными ворами. В этом Аннетта оказала мне большую услугу.

Мартино был взят со всеми необходимыми уликами; а Генриетта, все еще ничего не подозревавшая, решила только, что я был очень счастлив, и это давало новое право на ее любовь. Когда чувство ее достигло наибольшей силы, я для испытания притворился больным. Мое здоровье могло быть восстановлено только с помощью лекарств, стоивших слишком дорого для наших финансовых средств. Она, желая мне их непременно доставить, задумала с этой целью маленькую кражу и сказала мне о том. Розалия Дюбюст была соучастницей. Кража состоялась; но я обнаружил их умысел, и они были наказаны как пойманные на месте преступления: обе были приговорены на десять лет в каторжные работы. По истечении срока Генриетта была под моим надзором, она имела право упрекать меня, но никогда этого не делала.

Генриетта, Розалия и Мартино были плохенькие комнатные воры, но были в этом роде люди, обладавшие наглостью, превосходившею всякое вероятие; подвиги некоего Бомона доходили до сверхъестественного. Бежавши из Рошфордского острога, где должен был высидеть двенадцать

лет, он появился в Париже; чтобы набить руку, он сделал несколько ничтожных краж и, подготовившись таким образом к подвигам, более достойным своей прежней славы, замыслил обокрасть казну, и что именно, как бы вы думали?.. Центральное хранилище драгоценностей, в настоящее время — полицейскую префектуру!..

Довольно трудно было запастись оттиском ключей; он преодолел эту первую трудность и скоро имел в руках все запоры; но этого слишком мало: надо было отпереть незамеченным, войти туда, когда никто не мог помешать, и выйти благополучно. Бомон взвесил все трудности препятствий и не устрашился. Он заметил, что около того места, откуда намеревался забраться, находится кабинет начальника охранной полиции, г-на Анри. Пришлось ожидать благоприятного случая, когда этот опасный сосед удалится; случай не замедлил представиться.

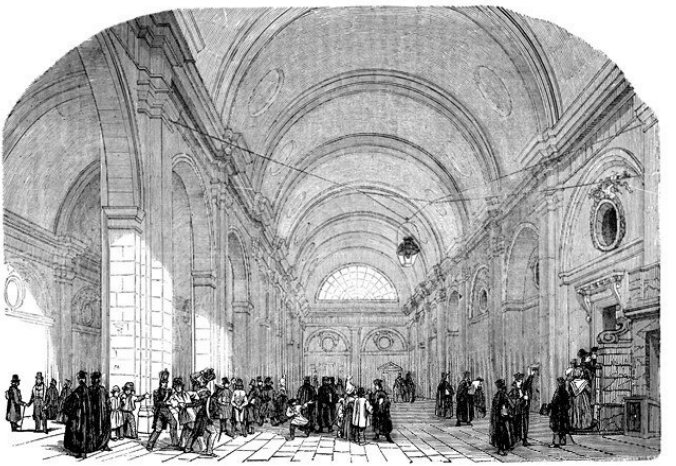
Однажды утром г-ну Анри необходимо было выехать; Бомон, зная, что он не вернется весь день, оделся в черный фрак и таким образом, имея вид судьи или вообще должностного человека, явился к охранному посту *Центрального бюро*. Начальник, к которому он обратился, принял его по меньшей мере за комиссара и по его

требованию дал ему солдата; последний был поставлен на караул у входа в сокровищницу с приказом никого не впускать. Лучшего средства невозможно было выдумать для ограждения себя от неожиданности. И вот Бомон, посреди всевозможных сокровищ, мог с полнейшей безопасностью выбирать все, что ему было угодно: часы, бриллианты и всевозможные драгоценные камни. Он взял все, что можно было нести, отправил солдата и исчез.

Воровство не могло долго не быть замеченным и открылось на другой же день. Никакой гром не поразил бы так полицию, как это известие: как, проникнуть в самое святилище! Это было так необычайно, что не хотели верить. Но воровство тем не менее несомненно; кому его приписать? Подозревали чиновников, то того то другого, пока какой-то приятель не выдал Бомона, который был осужден во второй раз. Кража была на несколько сот тысяч франков; большую часть вещей нашли у него. «Тут столько, что можно было сделаться честным человеком, — сказал он, — и я сделался бы честным. Это так легко богатому! А между тем сколько богатых, которые хуже мошенников!» То были его единственные слова, когда его арестовали. Этот удивительный вор был отвезен в Брест

и вследствие нескольких побегов, послуживших только к тому, что его еще крепче содержали, умер от страшного истощения.

Бомон пользовался у воров колоссальной репутацией, и еще теперь, если какой-нибудь хвастун вздумает выставлять свои подвиги, ему замечают: «Молчи ты, ты не достоин развязать ремень у сапог Бомона». В самом деле, обокрасть полицию — не верх ли это искусства? Подобного рода воровство не есть ли образец совершенства, и возможно ли, чтобы его виновник не был героем в глазах ему подобных? Кто осмелится сравниться с ним? Бомон обокрал полицию! Повесься, отважный Грильен, повесьтесь, Куаньяр, Пертрюизер, Колле, вы перед ним не более как пигмеи! Что такое украсть документы, завладеть сокровищами Рейнской армии или кассой миссии? Бомон обокрал самую полицию; повесьтесь или ступайте в Англию — там вас повесят.



Глава сорок восьмая

Градоначальник, или Г-н Протей. – Ложный откупщик. – Прекрасный жилец. – Сохранившаяся вдовушка. – Прогулка. – Любовник природы. – Счастливая страна! – Лекарство против всех болезней (универсальная панацея). – Чудодейственный напиток против равнодушия в любви, или Источник молодости и девственности. – Способ употребления. – Чудесная сила травы под названием «для всего хороша». – Знаменитый натуралист. – Дураки находятся! – С.-Жерменская Цирцея. – «Воры! Разбойники! Караул!» – Пролом в стене. – Ужасное открытие. – Отчаяние мебельщика. – Осматривайте ваши кресла

Один из искуснейших комнатных воров был Годе Младший, прозванный Маркизом, а также Дюраном и Градоначальником.

Если бы я стал перечислять все имена и звания, носимые им в продолжение его длинной карьеры, то и конца бы не было: он был купцом, судохозяином, эмигрантом, капиталистом и т. д.

Бывши одним из главных предводителей шаек, опустошавших Южную Францию, он скрылся было в Руан, когда, обвиненный в воровстве, был узнан и осужден пожизненно. Это уж в седьмой или восьмой раз его уличали. Годе имел главными поверенными трех воров: Дельсука, Фиансета и Колонжа, имена которых также знамениты в истории воровства.

Годе начал свое ремесло весьма рано и уже шестидесяти лет все еще отправлял его. Он тогда имел почтенный вид: толстое брюхо, доброе лицо, светские манеры — все соединялось в нем, чтобы внушить доверие с первого взгляда; кроме того, он обладал тактом и знал всю силу костюма; чтобы сравнить его костюм с костюмом откупщика казенных доходов или бывшего подрядчика, надо было, чтобы я не видал знаменитого г-на Сегуина во всей простоте его одежды. Поэтому, не желая вводить никого в заблуждение, отказываюсь от всяких сравнений и надеюсь, меня поймут, если скажу коротко, что этот хитрый негодяй имел внушительную наружность людей, богатая одежда которых свидетельствует о туго набитом кармане.

Немногие из комнатных воров были более предприимчивы и одарены большей твердостью

и настойчивостью: раз ему пришла фантазия обокрасть богатую вдову, жившую в Сен-Жермен-Лайе, в улице Пото-Жюре. Сначала он стал исследовать доступ к дому и тщетно старался в него проникнуть. Он превосходно делал фальшивые ключи; но ключ нельзя сделать наобум, а в настоящем случае даже тени оттиска невозможно было достать. Два месяца прошли в бесплодных попытках; всякий другой отказался бы от столь трудного предприятия; Маркиз же, сказавши себе раз: «Я достигну», не хочет изменить своему слову.

Дом, примыкавший к дому вдовы, занят жильцом; ничего не остается, как выжить этого жильца, и вот Годе вскоре поселяется на его место под именем г-на Фьерваля. «Черт возьми! — говорят соседи. — Этот не похож на прежнего жильца; какая великолепная у него мебель и вся обстановка, сейчас видно человека порядочного!»

Прошло уже около трех недель, как он переехал, когда соседка, долго не пользовавшаяся свежим воздухом, вздумала сделать маленькую прогулку: она отправилась в парк в сопровождении Маши, своей верной служанки. Уже под конец прогулки подходит к ней незнакомец, с ученым видом усердного последователя Линнея и Турнефора,

держа в одной руке шляпу, а в другой какое-то растение.

— Перед вами, сударыня, любитель природы, той прекрасной природы, в которую влюбляются все благородные и нежные сердца; ботаника — вот моя страсть; она была также страстью чувствительного Жан-Жака, добродетельного Бернардена де Сен-Пьерр. По примеру этих великих философов я отыскиваю лекарственные травы и, если не ошибаюсь, буду иметь счастье встретить в этой местности весьма драгоценные. Ах, сударыня, желательно для счастья человечества, чтобы все знали свойства вот этой. Вам известна эта трава?

— По правде сказать, милостивый государь, она не редкость в здешних окрестностях; но сознаюсь в своем невежестве: не знаю ни ее имени, ни свойств.

— Она не редкая, говорите вы? О, счастливая страна, где она не редкость! Можете ли вы быть настолько добры, чтобы указать мне места, где она растет в наибольшем изобилии?

— Охотно, милостивый государь, но позвольте узнать, на что она годна?

— На что! Да на все, сударыня! Это истинное сокровище, всецелебное лекарство; с этой травой

совсем не надо и медиков: корень ее, употребляемый в виде декокта, очищает кровь, прогоняет дурное расположение духа, содействует кровообращению, рассеивает меланхолию, придает гибкость членам, силу мускулам и исцеляет все болезни до ста лет… Настоянный стебель делает чудеса; если класть его по одному пакету в ванну и постоянно употреблять, то вы откроете источник вечной молодости; листок, положенный на рану, тотчас же ее вылечивает.

— А цветок?



— Ах, что касается до цветка, то тут мы должны

благословлять Провидение; если бы женщины только знали… Этот цветок… С ним нет более вдовства.

— Как, он мне дал бы возможность возвратить мужа?

— Лучше того, сударыня: он сделал бы, как будто вы его никогда не имели. Одна щепотка, две щепотки, три щепотки — и ничего не будет заметно.

— О, чудный цветок!

— Вы совершенно справедливо называете его чудным. Прибавьте к этому, что из него можно составить один из самых чудодейственных любовных напитков против равнодушия в браке.

— И вы не шутите?

— Боже меня сохрани, сударыня! Умыванье, с одной стороны, питье — с другой; весь секрет в способе приготовления и употребления.

— Может быть, нескромно будет спросить у вас рецепт?

— Нисколько; я готов с удовольствием сообщить вам его.

— Сначала скажите мне название этой замечательной травы.

— Название, сударыня, просто: полевой шалфей.

— Маша, слышишь, полевой шалфей. Если мы отведем господина в глубину парка, кажется, там его много?

— Если бы не было так далеко, я повела бы вас туда, где его гораздо больше. Столько, столько! Все равно что палочной травы, я там иногда собирала большими охапками. Вот что значит, когда чего не знаешь… Может быть, поэтому-то кролики… Но вы, барин, не захотите пойти так далеко!

— Я готов идти на край света, только боюсь слишком злоупотребить вашей любезностью.

— Не бойтесь, милостивый государь, не бойтесь; я буду достаточно вознаграждена, потому что вы согласны.

— Ах да, в самом деле; я об этом и не подумал.

Маша ведет собирателя лекарственных трав, который дорогой объясняет, как делаются настои, декокты, прикладывания, умыванья и чудная любовная эссенция. Наконец пришли. Никогда еще ботанику не приходилось видеть в таком огромном количестве растение, достоинства которого он описал; выразивши свою несказанную радость и энтузиазм, он принялся собирать… Вдова тоже делает запас. Собирали так усердно, что минут через двадцать бедная Маша насилу могла нести; но она не жалуется, она намерена даже

снова возвратиться, потому что со своей стороны ни слова не пропустила из фармацевтического урока и не менее своей госпожи жаждет им воспользоваться; обманутая один за другим двумя гвардейскими конюхами, она посещает третьего; и притом в будущий храмовый праздник предполагается избирать девицу для удостоения ее розовым венком; кабы выбор пал на нее! Во всяком случае, если ее и не увенчают, то, по крайней мере, ей можно будет не краснея надеть венок невесты и осчастливить свой идеал брачным ложем без предшественников. Эта надежда придает ей силу. Вскоре сбор покончился, и ботаник расстался со вдовой, обменявшись обоюдной благодарностью. Он отправился за новыми открытиями, а Сен-Жерменская Цирцея со своей служанкой пошли домой, гордясь, что несут с собой источник красоты, здоровья, разума, всех прелестей и очарований.

Пришли. Длинная прогулка возбудила аппетит.

— Скорей, скорей, Маша! Накрывай на стол и будем обедать.

— Но, сударыня, ничего не готово.

— Все равно, поедим вчерашнее. Давай вчерашнего цыпленка с нынешними мерланами.

Маша, голодная не менее хозяйки, спешит исполнить приказание.

— Ах, боже мой, боже мой!

— Не кричи так, Маша, ты меня перепугала.

— Ах, сударыня!

— Да что ты, Маша? Ногу, что ли, сломала?

— Серебро…

— Ну что ж серебро?

— Нас обокрали!

— Что ты говоришь, ветреная голова!

— Божусь вам.

— Молчи ты, беспечная! Как мыла посуду, куда-нибудь забросила. Я уверена, что, если встану, сейчас же найду.

— Ах, сударыня, все обобрали!

— Что ты говоришь?

— Возможно ли! Серебра совсем нет.

— Совсем нет? Что она хочет этим сказать?.. Какая ты глупая, Маша!

Говоря это, она нетерпеливо встает и, подойдя к шкафу, отталкивает горничную.

— Пошла ты, дура!.. О небо, какое несчастье! Ах, злодеи, мошенники! Разбойники! Да пошевельнись же, Маша, что ты стоишь, как какая мумия! Или молоко течет в твоих жилах?

— Да что же мне делать, сударыня?

— Это все твоя небрежность. Сколько мне твердить, чтобы ты запирала двери; пока ты вышла, успели войти в столовую. Это непременно так; когда мы вернулись, запор разве не был на своем месте, как и прежде? Вот я, если меня и обокрадут, то уверена, что не по моей вине: ухожу, прихожу, выйду на минутку, ключи всегда со мной; а ты на 6000 франков серебра… Хорош ты праздник мне сделала… Я не знаю, как тебя не… Ступай с глаз моих — уйди, говорю тебе!

Маша в отчаянии бежит в соседнюю комнату, но тотчас же возвращается с криком:

— Господи! Ваша комната взломана, письменный стол раскрыт, все там вверх дном.

Вдова спешит удостовериться, действительно ли так. Несчастье слишком очевидно; с одного взгляда она сообразила всю его громадность.

— Чудовище! — произнесла она. — Я разорена! — И она лишилась чувств.

Маша бросилась к окну звать на помощь.

— Воры! Убийцы! Караул! Пожар! — раздалось по улице.

Жители, жандармы, частный пристав сбежались в дом. Весь нижний этаж тщательно обыскали и не нашли никого. Один из присутствующих предложил сойти в погреб. «В погреб!

В погреб!» — повторили единогласно. Зажгли свечи, и пока Маша хлопотала около барыни, приходившей в себя, пристав с другими лицами отправились в погреб. В первом ничего не нашли, во второй — тоже, третий примыкает к погребу соседа: на земле набросана штукатурка, осматривают и в средине стены замечают отверстие, достаточное для прохода человека. С этой минуты все объяснилось: два часа тому назад у дверей толстого парижского барина, как звали Годе, стояла карета, в которую он сел с большим, тяжелым чемоданом. В нем находились деньги, золото, драгоценные вещи и серебро вдовы на весьма значительную сумму. Годе более не показывался, и не было возможности его разыскать. Только через несколько дней явились в его квартиру за мебелью… Кто же? Посланный от г-на Годе?.. Как бы не так, мебельщик, продавший ему мебель в кредит. Ему рассказали историю с полевым шалфеем. Вдова показала свою вязанку набранного в поле сена.

— Ах, — сказал он, глядя на этот предмет жестокой мистификации, — мне только жаль одного.

— Чего же?

— Что я не положил такого же сена вчетверо больше в эти кресла; но в канапе попробуйте

найти хоть один лошадиный волос…

В этом сожалении просвечивает глубокая истина, что не все собиратели лекарственных трав находятся в парке Сен-Жерменском. Если у наших лошадей коротки хвосты, то мебельщики улицы Клери нимало в том не виноваты; что касается до длинных зубов, то это другое дело, потому что они возвысили цены на корм.

Глава сорок девятая

Возвращение в Руан. – Отвращение от светской жизни. – Фантазия мизантропа. – Выбор уединенной местности. – Поэты и пустынники. – Проект поездки. – Странная разборчивость. – Любовь к родовому имению. – Опасность обедать в Париже. – Слепки и поддельные ключи. – Кому же верить?

Годе, обокравший вдову, отправился в Руан, но он не замедлил приблизиться к Парижу, хотя все-таки не поселился в нем: снедаемый семейными огорчениями, разочарованный светским обществом, недовольный его непостоянством и своим здоровьем, собою и другими, Градоначальник превратился в мизантропа, жаждущего деревенской жизни. С этой целью он отправился осматривать окрестности столицы и в Бельвилле нашел дом, вполне соответствующий его настроению; под сенью этих мест он будет предаваться своей меланхолии и облегчать вздохами свою страждущую душу. Годе нанимает квартиру в избранном им доме; но мизантроп не может

долго вынести присутствия близ себя других человеческих существ: ему нужно жилище, где он мог бы позабыть, что он не один на свете, и он выражает желание приобрести его во что бы то ни стало, лишь бы только не видать и тени ненавистного ему общества; он готов удовлетвориться всем — как замком, так и хижиной. Он высказывает во всеуслышание свое намерение отправиться на поиски за жилищем, где должны пройти его старые годы; осведомляется о всех сельских домах, предназначенных к продаже на расстоянии десяти миль в окрестности.

Вскоре стало общеизвестным, что он намерен сделать покупку; знают, какие имения могли бы ему подойти, но ему хочется не иначе как родовое имение. «Ну, коли он так разборчив, пусть ищет». Мизантроп действительно порешил искать и стал делать приготовления к отъезду; он намерен отлучиться не более как на три-четыре дня и очень рад, узнавши, что нимало не опасно оставить в своем бюро какой-нибудь десяток тысяч франков, который ему совсем не хочется таскать с собою. Его совершенно успокаивают на этот счет, и он не колеблясь пускается в путь.

Путь этот недалек: во время своего пребывания в доме он имел возможность снять все слеп-

ки с замков, необходимые ему для того, чтобы забраться к хозяину; он заметил также, что последний имеет привычку обедать в Париже и возвращается только поздно ночью. Следовательно, придя в сумерки, Годе уверен, что еще будет иметь достаточно времени обделать свое дело. По захождении солнца пробирается он незамеченный в Бельвилль и, проникнув в дом с помощью фальшивых ключей, уносит у хозяина все, даже до белья.

В исходе пятого дня стали беспокоиться, что мизантроп не возвращается; на следующий день уже родилось подозрение, а затем и убеждение, что вор не кто другой, как он. Подите после этого, полагайтесь на мизантропов! И на кого положиться? На филантропов, что ли? Да и они не лучше.


SORT

Глава пятидесятая

Адель д'Эскар. – Первый шаг падшей женщины. – Фальшивое имя, внесенное в роковой список. – Бюро благонравия, живущее доходами с безнравственности. – Хозяйка и дом терпимости. – Возможно ли возвращение на честный путь? – Полицейская инспекция и когти сатаны. – Уменьшает ли инспекция проституцию? – Право вступления в проститутки. – Содержательницы домов терпимости и их жертвы. – Вечный позор. – Отчаяние родителей. – Сыщики и воры – султаны домов терпимости. – Адель – начальница воров. – Умная голова и хорошее сердце

Одна из самых неустрашимых комнатных воровок была Адель д'Эскар. Я никогда не видал более красивой женщины. Она, казалось, создана была по образцу одной из божественных Мадонн, порожденных воображением Рафаэля. Великолепные белокурые косы, большие голубые глаза с выражением кротости и нежности, божественный лоб, восхитительный ротик, все черты,

дышащие непорочностью, стройный, почти воздушный стан — таково было редкое соединение прелестей, доставшихся на долю Адели. В физическом отношении она была совершеннейшим существом; в нравственном же, по велению судьбы или вследствие дурных наклонностей от природы, она не отличалась такими качествами.

Она принадлежала к честной, но бедной фамилии. С четырнадцати лет отнятая от родителей одною из тех развратниц, которыми так изобилует Париж, она была помещена в дом терпимости. Судя по грациозной законченности форм, ее можно было принять за взрослую девицу, между тем это был ребенок относительно полнейшей наивности, не ведавший ни греха, ни добродетели, поэтому ее легко было увлечь в пропасть. Чтобы скрыться от розысков своих близких, она согласилась сначала переменить имя, а чтобы чрезмерная юность не была препятствием видам подлой твари, взявшейся торговать ее прелестями, несчастная девушка выдавала себя старше, чем была.



Приведенная в полицейскую префектуру, она по тогдашнему обычаю была там записана, не без того чтобы блюстители нравов не сделали какого-либо замечания, которые свойственны бесстыдным распутникам. С помощью маленькой платы, а также возлияния Бахусу, которое в те времена никогда не упускалось, Адель получи-

ла право посвятить себя проституции.

Поверит ли читатель, что это полицейское бюро находилось в доме магистрата, уполномоченного обуздывать нравы; и в этом-то бюро молодая девушка, которую часто малейшим увещанием можно было обратить на путь истины, получала право отправлять худшее из ремесел. Бюро благонравия, в котором позволялось совсем не иметь его, префект, под покровительством которого давалось позволение на разврат, — какая нравственность! А между тем этот префект отличался благочестием. Молодая девушка, сбившаяся с пути под влиянием ложных советов, досады или временного отчаяния, тут уже шла бесповоротно на гибельное решение. Это был не более как безрассудный поступок, дьявольское внушение; размышление, время, препятствия, может быть, изменили бы направление ее мыслей. Но тут замешалось бюро! Для содержательниц домов терпимости было необходимым, с согласия полицейских агентов, их покровителей и тиранов, приобретать для разврата уголок в деревне и быть достаточно богатыми, чтобы принимать их и покупать их благосклонность богатыми подарками.

Как только девушка являлась в полицейскую

префектуру, открывался реестр и без всяких предварительных вопросов ее вносили туда под именем и с возрастом, которые ей вздумается принять; отмеченная, осмотренная с головы до ног, с этой минуты она безвозвратно была приобретена проституцией, и, каково бы ни было впоследствии ее раскаяние, ей не позволялось отказаться от своего заблуждения, расстаться со своим позором. Блюстители нравов, инспектора, предоставляя право разврата, нисколько не заботились об исправлении несчастных жертв позора; толкнуть на путь разврата было их делом, но чтобы вырваться из этих когтей сатаны, они требовали выполнения тысячи различных формальностей. Для этого необходимы свидетели, аттестации, поручители, собственное раскаяние — словом, возвратиться на честный путь почти было невозможно.

Раз внесенная в список, бедная девушка не могла освободиться иначе как окруживши себя поверенными своего стыда; ежеминутно, на каждом шагу в обществе, куда вступала, она подвергалась напоминанию о покинутом ею позорном занятии. Включение было так легко, скрытно: ни родителям, ни воспитателям не давали знать; включение же делалось публично,

уполномоченными на то гражданами, после многих испытаний. Произвол не переставал угрожать проститутке, хотя она по собственному желанию отказалась от прежней жизни; между тем достаточно бы было простого заявления об этом от нее самой, так как для снискания пропитания работой необходимо было, чтобы не знали ее прошлого; полиции, напротив, нужно, чтобы его знали, чтобы позор был вечный, пятно неизгладимо: она покровительствует развращению, не естественно ли ей после того сопротивляться всей своей властью исправлению заблудших, сокращающему число подвластных ей жертв? Это сатана, не выпускающий добычи; я видел, с какой яростью инспекция разыскивала проституток, даже по мастерским, тех, которые без установленных формальностей осмеливались ускользать от них; чем красивее и моложе они были, тем упорнее их задерживали. Я видел, с какой поспешностью приняли одну дебютантку в этом отвратительном бюро, где родительская власть была наименее признаваема.

Случалось, что в то время, как перед молодой девушкой, приводимой *хозяйкой*, произносились самые нескромные речи, отец или мать этой девушки, терзаясь от горя, были тут же, во втором

отделении, умоляя начальника разыскать их пропавшее дитя.



Г-н Беллейм произвел много реформ, и благодаря ему такса на девушек перестала быть доходом полиции; но после него многие из прежних злоупотреблений возвратились.

Перехожу к Адели д’Эскар.

Раз брошенная на этот путь погибели, она быстро его проходила, переиспытавши все его превратности. Первые любовники ее были полицейские сыщики. В те времена сыщики и знаменитые воры были султанами публичных гаремов и пользовались возможностью проявлять там свою волю. Каковы бы ни были их требования, содержательница не могла им ни в чем отказывать: в полицейском агенте она видела свою законную силу, в воре — силу материальную.

Адель постоянно была предметом домогательства членов полиции, равно как Гильома, Леружа, Виктора Дебуа, Коко-Лакура, Пуаллье и т. п., удостоивавших ее брать себе в любовницы. В их обществе она свыклась с идеей о воровстве; они уничтожили в ней последние остатки совести и показали всю выгоду отправляемого ими ремесла, которое потом сделалось и ее ремеслом. Дебюты ее были блистательны: она не начинала, подобно другим, с вытаскиванья кошельков и часов, что считалось пустячным препровождением времени, а простирала свои виды гораздо дальше. Некоторые из ее возлюбленных отличались искусством делания поддельных ключей; она усвоила себе это опасное искусство и вскоре

сделала столь большие успехи, что получила право подавать голос в обществе комнатных грабителей, принявших ее в свое общество.

Она заслужила себе репутацию умной головы; случаи, более или менее важные, с ее задушевными друзьями дали ей также возможность доказать, что у нее и сердце было доброе. Все признали за ней добродетель их сословия, называемую ими *честностью*. Никогда она не покидала того, кого поражала злая участь вора. Если одного из ее возлюбленных осуждали, то она всегда заменяла его одним из лучших его товарищей, который становился ее любовником, с тем только условием, чтобы не препятствовать ей оказывать помощь заключенному. Таким образом, у нее было множество привязанностей, предметы которых находились в острогах или тюрьмах. Для облегчения их участи ее отвага и ловкость усиливались; но число ее пансионеров до такой степени умножилось, что, для того чтобы не лишить их высшего оклада, а это пошатнуло бы ее репутацию честности, она принуждена была подвергать себя весьма большим лишениям. Любовник есть сообщник, который при разделе барышей обыкновенно присваивает себе львиную долю, и она решилась не иметь

более любовников. Адель была достаточно опытна, чтобы не иметь сотрудника, и воровала одна в продолжение двух лет с невообразимым счастьем; все ей удавалось, наконец настала минута, когда изобилие добычи, превзошедши все ее ожидания, заставило ее в первый раз почувствовать затруднение.

Глава пятьдесят первая

Тяжесть одиночества. – Брак по воровству. – Первый опыт. – Где же деньги, черт возьми? – Утешение найдено. – Восторженная сцена. – Мир исполнен наслаждений. – Предательские занавески. – Волшебные тени. – Решетчатые ставни. – На шестнадцать лет в оковы!

Адель, взобравшись на высоту, вдруг почувствовала всю тяжесть одиночества. Она ощутила пустоту, которую не могла определить или, лучше сказать, так хорошо ее определяла, что решилась склониться на речи первого влюбленного, лишь бы он ей пришелся по вкусу. Кому она понравилась и кто ей понравился, был известный бильярдный мошенник, по имени Риготье. Вышедши победителем из одной ставки, он на радостях преподнес ей любовное письмо, где любовь его выражалась самым пламенным образом, потому что Риготье был действительно влюблен. Адель, прежде страшно боявшаяся этого, теперь приняла его объяснение и в опьянении победы

не заставила его вздыхать понапрасну.

Она знала, что женщина в незаконном браке не должна ничего скрывать от своего любовника, поэтому тотчас же сообщила Риготье о своих талантах и выгоде, доставляемой ими. Он восхищался быстротой, с которой она владела подпилком. Она хотела испробовать и его способности, открыла их, развила, и так как уроки любимого человека особенно успешно воспринимаются, то вскоре Риготье мог смастерить ключ с таким же совершенством, как самый опытный слесарь. Но Адель не хотела, чтобы он рисковал, не усовершенствовавшись вполне; сначала она брала его с собой только для того, чтобы сторожить: но когда он стал жаловаться на сидение сложа руки, то решено было и ему пуститься в дело.

В улице Фероннери проживала дама, которая, благодаря сплетням своей экономки, слыла за богатую и скупую. Адель вознамерилась ее ограбить; уже ключи были готовы; экономка обещалась дать знать, когда отлучится госпожа. И вот однажды она оповестила, что хозяйка ушла на вечер. Стали обсуждать, как приняться за дело.

— Ну, — сказала Адель своему ученику, — от-

ступать нечего, ты пойдешь со мною, я посмотрю, как ты будешь действовать. А дело отличное! Для начала нельзя лучше выбрать.

Риготье не отказывался. Они пошли вместе и, как только уверились, что хозяйки нет, без труда вошли. Чтобы быть как у себя, они заперлись на задвижку и безотлагательно принялись взламывать все, что предполагалось с деньгами: взломали бюро, два комода, шкаф, шифоньерку, два несессера и нигде не нашли денег, о которых рассказывала экономка. Где же деньги? Попавшееся письменное обязательство показало, что накануне они были помещены к нотариусу. Было от чего рвать на себе волосы! Но вместо того, чтобы предаваться бесполезному отчаянию, обманувшаяся чета, оглядевши множество предметов, решила, что из груды найдется чем утешиться, и, не теряя времени, стала прибирать к рукам серебро, драгоценные вещи, кружева и белье. Сортировка наскоро сделана; самые драгоценные вещи собраны в узел, отперли дверь и уже совсем намеревались выйти, как вдруг заметили в шкафу четыре почтенные бутылки. Это десятилетний шамбертен![16] Чтобы отпраздно-

[16] Примечания: 16
Шамбертен — лучшее бургундское вино.

вать успех предприятия, невозможно не выпить по стакану. Что за божественный нектар! За стаканом незаметно проскочил другой, а там опустела и вся бутылка, за ней другая, третья и, наконец, четвертая.

Наступило опьянение. Море по колено, все забывается; два друга не на земле, а на небе, где нет ни жандармов, ни шпионов, ни законов, ни судов, ни воспоминаний, ни предусмотрительности. Риготье отлично поет; Адель тоже не без голоса; и вот они затягивают во всю глотку знаменитый дуэт: Le Gouépeur et le Voleur.

За пением последовала непозволительная качуча. Гром может грянуть, пол проломиться, дом обрушиться, мир исчезнуть, но счастливая парочка ничего не видит и не слышит; они не от мира сего: для них нет более терний, ни препятствий, ни горестей; мир для них исполнен наслаждений. Они танцуют с неистовством.

Но в Париже улицы иногда имеют две стороны, и не мешает подумать о том, что есть визави. Дама, отсутствие которой делало наших танцоров вполне беззаботными, недалеко ушла; прямо напротив и даже в соответственном этаже жила ее подруга; у нее она и сидела за бостоном, как вдруг, пока сдавали карты, взгляд ее машинально

упал на одно из окон жилища.

— Ах, боже мой: взгляните-ка, медам, — вскричала она, — в моей спальне происходит что-то совсем необыкновенное.

— Что такое? Что такое?

— Видите, там свет.

— Вы ошибаетесь, это отражение лучей.

— Какое отражение! Я, слава богу, еще не ослепла; я даже вижу движение.

— Ну вот, движение! Вы всегда так.

— Ей-богу, на этот раз вы не скажете, что это вообразилось… Взгляните, взгляните, господин Планар, присмотритесь; видите ли, как движется занавеска у окна возле моей постели?

— Вы правы, я, кажется, тоже замечаю какое-то особенное движение.

— Оно усиливается… Бахрома, кисточки — все колеблется, движется. Если это продлится, прут из занавески непременно выпадет.

— Да, не прекращается. Что это может значить? Вдруг это воры!

— Воры, так и есть! Ах, милейший господин Планар, вы меня как раз надоумили. Господи, это воры! Скорее, скорее пойдем туда!

— Идем, идем! — повторило все общество.

И каждый, смотря по своему проворству, при-

нялся перепрыгивать через две, три, четыре ступени.

Дама, квартиру которой посетили без ее ведома, была сильно взволнована и дрожала больше своих занавесок. Вне себя она отворяет форточку дворника.

— Фонарь! Скорее мой фонарь! — кричит она в смятении. — Да поворачивайтесь же! Вы поправите светильню после.

— Вы хотите, чтобы свеча отекла…

— Когда вам говорят, что в доме воры!

— Воры?

— Ну да!

— А где же они?

— Да у меня.

— У вас, сударыня, у вас?.. Вы шутить изволите.

— Да, я шучу; бегите скорее сказать управляющему.

— Господину Делуайе?.. Иду.

— Попросите его прийти сейчас же.

Дворник поспешил исполнить приказание и тотчас же явился в сопровождении г-на Делуайе, который при слове «воры» уже принял некоторые меры к атаке. Оставшись в халате и ночном колпаке, он, однако, заменил глазной зонтик из зеленой тафты очками, поправил чулки, подвя-

зал подвязки и, проходя через свою кухню, успел вооружиться вертелом.

— Ну, друзья, — сказал он, — как можно осторожнее, особенно без шума! Мы войдем, не правда ли? Тсс... Тсс... Мне послышалось... Нет, это карета. Погодите, не надо спешить... Во-первых, все чтобы разулись... Тсс...

— Вы, Трипо, — (обратился он к дворнику), — так как они могут быть сильны, возьмите топор, жена ваша пусть идет с метлой, а дочь — с лопатой; у каждой должно быть по стулу, чтобы отразить неприятеля. Ну, вперед! Я беру на себя защищать отступление, а если встретим сопротивление, то вмешаюсь сам везде, где будет нужно. Сказано — сделано, понятно? Ступайте вперед меня; я иду за вами.

И толпа зашевелилась, подымаясь по лестнице. Взойдя на второй этаж, они остановились.

— Тише!.. Тут!..

Дворник, изображающий собою авангард, кладет тихонько ключ в замочную скважину. Дверь отворилась...

Последовал всеобщий крик удивления, негодования и стыда. Адель и Риготье, усталые и опьяневшие, попадали на пол, на матрас, и уснули среди переломанной мебели, разлитого вина

и разбросанных узлов.

— Вот так молодцы, отлично! — вскричал дворник. — Надо позвать частного пристава, пускай полюбуется!

Пристав, полицейские, стража, за которой тоже бегал сосед, не заставили себя ждать и забрали на месте двух влюбленных. Адель, опрошенная первой, не смутилась и объявила, что присутствие ее в комнате, где ее захватили, было совершенно случайно; что она совсем не знает человека, с которым была, и даже никогда его прежде не видала; он пристал к ней на улице, и они с ним вместе вошли в дом, думая, что это увеселительное заведение; дверь на лестнице была отперта, и они вошли… Что касается до связанных узлов, то о них она и подавно знать ничего не знает, и если произведено какое воровство, то это ее нимало не касается.



Выдумка была очень ловка и сплетена недурно, но Риготье, с которым Адель не могла сговориться, давал совсем другое показание, и на этом противоречии основан был приговор, осудивший их на шестнадцать лет в кандалы. Риготье отправлен был с партией в 1802 году; десять лет спустя я встретил его на набережной: он бежал; я задержал его, и после он умер в остроге.

Глава пятьдесят вторая

Плоды экономии. – Проект исправления. – Неудачи. – Непрочность существования. – Последствия предрассудков. – Касса ссуд. – Отчаяние. – Надо умереть! – Орудия преступления. – Борьба и искушение

По истечении срока наказания Адель вышла из Сен-Лазара с получением 900 франков, оставшихся от ее заработка. Она совершенно исправилась и намеревалась начать безупречную жизнь.

Первой ее заботой было запастись приличной одеждой и кое-какой мебелью. После этих покупок осталось у нее 150 франков, сумма, достаточная для минутного устранения нищеты; поэтому, не теряя времени, она отправилась на поиски за работой и, будучи искусной портнихой, легко ею раздобылась. Проработавши несколько месяцев на один магазин, она могла быть довольна своей судьбой; но существование освобожденного, мужчины или женщины, так шатко! Узнали, что она была заключена в Сен-Лазаре, и с той поры начались для нее те несчастья,

которых так трудно, а в ту эпоху было почти невозможно избежать, коль скоро раз попал в руки правосудия.

Адели, не подавшей никакого повода, было безжалостно отказано от работы; она переменила квартиру и успела снова найти место. Приставленная над бельем в гостинице, она, чтобы избавиться от нескромных толков, решилась иметь сношения только с лицами, которые сами были с ней откровенны; но, несмотря на эту предосторожность, не могла укрыться от следов прошлого и снова была лишена работы; с того дня ее всюду преследовало осуждение, неразлучное с бесчестием, неизгладимым общественными предрассудками.



У Адели был один только источник существования — работа иглой, и ее-то она не могла достать; прошло три месяца, и она не встретила сострадательной души, которая, воспользовавшись ее работой, приняла бы участие в ее положении. Настала минута, когда, для того чтобы просуществовать, пришлось пожертвовать нарядами, и вскоре, вследствие маленьких займов, весь ее гардероб поглотился бездной ссудной кассы.

Доведенная до крайней бедности, она раз вечером намеревалась броситься в Сену, но, встретясь на Новом мосту с Сузанной Болье, одной из това-

рок по заключению, она рассказала ей свое горе.

— Полно! Полно! — сказала Сузанна. — Разве от этого топятся. Пойдем к нам; я с сестрой завела швейную мастерскую. Работа кое-что приносит; ты нам будешь помогать, и мы станем жить вместе. Коли будет один хлеб — что делать! — будем есть один хлеб.

Предложение пришло как нельзя более вовремя, и Адель согласилась.

Было начало зимы. Вышиванье шло довольно хорошо; но после Масленицы настала глухая пора; через шесть недель Адель с товарками очутилась в самой крайней нужде. Фридрих, муж одной из них, занимался слесарством, и, если бы у него была работа, он мог бы им помочь, но, к несчастью, ему из заработка недоставало даже на плату за квартиру и за патент. Большей нищеты не могло быть. Раз Адель была в его мастерской; уже двое суток ни он, ни она ни крошки не ели.

— Ну, — сказал слесарь, как бы в шутку, хотя тон его был самый зловещий, — приходится умирать, мои поросятки; ячменя нет больше… Да, надо умереть, — повторил он. И от усилия улыбнуться черты его искажались и холодный пот выступал на лбу.

Адель, безмолвная, с лицом, покрытым смер-

тельной бледностью, стояла, наклонившись над станком. Вдруг она приподнялась и вся задрожала.

— Надо умереть… Надо бы было… — прошептала она, глядя с неописанным чувством на окружавшие ее инструменты.

Ей блеснул луч страшной надежды. Адель ужасается, волнуется! Она выносит жесточайшую борьбу между муками голода и угрызениями совести: во время этой пытки рука ее опирается на связку ключей; но она их отталкивает.

— Господи! — восклицает она. — Удали от меня эти орудия преступлений. Я так близка к ним; ужели это мое единственное прибежище?

И чтобы не поддаться искушению, несчастная спешит уйти.

Уже сказано, что во всем последующем, равно как и предыдущем рассказе, типы, характеры и нравы относятся исключительно к той эпохе, которую я описываю с натуры. Если же читатели последующего поколения найдут, что вещи изменились, то, надеюсь, они не будут в претензии за мои открытия, потому что для истребления злоупотреблений необходимо познакомиться с ними.


H.VALENTIN
B.H.B.

Глава пятьдесят третья

Благотворительный комитет. – Член благотворительности не принимает голодных во время обеда. – Припадок голода. – Голодная под колесами благотворительницы. – Вези меня к министру! – Черты народного сочувствия. – Сбор подаяний. – Неумолимый домовладелец. – Подвиги полиции

Адель слышала, что существует где-то благотворительный комитет: там, если благотворительность не есть пустое слово, бедные должны быть приняты и тотчас же получить помощь. Желание остаться добродетельной придает ей бодрости; она собирает остаток сил и тащится до дверей филантропа, на которого ей указали как на раздавателя милостыни в их округе. Адель изъявляет желание с ним переговорить.

— Барин не принимает…

— Но я умираю с голоду…

— Он теперь за столом и не велит, чтобы его беспокоили во время обеда.

— Боже мой! Может, он скоро кончит… Когда

могу я прийти?

— Завтра.

— Завтра!

— Не прежде полудня, слышите ли? Раньше этого барин никого не принимает.

— Ах, сделайте, чтоб я могла его увидать сегодня вечером. Вы возвратили бы меня к жизни.



— Вам уже сказано, что это невозможно. Ступайте и не приставайте больше.

Адель вышла. Не успела она переступить порог двери, захлопнутой с сердцем, как ноги ее под-

косились. Она попробовала сделать несколько шагов, но в глазах ее помутилось; она пошатнулась, упала и при падении ударилась головой об тумбу.

— Стой, кучер, не задави ее!

— Погоняй же! Что ты слушаешься приказаний этой сволочи?.. Погоняй, говорю! — раздавался резкий голос барыни, экипаж которой мчался во весь дух по мостовой.

— Сволочь сидит в твоей карете! — возразил угольщик. — Остановишься ли ты, старая собака?..

Он бросился к лошадям и остановил их сильной рукой, тогда как другие прохожие, сбежавшиеся на шум, стали вытаскивать из-под колес окровавленную женщину.

А вдовушка мечет громы и молнии против этих негодяев, осмелившихся задержать ее: она опоздает в благотворительный комитет, это ни на что не похоже… Заседание уже началось… В Париже невозможно жить спокойно честным людям… Проезду не дают.

— Ландау, исполняй свое дело, разгони этих нахалов!.. Да ты меня не слушаешь?.. Заставлять меня терять драгоценное время, и из-за кого? Из-за какой-нибудь дряни, из-за пьяницы!

— Графиня, видите, что я не могу проехать.

— Скажи моему егерю, чтобы он взял номер этого человека, я пожалуюсь полиции, он сгниет в тюрьме. Вези меня прямо к министру!

При этих словах испуганный угольщик бросил вожжи, и карета графини пронеслась как молния посреди свистков и проклятий.

Адель положили на скамью, прямо возле той двери, откуда за несколько мгновений до того ее вытолкали с такой жестокостью. Обморок все продолжается; ее поддерживают двое рабочих.

Из зрителей каждый старается чем-нибудь помочь. Одна торговка пробралась сквозь толпу, разорвала рубашку, чтобы унять кровь и перевязать рану; другая торговка фруктами прибежала с бульоном, рассыльный пошел за вином, а молоденькая модистка дала ей понюхать спирту. Стечение народа было значительное.

— Что такое? Что случилось?

— С какой-то женщиной дурно.

— Да раздвиньтесь же! — слышно в центре круга. — Или вы хотите ее задушить?

Круг расширился. Адель не показывала признаков жизни; она была неподвижна. Ей раскрыли глаза.

— Глаза хороши.

— Это только ослабление.

— Пульс бьется?

— Нет.

— Значит, умерла. Приложите руку к сердцу.

— Ничего не слышно.

— Может, что-нибудь ее теснит; развяжите-ка шнурки.

— Она не холодна.

— Кабы был доктор, знали бы, что с ней делать.

— За доктором пошли.

— Да, за господином Дюпюитреном; но он не захочет пожаловать, хоть и на этаж не всходи. О, кабы для богача, так он побеспокоился бы.

— Если бы попробовать дать ей бульону.

— Постарайся-ка, чтоб она проглотила несколько капель.

— Брызните ей водой в лицо!

— Ничего нет опаснее, лучше дайте ей вина; это ее оживит.

Поднесли ложку к губам Адели; она проглотила.

— Ну вот, хорошо, она спасена! — повторяет публика с заметным участием.

Адель опустила одну руку на колени и глубоко вздохнула, как будто спасенная от смерти; затем

широко раскрыла глаза, не выносящие света; блуждающие и неподвижные попеременно, они ничего не различали; наконец крупные слезы покатились по ее бледным щекам.

— Что с вами, бедняжка?

Она не отвечает, а, бросившись на предлагаемую ей чашку, с жадностью подносит ее к губам; она готова бы ее проглотить разом; но толчок о зубы пошатнул ее слабую руку, и чашка выпала.

— Видите, это голод!

— Бедная, она умирала от истощения.

— И подумать, что на этом свете есть такие несчастные люди, тогда как другим всего по горло!

Мало-помалу Адель оправилась; она старалась отламывать понемногу хлеба, поданного ей водовозом; но рот у нее пересох; после тщетных усилий ее дрожащая голова падает на грудь, она сгибается, чувствуя необычайный упадок сил.

— Ну, добрые люди, соберемте-ка для нее сколько-нибудь! — сказала одна старушка. И, забывая тяжесть своей корзины, она пошла обносить в толпе свою норковую шапку; подавая первая пример, она сама положила в нее двухфранковую монету.

По внешности каждого она разнообразит мане-

ру, с которой взывает к благотворительности.

— Сударь, сколько можете.

— Ну-ка, паренек, поищи что-нибудь у себя.

— Солдатик, что-нибудь, пожалуйста, это принесет вам счастье.

— Ну, старина, опускай сюда остатки, в конце концов, ты не будешь ни богаче, ни беднее.

— А вы, почтеннейший, нет ли у вас нескольких залежавшихся луидоров, которые вас только отягощают?

— Кажется, барынька еще не давала. — (Кланяясь.) — Благодарим покорно; вот не напрасная милостыня.

Круг обойден, и никто из этих честных людей не упустил случая сделать доброе дело; многие подвергли себя через то лишениям.

— Господи! — сказала гладильщица, опуская полфранка, предназначавшиеся на ужин. — Уж очень жалко смотреть; лучше останусь сегодня без порции.

Простой народ обыкновенно выражает вслух движения сердца, охотно скажет, чего стоит ему его жертва, но это не для хвастовства; он о ней никогда не жалеет. Сколько добродетели и самоотвержения в подобных фразах:

— Лишняя четверть суток, и это наверстается.

— Я из-за этого только в воскресенье не пойду за город.

— Я было думал употребить эти деньги в лотерею; ну, все равно им нашлось место.

— Нешто можно не помогать друг другу!

— Вот! Каким-нибудь полштофом меньше. Ну, ты, сборщица, сюда!

— И чего только можно натерпеться!

— Я завербую этим какого-нибудь мужичка; и притом, если я не сделаю нынче почину, тем хуже. Не всегда праздник.

— Прости-прощай моя косыночка! Куплю ее когда-нибудь после.

— Вы правы, красавица, голый хоть на улице может пройти, а умирающий с голоду и того не может; Господь наградит вас.

— А я-то, Франциска, думала было выкупить свою шаль!

— А я свои кольца. Ну, с Богом! Выкупите, когда будет можно.

— Эй, вы, не толкайтесь. Коли не хотите ничего давать, ступайте своей дорогой!

Кто ни подойдет, смелая сборщица тотчас же обращается за приношением.

— А, вот барыни в шляпках!

Она бежит к ним. Но эти госпожи вышли из

того дома, около которого собралась толпа, и, глядя в сторону, пошли скорым шагом.

— Скажите пожалуйста, да скоро ли же вы отойдете от дверей! — кричит толстяк с напудренными волосами и в коротких панталонах, небрежно подходя с метлой в руках.

— Что такое он говорит?

— Говорю, чтоб вы убирались.

— Скажите пожалуйста! Улица-то разве твоя?

— Ну, чему удивляться, что какая-то мамзель тут притворяется?

— Молчи ты, скверная харя; она получше тебя, мамзель-то! Притом мы на таком месте, откуда никто не смеет прогонять.

— А вот прежде всего я стащу ее со скамьи.

Он теснится сквозь толпу, его отталкивают.

— Ай, ай! Ах! У-у! И-и!

— Хорошо, хорошо, а я все-таки протурю эту дрянь отсюда.

— Сам ты дрянь, вот что!

— Так вы не хотите? Хорошо же, увидим, кто над кем посмеется.

Он отступает на два шага и слегка приотворяет дверь.

— Маня, принеси-ка мне ведро воды; я живо смою эту грязь отсюда.

— Ах ты негодяй! Ты хочешь нас водой облить; ты думаешь, мы не слыхали. Поди-ка, я сам тебя окачу.

— Бездельник, вот я тебя!

— Так, так, окуни-ка ему рыло-то в ручей.

— Пустите меня, пустите!

Ведя переговоры, дворник благоразумно стал отступать; он, казалось, сдавался; но, дойдя до дверей, быстрым движением освободился от врагов и вошел, оставя рукав от своей рубашки.

Толпа восторжествовала; но вдруг набежали господа, узкие сюртуки которых, черные воротники, длинные камышовые трости и гнусная наружность не предвещали ничего доброго. Глядя на их поспешность, можно было подумать, что они идут на пожар.

— Сюда, господа, сюда! — показывал жест высокой фигуры хозяина, в ватном пальто шедшего во главе. В сорока шагах от толпы он отвесил им грациозный поклон и, указавши рукой по тому же направлению, исчез у поворота улицы или скорее из приличия скрылся, чтобы наблюдать, что дальше будет.

— Это полицейские.

— Прочь, сторонись! — кричат они, толкаясь, ругаясь, махая палками, и с угрожающими дви-

жениями, парализующими языки и удерживающими всякое возмущение, направляются прямо к Адели и, грубо таща ее за локоть, говорят:

— Ну-ка, подымайся и ступай за нами.

— Так скверно обращаться с бедняками! — кричит женщина, собиравшая деньги. — Это гнусно, гадко; что вам сделала эта девушка?

— Ступайте, вас не спрашивают.

— Нешто вы не видите, что она еле дышит!

— А вам, видно, хочется попасть в тюрьму?

— Нет.

— Ну так убирайся, да попроворней!

— Сжальтесь, — сказала Адель, — дайте мне отдохнуть!

— Ты отдохнешь в арестантской.

Адель старается встать на ноги, но, одолеваемая головокружением, снова падает.

— Да она просто смеется над нами! — сказал один из полицейских, бросаясь на нее. — Ты пойдешь, пойдешь, негодяйка!

Сильным толчком он обрывает ей передник, и собранные деньги рассыпаются по грязи; дети подобрали несколько монет, но, прежде чем большая часть была найдена, проезжал извозчик, и его позвали. Полумертвую Адель тотчас же втащили в фиакр. Можно сказать, что это был

труп, который убийцы, скрывая преступление, спешат закопать в могилу.

— Что вы зеваете? — говорят они любопытным. — Пьяная баба, больше ничего.

— Это ужасно, чудовищно, гнусно! — шепчут свидетели, не доверяя подобной клевете.

Дверцы затворились, кучер сел на место. «В депо, в префектуру, коли вам это понятнее!» И фиакр двинулся…

Глава пятьдесят четвертая

Внутри кареты. – Двое убийц. – Морг и гауптвахта. – Ложная гуманность. – Сострадательные солдаты Беспардонного 18-го полка. – Добрый капитан. – Кто дает сколько может, тот дает все. – Возвращение домой. – Чердак. – Припадок помешательства. – Огарок свечи. – Копейка дороже рубля. – Благодарность

Адель снова лишилась чувств. Полицейские, посадившие ее в фиакр, сильно трясут ее в надежде оживить. До кучера долетают несколько фраз, выражающих опасность положения несчастной.

— Что она, притворяется, что ли?

— Ну, ты, тормоши ее хорошенько.

— Держи ее покрепче.

— А кажется, что она не притворяется.

— Ты ее ущипни.

— Да уж я щипал, словно деревянная.

— Посмотри-ка! Она уж и глаза, кажется, закатила! Неужели она умерла?

— Да, кажется, так. — (Смеясь.) — Ай, ай, ай! На

этот раз шутка скверная.

— Неужто она сыграла с нами такую штуку?

— Смеяться нечего, черт возьми, мы ловко из-за нее попадем впросак.

— Ничего не будет… Ты видишь беду, где ее нет; сдадим ее в дом мертвых, вот и все. Эй, кучер!

— Нет, нет, свезем куда-нибудь поближе.

— Пожалуй, скажем, что подняли на улице из сострадания; а там пусть справляются как знают, не наше дело.

— Так-то так, да кто заплатит извозчику?

— В самом деле, черт возьми, я не подумал об этом.

— Уж никак не я!

— И не я.

— Ах, да она сама заплатит. Я видел у нее сорок сантимов.

— Ну, марш! — (Подымая штору.) — Кучер, на гауптвахту!

Приехали. Обменявшись с офицером несколькими словами, полицейские распрощались с ним, приведя его в восхищение своим великодушным поступком. Из фиакра Адель перенесли на носилках в комнату и положили возле печи.

Сержант. Капитан, что нам делать с этой женщиной?

Офицер. Надо дать знать частному приставу, потому что не может быть, чтобы она очнулась.

Сержант. Может быть, она в летаргическом сне?

Другой солдат. Поди ты! Нешто не видишь рану на ее голове?

Капитан. Она ранена? Нам надо бы удостовериться насчет этих людей. Как теперь вижу их разбойничьи рожи.

Первый солдат. Какая большая рана! Унтер, посмотри-ка, опять кровь пошла.

Сержант. Да, и очень красная.

Офицер. В таком случае она жива; теплота восстановила кровообращение. Кто здесь курит? Капрал, пусти-ка ей немного табачного дыму в нос.

Капрал. Ей от этого станет хуже.

Капитан. Не бойся.

Капрал *(подходит к носилкам и курит)*. Я говорил, что это отлично.

Капитан. Хорошо, хорошо, продолжайте.

Возвращение к жизни обозначилось легкими подергиваниями лица, конвульсивным движением членов; Адель зашевелилась, закашляла и вдруг приподнялась.

Капитан *(тихо сержанту)*. Я точно вижу мерт-

веца перед собой.

Сержант. Она похожа на выкопанную из могилы.

Рекрут. Кабы я был здесь один, я испугался бы, подумав, что это мертвец.

Адель осматривается кругом и через несколько мгновений восклицает сильно взволнованным голосом: «Где я?.. Стража! Тюрьма!.. О господи!.. Тюрьма!»

Офицер. Успокойтесь, вы с добрыми людьми.

Сержант. Пока вы с нами, нечего опасаться, не будь мы Беспардонный восемнадцатый. *(Он подает ей бутылку с водкой.)* Выпейте, это вас подкрепит.

Адель. Господин сержант, благодарю вас; увольте меня.

Сержант. Нет, нет, выпейте, это придаст вам силы.

Просьбы сержанта были неотступны, так что Адель не может отказать. Она собрала остаток сил, чтобы отвечать на вопросы капитана. Адель не обвиняет, а рассказывает, и в речах ее правда столь трогательна, что старый солдат, негодовавший сначала на жестокость полицейских, под конец стал отирать влажные глаза.

Капитан. Что это, сержант, что с вами? Я вас

считал твердым как кремень.

Сержант. Я-то! Но меня возмущает несправедливость, а притом, если хотите знать, капитан?.. Это не во власти нашей.

Капрал. Я не больно чувствителен; но я не могу выносить, когда женщина плачет, это мне так тяжело, что я готов ей отдать все свои деньги… *(Вынимая из панталон старую перчатку, служащую кошельком.)* У меня двадцать два су с половиной… Ну их, отдам ей. Кто нынче это сделает! На нашем солдатском хлебе… Эй, товарищи, кто из вас копит деньги!.. Я все принимаю, маленькие и большие монетки, от лиарда до шести франков.

Сержант. Я хотел набрать сорок, не тут-то было, тридцать пять, вот мой капитал. Хоть бы меня обобрали, то и сантима больше не нашлось бы.

Один солдат. Вот мои двадцать пять сантимов и мой паек. Эй, приятели, поищите-ка, не найдется ли еще у кого! Кто там на нарах? *(Одного тащит за ноги.)* Это Лоррен, держу пари.

Лоррен. Я сплю.

Солдат. Пять су!

Лоррен. Оставишь ты меня в покое?

Солдат. Эх ты, соня, после выспишься.

Лоррен. Когда у меня их нет.

Капитан *(вынимая десять франков из кошелька).* Оставьте его, я кладу за него и за часовых.

Адель. Капитан, вы слишком добры.

Капитан. Ваше положение требует попечений; если хотите, я вас перевезу в больницу.

Капрал. Есть ближе госпиталь Pitié, в двух шагах от нас.

Сержант. Да вдруг-то не примут, как туда, так и во всякое другое место.

Капитан. Однако могут быть случаи ночью, так же как и днем; и чтобы госпиталь исполнял свое назначение, там должны принимать во всякий час.

Сержант. Извините, капитан, но вы ошибаетесь.

Капитан. Коли так, надо ее отвезти домой. *(Адели.)* У вас есть квартира?

Адель. Да, есть; в настоящее время я живу со своими друзьями, которые теперь, может быть, в большом беспокойстве обо мне.

Капитан. Чувствуете ли вы себя в силах, чтоб идти?

Адель *(встает, пошатываясь).* О да, я не так слаба.

Капитан. Ну так вас проводят. Номер седьмой и восьмой, оставьте свои сумки, возьмите фонарь

и ступайте с ней. Ведите ее тихонько, останавливайтесь, если устанет, и главное — смотрите, чтобы она не потеряла свои деньги. Сержант, пересчитай, сколько у нее денег.

Сержант. Смотрите, мадам, и хорошенько запомните: десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, семнадцать, семь франков одиннадцать су, которые нашли при вас. Обратите внимание, я завяжу их в ваш передник… Двадцать четыре франка одиннадцать су… Все они завязаны… Пусть-ка теперь скажут, что солдаты хуже людей и что нет добрых молодцев между Беспардонными!

Адель рассыпалась в изъявлениях благодарности.

— Хорошо, хорошо, в другой раз поблагодарите, — сказал капитан. — Ступайте спать, вам нужен покой.

— Я думаю, — воскликнул седьмой номер, — после всего, чего она натерпелась, ей-богу!.. Держитесь-ка за нас, голубушка… Не бойтесь… Я крепок, и товарищ тоже.

— Да, да, держитесь-ка!

Было около двух часов утра, когда Адель довели до дому. Фридрих отворил. При входе в каморку солдаты испугались. Ни малейшей мебели; четы-

ре голые стены, немного набросанной соломы, и на этой подстилке валялись две женщины, без простыни, без одеяла, без малейшего лоскутка, который бы их прикрывал.

— Куда это положить? — спросил один из солдат.

— Давайте, давайте, — отвечал Фридрих, вырывая у него из рук хлеб, в который тотчас же вцепился зубами.



— Словно собака! Как он голоден-то, братец мой! Ну, вставайте, мы принесли вам провизии. Раздели-ка им порцию: есть у тебя нож?

Другой солдат. Нешто мы ножи употребляем?

Разломивши хлеб, он подходит к одной из женщин и берет ее за руку.

— Ну, никак померла?..

Она поворачивается к нему.

— Это ты! Спаситель милосердный!

Затем, увидя кусок, она хватает его и ест с жадностью.

Сузанна, которую позвала Адель, поднялась молча и, посмотрев на свет с ужасной улыбкой, протянула руки.

— Как прекрасны ангелы!.. Видишь, сестра, они меня не обманули… Это Адель! Она с ними! Я съем крылышко. Я знала, что они меня попросят на свадьбу. Она вся в белом! Какая шляпа у нее! Нет, милостивый государь, я не танцую; после стола уж. Передайте мне этих голубей…

Один солдат. Она бредит.

Адель. Возьми, мой друг, это хлеб.

Сузанна. Хлеб, фуй! Фазан превосходный!.. Десерт!..

Адель. Да, у нее бред.

Сузанна. Устрицы, опять устрицы!

Адель. Но послушай, Сузанна… Это я, разве ты меня не узнаешь? Я Адель.

Сузанна. Какой хорошенький твой муж!

Адель. Перестань говорить вздор, вот хлеб, держи.

Сузанна. Это мне, не правда ли?

Адель. Да, это тебе.

Сузанна *(берет хлеб, разглядывает и пробует).* Пирог, это от Лесажа; корка превкусная. *(Она ест с жадностью.)*

Один из солдат *(товарищу)*. Как бы я хотел быть богатым!

Другой. И я тоже… Хоть бы для того только, чтобы делать добро подобным людям. У меня сердце разрывается… Слушайте-ка, есть у вас лампа или свеча? Я вам зажгу.

Фридрих. Свеча, когда нет в доме хлеба!

Один из солдат. Оставим мы им наш огарок?

Другой. Правда, капитан ничего не скажет.

Первый. Так пускай он остается. Прощайте, друзья. Постарайтесь быть счастливее.

Адель. Ах, я никогда не забуду, что вы для меня сделали.

Один солдат. Прощайте, прощайте… До свидания.

Другой. Уйдем скорей! Нищета и дружба…

Первый. Тсс… Тсс… Когда будем за воротами.

Для Адели и ее друзей прекрасен был день, начавшийся с последующей зарей. Солнце вставало

над двадцатью четырьмя франками и пятьюдесятью пятью сантимами, принадлежащими им. Сколько благословений посылали они храбрым солдатам Беспардонного восемнадцатого полка! Адель была изнурена, разбита вчерашней катастрофой; но она так была довольна, что принесла отраду в дом, и с началом утра принялась петь. Что касается до Сузанны, то ум ее не был более отягощен обманчивыми галлюцинациями. Сон возвратил ей рассудок, и блестящий пир не раздражал более ее аппетита, удовлетворенного хотя менее привлекательной, но зато более надежной действительностью.

— Я не могу опомниться! — говорила она. — Как, все это дали солдаты? Я готова расцеловать в обе щеки этого доброго капитана.

Адель. А сержант, капрал, наконец, все они обошлись со мной как лучшие из людей!

Фридрих. Зато они могут вполне рассчитывать, что где бы я ни встретил их полк, всегда дам им на водку, разве только у меня не будет ни полушки за душой. Не правда ли, Генриетта, они вполне достойны, чтобы оказать им любовь и признательность?

Генриетта. О, конечно, мой милочка, мы должны им быть очень благодарны, без них сегодня

мы бы умерли.

Глава пятьдесят пятая

Опять зубы на полку! – Член благотворительности. – Аудиенция и газеты. – Доставайте себе работу! – Ведь у вас есть приходский священник? – В порядке правил. – Опять длинная фигура. – Второй завтрак

Сумма в 24 франка 55 сантимов не есть неистощимый капитал. Друзья, зная это, всячески старались достать работы, но нимало в том не успели. На другой день утром об обеде уже не помышляли.

— На этот раз нам придется положить зубы на полку, — сказал Фридрих. — Как вы думаете, Адель?

— Я не знаю, у меня есть предчувствие. Я непременно чего-то добьюсь в этом отношении.

— Вы не будете иметь успеха. Когда кто-нибудь в несчастье, делай что хочешь, все ничего не выйдет.

— Все равно, зато мне не в чем будет упрекать себя.

Адель вышла и направилась к члену благо-

творительности. При виде роковой скамьи, на которой так недавно столько страдала, она содрогается, колеблется и едва не возвращается назад. Но нет еще полудня, ее должны принять… Вооружившись решимостью, она переступила порог.

— Куда вы? — останавливает ее неумолимый дворник.

— К барину.

— Еще раннее утро. Приходите в одиннадцать часов.

Адель приходит в одиннадцать. Войти можно. Она входит и после долгих ожиданий и дерзких расспрашиваний в передней получает наконец желаемую аудиенцию.

Член принял ее небрежно, сидя в кресле и читая ежедневный листок, одна статья которого вызывает у него улыбку.

— Что вам нужно? — говорит он.

Адель подробно описывает страшную картину своего положения. Член не прерывал все время своего чтения; уже минут двадцать прошло, когда он, бросивши газету на столик, проговорил про себя:

— По всем соображениям я перейду к Varieté. — (Вслух.) — А, вы тут, голубушка! Так вы говорите…

— Милостивый государь, я вымаливаю…

— Да, я вижу, в чем дело. Вы мать семейства?

— Нет.

— Вам нет шестидесяти лет. Вы чем-нибудь нездоровы?

— Нет.

— Вы молоды, у вас здоровые руки, чего вам еще нужно? Чтобы благотворительный комитет содержал вас и дал возможность ничего не делать?

— Я могу работать и ничего не желала бы лучше.

— Разве мы должны доставлять вам работу?

— Ах, милостивый государь, если бы вы были настолько добры; я в страшной нищете.

— Возможно ли комитету помогать всем таким, как вы? Есть у вас рекомендации? Знаете вы кого-нибудь?

— Нет.

— Подкрепите чем-нибудь вашу просьбу, а там посмотрим.

— Но, сударь, чем же я могу ее подкрепить?

— Разве у вас нет в приходе священника? Очень просто, принесите от него письмо.

— Это потребует времени, а я без хлеба.

— Тем хуже для вас. Я ничего не могу тут сделать.

— А пока что же со мной будет? Стало быть, я должна сделаться воровкой?

— Как вам угодно, но так в порядке правил. Затем нам не о чем больше толковать. Прощайте, прощайте.

Он встал и позвонил.

— Что же вы еще стоите? Вы, стало быть, меня не слыхали?

— Извините, — прошептала Адель, узнавая по длинным складкам его громадного халата ту личность, которая распоряжалась полицейскими.

Вошел лакей.

— Что прикажете?

— Скажите в кухне, чтобы подавали мой второй завтрак, и скорее, потому что я умираю с голода. Да велите к трем часам заложить карету.

— Барин отправится на биржу?

— Да, ступайте.

Адель стояла неподвижная и безмолвная.

— Ну если вы до завтра будете смотреть на меня, что вам от этого прибудет? Или вы хотите заставить меня вас вывести за плечи? Повторяю, ступайте к священнику.

Адели нечего было возражать. Негодующая и вместе смущенная, она проговорила:

— Благодарю вас; я последую вашему совету.

И она удалилась.

Глава пятьдесят шестая

Священник должен быть сострадателен. – Канонисса. – Набожность. – Любопытство. – Какова духовная трапеза! – Пожалуйте в ризницу!

Адель направляется к священнику. «Если меня оттолкнут, — думает она, — ну так я себя не оттолкну, и, если судьба все будет преследовать меня, вина будет не на моей стороне. Я испробую все средства спасения. Но как приступить к этому священнику? В церковь я не хожу, он меня никогда не видал; еще, пожалуй, станет меня упрекать. Да и то сказать, не съест же! Это священник; они должны быть милостивы и человеколюбивы; религия повелевает им призревать всех. И притом, чего я прошу? Письмо, это так немного стоит. Нет, лучше умереть, чем опять идти к этому злому благотворителю…»

Предаваясь таким размышлениям, Адель подходит к дому священника; сторож указывает ей в конце двора крыльцо.

Адель направилась к нему и после долгого

напрасного стучанья толкнула дверь и вошла в залу, где на буфете разложены были разные пирожки и сласти. Кругом суетились и бегали туда и сюда несколько женщин.

— Вот так лучше.

— Нет, вот так.

— Вид превосходный.

— Что вы скажете о моей меренге?[17]

Все они так были озабочены, что Адель приблизилась, не будучи замеченной.

— Да посторонитесь, вы мешаете. Вот чуть было не изломали миндальное пирожное!

— А вы зачем здесь? — последовал вопрос.

— Вам что-нибудь нужно? — спросила каноница, по-видимому распоряжавшаяся всеми этими приготовлениями. — Машенька, спросите, что им угодно?

Девица Мария подошла к Адели.

— Что вы желаете?

— Я желала бы иметь честь переговорить с батюшкой.

— Если у вас что-нибудь очень нужное, вы можете сообщить мне; это все равно как бы ему самому; я передам ему в точности. Быть может,

---

[17] Примечания: 17
Пирожное.

это относительно какой-нибудь требы или по вашему личному делу?

— Мне нужно наедине поговорить с ним.

— Наедине?.. О! Но так не разговаривают с батюшкой.

— Напишите ему просьбу об аудиенции, и, если он захочет принять вас, он вам ответит.

— Он ответит, но завтра уже будет поздно.

— Когда вы так спешите, то, мне кажется, можете поверить мне ваше дело.

— Я могу его передать только священнику.

— А, это другое дело, я не хочу допытываться. Если я вас спрашиваю об этом, то только в вашем же интересе… Коли у вас секреты, то храните их при себе; я слишком добра, принимая участие…

— Так как мадемуазель Мари здешняя экономка, — сказала одна из присутствующих, — то почему вам скрываться от нее?

— У всякого свои причины.

— Боже сохрани нас стараться проникнуть в ваши, моя милая; нами руководит не любопытство. Нам любопытствовать! Спаситель милосердный, нет, это не наш порок. Но было бы лучше, если бы вы нам сейчас же объяснили.

Тщетно Адель старалась с твердостью отражать град вопросов, посыпавшихся на нее. В эту

минуту прибыл молодой аббат, по-видимому пришедший прямо со службы. В руках у него был подсвечник, и он утирал себе лоб.

— Хрисостом, гляди же, куда ты ставишь ноги!

Так говорил он толстому малому, руки и ноги которого одинаково подгибались под тяжестью сорока бутылок, превосходно уложенных в корзине.

— Осторожнее, здесь порог. Вот так. Ну, теперь наш шамбертен спасен. Не без труда, не правда ли, ключник? Te Deum laudamus!

— Батюшка, где вы его взяли? — спросила экономка Мари. — Из заднего погреба?

— Да, из погреба Кометы.

— Слава богу.

— Знаете ли, что он убавляется по мере того, как из него пьем? Эх, кабы Господь послал нам еще такое же небесное светило!

Он выпрямился, увидя вдруг Адель, как бы пораженный присутствием незнакомого человека.

— Я не знаю эту даму?

— Мадам пришла переговорить со священником.

— Со священником, а! У него и без того много дела. — (Адели.) — Вы не могли выбрать более неудобное время; батюшки не будет целый день.

У нас приглашены на обед фабриканты и отцы миссии; известно, что за угощением, — (с любезным видом), — знаешь только начало, а конца никогда не знаешь… Что же вам угодно от батюшки?.. Вы принадлежите к его пастве?

— Я не знаю.

— А кто же знает, кроме вас?.. Ах, черт возьми, черт возьми… да, да, — (он бормочет), — я вижу, вижу, вы к нему собственно… да я, во всяком случае, не имею времени вас выслушать, у меня дел по горло… Не советую вам обращаться по окончании службы, батюшка устанет, захочет прилечь, отдохнуть, а потом надо садиться за стол… Нет, — размысливши, — лучше всего напишите ему.

— Мы то же самое сказали ей, — отвечала Мари.

— Или, — продолжал аббат, — есть еще одно средство.

— Ну, аббат, — вскричала гувернантка, — знайте свое дело. Или вы думаете, что я не указала бы ваше средство так же хорошо, если бы хотела? Но вы знаете, как доволен бывает батюшка, когда к нему приходят в ризницу.

— В ризницу, — прошептала Адель, как бы озаренная лучом. И тотчас же, отвесивши поклон, на который ей не ответили, поспешно пошла

прямо в церковь.

Глава пятьдесят седьмая

Пономарь. – Параллель двух священников. – Старый и новый. – Он позолотил дарохранительницу, а разве это хуже благотворительности! – Истинная благотворительность. – Картина страшной нищеты. – Права на щедрость. – Вы преступница! – С голоду никто не умирает. – Апостолы тоже ходили босиком. – Исповедь. – Опять длинная фигура. – Сострадательный актер

И вот она под сводами святилища и наконец входит в ризницу. Пономарь просит ее подождать священника, который в гардеробной снимает облачение.

— О, — говорит он, — батюшка — достойнейший человек.

— Как вы меня утешаете!

— Великодушен и сострадателен. Счастливы находящиеся около него! Приход ему многим обязан. Во-первых, он позолотил дарохранительницу и решетку на хорах. На это истратил двадцать тысяч. Затем при нем мы получаем

больше жалованья, чем при его предшественнике, упокой, Господи, его душу! За тем, бывало, по пятам толпа нищих, лентяев и всякой дряни, из-за них мы сидели на одном законном доходе. Он был готов посадить нас на солому… И сам-то от всего отказывался; невозможно быть до такой степени своим собственным палачом; последний из каменщиков жил лучше него. Кабы, кажется, он мог, он бы с удовольствием остался из-за них совсем голым. Правильная благотворительность начинается с самого себя и своих близких. Притом глава представительства, он имел вид нищего: поношенная ряса, старая шляпа, заштопанный стихарь; ему можно было дать лиард в руку, а за всю его одежду не дали бы и лиарда. С нами же он был как собака, как будто церковный причт не беднее других; словом, это был янсенист. Был слух о возведении его в сан епископа; я от души пожалел бы епархию, которая бы ему досталась. Но воспаление легких, схваченное им одной зимней ночью, когда он носил предсмертное причащение больному, отправило его к праотцам… Вот и батюшка; если бы я не обратил внимания, он бы ушел.

— Что вы мне скажете? — спросил священник у Адели.

— Перед вами бедная женщина, не знающая, куда приклонить голову; но что особенно меня убивает, это то, что я не одна, нас четверо. Да, батюшка, четверо: три женщины и мужчина… Ни крохи хлеба, чтобы утолить голод; никакого лоскута, чтобы продать или заложить. Кабы вы могли заглянуть в нашу лачугу, вы содрогнулись бы… Впрочем, вы можете и сами судить, перед вами образчик: от мороза камни трескаются, и по такому холоду у меня нет другой одежды, кроме этого ситцевого платья, да и то все изорвано, и вы видите, что я в худых чулках и башмаках.

— К несчастью, я вижу; но что хотите вы, чтобы я сделал? Апостолы тоже ходили босиком.

— Во имя Господа, не оставьте нас. Если вы откажетесь помочь нам, все для нас кончено.

— Вот еще одна! Они все думают, что мы катаемся на золоте и серебре; если слушать всевозможные клеветы на наш счет, можно подумать, что мы куем деньги. Нас атакуют, преследуют… Есть благотворительный комитет… Почему вам туда не обратиться?

— Ах, батюшка, в комитет, когда умираешь с голода!

— Пустяки; в Париже никто с голоду не уми-

рает.

— Праведный Боже! Есть состояние ужаснее нищеты! Это нищета, которой не верят.

— Я не сомневаюсь насчет того, что вы мне рассказываете о своем положении, но на нет суда нет. Притом какие ваши права на щедрость верующих? Правда, я заведую раздачей, но я должен отдавать отчет в милостыне. Кто вас привел ко мне? Причащаетесь ли вы Святых Тайн? Кто ваш духовник?

Адель опустила глаза и молчала.

— Я заслуживаю всевозможных упреков, — произнесла она наконец, рыдая. — Я великая грешница.

— Вы сильны, хорошего сложения, почему вы не работаете?

— Мне работать! Меня избегают, везде отказывают. Вы правы, мы прокляты, проклятие всюду преследует нас. Отчего я не могу снова начать свою жизнь! Кокетство уже не соблазнило бы меня. В молодости не предвидишь, что из этого может выйти. Лучше было бы мне сломать себе шею, нежели послушаться развратницу, которая оторвала меня от родителей. Она прельщала меня тряпками, а я вообразила, что она желает мне добра! Она причиною всего; она увлекла меня в

пропасть, без нее я никогда, никогда не узнала бы тех, кто обольщал меня. Я никогда… — (Она закрывает лицо руками.) — Отец и мать мои умерли с горя! А я, их дочь, вместо того чтобы исправиться, дошла до высшей степени беспутства! О, я жестоко была за то наказана, а теперь еще больше страдаю. И вместе с тем я шестнадцать лет провела в Сен-Лазаре. Да, шестнадцать лет.

— Как! Вы заклеймены преступлением и осмелились прийти сюда!

В эту минуту показался церковный староста и позвал священника. Адель побледнела при виде этой высокой фигуры, так как староста оказался тот же самый член благотворительности. Священник поспешил ее спровадить. При ее выходе драматический актер, свидетель ее отчаяния, положил ей в руку двадцатифранковую монету.

— Не теряйте мужества, — сказал он, — не плачьте, есть добрые души… Вы их найдете. Притом Провидение милосердно, а у вас есть чем просуществовать сегодня…

— Ах, без вас…

— Не будем говорить о том. Ступайте завтракать, вот главное. Довольно…

Друзья Адели нетерпеливо ждали ее возвращения. Входя, она бросила им двадцатифранковую

монету:

— Вот, возьмите!

— Золотая монета!

— Да, мне дал ее добрый актер.

— Актер!

— Я расскажу вам после, а теперь надо идти за провизией… Ну, друзья мои, член благотворительности и все эти святоши, что это за исчадие! Что за чудовища! Нам надо хоть самим-то себя пощадить; жить так, чтобы на всю жизнь достало, потому что когда у нас ничего не будет, то у священника нам не помогут. Прежде всего мы закусим в харчевне, просто чтобы не умереть; баранья голова и щи — вот наше меню, слышите ли? А там мы увидим, что делать.

Скромная трапеза скоро была окончена, затем пошли на рынок и купили два мешка картофеля и других овощей… Пятнадцать франков было истрачено, но зато, при умеренном аппетите, припасов должно было хватить на целый месяц.

Глава пятьдесят восьмая

Посещение благотворителей. – Погребальная колесница. – Похоронная процессия. – Нищие. – Панихида. – Лакеи. – Правда после смерти. – Начальник траурных фигурантов. – Великие добродетели. – Барабан гремит. – Страшное воспоминание. – Боже! Это он. – Не привидение ли это? – Суетность нечестивца. – Духовенство. – Гробовой покров. – Опять длинная фигура

Месяц этот прошел очень скоро. Друзья, усердно вытоптавшие все мостовые в поисках работы, почувствовали снова приближение голода. Был конец марта.

— Тридцать один день без хлеба, безделица в Пруссии!

Таковы были первые слова слесаря по пробуждении.

— О, бедность, убившая моего отца! — вскричала Сузанна.

— Это совершенная правда, и вот мы теперь погрязли в нее по горло, — отвечала ее сестра.

— Да, — продолжал Фридрих, — мы пришли в то же самое положение, в котором были месяц тому назад, день в день. Если бы Адель встретила опять кого-нибудь из Беспардонного восемнадцатого, которые были так добры к нам, или хоть бы этого актера…

— О, я скорее найду камень размозжить себе голову!

— Нет, вы счастливы, всегда выводили нас из затруднения. Если и опять попытаетесь, то не придете с пустыми руками.

— Дни идут один за другим и не походят друг на друга.

— Зачем отчаиваться в успехе?.. У вас всегда бывало счастливое наитие; нельзя сказать, что этого и вперед не будет.

— Что хотите вы, чтобы я сделала?

— Офицер, солдаты, которые возвратили нас к жизни, и этот великодушный актер, они не умерли.

— Да, но где их разыскать? Что касается до полка, это, положим, еще нетрудно, но имени актера я не знаю, и подите отыщите иголку в стогу сена.

— Вы знаете, какого он прихода.

— Правда, друзья мои, я должна их отыскать; середины нет. Я их найду, и они не дадут нам

погибнуть.

— Вот это я люблю, честное слово!

Адель недолго собиралась и побежала прямо в казармы; соседи сообщили ей, что полк накануне вышел из города. Это было для нее громовым ударом, потому что мало было надежды разыскать жилище актера, ее последнего благодетеля; мрачная и задумчивая, волнуемая смутными предчувствиями, она соображает гибельные последствия новой неудачи. Приближающийся шум выводит ее из задумчивости: длинная вереница похоронного шествия медленно подвигается; во главе едет погребальная колесница, запряженная четырьмя лошадьми, покрытыми перьями и попонами, и окруженная трофеями; за ней следуют двадцать четыре кареты, обитые черным сукном. Такие пышные похороны могут быть только для знатного лица…

— Тут будут плакальщицы, — подумала Адель, — я присоединюсь к ним, и мне заплатят. Она опередила колесницу и увидала громадную похоронную часовню, покрытую тоже черным. Неподалеку сотня плохо одетых мужчин и женщин сновали туда и сюда. Одни прохаживались, другие с ожесточением прикладывали руки к груди, третьи предпочитали согреваться в соседнем

кабачке маленькой рюмочкой отрадной влаги.

Это обычные посетители всех похорон. Адель для них новая личность; хотя она и рта не открывала, но никто не ошибался насчет ее намерений. Она им подозрительна, и, сговорившись заранее, все соглашаются удалить ее.

— Не спешите так, — кричит ей один из нищих, — нас полный комплект.

— Эта… куда… идет? — говорит пьянчужка, стараясь ей загородить дорогу.

Затем вмешалась бывшая торговка рыбой:

— Ты, послушай-ка, чего лезешь не вовремя, и тоже, чай, с расчетом на получку? Три ливра, факел и тряпье — всего этого не видать тебе, как ушей своих. Ты думаешь, встала рано, и довольно, нет, еще надо прийти вовремя. Эй ты, кум, вот им нужно аршин саржи! Ты, волокита, не уступишь ли ей свою?

— Да разве она записана в списке на получение черного сукна?

— Да, да, записана, им нужно тряпье. Тряпье что — пустяк, а вот монеткой они не побрезгуют.

Несмотря на эти язвительные замечания, Адель продолжает свой путь и, проходя мимо швейцарской, не будучи замеченной, пробирается к галерее, замыкавшейся решетчатой дверью. Там

сидела толпа лакеев, одни громко разговаривали, другие играли в карты, тогда как за несколько шагов от них, в прихожей, два священника совершали перед гробом панихиду.

— Я всегда забирал ключи от погреба, — сказал один лакей.

— А я от буфетной.

— Не всякий день хоронят герцога; он порядком бесил вас при жизни. Хоть на похоронах-то немножко повеселимся.

Затем под предлогом, что о мертвых надо говорить правду, на покойного герцога стали возводить обвинения одно ужаснее другого.

Пришли могильщики, и вся орава лакеев разбежалась.

Адель, отворивши тихонько дверь, вошла незамеченной и не смела дохнуть, боясь получить отказ за несвоевременную помеху. Притаившись в углу за печкой, после речей и игр дворни, она вдруг явилась, как привидение.

— Откуда это?



— С облаков, что ль, она упала?

— Берегись! Берегись!

— Что вы тут делаете?

Каждый смотрит на нее, как на нечто необычайное. Многие мимоходом обращаются к ней с вопросами, не дожидаясь ответа. Глядя, с какой поспешностью они вставали и суетились, можно

было подумать, что это полк казаков, настигнутый на бивуаке французским авангардом; они были как тени, появляющиеся и исчезающие. Адель подходит то к той, то к другой и начинает голосом просительницы:

— Барин…

— Мне некогда, — грубо отвечает тень.

— Сударь…

— Я нездешний.

— Господин швейцар, к кому должны представляться бедные?

— Там есть… Смотрить этой гаспадин, с пера на шляпа, на крыльцо, с пелый маншеты и шорный манто.

— Господин в жабо и со шпагой?

— Тошно так, серемонимайстер.

— Да, начальник фигурантов, — сказал слуга-негр, ударяя по плечу швейцара.

Адель подходит к распорядителю похорон, которому в двух словах излагает свою просьбу.

— Ваше имя? — говорит он, вынимая из кармана памятную книжку.

— Адель д'Эскар.

— Вас нет в моей книжке. Вы только теперь проситесь? Представлялись вы в управлении?

— Нет; но я бедна, как только возможно быть

бедной.

— Это не идет к делу. Вы записаны? Или принадлежите к благотворительному заведению?

— Нет.

— Так чего же вы хотите?.. Управление присылает бедных, оно поставляет сукно, оно поставляет тряпье, оно все поставляет.

— Я вижу, что мне здесь нечего делать, — говорит Адель.

Она намеревается удалиться, но толпа загораживает выход, и, не будучи в силах двинуться ни взад, ни вперед, она остается стиснутой в средине, имея случай слышать следующий странный панегирик.

— Ну, слава богу, наконец схоронят этого негодяя!

— Ему такой же почет, как и собаке.

— Говорят, он назначил десять тысяч франков бедным.

— Они пройдут через столько рук…

— Называют это даянием, а это просто обратная отдача. Никогда он им не даст столько, сколько взял у них.

— И между тем произнесут прекрасную речь на его могиле, и будет прекрасная надпись на его памятнике.

— Мрамор все равно что бумага, он все стерпит.

— Пер-ла-Шез (кладбище) — это долина добродетели.

— Долина добродетели… Да, для тех, чьи пирамиды оскорбляют небеса. А нас, бедняков, просто снесут в общий ров; горсть земли, и все кончено; никто не увидит, не узнает, мы не оставляем следа.

— Зато оставляем за собой сожаления, это лучше того; и притом мы никому не делаем зла.

— Согласен… Однако, может быть, это слабость, только я не пожелал бы быть брошенным в общую яму.

— А не все ли равно? Коль скоро меня нет, пусть кладут куда хотят.

— Совершенно разделяю ваше мнение, плевать на это.

— Вот у герцога будет монумент. Это может потешить только глупца. Будь он хоть из алмазов, все такая же дрянь, как и всякий другой.

— Слушайте, слушайте, барабан бьет.

— Разве будет войско?

— Смотрите, это ветераны.

— Они расстреляли маршала! Храбрейшего из храбрых!

— Да, Нея, но они его все-таки не осудили.

— Можно думать, что нет; они все плакали, как дети.

— Не странно ли? Солдаты заряжают ружья!

— Разве вы не видите, что это для отдания почестей?

Послышался глухой барабанный бой, мрачный гул которого возвестил начало шествия.

— Ну, бедные, по местам! — скомандовал церемониймейстер.

Начался марш; толпа провожатых проходит с кортежем. Адель со стесненным сердцем пробирается вон сквозь толпу нищих, удовольствие которых при виде спроваженной соперницы выражается сатанинским смехом. Забывая, что им предписано быть печальными и задумчивыми, эти привилегированные посетители похоронных торжеств шумят, толкаются, помахивая факелами и стараясь поскорее погасить, чтобы у них побольше осталось. Радость их ужасна и напоминает радость демонов при виде мучений грешника.

Адель, поддразниваемая ими, ускоряет шаги, не смея оглядываться назад.

— Что, утерли нос-то! — рычит одна из фурий, приветствовавших ее еще при приходе.

— И хорошо! — подтверждает другая. — Она не хотела мне верить!

Адель принуждена удалиться; но и при полнейшем несчастье все еще остается слабый луч, который не перестает блестеть, подобно спасительному маяку. Она все еще предается иллюзии, надеясь разыскать актера, который уже раз протянул ей руку помощи. С этой надеждой входит она в преддверие церкви; нашелся даже человек, который мог указать ей жилище благодетеля.

Она пришла в ту минуту, когда тело несчастного, принесенного в церковь, было отвергнуто как отлученного от церкви.

Смутным, мертвенным взглядом провожала Адель удалявшиеся траурные дроги. Слез у нее не было; но ей представилась как бы пустыня. Все стушевалось, все исчезло; круг расширился; сами здания, как бы движимые в своем основании, точно уперлись в беспредельный горизонт… Ей тяжело; безмолвие пустоты давит ее, как свинцовый гнет мучительного кошмара. Земля вертится и точно уносит ее с собой. Или это видение смерти? Барабанный бой раздается в воздухе: то похоронный звон, звон ужасный. Головокружение проходит; удалявшееся приближается, двери поворачиваются на петлях, обе половинки

растворяются. В длинной перспективе необычайного похоронного шествия выставляется суетность нечестивца; храм обращается в склеп, на всем простирается смертный покров: галереи, своды, освящение, поклонение Божественному Учителю; алтари, святые — все скрыто под завесой гордости. На темном фоне, усеянном гербами, щитами, девизами, серебряными блестками, выдаются, как в темную ночь, мерцающие огоньки бесчисленных светил… Колесница останавливается, появляется крест и позади все приходское духовенство, священники, дьяконы и поддьяконы, с викариями во главе. Тело положено на носилки; певчие, дети и взрослые, начинают плач Dies irae… Три друга покойника наперебой стараются держать кисти гробового покрова, является четвертый, ему кланяются с уважением и уступают место. И эта личность, пред которой столь почтительно преклоняются, опять все та же длинная фигура! Адель ее узнала.

«Это слишком! — подумала она. — Везде я его встречаю, и везде ему оказывают почет. Это заблуждение, ложь, несправедливость! Я его ненавижу! Проклинаю!»

Глава пятьдесят девятая

Что делать? – Отчаяние. – Служанка. – Неожиданность. – Всякий сам для себя. – Нет более Бога! – Страшная решимость. – Дверь заперта. – Предсмертные предосторожности. – Чугунная цепь. – Единодушие. – Страшные страдания. – Неудача в самоубийстве. – Между смертью и преступлением. – Честная жизнь

Этой ненависти ко всему роду человеческому Адель не может более сдерживать; еще немного, и она перейдет в бешенство. Раздраженная, почти взбешенная, она проходит улицы, площади, перекрестки. Идя без цели и не успев еще очнуться, она очутилась у своей квартиры. Она уже у дверей и хочет войти, но, пораженная внезапной мыслью, возвращается назад, входит в лавку, тотчас же выходит оттуда и снова направляется к дому. Сузанна, караулившая ее возвращение, заметила, что она в необычайном настроении духа; идя навстречу, она расспрашивает ее с беспокойством. Адель отталкивает подругу, не отвечая,

идет по комнате, ни на кого не смотрит, подходит к окну и хватается за задвижку с конвульсивным движением; она дрожит, вздыхает, топает ногой и рвет на себе волосы.

Сузанна. Да скажи же что-нибудь, Адель; ты нас пугаешь.

Фридрих. Что с ней могло случиться? Она смотрит таким зверем.

Оверньятка *(отворяя с шумом дверь)*. Здесь, что ли, спрашивали углей?

Адель *(сердито)*. Да, поставьте там. Вам заплатили?

Оверньятка. Я и не спрашиваю. Я и огонь тоже принесла, как вы приказали.

Адель. Хорошо… Вы можете идти!

Оверньятка. Тут две мерки, хорошо отмерено, слышите ли? Когда вам понадобится еще что…

Адель. Или вам еще повторять надо? Сказано, хорошо!

Оверньятка удаляется ворча.

Сузанна. Зачем эти угли? Тебе надо варить что-нибудь?

Адель. Нет.

Сузанна. Ну так ты с ума сошла.

Адель. Слушай, Сузанна… Выслушайте, друзья мои. Я совершенно в здравом уме; но решение

мое неизменно… Я не хочу больше страдать… Это не жизнь, как мы живем… У меня оставалось сорок су. Я их спрятала… нарочно на этот случай… Теперь время пришло… Вот на что я их употребила.

Сузанна. На уголья… Вместо того чтобы купить хлеба!

Адель. Хлеба!.. Как это было бы надолго! Нет, друзья, мне опостылела жизнь… Если вы согласны со мной, то я знаю, что мы сделаем.

Фридрих. А что мы сделаем?

Адель. Мы разожжем здесь жаровню.

Сузанна. А потом?

Адель. Когда она будет достаточно раскалена… мы затворим двери, заткнем все щели и поставим ее посреди комнаты.

Генриетта *(плача)*. Как! Ты хочешь, чтобы мы погибли?

Сузанна. Мы все умрем!

Фридрих. Что ж, вы будете хныкать?.. Адель права: это одно нам остается; верите ли, Адель, я сто раз намеревался предложить вам это, но все видел вас такой неустрашимой во всем и сказал себе: мужчина не должен первый давать подобный совет… Но от участия я не отказываюсь.

Генриетта. И ты также!

Фридрих. Когда нет более надежды… Я являлся к подрядчику над чисткой улиц, хотел быть метельщиком, чистильщиком сточных труб; хотел чистить отхожие ямы. Нет для меня места! Предлагал даже живодерам работать за полцены. Нет места! В Клиши, на белильной фабрике, где люди мрут как мухи, и то нет места! У меня спрашивали аттестат. На зеркальном заводе, где отравляют ртутные пары, и там нет места! Надо протекцию. В гавани, для разборки судов в канале, для возки тачек с землекопами, я тоже не имел успеха. Нельзя не содрогаться при мысли, что каждый день так отказывают. В больнице, в Валь-де-Грас, где требовалось сменять больничных служителей, меня не приняли, потому что я не был рекомендован доктором. Мне говорили, что версальский палач нуждался в помощнике…

Генриетта *(с ужасом)*. И ты хотел предложить себя!

Фридрих. Успокойся, и не подумал… Это только сказано в доказательство, как трудно нынче найти что-нибудь. Более трехсот лиц добивались этого места… И меня, освобожденного преступника, конечно, ни за что не приняли бы… Без меня было бы кого выбрать… Кабы я попытался, то только бы к своему стыду… И вот, когда дошел

до этого!..

Генриетта. Ну, у меня отлегло от сердца.

Сузанна. И у меня тоже.

Адель. Я боялась…

Фридрих. Мне — сделаться лакеем палача!.. Вы меня все-таки знаете, Адель… Всякая другая профессия, почему нет?.. Но чтобы дойти до этого… Скорее копать колодцы. Словом, все мы под несчастной звездой. Только Адель нашла лекарство.

Сузанна. Хорошо ее лекарство!

Фридрих. Что же делать! Ведь вот тебе обещали дать штопать чулки, у тебя было бы несколько су, и мы на них бы пока прожили. Когда ты пошла за ними, что тебе ответили? Что ты была в остроге и тебе нельзя доверить работы.

Сузанна. Какое несчастье!

Генриетта. Мы могли бы снять палатку и торговать.

Фридрих. А что продавать? Чтобы нас схватили… Разве есть у нас дозволение? Его надо купить, а также нужны деньги на товар, хотя бы то был трут. За что вам дадут его? Не за мою ли бороду?

Сузанна. Я хочу публиковаться в листке объявлений, хоть ходить за детьми…

Фридрих. Листок объявлений! Хорошо тоже,

нечего сказать; если у тебя есть какой грош, снеси им, они возьмут его с удовольствием. А затем такую, как ты, какие хозяева захотят взять? Положим, что возьмут, но рано или поздно они узнают, кто ты; если случится воровство в доме, кого обвинят? Тебя! А воровать будут, потому что воруют безнаказанно там, где есть освобожденные из острога. Они тут — все на них падает… Чем более я размышляю, тем более нахожу, что самое лучшее для меня, как и для вас, — это покончить…

Сузанна. Он не отступается от этого!.. О, лучше бы я ее оставила броситься в воду!..

Генриетта. Если она решалась топиться… это ей ничего не стоит…

Адель. Неправда… мне это стоит; я солгала бы, сказавши противное… Это мне много стоит… Ничего нет дороже жизни; надо было мне очень ею дорожить, чтобы сделать все то, что я делала… чтобы вытерпеть, что я вытерпела. Какие у вас ресурсы… так же как и у меня? Если бы вы были моложе, вы могли бы торговать собою; да и это что за участь?.. Пример перед вами… Я была хороша собой, можно сказать без хвастовства, и куда меня это привело?.. На нашем месте нельзя колебаться… Или вам нравится лучше умирать

с голода?.. Вспомните ночь, когда я пришла с солдатами; чего вы натерпелись… Теперь уже солдат нет…

Сузанна. Нет солдат?

Адель. Они уехали.

Генриетта. А актер?

Адель. Отыщи его в гробу.

Генриетта. Умер!

Фридрих. Огонь погасает.

Адель. Еще горит. *(Кладет его на уголья.)* Я зажгу… Решились вы?

Сузанна и Генриетта в испуге кричат, Фридрих бросается к двери, запирает ее в два раза и кладет ключ в карман.

Фридрих. Кричите теперь.

Генриетта *(бросаясь ему на шею, тогда как Сузанна хватает его за руки и обливает их слезами)*. Фридрих, друг мой, умоляю тебя! Разве я уже более не твоя Генриетта?

Фридрих. Чего ты хочешь от меня?

Генриетта. Как я буду тут умирать перед тобою? И у тебя хватит силы!

Фридрих *(с волнением, стараясь высвободиться из ее объятий)*. Ах, оставь меня… я не могу…

Генриетта. Ты увидишь мой труп.

Фридрих. Мне, однако, тяжело.

Генриетта. Ты отворачиваешься… не отвечаешь мне… взгляни же на меня, друг мой.

Фридрих *(растроганный)*. Ну что?

Адель *(в сторону)*. Он не выдержит. Как я жалею, что не сделала всего одна!

Генриетта *(целуя Фридриха)*. Ты не хочешь теперь умирать, не правда ли?

Фридрих. Отчего не могу я ей противиться! О, женщины!.. Когда любишь! Но все равно… Я все преодолею, мы не умрем.

Адель. А хлеб?

Фридрих. У нас он будет. Вы слышали о шайке Видока?

Адель. Слишком!

Фридрих. От меня зависит попасть в нее, у меня будет три франка в день, мы их разделим.

Генриетта. Как, ты будешь… О, друг мой, умрем. Теперь я предлагаю это тебе.

Сузанна. Я не отступаюсь.

Адель. Уголья разгораются.

Фридрих. Осторожнее, не сделайте пожара; в доме дети.

Генриетта. Невинные малютки! Не надо их жечь.

Адель. А быть может, это было бы для их же блага.

Сузанна. Довольно и нас… Четыре человека! Это не всегда встречается. Напишут в газетах.

Фридрих. Напишут о нас?

Адель. Это заставит говорить о нас в Париже, все-таки утешительно.

Генриетта. И может, это послужит другим… Как знать?

Адель. Уголья разгорелись.

Сузанна. Можно поджарить быка… Итак, это наш последний день!

Адель. А ведь еще не все сделано… Вы не обращаете внимания! Могут нас увидать напротив; не закрыть ли окно одеялом?

Фридрих. Это лишнее; тут только каменщики. Они на крыше, это так высоко! Притом, кажется, теперь их обеденный час; а при возвращении…

Генриетта. Все будет покончено. Надо закрыть трубу?

Адель. Да, да.

Генриетта *(накладывая крышку)*. Фридрих, прошу у тебя одной милости.

Фридрих. О чем?

Генриетта *(подымая чугунную цепь)*. Женщина никогда не бывает так тверда, как мужчина. Я решилась, но…

Фридрих. Досказывай, мой друг.

Генриетта. Я не надеюсь на себя! Видишь эту цепь… Если я переменю намерение… *(Сжимая ему нежно руку.)* Ты понимаешь…

Фридрих. Я понял… Ужасное положение!

Сузанна. Все готово; что надо делать?

Адель. Ничего… лечь и дожидаться.

(Она бросается на пол. Сузанна, Генриетта и Фридрих следуют ее примеру; двое супругов обнимаются.)

Сузанна. Смерть!.. Если я закрою себе лицо, мне кажется, не так будет страшно… Я ее не увижу… *(Она закутывается платком.)*

Генриетта. Фридрих, закрой мне передником глаза. Свет меня приводит в отчаяние.

Адель. А я хочу его еще видеть.

Генриетта. Я не могу продохнуть.

Сузанна. Мне тошно. Я задыхаюсь!

Адель. А у меня начинает болеть голова.

Генриетта. У меня мозг горит!

Сузанна. Чувствуешь ли ты, так же как я, испарину, тягость?

Адель. У меня точно повязка на лбу, и такая тяжесть в членах.

Фридрих. Странно, я ничего не чувствую. Это, может быть, по привычке.

Адель. У меня в глазах темнеет; точно на них

упала завеса, они отекают; все кружится вокруг меня!

Сузанна. Страшное стеснение в груди.

Фридрих. А я как железный!

Адель. У меня кровь леденеет.

Фридрих. И я их переживу!

Генриетта. Фридрих, друг мой, голова у меня трещит. О, какая боль! Они мне грудь разрывают. Отними эту змею, которая грызет мне сердце!.. Куда ты меня несешь? Кто меня поднимает? Ты?.. Теперь мне лучше… мне хорошо… О, какое наслаждение! Мне легко. Я просто в раю! Прощай, Фридрих. Друзья мои, молитесь за меня.

Адель. Голова моя… о, невыносимая тяжесть! Сердце выскочить хочет… Как оно бьется… Какое головокружение!

Сузанна *(катаясь по полу)*. Они мне разорвут барабанную перепонку со своими молотками… Облако… идет… О боже… Я не могу его остановить… Душа моя выходит… Помилосердуйте.

Фридрих. Генриетта! Генриетта! *(Трясет ее.)* Ее уже нет… а я!.. Кабы у меня был пистолет или какое другое оружие!..

Он быстро встает и, раскрывши шкаф, схватывает нож.

— Слава богу! Я могу теперь с ней соединиться!..

Могу заколоть себя! Тут, возле нее… на ее трупе… прольется моя кровь!.. Бок о бок с нею… Тут оно бьется, а бьется ли еще ее?.. — (Он наклоняется и кладет ей руку на сердце). — Нет… — (Целует ее и направляет лезвие в грудь.) — Постараемся не промахнуться!

Он готов пронзить себя… Как вдруг послышался шум: «Берегитесь, берегитесь внизу, убьет!» Нож у него выпадает, окно отворяется с шумом, разбитые стекла с треском влетают в комнату, и в то время, как с лестницы поднимается в воздух успокоительный крик каменщика: «Никого не ушибло, не ранило, и никто не умер», огромный кусок штукатурки, выброшенный, как глыба, с покатости кровли, упал к ногам Фридриха.

— Ну, — сказал он, — даже умереть спокойно не дают! — (Глядя на Генриетту.) — Вот счастливица!

Между тем воздух освежился, жаровня перестала пылать своим голубым пламенем, холодный ветер ворвался с силой, от чего уголья разгорелись и искра попала на руку Генриетте. Она сделала движение и стала приходить в себя.

Генриетта. А, гроза прошла! Какой гром гремел! *(Мало-помалу оживляясь.)* Фридрих, это ты? Ах, холодно, у меня ноги как сосульки… Согрей меня,

я окоченела. Затвори же окно, с ума ты сошел?.. Что это за огонь?..

Пока Генриетта, удивляясь всему, не может связать ни малейшего воспоминания с окружающим, Адель и Сузанна, опомнившиеся скорее ее, сухим, безжизненным взглядом глядят на жаровню, возле которой они умирали.

Адель. Возможно ли?.. Вы видите, мы хотели умереть… мы не можем.

Сузанна. Небо тому свидетель.

Фридрих. Наш час не пришел.

Адель. Надо так думать… Скорее околеет хорошая собака у пастуха.

Сузанна. Мать, которая нужна своим детям.

Фридрих. Мы после себя никого не оставим, не только детей.

Генриетта. Сирот несчастных? Только этого недоставало.

Фридрих. Ну к чему все послужило?.. Все наши предосторожности?

Адель. Лучше и не говорите, я так взбешена!

Фридрих. Только потерян понапрасну уголь.

Адель. Нет, не потерян. Он не хотел нас умертвить, так пусть даст нам возможность жить!

Фридрих. Что вы хотите сказать?

Адель. Будем ковать ключи.

Сузанна. Тише, несчастная; если нас услышат?

Адель. Что мне за дело! Я не узнаю себя. Мне кажется, теперь я столько же посовещусь убить человека, как задушить цыпленка.

Генриетта. Не говори этого, Адель. Это значит оскорблять Бога, это против совести.

Адель. Бог! Бог! Он лучше не давал бы нам совести, лишь бы не умирать с голоду… Бог! Я Его не признаю… Совесть, что такое совесть?.. Имейте совесть, честность!.. Вы видели пример тому; хорош он!

Фридрих. Знаете ли, Адель, это нехорошо говорить так. Я недоволен вами… Если дело идет об убийстве, я отступаюсь.

Сузанна. Она тоже не так зла; это она болтает только языком, а сердце не разделяет этой мысли.

Генриетта. Это гнев, а на самом деле ее мысли совсем не такие.

Адель. Правда, не будем никого убивать… Но послушайте, надо есть, я прихожу все к тому же, и у нас одно только средство. Голод заставляет выходить волка из лесу. Если вы мне верите, мы пойдем отыщем дело, а потом положим железо на огонь. Как вы думаете, друзья мои?

Фридрих. Дело… то есть покражу?

Сузанна. Почему не так?

Фридрих. Я ко всему подлаживаюсь, из меня можно сделать какой угодно сосуд, но…

Адель. Уж вы не трусите ли?

Фридрих. Вы хотите этого? Ну что ж, согласен на воровство.

Адель. Но ничего более, только одно воровство. Просто для того, чтобы иметь необходимое.

Генриетта. Надо постараться не доходить до такого положения… Если бы у нас были деньги, мы могли бы начать маленькую торговлю… По-моему, хорошо бы шить помочи… Говорят, что они хорошо продаются, и мы вышли бы из нужды.

Адель. После, после, теперь поспешим к более неотложному… Прежде всего пропитание.

Все. Да, прежде пропитание, а потом остальное.

Друзья отправились в поход, и не прошло трех часов после этого гибельного решения, как слепки были уже сняты, ключи сделаны и две комнаты обокрадены, но это доставило так мало, что через четыре дня голод опять был в доме. Приходилось приняться за то же или погибнуть. Решено было затеять другое дело, затем третье; так, менее чем в два месяца, было совершено покраж двадцать, а они были все так же бедны,

как и прежде. Они отдались течению, и поток увлекал их от преступления к преступлению.

Глава шестидесятая

Утренний выход. – Дурно нажитое впрок нейдет! – Воздушные замки. – Припадок веселья. – Два ключа. – Новости и их последствия. – Дурной хозяин. – Доброе дело приносит счастье. – Предосторожности

В одно воскресное утро Адель вышла рано. Фридрих, жена его и золовка еще спали. По пробуждении Сузанна сказала:

— Должно быть, Адель ушла очень рано, так что я ее не слыхала.

Фридрих. Я тоже не слыхал. Бедняжка! Если мы ничего не сделаем, это не по ее вине.

Генриетта. О нет, конечно, она очень хлопочет.

Фридрих. Она уж слишком старается, потому что игра не стоит свеч. Экое нам несчастье! Вот несчастье-то!

Сузанна. Ей-богу, не стоит быть вором.

Фридрих. Говорят, худо нажитое впрок не пойдет; мы еще не знаем, пойдет ли оно впрок; мы еще не имели большого успеха.

Генриетта. Надо ждать. Одно бы только хоро-

шее предприятие!

Фридрих. А пока мы плохо подвигаемся.

Генриетта. У тебя тоже нет терпенья.

Фридрих. Да ведь невесело все ходить высунув язык; мне надоело только плясать около буфета.

Генриетта. Ишь ты какой недовольный. Ведь мы перебиваемся помаленьку.

Фридрих. Да уж очень помаленьку.

Генриетта. Погоди, как только нам повезет…

Сузанна. Если это когда случится, я вознагражу потерянное время… Тогда я буду копить.

Генриетта. Я, как и ты, постараюсь сколотить себе копейку на черный день.

Фридрих. А я-то, вы думаете, оставлю свою долю собакам? Я себя тоже не забуду!.. Но я не надеюсь. Ты слышишь, как поют на лестнице?

Сузанна. Это голос Адели. Чему ж это она так радуется?

Фридрих. Уж верно, не прекрасной погоде. Небо кругом покрылось тучами…

Генриетта. Собирается ливень.

Фридрих. Парит, как в бане.

Адель *(быстро входя и кладя ключи на камин)*. Друзья мои, нищеты не будет более! Я только что их попробовала, они превосходно подходят. Все будет не позднее сегодняшнего дня.

Сузанна. Объясни, в чем дело.


H. VALENTIN

Адель. Сейчас скажу вам… Отличные новости… У меня их полны карманы, меня наградила ими торговка фруктами в улице Гобелен. Она мне давно знакома, маленькая горбунья, которая так любит болтать без умолку.

Генриетта. Что же она тебе напела? Ведь не она нас, конечно, интересует.

Адель. Дашь ли ты мне договорить?

Фридрих. Не прерывайте же ее.

Адель. Хозяин дома, где живет эта торговка, скряга отъявленный. Он так богат, что не знает счета деньгам. Они с женою могут издерживать более ста франков ежедневно, и у них нет ни собаки в услужении. Все это передала мне торговка. Вы понимаете, что я толковала с ней недаром, а чтобы все от нее выведать… Кроме того, занимаясь болтовней, я между тем не зевала: не подавая виду, я хорошо заметила, как передавали мешки; сколько же в них было денег! Будь у нас половина их, клянусь вам, нам во всю жизнь не надо бы было воровать. Как бы это пошло впрок в наших руках! Но богатство всегда достается тому, кто им не пользуется. Этот бездельник-домовладелец за то, что один жилец не уплатил ему в срок за квартиру, велел снести его мебель на площадь… Я была свидетельницей. То было полное отчая-

ние: отец, шесть человек детей и жена, только что после родов, все они обливались слезами, несчастные! Они просили его, умоляли, но скорее можно было растрогать камни, и, несмотря ни на что, их вытолкали на улицу. Все соседи были в негодовании. Хорошо же, подумала я, я тебя не потеряю из вида, старый плут, я тебе отплачу: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Если я только смогу до тебя добраться, уж не положу охулки на руку. С той минуты я выжидала случая, теперь он представляется, я взяла свои меры, и скряга от нас не ускользнет. Ведь это алтынник, ростовщик, он сам многих обокрал, теперь его очередь.

Сузанна. Когда вор обкрадывает вора, черти радуются.

Адель. Черт возрадуется, за это ручаюсь. Еще до вечера мы обработаем этого урода, и, не считая нас, кто-нибудь и еще попользуется.

Фридрих. Я думаю… жиличка получит свою долю.

Адель. Выбросить за дверь женщину после родов!.. Если бы было не более десяти франков, я и то половину снесла бы ей. Стало быть, мы поможем этой семье, согласны? Доброе дело приносит счастье.

Все. Да, да!

Сузанна. Будем делать людям то, чего мы сами бы себе пожелали, особенно тем, которые заслуживают.

Фридрих. Только надо, чтоб они не знали, кто им помогает, а то мы повредим себе.

Адель. Конечно, они ничего не будут знать. Теперь же, друзья, я объясню вам свой план: ростовщик пошел с женой пешком в Сен-Мор, и вернутся они не ранее завтрашнего дня, так что нам довольно времени. Но так как в этих делах всегда лучше раньше, чем позже, то я сейчас иду, а вы ступайте за мной. Генриетта останется на улице стеречь, и, пока я отвлеку торговку фруктами в лавочку, Фридрих и Сузанна проберутся по коридору; это во втором этаже, сзади, против лестницы; в двери есть форточка; маленьким ключом отпирается забор, а большим — замок, вы не можете ошибиться; надо не забыть клещи, в случае если придется отпирать сундук…

Фридрих. Сузанна спрячет их под юбку.

Адель. Надо взять также колечко, чтобы вдеть в замочный язычок на случай неожиданности; необходимо все предвидеть. Вы знаете мою историю с Риготье.

Фридрих. Да, это урок.

Адель. И замечательный урок!

Глава шестьдесят первая

Сокровища ростовщика. – Боязнь. – Непослушный ключ. – Кит и Слон. – Вязальная спица. – Воры. – Кувырком с лестницы. – Слесарь. – Колечко вынуто. – Фартук. – Ступайте за полицией!

В минуту компания оделась и приготовилась к экспедиции, затем направилась в улицу Гобелен. Через полчаса Фридрих, в сообществе Сузанны, готов был приступить к делу. Никогда еще глазам их не представлялось столько богатства: деревянные чашки, до краев наполненные квадруплями[18], гинеями, дукатами, наполеондорами, луидорами всех времен; мешки, надпись на которых свидетельствует о содержимом, и в довершение всего бумажник, отдувшийся от векселей и банковых билетов. Когда они намеревались всего этого коснуться, послышался шум и приближающиеся шаги.

— Не шевелись, — сказал Фридрих, — идут по

---

[18] Примечания: 18
Квадрупль — монета в Испании.

лестнице.

И вот оба не смеют дохнуть. Кто-то останавливается у двери и пробует ключ. Какой ужас!

— Как мы хорошо сделали, что вернулись! Того и гляди польет ливень, — говорит голос за дверью.

— Да скорей же, госпожа Ломбар; что вы возитесь.

— Надеюсь, дадите мне время вложить ключ.

— Да уж я бы раз десять отпер.

— Очень проворны!

— И это часто так с вами бывает? Да дайте же; а то я больше крови испорчу, глядя, как вы тут копаетесь.

— Да что же делать, разве вы не видите, что ключ не входит!

— Это просто ваше неуменье.

— Неуменье! Скорее ключ засорен. У вас вечная привычка таскать корки в кармане, вот крошки и набились.

— А вот увидим, моя ли это вина, дайте-ка я продую.

— Извольте-с, сколько угодно. — (Она передает ему ключ.)

— Он самый! — (Дует в него, бьет им по перилам, потом возвращает.) — Ключ свистит

отлично, теперь он должен войти.

Мадам Ломбар *(пробуя во второй раз)*. Как же! Он входит не больше прежнего.

— Вы, кажется, не в ту сторону вертите?

— Я не верчу ни в какую сторону, потому что он вошел только до половины. — (Зовет.) — Мадам Було!

Торговка. Что вам угодно?

— Нет ли у вас чего прочистить ключ?

Торговка. Сейчас принесу спичку.

Г-н Ломбар. Спичку! Чтоб она в нем сломилась?

Торговка. Ну березовый веник, это лучше?

Г-н Ломбар. Принесите один прутик, выберите самый твердый.

Торговка уходит и тотчас же возвращается с березовым прутом, который передает Ломбару.

Г-н Ломбар. Вы мне принесли полено!

Торговка. Тоньше нет там.

Г-н Ломбар. Хорошую услугу вы мне оказали! Прут переломился, как его теперь вытащить?

Торговка. Попробуйте гвоздем.

Г-жа Ломбар. Гвоздь короток.

Торговка. Постойте-ка, я пороюсь у себя; у меня, кажется, был китовый ус.

Г-н Ломбар. Китовый ус! Уж лучше бы вы слона

предложили.

Торговка. Что делать! Я, конечно, могу предложить только то, что есть у меня.

Г-жа Ломбар. Неужели у вас нет вязальной спички?

Торговка. Ах да, я знаю привратницу 17-го номера, у которой знакомый инвалид вяжет чулки. Может, он ей оставил. Сейчас побегу.

Вскоре она принесла вязальную спичку, и ростовщик принялся ковырять ею ключ, стучать, дуть и т. д.

Г-н Ломбар. Ничего больше нет. Он должен отворить, или надо узнать, в чем дело. *(Кладет ключ в замок.)* Ничего не понимаю. Ключ по-прежнему не отпирает. Просто как заколдованный!

Г-жа Ломбар. Не в замке ли что испортилось?

Г-н Ломбар. Вы его испортили… Кабы была доска, я влез бы через кухонное окно.

Торговка. Да, чтобы сломить себе шею.

Г-жа Ломбар. Мало того, вы еще разобьете стекло, стоящее четыре франка.

Г-н Ломбар. Скорей, скорей, мадам Було, приведите слесаря. Это обойдется дешевле.

Торговка быстро удаляется.

Не успела она выйти на улицу, как двойным поворотом ключа изнутри замок отперся с шумом.

Г-жа Ломбар. Этот замок во сне бредит.

Г-н Ломбар. Кто-то есть там… Нас обокрали. Воры! Воры!

Вдруг дверь отворяется, выскакивают два человека и прямо сталкиваются с гг. Ломбар; быстро опрокинутые неожиданным толчком, муж и жена летят кувырком со ступеньки на ступеньку. Что это? Целый эскадрон привидений, ураган, наводнение или смерч увлекает их? Толчок был так силен и быстр, что они не знают, чему приписать его.

Причина исчезла, но следствие налицо, и валяющимся супругам ничего не оставалось, как оплакивать свою катастрофу.

Г-н Ломбар. Ай, ай, ай! Мне мочи нет. Я расшибся, убит, искалечен, просто убит! Ай, ай!

Г-жа Ломбар. Разбой! Убьют! Помогите… Я держу его… Помогите, господин Ломбар, помогите мне!

Г-н Ломбар. Ах, господи, ай! Я совсем не чувствую поясницы… Они мне ее сломили, бездельники!.. А стекло от часов, а очки… а парик-то где же?

Г-жа Ломбар. Если вы не подойдете, я его выпущу. Караул! Караул!

Торговка является в сопровождении слесаря.

— Что я вижу? С одной стороны барин, с другой — барыня. Что с ними случилось? Да комнаты-то уж отперты?

Слесарь. Они, должно быть, хотели толкнуть дверь внутрь да и попортили себе спины.

Г-жа Ломбар *(приподымаясь)*. Ай, ай, у меня все ноги ободраны.

Г-н Ломбар. У меня вся спина разбита вдребезги… Я не могу сесть иначе… как на живот.

Слесарь. Стало быть, вы не головой вниз упали.

Г-жа Ломбар. Тем не менее, кабы не потеряли головы, мы бы их остановили. Смотрите, я сорвала с него передник.

Г-н Ломбар. Их по крайней мере была дюжина, и потом это было так скоро, точно молния блеснула…

Г-жа Ломбар. Милая мадам Було, они все прошли по моему телу! Господи, какая страсть!.. Я теперь ранена повсюду… Поддержите меня, прошу вас… поддержите!..

Г-н Ломбар *(слесарю)*. Друг мой, помогите мне дойти до моего бюро.

Г-жа Ломбар *(вошедшая первой)*. Ну, комната в хорошем виде! Мы обворованы, ограблены, разорены!

Г-н Ломбар *(падая в кресло)*. Злодеи! Они нам оставили только глаза, чтобы плакать.

Слесарь. Я бы с радостью удовольствовался тем, что осталось.

Торговка. И я тоже.

Г-жа Ломбар. Надо заявить приставу, чтобы он составил акт.

Г-н Ломбар. И как могли они войти?

Слесарь. Не очень хитро, с помощью фальшивых ключей. Есть столько негодяев! *(Он осматривает замки и вынимает изнутри маленькое железное колечко, в которое продет замочный язычок.)* Я теперь не удивляюсь, что вы не могли его отворить, у них все было в порядке. Это слесарь делал такое кольцо. Где передник, оставшийся в руках барыни?

Г-жа Ломбар. Вот он.

Слесарь *(внезапно удивленный)*. Вот не знаешь, с кем живешь! Товарищ!.. Я считал его честным и руку дал бы в том на отсечение. Кому после этого доверять?

Г-н Ломбар. Что вы такое говорите?

Слесарь. Я говорю сам с собою… Несчастный!

Г-н Ломбар. Несчастный — это я.

Слесарь. Есть несчастнее вас. *(Показывая крючок на переднике.)* Вот этот крючок моей работы.

Месяцев одиннадцать тому назад я был в Куртиле с друзьями; одному из них передник мой понравился, и он просил, не продам ли я ему. Я сказал, что не продам, если он хочет, пусть возьмет так. Он согласился, угостив нас четырьмя литрами, и с тех пор передник ему принадлежит, если только не переменил хозяина.

Г-н Ломбар. Как же зовут этого друга?

Слесарь. Фридрих, мой собрат по мастерству.

Г-н Ломбар. Это хорошо. Мадам Було, ступайте сейчас же к приставу, скажите, что нас с женою убили, и попросите его от нашего имени тотчас же явиться сюда выслушать нашу жалобу и заявление слесаря. Идите!

Глава шестьдесят вторая

Радостное утро. – Облако. – Дело благотворения. – Приготовление завтрака. – Хозяйство поправляется. – Честные предположения. – Солонка опрокинута. – Полицейский комиссар. – Обыск. – Улики. – Благодарность. – Тюрьма. – Вечное заточение

Несмотря на неминуемую опасность, Фридрих и Сузанна имели достаточно присутствия духа, чтобы захватить бумажник и насыпать наскоро в свои карманы золота из двух или трех деревянных чашек; по возвращении домой им достаточно было нескольких минут, чтобы оправиться от только что испытанного страха.

При виде блестящей добычи, которая едва не привела к гибельным последствиям, они прыгали от радости.

Тогда только Фридрих заметил, что на нем нет передника. Беспокойство пробежало по его лицу, но вскоре рассеялось, и веселье возобновилось. Принялись считать деньги; сумма превзошла все ожидания.

Фридрих. Ну, на этот раз, по крайней мере, все у нас останется; мы не попадем в когти укрывателей.

Сузанна. Надо так распорядиться, чтобы можно было жить счастливо.

Адель. И честно. Я все к этому возвращаюсь.

Генриетта. Это само собой разумеется. Разве без этого можно быть счастливыми?

Адель. Кстати, друзья мои, вы знаете, что нам еще надо заплатить долг. Он священен — завтра утром это будет мой первый выход… Я ей отнесу билет в тысячу франков.

Фридрих. Кому же это?

Адель. Вы забыли, что мы обещались?

Генриетта. Разве ты не помнишь, Фридрих, эту женщину?

Фридрих. Отца семейства, которого наш банкир так бесчеловечно выгнал? Я не имею ничего против… Да, дадим этим бедным людям тысячу франков, это немного.

Остаток дня и следующая ночь прошли в мечтах о воздушных замках. Никто и глаз не сомкнул. В четыре часа утра Адель поднялась для совершения благотворительности, на которую все согласились от чистого сердца. Сузанна и Генриетта оделись и отправились на рынок, чтобы

закупить все на завтрак, долженствующий быть великолепным. Через два часа они вернулись с обильным запасом провизии и с некоторыми кухонными принадлежностями; тут была между прочим столовая посуда, утюги, несколько кастрюль, рашпер, противень и ореховый стол.

Сузанна. Положите это все здесь. Вот вам за хлопоты, довольны вы?

Носильщик. Сорок су! Если бы богатые платили так щедро, то легко было бы пропитаться.

Генриетта *(наливая вина)*. Кто хочет пить, пожалуйте! Рассыльный, вот вам стакан, самый полный; вы делаете почин, стаканы новые.

Фридрих. Кто чокнется?

Носильщик. Коли позволите… За ваше здоровье, сударыни!.. И за ваше, хозяин! *(Он ставит стакан и уходит.)*

Фридрих *(принимаясь вынимать все из корзин)*. Горошек, зеленая фасоль, персики, это новые; стало быть, уж ни в чем нет отказа?

Генриетта. Ему непременно надо повсюду сунуть свой нос; больно умен!

Фридрих. А это что такое?

Сузанна. Белила для чистки окон.

Фридрих. Это тоже нужно, белила?

Генриетта. А ты думаешь, мы в грязи будем

жить?

Сузанна. Нет-с, я хочу, чтобы здесь был настоящий маленький дворец.

Генриетта. Чтоб в стекла-то можно было глядеться, как в зеркало.

Фридрих. Кофе, сахар, водка. А, вот и самое лучшее, баранина!.. Теперь я не удивляюсь, что купили противень…

Генриетта. Да, и противень; сегодня должен вертел работать. Живей, Сузанна, помоги мне, чтобы к приходу Адели все было готово. Чтобы оставалось только сесть за стол…

Вскоре они приготовили этот первый изобильный пир, о котором давно мечтали; когда баранина поджарилась, Сузанна стала накрывать на стол…

Генриетта. Ну, Фридрих, что ты скажешь? Не отлично ли она это устраивает?

Фридрих. Видно, что она знает свое дело.

Сузанна. Пусть-ка теперь кто скажет, что мы не господа!

Фридрих. Кому это придет в голову! Только злым языкам.

Сузанна. А каков вид?

Фридрих. А запах-то, запах!

Сузанна. Положим, нам недостает серебра, но и

Париж не в один день состроился.

Фридрих. Можно есть куропаток без апельсинов. У меня волчий аппетит.

Генриетта. А у меня!

Сузанна. И у меня тоже. Кабы Адель пришла, мы начали бы.

Генриетта. Она не должна запоздать… Ужели это она подняла такую стукотню?

Фридрих. Я не думаю. Разве ведет к нам всю семью.

Сузанна. Да не с ума ли она сошла! Генриетта, посмотри же.

Генриетта. Это любопытно. *(Она бежит по комнате и задевает за стол.)*

Сузанна. Экая ветреница! Опрокинула солонку.

Генриетта. Ничего, я ее брошу через плечо. *(Идет в коридор и возвращается в ужасе.)* Друзья мои, мы погибли!

В ту же минуту в комнату вошла толпа жандармов и полицейский с приставом во главе.

— Именем закона, — сказал пристав, — требую у вас все ваши ключи. Жандармы, пока я буду делать обыск, стерегите этого человека и этих двух женщин. Вы мне за них отвечаете.

Жандарм. Они не уйдут.

Пристав. Здесь, кажется, пируют. *(Увидя та-*

бакерку.) Если не ошибаюсь, вот уже одна из вещей, поименованных в протоколе. Проверим; черепаховая табакерка с золотым ободочком; на крышке портрет госпожи Ломбар, оправленный в медальон. На обороте вензеля обоих супругов, переплетенные волосами, с воспламененным сердцем и незабудкой в цепях любви. Это та самая, взгляните, господа. А она недурна была, мадам Ломбар! Вы разделяете мое мнение, что это вполне согласно с описанием?

Один из присутствующих. И сомневаться нельзя.

Пристав. Значит, мы нашли воров. *(Фридриху.)* Знаете вы Якова Ричарда в улице Гобелен?

Фридрих. Я знал одного товарища, которого звали Ричард, только в Рыбачьем предместье.

Пристав. Это тот самый. Не было ли у вас чего-нибудь от него?

Фридрих *(в сторону).* Передник, который он мне продал. *(Громко.)* Я вижу, господин пристав, что бесполезно отпираться. Я виновник воровства.

Пристав. Если бы вы и не сознались, то улики достаточны. *(Он велит подать передник и развертывает его.)* Узнаете вы это?

Фридрих. Узнаю как нельзя лучше.

Пристав. Вы не освобожденный ли?

Фридрих. Да, я был освобожден.

Пристав. Эти женщины тоже; мы получили сведения. Жандарм, свяжите-ка этого молодца и наденьте наручники на женщин.

Фридрих. Они не виноваты.

Пристав. Жандармы, делайте свое дело.

Пока исполняют приказание пристава, а он продолжает обыск, кто-то тихонько постучался в дверь. Один из полицейских отворяет, входит дама, скромная и почти изящная внешность которой говорит в ее пользу.

Пристав. Что вам угодно?.. Хотя эта госпожа не похожа на воровку, но ввиду настоящего обстоятельства я не могу не спросить, что ей угодно.

Дама. Как — что мне угодно?.. Я принесла работу.

Пристав. А!

Дама *(роясь в кармане)*. Вот смотрите, смотрите, это не секрет. Я принесла сделать фестоны на кисейных оборках, их тут тридцать четыре аршина. Развернуть?

Пристав. Не нужно; но так как вы доставляете работу, то у вас, стало быть, магазин?

Дама. У меня вышивальные изделия и все что есть самого нового. Вы, я думаю, женаты. Если ваша супруга пожелает что купить, вот мой адрес.

(Подавая печатную карточку.) Госпожа Дервиль, бульвар Инвалидов, возле Вавилонской улицы. Она найдет у меня все, что угодно, и по сходной цене. Я очень сговорчива.

Пристав. Вижу, что это правда. В вашем появлении нет ничего подозрительного, цель его естественна, потому вы можете свободно удалиться. Извините, сударыня; но при нашей должности нам иногда предписывается быть скромными.

В то время как новоприбывшая, намереваясь удалиться, раскланивалась на извинения пристава, вошли два новые агента, Коко-Лакур и Фанфан Лагренуйль, которые, увидя ее, стали в нее пристально всматриваться.

Коко-Лакур. Я, кажется, имею честь знать мадам?

Фанфан Лагренуйль. И я уверен, что где-то вас видел.

Дама *(несколько смущенная)*. Может быть; но я вас не могу припомнить.

Коко-Лакур. Однако вы должны меня знать.

Дама. По чести, милостивый государь, я не думаю этого.

Фанфан Лагренуйль. Чем более я всматриваюсь, тем более убеждаюсь, что не ошибся. Честное

слово, я вас знаю. Не отговаривайтесь! Вы бывшая жена вора, не правда ли?

Дама *(смущение которой все более и более обнаруживается).* Я вас не понимаю.

Фанфан Лагренуйль. Ха, ха, отлично понимаете. *(Коко-Лакуру.)* Эта барыня знает воровской язык лучше тебя и меня.

Коко-Лакур *(с живостью).* Так, припомнил. Вы бывшая жена Леружа; вас зовут Адель д'Эскар?

Дама *(запинаясь).* Я! Я! Вы ошибаетесь, это не мое имя.

Фанфан Лагренуйль. Ты прав, Коко, это Адель… Это она, сейчас умереть.

Коко-Лакур *(подкладывая руку под корзину и приподнимая ее).* Держу пари, что тут есть контрабанда; железо звенит. Ну-ка я посмотрю.

Дама. Избавлю вас от труда.

Она раскрывает корзинку, берет связку ключей и узел, который бросает посреди комнаты.

— Да, я Адель. Ну что же из этого?

Пристав. Она будет четвертая.

Жандарм. Полная кадриль.

Пристав. На эту барышню нельзя положиться, рекомендую вам.

Перед судом Адель созналась во всех преступлениях; но для смягчения виновности рассказала

и о своих несчастьях.

Судьи были тронуты; тем не менее приговор состоялся на вечное заключение в тюрьму. В первый раз еще столь страшное решение обрушилось против женщины.

Когда пришли ей обрить голову и надеть серый балахон, Адель проливала горькие слезы.

— Все сделать, чтобы остаться честной или умереть, — шептала она, — и все-таки быть брошенной живою в могилу!.. Эти двери Сен-Лазара, раз за мной затворившиеся, теперь никогда не отворятся… Никогда!.. Никогда!.. Вечность!.. — повторяла она беспрестанно самым раздирающим голосом.

Когда я пишу эти строки, эти жалобы, прерываемые рыданиями, всё еще не прекратились. Адель еще и теперь страдает!

Глава шестьдесят третья
Пролазы (Chevaliers grimpants)

Утренники. – Древность этого рода воров. – Их библиотека. – Характер и костюм. – Виноват! Я сын богатых родителей! – Незваный гость. – Грабители меблированных комнат. – Извините, ошибся. – Советы читателям. – Остерегайтесь дворников и лакеев

Воры, так называемые «утренники», по-французски бонжуристы, обыкновенно прокрадываются в дом тихо и незаметно и стаскивают мимоходом все, что попадается под руку. Первыми ворами были, как гласит предание, слуги без мест. Сначала их было немного, потом они воспитали учеников, и ремесло их приняло такие размеры, что от 1800 до 1812 года не было почти дня, когда бы в Париже где-нибудь не своровали двенадцати или пятнадцати корзин серебра. Коко-Лакур, передававший мне этот факт, говорил, что вначале у бонжуристов была общая касса. Впоследствии, когда между ними появились лентяи, желавшие, ничего не делая, пользоваться

общими доходами, это добродетельное братство прекратилось, и каждый начал трудиться для себя самого.

Знаменитейшие бонжуристы, из числа указанных мне при моем вступлении в полицию, были: Далессан, Флоран, Соломон, Горо, Коко-Лакур, Франкфор, Шимо, Готвилль, Мейер, Исаак, Леви, Мишель, *Тетю* и некоторые другие, имена которых не могу припомнить.

Для бонжуриста имеют большой интерес книги: *Торговый календарь*, *Придворный календарь* и *Календарь* двадцати пяти тысяч адресов. Каждое утро, перед выходом, они с ними справляются и, вознамерившись посетить какой-либо дом, редко не знают имен по крайней мере двоих из живущих там: чтобы войти, они спрашивают у дворника одно лицо, а стараются обворовать другое. Бонжурист всегда одет изящно и обут как можно легче; он вообще предпочитает замшевые башмаки, да и от тех старается оторвать подошвы, чтобы они не скрипели; иногда подошвы бывают войлочные; иногда же, именно зимою, замшевые башмаки заменяются плетеными башмаками из кромок, в которых можно ходить, подыматься и спускаться без малейшего шума.

Этого рода воровство совершается без взлома,

без фальшивых ключей, без лазанья: вор просто замечает ключ в двери; сперва он чуть-чуть постучит, затем погромче и затем совсем шибко. Если никто не откликается, он повертывает ручку и входит в переднюю, после чего пробирается в залу и другие соседние комнаты, чтобы убедиться, что никого нет; возвращается назад, и если ключа от буфета не видать, ищет его повсюду, где обыкновенно принято его класть. Найдя его, он тотчас же достает серебро и уносит его в своей шляпе, прикрывши фуляровым или батистовым платком, тонина и белизна которого свидетельствуют о порядочном человеке. Если в это время кто-нибудь идет, он прямо идет навстречу, здоровается и, улыбаясь почти дружески, спрашивает, что он не с таким-то ли честь имеет говорить. Ему указывают или этажом выше, или ниже; тогда, с той же улыбкой, рассыпаясь в тысяче извинений, почтительно раскланиваясь, он удаляется.

Случается, что он не успеет сделать покражи, а часто уже и сделал ее, а если и заметят, то уже будет поздно. С первого взгляда нет ничего любезнее, ничего предупредительнее бонжуриста: с постоянной улыбкой на губах, он очень приветлив, подобострастен, даже когда этого и не надо; но все это только привычка, одно гримас-

ничанье. Через несколько лет упражнения он смеется против воли; это в конце концов делается хроническим; он кланяется, сам того не замечая.

Иногда случается, что, несмотря на хорошие манеры, обворованные осмеливаются не только подозревать его, но даже обыскивать; в таком случае он падает на колени перед рассерженными хозяевами и, чтобы их укротить и разжалобить, со слезами, патетически, рассказывает им историю, приготовленную заранее на случай опасности, обыкновенно в таком роде: родители его честные, а его сгубила несчастная страсть к игре; это первая его попытка на пути преступления, и если его предадут в руки правосудия, то отец и мать умрут с горя. Если слезы возымеют свое действие и ему позволят убраться подобру-поздорову, то разыгрывает раскаивающегося до самых дверей. Если же остаются непреклонными, он остается в отчаянии только до прихода полиции; но при появлении последней возвращается в свое спокойное состояние, и улыбающиеся мускулы приходят в прежнее положение.

Большая часть воров этого рода начинает свои набеги с утра, когда няньки ходят за сливками или благодушно болтают, пока хозяева еще в постели. Другие только выходят перед обедом и

выжидают минуты, когда серебро на столе. Они войдут и мигом обработают дело. На их языке это называется *убирать со стола*.

Раз один из таких убиральщиков пробрался в столовую; вдруг ему навстречу служанка несет два серебряных блюда с рыбой. Нимало не смутившись, он прямо подходит к ней.

— Ну, скоро ли же вы подадите суп? — говорит он ей. — Уж все терпение потеряли.

— Сейчас, — отвечает служанка, принявшая его за одного из гостей. — Я готова, скажите, сделайте одолжение, гостям.

И она побежала в кухню; а вор, опроставши как можно скорее оба блюда, запрятал их между жилетом и рубашкой. Девушка вернулась с супом; мнимый гость улетучился, на столе не осталось ни одной серебряной вещи. Мне донесли об этом происшествии. По обстоятельствам дела, равно как по приметам, я догадался, кто виновник. И действительно, то был *Шимо,* которого и поймали на рынке Святой Екатерины. На рубашке его еще остались следы блюд, форма которых так и обрисовалась соусом.

Другой отдел бонжуристов грабит преимущественно меблированные комнаты. Этого рода воры еще до зари уже должны быть на ногах. Они

с необычайной ловкостью умеют отделаться от бдительности дворников, входят то под тем, то под другим предлогом, осматриваются, и, если увидят ключи в дверях, что обыкновенно бывает, поворачивают их как можно тише. Войдя в комнату, если жилец спит, они оставят его и без кошелька, и без часов, и без драгоценных украшений — словом, без всего, что у него есть получше. В случае же он проснется, у вора всегда готово извинение: «Ах, извините, я думал, что это 13-й номер! Не вы спрашивали сапожника, портного, цирюльника?» Или что-нибудь подобное. Евреи и многие женщины, не всегда еврейки, преимущественно занимаются этим ремеслом. Нередко путешественник, обобранный таким образом во время сна, остается буквально в одной сорочке.



Читатель, позвольте вам сделать некоторые

указания предосторожности. Чтобы не потерпеть от бонжуристов, не оставляйте никогда ключ в вашей двери; не прячьте ключ от буфета, потому что его всенепременно отыщут, а держите его всегда в кармане. У дворника должен быть звонок или свисток для предупреждения жильцов о приходе постороннего и для обозначения этажа, куда он отправляется. Дворник должен быть только дворником и не быть вместе с тем ни портным, ни башмачником, ни сапожником. Он не должен утром мести, не заперши свою дверь или не оставивши дома караулить дочь или кого другого. Не забудьте, что воры имеют привычку искать под тюфяками, под коврами, под вазами, в буфете, за картинами, за печами, на карнизах и т. п. Запретите людям оставлять кого бы то ни было одного в вашей комнате. Если кто в ваше отсутствие пожелает вам написать записку, пусть слуга отнюдь не отлучается за бумагой, а попросит гостя в комнату привратника, где ему доставят все нужное.

Остерегайтесь стекольщиков, лудильщиков, чинильщиков посуды, маленьких савояров, всевозможных разносчиков с одеялами, холстиной, коленкором, кисеей и пр. и пр., не упускайте из виду модисток с картонами в руках и т. п. — все

это воры или сообщники воров, старающиеся что-нибудь разведать или высмотреть. Особенно будьте осторожны, когда есть или недавно были в доме рабочие; редко обходится без воровства после каменщиков, мостовщиков, кровельщиков, маляров и т. п.; со старьевщиками, ветошниками имейте дело не иначе как на улице. По возможности избегайте нанимать квартиру в одном доме с прачками, доктором, акушеркой, с членом благотворительности, приставом, мировым судьею или стряпчим; избегайте также шумных домов, где постоянный прилив и отлив народа.

Глава шестьдесят четвертая
Ночные грабители лавок (Boucardiers)

Букардьеры. – Их характер и воровские приемы. – Скупые покупатели. – Имейте хорошую собаку. – Наказ приказчикам. – Посудные и игрушечные магазины от воров безопасны. – Провинциальные грабители. – Сбыт краденого. – А как легко захватить воров в лавке! – Запоры породили воров. – Хитрый замок не хитрее вора. – Обращение к гг. слесарям. – Не носите с собой паспортов

Букардьерами называют воров, обкрадывающих по ночам лавки; они никогда не пускаются на кражу, не познакомившись вперед со всеми препятствиями, могущими им встретиться; с этой целью в продолжение нескольких дней, утром и вечером, бродят они вокруг лавки, стараются быть при отпиранье или запиранье, причем обращают внимание на болты, легко ли они надеваются и снимаются, узнают также, стережет ли лавку собака, не спит ли кто в ней. Часто для

своих наблюдений они являются к лавочнику покупать и иногда даже покупают, но что-нибудь пустячное, стараясь как можно долее торговаться; никто столько не спорит, не колеблется, как подобный соглядатай; он придет, уйдет, вернется, и даже когда условится в цене, то еще затрудняется в выборе.

Лавочник, заметивший одну и ту же личность, шляющуюся около, или признавши покупателя, надбавлявшего цену по копейке, уже должен быть настороже. Не мешает запастись хорошей собакой; большие годятся для защиты, но сторожат лучше маленькие, шавки, у которых слух тоньше и сон легче. Обыкновение оставлять спать кого-нибудь в лавке весьма благоразумно и полезно.

Грабители лавок — всегда воры известные и уже отмеченные полицией; потому они редко решаются выходить днем, боясь встретить полицейского.

Обыкновенно перед отходом лавочник велит приказчикам или приказчицам все привести в порядок; поставить на место стулья, табуретки и скамейки. А между тем было бы благоразумнее делать совершенно противоположное, потому что именно этот-то беспорядок и есть помеха

вору; опрокинутый стул, стукнувшая по дороге скамья, малейший шум и толчок могут его выдать. Редко воры решаются нападать на посудную лавку или на игрушечную: во-первых, боятся разбить что-нибудь, в последних — разронять. Какой риск возиться впотьмах со множеством всяких безделушек! Нечаянно надавишь рукой или попадешь ногой — и вдруг тявкнет моська или заблеет ягненок. Придется бежать из опасения тревоги.

Провинциальные воры подобного рода большей частью разъезжают под видом купцов в своих повозках; туда, где намерены обворовать, они приезжают не иначе как ночью; вскоре же приступают к делу и покраденные товары кладут прямо в тележку. Затем отправляются в другое место и продают по мелочам то, что стащили целиком. Если попадут к ним золотые, серебряные вещи, которые легко узнать, то они их обращают в слитки.

Главное их старание заключается в том, чтобы изменить вид и форму украденных предметов. Если это шелковые или шерстяные ткани, полотна, они отрывают казовый конец от каждого куска, чтобы не было, таким образом, ни пометок, ни нумеров, которые бы могли показать, что они

берут свой товар не на фабрике, хотя, впрочем, иногда они и фабрикантам не дают спуску.

Наилучшую неожиданность, которую можно приготовить этим ворам, — это падение каких-нибудь досок, опирающихся на тоненькую веревочку, растянутую среди лавки, на высоте от четырех до пяти футов. Если воры не запаслись потайным фонарем, то, идя ощупью, руки вперед, очень легко зацепят за эту веревку; при малейшем толчке доски падают, происходит шум, воры испугаются чьего-нибудь прихода и, не желая быть пойманными на месте преступления, при какой бы то ни было смелости бросаются бежать. Посредством рассыпанного по полу гороха можно произвести также страшный шум. Вообще много есть средств охраняться от лавочных воров, но средства эти, конечно, хороши только своей тайной, и разглашать их не должно. Немецкая пословица говорит: «Хороший замок порождает искусного вора…» Это потому, что хороший замок не есть тайна.

Но я думаю, что воры очень скоро остались бы в полнейшем бездействии, если бы честные люди размыслили хорошенько над теми обстоятельствами, которые разрушали попытки, наихитрейшим образом задуманные. В течение

последних лет механики-слесаря придумали множество секретов, ловушек и сюрпризов; но все эти изобретения, столь дорогие, недоступны публике. Лицам, желающим недорого застраховаться от воровства, предлагаю обратиться ко мне, и я с удовольствием сообщу им недорогие секреты. Воровство — то же что и мошенничество: его можно уничтожить, когда захочешь; но я могу только по секрету сообщить способы, несомненно ведущие к цели, помимо полиции, бдительность которой так часто нарушается.

Говоря о провинциальных грабителях лавок, я забыл сказать, что, подобно убийцам по профессии, они всегда имеют вполне правильные паспорта, аккуратно помеченные властями тех общин, где они проходят. Надо заметить вообще, что во Франции только честные люди осмеливаются ездить без паспортов; злоумышленники же, напротив, не решаются преступать законы и предписания, в силу которых для малейшего перемещения требуется билет на проезд. Будь я жандармом, личность с отмеченным паспортом всегда была бы мне подозрительна. Опасные бродяги весьма заботятся о том, чтобы доказать чуть не на каждом шагу, что они не ведут бродячей жизни. Безупречный человек мало беспокоится

об этих формальностях и старается от них отделаться или по небрежности, или потому, что ему противно входить в какие-либо сношения со всем, что носит имя полиции.

Глава шестьдесят пятая
Магазинные и лавочные воры

Каким образом эти воры приступают к делу. – Магические слова. – Картоны с двойным дном. – Потайные карманы. – Предостережение ювелирам. – Ребенок на конторке. – Нищий. – Вор не вор, а, что называется, нечист на руку (chipeur)

Этого рода воровство можно назвать отводным воровством, потому что оно совершается в магазинах во время покупанья, на глазах продавца. Таким воровством занимаются как женщины, так и мужчины; но женщины вообще считаются более искусными. Происходит это единственно от различия костюма: женщине легко спрятать довольно большие вещи. Мне случалось следовать за отводными воровками, которые, запрятавши под юбки кусок материи в 25 или 30 аршин, не только ее не роняли, но шли очень далеко, по-видимому, без малейшего затруднения.

Вот каким образом совершается это воровство. Кто-нибудь из шайки является в магазин,

спрашивает побольше товару, и, пока выбирает разложенные вещи, приходит еще один или двое из сообщников, также покупать; они всегда просят показать себе, что наверху или сзади купца; пока последний полезет доставать, отвернется, вор быстро стащит лежащее под руками и исчезнет.

Воровки всегда хорошо разодеты, за исключением одетых по-деревенски; но и в последнем случае наряд их богатый, и большею частью они выдают себя за купчих.

Вернейшее средство не быть ими обманутым — это то, чтобы показывать один предмет за другим и не доставать новых, не положив на место прежде показанных; или же внимательнее считать все вещи, которые выкладывают на прилавок. В магазинах, где обыкновенно бывает много покупателей, не мешает приказчикам от времени до времени, когда много народу, говорить друг другу: «Два на десять», или еще «зажгите гонзессы». Можно держать пари, что при этих словах воры, имеющие тонкий слух, не замедлят улизнуть.

Отводные воры употребляют множество различных способов для достижения своих целей: обыкновенно те, которые исполняют роль под-

готовителей, откладывают заранее на прилавок все, чем намерены завладеть, и, когда выдастся благоприятная минута, они подают знак сообщникам, стоящим на улице. Последние входят, спрашивают что-нибудь и очень торопятся; купец, не желая упустить покупателя, мечется во все стороны, и пока не знает, что кому отвечать, товар успеет исчезнуть. Воры, таскающие кисею, кружева, фуляры и другие легкие и мелкие вещи, запасаются картонами, с виду тщательно завязанными, но дно у которых выдвижное, куда они и складывают все.

У женщин подкладка шуб и салопов образует большой карман, куда можно поместить несколько кусков материи. Когда на них нет салопов, то их заменяют огромные шали. Юбки одетых крестьянками суть настоящие ягдташи с секретами и отделениями. Некоторые приходят с нянькой и ребенком, у которого очень длинное платье. Нянька сажает ребенка на прилавок и уносит вместе с ним все, что выберет хозяйка. Воровки низшего разряда носят корзины с двойным дном. Я знал одну знаменитую воровку кружев, по имени Дюмаз, которая воровала особенно оригинальным образом: ей, положим, показывают мехельнские или брюссельские кружева;

рассматривая, она старается один кусок уронить и, если никто этого не заметит, пальцами правой ноги ловко прячет его в башмак, довольно просторный для этого. Иногда еще она не успеет выйти, как купец хватится куска и спрашивает его. Тогда она настаивает, чтобы ее обыскали, и так как никто не догадывается о башмаках, то дело кончалось тем, что перед ней же извинялись и думали, что вещь пропала до ее прихода. Кому могло прийти в голову осматривать ноги вместо рук? Поговорка гласит именно противное.

Отводные воры весьма часто посещают ювелиров. Один из них, *Генрих Косматый,* проводил все время в рассматриванье драгоценностей, выставляемых напоказ; подметивши массу перстней и обручальных колец, которые обыкновенно вывешивают в окнах магазинов, он внимательно в них вглядывается и на другой день является купить кольцо; ему дают выбрать, и, занимаясь примериваньем, он успевает с замечательной ловкостью заменить золотое кольцо точно таким же медным. Кабы он ушел, ничего не купивши, обман, может быть, заметили бы, но плут обыкновенно даже не торговался и платил исправно, так что медь оставалась на выставке до прихода лучшего покупщика.

Известный *Флор* покупал у одного ювелира бриллианты. В это время подошел нищий просить милостыню. Флор вынул из кошелька монету и подал ему; монета упала, нищий наклонился, поднял и ушел. На это обстоятельство никто и внимания не обратил. По заключении торга Флор отсчитал 400 франков и просил дать себе список купленных вещей. Все было покончено, когда, укладывая вещи назад, ювелир заметил, что у него недостает одной коробочки с бриллиантами на 5000 или на 6000 франков. Принялись искать; бриллиантов нет как нет. Флор заявляет, что он не выйдет без того, чтобы его не обыскали. В угоду ему его обыскивают, находят только то, что он купил; бывшие же при нем бумаги показывают вполне человека порядочного. Так с ним распрощались. Куда же он отправился? Да прямо к тому самому нищему, Францу Тормелю, своему сообщнику, который вместе с монетой поднял коробочку с бриллиантами, ловко брошенную Флором.

Торговцы вообще, а мелочные в особенности, должны постоянно быть настороже и помнить, что в Париже несметное количество подобных воров. Я говорю только о ворах по профессии, хотя есть много и таких любителей, которые, под

прикрытием хорошей репутации, втихомолку тоже обделывают маленькие делишки. Есть очень честные люди, нимало не стесняющиеся присвоить себе даром редкую книгу, хорошенькую вещичку, камеи, мозаику, манускрипт, эстамп, медаль или что другое. По-французски это обозначают словом shipeur (а по-русски говорят «нечист на руку»). Если подобный воришка богат, на него не сердятся, говорят, что он выше подобной мелочи, чтобы вменять ему ее в преступление; если же беден, на него доносят прокурорскому надзору и ссылают на галеры, потому что он украл без необходимости. Нельзя не сознаться, что у нас весьма странные понятия о чести и бесчестии.

Глава шестьдесят шестая
Еще вид магазинных воров (Voleurs sous comptoir)

Визави. – Часовщик и шляпочник. – Камарда, обворовывающая двух зараз. – Ссора обворованных

Этого рода воровство есть недавнее изобретение. В интересах торговли необходимо с ним познакомить. Воры, преимущественно женщины, одетые служанками, высматривают на довольно широкой улице два каких-нибудь магазина, почти один против другого; предположим, что один из них принадлежит часовщику, другой — шляпочнику. Воровка входит к шляпочнику и заявляет, что ей поручили купить шляпу; выбранная шляпа никогда не бывает готова, ее сейчас обещаются отделать, через час она будет готова. В ожидании этого мнимая служанка прохаживается по магазину или стоит у дверей и, когда убедится, что ее заметили из магазина часовщика, быстро переходит улицу, проходит к часовщику и говорит: вот такой-то господин

(она называет фамилию шляпочника) просит вас передать ему через меня двое золотых часов, в сто двадцать и в сто тридцать франков; я хочу сделать подарок своему брату, а господин N выберет. Часовщик узнаёт служанку и без всякого опасения вверяет ей часы, с которыми она и уходит. Из своей лавки он видит, как она входит к шляпочнику, как бы сам находится при осматривании предметов, видит, как они переходят из рук хозяина в руки приказчиков, и может опасаться только одного: что почему-нибудь раздумают купить. Через несколько минут шляпа готова; воровка берет ее и прямо приходит к часовщику.

— Мы возьмем часы в сто тридцать франков, я вот только занесу эту шляпу и по возвращении покончу с вами, но вы мне немного уступите.

— Хорошо, хорошо, — отвечает часовщик.

Проходит час, два, три, и все дело объясняется.

Часто обоих купцов обворовывает зараз одна и та же особа, например, таким образом. Одна из этих мнимых служанок, по имени Камарда, является к белошвейке и просит дать ей несколько аршин кружев для содержательницы магазина золотых и серебряных вещей, который находится напротив. Кружева отдаются без колебания. Камарда, с картоном в руках, направляется к

золотых дел мастеру, спрашивает две золотые цепочки для своей хозяйки напротив и, выйдя немедленно с картоном в руках, возвращается в белошвейный магазин.

— Хозяйка моя желает показать эти кружева своей подруге, — говорит она белошвейке.

— С удовольствием, пусть она не стесняется.

Воровка тотчас же возвращается к золотых дел мастеру и говорит:

— Хозяйка рассмотрит ваши цепочки, и, когда я возвращусь, я выберу также себе, маленькую, — и затем исчезает.

С обеих сторон думают, что она пошла по делу; наконец белошвейка первая начинает беспокоиться и приходит к соседке.

— Ну что, как находите вы кружева? Уверяю вас, что вы хорошо сделаете, если все оставите у себя.

— Вы разве думаете, что я за свои цепочки возьму кружевами?

— Да ведь я вам их послала целую картонку сегодня утром с вашей служанкой!

— То есть ваша прислуга приходила сюда за двумя цепочками.

— Вы бредите, соседка?

— Это вы скорее смеетесь над нами.

— Тут не до смеха, я совсем не шучу, дело идет о золотых цепочках, и у вас две моих.

С той и с другой стороны начинается крупный разговор, и дело доходит до большой ссоры, пока пришедший кстати золотых дел мастер не объяснил, что они обе обокрадены.

Глава шестьдесят седьмая
Менялы

Не соблазняйтесь наживой! – Обокраденный виноторговец. – Булочница. – Благочестивые вдовы. – Высшая подлость. – И нищим нет пощады! – Цыгане. – Колдуны и знахари. – Таинственные убийцы домашнего скота. – Свиньи – любительницы селедок

Является несколько человек, мужчин или женщин, в весьма людную лавку, покупают кое-что и в уплату дают монету в двадцать франков или какую другую, стоимость которой значительно превосходит стоимость товара. Купец дает сдачи; но, рассматривая полученные монеты, воры замечают одну или две, непохожие на другие; если не попадается подобных монет, то они сами подложат. Как бы то ни было, показывая купцу эти монеты, они говорят: «Много у вас еще таких? Если у вас еще есть и вы нам их уступите, то мы вам заплатим с барышом». Подобное предложение вызывается монетами в двадцать четыре су, в двенадцать су, ефимками, талерами в шесть

ливров с буквой W. Но горе купцу, который прельстится этой спекуляцией! Если он позволит себе запустить руку в свой ящик, чтобы отыскать желаемые монеты, то может быть уверен, они облегчат его с такой быстротой, что ему останется только хлопать глазами. Это воровство называют à la Carre (с помощью различия монетного чекана), а воров — Carreurs.

Нет средства, которого бы эти мошенники не употребляли для их обманов. Сегодня они употребляют одно, завтра — другое, но всегда дело основывается на размене монеты. Поэтому, каков бы ни был предлог, по которому неизвестный человек, хотя бы даже дитя, предлагал разменять монету, благоразумнее не соблазняться прибылью. Сколько менял, сборщиков в лотерею, торговцев табаком, вином, пряниками, булочников, мясников и т. п. сделались жертвами ловких обманщиков этого рода, которые преимущественно обращаются к мелочным торговцам! Эти воры легко узнаются: как только откроют конторку, чтобы выбрать желаемую ими монету, они тотчас же запускают туда руку, чтобы помочь выбирать. Если купцу нужно пойти в особую комнату при лавке, чтобы принести сдачу, они следуют за ним и постараются тоже залезть в

мешок. Почти все воры этого рода — цыгане, итальянцы или евреи.



Г-жа *Карон,* о которой упоминалось прежде в этом сочинении, была искуснейшей меняльщицей. Однажды явилась она к продавцу ликеров Карлье — на рынке Святого Якова; жена Кар-

лье была одна за прилавком. Карон спросила анисовой водки, заплатила золотом и так ловко повела дело, что после десятиминутного разговора купчиха отправилась в свою комнату за мешком с семьюстами пятьюдесятью франками. Через четверть часа Карон ушла, а хозяйка тотчас принялась считать деньги, и оказалось, что не хватило половины. Воровка так ее очаровала, что при ней ей положительно виделось вдвое. Мне донесли об этом факте, и по искусству воровства я тотчас узнал виновницу, которая была задержана, уличена и наказана.

Нет фокусника, который бы сравнился со знаменитой Герцогиней, о которой тоже упоминалось прежде. Раз булочница в улице Мартенвилль в Руане проверяла сумму в две тысячи франков, бывшую у нее в переднике, и Герцогиня успела стащить половину. Чувствуя, что узел стал легче, булочница поняла, что ее обокрали, и намеревалась задержать Герцогиню; но последняя не дала ей сделать тревоги.

— Сочтите ваши деньги, — сказала она, — вы прежде только сочтите.

Булочница сосчитала, и оказалось все сполна. Воры и воровки этого рода очень искусны также в уменье подменивать. Ювелир показывает золото

или каменья; они покупают безделушку и успевают многое подменить стразами или бронзой.

Карон, Герцогиня и еще другая цыганка, по имени Гаспар, придумали странное средство обкрадывать священников. Одетые в траур (костюм их вообще походил на костюм вдовы богатого фермера), они входили в церковь и старались завязать разговор с церковной прислугой, заведующей стульями или свечами. Известно, что эти личности очень любят поболтать. Мнимые вдовы расспрашивали подробно о финансовом положении каждого приходского церковнослужителя, и когда находили кого-либо *стоящим ружейного выстрела* (как они выражались), то, чтобы иметь доступ, заказывали ему обедни или, как богобоязненные и благочестивые, признавались ему в каком-нибудь сомнении и выражали желание выполнить какое-нибудь доброе дело, например раздавать милостыню, или просили священника указать им несчастных, нуждавшихся в помощи. Священник с охотой указывал некоторые семейства, достойные вспомоществования; они спешили посетить их и оказать помощь или деньгами, или одеждой.

«По рекомендации такого-то, — говорили они, — мы принимаем участие в вашем положе-

нии». И бедные прихожане спешили благодарить батюшку, который был в восторге от своих кающихся грешниц. Он был руководителем их совести; они были исполнены добродетели, их можно было допустить к причастию без исповеди. Но такое доверие обходилось ему дорого: рано или поздно священник оказывался ограбленным, а благочестивые дамы не показывались более. Так они обобрали священника прихода St. Gervais; у него исчезли часы, кошелек с золотом и многие ценные вещи, равно как священника церкви St. Médard. Доведя их таким образом до апостольской нищеты, они простирали свою подлость до того, что обкрадывали тех самых бедняков, которым прежде помогли. Они приходили к ним, расспрашивали об их нуждах, просили показать все принадлежности гардероба, чтобы лучше знать, что необходимо заменить новым, и если при этом замечали, где часы, бокал, сережки, цепочку или что другое поценнее, то тотчас же незаметно воровали и изъявляли желание уйти. «Хорошо, друзья мои, — говорила Карон, — я знаю теперь, чего вам недостает, знаю лучше вас самих». И она удалялась, стараясь, чтобы ее проводили по лестнице и таким образом не успели бы заметить пропажи. Люди, которых эти

презренные твари так жестоко грабили, обыкновенно были стыдливые бедняки, при самой страшной нужде все еще сохраняющие некоторые следы прежней деликатности.

Пока я служил в полиции, поступило более шестидесяти жалоб на кражи подобного рода против матери и дочери Карон; наконец мне удалось поймать эти две отвратительные личности, которые и теперь еще в тюрьме.

Цыгане не ограничиваются одним присвоением себе чужого; часто они убивают, и им тем легче совершить убийство, что у них есть способ искупления, через который они считают себя совершенно чистыми: именно в знак раскаяния они носят в течение года грубую шерстяную рубашку и удерживаются от воровства; по прошествии же этого времени считают себя уже чистыми как снег.

Во Франции большая их часть называет себя католиками и отличается наружно большой набожностью: всегда носят четки и маленькие крестики; молятся утром и вечером и аккуратно посещают церковь; они редко занимаются каким другим ремеслом, кроме барышничества лошадьми или собирания трав; некоторые пускаются в медицину, выдают себя за знатоков всеисцеля-

ющих средств и разных секретов. Многие ходят компанией: гадают, лудят медную посуду, чинят фаянсовую. Горе деревенским обывателям от нашествия этих бродяг! Неизбежно начинается скотский падеж, потому что цыгане умеют весьма искусно истреблять скот без всяких следов, по которым можно было бы обвинить в злонамеренности; коров они прокалывают в сердце длинной, очень тонкой иглой; кровь изливается внутрь, и можно подумать, что животное издыхает от болезни; домашних птиц морят серой; они знают, что им оставят трупы; и между тем, как простаки думают, что цыгане едят дохлятину, они наслаждаются превосходным столом и кушают лучшую говядину. Иногда, пожелавши ветчины, они берут соленую селедку и дают ее нюхать свинье, которая, привлекаемая этим запахом, идет за ними хоть на край света.

Не стану распространяться далее о нравах этого кочующего племени, и читателям, желающим ближе познакомиться с ним, советую обратиться к интересной истории, написанной в Германии

ученым Грелльманном[19]; там можно получить правильное понятие об этом народе, который выставлен в таком неверном свете первым романистом нашего времени.

[19] Примечания: 19

История Цыган, или Картины нравов и обычаев этого кочующего народа. Историческое исследование о происхождении, языке и первом появлении цыган в Европе. — Соч. Н. М. Ж. Грелльманн. — Пер. со 2-го немецкого изд. — Париж, Шомеро, книгопродавец в Пале-Рояле.

Глава шестьдесят восьмая
Экипажные воры (Rouletiers-колесники)

Костюм экипажных воров. – Места их пребывания. – Знаменитости. – Послушный извозчик. – Смелый вор. – Королевские бриллианты на голове любовницы вора. – Совет пассажирам и извозчикам

Экипажные воры обыкновенно крадут чемоданы, сундуки с империалов и другие каретные принадлежности. Большею частью они принадлежат к рабочему классу и почти всегда одеты комиссионерами или извозчиками. В эпоху, когда они были довольно многочисленны, они избирали своим главным местопребыванием те части города, куда преимущественно съезжались кареты: Адскую улицу, предместье Сент-Оноре, Сен-Мартен, Сен-Дени, бульвары, площадь Людовика XV, улицы Бурдонне и Лавандьер, Тир-Шапп и Монторгейль. Намереваясь обокрасть экипаж, воры идут за ним и при первой остановке приступают к делу; немногие кареты избегают их рук.

В этом роде воровства отличались следующие личности: Фанфан Мезон, братья Сервье, Жанни, Гуппи, Герри, Каде, Ниссель, Дюбуа Нахал, Робло, Лафранс, Линьи, Доре — все люди ловкие и предприимчивые. Не было экипажа, который бы не лишился чего-нибудь по их милости: почтовые кареты, берлины, фуры, дилижансы — все от них страдало. Они совершали свои нападения с невероятной смелостью; один обыкновенно подходил к вознице и останавливал лошадей, пока другие очищали экипаж и сбрасывали тюки.

Мне рассказывали замечательный факт в этом роде. Братья Сервье с двумя другими компаньонами забрались под вечер в Елисейские Поля; старший завел разговор с извозчиком, стараясь отвлечь его внимание, пока товарищи обрабатывали экипаж; вдруг извозчик по движению чересседельника заметил, что карета покачнулась назад, и хотел оглянуться. «Запрещаю тебе оглядываться», — сказал Сервье, и извозчику пришлось повиноваться. Меня уверяли, что Гуппи осмеливался несколько раз среди белого дня, на рынке, влезать в дилижанс и забирать оттуда чемоданы, как бы свою собственность.

Однажды я следил за знаменитым колесником *Госне*. Пришедши в улицу Сен-Дени, он вскочил

в карету, закутался в плащ, надел бумажный колпак, попавшийся под руку, и в таком костюме спустился с чемоданом в руках. Было около двух часов пополудни. Для отклонения каких-либо подозрений он прямо подошел к кондуктору и, сказавши ему несколько слов, исчез у поворота улицы. Я его поджидал, и он был арестован и осужден.

Экипажники совсем не принадлежат к людям просвещенным, и им часто случается овладевать драгоценными вещами, цены которым они совсем не знают. Один из них, укравши чемодан неаполитанской королевы, нашел в нем диадему и подарил ее своей любовнице, стараясь отделаться через то от давно обещанной ей гребенки. Делать нечего, девушка надела королевское украшение и отправилась в нем на бал в улицу Фрепиллон; конечно, там в первый раз видели бриллианты.

Желаете вы оградить себя от этого сорта грабителей? Не привязывайте ваших чемоданов ни ремнями, ни веревками, а железными цепями, которые нельзя было бы снять без того, чтобы не наделать тревоги через скрытый звонок. Это совет путешественникам; а вот что можно посоветовать извозчикам: держать хороших собак,

чем злее, тем лучше, и чтобы эти сторожа не находились под каретой, а наверху ее; никак не оставаться одним, за исключением когда нельзя уже иначе сделать, а главным образом отказаться от гибельной привычки ходить по кабакам. Зазыванье и угощенье приятеля зачастую бывает только надувательной приманкой: угощают воры.

Прачки поступят благоразумно, если будут доверять свои тележки с бельем взрослым людям, а не детям, которые нередко засыпают и которых так легко чем-нибудь развлечь: покажут им игрушку, а сами делают что хотят.

Комиссионеры, возвращаясь порожняком, не должны никогда класть деньги в кошельки, вложенные один в другой, как это обыкновенно делается; надо, напротив, чтобы они всегда были у них на виду; в противном случае, пока они идут пешком, деньги могут отыскать, украсть и убежать.

Воры часто прокатываются несколько миль в кибитке в ожидании удобного случая ускользнуть.

Глава шестьдесят девятая
Карманники или жулики

Обыкновение жуликов. – Ученый осел. – Зазевавшийся англичанин. – Монахи и монахини. – Избегайте толпы! – Ловкость рук. – Наглость жулика. – Часы с репетиром. – Казнь вора – праздник для жуликов. – Обильная жатва при казни собрата по ремеслу. – Полезна ли смертная казнь?

Карманники прежде носили название *жуликов* (floueurs), которым теперь обозначают другой род воров, хотя к нему это название гораздо менее идет. Слово «жулик», или «мазурик», по-французски означает, собственно, искателей большого стечения народа.

Жулики обкрадывают карманы, таскают кошельки, часы, табакерки и т. п. Вообще они тщательно одеваются и не носят ни палок, ни перчаток, потому что им нужна не только свобода рук, но и вся тонкость осязания; про них нельзя сказать, чтобы они плохо пользовались своими десятью пальцами. Воры эти обыкновенно ходят

втроем и вчетвером; им удобнее действовать в тесноте, поэтому они посещают все собрания, пиршества, балы, концерты, театры во время входа и выхода публики; они особенно предпочитают место, где оставляют палки и зонтики, потому что тут всегда скучивается народ; посещают также и церкви, но только при большом торжестве и стечении молящихся; они всегда настороже, чуть где столпится народ; иногда даже сами его собирают, затеяв притворную ссору или какой-нибудь другой хитростью. Часто, для большего удобства, они соединяются с фиглярами. Владелец ученого осла, о котором весь Париж сохранил воспоминание, был в стачке с целою шайкою жуликов; когда осел кричал, карманники были во всем разгаре деятельности. Уличные певцы, комедианты, всевозможные фокусники почти всегда в сношениях с жуликами и участвуют в дележе добычи. В Париже не обходится ни одно сборище без этих господ: они являются повсюду.

Раз один англичанин, заложивши руки в карманы, зевал на проходивших церемониальным маршем солдат. Жулик, по имени *Дюлюк,* вынул у него из кармана часы, обрезав шнурок. Через минуту, заметивши, что у него чего-то недостает,

англичанин принялся оглядываться и под ноги, и по сторонам; смотрел и на свой шнурок, и хотя легко было видеть, что он обрезан, он все-таки обшаривался, ощупывался с головы до ног; наконец, не найдя часов, вскричал: «Черт возьми, у меня украли часы!» И пока он таким образом развлекал соседей своим простодушием, жулик в нескольких шагах передразнивал его с товарищами.

Нет ничего легче, как узнать жулика или карманника: он никогда не постоит на месте, беспрестанно снует туда и сюда; эта подвижность ему необходима, потому что таким образом он чаще сталкивается с новыми лицами и замечает, где удобнее можно стащить. Проникая в толпу, он пускает руки на авось, но так, чтобы они могли ощупать чей-нибудь карман с деньгами или часами и вообще, чтобы иметь понятие о содержимом. Если игра стоит свеч, то два сотоварища, называемые между жуликами *монахами* и *монашками,* становятся возле того, кого хотят обокрасть, и теснят его со всех сторон, как в тисках, чтобы лучше скрыть операцию. Когда результатом ее являются часы или кошелек, то его тотчас передают поверенному, *coqueur,* который немедленно скрывается, хотя, впрочем, без

особенно заметной поспешности.

Необходимо сделать одно замечание, что по окончании спектакля, обедни и вообще при выходе из какого-нибудь публичного собрания, в то время, когда все спешат выйти, жулики, напротив, делают вид, что только что входят. Я предупреждаю читателя, что, увидевши подобных личностей, которые как бы ни на что не смотрят и быстро проталкиваются, надо быть наивозможно осторожнее; не надо полагаться ни на свою цепочку, ни на пуговицу часового кармана; это не препятствие для вора; он, напротив, очень рад таким предосторожностям: барин без всякой заботы; на нем цепочка, карман с часами застегнут, он ничего не боится и не заглянет на свои часы: это лишнее дело. Какой же результат? Цепочку обрежут, пуговицу оторвут и часы украдут. Жулики как будто и не замечали, но у них глаза на конце пальцев.

Между тем есть средство обратить в ничто все эти хитрости: сузьте ваш часовой карман, и вы можете сделать вызов самому лучшему жулику.

В Париже был жулик, славившийся такой непостижимой ловкостью, что ему не было равного. Он становился у всех на виду рядом с каким-нибудь человеком и одним движением

руки незаметно успевал стащить часы или какую другую вещь.

Это называется voilà la chicane.

Некто *Молен,* по прозванию *Шапочник,* будучи во Французской галерее, хотел стащить кошелек у одного господина, последний, стоя у стены, почувствовал, что у него вытаскивают. Молен с замечательным присутствием духа ускоряет движение, вынимает кошелек, открывает, берет оттуда монету и спрашивает себе билет. Обворованный тотчас же обращается к нему:



— Послушайте! Вы взяли у меня кошелек, от-

дайте его мне.

— Что вы? — возражает Молен, притворяясь крайне удивленным. — Уверены ли вы в том?

Затем, взглянув внимательно на кошелек, продолжал:

— Чудеса! Я думал, что это мой. Извините меня, пожалуйста.

Он возвращает кошелек, и все присутствующие остаются уверены, что он взял его по нечаянности.

Однажды, в очень пасмурную погоду, Молен и Дорле остановились близ Итальянской площади. Проходит старик: Дорле вытащил у него часы и передал Молену. Темнота была так велика, что нельзя было видеть, с репетицией они или нет. Для удостоверения в этом Молен нажал пружину, и колокольчик зазвенел; услыхав звук, старик узнал свои часы и закричал: «Часы мои! Часы! Пожалуйста, отдайте мне часы; это подарок моего дедушки, фамильная драгоценность». Произнося эти жалобы, он направляется в ту сторону, откуда слышался звук, чтобы схватить часы; он подходит к Молену, не подозревая его. Тогда последний, пользуясь сумраком и держа часы в некотором расстоянии от уха старика, снова заставил их звенеть и сказал: «Послушай их в последний

раз!» — и воры исчезли.

Старые карманники называют еще между знаменитостями по своей профессии двух итальянцев, братьев *Вердюр,* старший из которых, будучи в сообществе с шайкой chauffeurs, был осужден на смерть. В день казни младший, оставшийся свободным, желал видеть брата при выходе его из тюрьмы; с несколькими товарищами он остановился на проходе. Когда воры пробираются вечером в толпу, то они обмениваются особыми восклицаниями, чтобы дать знать о себе сообщникам. Увидя роковую тележку, младший Вердюр произнес: lirge, на что осужденный отвечал, отыскивая его глазами: lorge. Читатель, пожалуй, подумает, что после этих странных приветствий младший брат, опечаленный предстоящей казнью родного брата в назидание другим ворам, поспешил скрыться. Ничуть не бывало. Еще с самого начала он успел стащить двое часов; его не смущала страшная картина падения головы на помост гильотины, он как прежде, так и после хотел обычным образом воспользоваться случаем. Когда толпа разошлась, он вошел в кабак с товарищами. «Ну вот, — сказал он, раскладывая на столе четверо часов и кошелек, — надеюсь, я отлично порабо-

тал; я никак не думал, что столько наловлю при смерти моего брата. Жаль только одного, что его нет здесь, чтобы получить свою *долю*».

Что-то скажут на это приверженцы смертной казни? Полезна ли она? Как видите, доказательство налицо.

Глава семидесятая
Мазурики или игроки

Мнимая находка. – Воровские знаки. – Шляпа и галстук. – Пари. – Игра. – Стакан с цветами. – Я всех обыграю! – Монетные весы. – Отличные карты!

Жулики, или мазурики, которых скорее надо бы назвать *игроками,* обыкновенно ходят втроем или вчетвером. Один из них идет впереди, держа в руке монету в 20 или 40 су, и, заметивши приезжего, не городского жителя, ловко роняет ее. Фасон платья, сапог, шляпы, стрижка волос, более или менее загорелое лицо, любопытные и удивленные взгляды — вот признаки, по которым они отличают провинциала. Уронивши монету, жулик наклоняется, чтобы поднять ее, но так, чтобы прохожий непременно это заметил, затем обращается к нему:

— Не из вашего ли кармана это выпало?

— Нет, — обыкновенно отвечает незнакомец.

— По чести, милостивый государь, — продолжает вор, — если бы она была большей стоимости,

я поделился бы с вами, но такой безделицей не стоит делиться; коли позволите, я предложу вам бутылку вина.

Если прохожий согласится, жулик хватается рукой за галстук или снимает шляпу, как бы кланяясь кому. При этом знаке соучастники отправляются вперед в кабак и садятся там играть в карты. Затем появляется мнимый находчик монеты в сопровождении провинциала, которого намерен надуть. Оба садятся; но последнего всегда помещают таким образом, чтобы он мог видеть карты одного из играющих. Вскоре намеренно подготовленный выигрыш привлекает его внимание; собеседник замечает ему, какие хорошие карты у одного из игроков. Затевается пари за и против, и незнакомцу тоже приходится принять участие. Вскоре он невольно увлекается желанием взять самому карты в руки, и, отдавши свои деньги тому, с кем он пришел, — что весьма естественно, потому что тот его соучастник, — он начинает играть. Но, по непостижимому несчастью, он проигрывает, а жулики смеются и пьют на счет простачка, как они называют обманутого. Маневр, которым эти господа завоевывают себе счастье, называется *стакан с цветами*.



Один простофиля, увлеченный таким образом в кабак и соблазнясь игрой, говорит:

— Ей-богу, если бы можно было спорить, я готов биться об заклад, что выиграю.

Завязывается пари, садятся играть; вдруг новичок восклицает:

— Постойте, господа, счет дружбы не портит; мне хочется знать, надлежащего ли достоинства ваши луидоры. Что касается до моих, то я за них отвечаю.

И он вынул из кармана весы.

— Притом, так как они у вас останутся, то вам это все равно.

Простак взвесил луидоры, недоставало тринадцати гран; он потребовал в дополнение три франка и, когда все было верно, стал играть и проигрался до последнего сантима; игра была верная, у него был король, дама, все девять козырей и два других короля.

Чтобы не быть обманутым, недостаточно иметь монетные весы, надо еще не ходить пить с незнакомыми, а тем более никогда не играть с ними.

Глава семьдесят первая
Бильярдные шулера (Emporteurs)

Ловля жертв. – Уловки. – Замечательности Парижа. – Входной билет. – Ловкий удар. – Пари. – Университетский советник и яд гремучей змеи. – Видок – истребитель шулеров

В Париже есть личности, которых с утра до вечера можно видеть на улице; они разгуливают без всякой определенной цели, предпочитая, однако, главные улицы; их также часто встречают в публичных местах: в Тюильри, Пале-Рояле, в Ботаническом и Люксембургском садах, в Лувре, на Карусельной площади и на Вандомской во время развода, в галереях музеев, — словом, везде, где наиболее бывает иностранцев и провинциалов; эти бродяги, о которых я говорю, одеты всегда если не изящно, то чисто, их можно принять за купцов или, по крайней мере, за комиссионеров. Обыкновенно они сговариваются по трое. Один из них идет вперед и, заметивши иностранца или

провинциала (при некоторой наблюдательности приезжий виден с первого взгляда), подходит к нему и спрашивает какую-нибудь улицу, стараясь ее выбрать из ближайшей местности.

Иностранец, конечно, отвечает, что он нездешний. Жулик, ухватившись за это, говорит: «Я тоже нездешний и даже очень давно не был в Париже; теперь совсем не знаю местности, так многое здесь переменилось». Подойдя на угол улицы, он читает надпись. «А! — восклицает он. — Это вот какая улица! Ну теперь я знаю дорогу». Продолжая идти рядом с незнакомцем, он завязывает разговор, сводя его на то, что в настоящее время интереснее всего посмотреть тюильрийский дворец, картины или новейшие изобретения; иногда это была императорская порфира Наполеона; то детское приданое римского короля, позднее герцога Бордосского; то это жираф, то алжирский посланник, а может быть, китайцы. Словом, что бы это ни было, жулик намеревается брать билет, чтобы посмотреть; а так как билет на двоих, то он предлагает незнакомцу войти в долю. Этот билет обыкновенно обещал ему или гвардейский офицер, или придворный чиновник, или какое-нибудь значительное лицо, с которым они должны свидеться в ближней кофейне, где и

получится билет. Если приезжий согласится туда идти вместе, то по данному знаку два сообщника спешат вперед.

Кофейня недалеко, и они скоро туда приходят. Проводник останавливается у конторки, как бы для того, чтобы осведомиться о прибытии ожидаемого лица, а спутника приглашает пройти в бильярдную. Через минуту он сам туда является и говорит, что особа не замедлит явиться. «А пока позвольте вам предложить рюмочку». Рюмочка принята, и посетители смотрят игру на бильярде. Один из играющих делает ловкий удар, проводник замечает это незнакомцу; игра продолжается, и замечательные партии идут одна за другой. Игрок, который должен выиграть, изображает дурачка; говорит, что ему все равно — выиграть или проиграть, за все отвечает дядюшкино наследство; а если и его не хватит, найдутся другие. И при этом он постукивает талерами в кармане. Представилась сомнительная партия, стали держать пари, в котором принимает участие спутник провинциала, стараясь и его вовлечь туда же. Если последний не откажется, пропали его денежки.

Простак не всегда ограничивается одним пари; иногда сам берется за кий, намереваясь поме-

риться с тем, кто плохо играет; он хвастается, что выиграет, и чем более хвастает, тем скорее его оберут. Мнимо плохой игрок выигрывает партию за партией и остается победителем. Некоторые в один вечер проигрывают от трех до четырех тысяч франков. Советник императорского университета г-н Сальваж де Фаверол, почти восьмидесятилетний старик, потерял таким образом двое часов, золотую цепочку, сто двойных наполеондоров и, кроме того, вексель на 600 франков; он сам не играл, но его уверили, что он держал пари. *Проводник* его, отгадавши в нем старого медика и любителя естественной истории, предложил ему принять участие в опытах исследования свойств и действия яда гремучих змей.

— Ну когда же мы увидим этого змия? — повторял беспрестанно г-н Сальваж.

— Скоро, скоро, — отвечал проводник, — я сам его хочу поскорее видеть.

Игроки подобного рода назывались бильярдными ворами. При моем поступлении в полицию их было от двадцати пяти до тридцати субъектов; теперь их убавилось на четыре пятых, и я смею сказать, что это благодаря мне. Те, которые еще остались, не пользуются ловкостью, а другие исчезли вследствие более или менее продол-

жительных тюремных заключений. До меня их наказывали административным порядком, то есть произвольно; их отсылали на несколько месяцев в Бисетр, после чего отправляли с жандармами по их квартирам. Я же первый применил к ним 405-ю статью уложения; нашли, что я прав, и всех, пойманных на месте преступления, стали приговаривать на два или три года заключения в тюрьму. Эта строгость в связи с обнародованием употребляемых ими маневров значительно содействовала к очищению от них столицы.

Глава семьдесят вторая
Заемщики

Путешествие на почтовых. – Аристократы. – Золотые слитки. – Знаменитая сделка. – Драгоценный залог и разочарование. – Бриллиантовый убор, или Двойник. – Мрачный и причудливый англичанин. – Искусное привлечение всеобщего внимания. – Трактирщик, очарованный щедростью миллионера. – Финал комедии

Заем, с одной стороны, как мошенничество, с другой — как воровство, есть одно из остроумнейших средств присваивать себе чужое. Никогда заемщики не производили более блистательных афер, как во время революционных смут; это было лучшее время их профессии, совершаемой ими следующим образом.

Две пожилые личности путешествовали на почтовых в сопровождении третьего, разыгрывавшего роль их лакея. Вся внешность их поражала богатством: костюм изысканный, изящные манеры и разговор, приправляемый ча-

сто даже придворною вежливостью. Невозможно было не принять их за важных особ, и притом особ богатых, судя по издержкам. Никогда они не останавливались иначе как в лучших гостиницах и известнейших отелях; для них необходимо было, чтобы содержатель был тузом той местности; они знали заранее о состоянии его кассы, и если он сам не слыл за богача, то, по крайней мере, можно было рассчитывать на его кредит. В этом отношении им особенно были подходящи почтсодержатели.

Приехавши в избранную гостиницу, путешественники нанимают лучший номер, и, пока отель оглашается их вельможными приказаниями, мнимый лакей таскает вещи из кареты и распоряжается насчет их помещения. Редко эта операция производится вне присутствия всего персонала гостиницы: хозяин, хозяйка, слуги, конюхи, повар и даже поварята выходят на двор; каждому любопытно посмотреть. Эти обязательные свидетели всякого приезда не упускают ни малейшего обстоятельства, благоприятствующего для новоприбывших. Они переносят чемоданы, чтобы узнать их тяжесть; им бы очень хотелось присутствовать при их вскрытии, и вещь, до которой запрещено до-

трагиваться, делается предметом смертельного беспокойства; они ее взвешивают глазами, и если она покажется тяжелой, если ее скрывают с более или менее таинственным видом, то всевозможным заключениям открыто широчайшее поле: приезжие — истые крезы и возят с собою сокровища. Тогда им начинают оказывать безграничное доверие, всевозможные любезности, предупреждают малейшие желания. Для них готовы из кожи вылезть: погреб, кухня, конюшня, весь дом вверх дном.

Путешественникам, которых я описываю, было небезызвестно, какое значение может иметь кстати показанный и замеченный чемодан. Слуга их, будучи безукоризненным исполнителем их тонких соображений, принимается, например, с усилием вытаскивать маленький сундучок, миниатюрность которого значительно противоречит чрезмерности усилий, чтоб поднять его.

— Ну, брат, в нем, знать, не перья! — говорят зрители.

— Я думаю, — поддакивает слуга.

Затем, обращаясь к хозяйке или к кому-нибудь из их семьи, он, вытянув шею, произносит как бы по секрету, однако так, что все могут слышать:

— Это сокровищница.

– Дайте же, дайте я поддержу! — раздается пять или шесть услужливых голосов.

— Постойте, вот вам помогут, — говорит хозяин, подвигаясь, чтобы иметь понятие о ноше; и когда сундучок поставлен, все рассматривают замок и удивляются его устройству. Каждый делает свое замечание; но всего интереснее взгляд хозяина; мнимый слуга путешественников все видит и слышит, и если в эту эпоху, когда ассигнации единственно составляли общественное достояние, трактирщик жестом, словом или взглядом обнаруживал свою любовь к звонкой монете, то по этому взгляду, жесту или слову соразмерялось, что можно было предпринять.

Если есть надежда на успех, то путешественники выжидают благоприятной минуты для начала действия.

В один прекрасный вечер, будучи уже уверены, что завоевали благосклонность хозяина, они посылают к нему, или к хозяйке, или к обоим вместе, просят их к себе. Те, конечно, спешат на приглашение. Тогда один из приехавших обращается к слуге: «Конрад, прошу вас оставить нас одних». И по удалении слуги продолжает: «Мы живем в такие времена, когда честность составляет столь редкое явление, что поистине

надо считать себя счастливым, встречая иногда честных людей. Это положительно счастье, что мы попали к вам. Заслуженная вами репутация гарантирует от боязни вверить вам тайну, имеющую для нас величайшее значение. Вы знаете, с какой яростью преследуют теперь аристократию; все, носящие известное имя, изгнаны. Мы также должны были бежать из своей родины, чтобы спастись от зверства революционеров; они искали наших голов и нашего состояния, и счастье, что мы успели бежать, потому что теперь с нами было бы уже покончено. Но, слава богу, мы пока в спокойном пристанище и с хорошими людьми».

Таково было вступление, высказанное со всей торжественностью. Затем приезжий на минуту умолкал в ожидании какого-нибудь вопроса, могущего обнаружить степень интереса слушателя. Если испытание оказывалось удовлетворительным, то следовало продолжение в таком роде: «Вам известно, что золотая и серебряная монета исчезла из обращения, и кто ее имеет, прячет тщательнейшим образом, чтобы не быть схваченным и принятым за аристократа. У нас было золота на пятьдесят тысяч франков; с такой суммой очень затруднительно, поэтому мы ее сами расплавили и превратили в слитки. Тогда мы

не предвидели, что нам придется переезжать с места на место, и наш неожиданный отъезд застал нас почти врасплох. Небольшой запас луидоров был пока достаточен; но наше путешествие продлится неизвестно до которых пор. При таком положении деньги необходимы, потому что ямщику не заплатишь слитками. Мы могли бы обратиться к ювелиру, но кто поручится, что он на нас не донесет! Эта боязнь заставила нас решиться прибегнуть к вашей любезности: вы окажете нам большое одолжение, если согласитесь за один или два слитка дать пять-шесть тысяч франков (требуемая сумма всегда пропорциональна денежным средствам трактирщика). Нечего и говорить, что при возвращении капитала мы заплатим и проценты. Что касается до срока, то вы сами его назначите по своему усмотрению, и если по истечении срока пожелаете употребить слитки, то имеете на то полное право; мы вам пришлем записку, и они будут в вашем распоряжении».

Сундучок принесен, а хозяин еще в нерешимости насчет своего ответа. Но вот слитки вынуты, их перед ним раскладывают; самый маленький, во всяком случае, соответствует занимаемой сумме, а тут вместо одного предлагают два: гарантия

вдвойне; вернее нельзя поместить свои деньги, и притом вероятность, в случае неплатежа, совсем воспользоваться залогом, была также немалым соблазном. Поэтому неудивительно, что трактирщик согласился на операцию, обещавшую столь блистательные выгоды. Но могло случиться, что он и откажет. Тогда, нимало не сомневаясь в его доброй воле, просили найти какого-нибудь богача, который бы захотел раскошелиться; путешественники готовы на всякие уступки скорее, чем обращаться к ювелиру.

Дело велось тонко, и, обольщенный предложением непомерных процентов, трактирщик находил между своими знакомыми обязательного капиталиста. Торг завершался; но прежде получения денег путешественники, верные своей деликатности, желают, чтобы проверена была проба золота. «Это как для вас, так и для нас, — говорили они заимодавцу. — Так как мы плавили луидоры, дукаты, цехины, квадрупли и всякие монеты, то для вашей, равно как и для нашей, уверенности лучше нам знать действительную стоимость». Часто заимодавец полагался на их честность, но они настаивали. А между тем как приступить к проверке, не возбудя подозрения в ювелире, к которому обратятся?

Каждый высказывал свое мнение; но всегда встречалось какое-нибудь неудобство. Очевидно, вся изобретательность заинтересованных сторон была неудовлетворительна. Вдруг один из мошенников, как бы озаренный свыше, восклицает: «Господа, ничего нет проще, и не надо нам доверяться никакому ювелиру; отпилим кусок от одного какого-нибудь слитка и над опилками сделаем пробу». Способ найден превосходным, принят всем обществом, и тотчас же заимодавец приступает к распиливанью; драгоценные опилки собраны в особую бумагу, преднамеренно оставленную на столе. По окончании операции заемщики завертывают опилки. Это самая решительная минута. Делается пакет, но при этом бумагу, куда сыпались медные опилки, ловко подменяют точно такою же другою, в которой находятся золотые опилки двадцать второго карата. И вот заимодавец с этой подмененной бумажкой отправляется брать пробу и вскоре возвращается с сияющим лицом, потирая руки, как человек, который очень доволен своим успехом.

— Господа, — говорит он, — золото лучшей пробы; стало быть, это дело поконченное; я отсчитаю вам деньги, а вы потрудитесь мне передать слитки.

— Совершенно верно, но, так как на этом свете нынче мы живы, завтра нас нет, поэтому, во избежание спора, мы думаем, что самое лучшее запереть их в этот ящик (ящик всегда наготове), на который и вы и мы положим свои печати. Притом это будет удобнее для нас, в случае если нам самим не придется за ним приехать. В обмен на маленькую расписочку, которую вы нам теперь потрудитесь дать, вы возвратите ящик, и дело кончено: посланный не будет и знать, что в нем заключается. Расписка такого рода: «Заявляю, что в моих руках находится ящик; я должен возвратить его по представлении этой записки особе, которая заплатит мне сумму (такую-то)…»

Эта предосторожность приложения печатей была необходимой гарантией того, чтобы слитков не трогали. Таким образом мошенники имели время достигнуть границы, где под защитой инкогнито начинали то же самое, разнообразя свои действия сообразно времени и обстоятельствам.

Проделки заемщиков не исчезли вместе с ассигнациями; но только мошенники для достижения своей цели изобрели другие средства. Следующий факт может служить доказательством. Два вора этой категории, Франсуа Мотеле, по прозванию *Маленький Солдатик,* и итальянец

Феликс Каролина купили за тридцать пять тысяч франков парюр из бриллиантов и сапфиров. И вот с готовой вещью отправились они в Брюссель, к бывшему ювелиру Темберману, давно оставившему торговлю и отдавшему деньги под заклад. Являются к нему на Песочную площадь и просят под залог убора двадцать тысяч франков. Темберман, рассмотрев внимательно каменья и убедившись в их неподдельности, объявляет, что даст восемнадцать тысяч, и ничего более. Заемщики соглашаются, залог кладется в ящик, на который каждый прикладывает свою печать. Восемнадцать тысяч сочтены, за исключением процентов, которые закладчик вычел вперед, и оба мошенника отправляются в Париж. Через два месяца они снова приезжают в Брюссель; наступил срок платежа, и они явились с безукоризненной аккуратностью. Темберман так восхищен их точностью, что, с сожалением возвращая убор, предлагает свои услуги и на будущее время. Это предложение было охотно принято, и ему обещали, в случае надобности, не обращаться ни к кому другому. Читатель увидит, что мошенники действительно решились обратиться именно к нему, хотя он их порядочно пощипал.

В Париже есть ювелир, который уже лет со-

рок пользуется исключительной привилегией поставлять драгоценности королям, королевам, принцам и принцессам, отличавшимся на различных европейских театрах; в его магазинах повсюду так и блестят алмазы, изумруды, сапфиры, рубины; даже в Голконде менее драгоценностей; но все это не более как обман: этому идеальному великолепию недостает действительной стоимости, весь этот мишурный блеск богатого сочетания цветов не что иное, как пустой результат обманчивого отражения. Что нужды! С первого взгляда ничто так не похоже на истину, как ложь, и обладатель этих редкостей, г-н Фромаже, так искусен в своих подражаниях, что, не будучи тонким знатоком, и не заподозришь подделки. Поэтому наши приятели, итальянец и Мотеле, едва успели получить обратно свое сокровище, как истые ценители талантов г-на Фромаже прямо отправились к нему, чтобы заказать дубликат.

Имея оригинал перед глазами, бриллиантщик создал безукоризненный образец искусства; сличая оба убора, нельзя не признать, что они совершенно одинаковы; это было не простое фамильное сходство, а совершенные двойники, которых невозможно отличить друг от друга; сло-

вом, даже самый опытный присяжный ювелир не мог бы отличить фальшивого от настоящего. Два приятеля не прочь были узнать, может ли ошибиться и г-н Темберман на этот счет. Они снова отправились в Брюссель и заложили настоящий убор за ту же цену. Через десять дней Мотеле явился его выкупить, отсчитал деньги и, получивши ящик, сломил печать как бы для того, чтобы удостовериться, ту ли самую вещь получает он; но пока жид пересчитывал полученные деньги, мошенник успел подменить ящик с дорогим убором точно таким же другим, в котором был поддельный; оставивши последний на столе, первый он быстро и незаметно сунул в боковой карман своего объемистого пальто. Мотеле хотел уже удалиться, как вдруг вбегает его приятель с расстроенной физиономией.

— Ах, мой милый, — восклицает он, обращаясь к своему другу, — какую неприятную новость я получил! Два векселя, посланные тобою в Гент к господину Шампу, остались неоплаченными, по ним требуют уплаты; а ведь это на 7000 франков!

— Какое несчастье!

— Отвратить его можно только тем, что убор придется опять оставить у господина Тембермана, мы выкупим его в другой раз.

— Как вам угодно, господа, — отвечает закладчик, — говорите скорее, что мне у себя оставить: деньги или вещь?

— Да уж убор, — отвечает Мотеле.

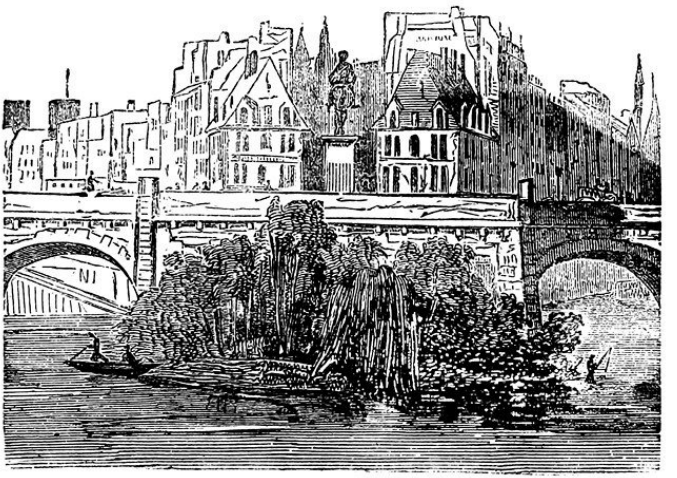
И тотчас же ящик был завязан, запечатан, и оба вора отправились с 18 тысячами франков. Через несколько месяцев закладчик, соскучившись в ожидании заемщиков, которые не показывались более, решился сломать печати. Увы! Бриллианты и сапфиры исчезли, а на месте их остались одни стразы; золото заменилось медью, но работа была восхитительна.

Вообще ювелиры и бриллиантщики должны постоянно остерегаться подделки. Я знал четыре случая, подобных вышеописанному, с одним брабантским ростовщиком. Мошенники при своем изобретательном воображении сегодня пускают в ход одну хитрость, завтра — другую. Им почти всегда удается следующий маневр: приходят они в магазин покупать что-нибудь ценное; выбравши вещь, которую всегда легко сбыть с рук, они скоро сговариваются в цене, но, к несчастью, с ними нет всей требуемой суммы и они должны сходить домой; опасаясь, чтобы не подменили покупку, они просят ящик завязать и прикладывают свою печать. Купец, ослепленный

богатым задатком, соглашается на все, что угодно, и забывает осторожность. Что же выходит? То, что завязывается и запечатывается другой, подсунутый ящик, а настоящий попадает в карман покупщика, обещающего прийти на Пасху или в Троицын день. Проходит и Троицын день, и купец теряет 90 на 100.

С тех пор как наши соседи-англичане полюбили климат Франции, последняя наполнилась множеством оригиналов, ищущих спасения от сплина, навеваемого туманом Темзы. Эти отягощаемые скукой милорды принимаются с распростертыми объятиями во всех гостиницах, потому что у них предполагается туго набитый кошелек. Они странны, причудливы, капризны, угрюмы, так что им весьма трудно угождать. Это ничего не значит, все показывают вид, будто и не замечают таких недостатков, и спешат предупреждать все их желания; мало того, чем они страннее и нелепее, тем более выбиваются из сил, чтобы угодить и понравиться им. Гинеи! Гинеи! Как это обаятельно улыбается содержателю гостиницы! Чего-чего только нельзя получить благодаря им! Восторженный прием, оказываемый самым подозрительным личностям, когда они сумеют блеснуть богатством, не мог ускользнуть от

внимания мошенников, вообще отличающихся наблюдательностью и умеющих применить ее к делу. Может быть, читателю небезынтересно будет узнать, какую пользу могут извлечь они из мнимой оригинальности.



Представьте себе джентльмена, всегда мрач-

ного, молчаливого, неприветливого и к довершению капризного повелителя, соединяющего деспотические привычки с явным отвращением от жизни. Его сопровождает лакей, француз или итальянец, по имени Джон. Выходят они из почтовой кареты. Барин, в своей огромной шапке, спускающейся ниже ушей, кажется страждущим, угрюмым, идет никуда не оглядываясь, едва удостаивая слугу кой-какими знаками; в своей обычной беспечности он даже не замечает, что его длинный балахон из альпака волочится по мостовой и что встречающиеся на пути девушки имеют весьма привлекательные личики. Все для него пусто, неудобно, невыносимо; он обернулся только раз, чтобы удостовериться, следует ли за ним Джон с флаконом Soda water (содовой воды) и драгоценным несессером здравия, то есть с New London portative apothicary (новая Лондонская походная аптека), без которой ни один порядочный человек, не будучи врагом себе, не поедет даже за каких-нибудь четыре мили. Уж и этот багаж довольно странен; но прибавьте к этому костюм, манеры и многое другое, и все это становится уже до крайности смешным. Не проходит трех часов после их приезда, как во всей гостинице смотрят на джентльмена как на весьма смешное

явление.

— Что это с вашим барином? — говорит трактирщик Джону. — Это какой-то потешный остгот? Он мрачнее тьмы, ничего не говорит и отдувается, как бык. По чести, сколько мне ни приходилось видать англичан, а такого требовательного еще и не было… Все только и носись с ним, он и хочет и сейчас же не хочет, и приказывает и отменяет приказание. Что он, болен или просто сумасшедший?

— И не говорите, — начинает Джон, отличающийся неудержимой болтливостью, — барин, как вы его теперь видите, добрейшая душа, только надо уметь к нему подступиться. Вот уж четыре года, как мы ездим вместе. Верите ли, он не мог никакого слуги долго держать у себя. Ну а я вот ужился и, ей-богу, теперь не жалею. Я как раз по нем пришелся.

— А, вы уже путешествуете четыре года… Куда же это вы едете, позвольте спросить?

— Куда едем?.. Спросите у него, куда мы едем… Он и сам ничего не знает… Мы гуляем, сегодня здесь, завтра там… Он говорит, что ищет, где можно остаться жить совсем, и мы все ездим.

— А ведь эти поездки должны ему дорого стоить?

— Конечно! Я бы рад был иметь такое состояние, которое могло бы составиться из одних только подачек на водку почтальонам.

— Так он, верно, богат?

— Богат ли он! Он и счету своим деньгам не знает… Я уж и не помню, сколько тысяч фунтов стерлингов он тратит в день.

— Черт возьми! Вы бы его уговорили здесь остаться. Сторона прекрасная, во-первых, народ здесь добрый, и притом ни в чем нет недостатка. Есть леса для охоты; если он любит рыбную ловлю, у нас в реке множество рыбы; луга, поля, виноградники, фруктовые сады. Театр круглый год. У нас зала для спектаклей, превосходные актеры, общество отборное, господин маршал *** в своем окрестном замке, княгиня *** тоже почти рядом, герцог *** всегда приезжает на лето; затем маркиз ***, генерал ***, кавалер ***, не считая господин мэра и его помощника, у которых два раза в неделю бывают вечера… О, здесь много развлечений!.. Литературный кружок, где обсуждают различные вопросы и читают все журналы; общество земледелия и соревнования, к которому принадлежат образованнейшие и почетнейшие личности страны… Великолепные места для прогулки, оспенный комитет, одна

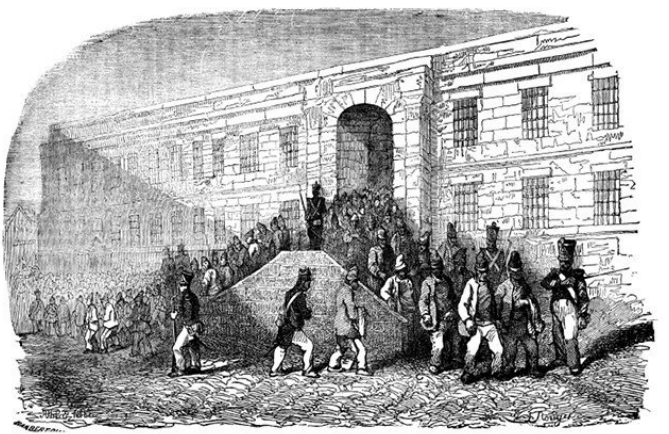
из лучших церквей в королевстве, концерты и большие балы зимой… Тиволи и серенады летом. Церковная музыка круглый год, а в большие праздники — процессии, в которых появляются во всем блеске красота и свежесть наших девушек… Я думаю, что достаточно удовольствий… Кроме того, у нас отличные казармы, где больше двух тысяч человек кавалерии. Отличные кофейни, лимонадные павильоны и бильярдные, как в Париже. Для любителя это вещь важная. У нас игроки первого разряда… Забыл еще вам сказать, что гарнизонные офицеры — народ самый любезный. Скажите по правде, с тех пор как вы вояжируете уже четыре года, много ли вам встречалось таких городов, как наш? Прибавьте к этому, что это главный город департамента и что у нас все под рукой: префектура, суд первой инстанции, мировой суд, суд присяжных, епископства, коллегия, школы взаимного обучения, ремесленная школа, госпиталь, каких мало, капуцины, иезуиты, двухнедельная ярмарка и тысяча других подобных развлечений, о которых слишком долго было бы рассказывать.

— Описанная вами картина очень привлекательна, и, кабы барин был как другие, я уверен, что ему захотелось бы здесь пожить. Но знаете

ли, барин все жалуется на свое здоровье.

— Что до этого, наши доктора следуют методе Бруссе, у нас превосходные пьявки.

— Пьявки — это так, но воздух — вот что главное. Барину особенно нужен хороший воздух.



— Воздух отличный; никогда никаких болезней.

— Вы сказали, что у вас есть госпиталь.

— Да, для бедных… А то нам и умирать не от чего, за исключением когда убьют.

— Доктора следуют методе Бруссе, пьявки отличные, воздух тоже… Теперь перейдем к воде. Вода — это божество для барина.

— Вот уж скажу, едва ли где бывает чище.

— А вино?

— Превосходное.

— Есть у вас свежие яйца?

— Куры под руками.

— Молоко, масло?

— Слава богу, в изобилии и лучшего качества.

— Ростбиф, бифштекс также есть в вашем краю?

— Наши быки громадны.

— В самом деле! Ну, ваш край — просто рай земной… Мне бы очень хотелось остаться. Ах, кабы барин разделял мое желание! Но и думать нечего. Все его бесит, все утомляет, все надоедает. Мы объездили все четыре стороны света: Европу, Азию, Африку и Америку. Нет живописной местности, нет горы, потока, озера, пропасти, вулкана, каскада, который бы мы не осмотрели; все ужасное в природе нас привлекало. Он приезжал, смотрел, зевал и уезжал обратно. «Поедем даль-

ше, Джон», — скажет он, и мы отправлялись.

После этого разговора Джон пошел осведомиться, не нужен ли он барину. Тотчас по всей гостинице разнеслось, что путешественник — милорд, что у него несметные богатства, но что это самая странная личность. Хозяин тем не менее очень желал бы иметь его своим нахлебником и с этой целью дал инструкции всему дому: хозяйка должна постоянно быть с улыбкой на устах и почтением на языке, всем остальным предписано удвоить услужливость; все уши и все ноги только и должны быть для милорда. Не успели отдать эти приказания, как появился снова Джон и объявил: «Я думаю, мы завтра сделаем маленькую прогулку в окрестностях; барин велел раньше разбудить его; он не так пасмурен, как всегда; эх, кабы его дурное расположение рассеялось!.. Да нет, он прихотлив и через пять минут изменит желание; с ним ни на что нельзя рассчитывать».

Вечером милорд велел подать на ужин два свежих яйца и стакан воды; на другой день на завтрак — то же — стакан воды и два яйца. Он воздержан и ест удивительно мало, но это потому, что сидит на диете. Что касается до его слуги, то это другое дело; Джон уплетает большие куски

баранины и опустошает бутылки с удивительной быстротой. По окончании обеда отправляются на предполагаемую прогулку и возвращаются уже по закате солнца. К величайшему удивлению, он раскланялся с хозяйкой; он как бы менее желчен, нежели утром, даже соблаговолил сказать два-три комплимента. Это медведь, начинающий приручаться; морщины на лице у него разгладились; черная шапка уже не так надвинута на глаза. Таково благотворное действие, несомненное влияние восхитительной местности на хандру милорда.

Джон не может надивиться столь внезапной перемене; но это еще только слабые признаки улучшения, которое скоро обнаружится более удивительными симптомами. Милорд начинает спрашивать себе ростбиф с полудюжиной блюд французской кухни; он требует лучшие напитки, льет ром в кофе, чай — в ром, ложится и засыпает. Джон в самой экспансивной радости; одно из двух: милорд или спасен, или скоро умрет. Поглощая остатки вкусного обеда, он рассказывает о чудесном превращении, и хозяин, в надежде сохранить такого жильца, присоединяется к его веселью от всей души.

Милорд просыпается; он провел одну из са-

мых благотворных ночей; давно уже он не вкушал столь сладостного покоя. Под влиянием приятного расположения духа он посылает за трактирщиком. Джон побежал сломя голову, шагая через три ступени.

— Или я ошибаюсь, или есть что-то новое — барин сегодня весел, как я его никогда не видал. «Джон, — сказал он, — мы не уедем больше. Пожалуйста, попросите господина хозяина прийти ко мне». Может, он хочет у вас остаться? Уверяю вас, вы не потеряете от этого.

— Вы думаете?

— Это будет для вас просто счастье. Я не знаю, что ему нужно от вас, но что бы он вам ни предложил, мой совет — на все согласиться; главное — не надо ему противоречить. Видите ли, у этих англичан бывают иногда такие идеи!.. Но он великодушен, и, если где остановился, ручаюсь вам, останетесь довольны.

— Хорошо, так и будем знать; благодарю вас, Джон.

Тотчас же трактирщик отправился к милорду и предстал перед ним в почтительной позе, то есть с улыбающимся лицом, руки по швам и с открытой головой.

— Милорд желал говорить со мной?

— Yes, yes (да, да), прошу взять brancard, — начал милорд на своем диалекте.

Хозяин стоял, не понимая; но явился на выручку Джон.

— Их светлость, — сказал последний, — приглашает вас садиться; возьмите кресло.

— Yes, yes, кресло, — подхватил знаменитый иностранец и продолжал на своем мудреном языке, состоящем из смеси разных наречий, с самым убийственным выговором и окончаниями.

Хозяин стоял, хлопая глазами и не зная, что отвечать; но Джон, видя его замешательство, тотчас же взял на себя роль переводчика.

— Барин спрашивает, что будет стоить в год содержание и квартира его светлости; затем — пяти лакеев, четырех лошадей и собак, с которыми он намерен охотиться на лисиц.

— Это требует размышления.

— Réflechen, ne pas réflechen, говорите тотчас.

— Ну, пятнадцать тысяч франков много будет?

— Пятнадцать тысяч… А, честный человек… Ваша честность заслуживает больше, и я, из уважения к вам, за это считаю себя обязанным назначить вознаграждение, соответствующее моей благосклонности; у нас, жителей Великобритании, всегда есть головной расчет, или

экономия, и расчет душевный, или щедрость; вы понимаете, господин хозяин? Экономия говорит: пятнадцать тысяч, щедрость говорит — двадцать, да и еще пять, то есть двадцать пять.

— Вы слишком добры, милорд.

— Нет, это не доброта, но жизнь в вашей гостинице очень приятна для англичанина; супруга ваша прелестна, скажу по истинной правде, и малютка ее тоже; преинтересная семья… Такая резвушка… я ее очень люблю… Да, сам тоже был шалун в детстве… Вы смеетесь… Ах, вы злой человек. Не смейтесь…

— Милорд, я не позволю себе.

— У вас также есть служанки, которых кокетство, черные глазки и красивые щечки очень мне понравились. Ваша сторона восхищает меня: прекрасные холмики, рощицы, речки, прекрасные ручейки, вода славная. В вашей стороне, верно, есть общество гидрофилов (любителей воды)?

Хозяин вообразил, что дело идет о иероглифах, и отвечал:

— Не думаю, милорд, чтобы у нас были иероглифы.

— А, жаль, жаль!.. Ваши французы, стало быть, не знают богатства своей страны… В Англии гидрофилы пьют всегда воду… Я сам главный

председатель общества гидрофилов… Хотите, я и вас сделаю гидрофилом…

— Я не стою такой чести от вашей светлости.

— Да, да, гидрофилом. Джон, напомни мне об этом. Знаете ли, господин трактирщик, ваше солнце пришлось как раз по моему вкусу; местная природа — самая веселая на земном шаре; благотворный ветерок для сварения желудка постоянно напоминает о счастливом жилище блаженных. И за все эти прелести, которые могут излечить мою хандру, я даю вам двадцать пять тысяч франков. Берете вы двадцать пять тысяч франков, отвечайте?

— Ваше великодушие, милорд, далеко превосходит все мои притязания.

— А, так вы согласны?

— Употреблю все свои усилия, чтобы вы остались довольны.

— Вы хотите, чтоб я был доволен… а! Джон, подай-ка мне мою дорожную сокровищницу.

Джон достал из бюро огромный мешок и подал его барину, который принялся вынимать оттуда пригоршнями золотые монеты и раскладывать на столе кучки по сто франков; когда образовалось пятнадцать столбиков, милорд отдал мешок Джону и велел подать себе бумажный

колпак. Заключение этой комедии должно было ознаменоваться особенной оригинальностью. Трактирщик, конечно, очень рад иметь нахлебника, столь щедро платящего, как милорд. Но последний требует, чтобы условие, по которому он признан жильцом, не только было написано, но и было гарантировано договором о неустойке.

— У вас есть шкаф? — сказал он трактирщику.

— Да, милорд.

— А, у вас есть шкаф! А у меня бумажный колпак; я в него положу тысячу и еще пятьсот франков; вы тоже положите тысячу и пятьсот франков для взаимной уверенности в свой шкаф; я положу свой колпак в ящик; ящик останется у вас, а ключ — у меня. Сегодня я уеду от вас на восемь дней; вы оставите комнаты за мной, и, если по окончании месяца на второй день меня не будет, вы разломаете ящик и возьмете оттуда все в свою пользу. Если же я вернусь, а вы не захотите почему-нибудь оставить меня, то моя собственность перейдет ко мне и Джону достанется при этом маленький барыш.

Так как вся эта тирада высказана была весьма непонятным языком, то Джону опять пришлось пояснять.

— Милорд, — сказал он, делая трактирщику

знаки, чтобы тот на все беспрекословно соглашался, — милорд желает положить тысячу пятьсот франков вот в этот колпак, вы положите столько же, и все три тысячи будут заперты в шкафу, ключ от которого будет храниться у милорда. Их светлость поедет на восемь дней по необходимым делам. Вы не можете распоряжаться его помещением раньше третьего числа будущего месяца. Если же к этому времени мы не вернемся, то вы можете растворить шкаф и взять себе все три тысячи. Если же, напротив, мы вернемся и вам почему-нибудь вздумается отказаться от договора, вы отдадите нам колпак, и дело покончено. Я уверен, что вы не вздумаете отступаться от своего слова, но у милорда уж в обычае брать такие предосторожности.

— Если это в обычае у милорда, я на все готов, чтобы его удовлетворить.

— А, вы хотите мне сделать это удовольствие?

— Позвольте мне только сходить за деньгами.

— Ступайте, ступайте, господин хозяин; сделайте мне удовольствие.

Трактирщик выходит, а Джон следует за ним, чтобы дать ему необходимые наставления; надо ковать железо, пока оно горячо, и ловкий Джон так отлично умеет приняться за дело, что

трактирщик готов дать вдвое больше. Если нет у самого всей суммы, то кто-нибудь из знакомых поможет, и вот с золотом отправляется он к милорду. Милорд с плащом на плечах расхаживает взад и вперед.

— А, это вы? И деньги с вами?

— Да, милорд, я положу в колпак.

— Вы пришли положить — отлично, отлично.

Он взял колпак и держал его раскрытым обеими руками.

— Бросьте сюда сперва мое золото.

Трактирщик побросал со стола столбики один за другим и, покончив, хотел показать, что с его стороны кладется также вся сумма сполна.

— Ах, господин трактирщик, вы меня этим только беспокоите и оскорбляете мое доверие к вам. Бросайте без всякого счета.

Трактирщик, следуя пунктуально наставлениям Джона, кладет свое золото, после чего милорд завязывает колпак и с важным видом направляется к шкафу.

— Господин трактирщик, — говорит он, — подайте мне вклад.

Трактирщик повинуется и с колпаком в руках идет к лорду, который встал на стул, чтобы достать до верхней полки.

— Давайте сюда!

Глядя вверх, на полку, хозяин передает колпак в правую руку милорда; но в ту минуту, как Джон, пожимая плечами, развлекает его своей одобрительной и вместе насмешливой улыбкой, милорд быстрым движением перекладывает колпак из правой руки в левую и вытаскивает из-под плаща другой колпак, точно такой же. Это сделано мгновенно и незаметно, так что трактирщик был уверен, что деньги спрятаны как следует. Милорд также в этом уверен.

— Теперь на деньги эти наложено запрещение.

И с этими словами он два раза поворачивает ключ, сходит со стула, спрашивает у хозяина счет за прожитое у него время, платит за все, не говоря ни слова, прощается со всеми и садится в карету с верным Джоном.

— Клик, кляк, хорошим почтовым поездом! Можешь загнать лошадей, но только не сломай мне шеи; награждение после всего.

— Вези милорда по низкой стороне дороги! — кричит, надсаживаясь, трактирщик, опасающийся, чтобы с его светлостью не случилось какого несчастья.

— О господи, — говорит он жене, — кабы только он не заметил, какие скверные у нас дороги! Еще

счастье, что сухо.

— Да, а пыль!

— Зачем не положили ему в карету хорошего лимонного сока?

— Я недодумала об этом.

— Вот какая ты, всегда так. Эй, почтальон, почтальон! Господин Джон, милорд! Ну, их и след простыл. Господи! — шепчет про себя любезный трактирщик. — Направь коней, уносящих Цезаря и мою фортуну!

Приходит и третье число… Трактирщик из боязни вооружить против себя милорда ждет его еще шесть недель… Но по прошествии этого времени он уже решается снять запрещение. Шкаф разломан, колпак на своем месте. Трактирщик берет его, развязывает — и что же? В нем медные деньги…

Саблен, отлично разыгравший англичанина, был образцом в этом роде воровства… Раз он украл таким способом у одного трактирщика пять тысяч франков. Последний не был греком (gréce — плут), хотя жил в Трои, но он был из Труа в Шампани.

Глава семьдесят третья
Менялы (gréce)

Приступ к делу. – Соблазнительное предложение. – Простак. – Золотая монета. – Потерянный ключ. – Охотничьи пули

Менялы, так называемые *gréce* (плут), почти всегда провинциальные мошенники, беспрестанно рыскающие по дорогам в дилижансе или пешком. С замечательной ловкостью они умеют завязать сношения с личностью, над которой желают испытать свои проделки. Обыкновенно они уговариваются втроем, и каждый отправляется отдельно на поиски за простаками; иногда же один идет на поиски, а двое остаются дожидаться на квартире.

Как только gréce, уполномоченный для выбора жертвы, годной для их целей, встретит таковую, то старается вступить с ней в сношения, узнать о ее состоянии, и если окажется, что есть из-за чего хлопотать, поселяется в одной с ней гостинице, когда нельзя ее тотчас же обработать. Если простаку приходится получить откуда-нибудь

деньги или он везет товар в Париж, то gréce не теряет его из виду, пока не состоится получение. Часто даже, чтобы добыча вернее не ускользнула от плутов, они сами скупают товар или стараются найти покупщика.

Мошенник наблюдает за каждым шагом избранного субъекта и извещает своих соучастников положительно обо всем; он, можно сказать, передает им бюллетень о каждом часе его действий; и когда найдет, что наступило время приняться за дело, то предупреждает их, чтобы они были наготове. Затем он приглашает простака под тем или другим предлогом идти куда-нибудь. Лишь только выйдут они на улицу, к ним подходит иностранец, как можно судить по его говору, и кое-как дает понять, что ему нужен Пале-Рояль.

— Что вам там делать? — спрашивает gréce.

Незнакомец показывает ему золотые монеты, обыкновенно квадрупли или сорокафранковые итальянские, и, изъявляя желание променять их на ходячую монету, рассказывает при этом целую историю такого содержания: он был в услужении у одного очень богатого господина; последний, умирая, оставил множество таких монет, цены которым слуга не знает; знает только одно, что,

когда дает одну из них, ему дают за нее шесть белых монеток. И чтобы дать понятие, какого рода эти деньги, он показывает монету в сто су. Тотчас же gréce, вынимая из кармана шесть пятифранковых монет, предлагает мнимому лакею дать ему за это одну золотую монету. Последний соглашается, даже кажется довольным и на своем языке всячески объясняет, что он рад бы был еще иметь белых монет. Но меняться невозможно под открытым небом; потому его приглашают в кабак, где он вынимает до сотни монет, предлагая каждую за тридцать франков. Gréce, отведя в сторону залученного им простачка, поясняет ему, как выгодно бы им было сделать подобный промен. «Но прежде всего, — прибавляет он, — благоразумнее показать монеты золотых дел мастеру, чтобы убедиться, не фальшивые ли они».

Простак разделяет мнение своего спутника, выходит с одной монетой и возвращается с сорока франками, полученными в промен. Сомнения нет, операция верная, барыш значительный, десять франков — на каждую монету. И вот он не колеблясь отдает все свои серебряные деньги. Если у него самого недостает, он готов занять… Наконец обмен совершается, золото считают и кладут назад в коробку; но мнимый лакей —

ловкий мошенник — коробку, заключающую драгоценный металл, заменяет точно такою же и после этого фокуса, так как ему необходимо ускользнуть как можно скорее, выставляет предлогом то, что его золото проверяли и что он со своей стороны должен проверить полученные ими деньги.

— Совершенно основательно, — замечает спутник несчастной жертвы.

И бедный простак, потерявши голову от большого барыша, беспрекословно позволяет унести свои деньги. Чем он рискует? Разве коробка не у него! Лакей уходит, а товарищ его, отлучившись на минутку, спешит к нему присоединиться. Уже простачку не видать более ловких приятелей, они его надули, но он все еще не знает своего несчастья… Ждет он десять минут, двадцать, полчаса, час: сначала скучает, затем досадует, беспокоится, наконец, начинает подозревать и приходит в отчаяние. Открывает ящик или просит открыть его и находит только су или охотничьи пули. Иногда вместо деревянной коробки бывает жестяной ящичек или кожаный мешок с замочком.

Если избранный субъект окажется не совсем доверчивым, то мошенники прибегают к особен-

ной тактике. Один берет ящик из рук другого и, подавая его обольщенному простачку, говорит: «Ну, теперь нам надо идти к меняле, показать монеты». Простак, находя такую предосторожность основательной, тотчас же уходит с ним, оставляя мнимого лакея в кабаке. Идут они, вдруг gréce останавливается, как бы вдруг что-то вспомнил:

— А ключ от футляра? — спрашивает он. — У вас ключ?

— Нет.

— Нет? Так скорее бегите за ним, или я сам лучше пойду, подождите меня тут.

И, не получив ответа, он быстро убегает, будучи уверен, что его не найдут, так же как и сообщника, который уже давно навострил лыжи. Если случится, что надуваемый не хочет оставаться один, то мошенник водит его до тех пор, пока представится возможность где-нибудь ускользнуть, в каком-нибудь проходе или на перекрестке. Этому способу мошенничества поддаются весьма многие: провинциальные купцы, путешественники, даже парижане теряют таким образом значительные суммы.

Чем жаднее человек, на которого воры имеют виды, тем легче его обмануть. Для избежания всех козней этих мошенников надо принять за

правило — никогда не говорить о своих делах с незнакомыми людьми, не говорить о своих деньгах, а особенно не соблазняться променом тридцатифранковых монет на сорокафранковые. *Саблен* и *Жермен,* по прозванью *Дядя Тюиле,* были знаменитейшими менялами. Однажды Жермен выманил у одного провинциала три тысячи пятьсот франков, причем вор, в присутствии которого провинциал хвастался своими охотничьими успехами, разыгрывал роль советника. «По чести, милостивый государь, — сказал Жермен, отдавая ящичек, — вы обработали отличное дельце. Можете весело провести зиму и ходить сколько угодно на охоту». В коробке действительно были только маленькие пули. Поистине беззастенчивое обольщение.

Глава семьдесят четвертая
Подбиратели, или Теряющие и находящие (Ramastiques)

Чур вместе! – Сговорчивый участник. – Приключение с кухаркой. – Цепочка и часы. – Домашняя ссора. – Сила закона

Так называемые *подбиратели* (ramastiques) обязаны своим успехом, подобно многим другим, жадности доверчивых простачков. Для этого рода мошенничества необходимо согласие трех лиц или по крайней мере двух. Вот как они приступают к делу. С раннего утра становятся они на дороге, большею частью вблизи от заставы, и наблюдают всех проходящих, выбирая личность, физиономия и костюм которой свидетельствуют бесхитростную простоту. Им нужно доверчивого и в то же время корыстного простачка: мужик или кто другой, скорее всего провинциал, приезжающий или отъезжающий, вполне соответствует их видам, лишь бы только он был при деньгах. Завидя подобную жертву, один из мошенников, наиболее ловкий, подходит к незнакомцу

и делает как бы мимоходом с полдюжины таких вопросов, из ответов на которые он мог бы более или менее заключить о финансовом его положении. Получивши подобное сведение, он подает знак сообщникам; тогда второй товарищ, забежавший вперед, роняет ящик, кошелек или какой-нибудь пакет таким образом, что незнакомец не может пройти мимо, не заметив этого предмета. Он действительно намеревается его поднять, но в то самое мгновение его новый знакомый кричит: «Чур вместе!» Останавливаются посмотреть находку, и обыкновенно это оказывается какой-нибудь драгоценный предмет в богатой оправе, бриллиантовая запонка, брошь и т. п. При нем записочка: что она может значить?

Большею частью простофиля не умеет читать, понятно, что и спутник его тоже не умеет, а между тем в записочке есть что-нибудь и нужное. Необходимо ее прочесть; но к кому обратиться? Рассказать о находке боятся и, размышляя об этом, продолжают путь; вдруг на конце улицы попадается человек, читающий афишу: на что лучше такой удачной случайности!

— Вот, кстати, — говорит вор, — этот господин поможет нашему горю; покажем ему бумажку, он нам прочтет; но смотрите, о находке — ни гугу, а

то он захочет войти в долю.

Простак в восторге, подходит к читающему, который охотно предлагает свои услуги и читает:

Милостивый государь, посылаю Вам Ваше бриллиантовое кольцо, за которое Ваш слуга заплатил мне две тысячи семьсот двадцать пять франков.

Бризебар, ювелир.

«Две тысячи семьсот двадцать пять франков, из которых половина достанется мне! Я думаю, это приятно», — мечтает недальновидный находчик. Обязательный чтец — не кто иной, как третий сообщник мошенников, он не преминул, конечно, распространиться о громадности суммы; его благодарят за любезность и уходят. Теперь надо решить, что делать с находкой… Возвратить ее?.. Ни-ни; еще кабы она была потеряна бедняком, пожалуй бы, еще так; но бриллианты может покупать только богач… а для богача что такое две тысячи семьсот двадцать пять франков? Безделица, которую ему ничего не значит потерять. Если не отдавать, то, стало быть, надо оставить, то есть превратить в деньги… Но кому продать? Бриллиантщику? Вероятно, владелец кольца уже сделал заявление, и притом иные бриллиантщики могут задержать! Самое лучшее — продать

спустя несколько времени… Если бы можно было сейчас бы поделиться и расстаться бы друзьями… Но делиться невозможно, а между тем каждому надо отправляться по своим делам. Поистине положение довольно затруднительное; тот и другой придумывают средства, чтоб как-нибудь покончить.

— Будь у меня деньги, — говорит нашедший, — я вам заплатил бы вашу долю с удовольствием, но у меня нет ни гроша. Что делать?.. — Он с минуту размышляет.

— Послушайте! — вдруг, как бы надумавшись, восклицает он. — Вы мне кажетесь честным, достойным человеком; дайте мне вперед несколько сот франков, а когда продадите перстень, возвратите остальное; понятно, что вы получите процент за выданную мне вперед сумму. Оставьте мне свой адрес.

Редко подобное предложение не бывает принято. Привлеченный барышом, простак с удовольствием опрастывает свой кошелек. Если в нем слишком мало, он не задумывается отдать часы. По заключении сделки они расстаются с обещанием свидеться, хотя с той и другой стороны твердо решили, что этого не будет. Из двадцати человек, обманутых таким образом, по крайней мере во-

семнадцать дадут фальшивое имя и фальшивый адрес; и неудивительно: чтобы быть обманутым, отчасти надо самому быть обманщиком.

Подбиратели почти всегда жиды, жены которых тоже занимаются этим ремеслом. Последние обыкновенно ходят по рынкам и надувают нянек и кухарок, отличающихся простотою и неопытностью. Большею частью предметом обольщения служит какая-нибудь медная цепочка, так хорошо вызолоченная, что ее невозможно не принять за золотую. Одна из жертв подобного обмана отправилась жаловаться в полицию: у нее выманили все ее деньги, серьги и корзину со всей дневной провизией, оставленные за пятнадцать франков, которые она должна была после принести. По своей честности она поспешила с деньгами, но по возвращении, конечно, не нашла ни продавщицы, ни вещей своих. Тогда только родились у нее подозрения, а пробный камень ювелира подтвердил их вполне.

Одно время *находчики* были так многочисленны, что являлись во всех кварталах Парижа. Раз утром ко мне пришли жаловаться муж и жена, которых обманули в двух различных местах; мужа — в предместье Сент-Оноре, а жену — на рынке Инносанс.

— Ну кто может быть глупее вас? — говорит супруг. — Отдать золотую цепочку и десять франков за медную цепочку!



— А вы-то умны! Куда как хорошо! Ступайте-ка снесите вашу булавку в ломбард. Кусок стекла! И еще мало того, что отдал все деньги, которые были при себе; нет, пришел домой взять шесть-

десят франков, все, что мы имели, два прибора и свои часы.

— Я сделал, что следовало, это до вас не касается.

— А все-таки вы дали себя надуть.

— Надуть, надуть, ну да. Меня, по крайней мере, надули не кумушки какие-нибудь, и кабы вы не болтали, как обыкновенно…

— Кабы вы шли своей дорогой, не вступая в разговоры с первым встречным…

— Я говорю о своих делах, а вы?..

— Ну уж хороши дела, нечего сказать!

— Не хуже ваших, надеюсь! Теперь ждите, когда у вас будет золотая цепочка. А ваша между тем очень длинная. Кажется, я подарил вам в день ангела не очень коротенькую. Как бы там ни было, длинна ли, нет ли, можно бы вам быть довольной. Нет, вам захотелось втрое длиннее.

— Как будет хорошо, когда нам понадобится узнать, который час!

— Молчи ты, дура…

— Славно сделано, отлично! Вас ловко поддели. Тем и лучше, голубчик! Жалею только об одном, что у тебя не взяли больше.

— Ну да, это не новость! Вы думаете, я не замечал, что вы нимало не заботитесь о выгодах

семьи.

Чета вышла из бюро, продолжая перебраниваться; не знаю, долго ли это продолжалось, но надо думать, что рассудок положил наконец предел обоюдным упрекам. Дай бог, лишь бы только дело не дошло до потасовки!

Каждый из подбирателей обыкновенно носит костюм, соответствующий взятой им роли. Один из трех приятелей, который подходит к избранному встречному, почти всегда одет мастеровым: это каменщик, сапожник или плотник, иногда он притворяется немцем или итальянцем и с большим затруднением говорит по-французски. Если он пожилой, то притворяется добряком; если молодой, то глупым. Тот, который подкидывает, отличается длиной и шириной панталон, через которые и роняет вещь на землю. *Чтец* афиши обыкновенно одет богаче первых двух; на нем сюртук с бархатным воротником и пушистая касторовая шляпа.

В течение долгого времени воров этой категории отправляли в исправительную полицию, и большею степенью наказания было пятилетнее тюремное заключение. Я находил, что между ними следовало делать различие, и если воровство совершалось с помощью фальшивого документа,

то оно уже было важнее и подлежало ведению суда присяжных. Я решился при первом случае изложить юридической власти свои замечания по этому предмету. Случай не замедлил представиться.

Я захватил двух знаменитых воров этого рода, *Балеза,* по прозванию *Маркиз,* и его сообщника. По этому поводу я высказал свое мнение; сначала его не хотели принять к соображению и намеревались поступить по прежнему уставу; но я настоял, и оба мошенника были приведены на суд присяжных и приговорены как подделыватели к тюремному заключению с наложением клейм.

Глава семьдесят пятая
Убийцы по профессии, или Молодцы больших дорог

Нравы и образ жизни. – Семейство Корню. – Характеристика и костюм. – Предосторожности. – Жены и дети убийц. – Калеки

Почти все убийцы по профессии разыгрывают роль разносчиков, торговцев скотом, лошадьми и т. п.; их костюм и манеры всегда соответствуют избранному занятию; они поведения мирного, нрава тихого и спокойного; редко предаются пьянству, потому что боятся проговориться; паспорта у них всегда в безукоризненной исправности, и они их прописывают со строжайшей аккуратностью; в гостиницах они платят исправно, но без излишней щедрости; вообще стараются показать себя бережливыми, потому что бережливость дает предположение о честности; но, расплачиваясь, они никогда не забывают ни трактирного слуги, ни служанки: им весьма важно, чтобы слуги о них хорошо отзывались.

Разбойники под видом разносчиков носят с

собой всегда мелкие вещи, по преимуществу ножницы, ножи, бритвы, лепты, шнурки и другие маленькие предметы. Они предпочитают гостиницы в предместьях города и поблизости от рынков, где и высматривают свои жертвы — или из городских купцов, или из землевладельцев, приезжающих продать свои сельские произведения. Сначала воры стараются разузнать, сколько с ними денег, когда они уедут, в какую сторону, и все эти сведения передают сообщникам, которые всегда живут в другом доме, часто где-нибудь за городом; последние отправляются вперед в места, наиболее удобные для исполнения своих замыслов.

Убийц не остерегаются, потому что привыкли видать их там и сям, и видимая безупречность поведения ограждает их от всяких подозрений. Семья Корню, о которой упоминалось в первых главах, вся состояла из убийц, наслаждавшихся более двадцати лет полнейшей безнаказанностью и совершивших не одну сотню убийств, прежде чем были пойманы.

Лучшее средство предохраниться от этих злодеев — это принять за правило как можно меньше говорить о своих делах, никогда не объявлять о деньгах и не объяснять ни цели, ни продолжи-

тельности предпринятого путешествия. Всякий приезжий должен быть настороже от тех любезных спутников по железным дорогам, которые пользуются малейшим случаем, чтобы завязать разговор. Услужливый расспросчик должен всегда внушать подозрительные опасения, особенно если он касается безопасности дорог или необходимости ходить вооруженным. Фермеры, часто оставляющие рынки уже в сумерках, должны остерегаться дорожных попутчиков. Всякое скорое сближение неблагоразумно, когда находишься вне дома.

Жены убийц также опасные создания: освоившись с убийством, они охотно принимают в нем участие; детей своих с ранних лет они воспитывают в том же духе, заставляя их сторожить и верно передавать наблюдения, из которых надеются извлечь пользу; приучают их смотреть на кровь без страха и, чтобы лучше заинтересовать в случае удачи, при каждом убийстве уделяют и детям известную долю.

Никто не бывает так услужлив и предупредителен, как убийца, никто не отличается такой благотворительностью; все нищие — их друзья, потому что они всегда могут доставить полезные указания и, бродя повсюду, делаются естествен-

ными шпионами больших дорог. Женщины-убийцы настолько лицемерны, что драпируются всеми внешними признаками самого глубокого благочестия; носят четки, наплечники, кресты и т. п., аккуратно посещают церковные службы и без страха и стыда приближаются к самому алтарю. Мужчины обыкновенно ходят в блузе или синем балахоне, под которым легко скрывать окровавленные вещи; по совершении убийства они балахон уничтожают: зарывают в землю, сжигают или моют, смотря по тому, сколько бывает у них времени в распоряжении. Костюм их дополняется палкой или хлыстиком, шапкой из лощеной тафты, с красным или синим платком, покрывающим голову. Вообще они отлично умеют все приспособить так, чтобы при случае можно было доказать отсутствие; с этой целью они отмечают свой паспорт во всех местечках, через которые проходят.



К счастью для нашего общества, убийц по профессии теперь весьма немного, за исключением некоторых южных департаментов; но можно с

уверенностью сказать, что они не искоренятся до тех пор, пока во Франции по всем направлениям будут бродить стекольщики, зонтичники, продавцы духовных песен, медники, площадные лекари, фигляры, паяцы, уличные певцы, органщики, вожаки ученых медведей и верблюдов, фокусники, калеки мнимые или настоящие и тому подобный люд. Относительно калек не мешает предостеречь именно от тех, которые, забравшись в ров, притворяются лишенными возможности из него выбраться и взывают о помощи; один калека привлекал к себе таким образом прохожих с целью убивать тех, которые имели несчастье поддаться чувству сострадания. Когда они наклонялись, чтобы помочь ему выйти, он вонзал им кинжал в сердце. Опасно ночевать в плохих кабачках, особенно когда они находятся в уединенном месте; сам хозяин может быть честным, но его посетители — зачастую мошенники, и самое малое, что может случиться от подобного риска, — это быть к утру до нитки обворованным.

Глава семьдесят шестая
Разбойники. Шофферы-поджариватели

Нищий поджариватель. – Слюна бешеной собаки и лошадиная печень. – Маски и черная помада. – Знаменитый поджариватель Саламбье. – Фальшивый приказ. – Два пистолета в упор. – Мы разбойники! – Векселей не берем! – Погрейте барана! – Если б не собаки, было бы жаркое. – Гильотина. – Альфа, вита и омега. – Предсмертный каламбур

Подобно разбойникам на больших дорогах, так называемые шофферы тоже обыкновенно наряжаются ярмарочными торговцами, или коробейниками. Этого сорта разбойники употребляют пытку — жгут ноги своих жертв, чтобы выпытать, где у них спрятаны деньги. Наметивши какой-нибудь дом, они входят под предлогом продажи и тщательно осматривают все помещения, все входы и выходы. Если в дом трудно проникнуть, то один из сообщников переодевается нищим и просится переночевать, а

потом ночью впускает своих сотоварищей. Часто дом сторожит собака; тогда мнимый нищий заставляет ее молчать, привлекая запахом губки, пропитанной жидкостью бешеной суки, или запахом вареной лошадиной печенки; перед этими соблазнами не устоит самый злой пес. Завладевши таким образом животным, которое пойдет за ним всюду, нищий уводит его, предоставляя свободу разбойникам. Иногда они также употребляют отраву, бросая ее на двор в сумерках; обыкновенно собака умирает к тому времени, когда они должны отправляться на приступ.

Конечно, похвально давать убежище беднякам, заблудившимся пешеходам и вообще всякому, кому негде преклонить голову; но, выполняя заповедь человеколюбия, непредосудительно вместе с тем быть настороже от разбоя. Фермеры и другие сельские жители, не желающие нарушать благотворительных правил гостеприимства, должны иметь для незнакомых путешественников особую комнату с решетчатыми окнами, железными запорами и замками. Таким образом, оставляя незнакомого человека под замком до утра, можно быть покойным насчет каких бы то ни было его замыслов.

Часто разбойники убивают для того, чтобы не

оставалось свидетелей их злодейства. Иногда, чтобы не быть узнанными, они надевают маски или чернят лицо составом, который после стирают с помощью особой мази; а иногда окутывают голову черным крепом; те, которые чернят лицо, обыкновенно носят с собой маленький ящичек с двойным дном, в котором хранятся черная краска и мазь для смыванья; кроме того, они берут с собой веревки от четырех до пяти футов длины, которыми связывают своих жертв.

Ходят они всегда поодиночке, и если назначают друг другу свидания, то стараются быть незамеченными, идут всегда разными дорогами, выбирая по возможности наиболее уединенные. Выходят они ночью, стараясь перед самым отходом показаться всем соседям; по возвращении употребляют ту же тактику, чтобы показать, что они все время были дома. Этого сорта воры при грабежах не любят отягощать себя объемистыми вещами и если берут что, то разве только бриллианты и другие драгоценные вещи незначительной величины; главным же образом им нужны деньги.

Знаменитый Саламбье с давних пор замышлял принудить одного богатого фермера в окрестностях Поперинга отдать свои деньги; но этот

фермер был настороже; в ту пору, когда столько было разговоров о страшных набегах шайки шоферов, не могло быть иначе.

На ферме жило много народу, и две громадные собаки стерегли ее по ночам. Саламбье не один раз разведывал, чтобы взвесить, насколько можно рассчитывать на успех; но чем более он размышлял, тем препятствия казались непреодолимее; между тем он знал наверное, что фермер был богат, и желание обладать этим богатством не давало ему покоя. Как достигнуть цели? Вот была задача, на которую он напрягал все силы ума. Наконец он выдумал следующее: заручившись с помощью нескольких знакомых ему лиц свидетельством в безупречной жизни и поведении, он засвидетельствовал его у местного мэра; затем он смыл написанное соляной кислотой, так что остались только подпись мэра и печать общины, и на чистом листе дал написать одному члену своей шайки, Людвигу Лемеру, следующий приказ:

«Господин комендант, мне известно, что в следующую ночь десять или двенадцать человек из шайки шоферов намерены сделать нападение на ферму Эрвайль. Поэтому переоденьте десяток солдат и отправьте их под начальством унтер-

офицера на ферму, чтобы они могли оказать там помощь при задержании разбойников. Адъютант общины Лебель, которому следует сообщить этот приказ, должен отправиться с отрядом и остаться в доме фермера, с которым он знаком».

Смастеривши такой приказ, Саламбье тотчас же отправляется на ферму во главе десяти соучастников и смело является к чиновнику, которому пришлось поневоле содействовать его злодейским замыслам: признавши подпись, он спешит отвести их на ферму. В качестве защитников они приняты с распростертыми объятиями. Разбойник в роли сержанта и вся его шайка провозглашены освободителями; их обласкали и угостили, как дорогих гостей.

— Ну, друзья мои, — начал Саламбье, — сколько вас тут народу?

— Пятнадцать, считая четырех женщин и одного ребенка.

— Четыре женщины и дитя — ненужные рты, нечего и говорить о них; в опасности это только стесняет. Есть у вас оружие?



— Есть два ружья.

— Принесите их, чтобы они были под руками; притом надо удостовериться, можно ли ими действовать.

Подали ружья Саламбье, который первым делом позаботился их разрядить.

— Теперь, когда я познакомился с местностью, — продолжал он, — можно положиться

на меня насчет средств защиты. Когда настанет время, я укажу каждому его дело; а пока самое лучшее для вас всех — спать спокойно: гарнизон вас сторожит.

В полночь еще не было сделано никаких распоряжений. Вдруг Саламбье, будто услыхав какой-то шум, скомандовал своим соучастникам:

— Ну, вставать; нельзя терять ни минуты; я вас поставлю так, чтобы ни один не ускользнул от нас.

На голос хозяина вся труппа стала на ноги; фермер с фонарем в руках предложил посветить на лестнице.

— Не беспокойтесь, — сказал ему Саламбье, приставляя два пистолета к его груди, — мы самые и есть разбойники, и, если вы шевельнетесь, смерть вам!

Шайка была вооружена с головы до ног; напрасно домовая прислуга думала сопротивляться; им связали руки за спину и заперли в погреб. Скрученный подобно другим, фермер был оставлен у камина; требовали, чтобы он сказал, где деньги.

— Уж у меня давно здесь нет ни гроша, — отвечал он. — С тех пор как шайка шоферов бродит в окрестностях, немного найдется людей, которые бы оставляли у себя большие суммы.

— А! Ты отвиливаешь! — вскричал Саламбье. — Хорошо, мы допытаемся правды.

И тотчас два разбойника схватили фермера, разули его и голые ноги намазали салом.

— Господа, умоляю вас, — вскричал несчастный, — умилосердитесь надо мною. Когда я говорю вам, что в доме нет ни гроша, то лучше обыщите повсюду. Хотите ключи? Спрашивайте все, что хотите; требуйте, все к вашим услугам. Я вам дам вексель, если хотите.

— Нет, брат, — говорил Саламбье, — ты не принимаешь ли нас за купцов? Вексель!.. Нет, мы такими делами не занимаемся. Нам подавай наличными.

— Но, господа…

— А, ты упрямишься! Можешь молчать теперь; через пять минут ты рад будешь открыть нам свой секрет.

На очаге разожгли сильный огонь.

— Ну, приятели, — скомандовал злодей, — погрейте-ка барана!

Пока его подвергали этой страшной пытке, внимание разбойников привлечено было пронзительными криками человека, отбивающегося от разъяренных собак. Это был один из мальчишек фермы, который, как-то высвободившись,

вздумал бежать через отдушину и искать помощи; но по роковой случайности свои собаки не узнали его и кинулись со всей яростью. Удивленный этим необычайным гамом, который не знал, чем объяснить, Саламбье велит одному из своих посмотреть, что делается на дворе; но едва он показался, как одна из собак бросилась на него. Чтобы не быть растерзанным, он бегом вернулся в комнату. «Спасайтесь, спасайтесь!» — кричит он исполненным ужаса голосом, и вся шайка в неописанном страхе устремилась через окно, выходящее на деревню… Так все они убежали… А фермер с мальчиком, голос которого наконец собаки узнали, сошли в погреб и развязали домашних. Хотели они преследовать разбойников, но, несмотря на все старания, ничего не сделали.

Рассказывая мне эту историю, Саламбье сознавался, что в глубине души был рад этой неожиданной помехе, принудившей его отступить. «Потому что, — добавил он, — из боязни быть узнанным, я должен бы был всех их перерезать».

Шайка Саламбье была одна из многочисленных и имела множество подразделений; потребовалось много лет, чтобы истребить ее. В 1804 году казнили многих, принадлежащих к ней. Один из них, имя которого невозможно было открыть,

по-видимому получивший блестящее образование, взошел на эшафот, поднял глаза на роковой нож, затем опустил их до того отверстия, которое другой осужденный называл точкой *замерзания жизни,* и сказал: «Я видел *альфу,* теперь вижу *омегу,* — после чего, обращаясь к палачу, прибавил: — Ну, вита (по-французски — bêta)[20], справляй свою должность». Какой бы ни был эллинист, но, чтобы делать подобные намеки in articulo mortis, надо быть отъявленным весельчаком и каламбуристом.

[20] Примечания: 20

Игра слов: *вита* — греческая буква, по-французски — *bêta,* что означает также «глупец», «дурак».



Не все сообщники Саламбье перемерли; я встречал многих при своих частых поездках и с тех пор не терял их из вида; но тщетно искал случая положить предел долгой безнаказанности, которой они наслаждались. Один из них, сделавшийся певцом, долго морочил жителей столицы «Адским маршем», который он мычал под турецким костюмом; за два су он возносил народную

песню до седьмого этажа и был известнейшей личностью на парижских мостовых, где его знали только по имени.

Без сомнения, он стоил этой известности: его обвиняли в участии при сентябрьской резне 1793 года; а в ноябре 1828-го его видели во главе шайки, бившей стекла в улице Сен-Дени.

С 1816 года шайка шоферов, по-видимому, обрекла себя на бездействие. Последние ее подвиги были на юге Франции, преимущественно в окрестностях Нимы, Марселя и Монпелье, во время диктаторства г-на Трестальона. Тогда поджаривали протестантов и бонапартистов, имевших деньги, и достойные представители verdets находили это вполне заслуженным.

Библиографический очерк о жизни Видока

Когда и где умер Видок. – История «Записок Видока». – Отзыв «Библиографии современников». – Способности и атлетическое сложение. – «Мемуары каторжника, или Разоблаченный Видок». – Необыкновенная и разнообразная деятельность. – Агентство найма рекрутов. – Видок-дисконтер. – Откуда взялось богатство. – Действительно ли Видок был также политическим сыщиком? – Замечательная находчивость. – Аристократический попугай. – Корыстолюбивый лакей. – Видок на большом обеде между либералами. – Его отношение к старым острожным приятелям. – Оправдание. – Причины удаления от службы. – Портрет Видока. – Череп Видока оценен в 10 000. – Отзыв о нем черепослова Фоссати. – Как построил Видок загородный дом. – Бумажная и картонная фабрики для освобожденных из острогов. – Честолюбие Видока. – Всеобщий поверенный по

семейным делам. – Тридцать дуэлей. – Видок обманут и разорен. – Переписка. – Болезнь. – Чем бы мог быть Видок, если бы не попал в сыщики. – Неверующий Видок приглашает священника. – Раскаяние. – Причащение и соборование. – Любовь к женщинам. – Преданные друзья. – Незаконный сын. – Последние минуты умирающего. – Похоронная процессия. – Наследники

В первые дни января 1857 года Видок скончался, как патриарх — среди скромного довольства, в одном из самых тихих кварталов Парижа, в небольшом домике, на месте, отведенном под огороды. Тридцать лет он вел тихую жизнь фабриканта: что проще, что обыкновеннее этого!

Как все замечательные люди нашего времени, Франсуа Видок написал свои «Мемуары» и издал их еще за тридцать лет до своей смерти; может быть, он не надеялся прожить так долго, может быть, будучи вынужденным рассказать о себе много дурного, он вместе с тем не знал никого, кто в то же время мог бы сказать об нем сколько-нибудь и хорошего. Ничье имя не пользовалось такой печальной известностью, ничье не внушало такого страха, ни у кого не было столько

врагов, и в течение своей долгой восьмидесятидвухлетней жизни, хотя Видок многим делал одолжения, многим оказывал помощь, едва ли у него сохранился хоть один друг.

«Библиография современников», посвятившая Видоку весьма хорошую и беспристрастную статью, ошибочно называет его именем *Жюля*, которое он охотно носил, служа при полиции; во всех же тюремных списках и приговорах он назван *Франсуа-Эженом*.

У Видока было два необыкновенных качества: первое — уменье гримироваться; второе — способность делать из своего желудка все, что угодно, как относительно воздержания, так и относительно насыщения. Не раз видали Буффе, разыгрывающим в один и тот же вечер «Парижского гамена» и «Отца Тюрлютютю», то есть юношу и столетнего старика. Это, конечно, было удивительно, и редкий бы актер мог выполнить подобный контраст; но это все-таки происходило на театре, при свете ламп, на довольно значительном расстоянии даже от ближайшего зрителя; тогда как Видок принимал осанку, рост, физиономию, возраст и тон голоса, какой ему было нужно, среди белого дня, в непосредственном

соприкосновении с прежними сообщниками и ворами по профессии, с жандармами, частными приставами и т. д. Сложение его было атлетическое, а между тем в шестьдесят лет он больше всего любил наряжаться женщиной!

Особенная способность его желудка была еще замечательнее: в дни бедствия он иногда ничего не ел по двое, по трое суток; затем, привыкнув к лучшему столу в Париже, он отправлялся в какую-нибудь грязную лачугу и ел с притворно жадным аппетитом картофель, варенный в воде, свиную кожу и даже противные остатки говядины, рыбы и овощей, остающиеся в ресторанах, которые бедняки называют *арлекином*.

Все тело его подчинялось воле рассудка.

Мы позволили говорить самому Видоку о самом себе и по-своему; современники же его не дали ему этой привилегии: не успели выйти в свет два тома его «Мемуаров», как появилось мнимое опровержение.

В первой части своего рассказа Видок говорит о некоем Мальгаре, старом офицере действующей армии, который отвлек его в Мехельне от цыганского табора и которого он впоследствии несколько раз встречал в Бисетре, Бресте, Тулоне

и Париже. Спекуляторы заимствовали не имя этого человека, потому что, по объявлению Видока, это было только военное имя, но его личность, и изда́ли почти в одно время с «Мемуарами» знаменитого агента охранной полиции «Мемуары каторжника, или Разоблаченный Видок».

Это совсем не мемуары кого-либо, которых бы он был предметом; жизнь мнимого Мальгаре занимает только десять листиков; это просто четыре тома оскорблений и невероятных обвинений, обрушившихся на голову человека, который, как бы то ни было, искупил свои заблуждения громаднейшими заслугами. Про одного писателя говорили, что он имел талант позорить Талейрана; стоит прочесть страниц пятьдесят «Мемуаров каторжника», чтобы убедиться, что авторы этого сочинения имели целью опозорить Видока.

Авторы «Мемуаров каторжника» утверждают, что Анна была законной женой полкового командира. Прибавляют, что Видок, часто с нежностью упоминающий о ней, тем не менее иногда обращался с ней дурно. Если верить им — он не прочь был сжить ее со свету, когда ему пришла фантазия жениться вторично, потому что в эту эпоху его первая жена уже известила его через судебного

пристава, что получила разводную с ним.

Деятельность Видока была столь необычайна, что даже разнообразная и трудная обязанность начальника охранной бригады не удовлетворяла его. В продолжение трех или четырех лет, во время Реставрации, в его бюро, в маленькой улице Святой Анны, было учреждено им настоящее агентство замещения рекрутов, и он имел от него от 50 000 до 60 000 франков. Еще до этого он прилагал свои таланты и по частной деятельности, хотя думали, что он посвящал все время администрации. Он брал на себя розыски в интересах семейных, розыски бежавших, надзор за женщинами, замужними и незамужними, иногда даже надзор за мужьями — занятия более или менее непредосудительные, но совсем не входящие в область его деятельности; вообще он брался за все, что сколько-нибудь подходило к его профессии. Справедливо заслуженная им репутация умного и деятельного человека заставляла многих обращаться к нему в самых щекотливых семейных обстоятельствах и, конечно, с предложением платы за хлопоты.

Один знаменитый процесс доказал, что с той поры он прибавил еще одно средство для увели-

чения своих доходов: это учет кредитных бумаг, которых банкиры почему-нибудь не принимали; он брал их на долгие сроки на условиях, не запрещаемых законом, но и не вошедших в обычай. В то же время он занимался продажей и покупкой домов и земель. Редко брался он за дурные дела, хотя иным некоторые могли казаться весьма сомнительными. Каждый раз, когда в первую половину своей жизни, будучи вынужденным скрываться, часто менять свое имя и место жительства, он брался за какое-либо ремесло, оно постоянно шло у него удачно. После этого неудивительно, что, не страшась более правосудия, поселившись в Париже и запасшись опытностью, он был счастлив во всех своих предприятиях. Следовательно, если, как свидетельствуют его враги, он вышел из префектуры с состоянием в 400 000 или 500 000 франков после восемнадцатилетней службы, получая определенного жалованья только 5000 франков, то нечего еще с азартом кричать: «Вор и грабитель!» Не надо забывать, что его ведению подлежали расходы по пересылке арестантов и многие другие; что он сам, не приводя цифр, упоминает о хороших и веских *благодарностях,* преподносимых ему различными полицейскими префектами за по-

имку важных преступников и за дела, в которых он рисковал своей жизнью. Кроме того, администрация, не столь строгая в те времена, как теперь, не запрещала служащим охранной бригады получать благодарности от частных лиц, для которых они разыскивали значительные суммы или драгоценные вещи.

В своих «Записках», изданных в 1828 году, Видок всячески отрекается от того, чтобы он когда-либо мешался в дела политические; но так как нам хорошо известно, что он принимал в них деятельное участие в 1830 году и предлагал свои услуги после 1848 года, когда сделал два путешествия в Лондон в интересах двух противных сторон, то позволительно не давать большой веры этим отрицаниям. Поэтому мы не беремся ни отрицать, ни подтверждать довольно смешной анекдот, рассказанный в «Записках каторжника» и помещенный нами ниже.

Однажды г-н Делаво призвал Видока в свой кабинет и после множества комплиментов, которые он имел обыкновение высказывать всякий раз, как адресовался к нему с чем-нибудь, не входящим в круг его обязанностей, объявил, что барон Мешен, заразившись либерализмом по

оставлении префектуры, должен был на следующий день дать большой обед в своем отеле, в улице Шоссе-д'Антен, и что на этом обеде должны были собраться главные враги престола и церкви. Делаво добавил, что для спасения государства необходимо, чтобы он, Видок, под каким бы то ни было предлогом, выдумать который предоставляется его изобретательности, нашел возможность присутствовать на этом банкете и представить не только точный список всех гостей, но и подробный отчет обо всем, что там произойдет. В случае удачи префект обещал вознаграждение, соответственное важности услуги.

Видок так приучил г-на Делаво к той мысли, что слово «невозможно» должно быть вычеркнуто из полицейского лексикона, что не посмел и заикнуться об очевидных трудностях предприятия. Он оставил кабинет, преисполненный гордостью от столь важного поручения и вместе с тем ломая голову над вымыслом, как его исполнить.

Первым делом надо было найти доступ в означенный отель; с этой целью Видок вошел к виноторговцу напротив квартиры Мешена и выжидал. Не прошло четверти часа, как туда же явился главный повар барона прохладиться от

кухонной плиты. Видок наговорил, что знает его как своего конкурента на базаре, посадил с собой за стол и осыпал восторженными похвалами; некоторые кушанья (которые Видок перечислял наудачу) только он один и может готовить надлежащим образом; как приятно бы было видеть великолепный обед, приготовляемый им в настоящую минуту; желая насладиться этим поучительным зрелищем, мнимый сотоварищ просит повара ввести его в столовую, переодетым в ливрею, в качестве слуги одного из гостей. Однако, несмотря на весь фимиам похвал и на даровое угощенье, повар отказал в этом, говоря, что еще недавно он таким образом ввел одного из своих прежних учеников, а после не оказалось шести серебряных приборов… Впрочем, если г-н Видок желает посмотреть кухню, то это можно.

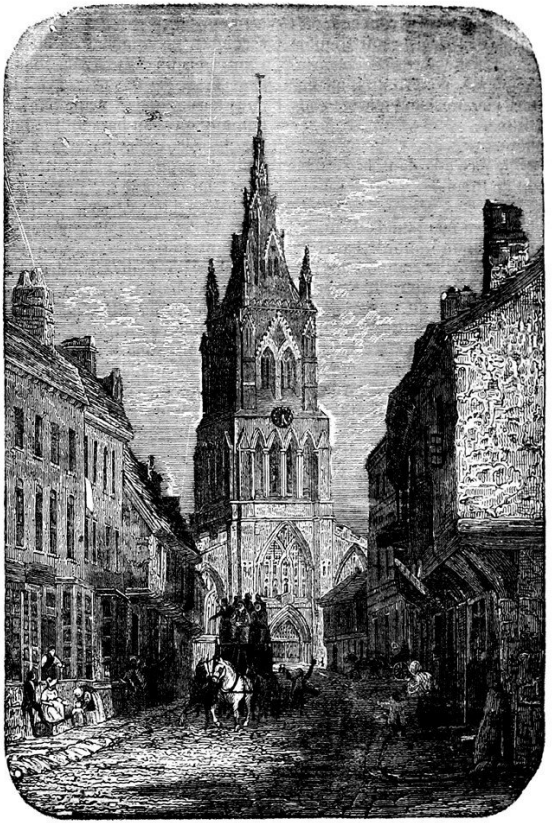
Завербовавши таким образом главного повара, он принялся завлекать трактирщика, что было совсем нетрудно: стоило только заказать лучшего вина, а Видок при надобности мог выпить 10 бутылок. Вскоре он узнал полную биографию всех членов семьи, равно как и прислуги, и даже наслушался множества анекдотов про попугая в позолоченной клетке, которого можно видеть из окна одной залы и к которому либеральный

барон питал несказанную привязанность. Счастливый луч озарил Видока, его план начертан! Этот попугай откроет ему дорогу в дом его господина.

На следующее утро, одетый с изящным вкусом, с почетным крестом в петлице, отправляется он уже не в трактир, а в ближайшую кофейную; спрашивает себе чашку бульона и стакан мадеры, пишет письмо, посылает его с рассыльным, и минуты через две туда же приходит, в белом жилете и башмачках, Бенуа, лакей г-на Мешена.

Видок сажает его с собой.

— Нам надо переговорить, — начинает он. — Мы в кофейне, не стесняйтесь… Чего вы желаете?.. Вот эта мадера, право, недурна… Эй, мальчик, стакан сюда!.. За ваше здоровье, товарищ. Я знаю, что вы славный человек и намереваетесь жениться на прекрасной девушке, с чем от души поздравляю; знаю также, что у вас не хватает пятисот франков, чтобы купить за себя охотника в солдаты. Эту безделицу я с удовольствием вам предлагаю, если вы со своей стороны согласитесь оказать мне услугу.



— Какую, позвольте узнать?

— На ваших руках находится попугай господина Мешена, не правда ли?

— Точно так; но что же вам из того?

— Очень много. Я именно желаю попросить вас выпустить этого попугая завтра, в три четверти седьмого, то есть за четверть часа до того, когда гости должны садиться за стол.

— И вы хотите, чтобы я выпустил попугая! Да барин меня тотчас же прогонит; ему попугай дороже жены, особенно со времени его падения.

— Господин Мешен вас не прогонит, потому что я немедленно возвращу ему драгоценную птицу.

— Да, как же, возвратите! Вы еще не знаете, что эта дрянная тварь летает, как орел; в последний раз, как он улизнул, его насилу поймали в Люксембурге, и с каким трудом!

— Уверяю вас, что он далеко не улетит. Вот видите эту маленькую свинцовую пулю на конце шелковой нитки; как только попугай вылетит, тотчас же опустится книзу и упадет не далее середины улицы. Я буду там поджидать, чтобы поднять его и отнести доброму господину Мешену, которого мне всенепременно нужно видеть по одному маленькому дельцу; надеюсь, оно ему будет приятно.

— Смешная у вас фантазия. Но как бы то ни было!.. Получить пятьсот франков очень не худо; а если я со всеми вашими затеями потеряю свое место…

— У вас было бы еще лучшее; я тотчас же взял бы вас к себе, и поверьте, что вы не потеряли бы.

— Очень может быть, но я вас не знаю… есть много обманщиков…

— Надеюсь, что я не похож на них. Но, во всяком случае, вот моя карточка: господин Ламберт, нотариус-сертификатор, в Монтелимаре, в Париже, гостиница «Маяк».

Этот титул нотариуса-сертификатора, которого лакей никогда не слыхивал, произвел на него более сильное впечатление, нежели титул какого-нибудь пэра Франции или депутата. Видок присоединил к этому два наполеондора в виде задатка, и торг был заключен.

Еще не было шести часов вечера, когда Видок, в костюме нотариуса, был в улице Шоссе-д'Антен с дюжиной агентов, расставленных там и сям, и весьма удивленных, что дан приказ задержать… попугая и не допустить, чтобы он попал в чьи-либо руки.

В семь часов без четверти лакей испускает крик ужаса, способный ошеломить всех проходящих,

перевешивается за окно, как бы намереваясь броситься, и рвет на себе волосы… Попугай улетел; но вскоре опустился, как бы от ружейного выстрела, потерял силы и упал к ногам Видока, который, спрятав его под плащ, ловко отвязал свинцовую пулю. Затем самым натуральным тоном спрашивает, кому может принадлежать столь интересное пернатое. Голосов двадцать отвечало: «Господину барону Мешену».

— В таком случае, — говорит мнимый нотариус, — я желаю вручить его сам. — И он входит в отель.

Крик лакея привлек к окнам большую часть гостей, сделавшихся таким образом свидетелями спасения попугая. Все они, с г-ном Мешеном во главе, бросились на встречу обязательного господина, который его принес.

— Ах, милостивый государь! — воскликнул барон. — Чем я вам обязан! Как я вам благодарен!

— Напротив, я должен благодарить случай, доставивший мне неожиданное удовольствие видеть во время моего краткого пребывания в Париже одного из первых ораторов либеральной партии, человека, к которому в нашем департаменте питают столько уважения и восторга. Это один из счастливейших дней в моей жизни.

— Вы слишком любезны; поверьте, что я умею ценить уважение и одобрение людей, подобных вам… С кем честь имею говорить?

— Меня зовут Ламберт, нотариус-сертификатор в Монтелимаре, избиратель и избираемый в высшей коллегии и один из усерднейших ваших почитателей, хотя мое имя, вероятно, совсем неизвестно вам.

— Напротив, вы ошибаетесь, вы слишком скромны, господин Ламберт, я часто слыхал о вас, и всегда с наилучшей стороны. Позвольте вашу руку, милостивый государь; позвольте мне представить вас некоторым политическим друзьям, которые, я не сомневаюсь, сделаются и вашими друзьями. Мы только что хотели садиться за стол; сделайте мне честь присоединить к нашей компании еще одного любезного собеседника.

Мнимый нотариус рассыпается в извинениях, колеблется и не знает, принять ли ему приглашение; баронесса присоединяет настоятельные просьбы к просьбам мужа, и отказаться становится уже невежливым. И вот он среди знати, говоря мало, слушая внимательно, одобряя все, сказанное другими, и отвечая на многочисленные вопросы с помощью фраз из Constitutionnel, заученных утром. После кофе он незаметно исчез,

а через полчаса у Делаво был не только список собеседников, но и верный отчет всего сказанного каждым из них. Префект был в восторге и приобрел еще большую уверенность, что для Видока не было ничего невозможного.

И этот человек, не бывший лишним в салоне барона Мешена, точно так же был на своем месте в самых грязных трущобах Пале-Рояля и Сите. Он считал за правило, что для надлежащего наблюдения за ворами необходимо посещать их. Даже тогда, когда его должность шефа охранной полиции не была ни для кого тайной, его старые приятели по острогам и тюрьмам продолжали принимать его дружески. Они знали, что он попал на службу правительства не по собственному желанию, а чтобы не быть сосланным снова в Брест или Тулон; он умел уверить их, что если был шпионом по ремеслу, то все-таки остался вором по наклонности.

Впрочем, в ту эпоху граница, разделявшая обе профессии, была весьма мала и неосязаема; многие попеременно переходили от одной к другой, а иногда выполняли и обе зараз. Мы уже знаем, что почти все члены охранной бригады, начиная с ее шефа, провели более или менее долгое время

в остроге. С другой стороны, воры не составляли уже, как прежде, в среде общества отдельной касты; с тех пор как их массами стали изгонять из Парижа, все средства сделались для них годны, лишь бы остаться в столице; самое же верное, очевидно, было сойтись с полицией, оказывать ей услуги — словом, доносить друг на друга.

Уже только после десяти лет непрерывной службы Видок получил помилование (в 1818 году); утверждено же оно было только десять лет спустя, на торжественном заседании верховного суда в Дуэ, 1 июля 1828 года. Когда другие, лучшие чиновники, оставляют службу или правительство их благодарит, то им обыкновенно дают почетный титул, повышение в ордене Почетного легиона или дворянскую грамоту; Видоку же даровали помилование, которого он так давно желал.

Много было споров о причинах удаления его из охранной бригады в цвете сил и здоровья, когда он мог еще оказать много важных и полезных услуг. В некоторых местах своих записок он повторяет, что сам подал в отставку; но резкий и презрительный тон, с каким он постоянно отзывается о своем преемнике, ясно обнаруживает, что эта отставка не была вполне добровольна.

Как все великие художники, Видок знал себе цену; ему казалось, что не может быть такого безрассудного префекта, который бы вздумал остаться без его содействия, поэтому при малейшем пререкании, при малейшем замечании он всегда готов был подать в отставку. Это повторялось так часто, что он был весьма удивлен, когда в один прекрасный день ее приняли (в 1827 году). У Делаво ему повредила более, нежели доносы врагов, его откровенность в противорелигиозных мнениях и настойчивый отказ присоединиться к конгрегации. Он представлял весьма энергичные протесты против личностей, уполномоченных разыгрывать маленькие лотереи на улицах; не обращая на это внимания, четырех таких личностей поместили на иждивение бригады. Наконец, Видок, прошедший остроги, не приобретя постыдных привычек, объясняемых только острожной жизнью, хотя, впрочем, не извиняем его, — Видок желал очистить Елисейские Поля и береговые местности от опасных и гнусных личностей, наполнявших их с самых сумерек, которых он на своем фантастичном языке называл *чересчур филантропами*. Сколько он их ни задерживал, благочестивый префект всех выпускал на свободу. Видок никогда не мог узнать

причины этому…

В 1827 году иезуиты забрались в префектуру, под покровительством г-на Делаво. Начальником второй дивизии назначен был один молодой человек, по имени Дюплесси, и Видок почувствовал, что ему невозможно сойтись со столь благочестивой личностью.

«В 1827 году особое направление администрации, принятое тогдашним начальством, породило неожиданные трудности по занимаемой мною должности; я нашел, что не смогу подчинить подведомственных мне агентов привычкам, несовместным с их характером и жизнью, и, зная, что могу быть полезным только при безграничной независимости и доверии, я подал в отставку». Эта отставка, не вызванная никаким выговором или порицанием, была написана в следующих выражениях, поясняющих ее причину.

Вот копия с нее:

20 июня 1827 года

Вот уже восемнадцать лет, как я служу полиции с достоинством. Я никогда не получал ни одного выговора от ваших предшественников потому, полагаю,

что я их не заслужил. С тех пор как вас назначили во второе отделение, вот уже во второй раз вы мне жалуетесь на агентов; но разве я могу держать их под своей властью вне моего бюро? Конечно нет. Чтобы избавить вас, милостивый государь, от труда вперед делать мне подобные упреки, а себя от неудовольствия получать их, честь имею просить у вас отставки.

Ваш покорнейший слуга.

Подписано: Видок.

На этот раз отставка была принята; через восемнадцать лет честного и полезного служения он оставил префектуру — без копейки пенсии или вознаграждения — и должен был искать в промышленности если не средств к существованию, то пищу для неутомимой деятельности своего духа.

Вот портрет Видока в эту эпоху, начертанный его заклятым врагом, автором «Записок каторжника». «Эжен-Франсуа Видок, известный между ворами и полицейскими шпионами под именем Жюля, теперь 45 лет, ростом 5 футов и 6 дюймов, отличается колоссальными формами; волосы

белокурые, нос длинный, глаза голубые и рот улыбающийся, словом, наружность его с первого взгляда не лишена приятности, хотя часто он имеет дерзкий вид и надменно смотрит на всякого встречного, точно какая всесветная знаменитость. Он часто меняет костюм, всегда отличающийся тщательностью; у него есть кабриолет, сзади которого обыкновенно сидит его лакей, бывший каторжник. Он никогда не выходит без пистолетов и длинной шпаги, лезвие которой весьма широко и с золотой насечкой, а ручка украшена драгоценными камнями».

Несмотря на недоброжелательство рассказчика, из этого портрета видно, что Видок в 45 лет был очень красивым мужчиной. Правда, в заключение он прибавляет: «Череп Видока был бы истинной драгоценностью для френологов; таково мнение знаменитого доктора Галля, говорившего: «Я охотно дал бы за эту голову 10 000 франков, если бы не был уверен, что получу ее даром, потому что она, по всей вероятности, перейдет с Гревской площади в мой кабинет».

Действительно, в брошюре Шарля Ледрю, вышедшей по смерти Видока, читаем:

«Будучи знаком с г-м Фоссати, знаменитым европейским френологом, я пригласил его

в 1857 году рассмотреть череп одной личности, имя которой желал скрыть. Фоссати согласился и в моем кабинете видел означенную личность.

Внимательно осмотревши и ощупавши голову, он сказал, что никогда не видывал такого черепа; он обратил мое внимание на прекрасный широкий лоб, замечательную пропорциональность головы, и общий вывод его был буквально следующий:

> *В представленном вами незнакомце соединены три отличительные личности: „лев, дипломат и сестра милосердия“.*

Это была чрезвычайно симпатичная личность, имевшая магнетическую силу на всех видевших его и слышавших, которые всегда желали снова его увидеть и услышать; в нем не было ничего вульгарного, и все действительно напоминало царя зверей, как характеризовал его Фоссати».

Выйдя в отставку, Видок удалился в Сен-Манде, в скромный домик, недавно им выстроенный. В «Записках каторжника» этот дом назван замком и сказано, что Видок не платил за камень на постройку. Вот это любопытное место:

«В 1826 году Видок заметил в реке множество

плитняку, оставшегося частью от Шарантонского моста, разоренного во время нашествия на Францию союзников, частью от различных других обломков. Тогда он внушил префекту, благосклонностью которого пользовался, что в этом месте навигация по Сене сделалась весьма опасной и необходимо произвести очистку; вместе с тем просил поручить ему надзор за этой работой. Все ему благоприятствовало: правительство употребило большие издержки на извлечение этого камня, а Видок в качестве распорядителя работ велел их перевезти в Сен-Манде, где и воздвигся из них загородный дом начальника охранной бригады».

Трудно наговорить столько невероятного в столь немногих словах. Но откуда бы ни получился камень, Видок выстроил из него не замок и не дачу, а бумажную и картонную фабрику, замечательную особенно тем, что он принимал на нее только освобожденных из острога обоего пола.

Пока другие наполняли все академии великолепными диссертациями и от легкого ремесла теоретических филантропов наживали ордена, почести и барыши, бывший начальник охранной бригады, хорошо понимая, как необходимо для

общества помочь этим несчастным, искренне раскаивающимся, решился доставить им работу и таким образом избавить их от искушения и вторичного вовлечения в порок.

Он избрал предпочтительно этот род промышленности, потому что она большею частью производится за городом, легко изучается и в то же время довольно выгодна. Фабричный через 6 месяцев ученья мог зарабатывать 2 франка 50 сант. в день, а позднее — 3 франка 50 сант.; женщины зарабатывают 1 франк 25 сант. и 1 франк 75 сант. Начало его деятельности, несмотря на все трудности, было довольно удачно; он доказал на опыте, который действительнее всяких убеждений, что не все освобожденные преступники неисправимы и что при некоторой настойчивости значительную часть их можно обратить к добру.

Три причины содействовали падению этого столь замечательного заведения. Во-первых, освобожденные могли зарабатывать не с первого дня, а только по прошествии шести месяцев, а между тем их надо было поместить, кормить, а иногда и одевать с самого первого дня. Вопрос, стало быть, состоял не в том, чтобы им давать

вперед, без надежды на возврат, а в том, чтобы их даром содержать во все время ученья.

Полиция вначале чрезвычайно одобрила мысль Видока и обещала оказывать ему значительную поддержку; но когда он вышел в отставку, она не дала ни гроша и оставила его одного нести все издержки обзаведения, простиравшиеся до 100 000 франков для каждой бумажной машины; мало того, ему пришлось на свой счет содержать будущих рабочих во все время их ученья. Естественно, что при таких условиях он не мог долго поддерживать новое заведение.

Наконец, обыватели Сен-Манде ничем не лучше парижских, которые, известно, не отличаются совершенством. Не успели поселиться рабочие Видока, как на них стали взводить все преступления, совершаемые в местности, не исключая грабежей, производимых парижскими ворами. Где бы что ни случилось, кто бы ни жаловался, хор сплетников обоего пола повторял неизменно: «Это шайка Видока!»

Один из журналов провозгласил раз о смерти Видока, и в весьма недоброжелательном тоне. Эту новость повторил и другой журнал, которому

г-жа Видок отвечала следующим письмом:

Редактору
Париж. 10 мая 1846 г.
Господин редактор.

В вашей газете, от 9-го текущего месяца, вы перепечатали из другого журнала статью о моем муже, весьма недоброжелательного свойства, но которая, к счастью, вся наполнена ложью.

Видок, бывший начальник охранной полиции, находится в настоящее время в Париже по весьма важным промышленным делам. Он никогда не жил в Сен-Николя близ Брюсселя, и желающие удостовериться в том, что он жив, могут явиться ко мне, прочесть полученное мною сегодня письмо от него.

Наконец, всем знакомым с ним известно, и автору лживой статьи, быть может, лучше чем кому другому, что муж мой сохранил все свои умственные способности, что совсем не одержим страстью к спиртным напиткам и что, при своих понятиях о чести, никогда не позволит ни при жизни, ни по смерти

своей предавать гласности вверенные ему тайны. Семейства и лица, заинтересованные в его скромности, могут быть совершенно спокойны на этот счет.

Прошу вас, г-н редактор, а при надобности готова и требовать в качестве поверенной моего мужа, поместить это письмо в ближайшем номере вашей газеты.

Честь имею быть

Г-жа Видок.

Говоря о Видоке, Шарль Ледрю распространяется таким образом:

«Я знаю замечательный пример увлечения, производимого им на лиц высокопоставленных. Сэр Франсуа Бурде никогда не приезжал в Париж, не давши о том знать накануне Видоку, которого постоянно приглашал с собой обедать в том же ресторане, в сообществе двадцати или 25 лиц… честных, возвышенных и симпатичных людей, между которыми он был интересным героем, для которого они и собирались, с восторгом слушая рассказы о его богатой приключениями жизни и осушая бутылки за здоровье *старого льва*.

Он любил знаменитых людей и гордился их

вниманием; все, сходившиеся с ним, рады были видеть этого человека, который издали казался им страшным, а с ними держал себя с гордым достоинством, как человек, место которого в избранном обществе; все слушали с безмолвным вниманием рассказы о его подвигах с этими темными шайками, ведущими вечную войну с обществом; страшная армия, ни перед чем не останавливающаяся, победой над которой Видок так же гордился, как если бы имел дело с армией неприятеля на поле сражения.

Он рассказывал о своих делах, как генерал рассказывает о своих битвах. Во всяком положении человек этот сохранил уважение к самому себе; и это чувство, бывшее его защитой, гарантией и талисманом посреди развращенных, преступных личностей, нередко вызывало у него вздохи вроде следующего:

„Недостаток воспитания лишил меня узды для одержания столь надменной, жадной до всего натуры, как моя. Вовлеченный почти с юности в постоянные дуэли, — (он в четырнадцать лет убил фехтмейстера), — в различные сумасбродства пылкой души, я неудержимо закрутился в урагане неукротимой молодости, излишества которой, вредя только мне самому, закрывали от

меня навсегда двери будущего, бесполезно утраченного мною в несколько безрассудных лет“.

Если бы, вместо того чтобы бросаться в пропасть, подобно неукротимой лошади, я занял место, предназначенное мне по способностям моим и энергии, то был бы так же велик, как Клебер, Мюрат и другие… Я равнялся им и сердцем, и головой, и сделал бы не менее их! Но мне недостало арены. Я родился, чтобы играть роль на благородной сцене войны; но когда вошел в разум, то увидел вокруг себя только тюрьму и острог.

Но если я не завоевал славы воинственных героев, то все-таки мне остается утешение, что остался честным человеком в миазмах развращения и в атмосфере порока.

Я сражался во имя порядка и справедливости, как солдаты сражаются за отечество, под знаменами своего полка. У меня не было эполет; но я подвергался таким же опасностям, как и они, и так же ежедневно жертвовал своей жизнью.

И этот человек, страшный для тех, кто его не знал, был симпатичен всем, кто с ним сближался, потому что они видели в нем натуру деятельную, отважную и преданную честным целям.

Поэтому-то столько лиц приходили к нему со своими сокровенными тайнами, в которых тре-

бовалось содействие верной руки, когда нужно было вывести из затруднения оскорбленную женщину или восстановить затронутую честь семьи, словом, в тех делах, которые нельзя открыть ни друзьям, ни закону… но где необходим человек решительный, с верным взглядом и неистощимый в спасительных средствах, знающий все пути, чтобы уменьшить беду или восторжествовать над ней.

Скольких знатных лиц я знал, которые, будучи уверены, что он скромен, как могила, прибегали к нему даже тогда, когда он уже не занимал официальной должности, поверяли ему свои горести, и он умел их утолять, потому что, изучивши до глубины нравственную географию человеческой души во всех слоях общества, он всегда мог оказывать те услуги, за которые готовы заплатить жизнью!

Этот великий дипломат совершал во всех этажах дела милосердия, покрытые тайной и потому имевшие еще большую цену. На его скромность всегда могли полагаться, потому что он никогда не изменил ей».

Он не только извинял некоторые проступки, но относился к ним с состраданием, потому что сам переиспытал столько горестей в своей исключи-

тельной жизни. Извинял и тем, которых спасал от скандалов, потому что если и был сам *без страха, но не без упрека,* сознавался в собственных погрешностях и искупал их неустрашимостью и состраданием.

Он упрекал себя за удальство и дуэли в молодости, особенно с теми, кто имел несчастье ухаживать за нравившимися женщинами, причем часто соперничал с опытными бойцами. В возрасте, когда люди благовоспитанные едва кончают гимназический курс, он уже был на своей родине известным ловеласом среди молодежи, о котором еще и теперь сохранилось воспоминание».

Для всех, интересовавшихся Видоком, оставалось неразгаданной задачей, куда девалось его состояние, потому что он отличался умеренностью и проживал немного: он всегда старался избежать объяснений об этом предмете. Нам известно из достоверного источника, что он сделался жертвой *подлого злоупотребления доверием*; но от кого? Эту тайну он унес с собой.

«Он тщательно скрывал свои стесненные обстоятельства, хотя гордость его не страдала от них. Натура его постоянно проявлялась в письмах.

Он писал мне 8 марта 1857 года:

Несчастный, угнетаемый страшными страданиями, делается нетерпелив: десять дней ожидания – это целая вечность…

…Не дай Вам Господи испытать мук, переносимых мною без утешения, без…

…Лучше умереть.

…Я ожидаю Мессию».

В другом письме:

«Раненный в сердце, в ногу, старый лев не может выйти из своей берлоги, где он стонет, не имея более сил рычать. Оставленный всеми, он с мужеством и покорностью ожидает, чтобы отверзлись двери вечности».

Его безденежье длилось долго, потому что еще в 1852 году 31 декабря, накануне нового года, он писал мне обычные пожелания:

Чувствуя в душе благодарность, невозможно забыть…

Спешу воспользоваться новым годом,

чтобы поблагодарить Вас…

Примите уверение в моем уважении и признательности.

Ваш нижайший и покорнейший слуга

Видок.

P. S. Что касается до меня, у меня нет решительно ничего.

20 мая 1856 года он писал мне:

Вы меня забыли; это не в Вашей привычке, потому прощаю Вам.

Старый лев.

Дорого яичко к велику дню, – видно, Вы забыли пословицу.

Старый лев нуждается в Вас и надеется на Вашу обязательность. Он, впрочем, привык принимать доказательства Вашего доброго расположения.

5 марта 1857 года:

От несчастных пахнет, и потому те, у кого слишком тонкое обоняние, бегают их, как заразы.

И тотчас же за тем следует смягчение:

Старый лев надеялся, что Вы опять о нем вспомните...

Кабы Вы приехали и утешили его! А пока он жмет Вам руку своей лапой.

Видок.

Еще за два дня до паралличного припадка, который свел его в могилу, он писал мне:

Я все еще в большом затруднении, без поддержки, без покровительства.

На следующий день он слег и не вставал уже более. Он с твердостью сносил бедность и избегал сознаваться в ней, хотя досадовал, когда не отгадывали крайность его положения.

Видок был очень крепкого и сильного сложения; все, отдававшие отчет о его многочисленных процессах, всегда начинали говорить о его росте и атлетических формах. Если бы лета его не были достоверно известны на суде, то ему никто не поверил бы, когда он объявлял о них с некоторым кокетством. Если вспомнить, какую бурную молодость он провел, какие лишения вытерпел в полку, в тюрьмах и острогах, сколько трудов и опасностей перенес в течение двадцати лет, проведенных во главе охранной бригады, то

невольно приходит в голову, сколько этот человек мог бы прожить в другой среде и при других условиях.

Он сам часто повторял, и даже за два месяца до смерти: „Я, верно, доживу до ста лет… Во всяком случае, лет десять еще проживу“.

Можно бы сделать вопрос другого рода, более возвышенный, можно бы спросить, до какого положения в обществе, до каких чинов, особенно в армии, дошел бы Видок, одаренный в такой степени силой, мужеством и умом, если бы его не поразило с восемнадцати лет постыдное осуждение за проступок, который в настоящее время закон осудил бы далеко не так строго. Его сгубило именно это осуждение, а не проступки его молодости, не исключая и того, за который он был осужден. С той поры, проходя жизнь под разными именами и костюмами, под гнетом постоянной стражи, выталкиваемый из общества при всякой попытке жить с достоинством, он не имел покоя до тех пор, пока не обратился в полицию просить убежища от острога. В нем были задатки великого человека; а он оставил по себе память, хотя человека необыкновенного, но с грустной, фатальной знаменательностью.

Г-н Шарль Ледрю так описывает его последние

минуты:

«Я, по его желанию, был вызван на третий день после параличного удара. Мне написали от его имени, что он опасно болен, исповедовался, скоро будет причащаться, чрезвычайно желает меня видеть и надеется, что я приеду завтра, то есть в понедельник, 4 мая. Я поспешил тотчас же, еще 3 мая. Его изменившееся лицо, почти не двигавшийся язык заставили меня опасаться, что он не успеет выполнить последних обязанностей.

Я тотчас же отправился к священнику, которого он избрал в духовники. Это был г-н Орсан, викарий церкви Тела Господня, в улице Св. Людовика.

Подойдя к больному, священник напомнил ему о том, в каком расположении необходимо быть, чтобы приступить к святым тайнам, и что главное — надо открыться во всех своих грехах.

— Батюшка, — отвечал Видок, — если я позвал вас сам, то, значит, хотел высказать всю правду. Моим всегдашним правилом было воздерживаться и не делать худого.

Я провел жизнь в преследовании преступников, которых предавал в руки правосудия, и я был бы преступнее величайшего злодея, если бы, призвавши служителя Божия для исповеди, я не

сказал правды и одной только правды».

«Священник пришел со мной во второй раз к больному.

При входе его на лице Видока выразилось совершенное спокойствие, и он обоим нам дружески протянул руку.

Я удерживался делать ему какие-либо вопросы из боязни утомить его. Но он сам начал:

— Я счастлив, что вижу вас с добрым батюшкой… Как он меня понял!.. Я ему все сказал… таково было мое твердое намерение заранее… он принес мне большое утешение… Но я хочу докончить начатое. Завтра, в два часа, он обещал меня пособоровать и причастить… Вы не опоздаете… именно в этот час я желал бы, чтобы вы были здесь.

На следующий день, в назначенный час, мы со священником были у его постели; кроме нас, был дьячок, дама, которую Видок одну только допускал ходить за собой, еще две дамы, его соотечественницы, которые, живя в одном доме и узнавши, что священник принес предсмертное причащение, пришли тоже помолиться.

После краткого поучения духовник приступил к совершению соборования, этому загробному крещению… Внимательный взор больного был

устремлен на священника; он, казалось, хотел проникнуть сердцем и духом в величественную простоту этой торжественной церемонии, в которой священнослужитель святым помазанием очищал каждый его член, подобно как таинство исповеди очистило его душу».

«Минуту спустя после соборования он был причащен.

Затем умирающий, задыхаясь от сдерживаемых порывов умиления, стал рыдать, приложа руку к сердцу, как бы желая этим выразить то, чего язык не мог произнесть. Наконец он сделал усилие, чтобы произнести следующие слова, сопровождаемые слезами благоговения; раскаяние как бы излилось в слезах благодарности и счастья:

„Этот день счастливейший в моей жизни. Это слишком много счастья для Видока“».

«Перед причастием священник дал ему поцеловать крест из оливковых зерен, привезенный из Оливкового сада и благословенный папой, а также четки, благословенные святым отцом, которые Видок надел на руку. Больной сделался спокоен, почтительно глядя на эти предметы, после чего проговорил:

„Я был на краю пропасти. В течение 75 лет я не входил в церковь. Я и не вспоминал о Боге… разве вскользь, при случае.

Теперь свет озарил мою душу… Я люблю Бога… чувствую это и чувствую также, что Он меня любит за мое искреннее раскаяние. Да осенит меня Его благодать… Он меня простит.

Я во многом согрешил… но в душе всегда был добрым и честным человеком… Он это знает и теперь, бесконечно милосердный, не имеет причины не простить меня.

У меня была сумасбродная голова в юности, и я никогда не мог выносить несправедливостей. Раз тридцать я дрался за священников, которых намеревались оскорблять во время Террора 93-го. Сам же я никогда не оскорблял ни священнослужителей, ни самую религию. В тот день, когда на площади в Аррасе казнили девиц Сю-Сен-Леже, увидя трех драгун, тянувших веревку гильотины, я сказал, что они подлецы и что лучше бы им оставаться при своем посте. Я дрался со всеми тремя и с того дня не хотел носить хлеб в дом Робеспьера“ (Видок, как известно читателю, был сын булочника)».

«Я чересчур любил женщин… но не развратил ни одну из них…

Если бы не мой буйный нрав и не моя наклонность к ссорам, препятствовавшим мне оставаться в военной службе… я был бы вторым Клебером… Но легкомысленный проступок в Дуэ изменил мою судьбу: я дал возможность одному бедному мужику бежать с помощью подделанного мною ключа… Этот проступок, такой же, как все мои побеги из тюрьмы, как мои ссоры с тюремщиками и низшими судебными чиновниками, был причиною моих несчастий».

«Так как меня нельзя было оставить в Тулоне и так как знали, что я мог быть полезным, то г-н Дюбуа поместил меня в полицию, в Лион.

Вместо того чтобы сражаться с врагами отчизны и заслужить маршальский жезл, я сделался начальником полиции в Париже.

Я сражался всеми возможными средствами, под разнообразными костюмами и с вооруженной рукой против врагов общественного порядка — воров и убийц.

Без женщин и дуэлей я получил бы крест Почетного легиона и поднялся бы на вершину почестей».

«После этих отрывочных фраз он написал на бумаге, оставшейся в руках ходившей за ним

особы, три имени — *Ламартина, Занжиакомо* и *Пекура*».

«К этим именам он добавил словесно имя г-на *де Берни*. Это был старший судья, с которым мы познакомились в тот день, когда я, Оре, бывший адвокат в Аррасе, а в то время советник суда в Дуэ, и Ландрен, были собраны у Бонжана, адвоката кассационного суда, теперешнего сенатора; мы собрались для совещания о том, имел ли право министр внутренних дел выслать Видока из Франции за то, что он осужден в подлоге… В это время пришел слепой Берни, в сопровождении одного бывшего судьи, и просил *чести* присоединиться к нам, причем заявил, что он знал и следил за Видоком во всех его действиях и нашел его безукоризненным и достойным всякого уважения».

«После вышеозначенных слов, выслушанных Видоком с напряженным вниманием, потому что слабеющие силы его часто прерывались — язык не повиновался и двигался с трудом… итак, по произнесении этих слов, он продолжал с умилением смотреть на распятие, которое духовник повесил над его постелью, чтобы оно постоянно было перед глазами умирающего».

. . . . . .

«Особа, которую он особенно почитал и которую избрал себе в сиделки, была г-жа Лефевр; он уже с давних пор находился у нее в качестве нахлебника.

Видя, что совсем не может писать и что ему стоило величайших усилий начертить три вышеупомянутых имени, он обратился к ней и продиктовал странный нижеследующий документ, написанный ею карандашом на клочке бумаги:

„Что касается до Эмиля Шевалье, который явится в качестве моего наследника, то это незаконный сын г-на Ледюка, адвоката в Аррасе. Весь Аррас знал эту интригу и ее результаты. Притом, когда зачался и родился этот ребенок, я содержался в остроге, в Тулоне или Бресте; а известно, что в этих местах невозможны подобные сношения.

Эмиль хорошо знает, что он не мой сын; это несомненно уже потому, что он никогда не носил другого имени, как Эмиль Шевалье, хотя я не запрещал носить ему мое.

Во всех занимаемых им должностях удержано имя Шевалье, и только за несколько последних лет, видя мою старость, он вздумал назваться

Видоком.

Раз, когда он явился ко мне с визитной карточкой этого имени и когда я, приняв его, сделал замечание на этот счет, он согласился со мной, что он незаконнорожденный сын. Мой рассказ клонится только к тому, чтобы показать нравственность матери и сына.

При этом визите он простер свою дерзость до того, что намеревался получить мое наследство вперед, предлагая за это доказать, что он мне не сын и, прибавя, что его мать, бывшая тогда еще в живых, явится и объявит перед судом всю правду.

Невозможно лгать, стоя одной ногой в гробу и только что принявши святое причащение.

Повторяю, это не ради перекоров, но ради того, чтобы дать понятие о безнравственности сына и матери“».

«Еще за несколько минут до смерти больной повторял имена Ламартина, Берни, Занжиакомо и Пекура».

«Что касается до особы, которую он особенно любил и которая ухаживала за ним до смерти, он так был тронут ее заботами, что накануне сказал: „На небе я буду молиться за *ее дочь*, потому что

г-жа Лефевр была относительно меня, как монахиня“. И он упросил меня тотчас же написать стихотворение, в котором бы выразилась благодарность к ней».

«Тщетно я повторял, что я не поэт; я был вынужден настояниями умирающего (res sacra miser!) написать карандашом плохое четверостишие, которое он заставил меня прочесть три раза, говоря: „Это доброе дело… благодарю вас“».

Видок имел счастье чрезвычайно восхитить почтенного священника, принесшего ему последние утешения религии, и этим мы закончим наши выписки из брошюры Шарля Ледрю: «Мы слышали, как священник сказал, давая последнее благословение кающемуся, осенявшему себя крестным знамением:

„Две чудные смерти, которые мне случилось видеть во все время моего служения, — это смерть Видока и смерть генерала Деро, умершего девяноста лет от роду, после шестидесятилетней деятельности на высшем служебном посту“».

«Я все сказал. Но так как я говорил о душевном враче, то должен упомянуть и об усердии телесного врача, лечившего Видока в продолжение тридцати лет как предпочтительного своего

пациента. Его зовут г-н Дорнье, это тоже живая жертва; он стар и беден! Но у него верный взгляд, а в особенности он обладает даром поддерживать в больном надежду до последней минуты — он, которого несчастье преследовало самым беспощадным образом и который должен бы быть большим скептиком».

«Его бедность, несмотря на познания, произошла от трех последовательных переездов с квартир, вследствие перестройки домов; и таким образом ему пришлось жить в трех различных кварталах, удаляясь от приобретенных пациентов».

«Но при всех переездах дружба к старому, привилегированному пациенту осталась неизменна».

«Когда его не было у постели больного, чтобы повторять „теперь лучше…“, „да“ (причем последний со своей стороны находил всегда какую-нибудь новую силу, поддерживающую угасающую жизнь), Видок беспрестанно за ним посылал… он звал его как человека, державшего в своих руках нить его существования».

«В торжественную минуту смерти священник и

врач подошли к нему, чтобы принять последний его вздох».

«Он сделал доктору знак, что дело его покончено… а священнику, чтобы он подошел как можно ближе… дать ему последнее благословение… и прошептал, испуская последний вздох:
„Вы, вы… мой *единственный врач*“».

«В первый день паралличного удара, который Видок признал за смертельный, он сделал все распоряжения насчет похорон и продиктовал, какую сумму оставляет муниципалитету и церкви».

«Он требовал, чтобы его гроб провожал кортеж бедных, и только.
Это требование было выполнено в точности.
Его провожали, *не считая других приглашенных*, пятьдесят мужчин и женщин, которых он выпросил у монахинь благотворительного общества».

«Шествие отправилось из церкви, где заупокойная обедня была отслужена его духовником, как он того пожелал».

Не в обиду г-ну Шарлю Ледрю надо сказать, что погребальная процессия за гробом Видока состояла не из бедных. За нею же действительно шли

сто человек бедных, из которых каждый получил по три франка; я не знаю, это ли хочет сказать Ледрю выражением *не считая других приглашенных*. Кроме этих награжденных бедных, в церкви не было и десяти человек; из числа присутствующих одна молодая девушка заливалась слезами.

Как только Видок умер, явились в качестве наследников: во-первых, тот, кого он называл Эмиль Шевалье, но который тем не менее считается его законным сыном, пока суд не доказал противное; во-вторых, супруги Лефевр с завещанием по всей форме; в-третьих, бульварная актриса, две, три, пять или десять женщин легкого поведения, тоже каждая с завещанием по форме, но, к сожалению, прежде составленными и потому недействительными.